

Эдвард Бульвер-Литтон

**Мой роман, или Разнообразие  
английской жизни**



# Эдвард Джордж Бульвер-Литтон

## Мой роман, или Разнообразие английской жизни

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=18946898](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18946898)*

### Аннотация

«— Чтобы вам не уклоняться от предмета, сказал мистер Гэзельден: — я только попрошу вас оглянуться назад и сказать мне по совести, видали ли вы когда-нибудь более странное зрелище.

Говоря таким образом, сквайр Гэзельден<sup>1</sup> всею тяжестью своего тела облокотился на левое плечо пастора Дэля и протянул свою трость параллельно его правому глазу, так что направлял его зрение именно к предмету, который он так невыгодно описал...»

# Содержание

Часть первая	9
Глава I	9
Глава II	15
Глава III	21
Глава IV	31
Глава V	35
Глава VI	42
Глава VII	54
Глава VIII	72
Глава IX	93
Глава X	119
Глава XI	125
Глава XII	138
Часть вторая	152
Глава XIII	152
Глава XIV	164
Глава XV	179
Глава XVI	187
Глава XVIII	223
Часть третья	244
Глава XIX	244
Глава XX	262
Глава XXI	271

Глава XXII	279
Глава XXIII	296
Глава XXIV	322
Глава XXV	336
Глава XXVI	349
Глава XXVII	357
Глава XXVIII	368
Глава XXIX	375
Часть четвертая	387
Глава XXX	387
Глава XXXI	401
Глава XXXII	419
Глава XXXIII	428
Глава XXXIV	435
Глава XXXV	441
Глава XXXVI	456
Глава XXXVII	480
Глава XXXVIII	493
Глава XXXIX	503
Глава XL	517
Глава XLI	527
Глава XLII	537
Глава XLIII	547
Глава XLIV	555
Глава XLV	569
Глава XLVI	579

Глава XLVII	597
Глава XLVII	609
Часть пятая	616
Глава XLIX	616
Глава L	625
Глава LI	632
Глава LII	644
Глава LIII	654
Глава LIV	663
Глава LV	672
Глава LVI	683
Глава LVII	695
Глава LVIII	703
Глава LIX	712
Часть шестая	719
Глава LX	719
Глава LXI	730
Глава LXII	736
Глава LXIII	744
Глава LXIV	759
Глава LXV	764
Глава LXVI	785
Глава LXVII	805
Глава LXVIII	816
Глава LXIX	827
Глава LXIX	841

Часть седьмая	861
Глава LXXI	861
Глава LXXII	867
Глава LXXIII	882
Глава LXXIV	900
Глава LXXV	920
Часть восьмая	932
Глава LXXVI	932
Глава LXXVII	940
Глава LXXVIII	958
Глава LXXIX	965
Глава LXXX	971
Глава LXXXI	985
Глава LXXXII	1000
Глава LXXXIII	1010
Часть девятая	1029
Глава LXXXIV	1029
Глава LXXXV	1044
Глава LXXXVI	1056
Глава LXXXVII	1066
Глава LXXXVIII	1077
Глава LXXXIX	1093
Глава XC	1112
Часть десятая	1130
Глава XCI	1130
Глава XCII	1137

Глава XCIII	1154
Глава XCIV	1174
Глава XCV	1188
Глава XCVI	1204
Часть одиннадцатая	1220
Глава XCVII	1220
Глава XCVIII	1232
Глава XCIX	1245
Глава C	1259
Глава CI	1272
Глава CII	1288
Глава CIII	1298
Глава CIV	1310
Глава CV	1326
Глава CVII	1344
Часть двенадцатая	1357
Глава CVIII	1357
Глава CIX	1381
Глава CX	1394
Глава CXI	1437
Глава CXII	1449
Глава CXIII	1471
Глава CXIV	1486
Часть тринадцатая	1505
Глава XCV	1505
Глава CXVI	1516

Глава CXVII	1527
Глава CXVIII	1537
Глава CXIX	1544
Глава CXIX	1573
Глава CXX	1577



# Эдвард Бульвер-Литтон

## Мой роман, или Разнообразие английской жизни

### Часть первая

#### Глава I

– Чтобы вам не уклоняться от предмета, сказал мистер Гэзельден: – я только попрошу вас оглянуться назад и сказать мне по совести, видали ли вы когданибудь более странное зрелище.

Говоря таким образом, сквайр Гезельден<sup>1</sup> всею тяжестью своего тела облокотился на левое плечо пастора Дэля и протянул свою трость параллельно его правому глазу, так что направлял его зрение именно к предмету, который он так невы-

---

<sup>1</sup> *Squire, esquire* – сквайр; первоначально этим словом назывался рыцарский щитосец, теперь оно означает титул одной ступенью ниже кавалера, – в общем же употреблении оно служит для означения в Англии по большей части тех лиц, которые владеют поземельною собственностью. *Прим. Пер.*

годно описал.

– Я сознаюсь, сказал пастор: – что если смотреть чувственным оком, то это такая вещь, которая, даже в самом выгодном свете, не может нравиться. Но, друг мои, если смотреть внутренними очами человека – глазами сельского философа и доброго прихожанина – то я скажу, что от такого небрежения и забвения делается грустно.

Сквайр сурово взглянул на пастора, не переставая смотреть на указанный предмет. Это была поросшая мхом, провалившаяся посредине, с окнами, лишенными рам и похожими на глаза без век, колода<sup>2</sup>, с репейником и крапивой на всякой трещине, разросшимися точно лес. В добавок, тут поместился проезжий медник с своим ослом, который принялся завтракать, обрывая траву по краям окон и дверей разрушенного здания.

Сквайр опять сурово посмотрел на пастора, но как умел, в некоторой мере, владеть собою, то укротил на некоторое время свое негодование, и потом, с быстротой, бросился на осла.

У осла, передняя ноги были сцеплены веревкою, к которой был привязан чурбан, и под влиянием этого снаряда, называемого техниками *путы*, животное не могло избе-

---

<sup>2</sup> Так называется механизм особенного устройства, употребляемый в английских деревнях как мера наказания. *Колода* устроивается так, что виновный, посаженный в нее, остается весь на виду, лишаясь только свободного употребления рук и ног, и таким образом подвергается стыду публичного ареста, на долгий или кратчайший срок, смотря по мере вины своей. *Прим. пер.*

жать нападения. Но осел, повернувшись с необыкновенною быстротой, при первом ударе тростью, задел веревкой ногу сквайра и потащил его, кувыркая, между кустами крапивы; потом с важностью нагнулся, в продолжение этой процедуры, понюхал и полизал своего распростертого врага; наконец, убеждаясь, что хлопотать больше нечего, и что всего лучше предоставить развязку дела самой судьбе, он, в ожидании её, сорвал зубами цветущую и рослую крапиву вплоть к уху сквайра, – до такой степени вплоть, что пастор подумал, что вместе с крапивой откушено и ухо, каковое предположение было тем правдоподобнее, что сквайр, почувствовав горячее дыхание животного закричал всеми силами своих мощных легких.

– Ну что, откусил? спросил пастор, становясь между ослом и сквайром.

– Тысячи проклятий! кричал сквайр, вставая и вытираясь.

– Фу, какое неприличное выражение! сказав пастор кротко.

– Неприличное выражение! попробовал бы я вас одет в нанку, сказал сквайр продолжая вытираться: – одеть в нанку да бросить в самую чашу крапивы, с ослиными зубами вплоть к вашему уху....

– Так значит он не откусил его? прервал пастор.

– Нет то есть по крайней мере мне кажется, что нет, сказал сквайр, голосом, полным сомнения.

И вслед за тем схватился он за слуховой орган.

– Нет, не откушено: тут.

– Слава Богу, сказал пастор с участием.

– Мм, проворчал сквайр, который все продолжал вытираться. – Слава Богу! Только посмотрите, я весь облеплен репейником. Вот уж желал бы знать, для чего созданы крапива и репейник.

– Для питания ослов, если только вы позволите им, сквайр, отвечал пастор.

– Ах, проклятые животные! вскричал мистер Гэзелден, снова закипев гневом, в отношении ли ко всей породе ослов, или по чувству человека, уязвленного сквозь нанковую одежду крапивой, которая теперь заставляла его ежиться и потирать разные пункты своего выпачканного платья. – Животное! продолжал он, снова подняв палку на осла., который почтительно отступил на насколько, шагов и теперь стоял, подняв свой тощий хвост, и тщетно стараясь двигнуть передней ногой, которую кусали мухи.

– Бедный сказал пастор с состраданием. – Посмотрите, у него стерто плечо, и безжалостные мухи именно тут и напали.

– А я так радуюсь этому, сказал сквайр злобно.

– Фи, фи!

– Вам хорошо говорить, фи, фи. Не вы, небось, попали в крапиву. Вот толкуй после этого с людьми!

Пастор пошел к каштану, росшему на ближнем краю деревни, сломил сучок, возвратился к ослу, прогнал мух и по-

том бережно положил лист на стертое место, в защиту от насекомых. Осел повернул головою и смотрел на него с кротким удивлением.

– Я готов прозакладывать шиллинг, что это первая ласка, которую тебе оказывают в продолжение многих дней. А как легко, кажется, приласкать животное!

С этими словами, пастор опустил руку в карман и вынул оттуда яблоко.

Это была большое, краснощокое яблоко, одно из яблоков прошлогоднего урожая от знаменитой яблони в саду пастора, и которое он принес теперь какому-то деревенскому мальчику, отличившемуся в последний раз в школе.

– Да, по всей справедливости Ленни Ферфильд должен иметь пред другими преимущество, пробормотал пастор.

Осел подряд ухо и робко придвинул голову.

– Но Ленни Ферфильд может точно также удовольствоваться двумя пенсами; а тебе для чего два пенса?

Нос осла коснулся теперь яблока.

– Возьми его, во имя сострадания, произнес пастор.

Осел взял яблоко.

– Неужели у вас достает духу? спросил пастор, указывая на трость сквайра, которая снова поднималась.

Осел стоял, жуя яблоко и искоса поглядывая на сквайра.

– Полно, кушай; он не будет тебя бить более.

– Нет, не буду, произнес сквайр в ответ. – Но дело вот в чем: он не наш здешний осел: он пришлец, и потому его

нужно загнать к нам в околицу. Но околица у нас в самом дурном положении.

– Колода завтра должна быть поправлена... да! забор тоже, – и первый осел, который забредет сюда, будет загнан в стойло безвозвратно. Все это так же верно, как то, что я называюсь Гэзельден.

– В таком случае, сказал пастор с важностью: – мне остается только надеяться, что другие прихожане не последуют вашему примеру, и пожелать, чтобы мы как можно реже встречались друг с другом.

## Глава II

Пастор Дэль и сквайр Гэзельден расстались; последний пошел посмотреть своих овец, а первый – навестить прихожан, в том числе и Ленни Ферфилда, которого осел лишил яблока.

Ленни Ферфилда, по всей вероятности, не будет дома, потому что мать его наняла у помещика несколько десятин лугов, а теперь самое время севокоса. Леонард, более известный под именем Ленни, был единственный сын у матери, которая была вдова. Домик их стоял отдельно и в некотором отдалении от длинной, зеленеющей садами деревенской улицы. Это был настоящий английский коттедж, выстроенный, по меньшей мере, три столетия тому назад со стенами, выложенными из бутового камня, с дубовыми связями, и покрываемыми всякое лето новым слоем штукатурки, с соломенной кровлей, маленькими окнами и развалившеюся дверью, которая возвышается от земли только на две ступеньки. В этом скромном жилище заметна была всевозможная роскошь, какую только допускает быт крестьянина: над дверью извивалась ветка козьего листа, на окнах, стояло несколько горшков цветов; небольшая площадка земли перед домом была содержима в необыкновенном, порядке и опрятности; по обеим сторонам дороги к дому лежали довольно крупные камни, представляя таким образом род маленько-

го шоссе, обросшего цветущими кустарниками и ползучими растениями. Гряды картофеля скрывались за душистым горошком и волчьими бобами. Все это довольно скромные украшения, но они много говорят в пользу крестьян и помещика: вы видите, что крестьянин любит свой дом, привязан к нему и имеет довольно свободного времени и охоты, чтобы заняться исключительно украшением своего жилища. Такой крестьянин, конечно, плохой посетитель кабаков и верный защитник польз сквайра.

Подобное зрелище было так же восхитительно для пастора, как самый изысканный итальянский ландшафт для какого-нибудь дилетанта. Он остановился на минуту у калитки, осмотрелся кругом и с наслаждением вдыхал упоительный запах горошка, смешанный с запахом вновь-скошенного сена, который легкий ветерок приносил к нему с луга, бывшего позади. Потом он поднялся на крыльцо, бережно отер свои башмаки, которые всегда были особенно чисты и светлы, потому что мистер Дэль считался щеголем между своею братиею, прошел подошвами раза два по скобке, бывшей снаружи, и взялся за ручку двери. Какой-нибудь художник с артистическим восторгом смотрит на фигуру нимфы, изображенной на этрусской вазе, как будто она выжимает сок из кисти винограда в классическую урну. И пастор почувствовал столь же усладительное, если не столь же утонченное, удовольствие, при виде вдовы Ферфилд, которая наполняла водою, наравне с краями, блестящую чистотою чашку, для уто-



ления жажды трудолюбивых косарей.

Мистрисс Ферфилд была опрятная женщина средних лет, с тою проворною точностью в движениях, которая происходит от деятельности и быстроты ума, и когда она теперь обернулась, услыхав за собою шаги пастора, то показала физиономию вполне приличную; хотя и не особенно красивую, – физиономию, на которой расцветшая в эту минуту добродушная улыбка изгладила некоторые следы горя, но горя прошедшего, и её щоки, бывшие бледнее чем у большей части особ прекрасного пола и её комплекции, родившихся и выросших посреди сельского населения, скорее заставляли предполагать, что первая половина её жизни протекла в душливом воздухе какого нибудь города, посреди комнатных затворнических трудов.

– Пожалуйте, не стесняйтесь, сказал пастор, отвечая на её поклон и заметив, что она хочет надеть фартук: – если вы пойдете на сенокос, я пойду с вами; мне нужно кое-что сказать Ленни... славный мальчик!

– Вы очень добры, сэр; но, в самом деле, он добрый ребенок.

– Он читает необыкновенно хорошо, пишет сносно; он первый ученик в школе по предметам катехизиса и библейского чтения, и поверьте, что когда я вижу, как он стоит в церкви, прислушиваясь внимательно к службе, то мне кажется, что я читал бы проповеди вдвое лучше, если бы у меня были все такие слушатели.

Вдова (*отирая глаза концом своего фартука*). В самом деле, сэр, когда мой бедный Марк умирал, я не могла себе представить, что проживу и так, как прожила. Но этот мальчик до того ласков и добр, что когда я смотрю ни него, сидя на кресле моего малого Марка, я припоминаю, как Марк любил его, что он говорил ему обыкновенно, то мне кажется, что будто сам покойный улыбается мне и говорит, что пора и мне к нему, потому что мальчик подрастает и я ему не нужна более.

Пастор (*смотря в сторону и после некоторого молчания*). Вы ничего не слышали о стариках Лэнсмерах?

– Ничего, сэр; с тех пор, как бедный Марк умер, ни я, ни сын мой не имели от них никакой весточки. Но, прибавила вдова с некоторого рода гордостью: – это я не к тому говорю, чтобы нуждалась в их деньгах, только тяжело видеть, что отец и мать для нас точно чужие.

Пастор. Вы должны извинить им. Ваш отец, мистер Эвенель, сделался совершенно другим человеком после этого несчастного происшествия; но вы плачете, мой друг! простите меня... ваша матушка немножко горда, но и вы не без гордости, только в другом отношении.

Вдова. Я горда! Бог с вами, сэр! во мне нет и тени гордости! от этого-то они так и смотрят на меня высокомерно.

Пастор. Ваши родители еще не уйдут от нас; я пристану к ним через год или два насчет Ленни, потому что они обещали содержать его, когда он вырастет, да и должны по спра-

ведливости.

Вдова (*разгорячившись*). Я уверена, сэр, что вы не захотите этого сделать: я бы не желала, чтобы Лении был отдан на руки к тем, которые с самого рождения его не сказали ему ласкового слова.

Пастор с важностью улыбнулся и поник головою, видя, как бедная мистрисс Ферфильд обличила себя, против воли, в гордости; но, понимая, что теперь не время примирять самую упорную вражду, – вражду в отношении к близким родственникам, он поспешил прервать разговор и сказал:

– Хорошо! еще будет время подумать о судьбе Ленни; а теперь мы совсем забыли наших косарей. Пойдемте.

Вдова отворила дверь, которая вела чрез маленький яблочный сад к лугу.

Пастор. У вас здесь прелестное место, и я вижу, что другой мой Ленни не будет иметь недостатка в яблоках. Я нес было ему яблочко, да отдал его на дороге.

Вдова. О, сэр, не подарок дорог, а доброе желание. Я очень ценю, например, что сквайр – да благословит его Господь! – приказал сбавить мне два фунта с арендной платы в тот год, как он, то есть Марк, скончался.

Пастор. Если Ленни будет вам так же помогать вперед, как теперь, то сквайр опять наложит два фунта.

– Да, сэр, отвечала вдова простодушно: – я думаю, что наложит.

– Странная женщина! проворчал пастор. – Ведь вот, окон-

чившая курс в школе дама не сказала бы этого. Вы не умеете ни читать, ни писать, мистрисс Ферфильд, а между тем выражаетесь довольно отчетливо.

– Вы знаете, сэръ, что Марк был в школе, точно так же, как и моя бедная сестра, и хотя я до самого замужства была тупой, безтолковой девочкой, но, выйдя замуж, я старалась, сколько могла, образовать свой ум.

## Глава III

Они пришли теперь на самое место сенокоса, и мальчик лет шестнадцати, но которому, на вид, как это бывает с большею частью деревенских мальчиков, казалось менее, смотрел на них, держа в руках грабли, живыми голубыми глазами, блестящими из под густых темно-русых, вьющихся волос. Леонард Ферфилд был, в самом деле, красивый мальчик, не довольно, может быть, плечистый и румяный для того, чтобы представить из себя идеал сельской красоты, но и не столь жидкий телосложением и нежный лицом, как бывают дети, воспитанные в городах, у которых ум развивается на счет тела; он не был в то же время лишен деревенского румянца на щеках и городской грации в лице и вольных, непринужденных движениях. В его физиономии было что-то невыразимо-интересное, по свойственному ей характеру невинности и простоты. Вы бы тотчас угадали, что он воспитан женщиною, и притом в некотором отдалении от других мальчиков его лет; что тот запас умственных способностей, который был развит в нем, созрел не под влиянием шуток и шалостей его сверстников, а под влиянием родительских советов, серьёзных разговоров и нравственных уроков, находимых в хороших детских книгах.

Пастор. Поди сюда, Ленни. Ты знаешь цель всякого ученья: сумей извлечь из него, пользу и сделаться подпорю сво-

ей матери.

Ленни (*скромно опустив глаза и с некоторым жаром*). Дай Бог, сэр, чтобы я скорее был в состоянии это исполнить.

Пастор. Правда, Ленни. Позволь-ка. И думаю, ты скоро сделаешься взрослым человеком. Сколько тебе лет?

(*Ленни смотрит вопросительно на свою мать.*)

Ты должен сам знать, Ленни; говори сам за себя. Поудержите свой язычек, мистрисс Ферфилд.

Ленни (*вертя свою шляпу и с сильным замешательством*). Да, так точно: у соседа Деттона есть Флоп, старая овчарка. Я думаю, она уже очень стара.

Пастор. Я справляюсь о годах не Флопа, а о твоих.

Ленни. Точно так, сэр! я слышал, что мы с Флопом родились вместе. Это значит, мне.... мне....

Пастор начинает хохотать, мистрисс Ферфилд также, а вслед за ними и косари, которые стояли кругом и прислушивались к разговору. Бедный Ленни совершенно растерялся, и по лицу его было заметно, что он готов заплакать.

Пастор (*ободрительно поглаживая его кудрявую голову*). Ничего, ничего; ты довольно умно рассчитал. Ну, сколько же лет Флопу?

Ленни. Ему должно быть пятнадцать лет слишком.

Пастогъ. Сколько же тебе лет?

Ленни (*со взглядом, полным живого остроумия*). Слишком пятнадцать лет.

Вдова вздыхает и поникает головой.

– Да, видите ли, это по-вашему значит, что мы родились вместе, сказал пастор. Или, говоря другими словами, – и здесь он величественно поднял взоры, обращаясь к косарям, – другими словами; благодаря его любви к чтению, наш простачок Ленни Ферфильд, который стоит здесь, доказал, что он способен к *умозаключению по законам наведения*.

При этих словах, произнесенных *ore rotundo*, косари перестали хохотать, потому что, какой бы ни был предмет разговора, они считали своего пастора оракулом и слова его всегда и везде непреложными.

Ленни гордо поднял голову.

– А ты, кажется, очень любишь Флопа?

– Очень любит, сказала вдова:– больше, чем всех других животных.

– Прекрасно! Представь себе, мой друг, что у тебя в руке спелое, душистое яблоко, и что на дороге с тобою встречается приятель, которому оно нужнее, чем тебе: что бы ты сделал в таком случае?

– Я бы отдал ему половину яблока, сэр; не так ли?

Пастор (*несколько опечалившись*). А не целое яблоко, Ленини?

Ленни (*подумав*). Если он мне настоящий приятель, то сам не захочет взять целое яблоко.

– Bravo, мастэр Леонард! ты говоришь так хорошо, что нельзя не сказать тебе всей правды. Я принес было тебе

яблоко, в награду за твое благонравие в школе. Но я встретил на дороге бедного осла, которого некто бил за то, что он щипал крапиву; мне пришло в голову, что я вознагражу его за побои, если дам ему яблоко. Должен ли я был дать ему только половину?

Простодушное лицо Ленни осветилось улыбкой; интерес настоящего вопроса затронул его за-живое.

– А этот осел любил яблоки?

– Очень, отвечал пастор, шаря у себя в кармане.

Но в то же время, размышляя о летах и способностях Леопарда Ферфилида, заметив, кроме того, к своему сердечно-удовольствию, что он окружен толпою зрителей, ожидающих развязки этой сцены, он подумал, что двух-пенсовой монеты, приготовленной им, было бы недостаточно, а потому и вынул серебряную в шесть пенсов,

– Вот тебе, мой разумник, за половину яблока, которую ты оставил бы себе.

Пастор опять погладил курчавую голову Ленни, и, после двух-трех приветливых слов к некоторым из косарей и желания доброго дня мистрисс Ферфильд, он пошел по дороге, ведущей к его дому. Он уже подошел к забору своего жилища, когда услышал за собою торопливые, но вместе и боязливые шаги. Он обернулся и увидел своего приятеля Ленни.

Ленни (*держа шести-пенсовую монету в руке и протягивая ее к пастору, кричал*): не за что, сэр! я отдал бы все яблоко Недди.



Пастор. В таком случае ты имеешь еще более права на эти шесть пенсов.

Ленни. Нет, сэр; вы дали мне их за пол-ябдока. А если бы я отдал целое, как и надо было сделать, то я не мог бы уже получить шести пенсов. Возьмите назад; не сердитесь, но возьмите назад... Ну что же, сэр?

Пастор медлил. И мальчик положил ему монету в руку, так же, как, не задолго до того, осел протягивался к этой же руке, имея виды на яблоко.

В самом деле, обстоятельство было затруднительно.

Сострадание, как незваная гостья, которая всегда застывает вам дорогу и отнимает у других яблоки для того, чтобы испечь свой собственный пирог, лишило Ленни должной ему награды; а теперь чувствительность пыталась отнять у него и вторичное возмездие. Положение было затруднительно; пастор высоко ценил чувствительность и не решался противоречить ей, боясь, чтобы она не убежала навсегда. Таким образом, мистер Дэль стоял в нерешимости, смотря на монету и Ленни, на Ленни и монету, по очереди.

– *Buono giorno* – добрый день! сказал сзади их голос, отзывавшийся иностранным акцентом, – и какая-то фигура скоро показалась у забора.

Представьте себе высокого и чрезвычайно худого мужчину, одетого в изношенное черное платье: панталоны, которые обжимали ноги у колен и икр и потом расходились в виде, стиблетов над толстыми башмаками, застегнутыми по-

верх ступни; старый плащ, подбитый красным, висел у него на плече, хотя день был удушливо-жарок; какой-то уродливый, красный, иностранный зонтик, с кривою железною ручкою, был у него под мышкой, хотя на небе не видно было ни облачка; густые черные волосы, в вьющихся пучках, мягких как шолк, выбивались из под его соломенной шляпы, с чудовищными полями; лицо несколько болезненное и смуглое, с чертами, которые хотя и показались бы изящными для глаза артиста, но которые не соответствовали понятию о красоте, господствующему между англичанами, а скорее были бы названы страшными; длинный, с горбом, нос, впалые щеки, черные глаза, которых пронизательный блеск принимал что-то магическое, таинственное от надетых на них очков: рот, на котором играла ироническая улыбка, и в котором физиономист открыл бы следы хитрости, скрытности, дополняли картину.

Представьте же, что этот загадочный странник, который каждому крестьянину мог показаться выходцем из ада, – представьте, что он точно вырос из земли близ дома пастора, посреди зеленеющих полей и в виду этой патриархальной деревни; тут он сел, протянув свои длинные ноги, покуривая германскую трубку и выпуская дым из уголка сардонических губ; глаза его мрачно смотрели сквозь очки на недоумевающего пастора и Ленни Ферфилда. Ленни Ферфилд, заметив его, испугался.

– Вы очень кстати пожаловали, доктор Риккабокка, ска-

зал мистер Дэль, с улыбкою:— разрешите нам запутанный тяжёлый вопрос.

И при этом пастор объяснил сущность разбираемого дела.

— Должно ли отдать Ленни Ферфилду шесть пенсов, или нет? спросил он в заключение.

— *Cospetto!* сказал доктор. — Если курица будят держать язык на привязи, то никто не узнает, когда она снесет яйцо.

— Прекрасно, скакал пастор: — но что же из того следует? Изречение очень остроумно, но я не вижу, как применить его к настоящему случаю.

— Тысячу извинений! отвечал доктор Риккабокка, с свойственной итальянцу учтивостью: — но мне кажется, что если бы вы дали шесть пенсов *fancullo*, то есть этому мальчику, не рассказывая ему истории об осле, то ни вы, ни он не попался бы в такую безвыходную дилемму.

— Но, мой милый сэр, прошептал, с кротостью, пастор, приложив губы к уху доктора: — тогда я потерял бы удобный случай преподать урок нравственности... вы понимаете меня?

Доктор Риккабокка пожал плечами, поднес трубку к губам и сильно затянулся. Это была красноречивая затяжка, — затяжка, свойственная по преимуществу философам, — затяжка, выражавшая совершенную, холодную недоверчивость к нравственному уроку пастора.

— Однако, вы все-таки не разрешили нас, сказал пастор, после некоторого молчания.

Доктор вынул трубку изо рта.

– *Cospetto!* сказал он. – Кто мылит голову ослу, тот только теряет мыло понапрасну.

– Если бы вы мне пятьдесят раз сряду вымыли голову своими загадочными пословицами, то я не сделался бы оттого ни на волос умнее.

– Мой добрый сэр, сказал доктор, облокотясь на забор, – я вовсе не подразумевал, чтобы в моей история было более одного осла; но мне казалось, что лучше нельзя было выразить моей мысли, которая очень проста – вы мыли голову ослу, не удивляйтесь же, что вы потратили мыло. Пусть *fanciullo* возьмет шесть пенсов; но надо правду сказать, что для маленького мальчика это значительная сумма. Он истратит ее как раз на какие нибудь вздоры.

– Слышишь, Ленни? сказал пастор, протягивая ему монету.

Но Ленни отступил, бросив на судью своего взгляд, выражавший неудовольствие и отвращение.

– Нет, сделайте милость, мистер Дэль, сказал он, упорно. – Я уж лучше не возьму.

– Посмотрите: теперь мы дошли до чувств, произнес пастор, обращаясь к судье; – а, того и гляди, что мальчик прав.

– Если уже разыгралось чувство, сказал доктор Риккабокка: – то нечего тут и толковать. Когда чувство влезет в дверь, то рассудку только и остается, что выпрыгнуть в окно.

– Ступай, добрый мальчик, сказал пастор, кладя монету

в карман: – но постой и дай мне руку... ну вот, теперь прощай.

Глаза Ленни заблестели, когда пастор пожал ему руку, и, не смея промолвить ни слова, он поспешно удалился. Пастор отер себе лоб и сел у околицы, возле итальянца. Перед ними расстился прелестный вид, и они оба, любуясь им – хотя не одинаково – несколько минут молчали.

По другую сторону улицы, сквозь ветви дубов и каштанов, которые поднимались из за обросшей мхом ограды Гэзельден-парка, виднелись зеленые холмы, пестревшие стадами коз и овец; влево тянулась длинная аллея, которая оканчивалась лужайкой, делившей парк на две половины и украшенной кустарником и грядами цветов, росших под сению двух величественных кедров. На этой же платформе, видневшейся отсюда лишь частью, стоял старинный дом сквайра, с красными кирпичными стенами, каменными рамами окон, фронтонами и чудовищными трубами на крыше. По эту сторону, прямо против сидевших у околицы собеседников, извивалась улица деревни, с своими хижинами, то выглядывавшими, то прятавшимися, одна за другую; наконец, на заднем плане, расстился вид на отдаленную синеву неба, на поля, покрытые волнующимися от ветра колосьями, с признаками соседних деревень и ферм на горизонте. Позади, из чащи сирени и акаций, выставлялся дом пастора, с густым старинным садом и шумным ручейком, который протекал перед окнами. Птицы порхали по саду и по жи-

вой изгороди, опоясывавшей его, и из отдаленной части леса от времени до времени долетал сюда унылый отзыв кукушки.

– Надо правду сказать, произнес мистер Дэль, с восторгом: – мне досталось на долю прелестное убежище.

Итальянец надел на себя плащ и вздохнул едва слышно. Может быть, ему пришла в голову его родная полуденная страна, и он подумал, что, при всей свежести и роскоши северной зелени, не было посреди её отрадного приюта для чужестранца.

Но, прежде чем пастор успел подметить этот вздох и спросить о причине его, как сардоническая улыбка показалась уже на тонких губах доктора Риккабокка.

– Пер Вассо! сказал он: – во всех странах, где случилось мне быть, я замечал, что грачи поселяются именно там, где деревья особенно красивы.

Пастор обратил свои кроткие глаза на философа, и в них было столько мольбы, вместо упрека, что доктор Риккабокка отвернулся и закурил с большим жаром свою трубку. Доктор Риккабокка очень не любил пасторов, но хотя пастор Дэль был пастором во всем смысле этого слова, однако в эту минуту в нем было так мало того, что доктор Риккабокка разумел под понятием пастора, что итальянец почувствовал в сердце раскаяние за свои неуместные шутки. К счастью, в эту минуту начатый так неприятно разговор был прерван появлением лица, не менее замечательного, чем тот осел, который съел яблоко.

## Глава IV

Медник был рослый, смуглый парень, веселый и вместе с тем музыкальный, потому что, повертывая палкой в воздухе, он пел что-то и при каждом *refrain* опускал палку на спину своего осла. Таким образом, медник шел сзади, распевая, осел шел впереди, получая чувствительные удары.

– У вас престранные обычаи, заметил доктор Риккабокка: – на моей родине ослы не привыкли получать побои без причины.

Пастор соскочил с завалины, на которой сидел, и, смотря через забор, который отделял поле от дороги, стал взывать к меднику;

– Милейший, милейший! послушай: удары твоей палки мешают слушать твое приятное пение. . . . Ах, мастер Спротт, мастер Спротт! хороший человек всегда милостив к своей скотине.

Осел, кажется, узнал своего друга, потому что вдруг остановился, глубокомысленно поднял одно ухо и взглянул вверх.

Медник взялся за шляпу и тоже стал глядеть кверху.

– Ах, мое почтение, уважаемый пастор! Вы не бойтесь: он любят это. Я не буду тебя бить, Недди. . . не бить, что ли?

Осел потряс головою и вздрогнул: может быть, муха опять села на стертое место, которое лишилось уже защиты каш-

танового листа.

– Я уверен, что ты не желал причинить ему боль, Спротт, сказал пастор, с большею хитростью, чем прямодушием, потому что он применился к твердому и упругому веществу, называемому человеческим сердцем, которое даже в патриархальной среде деревенского быта требует известных уловок, ласки и маленькой лести для того, чтобы можно было употребить успешное посредничество, например, между крестьянином и его ослом: – я у верен, что ты не желал причинить ему боли, заставить страдать его; но у него, бедного, и так уже рана на плече, величиною с мою ладонь.

– Да, в самом деле: это он ссадил себе об ясля в тот день, как я покупал овес, сказал медник.

Доктор Риккабокка поправил очки и взглянул на осла; осел поднял другое ухо и взглянул на доктора Риккабокка.

Пастор имел высокое понятие о мудрости своего друга.

– Скажите и вы чтонибудь в защиту осла, прошептал он.

– Сэр, сказал доктор, обращаясь к мистеру Спротту с почтительным поклоном: – в моем доме, в казино, есть большой котел, который нужно запаять: не можете ли вы мне рекомендовать какогонибудь медника?

– Что же? это мое дело, сказал Спротт: – у нас в околке нет другого медника, кроме меня.

– Вы шутите, мой добрый сэр, сказал доктор, ласково улыбаясь. Человек, который не может починить прореху на своем собственном осле, и подавно не унижится до того, чтобы



спаивать мой большой котел.

– Государь мой и сэръ, сказал медник лукаво: – если бы я знал, что мой бедный Недди приобрел таких высоких покровителей, то стал бы иначе обращаться с ним.

– *Corpo di Vacco!* вскричал доктор: – хотя эта острота и не очень нова, но надо признаться, что медник ловко выпутался из дела.

– Правда; но ослу-то от того не легче! сказал пастор. – Знаете, я бы желал купить его.

– Позвольте мне рассказать вам анекдот по этому случаю, сказал доктор Риккабокка.

– А именно? отвечал пастор вопросительно.

– Однажды, начал Риккабокка: – император Адриан, придя в общественные бани, увидел там старого солдата, служившего под его начальством, который тер себе спину о мраморную стену. Император, который был умен и любопытен, послал за солдатом и спросил его, для чего он прибегает в подобному средству тереть себе спину? «Потому – отвечал солдат – что я слишком беден для того, чтобы нанять банщиков, которые бы терли меня в лежачем положении». Император был тронут и дал ему денег. На другой день, когда император пришел в баню, старики со всего города собрались тут и с ожесточением терлись спинами о стены. Император послал за ними и сделал им такой же вопрос, как и солдату; старые плуты, разумеется, дали такой же ответ, как солдат. «Друзья мои – сказал Адриан – если вас здесь собралось так

много, то вы очень можете тереть друг друга». Мистер Дэль, если вы не желаете купить всех ослов в целом графстве, у которых ссажены плечи, то уж лучше не покупайте и осла медника.

– Труднейшая вещь на свете сделать истинное добро, проговорил пастор, и с досады выдернул палку из забора, переломил ее на двое и бросил обломки на дорогу. Осел опустил уши и побрел далее.

– Нутка, трогай (вскричал медник, идя вслед за ослом. Потом, остановившись, он посмотрел на его плечо, и, видя, что взоры пастора грустно устремлены на его *protégé*, он вскричал ему издали: – не бойтесь, почтеннейший пастор, не бойтесь: я не буду бить его.

## Глава V

– Четыре часа! вскричал пастор, посмотрев на часы:– я опоздал уже полу-часом к обеду, а мистрисс Дэль просила меня быть особенно аккуратным, потому что сквайр прислал нам превосходную семгу. Не угодно ли вам, доктор, покушать с нами, как говорится, чем Бог послал?

Доктор Риккабокка, подобно большей части мудрецов, особенно итальянских, не был вовсе доверчивым в отношении к человеческой природе. Он был склонен подозревать своекорыстные интересы в самых простых поступках своего ближнего, и когда пастор пригласил его откусать, он улыбнувшись с некоторого рода гордою снисходительностью, потому что мистрисс Дэль, по отзывам её друзей, была очень слаонервна. А как благовоспитанные лэди редко позволяют разыгрываться своим нервам в присутствии третьего лица не из их семейства, то доктор Риккабокка и заключил, что он приглашен не без особенной цели. Несмотря на то, однако, любя особенно семгу и будучи гораздо добрее, чем можно было бы подумать, судя по его понятиям, он принял приглашение, но сделал это, бросив такой лукавый взгляд поверх своих очков, что заставил покраснеть бедного пастора. Должно быть, Риккабокка угадал на этот раз тайные помышления своего спутника.

Они отправились, перешли маленький мост, переброшен-

ный через ручей, и вошли на двор пасторского жилища. Две собаки, которые, казалось, караулили своего барина, бросились к нему с воем; вслед за тем мистрисс Дэль, с зонтиком в руке, высунулась из окна, выходившего на лужайку. Теперь я понимаю, читатель, что, в глубине своего сердца, ты смеешься над неведением тайн домашнего очага, обнаруженным автором, и говоришь сам себе: «прекрасное средство: укрощать раздраженные нервы тем, чтобы испортить превосходную рыбу, привести еще неожиданного приятеля есть ее!»

Но, к твоему крайнему стыду и замешательству, узнай, о читатель, что и автор и пастор Дэль были себе на уме, поступая таким образом.

Доктор Риккабокка был особенным любимцем мистрисс Дэль; он был единственное лицо в целом графстве, которое не смущало её своим неожиданным приходом. Действительно, как он ни казался странным с первого взгляда, доктор Риккабокка имел в себе что-то неизъяснимо-привлекательное, непонятное для людей одного, с ними пола, но ошутительное для женщин, этим он был обязан своей глубокой и вместе притворной политике в сношениях с ними он смотрел на женщину как на закоренелого врага мужчин, — как на врага, против которого надо употреблять все меры предосторожности, которого надо постоянно обезоруживать всеми возможными видами угодливости и предупредительности. Он обязан был этим отчасти и сострадательной

их натуре, потому что женщины непременно начинают любить того, о ком сожалеют без презрения, а бедность доктора Риккабокка, его одинокая жизнь в изгнании добровольном ли, или принужденном, были в состоянии возбудить чувство сострадания; с другой стороны, несмотря на изношенный плащ, красный зонтик, растрепанные волосы, в нем было что-то, особенно когда он начинал говорить с дамами, – что-то напоминавшее приемы дворянина и кавалера, которые более свойственны всякому благовоспитанному итальянцу, какого бы происхождения он ни был, чем самой высшей аристократии всякой другой страны Европы. Потому что хотя я соглашаюсь, что ничто не может быть изысканнее учтивости французского маркиза прошлого столетия, ничего привлекательнее открытого тона благовоспитанного англичанина; ничего более отрадного, чем глубокомысленная доброта патриархального германца, готового забыть о себе, лишь бы оказать вам услугу, – но эти образцы отличных качеств во всех этих нациях составляют исключение, редкость, тогда как приветливость и изящество в манерах составляют принадлежность почти всякого итальянца, кажется, соединили в себе превосходные качества своих предков, украшая образованность Цезаря грацией, свойственную Горацию.

– Доктор Риккабокка был так добр, что согласился откусать с нами, произнес пастор поспешно.

– Если позволите, сказал итальянец, наклонившись

над рукой, которая ему была протянута, но которой он не взял, думая что так будет осторожнее.

– Я думаю только, что семга совсем переварилась, начала мистрисс Дэль плачевным голосом.

– Когда обедаешь с мистрисс Дэль, то забываешь о семге, сказал предательски доктор.

– Джемс, кажется, идет доложить, что кушанье подано? спросил пастор.

– Он уже докладывал об этом три-четверти часа тому назад, Чарльз, мой милый, возразила мистрисс Дэль, подав руку доктору Риккабокка.

Пока пастор и его супруга занимают своего гостя, я намерен угостить читателя небольшим трактатом по поводу слов: «милый Чарльз», произнесенных так невыразимо-ласково мистрисс Дэль, – трактатом, написанным в пользу нежных супругов.

Кто-то давно уже сострил, что в целом словаре какого хотите языка нет ни одного слова, которое бы так мало выражало, как слово *милый*, но хотя это выражение опошлилось уже от частого употребления, в нем остаются еще для пытливого исследователя некоторые неизведанные оттенки, особенно когда он обратит внимание на обратный смысл этого коротенького слова.

Никогда, сколько мне случилось узнать по опыту, степень приязни или неприязни, выражаемых им, определяется положением его в известной фразе. Когда, как будто ле-

ниво, нехотя, оно ускользает в самый конец периода, как это мы видели во фразе, сказанной мистрисс Дэль, то разливает столько горечи на пути своем, что всегда почти сдобривается улыбкою, придерживаясь правила *amara lento temperet risum*. Иногда подобная улыбка полна сострадания, иногда она по преимуществу лукава. Например:

(Голосом жалобным и протяжным)

– Я знаю, Чарльз, что все, что бы я ни сделаю, всегда невпопад, мой милый.

– Ну, что же, Чарльз? я очень довольна, что тебе без меня так весело, мой милый.

– Пожалуйте потише! Если бы ты знал, Чарльз, как у меня болит голова, милый, и пр.

(С некоторым лукавством)

– Ты, я думаю, Чарльз, мог бы и не проливать чернил на самую лучшую скатерть, мой милый!

– Хоть ты и говоришь, Чарльз, что всегда идешь по прямой дороге, однако не менее других ошибаешься, мой милый, и проч.

При подобной расстановке, могут встречаться милые особы из родственников, точно так же, как и супруги. Например:

– Подними голову; полно упрямитесь, мой милый.

– Будь хоть на один день хорошим мальчиком; ведь это, мой милый... и пр.

Когда недруг останавливается на середине мысли, то и жолчь, выражаемая этою мыслию, приливает ближе

к началу. Например:

– В самом деле, я должна тебе сказать, Чарльз, мой милый, что ты из рук вон нетерпелив... и пр.

– И если наши счета, Чарльз, на прошлой неделе не были уплачены, то я желаю знать, милый мой, кто виноват в этом.

– Неужели ты думаешь, Чарльз, что тебе некуда положить свои ноги, мой милый, кроме как на ситцевую софу?

– Ты сам знаешь, Чарльз, что ты, милый, не очень-то заботишься обо мне и о детях, не более... и пр.

Но если это роковое слово является во всей своей первобытной свежести в начале фразы, то преклоните голову и ожидайте бури. Тогда уже ему непременно предшествует величественное *мой*, тут уже дело не обходится одним упреком или жалобой: тут уже ожидайте длинного увещания. Я считаю себя обязанным заметить, что в этом смысле страшное слово всего чаще употребляется строгими мужьями или вообще лицами, которые играют роль *pater-familias*, главы семейства, признавая цель своей власти не в том, чтобы поддержать мир, любовь и спокойствие семьи, а именно выразить свое значение и право первенства. Например:

– Моя милая Джен, я думаю, что ты могла бы обложить иголку и выслушать меня как должно.... и пр.

– Моя милая Джен, я хочу, чтобы ты поняла меня хоть раз в жизни. Не думай, чтобы я сердился: я только огорчен. рассуди сама.... и пр.

– Моя милая Джен, я не понимаю, намерена, что ли,



ты разорить меня совершенно? Я бы желал только, чтобы ты следовала примеру других хороших жен и училась беречь всякую копейку из собственности твоего мужа, который... и пр.

– Моя милая Джен, я думаю, ты убедилась, что никто так не далек от ревности, как я, но я соглашусь быть повешенным, если этот пузатый капитан Преттимэн... и пр.

## Глава VI

По наступлении прохладного вечера, доктор Риккабокка отправился домой по дороге, пролегавшей полем. Мистер и мистрисс Дэль проводили его до половины дороги, и когда они возвращались теперь к своему дому, то оглядывались от времени до времени назад, чтобы посмотреть на эту высокую, странную фигуру, которая удалялась по извилистой дороге и то пряталась, то выставлялась из за зеленевшихся хлебных колосьев.

– Бедняжка! сказала мистрисс Дэль чувствительно, и бантик, приколотый у неё на груди, приподнялся. – Как жаль, что некому о нем позаботиться! Он смотрит хорошим семьянином. Не правда ли, Чарльз, что для него было бы великим благодеянием, если бы мы приискали ему хорошую жену.

– Мм, сказал пастор: – я не думаю, чтобы он уважал супружество как должно.

– Почему же, Чарльз? Я не видала человека, который был бы так учтив с дамами, как он.

– Так, но....

– Что же? Ты всегда, Чарльз, говоришь так таинственно, мой милый, что ни на что не похоже.

– Таинственно! вовсе нет. Хорошо, что ты не слыхала, как доктор отзывается иногда о женщинах.

– Да, когда вы, мужчины, сойдётесь вместе. Я знаю, что вы

рассказываете тогда о вас славные вещи. Но вы ведь все таковы; не правда ли все, мой милый?

— Я знаю только то, отвечал пастор простодушно:— что я обязан иметь хорошее мнение о женщинах, когда думаю о тебе и о моей бедной матери.

Мистрисс Дэль, которая, несмотря на расстройство нервов, все-таки была добрая женщина и любила своего мужа всею силою своего живого, миниатюрного сердечка, была тронута.

Она пожала мужу руку и не называла его *милым* во все продолжение дороги.

Между тем итальянец перешел поле и выбрался на большую дорогу, в двух милях от Гезельдена. На одной стороне тут стояла старая уединенная гостиница, такая, какими были все английские гостиницы, пока не сделались отелями ври железных дорогах — четырех-угольная, прочно выстроенная в старинном вкусе, приветливая и удобная на взгляд, с большой вывеской, колеблющейся на длинном вязовом шесте, длинным рядом стойл сзади, с несколькими возами, стоящими на дворе, и словоохотливым помещиком; рассуждающим об урожае с каким-то толстым фермером, который приворотил свою бурую лошадку к двери знакомой гостиницы. Напротив, по другую сторону дороги, стояло жилище доктора Риккабокка.

За несколько лет до описанных нами происшествий, почтовый дилижанс, на пути от одного из портовых городов

в Лондон, остановился, по обыкновению, у этой гостиницы, на целый час, с тем, чтобы пассажиры могли пообедать как добрые, истые англичане, а не принуждены бы была проглатывать одним разом тарелку горячего супу, как заморские янки<sup>3</sup>, при первом свистке, который раздастся в их ушах, точно крик нападающего неприятеля. Это была лучшая обеденная стоянка на целой дороге, потому что семга из соседней реки была превосходна, бараны Гэзельден-парка славились во всем околке.

С крыши дилижанса сошли двое путешественников, которые одни лишь, пребыли нечувствительны к прелестям барана и семги и отказались от обеда: это были, меланхолического вида, чужестранцы, из которых один был синьор Риккабокка, точь-в-точь такой же, каким мы его видели теперь; только плащ его не был так истаскан, стан не так худ, и он не носил еще очков. Другой был его слуга. Покуда дилижанс переменил лошадей, они стали бродить по окрестности. Глаза итальянца были привлечены разрушенным домом без крыши, на другой стороне дороги, который, впрочем, как видно, был выстроен довольно роскошно. За домом возвышался зеленый холм, склонявшийся к югу; с искусственной скалы тут падал каскад. При доме были терраса с перилами, разбитыми урнами и статуями перед портиком в ионическом вкусе; на дорогу прибита была доска с изгладившеюся почти надписью, объяснявшею, что дом отдается в наймы, без ме-

---

<sup>3</sup> Так англичане в насмешку величают американцев.

бели, с землею, или и без земли.

Жилище, которое представляло такой печальный вид, и которое так давно было в совершенном забросе, принадлежало сквайру Гэзельдену.

Оно было построено его прадедом по женской линии, помещиком, который ездил в Италию (путешествие, которого примеры в эту пору довольно редки) и по возвращении домой вздумал выстроить в миниатюре итальянскую виллу. Он оставил одну дочь, свою единственную наследницу, которая вышла замуж за отца известного нам сквайра Гэзельдена; и с этого времени дом, оставленный своими владельцами для более просторного жилища, пребывал в запустении и пренебрежения. Некоторые охотники вызывались было его нанять, но сквайр не решался пустить на свою территорию опасного соседа. Если являлись любители стрельбы, Гэзельдены не хотели и начинать с ними дела, потому что сами дорожили дичиной и непроходимыми болотами. Если являлись светские люди из Лондона, Гэзельдены опасались, чтобы лондонские слуги не испортили их слуг и не произвели возвышения в ценах на съестные припасы. Являлись и фабриканты, прекратившие свои дела, но Гэзельдены слишком высоко поднимали свои агрономические носы. Одним словом, одни были слишком важны, другие слишком незначительны. Некоторым отказывали потому, что слишком коротко были с ними знакомы. Друзья обыкновенно кажутся лучше на некотором расстоянии» – говорили Гэзельдены. Иным

отказывали потому, что вовсе не знали их, говоря, что от чужого нечего ожидать доброго. Таким образом, дом стоял пустой и все более и более приходил в разрушение. Теперь на его террасе стояли два забредшие итальянца, осматривая его с улыбкою со всех сторон, так как в первый раз еще после того, как они вступили на английскую землю, они узнали в полу-разрушенных пилястрах, развалившихся статуях, поросшей травю террасе и остатках орранжереи хотя бледное, но все-таки подобие того, что красовалось в их родной стране, далеко оставшейся у них позади.

Возвратясь в гостиницу, доктор Риккабокка воспользовался случаем узнать от содержателя её, который был прикащиком сквайра, некоторые подробности об этом доме.

Несколько дней спустя после того, мистер Гэзельден получает письмо от одного из известных лондонских комиссионеров, объясняющее, что очень почтенный иностранный джентльмен поручил ему договориться насчет дома в итальянском вкусе, называемого *casino*, который он желает нанять; что помянутый джентльмен не стреляет, живет очень уединенно и, не имея семейства, не нуждается в поправке своего жилища, исключая лишь крыши, которую и он признает необходимою, и что, за устранением всех побочных расходов, он полагает, что наемная плата будет соответствовать его финансовому состоянию, которое очень ограничено. Предложение пришло в счастливую минуту, именно тогда, когда управляющий представил сквайру о необходимо-

сти сделать некоторые починки в casino, чтобы не допустить его до совершенного разрушения, а сквайр проклинал судьбу, что casino должен был перейти к старшему в роде и потому не мог быть сломан или продан. Мистер Гэзельден принял предложение подобно одной прекрасной лэди, которая отказывала самым лучшим женихам в королевстве и наконец вышла за какого-то дряхлого капитана готового поступит в богадельню, – и отвечал, что, что касается до платы, то, если будущий жилец его действительно почтенный человек, он согласен на всякую уступку; что на первый год джентльмен может вовсе избавиться от платы, с условием очистить пошрины и привести строение в некоторый порядок; что если они сойдутся, то можно и назначить срок переезда. Через десять дней после этого любовного ответа, синьор Риккабокка и слуга его приехали; а прежде истечения года сквайр так полюбил своего жильца, что дал ему льготу от платежа на семь, четырнадцать или даже двадцать слишком лет, с условием, что синьор Риккабокка будет чинить строение и вставить в иных местах железные решотки в забор, который он поправит за свой счет; Удивительно, как мало по малу итальянец сделал из этой развалины красивый домик и как дешево стоили ему все поправки. Он выкрасил сам стены в зале, лестницу и свои собственные апартаменты. Слуга его обивал стены и мебель. Оба они занялись и садом; впоследствии душевно привязались к своему жилищу и лелеяли его.

Нескоро, впрочем, окрестные жители привыкли к непонятным обычаям чужестранцев. Первое, что удивляло их, была необыкновенная умеренность в выборе провизии. Три дня в неделю и господин и слуга обедали только овощи из своего огорода и рыбу из соседней речки; когда не попадалась семга, они довольствовались и пискарями (а разумеется, во всех больших и малых реках пискари попадают легче, чем семга). Второе, что не нравилось соседним крестьянам, в особенности прекрасной половине жителей, это то, что оба итальянца чрезвычайно мало нуждались в женской прислуге, которая обыкновенно считается необходимою в домашнем быту. Сначала у них вовсе не было женщины в доме. Но это произвело такое волнение в околоселении, что пастор Дэл дал на этот счет совет Риккабокка, который вслед за тем нанял какую-то старуху, поторговавшись, впрочем, довольно долго, за три шиллинга в неделю – мыть и чистить все сколько ей угодно, в продолжении дня. В ночь она обыкновенно возвращалась к себе домой. Слуга, которого соседи звали Джакеймо, делал все для своего господина: мел его комнаты, обтирал пыль с бумаг, варил ему кофе, готовил обед, чистил платье и трубки, которых у Риккабокка была большая коллекция. Но как бы ни был скрытен характер человека, он всегда выкажется в какой-нибудь мелочи; таким образом, в некоторых случаях итальянец являл в себе примеры ласковости, снисхождения и даже, хотя очень редко, некоторой щедрости, что и заставило молчать его кле-



ветников. Исподволь он приобрел себе прекрасную репутацию – хотя и подозревали, сказать правду, что он склонен заниматься черной магией, что он морит себя и слугу голодом; но во всех других отношениях он считался смирным, покойным человеком.

Синьор Риккабокка, как мы уже видели, был очень короток в доме пастора, – в доме сквайра – не в такой степени. Хотя сквайр и желал жить в дружбе с своими соседями, но он был чрезмерно вспыльчив. Риккабокка всегда, очень учтиво, но вместе и упорно, отказывался от приглашений мистера Гэзельдена к обеду, и когда сквайр узнал, что итальянец соглашался иногда обедать у пастора, то был затронут за самую слабую струну своего сердца, считая это нарушением уважения к гостеприимству дома Гэзельденов, а, потому и прекратил свои приглашения. Но как сквайр, несмотря на свою вспыльчивость, не умел сердиться, то от времени до времени напоминал Риккабокка о своем существовании, принося ему в подарок дичь; впрочем, Риккабокка принимал его с такою изысканною вежливостью, что провинциальный джентльмен конфузился, терялся и говорил обыкновенно, что к Риккабокка ездить так же мудрено, как ко двору.

Но я оставил доктора Риккабокка на большой дороге. Он вышел за тем на узкую тропинку, извивавшуюся, около каскада, прошел между трельяжами, увешенными виноградными лозами, из которых Джакеймо приготовлял так называемое им вино – жидкость, которая, если бы холера

была общеизвестна в то время, показала бы самым действительным лекарством; потому что сквайр Гэзельден хотя и был плотный джентльмен, уничтожавший безнаказанно ежедневно по бутылке портвейна, – но, попробовав раз этой жидкости, долго не мог опомниться и пришел в себя только при помощи микстуры, прописанной по рецепту, длиною в его руку. Пройдя мимо трельяжа, доктор Риккабокка поднялся на террасу, выложенную камнем так тщательно и красиво, как только можно было сделать при усиленном труде и внимании. Здесь, на красивых скамьях, расставлены были его любимые цветы. Здесь были четыре померанцовые деревья в полном цвету; вблизи, возвышался род детского дома или бельведера, построенный самим доктором и его слугою и бывший его любимую комнатой, по утрам, с мая по октябрь. Из этого бельведера расстилался удивительный вид на окрестность, за которой гостеприимная английская природа, как будто с намерением, собрала все свои сокровища, чтобы веселить взоры пришлого изгнанника.

Человек без сюртука, который был помещен на балюстрад, поливал в это время цветы, – человек с движениями до такой степени механическими, с лицом до того строгим и важным, при смуглом его оттенке, что он казался автоматом, сделанным из красного дерева.

– Джакомо! сказал доктор Риккабокка, тихо.

Автомат остановился и повернул голову.

– Поставь лейку и поди сюда, продолжал он по итальянски

и, подойдя к балюстраду, оперся за него.

Мистер Митфорд, историк, называет Жан-Жака *Джемс*. Следуя этому непреложному примеру, Джакомо был переименован в Джакеймо.

Джакеймо также подошел к балюстраду и встал несколько позади своего господина.

– Друг мой, сказал Риккабокка: – предприятия наши не всегда удаются вам. Не думаешь ли ты, что нанимать эти поля у помещика значит испытывать только по напрасну судьбу?

Джакеймо перекрестился и сделал какое-то странное движение маленьким коралловым амулетом, который был обделан в виде кольца и надет у него на пальце.

– Может быть, Бог пошлет нам счастья и мы дешево найдем работника, сказал Джакеймо, недоверчивым голосом.

– *Piu vale un presente che due futuri* – не сули журавля в небе, и дай синицу в руки, сказал Риккабокка.

– *Chi non fa quando può, non può fare quando vuole* – спустя лето, нечего идти по малину, отвечал Джакеймо, так же как и господин его, в виде сентенции. – Синьор должен подумать о том времени, когда ему придется дать приданое бедной синьорине.

Риккабокка вздохнул и не отвечал ничего.

– Она должна быть теперь вот такая, оказал Джакеймо, держа руку несколько выше балюстрада.

Глаза Риккабокка, смотря через очки, следовали за рукою

слуги.

– Если бы синьор хоть посмотрел на нее здесь...

– Хорошо бы было, пробормотал итальянец.

– Он уже не отпустил бы ее от себя, до тех пор, как она вышла бы замуж, продолжал Джакеймо.

– Но этот климат – она не вынесла бы его, сказал Риккабокка, надевая на себя плащ, потому что северный ветер подул на него сзади.

– Померанцы цветут же здесь при надзоре, сказал Джакеймо, опуская раму с той стороны померанцевых деревьев, которая обращена была к северу. – Посмотрите! продолжал он, показывая ветку, на которой развивалась почка.

Доктор Риккабокка наклонился над цветком, потом спрятав его у себя на груди.

– *Другой* бутон скоро будет тут же, рядом, сказал Джакеймо.

– Для того чтобы умереть, как уже умер его предшественник! отвечал Риккабокка. – Полно об этом.

Джакеймо пожал плечами, потом, взглянув на своего господина, поднес руку к глазам.

Прошло несколько минут в молчании. Джакеймо первый прервал его.

– Но, здесь, или там, красота без денег то же, что померанец без покрова. Если бы нанять дешево работника, я снял бы землю и возложил бы всю надежду на Бога.

– Мне кажется, у меня есть на примете мальчик, сказал

Риккабокка, придя в себя и показав едва заметную сардоническую улыбку на губах: – парень, как будто нарочно сделанный для нас.

– Кто же такой?

– Видишь ли, друг мой, сегодня я встретил мальчика, который отказался от шестипенсовой монеты.

– *Cosa stupenda* – удивительная вещь! произнес Джакеймо, вытаращив глаза и выронив из рук лейку.

– Это правда сущая, мой друг.

– Возьмите его, синьор, – именем Феба, возьмите, – и наше поле принесет нам кучу золота.

– Я подумаю об этом, потому что нужно ловко заманить этого мальчика, сказал Риккабокка. – А между тем, зажги свечи у меня в кабинете и принеси мне из спальни большой фолиант Макиавелли.

## Глава VII

В настоящей главе я представлю сквайра Гэзельдена в патриархальном быту, – конечно, не под смоковницею, которой он не насаждал, но перед зданием приходской колоды, которое он перестроил. Сквайр Гэзельден и его семейство на зеленеющем фоне деревни – что может быть привлекательнее! Полотно совсем готово и ожидает только красок. Предварительно я должен, впрочем, бросить взгляд на предыдущие происшествия, чтобы показать читателю, что в семействе Гэзельден есть такая особа, с которою он, может быть, и не встретится в деревне. – Наш сквайр лишился отца, будучи двух лет от роду; его мать была прекрасна собой; состояние её было не менее прекрасно. По истечении года траура, она вышла вторично замуж, и выбор её пал при этом на полковника Эджертона. Сильно было удивление Пэль-Мэлля и глубоко сожаление парка Лэна, когда эта знаменитая личность снизошла до звания супруга. Но полковник Эджертон не был только лишь красивою бабочкой: он обладал и предупредительным инстинктом, свойственным пчеле. Молодость улетела от него и увлекла в своем полете много существенного из его имущества; он увидал, что наступает время, когда домашний уголок, с помощницей, способной поддержать в этом уголке порядок, вполне соответствовал бы его понятиям о комфорте, и что яркий огонь, разведенный в камине

в ненастный вечер, сделал бы большую пользу его здоровью. Среди одного из сезонов в Брайтоне, куда он сопровождал принца валлийского, он увидел какую-то вдову, которая хотя и носила траурное платье, но не казалась безутешною. её наружность удовлетворяла требованиям его вкуса; слухи об её приданом располагали в её пользу и рассудок его. Он решился начать действовать и, ухаживая за нею очень недолго, привел намерение свое к счастливому результату. Покойный мистер Гэзельден до такой степени предчувствовал вторичное замужество своей жены, что распорядился в своем духовном завещании, чтобы опека над его наследником, в подобном случае, передана была от матери двум сквайрам, которых он избрал своими душеприкащиками. Это обстоятельство, в соединении с новыми брачными узами утешенной вдовы, послужило, некоторым образом, к отдалению её от залога первой любви, и когда она родила сына от полковника Эджертона, то сосредоточила на этом ребенке всю свою материнскую нежность. Уильям Гэзельден был послан своими опекунами в одну из лучших провинциальных академий, в которой, с незапамятных времен, воспитывались и его предки. Сначала он проводил праздники с мистрисс Эджертоном; но так как она жила то в Лондоне, то ездила с своим мужем в Брайтон, чтобы пользоваться удовольствиями Павильона, то Уильям, который между тем подрос, оказывая неудержимое влечение к деревенской жизни, тогда как его неловкость и резкия манеры заставляли краснеть мистрисс

Эджертон, сделавшуюся особенно взыскательною в этом отношении, – выпросил позволение проводить каникулярное время или у своих опекунов, или в старом отцовском доме. Потом он поступил в коллегиум в Кембридже, основанный, в XV столетии, одним из предков Гэзельденов, и, достигнув совершеннолетия, оставил его, не получив, впрочем, степени. Несколько лет спустя, он женился на молодой лэди, также деревенской жительнице и сходной с ним по воспитанию.

Между тем его единоутробный брат, Одлей Эджертон, начал посвящаться в таинства большего света, не успев еще окончательно распрощаться с своими игрушками; в детстве он сиживал зачастую на коленях у герцогинь и скакал по комнатам верхом на палках посланников. Дело в том, что полковник Эджертон не только имел сильные связи, не только был одним из *Dii majores* большего света, но пользовался редким счастьем быть популярным между всеми людьми, знавшими его; он был до такой степени популярен, что даже лэди, в которых он некогда был влюблен и которых потом оставил, простили ему брак и сохранили к нему прежнюю дружбу, как будто он не был вовсе женат. Люди, слывшие в общем мнении за бездушных, некогда не тяготились сделать всякую любезность Эджертоном. Когда наступило время Одлею оставить пригготовительную школу в которой он развивался из здоровой почки в пышный цветок, и перейти в Итон<sup>4</sup>, начальство и товарищи дали о нем самый

---

<sup>4</sup> Одно из лучших в Лондоне учебных заведения.



лестный отзыв. Мальчик скоро показал, что он не только наследовал отцовскую способность приобретать популярность, но к этой способности присоединял талант навлекать из неё существенные выгоды. Не отличавшись никакими особенными познаниями, он, однако, составил о себе в Итоне самую заводную репутацию, какой только позволительно добиваться в его лета – репутацию мальчика, который произведет что побудь замечательное, сделавшись человеком. Будучи студентом богословского факультета в Оксфорде, он продолжал поддерживать эту сладкую надежду, и хотя не получал премий и при выходе был удостоен очень обыкновенной степени, однако, это еще более убедило членов университета, что питомцу их предназначена блестящая карьера государственного человека.

Когда еще он был в университете, родители его умерли, один вслед за другим. Достигнув совершеннолетия, он предъявил свои права на отцовское наследство, которое считалось очень значительным, и которое действительно когда-то было довольно велико; но полковник Эджертон был человек слишком расточительный для того, чтобы обогатить наследника, и теперь осталось около 1,500 фунтов стерлингов годового дохода от имения, приносившего прежде до десяти тысяч фунтов ежегодно.

Впрочем, Одлея все считали богатым, а сам он был далек от того, чтобы уничтожить эту благоприятную молву признаком собственной несостоятельности. Лишь только он всту-

пил в лондонский свет, как все клубы приняли его с распростертыми объятиями, и он проснулся, в одно прекрасное утро, если не знаменитым, то по крайней мере вполне светским человеком. К этой изящной светскости он присоединил некоторую дозу значительности и важности, старался сходиться с государственными людьми и занимающимися политикою лэди и утвердил всех во мнении, что он был рожден для великих дел.

Теперь самым близким, искренним другом его был лорд л'Эстрендж, с которым он был неразлучен еще в Итоне, и в то время, как Одлей приводил Лондон лишь в восторг, л'Эстрендж восхищал общество до исступления: Гэрлей лорд л'Эстрендж был единственный сын графа лансмерского, владельца большего состояния и породнившегося с знатнейшими и могущественнейшими фамилиями в Англии. Впрочем, лорд Лансмер был не очень известен в Лондоне сном обществом. Он жил большею частью в своих имениях, занимаясь делами по хозяйственному управлению, и очень редко приезжал в столицу; все это позволяло ему давать большие средства к жизни сыну, когда Гэрлей, будучи шестнадцати лет, и достигнув шестого класса в школе, вышел оттуда и поступил в один из гвардейских полков. Никто не знал, что делать с Гэрлеем л'Эстренджем: потому-то, может быть, им так и занимались. Он был самым блестящим воспитанником в Итоне – не только гордостью гимнастической залы, но и классной комнаты; однако, при этом в нем было столь-

ко странностей и неприятных выходок, награды же, полученные им за успехи, доставались ему, по видимому, так легко, без малейшего прилежания и усидчивости, что он не заставлял ожидать от себя столь многого, как его друг Одлей Эджертон. Его странности, оригинальность выражений и самые неожиданные выходки так же заметны была в большом свете, как некогда в тесной сфере школы. Он был остер, без всякого сомнения; и что его остроумие было высокого полета, это доказывали не только оригинальность, но и независимость его характера. Он ослеплял свет, вовсе не заботясь о своем триумфе и об общественном мнении, – ослеплял потому, что не умел блеснуть в меру. Молодость и странные понятия всегда идут рука об руку. Я не знаю, что думал Гэрлей л'Эстрендж, но знаю, что в Лондоне не было молодого человека, который бы менее заботился о том, что он наследник знатного имени и сорока-пяти тысяч фунтов годового дохода.

Отец его желал, чтобы, когда Гэрлэй достигнет совершеннолетия, он был депутатом местечка Лансмер. Но это желание никогда не осуществилось. В то самое время, как молодому лондонскому идолу оставалось только два или три года до совершеннолетия, в нем явилась новая странность. Он совершенно удалился от общества: оставил без ответа самонужнейшие треугольные записочки, заключающие в себе разного рода вопросы и приглашения, – записочки, которые необходимо покрывают письменный стол всякого мод-

ника; он редко стал показываться в кругу своих прежних знакомых, и если где нибудь его встречали, то или одного, или вместе с Эджертоном; его веселость, казалось, совсем оставила его. Глубокая меланхолия была начертана на его лице и выражалась в едва слышных звуках его голоса. В это время гвардия покрывала себя славою в военных действиях на полуострове, но батальон, к которому принадлежал Гэрлей, остался дома. Неизвестно, соскучившись ли бездействием, или из славолубия, молодой лорд вдруг перешел в кавалерийский полк, который в одной из жарких схваток потерял половину офицеров. Перед самым его отъездом, открылась вакансия для депутатства за Лэнсмеров, но он отвечал на просьбы отца по этому предмету, что их семейные интересы могут быть предоставлены попечениям его друга Эджертова, приехал в Парк проститься с своими родителями, а вслед за ним явился Эджертон отрекомендоваться избирателям. Это посещение было важною эпохой для многих лиц моей повести; но пока я ограничусь замечанием, что при самом начале выборов случились обстоятельства, вследствие которых л'Эстрендж и Одлей должны были удалиться с поприща общественной деятельности, а потом последний написал лорду Лэнсмеру, что он соглашается принять звание депутата. К счастью для карьеры Одлея Эджертона, выборы представляли для лорда Лэнсмера не только общественное значение, но тесно связаны были с его собственными интересами. Он решился, чтобы даже, при отсутствии кан-

дидата, борьба продолжалась до последней крайности, хотя бы на его счет. Потому все дело выборов ведено было так, что противниками интересов Лонсморов являлись представители той или другой из враждующих фамилий в графстве; а так как сам граф был гостеприимный, любезный человек, очень уважаемый всем соседним дворянством, то и кандидаты даже противной стороны всегда наполняли свои речи выспренними похвалами благородному характеру лорда Лэнсмера и учтивостями в отношении к его кандидатам. Но, благодаря постоянной перемене должностей, одна из враждебных фамилий уклонилась от выборов, и представители её приняли звание адвокатов; глаза другой фамилии был избран членом Палаты, и так как настоящие его интересы были неразрывны с интересами Лэнсмеров, то он и пребыл нейтральным в той мере, в какой это возможно при борьбе страстей. Судя по этому, все были уверены, что Эджертон будет избран без оппозиции, когда, вслед за отъездом его куда то, объявление, подписанное «Гэвервилль, Дэшмор, капитан Р. И., Бэкер-Стрит, Портмен-Сквэр», извещало в довольно сильных выражениях, что этот джентльмен намерен освободить кандидатуру от непоследовательной власти олигархической партии, не столько из видов собственного своего политического возвышения, так как подобная протестация всегда влечет за собой ущерб личному интересу, но единственно из патриотического желания сообщить выборам должную законность.

За этим объявлением через два часа явился и сам капитан Дэшмор, в карете четверней, с желтыми бантиками к хвостам и гривам лошадей. Внутри и снаружи этой кареты сидели какие-то сорванцы, по видимому, друзья его, которые, вероятно, приехали с целью помочь ему в трудах и разделить с ним удовольствия.

Капитан Дэшмор был когда-то моряком, но возымел отвращение к этому званию с тех пор, как племянник одного министра получил под команду корабль, на который капитан считал права свои неоспоримыми. По этой же причине он не слушался приказаний, которые присылались ему от начальства, руководствуясь примером Нельсона; но при этом случае непослушание не оправдалось таким успехом, как это было с Нельсоном, и капитан Дэшмор должен был считать себя вполне счастливым, что избежал более строгого наказания, чем отказ в повышении. Но правду говорится, что не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Выйдя в отставку и видя себя совершенно неожиданно обладателем наследства в сорок или пятьдесят тысяч фунтов стерлингов, предоставленных ему каким-то дальним родственником, капитан Дэшмор возымел непреодолимое желание поступить в Парламент и, при помощи своего ораторского таланта, принять участие в администрации.

В несколько часов наш моряк выказался самым отчаянным говоруном, самым сильным действователем, на случай выборов во мнении простодушных и доверчивых жителей

местечка. Правда, что он говорил такую бессмыслицу, какой, может быть, сроду никому не удавалось слышать, но зато его выходки так были размашисты, манеры так открыты, голос так звучен, что в эти патриархальные времена он был в состоянии загонять хоть какого философа. Кроме того, капитан Дэшмор звал всякий день большое общество к себе обедать, и тут, махая своим кошельком в воздухе, объявлял во всеуслышание, что он до тех пор будет стрелять, пока у него останется хотя один патрон в лялдушке. До тех пор было мало различия в политическом отношении между кандидатом, поддерживаемым интересами лорда Лэнсмера, и кандидатом противной стороны, потому что помещики того времени были почти все одного и того же образа мыслей, и вопрос административный, подобно настоящему, имел для них чисто местное значение: он состоял лишь в том, пересилит или нет фамилия Лэнсмеров две другие значительные фамилии, которые до тех пор придерживались оппозиции. Хотя капитан был в самом деле очень хороший человек и слишком опытный моряк для того, чтобы думать, что государство – которое, согласно общепринятой метафоре, уподобляется кораблю *par excellence* – станет терпеть кого ни попало у себя на шканцах, но он привык более руководствоваться в поступках жолчными побуждениями своего характера, чем голосом рассудка, испытывая в то же время над собою одуряющее свойство своего собственного красноречия. Таким образом, чувствуя себя так же мало способным к проискам,

как и к тому, чтобы зажечь Темзу, по своим речам он показался бы, однако, всякому отчаянным человеком. Точно таким же образом, не привыкнув уважать своих противников, он обращался с графом Лэнсмером слишком непочтительно. Он обыкновенно называл этого почтенного джентльмена «старой дрязгой»; мэра, который хвастался своими миниатюрными ножками, он прозвал «лучинкой», а прокурора, который был сложен довольно прочно – «кряжем». После этого понятно, что выборы должны были служить только для удовлетворения частных интересов известных лиц, и дело принимало между тем такой оборот, что граф Лэнсмер начинал бояться за успех своих предположений. Пришлец из Бэкер-Стрита, с своею необыкновенною дерзостью, показался ему существом страшным, зловещим, – существом, на которое он смотрел с суеверною боязнию: он ощущал то же, что многоуважаемый Монтецума, когда Кортес, с толпой испанцев, схватил его, среди его собственной столицы, в виду мексиканского блеска и великолепия двора. «Самим богам придется плохо, если люди будут так дерзки», говорили мексиканцы про Кортеса; «общество погибнет, если пришлец из Бэкер-Стрита заступит место Лэнсмера», говорили принимавшие участие в выборах местные джентльмены. Во время отсутствия Одлея выборы представлялись в самом неблагоприятном виде, и капитан Дэшмор с каждым шагом все более и более приближался к своей цели, когда адвокат Лэнсмера напомнил ему, что есть в виду довольно



сильный ходатай за отсутствующего кандидата. Сквайр Гэзельден, с своею молодою женою, еще прежде согласились на кандидатуру Одлея, а в сквайре адвокат видел единственного смертного, который был в состоянии тягаться с моряком. Вообще, на то, чтобы защищать пользы местного дворянства, чтобы уметь в случае нужды произнести речь чрез открытое окно, с высоты скамьи, бочки, балкона или даже крыши на доме, сквайр имел даже более способностей, более представительности и сановитости, чем сам баловень Лондона Одлей Эджертон.

Сквайр, к которому пристали со всех сторон с просьбами по этому предмету, сначала ответил резко, что он согласен сделать чтонибудь в пользу своего брата, но что не желал бы, с своей стороны, даже при выборах, показаться клиентом лорда, кроме того, что если бы ему пришлось отвечать за брата, то каким образом он обяжется от его имени быть блюстителем пользы и верным слугою своего края, каким образом он докажет, что Одлей, поступив в Палату, не забудет о своем сословии, а тогда он, Уильям Гэзельден, будет назван лжецом и переметной сумой.

Но когда эти сомнения и затруднения были устранены убеждениями джентльменов и просьбами лэди, которые принимали в выборах такое же участие, какое эти прелестные существа принимают во всем, представляющем материал для спора, сквайр согласился наконец выступить против жителя Бэкер-Стрита и принялся за это дело от всего сердца.

да и с тем добродушием старого англичанина, которое он оказывал при всяком роде деятельности, серьёзно занимавшей его.

Предположения насчет общественных выборов, основанные на способностях сквайра, вполне оправдались. Он говорил обыкновенно такую же околесицу как и капитан Дэшмор, обо всем, исключая, впрочем, интересов своего края, своего имения: тут он являлся великим, потому что знал этот предмет хорошо, знал его по инстинкту, приобретаемому практикою, в сравнении с которою все наши высپرнения теории не что иное, как паутина или утренний туман.

Представители помещичьего сословия, долженствовавшие подавать голоса, не были в зависимости от лорда Лэнсмера и занимали даже общественные должности; они сначала готовы были хвалиться своим обеспеченным положением и идти против лорда, но не смели противостоятъ тому, кто имел такое сильное влияние на их поземельные интересы. Они начали переходить на сторону графа против жителя Бэкер-Стрита; и с этих пор эти толстые агрономы, с ногами, бывшими в объёме таких же обширных размеров, как все туловище капитана Дэшмора, и с страшными бичами в руках, стали расхаживать по лавкам и *пугать избирателей*, как капитан говорил в припадках негодования. Эти новые приверженцы сделали большую разницу в количестве голосов той и другой стороны, и когда день баллотировки наступил, то вопрос оказался уже окончательно решенным. По-

сле самой отчаянной борьбы, мистер Одлей Эджертон пере-  
силил капитана двумя голосами. Имена подавших эти два  
лишние голоса, решившие спор, были: Джон Эвенель, мест-  
ный фермер, и его зять, Марк Ферфилд, который поселил-  
ся в имении Гэзельдена, где он занимал должность главного  
плотника.

Эти два голоса даны были совершенно неожиданно, по-  
тому что хотя Марк Ферфилд и готов был держать сторо-  
ну Лэнсмера, или, что-тоже, сторону брата сквайра, и хо-  
тя Эвенель был всегдашним защитником интересов Лэнс-  
меров, но ужасное несчастье, о котором я до сих пор умол-  
чал, не желая начинать свою повесть печальными картина-  
ми, поразило их обоих, и они уехали из города именно в тот  
день, когда лорд л'Эстрендж и мистер Эджертон отправились  
из Лэнснер-Парка. В каком сильном восторге ни был сквайр,  
как главный действователь и как брат, при торжестве мисте-  
ра Эджертона, восторг этот значительно затих, когда, выхо-  
дя из за обеда, данного в честь победы Лэнсмеров, и ше-  
ствуя не совсем твердою поступью в карету, которая долж-  
на была везти его домой, он получил письмо из рук одно-  
го из джентльменов, которые сопровождали капитана на его  
общественном поприще; содержание этого письма, а равно  
и несколько слов, произнесенных тихо подателем его, до-  
ставили сквайра к мистрисс Гэзельден далеко в более трез-  
вом состоянии, чем она надеялась. Дело в том, что в самый  
день избрания капитан почтил мистера Гэзельдена некото-

рыми поэтическими и аллегорическими прозваниями, как-то: «племянный бык», а ненасытный вампир» и «безвкуснейшая оладья», на что сквайр отвечал, что капитан не что иное, как «морской соленый боров»; капитан, подобно всем сатирикам, будучи обидчивым и щекотливым, не считал для себя особенно лестным получить название «морского соленого борова» от «племянного быка» и «ненасытного вампира». Письмо, принесенное, теперь к мистеру Гэзельдену джентльменом, который, принадлежа к противной стороне, считался самым жарким приверженцем капитана, заключало в себе ни более, ни менее, как вызов за дуэль; и податель, кроме того, с очаровательною учтивостью, требуемую этикетом при этих оказиях, присовокуплял подробные сведения о месте, назначенном для поединка, в окрестностях Лондона, чтобы избежать неприятного вмешательства подозрительных Лэнсмеров.

Французы, по видимому, очень мало размышляли о дуэлях. Может быть, поэтому они и преданы им всею душою. Но для истого англичанина – будь он Гэзельден или не Гэзельден – нет ничего ужаснее, отвратительнее дуэли. Она не входит в разряд обыкновенных мыслей и обычаев англичанина. Англичанин скорее пойдет судиться перед законом, который наказывает еще строже дуэли. За всем тем, если англичанин должен драться, он будет драться. Он говорит: «это очень глупо», он уверен, что это бесчеловечно, он соглашается со всем, что сказано было на этот счет фи-

лософами, проповедниками и печатными книгами, и в то же время идет драться как какой-нибудь гладиатор.

Впрочем, сквайр не имел привычки теряться в неприятных случаях. На другой же день, под предлогом, что ему нужно купить крупных гвоздей в Тэттер-Солле, он отправился на самом деле в Лондон, простившись особенно нежно с своею женой. Сквайр был уверен, что он иначе не возвратится домой, как в гробу. «Несомненно – говорил он сам себе – что человек, который стрелял всю свою жизнь, с тех пор, как надел куртку мичмана, несомненно, что он нелегок на руку и в поединке. Я бы еще ничего не сказал, если бы это были ментонские двуствольные пистолеты с маленькими пулями, а то у него чуть не ружья; это несовместно ни с достоинством человека, ни с понятиями охотника!»

Однако, сквайр, отложив в сторону все житейские попечения и отыскав какого-то старого приятеля по коллегии, уговорил его быть своим секундантом, и отправился в скрытый уголок Уимбльдон-Конмона, назначенный местом дуэли. Там он стал перед своим противником, ее в боковом положении – каковое положение он считал уловкою труса – а всею шириною своей груди, прямо под дуло пистолета, с таким невозмутимым хладнокровием на лице, что капитан Дэшмор, который был превосходный стрелок, но в то же время и добрейший человек, выразил свое одобрение такому беспримерному мужеству тем, что, всадив пулю своему противнику в мягкое место плеча, объявил себя окон-

чательно удовлетворенным. Противники пожали друг другу руки, произнесли взаимные объяснения, и сквайр, не придя в себя от удивления, что он еще жив, был привезен в Диммер-Отель, где, после значительных, впрочем, хлопот, пуля была вынута и рана залечена. Теперь все прошло, и сквайр чрез это много возвысился в своих собственных глазах; в веселом или особенно гневном расположении духа, он не переставал с удовольствием вспоминать об этом происшествии. Кроме того, будучи убеждав, что брат обязан ему лично чрезвычайно многим, что он доставил Одлею доступ в Парламент и защищал его интересы с опасностью собственной жизни он считал себя в полном праве предписывать этому джентльмену, как поступать во всех случаях, касающихся дел дворянства. И когда, немного спустя после того, как Одлей занял место в Парламенте – что случилось лишь по прошествии нескольких месяцев – он стал подавать мнения и голоса несообразно с ожиданиями сквайра на этот счет, сквайр написал ему такой нагоняй, который не мог остаться без дерзкого ответа. Вслед за тем, негодование сквайра достигло высшей степени, потому что, проходя, в базарный день, по имению Лэнсмера, он слышал насмешки со стороны тех самых фермеров, которых он убеждал прежде стоять за брата; и, приписывая причину всего этого Одлею, он не мог слышать имя этого изменника родным интересам без того, чтобы не измениться в лице и не выразить своего негодования в потоке бранных слов. Г. де-Рюквилль, кото-

рый был величайший современный остряк, имел также брата от другого отца и был с ним не совсем в хороших отношениях. Говоря об этом брате, он называл его *frère de loin*. Одлей Эджертон был для сквайра Газельдена таким же *отдаленным братцем*... Но довольно этих объяснительных подробностей: возвратимся к нашему повествованию.

## Глава VIII

Плотники сквайра были взяты от работы за забором парка и принялись за переделку приходской колоды. Потом явился живописец и разделал ее прекрасною синею краской, с белыми каймами по углам, белыми же полосками около дверей и окон и с изображением великолепных букетов посредине.

Это было самое красивое здание в целой деревне, хотя деревня обладала еще тремя памятниками архитектурного гения Гэзельденов, а именно: лечебинцей, школой и приходским пожарным дэпо.

Никогда еще более изящное, привлекательное и затейливое здание не услаждало взоров окружного начальства.

И сквайр Гезельден наслаждался не менее других. С чувством самодовольствия, он привел всю свою семью смотреть на здание приходской колоды. Семейство сквайра (исключая *отдаленного брата*) состояло из мистрисс Гэзельден – жены его, мисс Джемимы Гэзельден – его кузины, мистера Френсиса Гэзельдена – его единственного сына, и капитана Бернэбеса Гиджинботэма – дальнего родственника, который, собственно говоря, не принадлежал к их семейству, а проводил с ними по десяти месяцев в году.

Мистрисс Гэзельден была во всех отношениях настоящая лэди – лэди, пользующаяся известным значением в целом приходе. На её благоприличном, румяном и несколько заго-



релом лице выражались и величие и добродушие; у неё были голубые глаза, внушавшие любовь, и орлиный нос, возбуждавший уважение. Мистрисс Гэзельден не имела претензий: не считала себя ни выше, ни лучше, ни умнее, чем она была в самом деле. Она понимала себя и свое положение и благодарила за него Бога. В разговоре и манерах её была какая-то кротость и решительность. Мистрисс Гэзельден одевалась превосходно. Она носила шолковые платья, которые могли передаваться в наследство от поколения поколению: до такой степени они были прочны, ценны и величественны. Поверх такого платья, когда она была внутри своих владений, она надевала белый как снег фартук; у пояса её не было видно шатленок и брелочков, а были привешены здоровые золотые часы, обозначающие время, и длинные ножницы, которыми она срезывала сухие листья у цветов, будучи большою охотницею до садоводства. Когда требовали того обстоятельства, мистрисс Гэзельден снимала свою великолепную одежду, заменяла ее прочным синим верховым платьем и галопировала возле своего мужа, пока спускали собак ее своры, приготавливаясь к охоте.

В те дни, когда мистер Гэзельден направлял своего знаменитого клепера-иноходца в городскому рынку, жена почти всегда сопутствовала ему в этой поездке, сидя с левой стороны кабриолета. Она, так же, как и муж её, обращала очень мало внимания на ветер и непогоду, и во время какогонибудь проливного дождя её оживленное лицо, выстав-

лявшееся из под капишона непромокаемого салопы, расцвело улыбкой и румянцем, точно воздушная роза, которая раскрывается и благоухает под каплями росы. Нельзя было не заметить, что достойная чета соединилась по любви. Они были чрезвычайно редко друг без друга, и первое сентября каждого года, если в доме не было общества, которое хозяйка должна была занимать, она выходила вместе с мужем на сжатое поле такую же легкую поступью, с таким же оживленным взором, как и в первый год её замужства, когда она восхищала сквайра сочувствием всем его склонностям.

Таким образом и в настоящую минуту Герриэт Гэзельден стоит, опершись одною рукою на широкое плечо сквайра; другую заложила она за свой фартук и старается разделить восторг своего мужа от совершенного им патриотического подвига возобновления общественной колоды. Немного позади, придерживаясь двумя пальчиками за сухую руку капитана Бернэбеса, стоит мисс Джемима, сирота, оставшаяся после дяди сквайра, который был женат на похищенной им девице из фамилии, бывшей во вражде с Гэзельденами со времен Карла I, за право проезжать по дороге к небольшому лесу, или, скорее, кустарнику, величиною в десятину, чрез клочок кочкарника, который отдавался на аренду кирпичному заводчику за двенадцать шиллингов в год.

Лес принадлежал Гэзельденам, кочкарник – Стикторейтам (древняя саксонская фамилия, если только была таковая), Всякие двенадцать лет, когда деревья и валежник были

нарублены, вражда возобновлялась, потому что Стикторейты отказывали Гезельденам в праве провозить лес по единственной проезжей для телеги дороге. Надо отдать справедливости Гезельденам, что они изъявляли желание купить эту землю вдесятеро дороже её настоящей цены. Но Стикторейты с подобным же великодушием отвечали, что они не намерены жертвовать фамильною собственностью для прихоти самого лучшего из всех сквайров, когда либо носивших кожаные сапоги. Потому каждые двенадцать лет происходили длинные переговоры о мире между Гезельденами и Стикторейтами. Дело было глубокомысленно обсуживаемо, представителями обеих сторон и заключалось исковыми жалобами на завладение чужою собственностью.

Так как в законе на подобные случаи не было прямого указания, то дело никогда и не решалось окончательно, тем более, что ни та, ни другая сторона не желала окончания тяжбы, так как не была уверена в законности своих притязаний. Женильба младшего из семьи Гезельденов на младшей дочери Стикторейтов была одинаково неприятна обеим фамилиям; последствием было то, что молодая чета, обвенчавшаяся тайно и не получив ни благословения, ни прощения, провела жизнь как могла, существуя жалованьем, которое получал муж, служивший в действующем полку, и процентами с тысячи фунтов стерлингов, которые были у жены независимо от родительского состояния. Они оба умерли, оставив дочь, которой и завещали материнские тысячу фунтов,

около того времени, когда сквайр достиг совершеннолетия и вступил в управление своими имениями. И хотя он наследовал старинную вражду к Стикторейтам, однако, не в его характере было питать ненависть к бедной сироте, которая все-таки была дочерью Гэзельдена. Потому он воспитывал Джемиму с такою же нежностью, как бы она была его родною сестрою; отложил её тысячу фунтов в рост, прибавил к ним часть из капитала, который составился во время его малолетства, что все вместе с процентами составило не менее четырех тысяч фунтов – обыкновенное приданое в фамилии Гэзельден. Когда она достигла совершеннолетия, сумма эта была отдана в её полное распоряжение, так, чтобы она считала себя независимую, была бы в состоянии выезжать в свет и выбирать себе партию, если бы ей вздумалось выйти замуж, или наконец могла бы жить этою суммою одна, если бы решились остаться девицею. Мисс Джемима отчасти пользовалася этою свободою, выезжая иногда в Нелтейгам и другие места на воды. Но она так была привязана к сквайру чувством благодарности, что не могла на долго отлучиться из его дома. И это было тем великодушнее с её стороны, что она была далека от мысли остаться в девицах. Мисс Джемима была одно из нежных, любящих существ, и если мысль о счастье в одиночестве не совсем улыбалась ей, то это было во свойственном женщине инстинктивному влечению к семейной, домашней жизни, без чего всякая лэди, как бы она ни была совершенна во всех других отношениях, немногим

лучше бронзовой статуя Минервы. Но как бы то ни было, несмотря на её состояние и наружность, из которых последняя, хотя не вполне изящная, была привлекательна и была бы еще привлекательнее, если бы мисс почаще смеялась, потому что при этом у неё являлись на щеках ямочки, незаметные в более серьёзные минуты, – несмотря на все это, потому ли, что мужчины, встречавшие ее, были очень равнодушны, или сама она слишком разборчива, только мисс Джемима достигала тридцатилетнего возраста и все еще называлась мисс Джемима. С течением времени, её простодушный смех все слышался реже и реже, и наконец она утвердилась в двух убеждениях, вовсе не развивавших потребности смеха. Одно из убеждений касалось всеобщей испорченности мужской половины человеческого рода, другое выражалось решительной и печальной уверенностью, что весь мир приближается в близкому падению. Мисс Джемима теперь была в сопровождении любимой собачки, верного Бленгейма, отличавшегося приплюснутым носом. Собачка эта была уже преклонных лет и довольно тучна. Она сидела, обыкновенно, на задних лапах, высуня язык, и только от времени до времени показывала признаки жизни тем, что бросалась на мимо неё и по ней ходящих и летающих мух. Кроме того, глубокая дружба существовала между мисс Джемимой и капитаном Бернэбесом Гиджшиботэмом, потому что он не был женат и имел такое же дурное понятие о всех вас, читательницы, как мисс Джемима о всех людях нашего по-

ла. Капитан был довольно строен и недурен лицом. . . . Впрочем, чем меньше говорить о лице, тем лучше; в этой истине был убежден сам капитан, утверждавший, что для мужчины всякая рожа довольно красива и благородна. Капитан Бернэбес не отрицал, что мир стремится к разрушению, только разрушение это, по его соображением, должно было последовать после его смерти. Поодаль от всей компании, с ленивыми приемами возникающего дендизма Френсис Гэзельден смотрел поверх высокого галстуха, какие тогда были в моде. Это был красивый юноша, свежий питомец Итона, приехавший на каникулы. Он вступил в тот переходный возраст, когда обыкновенно начинаешь бросать детские забавы, не достигнув еще основательности и положительности человека возмужалого.

– Мне бы приятно было, Франк, сказал сквайр, внезапно повернувшись к сыну; – мне бы приятно было видеть, что тебя хоть немного, но интересуют те обязанности, которые, рано или поздно, будут лежать на твоей ответственности. Я решительно не могу допустить той мысли, что это мнение перейдет в руки такого джентльмена, который, вместо того, чтоб поддерживать его, так, как я поддерживаю, доведет все до разрушения.

И вместе с этим сквайр показал на исправительное учреждение.

Взоры мастера Франка устремились по направлению, куда указывала трость, и устремились на столько, на сколько

позволял тому накрахмаленный галстух.

– Совершенно так, сэр, сказал молодой человек довольно сухо: – но скажите, почему же это учреждение оставалось так долго без починки?

– Потому, что одному человеку невозможно углядеть за всем в одно и то же время, с некоторою колкостью отвечал сквайр. – Человек с восемью тысячами акров земли, за которыми нужно присмотреть, я думаю, не останется ни на минуту без дела.

– Это правда, заметил капитан Бернэбес. – Я знаю это по опыту.

– Вы ровно ничего не знаете! вскричал сквайр весьма грубо. – Выдумал сказать, у него есть опытность в восьми тысячах акров земли!

– Совсем нет. Я знаю это по опыту в моей квартире, в Албани, номер третий, под литерою А. Вот уже десять лет, как я занимаю эту квартиру, а только что на прошлых Святках купил себе японскую кошку.

– Скажите пожалуйста! возразила мисс Джемима: – японская кошка! это, должно быть, весьма любопытно!.. Какого рода это животное!

– Неужели вы не знаете? Помилуйте! эта вещица имеет три ножки и служит для того, чтоб держать в себе горячие тосты! Я никогда бы не подумал о ней, уверяю вас; да друг мой Кози, завтракая однажды у меня на квартире, сказал мне: «помилуй, Гиджинботэм! как это так случилось, что ты,

окруженный таким множеством предметов, доставляющих комфорт, до сих пор не имеешь кошки?<sup>5</sup>» «Клянусь честью – отвечал я – невозможно усмотреть за всем в одно и то же время», точь-в-точь, как вы, сквайр, сказали об этом сию минуту.

– Фи, сказал мистер Гэзельден, с негодованием: – тут нет ни малейшего сходства с моими словами. И на будущее время прошу вас, кузен Гиджинботэм, не прерывать меня, когда я говорю о делах серьезных. Ну, кстати ли соваться с вашей кошкой? Не правда ли, Гэрри? А ведь теперь это учреждение на чтонибудь да похоже! Я уверен, что наружность всей деревни будет казаться теперь гораздо солиднее. Удивительно, право, что даже и маленькая починка придает... придает....

– Большую прелесть ландшафту, возразила мисс Джеми-ма, сантиментальным тоном.

Мистер Гэзельден не хотел согласиться, но в то же время и не отрицал досказанного окончания. Оставив эту сентенцию в прерванном виде, он вдруг начал другую:

– А если бы я послушал пастора Дэля.

– Тогда бы вы сделали весьма умное дело, сказал голос позади Гэзельдена.

Этот голос принадлежал пастору Дэлю, который, при последних словах сквайра, присоединился к обществу.

– Умное дело! Конечно, конечно, мистер Дэль, сказала

---

<sup>5</sup> Cat собственно значит кошка; но этим словом называется столовый прибор для подогревания кушанья. *Прим. пер.*



мистрисс Гэзельден, с горячностью, потому что всякое противоречие её супругу она считала за оскорбление – быть может, она видела в этом столкновение с её исключительными правами и преимуществами! – Конечно, умное дело!

– Совершенная правда! продолжай, продолжай, Гэрри! восклицал сквайр, потирая от удовольствия ладони. – Вот так! хорошенько его! А! каково мистер Дэль? что вы скажете на это?

– Извините, сударыня, сказал пастор, оказывая ответом своим предпочтение мистрисс Гэзельден: – я должен сказать вам, что в нашем отечестве есть множество зданий, которые чрезвычайно ветхи, чрезвычайно безобразны и, по видимому, совершенно бесполезны, но при всем том я не решился бы разрушить их.

– Поэтому вы возобновили бы их, сказала мистрисс Гэзельден, недоверчиво и в то же время бросая на мужа взгляд, которым будто говорила ему: – он хочет свести на политику – так это уж твое дело.

– О нет, сударыня, я этого не сделал бы, отвечал пастор весьма решительно.

– Что же после этого вы стали бы делать с ними? спросил сквайр.

– Оставил бы их в прежнем виде, отвечал пастор. – Мистер Франк, вам, вероятно, знакома латинская пословица, которая очень часто слетала с уст покойного сэра Роберта Вальполя, и которую включили впоследствии в число при-

меров латинской грамматики; вот эта поговорка: *Quieta non movere!* Спокойное пусть и остается спокойным!

Сквайр Гэзельден был большой приверженец политики старинной школы и, вероятно, не подумал о том, что, возобновляя исправительное заведение, он отступал от принятых им правил.

– Постоянное стремление к нововведениям, сказала мисс Джемима, внезапно принимаясь за более мрачную из своих любимых тем разговора: – служит главным признаком приближения великого переворота. Мы изменяем, починиваем, реформируем, тогда как много, много что через двадцать лет и самый мир превратится в развалины!

Прекрасный оракул замолк. Вещие слова его отозвались в душе капитана Бернэбеса, и он задумчиво сказал:

– Двадцать лет! это весьма значительный срок! Наши общества застрахования жизни редко принимают самую лучшую жизнь больше чем на четырнадцать лет.

Произнося эти слова, он ударил ладонью по стулу, на котором сидел, и прибавил свое обычное утешительное заключение:

– Бояться нечего, сквайр: на ваш век хватит!

К чему относились эти слова, он выразил весьма неопределенно, а из окружающих никто не хотел потрудиться разъяснить их.

– Мне кажется, сэр, сказал мастер Франк, обращаясь к родителю: – теперь совершенно бесполезно рассуждать о том,

нужно ли, или не нужно было возобновлять это исправительное учреждение.

– Справедливо, сказал сквайр, принимая на себя весьма серьезный вид.

– Да, вот оно что! сказал пастор печальным голосом. – Если бы вы только знали, что значит это *non quieta movere!*

– Мистер Дэль, нельзя ли избавить меня от вашей латыни! вскричал сквайр, сердитым тоном. – Я сам могу представить вам пословицу не хуже вашей:

*Propria quae maribus tribuuntur maecula dicas.*

*As in praesenti, perfectum format in avi. (\*)*

(\*) Качества, приписываемые мужскому полу, называются мужчинами. Малость в настоящем часто принимает огромные размеры в будущем.

Ведите теперь, прибавил сквайр, с триумфом обращаясь к своей Гэрри, которая при этом неожиданном взрыве учености со стороны Гэзельдена смотрела на него с величайшим восхищением: – выходит, что коса нашла на камень! Теперь, я думаю, можно воротиться домой и пить чай. Не придете ли и вы к нам, Дэль? мы сыграем маленький робер. Нет? ну полно, мой друг! я не думал оскорбить вас: ведь вам известен мой нрав, мои привычки.

– Как же, очень хорошо известны; поэтому-то они и остаются для меня между предметами, перемены в которых я

не желал бы видеть, отвечал мистер Дэль, с веселым видом, протягивая руку.

Сквайр от чистого сердца пожал ее, и мистрисс Гэзельден поспешила сделать то же самое.

– Приходите, пожалуйста, сказала она. – Я боюсь, что мы были очень невежливы; в этом отношении мы ни под каким видом не можем называть себя людьми благовоспитанными. Пожалуста, приходите – вы доставите нам большое удовольствие – и приводите с собою бедную мистрисс Дэль.

Каждый раз, как только Гэзельден упоминала в разговоре мистрисс Дэль, то непременно прибавляла эпитет *бедная*, – почему? мы увидим это впоследствии.

– Я боюсь, что жена моя снова страдает головною болью; но я передам ей ваше приглашение, и во всяком случае на мой приход, сударыня, вы можете рассчитывать.

– Вот это так! вскричал сквайр: – через полчаса мы ждем вас... Здравствуй, мой милый! продолжал мистер Гэзельден, обращаясь к Ленни Ферфильду, в то время, как мальчик, возвращаясь домой с каким-то поручением из деревни, остановился в стороне от дороги и обеими руками снял шляпу. – Ах, постой! постой! ты видишь эту постройку, э? Так скажи же всем ребятишкам в деревне, чтобы они боялись попасть в нее: Это ужасный позор! Надеюсь, ты никогда не доведешь себя до такого сраму.

– В этом я ручаюсь за него, сказал мистер Дэль.

– И я тоже, заметила мистрисс Гэзельден, глядя кудрявую

голову мальчика. – Скажи твоей матери, что завтра вечером я побываю у неё: у меня есть много о чем поговорить с ней.

Таким образом партия гуляющих продолжала идти по направлению к господскому дому; между тем Ленни как вкопанный стоял на месте и, выпуча глаза, смотрел на уходящих.

Впрочем, Ленни недолго оставался одиноким. Едва только большие люди скрылась из виду, как маленькие, один за другим и боязливо, стали выползать из соседних домов и с крайним изумлением и любопытством приблизились к месту исправительного учреждения.

В самом деле, возобновленное появление этого учреждения *à propos de bottes*, как другой бы назвал его – произвело уже заметное впечатление на жителей Гэзельдена. Когда неожиданная сова появится среди белого дня, то все маленькие птички покидают деревья и заборы и окружают своего врага, так точно и теперь все более или менее взволнованные поселяне окружили неприятный для них феномен.

– Что-то скажет нам Гаффер Соломонс, для чего именно сквайр перестроил такую диковинку? спросила многодетная мать, у которой на одной руке покоился грудной ребенок (трех-летний мальчик робко держался за складки её юбки), а другой рукой, с чувством материнского страха за свое детище, она тянула назад более предприимчивого, шестилетнего шалуна, который имел сильное желание просунуть голову в одно из отверстий учреждения. Все взоры устремились на мудрого старца, деревенского оракула, который, об-

локотясь обеими руками на клюку, покачивал головой, с видом, непредвещающим ничего хорошего.

– Быть может, сказал Гаффер Соломонс, – ктонибудь из наших ребяташек произвел опустошение в господском фруктовом саду.

– В фруктовом саду! возразил огромный детина, который, по видимому, полагал, что слова старика относились прямо к нему: – да там еще нечего и воровать: там еще ничего не созрело.

– Значит это неправда! воскликнула мать большего семейства и при этом вздохнула свободнее.

– Может быть, сказал Гаффер Соломонс: – ктонибудь из вас крадучи ставил капканы?

– Да для кого теперь ставить капканы? сказал здоровый, с угрюмым лицом молодой человек, не совсем-то чистая совесть которого, весьма вероятно, вызвала это замечание. – Для кого, когда еще пора не пришла? А если и придет, то нашему ли брату заниматься капканами!

Последний вопрос, по видимому, решал дело, и мудрость Гаффера Соломонса упала в общем мнении жителей Гэзельдена на пятьдесят процентов.

– А может быть, сказал Гаффер, и на этот раз с таким поразительным эффектом, который восстанавливал его репутацию: – может быть, из вас ктонибудь любит напиваться допьяна и делаться скотоподобным.

Наступила мертвая тишина, потому что старик, делая этот

намека, ни под каким видом не рассчитывал на возражение.

– Да сохранит Господь нашего сквайра! воскликнула наконец одна из женщин, бросая угрожающий взгляд на мужа. – Если это правда, то многих из нас он осчастливит.

Вслед за тем между женщинами поднялся единодушный ропот одобрения, тогда как мужчины, с печальным выражением в лице, взглянули сначала друг на друга, а потом на учреждение.

– А может статься, и то, снова начал Гаффер Соломонс, побуждаемый успехом третьей догадки выразить четвертую:– может статься, и то, что некоторые из жон любят чересчур бранят своих мужей. Мне сказывали, в ту пору, когда жил еще мой дедушка, что первое учреждение было выстроено исключительно для женщин, из одного будто бы сострадания к мужьям; это было как раз в то время, когда бабушка Банг – я и сам не помню её – умерла в припадке злости. А ведь каждому из вас известно, что сквайр наш добрый человек... пошли ему Господи доброе здоровье!

– Пошли ему Господи! вскричали мужчины от всей души и уже без страха, но с особенным удовольствием собрались вокруг Соломонса.

Но вслед за тем раздался пронзительный крик между женщинами. они нехотя отступили к окраине луга и бросали на Соломонса и учреждение такие сверкающие взгляды и указывали на них обоим такими грозными жестами, что небу одному известно, остался ли бы хоть клочок из них

двоих от негодования прекрасного пола, еслиб, к счастью и весьма кстати, не подошел мистер Стирн, правая рука сквайра Газельдена.

Мистер Стирн была страшная особа, страшнее самого сквайра, как и следует быть правой руке. Он внушал к себе большее подобострастие, потому что, подобно исправительному учреждению, которого он был избранным блюстителем, его власть и сила были непостижимы и таинственны, и, кроме того, никто не знал, какое именно место занимал он в хозяйственном управлении имением Гэзельдена. Он не был управителем, хотя и исполнял множество обязанностей, которые, по настоящему, должны лежать на одном только управителе. Он не был деревенским старостой, потому что этот титул сквайр решительно присвоил себе; но, несмотря на то, мистер Гэзельден делал посевы и запашки, собирал хлеб и набивал амбары, покупал и продавал не иначе, как по советам, какие угодно было дать мистеру Стирну. Он не был смотрителем парка, потому что никогда не стрелял оленей, и никогда не занимался присмотром за зверинцем, а между тем, кроме его, никто не разыскивал, кто сломал палисад, окружавший парк, или кто ставил капканы на кроликов и зайцев. Короче сказать, все трудные и многосложные обязанности, которых всегда отыщется величайшее множество у владельца обширного места, возлагались, по принятому обыкновению и по желанию самого владельца, на мистера Стирна. Если нужно было увеличить арендную



плату или отказать арендатору в дальнейшем производстве работ на господской земле, и если сквайр знал, что приведение в исполнение подобного предположения не согласовалось с его привычками, но что управитель его так же будет снисходителен, как и он сам, то в этих случаях мистер Стерн являлся тройным вестником роковых приказаний господина, – так что обитателям Гэзельдена он казался олицетворением беспощадной Немезиды. Даже самые животные трепетали пред мистером Стирном. Стадо телят знало, что это был именно тот человек, по назначению которого кто нибудь из их среды продавался мяснику, и потому, заслышав его шаги, они с трепещущим сердцем забивались в самый отдаленный угол стойла. Свиньи хрюкали, утки квакали, наседка растопыривала крылья и тревожным криком созывала цыплят, едва только мистер Стирн, случайно или по обязанности своей, приближался к ним.

– Что вы делаете здесь? кричал мистер Стирн. – Чего вы тараторите здесь? Эй вы, бабы! Того и смотри, что сквайр пошлет узнать, нет ли пожара в деревне! Пошли все домой! Этакой неугомонный народец!

Но прежде, чем половина этих восклицаний была произнесена, как уже толпа рассеялась по всем направлениям: женщины, удалявшись на безопасное расстояние от мистера Стирря, снова образовали из себя совещательный кружок, а мужчины сочли за лучшее скрыться в пивной лавочке. Таково было действие исправительного учреждения в первый

день возобновления его!

Как бы то ни было, но при рассеянии всякой толпы всегда случается, что ктонибудь попадает свое место последним; так точно случилось и теперь: приятель наш Денни Ферфильд, механически приблизившийся к толпе, чтобы услышать прорицания Гаффера Соломонса, почти также механически, при внезапном появлении мистера Стирна скрылся из виду – по крайней мере ему так казалось, что он скрылся – за стволом широкого вяза. Денни прижался к стволу, не смея явиться на глаза мистера Стирна, как вдруг пронинательный взор последнего обнаружил убежище испуганного юноши.

– Эй, сэр! что ты делаешь там? не хочешь ли взорвать на воздух наше учреждение? Не хочешь ли ты сделаться вторым Гай-Фоксом? Покажи сюда, что у тебя зажато в кулаке!

– У меня нет ничего, мистер Стирн, отвечал Ленни, показывая открытую ладонь.

– Ничего! гм! произнес мистер Стирн, весьма недовольный.

И потом, когда он начал смотреть на предметы гораздо хладнокровнее и узнал в стоявшем перед ним юноше Ленни Ферфильда, мальчика, служившего образцом всем деревенским ребятишкам, на бровях его нависло облако мрачнее прежнего. Это было вследствие того, что мистер Стирн, который придавал себе большую цену за свою ученость, и который именно потому только и занял такое высокое положение в жизни, что обладал познаниями и умом, гораздо боль-

шими в сравнении с другими ему подобными, – это неудовольствие, повторяю я, отразившееся на лице мистера Стирна, происходило оттого, что он чрезвычайно желал, чтобы его единственный сын сделался также хорошим грамотеем; но желание его, к несчастью, не выполнялось.

Маленький Стирн в школе пастора был замечательным неучем, между тем как Ленни Ферфилд служил гордостью и похвалой этой школы. Поэтому мистер Стирн весьма натурально и даже, с одной стороны, весьма справедливо питал сильное нерасположение к Ленни Ферфильду, присвоившему себе все те почести и похвалы, которые мистер Стирн предназначал своему сынку.

– Гм! произнес мистер Стирн, бросая на Ленни взгляд, полный негодования:– так это ты и есть образцовый мальчик вашей деревни? И прекрасно, и очень кстати! Я смело могу поручить тебе охранение этого учреждения, то есть ты должен гонять отсюда ребятишек, когда они соберутся, рассядутся и станут стирать краску, или разыграются на горке в лунку и орлянку. Смотри же, мой милый, помни, какая ответственность лежит на тебе. Эта ответственность, в твои лета, делает тебе великую честь. Если чтонибудь будет испорчено, ты ответишь за это, – понимаешь? ты не подумай, что я поручаю тебе это от себя, нет, мой друг! я передаю тебе приказание сквайра. Вот что значит быть образцовым-то мальчиком! Ай да мастер Ленни!

Вместе с этим мистер Стирн медленно отправился сде-

лать визит двум молодым щенкам, вовсе неподозревавшим, что он дал обещание владельцу их в тот же вечер обрубить им хвосту и уши. Хотя немного можно насчитать поручений, которые были бы для Ленни тягостнее поручения быть блюстителем деревенского исправительного учреждения, так как оно видимо клонилось к тому, чтобы сделать Ленни Ферфилда несносным в глазах его сверстников, но Ленни Ферфилд не был до такой степени безразсуден, чтобы показать малейшее неудовольствие или огорчение. Все дурное редко, или, лучше сказать, никогда не остается без наказания. Закон кладет преграду коварным умыслам всякого Стирна: он уничтожает западни, расставленные завистью и злобой, и, по возможности, для каждого очищает дорогу жизни от колючего терния; иначе какого бы труда стоило бессильному человеку пройти по этой дороге и достичь конца её без царапины, без язвы!

## Глава IX

Карточный стол давно уже приготовлен в гостиной господского дома Гэзельдена, а маленькое общество все еще оставалось за чайным столом, в глубокой ниши огромного окна, которая в размерах своих поглотила бы, кажется, лондонскую гостиную умеренной величины. Прекрасный летний месяц разливал по зеленой мураве такой серебристый блеск, высокие, густые деревья бросали такую спокойную тень, цветы и только что скошенная трава наполняли воздух таким приятным благоуханием, что затворить окна, опустить занавески и осветить комнаты не тем небесным светом, которым освещалась вся природа, было бы явной насмешкой над поэзией жизни, о чем не решался даже намекнуть и капитан Бернэбесь, для которого вист в городе составлял дельное занятие, а в деревне – приятное развлечение, или лучше сказать, увеселение. Сцена за стенами дома Гэзельдена, освещенная светлым сиянием луны, дышала прелестью свойственной местности, окружающей те старинные деревенские резиденции английских лордов, в наружности которых хотя и сделаны некоторые изменения, соответствующие с требованиями и вкусом нынешнего века, но которые до сей поры еще сохранили свой первоначальный характер: вы видите здесь, налево от дома, бархатный луг, испещренный большими цветными куртинами, окаймленный ку-

стами сирени, раkitника и пышной розы, от которых долетало до вас сладкое благоухание; там, направо, по ту сторону низко выстриженных тисов, расстился другой зеленый луг, назначенный для гимнастических игр, по середине которого мелькали белые колонны летней беседки, построенной в голландском вкусе, во времена Вильяма III. Наконец, перед главным фасадом здания, широкий луг, как гладкий, пушистый зеленый ковер, далеко расстился от дома и сливался с мрачною тенью густого, волнистого парка, окаймленного рядом незыблемых кедров. Сцена внутри здания, при тихом, спокойном мерцании той же луны, не менее того характеризовала жилища людей, которых нет в других землях, и которые теряют уже эту, так сказать, природную особенность в своем отечестве. Вы видите здесь толстого провинциала-джентльмена, – но отнюдь не в строгом смысле провинциала: нет! вы видите здесь джентльмена, который редко, очень редко оставляет свое поместье, который успел смягчить несколько грубые привычки, свыкнуться с требованиями просвещенного века и совершенно отделиться от обыкновенного *спортсмана* или фермера, – во все еще джентльмена простого и даже грубого, который ни за что не отдаст преимущества гостиной пред старинной залой, и у которого на столе, вместо «Творений Фокса» и «Летописей Бекера», не лежат книги, вышедшие в свет не далее трех месяцев назад, который не покинул еще предрасудков, освещенных глубокой стариной, – предрасудков, которые, по-

добно сучьям в его наследственной дубовой мебели, скорее придают красоту слоям дерева, но отнюдь не отнимают его крепости. Против самого окна, до тяжелого карниза, высился огромный камин, с темными, полированными украшениями, на которых играл отблеск луны. Широкие, довольно неуклюжие, обтянутые ситцем диваны и скамейки времен Георга III представляли резкий контраст с расставленными между ними дубовыми стульями с высокими спинками, которые должно отнести к более отдаленным временам, когда лэди в фижмах и джентльмены в ботфортах не были еще знакомы с тем комфортом и удобствами домашней жизни, которыми наслаждаемся мы в век просвещения. Стены, из гладких, светлых дубовых панелей, были увешаны фамильными портретами, между которыми местами встречались баталические картины и картины фламандской школы, показывающие, что прежний владетель не был одарен вкусом исключительно к одному роду живописи. Вблизи камина стояло открытое фортепьяно; длинный и нисенький книжный шкаф, в самом отдаленном конце комнаты, спокойной улыбкой своей дополнял красоту сцены. Этот шкаф заключал в себе то, что называлось в ту пору «дамской библиотекой», и именно: коллекцию книг, основание которой положено, блаженной памяти, бабушкой сквайра. Покойница его мать, имевшая большее расположение к легким литературным произведениям, довершила предпринятое бабушкой, так что нынешней мистрисс Гэзельден оставалось сделать весьма немного

прибавлений, и то из одного только желания иметь в доме лишняя книги. Мистрисс Гэзельден не была большой охотницей до чтения, а потому она ограничивалась подпискою на один только клубный журнал. В этой дамской библиотеке назидательные сочинения, приобретенные мистрисс Гэзельден-бабушкой, стояли в странном сближении с романами, купленными мистрисс Гэзельден-матушкой, Но не беспокойтесь: эти романы, несмотря на такие заглавия, как, например, «Пагубные следствия чувствительности», «Заблуждения сердца», и проч., были до такой степени невинны, что я сомневаюсь, могли ли ближайшие соседи их сказать о них чтонибудь предосудительное.

Попугай дремлющий на своей насести, золотые рыбки, спавшие крепким сном в хрустальной вазе, две-три собаки на ковре и Флимси, мисс Джемимы любимая болонка, свернувшаяся в мячик на самом мягком диване, рабочий стол мистрисс Гэзельден, в заметном беспорядке, как будто мистрисс Гэзельден недавно сидела за ним, «Летописи Сент-Джемса», свисшие с маленькой пулпитры, поставленной подле кресла сквайра, высокий экран, обтянутый тисненой кожей с золотыми узорами, которым прикрывался карточный стол, – все эти предметы, рассеянные по комнате, довольно большой, чтоб заключать их в себе и не показывать виду, что она стеснена ими, представляли множество мест, на которых взор, отвлеченный от мира природы к домашнему быту человека, мог остановиться с удовольствием.



Но посмотрите: капитан Бернэбес, подкрепленный четвертой чашкой чаю, собрался окончательно с духом и решился шепнуть мистрисс Гэзельден, что мистер Дэль скучает в ожидании виста. Мистрисс Гэзельден взглянула на мистера Дэля и улыбнулась, сделала сигнал Бернэбесу, а вслед за тем раздался призывный звонок, внесли свечи в комнату, опустили занавеси, и через несколько минут вокруг ломберного стола образовалась группа. Самые лучшие из нас подвержены человеческим слабостям; эта истина не новая, но, несмотря на то, люди забывают о ней в повседневной жизни, и смею сказать, что из среды нашей найдутся весьма многие, которые, в этот самый момент, весьма благосклонно помышляют о том, что моему деревенскому пастору не следовало бы, по настоящему, играть в вист. На это могу я сказать только, что «каждый смертный имеет свою исключительную слабость», от которой он часто не только не старается избавиться, но, напротив, с его ведома и согласия, она становится его любимой слабостью и развивается в нем. Слабость мастера Дэля заключалась в привязанности к висту. Мистер Дэль поступил в пасторы, правда, не так давно, но все же в ту пору, когда церковнослужители принимали этот сан гораздо свободнее, чем ныне. Старый пастор того времени играл в вист и не видел в этом ничего предосудительного. В игре мистера Дэля обнаруживались, впрочем, такие поступки, которые, по всей справедливости, следовало бы поставить ему в вину. Во первых, он играл не для одного только раз-

влечения и не для того, чтоб доставить удовольствие другим: нет! он находил особое удовольствие в игре, он радовался случаю поиграть, он углублялся в игру, — короче сказать, не мог смотреть на игру равнодушно. Во вторых, лицо его принимало печальное выражение, когда, по окончании игры, приходилось ему вынимать шиллинги из кошелька, и он чрезвычайно был доволен, когда клал в свой карман чужие шиллинги. Наконец, по одному из тех распоряжений, весьма обыкновенных в супружеской чете, имеющей обыкновение играть, в карты за одним и тем же столом, мистер и мистрисс Гэзельден делались бессменными партнёрами, между тем как капитан Бернэбес, игравший с почестью и выгодой в доме Грагама, по необходимости становился партнёром мистера Дэля, в свою очередь игравшего весьма основательно. Так что, по строгой справедливости, эту игру нельзя было назвать настоящей игрой, в соединении двух знатоков своего дела против неопытной четы. Правда, мистер Дэль усматривал несоразмерность сил двух борющихся сторон и часто делал предложение или переменить партнёров, или оказать некоторые снисхождения слабой стороне, но предложения его всегда отвергались.

Весьма удивительным и чрезвычайно странным кажется для каждого то различие, с которым вист действует на расположение духа. Некоторые утверждают, что это зависит от различия характеров; но это неправда. Мы часто видим, что люди, одаренные прекраснейшим характером, де-

лаются за вистом людьми самыми несносными, между тем как люди несносные, брюзгливые, своенравные переносят свои проигрыши и неудачи в висте со стоицизмом Эпиктета. Это в особенности заметно обнаруживалось в контрасте между представляемыми нами соперниками. Сквайр, считавшийся во всем округе за человека самого холерического темперамента, лишь только садился за вист, против светлого лица своей супруги, как делался самым милым, самым любезным человеком, какого едва ли можно представить. Вы никогда не услышите, чтобы эти плохие игроки бранили друг друга за такие ошибки, которые в висте считались непростительными; напротив того, потеряв игру с четырьмя онёрами на руках, они упрекали друг друга одним только чистосердечным смехом. Все, что говорено было с их стороны касательно игры, заключалось в следующих словах: «Помилуй, Гэрри, какие у тебя маленькие козыри!» Или: «Ах, Гэзельден, возможно ли так играть! они успели сделать три леве, а ты все время держал на руках туза козырей! Ха, ха, ха!»

При подобных случаях Бернэбес, с непритворной радостью, как олицетворенное эхо, повторял звука сквайра и мистрисс Гэзельден: «Ха, ха, ха!»

Не так вел себя за вистом мистер Дэль. Он с таким напряженным вниманием следил за игрой, что даже ошибка его противников тревожила его. И вы можете услышать, как он, возвысив голос, делал жесты с необыкновенной ажитацией, выставя весь закон игры, ссылаясь на трактаты виста

и приводя в свидетели панянь и здравый рассудок, восставал против ошибок в игре. Но поток красноречия мистера Дэля еще более возбуждал веселость пастора и мистрисс Гэзельден. В то время, как эти четыре особы занимались вистом, мистрисс Дэль, явившаяся, несмотря на головную боль, вместе с своим супругом, сидела на диване подле мисс Джемимы, или, вернее сказать, подле собачки мисс Джемимы, которая заняла уже самую середину дивана и скалила зубы при одной мысли, что ее потревожат. Пастор Франк, за особым столом, от времени до времени бросал самодовольный взгляд на бальные башмаки, или любовался каррикатурой Гилроя, которыми маменька снабдила его для умственных его потребностей. Мистрисс Дэль, в душе своей, любила мисс Джемиму лучше, чем любила ее мистрисс Гэзельден, которую она уважала и боялась, несмотря мы то, что большую честь юных лет провели они вместе и что по с пору продолжали называть иногда друг друга Гэрри и Корри. Впрочем, эти нежные уменьшительные имена принадлежать в разряде слов «моя милая», «душа моя» и между дамами употребляются весьма редко, — разве только в те счастливые времена, когда, не обращая внимания на законы, предписанные приличием, они решаются пощипать друг друга. Мистрисс Дэль все еще была весьма хорошенькая женщина, там как и мистрисс Гэзельден была весьма прекрасная женщина. Мистрисс Дэль умела рисовать водяными красками и петь, умела делать из папки различные коробочки и на-

зывалась «элегантной, благовоспитанной женщиной». Мистрисс Гэзельден превосходно сводила счета сквайра, писала лучшие части его писем, держала обширное хозяйство в отличном порядке и заслужила название «прекрасной, умной, образованной женщины». Мистрисс Дэль часто подвержена была головным болям и расстройству нервной системы; мистрисс Гэзельден от роду не страдала ни головными болями, ни нервами. Мистрисс Дэль, отзываясь о мистрисс Гэзельден, говорила: «Гарри никому не делает вреда, но мне крайне не нравится её мужественная осанка». В свою очередь, и мистрисс Гэзельден отзывалась о мистрисс Дэль таким образом: «Кэрри была бы доброе создание еслиб только не чванилась так много.» Мистрисс Дэль говорила, что мистрисс Гэзельден как будто нарочно создана затем, чтоб быт женою сквайра; а мистрисс Гэзельден говорила, что «мистрисс Дэль была единственная особа в мире, которой следовало быт женой пастора.» Когда Карри разговаривала о Гарри с третьим лицом, то обыкновенно обозначала ее так: «милая мистрисс Гэзельден». А когда Гарри отзывалась случайно о Кэрри, то называла ее: «бедная мистрисс Дэль». Теперь читатель, вероятно, догадывается, почему мистрисс Гэзельден называла мистрисс Дэль «бедной», – по крайней мере должен догадаться, сколько я полагаю. Это слово принадлежало к тому разряду слов в женском словаре, которые можно назвать «темными значениями». Объяснять эти значения – дело большой трудности; скорее можно показать на самом

деле их употребление.

– А у вас, Джемима, право, премиленькая собачка! сказала мистрисс Дэль, вышивавшая шолком слово «Каролина», на каемке батистового носового платка, и потом, подвинувшись немного подальше от миленькой собачки, присовокупила: – и он, верно, не кусается... ведь он не укусит меня?

– О, нет, помилуйте! отвечала мисс Джемима, пожалуста, произнесла она шепотом, с особенной доверенностью: – не говорите *он*: эта собачка – лэди!

– О! сказала мистрисс Дэль, отодвигаясь еще дальше, как будто это признание еще более усиливало её опасения.

Мисс Джимима. Скажите, видели ли вы в газетах объявления о нарушении данного обещания вступить в законный брак? И кто же нарушил это обещание? шестидесяти-летний старикашка! Нет, даже самые лета не могут исправить мужчину. И когда подумаешь, что конец человеческому роду приближается, что....

Мистрисс Дэль (*торопливо прерывая, потому что всякий другой конек мисс Джемимы она предпочитает этому траурному, на котором Джемима готовится опередить похороны всей вселенной*). Но, душа моя, оставим этот разговор. Вы знаете, что мистер Дэль имеет по этому предмету свои собственные мнения, а мне, как жене его (*эти три слова произносятся с улыбкой; на ланитах мистрисс Дэль образуется ямочка, которая в прелести своей нисколько не уступает трем ямочкам мисс Джемимы, а напротив то-*

го, *выигрывают гораздо больше*), мне должно соглашаться с ним.

Мисс Джемима (*с горячностью*) Но позвольте! ведь это ясно как день; стоит только взглядеться....

Мистрисс Дэль (*игриво опуская руку на колени мисс Джемимы*). Прошу вас, об этом больше ни слова! Скажите лучше, что вы думаете об арендаторе сквайра, который поселился в казино, – о синьоре Риккабокка? Не правда ли, ведь это очень интересная особа?

Мисс Джемима. Интересная! но уж никак не для меня. Интересная! Скажите, что же находите вы в нем интересно-го?

Мистрисс Дэль молчит, ворочает в своих хорошеньких, беленьких ручках батистовый платок и, по-видимому, рассматривает букву Р в слове Каролина.

Мисс Джимима (*полу-шутливым полусерьёзным тоном*). Почему же он интересен? Признаться сказать, я почти еще не видала его; говорят, что он курит трубку, никогда не ест и, в добавок, безобразен до-нельзя.

Мистрисс Дэль. Безобразен! кто вам сказал? Неправда. У него прекрасная голова, совершенно как у Данта.... Но что значит красота?

Мисс Джемима. Весьна справедливо; и в самом деле, что значит красота? Да, я думаю, как вы говорите, в нем есть что-то интересное. Он кажется таким печальным; но, может статься, это потому, что он беден.

Мистрисс Дэль. Для меня удивительно, право, каким образом можно обращать внимание на этот недостаток в особе, которую любишь. Чарльз и я были очень, очень бедны до сквайра....

Мистрисс Дэль остановилась на этом слове, взглянула на сквайра и в пол-голоса произнесла благословение, теплота которого вызвала слезы на её глаза.

– Да, продолжала она, после минутного молчания: – мы были очень бедны; но, при всей! нашей бедности, мы были счастливы, за что более должна благодарить я Чарльза, а не себя....

И слезы снова затуманили светлые, живые глазки маленькой женщины, в то время, как она нежно взглянула на супруга, которого брови мрачно нахмурились над дурной сдачей карт.

Мисс Джемима. Знаете, что я скажу вам; ведь одни только мужчины считают деньги за источник всякого благополучия. В моих глазах джентльмен несколько не должен терять уважения, хотя он и беден.

Мистрисс Дэль. Удивляюсь, право, почему сквайр так редко ириглашает к себе синьора Риккабокка. Знаете, ведь это настоящая находка!

При этих словах, за ломберным столом раздался голос сквайра.

– Кого, кого я должен приглашать почаще, скажите-ка мне, мистрисс Дэль?



Мистер Дэль делает нетерпеливое возражение.

– Оставьте их, сквайр; играйте, пожалуйста; я хожу с дамы бубен – не угодно ли вам крыть?

Сквайр. Я бью вашу даму козырем. Мистрисс Гэзельден, берите взятку.

Мистер Дэль. Позвольте, позвольте! вы бьете мои бубны козырем?

Капитан Бэрнебес (*торжественно*). Взятка закрыта. Извольте ходить, сквайр.

Сквайр. Король бубен!

Мистрисс Гэзельден. Помилуй! Гэзельден! что ты делаешь? какая явная, непростительная ошибка! ха, ха, ха! Крыть даму бубен козырем – и в ту же минуту ходит с короля бубен. Вот что называется рассеянность!

Голос мистера Дэля возвышается; но его покрывает громкий смех противников и звучный голос капитана, которым он восклицает:

– Мы прибавляем три к нашему счету! игра!

Сквайр (*отирая глаза*). Нет, Гэрри, теперь уж не воро-тишь. Приготовь, пожалуйста, карты за меня!.. Кого же я должен приглашать сюда, мистрисс Дэль? (*Начиная сердиться*). Я первый раз слышу, что гостеприимство Гэзельдена навлекает на себя упрек.

Мистрисс Дэль. Извините, милостивый государь, вы знаете пословицу: кто подслушивает....

Сквайр (*с неудовольствием*). Что это значит? С тех пор,

как поселился здесь этот Монсир, я ничего больше не слышу кроме пословиц. Сделайте одолжение, сударыня, говорите яснее.

Мистрисс Дэль (*немного разгневанная таким возражением*). Об этом-то Монсире, как вы называете его, я и говорила.

Сквайр. Как! о Риккабокка?!

Мистрисс Дэль (*стараясь подделаться под чистое итальянское произношение*). Да, о синьоре Риккабокка.

Сквайр (*пользуясь промежутком времени, допущенным капитаном для соображения*). Мистрисс Дэль, в этом прошу меня не винить. Я звал к себе Риккабокка, с времен незапамятных. Но, вероятно, я не понутру этим господам иноземцам: он не изволил пожаловать к нам. Вот все, что я знаю.

Между тем капитан Бэрнебес, которому наступила очередь готовить карты, тасует их, для победной игры, заключающей робер, так осторожно и так медленно, как поступал, может быть, один только Фабий при выборе позиции для своей армии. Сквайр встает с места, чтоб расправить свои ноги, но в эту минуту вспоминает об упреке, сделанном его гостеприимству, и обращается к жене.

– Завтра, Гэрри, напиши ты сама этому Риккабокка и попроси его провести с нами денька три... Слышите, мистрисс Дэль, мое распоряжение?

– Слышу, слышу, отвечала мистрисс Дэль, закрывая уши руками: этим она хотела заметить сквайру, что он говорил слишком громко. – Пощадите меня, сэр! вспомните, какое я

слабонервное создание.

– Прошу извинить меня, проворчал мистер Гэзельден.

И вместе с тем они обратился к сыну, который, соскучившись рассматривать каррикатуры, притащил на стол огромный фолиант – «Историю Британских Провинций», единственную шагу в домашней библиотеке, которую сквайр ценит выше всех других, и которую он обыкновенно держал под замком, в своем кабинете, вместе с книгами, трактующими о сельском хозяйстве, и управительскими счетами... Сквайр, уступая в тот день просьбе капитана Гиджинботэма, весьма неохотно вынес эту книгу в гостиную. Надобно заметить, что Гиджинботэмы – старинная саксонская фамилия, чему служит очевидным доказательством самое название её – имели некогда обширные поместья в той же провинции, где находилось поместье Гэзельден; и капитан, при каждом посещении Гэзельден-Голла, поставил себе в непременною обязанность заглянуть, с позволения хозяина дома, в «Историю Британских Провинций», собственно с той целью чтоб освежить свои взоры и обновить чувство гордости при воспоминании о том высоком месте, какое занимали в обществе его предки. Это удовольствие доставляла ему следующая статья в помянутой истории: «Налево от деревни Дундер, в глубоком овраге, на прекрасном местоположении, находятся Ботэм-Голл, резиденция старинной фамилии Гиджинботэм, как она обыкновенно ныне именуется. Из документов здешней провинции и судя по различным преданиям, оказы-

вається, що первоначально эта фамилия называлась Гиджес и продолжала называться так до тех пор, пока резиденция их не основалась в Ботэме. Совокупив эти два названия, фамилия Гиджес стала именоваться Гиджес-Инботэм и уже с течением времени, а равно уступая принятому в простонародьи обыкновению коверкать собственные имена, изменилась в Гиджинботэм.»

– Эй, Франк! ты подбираешься, кажется, к моей истории! вскричал сквайр. – Мистрисс Гэзельден, вы не замечаете, что он взял мою историю!

– Ну что же, Гэзельден, пускай его! теперь и ему пора узнать чтонибудь о нашей провинции.

– И чтонибудь об истории, заметил мистер Дэль.

Франк. Уверяю вас, сэр, я буду осторожен с вашей книгой. В настоящую минуту она сильно интересуется меня.

Капитан (*опуская колоду карт для съёмки*). Не хочешь ли ты взглянуть на 706 страницу, где говорится о Ботэм-Голле? э?

Франк. Нет; мне хочется узнать, далеко отсюда ли поместья мистера Десди, до Руд-Гола. Вы ведь знаете, мама?

– Не могу сказать, чтобы знала, отвечала мистрисс Гэзельден. – Лесли не принадлежит к нашей провинции, а притом же Руд лежит от нас в сторону, где-то очень далеко.

Франк. Почему же они не принадлежат к нашей провинции?

Мистрисс Гэзельден. Потому, мне кажется, что они хоть

бедны, но горды: ведь это старинная фамилия.

Мистер Дэль (*под влиянием нетерпения, постукивает по столу*). Ах, как не кстати! заговорили о старинных фамилиях в то время, как карты уже с полчаса, как стасованы.

Капитан Бэрнебес. Не угодно ли вам, сударыня, снять за вашего партнёра?

Скаайр (*с задумчивым видом слушавший расспросы Франка*). К чему ты хочешь знать, далеко ли отсюда до Руд-Голла?

Франк (*довольно нерешительно*). К тому, что Рандаль Лесли отправился туда на все каникулы.

Мистер Дэль. Мистер Гэзельден! ваша супруга сняла за вас. Хотя этого и не должно бы допускать; но делать нечего. Не угодно ли вам садиться и играть, если только вы намерены играть.

Сквайр возвращается к столу, и через несколько минут игра решается окончательным поражением Гэзельденов, чему много способствовали тонкие соображения и неподражаемое искусство капитана. Часы бьют десять; лакеи входят с подносом: сквайр сосчитывает свой проигрыш и проигрыш жены, и в заключение всего капитан и мистер Дэль делят между собою шестнадцать шиллингов.

Сквайр. Надеюсь, мистер Дэль, теперь вы будете повеселее. Вы от нас так много выигрываете, что, право, можно содержать на эти деньги экипаж и четверку лошадей.

– Какой вздор! тихо произнес мистер Дэль. – Знаете ли,

что к концу года у меня от вашего выигрыша не останется ни гроша?

И действительно, как ни мало правдоподобно казалось подобное признание, но оно было справедливо, потому что мистер Дэль обыкновенно делил свои неожиданные приобретения на три части: одну треть он дарил мистрисс Дал на булавки; что делалось с другой третью, в этом он никогда не признавался даже своей дражайшей половине, а известно было, впрочем, что каждый раз, как только он выигрывал семь с половиною шиллингов, пол-кроны, в которой он никому не давал отчета, и которой никто не мог учесть, отправлялась прямехонько в приходскую кружку для бедных, – между тем как остальную треть мистер Дэль удерживал себе. Но я ни сколько не сомневаюсь, что в конце года и эти деньги так же легко переходили к бедным, как и те, которые были опущены в кружку.

Все общество собралось теперь вокруг подноса, исключая одного Франка, который, склонив голову на обе руки и погрузив пальцы в свои густые волосы, все еще продолжал рассматривать географическую карту, приложенную к «Истории Британских Провинций».

– Франк, сказал мистер Гэзельден: – я еще никогда не замечал в тебе такого прилежания.

Франк выпрямился и покраснел: казалось, ему стыдно стало, что его обвиняют в излишнем прилежании.

– Скажи, пожалуйста, Франк, продолжал мистер Гэзельден,

с некоторым замешательством, которое особенно обнаружилось в его голосе: – скажи, пожалуйста, что ты знаешь о Рандале Лесли?

– Я знаю, сэр, что он учится в Итоне.

– В каком роде этот мальчик? спросила мистрисс Гэзельден.

Франк колебался: видно было, что он делал какие-то соображения, – и потом отвечал:

– Говорят, что он самый умный мальчик во всем заведении. Одно только нехорошо: он ведет, себя как сапер.

– Другими словами, возразил мистер Дэль, с приличною особе своей важностью: он очень хорошо понимает, что его послали в школу учить свои уроки, и он учит их. Вы называете это саперным искусством, а я называю исполнением своей обязанности. Но скажите на милость, кто и что такое этот Рандаль Лесли, из за которого вы, сквайр, по видимому, так сильно встревожены?

– Кто и что он такое? повторил сквайр, сердитым тоном. – Вам известно, кажется, что мистер Одлей Эджертон женился на мисс Лесли, богатой наследнице; следовательно, этот мальчик приходится ей родственник. Правду сказать, прибавил сквайр: – он и мне довольно близкий родственник, потому что бабушка его носила нашу фамилию. Но все, что я знаю об этих Лесли, заключается в весьма немногом. Мистер Эджертон, как говорили мне, не имея у себя детей, после кончины жены своей – бедная женщина! – взял молодого

го Рандаля на свое попечение, платит за его воспитание и, если я не ошибаюсь, усыновил его и намерен сделать своим наследником. Дай Бог! дай Бог! Франк и я, благодаря Бога, ни в чем не нуждаемся от мистера Одлея Эджертоне.

– Я вполне верю великодушию вашего брата к родственнику своей жены, довольно сухо сказал мистер Дэль: – я уверен, что в сердце мистера Эджертоне много благородного чувства.

– Ну что вы говорите! что вы знаете о мистере Эджертоне! Я не думаю даже, чтобы вам когда нибудь доводилось говорить с ним.

– Да, сказал мистер Дэль, покраснев и с заметным смущением: – я разговаривал с ним всего только раз, – и, заметив изумление сквайра, присовокупил: – это было в ту пору, когда я жил еще в Лэнсмере и, признаюсь, весьма неприятный предмет нашего разговора имел тесную связь с семейством одного из моих прихожан.

– Понимаю! одного из ваших прихожан в Лэнсмере – одного из избирательных членов, совершенно уничтоженного мистером Одлеем Эджертонем, – уничтоженного после всех беспокойств, которые я принял на себя, чтоб догавяты ему места. Странно, право, мистер Дэль, что до сих пор вы ни разу не упомянули об этом.

– Это вот почему, мой добрый сэръ, сказал мистер Дэль, понижая свой голос и мягким тоном выражая кроткий упрек: – каждый раз, как только заговорю я о мистере Эджертоне, вы,



не знаю почему, всегда приходите в сильное раздражение.

– Я прихожу в раздражение! воскликнул сквайр, в котором гнев, так давно уже подогреваемый, теперь совершенно закипел: – в раздражение, милостивый государь! Вы говорите правду; по крайней мере, я должен так думать. Как же прикажете поступать мне иначе, мистер Дэль? Вы не знаете, что это тот самый человек, которого я был представителем в городском совете! человек, за которого я стрелялся с офицером королевской службы и получил пулю в правое плечо! человек, который за все это до такой степени был неблагодарен, что решился с пренебрежением отозваться о поземельных доходах... мало того: решился явно утверждать, что в земледельческом мире не существовало бедствия в ту несчастную годину, когда у меня самого раззорились трое самых лучших фермеров! человек, милостивый государь, который произнес торжественную речь о замене звонкой монеты в нашей провинции ассигнациями и получил за эту речь поздравление и одобрительный отзыв. Праведное небо! Хороши же вы, мистер Дэль, если решаетесь вступаться за такого человека. Я этого не знал! И после этого извольте сберечь ваше хладнокровие! – Последние слова сквайр не выговорил, но прокричал, а, в добавок к грозному голосу, до такой степени нахмурил брови, что на лице его отразилось раздражение, которым с удовольствием бы воспользовался хороший артист для изображения быющего Фитцгеральда. – Я вам вот что скажу, мистер Дэль, если б

этот человек не был мне полубрат, я бы непременно вызвал его на дуэль. Мне не в первый раз драться. У меня ужь была пуля в правом плече. . . . Да, милостивый государь! я непременно вызвал бы его.

– Мистер Гэзельден! мистер Гэзельден! я трепещу за вас! вскричал мистер Дэль, и, приложив губы к уху сквайра, продолжал говорить что-то шепотом. – Какой пример показываете вы вашему сыну! Вспомните, если из него выйдет современным дуэлист, то вините в этом одного себя.

Эти слова, по видимому, охладили гнев мистера Гэзельдена.

– Вы сами вызвали меня на это, сказал он, опустился в свое кресло и носовым платном начал навевать за лицо свое прохладу.

Мистер Дэль видел, что, перевес был на его стороне, и потому, несколько не стесняясь и притом весьма искусно, старался воспользоваться этим случаем.

– Теперь, говорил он: – когда это совершенно в вашей воле и власти, вы должны оказать снисхождение и ласки мальчику, которого мистер Эджертон, из уважения к памяти своей жены, принял под свое покровительство, – вашему родственнику, который в жизни своей не сделал вам оскорбление, – мальчику, которого прилежание в науках служит верным доказательством тому, что он может быть превосходным товарищем вашему сыну. – Франк, мой милый (при этом мистер Дэль возвысил голос), ты что-то очень усердно рассматривал

карту нашей провинции: не хочешь ли ты сделать визит молодому Лесли?

– Да, я бы хотел, отвечал Франк довольно робко: – если только папа не встретит к тому препятствия. – Лесли всегда был очень добр ко мне, несмотря, что он уже в шестом классе и считается старшим во всей школе.

– Само собою разумеется, сказала мистрисс Гэзельден: – что прилежный мальчик всегда питает дружеское чувство к другому прилежному мальчику; а хотя, Франк, ты проводишь свои каникулы совершенно без всяких занятий зато, я уверена, ты очень много потрудился в школе.

Мистрисс Дэль с изумлением устремила глаза на мистрисс Гэзельден.

Мистрисс Гэзельден отразила этот взгляд с невероятной быстротой.

– Да, Кэрри, сказала она, кивая головой, вы вправе полагать, что Франк мой не умница; но по крайней мере все учителя отзываются о нем с отличной стороны. На прошлом полугодичном экзамене он удостоился подарка.... Скажи-ка, Франк – держи прямо голову, душа моя – за что ты получил эту миленькую книжку?

– За стихи, мама, отвечал Франк, весьма принужденно.

Мистрисс Гэзельден (*с торжествующим видом*). За стихи! слышите, Кэрри? за стихи!

Франк. Да, за стихи! только не моего произведения: для меня написать их Лесли.

Мистрисс Гэзельден (*с выражением сильного упрека*). О, Франк! получить подарок за чужие труды – это неблагодарно.

Франк (*весьма протодушно*). Вам, мама, все еще не может быть так стыдно, как было стыдно мне в ту пору, когда мне вручали этот подарок.

Мистрисс Дэль (*хотя до этого несколько и обиженная словами Гэрри, обнаруживает теперь торжество великодушия над легонькой раздражительностью своего характера*). Простите меня, Франк: я совсем иначе думала об вас. Ваша мама столько же должна гордиться вашими чувствами, сколько гордилась тем, что вы получили подарок.

Мистрисс Гэзельден обвивает рукой шею Франка, обращается к мистрисс Дэль с лучезарной улыбкой и потом вполголоса заводит с своим сыном разговор о Рандале Лесли. В это время Джемима подошла к Кэрри и голосом, совершенно неслышным для других, сказала:

– А мы все-таки забываем бедного мистера Риккабокка. Мистрисс Гэзельден хотя и самое милое, драгоценное создание в мире, но, к несчастью, вовсе не имеет способности приглашать к себе людей. Как вы думаете, Кэрри, не лучше ли будет, если вы сами замолвите ему словечко?

– А почему бы вам самим не послать к нему записочки? отвечала мистрисс Дэль, закутываясь в шаль: пошлите, да и только; и я между тем, без всякого сомнения, увижусь с ним.

– Мой добрый друг, вы, вероятно, простите дерзость моих слов, сказал мистер Дэль, положив руку на плечо сквайра. – Вы знаете, что я имею привычку допускать себе странные вольности перед теми, кого я искренно люблю и уважаю.

– Стоит ли об этом говорят! ответил сквайр, и, быт может, вопреки его желания, на лице его появилась непринужденная улыбка. – Вы всегда поступаете по принятому вами правилу, и мне кажется, что Франк должен прокатиться по-видаться с питомцем моего....

– *Брата*, подхватил мистер Дэль, заключив сентенцию сквайра таким голосом, который придавал этому милому слову такой сладостный, приятный звук, что сквайр хотя и приготовлялся, но не сделал на это никакого возражения.

Мистер Дэль простился окончательно; но в то время, как он проходил мимо капитана Бернэбеса, кроткое выражение лица его внезапно изменилось в суровое.

– Не забудьте, капитан Гиджинботэм ваших ошибок в игре!

Сказав это отрывисто, он величественно вышел из гостиной.

Ночь была такая прелестная, что мистер Дэль и его жена, возвращаясь домой, сделали маленький *détour* по кустарникам, окружающим селение.

Мистрисс Дэль. Мне кажется, я успела наделать в этот вечер чрезвычайно много.

Мистер Дэль (*пробуждаясь от глубокой задумчивости*).

И в самом деле, Кэрри! – да! у тебя это будет премиленький платочек!

Мистрисс Дэль. Платочек! Ах, какие пустяки! Я об нем и забыла в эту минуту. Как ты думаешь, мой друг, мне кажется, что еслиб судьба свела Джемиму и синьора Риккабокка вместе, ведь они, право, были бы счастливы.

Мистер Дэль. Еслиб судьба свела их вместе!

Мистрисс Дэль. Ах, друг мой, ты не хочешь понять меня; – я говорю, что еслиб мне можно было сделать из этого супружескую партию!

Мистер Дэль. Кажется, этому не бывать. Я думаю, Риккабокка, давно уже обречен составить партию, но только не с Джемимою.

Мистрисс Дэл (*надменно улыбаясь*). Посмотрим, посмотрим. Ведь за Джемимой, кажется, есть капитал в четыре тысячи фунтов?

Мистер Дэль (*снова углубленный в прерванные размышления*). Да, да; мне кажется.

Мистрисс Дэль. И, вероятно, на этот капитал выросли проценты, так что, по-моему мнению, в настоящую пору у неё должно быть почти шесть тысяч фунтов!.. Как ты думаешь, Чарльз? Ты опять задумался, мой друг!..

# Глава X

(Представляется на благоусмотрение читателей письмо, написанное, будто бы, самой мистрисс Газельден, на имя Риккабокка, в казино, но в самом-то деле сочиненное и изданное мисс Джемимой Гэзельден.)

*«Милостивый государь!*

*Для чувствительного сердца всегда должно быть мучительно сознание в нанесенной скорби другому сердцу. Вы, милостивый государь (хотя я неумышленно, в этом я совершенно уверена), причинили величайшую скорбь бедному мистеру Гэзельдену, мне и вообще всему маленькому нашему кружку, жестоко уничтожив все наши попытки познакомиться короче с джентльменом, которого мы так высоко почитаем. Сделайте одолжение, милостивый государь, удостойте нас тем, что называется по французски *atende honorable*, и доставьте нам удовольствие посещением нашего дома на несколько дней. Можем ли мы рассчитывать на это посещение в будущую субботу? мы обедаем в шесть часов.*

*Свидетельствуя почтение от мистера и мисс Джемимы Гэзельден, остаюсь уважающая вас*

*Г. Г.*

*Гэзельден-Голл.»*

Мисс Джемима, бережно запечатав эту записку, которую мистрисс Гэзельден весьма охотно поручила ей написать, – лично понесла ее на конюшню, с тем, чтобы сделать груму приличные наставления насчет получения ответа. Но в то время, как она говорила об этом с лакеем, к той же конюшне подошел Франк, одетый к поездке верхом, с большим против обыкновенного дендизмом. Громким голосом он приказал вывести свою шотландскую лошадку и, выбрав себе в провожатые того же лакея, с которым разговаривала мисс Джемима – это был расторопнейший из всей конюшенной прислуги сквайра – велел ему оседлать серого иноходца и провожать его лошадку.

– Нет, Франк, сказала мисс Джемима: – вам нельзя взять Джоржа: ваш папа хочет послать его с поручением. Вы можете взять Мата.

– Мата! сказал Франк, с видимым неудовольствием, и на это имел основательные причины.

Мат был грубый старик, который завязывал свой шейной платок несносным образом и всегда носил на сапогах огромные заплаты; кроме того, он называл Франка «мастэром» и ни за что на свете не позволял молодому господину спускаться с горы рысью.

– Вы говорите – Мата! Нет уж, извините! пускай лучше Мату дадут поручение, а Джорж поедет со мной.

Но и мисс Джемима имела свои, едва ли не более основательные, причины отказаться от Мата. Услужливость не бы-



ла отличительной чертой в характере Мата: во всех домах, где не угощали его элем в лакейских, он не любил быть учтивым и обходительным. Легко могло стать, что он оскорбил бы синьора Риккабокка и тем испортил бы все дело. Вследствие этого, между Джемимой и Франком начался горячий спор, среди которого на конюшенный двор явились сквайр и его жена, с тем намерением, чтобы сесть в двухместную кабриолетку и отправиться в город на рынок. Само собою разумеется, что тяжущиеся стороны немедленно предоставили это дело решению сквайра.

Сквайр с величайшим негодованием взглянул на сына.

– Скажи пожалуйста, зачем ты хочешь взять с собой грума? Ужь не боишься ли ты, что твоя шотландка сшибет тебя?

– Нет, сэр, я не боюсь; но мне хотелось бы ехать как следует джентльмену, когда я делаю визит джентльмену же; отвечал Франк.

– Ах, ты молокосос! вскричал сквайр с большим негодованием. – Я думаю, что я джентльмен не хуже тебя; но хотелось бы, знать, видел ли ты меня когданибудь, чтобы я, отправляясь к соседу, имел за собою лакея вон как этот выскочка Нед Спанки, которого отец был бумаго-прядельным фабрикантом! В первый раз слышу я, что один из Гэзельленов считает ливрею необходимым средством для доказательства своего происхождения.

– Тс, Франк! сказала мистрисс Гэзельден, заметив, что Франк раскраснелся и намеревался что-то отвечать: ни-

когда не делай возражений своему отцу. Ведь ты едешь по-видаться с мистером Лесли?

– Да, мама, и за это позволение я премного обязан моему папа, отвечал Франк, взяв за руку сквайра.

– Но скажи, пожалуйста, Франк, продолжала мистрисс Гэзельден: – я думаю, ты слышал, что Лесли живут очень бедно.

– Что же следует из этого?

– Разве ты не рискуешь оскорбить гордость джентльмена такого же хорошего происхождения, как и ты сам, разве ты не рискуешь оскорбить его, стараясь показать что ты богаче его?

– Клянусь честью, Гэрри, воскликнул сквайр, с величайшим восхищением; – я сию минуту дал бы десять фунтов за то только, чтобы выразиться по твоему.

– Вы совершенно правы, мама: ничего не может быть *сноббичнее* моего поступка, сказал Франк, оставив руку сквайра и взяв руку матери.

– Дайте же и мне вашу руку, сэр. Я вижу, что современем из тебя выйдет чтонибудь путное, сказал сквайр.

Франк улыбнулся и отправился к своей шотландской лошадке.

– Это, кажется, та самая записка, которую вы, написали за меня? сказала мистрисс Гэзельден, обращаясь к мисс Джемиме.

– Та самая. Полагая, что вы не полюбопытствуете взглянуть на нее, я запечатала ее и отдала Джоржу.

– Да вот что: ведь Франк поедет мимо казино; это как раз по дороге к Лесли, сказала мистрисс Гэзельден. – Мне кажется, гораздо учтивее будет, если он сам завезет эту записку.

– Вы думаете? возразила мисс Джемима, с заметным колебанием.

– Да, конечно, отвечала мистрисс Гэзельден. – Франк! послушай, Франк! ты поедешь ведь мимо казино, так, пожалуйста, заезжай к мистеру Риккабокка, отдай ему эту записку и скажи, что мы от души будем рады его посещению.

Франк кивает головой.

– Постой, постой на минутку! вскричал сквайр. – Если Риккабокка дома, то я готов держать пари, что он предложит тебе рюмку вина! Если предложит, то не забудь, что это хуже всякой микстуры. Фи! помнишь, Гэрри? я так и думал, что мне уже не ожить.

– Да, да, возразила мистрисс Гэзельден: – ради Бога, Франк, не пей ни капельки. Ужь нечего сказать, вино!

– Да смотри, не проболтайся об этом! заметил сквайр, делая чрезвычайно квелую мину.

– Я постараюсь, сэр, сказал Франк и с громким смехом скрылся во внутренние пределы конюшни.

Мисс Джемима следует за ним, ласково заключает с ним мировую, и до тех пор, пока нога Франка не очутилась в стремени, она не прекращает своих увещаний обойтись с бедным чужеземным джентльменом как можно учтивее. Маленькая лошадка, слышав седока, делает прыжок-другой и стрелой

вылетает со двора.

## Глава XI

«Какое милое, очаровательное место!»! подумал Франк, вступив на дорогу, ведущую по цветистым полям прямо в казино, которое еще издали улыбалось ему с своими штукатурными пилястрами. – Удивляюсь, право, что мой папа, который любит такой порядок во всем, не обращает внимания на эту дорогу: вся она совершенно избита и заросла травой. Надобно полагать, что у Моунсира не часто бывают посетители.»

Но когда Франк вступил на пространство земли, ближайшее к дому, тогда ему не представлялось более причин жаловаться на запустение и беспорядок. Ничто, по видимому, не могло бы содержаться опрятнее. Франк устыдился даже грубых следов, проложенных копытами его маленькой лошадки, по гладкой, усыпанной песком дороге. Он остановился, слез с коня, привязал его к калитке и отправился к стеклянной двери в лицевом фасаде здания.

Франк позвонил в колокольчик раз, другой, но на призыв его никто не являлся. Старуха служанка, крепкая на-ухо, бродила где-то в отдаленной стороне двора, отыскивая яйца, которые курица как будто нарочно запрятала от кухонных предназначений, между тем как Джакеймо удил пискарей и колюшек, которые, в случае если изловятся, вместе с яйцами, если те отыщутся, определялись на то, чтоб продо-

вольствовать самого Джакеймо, а равным образом и его господина. Старая женщина служила в этом доме из за насущного хлеба.... счастливая старуха! – Франк позвонил в третий раз, и уже с нетерпением и пылкостью, свойственными его возрасту. Из бельведера, на высокой террасе, выглянуло чье-то лицо.

– Сорванец! сказал доктор Риккабокка про себя. – Молодые петухи всегда громко кричат на своей мусорной яме; а этот петух, должно быть, высокого рода, если кричит так громко на чужой.

Вслед за тем Риккабокка медленно побрел из летней своей комнаты и явился внезапно перед Франком, в одежде, имеющей большое сходство с одеждой чародея, и именно: в длинной мантии из черной саржи, в красной шапочке на голове, и с облаком дыму, быстро слетевшим с его уст, как последний утешительный вздох, перед разлукой их с трубкой. Франк хотя не раз уже видел доктора, но никогда не видал его в таком схоластическом костюме, и потому немудрено, что когда он обернулся назад, то немного испугался его появления.

– Синьорино – молодой джентльмен! сказал итальянец, с обычной вежливостью, снимая свою шапочку. – Извините небрежность моей прислуги; я считаю за счастье лично принять ваши приказания.

– Вы, верно, доктор Риккабокка? пробормотал Франк, приведенный в крайнее смущение таким учтивым приветом,

сопровождаемым низким и в то же время величественным поклоном: – я... у меня есть записка из Гэзельден-Голла. Мама... то есть, моя маменька... и тетенька Джемима свидетельствуют вам почтение, и надеются, сэр, что вы посетите их.

Доктор, с другим поклоном, взял записку и, отворив стеклянную дверь, пригласил Франка войти.

Молодой джентльмен, с обычной неделикатностью школьника, хотел было сказать, что он торопится, и таким образом отказаться от предложения, но благородная манера доктора Риккабокка невольно внушала к нему уважение, а мелькнувшая перед ним внутренность приемной залы возбуждала его любопытство, и потому он молча принял приглашение.

Стены залы, сведенные в осьмиугольную форму, первоначально разделены были по углам деревянными панелями на части, отделявшие одну сторону от другой, и в этих-то частях итальянец написал ландшафты, сияющие теплым солнечным светом его родного края. Франк не считался знатоком искусства; но он поражен был представленными сценами: все картины изображали виды какого-то озера – действительного или воображаемого; во всех них темно-голубые воды отражали в себе темно-голубое, тихое небо. На одном ландшафте побег ступеней опускался до самого озера, где веселая группа совершала какое-то торжество; на другом – заходящее солнце бросало розовые лучи свои на боль-

шую виллу, позади которой высились Альпы, а по бокам тянулись виноградники, между тем как на гладкой поверхности озера скользили мелкие шлюбки. Короче сказать, во всех восьми отделениях сцена хотя и различалась в подробностях, но сохраняла тот же самый общий характер: казалось, что художник представлял во всех картинах какую-то любимую местность. Итальянец, однако же, не удостоивал особенным вниманием свои художественные произведения. Проведя Франка через залу, он открыл дверь своей обыкновенной гостиной и попросил гостя войти. Франк вошел довольно неохотно и с застенчивостью, вовсе ему несвойственною, присел на кончик стула. Здесь новые обрачки рукоделья доктора снова приковали к себе внимание Франка. Комната первоначально была оклеена шпалерами; но Рикабокка растянул холст по стенам и написал на этом холсте различные девизы сатирического свойства, отделенные один от другого фантастическими арабесками. Здесь Купидон катил тачку, нагруженную сердцами, которые он, по видимому, продавал безобразному старику, с мешком золота в руке – вероятно, Плутусу, богу богатства. Там показывался Диоген, идущий по рыночной площади, с фонарем в руке, при свете которого он отыскивал честного человека, между тем как толпа ребятишек издевалась над ним, а стая дворовых собак рвала его за одежду. В другом месте виден был лев, полу-прикрытый лисьей шкурой, между тем как волк, в овечьей маске, весьма дружелюбно беседовал с молодым



ягненком. Тут выступали встревоженные гуси, с открытыми клювами и вытянутыми шеями, из Римского Капитолия, между тем как в отдалении виднелись группы быстро убегающих воинов. Короче сказать, во всех этих странных эмблемах символически выражался сильный сарказм; только над одним камином красовалась картина, более оконченная и более серьёзного содержания. Это была мужская фигура в одежде пилигрима, прикованная к земле тонкими, по бесчисленным лигатурами, между тем как призрачное подобие этой фигуры стремилось в беспредельную даль; и под всем этим написаны были патетические слова Горация:

*Patriae quis exul  
Se quoque quoque fugit.*<sup>6</sup>

Мебель в доме была чрезвычайно проста и даже недостаточна; но, несмотря на то, она с таким вкусом была расставлена, что придавала комнатам необыкновенную прелесть. Несколько алебастровых бюстов и статуй, купленных, быть может, у какого нибудь странствующего артиста, имели свой классический эффект; они весело выглядывали из за сгруппированных вокруг них цветов или прислонялись к легким

---

<sup>6</sup> Легко ли изгнаннику, прикованному таким образом к отечеству, покинут его?

экранам из тонких ивовых прутьев, опускавшихся снизу концами в ящики с землей, служившей грунтом для чужездных растений и широколиственного плюща. Все это, вместе с роскошными букетами живых цветов, сообщало гостиной вид прекрасного цветника.

– Могу ли я просить вашего позволения? сказал итальянец, приложив палец к печати полученной записки.

– О, да! весьма наивно отвечал Франк.

Риккабокка сломал печать, и легкая улыбка прокралась на его лицо. После того он отвернулся от Франка немного в сторону, прикрыл рукой лицо и, по видимому, углубился в размышления.

– Мистресс Гэзельден, оказал он наконец:– делает мне весьма большую честь. Я с трудом узнаю её почерк; иначе у меня было бы более нетерпения распечатать письмо.

Черные глаза его поднялись сверх очков и пронизательные взоры устремились прямо в незащитное и бесхитрое сердце Франка. Доктор приподнял записку и пальцем указал на буквы.

– Это почерк кухни Джемимы, сказал Франк так быстро, как будто об этом ему предложен был вопрос.

Итальянец улыбнулся.

– Вероятно, у мистера Гэзельдена много гостей?

– Напротив того, нет ни души, отвечал Франк: впрочем, виноват: у нас гостит теперь капитан Барни. До сезона псовой охоты у нас бывает очень мало гостей, прибавил Франк,

с легким вздохом:— и кроме того, как вам известно, каникулы уже кончились. Что касается до меня, я полагаю, что нам дадут еще месяц отсрочки.

По видимому, первая половина ответа Франка успокоила доктора, и он, поместившись за стол, написал ответ, — не торопливо, как пишем мы, англичане, но с особенным тщанием и аккуратностью, подобно человеку, привыкшему взвешивать значение каждого слова, — и писал тем медленным, красивым итальянским почерком, который при каждой букве дает писателю так много времени для размышления. Поэтому-то Риккабокка и не дал никакого ответа на замечание Франка касательно каникул; он соблюдал молчание до тех пор, пока не кончил записки, прочитал ее три раза, запечатал сургучом, который растапливал чрезвычайно медленно, а потом, вручив ее Франку, сказал:

— За вас, молодой джентльмен, я сожалею, что каникулы ваши кончаются так рано; за себя я должен радоваться, потому что принимаю благосклонное приглашение, которое вы, передав его лично, сделали лестным для меня вдвойне.

«Нелегкая побери этого иностранца, с его комплиментами!» подумал англичанин Франк.

Итальянец снова улыбнулся, как будто на этот раз, не употребляя в дело своих черных, пронизательных глаз, он читал в сердце юноши, и сказал, но уже не так вычурно, как прежде:

— Вероятно, молодой джентльмен, вы не слишком заботи-

тес о комплиментах?

– Нисколько, отвечал Франк, весьма простодушно.

– Тем лучше для вас, особливо, когда дорога в свете для вас открыта. Оно было бы гораздо хуже, если бы вам приходилось открывать эту дорогу самому.

Лицо Франка ясно выражало замешательство; мысль, высказанная доктором, была слишком для него глубока, и потому он заблагоразсудил обратиться к картинам.

– У вас прекрасные картины, сказал он: – кажется, они отлично сделаны. Чьей они работы?

– Синьорино Гэзельден, вы дарите меня тем, от чего сами отказались.

– Что такое? произнес Франк, вопросительно.

– Вы дарите меня комплиментами.

– Кто? а! совсем нет. Однако, эти картины превосходно написаны... не правда ли, сэр?

– Не совсем; позвольте вам заметить, вы говорите с самим артистом...

– Как так! неужели вы сами писали их?

– Да.

– И картины, которые в зале?

– И те тоже.

– Вы снимали их с натуры?

– Натура, сказал итальянец, стараясь придать словам своим большее значение, быть может, с той целью, чтоб избежать прямого ответа: – натура ничего не позволяет снимать

с себя.

– О! произнес Франк, снова приведенный в крайнее замешательство. – Итак, я должен пожелать вам доброго утра, сэр. Я очень рад, что вы будете к нам.

– Вы говорите это без комплиментов?

– Без комплиментов.

– *A rivedersi* – прощайте, молодой джентльмен! сказал итальянец. – Пожалуйста сюда, прибавил он, заметив, что Франк устремился совсем не к той двери. – Могу ли я предложить вам рюмку вина? оно у нас чистое, неподдельное, собственного нашего изделия.

– Нет, нет, благодарю вас, сэр! вскричал Франк, внезапно вспомнив наставление своего родителя. – Прощайте; пожалуйста, не беспокойтесь: теперь я один найду дорогу.

Однако же, вежливый итальянец проводил гостя до самой калитки, у которой Франк привязал свою лошадку. Молодой джентльмен, опасаясь, чтобы такой услужливый хозяин дома не подал ему стремени, в один миг отвязал уздечку и так торопливо вскочил на седло, что не успел даже попросить итальянца показать ему дорогу в Руд, которой он решительно не знал. Взор итальянца следил за молодым человеком до тех пор, пока тот не поднялся на пригорок, и тогда из груди доктора вылетел тяжелый вздох.

«Чем умнее мы становимся – сказал он про себя – тем более сожалеем о возрасте наших заблуждений; гораздо лучше мчаться с легким сердцем на вершину каменной горы,

нежели сидеть в бельведере с Макиавелли.»

Вместе с этим он воротился на бельведер, но уже не мог снова приступить к своим занятиям. Несколько минут он простоял, вглядываясь в даль аллеи; аллея напомнила ему о полях, которые Джакеймо расположен был взять в арендное содержание, а поля напомнили ему о Ленни Ферфилде. Риккабокка пришел домой и через несколько секунд снова появился на дворе, в костюме, который он носил за пределами своего дома, с плащом и зонтиком, закурил свою трубку и побрел к деревне Гэзельден.

Между тем Франк, проскакав коротким галопом некоторое расстояние, остановился у коттеджа, лежащего по дороге, и узнал там, что в Руд-Голл пролегает по полям тропа, по которой он может выиграть не менее 3 миль. Франк сбился с этой тропы и опять выехал на большую дорогу. Шоссейный сборщик, получив сначала пошлину за право молодого человека совершать дальнейшее путешествие по большой дороге, снова посоветовал юному наезднику возвратиться на прежнюю тропу, и наконец, после долгих поисков, Франк встретил несколько проселков, где полу-сгнивший придорожный столб указал ему дорогу в Руд. Уже к вечеру, проскакав пятнадцать миль, при желании сократить десять миль в семь, Франк внезапно очутился на дикоме, первобытном пространстве земли, казавшемся полу-пустырем, полу-выгоном, с неопрятными, полу-сгнившими, жалкой наружности хижинами, рассеянными в странном захолустье. Ленивые,

оборванные ребятишки играли грязью на дороге; неопрятные женщины сушили солому за заборами; большая, по обветшавшая от времени и непогод церковь, как будто говорившая, что поколение, которое смотрело на нее, когда она еще строилась, было гораздо набожнее поколения, которое теперь совершало в ней молитвы, стояла подле самой дороги.

– Не эта ли деревня Руд? спросил Франк здорового, молодого парня, разбивающего щебенку – печальный признак того, что лучшего занятия он не мог найти!

Молодой работник утвердительно кивнул головой и продолжал свою работу.

– А где же здесь господский дом мистера Лесли?

Работник взглянул на Франка с глупым изумлением и на этот раз дотронулся до шляпы.

– Не туда ли вы едете?

– Туда, если только найду этот дом.

– Я покажу нашей чести, сказал мужик, весьма проворно.

Франк сдержал свою лошадку, и провожатый пошел с ним рядом.

Франк, можно сказать, был батюшкин сынок. Вопреки различию возраста и той разборчивой перемене привычек, которая в успехах цивилизации характеризует каждое следующее поколение, вопреки всей его итонской блестящей наружности, он очень хорошо был знаком с крестьянским бытом и, как деревенский уроженец, с одного взгляда понимал положение сельского хозяйства.

– Кажется, вы не совсем-то хорошо поживаете в этой деревне? спросил Франк, с видом знатока.

– Да, не совсем: летом у нас неурожаи, а зимой работы нет; несчастье да и только! а помочь горю не знаем чем.

– Но, я полагаю, у вас есть фермеры, которые нуждаются в работниках?

– Фермеры-то есть, да работы-то у них нет: вы видите сами, какая дикая земля здесь.

– А это, вероятно, господский выгон, и вам дано право пользоваться им? спросил Франк, осматривая большое стадо самых жалких двуногих и четвероногих животных.

– Так точно; сосед мой Тиминс держит на этом вагоне гусей, кто-то из наших держит корову, а сосед Джолас пасет поросят. Не могу вам сказать, дано ли право им на это, – знаю только, что наши господа делают для нас все, что только может послужить нам в пользу. Конечно, они не могут сделать многого, потому что сами не там богаты, как другие господа; поприбавил крестьянин с гордостью: – они так добры, таких господ немного в нашем округе.

– Мне приятно слышать, что ты любишь их.

– О, да, я их очень люблю... Вы не в одной ли школе с нашим молодым джентльменом?

– В одной, отвечал Франк.

– Вот как! я слышал, как ваш священник говорил, что ма-стэр Рандаль большой руки умница, и что со временем он разбогатеет. Дай-то Господи! это знаете, ведь у бедного по-



мещика и крестьянину труднее богатеть.... А вон и господский дом, сэр!

## Глава XII

Франк взглянул по прямому направлению и увидел четырех-угольный дом, который, несмотря неподъемные окна новейшей архитектуры, очевидно принадлежал к глубокой древности. Высокая конусообразная кровля, высокие странной формы горшки из красной закаленной глыбы, опрокинутые над уединенными дымовыми трубами, самой простой постройки нынешних времен, ветхая резная работа на дубовых дверях времен Георга III, устроенных в стрельчатом своде времен Тюдоров, и какая-то особенная, потемневшая от времени и непогод наружность маленьких прекрасно выделанных кирпичей, из которых выведено было здание, — все это вместе обнаруживало резиденцию прежних поколений, примененную, без всякого вкуса, к привычкам потомков, непроникнутых духом современности или равнодушных к поэзии минувшего. Этот дом, среди дикой, пустынной страны, явился перед Франком совсем неожиданно. Расположенный в овраге, он скрывался от взора беспорядочной группой оципанных, печальных, захирелых сосен. Крутой поворот дороги устранял это прикрытие, и уединенное жилище, со всеми своими подробностями, весьма неприятно поражало взор путешественника. Франк спустился с своего коня и передал поводья провожатому. Поправив галстух, молодой итонский щеголь приблизился к дверям и гром-

ким ударом медной скобы нарушил безмолвие, господствовавшее вокруг дома, таким громким ударом, который спугнул изумлённого скворца, свивавшего под выступом кровли гнездо, и поднял на воздух стадо воробьев, синиц и желтобрюшек, пировавших между разбросанными грудями сена и соломы на грязном хуторном дворе, по правую сторону господского дома, обнесенном простым, неокрашенным деревянным забором. Между тем свинья, сопровождаемая своим семейством, прибрела к воротам забора и, положив свою морду на нижнюю перекладину ворот, как бы осматривала посетителя с любопытством и некоторым подозрением.

В то время, как Франк ждет у дверей и от нетерпения сбивает хлыстом пыль с своих белых панталон, мы украдкой бросим взгляд на членов семейства, обитающего в этом доме. Мистер Лесли, *pater familias*, находится в маленькой комнатке, называемой его «кабинетом», в который он отправляется каждое утро после завтрака, и редко снова появляется в семейном кругу ранее часа пополудни, назначенного, чисто по деревенски, для обеда. В каких таинственных занятиях мистер Лесли проводит эти часы, никто еще не решился сделать заключения. В настоящую минуту он сидит за маленьким дряхлым бюро, у которого под одной из ножек (вследствие того, что она короче других) подложен сверточек из старых писем и обрывков от старых газет. Бюро открыто и представляет множество углублений и ящиков, наполненных всякой всячиной, собранной в течение мно-

гих лет. В. одном из этих ящиков находятся связки писем, весьма желтых и перевязанных полинялой тесемкой; в другом – обломок пуддингового камня, который мистер Лесли нашел во время своих прогулок и считает за редкий минерал: вследствие того на обломке красуется ярлычок с отчетливою надписью: «найден на проселочной дороге в овраге, мая 21-го 1824 года, Мондером Лесли, сквайром». Следующий ящик содержит в себе различные обломки железа в виде гвоздей, обломков лошадиных подков и проч., которые мистер Лесли также находил во время прогулок, и, согласно народному предразсудку, считал за большое несчастье не поднять их с земли, – и, подняв однажды, тем не менее предвещалось несчастье тому, кто решался бросить их. Далее, в ближайшем углублении, помещалась коллекция дырявых кремней, сохраняемых по той же причине, вместе с изогнутой шестипенсовой монетой; по соседству с этим отделением, в затейливом разнообразии, расположены были приморские башенки, арабские зубы (я разумею под этими словами название раковин) и другие обрашки раковинных произведений природы, частью поступившие в наследство от одной родственницы, престарелой девы, а частью собранные самим мистером Лесли, во время его поездок к морским берегам. Тут же находились отчеты управителя, несколько пачек старых счетов, старая шпора, три пары башмачным и чулочных пряжек, принадлежавших некогда отцу мистера Лесли, несколько печатей; связанных вместе на кусочке дратвы,

шагриновый футляр для зубочисток, увеличительное стекло для чтения; оправленное в черепаху, первая тетрадь чи-стописания его старшего сына, такая же тетрадь второго сы-на, такая же тетрадь его дочери и клочок волос, связанный в узел, в оправе и за стеклышком. Кроме того там же ле-жали: маленькая мышеловка, патентованный пробочник; об-ломки серебряной чайной ложечки, которая, от долгого упо-требления, совершенно разложилась в некоторых своих ча-стях; небольшой коричневый вязаный кошелек, заключаю-щий в себе полу-пенсовые монеты, чеканенные в различные периоды, начиная от времен королевы Анны, вместе с дву-мя французскими *су* и немецкими *зильбергрошами*. Всю эту смесь мистер Лесли высокоречиво называл «коллекцией мо-нет» и в своем духовном завещании обозначил как фамиль-ное наследство. За всем тем находилось еще множество дру-гих любопытных предметов подобного свойства и равного достоинства, «*quae nunc describere longum est*». Мистер Лес-ли занимался в это время, употребляя его собственные сло-ва, «приведением вещей в порядок», занятие, совершаемое им с примерной аккуратностью раз в неделю. Этот день был назначен для подобного дела, и мистер Лесли только что пер-есчитал «коллекцию монет» и собирался уложить их в ко-шелек, когда удар Франка в медную скобу долетел до его слу-ха.

Мистер Мондер Слюг Лесли остановился, с видом недо-верчивости покачал головой и приготовился было снова при-

ступить к делу, как вдруг овладела им сильная зевота, мешавшая ему в течение целых двух минут завязать кошелек.

Предоставив этому кабинетному занятию кончиться своим порядком, мы обратимся в гостиную, или, вернее сказать, в приемную, и посмотрим, какого рода происходят там развлечения. Гостиная эта находилась в первом этаже. Из окон её представлялся пленительный вид, — не тощих, захиревших сосен, но романтического, волнистого, густого леса. Впрочем, эта комната после кончины мистрисс Лесли оставалась без всякого употребления. Правда, она предназначалась для того, чтобы сидеть в ней тогда, когда собиралось много гостей; но так как гости никогда не собирались в дом мистера Лесли, поэтому и в гостиной никогда не сидели. Да в настоящее время и невозможно было сидеть в ней, потому что бумажные шпалеры, под влиянием сырости, отстали от стен, а крысы, мыши и моль, эти «*edaces regum*», разделили между собой, на съедение, почти все подушки от стульев и значительную часть пола. Вследствие этого, гостиную заменяла общая комната, в которой завтракали, обедали и ужинали, и где после ужина мистер Лесли имел обыкновение курить табак, под аккомпанемент горячего или голодного пунша, отчего по всей комнате раздавался запах, говорящий о множестве яств и тесноте жилища. В этой комнате было два окна: одно обращалось к тощим соснам, а другое выходило за хуторный двор, и из него вид замыкался птичником. Вблизи первого окна сидела мистрисс Лесли; перед

ней, за высокой табуретке, стояла корзинка, с детским платьем, требующим починки. Подле неё находился рабочий столик, розового дерева, с бронзовыми каемками. Это был её свадебный подарок и в свое время стоил чрезвычайно дорого, хотя отделка его не отличалась ни вкусом, ни изящностью работы. От частого и давнего употребления, бронза во многих местах отстала и часто причиняла мучительную боль детским пальчикам или наносила опустошение на платье мистрисс Лесли. И в самом деле, это была самая затейливая мебель из целого дома, благодаря этим качествам бронзовых украшений, так что еслиб это была живая обезьяна, то, право, и та не могла бы наделать, столько вредных шалостей. На рабочем столике лежали швейный прибор, наперсток, ножницы, мотки шерсти и ниток и маленькие лоскутки холстины и сукна для заплаток. Впрочем, мистрисс Лесли не занималась еще работой она только приготавлилось заняться ею, – и приготовления эти длились не менее полутора часа. На коленях у неё лежал роман, женщины-писательницы, очень много писавшей для минувшего поколения, под именем «мистрисс Бриджет Синяя Мантия». В левой руке мистрисс Лесли держала весьма тоненькую иголку, а в правой – очень толстую нитку; от времени до времени, она прилагала конец помянутой нитки к губам и потом, отводя глаза от романа, делала хотя и усиленное, но бесполезное нападение на ушко иголки. Во не один, однако же, роман отвлекал внимание мистрисс Лесли: она беспрестанно

отрывалась от работы, или, лучше сказать, от чтения, затем, чтоб побранить детей, спросить, «который час», заметить, что «и из Сары ничего не выдет путнаго», или выразить, изумление, почему мистер Лесли не хочет заметить, что розовый столик давно пора отдать в починку. Мистрисс Лесли, надобно правду сказать, была женщина довольно милостивая. На зло её одежде, в одно и то же время весьма неопрятной и чересчур экономической, она все еще имела вид лэди и даже более, если взять в соображение тяжкие обязанности, сопряженные с её положением. Она очень гордилась древностью своей фамилии, как с отцовской, так и с материнской стороны: её мать происходила из почтенного рода Додлеров из Додль-Плэйса, существовавшего до Вильяма-Завоевателя. Действительно, стоит только заглянуть в самые ранние летописи нашего отечества, стоит только о размотреть некоторые из тех бесконечно-длинных поэм морального свойства, которыми восхищались в старину наши *тань* и *альдерманы*, чтоб убедиться, что Додлеры имели сильное влияние на народ прежде, чем Вильям I произвел во всем государстве великий переворот. Между тем как фамилия матери была неоспоримо саксонская, фамилия отца имела не только имя но и особенные качества, исключительно принадлежавшие одним нормандцам. Отец мистрисс Лесли носил имя Монтфиджет, без всякого сомнения, но неотъемлемому праву потомства от тех знаменитых баронов Монтфиджет, которые некогда владели обширными землями и неприступны-



ми замками. Как следует быть истому нормандцу, Монтфиджеты отличались большими, немного вздернутыми кверху носами, сухощавостью, вспльчивостью и раздражительностью. Соединение этих двух поколений обнаруживалось даже для самого обыкновенного физиономиста как в физическом, так и в моральном устройстве мистрисс Лесли. У неё были умные, выразительные, голубые глаза саксонки и правильный, немного вздернутый нос нормандки; она часто задумывалась ни над чем и предавалась беспечности и лени там, где требовалось все её внимание – качества, принадлежавшие одним только Додлерам и Монтфиджетам. У ног мистрисс Лесли играла маленькая девочка – с прекрасными волосами, спускавшимися за уши мягкими локонами. В отдаленном конце комнаты, за высокой конторкой, сидел школьный товарищ Франка, старший сын мистера Лесли. Минуты за две перед тем, как Франк ударом в скобу нарушил во всем доме спокойствие и тишину, он отвел глаза от книг, лежавших на конторке, и отвел для того, чтобы взглянуть на чрезвычайно ветхий экземпляр греческого теста мента, в котором брат его Оливер просил Рандаля разрешить встреченное затруднение. В то время, как лицо молодого студента повернулось к свету, ваше первое впечатление, при виде его, было бы довольно грустное и пробудило бы в вашей душе участие, смешанное с уважением, потому что это лицо потеряло уже живой, радостный характер юности: между бровями его образовалась морщина, под глазами и между оконечно-

стями ноздрей и рта проходили линии, говорившие об истоме, – цвет лица был желто-зеленый, губы бледные. Лета, проведенные в занятиях, уже посеяли семена расслабления и болезни. Но если взор ваш остановится долее на выражении лица, то ваше сострадание постепенно уступит место какому-то тревожному, неприятному чувству, – чувству, имеющему близкое сходство со страхом. Вы увидели бы ясный отпечаток ума обработанного и в то же время почувствовали бы, что в этой обработке было что-то громадное, грозное. Заметным контрастом этому лицу, преждевременно устаревшему и не по летам умному, служило здоровое, круглое лицо Оливера, с томными, голубыми глазами, устремленными прямо на пронизательные глаза брата, как будто в эту минуту Оливер всеми силами старался уловить из них хоть один луч того ума, которым сияли глаза Рандаля, как светом звезды – чистым и холодным. При ударе Франка, в томных голубых глазах Оливера заискрилось одушевление, и он отскочил от брата в сторону. Маленькая девочка откинула с лица спустившиеся локоны и устремила на свою мама взгляд, выражавший испуг и удивление.

Молодой студент нахмурил брови и с видом человека, которого ничто не занимает, снова углубился в книги.

– Ах, Боже мой! вскричала мистрисс Лесли: – кто бы это мог быть? Оливер! сию минуту прочь, от окна: тебя увидят. Джульета! сбегай. . . . нет, позвони в колокольчик. . . . нет, нет, беги на лестницу и скажи, что дома нет. Нет дома, да и толь-

ко, повторяла мистрисс Лесли выразительно.

Кровь Монтфиджета заиграла в ней.

Спустя минуту, за дверьми гостиной послышался громкий ребяческий голос Франка.

Рандаль слегка вздрогнул.

– Это голос Франка Гэзельдена, сказал он. – Мама, я желал бы его видеть.

– Видеть его! повторила мистрисс Лесли, с крайним изумлением: – видеть его! когда наша комната в таком положении.

Рандаль мог бы заметить, что положение комнаты несколько не хуже обыкновенного, но не сказал ни слова. Легкий румянец как быстро показался на его лице, так же быстро и исчез с него; вслед за тем он прислонился щекой к руке и крепко сжал губы.

Наружная дверь затворилась с угрюмым, негостеприимным скрипом, и в комнату, в стоптанных башмаках, вошла служанка, с визитной карточкой.

– Кому эта карточка? Дженни, подай ее мне! вскричала мистрисс Лесли.

Но Дженни отрицательно кивнула головой, положила карточку на конторку подле Рандалья и исчезла, не сказав ни слова.

– Рандаль! Рандаль! взгляни, взгляни, пожалуйста! вскричал Оливер, снова бросившись к окну: – взгляни, какая миленькая серая лошадка.

Рандаль приподнял голову... мало того: он нарочно подошел к окну и устремил минутный взор на резвую шотландскую лошадку и на щегольски одетого прекрасного наездника. В эту минуту перемены пролетали по лицу Рандаля быстрее облаков по небу в бурную погоду. В эту минуту вы заметили бы в выражении лица его, как зависть сменялась досадою, и тогда бледные губы его дрожали, кривились, брови хмурились; вы заметили бы, как надежда и самоуважение разглаживали его брови и вызывали на лицо надменную улыбку, и потом все по-прежнему становилось холодно, спокойно, неподвижно в то время, как он возвращался к своим делам, сел за них с решимостью и вполголоса сказал:

– *Знание есть сила!*

Мистрисс Лесли подошла к Рандалью с сильным душевным волнением и некоторым замешательством; она нагнулась через плечо Рандаля и прочитала карточку. В подражание печатному шрифту, на ней написано было чернилами: «М. Франк Гэзельден», и потом сейчас же под этими словами, на скорую руку и не так отчетливо, написано было карандашом следующее:

«Любезный Лесли, очень жалею, что не застал тебя. Приезжай к нам, *пожалуйста.*»

– Ты поедешь, Рандаль? спросила мистрисс Лесли, после минутного молчания.

– Не знаю, не думаю.

– Почему же *ты* не можешь ехать? у *тебя* есть хоро-

шее модное платье. Ты можешь ехать куда тебе вздумается, не так, как эти дети.

И мистрисс Лесли с сожалением взглянула на грубую, изношенную курточку Оливера и оборванное платьице маленькой Джульеты.

– Все, что я имею теперь, я обязан этим мистеру Эджертону, и потому должен соображаться с его желаниями. Я слышал, что он не совсем в хороших отношениях с этими Гэзельденами, сказал Рандаль, и потом, взглянув на брата своего, который казался крайне огорченным, он присовокупил довольно ласково, но сквозь эту ласку проглядывала холодная надменность: – все, что я отныне буду иметь, Оливер, этим буду обязан себе одному; и тогда, если мне удастся возвыситься, я возвышу и мою фамилию.

– Милый, дорогой мой Рандаль! сказала мистрисс Лесли, нежно цалуя его в лоб: – какое у тебя доброе сердце!

– Нет, маменька: по-моему, с добрым сердцем труднее сделать большие успехи в свете, чем твердой волей и хорошей памятью, отвечал Рандаль отрывисто и с видом пренебрежения. – Однако, я больше не могу читать теперь. Пойдем прогуляться, Оливер.

Сказав это, он отвел эти себя руку матери и вышел из комнаты.

Рандаль уже был на лугу, когда Оливер присоединился к нему. Не замечая брата своего, он продолжал идти вперед быстро, большими шагами и в глубоком молчании. На-

конец он остановился под тенью старого дуба, который уцелел от топора потому только, что по старости своей никуда больше не годился, как на дрова. Дерево стояло на пригорке, с которого взору представлялся ветхий дом, не менее того ветхая церковь и печальная, угрюмая деревня.

– Оливер, сказал Рандаль сквозь зубы, так что голос его похож был на шипенье: – Оливер, вот под самым этим деревом я в первый раз решился....

Рандаль замолчал.

– На что же ты решился, Рандаль?

– Читать с прилежанием. Знание есть сила.

– Но, мне кажется, ты и без того любил читать.

– Я! воскликнул Рандаль. – Так ты думаешь, что я люблю чтение?

Оливер испугался.

– Ты знаешь, продолжал Рандаль: – что мы, Лесли, не всегда находились в таком нищенски-бедном состоянии. Ты знаешь, что и теперь еще существует человек, который живет в Лондоне на Гросвенор-Сквере, и который богат, очень богат. Его богатство перешло к нему от фамилии Лесли: этот человек, Оливер, мой покровитель, и очень-очень добр ко мне.

С каждым из этих слов Рандаль становился угрюмее.

– Пойдем дальше, сказал он, после минутного молчания: – пойдем.

Прогулка снова началась; она совершалась быстрее преж-

него; братья молчали.

Они пришли наконец к небольшому, мелкому потоку и, перепрыгивая по камням, набросанным в одном месте его, очутились на другом берегу, не замочив подошвы.

– Не можешь ли ты, Оливер, сломить мне вон этот сук? отрывисто сказал Рандаль, указывая на дерево.

Оливер механически повиновался, и Рандаль, оципав листья и оборвав лишния ветки, оставил на конце развилину и этой развилиной начал разбрасывать большие камни.

– Зачем ты это делаешь, Рандаль? спросил изумленный Оливер.

– Теперь мы на другой стороне ручья, и по этой дороге мы больше не пойдем. Нам не нужно переходить брод по камням!.. Прочь их, прочь!

# Часть вторая

## Глава XIII

На другое утро после поездки Франка Гэзельдена в Руд-Голл, высокородный Одлей Эджертон, почетный член Парламента, сидел в своей библиотеке и, в ожидании прибытия почты,пил, перед уходом в должность, чай и быстрым взором пробегал газету.

Между мистером Эджертоном и его полу-братом усматривалось весьма малое сходство; можно сказать даже, что между ними не было никакого сходства, кроме того только, что оба они были высокого роста, мужественны и сильны. Атлетический стан сквайра начинал уже принимать то состояние тучности, которое у людей, ведущих спокойную и беспечную жизнь, при переходе в лета зрелого мужества, составляет, по видимому, натуральное развитие организма. Одлей, напротив того, имел расположение к худощавости, и фигура его, хотя и связанная мускулами твердыми как железо, имела в то же время на столько стройности, что вполне удовлетворяла столичным идеям об изящном сложении. В его одежде, в его наружности, – в его *tout ensemble*, – проглядывали все качества лондонского жителя. В отношении к одежде он обращал строгое внимание на моду, хотя это обыкновение



и не было принято между деятельными членами Нижнего Парламента. Впрочем, и то надобно сказать, Одлей Эджер-тон всегда казался выше своего звания. В самых лучших обществах он постоянно сохранял место значительной особы, и, как кажется, успех его в жизни зависел собственно от его высокой репутации в качестве «джентльмена».

В то время, как он сидит, нагнувшись над журналом, вы замечаете какую-то особенную прелесть в повороте его правильной и прекрасной головы, покрытой темно-каштановыми волосами – *темно-каштановыми*, несмотря на красноватый отлив – плотно остриженной сзади и с маленькой лысиной спереди, которая нисколько не безобразит его, но придает еще более высоты открытому лбу. Профиль его прекрасный: с крупными правильными чертами, мужественный и несколько суровый. Выражение лица его – не так как у сквайра – не совсем открытое, но не имеет оно той холодной скрытности, которая заметна в серьёзном характере молодого Лесли; напротив того, вы усматриваете в нем скромность, сознание собственного своего достоинства и умение управлять своими чувствами, что и должно выражаться на физиономии человека, привыкшего сначала обдумать и уже потом говорить. Всмотревшись в него, вас нисколько не удивит народная молва, что он не имеет особенных способностей делать сильные возражения: он просто – «дельный адвокат». Его речи легко читаются, но в них не заметно ни риторических украшений, ни осо-

бенной учености. В нем нет излишнего юмора, но зато он одарен особенным родом остроумия, можно сказать, равносильного важной и серьёзной иронии. В нем не обнаруживается ни обширного воображения, ни замечательной утонченности рассудка; но если он не ослепляет, зато и не бывает скучным – качество весьма достаточное, чтоб быть светским человеком. Его везде и все считали за человека, одаренного здоровым умом и верным рассудком.

Взгляните на него теперь, когда он оставляет чтение журнала и суровые черты лица его сглаживаются. Вам не покажется удивительным и нетрудно будет убедиться в том, что этот человек был некогда большим любимцем женщин, и что он по сие время еще производит весьма значительное впечатление в гостиных и будуарах. По крайней мере никто не удивлялся, когда богатая наследница Клементина Лесли, родственница лорда Лэнсмера, находившаяся под его опекою – молоденькая лэди, отвергнувшая предложения трех наследственных британских графов – сильно влюбилась, как говорили и уверяли её искренние подруги, в Одлея Эджертона. Хотя желание Лэнсмеров состояло в том, чтобы богатая наследница вышла замуж за сына их лорда л'Эстренджа, но этот молодой джентльмен, которого понятия о супружеской жизни совпадали с эксцентричностью его характера, ни под каким видом не разделял намерения родителей и, если верить городским толкам, был главным участником в устройстве партии между Клементиной

и другом своим Одлеем. Партия эта, несмотря на расположение богатой наследницы к Эджертону, непременно требовала постороннего содействия, потому что, деликатный во всех отношениях, мистер Эджертон долго колебался. Сначала он отказывался от неё потому, что состояние его было гораздо менее того, как полагали, и что, несмотря на всю любовь и уважение к невесте, он не хотел даже допустить идеи быть обязанным своей жене. В течение этой нерешимости, л'Эстрендж находился вместе с полком за границей; но, посредством писем к своему отцу и к кузине Клементине, он решился открыть переговоры и успешным окончанием их совершенно рассеял всякие, со стороны Одлея, сомнения, так что не прошло и года, как мистер Эджертон получил руку богатой наследницы. Брачные условия касательно её приданого, большею частью состоящего из огромных капиталов, были заключены необыкновенно выгодно для супруга, потому что хотя капитал во время жизни супругов оставался нераздельным, на случай могущих быть детей, но если ктонибудь из них умрет, не оставив законных наследников, то все без ограничения переходило в вечное владение другому. Мисс Лесли, по согласию которой и даже по её предложению сделана была эта оговорка, если и обнаруживала великодушную уверенность в мистере Эджертоне, зато нисколько не оскорбляла своих родственников; впрочем, и то надобно заметить, у мисс Лесли не было таких близких родственников, которые имели бы право распространять свои требова-

ния на её наследство. Ближайший её родственник, и следовательно законный наследник, был Харли л'Эстрендж, а если этот наследник оставался довольным таким распоряжением, то другие не имели права выражать свои жалобы. Родственная связь между нею и фамилией Лесли из Руд-Голла была, как мы сейчас увидим, весьма отдаленная.

Мистер Эджертон, сейчас же после женитьбы, принял деятельное участие в делах Нижнего Парламента. Положение его в обществе сделалось тогда самым выгодным, чтоб начинать блестящую карьеру. Его слова в ту пору о состоянии провинций принимали большую значительность, потому что он находился в некоторой от неё зависимости. Его таланты много выиграли чрез изобилие, роскошь и богатство его дома на Гросвенор-Сквэре, чрез уважение, внушаемое им к своей особе, как к человеку, положившему своей жизни прочное основание, и наконец чрез богатство, действительно весьма большое и народными толками увеличиваемое до богатства Креза. Успехи Одлея Эджертона далеко превосходили все ранние от него ожидания. С самого начала он занял то положение в Нижнем Парламенте, которое требовало особенного умения, чтоб утвердиться на нем, и большего знания света, чтоб не навлечь на себя обвинения в том, что оно занимается человеком без всяких способностей, из одной только прихоти; утвердиться же на этом месте для человека честолюбивого было особенно выгодно. Короче сказать, мистер Эджертон занял в Парламенте положение такого человека,

который принадлежит на столько к своей партии, на сколько требовалось, чтоб в случае нужды иметь от неё подпору, — и в то же время он на столько был свободен от неё, на сколько нужно было, чтобы при некоторых случаях подать свой голос, выразить свое собственное мнение.

Как приверженец и защитник системы торием, он совершенно отделился от провинциальной партии и всегда оказывал особенное уважение к мнениям больших городок. Не забегая вперед современного стремления политического духа и не отставая от него, он с той дальновидной расчетливостью достигал своей цели, которую совершенное знание света доставляет иногда великим политикам. Он был такой прекрасный барометр для наблюдения той переменчивой погоды, которая называется общественным мнением, что мог бы участвовать в политическом отделе газеты *Times*. Очень скоро, и даже с умыслом, он поссорился с своими лэнсмерскими избирателями и ни разу уже более не заглядывал в этот округ, — быть может, потому, что это имело тесную связь с весьма неприятными воспоминаниями. Его спичи, возбуждавшие такое негодование в Лэнсмере, в то же время приводили в восторг один из наших торговых городов, так что при следующих выборах этот город почтил мистера Эджертона правом быть его представителем. В ту пору, до преобразования Парламента, большие торговые города избирали себе членов из среды людей весьма замечательных. И тот из членов вполне мог гордиться своим положением в Парла-

менте, кто уполномочивался выражать и защищать мнения первейших купцов Англии.

Мистрисс Эджертон прожила в брачном состоянии несколько лет. Детей она не оставила. Правда, были двое; но и те скончались на первых порах своего младенчества. Поэтому все женино состояние перешло в неоспоримое и неограниченное владение мужа.

До какой степени вдовец сокрушался потерей своей жены, он не обнаружил этого перед светом. И в самом деле, Одлей Эджертон был такой человек, который еще с детского возраста приучил себя скрывать волнения души своей. На несколько месяцев он самого себя схоронил в деревне, — в какой именно, никому не было известно. По возвращении лицо его сделалось заметно угрюмее; в привычках же его и занятиях не открывалось никакой перемены, исключая разве той, что вскоре он получил в Парламенте официальную должность и по этому случаю сделался деятельнее прежнего.

Мастер Эджертон, в денежных отношениях, всегда считался щедрым и великодушным. Не раз было замечено, что на капиталы богатого человека весьма часто возникают с той или другой стороны различного рода требования. Мы же при этом должны сказать, что никто так охотно не соглашался с подобными требованиями, как Одлей Эджертон. Но между всеми его благотворительными поступками ни один, по видимому, не заслуживал такой похвалы, как ве-

ликодушие, оказанное сыну одного из бедных и дальних родственников покойной жены, именно старшему сыну мистера Лесли из Руд-Голла.

Здесь, следует заметить, поколения четыре назад проживал некто сквайр Лесли, человек, обладающий множеством акров земли и деятельным умом. Случилось так, что между этим сквайром и его старшим сыном возникло большое несогласие, по поводу которого хотя сквайр и не лишил преступного сына наследства, но до кончины своей отделил половину благоприобретенного имения младшему сыну.

Младший сын одарен был от природы прекрасными способностями и характером, которые вполне оправдывала распоряджение родителя. Он увеличил свое богатство и чрез общественную службу, а так же и чрез хорошую женитьбу, сделался в короткое время человеком известным и замечательным. Потомки следовали его примеру и занимали почетные места между первыми членами Нижнего Парламента. Это продолжалось до последнего из них, который, умирая, оставил единственной наследницей и представительницей рода Лесли дочь Клементину, впоследствии вышедшую замуж за мистера Эджертона.

Между тем старший сын вышеприведенного сквайра, получив наследство, промотал из него большую часть, а чрез дурные наклонности и довольно низкие связи успел унижить даже достоинство своего имени. Его наследники подражали ему до тех пор, пока отцу Рандаля, мистеру Маундеру

Слюг Лесли, не осталось ничего, кроме ветхого дома, который у немцев называется *Stammschloss*, и несколько акров жалкой земли, окружавшей этот дом.

Хотя все сношения между этими двумя отраслями одной фамилии прекратились совершенно, однако же, младший брат постоянно питал уважение к старшему, как к главе дома Лесли. Поэтому некоторые полагали, что мистрисс Эджертон на смертном одре поручала попечению мужа бедных однофамильцев её и родственников. Предположение это еще более оправдывалось тем, что Одлей, возвратясь после кончины мистрисс Эджертон в Лондон, немедленно отправил к мистеру Маундеру Лесли пять тысяч фунтов стерлингов, которые, как он говорил, жена его, не оставив письменного завещания, изустно предназначила в пользу того джентльмена, и кроме того Одлей просил позволения принять на свое попечение воспитание Рандаля Лесли.

Мистер Маундер Лесли с помощью такого капитала мог бы сделать весьма многое для своего маленького имения или мог бы на проценты с него доставлять материальные пособия домашнему комфорту. Окрестный стряпчий, пронюхав об этом неожиданном наследстве мистера Лесли, поспешил прибрать деньги к своим рукам, под предлогом пустить их в весьма выгодные обороты. Но лишь только пять тысяч фунтов поступили в его распоряжение, как он немедленно отправился вместе с ними в Америку.

Между тем Рандаль, помещенный мистером Эджертоном



в превосходную приготовительную школу, с первого начала не обнаруживал ни малейших признаков ни прилежания, ни талантов, но перед самым выпуском его из школы в нее поступил, в качестве классического наставника, молодой человек, окончивший курс наук к Оксфордском университете. Необыкновенное усердие нового учителя и совершенное знание своего дела произвели большое влияние за всех вообще учеников, а на Рандаля Лесли в особенности. Вне классов учитель много говорил о пользе и выгодах образования и впоследствии, в весьма непродолжительном времени, обнаружил эти выгоды в лице своей особы. Он превосходно описал греческую комедию, и духовная коллегия, из которой он был исключен за некоторые отступления от строгого образа жизни, снова приняла его в свои объятия, наградив его ученой степенью. Спустя несколько времени, он принял священнический сан, сделался наставником в той же коллегии, отличился еще более написанным трактатом об ударениях греческого языка, получил прекрасное содержание и, как все полагали, был на прямой дороге к епископскому сану. Этот-то молодой человек и поселил к Рандале Лесли весьма сильную жажду познания, так что при поступлении мальчика в Итонскую школу он занялся науками с таким усердием и непоколебимостью, что слава его вскоре долетела до Одлея Эджертонна. С этого времени Одлей принимал самое живое, почти отеческое, участие в блестящем итонском студенте, и во время ваканций Рандаль всегда проводил

несколько дней у своего покровителя.

Я сказал уже, что поступок Эджертона, в отношении к мальчику, был более достоин похвалы, нежели большая часть тех примеров великодушие, за которые его превозносили, тем более, что за это свет не рукоплескал ему. Впрочем, все, что человек творить внутри пространства своих родственных связей, не может нести с собой того блеска, которым облекается щедрость, обнаруживаемая при публичных случаях. Вероятно, это потому, что помощь, оказанная родственнику, или ставится ни во что, или считается, в строгом смысле слова, за прямую обязанность. Сквайр Гэзельден справедливо замечал, что Рандаль Лесли, по родственным связям, находился гораздо ближе к Гэзельденам, чем к мистеру Эджертону, и это доказывается тем, что дед Рандаля был женат на мисс Гэзельден (самая высокая связь, которую бедная отрасль фамилии Лесли образовала со времени вышеприведенного раздела). Но Одлей Эджертон, по видимому, вовсе не знал этого факта. Не будучи потомком Гэзельденов, он не беспокоился об их генеалогии, а кроме того, оказывая помощь бедным Лесли, он дал понять им, что пример его великодушие должно приписать единственно его уважению к памяти и родству покойной мистрисс Эджертон. С своей стороны, сквайр в щедрости Одлея Эджертона к фамилии Лесли видел сильный упрек своему собственному невниманию к этим беднякам, и потому ему сделалось вдвое прискорбнее, когда в доме его упомянули имя Рандаля

Лесли. Но дело в том, что Лесли из Руд-Голла до такой степени избегали всякого внимания, что сквайр действительно забыл об их существовании. Он только тогда и вспомнил о них, когда Рандаль сделался обязанным его брату, и тут он почувствовал сильное угрызение совести в том, что кроме его, главы Гэзельденов, ни кто бы не должен был подать руку помощи внуку Гэзельдена.

Изъяснив таким образом хотя и скучновато положение Одлея Эджертон в свете или в отношении к его молодому *protégé*, и позволяю теперь ему выучить письма и читать их.

## Глава XIV

Мистер Эджертон взглянул на грудку писем, лежавших перед ним, некоторые из них распечатал, потом, без всякого внимания, пробежал, разорвал и бросил в пустой ящик. Люди, занимающие в обществе публичные должности, получают такое множество странных писем, что ящики, предназначенные для грязной бумаги, никогда не остаются пустыми. Письма от аматёров, сведущих в финансовой части и предлагающих новые способы к погашению государственных долгов, – письма из Америки, выпрашивающие автографов, – письма от нежных деревенских маменок, рекомендующих, как какое нибудь чудо, своего сынка, для помещения в королевскую службу, – письма, подписанные какой нибудь Матильдой или Каролиной, и извещающие, что Каролина или Матильда видела портрет мистера Эджертона на выставке, и что сердце, неравнодушное к прелестям этого портрета, можно найти в Пикадилли, под *No* таким-то, – письма от нищих, самозванцев, сумасшедших, спекуляторов и шарлатанов, и все им подобные письма служат пищею пустому ящику.

Из рассмотренной корреспонденции мистер Эджертон сначала отобрал деловые письма и методически положил их в одно отделение бумажника, и потом письма от частных людей, которые также тщательно положил в другое отделение.

Последних было всего только три: одно – от управляющего, другое – от Харли л'Эстренджа, и третье – от Рандаля Лесли. Мистер Эджертон имел обыкновение отвечать за получаемые письма в конторе, и в эту-то контору, спустя несколько минут, он направил свой путь. Не один прохожий оборачивался назад, чтоб еще раз взглянуть на мужественную фигуру человека, сюртук которого, несмотря на знойный летний день, был застегнут на все пуговицы и, как нельзя лучше, обнаруживал стройный стан и могучую грудь прекрасного джентльмена. При входе в Парламентскую улицу, к Оудлею Эджертону присоединился один из его сослуживцев, который также спешил в свою контору.

Сделав несколько замечаний насчет последнего парламентского заседания, этот джентльмен сказал:

– Да кстати, не можешь ли ты обедать у меня в субботу? ты встретишься с Лэнсмером. Он приехал сюда подавать голос за нас в понедельник.

– В этот день я просил к себе некоторых знакомых, отвечал мистер Эджертон: – но это можно будет отложить до другого раза. Я вижу лорда Лэнсмера слишком редко, чтоб пропустить какой бы то ни было случай видеться с человеком, которого уважаю.

– Так редко! Правда, он очень мало бывает в городе; но что тебе мешает съездить к нему в деревню? О, если бы ты знал, какая чудная охота там, какой приятный старинный дом?

– Мой милый Вестбурн, неужели ты не знаешь, что этот дом – *putium vicina Cremonae* – находится в ближайшем соседстве с местечком, где меня ненавидят.

– Ха, ха! да, да. Теперь я помню, что ты поступил в первый раз в Парламент в качестве депутата того уютного местечка. Однако, сам Лэнсмер не находил ничего предосудительного в мнениях, которые ты излагал в ту пору Парламенту.

– нисколько! Он вел себя превосходно, да, кроме того, я в весьма коротких отношениях с д'Эстренджем.

– Скажи пожалуйста, приезжает ли когда нибудь этот чудак в Англию?

– Приезжает, – обыкновенно раз в год, на несколько дней собственно затем, чтобы повидаться с отцом и матерью, а потом снова отправиться на континент.

– Я ни разу не встречал его.

– Он приезжает в сентябре или октябре, когда тебя, без всякого сомнения, не бывает в городе, и Лэнсмеры нарочно для этого являются сюда.

– Почему же не он едет к ним?

– Полагаю потому, что человеку, приехавшему в течение года на несколько дней, найдется бездна дела в самом Лондоне.

– Что, он так же забавен, как и прежде?

Эджертон кивнул головой.

– И так же замечателен, каким он мог бы быть, продолжал лорд Вестбурн.

– И так же знаменит, как должен быть! возразил Эджер-тон, довольно сухо: – знаменит, как офицер, который служил образцом на ватерлооском поле, как ученый человек с самым утонченным вкусом и как благовоспитанный джентльмен.

– Мне очень приятно слышать, как один другого хвалит, и хвалит так горячо. В нынешния дурные времена это диковинка, отвечал лорд Вестбурн. – Но все же, хотя от л'Эстренджа и нельзя отнять тех отличных качеств, которые ты приписываешь ему, согласишься сам, что он, проживая за границей, расточает свою жизнь по пустому?

– И старается, по возможности, быть счастливым; ты, вероятно, я это хочешь сказать, Вестбурн? Совершенно ли ты уверен в том, что мы, оставаясь здесь, не расточаем своей жизни?... Однако, мне нельзя дожидаться ответа. Мы стоим теперь у дверей моей темницы.

– Значит до субботы?

– До субботы. Прощай.

Следующий час и даже, может быть, более, мистер Эджер-тон был занят делами. После того, уловив свободный промежуток времени (и именно в то время, как писец составлял, по его приказанию, донесение), он занялся ответами за полученные письма. Деловые письма не требовали особенного труда; отложив в сторону приготовленные ответы на них, он вынул из бумажника письма, которые называл приватными.

Прежде всего он занялся письмом своего управителя.

Письмо это было чрезвычайно длинно; но ответ на него заключался в трех строчках. Сам Питт едва ли был небрежнее Одлея Эджертона к своим частным делам и интересам, а несмотря на то, враги Одлея Эджертонна называли его эгоистом.

Второе письмо он написал к Рандалю, и хотя длиннее первого, но оно не было растянуто. Вот что заключалось в нем:

*«Любезный мистер Лесли! вы спрашиваете моего совета, должно ли принять приглашение Франка Гэзельдена приехать к нему погостить. Я вижу в этом вашу деликатность и дорого ценю ее. Если вас приглашают в Гэзельден-Голл, то я не нахожу к тому ни малейшего препятствия. Мне было бы очень неприятно, еслиб вы сами навязались на это посещение. И вообще, мне кажется, что молодому человеку, которому самому предстоит пробивать себе дорогу в жизни, гораздо лучше избегать всех дружеских сношений с теми молодыми людьми, которые не связаны с ним ни узами родства, ни стремлением на избранном поприще к одинаковой цели.*

*Как скоро кончится этот визит, советую вам прибыть в Лондон. Донесение, полученное много о ваших успехах в Итонской школе, делает, по-моему суждению, возвращение ваше необходимым. Если ваш батюшка не встречает препятствия, то я полагаю, с наступлением будущего учебного года, переместит вас в Оксфордский университет. Для облегчения ваших*



занятий, я нанял домашнего учителя, который, судя по вашей высокой репутации в Итоне, полагает, что вы сразу поступите в число студентов одной из университетских коллегий. Если так, то я с полной уверенностью буду смотреть на вашу карьеру в жизни.

*Остаюсь как благосклонный друг и искренний добροжелатель*

*Л. Э.»*

Читатель, вероятно, заметил, что в этом письме соблюдены условия холодной формальности. Мистер Эджертон не называл своего *protégé* «любезным Рандаем», что, по видимому, было бы гораздо натуральнее, но употребил холодное, жесткое название: «любезный мистер Лесли». Кроме того он намекает что этому мальчику предстоит самому прокладывать себе дорогу в жизни. Не хотел ли он этим намеком предостеречь юношу от слишком уверенных понятий о наследстве, которые могли пробудиться в нем при мысли о великодушии его покровителя?

Письмо к лорду л'Эстренджу совершенно отличалось от двух первых. Оно было длинно и наполнено таким собранием новостей и городских сплетен, который всегда бываюит виторесны для ваших друзей с чужеземных краях: но было написано свободно и, как кажется, с желанием развеселить или по крайней вере не взвести скуки на своего приятеля. Вы легко могли бы заметить, что письмо мистера Эджертона служило ответом на письмо, проникнутое грустью, —

могли бы заметить, что в духе, в котором оно было написано, и в самом содержании его проглядывала любовь, даже до нежности, к которой едва ли был способен Одлей Эджер-тон, судя во предположениям тех, кто коротко знал и искренно любил его. Но, несмотря на то, в том же самом письме заметна была какая-то принужденность, которую, быть может, обнаружила бы одна только тонкая проницательность женщины. Оно не имело той откровенности, той сердечной теплоты, которая должна бы характеризировать письма двух друзей, преданных один другому с раннего детства, и которыми дышала все коротенькие, разбросанные без всякой связи сентенции его корреспондента. Но где же более всего обнаруживалась эта принужденность? Эджер-тон, кажется, нисколько не стесняет себя там, где перо его скользит гладко, и именно в тех местах, которые не относятся до его личности. О себе он ничего не говорит: вот в этом-то и состоит недостаток его дружеского послания. Он избегает всякого сношения с миром внутренним: не заглядывает в свою душу, не советуется с чувствами. Но может статья и то, что этот человек не имеет ни души, ни чувств. Да и возможно ли ожидать, чтоб степенный лорд, в практической жизни которого утра проводятся в официальных занятиях, а ночи поглощаются рассмотрением парламентских билей, мог писать тем же самым слогом, как и беспечный мечтатель среди со-сен Равенны или на берегах озера Комо?

Одлей только что кончил это письмо, как ему доложи-

ли о прибытии депутации одного провинциального городка, членам которого для свидания с ним назначено было два часа. Надобно заметить, что в Лондоне не было ни одной конторы, в которой депутации принимались бы так скоро, как в конторе мистера Эджертона.

Депутация вошла. Она состояла из двадцати особ средних лет. Несмотря на спокойную наружность членов; заметно было, что мы были сильно озабочены и явились в Лондон защищать как свои собственные интересы, так и интересы своей провинции, которым угрожала какая-то опасность по поводу представленного Эджертоном билля.

Мэр того города был главным представителем депутации и оратором. Отдавая ему справедливость, он говорил убедительно, но таким слогом, к какому почетный член Парламента вовсе не привык. Это был размашистый слог: нецеремонный, свободный и легкий, — слог, на котором любят выражаться американцы. Даже в самой манере оратора было что-то такое, которое обнаруживало в нем временного жителя Соединенных Штатов. Он имел приятную наружность и в то же время пронизательный и значительный взгляд, — взгляд человека, который привык смотреть весьма равнодушно решительно на все, и который в свободном выражении своих идей находил особенное удовольствие.

Его сограждане, по видимому, оказывали мэру глубокое уважение.

Мистер Эджертон был весьма разумен, чтоб оскор-

биться довольно грубым обращением простого человека, и хотя он казался надменнее прежнего, когда увидел, что замечания его в представленном биле опровергались чисто на чисто простым гражданином, но отнюдь не показывал ему, что он обижается этим. В доказательствах мэра было столько основательности, столько здравого смысла и справедливости, что мистер Эджертон со всею учтивостью обещал принять их в полное соображение и потом откланялся всей депутации. Но не успела еще дверь затвориться, как снова растворилась, и мэр представился один, громко сказав своим товарищам:

– Я позабыл сказать мистеру Эджертону еще кое-что; подождите меня внизу.

– Ну что, господин мэр, сказал Одлей, указывая на стул:– что вы еще хотите сообщить мне?

Мэр оглянулся назад, желая удостовериться, заперта ли дверь, и потом, придвинув стул к самому стулу мистера Эджертона, положил указательный палец на руку этого джентльмена и сказал:

– Я думаю, сэр, я говорю с человеком, который знаком со светом.

В ответ на это мистер Эджертон только слегка кивнул головой и потихоньку отодвинул свою руку от прикосновения чужого пальца.

– Вы замечаете, сэр, что я обращаюсь не к кому либо другому, а именно к вам. Мы и без других обойдемся. Вы знае-

те, что наступает время выборов.

– Мне очень жаль, милостивый государь, что давишния ваши замечания нельзя так скоро применить в делу; весь вопрос состоит теперь в том: действительно ли торговля вашего города страдает по некоторым непредвиденным обстоятельствам, или...

– Позвольте, мистер Эджертон! речь теперь идет не о нашем городе, но о выборах. Как вы скажете, например, приятно ли вам будет иметь двух лишних депутатов от нашего города, которые, в случае надобности, будут после выборов поддерживать своего представителя?

– Без всякого сомнения, приятно, отвечал мастер Эджертон.

– Так знаете ли что – я могу сделать это. Смею сказать, что весь город в моем кармане; да, конечно, он и должен быть, после той огромной суммы денег, которую я трачу в нем. Извольте видеть, мистер Эджертон, – я провел большую часть моей жизни в Соединенных Штатах, а потому, имея дело с человеком опытным, я говорю с ним напрямик. Я сам, милостивый государь, кое-что смекаю в делах света. Если вы сделаете чтонибудь для меня, то и я, с своей стороны, готов оказать вам немаловажную услугу. Два лишние голоса за такой прекрасный город, как наш, это чтонибудь да значат, – как вы думаете?

– Я, право.... начал было мастер Эджертон с кратким изумлением.

– Что тут говорить много! возразил мэр придвигая свой стул еще ближе и прерывая должностную особу. – Я буду с вами еще откровеннее. Дело вот в чем: я забрал себе в голову, что куда как было бы хорошо, еслиб мне пожаловали дворянское достоинство. Удивляйтесь, мистер Эджертон, сколько вам угодно: действительно, с моей стороны это самое нелепое желание, и все же мне бы хотелось, чтоб меня звали сэром Ричард. Ведь каждый человек имеет свою исключительную слабость: почему же бы и мне не иметь своей? Итак, если вы можете сделать меня сэром Ричардом, то смело можете рассчитывать при наступающих выборах на двух членов, само собою разумеется, людей образованных и опытных, таких, как вы сами. Ну, что? кажется, я объяснил вам все дело и коротко и ясно?

– Я теряюсь в догадках, сэра, сказал мистер Эджертон, вставая с места:– почему вы вздумали выбрать меня для такого весьма необыкновенного предложения?

– Потому именно, что вы более других знакомы со светом, – я уже, кажется, сказал вам об этом, отвечал мэр, кивая головой с самодовольным видом;– и потому еще, что, может быть, вы пожелаете усилить свою партию. Не нужно, кажется, напоминать вам, что это остается между нами: скромность и честь должны стоять выше всего на свете.

– Милостивый государь, я очень обязан вам за ваше хорошее мнение, но должен заметить, что в делах подобного рода.....

– Понимаю, понимаю, возразил мэр, снова прерывая мистера Эджертона: – вы уклоняетесь от прямого ответа, – и правильно делаете. Я уверен, что вы заговорили бы совсем другое, еслиб... Ну, да что и толковать об этом!.. Впрочем, знаете ли, у меня есть другая причина, по которой я решил-ся переговорить с вами о моем маленьком желании. Вы, кажется, когда-то были представителем Лэнсмера, и полагаю, что поступлением в Парламент вы обязаны большинству всего только двух голосов, – не так ли?

– Я решительно ничего не знаю о подробностях этого выбора: я не участвовал в нем.

– Неужели? значит, к вашему особенному счастью, двое моих родственников присутствовали там и подали в вашу пользу свои голоса. Два голоса, и вы сделались членом Парламента. А до того, признаюсь, вы жили здесь не так-то широко, и мне кажется, что мы имеем право рассчитывать на...

– Сэр, я отвергаю это право. Я был совершенно чужой человек для Лэнсмера, и если избиратели доставили мне случай присутствовать в Парламенте, то это сделано было из одного лишь уважения к лорду....

– К лорду Лэнсмеру, вы хотите сказать, снова прервал мэр. – Правда ваша, правда. Однако, не забудьте, сэр, а знаю, и даже, может быть, не хуже вашего, как творятся подобные дела. Я сам-бы обратился с настоящим моим делом к лорду Лэнсмеру; но говорят, что, по чрезмерной гордости своей, он недоступен для нашего брата...

– Извините, сэр, сказал мистер Эджертон, приводя в порядок разложенные перед ним бумаги, должен сказать вам, что вовсе не по моей части рекомендовать правительству кандидатов на дворянское достоинство, а тем более не по моей части сводить торговые сделки на парламентские места, обратитесь с этим куда следует.

– О, если так, извините меня: я ведь не знаю ваших дел. Не подумайте, однакожь, что при этом случае я намерен сделаться в глазах своих сограждан бесчестным человеком, и что для своих собственных выгод изменяю общественной пользе: совсем нет! Однакожь, скажете мне: где же это «куда следует»? к кому я должен обратиться?

– Если вы хотите получить дворянское достоинство, сказал мистер Эджертон, начиная при всем своем негодовании забавляться выходкою мэра: – обратитесь к первому министру; если вы хотите сообщить правительству сведения касательно мест в Парламенте, обратитесь к секретарю Государственного Казначейства.

– А как вы полагаете, что бы сказал мне господин секретарь Государственного Казначейства?

– Я полагаю, он сказал бы вам, что не должны представлять этого в том виде, в каком вы представили мне: что правительство будет гордиться уверенностью в прямые действия ваши и ваших избирателей; что такой джентльмен, как вы, занимая почетную обязанность городского мэра, может и без подобных предложений надеяться получить дво-



рянское достоинство при удобнейшем случае.

– Значит сюда не стоит и соваться! Ну, а как бы поступил при этом случае первый министр?

Негодование мистера Эджертона вышло из пределов.

– Вероятно, точно так, как и я намерен поступить.

Сказав это, мастер Эджертон позвонил в колокольчик. В кабинет явился служитель.

– Покажи господину мэру выход отсюда! сказал мистер Эджертон.

Городской мэр быстро обернулся назад, и лицо его покрылось багровым цветом. Он пошел прямо к дверям; но, следуя позади провожатого, он сделал несколько чрезвычайно быстрых шагов назад, сжал кулаки и голосом, выразившим сильное душевное волнение, вскричал:

– Помните же, рано или поздно, но я заставлю вас пожалеть об этом: это так верно, как и то, что меня зовут Эвенель!

– Эвенель! повторил Эджертон, отступая назад. – Эвенель!

Но уже мэр ушел.

Одлей впал в глубокую задумчивость. Казалось что в душе его одно за другим возникали самые неприятные воспоминания. Вошедший лакей с докладом, что лошадь подана к дверям, вывел его из этого положения...

Он встал, все еще с блуждающими мыслями, и увидел на столе открытое письмо, написанное им к Гарлею л'Эстренджу. Одлей придвинул письмо к себе и начал писать:

«Сию минуту заходил ко мне человек, который называет себя Эвен...», на середине этого имени перо Одлея остановилось.

«Нет, нет – произнес он про себя – смешно было бы расправлять старые раны.»

И вместе с этим он тщательно выскоблил приписанные слова.

Одлей Эджертон, против принятого им обычновения, не ездил в Парк в тот день. Он направил свою лошадь к Вестминстерскому мосту и выехал за город. Сначала он ехал медленно: его как будто занимала какая-то тайная глубокая мысль, – потом поехал быстрее, как будто старался убежать от этой мысли. Вечером он приехал позже обычного и казался бледным и утомленным. Ему нужно было говорить в Парламенте и он говорил с одушевлением.

## Глава XV

Несмотря на свою макиавеллевскую мудрость; доктор Риккабокка не успевал заманить к себе в услужение Леонарда Ферфильда, хотя сама вдова отчасти склонялась на его сторону. Он ей представил все выгоды, которых можно было ожидать от этого для мальчика. Ленни стал бы учиться многому такому, что сделало бы его способным быть не одним лишь поденьщиком; он стал бы заниматься садоводством, со всеми его разнообразными отраслями, и современем занял бы место главного садовника у какогонибудь богатого господина.

– Кроме того, прибавлял Риккабокка: – я стал бы следят за его книжным учением и преподавать ему все, к чему он способен.

– Он ко всему способен, отвечала вдова.

– В таком случае, возразил мудрец:– я стал бы учить его всему.

Мат Ленни, разумеется, была этим очень заинтересована, потому что, как мы уже видели, она особенно уважала ученость и знала, что пастор смотрел на Риккабокка, как на чрезвычайно ученого человека. Впрочем, Риккабокка, по слухам, был и колдуном, и хотя эти качества, в соединении с способностью выигрывать расположение прекрасного пола, не были для вдовы достаточною причиною укло-

няться от предложения доктора, но сам Ленни оказывал непреодолимое отвращение к Риккабокка; он боялся его – его очков, трубки, плаща, длинных волос и красного зонтика, и на все вызовы его отвечал всегда так отрывисто: «Благодарю вас, сэр; я лучше останусь с матушкой», что Риккабокка должен был прекратить дальнейшие попытки завлечь мальчика в свои сети.

Однако, он не совершенно отчаялся в успехе; напротив, это был человек, которого препятствия только сильнее подстрекали. То, что было в нем сначала делом расчета, обратилось теперь в сильное желание.

Без сомнения, многие другие мальчики, кроме Ленни, могли бы быть ему также полезны, но когда Ленни стал сопротивляться намерениям итальянца, то привлечение его в свой дом получило особенную важность в глазах синьора Риккабокка.

Джакеймо, принимавший особенное участие в этом деле, забыл о нем совершенно, услышав, что доктор Риккабокка чрез несколько дней отправляется в Гэзельден-Голл: до того сильно было его удивление.

– Там не будет никого из чужих, только своя семья, сказал Риккабокка. – Бедный Джакомо, тебе полезно будет поболтать в лакейской с своей братьею, а говядина за столом сквайра, как ни говори, все-таки питательнее, чем пискари и миноги. Мясная пища продолжит твою жизнь.

– Господин мой шутит, возразил слуга очень серьезным

тоном: – иной подумал бы, что я у вас умираю с голоду.

– Мм! заметил Риккабокка. – Нельзя не признаться, однако, мой верный друг, что ты делал над собою подобные опыты, на сколько позволяет человеческая природа.

И он ласково протянул руку своему спутнику в изгнании.

Джакеймо низко поклонился, и слеза упала в эту минуту на руку доктора.

– *Cospetto!* сказал Риккабокка: – тысячи поддельных перлов не стоят одного настоящего. Мы привыкли дорожить женскими слезами; но искренния слезы мужчины... Ах, Джакомо! я никогда не буду в состоянии заплатить тебе за это. – Ступай, посмотри, в порядке ли наше платье.

В отношении к гардеробу его господина, приказание это было приятно для Джакеймо, потому что у доктора висело в шкапах платье, которое слуге его казалось красивым и новым, хотя протекло уже много лет с тех пор, как оно вышло из рук портного.

Когда же Джакеймо стал рассматривать свой собственный гардероб, лицо его заметно вытянулось, – не потому, что у него не было бы вовсе одежды, кроме облекавшей его в ту минуту; её было даже много, но надо знать, какова она была. Печально смотрел он на принадлежности своего костюма, из которых одна положена была во всю длину на кровать, напоминая умершего и окоченевшего уже ветерана; другую подносил он к свету, выказывавшему все признаки её ветхости; наконец, третья была повешена на сту-

ле, с которого печально опускались к полу истертые рукава как будто от какого-то изнеможения. Все это напоминало тела покойников, принесенных в Морг, все это слишком мало гармонировало с жизнью. В первые годы своего изгнания, Джакеймо придерживался привычки одеваться к обеду – этим доказывал он особенное уважение к своему господину, – но парадное платье его скоро доказало все признаки разрушения; оно должно было переменить свою роль – обратилось в утреннее, а с тем вместе быстро подвигалось к распадению.

Несмотря на свое философское равнодушие ко всем мелочам домашнего быта, скорее из участия к Джакеймо, чем с целью придать себе более значения хорошим костюмом слуги, доктор не раз говорил ему:

– Джакомо, тебе нужно платье; переделай себе из моего!

Джакеймо обыкновенно благодарил в подобных случаях, как будто принимая подарок, но на самом деле легко было говорить о переделке, но вовсе нелегко ее выполнить; потому что, хотя, благодаря пескарям и миногам, составлявшим исключительную пищу наших итальянцев, и Джакеймо и Риккабокка довели свой организм до самого здорового и долговечного состояния, то есть обратили его в кости и кожу, но дело в том, что кости, заключавшиеся внутри кожи Риккабокка, отличались продолговатостью размеров, а кости Джакеймо были особенно широки. Таким образом, одинаково трудно было бы сделать ломбардскую лодку из какогонибудь

низменного, сучковатого дуба – любимого пристанища лесных духов – как и фигуру Джакеймо из фигуры Риккабокка. Наконец, если бы искусство портного и было достаточно для выполнения такого поручения, то сам верный Джакеймо не имел бы духу воспользоваться щедростью своего господина. К самому платью доктора он питал какое-то особенное уважение. Известно, что древние, спасшись от кораблекрушения, вешали в храмах одеяния, в которых они боролись с волнами.

Джакеймо смотрел на старое платье своего барина с таким же суеверным чувством.

– Этот сюртук барин надевал *тогда-то*; как теперь помню тот, вечер, когда барин надевал в последний раз эти панталоны! говорил Джакеймо и принимался чистить и бережно чинить бранные остатки платья.

Но что оставалось делать теперь? Джакеймо хотелось показаться дворецкому сквайра в одежде, которая бы не унизила ни его самого, ни его барина. – В эту минуту раздался звук колокольчика, и Джакеймо вошел в гостиную.

– Джакомо, сказал Риккабокка, обращаясь к нему: – я думал о том, что ты ни разу не исполнял моего приказания и не перешил себе моего лишнего платья. Теперь мы пускаемся в большой свет: начав визитом, неизвестно где придется нам остановиться. Отправляйся в ближайший город и достань себе платье. В Англии все очень дорого. Довольно ли будет этого?

И Риккабокка подал ему билет в пять фунтов.

Как ни был Джакеймо короток в обращении с своим господином, но в то же время он был особенно почтителен. В настоящую же минуту он забыл всю дань уважения к доктору.

– Господин мой с ума сошел! вскричал он: – господин мой готов промотать все состояние, если его допустить до того. Пять английских фунтов ведь составляют сто-двадцать-шесть миланских фунтов!<sup>7</sup> Ах, Святая Дева Мария! Ах, жестокий отец! Что же будет с нашей бедной синьоринной? Так-то вы собираетесь выдать ее замуж?

– Джакомо; сказал Риккабокка, поникнув головою: – о синьорине мы поговорим завтра, сегодня речь идет о чести нашего дома. Посмотри на свое платье, мой бедный Джакомо, – посмотри только на него хорошенько!

– Все это справедливо, отвечал Джакеймо, придя в себя и сделавшись снова смиренным: – господин за дело выговаривает мне; у меня готовая квартира, стол, я получаю хорошее жалованье; вы полное право имеете требовать, чтобы я был прилично одет.

– Что касается до квартиры и, пожалуй, стола, они еще недурны; но хорошее жалованье есть уже чистое создание твоего воображения.

– Вовсе нет, возразил Джакеймо: – я только получаю его не в срок. Если бы господин не хотел его заплатить никогда,

---

<sup>7</sup> Под именем миланского фунта Джакомо разумеет миланскую *lira*.



то, само собою разумеется, я не стал бы служить ему. Я знаю, что мне нужно только повременить, а я очень могу это сделать. У меня тоже есть маленький запасец. Будьте покойны, вы останетесь довольны мною. У меня сохранились еще два прекрасные комплекта платья. Я приводил их в порядок, когда вы позвонили. Вы увидите сами, увидите сами.

И Джакеймо бросился из комнаты, побежал в свою маленькую каморку, отпер сундук, который хранился на его кровати под подушкой, достал из него разную мелочь и из самого дальнего уголка его вынул кожаный кошелек. Он высыпал все бывшее в кошельке на кровать. То была большею частью итальянские монеты, несколько пяти-франковых, какой-то медальон, английская гинейя и потом мелкого серебра фунта на три. Джакеймо спрятал опять иностранные монеты, благоразумно заметив:

– Здесь они не пойдут по настоящей цене.

Потом взялся за английские деньги и сосчитал их.

– Достанет ли вас? произнес он, с досадой брякнув деньгами.

Его глаза упали в это время на медальон – он остановился; потом, рассмотрев внимательно фигуру, изображенную на нем, он прибавил, в виде сентенции, по примеру, своего господина:

– Какая разница между недругом, который на трогает меня, и другом, который не помогает мне? Ты не приносишь мне, мой медальон, никакой пользы, покоясь в кожаном

мешке; но если я куплю на тебя пару нового платья, то ты мне будешь настоящим приятелем. *Alla bisogna, Monsignore!*

Потом, с важностью поцаловав медальон на прощанье, он положил его в один карман, монеты в другой, завязал старое платье в узелок, сбежал к себе в чулан, взял шляпу и палку и через несколько минут плелся по дороге к соседнему городку Л.

По всей вероятности, попытка удалась бедному итальянцу, потому что он воротился вечером к тому времени, когда нужно было приготовить барину кашу, составлявшую его ужин, – воротился с полным костюмом черного сукна хотя несколько потертым, но еще очень приличным, двумя манишками и двумя белыми галстуками.

Из всех этих вещей Джакеймо особенно ценил жилет, потому что он выменял его на свой заветный медальон; все остальное пришлось ему обыкновенным путем купли и продажи.

## Глава XVI

Жизнь была предметом многих более или менее остроумных сравнений, и если мы не пускаемся в подобные сравнения, то это вовсе не от недостатка картинности в нашем воображении. В числе прочих уподоблений, неподвижному наблюдателю жизнь представлялась теми круглыми, устраиваемыми на ярмарках качелями, в которых всякий участник к этой забаве, сидя на своем коньке, как будто постоянно кого-то преследует впереди себя и в то же время кем-то преследуется позади. Мужчина и женщина суть существа, которые, по самой природе своей, влекутся друг к другу; даже величайшее из этих существ ищет себе известной опоры, и, наоборот, самое слабое, самое ничтожное все-таки находит себе сочувствие. Применяя это воззрение к деревне Гэзельден, мы видим, как на жизненных качелях доктор Риккабокка погоняет своего конька, спеша за Ленни Ферфильдом, как мисс Джемима на своем разукрашенном дамском седле галопирует за доктором Риккабокка. Почему именно, после такого долговременного и прочного убеждения в недостатках нашего пола, мисс Джемима допускала снова мужчину к оправданию в своих глазах, я предоставляю это отгадывать тем из джентльменов, которые уверяют, что умеют читать в душе женщины, как в книге. Может быть и причину этого должно искать в нежности и сострадательности характе-

ра мисс Джемимы; может быть, мисс испытала дурные свойства мужчин, рожденных и воспитанных в нашем северном климате, тогда как в стране Петрарки и Ромео в отечестве лимонного дерева и мирта, по всей вероятности, можно было ожидать от туземного уроженца более впечатлительности, подвижности, менее закоренелости в пороках всякого рода. Не входя более в подобные предположения, довольно сказать, что, при первом появлении синьора Риккабокка в гостиной дома Гэзельден, мисс Джемима, более, чем когданибудь, готова была отказаться, в его пользу, от всеобщей ненависти к мужчинам. В самом деле, хотя Франк и не без насмешки смотрел на старомодный, необыкновенный покрой платья итальянца, на его длинные волосы, нисенькую шляпу, над которою он так грациозно склонялся, приветствуя знакомого, и которую потом, как будто прижимая к сердцу, он брал под мышку на манер того, как кусочек черного мяса всегда вкладывается в крылышко жареного цыпленка, — за всем тем, и Франк не мог не согласиться, что по наружности и приемам Риккабокка настоящий джентльмен. Особенно, когда после обеда, разговор сделался искреннее, и когда пастор и мистрисс Дэль, бывшие в числе приглашенных, старались вывести доктора на словоохотливость, беседа его, хотя, может быть, слишком умная для слушателей, окружавших его? становилась час от часу одушевленнее и приятнее. Это была речь человека, который, кроме познаний, приобретенных из книг и жизни, — изучил необходимую для всякого

джентльмена науку – нравиться в хорошем обществе. Риккабокка кроме того еще обладал искусством находить слабые струны в своих слушателях и говорить такие вещи, которые достигали своей цели, подобно удачному выстрелу, сделанному на угад.

Все это имело последствием, что доктор понравился целому обществу; даже сам капитан Бернэбес велел поставить ломберный стол часом позже обыкновенного времени. Доктор не играл, потому и поступил теперь в полное владение двух лэди: мисс Джемимы и мистрисс Дэль. Сидя между ними, на месте, принадлежавшем Флимси, которая, к своему крайнему удивлению и неудовольствию, лишена была теперь своего любимого уголка, доктор представлял настоящую эмблему домашнего счастья, приютившегося между Дружбою и Любовью. Дружба, по свойственному ей покойному характеру, была внимательно занята вышиванием носового платка и предоставила Любви полную свободу для душевных излияний.

– Вам, я думаю, очень скучно одному в казино, сказала Любовь симпатичным тоном.

– Мадам, я вполне пойму это, когда оставлю вас.

Дружба бросает лукавый взгляд на Любовь – Любовь краснеет и потупляет глаза на ковер, что в подобных случаях означает одно и то же.

– Конечно, снова начинает Любовь: – конечно, уединение для чувствительного сердца – Риккабокка, предчув-

ствуя сердечный разговор, невольно застегнул свой сюртук, как будто желая предохранить орган, на который готовилась сделать нападение, — уединение для чувствительного сердца имеет своя прелести. Нам, бедным женщинам, так трудно бывает найти особу по сердцу; но для вас!..

Любовь остановилась, как будто сказав слишком много, и с замешательством поднесла к лицу свой букет цветов.

Доктор Риккабокка лукаво поправил очки и бросил взгляд, который, с быстротой и неуловимостью молнии, успел обнять и расценить весь итог наружных достоинств мисс Джемимы. Мисс Джемима, как я уже заметил, имела кроткое и задумчивое лицо, которое могло бы показаться привлекательным, если бы кротость эта была оживленнее и задумчивость не так плаксива. В самом деле, хотя мисс Дмсемима была особенно кротка, но задумчивость её происходила не *de naturâ*; в жилах её было слишком много крови Гэзельден для унылой, мертвенной настроенности духа, называемой меланхолией. За всем тем, её мнимая мечтательность отнимала у её лица такие достоинства, которым нужно было только осветиться веселостью, чтобы вполне нравиться. То же самое можно было сказать и о наружности её вообще, которая от той же самой задумчивости лишена была грации, которую сообщают женским формам движение и одушевление. Это была добрая, тоненькая, но вовсе не тощая фигура, довольно соразмерная и изящная в подробностях, от природы легкая и гибкая. Но все та же самая мечтатель-

ность прикрывала ее выражением лени и неподвижности; и когда мисс Джемима прилегала на софу, то в ней заметно было такое расслабление всех нервов и мускулов, что, казалось, она не может пошевелить своими членами. На это-то лицо и этот стан, лишенные случайно прелести, дарованной им природою, обратил свой взор доктор Риккабокка, и потом, подвинувшись к мистрисс Дэль, он произнес с некоторою расстановкою:

– Оправдайте меня в нарекании, что я не умею будто бы ценить сочувствия.

– О, я не говорила этого! вскричала мисс Джемима.

– Простите меня, сказал итальянец:– если я до того недогадлив, что не понял вас. Впрочем; можно в самом деле растеряться, находясь в таком соседстве.

Говоря это, он встал и, опершись на спинку стула, на котором сидел Франк, принялся рассматривать какие-то виды Италии, которые мисс Джемима, по особенной внимательности, лишенной всякого эгоизма, вынула из домашней библиотеки, чтобы развлечь гостя.

– Он в самом деле очень интересен, прошептала со вздохом мисс Джемима:– но слишком-слишком много говорит комплиментов.

– Скажите мне пожалуйста, произнесла мистрисс Дэль с важностью:– можно ли нам теперь отложить в сторону на некоторое время разрушение мира, – или оно по-прежнему близко к нам?

– Как вы злы! отвечала мисс Джемима, повернувшись спиною.

Несколько минут спустя, мистрисс Дэль незаметно отвела доктора в дальний конец комнаты, где они оба стали рассматривать картину, выдаваемую хозяином за вувермановскую.

Мистрисс Дэль. А неправда ли, Джемима очень любезна? Риккабокка. Чрезвычайно!

Мистрисс Дэль. И как добра!

Риккабокка. Как и все лэди. Что же после этого удивительного в том, если воин будет отчаянно защищаться, отступая перед нею?

Мистрисс Дэль. её красоту нельзя назвать правильной красотой, но в ней есть что-то привлекательное.

Риккабокка (*с улыбкою*). До того привлекательное, что надо удивляться, как она никого не пленила до сих пор. – А ведь эта лужа на переднем плане очень резко выдается.

Мистрисс Дэль (*не поняв и продолжая разговор на ту же тему*). Никого не пленила; это в самом деле странно.... у неё будет прекрасное состояние.

Риккабокка. А!

Мистрисс Дэль. Может быть, до шести тысяч фунтов.... четыре тысячи наверное.

Риккабокка (*затаив вздох и с обыкновенною своею манерою*). Если бы мистрисс Дэль была не замужем, то ей не нужно было бы подруги для того, чтобы рассказывать о её при-



даном; но мисс Джемима так добра, что я совершенно уверен, что не её вина, если она до сих пор – мисс Джемима.

Говоря это, итальянец отступил и поместился возле карточного стола.

Мистрисс Дэль была недовольна ответом, впрочем не рассердилась.

– А это очень хорошо было бы для обоих, проговорила она едва слышным голосом.

– Джакомо, сказал Риккабокка, раздеваясь, по наступлении ночи, в отведенной ему большой, уютной, устланной коврами спальне, в которой стояла покрытая пологом постель, сильно располагавшая каждого видом своим к супружеской жизни: – Джакомо, сегодня вечером мне предлагали до шести тысяч фунтов, а четыре тысячи наверное.

– *Cosa meravigliosa!* воскликнул Джакеймо:– вот удивительная вещь!! Шесть тысяч английских фунтов! да ведь это более ста тысяч... что я! более полутора ста тысяч миланских фунтов!

И Джакеймо, сделавшись особенно развязным после водки сквайра, начал делать выразительные жесты и прыжки, потом остановился и спросил:

– И это не то, чтобы так, ни за что?

– Нет, как же можно!

– Экие эти англичане расчетливые! Что же вас хотят подкупить, что ли?

– Нет.

– Не думают ли вас совратить в ересь?

– Хуже, сказал философ.

– Еще хуже итога! Ах, какой стыд, падроне!

– Полно же дурачиться: дай-ка лучше мне мой колпак. –

Никогда не зная свободы, покойного сна здесь, продолжал доктор, как будто оканчивая какую-то мысль и указывая на изголовье своей постели (негодование в нем, по видимому, усиливалось):– быть постоянным угодником, плясать по чужой дудке, вертеться, метаться, хлопотать по пустому, получать выговоры, щелчки, ослепнуть, оглохнуть к довершению благополучия, – одним словом, жениться!

– Жениться! вскричал Джакеймо тонами двумя ниже: – это в самом деле нехорошо; но зато более чем сто-пятьдесят тысяч *лир* и, может быть, хорошенькая лэди, и, может быть....

– Очень миленькая лэди! проворчал Риккабокка, бросившись на постель и поспешно накрываясь одеялом. – Погаси свечку да убирайся и сам спать!

Немного дней прошло после возобновления исправительного учреждения, а уже всякий наблюдатель заметил бы, что что-то недоброе делается в деревне. Крестьяне все были очень унылы на вид, и когда сквайр проходил мимо их, они снимали шляпы как будто не по обыкновенному порядку; как будто не с прежнею простодушною улыбкою они отвечали на его приветствие:

«Добрый день, ребята!»

Женщины кланялись ему стоя у ворот или у окон своих домов, а не выходили, как прежде, на улицу, чтобы сказать два-три слова с ласковым сквайром. Дети, которые, после работы, обыкновенно играли на завалинах, теперь вовсе оставили эти места и как будто совершенно перестали играть.

Два или три дня эти признаки были заметны; наконец ночью в ту самую субботу, когда Риккабокка спал на кровати под пологом из индейской кисеи, исправительное учреждение сквайра приведено было в прежний и еще худший вид. В воскресенье утром, когда мистер Стирн, встававший ранее всех в приходе, шел на гумно, то увидел, что верхушка столбика, украшавшего один из углов колоды, была сломлена и четыре отверстия были замазаны грязью. Мистер Стирн был человек слишком бдительный, слишком усердный блюститель порядка, чтобы не оскорбиться таким поступком. И когда сквайр вышел в свой кабинет в половине седьмого, то постельничий его, исправлявший также должность камердинера, сообщил ему с таинственным видом, что мистер Стирн имеет донести ему о чем-то чрезвычайном.

Сквайр удивился и велел мистеру Стирну войти.

– В чем дело? вскричал сквайр, перестав в эту минуту править на ремне свою бритву.

Мистер Стирн ограничился тем, что вздохнул.

– Ну же, что такое?

– Этого еще никогда не случалось у нас в приходе, начал мистер Стирн: – и я могу только сказать, что наше учрежде-

ние совсем обезображено.

Сквайр снял с плеч салфетку, которую предварительно завесился, положил ремень и бритву, принял величественную позу на стуле, положил ногу на ногу и сказал голосом, которому хотел сообщить совершенное спокойствие:

– Не тревожься, Стирн; ты хочешь сделать мне донесение касательно исправительного учреждения; так ли я понял? – Не тревожься и не спеши. Итак, что же именно случилось и каким образом случилось?

– Ах, сэръ, вот извольте видеть, отвечал мистер Стирн, и потом, рисуя пальцем правой руки на ладони левой, он изложил все происшествие.

– Кого же ты подозреваешь? Будь хладнокровен, не позволяй себе увлекаться. Ты в этом случае свидетель, – беспристрастный, справедливый свидетель. Это неслыханно, непростительно!.. Но кого же ты подозреваешь? я тебя спрашиваю.

Стирн повертел свою шляпу, поднял брови, погрозил пальцем и прошептал: «я слышал, что два чужеземца ночевали сегодня у вашей милости.»

– Что ты, неужели ты думаешь, что доктор Риккейбоккей оставил бы мягкую постель и пошел бы замазывать грязью колоду?

– Знаем мы! он слишком хитер, чтобы сделать это сам, но он мог подучить, рассеять слухи. Он очень дружен с мистером Дэлем, а ваша милость извольте знать, как у послед-

него вытягивается лицо при виде колоды. Постоите крошечку, сэръ, погодите меня бранить. У нас в приходе есть мальчик....

– Час от часу не легче! ужь теперь мальчик! Что же, по твоему, мистер Дэль испортил колоду! ну, а мальчик-то что?

– А мальчик был настроен мистером Дэлем; чужеземец в тот день сидел с ним и с его матерью целый час. Мальчик очень смышлен. Я его как нарочно застал на том месте – он спрятался за дерево, когда колода была только что перестроена – этот мальчик Ленни Ферфилд.

– У, какая чепуха! сказал сквайръ, свистнув: – ты, кажется, не в полном рассудке сегодня. Ленни Ферфилд примерный мальчик для целой деревни. Прошу поудержать свой язычок. Я думаю, что это сделали не из наших прихожан: какойнибудь негодный бродяга, может, медник, который шатается здесь с ослом; я видел сам, как этот осел щипал крапиву у колоды. Ужь это одно доказывает, как дурно медник воспитал свою скотину. – Будь же теперь внимателен. Сегодня воскресенье: неловко начинать нам суматоху в такой день. После обедни и до самой вечерни сюда сходятся зеваки со всех сторон ты сам хорошо это знаешь. Таким образом участники в преступлении, без сомнения, будут любоваться своим делом, может быть, похвалятся при этом и обличат себя; гляди только в оба, и я уверен, что мы нападём на след прежде вечера. А уж если нам это удастся, так мы порядком проучим

негодая! прибавил сквайр.

– Разумеется, отвечал Стирн и, получив такое приказание, вышел.

## Глава XVII.

– Рандаль, сказала мистрисс Лесли в это воскресенье:– Рандаль, ты думаешь съездить к мистеру Гэзельдену?

– Думаю, отвечал Рандаль. – Мистер Эджертон не будет против этого, и как я не возвращаюсь еще в Итон, то, может быть, мне долго не удастся видеть Франка. Я не хочу быть неучтивым к наследнику мистера Эджертона.

– Прекрасно! вскричала мистрисс Лесли, которая, подобно женщинам одного с нею образа мыслей, имела много светскости в понятиях, но редко обнаруживала ее в поступках:– прекрасно, наследник старого Лесли!

– Он племянник мистера Эджертона, заметил Рандаль:– а я ведь вовсе не родня Эджертонам.

– Но, возразила бедная мистрисс Лесли, со слезами на глазах:– это будет стыд, если он, платив за твое ученье, послав тебя в Оксфорд, проводив с тобою все праздники, на этом только и остановится. Эдак не делают порядочные люди.

– Может быть, он сделает чтонибудь, Но не то, что вы думаете. Впрочем, что до того! Довольно, что он вооружил меня для жизни; теперь от меня зависит действовать оружием так или иначе.

Тут разговор был прерван приходом других членов семей-

ства, одетых, чтобы идти в церковь.

– Не может быть, чтобы было уже пора в церковь! Нет, еще рано! вскричала мистрисс Лесли.

Она никогда не бывала готова во-время.

– Ужь последний звон, сказал мистер Лесли, который хотя и был ленив, но в то же время довольно пунктуален.

Мистрисс Лесли стремительно бросилась по лестнице, прибежала к себе в комнату, сорвала с вешалки своей лучшей чепец, выдернула из ящика новую шаль, вздернула чепец на голову, шаль развесила на плечах и воткнула в её складки огромную булавку, желая скрыть от посторонних взоров оставшееся без пуговиц место своего платья, потом как вихрь сбежала с лестницы. Между тем семейство её стояло уже за дверьми в ожидании, и в то самое время, как звон замолк и процессия двинулась от ветхого дома к церкви.

Церковь была велика, но число прихожан незначительно, точно так же, как и доход пастора. Десятая часть из собственности прихода принадлежала некогда Лесли, но давно уже была продана. Теперешний пастор получал немного более ста фунтов. Он был добрый и умный человек, но бедность и заботы о жене и семействе, а также то, что может быть названо совершенным затворничеством для образованного ума, когда, среди людей, его окружавших, он не находил человека, достаточно развитого, чтобы можно было с ним разменяться мыслию, переступавшею горизонт приходских понятий, погрузили его в какое-то уныние, кото-

рое по временам походило на ограниченность. Состояние его не позволяло ему делать приношения в пользу прихода или оказывать подвиги благотворительности; таким образом он не приобрел нравственного влияния на своих прихожан ничем, кроме примера благочестивой жизни и действия своих увещаний. Прихожане очень мало заботились о нем, и если бы мистрисс Лесли, в часы своей неутолимой деятельности, не употребляла поощрительных мер в отношении прихожан, в особенности стариков и детей, то едва ли бы полдюжины человек собирались в церковь.

Возвратясь от обедни, семейство Лесли село, за обед, по окончании которого Рандаль отправился пешком в Гэзльден-Голл.

Как ни казался нежным и слабым его стан, в нем была заметна скорость и энергия движения, которые отличает нервические комплекции; он постоянно уходил вперед от крестьянина, которого взял себе в проводники на первые две или три мили. Хотя Рандаль не отличался в обхождении с низшими откровенностью, которую Франк наследовал от отца, в нем было – несмотря на некоторые притворные качества, несовместные с характером джентльмена – довольно джентльменстваи, чтобы не показаться грубым и заносчивым к своему спутнику. Сам Рандаль говорил мало, но зато спутник его был особенно словоохотлив; это был тот самый крестьянин, с которым говорил Франк на пути к Рандалю, и теперь он распространялся в похвалах лошади джентльме-



на от которой переходил к самому джентльмену. Рандаль на-  
двинул себе шляпу на глаза. Должно быт, что и у земледель-  
ца нет недостатка в такте и догадливости, потому что Том  
Стауэлль, бывший совершенным середовиком из своего со-  
словия, тотчас заметил, что слова его не совсем идут к де-  
лу. Он остановился, почесал себе голову и, ласково смотря  
на своего спутника, вскричал.

– Но вот, Бог даст, доживем, что вы заведете лошадку луч-  
ше теперешней вашей, мастер Рандаль:– это ужь верно, по-  
тому что другого такого доброго джентльмена нет в целом  
округе.

– Спасибо тебе, сказал Рандаль. – Я более люблю ходить  
пешком, чем ездить; мне кажется, я уже так создан.

– Хорошо, да вы и ходите молодецки, – едва ли найдется  
другой такой ходок в целом графстве. Правду сказать, любо  
и идти-то здесь: все такие славные виды по дороге до самого  
Гэзельден-Голла.

Рандаль все шел вперед, как будто становясь нетерпеливее  
от этих похвал; наконец, выйдя на открытую поляну, он ска-  
зал.

– Теперь, я думаю, я найду сам дорогу. – Очень тебе бла-  
годарен, Том.

И он положил шиллинг в жесткую руку Тома. Крестьян-  
нин взял монету как-то нерешительно, и слезы заблестели  
у него на глазах. Он был более благодарен за этот шиллинг,  
чем за пол-кроны щедрого Франка; ему пришла на ум бед-

ность несчастного семейства Лесли, и он совершенно забыл в эту минуту, что сам он еще гораздо беднее.

Он, стоял на поляне и глядел в даль, пока фигура Рандалья не скрылась совершенно из виду; потом побрел он потихоньку домой.

Молодой Лесли продолжал идти скорым шагом. Несмотря на его умственное образование, его постоянные стремления к чему-то высшему, у него не было в эту минуту такой отрадной мысли в голове, такого поэтического чувства в сердце, как у безграмотного мужика, который оделся к своей деревне, понутив голову.

Когда Рандаль достиг места, где несколько отдельных полей сходились в одну общую равнину, он начал чувствовать усталость, шаги его замедлялись. В это время кабриолет выехал по одной из боковых дорог и принял то же направление, как наш путник. Дорога была жестка и неровна, и кабриолет подвигался медленно, не опережая пешехода.

– Вы, кажется, устали, сэр, сказал сидевший в кабриолете плечистый молодой фермер, по видимому, один из зажиточных в своем сословии.

И он посмотрел с состраданием на бледное лицо и дрожащие ноги молодого человека.

– Может быть, нам по дороге; в таком случае, я вас подвезу.

Рандаль принял за постоянное правило не отказываться от предложений, в которых видел для себя какуюнибудь

пользу, и теперь он утвердительно отвечал на приглашение честного фермера.

– Славный день, сэра, сказал последний, когда Рандаль сел возле него; – Вы издалека шли?

– Из Руд-Голла.

– Ах, вы, верно, сквайр Лесли, сказал почтительно фермер, приподнимая шляпу.

– Да, мое имя Лесли. Так вы знаете Руд?

– Я был воспитан в деревне вашего батюшки, сэра. – Вы, может быть, слыхали о фермере Брюсе.

Рандаль. Я помню, что, когда я еще был маленьким мальчиком, какой-то мистер Брюс, который снимал, кажется, лучшую часть нашей земли, всякий раз, когда приходил к батюшке, приносил нам сладких пирожков. Он был вам родственник?

Фермер Брюс. Он быть мне дядя. Он уже умер, бедный.

Рандаль. Умер! Очень жаль... Он был особенно добр к нам, когда мы были детьми. Он ведь давно уже оставил ферму моего отца?

Фермер Брюс (*как будто оправдываясь*). Я уверен, что ему очень жаль было оставить вашу ферму. Но, видите ли, он неожиданно получил наследство.

Рандаль. И вовсе прекратил дела?

Фермер Брюс. Нет; но, имея капитал, он мог уже вносить значительную плату за хорошую ферму, в полном смысле этого слова.

Рандаль (*с горечью*). Все капиталы точно обегают имение Руд!.. Чью же ферму он снял?

Фермер Брюс. Он снял Голей, что принадлежит сквайру Гэзельдену. Теперь и я содержу ее же. Мы положили в нее пропасть денег; но пожаловаться нельзя: она приносит славный доход.

Рандаль. Я думаю, эти деньги принесли бы такой же барыш, если бы их употребить на землю моего отца?

Фермер Брюс. Может быть, через продолжительное время. Но, извольте ли видеть, сэр, нам понадобилось тотчас же обеспечение – нужно было немедленно устроить житницы, скотный двор и много кое-чего, что лежало на обязанности помещика. Но не всякий помещик в состоянии это сделать. Ведь сквайр Гэзельден богатый человек.

Рандаль. А!

Дорога теперь пошла глаже, и фермер пустил свою лошадь скорой рысцой.

– Вам по какой дороге, сэр? Несколько миль крюку мне ничего не значат, если смею услужить вам.

– Я отправляюсь в Гэзельден, сказав Рандаль, пробуждаясь от задумчивости. – Пожалуста, не делайте из за меня и шагу лишнего.

– О, Голейская ферма по ту сторону деревни: значит, мне совершенно по дороге, сэр.

Фермер, бывший очень разговорчивым малым и принадлежа к поколению, происшедшему от приложения капита-

ла к земле, к поколению, которое, по воспитанию и манерам, могло стать на ряду с сквайрами прежнего времени, начал говорить о своей прекрасной лошади, о лошадях вообще, об охоте и конских бегах; он рассуждал о всех этих предметах с одушевлением и скромностью. Рандаль еще более нагнул тебе шляпу на глаза и не прерывал его до тех пор, пока они не поровнялись с казино; тут он, пораженный классической наружностью строения и заметив прелестную зелень померанцовых деревьев, спросил отрывисто:

– Чей это дом?

– Он принадлежит сквайру Гэзельдену, но отдан в наем какому-то иностранному господину. Говорят, что постоялец настоящий джентльмен, только чрезвычайно беден.

– Беден, сказал Рандаль, обращаясь назад, чтобы посмотреть на зеленеющийся сад, на изящную террасу, прекрасный бельведер, и бросая взгляд в отворенную дверь, на расписанную внутри залу: – беден.... дом кажется, впрочем, очень мило убран. Что вы подразумеваете под словом «беден», мистер Брюс?

Фермер засмеялся.

– По правде сказать, это трудный вопрос, сэр. Но я думаю, что господин этот так беден, как может быть беден человек, который только не входит в долги и не умирает с голоду.

– Значит так беден, как мой отец? спросил Рандаль явственно и несколько отрывисто.

– Бог с вами, сэр! Батюшка ваш богач в сравнении с ним.

Рандаль продолжал смотреть, сознавая в уме своем контраст этого дома с своим развалившимся домом, где все носило признаки запустения. При Руд-Голле нет такого опрятного садика, нет и следа ароматических померанцовых цветов. Здесь бедность была по крайней мере милостива, там она была отвратительна. Сообразив все это, Рандаль не мог понять, как можно было так дешево достигнуть в обстановке дома столь утонченного изящества. В эту минуту путники подъехали к ограде парка сквайра, и Рандаль, заметив тут маленькую калитку, попросил фермера остановиться и сам сошел с кабриолета. Молодой человек скоро скрылся в густой листве дубов, а фермер весело продолжал свою дорогу, и его звучный свист уныло отдавался в ушах Рандалья, пока он проходил под сению деревьев парка. Придя к дому сквайра, он узнал, что вся семья Гэзельдены в церкви, а согласно патриархальному обычаю, прислуга не отставала от господ в подобных случаях. Таким образом ему отворила дверь какая-то дряхлая служанка. Она была почти совершенно глуха и до того безтолкова, что Рандаль не хотел войти в комнаты с тем, чтобы дожидаться возвращения Франка. Он сказал, что походит по лугу и воротится тогда, когда церковная служба кончится.

Старуха остановилась в удивлении, стараясь его расслушать, но он отвернулся и пошел бродить в ту сторону, где виднелась садовая решетка.

Тут было много такого, что могло привлечь любопытные

взоры: обширный цветник, пестрый как ковер, два величественные кедра, покрывавшие тенью лужайку, и живописное строение с узорчатыми рамами у окон и высокими остроконечными фронтонами; но кажется, что молодой человек не смотрел на эту сцену ни глазами поэта, ни глазами живописца.

Он видел тут доказательства богатства, и зависть возмущала в эту минуту его душу.

Сложив руки на груди, он стоял долго молча, смотря вокруг себя с сжатыми губами и наморщенным лбом; потом он снова заходил, устремив глаза в землю, и проворчал в полголоса:

– Наследник этого имения немногим лучше мужика; мне же приписывают блестящие дарования и ученость, я постоянно твержу девиз свой: «знание есть сила». А между тем, несмотря на мои труды, поставят ли когданибудь меня мои познания на ту степень, на которой этому неучу суждено стоять? бедные ненавидят богатых; но кто же из бедных склоннее к этому, как не обеднявший джентльмен? Одлей Эджертон, того-и-гляди, думает, что я поступлю в Парламент и приму вместе с ним сторону тори. Как же, на такого и напал!

Он быстро повернулся и угрюмо посмотрел на несчастный дом, который хотя и был довольно удобен, но далеко не напоминал дворца; сложив руки на груди, Рандаль продолжал ходить взад и вперед, не желая выпустить дом из виду и пре-

рвать нить своих мыслей.

– Какой же выход из подобного положения? говорил он сам с собою. – «Знание есть сила.». Достанет ли у меня силы, чтобы оттянуть имение у этого неуча? Оттянуть! но что же оттянуть? отцовский дом, что ли? Да! но если бы сквайр, умер, то кто был бы наследником Гэзельдена? Не слыхал ли я от матушки, что я самый близкий родственник сквайру, кроме его собственных детей? Но дело в том, что он ценит жизнь этого мальчика вдесятеро дороже моей. Какая же надежда на успех? На первый раз его нужно лишить расположения дяди Эджертона, который никогда не видал его. Это все-таки возможнее.

«Посторонись с дороги», сказал ты, Одлей Эджертон. А откуда ты получил состояние, как не от моих предков? О, притворство, притворство Лорд! Бэкон применяет его ко всем родам деятельности, и...»

Здесь монолог Рандаля был прерван, потому что, прохаживаясь взад и вперед, он дошел до конца лужайки, склонявшейся в ров, наполненный тиной, и в ту самую минуту, как мальчик подкреплял себя учением Бэкона, земля осыпалась под ним, и он упал в ров.

Как нарочно, сквайр, которого неутомимый гений постоянно был занят нововведениями и исправлением всякого рода повреждений, за несколько дней до того велел расширить и вычистить ров в этом месте, так что земля в нем была еще очень сыра, не выложена камнем и не утробована.



Таким образом, когда Рандаль, опомнившись от удивления и испуга, привстал, то увидел, что все его платье замарано в грязи, тогда как стремительность его падения доказывалась фантастическим, странным видом его шляпы, которая, представляя местами впадины, а местами выступы, вообще была неузнаваема и напоминала шляпу одного почтенного джентльмена, злого писаку и protégé мистера Эджертона, или шляпу, какую, иногда находят на улице возле упавшего в лужу пьяного.

Рандаль был оглушен, отуманен этим падением и несколько минут не мог придти в себя. Когда он собрался с мыслями, тоска еще сильнее овладела им. Он еще так был малодушен, что никак не решался представиться в таком виде незнакомому сквайру и щеголеватому Франку; он решился выбраться на знакомую поляну и воротиться домой, не достигнув цели своего путешествия; и, заметив перед собою тропинку, которая вела к воротам, выходящим на большую дорогу, он тотчас же отправился по этому направлению.

Удивительно, как все мы мало обращаем внимания на предостережения нашего доброго гения. Я уверен, что какаянибудь благодетельная сила столкнула Рандалья Лесли в ров, изображая тем пред ним судьбу всякого, кто избирает какойнибудь необыкновенный путь для рассудка, т. е. пятится, например, назад, с целию завистливо полюбоваться ни собственность соседа. Я думаю, что в течение настоящего столетия много еще найдется, юношей, которые таким же об-

разом попадают во рвы и выползут оттуда, может быть, в более грязных сюртуках, чем сам Рандаль. Но Рандаль не благодарил судьбы за данный ему предостерегательный урок; да я и не знаю человека, который бы поблагодарил ее за это.

В это утро, сквайр был очень сердит за завтраком. Он был слишком истым англичанином, чтобы терпеливо переносить обиду, а он видел личное оскорбление в порче приходского учреждения. Его чувствительность была задета при этом столько же, сколько и гордость. Во всем этом деле были признаки явной неблагодарности ко всем трудам, понесенным им не только для возобновления, но и украшения колоды. Впрочем, сквайру случалось сердиться очень нередко, потому и теперь это никого не удивило бы. Риккабокка, как человек посторонний, и мистрисс Гэзельден, как жена сквайра, тотчас заметили, что хозяин уныл и задумчив; но один был слишком скромн, и другая слишком чувствительна для того, чтобы растревлять свежую рану, какая бы она ни была; и вскоре после завтрака сквайр ушел в свой кабинет, пропустив даже утреннюю службу в церкви.

В своем прекрасном «Жизнеописании Оливера Гольдсмита», мистер Фостер старается тронуть наши сердца, представляя нам оправдания своего героя в том, что он не пошел в духовное звание. Он не чувствовал себя достойным этого. Но твой «Вэкфильдский Священник», бедный Гольдсмит, вполне заступает твое и место, и доктор Примроз будет предметом удивления для света, пока не оправдаются на де-

ле предчувствия мисс Джемимы. Бывали дни, когда сквайр, чувствуя себя не в духе и руководствуясь примером смирения Гольдсмита, отдалялся на некоторое время от семьи и сидел запершись в своей комнате. Но эти припадки сплина проходили обыкновенно одним днем, и большею частью, когда колокол звонил к вечерне, сквайр окончательно приходил в себя, потому что тогда он показывался на пороге своего дома под руку с женою и впереди всех своих домочадцев. Вечерняя служба (как обыкновенно случается к сельских приходах) была более посещаемая прихожанами? чем первая, и пастор обыкновенно готовил к ней самые красноречивые поучения.

Пастор Дэль, хотя и был некогда хорошим студентом, не отличался ни глубоким познанием богословия, ни археологическими сведениями, которыми отличается нынешнее духовенство. Не был пастор смышлен и в церковной архитектуре. Он очень мало заботился о том, все ли части церкви были в готическом вкусе, или нет; карнизы и фронтоны, круглые и стрельчатые своды были такие вещи, над которыми ему не случалось размышлять серьёзно. Но зато пастор Дэль постиг одну важную тайну, которая, может быть, стоит всех этих утонченностей, вместе взятых, – тайну наполнять церковь слушателями. Даже за утренней службой ни одна из церковных лавок не оставалась пустою, а за вечернею – церковь едва могла вместить приходящих.

Пастор Дэль, не вдаваясь в выпященные толкования от-

влеченностей и придерживаясь своего всегдашнего правила: *Quieta non movere*, понимал призвание свое в том, чтобы советовать, утешать, увещевать своих прихожан. Обыкновенно к вечерней служб он приготавливал свои поучения, которые излагал таким образом, что никто, кроме вашей собственной совести, не мог бы упрекнуть вас за ваши ароступки. И в настоящем случае пастор, которого взоры и сердце постоянно было заняты прихожанами, который с прискорбием видел, как дух неудовольствия распространялся между крестьянами и готов был заподозрить самые добрые намерения сквайра, решился произнести на этот счет поучение, которое имело целию защитить добродетель от нареканий и исцелить; по мере возможности, рану, которая таилась в сердце гэзельденского прихода.

Очень жаль, что мистер Стирн не слышал поучения пастора; этот должностной человек был, впрочем, постоянно занят, так что во время летних месяцев ему редко удавалось быть у вечерней службы. Не то, чтобы мистер Стирн боялся в поучениях пастора намек на свою личность, но он набирал всегда для дня покоя много экстренных дел. Сквайр по воскресеньям позволял всякому гулять около парка и многие приезжали издалека, – чтобы побродит около озера или отдохнуть в тени вязов. Эти посетители были предметом подозрений и беспокойств для мистера Стирна, и – надо правду сказать – не без причины. Иногда мистер Стирн, к своему невыразимому удовольствию, нападал на толпу мальчи-

шек, которые пугали лебедей; иногда он замечал, что недостает какогонибудь молодого деревца, и потом находил его у когонибудь уже обращенным в трость; иногда он ловил дерзкого парня, который переползал через ров с целью составить букет для своей возлюбленной в цветнике бедной мистрисс Гэзельден; очень часто также, когда все семейство было в церкви, некоторые любопытные грубияны врывались силою или прокрадывались в сад, чтобы посмотреть в окна господского дома. За все эти и разные другие беспорядки, не менее важные, мистер Стирн долго, но тщетно, старался уговорить сквайра отменить позволение, которое до такой степени употреблялось во зло. Сквайр хотя по временам ворчал, сердился и уверял, что он прикажет запереть парк и наставить в нем капканов, но гнев его ограничивался только словами. Парк по-прежнему оставался отпертым каждое воскресенье, и таким образом этот день был днем чрезвычайных хлопот для мистера Стирна. Но после последнего удара колокола за вечерней службой и вплоть до сумерек было особенно беспокойно бдительному дозорщику, потому что из стада, которое из маленьких хижин стекалось на призыв своего пастыря, всегда находилось несколько заблудших овец, которые бродили по всем направлениям, как будто с единственною целью – испытать бдительность мистера Стирна. Вслед за окончанием церковной службы, если день бывал хорош, парк наполнялся гуляющими в красных клоках, ярких шалях, праздничных жилетах и шляпах,

украшенных полевыми цветами, которые, впрочем, по уверению мистера Стирна, были по что иное, как молодые герани мистрисс Гэзельден. Особенно нынешнее воскресенье у главного управителя были важные причины усугубить деятельность и внимание: ему предстояло не только открывать обыкновенных похитителей и шатал, но, во первых, доискаться, кто зачинщик порчи колоды, во вторых, показать пример строгости.

Он начал свой дозор с раннего утра, и в то самое время, как вечерний колокол возвестил о близком окончании службы, он вышел на деревню из-за зеленой изгороди, за которой спрятался с целью наблюдать, кто особенно подозрительно будет бродить около колоды. Место это было пусто. На значительном расстоянии, домоправитель увидел исчезающие фигуры каких-то запоздавших крестьян, которые спешили к церкви; перед ним неподвижно стояло исправительное учреждение. Тут мистер Стирн остановился, снял шляпу и отер себе лоб.

«Подожду пока здесь – сказал он сам себе – негодяи, верно, захотят полюбоваться на свое дело; недаром же я слышал, что убийцы, совершив преступление, всегда возвращаются на то место, где оставили тело. А здесь в деревне ведь, право, нет никого, кто бы порядочно порадел для пользы сквайра или прихода, – кроме меня одного.»

Лишь только мистер Стирн успел придти к такому мизантропическому заключению, как увидел, что Леонард Фер-

фильд очень скоро идет из своего дома. Управитель ударил себя по шляпе и величественно подперся правой рукою.

– Эй, ты, сэр, вскричал он, когда Ленни подошел так близко, что мог его слышать: – куда это ты бежишь так?

– Я иду в церковь, сэр.

– Постой, сэр, постой, мистер Ленни. Ты идешь в церковь! Ужь ведь отзвонили, а ты знаешь, как пастор не любит, когда кто приходит поздно и нарушает должное молчание. Ты теперь не должен идти в церковь...

– Отчего же, сэр?

– Я тебе говорю, что ты не должен идти. Ты обязан замечать, как поступают добрые люди. Ты видишь, например, с каким усердием я служу сквайру: ты должен служить ему так же. И так мать твоя пользуется домом и землей за бесценок: вы должны быть благодарны сквайру, Леопард Ферфильд, и заботиться о его пользе. Бедный! у него и так сердце надрывается, глядя на то, что у нас происходит.

Леонард открыл свои добродушные голубые глаза, пока мистер Стирн чувствительно вытирал свои.

– Посмотри на это здание, сказал вдруг Стирн, указывая на колоду: – посмотри на него... Если бы оно могло говорить, что оно сказало бы, Леонард Ферфильд? Отвечай же мне!

– Это было очень нехорошо, что тут наделали, сказал Ленни с важностью. – Матушка была чрезвычайно огорчена, когда услышала об этом, сегодня утром.

Мистер Стирн. Я думаю, что не без того, если принять

в соображение, какой вздор она платит за аренду; (*вкрадчиво*) а ты не знаешь, кто это сделал, Ленни, а?

Ленни. Нет, сэр, право, не знаю.

Мистер Стирн. Слушай же: тебе уж нечего ходить в церковь: проповедь, я думаю, кончилась. Ты должен помнить, что я отдал учреждение под твой надзор, на твою личную ответственность, а ты видишь, как ты исполняешь свой долг в отношении к нему. Теперь я придумал....

Мистер Стирн вперил свои глаза в колоду.

– Что вам угодно, сэр? спросил Ленни, начинавший серьёзно бояться.

– Мне ничего не угодно; тут не может быть удобного. На этот раз я тебе прощаю, но вперед прошу держать ухо востро. Теперь ты стой здесь.... нет, вот здесь, у забора, и стереги, не будет ли кто бродить около здания, глазеть на него или смеяться, а я между тем пойду дозором кругом. Я возвращусь перед концом вечерни или тотчас после неё; стой же здесь до моего прихода и потом отдай мне отчет. Не зевай же, любезный, не то будет худо и тебе и твоей матери: я завтра же могу надбавить вам платы по четыре фунта в год.

Заклучив этим выразительным замечанием и не дожидаясь ответа, мистер Стирн отделил от бедра руку и пошел прочь.

Бедный Ленни остался у колоды в сильном унынии и неудовольствии на такое неприятное соседство. Наконец



он тихонько подошел к забору и сел на месте, указанном ему для наблюдений. Скоро он совершенно помирился с своею настоящею обязанностью, стал восхищаться прохладой, распространяемою тенистыми деревьями, чириканьем птичек, прыгавших по ветвям, и видел только светлую сторону данного ему поручения. В молодости все для нас может иметь эту светлую сторону, – даже обязанность караулить колоду. Правда, Леонард не чувствовал особенной привязанности к самой колоде, но он не имел никакой симпатии и с людьми, сделавшими на нее нападение, и в то же время знал, что сквайр будет очень огорчен, если подобный поступок повторится. «Так – думал бедный Леонард в простоте своего сердца – если я смогу защитить честь сквайра, открыв виновных, или, по крайней мере, напав на след, кто это сделал, то такой день будет радостным днем для матушки.» Потом он начал рассуждать, что хотя мистер Стирн и не совсем ласково назначал ему этот пост, но, во всяком случае, это должно льстить его самолюбию: это доказывало доверие к нему, как образцовому мальчику из числа всех его сверстников. А у Ленни было, в самом деле, много самолюбия во всем, что касалось его репутации.

По всем этим причинам, Леонард Ферфильд расположился на своем наблюдательном посту если не с положительным удовольствием и сильным восторгом, то, по крайней мере, с терпением и самоотвержением.

Прошло с четверть часа после ухода мистера Стирна,

как какой-то мальчик вошел в парк через калитку, прямо против того места, где скрывался Леини, и, утомясь, по видимому, от ходьбы или от дневного жара, он остановился на лугу на несколько минут и потом пошел, под тень дерева которое росло возле колоды.

Леини напряг свой слух и приподнялся на цыпочки...

Он никогда не видал этого мальчика: лицо его было совершенно незнакомо ему.

Леонард Ферфильд вообще не любил незнакомых; кроме того, у него было убеждение, что ктонибудь из чужих испортил колоду. Мальчик действительно был чужой; но какого он был звания? На этот счет Ленни Ферфильд не знал ничего верного. Сколько можно было ему судить по наглядности, мальчик этот не был одет как джентльмен. Понятия Леонарда об аристократичности костюма развились, конечно, под влиянием Франка Гэзельдена. Они представляли его воображению очаровательный вид белоснежных жилетов, прелестных голубых сюртуков и великолепных галстуков. Между тем платье этого незнакомца хотя не показывало в нем ни крестьянина, ни фермера, в то же время не соответствовало идее о костюме молодого джентльмена; оно представлялось даже не совсем приличным: сюртук был выпачкан в грязи, шляпа приняла самую чудовищную форму, а между тульею и краями её была порядочная прореха. Ленни очень удивился и потом вспомнил, что калитка, через которую прошел молодой, человек, была на прямой дороге из пар-

ка в соседний городок, жители которого пользовались очень дурною славою в Гэзельден-Голле: с незапамятных времен из числа их являлись самые страшные браконьеры, самые отчаянные шаталы, самые жестокие похитители яблоков и самые неутомимые спорщики при определении прав на дорогу, которая, судя по городским понятиям, была общественною, по понятиям же сквайра, пролегая по его земле, составляла его собственность. Правда, что эта же самая дорога вела от дома сквайра, но трудно было предположить, чтобы человек, одетый так неблаговидно, мог быть в гостях у сквайра. По всему этому Ленни заключил, что незнакомец должен быть лавочник или прикащик из Торндейка, а репутация этого городка, в соединении с предубеждением, заставляла Ленни придти к мысли, что незнакомец должен быть одним из виновным в порче колоды. Как будто для того, чтобы еще более утвердить Ленни в таком подозрении, которое пришло ему в голову несравненно скорее, чем я успел описать все это, таинственный незнакомец сел, на колоду, положил ноги на закраины её и, вынув из кармана карандаш и памятную книжку, начал писать. Не снимал ли этот страшный незнакомец план всей местности, чтобы потом зажечь дом сквайра и церковь! Он смотрел то в одну, то в другую сторону с каким-то странным видом и все продолжал писать, почти вовсе не обращая внимания на лежавшую перед ним бумагу, как заставляли это делать Ленни, когда он писал свои прописи. – Дело в том, что Рандаль Лесли чрезвычайно устал и,

сделав несколько шагов стал еще сильнее чувствовать ушиб от своего падения, так что ему хотелось отдохнуть несколько минут; этим временем он воспользовался, чтобы написать несколько строк к Франку с извинением что он не зашел к нему. Он хотел вырвать этот листок из книжки и отдать его в первом коттэдже, мимо которого ему придется идти, с поручением отвести его в дом сквайра.

Пока Рандаль занимался этим. Леини подошел к нему твердым и мерным шагом человека, который решил, во что бы то ни стало, исполнить долг свой. И как Ленни хотя и был смел, но не был ни вспыльчив, ни заносчив, то негодование, которое он испытывал в эту минуту, и подозрение, возбужденное в нем поступком незнакомца, выразились в следующем воззвании к нарушителю прав собственности.

– Неужели вам не стыдно? Сидите вы на новой колоде сквайра! Встаньте скорее и ступайте с Богом!

Рандаль поспешно обернулся; и хотя во всякое другое время у него достало бы уменья очень ловко вывернуться из такого фальшивого положения, но кто может похвалиться, что он всегда благоразумен? А Рандаль был теперь в самом дурном расположении духа. Его ласковость к низшим себя, за которую я недавно еще его хвалил, совершенно исчезла теперь при виде грубияна, который не узнал в нем достоинств питомца Итона.

Таким образом, презрительно посмотрев на Ленни, Рандаль отвечал отрывисто:

– Вы глупый мальчишка!

Такой выразительный ответ заставил Ленни покраснеть до ушей. Будучи уверен, что незнакомец был какой-нибудь лавочник или прикащик, Ленни еще более утвердился в своем мнении, не только по этому неучтивому ответу, но и по зверскому взгляду, который сопровождал его и который нисколько не заимствовал величия от исковерканной, истертой, обвислой и изорванной шляпы, из под которой блеснул его злоеший огонь.

Из всех разнообразных принадлежностей нашего костюма нет ничего, что бы было так индивидуально и выразительно, как покрывка головы. Светлая, выглаженная щоткою, коротко-ворсистая джентльменская шляпа, надетая на известный какой-либо манер, сообщает изящество и значительность всей наружности, тогда как измятая, взъерошенная шляпа, какая была на Рандале Лесли, преобразила бы самого щеголеватого джентльмена, который когда-либо прохаживался по Сен-Джемс-Стриту, в идеал оборванца.

Теперь всем очень хорошо известно, что наш крестьянский мальчик чувствует непримиримую антипатию к лавочному мальчику. Даже при политических происшествиях земледельческий рабочий класс редко действует единодушно с городским торгующим сословием. Но не говоря уже об этих различиях между сословиями, всегда есть что-то неприязненное в отношениях двух мальчиков, друг к другу, когда им случится сойтись по одиначке где-нибудь на лужайке. Что-

то похожее на вражду петухов, какая-то особая склонность согнуть большой палец руки над четырьмя другими и сделав из всего этого так называемый кулак, проявились и в эту минуту. Признаки этих смешанных ощущений были тотчас же заметны в Ленни при словах и взгляде незнакомца, И незнакомец, казалось, понял это, потому что его бледное лицо сделалось еще бледнее, а его мрачный взор – еще неподвижнее и осторожнее.

– Отойдите от колоды, сказал Ленни не желая отмечать на грубый отзыв незнакомца, и вместе с этим словом он сделал движение рукой, с намерением оттолкнуть незваного гостя. Тот, приняв это за удар, вскочил и быстротой своих приемов, с маленьким усилием руки, заставил Ленни потерять равновесие и повалил его навзничь. Кипя гневом, молодой крестьянин, быстро поднялся и бросился на Рандаля.

## Глава XVIII

Придите ко мне на помощь, о вы, девять Муз, на которых несравненный Персий писал сатиры и которых в то же время призывал в своих стихах, – помогите мне описать борьбу двух мальчуганов: один – умеренный защитник законности и порядка, боец *pro uns et focis*; другой – высокомерный пришлец, с тем уважением к имени и личности, которое иные называют честью. Здесь одна лишь природная физическая сила, там ловкость, приобретенная упражнением. Здесь.... но Музы немы как столб и холодны как камень! Пусть их убираются, куда знают. Без них лучше обойдется дело.

Рандаль был старше Ленни годом, но он не был ни так высок ростом, ни так силен, ни так ловок, как Ленни, и после первого порыва, когда оба мальчика остановились, чтобы перевести дыхание, Ленни, видя жидкие формы и бесцветные щеки своего противника, видя, что кровь капает уже из губы Рандаля, вдруг почувствовал раскаяние. «Нехорошо – подумал он – желать бороться с человеком, которого легко прибить.» Таким образом, отойдя в сторону и опустив руки, он сказал кротко:

– Полно нам дурачиться; ступайте домой и не сердитесь на меня.

Рандаль Лесли вовсе не отличался таким же достоинством, Он был горд, мстителен, самолюбив; в нем были бо-

лее развиты наступательные органы, чем оборонительные; что однажды заслужило гнев его, то он желал уничтожить во что бы то ни стало. Потому хотя все нервы его дрожали и глаза его были полны слез, он подошел к Ленни с заносчивостью гладиатора и сказал, стиснув зубы и заглушая стоны, вызванные в нем злобою и телесным страданием:

– Вы ударили меня, потому не сойдете с места, пока я не заставлю вас раскаяться в вашем поступке. Приготовьтесь, защищайтесь: я уж не так буду бить вас.

Хотя Лесли не считался бойцом в Итоне, но его характер вовлекал его в некоторые схватки, особенно когда он был в низших классах, и он изучил таким образом теорию и практику боксерства – искусства, которое едва ли когданибудь выведется в английских общественных школах.

Теперь Рандаль применял в деле приобретенные им сведения, отражал тяжелые удары своего противника, сам наносил очень быстрые и меткие, заменяя ловкостью и проворством природное бессилие своей руки. Впрочем, эта рука не была даже слаба: до такой степени увеличивается сила в минуты страсти и раздражения. Бедный Ленни, которой никогда еще не дрался настоящим образом, был оглушен; чувства его притупились, перемешались, так что он не мог отдаю себе в них отчета; у него осталось какое-то смутное воспоминание о бездыханном падении, о тумане, застлавшем до глаза, и об ослепительном блеске, который как будто пронесся перед ними – о сильном изнеможении, соединен-



ном с чувством боли – тут, там, по всему телу, и потом все, что у него осталось в памяти, было то, что он лежал на земле, что его били жестоко, при чем противник его сидел над ним такой же мрачный и бледный, как Лара над падшим Ото: потому что Рандаль не был из числа тех людей, которым сама природа подсказывает правило: «лежачего не бить»; ему стоило даже некоторой борьбы с самим собою и то, что он не решился топтать ногами своего противника. Он отличался от дикаря умом, а не сердцем, и теперь, бормоча что-то с самим собою, победитель отошел в сторону.

Кто же мог явиться теперь на место битвы, как не мистер Стирн? Особенно заботясь о том, чтобы втянуть Ленни в немилость, он надеялся, что мальчик наверно не исполнит данного ему поручения, и в настоящую минуту он спешил удостовериться, не оправдается ли его вожделенное ожидание. Тут он увидел, что Ленни с трудом приподнимается с земли, страдая от ударов и плача с какими-то истерическими порывами; его новый жилет забрызган его собственной кровью, которая текла у него из носа, и этот нос казался Ленни уже не носом, а раздутою, гористою возвышенностью. Отвернувшись от этого зрелища, мистер Стирн посмотрел с небольшим уважением, как некогда и сам Ленни, на незнакомого мальчика, который опять уселся на колоду – для того ли, чтобы перевести дыхание, или показать, что он одержал победу.

– Эй, что все значит? сказал мистер Стирн:– что все это

значит, Ленни, а?

– Он хочет здесь сидеть, отвечал Ленни, голосом, прерываемом рыданиями: – а прибил он меня за то, что не позволял ему; но я не ожидал этого... *теперь* я, пожалуй, опять...

– А что вы, смею спросить, расселись тут?

– Смотрю на ландшафт; отойди-ка от света, любезный!

Этот тон привел мистера Стирна в недоумение: это был тон до того непочтительный в отношении к нему, что он почувствовал особенное уважение к говорившему. Кто кроме джентльмена смел бы сказать это мистеру Стирну?

– А позвольте узнать, кто вы? спросил мистер Стирн нерешительным голосом и собираясь даже прикоснуться к своей шляпе. – Покорно прошу объяснить ваше имя и цель вашего посещения.

– Мое имя Рандаль Лесли, а цель моего посещения была сделать визит семейству вашего барина. Я думаю, что я не ошибся, если принял вас, судя по наружности, за пахаря мистера Гэзельдена.

Говоря таким образом, Рандаль встал, потом, пройдя, несколько шагов, воротился назад и, бросив пол-кроны на дорогу, сказал Ленни:

– На, возьми это за свое увечье и вперед умей говорить с джентльменом. Что касается до тебя, любезный, сказал он, обращаясь к мистеру Стирну, который, с разинутым ртом и без шляпы, стоял в это время, низко кланяясь – то передай мое приветствие мистеру Гэзельдену и скажи ему, что когда

он сделает нам честь посетить вас в Руд-Голле, то я уверен, что прием наших крестьян заставит его постыдиться за гэзельденских.

О, бедный сквайр! Гэзельдену стыдиться Руд-Голля? Если бы это поручение было передано вам, вы не в состоянии бы взглянуть более на свет Божий.

С этими словам, Рандаль вышел на тропинку, которая вела к усадьбе пастора, и оставил Ленни Ферфильда ощупывать свой нос, а мистера Стирна – непрекратившим своих поклонов.

Рандаль Лесли очень долго шел до дому; у него сильно болело все тело от головы до пяток, а душа его, еще более была поражена, чем тело. Если бы Рандаль Лесли остался в саду сквайра и не пошел назад, поддаваясь учению лорда Бэкона, то он провел бы очень приятный вечер и верно был бы отвезен домой в коляске сквайра. Но как он пустился в отвлеченные умствования, то и упал в ров; упавши в ров, выпачкал себе платье; выпачкав платье, отказался от визита; отказавшись от визита отправился к колоде и сел на нее, будучи в шляпе, которая делала его похожим на беглого арестанта; сев на колоду в такой шляпе и с подозрительным выражением на лице, он был вовлечен в ссору и драку с каким-то олухом и теперь плелся домой, браня и себя и других; *ergo* – за сим следует мораль, которая стоит повторения – *ergo*, когда вам случится придти в сад к богатому человеку, то будьте довольны тем, что принадлежит вам, т. е. правом любо-

ваться; поверьте, что вы более будете любоваться, чем сам хозяин.

Если, в простоте своего сердца и по доверчивой неопытности, Ленни Ферфильд думал, что мистер Стирн скажет ему несколько слов в похвалу его мужества и в награду за потерпленные им побои, то он вскоре совершенно ошибся в том. Этот, по истине, верный человек, достойный исполнитель воли Гэзельдена, скорее готов бы был простить отступление от своего приказания, если бы это было сопряжено с некоторою выгодой или способствовало к возвышению кредита, но, напротив, он был неумолим к буквальному, бессознательному и слепому исполнению приказаний, что все, рекомендуя, может быть, с хорошей стороны доверенное лицо, все-таки вовлекает лицо доверяющее в большие затруднения и промахи. И хотя человеку, не совсем еще знакомому с уловками человеческого сердца, в особенности неизведавшему сердца домоправителей и дворецких, и показалось бы очень естественным, что мистер Стирн, стоявший все еще на середине дороги, со шляпой в руке, уязвленный, униженный и раздосадованный словами Рандаля Лесли, сочтет молодого джентльмена главным предметом своего негодования, – но такой промах, как негодование на лицо высшее себя, с трудом мог придти в голову глубокомысленного исполнителя приказаний сквайра. За всем тем, так как гнев, подобно дыму, должен же улететь куда бы то ни было, то мистер Стирн, почувствовавший в это время – как он после

объяснял жене – что у него «всю грудь точно разорвало», обратился, повинувшись природному инстинкту, к предохранительному от взрыва клапану, и пары, которые скопились в его сердце, обратились целым потоком на Ленни Ферфильда. Мистер Стирн с ожесточением надвинул шляпу себе на голову и потом облегчил грудь свою следующей речью:

– Ах, ты, негодяй! ах, ты, дерзкий забияка! В то время, как ты должен бы был быть в церкви, ты вздумал драться с джентльменом, гостем нашего сквайра, на том самом месте, где стоит исправительное учреждение, порученное твоему надзору! Посмотри, ты всю колоду закапал кровью из своего негодного носишка!

Говоря таким образом, и чтобы придать большую выразительность словам, мистер Стирн намеревался дать добавочный удар несчастному носу, но как Ленни инстинктивно поднял руки, чтобы закрыть себе лицо, то разгневанный домоправитель ушиб составы пальцев о большие медные пуговицы, бывшие за рукавах куртки мальчика – обстоятельство, которое еще более усилило негодование мистера Стирна. Ленни же, которого слова эти чувствительно затронули, и который, по ограниченности своего образования, считал подобное обращение несправедливостью, бросив между собою и мистером Стирном большой чурбан, начал произносить следующее оправдание, которое одинаково было не к стати как придумывать, так выражать, потому что в подобном случае оправдываться значило обвинять себя вдвое.

– Я удивляюсь вам, мистер Стирн! если бы матушка вас послушала только! Не вы ли не пустили меня идти в церковь? не вы ли мне приказали. . . .

– Драться с молодым джентльменом, и притом в праздничный день? сказал мистер Стирн, с иронической улыбкою. – Да, да! я приказал тебе, чтобы ты нанес бесчестье имени сквайра, мне и всему приходу и поставил всех нас в замешательство. Но сквайр велел мне показать пример, и я покажу!

При этих словах, с быстротой молнии мелькнула в голове мистера Стерна светлая мысль – посадит Ленни в то самое учреждение, которое он слишком строго караулил. Зачем же далеко искать? пример был у него перед глазами. Теперь он мог насытить свою ненависть к мальчику; здесь, избрав лучшего из приходских парней, он надеялся тем более утратить худших; этим он мог ослабит оскорбление, нанесенное Рандалью Лесли, в этом заключалась бы практическая аполлогия сквайра в приеме, сделанном молодому гостю. Приводя мысль свою в исполнение, мистер Стирн сделал стремительный натиск на свою жертву, схватил мальчика за пояс, через несколько секунд колода отворилась, и Ленни Ферфильд был брошен в нее – печальное зрелище превратностей судьбы. Совершив это, и пока мальчик был слишком удивлен и ошеломлен внезапностью своего несчастья, для того, чтобы быть в состоянии защищаться – кроме немногих «едва слышных произнесенных им слов – мистер Стирн удалился с этого ме-

ста, не забыв, впрочем, поднять и положить к себе в карман пол-крону, назначенную Ленни, и о которой он до тех пор, увлекшись разнородными впечатлениями, почти совсем было забыл. Он отправился по дороге к церкви, с намерением стать у самого крыльца её, выждать, когда сквайр будет выходить, и шепнуть ему о происшедшем и о наказании Ферфильда.

Клянусь честью джентльмена и репутациею автора, что слов моих было бы недостаточно, чтобы описать чувства, испытанные Ленни Ферфилдом, пока он сидел в исправительном учреждении. Он уже забыл о телесной боли; душевное огорчение заглушало в нем физические страдания, – душевное огорчение в той степени, в какой может вместить его грудь ребенка. Первое глубокое сознание несправедливости тяжело. Ленни, может быть, увлекся, но, во всяком случае, он с усердием и правотою исполнил возложенное на него поручение; он твердо стоял за отправление своего долга, он дрался за это, страдал, пролил кровь, – и вот какая награда за все понесенное им! Главное свойство, которое отличало характер Ленни, было понятие о справедливости. Это было господствующее правило его нравственной природы, и это правило нисколько не потеряло еще своей свежести и значения ни от каких поступков притеснения и самоуправства, от которых часто терпят мальчики более высокого происхождения в домашнем быту или в школах. Теперь впервые проникло это железо в его душу, а с ним вместе

другое, побочное чувство – досадное сознание собственно-го бессилия. Он был обижен и не имел средств оправдаться. К этому присоединилось еще новое, если не столь глубокое, но на первый раз все-таки неприятное, горькое чувство стыда. Он, лучший мальчик в целой деревне, образец прилежания и благонравия в школе, предмет гордости матери, – он, которого сквайр, в виду всех сверстников, ласково трепал по плечу, а жена сквайра гладила по голове, хваля его за приобретенное им хорошее о себе мнение, – он, который привык уже понимать удовольствие носить уважаемое имя, теперь вдруг, в одно мгновение ока, сделался посмешищем, предметом позора, обратился для каждого в поговорку. Поток его жизни был отравлен в самом начале. Тут приходила ему в голову и мысль о матери, об ударе, который она испытывает, узнав это происшествие, – она, которая привыкла уже смотреть на него, как на свою опору и защиту: Ленни поник головою, и долго удерживаемые слезы полилась ручьями.

Он начал биться, рваться во все стороны и пытался освободить свои члены, услышав приближение чьих-то шагов; он представил себе, что все крестьяне сойдутся сюда из церкви; он уже видел наперед грустный взгляд пастора, поникшую голову сквайра, худо сдерживаемую усмешку деревенских мальчишек, завидовавших дотоле его незапятнанной славе, которая теперь навсегда, навсегда была потеряна. Он безвозвратно останется мальчиком, который сидел под наказанием. И слова сквайра представлялись его вообра-



жению подобно голосу совести, раздававшемуся в ушах какого-нибудь Макбета:

«Нехорошо, Ленни! я не ожидал, что ты попадешь в такую передрагу.»

«Передрагу» – слово это было ему непонятно; но, верно, оно означало что-нибудь незавидное.

– Именем всех котлов и заслонок, что это тут такое! кричал медник.

В это время мистер Спротт был без своего осла, потому что день был воскресный. Медник надел свое лучшее платье, пригладился и вырядился, собираясь гулять по парку.

Ленни Ферфильд не отвечал за его призыв.

– Ты под арестом, мой жизненочек? Вот уж никак бы не ожидал этого видеть! Но мы все живем для того, чтоб учиться, прибавил медник, в виде сентенции. – Кто же задал тебе этот урок? Да ты умеешь, что ли, говорить-то?

– Ник Стирн.

– Ник Стирн! а за что?

– За то, что-я исполнял его приказания и подрался с мальчиком, который бродил здесь; он прибил меня, да это бы ничего; но мальчик этот был молодой джентльмен, который пришел в гости к сквайру; так Ник Стирн....

Ленни остановился, не имея сил продолжать, от негодования и стыда.

– А! сказал медник с важностью. – Ты подрался с джентльменом. Жаль мне это от тебя слышать. Сиди же и благода-

ри судьбу, что ты так дешево отделался. Нехорошо драться с своими ближними, и леннонский мирный судья, верно, посадил бы тебя на два месяца вертеть жернова вместе с арестантами. За что же ты его ударил, если он только проходил мимо колоды? Ты, верно, забияка, а?

Лопни пробормотал что-то об обязанностях в отношении к сквайру и буквальном исполнении приказаний.

– О, я вижу, Ленни, прервал медник голосом, проникнутым огорчением: – я вижу, что тебя как ни корми, а ты все в лес смотришь. После этого ты нашему брату не компания: не суйся к порядочным людям. Впрочем, ты был хорошим мальчиком, и можешь, если захочешь, опять заслужить милость сквайра. Ах, век не паять котлов, если я могу понять, как ты довел себя до этого. Прощай, дружок! желаю тебе скорее вырваться из засады; да скажи матери-то, как увидишь ее, что медник мол берется починить и печь и лопатку.... слышишь?

Медник пошел прочь. Глаза Ленни последовали за ним с унынием и отчаянием. Медник, подобно всей людской братии, полил шиповник только для того, чтобы усилит его колючки. Праздный, ленивый шатала, он постыдился бы теперь сообщества Ленни.

Голова Ленни низко опустилась на грудь, точно налитая свинцом. Прошло несколько минут, когда несчастный узник заметил присутствие другого свидетеля собственного позора; он не слышал шума, но увидал тень, которая легла на тра-

ве. Он затаил дыхание, не хотел открыть глаза, думая, может быть, что если он сам не видит, то и другие не могут видеть предметы.

– *Per Vacco!* сказал доктор Риккабокка, положив руку, за плечо Ленни и наклонившись, чтобы заглянуть ему в лицо. – *Per Vacco!* мой молодой друг! ты сидишь тут из удовольствия или по необходимости?

Ленни слегка вздрогнул и хотел избежать прикосновении человека, на которого он смотрел до тех пор с некоторого рода суеверным ужасом.

– Того-и-гляди, продолжал Риккабокка, не дождавшись ответа за свой вопрос: – того-и-гляди, что хотя положение твое очень приятно, ты не сам его избрал для себя. Что это? – и при этом ирония в голосе доктора исчезла – что это, бедный мальчик? ты в крови, и слезы, которые текут у тебя по щекам, кажется, непустые, а искренния слезы. Скажи мне, *povero fanciullo mio* – звук итальянского привета, которого значения Ленни не понял, все таки как-то сладостно отдался в ушах мальчика: – скажи мне, дитя мое, как все это случилось? Может быть, я помогу тебе, мы все заблуждаемся, значит все должны помогать друг другу.

Сердце Ленни, которое до тех пор казалось закованным в железо, отозвалось на ласковый говор итальянца, и слезы потекли у него из глаз; но он отер их и отвечал отрывисто:

– Я не сделал ничего дурного; я только ошибся, и это-то меня и убивает теперь!

– Ты не сделал ничего дурного? В таком случае, сказал философ, с важностью вынув из кармана свой носовой платок и расстилая его за земле: – в таком случае я могу сесть возле тебя. О проступке я мог только сожалеть, но несчастье ставит тебя в уровень со мною.

Ленни Ферфильд не понял хорошенько этих слов, но общий смысл их был слишком очевиден, и мальчик бросил взгляд благодарности на итальянца.

Риккабокка продолжал, устроив себе сиденье:

– Я имею некоторое право на твою доверенность, дитя мое, потому что и я когда-то испытал много горя; между тем я могу сказать вместе с тобой: «я никому не сделал зла». *Cospetto* – тут доктор покойно расположился, опершись одною рукою на боковой столбик колоды и дружески касаясь плеча пленника, между тем как взоры его обегали прелестный ландшафт, бывший у него в виду: – моя темница, если бы только им удалось посадить меня, не отличалась бы таким прекрасным видом. Впрочем, это все равно: нет неприятной любви точно так же, как и привлекательной темницы.

Произнеся это изречение, сказанное, впрочем, по итальянски, Риккабокка снова обратился к Ленни и продолжал свои убеждения, желая вызвать мальчика на откровенность. Друг во время беды – настоящий друг, кем бы он ни казался. Все прежнее отвращение Ленни к чужеземцу пропало, и он, рассказал ему свою маленькую историю.

Доктор Риккабокка был слишком сметлив, чтобы не по-

нять причины, побудившей мистера Стирна арестовать своего агента. Он принялся за утешение с философским спокойствием и нежным участием. Он начал напоминать, или, скорее, толковать Ленни о всех пришедших ему в то время на память обстоятельствах, при которых великие люди страдали от несправедливости других. Он рассказал ему, как великий Эпиктет достался такому господину, которого любимое удовольствие было щипать ему ногу, так что эта забава, кончившаяся отнятием ноги, была несравненно хуже колоды. Много и других обстоятельств, более или менее относящихся к настоящему случаю, – привел доктор, почерпая их из разных отделов истории. Но, поняв, что Ленни, по видимому, нисколько не утешался этими блестящими примерами, он переменял тактику и, подведя ее под *argumentum ad rem*, принялся доказывать: первое, что настоящее положение Ленни не было вовсе постыдно, потому что всякий благомыслящий человек мог узнать в этом жестокость Стирна и невинность его жертвы; второе, что если сам он, доктор, может быть, ошибся с первого взгляда, то это значит, что повторенное мнение не всегда справедливо; ли и что такое наконец постороннее мнение? – часто дым – пуф! вскричал доктор Риккабокка: – вещь без содержания, без длины, ширины или другого измерения, тень, призрак, нами самими созданный. Собственная совесть есть лучший судья для человека, и он так же должен мало бояться мнения всех без разбора, как какого нибудь привидения, когда ему дове-

дется проходить кладбищем ночью.

Но так как Ленни боялся в самом деле проходить ночью кладбищем, то уподобление это уничтожило самый аргумент, и мальчик печально опустил голову. Доктор Риккабокка собирался уже начать третий ряд рассуждений, которые, еслибы ему удалось довести их до конца, без сомнения, вполне объяснили бы предмет и помирили бы Ленни с настоящим положением, но пленник, прислушивавшийся все это время чутким ухом, узнал, что церковная служба кончилась, и тотчас вообразил, что все прихожане толпою сойдутся сюда. Он уже видел между деревьями шляпы и, чепцы, которых Риккабокка не примечал, несмотря на отличные качества своих очков, слышал какой-то мнимый говор и шепот, которого Риккабокка не мог открыть, несмотря на его теоретическую опытность в стратагемах и изменах, которые должны были изошрить слух итальянца. Наконец, с новым напрасным усилием, узник вскричал:

– О, если бы я мог уйти прежде, чем они соберутся. Выпустите меня, выпустите меня! О, добрый сэр, выпустите меня!

– Странно, сказал философ, с некоторым изумлением; – странно, что мне самому не пришло это в голову. Если не ошибаюсь, тут задели за шляпку правого гвоздя.

Потом, смотря вблизи, доктор увидал, что хотя деревянные брус и входил в другую железную скобку, которая сопротивлялась до сих пор усилиям Ленни, но все-таки скобка эта не была заперта, потому что ключ и замок лежали в ка-

бинете сквайра, вовсе неожиданного, чтобы наказание пало на Ленни без предварительного ему о том заявления. Лишь только доктор Риккабокка сделал это открытие, как убедился, что никакая мудрость какой бы то ни было школы не в состоянии приохотить взрослого человека или мальчика к дурному положению, с той минуты, как есть в виду возможность избавиться беды. Согласно этому рассуждению, он отворил запор, и Ленни Ферфильд выскочил на свободу, как птица из клетки, остановился на несколько времени от радости, или чтобы перевести дыхание, и потом, как заяц, без оглядки бросился бежать к дому матери. Доктор Риккабокка вложил скрипевший брус на прежнее место, поднял с земли носовой платок и спрятал его в карман, и потом с некоторым любопытством стал рассматривать это исправительное орудие, наделавшее столько хлопот освобожденному Ленни.

– Странное существо человек! произнес мудрец, рассуждая сам с собою: – чего он тут боится? Все это не больше, как несколько досок, бревен; в отверстия эти очень ловко класть ноги, чтобы не загрязнить их в сырое время; наконец эта зеленая скамья под сению вяза – что может быть приятнее такого положения?

И доктор Риккабокка почувствовал непреодолимое желание испытать на самом деле свойство этого ареста.

– Ведь я только попробую! говорил он сам с собой, стараясь оправдаться перед восстающим против этого чувством своего достоинства. – Пока никого здесь нет, я успею сделать

ЭТОТ ОПЫТ.

И он снова приподнял деревянный брусок; но колода устроена была по всем правилам архитектуры и не так-то легко позволяла человеку подвергнуться незаслуженному наказанию: без посторонней помощи попасть в нее было почти невозможно. Как бы то ни было, препятствия, как мы уже заметили, только сильнее подстрекали Риккабокка к выполнению задуманного плана. Он посмотрел вокруг себя и увидел вблизи под деревом засохшую палку. Подложив этот обломок под роковой брусок колоды, точь-в-точь, как ребятишки подкладывают палочку под решето, когда занимаются ловлей воробьев, доктор Риккабокка преважно расселся на скамейку и просунул ноги в круглые отверстия.

– Особенного я ничего не замечаю в этом! вскричал он торжественно, после минутного размышления. – Не так бывает страшна действительность, как мы воображаем. Делать ошибочные умозаключения – обыкновенный удел смертных!

Вместе с этим размышлением он хотел было освободить свои ноги от этого добровольного заточения, как вдруг старая палка хрупнула и брус колоды опустился в зацепку. Доктор Риккабокка попал совершенно в западню. «*Facilis descensus – sed revocare gradum!*» Правда, руки его находились за свободой, но его ноги были так длинны, что при этом положении они не давали рукам никакой возможности дей-



ствовать свободно. Притом же Риккабокка не мог похвастаться гибкостью своего телосложения, а составные части дерева сцепились с такой силой, какую обладают вообще все только что выкрашенные вещи, так что, после нескольких тщетных кривляний и усилий освободиться жертва собственного безразсудного опыта вполне поручила себя своей судьбе. Доктор Риккабокка был из числа тех людей, которые ничего не делают вполнину. Когда я говорю, что он поручил себя судьбе, то поручил со всем хладнокровием и покорностью философа. Положение далеко не оказывалось так приятно, как он предполагал теоретически; но, несмотря на то, Риккабокка употребил все возможные усилия, чтобы доставить сколько можно более удобства своему положению. И, во первых, пользуясь свободой своих рук, он вынул из кармана трубку, трутницу и табачный кисет. После нескольких затяжек он примирился бы совершенно с своим положением, еслиб не помешало тому открытие, что солнце, постепенно переменяя место на небе, не скрывалось уже более от лица доктора за густым, широко распустившим свои ветви вязом. Доктор снова осмотрелся кругом и заметил, что его красный шолковый зонтик, который он положил за траву, в то время, как сидел подле Ленни, лежал в пределах свободного действия его рук. Овладев этим сокровищем, он не замедлил распустить его благодетельные складки. И таким образом, вдвойне укрепленный, снаружи и внутри колоды, под тенью зонтика и с трубкой в зубах, доктор Риккабокка даже с неко-

торым удовольствием сосредоточил взоры на своих заточенных ногах.

– Кто может пренебрегать всем, говорил он, повторяя одну из пословиц своего отечества: – тот обладает всем. Кто при бедности своей не жаждет богатства, тот богат. Эта скамейка так же удобна и мягка, как диван. Я думаю, продолжал он рассуждать сам с собою, после непродолжительной паузы: – я думаю, что в пословице, которую я сказал этому *fanciullo* скорее заключается более остроумия, чем сильного и философического значения. Разве не доказано было, что в жизни человеческой неудачи необходимее удачи: первые научают нас быть осторожными, изощряют в человеке предусмотрительность; последние часто лишают нас возможности вполне оценивать всю прелесть мирной и счастливой жизни. И притом же разве настоящее положение мое, которое я навлек на себя добровольно, из одного желания испытать его, – разве не не есть верный отпечаток всей моей жизни? Разве я в первый раз попадаю в затруднительное положение? А если это затруднение есть следствие моей непредусмотрительности, или, лучше сказать, оно избрано мною самим, то к чему же мне роптать на свою судьбу?

При этом в душе Риккабокка одна мысль сменяла другую так быстро и уносила его так далеко от времени и места, что он вовсе позабыл о том, что находился под деревенским арестом, или по крайней мере думал об этом столько, сколько думает скряга о том, что богатство есть тленность,

или философ – о том, что мудрствование есть признак тщеславия. Короче сказать, Риккабокка парил в это время в мире фантазий.

# Часть третья

## Глава XIX

Поучение, произнесенное мистером Дэлем, произвело благодетельное действие на его слушателей. Когда кончилась церковная служба и прихожане встали со скамеек, но еще не трогались с мест, чтобы выпустить из храма мистера Гэзельдена первым (это обыкновение исстари велось в Гэзельденской вотчине), влажные от слез глаза сквайра выражали, на его загоревшем, мужественном лице, ту кротость и душевную доброту, которая так живо напоминала о многих его великодушных поступках и живом сострадании к несчастьям ближнего. рассудок и сердце часто живут в большом несогласии: так точно и мистер Гэзельден мог иногда погрешать своим умом, но сердце его постоянно было доброе. В свою очередь, и мистрисс Гэзельден, опираясь на руку его, разделяла с ним это отрадное чувство. Правда, от времени до времени она выражала свое неудовольствие, когда замечала, что некоторые дома поселян не отличались той чистотой и опрятностью, какая бы, по её мнению, должна составлять их всегдашнюю принадлежность, — правда и то, что она не была так популярна между поселянками, как сквайр был популярен; если мужья часто убегали в пивную лавку, то она

всегда слагала эту вину на жон и говорила: «ни один муж не решился бы искать для себя развлечения за дверьми своего дома, еслиб постоянно видел в этом доме улыбающееся лицо своей жены и светлый, чистый очаг», – тогда как сквайр придерживался такого в своем роде замечательного мнения, что «если Джилль и ворчит частенько на Джэка, то это потому собственно, что Джэк, как следует ласковому, доброму мужу, не закрывает ей уста поцалуем!» Все же, несмотря на все эти мнения с её стороны, несмотря на страх, внушаемый поселянам её шолковым платьем и прекрасным орлиным носом, невозможно было, особливо теперь, когда сердца всех прихожан, после назидательного поучения пастора, сделались мягки как воск, – невозможно было, при взгляде на доброе, прекрасное, светлое лицо мистрисс Гэзельден, не вспомнить, с усладительным чувством, о горячих питательных супах и желе во время недуга, о теплой одежде в зимнюю пору, о ласковых словах и личных посещениях в несчастьи, об удачных выдумках перед сквайром в защиту медленно подвигающихся вперед улучшений в полях и садах, и о легкой работе, доставляемой престарелым дедам, которые все еще любили приобрести своими трудами лишнюю пенни. Не был лишен надлежащей части безмолвного благословения и Франк, в то время, как он шел позади своих родителей, в накрахмаленном, белом как снег галстухе и с выражением в его светлых голубых глазах дурно скрывааемых замыслов на ребяческие шалости, которое никак не согласо-

лось с принятой им на себя величественной миной. Конечно, это делалось не потому, чтобы он заслуживал того, но потому, что мы все привыкли возлагать на юношей большие надежды, которым должно осуществиться в будущем. Что касается до мисс Джемимы, то её слабости возникли, вероятно, вследствие её чересчур мягкой, свойственной женскому полу, чувствительности, её гибкой, так сказать, плюще-подобной неясности; её милый характер, которым она одарена была природой, до такой степени был чужд самолюбия, что часто, очень часто помогала она деревенским девушкам находить мужей, сделав им приданое из своего собственного кошелька, хотя к каждому приготовленному таким образом приданому она считала долгом присовокупить замечание следующего рода, что «молодой супруг в скором времени окажется таким же неблагодарным, как и все другие из его пола, но что при этом утешительно вспомнить о неизбежной и близкой кончине всего мира.» Мисс Джемима имела самых горячих приверженцев, особливо между молодыми, между тем как тонкий и высокий капитан, на руке которого покоился указательный пальчик мисс Джемимы, считался в глазах поселян ни более, ни менее, как учтивым джентльменом, который не делал никому вреда, и который, без всякого сомнения, сделал бы очень много добра, еслиб принадлежал приходу. Даже лакей, замыкавший фамильное шествие, и тот имел надлежащую часть этого согласия в приходе. Мало было таких, которым бы он не протягивал руки для дружеского

пожатия; притом же он родился и вырос в доме Гэзельдена, как и две-трети всей челяди сквайра, которая, вслед за его выходом, тронулась с своей огромной скамейки, устроенной на самом видном месте под галлереей.

Заметно было, что и сквайр с своей стороны был также растроган. Вместо того, чтоб идти прямо и, как следует джентльмену, делать, с приветливой улыбкой, учтивые поклоны, он склонил немного голову, и щеки его покрылись легким румянцем стыдливости; и в то время, как он приподнимал свою голову и с некоторой робостью поглядывал на обе стороны, его взор встречался с дружелюбными взорами поселян, в которых выражалось столько трогательно-го и вместе с тем искреннего чувства, что сквайр, по видимому, взорами своими высказывал народу: «благодарю вас от всего сердца за ваше расположение.» Это выражение взоров сквайра так быстро и сильно отзывалось в душе каждого из поселян, что мне кажется, еслиб сцена эта происходила за дверьми церкви, то шествие сквайра сопровождалось бы до самого дома громкими и радостными восклицаниями.

Едва только мистер Гэзельден вышел за церковную ограду, как его встретил мистер Стирн и что-то на ухо начал шептать ему. Во время этого шепота лицо сквайра становилось длиннее и цвет в нем переменился. Поселяне, толпой выходившие теперь из церкви, менялись друг с другом робкими взглядами. Эта зловещая встреча и таинственный разговор сквайра с его управляющим в одну минуту уничтожи-

ли все благодетельное действие поучительного слова пастора. Сквайр с гневом ударил в землю своей тростью.

– В тысячу раз было бы лучше, еслиб ты сказал мне, что у моей любимой лошади открылся сап! воскликнул он в полголоса, но с сильным негодованием. – Прибить в Гэзельдене и оскорбить молодого джентльмена, который приехал навестить моего сына! да где это видано?! Знаете ли, сэр, что этот молодой джентльмен мой родственник? знаете ли, что его бабушка носила фамилию Гэзельденов? Да! Джемима совершенно справедлива: теперь я верю, верю, что скоро будет света преставление! Ты сказал, что Ленни Ферфильд в колоде! Но что скажет на это мистер Дэль? и еще после такой удивительной речи! Что скажет добрая вдова? ты забыл; что бедный Марк умер почти на моих руках! Нет, Стирн, у тебя каменное сердце! Ты просто закоснелый, бездушный злодей!.. И кто дал тебе право сажать в колоду ребенка, или кого бы то ни было, без всякого суда, приговора или без письменного на это приказания? Пошел, клеветник, сию минуту освободи мальчика, пока никто еще не видел его; беги бегом, или я тебе....

Трость сквайра поднялась на воздух при последнем слове, и в глазах его засверкал огонь. Мистер Стирн хотя и не бежал бегом, но шел весьма быстро. Сквайр сделал несколько шагов назад и снова взял под руку свою жену.

– Сделай милость, сказал он:– займи на несколько минут мистера Дэля, а я между тем поговорю с поселянами.



Мне нужно, непременно нужно удержать их на месте.... но каким образом? решительно не знаю!

Эти слова долетели до Франка, и он не замедлил явиться с советом.

– Дайте им пива, сэр.

– Пива! в воскресенье! Стыдись, Франк! вскричала мистрисс Гэзельден.

– Замолчи, Гэрри! ты ничего не знаешь. – Спасибо тебе, Франк, сказал сквайр, и лицо его сделалось так ясно, как было ясно голубое небо.

Не думаю, право, чтоб сам Риккабокка вывел его так легко из столь затруднительного положения, как вывел неопытный Франк.

– Эй, ребята, постойте, подождите немного.... Мистрисс Ферфильд! неужели вы не слышите? подождите немного. Для такого радостного дня я хочу, чтобы вы повеселились немного. Отправляйтесь-ка в Большой Дом и выпейте там за здоровье мистера Дэля. Франк, поди вместе с ними и вели Спрюсу почать одну из бочек, назначенных для косарей! А ты, Гэрри (это было сказано шепотом), пожалуйста, не пропусти мистера Дэля и скажи ему, чтобы он немедленно пришел ко мне.

– Что случилось такое, мой добрый Гэзельден? ты, кажется, с ума сошел.

– Пожалуйста, не рассуждай! делай, что я приказываю.

– Но где же найдет тебя мистер Дэль?

– Вы меня бесите, мистрисс Гэзельден! где же больше, как не у приходского исправительного учреждения!

Выведенный из глубокой задумчивости звуком приближающихся шагов, доктор Риккабокка все еще так мало обращал внимания на свое невыгодное и, в некоторой степени, унижительное для его достоинства положение, что с особенным удовольствием и со всею язвительностью своего врожденного юмора восхищался страхом Стирна, когда он увидел необыкновенную замену, какую только могли придумать для Ленни Ферфильда судьба и философия. Вместо рыдающего, униженного, уничтоженного пленника, которого Стирн так неохотно спешил освободить, он, в безмолвном страхе, выпучил глаза на смешную, но спокойную фигуру доктора, который, под тению красного зонтика, покуривал трубку и наслаждался прохладой с таким хладнокровием, в котором обнаруживалось что-то страшное. И в самом деле, принимая в соображение подозрение со стороны Стирна в том, что нелюдим итальянец участвовал в ночном повреждении колоды, принимая в расчет народную молву о занятиях этого человека чернокнижием, и необъяснимый, неслыханный, непостижимый фокус-покус, по которому Ленни, заточенный самим мистером Стирном, преобразился в доктора, – наконец прибавив ко всему этому необыкновенно странную, поразительную физиономию Риккабокка, несколько не покажется удивительным, что мистер Стирн в душе был поражен суеверным страхом. На его первые,

сбивчивые и несвязные восклицания и отрывистые вопросы Риккабокка отвечал таким трагическим взглядом, такими зловещими киваниями головы, такими таинственными, двусмысленными, длиннословными сентенциями, что Стирн с каждой минутой более и более убеждался в том, что маленький Ленни продал свою душу сатане, и что сам он стоял теперь лицом к лицу с выходцем из преисподней.

Не успел еще мистер Стирн образумиться, что, впрочем, надобно отдать ему справедливость, делалось у него необыкновенно быстро, как на помощь к нему явился сквайр, а за сквайром, не вдалеке, следовал и мистер Дэль. Слова мистрисс Гэзельден о поспешнейшем прибытии к сквайру мистера Дэля, её встревоженный вид и ни с чем несообразное угощение поселян придали спокойной и медленной походке мистера Дэля необыкновенную быстроту: как на крыльях летел он за сквайром. И в то время, как сквайр, разделяя вполне изумление Стирна, увидел высунутые в отверстия колоды пару ног, и спокойное важное лицо доктора Риккабокка, и не решаясь еще поверить органу зрения, что тут действительно Риккабокка, – в это время, говорю я, мистер Дэль схватил сквайра за руку и, едва переводя дух, восклицал, с горячностью, которой до этого никто и никогда не замечал в нем, исключая разве за ломберным столом:

– Мистер Гэзельден! мистер Гэзельден! вы делаете из меня посмешище, вы уничтожаете меня!.. Я могу переносить от вас многое, сэр, – и переносу, потому что должен переносить

силь, — но позволить моим прихожанам тянуть эль за мое здоровье, когда только что вышли из церкви, это ни с чем несообразно, это жестоко с вашей стороны. Мне стыдно за вас, стыдно за весь приход! Помилуйте! скажите, что случилось со всеми вами?

— Вот этот-то вопрос мне и самому хотелось бы разрешить, не произнес, но простонал сквайр, весьма тихо и вместе с тем патетично. — Что случилось со всеми нами? спросите Стирна. (В эту минуту гнев снова запылал в нем.) Отвечай, Стирн! разве ты не слышишь? говори, что случилось со всеми нами?

— Ничего не знаю, сэр, отвечал Стирн, совершенно потерянный: — вы видите, сэр, что там сидит итальянец. Больше ничего не знаю. Я исполняю свой долг; по ведь и я слабый смертный....

— Ты плут! закричал сквайр. — Говори, где Ленни Ферфильд?

— *Ему* это лучше известно, отвечал Стирн, механически отступая, ради безопасности, за мистера Дэля и указывая на Риккабокка.

До этой поры, хотя как сквайр, так и мистер Дэль и узнавали лицо итальянца, но не могли допустить той мысли, что он сам действительно, сидел на скамейке колоды. Им никогда и в голову не приходило, чтобы такой почтенный и достойный во всех отношениях человек мог когданибудь, волей или неволей, сделаться временным обитателем приходского

исправительного учреждения. Они не смели допустить этой мысли даже и тогда, когда оба собственными своими глазами видели, как я уже сказал, прямо, у себя перед носом, огромную пару ног и голову Риккабокка.

Вид этих ног и головы, без туловища Ленни Ферфильда, служил только к тому, чтоб еще более привести сквайра в замешательство и поставить его в весьма затруднительное положение. Эти ноги и голова казались ему оптическим обманом, призраками расстроенного воображения; но теперь сквайр, вцепившись в Стирна (а мистер Дэль схватился между тем за сквайра), прерывающимся от сильного душевного волнения голосом произнес:

– Чтожь это значит, в самом деле?... Помилуйте! да он чисто на чисто сошел с ума! он принял доктора Риккабокка за маленького Ленни!

– Быть может, сказал Риккабокка, с ласковой улыбкой нарушая молчание и, в знак выражения любезности, стараясь наклонить свою голову, на сколько позволяло его погожепие: – быть может, джентльмены; но, если только для вас это все равно, прежде чем вы приступите к объяснениям, помогите мне освободиться.

Мистер Дэль, несмотря на замешательство и гнев, приблизясь к своему ученому другу, и нагнувшись, чтоб освободить его ноги, не мог скрыть своей улыбки.

– Ради Бога, сэр, что вы делаете! вскричал Стирн: – пожалуйста, не троньте его: он только того и хочет, чтоб заце-

пить вас в свои когти. О, я не подошел бы к нему так близко ни за что....

Эти слова были прерваны самим Риккабокка, который, благодаря участием мистера Дэля, выпрямился теперь во весь рост, половиной головы выше роста самого сквайра, подошел к мистеру Стирну и сделал перед ним грациозное движение рукой. Мистер Стирн опрометью бросился к ближайшему забору и скрылся за густым кустарником.

– Я догадываюсь, мистер Стирн, за кого вы считаете меня, сказал итальянец, приподнимая шляпу, с обычной характеристической учтивостью. – Признаюсь откровенно, вы выводите меня из себя.

– Но скажите на милость, каким образом попали вы в мою новую колоду? спросил сквайр, поправляя свои волосы.

– Очень просто, мой добрый сэр. – Вы знаете, что Плиний Старший попал в кратер горы Этны.

– Неужели? да зачем же это?

– Полагаю, затем, чтоб узнать на опыте, что такое кратер, отвечал Риккабокка.

Сквайр разразился хохотом.

– Значит и вы попали в колоду, чтоб узнать её действия на опыте. – Теперь я несколько не удивляюсь тому: не правда ли, что прекрасная колода? продолжал сквайр, бросая умильный взгляд на предмет своей похвалы. – В такой колоде хоть кому так не стыдно показаться.

– Не лучше ли нам уйти отсюда подальше? сказал мистер

Дэль, довольно сухо: – это ведь сию минуту соберется сюда целая деревня и будет смотреть на нас с таким же точно изумлением, с каким мы за минуту смотрели на нашего доктора. Но что случилось с моим Ленни Ферфильдом? Я решительно не могу понять, что такое случилось здесь. Конечно, вы не скажете, что добрый Ленни, которого, мимоходом заметить, не было и в церкви сегодня, провинился в чем-нибудь и навлек на себя наказание?

– Да, что-то похоже на это, возразил сквайр. – Стирн! послушай, Стирн!

Но Стирн пробрался сквозь чащу кустарников и скрылся из виду. Таким образом, предоставленный собственным своим повествовательным способностям, мистер Гэзельден рассказал все, что сообщил ему его управляющий: он рассказал о нападении на Рандаля Лесли и необдуманном наказании, учиненном мистером Стирном, выразил собственное свое негодование за нанесенное оскорбление его молодому родственнику, и великодушное желание избавить Ленни от дальнейшего унижения со стороны целого прихода.

Мистер Дэль, видевший теперь в опрометчивом поступке сквайра касательно раздачи пива поселянам весьма извинительную причину, взял сквайра за руку.

– Мистер Гэзельден, простите меня, сказал он, с видом раскаяния: – мне должно бы с разу догадаться, что отступление от правил благоприличия сделано было вами под влиянием вспыльчивости вашего нрава. Но все же это слыш-

ком неприятная история: Ленни дерется в воскресенье. Это так несообразно с его характером. . . . Право, я решительно не знаю, как принимать все это.

– Сообразно или несообразно, я этого не знаю, отвечал сквайр: – знаю только, что молодому Лесли нанесено самое грубое оскорбление; и оно тем худший принимает вид, что я и Одлей не можем называться лучшими друзьями в мире. Не могу объяснить себе, продолжал мистер Гэзельден, задумчиво:– но кажется, что между мной и этим моим полу-братом должна существовать всегдашняя борьба. Было время, когда меня, сына его родной матери, чуть-чуть не убили на повал: стоило только пуле вместо плеча попасть в легкия; теперь родственник его жены, и мой тоже родственник – его бабушка носила нашу фамилию – трудолюбивый, прилежный, начитанный юноша, как говорили мне, едва только ступил ногой в самую мирную вотчину из Трех Соединенных Королевств, как на него с остервенением нападает мальчик самый кроткий, какого когда либо видели. – Да! торжественно воскликнул сквайр: – это хоть кого поставит в тупик.

– Сказания древних сообщают нам подобные примеры в некоторых семействах, заметил Риккабокка:– например, в семействе Пелопса и сыновей Эдипа – Полиника и Этеокла.

– Вон еще что вздумали! возразил мистер Дэль: – скажите лучше, что вы намерены делать теперь?

– Что делать? сказал сквайр: – я думаю, прежде всего



должно сделать удовлетворение молодому Лесли. И хотя мне хочется избавить Лении Ферфильда, этого забияку, от публичного наказания, и избавить собственно для вас, мистер Дэль, и для мистрисс Фэрфильд, но наказать его тайком...

– Остановитесь, сэр! прервал Риккабокка кротким тоном:– и выслушайте меня.

И итальянец, с чувством и особенным тактом, начал говорить в защиту своего бедного *protégé*. Он объяснил, каким образом заблуждение Ленни произошло собственно от ревностного, но ошибочного желания оказать услугу сквайру, и произошло вследствие приказаний, полученных от мистера Стирна.

– Это обстоятельство изменяет сущность всего дела, сказал сквайр, совершенно успокоенный словами Риккабокка. – Теперь остается только представить моему родственнику надлежащее извинение.

– Именно так! это весьма справедливо, заметил мистер Дэль: – но я все еще не постигаю, каким образом Ленни выпутался из колоды.

Риккабокка снова начал объяснения, и, признавая себя главным участником в освобождении Ленни, он изобразил трогательную картину стыда и отчаяния бедного мальчика.

– Пойдемте против Филиппа! вскричали афиняне, выслушав речь Демосфена...

– Сию же минуту пойдемте и успокоимте ребенка! вскричал мистер Дэль, не дав Риккабокка окончить своих слов.

С этим благим намерением все трое ускорили шаги и вскоре явились у дверей коттеджа вдовы. Но Ленни еще издали заметил их приближение и, нисколько не сомневаясь, что, несмотря на защиту Риккабокка, мистер Дэль шел с тем, чтобы журить его, а сквайр – чтобы снова посадить под наказание, бросился из дому в задняя двери, домчался до лесу и скрывался в кустах до наступления вечера.

Уже стало темнеть, когда его мать, которая в течение всего дня сидела в глубоком отчаянии в своей комнатке, и тщетно стараясь ловить слова мистера и мистрисс Дэль, которые, сделав распоряжение о поимке беглеца, пришли утешать горящую мать, – стало темнеть, когда мистрисс Ферфильд услышала робкий стук в заднюю дверь своей хижины и шорох около замка. Она быстро встала с места и отворила дверь. Ленни бросился в её объятия и, скрыв лицо свое на её груди, горько заплакал.

– Перестань, мой милый, сказал мистер Дэль нежным голосом: – тебе нечего бояться: все объяснилось, и ты прощен.

Ленни приподнял голову; вены на лбу его сильно надулись.

– Сэр, сказал он, весьма смело: – я не нуждаюсь в прощении: я ничего не сделал дурного. Но... меня опозорили... я не хочу ходить больше в школу... не хочу!

– Замолчи, Кэрри! сказал мистер Дэль, обращаясь к жене своей, которая, с обычною пылкостью своего нрава, хотела сделать какое-то возражение. – Спокойной ночи, мистрисс

Ферфильд! Я завтра зайду поговорить с тобой, Ленни; надеюсь, что к тому времени ты совсем иначе будешь думать об этом.

На обратном пути к дому, мистер Дэль зашел в Гэзельден-Голл – донести о благополучном возвращении Ленни. Необходимость требовала сделать это: сквайр сильно беспокоился о мальчике и лично участвовал в поисках его.

– И слава Богу, сказал сквайр, как только услышал о возвращении Ленни:– первым делом завтра поутру пусть он отправится в Руд-Голл и выпросит прошение мистера Лесли: тогда все пойдет снова своим чередом.

– Этаким забияка! вскричал Франк, и щеки его побагровели:– как он смел ударить джентльмена и в добавок еще воспитанника Итонской школы, который явился сюда сделать *мне* визит! Удивляюсь, право, как Рандаль отпустил его так легко от себя.

– Франк, сказал мистер Дэль сурово: – вы забываетесь. Кто дал вам право говорить подобным образом перед лицом ваших родителей и вашего пастора?

Вместе с этим он отвернулся от Франка, который прикусил себе губы и покраснел еще более, – но уже не от злости, а от стыда. Даже мистрисс Гэзельден не решилась сказать слова в его оправдание. Справедливый упрек, произнесенный мистером Дэлем, суровым тоном, смирял гордость Гэзельденов. Уловив пытливый взгляд доктора Риккабокка, мистер Дэль отвел философа в сторону и шепотом сообщил

ему свои опасения касательно того, как трудно будет убедить Денни Ферфильда на мировую с Рандаем Лесли, и что Лени не так легко забыл о своем положении в колоде, как это сделал мудрец, вооруженный своей философией. Это совещание было внезапно прервано прямым намеком мисс Джемимы на близкое и неизбежное падение мира.

– Сударыня, сказал Риккабокка (к которому направлен был этот намек), весьма неохотно удаляясь от пастора, чтоб взглянуть на несколько слов какого-то периодического издания, трактующих об этом предмете: – сударыня, позвольте заметить, вам весьма трудно убедить человека в том, что мир приближается к концу, тогда как, при разговоре с вами, в душе этого же самого человека пробуждается весьма естественное желание забыть о существовании всего мира.

Мисс Джемима вспыхнула. Само собою разумеется, что этот бездушный, исполненный лести комплимент должен был бы усилить её нерасположение к мужскому полу; но – таково уж человеческое сердце! – он, напротив, примирил Джемиму с мужчинами.

– Он непременно хочет сделать мне предложение, произнесла про себя мисс Джемима, с глубоким вздохом.

– Джакомо, сказал Риккабокка, надев ночной колпак и величественно поднимаясь на огромную постель: – мне кажется, теперь мы завербуем того мальчика для нашего сада.

Таким образом все садились на своего любимого конька и быстро мчались в вихре гэзельденской жизни, не заслоняя

друг другу дороги.

## Глава XX

Как далеко ни простирались виды мисс Джемимы Гэзельден на доктора Риккабокка, но не привели ее еще к желаемой цели, – между тем как макиавеллевская проницательность, с которой итальянец рассчитывал на приобретение услуг Ленни Ферфильда, весьма быстро и торжественно увенчалась полным успехом. Никакое красноречие мистера Дэля, действительное во всякое другое время, не могло убедить деревенского мальчика ехать к Руд-Голл и просит извинения у молодого джентльмена, которому он, за то только, что исполнял свой долг, обязан был сильным поражением и позорным наказанием. Притом же и вдова, к величайшей досаде мистрисс Дэль, всеми силами старалась защищать сторону мальчика. Она чувствовала себя глубоко оскорбленную несправедливым наказанием Ленни и потому вполне разделяла его гордость и открыто поощряла его сопротивление. Немалого труда стоило также убедить Ленни снова продолжать посещения приходской школы; он не хотел даже выходить за пределы наемных владений своей матери. После долгих увещаний он решился наконец ходить по-прежнему в школу, и мистер Дэль считал благоразумным отложить до некоторого времени дальнейшие неприятные требования. Но, к несчастью, опасения Ленни насчет насмешек и злословия, ожидавших его в деревне Гэзельден, весь-

ма скоро осуществились. Хотя Стирн и скрывал сначала все подробности неприятного приключения с Ленни, но странствующий медник разболтал, как было дело, по всему околотку. После же поисков, назначенных для Ленни в роковое воскресенье, все попытки скрыть происшествие оказались тщетными. Тогда Стирн, уже несколько не стесняясь, рассказал свою историю, а странствующий медник – свою; и оба эти рассказа оказались крайне неблагоприятными для Ленни Ферфильда. Как образцовый мальчик, он нарушил священное спокойствие воскресного дня, завязал драку с молодым джентльменом и был побит; как деревенский мальчик, он действовал заодно со Стирном, исполнял должность лазутчика и делал доносы на равных себе: следовательно, Ленни Ферфильд в обоих качествах, как мальчика, потерявшего право на звание образцового, и как лазутчика, не мог ожидать пощады; его осмеивали за одно и презирали за другое.

Правда, что в присутствии наставника и под наблюдательным оком мистера Дэля никто не смел открыто излить на Ленни чувство своего негодования; но едва только устранялись эти препоны, как в ту же минуту начиналось всеобщее гонение.

Некоторые указывали на Ленни пальцами или делали ему гримасы, другие бранили его, и вообще все избегали его общества. Когда случалось ему, при наступлении сумерек, проходить по деревне, почти за каждым забором раздавались ему вслед громкие ребяческие крики: «кто был сторожем

приходской колоды? бя!» «кто служил лазутчиком для Ника Стирна? бя!» Спротивляться этим задиркам было бы напрасной попыткой даже для более умной головы и более холодного темперамента, чем у нашего бедного образцового мальчика. Ленни Ферфильд решился раз и навсегда избавиться от этого, – его мать одобряла эту решимость; и, спустя два-три дня после возвращения доктора Риккабокка из Гэзельден-Голла в казино, Ленни Ферфильд, с небольшим узелком в руке, явился на террасу.

– Сделайте одолжение, сэр, сказал он доктору; который сидел, поджав ноги, на террасе, с распушенным над головой красным шелковым зонтиком: – сделайте одолжение, сэр, если вы будете так добры, то примите меня теперь; дайте мне уголок, где бы мог я спать. Я буду работать для вашей чести день и ночь, а что касается до жалованья, то матушка моя сказала, сэр, что это как вам будет угодно.

– Дитя мое, сказал Риккабокка, взяв Ленни за руку и бросив на него пронизательный взгляд: – я знал, что ты придешь, – и Джакомо уже все приготовил для тебя! Что касается до жалованья, то мы не замедлим переговорить о нем.

Таким образом Ленни пристроился к месту, и его мать несколько вечеров сряду смотрела на пустой стул, где Ленни так долго сидел, занимая место её любезного Марка; и самый стул, обреченный стоять в комнате без употребления, казался теперь таким неуклюжим, необещающим комфорта и одиноким, что бедная вдова не могла долее смотреть на него.



Неудовольствие поселян обнаруживалось и в отношении к ней столько же, сколько и к Ленни, если только не более; так что в одно прекрасное утро она окликнула дворецкого, который скакал мимо её дома на своей косматой лошаденке, и попросила его передать сквайру, что тот оказал бы ей большую милость, еслиб отнял у неё арендуемое место, тем более, что найдутся очень многие, которые с радостью займут его и дадут гораздо лучшую плату.

– Да ты, матушка, с ума сошла, сказал добродушный дворецкий: – и я рад, что ты объявила это мне, а не Стирну. Чего жь ты хочешь еще? место, кажется, хорошее; да притом же оно и достается тебе чуть не даром.

– Да я не о том и хлопочу, сэр, а о том, что мне ужь больно обидно становится жить в этой деревне, отвечала вдова. – Притом же Ленни живет теперь у иностранного джентльмена, так и мне хотелось бы поселиться гденибудь поближе к нему.

– Ах, да! я слышал, что Ленни нанялся служить в казино, – вот тоже глупость-то не последняя! Впрочем, зачем же унывать! ведь тут не Бог весть какое расстояние – мили две, да и то едва ли наберется. Разве Ленни не может приходить сюда каждый вечер после работы?

– Нет ужь извините, сэр! воскликнула вдова с досадою: – он ни за что не станет ходить сюда затем, чтобы слышать на дороге всякую брань и ругательство и переносить всякие насмешки, – он, которого покойный муж так любил

и так гордился им! Нет, уж извините, сэръ! мы люди бедные, но и у нас есть своя гордость, как я уже сказала об этом мистрисс Дэль, и во всякое время готова сказать самому сквайру. Не потому, чтобы я не чувствовала благодарности к нему: о, нет! наш сквайр весьма добрый человек, — но потому, что он сказал, что не подойдет к нам близко до тех пор, пока Ленни не съездит выпросить прощения. Просить прощения! да за что, желала бы я знать? Бедный ребенок! если бы вы видели, сэре, как он был разбит! Однако, я начинаю, кажется, сердиться; покорнейше прошу вас, сэръ, извините меня. Я ведь не так ученая как покойный мой Марк, и как был бы учен Ленни, если бы сквайру не вздумалось так обойтись с ним. Ужь пожалуста вы доложите сквайру, что чем скорее отпустит меня, тем лучше; а что касается до небольшого запаса сена и всего, что есть на наших полях и в огороде, так я надеюсь, что новый арендатор не обидит меня.

Дворецкий, находя, что никакое красноречие с его стороны не могло бы убедить вдову отказаться от такой решимости, передал это поручение сквайру. Мистер Гэзельден, не на шутку оскорбленный упорным отказом мальчика извиниться передо. Рандаем Лесли, сначала произнес про себя два-три слова о гордости и неблагодарности как матери, так и сына; но, спустя немного, его чувства к ним сделались нежнее, так что он в тот же вечер хотя сам и не отправился ко вдове, но зато послал к ней свою Гэрри. Мистрисс Гэзельден, часто строгая и даже суровая, особенно в таких случаях,

которые имели прямое отношение поселян к её особе, в качестве уполномоченной от своего супруга не иначе являлась, как вестницей мира или гением-примирителем. Так точно и теперь: она приняла это поручение с особенным удовольствием, тем более, что вдова и сын постоянно пользовались её особенным расположением. Она вошла в коттедж с чувством дружелюбия, отражавшимся в её светлых голубых глазах, и открыла беседу со вдовой самым нежным тоном своего приятного голоса. Несмотря на то, она столько же успела в своем предприятии, сколько и её дворецкий.

Если с языка мистрисс Гэзельден потек мед Платона, то и тогда не мог бы он усладить ту душевную горечь, для уничтожения которой он предназначался. Впрочем, мистрисс Гэзельден, хотя и прекрасная женщина во всех отношениях, не могла похвастаться особенным даром красноречия. Заметив, после нескольких приступов, что намерение вдовы остается непреклонным она удалилась из коттеджа с величайшей досадой и крайним неудовольствием.

В свою очередь, мистрисс Ферфильд, без всяких объяснений, легко догадывалась, что на требование её со стороны сквайра не было особенных препятствий, – и однажды, рано поутру, дверь её коттеджа оказалась на замке; ключ был оставлен у ближайших соседей, с тем, чтобы, при первой возможности, передать его дворецкому. При дальнейших осведомлениях открылось, что все её движимое имущество увезено было на телеге, проезжавшей мимо селения в глубокую

полночь. Ленни успел отыскать, вблизи казино, подле самой дороги, небольшой домик, и там, с лицом, сияющим радостью, он ждал свою мать, чтоб встретить ее приготовленным завтраком и показать ей, как он провел ночь в расстановке её мебели.

– Послушайте, мистер Дэль, сказал сквайр, услышав эту новость во время прогулки с пастором к приходской богадельне, где предполагалось сделать некоторые улучшения:– в этом деле всему вы виной! Неужели вы не могли уговорить этого упрямого мальчишку и эту безумную старуху? Вы, кажется, уж чересчур к ним снисходительны!

– Вы думаете, я не употребил при этом случае более строгих увещаний? сказал мистер Дэль голосом, в котором отзвучивались и упрек и изумление. – Я сделал все, что можно было сделать, – но все напрасно!

– Фи, какой вздор! вскричал сквайр: – скажите лучше, что нужно делать теперь? Ведь нельзя же допустить, чтобы бедная вдова умерла голодной смертью, а я уверен, что жалованьем, которое Ленни будет получать от Риккабокка, они немного проживут; да кстати, я думаю, Риккабокка не обещал в числе условий давать Ленни остатки от обеда: я слышал, что они сами питаются ящерицами и костюшками.... Вот что я скажу вам, мистер Дэль: позади коттэджа, который наняла вдова, находится несколько полей славной земли. Эти поля теперь пусты. Риккабокка хочет нанять их, и когда гостил у меня, то уговаривался об арендной плате.

Я вполонину уже согласился на его предложения. Теперь если он хочет нанять эту землю, то пусть отделит для вдовы четыре акра самой лучшей земли, ближайшей к коттеджу, так, чтобы довольно было для её хозяйства, и, к этому, пусть она заведет у себя хорошую сырню. Если ей понадобятся деньги, то я, пожалуй, одолжу немного на ваше имя; только, ради Бога, не говорите об этом Стирну. Что касается арендной платы, об этом мы поговорим тогда, когда увидим, как пойдут её дела... этакая неблагодарная, упрямая старуха!.. Я делаю это вот почему, прибавил сквайр, как будто желая представить оправдание своему великодушию к людям, которых он считал в высшей степени неблагодарными:— её муж был некогда самый верный слуга, и потому однако, я бы очень желал, чтоб вы попустому не стояли здесь, а отправлялись бы сию минуту ко вдове; иначе Стирн отдаст всю землю Риккабокка: это так верно, как выстрел из хорошего ружья. Да послушайте, Дэль: постарайтесь так устроить, чтобы и виду не подать, что эта земля моя, это пожалуй эта безумная женщина подумает, что я хочу оказать ей милость, — словом сказать, поступайте в этом случае как сочтете за лучшее.

Но и это благотворительное поручение не увенчалось надлежащим успехом. Вдова знала, что поля принадлежали сквайру, и что каждый акр из них стоил добрых три фунта стерлингов. Она благодарила сквайра за все его милости; говорила, что она не имеет средств завести коров, а за попечения о её существовании никому не желает быть обяза-

на. Ленни пристроился у мистера Риккабокка и делает удивительные успехи по части садового искусства; что касается до неё, то она надеется получить выгодную стирку белья; да и во всяком случае, стог сена на её прежних полях доставит ей значительную сумму денег, и она проживет некоторое время безбедно. – Благодарю, очень благодарю вас, сэр, и сквайра.

Следовательно, прямым путем ничего невозможно было сделать. Оставалось только воспользоваться намеком на стирку белья и оказать вдове косвенное благодеяние. Случай к этому представился весьма скоро. В ближайшем соседстве с коттеджем вдовы умерла прачка. Один намек со стороны сквайра содержательнице гостиницы напротив казино доставил вдове работу, которая по временам была весьма значительная. Эти заработки, вместе с жалованьем – мы не знаем, до какой суммы оно простиралось – давали матери и сыну возможность существовать не обнаруживая тех физических признаков скудного пропитания, которые Риккабокка и его слуга даром показывали всякому, кто только желал заняться изучением анатомии человеческого тела.

## Глава XXI

Из всех необходимых потребностей, составляющих предмет разных оборотов, в цивилизации новейших времен, нет ни одной, которую бы так тщательно взвешивали, так аккуратно вымеряли, так верно пломбировали и клеймили, так бережно разливали бы на *minima* и делили бы на скрупулы, как ту потребность, которая в оборотах общественно-го быта называется «извинением». Человек часто стремится в Стикс не от излишней дозы, но от скупости, с которой дается эта доза! Как часто жизнь человеческая зависит от точных размеров извинения! Не домерено на ширину какого нибудь волоска, – и пишите заранее духовную: вы уже мертвый человек! Я говорю: жизнь! целые гекатомбы жизни! Какое множество войн было бы прекращено, какое множество было бы предупреждено расстройств благосостояния, еслиб только было прибавлено на предложенную меру дюйм-другой извинения! И зачем бы, кажется, скупиться на эти размеры? затем, что продажа этой потребности составляет больше монополию фирмы: Честь и Гордость. В добавок к этому, самая продажа идет чрезвычайно медленно. Как много времени потребно сначала, чтоб поправить очки, потом отыскать полку, на которой находится товар требуемого качества, отыскав качество, должно переговорить о количестве, условиться – на аптекарский или на торговый вес должно отве-

силь, на английскую или на фламандскую меру должно отмерять то количество, и, наконец, какой шум поднимается и спор, когда покупатель останется недовольным той ничтожной малостью, какую получает. нисколько не удивительным покажется, по крайней мере для меня не кажется, если покупатель теряет терпение и отказывается наконец от извинения. Аристофан, в своей комедии «Мир», представляет прекрасную аллегория, заставив богиню мира, хотя она и героиня комедии, оставаться во время всего действия безмолвною. Проницательный грек знал очень хорошо, что как только она заговорит, то в ту же минуту перестанет быть представительницей мира. И потому, читатель, если тщеславие твое будет затронуто, промолчи лучше, перенеси это с терпением, прости великодушно нанесенную обиду и не требуй извинения.

Мистер Гэзельден и сын его Франк были щедрые и великодушные создания по предмету извинения. Убедившись окончательно, что Леонард Ферфильд решительно отказался представить оправдание Рандалью Лесли, они заменили его скупость своею собственною податливостью. Сквайр поехал вместе с сыном в Руд-Голл: и так как в семействе Лесли никто не оказался, или, вернее, никто не сказался дома, то сквайр собственноручно, и из собственной своей головы, сочинил послание, которому предназначалось закрыть все раны, когда либо нанесенные достоинству фамилии Лесли.

Это извинительное письмо заключалось убедительной



просьбой к Рандалью – приезжать в Гэзельден-Голл и провести несколько дней с Франком. Послание Франка было одинакового содержания, но только написано было более в духе Итонской школы и менее разборчиво.

Прошло несколько дней, когда, на эти послания получены были ответы. Письма Рандаля имели штампель деревни, расположенной вблизи Лондона. Рандаль писал, что он, под руководством наставника, занят теперь приготовительными лекциями к поступлению в Оксфордский университет, и что потому, к крайнему сожалению, не может принять столь лестного для него приглашения.

Во всем прочем Рандаль выражался с умом, но без великодушие. Он извинял свое участие в такой грубой, неприличной драке легким, но колким намеком на упрямство и невежество деревенского мальчишки, и не сделал того, что, весьма вероятно, сделали бы при подобных обстоятельствах вы, благосклонный читатель, и я, – то есть не сказал ни слова в защиту антагониста. Большая часть из нас забывает после сражения враждебное чувство к неприятелю, – в таком случае, когда победа остается на вашей стороне; этого-то и не случилось с Рандалем Лесли. Так дело и кончилось. Сквайр, раздраженный тем, что не мог вполне удовлетворить молодого джентльмена за нанесенную обиду, уже не чувствовал того сожаления, какое он испытывал каждый раз, когда проходил мимо покинутого коттэджа мистрисс Ферфильд.

Между тем Ленни Ферфильд продолжал оказывать пользу

своим новым хозяевам и извлекать выгоды во многих отношениях из фамильярной снисходительности, с которой обходились с ним. Риккабокка, ценивший себя довольно высоко за свою проницательность, с первого разу увидел, какое множество прекрасных качеств и способностей скрывалось в характере и душе английского деревенского мальчика... При дальнейшем знакомстве, он заметил, что в невинной простоте ребенка проглядывал острый ум, который требовал надлежащего развития и верного направления. Он догадывался, что успехи образцового мальчика в деревенской школе происходили более чем из одного только механического изучения и проворной смыслености. Ленни одарен был необыкновенной жадью к познанию, и, несмотря на все невыгоды различных обстоятельств, в нем уже открывались признаки того природного гения, который и самые невыгоды обращает для себя же в поощрение. Но, несмотря на то, вместе с семенами хороших качеств, лежали в нем и такие зародыши – трудные для того, чтоб отделить их, и твердые для того, чтобы разбить – которые очень часто наносят вред произведениям прекрасной почвы. К замечательному и благородному урожаю внутренних достоинств своих примешивалась у него какая-то непреклонность; с необыкновенным расположением в кротости и снисходительности соединилось сильное нерасположение прощать обиды.

Эта смешанная натура в неразработанной душе мальчика интересовала Риккабокка, который хотя давно уже пре-

кратил близкия сношения с обществом, но все еще смотрел на человека, как на самую разнообразную и занимательную книгу для философических исследований. Он скоро приучил мальчика к своему весьма тонкому и часто иносказательному разговору; чрез это язык Ленни и его идеи нечувствительно потеряли прежнюю деревенскую грубость и приобрели заметную утонченность. После того Риккабокка выбрал из своей библиотеки, – конечно, ужь очень маленькой, – книги хотя и элементарные, но столь превосходные по цели своего содержания, что Ленни едва ли бы достал чтонибудь подобное им во всем Гэзельдене. Риккабокка знал английский язык основательно; знал грамматику, свойства языка и его литературу гораздо лучше, быть может, иного благовоспитанного джентльмена. Он изучал этот язык во всех его подробностях, как изучает школьник мертвые языки, и потому в коллекции его английских книг находились такие, которые самому ему служили для этой цели. Это были первые сочинения, которыми Риккабокка ссудил Ленни. Между тем Джакеймо сообщал мальчику многие секреты по части практического садоводства и делал весьма дельные замечания насчет земледелия, потому что в ту пору сельское хозяйство в Англии (исключая некоторых провинций и округов) далеко уступало тому отличному положению, до которого наука эта с времен незапамятных доведена была на севере Италии, так что, приняв все это в соображение, можно сказать, что Ленни Ферфильд сделал перемену к лучшему.

На самом же деле и взглянув на предмет ниже его поверхности, невольным образом нужно было усомниться. По той же самой причине, которая заставила мальчика бежать из родного селения, он не ходил уже более и в церковь Гэзельденского прихода. Прежние дружеские беседы между ним и мистером Дэлем прекратились или ограничивались случайными посещениями со стороны последнего, – посещениями, которые становились реже и не так откровенны, когда мистер Дэль увидел, что прежний ученик его уже не нуждается более в его услугах и остается совершенно глух к его кротким увещаниям забыть прошедшее и являться, по крайней мере, на свое прежнее место в приходском храме. Однако, Ленни ходил в церковь – далеко в сторону, в другой приход, но уже проповеди не производили на него того благотворного влияния, как проповеди мистера Дэля; и пастор, имевший свою собственную паству, не хотел объяснять отставшей от своего стада овце то, что казалось непонятным, и укреплять в мальчике то, что было бы для него существенно полезным.

Я сильно сомневаюсь в том, послужили ли ученые и весьма часто нравоучительные и полезные правила доктора Риккабокка к развитию в мальчике хороших и к искоренению дурных качеств, и приносили ли они хотя половину той пользы, какую должно было ожидать от немногих простых слов, к которым Леонард почтительно прислушивался сначала подле стула своего отца и потом подле того же стула, переданного во временное владение доброму пастору, – в стро-

гом смысле слова, доброму, потому что мистер Дэль имел такое сердце, в котором все сырые в приходе находили прибежище и утешение. Не думаю также, чтобы эта потеря нежного, отеческого, духовного учения вознаграждалась вполне теми легкими средствами, которые придуманы нынешним просвещенным веком для умственного образования: потому что, не оспоривая пользы познания вообще, приобретение этого познания, при всех облегчениях, никому легко не достается. Оно клонится без всякого сомнения к тому, чтоб увеличить наши желания, чтоб сделать нас недовольными тем, что есть, и побуждает нас скорее достигать того, что может быть; и в этом-то достижении какому множеству незамеченных тружеников суждено упасть под тяжестью принятого на себя бремени! Какое бесчисленное множество является людей, одаренных желаниями, которым никогда не осуществиться! какое множество недовольных своей судьбой, которой никогда не избегнут! Впрочем, зачем видеть в этом одну только темную сторону? Всему виноват один Риккабокка, если заставил уже Ленни Ферфильда уныло склоняться над своей лопаткой, и удостоверившись одним взглядом, что его никто не замечает, произносить плачевным голосом:

– Неужели я затем и родился, чтоб копать землю под картофель?

*Pardieu*, мой добрый Ленни! еслиб ты дожил до седьмого десятка, разъезжал бы в своем экипаже и пилюлями помогал бы своему пищеварению, то, поверь, ты не раз вздох-

нул бы при одном воспоминании о картофеле, испеченном в горячей золе, сейчас после того, как ты вынул его из земли, которая возделана была твоими руками, полными юношеской силы. Продолжай же, Ленни Ферфильд, возделывать эту землю, продолжай! Доктор Риккабокка скажет тебе, что был некогда знаменитый человек<sup>8</sup>, который испытал два совершенно различные занятия: одно – управлять народом, другое – сажать капусту, и находил, что последнее из них гораздо легче, приятнее первого.

---

<sup>8</sup> Император Диоклитиан.

## Глава XXII

Доктор Риккабокка завладел Ленни Ферфильдом, и потому можно сказать, что он мчался на своем коньке с необыкновенной ловкостью и достиг желаемой цели. Но мисс Джемима все еще катилась на своей колеснице, ослабив возжи и размахивая бичем, и, по видимому, нисколько не сближаясь с улетающим образом Риккабокка.

И действительно, эта превосходная и только чересчур чувствительная дева ни под каким видом не воображала, чтобы несчастный чужеземец в мнениях своих так далеко не согласовался с её ожиданиями, но, к сожалению, должна была убедиться в том, когда доктор Риккабокка оставил Гэзелден-Голл и снова заключил себя в уединенных пределах казино, не сделав формального отречения от своего безбрачия. На несколько дней она сама затворилась в своей комнате и предалась размышлениям, с более против обыкновения мрачным удовольствием, о вероятности приближающегося переворота вселенной. И в самом деле, множество находимых ею признаков этого универсального бедствия, в которых, вовремя пребывания Риккабокка в доме сквайра, она позволяла себе сомневаться, теперь сделались совершенно очевидны. Даже газета, которая в течение того счастливого периода, располагавшего к особенному доверию, уделяла полстолбца для родившихся и браком сочетавшихся, — те-

перь приносила длинный список умерших, так что казалось, как будто все народонаселение чем-то страдало и не предвидело никакой возможности к отвращению своих ежедневных потерь. В главных статьях газеты, с какою-то таинственностью, наводящею ужас, говорилось о предстоящем *кризисе*. В отделе, назначенном для общих новостей, между прочим упоминалось о чудовищных репах, о телятах с двумя головами, о китах, выброшенных на берег в реке Гумбер, и дожде из одних лягушек, выпавшем на главной улице города Чельтенгама.

Все эти признаки, по её убеждению, дряхлости и конечного разрушения света, которые подле очаровательного Риккабокка неизбежно допустили бы некоторое сомнение касательно их происхождения и причины, теперь, соединившись с самым худшим из всех признаков, и именно с развивающимся в человеке с невероятной быстротой нечестием, не оставляли мисс Джемиме ни одной искры отрадной надежды, исключая разве той, которая извлекалась из убеждения, что мисс Джемима будет ожидать всеобщей гибели без малейшей тревоги.

Мистрисс Дэль, однако же, ни под каким видом не разделяла уныния своей прекрасной подруги и, получив доступ в её комнату, успела, хотя и с большим затруднением, развеселить унылый дух этой мужчиноненавистницы. В своем благосклонном желании ускорить полет мисс Джемимы к свадебной цели мистрисс Дэль не была до такой степе-



ни жестокосерда к своему приятелю, доктору Риккабокка, какую она казалась своему супругу. Мистрисс Дэль одарена была догадливостью и проницательностью, как и большая часть женщин с живым, пылким характером, а потому она знала, что мисс Джемима была одной из тех молодых лэди, которые ценят мужа пропорционально затруднениям, встреченным во время приобретения его. Весьма вероятно, мои читатели, как мужского, так и женского пола, встречали, в период своих испытаний, тот особенный род женского характера, который требует всей теплоты супружеского очага, чтоб развернуть в нем все свои врожденные прекрасные качества. В противном случае, при неведении об этой склонности, характер этот легко обратится в ту сторону, которая будет способствовать к его возрасту и улучшению, как подсолнечник всегда обращается к солнцу, а плакучая ива – к воде. Лэди такого характера, ставя какуюнибудь преграду своим нежным склонностям, постоянно томятся и доводят умственные способности до изнеможения, до какой-то бездейственности, или пускают ростки в те неправильные эксцентричности, которые подведены под общее название «странностей» или «оригинальностей характера». Но, перенесенный на надлежащую почву, тот же характер принимает основательное развитие; сердце, до этого изнеможенное и лишенное питательности, дает отпрыски, распускает цветы и приносит плод. И таким образом многие прекрасные лэди, которые так долго чуждались мужчин, становятся предан-

ными жонами и нежными матерями они смеются над прежнею своей разборчивостью и вздыхают о слепом ожесточении своего сердца.

По всей вероятности, мистрисс Дэль имела это в виду, и, конечно, в дополнение ко всем усыпленным добродетелям мисс Джемимы, которым суждено пробудиться при одной лишь перемене её имени на имя мистрисс Риккабокка, она рассчитывала также и на существенные выгоды, которые подобная партия могла бы предоставить бедному изгнаннику. Такой прекрасный союз с одной из самых старинных, богатых и самых популярных фамилий в округе сам по себе уже давал большое преимущество его положению в обществе, а между тем приданое мисс Джемимы хотя и не имело огромных размеров, считая его английскими фунтами стерлингов, а не миланскими ливрами, все же было достаточно для того, чтоб устранить тот постепенный упадок материальной жизни, который, после продолжительной диеты на пискарях и колючках, сделался уже очевидным в прекрасной и медленно исчезающей фигуре философа.

Подобно всем человеческим созданиям, убежденным в справедливости и приличии своих поступков, для мистрисс Дэль недоставало только случая, чтоб увенчать предпринятое дело полным успехом. А так как случаи очень часто и притом неожиданно представляются сами собой, то она не только весьма часто возобновляла, и каждый раз под более важным предлогом, свои дружеские приглашения к док-

тору Риккабокка – напиться чаю и провести вечер в их доме, но с особенною ловкостью, до такой степени растрогала ще-котливость сквайра насчет его гостеприимства, что доктор еженедельно получал убедительные приглашения отобедать в Гэзельден-Голле и пробыть там до другого дня.

Итальянец сначала хмурился, ворчал, произносил свои *Cospelto* и *Per Vacco* всячески старался отделаться от такой чрезмерной вежливости. Но, подобно всем одиноким джентльменам, он находился под сильным влиянием своего верного слуги; а Джакеймо, хотя и мог, в случае необходимости, так же равнодушно переносить голод, как и его господин, но все же, когда дело шло на выбор, то он весьма охотно предпочитал хороший росбиф и плюм-пуддинг тощим пискарям и костлявым колючкам. Кроме того, тщетная и неосторожная уверенность касательно огромной суммы, которая может перейти в полное распоряжение Риккабокка, и притом с такою милою и прекрасною лэди, как мисс Джемима, которая успела уже оказать Джакеймо легонькое внимание, сильно возбуждали алчность, которая между прочим была в натуре слуги нашего итальянца, – алчность тем более изошренную, что, долго лишенный всякой возможности законным образом употреблять ее в дело для своих собственных интересов, он уступал ее целиком своему господину.

Таким образом, изменнически преданный своим слугой, Риккабокка попал, хотя и не с завязанными глазами, в гостеприимные ловушки, расставленные его безбрачной жизни.

Он часто ходил в пасторский дом, часто в Гэзельден-Голл, и прелести семейной жизни, так долго отвергаемые им, начали постепенно производить свои чары на стоицизм нашего изгнанника. Франк в это время возвратился уже в Итон. Неожиданное приглашение отозвало капитана Гиджинботэма провести несколько недель в Бате с дальним родственником, который недавно возвратился из Индии, и который, при богатствах Креза, чувствовал такое одиночество и отчуждение к родному острову, что когда капитан «высказал свои права на родственную связь», то, к его крайнему изумлению, «индейский набоб признал вполне эти права», — между тем продолжительные парламентские заседания все еще удерживали в Лондоне посетителей сквайра, являвшихся в Гэзельден-Голле, по обыкновению, в конце летнего сезона; так что мистер Гэзельден с непритворным удовольствием наслаждался развлечением в беседе с умным чужеземцем. Таким образом, к общему удовольствию всех знакомых лиц в Гэзельдене и к усилению надежды двух прекрасных заговорщиц, дружба между казино и Гэзельден-Голлом становилась с каждым днем теснее и теснее; но все еще со стороны доктора Риккабокка не сделано было даже и малейшего намека, имеющего сходство с предложением. Если иногда проявлялась идея об этом в душе Риккабокка, то он изгонял ее оттуда таким решительным, грозным восклицанием, что, право, другому показалось бы, что если не конец мира, то по крайней мере конец намерениям мисс Джеми-

мы действительно приближался, и что прекрасная мисс по-прежнему осталась бы Джемимой, еслиб не предотвратило этого письмо с заграничным штемпелем, полученное доктором в одно прекрасное утро, во вторник.

Джакеймо заметил, что в доме их случилось что-то не совсем хорошее, и, под предлогом поливки померанцовых деревьев, он замешкался вблизи своего господина и заглянул сквозь озаренные солнцем листья на печальное лицо Риккабокка.

Доктор вздохнул тяжело и, что всего страннее, не взялся, как это всегда случалось с ним, после подобного вздоха, за свою драгоценную утешительницу – трубку. Хотя кiset с табаком и лежал подле него на балюстраде и трубка стояла между его коленями, в ожидании, когда поднесут ее к губам, но Риккабокка не обращал внимания ни на того, ни на другую, а молча положил на колени письмо и устремил неподвижные взоры в землю.

«Должно быть, очень нехорошие вести!» подумал Джакеймо и отложил свою работу до более благоприятного времени.

Подойдя к своему господину, он взял трубку и кiset и, медленно набивая первую табаком, внимательно разглядывал смуглое, задумчивое лицо, на котором резко отделяющиеся и идущие вниз линии служили верными признаками глубокой скорби. Джакеймо не смел заговорить, а между тем продолжительное молчание его господина сильно тревожило

его. Он наложил кусочек труту на кремь и высек искру, – но и тут нет ни слова; Риккабокка не хотел даже и протянуть руку за трубкой.

«В первый раз вижу его в таком положении», подумал Джакеймо и вместе с этим весьма осторожно просунул конец трубки под неподвижные пальцы, лежавшие на коленях.

Трубка повалилась на землю.

Джакеймо перекрестился и с величайшим усердием начал читать молитву. Доктор медленно приподнялся, с большим, по видимому, усилием прошелся раза два по террасе, потом вдруг остановился и сказал:

– Друг мой!

Слуга почтительно поднес к губам своим руку господина и потом, быстро отвернувшись в сторону, отер глаза.

– Друг мой, повторил Риккабокка, и на этот раз с выразительностью, в которой отзывалась вся скорбь его души, и таким нежным голосом, в котором звучала музыкальность пленительного юга: – мне хотелось бы поговорить с тобой о моей дочери!

– Поэтому письмо ваше относится к синьорине. Надеюсь, что она здорова.

– Слава Богу, она здорова. Ведь она в нашей родной Италии.

Джакеймо невольно бросил взгляд на померанцовые деревья; утренний прохладный ветерок, пролетая мимо его, доносил от них аромат распустившихся цветочков.

– Под присмотром и попечением, они и здесь сохраняют свою прелесть, сказал он, указывая на деревья. – Мне кажется, я уже говорил об этом моему патрону.

Но Риккабокка в эту минуту опять глядел на письмо и не замечал ни жестов, ни слов своего слуги.

– Моей тетушки уже нет более на свете! сказал он, после непродолжительного молчания.

– Мы будем молиться об успокоении её души, отвечал Джакеймо, торжественно. – Впрочем, она была уже очень стара и долгое время болела. . . . Не плачьте об этом так сильно, мой добрый господин: в её лета и при таких недугах смерть является другом.

– Мир праху её! возразил итальянец. – Если она имела свои слабости и заблуждения, то их должно забыть теперь навсегда; в час опасности и бедствия, она дала приют моему ребенку. Приют этот разрушился. Это письмо от священника, её духовника. Ты знаешь, она не имела ничего, что можно было бы отказать моей дочери; все её имущество переходит наследнику – моему врагу!

– Предателю! пробормотал Джакеймо, и правая рука его, по видимому, искала оружия, которое итальянцы низшего сословия часто носят открыто, на перевязи.

– Священник, снова начал Риккабокка, спокойным голосом: – весьма благоразумно распорядился, удалив мою дочь, как гостью, из дому, в который войдет мой враг, как законный владетель и господин.

– Где же теперь синьорина?

– В доме этого священника. Взгляни сюда, Джакомо, – сюда, сюда! Эти слова написаны рукой моей дочери, первые строчки, которые она написала ко мне.

Джакеймо снял шляпу и с подобострастием взглянул на огромные буквы детского рукописания. Но, при всей их крупности, они казались неясными, потому что бумага была окроплена слезами ребенка; а на том месте, куда они не падали, находилось круглое свежее влажное пятно от горячей слезы, скатившейся с ресниц старика. Риккабокка снова начал.

– Священник рекомендует монастырь для неё.

– Но вы, вероятно, не намерены посвятить монашеской жизни вашу единственную дочь?

– Почему же нет? сказал Риккабокка печально. – Что могу я дать ей в этом мире? Неужели чужая земля приютит ее лучше, чем мирная обитель в отечестве?

– Однако, в этой чужой земле бьется сердце её родителя.

– А если это сердце перестанет биться, что будет тогда? В монастыре она по крайней мере не будет знать до самой могилы ни житейских искушений, ни нищеты; а влияние священника может доставить ей этот приют и даже так может доставить, что она будет там в кругу равных себе.

– Вы говорите: нищеты! Посмотрите, как мы разбогатеем, когда снимем к Михайлову дню эти поля!

– *Pazziet* (глупости) воскликнул Риккабокка, с рассеян-



ным видом. – Неужели ты думаешь, что здешнее солнце светит ярче нашего, и что здешняя почва плодотворнее нашей? Да притом же и в нашей Италии существует пословица: «кто засекает поля, тот пожинает более заботы, чем зерна.» Совсем дело другое, продолжал отец, после минутного молчания и довольно нерешительным тоном: – еслиб я имел хоть маленькую независимость, чтоб можно было рассчитывать... даже, еслиб между всеми моими родственниками нашлась бы хоть одна женщина, которая решилась бы сопутствовать моей Виоланте к очагу изгнанника. Но, согласись, можем ли мы двое грубых, угрюмых мужчин выполнить все нужды, принять на себя все заботы и попечения, которые тесно связаны с воспитанием ребенка? А она была так нежно воспитана! Ты не знаешь, Джакомо, что ребенок нежный, а особливо девочка, требует того, чтобы ею управляла рука постоянно ласкающая, чтобы за нею наблюдал нежный глаз женщины.

– Позвольте сказать, возразил Джакеймо, весьма решительно: – разве патрон мой не может доставить своей дочери всего необходимого, чтоб спасти ее от монастырских стен? разве он не может сделать того, что, она будет сидеть у него на коленях прежде, чем начнется сыпаться лист с деревьев? *Padrone!* напрасно вы думаете, что можете скрыть от меня истину; вы любите свою дочь более всего на свете, особливо, когда отечество для вас так же мертво теперь, как и прах ваших отцов; я уверен, что струны вашего сердца лопнули бы

окончательно от малейшего усилия оторвать от них синьорину и заключить ее в монастырь. Неужели вы решитесь на то, чтоб никогда не услышать её голоса, никогда не увидеть её личика! А маленькие ручки, которые обвивали вашу шею в ту темную ночь, когда мы бежали, спасая свою жизнь, и когда вы, чувствуя объятия этих ручек, сказали мне: друг мой, для нас еще не все погибло!

– Джакомо! воскликнул Риккабокка, с упреком и как бы задыхаясь. – Он отвернулся, сделал несколько шагов по террасе и потом, подняв руки и делая выразительные жесты, продолжал нетвердые шаги и в то же время в полголоса произносил: – да, Бог свидетель, что я без ропота переносил бы и мое несчастье и изгнание, еслиб этот невинный ребенок разделял вместе со мной скорбь на чужбине и лишения. Бог свидетель, что если я не решаюсь теперь призвать ее сюда, то это потому, что мне не хотелось бы послушаться внушений моего самолюбивого сердца. Но чтобы никогда, никогда не увидеть ее снова... о дитя мое, дочь моя! Я видел ее еще малюткой! Друг мой Джакомо... непреодолимое душевное волнение прервало слова Риккабокка, и он склонил голову на плечо своего верного слуги: – тебе одному известно, что перенес я, что выстрадал я здесь и в моем отечестве: несправедливость..... предательство..... и....

И голос снова изменил ему: он крепко прильнул к груди Джакомо и весь затрепетал.

– Но ваша дочь, это невинное создание – вы должны ду-

мать теперь только о ней одной, едва слышным голосом произнес Джакомо, потому что и он в эту минуту боролся с своими собственными рыданиями.

– Правда, только о ней, отвечал изгнанник: – о ней одной. Прощу тебя, будь на этот раз моим советником. Если я пошлю за Виолантой, и если, пересаженная с родной почвы под здешнее туманное, холодное небо, она завянет и умрет.... взгляни сюда.... священник говорит, что ей нужно самое нежное попечение.... или, если я сам буду отозван от этого мира, и мне придется оставить ее одну без друзей, без крова, быть может, без куска насущного хлеба, и оставить ее в том возрасте, когда наступит пора бороться с самыми сильными искушениями, – не будет ли она во всю свою жизнь оплакивать тот жестокий эгоизм, который еще при младенческой её невинности навсегда затворил для неё врата Божьего дома?

Джакомо был поражен этими словами, тем более, что Риккабокка редко, или, вернее сказать, никогда не говорил прежде таким языком. В те часы, когда он углублялся в свою философию, он делался скептиком. Но теперь, в минуту душевного волнения, при одном воспоминании о своей маленькой дочери, он говорил и чувствовал с другими убеждениями.

– Но я снова решаюсь сказать, произнес Джакеймо едва слышным голосом и после продолжительного молчания: – еслиб господин мой решился..... жениться!

Джакеймо ждал, что со стороны доктора при подобном намеке непременно случится взрыв негодования; впрочем, он нисколько не беспокоился, потому что этот взрыв мог бы дать совершенно другое направление его ощущениям. Но ничего подобного не было. Бедный итальянец слегка содрогнулся, тихо отвел от себя руку Джакеймо, снова начал ходить взад и вперед по террасе, на этот раз спокойно и молча. В этой прогулке прошло четверть часа.

– Подай мне трубку, сказал Риккабокка, удаляясь в бельведер.

Джакеймо снова высек огня и, подавая трубку господину, вздохнул свободнее.

Доктор Риккабокка пробыл в уединении бельведера весьма недолго, когда Ленни Ферфильд, не зная, что его временный господин находился там, вошел туда положить книгу, которую доктор одолжил ему с тем, чтобы по миновании в ней надобности принести ее на назначенное место. При звуке шагов деревенского мальчика, Риккабокка приподнял свои взоры, устремленные на пол.

– Извините, сэр, я совсем не знал...

– Ничего, мой друг; положи книгу на место. – Ты пришел очень кстати: я хочу поговорить с тобой. Какой у тебя свежий, здоровый румянец, дитя мое! вероятно, здешний воздух так же хорош, как и в Гэзельдене.

– О, да, сэр!

– Мне кажется, что здешняя местность гораздо выше и бо-

лее открыта?

– Едва ли это так, сэр, сказал Ленни: – я находил здесь множество растений, которые растут и в Гэзельдене. Вон эта гора закрывает наши поля от восточного ветра, и вся местность обращена прямо к югу.

– Скажи, пожалуста, какие бывают здесь господствующие недуги?

– Что изволите, сэр?

– На какие болезни здешние жители чаще всего жалуются?

– Право, сэр, исключая ревматизма, мне не случалось слышать о других болезнях.

– Ты никогда не слышал, например, об изнурительных лихорадках, о чахотках?

– В первый раз слышу это от вас, сэр.

Рикабокка сделал продолжительный глоток воздуха, – и с тем вместе, казалось, что тяжелый камень отпал от его груди.

– Мне кажется, что все семейство здешнего сквайра предобрые люди?

– Я ничего не могу сказать против этого, отвечал Ленни решительным тоном. – Со мной всегда обходились весьма снисходительно. Впрочем, сэр, ведь вот и в этой книге говорится, что «не каждому суждено являться в этот мир с серебряной ложечкой во рту.»

Передавая книгу Ленни, Рикабокка совсем не помыш-

лял, чтобы мудрые правила, заключавшиеся в ней, могли оставить за собой печальные мысли. Он слишком был занят предметом самым близким своему собственному сердцу, чтобы подумать в то время о том, что происходило в душе Ленни Ферфильда.

– Да, да, мой друг, это весьма доброе английское семейство. Часто ли ты видел мисс Гэзельден?

– Не так часто, как лэди Гэзельден.

– А как ты думаешь, любят ее в деревне или нет?

– Мисс Джемиму? конечно, сэр. Ведь она никому не сделала вреда. её собачка укусила меня однажды, да мисс Джемима была так добра, что в ту же минуту попросила у меня извинения. Да, она у нас очень добрая молодая лэди, такая ласковая, как говорят деревенские девушки, и что еще, прибавил Линни, с улыбкой: – с тех пор, как она приехала сюда, у нас гораздо чаще случаются свадьбы, чем прежде.

– Вот как! сказал Риккабокка и потом, после длинной затяжки, прибавил: – а ты не видал, играет ли она с маленькими детьми? Как ты думаешь, любит ли она их?

– Помилуйте, сэр! вы говорите, как будто вам все известно! Она души не слышит в деревенских малютках.

– Гм! произнес Риккабокка. – Любить малюток – это в натуре женщины. Я спрашиваю не собственно о малютках, а так уже о взрослых детях, о маленьких девочках.

– Конечно, сэр, она их тоже любит; впрочем, сказал Ленни, жеманно: – я никогда не связывался с маленькими де-

вочками.

– Совершенно справедливо, Ленни; будь и всегда таким скромным в течение всей своей жизни. Мистрисс Дэль, мне кажется, в большой дружбе с мисс Гэзельден, больше чем с лэди Гэзельден. Как ты думаешь, почему это?

– Мне кажется, сэр, лукаво отвечал Леонард: – потому, что мистрисс Дэль немножко своенравна, хотя она и очень добрая лэди; а лэди Гэзельден немножко самолюбива, да притом же и держит себя как-то очень высоко. А мисс Джемима удивительно добра, с мисс Джемимой все могут ужиться: так по крайней мере сказывал мне Джой, да и вообще вся дворня из Гэзельден-Голла.

– В самом деле! пожалуста, Ленни, подай мне шляпу; она, кажется, в гостиной, и.... и принеси мне платяную щогку. Чудная погода для прогулки!

После этих не совсем-то скромных и благовидных распросов, касательно характера и популярности мисс Гэзельден, синьор Риккабокка так легко чувствовал на душе своей, как будто совершил какойнибудь благородный подвиг; и когда он отправлялся к Гэзельден-Голлу, походка его казалась легче и свободнее, чем в то время, когда он ходил, за несколько минут, по террасе.

– Ну, слава Еогу, теперь смело можно сказать, что молодая синьорина будет здесь! ворчал Джакеймо за садовой решоткой, провожая взорами удаляющегося господина.

## Глава XXIII

Доктор Риккабокка не был человек безразсудный, не поступал никогда опрометчиво. Кто хочет, чтоб свадебное платье сидело на нем хорошо, тот должен уделить порядочное количество времени для снятия мерки. С того дня, в который получено письмо, итальянец заметно изменил свое обращение с мисс Гэзельден. Он прекратил ту щедрость на комплименты, которою до этого ограждал себя от серьёзных объяснений. Действительно, Риккабокка находил, что комплименты для одинокого джентльмена были то же самое, что черная жидкость у некоторого рода рыб, которою они окружают себя в случае опасности, и под прикрытием которой убегают от своего неприятеля. Кроме того, он не избегал теперь продолжительных разговоров с этой молодой лэди и не старался уклоняться от одиноких прогулок с ней. Напротив, он искал теперь всякого случая быть с нею в обществе, и, совершенно прекратив говорить ей любезности, он принял в разговорах с ней тон искренней дружбы. Он перестал щеголять своим умом для того собственно, чтоб испытать и оценить ум мисс Джемимы. Употребляя весьма простое уподобление, мы скажем, что Риккабокка сдувал пену, которая бывает на поверхности обыкновенных знакомств, особливо с прекрасным полом, и которая, оставаясь тут, лишает возможности узнать качество скрыва-



ющею под ней жидкости. По видимому, доктор Риккабок-ка был доволен своими исследованиями; во всяком случае, он уже догадывался, что жидкость под той пеной не имела горького вкуса. Итальянец не замечал особенной силы ума в мисс Джемиме, но зато сделал открытие, что мисс Гэзелден, за устранением некоторых слабостей и причуд, одарена была на столько здравым рассудком, что могла совершенно понимать простые обязанности супружеской жизни; а в случае, еслиб этого рассудка было недостаточно, то вместо его с одинаковой пользой могли послужить старинные английские правила хорошей нравственности и прекрасные качества души.

Не знаю почему, но только многие умнейшие люди никогда не обращают такого внимания, как люди менее даровитые, на ум своей подруги в жизни. Очень многие ученые, поэты и государственные мужи, сколько известно нам, не имели у себя жон, одаренных.... не говоря уже: блестящими, даже посредственными умственными способностями, и, по видимому, любили их еще лучше за их недостатки. Посмотрите, какую счастливую жизнь провел Расин с своей женой, за какого ангела он считал ее, – а между тем она никогда не читала его комедий. Конечно, и Гёте никогда не докучал гой лэди, которая называла его «господином тайным советником», своими трактатами «о единицах» и «свете» и сухими метафизическими проблемами во второй части «Фауста». Вероятно, это потому, что такие великие гении, по-

стигая, по сравнению себя с другими гениями, что между умными женщинами и женщинами посредственных дарований всегда бывает небольшая разница, сразу отбрасывали все попытки пробудить в душе своих спутниц влечение к их трудным умственным занятиям и заботились исключительно об одном, чтоб связать одно человеческое сердце с другим самым крепким узлом семейного счастья. Надобно полагать, что мнения Риккабокка поэтому предмету были подобного рода, потому что, в одно прекрасное утро, после продолжительной прогулки с мисс Гэзельден, он произнес про себя:

«Duro con duro Non fece mai buon muro.....»

Что можно выразить следующейю перифразою: «из кирпичей без извести выйдет весьма плохая стена.» В характере мисс Джемимы столько находилось прекрасных качеств, что можно было извлечь из них превосходную известь; кирпичи Риккабокка брал на себя.

Когда кончились исследования, наш философ весьма символически обнаружил результат, к которому привели его эти исследования; он выразил его весьма просто, но разъяснение этого *просто* поставило бы вас в крайнее замешательство, еслиб вы не остановились на минуту и не подумали хорошенько, что оно означало. *Доктор Риккабокка снял очки!* Он тщательно вытер их, положил в сафьянный футляр и запер в бюро, – короче сказать, он перестал носить очки.

Вы легко заметите, что в этом поступке скрывалось удивительно глубокое значение. С одной стороны, это означало,

что прямая обязанность очков исполнена; что если философ решился на супружескую жизнь, то полагал, что с минуты его решимости гораздо лучше быть близоруким, даже несколько подслеповатым, чем постоянно смотреть на семейное благополучие, которого он решился искать для себя, сквозь пару холодных увеличительных стекол. А что касается до предметов, выходящих за предел его домашнего быта, если он и не может видеть их хорошо без очков, то разве он не намерен присоединить к слабости своего зрения пару других глаз, которые никогда не проглядят того, что будет касаться его интересов? С другой стороны, доктор Риккабокка, отложив в сторону очки, обнаруживал свое намерение начать тот счастливый перед-брачный период, когда каждый человек, хотя бы он был такой же философ, как и Риккабокка, желает казаться на столько молодым и прекрасным, насколько позволяют время и сама природа. Согласитесь сами, может ли нежный язык наших очей быть так выразителен, когда вмешаются эти стеклянные посредники! Я помню, что, посещая однажды выставку художественных произведений в Лондоне, и чуть-чуть не влюбился, как говорится, по-уши, в молоденькую лэди, которая вместе с сердцем доставила бы мне хорошее состояние, как вдруг она вынула из ридикюля пару хороших очков в черепаховой оправе и, устремив на меня через них пронизательный взгляд, превратила изумленного Купидона в ледяную глыбу! Как вам угодно, а поступок Риккабокка, обнаруживавший его совершенное несогласие

с мнением псевдо-мудрецов, что подобные вещи в высочайшей степени нелепы и забавны, я считаю за самое верное доказательство глубокого знания человеческого сердца. И конечно, теперь, когда очки были брошены, невозможно отвергать того, что глаза итальянца были замечательно прекрасны. Даже и сквозь очки или когда они поднимались немного повыше очков, и тогда его глаза отличались особенным блеском и выразительностью; но без этих принадлежностей блеск их становился мягче и нежнее: они имели теперь тот вид, который у французов называется *velouté*, бархатность, и вообще казались десятью годами моложе.

– Итак, вы поручаете мне переговорить об этом с нашей милой Джемимой? сказала мистрисс Дэль, в необыкновенно приятном расположении духа и без всякой горечи в произношении слова «милой».

– Мне кажется, отвечал Риккабокка: – прежде чем начать переговоры с мисс Джемимой, необходимо нужно узнать, как будут приняты мои предложения в семействе.

– Ах, да! возразила мистрисс Дэль.

– Без всякого сомнения, сквайр есть глаза этого семейства.

Мистрисс Дэль (*разсеянно и с некоторым неудовольствием*). – Кто? сквайр? да, весьма справедливо... совершенно так (*взглянув на Риккабокка, весьма наивно продолжала*) Поверите ли, я вовсе не подумала о сквайре. И ведь знаете, он такой странный человек, у него так много английских

предразсудков, что, действительно... скажите, как это досадно! мне и в голову не приходило подумать, что мистер Гэзельден имеет голос в этом деле! Оно, если хотите, так родство тут весьма дальнее, – совсем не то, еслиб он был отец ей; притом же, Джемима уже в зрелых летах и может располагать собой, как ей угодно; но все же, как вы говорите, не мешает, и даже следует, посоветоваться со сквайром, как с главой семейства.

Риккабокка. И неужели вы думаете, что сквайр Гэзельден не согласится на этот союз? Как торжественно звучит это слово! Конечно, я и сам полагаю, что он весьма благо разумно будет противиться браку своей кузины с чужеземцем, за которым он ничего не знает, исключая разве того, что во всех государствах считается бесславленным, а в вашем отечестве криминальным преступлением, и именно – бедности!

Мистрисс Дэль (*сниходятельно*). Вы очень дурно судите о нас, бедных островитянах, и кроме того, весьма несправедливы к сквайру – да сохранит его небо! Мы сами прежде находились в крайней бедности, – находились бы, может быть, и теперь, еслиб сквайру не угодно было избрать моего мужа пастырем своих поселян и сделать его своим соседом и другом. Я буду говорить с ним без всякого страха...

Риккабокка. И со всею откровенностью. Теперь же, высказав вам мое намерение, позвольте мне продолжать признание, которое вашим участием, прекрасный друг мой,

в моей судьбе, было в некоторой степени прервано. Я сказал уже, что еслиб я мог надеяться, хотя это довольно и дерзко с моей стороны, что мои предложения будут приняты как самой мисс Гэзельден, так и прочими членами её фамилии, то, конечно, отдавая полную справедливость её прекрасным качествам, считал бы себя.... считал бы....

Мистрисс Дэль (*с лукавой улыбкой и несколько насмешливым тоном*). Счастливейшим из смертных – это обыкновенная английская фраза, доктор.

Риккабокка. Вернее и лучше ничего нельзя сказать. Но – продолжал он, серьёзным тоном – мне хотелось бы объяснить вам, что я.... уже был женат.

Мистрисс Дэль (*с изумлением*). Вы были женаты!

Риккабокка. И имею дочь, которая дорога моему сердцу, – невыразимо дорога! До этого времени она проживала за границей, но, по некоторым обстоятельствам, необходимо теперь, чтобы она жила вместе со мной. И я откровенно признаюсь вам, ничто так не могло привязать меня к мисс Гэзельден, ничто так сильно не возбуждало во мне желания к нашему брачному союзу, как полная уверенность, что, при её душевных качествах и кротком характере, она может быть доброю, нежною матерью моей малютки.

Мистрисс Дэль (*с чувством и горячностью*). Вы судите о ней весьма справедливо.

Риккабокка. Что касается до денежной статьи, то, по образу жизни моей, вы легко можете заключить, что я ничего

не могу прибавить к состоянию мисс Гэзельден, как бы оно велико или мало ни было.

Мистрисс Дэль. Это затруднение может устраниться тем, что состояние мисс Гэзельден будет составлять её нераздельную собственность; в подобных случаях у нас это принято за правило.

Лицо Риккабокка вытянулось.

– А как же моя дочь-то? сказал он, с глубоким чувством.

Это простое выражение до такой степени было чуждо всех низких и касающихся его личности корыстолюбивых побуждений, что у мистрисс Дэль не доставало духу сделать весьма естественное замечание, что «эта дочь не дочь мисс Джемимы, и что, может статься, у вас и еще будут дети.»

Она была тронута и отвечала, с заметным колебанием;

– В таком случае, из тех доходов, которые будут общими между вами и мисс Джемимой, вы можете ежегодно откладывать некоторую часть для вашей дочери, или, наконец, вы можете застраховать вашу жизнь. Мы это сами сделали, когда родилось у нас первое дитя, которого, к несчастью, лишились (при этих словах на глазах мистрисс Дэль навернулись слезы), и мне кажется, что Чарльз и теперь еще продолжает страховать свою жизнь для меня, хотя Богу одному известно, что.... что....!

И слезы покатались ручьем. Это маленькое сердце, живое и резвое, не имело ни одной тончайшей фибры, эластических мускульных связей, которые с таким изобилием

и так часто выпадают на долю сердец тех женщин, которым заранее предназначается вдовья участь. Доктор Риккабокка не мог долее продолжать разговора о застраховании жизни. Однакожь, эта идея, никогда неприходившая в голову философа, очень понравилась ему, и, надобно отдать ему справедливость, он далеко предпочитал ее мысли удерживать из приданого мисс Гэзельден небольшую часть в свою собственную пользу и в пользу своей дочери.

Вскоре после этого разговора Риккабокка оставил дом пастора, и мистрисс Дэль поспешила отыскать своего мужа – сообщить ему об успешном приведении к концу задуманного ею плана и посоветоваться с ним о том, каким образом лучше познакомить с этим обстоятельством сквайра.

– Хотя сквайр, говорила она, с некоторым замешательством:– и рад бы был видеть Джемиму замужем, но меня тревожит одно обстоятельство. Вероятно, он спросит: кто и что такое этот доктор Риккабокка? скажи пожалуйста, Чарльз, что я стану отвечать ему?

– Тебе бы нужно было подумать об этом раньше, отвечал мистер Дэль, необыкновенно сурово. – Я никак не полагал, чтобы из смешного, как мне казалось это, вышло чтонибудь серьёзное. Иначе я давным бы давно попросил тебя не вмешиваться в подобные дела. Боже сохрани! продолжал мистер Дэль, меняясь в лице: – Боже сохрани! чтоб мы стали, как говорится, тайком вводить в семейство человека, которому мы всем обязаны, родственную связь, по всей веро-



ятности, слишком для него неприятную! это было бы низко с нашей стороны! это был бы верх неблагодарности!

Бедная мистрисс Дэль была испугана этими словами и еще более неудовольствием её супруга и суровым выражением его лица. Отдавая должную справедливость мистрисс Дэль, здесь следует заметить, что каждый раз, как только муж её огорчался или оскорблялся чемнибудь, её маленькое свое-нравие исчезало: она делалась кротка как ягненок. Лишь только она оправилась от неожиданного удара, как в ту же минуту поспешила рассеять все опасения мистера Дэля. Мистрисс Дэль уверяла, что она убеждена в том, что если сквайру не понравятся претензии Риккабокка, то итальянец немедленно прекратит их и мисс Джемима никогда не узнает об его предложении. Следовательно, из этого еще ничего дурного не может выйти. Это уверение, совершенно согласованное с убеждениями мистера Дэля касательно благородства души Риккабокка, весьма много способствовало к успокоению доброго человека, и если он не чувствовал в душе своей сильной тревоги за мисс Джемиму, которой сердце, легко может статься, было уже занято любовью к Риккабокка, если он не опасался, что её счастье, чрез отказ сквайра, могло быть поставлено в весьма опасное положение, то это происходило не от недостатка в нежности чувств мистера Дэля, а от его совершенного знания женского сердца. Кроме того он полагал, хотя и весьма ошибочно, что мисс Гэзельден была не из тех женщин, на которых обманутые ожидания

подобного рода могли бы произвести пагубное впечатление. Вследствие этого, после непродолжительного размышления, он сказал весьма ласково:

– Ничего, мой друг, не огорчайся; я не менее должен винить и себя в этом деле. Мне, право, казалось, что для сквайра гораздо бы легче было пересадить высокие кедры в огород, чем для тебя возбудить в душе Риккабокка намерение вступить в супружескую жизнь. Впрочем, от человека, который добровольно, ради одного только опыта, посадил себя в колоду, всего можно ожидать! Как бы то ни было, а мне кажется, что гораздо лучше будет, если я сам переговорю об этом с сквайром и сейчас же пойду к нему.

Мистер Дэль надел свою широкополую шляпу и отправился на образцовую ферму, где в эту пору дня непременно надеялся застать сквайра. Но едва только он вышел на деревенский луг, как увидел мистера Гэзельдена, который, опершись обеими руками на трость, внимательно рассматривал приходское исправительное заведение. Должно заметить, что после переселения Ленни Ферфильда и его матери негодование к колоде снова вспыхнуло в жителях Гэзельдена. В то время, как Ленни находился в деревне, это негодование изливалось обыкновенно на него; но едва только он оставил приход, как все начали чувствовать к нему сострадание. Это происходило не потому, чтобы те, которые более всего преследовали его своими насмешками, раскаявались в своем поведении или считали себя хоть на скольконибудь ви-

новными в его изгнании из деревни: нет! они, вместе с прочими поселянами, сваливали всю вину на приходскую колоду и употребляли всевозможные средства, чтоб привести ее в то положение, в каком она находилась до своего возобновления.

Само собою разумеется, что мистер Стирн не дремал в это время. Он ежедневно докладывал своему господину о лицах, которые, по его подозрениям, были главными виновниками в новых неудовольствиях в приходе. Но мистер Гэзельден был или слишком горд, или слишком добр, чтоб поверить на слово своему управителю и явно упрекать обвиняемых; он ограничился сначала тем, что, при встрече с ними во время прогулок, отвечал на их приветствия молчаливым и принужденным наклоном головы; но впоследствии, покоряясь влиянию Стирна, он с гневом произносил, что «не видит никакой причины оказывать какое бы то ни было снисхождение неблагодарным людям. Нужно же наконец делать какое нибудь различие между хорошими и дурными.» Ободренный таким отзывом господина, мистер Стирн еще свободнее начал обнаруживать гонение на подозреваемых лиц. По его распоряжению, для некоторых бедняков обыкновенные порции молока с господской фермы и овощей с огородов были решительно прекращены. Другим дано строгое приказание запирать своих свиней, которые будто бы врывались в господский парк, и, уничтожая жолуди, портили молодые деревья. Некоторым воспрещено было держать лягавых со-

бак, потому что через это, по мнению Стирна, нарушались законы псовой охоты. Старухам, которых внуки в особенности не благоволили к сыну мистера Стирна, прекращено дозволение собирать по аллеям парка сухие сучья, под тем предлогом, что они ломали тут же и свежие, и, что всего обиднее было для молодого поколения деревни Гэзельден, так это строгое запрещение собираться для игр под тремя каштановыми, одним ореховым и двумя вишневыми деревьями, которые вместе с местом, занимаемым ими с времен незапамятных, были отданы в полное распоряжение гэзельденских юношей. Короче сказать, Стирн не пропускал ни одного случая где только можно было придрататься к правому и виноватому, без всякого разбора. После этого покажется неудивительным, что выражения неудовольствия становились чаще и сильнее. Недовольные изливали свою досаду или эпиграммами на Стирна, или изображением его в карикатурном виде на самых видных местах. Одна из подобных карикатур в особенности обратила на себя внимание сквайра, в то время, как он проходил мимо колоды на образцовую ферму. Сквайр остановился и начал рассматривать ее, придумывая в то же время вернейшие средства к прекращению подобных шалостей. В этом-то положении, как мы уже сказали, и застал его мистер Дэль, отправлявшийся к нему с чрезвычайно важным известием.

– Вот кстати, так кстати, сказал мистер Гэзельден с улыбкой, которая, как он воображал, была приятная и непринуж-

денная, но мистеру Дэлю она показалась чрезвычайно горькою и холодною: – не хотите ли полюбоваться моим портретом?

Мистер Дэль взглянул на каррикатуру, и хотя сильно поражен был ею, но весьма искусно скрыл свои чувства. С благоразумием и кротостью он в ту же минуту старался отыскать какойнибудь другой оригинал для весьма дурно выполненного портрета.

– Почему же вы полагаете, что это ваш портрет? спросил мистер Дэль: – мне кажется, эта фигура скорее похожа на Стирна.

– Вы так думаете? сказал сквайр. – А к чему же эти ботфорты? Стирн никогда не носит ботфорт.

– Да ведь и вы их не носите, исключая разве тех случаев, когда отправляетесь на охоту. Впрочем, взгляните хорошенько; мне кажется, это вовсе не ботфорты: это – длинные штиблеты; а ведь вам самим известно, что Стирн любит часто щеголять в них. Кроме того, вон этот крючок, наброшенный, вероятно, для изображения носа, как нельзя более походит под крючковатую форму носа Стирна, между тем как ваш, по-моему мнению, ни в чем не уступает носу Апполона, который стоит в гостиной Риккабокка.

– Бедный Стирн! произнес сквайр, голосом, в котором обнаруживалось удовольствие, смешанное с сожалением. – Это почти всегда выпадает на долю верного слуги, который с ревностью исполняет обязанность, возложенную на него.

Однако, вы замечаете мистер Дэль, что дерзости начинают заходить чересчур далеко, и теперь в том вопрос: какие должно принять меры для прекращения их? Подстеречь и поймать шалунов нет никакой возможности, так что Стирн советует даже учредить около колоды правильный ночной караул. Мне до такой степени неприятно это, что я почти решился уехать отсюда в Брайтон или Лимингтон, а в Лимингтоне, должно вам сказать, чудная охота, и уехать на целый год, собственно затем, чтоб увидеть, что эти неблагодарные будут делать без меня!

При последних словах губы сквайра задрожали.

– Мой добрый мистер Гэзельден, сказал мистер Дэль, взяв за руку друга: – я не хочу щеголять своей мудростью; но согласитесь, куда как было бы хорошо, еслиб вы послушались моего совета; *quieta non movere*. Скажите откровенно; бывал ли гденибудь приход миролюбивее здешнего, видали ли вы гденибудь столь любимого своим приходом провинциального джентльмена, каким были вы до возобновления этой безобразной колоды, хотя вы и возобновили ее в том убеждении, что она будет придавать красу деревне?

При этом упреке в душе сквайра закипело сильное негодование.

– Так что же, милостивый государь, воскликнул он: – не прикажете ли мне срыть ее до основания?

– Прежде мне хотелось одного только – чтоб вы вовсе не возобновляли её, а оставили бы в первобытном виде;

но если вам представится благовидный предлог разрушить ее, то почему же и не так? И, сколько я полагаю, предлог этот легко может представиться, – например (не мешает здесь обратить внимание читателя на искусный оборот в красноречии мистера Дэля, – оборот, достойный самого Риккабокка, и вместе с тем доказывающий, что дружба мистера Дэля с итальянским философом была небезполезна), – например, по случаю какогонибудь радостного события в вашем семействе.... Положим, хоть свадьбы!

– Свадьбы! да, конечно; но какой свадьбы? не забудьте, что Франк только-только что сбросил с себя курточку.

– Извините: на этот раз я вовсе и не думал о Франке, – я хотел намекнуть на свадьбу вашей кузины Джемимы.

Сквайр до такой степени изумлен был этим неожиданным намеком, что отступил несколько назад и, за неимением лучшего места, сел на скамейку, составлявшую принадлежность колоды.

Мистер Дэль, пользуясь минутным замешательством сквайра, немедленно приступил к изложению дела. Он начал с похвалы благоразумию Риккабокка и его совершенному знанию правил приличия, обнаруженному тем, что прежде формального объяснения с мисс Джемимой он просил непременно посоветоваться с мистером Гэзеледнем. По уверению мистрисс Дэль, Риккабокка имел такое высокое понятие о чести и такое беспредельное уважение к священным правам гостеприимства, что в случае, еслиб

сквайр не изъявил согласия на его предложения, то мистер Дэль был вполне убежден, что итальянец, в ту же минуту отказался бы от дальнейших притязаний на мисс Джемиму. Принимая в соображение, что мисс Гэзельден давно уже достигла зрелого возраста, в строгом смысле этого слова, и что все её богатство давно уже передано в её собственное распоряжение, мистер Гэзельден принужден был согласиться с заключением мистера Дэля, выведенным из его первого приступа, «что со стороны Риккабокка это была такая деликатность, какой нельзя ожидать от другого английского джентльмена». Заметив, что дело принимает весьма благоприятный оборот, мистер Дэль начал доказывать, что если мисс Джемиме придется рано или поздно выходить замуж (чему, конечно, сквайр не будет препятствовать), то желательнее было бы, чтоб она лучше вышла за такого человека, который, хотя бы это был и иностранец, но безукоризненного поведения, находился бы в ближайшем соседстве с мистером Гэзельденом, чем подвергаться опасности вступить в брак с какимнибудь искателем богатых невест на минеральных водах, куда мисс Джемима отправлялась почти ежегодно. После этого мистер Дэль слегка коснулся прекрасных качеств Риккабокка и заключил другим искусным оборотом речи, что этот превосходный свадебный случай представляет возможность сквайру предать колоду всесожжению и тем восстановить в селении Гэзельден прежнее спокойствие и тишину.



Задумчивое, но не угрюмое лицо сквайра при этом заключении совершенно прояснилось. Надобно правду сказать, сквайру до смерти хотелось отделаться от этой колоды, но само собою разумеется, отделаться удачно и без малейшей потери собственного своего достоинства.

Вследствие этого, когда мистер Дэль окончил свою речь, сквайр отвечал весьма спокойно и весьма благоразумно:

«Что мистер Риккабокка поступил в этом случае, как должно поступить всякому благовоспитанному джентльмену, и за это он (т. е. сквайр) весьма много обязан ему; что он не имеет права вмешиваться в это дело; что Джемима в таких теперь летах, что сама может располагать своей рукой, и чем дальше отлагать это, тем хуже. – С своей стороны, продолжал сквайр: – хотя мне Риккабокка чрезвычайно нравится; но я никогда не подозревал, чтобы Джемима могла плениться его длинным лицом; впрочем, нельзя по своему собственному вкусу судить о вкусе других. Моя Гэрри в этом отношении гораздо проникательнее меня; она часто намекала мне на этот союз; но само собою разумеется, я всегда отвечал ей чистосердечным смехом. Оно, правда, мне показалось слишком что-то странным, когда этот монсир, ни с того, ни с другого, снял очки... ха, ха! Любопытно знать, что скажет нам на это Гэрри. Пойдемте к ней сию минуту и сообщим эту новость.»

Мистер Дэль, приведенный в восторг таким неожиданным успехом своих переговоров, взял сквайра под руку,

и оба они, в самом приятном расположении духа, отпра- вились в Гэзельден-Голл. При входе в цветочный сад, они уви- дели, что мистрисс Гэзельден срывала сухие листья и увяд- шие цветы с любимых своих розовых кустов. Сквайр осто- рожно подкрался к ней сзади и, быстро обняв её талию, креп- ко поцаловал её полную, гладкую щоку. Мимоходом сказать, по какому-то странному соединению понятий, он позволял себе подобную вольность каждый раз, как только в деревне затевалась чья нибудь свадьба.

– Фи, Вильям! произнесла мистрисс Гэзельден застенчиво и потом покраснелась, когда увидела мистера Дэля. – Верно опять готовится новая свадьба! чья же это?

– Как вам покажется, мистер Дэль! воскликнул сквайр, с видом величайшего удивления: – она заранее догадывает- ся, в чем дело! расскажите же ей все, – все.

Мистер Дэль повиновался.

Мистрисс Гэзельден, как может полагать каждый из мо- их читателей, обнаружила гораздо меньше удивления, чем её супруг. Она выслушала эту новость с явным удовольствием и сделала почти такой же ответ, какой сделан был сквайром.

– Синьор Риккабокка, говорила она: – поступил благо- родно. Конечно, девица из фамилии Гэзельденов могла бы сделать выгоднейшую партию; но так как она уже несколько промедлила отысканием такой партии, то с нашей стороны было бы напрасно и неблагоприятно противиться её выбо- ру, если только это правда, что она решилась выйти за си-

ньора Риккабокка. Что касается её приданого, в этом они сами должны условиться между собой. Все же не мешает поставить, на вид мисс Джемиме, что проценты с её капитала составляют весьма ограниченный доход. Что доктор Риккабокка вдовец, это опять совсем другое дело. Странно, однако, и даже несколько подозрительно, почему он так упорно скрывал до сих пор все обстоятельства прежней своей жизни. Конечно, его поведение весьма выгодно говорило в его пользу. Так как он для нас был не более, как обыкновенный; знакомый и притом еще арендатор, то никто не имел права делать какиенибудь нескромные осведомления. Теперь же, когда он намерен вступить в родство с нашей фамилией, то сквайру, следовало бы по крайней мере знать о нем чтонибудь побольше: кто и что он такое? по каким причинам оставил, он свое отечество? Англичане ездят за границу для того собственно, чтоб сберечь лишнюю пенни из своих доходов; а нельзя предположить, чтобы чужеземец выбрал Англию за государство, в котором можно сократить свои расходы. По-моему мнению, иностранный доктор здесь недиковинка; вероятно, он был профессором какогонибудь итальянского университета. Во всяком случае, если сквайр вступился в это дело, то он непременно должен потребовать от синьора Риккабокка некоторые объяснения.

– Ваши замечания, мистрисс Гэзельден, весьма основательны, сказал мистер Дэль. – Касательно причин, по которым друг наш Риккабокка покинул свое отечество, мне ка-

жется, нам не нужно делать особенных осведомлений. По моему мнению, он должен представить нам одни только доказательства о благородном своем происхождении. И если это будет составлять единственное затруднение, то надеюсь, что мы можем скоро поздравить мисс Гэзельден со вступлением в законный брак с человеком, который хотя и весьма беден, умен, однако же, перенести все лишения без всякого ропота, предпочел долгу все трудности, сделал предложение открыто, не обольщая сердца вашей кузины, – который, короче сказать, обнаружил в душе своей столько прямоты и благородства, что, надеюсь, мистрисс Гэзельден, мы извиним ему, если он только доктор, и, вероятно, доктор юриспруденции, а не какойнибудь маркиз или по крайней мере барон, за которых иностранцы любят выдавать себя в нашем отечестве.

– В этом отношении, вскричал сквайр: – надобно отдать Риккабокка полную справедливость: он и в помышлении не имел ослепить нас блеском какогонибудь титула. Благодаря Бога, Гэзельдены никогда не были большими охотниками до громких титулов; и если я сам не гнался за получением титула английского лорда, то, конечно, мне куда бы было как стыдно своего зятя, которого я принужден бы был называть маркизом или графом! Не менее того мне было бы неприятно, еслиб он был курьером или камердинером! А то доктор! Гэрри! да мы имели полное право гордиться этим: это в английском вкусе! Моя родная тетушка была замужем

за доктором богословия... отличный был человек этот доктор! носил огромный парик и впоследствии был сделан деканом. Поэтому тут нечего и беспокоиться. Дело другое, если бы он был какой нибудь фокусник: это было бы обидно. Между чужеземными господами в нашем отечестве бывают настоящие шарлатаны; они готовы, пожалуй, ворожить для вас и скакать на сцене вместо паяца.

– Помилуй, Вильям! откуда ты заимствовал такие понятия? спросила Гэрри, с выражением сильного упрека.

– Откуда заимствовал! я сам видел такого молодца в прошлом году на ярмарке – ну вот еще когда я покупал гнедых – видел его в красном жилете и треугольной, приплюснутой шляпе. Он называл себя доктором Фоскофорино, носил напудренный парик и продавал пилюли! Презабавный был человек, настоящий паяц, – особенно в своих обтянутых розовато цвета панталонах, – кувыркался перед нами и сказывал, что приехал из Тимбукту. Нет, нет; избави Бог Джемиму попасть за такого человека: так и знай, что она перерядится в розовое платье с блестками и будет шататься по ярмаркам в труппе странствующих комедиантов.

При этих словах как сквайр, так и жена его так громко и так непринужденно засмеялись, что мистер Дэль считал дело решенным, и потому, воспользовавшись первой удобной минутой, откланялся сквайру и поспешил к Риккабокка с утешительным донесением.

Риккабокка, с весьма легким нарушением спокойствия

и равнодушие, постоянно отражавшихся на его лице, выслушал известие о том, что предубеждение островитян и более выгодные виды всего семейства Гэзельден не представляли его искательству руки мисс Джемимы никаких затруднений. Это легкое волнение произошло в душе философа не потому, чтобы он страшился навсегда отказаться от близкой и безоблачной перспективы счастья, для которого он нарочно снял очки, чтоб смотреть на него открытыми глазами: нет! он уже достаточно приготовился к тому, — но потому, что ему так мало оказывали в жизни снисхождения, что он был тронут не только искренним участием в его благополучии человека совершенно чуждого ему по отечеству, по языку, образу жизни и самой религии, — но и великодушием, с которым его принимали, несмотря на его известную бедность и чужеземное происхождение, в родственный круг богатой и старинной английской фамилии. Он соглашался удовлетворить один только пункт условия, переданного ему мистером Дэлем с деликатностью человека, которому, по своей профессии, не в первый раз приходилось иметь дело с самыми нежными и щекотливыми чувствами. Этим пунктом требовалось отыскать между друзьями или родственниками Риккабокка особу, которая подтвердила бы убеждение сквайра в благородстве происхождения итальянца. Он согласился, я говорю, с основательностью этого пункта, но не обнаружил особенного расположения и усердия исполнить его. Лицо его нахмурилось. Мистер Дэль поспешил уверить его,

что сквайр был не из числа тех людей, которые слишком гонятся за титулами, но что он желал бы открыть в будущем своем зяте звание не ниже того, которое, судя по воспитанию и дарованиям Риккабокка, оправдывало бы сделанный им шаг требовать руки благородной девицы.

Итальянец улыбнулся.

– Мистер Гэзельден будет удовлетворен, сказал он весьма хладнокровно. – Из газет сквайра я узнал, что на днях прибыл в Лондон один английский джентльмен, который был коротко знаком со мной в моем отечестве. Я напишу к нему и попрошу его засвидетельствовать мою личность и мое хорошее происхождение. Вероятно, и вам не безызвестно имя этого джентльмена, – даже должно быть известно, как имя офицера, отличившего себя в последней войне. Его зовут лорд Л'Эстрендж.

Мистер Дэль вздрогнул.

– Вы знаете лорда Л'Эстренджа? Я боюсь, что это распутный, дурной человек.

– Распутный! дурной! воскликнул Риккабокка. – Как ни злословен наш мир, но я никогда не думал, чтобы подобные выражения были применены к человеку, который впервые научил меня любить и уважать вашу нацию.

– Быть может, он переменялся с того времени....

Мистер Дэль остановился.

– С какого времени? спросил Риккабокка с очевидным любопытством.

Мистер Дэль, по видимому, приведен был в замешательство.

– Извините меня, сказал он: – тому уже много лет назад; впрочем, надобно вам сказать, что мнение, составленное мною в ту пору об этом джентльмене, было основано на обстоятельствах, которых я не могу сообщить.

Вежливый итальянец молча поклонился, но глаза его выражали, как будто он хотел продолжать дальнейшие расспросы.

– Каковы ни были ваши впечатления касательно лорда Л'Эстренджа, сказал Риккабокка после непродолжительного молчания: – я полагаю, в них не скрывается ничего, что могло бы заставить вас сомневаться в его чести, или не признать действительным его отзыв о моей личности?

– Да, основываясь на светских понятиях о нравственности, отвечал мистер Дэль, стараясь быть как можно определеннее: – сколько я знаю о лорде Л'Эстрендже, нельзя допустить предположения, что в этом случае он скажет неправду. Кроме того, он пользуется именем заслуженного воина и занимает почетное положение в обществе.

Разговор прекратился, и мистер Дэль простился с Риккабокка.

Спустя несколько дней, доктор Риккабокка отправил к сквайру в конверте, без всякой надписи, письмо, полученное им от лорда Л'Эстренджа. По всему видно было, что этому письму предназначалось встретиться со взорами сквайра



и служить верным ручательством за прекрасное имя и происхождение доктора. Оно не было написано по форме обыкновенного свидетельства, но с соблюдением всех условий деликатности, обнаруживавших более чем хорошее образование, какого должно было ожидать от человека в положении лорда Л'Эстренджа. Изысканные, но нехолодные, выражения учтивости, – выражения, переданные бумаге прямо от сердца, тон искреннего уважения к особе Риккабокка, говоривший в пользу его, сильнее всякого формального свидетельства о его качествах и предшествовавших обстоятельствах его жизни, были весьма достаточны, чтоб устранить всякие сомнения в душе человека, гораздо недоверчивее и пунктуальнее сквайра Гэзельдена.

Таким образом счастью Риккабокка и мисс Гэзельден все благоприятствовало.

## Глава XXIV

Никакое событие в жизни людей высшего сословия не пробуждает такой симпатичности в людях, поставленных в общественном быту на низшую ступень, как свадьба.

С той минуты, как слух о предстоящей свадьбе распространился по деревне, вся прежняя любовь поселян к сквайру и его фамилии снова была вызвана наружу. Снова искренния приветствия встречали сквайра у каждого дома в деревне, в то время, как он проходил мимо их, отправляясь на ферму, – снова загорелые и угрюмые лица поселян принимали веселый вид при его поклоне. Мало того: деревенские ребятишки снова собирались для игр на любимое место.

Сквайр еще раз испытывал в душе своей всю прелесть той особенной приверженности, приобрести которую стоит дорого и потерю которой благоразумный человек весьма справедливо стал бы оплакивать, – приверженности, проистекающей из уверенности в нашу душевную доброту. Подобно всякому блаженству, сильнее ощущаемому после некоторого промежутка, сквайр наслаждался возвращением этой приверженности с каким-то отрадным чувством, наполнявшим все его существование; его мужественное сердце билось чаще и сильнее, его тяжелая поступь сделалась гораздо легче, его красивое английское лицо казалось еще красивее и еще сильнее выражало тип англичанина; вы сделались бы на це-

люю неделю веселее, еслиб только до вашего слуха долетел его громкий смех, выходявший из самой глубины его сердца.

Сквайр в особенности чувствовал признательность к Джемиме и Риккабокка, как к главным виновникам этой общей *inlegratio amoris*. Взглянув на него, вы, право, подумали бы, что он сам готовится вторично праздновать свадьбу с своей Гэрри! Что касается приходской колоды, то судьба её была непреложно решена.

Да, это была самая веселая свадьба, – деревенская свадьба, в которой все принимали участие от чистого сердца. Деревенские девушки посыпали дорогу цветами; в самой лучшей, живописной части парка, на окраине спокойного озера, устроен был открытый павильон и украшен также цветочными гирляндами: этот павильон предназначался для танцев; для поселян был зажарен целый бык. Даже мистер Стирн... впрочем, нет! мистер Стирн не присутствовал на этом торжестве: видеть так много радости и счастья было бы для него убийственно! И для кого же это делалось все? для чужеземца, который умышленно освободил из колоды мальчишку Ленни и сам посадил себя в эту колоду, единственно с той целью, чтоб сделать опыт над самим собою; Стирн был уверен, что мисс Джемима выходила замуж за чернокнижника, и тщетно стали бы вы стараться убедить его в противном. Поэтому мистер Стирн выпросил позволение уехать на этот день из деревни и отправился к своему родному дядюшке, занимавшемуся исключительно ссу-

дою неимущим денег под заклад вещей. Франк также присутствовал на этой свадьбе: на этот случай его нарочно взяли из Итонской школы. С тех пор, как Франк оставил после каникул Гэзельден-Голл, он вырос на целые два вершка; с своей стороны, мы полагаем, что за один из этих вершков он много был обязан природе, а за другой – еще более новой паре великолепных веллингтоновских сапогов. Однако же, радость этого юноши в сравнении с другими была не так заметна. Это происходило оттого, что Джемима всегда особенно благоволила к нему, и что, кроме снисходительности и нежности, постоянно оказываемой Франку, она, возвращаясь в Гэзельден из какого нибудь приморского местечка, каждый раз привозила ему множество хорошеньких подарков. Франк чувствовал, что, лишаясь Джемимы, он лишался весьма многого, и полагал, что она сделала весьма странный, даже ни с чем несообразный выбор.

И капитан Гиджинботэм был также приглашен на свадьбу: но, к крайнему изумлению Джемимы, он отвечал на это приглашение письмом, адресованным на её имя и с надписью на уголке: *«по секрету»*.

«Она должна знать давно – говорил он между прочим – об его глубокой преданности к ней. Одна только излишняя деликатность, проистекающая от весьма ограниченных его доходов, благородство чувств его и врожденная скромность удерживали его от формального предложения. Теперь же, когда ему стало известно (о! я едва верю в свои чувства

и с трудом удерживаю порывы отчаяния!), что её родственники принуждают ее вступить в *бесчеловечный* брак с чужеземцем, *самой предосудительной наружности*, он не теряет ни минуты повергнуть к стопам её свое собственное сердце и богатство. Он делает это тем смелее, что ему уже несколько знакомы *сокровенные* чувства мисс Джемимы в отношении к нему; в тоже время он с особенной *гордостью* и с беспредельным *счастьем* должен сказать, что его неоцененный кузен мистер Шарп Корре удостоил его самым искренним родственным расположением, оправдывающим самые *блестящие ожидания*, которым, весьма вероятно, суждено в скором времени осуществиться, так как его превосходный родственник получил на службе в Индии сильное расстройство печени и нет никакой надежды на продолжительность его существования!»

Весьма странным покажется, быть может, моим читателям, но мисс Джемима, несмотря на продолжительное знакомство, никогда не подозревала в капитане чувства нежнее братской любви. Сказать, что ей не понравилось открытие своей ошибки, мне кажется тоже самое, что сказать, что она была более, чем обыкновенная женщина. Решительным отказом столь блестящего предложения она могла доказать свою бескорыстную любовь к её неоцененному Риккабокка, а это, согласитесь, должно было составлять источник величайшего торжества. Правда, мисс Джемима написала отказ в самых мягких, утешительных выражениях, но капитан,

как видно было, чувствовал себя оскорбленным: он не ответил на это письмо и не приехал на свадьбу.

Чтоб посвятить читателя в некоторые тайны, неведомые мисс Джемиме, мы должны сказать, что, делая это предложение, капитан Гиджинботэм был руководим более Плутусом, чем Купидоном. Капитан Гиджинботэм был одним из класса джентльменов, считающих свои доходы по тем блуждающим огонькам, которые называются *ожиданиями*. С самых тех пор, как дедушка сквайра завещал капитану, в ту пору еще ребенку, 500 фунтов стерлингов, капитан населил свою будущность ожиданиями. Он рассуждал о своих ожиданиях, как рассуждает человек об акциях общества застрахования жизни; от времени до времени они изменялись, то повышаясь, то понижаясь, но капитан Гиджинботэм ни под каким видом не хотел допустить мысли, что он рано или поздно не сделается миллионером, – само собою разумеется, если только жизнь его продлится. Хотя мисс Джемима была пятнадцатью годами моложе его, но, несмотря на то, в призрачных книгах капитана она занимала место, соответствующее весьма значительному капиталу, или, вернее сказать, она составляла *ожидание* на капитал в четыре тысячи фунтов стерлингов.

Опасаясь, чтоб из его главной счетной книги не вычернулась такая огромная цифра, опасаясь, чтобы такой значительный куш не исчез чисто на чисто из фамильного капитала, капитан Гиджинботэм решился сделать, как он во-

ображал, если не отчаянный, зато по крайней мере верный шаг к сохранению своего благосостояния. Если нельзя овладеть золотыми рогами без тельца, то почему же не взять и самого тельца в придачу? Он никак не воображал, чтобы такой нежный телец мог бодаться. Удар был оглушительный. Впрочем, никто, я думаю, не станет сожалеть о несчастьях человека алчного, и потому, оставив бедного капитана Гиджинботэма поправлять свои мечтательные богатства, как он сам признает за лучшее, насчет «блестящих ожиданий», скопившихся вокруг особы мистера Шарпа-Корре, я возвращаюсь к гэзельденской свадьбе, в самую настоящую пору, чтоб любоваться женихом. Риккабокка был весьма замечателен при этой okazji. Взгляните, как он ловко помогает своей невесте сесть в карету, которую сквайр подарил ему, и с каким радостным лицом отправляется он в церковь, среди благословений толпы поселян, между тем как невеста, глаза которой подернуты слезой и лицо озарено улыбкой счастья, была весьма интересная и даже милая невеста. Для людей, не имеющих привычки углубляться в размышления, странным покажется, что деревенские зрители так искренно одобряли и благословляли брак в фамилии Гэзельден с бедным выходцем, длинноволосым чужеземцем; но кроме того, что Риккабокка сделался уже одним из добрых соседей и приобрел название «вежливого джентльмена», надобно принять в соображение и то замечательное в своем роде обстоятельство, но которому, при всех вообще свадеб-

ных случаях, невеста до такой степени овладевает участием, любопытством и восхищением зрителей, что жених делается уже не только лицом второстепенным, но почти ничем. Он тут просто какое-то недействующее лицо во всем представлении – забытый виновник общей радости. Так точно и теперь: поселяне не на Риккабокка сосредоточивали свой восторг и благословения, но на джентльмене в белом жилете, которому суждено изменить для мисс Джемимы фамилию Гэзельден на Риккабокка.

Склонясь на руку своей жены – надобно заметить здесь, что в тех случаях, когда сквайр испытывал в душе своей особенное удовольствие, он всегда склонялся на руку жены, а не жена на его руку, и, право, было что-то трогательное при виде, как этот сильный, здоровый, могучий стан, в минуты счастья, искал, сам не замечая того, опоры на слабой руке женщины – склоняясь на руку жены, как я уже сказал, сквайр, около захождения солнца, спустился к озеру, к тому месту, где устроен был павильон.

Весь приход – молодые истарые, мужчины, женщины и ребяташки, – все собралось в павильон, и лица их, обращенные к радушной, отеческой улыбке своего господина, носили, под влиянием восторга, одинаково одушевлявшего всех, отпечаток одного фамильного сходства. Сквайр Гэзельден остановился при конце длинного стола, налил роговую чашу элем из полного жестяного кувшина, окинул взором собрание и поднял кверху руку, требуя этим молчания и тишины.



Потом встал он на стул и явился перед поселянами в полном виде. Каждый из присутствовавших понял, что сквайр намерен произнести *спич*, и потому напряженное внимание сделалось пропорциональным редкости события: сквайр в течение жизни только три раза обращался с речью к поселянам Гэзельдена (хотя он нередко обнаруживал свои таланты красноречия), и эти три раза были следующие: раз по случаю фамильного празднества, когда он представлял народу свою невесту, другой раз – во время спорного выбора, в котором он принимал более чем деятельное участие и был не так трезв, как бы следовало, в третий раз – по поводу великого бедствия в земледельческом мире, когда, смотря на уменьшение арендных доходов, многие фермеры принуждены были отпустить своих работников и когда сквайр говорил: «я отказал себе в гончих потому собственно, что намерен сделать в парке своем хорошенькое озеро и спустить все низменные места, окружавшие парк. Кто хочет работать, пусть идет ко мне!» И надобно сказать, что в ту несчастную годину в Гэзельдене никто не мог пожаловаться на стеснительность положения своего.

Теперь сквайр решился публично произнести спич в четвертый раз. По правую сторону от него находилась Гэрри, по левую – Франк. На другом конце стола, в качестве вице-президента, стоял мистер Дэль, позади его – маленькая жена его, которая приготовилась уже плакать и на всякий случай держала у глаз носовой платочек.

«— Друзья мои и ближайшие соседи! начал сквайр: — благодарю вас от души, что вы собрались сегодня вокруг меня и принимаете такое усердное участие во мне и в моем семействе. Моя кузина, не то что я, не родилась между вами; но вы знакомы с ней с её раннего детства. Вы будете сожалеть о том, что её лицо, всегда ласковое, не показывается у дверей ваших коттэджов, так как я и мое семейство долго будем сожалеть о том, что её нет в нашем кругу....

При этих словах между женщинами послышались легкия рыдания, между тем как на месте мистрисс Дэль виднелся один только беленький платочек. Сквайр сам остановился и отер ладонью горячую слезу. Потом он стал продолжать, с такой внезапной переменой в голосе, которая произвела электрическое действие;

«— Мы тогда только умеем ценить счастье, когда лишаемся его! Друзья мои и соседи! назад тому немного времени казалось, что в ваше селение проникло чувство недоброжелательства к ближнему, — чувство несогласия между вами, друзья, и мной! Это, мне кажется, не шло бы для нашего селения.

Слушатели повесили головы. Вам, я полагаю, никогда не случалось видеть людей, которые бы так сильно стыдились самих себя. Сквайр продолжал:

«— Я не говорю, что в этом виноваты вы: быть может, тут есть и моя вина.

— Нет, нет, нет! раздалось из толпы.

«— Позвольте, друзья мои, продолжал сквайр, с покорностью, и употребляя один из тех поясняющих афоризмов, которые если не сильнее афоризмов Риккабокка, зато были доступнее понятиям простого народа: — позвольте! мы все смертные, каждый из нас имеет своего любимого конька, иногда седок сам выезжает своего конька, иногда конек, особенно если он крепкоуздый, объезжает седока. У одного конек имеет весьма дурную привычку всегда останавливаться у питейного дома! *(Смех.)* У другого он не сделает и шагу от ворот, где какаянибудь хорошенькая девушка приласкала его за неделю: на этом коньке я сам частенько ездил, когда ухаживал за моей доброй женой! *(Громкий смех и рукоплескания.)* У иных бывает ленивый конек, который терпеть не может двигаться вперед; у некоторых такой горячий, что никаким образом не удержишь его... Но, не распространяясь слишком, скажу вам откровенно, что мой любимый конек, как вам самим известно, всегда мчится к какомунибудь месту в моих владениях, где требуются глаз и рука владетеля! Терпеть не могу *(вскричал сквайр, с усиливающимся жаром)* видеть, как некоторые предметы остаются в небрежности, теряют прежний свой вид и пропадают! Земля, на которой мы живем, для нас добрая мать; следовательно, для неё мы не можем сделать чегонибудь особенного. По истине, друзья мои, я обязан ей весьма многим и считаю долгом отзываться о ней хорошо; но что же из этого следует? я живу между вами, и все, что принимаю от вас одной рукой,

я делю между вами другой. (*Тихий, но выражающий согласие ропот.*) Чем более пекусь я об улучшении моего имения, тем большее число людей питает это имение. Мой прадед вел *полевую книгу*, в которой записывал не только имена всех фермеров и количество земли, занимаемое ими, но и число работников, которое они нанимали. Мой дед и отец следовали его примеру; я сделал то же самое, и нахожу, друзья мои, что наши доходы удвоились с тех пор, как мой прадед начал вести книгу, число работников учетверилось, и все они получают гораздо большее жалованье! Следовательно, эти факты служат ясным доказательством тому, что должно стараться улучшить имение, но отнюдь не оставлять его в небрежении. (*Рукоплескание.*) Поэтому, друзья мои, вы охотно извините моего конька: он доставляет помол на вашу мельницу. (*Усиленные рукоплескания.*) Но вы, пожалуй, спросите: «куда же мчится наш сквайр?» А вот куда, друзья мои: во всем селении нашем находилось всего только одно обветшалое, устарелое, полу-разрушенное место: оно было для меня как бельмо на глазу: вот я и оседлал моего конька и поехал. Ага! вы догадываетесь, куда я мечу! Да, друзья мои, не следовало бы вам принимать это так близко к сердцу. Вы до того озлобились против меня, что решились изображать мой портрет в каррикатурном виде.

– Это не ваш портрет! раздался голос в толпе – это портрет Ника Стирна.

Сквайр узнал голос медника и хотя догадывался, что этот

медник был главным зачинщиком, но в этот день всепрощения сквайр имел довольно благоразумия и великодушие, чтоб не сказать: «выйди вперед, Спротт: тебя-то мне и нужно.» Несмотря на то, ему не хотелось, однако же, чтобы этот негодяй отделался так легко.

«— Так вы говорите, что это был Ник Стирн, продолжал сквайр, весьма серьёзно:— тем более должно быть стыдно вам. Это так мало похоже на поступок гэзельденских поселян, что я подозреваю, что это было сделано человеком, который вовсе не принадлежит к нашему приходу. Впрочем, что было, то и прошло. Ясно тут одно только, что вы очень не благоволите к приходской колоде. Она служила для всех камнем преткновения и источником огорчения, хотя нельзя отвергать того, что мы можем обойтись и без неё. Я даже могу сказать, что, на зло ей, между нами снова восстановилось доброе согласие. Я не могу выразить удовольствия, когда увидел, что, ваши дети снова заиграли, на любимом своем месте и честные ваши лица засияли радостью при одной мысли, что в Гэзельден-Голле готовится радостное событие. Знаете ли, друзья, мои, вы, привели мне на ум старинную историйку, которую, кроме, применения её к приходу, вероятно, запомнят все женатые и все, кто намерен жениться. Почтенная чета, по имени Джон и Джоана, жили счастливо в течение многих лет. В один несчастный день вздумалось им купить новую подушку. Джоана говорила, что подушка эта слишком жестка, а Джон утверждал, что она слишком

мягка. Само собою разумеется, что после этого спора они поссорились, а на ночь согласились положить подушку между собой...

(Между мужчинами поднимается громкий хохот. Женщины не знают, в которую сторону смотреть, и все сосредоточивают свои взоры на мистрисс Гэзельден, которая хотя и разругалась более обыкновенного, но, сохраняя свою невинную, приятную улыбку, как будто говорила тем: «не беспокойтесь, в шутках сквайра не может быть дурного.»)

Оратор снова начал:

«— Недовольные супруги молча продолжали покоиться в этом положении несколько времени, как вдруг Джон чихнул. «Будь здоров!» сказала Джоана через подушку. «Ты говоришь, Джоана, будь здоров! ну так прочь подушку! совсем не нужно её.»

(Продолжительный хохот и громкия рукоплескания.)

«— Так точно, друзья мои и соседи, сказал сквайр, когда наступила тишина, и поднимая чашу с пивом: — и между нами стояла колода и была причиной нашего несогласия. Теперь же считаю: за особенное удовольствие уведомить вас, что я приказал скрыть эту колоду до основания. Но помните, если вы заставите сожалеть о потере колоды и если окружные надсмотрщики придут ко мне с длинными лицами и скажут: «колоду должно, выстроить снова», тогда....

Но при этом со стороны деревенских юношей поднялся такой оглушительный крик, что сквайр показал бы из себя

весьма дурного оратора, еслиб сказал еще хоть одно слово по этому предмету. Он поднял над головой чашу с пивом и вскричал:

– Теперь, друзья мои, я снова вижу перед собой моих прежних гэзельденских поселян! Будьте здоровы и счастливы на многие лета!

Медник, украдкой, оставил пирующее собрание и не показывался в деревню в течение следующих шести месяцев.

## Глава XXV

Супружество принадлежит к числу весьма важных эпох в жизни, человека. Никому не покажется удивительным заметить значительное, изменение в своем друге, даже а в таком случае, если этот друг испытывал супружескую жизнь не более недели. Эта перемена в особенности была заметна, в мистере и мистрисс Риккабокка. Начнем прежде говорить о лэди, как подобает каждому вежливому джентльмену. Мистрисс Риккабокка совершенно сбросила с себя меланхоличность, составлявшую главную характеристику мисс Джемимы; она сделалась развязнее, бодрее, веселее и казалась, вследствие такой перемены, гораздо лучше и милее. Она не замедлила выразить мистрисс Дэль откровенное признание в том, что, по теперешнему её мнению, свет еще очень далеко находился от приближения к концу. В этом уповании она не забывала обязанностей, которые внушал ей новый образ жизни, и первым делом поставила себе «привести свой дом в надлежащий порядок». Холодное изящество, обнаруживающее во всем бедность и скупость, исчезло как очарование, или, вернее, изящество осталось, но холод и скупость исчезли перед улыбкой женщины. После женитьбы своего господина Джакеймо ловил теперь миног и пискарей собственно из одного только удовольствия. Как Джакеймо, так и Риккабокка заметно пополнели. Короче сказать,



прекрасная Джемима сделалась превосходною женой. Риккабокка хотя в душе своей и считал ее небережливую, даже расточительною, но, как умный человек, раз и навсегда отказался заглядывать в домашние счета и кушал росбиф с невозмутимым спокойствием.

В самом деле, в натуре мистрисс Риккабокка столько было непритворной нежности, под её спокойной наружностью так радостно билось сердце Гэзельденов, что она как нельзя лучше оправдывала все приятные ожидания мистрисс Дэль. И хотя доктор не хвалился шумно своим счастьем, хотя не старался выказать своего блаженства, как это делают некоторые новобрачные, перед угрюмыми, устарелыми четами, не хотел ослеплять своим счастьем завистливые взоры одиноких, но все же вы легко можете усмотреть, что против прежнего он куда как далеко казался и веселее и беспечнее. В его улыбке уже менее замечалось иронии, в его учтивости – менее холодности. Он перестал уже с таким прилежанием изучать Макиавелли, ни разу не прибежал к своим очкам, а это, по нашему мнению, признак весьма важный. Кроме того, кроткое влияние опрятной английской жены усматривалось в улучшении его наружности. Его платье, по видимому, сидело на нем гораздо лучше и было новее. Мистрисс Дэль уже более не замечала оторванных пуговиц на обшлагах и оставалась этим как нельзя более довольна. В одном только отношении мудрец не хотел сделать ни малейших изменений: он по-прежнему оставался верным своей трубке, пла-

щу и красному шелковому зонтику. Мистрисс Риккабокка (отдавая ей полную справедливость) употребляла все невинные, позволительные доброй жене ухищрения против этих трех останков от старого вдовца, но тщетно: «*Anima tua* – говорил доктор, со всею нежностью – я храню этот плащ, зонтик и эту трубку как драгоценные воспоминания о моем отечестве. Имей хоть ты к ним уважение и пощади их.»

Мистрисс Риккабокка была тронута и, по здравом размышлении, видела в этом одно только желание доктора удержать за собой некоторые признаки прежней своей жизни, с которыми охотно согласилась бы жена даже в высшей степени самовластная. Она не восставала против плаща, покорялась зонтику, скрывала отвращение от трубки. Принимая ко всему этому в расчет врожденную в нас склонность к порокам, она в душе своей сознавалась, что будь она сама на месте мужчины, то, быть может, от неё случилось бы чтонибудь гораздо хуже. Однакожь, сквозь все спокойствие и радость Риккабокка весьма заметно проглядывала грусть и часто сильное душевное беспокойство. Это началось обнаруживаться в нем со второй недели после бракосочетания и постепенно увеличивалось до одного светлого, солнечного после-полудня. В это-то время доктор стоял на своей террасе, всматриваясь на дорогу, на которой, по какому-то случаю, стоял Джакеймо. Но вот у калитки его остановилась почтовая карета. Риккабокка сделал прыжок и положил обе руки к сердцу, как будто кто прострелил этот орган, потом пере-

скочил через балюстраду, и жена его видела, как он, с распущенными волосами, полетел по склону небольшого возвышения и вскоре скрылся из её взора за деревьями.

«Значит, с этой минуты я второстепенное лицо в его доме – подумала мистрисс Риккабокка с мучительным чувством супружеской ревности. – Он побежал встретить свою дочь!»

И при этой мысли слезы заструились из её глаз.

Но в душе мистрисс Риккабокка столько скрывалось дружелюбного чувства, что она поспешила подавить свое волнение и изгладить, сколько возможно, следы минутной горести. Сделав это и упрекнув свое самолюбие, добрая женщина быстро спустилась с лестницы и, осветив лицо свое самую приятную улыбкою, выступила на террасу.

Мистрисс Риккабокка получила за все это надлежащее возмездие. Едва только вышла она на открытый воздух, как две маленькие ручки обвились вокруг неё и пленительный голос, какой когда либо слетал с уст ребенка, умоляющим тоном, хотя и на ломаном английском наречии, произнес:

– Добрая мама, полюби и меня немножко.

– Полюбить тебя, мой ангел? о, я готова от всей души! вскричала мачиха, со всею искренностью и нежностью материнского чувства, и вместе с тем прижала к груди своей ребенка.

– Бог да благословит тебя, жена! произнес Риккабокка,

дрожащим голосом.

– Пожалуйте, сударыня, примите вот и это, прибавил Джакеймо, сколько позволяли ему слезы. И он отломил большую ветку, полную цветов, от своего любимого померанцевого дерева, и всунул ее в руку своей госпожи.

Мистрисс Риккабока решительно не постигала, что хотел Джакеймо выразить этим поступком.

Виоланта была очаровательная девочка. Взгляните на нее теперь, когда она, освобожденная от нежных объятий, стоит, все еще прильнув одной рукой к своей новой маме и протянув другую руку Риккабокка. Вглядитесь в эти большие черные глаза, плавающие в слезах счастья. Какая пленительная улыбка! какое умное, откровенное лицо! Она сложена очень нежно: очевидно, что она требует попечения, она нуждается в матери. И редкая та женщина, которая не полюбила бы этого ребенка с чувством матери. Какой невинный, младенческий румянец играет на её чистых, гладеньких щечках! сколько прелести и натуральной грации в её тонком стане!

– А это, верно, твоя няня, душа моя? спросила мистрисс Риккабокка, заметив смуглую иностранку, одетую весьма странно – без шляпки и без чепчика, но с огромной серебряной стрелой, пропущенной сквозь косу, и крупными бусами на шейном платке.

– Это моя добрая Анета, отвечала Виоланта по итальянски. – Папа, она говорит, что ей нужно воротиться домой; но ведь она останется здесь? не правда ли?

Риккабокка, незамечавший до этой минуты незнакомую женщину, изумился при этом вопросе, обменялся с Джакеймо беглым взглядом и потом, пробормотав что-то в роде извинения, приблизился к няне и, предложив ей следовать за ним, ушел в отдаленную часть своих владений. Он возвратился спустя более часу, но уже один, без женщины. В нескольких словах, он объяснил своей жене, что няня должна немедленно отправиться в Италию, что она теперь же пошла в деревню – встретить там почтовую карету; что в доме их она была бы совершенно бесполезна, тем более, что она ни слова не знает по английски, и наконец выразил свои опасения, что Виоланта будет очень сокрушаться о ней. И действительно, первое время Виоланта скучала по своей Анете. Но для ребенка, такого нежного и признательного, как Виоланта, отыскать отца, находиться под его кровом было великим счастьем; и, конечно, она не могла быть грустною, когда к всегдашнему утешению её находился подле неё отец.

В течение первых дней Риккабокка, кроме себя, никому не позволял находиться подле дочери. Он не хотел даже допустить и того, чтоб Виоланта оставалась одна с Джемимой, Они вместе гуляли и вместе по целым часам просиживали в бельведере. Но потом Риккабокка постепенно начал поручать ее попечениям Джемимы и просил учить ее в особенности английскому языку, из которого Виоланта, по прибытии в казино, знала несколько необходимых фраз, вытверженных

наизусть.

В доме Риккабокка находилось одно только лицо, которое оставалось крайне недовольным как женитьбой своего господина, так и прибытием Виоланты, и это лицо было никто другой, как друг наш Ленни Ферфильд. Философ совершенно прекратил принимать участие в разработке этого грубого ума, который употреблял все усилия, чтоб озарить себя светом науки. Но в течение сватовства и вовремя свадебного периода Ленни Ферфильд быстро переходил из своего искусственного положения – в качестве ученика философа, в положение натуральное – в ученика садовника. По прибытии же Виоланты, он, к крайнему и весьма естественному прискорбию своему, увидел, что не только Риккабокка, но и Джакеймо совершенно забыли его. Правда, Риккабокка продолжал ссужать его своими книгами и Джакеймо продолжал читать ему лекции о земледелии, но первый из них не имел ни времени, ни расположения развлекать себя приведением в порядок удивительного хаоса, который производили книги в идеях мальчика; а последний весь предался алчности к тем золотым рудам, которые погребены были под акрами полей, принятых от сквайра до прибытия дочери Риккабокка. Джакеймо полагал, что приданое для Виоланты не иначе можно составить, как продуктами с этих полей. Теперь же, когда прекрасная барышня действительно находилась на глазах верного слуги, его трудолюбию сделан был такой сильный толчок, что он ни о чем больше не ду-

мал, как об одной только земле и перевороте, который намеревался сделать в её произведениях. Весь сад, за исключением только померанцевых деревьев, поручен был Ленни, а для присмотра за полями нанято было еще несколько работников. Джакеймо сделал открытие, что одна часть земли как нельзя лучше годилась под посев лавенды, а на другой могла бы расти прекрасная ромашка. Он мысленно отделял небольшую часть поля, покрытого тучным черноземом, под посев льну: но сквайр сильно восставал против этого распоряжения. Было время, когда в Англии посев этого зерна, самого прибыльного из всех зерен, употреблялся довольно часто, но теперь вы не найдете ни одного контракта на откупное содержание земли, в котором не было бы сделано оговорки, воспреещающей посев льну, который сильно истощает плодотворное качество земли. Хотя Джакеймо и старался теоретически доказать сквайру, что лен содержит в себе частицы, которые, превращаясь в землю, вознаграждают все, что отнимается зерном, но мистер Гэзельден имел свои старинные предубеждения, которые трудно, или, вернее сказать, невозможно было победить.

– Мои предки, говорил он: – включили это условие в поземельные контракты не без основательной причины; а так как казино записано на Франка, то я не имею права исполнять на его счет ваши чужеземные выдумки.

Чтоб вознаградить себя за потерю такого выгодного посева, как лен, Джакеймо решился обратиться весьма обширный

кусок пажити под огород, который, по его предположениям, к тому времени, как выходить мисс Виоланте замуж, будет приносить чистого дохода до десяти фунтов с акра. Сквайр сначала не хотел и слышать об этом; но так как тут ясно было, что земля с каждым годом будет удобряться и современным пригодится под фруктовый сад, то и согласился уступить Джакеймо требуемую часть поля.

Все эти перемены оставляли бедного Ленни Ферфильда на собственный его произвол в то время, когда новые и странные идеи, неизбежно возникающие при посвящении юноши в книжную премудрость, более всего требовали верного направления под руководством развитого и опытного ума.

Однажды вечером, возвращаясь в коттедж своей матери с угрюмым лицом и в весьма унылом расположении духа, Ленни Ферфильд совершенно неожиданно наткнулся на мистера Спротта, странствующего медника.

Мистер Спротт сидел около изгороди и на досуге постукивал в старый дырявый котел. Перед ним разведен был небольшой огонь, а не вдалеке от него дремал его смиренный осел. Медник приветливо кивнул головой, когда Ленни поровнялся с ним.

– Добрый вечер, Ленни, сказал он: – приятно слышать, что ты получил хорошее место у этого монсира.

– Да, отвечал Ленни, и на лице его отразилась злоба, вероятно, вследствие неприятных воспоминаний. – Теперь вам



не стыдно говорить со мной, когда я остался по-прежнему честным мальчиком. Но мне угрожало бесчестие, хотя и безвинно, и тогда этот джентльмен, которого, не знаю почему вы называете монсиром, оказал мне величайшую милость.

– Слышал, Ленни, слышал, отвечал медник, растягивая слово «слышал», не без особого значения. – Только жаль, что этот настоящий джентльмен гол как сокол; бедный медник поставлен был бы в затруднительное и щекотливое положение, еслиб пришлось ему иметь дело с этим джентльменом. Впрочем присядь-ка, Ленни, на минутку: мне нужно кое о чем поговорить с тобой.

– Со мной?

– Да, с тобой. Толкни животину-то в сторону да и садись вот сюда.

Ленни весьма неохотно и, в некоторой степени, с сохранением своего достоинства принял приглашение.

– Я слышал, сказал медник, довольно невнятно, потому что в зубах его зажаты были два гвоздя: – я слышал, что ты сделался необыкновенным любителем чтения. Вон в этом мешке у меня есть дешевенькие книга; не хочешь ли, продам тебе?

– Мне хотелось бы сначала посмотреть их, сказал Ленни, и глаза его засверкали.

Медник встал, раскрыл одну из двух корзин, перекинутых через хребет осла, вынул оттуда мешок и, положив его перед Леший, сказал, чтобы он выбирал книги, какие понравятся.

Крестьянский юноша ничего не мог желать лучшего. Он высыпал на траву все содержание мешка, и перед ним явилась обильная и разнообразная пища для его ума, – пища и отравы – *serpentes avibus*, – добро и зло. Тут лежал «Потерянный Рай» Мильтона, там «Век рассудка», далее «Трактаты методистов», «Золотые правила для общественного быта», «Трактаты об общепользовательных сведениях», «Воззвания к ремесленникам», написанные лжеумствованиями, подстрекаемыми тем же самым стремлением к славе, которая была для Герострата побудительной причиной к сожжению храма, причисленного к одному из чудес света. – Тут же лежали и произведения фантазии неподражаемой, как, например, «Робинзон Крузо», или невинной – как «Старый Английский Барон», в том числе и грубые переводы всей чепухи, имевшей такое пагубное влияние на юную Францию во времена Людовика XV. Короче сказать, эта смесь составляла отрывки из того книжного мира, из того обширного града, называемого «Книгопечатанием», с его дворцами и хижинами, водопроводами и грязесточными трубами, который в равной степени открывается обнаженному взору и любознательному уму того, кому будет оказано, с такой же беспечностью, с какою медник сказал Ленни:

– Выбери, что тебе понравится.

Но первые побуждения человеческой природы, – побуждения сильные и непорочные, никогда не принудят человека поселиться в хижине и утолять жажду из грязной кана-

вы; так и теперь Ленни Ферфильд отложил в сторону дурные книги, в совершенном неведении, что они были дурные и, выбрав две-три книги лучшие, представил их меднику и спросил о цене.

– Покажи, покажи, сказал мистер Спротт, надевая очки. – Э-эх, братец! да ты выбрал у меня самые дорогие. Там есть дешевенькие и гораздо интереснее.

– Мне что-то не нравятся они, отвечал Ленни: – да притом я совсем не понимаю, о чем в них написано. Эта же книга, кажется, рассуждает об устройстве паровых машин, и в ней хорошенькие чертежи и рисунки; а эта – «Робинзон Крузо». – Мистер Дэль давно уж обещал подарить мне эту книжку; да нет! уж лучше будет, если я сам куплю её.

– Как хочешь: это в твоей воле, отвечал медник. – Эти книги стоят четыре шиллинга, и ты можешь заплатить мне в будущем месяце.

– Четыре шиллинга? да это огромная сумма! произнес Ленни: – впрочем, я постараюсь скопить такие деньги, если вы согласны подождать. – Прощайте, мистер Спротт!

– Постой минуточку, сказал медник:– ужь так и быть, я прикину тебе на придачу вот эти две маленькие книжонки. Я продаю по шиллингу целую дюжину: значит эти две будут стоить два пенса. Когда ты прочитаешь их, так я уверен, что придешь ко мне и за другими.

И медник швырнул Ленни два номера «Бесед с ремесленниками». Ленни поднял их с признательностью.

Молодой искатель познаний направил свой путь через зеленые поля, по окраине деревьев, покрытых осенним, желтеющим листом. Он взглянул сначала на одну книгу, потом на другую, и не знал, которую из них начать читать.

Медник встал с места и подкинул в угасающий огонь листьев, валежнику и сучьев, частью засохших, частью свежих.

Ленни в это время открыл первый номер «Бесед»; они не занимали большего числа страниц и были доступнее для его понятий, чем изъяснение устройства паровых машин.

Медник поставил на огонь припайку и вынул паяльный инструмент.

## Глава XXVI

Вместе с тем, как Виоланта более и более знакомилась с новым своим домом, а окружающие Виоланту более и более знакомились с ней, в её поступках и поведении замечалось какое-то особенное величие, которое еслиб не было в ней качеством натуральным, врожденным, то для дочери изгнанника, ведущего уединенную жизнь, показалось бы неуместным; даже между детьми высокого происхождения, в таком раннем возрасте, оно было бы весьма редким явлением. Она протягивала свою маленькую ручку для дружеского пожатия или подставляла свою нежную, пухленькую точку для поцалуя не иначе, как с видом маленькой принцессы. Но, при всем том, она была так мила, и самое величие её было так прелестно и пленительно, что, несмотря на гордый вид, ее любили оттого несколько не меньше. Впрочем, она вполне заслуживала привязанности; хотя гордость её выходила из тех пределов, которые одобряла мистрисс Дэль, но зато была совершенно чужда эгоизма, – а такую гордость ни под каким видом нельзя назвать обыкновенною. Виоланта одарена была удивительною способностью располагать других в свою пользу; и, кроме того, вы бы легко могли заметить в ней самой расположение к возвышенному женскому героизму – к самоотвержению. Хотя она была во всех отношениях оригинальная девочка, часто задумчивая и серьёз-

ная, с глубоким, но приятным оттенком грусти на лице, но, несмотря на то, она не лишена была счастливой, беспечной веселости детского возраста; одно только, что в минуты этой веселости серебристый смех её звучал не так музыкально, и её жесты были спокойнее, чем у тех детей, которые привыкли забавляться играми в кругу многих товарищей. Мистрисс Гэзельден больше всего любила ее за её задумчивость и говорила, что «современем из неё выйдет весьма умная женщина.» Мистрисс Дэль любила ее за веселость и говорила, что она «родилась пленять мужчин и сокрушать сердца», за что мистер Дэль нередко упрекал свою супругу. Мистрисс Гэзельден подарила Виоланте собрание маленьких садовых орудий, а мистрисс Дэль – книжку с картинками и прекрасную куклу. Книга и кукла долгое время пользовались предпочтением. Это предпочтение до такой степени не нравилось мистрисс Гэзельден, что она решилась наконец заметить Риккабокка, что бедный ребенок начинает бледнеть, и что ему необходимо нужно как можно больше находиться на открытом воздухе. Мудрый родитель весьма искусно представил Виоланте, что мистрисс Риккабокка пленилась её книжкой с картинками, и что сам он с величайшим удовольствием стал бы играть с её хорошенькою куклой, Виоланта поспешила отдать и то и другое и никогда не испытывала такого счастья, как при виде, что мама её (так называла она мистрисс Риккабокка) восхищалась картинками, а её папа с серьёзным и важным видом, нянчился с куклой. По-

сле этого Риккабокка уверил ее, что она могла бы быть весьма полезна для него в саду, и Виоланта немедленно пустила в действие свою лопатку, грабли и маленькую тачку.

Последнее занятие привело ее в непосредственное столкновение с Лепни Ферфильдом, – и, однажды утром, этот должностной человек в хозяйственном управлении мистера Риккабокка, к величайшему ужасу своему, увидел, что Виоланта выколола почти целую грядку сельдерея, приняв это растение, по неведению своему, за простую траву.

Ленни закипел гневом. Он выхватил из рук девочки маленькие грабли и сказал ей весьма сердито:

– Вперед, мисс, вы не должны делать этого. Я пожалуйюсь вашему папа, если вы....

Виоланта выпрямилась: она услышала подобные слова в первый раз по прибытии в Англию, и потому в изумлении её, отражавшемся в черных глазах, было что-то комическое, а в позе, выражавшей оскорбленное достоинство, что-то трагическое.

– Это очень нехорошо с вашей стороны, продолжал Леонард, смягчив тон своего голоса, потому что взоры Виоланты невольным образом смиряли его гнев, а её трагическая поза пробуждала в нем чувство благоговейного страха. – Надеюсь, мисс, вы не сделаете этого в другой раз.

– *Non capisco* (не понимаю), произнесла Виоланта, и черные глаза её наполнились слезами.

В этот момент подошел Джакеймо.

– *Il fanciullo è molto grossolano* – это ужасно грубый мальчик, сказала Виоланта, указав на Леонарда, и в то же время всеми силами стараясь скрыть душевное волнение.

Джакеймо обратился к Ленни, с видом рассвирепевшего тигра.

– Как ты смел, червяк этакой! вскричал он:– как ты смел заставить синьорину плакать!

И вместе с этим он излил на бедного Ленни такой стремительный поток брани, что мальчик попеременно краснел и бледнел и едва переводил дух от стыда и негодования.

Виоланта в ту же минуту почувствовала сострадание к своей жертве и, обнаруживая истинно женское своеобразие, начала упрекать Джакеймо за его гнев, наконец, подойдя к Леонарду, взяла его за руку и, более чем с детской кротостью, сказала:

– Не обращай на него внимания, не сердись. Я признаю себя виновною; жаль, что я не поняла тебя с первого разу. Неужели это и в самом деле не простая трава?

– Нет, моя неоцененная синьорина, сказал Джакеймо, бросая плачевный взгляд на сельдерейную грядку: – это не простая трава: это растение в настоящую пору продается по весьма высокой цене. Но все же, если вам угодно полоть его, то желал бы я видеть, кто смеет помешать вам в этом.

Ленни удалился. Он вспомнил, что его называли червяком, – и кто же назвал его? какой-то Джакеймо, оборванный,



голодный чужеземец! С ним опять обошлись как нельзя хуже, – и за что? за то, что, по его понятиям, он исполнял свой долг. Он чувствовал, что его оскорбили в высшей степени. Гнев снова закипел в нем и с каждой минутой усиливался, потому что трактаты, подаренные ему странствующим медником, в которых именно говорилось о сохранении своего достоинства, в это время были уже прочитаны и произвели в душе мальчика желаемое действие. Но, среди этого гневного тревобления юной души, Ленни ощущал нежное прикосновение руки девочки, чувствовал успокоивающее, примирляющее влияние её слов, и ему стало стыдно, что с первого разу оти так грубо обошелся с ребенком.

Спустя час после этого происшествия, Ленни, совершенно успокоенный, снова принялся за работу. Джакеймо уже не было в саду: он ушел на поле; но подле сельдерейной грядки стоял Риккабокка. Его красный шолковый зонтик распущен был над Виолантой, сидевшей на траве; она устремила на отца своего взоры, полные ума, любви и души.

– Ленни сказал Риккабокка: – моя дочь говорит мне, что она очень дурно вела себя в саду, и что Джакомо был весьма несправедлив к тебе. Прости им обоим.

Угрюмость Ленни растаяла в один момент; влияние трактатов разрушилось, как рушатся воздушные замки, не оставляя за собой следов разрушения. Ленни, с выражением всей своей врожденной душевной доброты, устремил взоры сначала на отца и потом, с чувством признательности, опустил

их на лицо невинного ребенка-примирителя.

С этого дня смиренный Ленни и недоступная Виоланта сделались большими друзьями. С какою гордостью он научал ее различать сельдерей от пастернака, – с какою гордостью и она, в свою очередь, начинала узнавать, что услуги её в саду были не бесполезны! Дайте ребенку, особливо девочке, понять, что она уже имеет некоторую цену в мире, что она приносит некоторую пользу в семейном кругу, под защитою которого находится, и вы доставите ей величайшее удовольствие. Это самое удовольствие испытывала теперь и Виоланта. Недели и месяцы проходили своим чередом, и Ленни все свободное время посвящал чтению книг, получаемых от доктора и покупаемых у мистера Спротта. Последними из этих книг, вредными и весьма пагубными по своему содержанию, Ленни не слишком увлекался. Как олень по одному только инстинкту удаляется от близкого соседства с тигром, как один только взгляд скорпиона страшит вас дотронуться до него, хотя прежде вы никогда не видели его, так точно и малейшая попытка со стороны странствующего медника совлечь неопытного мальчика с пути истинного внушала в Ленни отвращение к некоторым из его трактатов. Кроме того деревенский мальчик охраняем был от пагубного искушения не только счастливым неведением того, что выходило за пределы сельской жизни, но и самым верным и надежным блюстителем – гением. Гений, этот мужественный, сильный и благодетельный хранитель, однажды

взяв под свою защиту душу и ум человека, неусыпно охраняет их, а если и задремлет когда, то на возвышении, усыпанном фиалками, а не на груде мусору. Каждый из нас получает себе этот величайший дар в большей или меньшей степени. Под влиянием его человек избирает себе цель в мире, и под его руководством устремляется к той цели и достигает ее. Ленни избрал для себя целью образование ума, которое доставило бы ему существенные в мире выгоды. Гений дал ему направление, сообразное с кругом действий Леонарда и с потребностями, невыходящими из пределов этого круга; короче сказать, он пробудил в нем стремление к наукам, которые мы называем механическими. Ленни хотел знать все, что касалось паровых машин и артезианских колодцев; а знание это требовало других сведений – в механике и гидростатике; и потому Ленни купил популярное руководство к познанию этих мистических наук и употребил все способности своего ума на приложение теории к практике. Успехи Ленни Ферфильда подвигались вперед так быстро, что с наступлением весны, в один прекрасный майский день, он сидел уже подле маленького фонтана, им самим устроенного в саду Риккабокка. Пестрокрылые бабочки порхали над куртинкой цветов, выведенной его же руками; вокруг фонтана весенняя птички звонко распевали над его головой. Леонард Ферфильд отдыхал от дневных трудов и, в прохладе, навеваемой от фонтана, которого брызги, перенимаемые лучами заходящего солнца, играли цветами радуги, углублялся

в разрешение механических проблем и в то же время сообщал применение своих выводов к делу. Оставаясь в доме Риккабокка, он считал себя счастливейшим человеком в мире, хотя и знал, что во всяком другом месте он получал бы более выгодное жалованье. Но голубые глаза его выражали всю признательность души не при звуке монет, отсчитываемых за его услуги, но при дружеском, откровенном разговоре бедного изгнанника о предметах, неимеющих никакой связи с его агрономическими занятиями; между тем как Виоланта не раз выходила на террасу и передавала корзинку с легкой, но питательной пищей для мистрисс Ферфильд, которая что-то частенько стала похварывать.

## Глава XXVII

Однажды вечером, в то время, как мистрисс Ферфильд не было дома, Ленни занимался устройством какой-то модели и имел несчастье сломать инструмент, которым он работал. Не лишним считаю напомнить моим читателям, что отец Ленни был главным плотником и столяром сквайра. Оставшиеся после Марка инструменты вдова тщательно берегла в особом сундуке и хотя изредка одоужала их Ленни, но для всегдашнего употребления не отдавала. Леопард знал, что в числе этих инструментов находился и тот, в котором он нуждался в настоящую минуту, и, увлеченный своей работой, он не мог дожидаться возвращения матери. Сундук с инструментами и некоторыми другими вещами покойного, драгоценными для оставшейся вдовы, стоял в спальне мистрисс Ферфильд. Он не был заперт, и потому Ленни отправился в него без всяких церемоний. Отыскивая потребный инструмент, Ленни нечаянно увидел связку писанных бумаг и в ту же минуту вспомнил, что когда он был еще ребенком, когда он ровно ничего не понимал о различии между прозой и стихами, его мать часто указывала на эти бумаги и говорила:

— Когда ты вырастешь, Ленни, и будешь хорошо читать, я дам посмотреть тебе на эти бумаги. Мой бедный Марк писал такие стихи, такие.... ну да что тут и говорить! ведь он

был ученый!

Леонард весьма основательно полагал, что обещанное время, когда он удостоится исключительного права прочитать изливания родительского сердца, уже наступило, а потому раскрыл рукопись с жадным любопытством и вместе с тем с грустным чувством. Он узнал почерк своего отца, который уже не раз видел прежде, в его счетных книгах и памятных записках, и внимательно прочитал несколько пустых поэм, обнаруживающих в авторе ни особенного гения, ни особенного умения владеть языком, ни звучности рифм, – короче сказать, таких поэм, которые были написаны для одного лишь собственного удовольствия, но не для славы, человеком, образовавшим себя без посторонней помощи, – поэм, в которых проглядывали поэтический вкус и чувство, но не было заметно ни поэтического вдохновения, ни артистической обработки. Но вдруг, перевертывая листки стихотворений, написанных большею частью по поводу какого нибудь весьма обыкновенного события, взоры Леонарда встретились с другими стихами, писанными совсем другим почерком, – почерком женским, мелким, прекрасным, разборчивым. Не успел он прочитать и шести строф, как внимание его уже было приковано с непреодолимой силой. Достоинством своим они далеко превосходили стихи бедного Марка: в них виден был верный отпечаток гения. Подобно всем вообще стихам, писанным женщиной, они посвящены были личным ощущениям; они не были зеркалом все-

го мира, но отражением одинокой души. Этот-то род поэзии в особенности и нравится молодым людям. Стихи же, о которых мы говорим, имели для Леонарда свою особенную прелесть: в них, по видимому, выражалась борьба души, имеющая близкое сходство с его собственной борьбой, какая-то тихая жалоба на действительное положение жизни поэта, какой-то пленительный, мелодический ропот на судьбу. Во всем прочем в них заметна была душа до такой степени возвышенная, что если бы стихи были написаны мужчиной, то возвышенность эта показалась бы преувеличенной, но в поэзии женщины она скрывалась таким сильным, безыскусственным изливанием искреннего, глубокого, патетического чувства, что она везде и во всем казалась весьма близкою к натуре.

Леонард все еще был углублен в чтение этих стихов, когда мистрисс Ферфильд вошла в комнату.

– Что ты тут делаешь, Ленни? ты, кажется, роешься в моем сундуке?

– Я искал в нем мешка с инструментами и вместо его нашел вот эти бумаги, которые вы сами говорили, мне можно будет прочитать когданибудь.

– После этого неудивительно, что ты не слыхал, как вошла я, сказала вдова, тяжело вздохнув. – Я сама не раз просиживала по целым часам, когда бедный мой Марк читал мне эти стихи. Тут есть одни прехорошенькие, под названием: «Деревенский очаг»; дошел ли ты до них?

– Да, дорогая матушка: я только что хотел сказать вам, что эти стихи растрогали меня до слез. Но чьи же это стихи? ужь верно не моего отца? Они, кажется, написаны женской рукой.

Мистрисс Ферфильд взглянула на рукопись – побледнела и почти без чувств опустилась на стул.

– Бедная, бедная Нора! сказала она, прерывающимся голосом. – Я совсем не знала, что они лежали тут же. Марк обыкновенно хранил их у себя, и они попали между его стихами.

Леонард. Кто же была эта Нора?

Мистрисс Ферфильд. Кто?... дитя мое.... кто? Нора была.... была моя родная сестра.

Леонард (*крайне изумленный, представлял в уме своем величайший контраст в идеальном авторе этих музыкальных стихов, написанных прекрасным почерком, с своею простой, необразованной матерью, которая неумела ни читать, ни писать*). Ваша родная сестра, возможно ли это? Следовательно, она мне тетка. Как это вам ни разу не вздумалось поговорить о ней прежде? О! вы должны бы гордиться его, матушка.

Мистрисс Ферфильд (*всплеснув руками*). Мы все и гордились ею, – все, все решительно: и отец и мать, – словом сказать, все! И какая же красавица она была! какая добренькая и не гордая, хотя на вид и казалась важной барыней. О, Нора, Нора!



Леонард (*после минутного молчания*). Она, должно быть, очень хорошо была воспитана.

Мистрисс Ферфильд. Да, уж можно сказать, что очень хорошо.

Леонард. Каким же образом могло это случиться?

Мистрисс Ферфильд (*покачиваясь на стуле*). А вот каким: милэди была её крестной матерью – то есть милэди Лэнсмер – и очень полюбила ее, когда она подросла. Милэди взяла Нору в дом к себе и держала при себе, потом отдала ее в пансион, и Нора сделалась такая умница, что из пансиона ее взяли прямо в Лондон – в гувернантки.... Но, пожалуйста, Ленни, перестанем говорить об этом, не спрашивай меня больше.

Леонард. Почему же нет, матушка? Скажите мне, что с ней сделалось, где она теперь?

Мистрисс Ферфильд (*заливаясь горькими слезами*). В могиле, в холодной могиле! Она умерла, бедняжка, – умерла!

Невыразимая грусть запала в сердце Леонарда. Читая поэта, мы, обыкновенно, в то же время представляем себе, что он еще жив, – считаем его нашим другом. При последних словах мистрисс Ферфильд, как будто что-то милое, дорогое внезапно оторвалось от сердца Леонарда. Он старался утешить свою мать; но её печаль, её сильное душевное волнение были заразительны, и Ленни сам заплакал.

– Давно ли она умерла? спросил он наконец, печальным голосом.

– Давно, Ленни, очень давно. . . . Но, прибавила мистрисс Ферфильд, встав со стула и положив дрожащую руку на плечо Леонарда: – вперед, пожалуйста, не напоминай мне о ней; ты видишь, как это тяжело для меня – это сокрушает меня. Мне легче слышать чтонибудь о Марке. . . . Пойдем вниз, Ленни. . . . уйдем отсюда.

– Могу ли я взять эти стихи на сбережение? Отдайте их мне, – прошу вас, матушка.

– Возьми, пожалуйста; ведь ты не знаешь, а тут все, что она оставила после смерти. . . . Бери их, если хочешь; только стихи Марка оставь в сундуке. Все ли они тут? Все? . . . Пойдем же.

И вдова хотя и не могла читать стихов своего мужа, но взглянула на сверток бумаги, исписанной крупными каракулями, и, тщательно разгладив его, снова убрала в сундук и прикрыла несколькими ветками лавенды, которые Леонард неумышленно рассыпал.

– Скажите мне еще вот что, сказал Леонард, в то время, как взор его снова остановился на прекрасной рукописи его тетки; – почему вы зовете ее Норой, тогда как здесь она везде подписывала свое имя буквой Л?

– Настоящее имя её было Леонора: ведь я, кажется, сказала тебе, что она была крестница милэди. Мы же, ради сокращения, звали ее просто Норой. . .

– Леонора, а я Леонард: не потому ли и я получил это имя?

– Да, да, потому, только, пожалуйста, замолчи, мой милый,

сказала мистрисс Ферфильд, сквозь слезы.

Никакие ласки, ни утешения не могли вызвать с её стороны продолжения или возобновления этого разговора, который очевидно пробуждал в душе её грустное воспоминание и вместе с тем невыносимую скорбь.

Трудно изобразить со всего подробностью действие, произведенное этим открытием на душу Леопарда. Кто-то другой, или другая, принадлежавшая к их семейству, уже предупредила его в полете, представляющем такое множество затруднений, – в полете к более возвышенным странам, где ум нашел бы плодотворную пищу и желаниям положен бы был предел. Ленни находил в своем положении сходство с положением моряка среди неведомых морей, который, на безлюдном острове, внезапно встречается с знакомым, быть может, близким сердцу именем, иссеченным на граните. И это создание, в удел которому выпали гений и скорбь, о бытии которого он узнал только по его волшебным песням, и которого смерть производила в простой душе сестры такую горячую печаль, даже спустя много лет после его кончины, это создание доставляло роману, образуящемуся в сердце юноши, идеал, которого он так давно и бессознательно отыскивал. Ему приятно было услышать, что она была прекрасна и добра. Он часто бросал свои книги для того, чтоб предаться упоительным мечтам о ней и представить в своем воображении её пленительный образ. Что в судьбе её скрывалась какая-то тайна – это было для него очевидно; и между

тем, как убеждение в этом усиливало его любопытство, самая тайна постепенно принимала какую-то чарующую прелесть, от влияния которой он нехотел освободиться. Он обрек себя упорному молчанию мистрисс Ферфильд. Причислив покойницу к числу тех драгоценных для нас предметов, сохраняемых в глубине нашего сердца, которых мы не решаемся открывать перед другими, он считал себя совершенно довольным. Юность в тесной связи с мечтательностью имеют множество сокровенных уголков в изгибах своего сердца, в которые они не впускают никого, – не впускают даже и тех, на скромность которых могут положиться, которые более всех других могли бы пользоваться их доверенностью. Я сомневаюсь в том, что человек, в душе которого нет недоступных, непроницаемых тайников, – сомневаюсь, чтобы этот человек имел глубокие чувства.

До этой поры, как уже было сказано мною, таланты Леонарда Ферфильда были направлены более к предметам положительным, чем идеальным, – более к науке и постижению действительности, нежели к поэзии и к той воздушной, мечтательной истине, из которой поэзия берет свое начало. Правда, он читал великих отечественных поэтов, но без малейшего помышления в душе подражать им: он читал их скорее из одного общего всем любопытства осмотреть все знаменитые монументы человеческого ума, но не из особенного пристрастия к поэзии, которое в детском и юношеском возрастах бывает слишком обыкновенно, чтоб принять его

за верный признак будущего поэта. Но теперь эти мелодии, неведомые миру, звучали в ушах его, мешались с его мыслями, превращали всю его жизнь, весь состав его нравственного бытия в непрерывную цепь музыкальных, гармонических звуков. Он читал теперь поэзию совершенно с другим чувством; ему казалось, что он только теперь постиг её тайну.

При начале нашего тяжелого и усердного странствования, непреодолимая склонность к поэзии, а вследствие того и к мечтательности, наносит многим умам величайший и продолжительный вред; по крайней мере я остаюсь при этом мнении. Я даже убежден, что эта склонность часто служит к тому, чтоб ослабить силу характера, дать ложные понятия о жизни, представлять в превратном, в искаженном виде благородные труды и обязанности практического человека. Впрочем, не всякая поэзия имеет такое влияние на человека; поэзия классическая – поэзия Гомера, Виргилия, Софокла, даже беспечного Горация – далека от того. Я ссылаюсь здесь на поэзию, которую юность обыкновенно любит и ставит выше всего, на поэзию чувств: она-то пагубна для умов, уже заранее расположенных к сентиментальности, – умов, для приведения которых в зрелое состояние требуются большие усилия.

С другой стороны, даже и этот род поэзии бывает не бесполезен для умов с совершенно другими свойствами, – умов, которых наша новейшая жизнь, с холодными, жесткими, положительными формами, старается произвести. Как в тро-

пических странах некоторые кустарники и травы, очищающие атмосферу от господствующей заразы, бывают с избытком посеяны благою предусмотрительностью самой природы, так точно в наш век холодный, коммерческий, неромантический, появление легких, пежных, пленяющих чувством поэтических произведений служит в своем роде исцеляющим средством. В нынешнее время мир до такой степени становится скучен для нас, что нам необходимо развлечение; мы с удовольствием будем слушать какойнибудь поэтический бред о луне, о звездах, лишь бы только гармонически звучал он для нашего слуха. Само собою разумеется, что на Леонарда Ферфильда, в этот период его умственного бытия, нежность нашего Геликона ниспадала как капли живительной росы. В его тревожном, колеблющемся стремлении к славе, в его неопределенной борьбе с гигантскими истинами науки, в его наклонности к немедленному применению науки к практике эта муза явилась к нему в белом одеянии гения-примирителя. Указывая на безоблачное небо, она открыла юноше светлые проблески прекрасного, которое одинаково дается и вельможе и крестьянину, – показала ему, что на земной поверхности есть нечто более благородное, нежели богатство, убедила его в том, что кто может смотреть на мир очами поэта, тот в душе богаче Креза. Что касается до практических применений, та же самая муза пробуждала в нем стремление более, чем к обыкновенной изобретательности: она приучала его смотреть на пер-

вые его изобретения как на проводники к великим открытиям. Досада и огорчения, волновавшие иногда его душу, исчезали в ней, переливаясь в стройные, безропотные песни. Приучив себя смотреть на все предметы с тем расположением духа, которое усваивает эти песни и воспроизводит не иначе, как в более пленительных и великолепных формах, мы начинаем усматривать прекрасное даже и в том, на что смотрели прежде с ненавистью и отвращением. Леонард заглянул в свое сердце после того, как муза-волшебница дохнула за него, и сквозь мглу легкой и нежной меланхолии, остававшейся повсюду, где побывала эта волшебница, увидел, что над пейзажем человеческой жизни восходило новое солнце восторга и радостей.

Таким образом, хотя таинственной родственницы Леонарда давно уже не существовало, хотя от неё остался «один только беззвучный, но пленительный голос», но, несмотря на то, она говорила с ним, утешала его, радовала, возвышала его душу и приводила в ней в гармонию все нестройные звуки. О, еслиб доступно было этому чистому духу видеть из надзвездного мира, какое спасительное влияние произвел он на сердце юноши, то, конечно, он улетел бы еще далее в светлые пределы вечности!

## Глава XXVIII

Спустя около года после открытия Леонардом фамильных рукописей, мистер Дэль взял из конюшен сквайра самую смирную лошадь и приготовился сделать путешествие верхом. Он говорил, что поездка эта необходима по какому-то делу, имеющему связь с его прежними прихожанами в Лэнсмере.

В предыдущих главах мы, кажется, уже упоминали, что мистер Дэль, до поступления своего в Гэзельденский приход, занимал в том городке должность курата.

Мистер Дэль так редко выезжал за пределы своего прихода, что это путешествие считалось как в Гэзельден-Голле, так и в его собственном доме за весьма отважное предприятие. Размышляя об этом путешествии, мистрисс Дэль провела целую ночь в мучительной бессоннице, и хотя с наступлением рокового утра к ней возвратился один из самых жестоких нервических припадков головной боли, однако, она никому не позволила уложить седельные мешки, которые мистер Дэль занял у сквайра вместе с лошадью. Мало того: она до такой степени была уверена в рассеянности и ненаходчивости своего супруга в её отсутствии, что, укладывая вещи в мешки, она просила его не отходить от неё ни на минуту во время этой операции; она показывала ему, в каком месте положено было чистое белье, и как аккуратно были за-



вернуты его старые туфли в одно из его сочинений. Она умоляла его не делать ошибок во время дороги и не принять бритвенного мыла за сэндвичи, и вместе с этим поясняла ему, как умно распорядилась она, во избежание подобного замешательства, отделив одно от другого на такое огромное расстояние, сколько то позволяли размеры седельного мешка. Бедный мистер Дэль, которого рассеянность, по всей вероятности, не простиралась до такой степени, чтобы вдруг, ни с того, ни с другого, намылить себе бороду сэндвичами, или, вздумав позавтракать, преспокойно бы начать кушать бритвенное мыло, – слушая наставления своей жены с супружеским терпением, полагал, что ни один человек из целого мира не имел подобной жены, и не без слез в своих собственных глазах вырвался из прощальных объятий рыдающей Кэрри.

Надобно сознаться, что мистер Дэль с некоторым опасением вкладывал ногу в стремя и отдавал себя на произвол незнакомого животного. Каковы бы ни были достоинства этого человека, но наездничество не принадлежало в нем к числу лучших. Я сомневаюсь даже, брал ли мистер Дэль узду в руки более двух раз с тех пор, как женился.

Угрюмый старый грум сквайра, Мат, присутствовал при отправлении и на кроткий вопрос мистера Дэля касательно того, уверен ли он, что лошадь совершенно безопасна, отвечал весьма неутешительно:

– Безопасна; только не натягивайте узды, это, пожалуй,

она тотчас начнет танцевать на задних ногах.

Мистер Дэль в ту же минуту ослабил повод; и в то время, как мистрисс Дэль, остававшаяся, для скорейшего прекращения рыданий, в комнате, подбежала к дверям, чтоб сказать еще «несколько последних слов», мистер Дэль окончательно махнул рукой и легкой рысью поехал по проселочной дороге.

Первым делом нашего наездника было узнать привычки животного, чтобы потом можно было сделать заключение об его характере. Например: он старался узнать причину, почему его лошадь вдруг, ни с того, ни с другого, поднимала одно ухо и опускала другое; почему она придерживалась левой стороны, и так сильно, что нога наездника беспрестанно задевала за забор, и почему по приезде к воротам, ведущим на господскую ферму, она вдруг остановилась и начала чесать свою морду о забор – занятие, от которого мистер Дэль, увидев, что все его кроткия увещания оставались бесполезны, принужден был отвлечь ее робким ударом хлыстика.

Когда этот кризис благополучно миновался, лошадь, по видимому, догадалась, что ей предстоит дорога впереди, резко махнула хвостом и переменила тихую рысь на легкий галоп, который вывел мистера Дэля на большую дорогу, почти против самого казино.

Проскакав еще немного, он увидел доктора Риккабокка, который, под тенью своего красного зонтика, сидел на воротах, ведущих к его дому.

Итальянец отвел глаза от книги, которую читал, и с изумлением взглянул на мистера Дэля, а тот, в свою очередь, бросил вопросительный взгляд на Риккабокка, не смея, однако же, отвлечь всего внимания от лошади, которая, при появлении Риккабокка, вздернула кверху оба уха и обнаружила все признаки удивления и страха, которые каждая лошадь обнаруживает при встрече с незнакомым предметом, и которые известны под общим названием «пугливости».

– Ради Бога, не шевелитесь, сэр, сказал мистер Дэль:– иначе вы перепугаете это животное: оно такое капризное, робкое.

И вместе с этим он чрезвычайно ласково начал похлопывать по шее лошади.

Ободренный таким образом конь преодолел свой первый и весьма естественный испуг при виде Риккабокка и его красного зонтика, и, бывав уже в казино не раз, он предпочел знакомое место пределам, выходящим из круга его соображений, величественно приблизился к воротам, на которых сидел Риккабокка, и, взглянув на него весьма пристально, как будто хотел сказать: «Желательно бы было, чтоб ты слетел отсюда», понурил голову и стал как вкопанный.

– Ваша лошадь, сказал Риккабокка:– кажется, более вашего имеет расположения обойтись со мной учтиво, и потому, пользуясь этой остановкой, сделанной, как видно, против вашего желания, могу поздравить вас *с возвышением* в жизни, и вместе с тем выразить искреннее желание, чтобы гор-

дось не послужила поводом к вашему *падению*.

– Полноте, полноте, возразил мистер Дэль, принимая непринужденную позу, хотя все еще не упуская из виду свою лошадь, которая преспокойно задремала:– это все произошло оттого, что я давным-давно не ездил верхом, а лошади сквайра, как вам известно, чрезвычайно горячия.

Chi và piano, và sano,  
E chi và sano, và lontano,

сказал Риккабокка, указывая на седельные мешки. – Кто едет тихо, тот едет благополучно; а кто едет благополучно, тот уедет далеко. Вы, кажется, собрались в дальнюю дорогу?

– Вы отгадали, отвечал мистер Дэль: – и еду по делу, которое несколько касается и вашей особы.

– Меня! воскликнул Риккабокка: – дело касается меня!

– Да; по крайней мере касается на столько, на сколько вы можете быть огорчены потерей слуги, которого вы любите и уважаете.

– А! понимаю! сказал Риккабокка: – вы часто намекали мне, что я и познания, или то и другое вместе, сделали Леонарда Ферфильда совершенно негодным для деревенской службы.

– Я не говорил вам этого в буквальном смысле: я говорил, что вы приготовили его к чему-то высшему, нежели деревенская служба. Только, пожалуйста, вы не передайте ему этих слов. Я еще сам ничего не могу сказать вам, потому что не ручаюсь за успех моего предприятия, даже сомневаюсь в нем; а в таком случае нам не следует расстроивать бедного Леонарда до тех пор, пока не уверимся в том, что можно будет улучшить его состояние.

– В этом вы никогда не уверитесь, заметил Риккабокка, кивая головой. – Кроме того, я не могу сказать, что у меня нет на столько самолюбия, чтоб не позавидовать, и даже не иметь к вам ненависти, за ваше усердие отманить от меня неоплаченного слугу: верного, трезвого, умного и чрезвычайно дешевого (последнее прилагательное Риккабокка произнес с заметной горячностью). – Несмотря на то, поезжайте, и Бог да поможет вам в успехе. Ведь я не Александр Македонский: не стану заслонять солнца от человека.

– Вы всегда великодушны и благородны, синьор Риккабокка, несмотря на ваши холодные пословицы и не совсем благовидные книги.

Сказав это, мистер Дэль опустил хлыстик на шею коня с таким безразсудным энтузиазмом, что бедное животное, выведенное так внезапно из дремоты, сделало скачок вперед, который чуть-чуть не столкнул Риккабокка на забор, потом круто повернуло назад, и в то время, как испуганный наездник туго натянул повод, закусило уздечку и понесло во весь

карьер. Ноги мистера Дэля выскочили из стремян, и когда он овладел ими снова – а это случилось, когда лошадь сократила свою прыть – то перевел дух и оглянулся; но Риккабокка и казино уже скрылись из виду.

«Правда, правда – рассуждал мистер Дэль сам с собою, совершенно оправившись и весьма довольный тем, что удержался на седле – правда, что из всех побед, одержанных человеком, самая благороднейшая: это – победа над лошадыю. Прекрасное животное, благородное животное! необыкновенно трудно сидеть на нем, особенно без стремян.»

И вместе с этим он еще сильнее уперся обеими ногами в стремяна, испытывая в душе своей величайшую гордость.

## Глава XXIX

Лэнсмер расположен в округе соседнем с округом, заключающим в себе деревню Гэзельден. Уже к вечеру мистер Дэль переехал через маленький ручеек, разделявший оба округа, и остановился у постоянного двора, где дорога принимала два направления: одно вело прямо к Лэнсмеру, а другое – к Лондону. Лошадь повернула прямо к воротам, опустила уши и вообще приняла вид лошади, которой хочется отдохнуть и поесть. Сам мистер Дэль, разгоряченный ездой и чувствуя в душе своей уныние, весьма ласково погладил коня и сказал:

– Правда твоя, мой друг: нужно отдохнуть; тебе дадут здесь овса и воды.

Спустившись с лошади и ступив твердой ногой на *terra firma*, мистер Дэль поручил лошадь попечениям конюха, а сам вошел в комнату, усыпанную свежим песком, и расположился отдыхать на весьма жестком виндзорском стуле.

Прошло более получаса, в течение которого мистер Дэль занимался чтением окружной газеты, от которой сильно пахло табаком, разгонял мух, которые роились вокруг него, как будто они никогда не видали такой особы, как мистер Дэль, когда у ворот остановилась коляска. Из неё выскочил путешественник, с дорожным мешком, и вскоре вошел в комнату.

Мистер Дэль приподнялся со стула и сделал учтивый поклон.

Путешественник дотронулся до шляпы и, не снимая её, осмотрел мистера Дэля с головы до ног, потом подошел к окну и начал насвистывать веселую арию. Окончив ее, он приблизился к камину, позвонил в колокольчик и потом снова взглянул на мистера Дэля. Мистер Дэль, из учтивости, перестал читать газету. Путешественник схватил ее, бросился на стул, закинул одну ногу на стол, а другую – на каминную доску, и начал качаться на задних ножках стула с таким дерзким неуважением к прямому назначению стульев и к незнакомому проезжему, что мистер Дэль ожидал с каждой минутой опасного падения путешественника.

– Эти стулья весьма изменчивы, сэр, сказал наконец мистер Дэль, побуждаемый чувством сострадания к опасному положению ближнего. – Я боюсь, что вы упадете!

– Э! сказал путешественник, с видом сильного изумления. – Я упаду? милостивый государь, вы, кажется, намерены трунить надо мной.

– Трунить над вами, сэр? Клянусь честью, что и не думал об этом! воскликнул мистер Дэль, с горячностью.

– Мне кажется, здесь каждый человек имеет право сидеть, как ему угодно, возразил путешественник, с заметным гневом: – на постоялом дворе каждый человек может распоряжаться как в своем доме, до тех пор, пока исправно будет уплачивать хозяйский счет. Бетти, душа моя, поди сюда.



– Я не Бетти, сэ; вам, может быть, нужно ее?

– Нет, Салли, мне нужно рому, холодной воды и сахару.

– Я и не Салли, сэ, проворчала служанка; но путешественник в ту же минуту обернулся к ней и показал ей такой щегольской шейный платок и такое прекрасное лицо, что она улыбнулась, покраснела и ушла.

Путешественник встал и швырнул на стол газету. Он вынул перочинный ножик и начал подчищать ногти. Но вдруг он на минуту оставил это элегантное занятие, и взоры его встретились с широкополой шляпой мистера Дэля, смиренно лежавшей на стуле, в углу.

– Вы, кажется, из духовного звания? спросил путешественник, с надменной улыбкой.

Мистер Дэль снова приподнялся и поклонился, частью из вежливости, а частью для сохранения своего достоинства. Это был такой поклон, которым как будто говорилось: «да, милостивый государь, я из духовного звания, и, как видите, мне не стыдно даже признаться в том».

– Далеко ли вы едете?

– Не очень.

– В коляске или в фаэтоне? Если в коляске и если мы едем по одной дороге, то пополам.

– Пополам?

– Да; я с своей стороны буду платить дорожные издержки и шоссейную пошлину.

– Вы очень добры, сэ. Но я еду верхом.

Последние слова мистер Дэль произнес с величайшей гордостью.

– Верхов? Скажите пожалуйста! Мне бы самому ни за что не догадаться: вы так не похожи на наездника! Куда же, вы сказали, вы отправляетесь?

– Я вовсе не говорил вам, куда я отправляюсь, отвечал мистер Дэль, весьма сухо, потому что чувствовал себя крайне оскорбленным таким невежливым отзывом об его наездничестве, и именно фразой: «вы так не похожи на наездника».

– Понятно! сказал путешественник, захохотав. – По всему видно, что старый путешественник.

Мистер Дэль не сделал на это никакого возражения. Вместо того он взял свою шляпу, сделал поклон величественнее предыдущего и вышел из комнаты посмотреть, кончила ли его лошадь овес.

Животное давно уже кончило все, что ему было дано, а это все составляло несколько горстей овса, – и через несколько минут мистер Дэль снова находился в дороге. Он отъехал от постоянного двора не далее трех миль, когда стук колес заставил его обернуться, и он увидел почтовую карету, которая мчалась во весь дух по одному с ним направлению, и из окна которой высывалась пара человеческих ног. Верховой конь, слышав приближение кареты, начал делать курбеты, и мистер Дэль весьма неясно увидел внутри кареты человеческое лицо, принадлежавшее высунутой паре ног. Поровнявшись с всадником, проезжий быстро высунул голову, по-

смотрел, как мистер Дэль попрыгивал на седле, и вскричал:  
– В каком положении кожа?

«Кожа! – рассуждал мистер Дэль сам с собою, когда лошадь его успокоилась. – Что он хотел этим выразить? Кожа! фи, какой грубый человек. Однако, я славно срезал его.»

Мистер Дэль, без дальнейших приключений, прибыл в Лэнсмер. Он остановился в лучшей гостинице, освежил себя обыкновенным омовением и с особенным аппетитом сел за бифстек и бутылку портвейна.

Отдавая справедливость мистеру Дэлю, мы должны сказать, что он был лучший знаток физиономии человека, чем лошади, так что после первого, но удовлетворительного взгляда на вежливого, улыбающегося содержателя гостиницы, который убрал со стола пустые тарелки и вместо их поставил вино, он решился вступить с ним в разговор.

– Скажите, пожалуста, милорд теперь у себя в поместье?

– Нет, сэр, отвечал содержатель гостиницы: – милорд и милэди отправились в Лондон – повидаться с лордом л'Эстренджем.

– С лордом л'Эстренджем! Да разве он в Англии?

– Кажется, в Англии, сэр; по крайней мере я так слышал. Мы ведь теперь почти никогда его не видим. Я помню его, когда он был прекрасным молодым человеком, или, вернее сказать, юношей. Каждый из нас души не слышал в нем и не менее того гордился им. Но уж зато какие и проказы творил он, это удивительно! Мы все думали, что он бу-

дет современем депутатом от нашего местечка; но, к сожалению, он уехал отсюда в чужие края. Надобно вам заметить, сэр, что я принадлежу к партии «синих», как следует всякому добропорядочному человеку. Все «синие» всегда с удовольствием посещают мою гостиницу, которая, мимоходом сказать, носит название «Лэнсмерский Герб». Гостиницу «Кабан» посещают люди самого низкого сословия, прибавил трактирщик, с видом невыразимого отвращения. – Надеюсь, сэр, что вам нравится это вино?

– Вино прекрасное и, кажется, весьма старое.

– Вот уж осьмнадцать лет, как оно разлито по бутылкам. У меня был целый боченок во время выборов в депутаты Дашмора и Эджертона. Этого вина осталось у меня весьма немного, и я никому не подаю его, кроме старинных друзей, как, например... извините, сэр, хотя вы и пополнили немного и сделались гораздо солиднее, но мне кажется, что я имел удовольствие видеть вас прежде.

– Ваша правда, смею сказать, хотя я был из числа самых редких посетителей вашей гостиницы.

– Значит вы мистер Дэль? Я так и подумал, лишь только вошли вы в столовую. Надеюсь, сэр, что супруга ваша в добром здоровье, а также и достопочтеннейший сквайр – прекраснейший человек, смею сказать!.. не было бы никакой ошибки с его стороны, еслиб Эджертон поступил, как требовала того справедливость. С тех пор мы совсем не видим его, то есть мистера Эджертона. Впрочем, в том, что он чуж-

дается нас, еще нет ничего удивительного; но сын милорда, который вырос на наших глазах, ну, так уж извините, ему-то грешно, – право, грешно, – позабыть нас совсем!

Мистер Дэль не ответил на это ни слова. Содержатель гостиницы хотел уже удалиться, когда мистер Дэль налил еще рюмку портвейну и сказал:

– В вашем приходе, должно быть, много случилось перемен. Скажите, мистер Морган, здешний врач, все еще здесь?

– О, нет, сэр: его уже давно здесь нет. Вслед за вашим отъездом он получил диплом, сделался настоящим доктором и имел преотменную практику, как вдруг ему вздумалось лечить больных своих по новому, у нас совсем неслыханному способу, который называется гомео.... гоме.... что-то вот в этом роде – такое трудное название....

– Гомеопатия....

– Так точно, сэр! Через нее он лишился здешней практики и отправился в Лондон. С тех пор я ничего о нем не слышал.

– А что, Эвенели все еще поддерживают свой старый дом?

– О, да! и прекрасно живут. Джон по-прежнему всегда нездоров, хотя изредка и навещает любимый трактир свой «Странные Ребята» и выпивает стаканчик грогу, но уж оттуда без жены ни на шаг. Она всегда приходит попозже вечером и уводит его домой: боится, бедняжка, чтобы один чего не напроказил.

– А мистрисс Эвенель все такая же, как и прежде?

– Мне кажется, сэр, сказала трактирщик, с лукавой улыб-

кой: – нынче она держит голову немножко повыше. Впрочем, это и прежде водилось за ней, – но все не то, что нынче.

– Да, это женщина весьма, почтенная, сказал мистер Дэль, голосом, в котором обнаруживался легкий упрек.

– Без всякого сомнения, сэр! Вследствие этого-то она и смотрит на нашего брата свысока.

– Я полагаю, двое детей Эвенеля также живы: дочь, которая вышла за Марка Ферфильда, и сын, который отправился в Америку.

– Он уже успел разбогатеть там и воротиться домой.

– В самом деле? приятно слышать об этом. Вероятно, он здесь и поселился?

– О, нет, сэр! Я слышал, что он купил имение, где-то далеко отсюда. Впрочем, он довольно часто приезжает сюда – повидаться с родителями; так по крайней мере говорил мне Джон. Сам я ни разу еще не видел его, да, я думаю, и Дик не имеет особенного расположения видеться с людьми, которые помнят, как он играл с уличными ребятишками...

– В этом ничего нет предосудительного, отвечал мистер Дэль, с самодовольной улыбкой: – но он навещает своих родителей, следовательно он добрый сын, – не так ли?

– Ах, помилуйте! я ничего не имею сказать против него. До отъезда в Америку Дик был сумасбродный малый. Я никогда не думал, что он вернется оттуда с богатством. Впрочем, все Эвенели люди неглупые. Помните ли вы бедную Нору – Лэнсмерскую Розу, как обыкновенно называли ее?

Ах, нет! вам нельзя помнить ее: мне кажется, она отправилась в Лондон, когда уже вас не было здесь.

— Гм! произнес мистер Дэль довольно сухо, как будто вообще не обращая внимания на слова трактирщика. — Теперь вы можете убирать со стола. Скоро стемнеет, и потому я отправлюсь немного прогуляться.

— Позвольте, сэръ: я сейчас подам вам хорошенькую тортю.

— Благодарю вас: я кончил мой обед.

Мистер Дэль надел шляпу и вышел на улицу. Он осматривал дома с тем грустным и напряженным вниманием, с которым мы, достигнув возмужалого возраста, посещаем сцены, тесно связанные с нашей юностью, когда нас изумляет открытие слишком малой или слишком большой перемены, и когда мы припоминаем все, что так сильно привязывало нас к этому месту, и что производило некогда в душе нашей волнение. Длинная главная улица, по которой мистер Дэль медленно проходил теперь, начинала изменять свой шумный характер и в отдаленном конце сливалась с большой почтовой дорогой. Дома, с левой стороны, примыкали к старинной, поросшей мхом, ограде Лэнсмерского парка; на правой — хотя и стояли дома, но они отделялись друг от друга садами и принимали вид пленительных сельских домиков, — домиков, так охотно избираемых купцами, прекратившими свои торговые дела, и их вдовами, старыми девами и отставными офицерами, чтоб проводить в них вечер своей жизни.

Мистер Дэль глядел на эти дома с вниманием челове-

ка, пробуждающего свою память, и наконец остановился перед одним из них, почти крайним на улице и который обращен был к широкой лужайке, прилегавшей к маленькому домику, в котором помещался привратник Лэнсмерского парка. Вблизи этого домика стоял старый подстриженный дуб, в густых ветвях которого раздавались нестройные звуки пискливых голосов: это был крик голодных воронят, ожидавших возвращения запоздалой матки. Мистер Дэль остановился на минуту и потом, ускорив шаги, прошел сквозь садик и постучался в двери. Боковая комната дома, в которую постучался мистер Дэль, была освещена, и он увидел в окно неопределенные тени трех фигур. Неожиданный стук произвел волнение между фигурами; одна из них встала и исчезла. Спустя минуту, на пороге уличных дверей показалась весьма нарядная, пожилых лет служанка и довольно сердито спросила посетителя, что ему нужно.

– Мне нужно видеть мистера и мистрисс Эвенель. Скажи, что я издалека приехал повидаться с ними, и передай им эту карточку.

Служанка взяла карточку и вполтину притворила дверь. Прошло по крайней мере три минуты прежде, чем она снова показалась.

– Мистрисс Эвенель говорит, что теперь уже поздно. Впрочем, пожалуйста.

Мистер Дэль принял это очень нерадушное приглашение, прошел через небольшой зал и явился в гостиной.



Старик Джон Эвенель, человек приятной наружности и, по видимому, слегка пораженный параличем, медленно приподнялся в своем кресле. Мистрисс Эвенель, в чистом, накрахмаленном чепце и дымчатом платье, в котором каждая складка говорила о важности и степенности особы, носившей его, бросив на мистера Дэля холодный, недоверчивый взгляд, сказала:

– Вы делаете нам большую честь своим посещением: прошу покорно садиться! Вы, кажется, пожаловали к нам по какому-то делу?

– Именно по тому, о котором я уведомлял вас письмом.

Эти слова относились не к мистрисс, но к мистеру Эвенелю.

– Мой муж очень нездоров.

– Бедное создание! сказал Джон слабым голосом и как будто выражая сострадание к самому себе. – Теперь я уже совсем не то, что бывал прежде. Впрочем, сэр, вероятно, вы писали мне насчет предстоящих выборов.

– Совсем нет, Джон! ты ничего не знаешь, возразила мистрисс Эвенель, взяв мужа под руку. – Поди-ка лучше приляг немного, а я между тем переговорю с джентльменом.

– Я еще до сих пор принадлежу к партии «синих», сказал бедный Джон: – но все уже не то, что было прежде, – и, склонясь на руку жены своей, он тихо побрел в другую комнату.

На пороге он повернулся к мистеру Дэлю и с величайшей учтивостью сказал:

– Впрочем, сэр, душой я готов сделать для вас все, что вам угодно.

Положение старика тронуло мистера Дэля. Он помнил время, когда Джон Эвенель был самым видным, самым деятельным и самым веселым человеком в Лэнсмере, самым непоколебимым приверженцем партии «синих» во время выборов.

Через несколько минут мистрисс Эвенель возвратилась в гостиную. Заняв кресло в некотором расстоянии от гостя и положив одну руку на ручку кресла, а другой расправляя жесткие складки своего жесткого платья, она сказала:

– Что же вы скажете, сэр?

В этом «что же вы скажете?» отзывалось что-то злое, вызывающее на борьбу. Проницательный, Дэль принял этот вызов с обыкновенным хладнокровием. Он придвинул свое кресло к креслу мистрисс Эвенель и, взяв ее за руки, сказал решительным тоном:

– Я буду говорить так, как друг должен говорить своему другу.

# Часть четвертая

## Глава XXX

Разговор мистера Дэля с мистрисс Эвенель продолжался более четверти часа, но, по видимому, Дэль очень мало приблизился к цели своей дипломатической поездки, потому что, медленно надевая перчатки, он говорил:

– Мне очень прискорбно думать, мистрисс Эвенель, что сердце ваше могло затвердеть до такой степени – да, да! вы извините меня: я по призванию своему должен говорить суровые истины. Вы не можете сказать, что я не сохранил вашей тайны, но, вместе с тем, не угодно ли вам припомнить, что я предоставил себе право соблюдать молчание исключительно с той целью, чтоб мне позволено было действовать впоследствии, как мне заблагоразсудится, для пользы мальчика. На этому-то основании, вы и обещали мне устроить его будущность, как только достигнет он совершеннолетия, и теперь уклоняетесь от этого обещания.

– Я вам, кажется, ясно сказала, что и теперь беру на себя устроить его будущность. Я говорю, что вы можете отдать его в ученье в какойнибудь отдаленный город, а мы между тем приготовим ему хорошую лавку и отдадим ее в полное его распоряжение. Чего же вы хотите еще от нас, – от людей,

которые сами содержали лавку? Извините, сэр, с вашей стороны было бы весьма неблагоприятно требовать большего.

– Мой добрый друг, сказал мистер Дэль: – в настоящее время я прошу у вас только одного – чтоб вы увиделись с ним, приласкали его, послушали, как он говорит, и потом сделали о нем свое собственное заключение. У нас должна быть одна общая цель в этом деле, и именно, чтоб внук ваш сделал хорошую карьеру в жизни и ответил вам своею благодарностью. Но я не ручаюсь за успех в этом, если мы сделаем из него мелочного лавочника.

– Так неужели Джжн Ферфильд, у которой муж был простым плотником, научила его презирать это ремесло? воскликнула мистрисс Эвенел, с гневом.

– Сохрани Бог! нам небезызвестно, что многие знаменитые люди нашего отечества были сыновьями лавочников. Но скажите, неужли должно ставить им в вину или в вину их родителям, если таланты возвышают их? Англия не была бы Англией, если бы каждому из британцев пришлось остановиться на том, с чего начал отец.

– Славно! проговорил, или, лучше сказать, простонал чей-то голос, которого не слышали ни мистрисс Эвенель, ни мистер Дэль.

– Все это прекрасно, сказала мистрисс Эвенель, отрывисто. – Но послать такого мальчика в университет.... скажите на милость, откуда взять средства для этого?

– Послушайте, мистрисс Эвенель, ласковым тоном сказал

мистер Дэль: – чтоб поместить его в одну из кэмбриджских коллегий, будет стоить не Бог знает каких издержек. Если вы согласитесь платить половину, другую половину я беру на себя: у меня нет детей, следовательно мне можно будет уделить такую безделицу.

– С вашей стороны это весьма великодушно, сэр, отвечала мистрисс Эвенель, несколько тронутая предложением Дэля, но все еще не обнаруживая расположения устроить мальчика по предлагаемому плану. – Но я полагаю, что этим не кончатся наши попечения.

– Поступив в Кэмбридж, продолжал мистер Дэль, увлекаюсь предметом: – в Кэмбридж... где главнее всего обращают внимание на науки математические, то есть такие науки, в которых мальчик обнаружил уже обширные способности, я уверен, что он в скором времени отличится, – отличившись в этом, он получит степень, то есть такое университетское, звание, которое доставит ему средства обеспечить свое существование до тех пор, пока он не сделает карьеры. Согласитесь же, мистрисс Эвенель, ведь вам это ровно ничего не будет стоить: из числа близких родственников у вас ни души нет таких, которые бы требовали вашей помощи. Ваш сын, как я слышал, весьма счастлив.

– Сэр! возразила мистрисс Эвенель, прерывая: – разве потому, что сын наш Ричард составляет нашу гордость, что он добрый сын, и что он имеет теперь свое собственное независимое состояние, – разве поэтому мы должны лишить его то-

го, что располагали оставить ему, и отдать это все мальчику, которого мы вовсе не знаем, и который, вопреки вашим уверениям, быть может, еще оплатит нам неблагодарностью?

– Почему это так? не думаю.

– Почему! вскричала мистрисс Эвенель, с досадою: – почему! вам известно, почему. Нет, ни за что не хочу допустить его до возвышения в жизни! Не хочу, чтобы меня на каждом шагу расспрашивали о нем. Мне кажется, весьма нехорошо внушать простому ребенку такие высокие о себе понятия, и не думаю, чтобы даже дочь моя Ферфильд пожелала этого. А что касается того, чтобы просить меня ограбить Ричарда и вывести в люди мальчишку, который был садовником, землепашцем или чем-то в этом роде, – вывести его в люди на позор джентльмену, который держит свой экипаж, как, например, сын мой Ричард, – позвольте вам сказать, что я решительно на это не согласна! Я не хочу ничего подобного, и за тем всему делу конец.

В течение двух или трех последних минут, и как раз перед тем, когда послышалось в комнате: «Славно!», которым одобрялось мнение Дэля о британской нации, дверь, ведущая во внутренние покои, оставалась полу-раскрытою, но этого обстоятельства разговаривавшие не заметили. Когда же мистрисс Эвенель выразила свою решительность, дверь внезапно отворилась, и в комнату вошел путешественник, с которым мистер Дэль встретился на постоялом дворе.

– Нет, извините, сказал он, обращаясь к мистеру Дэлю: –

этим дело не кончилось. Вы говорили, сэръ, что этот мальчик очень умен?

– Ричард, ты нас подслушивал! воскликнула мистрисс Эвенель.

– Да, в течение двух-трех последних минут.

– Что же ты слышал?

– Слышал, что этот достопочтенный джентльмен такого прекрасного мнения о сыне сестры моей, что даже предлагает половину издержки за воспитание его в университете. Милостивый государь, я вам премного обязан, и вот вам рука моя, если только вы не погнушаетесь взяться за нее.

Мистер Дэль, приведенный в восторг таким внезапным оборотом дела, вскочил со стула и, бросив на мистрисс Эвенель торжествующий взгляд, обеими руками и со всею искренностью сжал руку Ричарда.

– Знаете ли что, сэръ, сказал Ричард: – потрудитесь надеть вашу шляпу; мы вместе прогуляемся с вами и поговорим об этом дельном образом. Ведь женщины не понимают дела, и советую вам никогда не говорить с ними о чем-нибудь дельном.

Вместе с этим Ричард вынул из кармана порт-сигар, выбрал сигару, зажег ее на свече и вышел в залу.

Мистрисс Эвенель схватила мистера Дэля за руку.

– Сэръ, сказала она: – будьте осторожнее в вашем разговоре с Ричардом. Не забудьте вашего обещания.

– А разве ему не все известно?

– Ему? ему ровно ничего неизвестно, кроме того разве, что он успел подслушать. Я уверена, что вы, как джентльмен, не измените вашему слову.

– Мое слово условное, но во всяком случае обещаю вам хранить молчание и не нарушить данного слова без уважительной на то причины. Надеюсь, что мистер Ричард Эвенель избавит меня от необходимости сделаться в глазах ваших изменником.

– Скоро ли вы пойдете, сэр? вскричал Ричард, отпирая уличную дверь.

Мистер Дэль присоединился к Ричарду уже на улице. Ночь была прекрасная; месяц светил ярко; воздух был свеж и чист.

– Неужели, сказал Ричард, задумчиво: – бедная Джэн, которая всегда была какой-то горемыкой в нашем семействе, сумела так прекрасно поднять своего сына? и неужели мальчик в самом деле того-э? Неужели он может отличиться в коллегии?

– Я уверен в этом, отвечал мистер Дэль, просовывая руку под руку Ричарда, который нарочно согнул ее для этой цели.

– Хотелось бы мне увидеть его, сказал Ричард: – очень бы хотелось. Ну, что, скажите, имеет ли он хоть манеру порядочного человека, или он похож на деревенского парня?

– Могу уверить вас, что разговор его так умен и приличен и обращение его так скромно и деликатно, что, право, иной богатый джентльмен стал бы гордиться подобным сыном.



– Странно, заметил Ричард: – какая разница бывает в членах одного и того же семейства. Вот хоть бы Джэн, которая не умеет ни читать, ни писать, только и годилась быть женой какогонибудь мастерового; она не имела ни малейшего понятия о том, что выше её положения в свет; и потом, когда я вспоминаю о бедной сестре моей Норе... вы не поверите, сэр, эта сестра была во всех отношениях прекраснейшее создание в целом мире, даже еще в самом раннем детском возрасте; по крайней мере она была не более как ребенок, когда я отправлялся в Америку. И часто, прокладывая себе, дорогу в жизни, очень часто говаривал я сам себе: «моя маленькая Нора современем будет настоящая лэди!» Бедняжка! не удалось мне увидеть ее: она умерла в самом цвете своих лет.

Голос Ричарда дрожал. Мистер Дэль крепко прижал его руку к себе.

– Ничто так не улучшает нас, как воспитание, сказал он, после некоторого молчания. – Я полагаю, что ваша сестра Нора получила большое образование и умела воспользоваться этим: то же самое можно сказать и о вашем племяннике.

– Посмотрим, посмотрим, сказал Ричард, сильно топнув ногой о тротуар: – и если он понравится мне, то я постараюсь заменить ему место отца. Заметьте, мистер... как вас зовут, сэр?

– Дэль.

– Заметьте, мистер Дэль, ведь я человек холостой. Может статься, я женюсь, а может быть, и нет. Впрочем, мне не хо-

чется остаться, как говорится, на всю жизнь бобылем! Если удастся мне сыскать знатную лэди, то почему и не так! Впрочем, это еще впереди; а до того времени мне бы приятно было иметь племянника, которого бы мне нестыдно было показывать порядочным людям. Извольте видеть, сэр, я человек новый, я, так сказать, строитель моего богатства и счастья; и хотя я успел-таки пособрать кое-что по части умственного образования – каким образом, ужь того я не знаю, – вероятно, в то время, как я карабкался на лестницу, достигая счастья, – но при всем том, возвратясь в отечество, я вижу ясно, что для здешних лэди я вовсе не пара; а почему? потому что не умею показать себя в гостиных так хорошо, как бы хотелось мне. Я мог бы сделаться членом Парламента, еслиб захотел; но тогда, пожалуй, чего доброго, я был бы посмешищем для других. Принимая все это в расчет, еслиб я мог приобрести младшего товарища, который принял бы на себя все занятия по части учтивости и светского обращения, который показывал бы только товар, то я полагаю, что дом Эвенеля и Комп. оказал бы немаловажную честь британцам. Понимаете ли вы меня?

– Совершенно понимаю, отвечал мистер Дэль, сохраняя серьёзный вид, но в душе он смеялся.

– Теперь вот еще что я должен сказать вам, продолжал новый человек: – я нисколько не стыжусь того, что возвысился в жизни моими собственными заслугами, и не скрываю прежнего своего положения. В доме своем я часто люблю го-

ворить своим гостям: я приехал в Нью-Йорк с десятью фунтами стерлингов, – и вот теперь, видите, что я такое. Несмотря на богатство, которым я обладаю, я не могу жить вместе с родителями. Люди примут вас к себе со всеми вашими недостатками, если вы богаты; но нельзя же навязывать им в придачу к этим недостаткам и ваше семейство. Поэтому, если я не хочу, чтобы отец мой и мать, которых я люблю более всего на свете, сидели за моим столом и мои лакеи стояли бы за их стульями, то и подавно не хочу видеть в своем доме сестру Джэн. Я помню ее очень хорошо и не думаю, чтобы с годами она сделалась благовоспитаннее. И потому прошу вас покорнейше, не советуйте ей приезжать ко мне: этого не должно быть ни под каким видом. Вы не говорите ей ни слова обо мне. Но пришлите её сына к дедушке; а я его уже там осмотрю... понимаете?

– Понимаю; но согласитесь, что трудно будет разлучить ее с сыном.

– Пустяки! все дети должны разлучаться с своими родителями, когда они намерены вступить в свет. Итак, это решено! Теперь вот что вы скажите мне. Я знаю, что старики частенько так журили сестру мою Джэн, то есть ее журила мать моя: от отца мы ни разу не слышали и грубого слова. Быть может, в этом отношении она поступала с Джэн не совсем-то справедливо. Впрочем, нельзя и винить ее в том. Вот почему это случилось. Когда отец мой и мать держали лавку на Большой Улице, нас была тогда большая се-

мья, и каждому из нас назначено было свое занятие; а так как Джэн была расторопнее и смышленнее всех нас, то на её долю доставалось работы больше всех, так что вскоре отдали её в чужое место, и ей, бедняжке, некогда было и подумать об учении. Впоследствии отец мой приобрел большое расположение лорда Лэнсмера, и именно по случаю выборов, в которых он горой стоял за «синих». В то время родилась Нора, и милэди была её крестной матерью. Большая часть братьев моих и сестер умерли, и отец решился оставить торговлю. Когда взяли Джэн домой, то она была такая простенькая, такая неотесанная, что мать моя не могла не заметить сильного контраста между нею и Норой. Конечно, так и должно случиться, потому что Джэн родилась в то время, когда родители мои считались ни более, ни менее, как бедными лавочниками, а Нора выросла в то время, когда они разбогатели, оставили торговлю и жили на джентльменскую ногу: разница тут очевидна. Моя мать смотрела на Джэн как на чужое дитище. Впрочем, в этом много виновата и сама Джэн: мать помирилась бы с ней, еслиб она вышла замуж за нашего соседа, богатого купца, торговавшего красным товаром; так ведь нет, не послушалась и вышла за Марка Ферфильда, простого плотника. Знаете, родители больше всего любят тех детей, которые лучше успевают в жизни. Это и весьма естественно. Вот, например, хоть про себя сказать; они и внимания не обращали на меня до тех пор, пока я не приехал из Америки. Однако, возвратимся к Джэн: я думаю, они совсем позабыли

ее, бедную. Скажите, по крайней мере, как она поживает?

– Живет трудами, бедно, но не жалуется на судьбу.

– Сделайте одолжение, передайте ей это.

И Ричард вынул из бумажника билет в пятьдесят фунтов стерлингов.

– Вы можете сказать ей, что это прислали старики, или что это подарок от Дика, но отнюдь не говорите, что я воротился из Америки.

– Мой добрый сэръ, сказал мистер Дэль: – я более и более начинаю благодарить случай, который познакомил нас. С вашей стороны это весьма щедрый подарок; но, мне кажется, всего лучше послать бы его через вашу матушку. Хотя я ни под каким видом не хочу изменить той доверенности, которую вы возлагаете на меня; но согласитесь, что если миссис Ферфильд будет спрашивать меня о своем брате, то я решительно не найдусь, что ответить ей. Кроме одной мне не приводилось хранить тайн, и я надеюсь, что меня избавят от другой. Скрывать тайну, по-моему мнению, почти то же самое, что лгать.

– Стало быть, у вас есть тайна? сказал Ричард, взяв назад билет.

Быть может, в Америке он научился быть очень любознательным.

– Скажите, что же эта за тайна? продолжал он, довольно настоятельно.

– Если я скажу вам ее, отвечал мистер Дэль, с принужден-

ным смехом: – тогда она не будет уже тайной.

– А, понимаю! вы хотите сказать, что мы в Англии.... Как угодно! Быть может, откровенность моя покажется вам странною, но знаете ли, что мне понравился ваш взгляд при первой встрече нашей на постоялом дворе? Впрочем, и в вас я заметил одно качество, которое, признаюсь, не слишком жалею, и именно то, которое называется у нас британскою гордостью.

Мистер Дэль не хотел возражать на это замечание. Имея в виду одну только пользу Ленни Ферфильда, он не хотел защищать себя, опасаясь повредить делу, получившему такой прекрасный оборот.

Между тем Ленни Ферфильд, вовсе не помышляя о перемене, которую мистер Дэль своими переговорами намеревался произвести в судьбе его, наслаждался первою девственною прелестью славы. В главном городе округа, согласно с требованием века и быстро распространившимся по всей Англии обыкновением, основано было механическое общество, и некоторые из почтенных членов, более других занимавшиеся развитием этого провинциального Атенеума, назначили приз за лучшее рассуждение о «Распространении познания», предмете, если хотите, весьма обыкновенном, но о котором, по мнению особ, назначавших приз, трудно было сказать чтонибудь особенное. Приз достался Леонарду Ферфильду. Его рассуждение удостоилось похвалы от целого общества; оно было напечатано на счет общества и награж-

дено серебряной медалью, изображающей Аполлона, возлагающего лавровый венок на Заслугу. В заключение всего окружная газета провозгласила, что Британия произвела новое чудо в особе самоучки-садовника.

На механические проекты Деонарда обращено было особенное внимание. Сквайр, ревностный поборник всякого рода нововведений и улучшении, пригласил инженера осмотреть систему орошения полей, и инженер был поражен простотою средств, которыми устранялось весьма важное техническое затруднение. Ближайшие фермеры называли Деонарда «мистером Ферфильдом» и приглашали его навещать их дома, когда вздумается. Мистер Стирн, встречаясь с ним на большой дороге, прикасался к шляпе и вместе с тем выражал надежду, что «мистер Ферфильд не помнит зла.» Все это были первые и самые сладкие плоды славы; и если Леонарду суждено сделаться великим человеком, то последующие плоды его славы не будут уже иметь такой сладости. Этот-то успех и заставил мистера Дэля принять решительные меры к устройству будущности Леонарда, первый приступ к которым ознаменован был вышеприведенной, давно-задуманной поездкой. В течение последних двух лет мистер Дэль возобновил свои дружеские посещения вдовы и мальчика; с беспредельной надеждой и величайшей боязнию замечал он быстрое развитие ума, выступавшего теперь из среды обыкновенных умов, окружавших его, смелым, ни в чем негармонирующим с ними рельефом.

Был вечер, когда мистер Дэль, возвратясь из путешествия, медленно шел по дороге в казино. Перед уходом из дому, он положил в карман рассуждение Леонарда Ферфильда, удостоенное награды. Он чувствовал, что нельзя было выпустить молодого человека в свет без подготовительной лекции, и намеревался наказать бедную Заслугу тем же самым лавровым венком, который она получила от Аполлона. Впрочем, в этом отношении он крайне нуждался в помощи Риккабокка, или, вернее сказать, он боялся, что если ему не удастся склонить на свою сторону Риккабокка, то философ разрушит все его планы и действия.



## Глава XXXI

Из за ветвей померанцевых деревьев долетали нежные звуки до слуха мистера Дэля, в то время, как он медленно поднимался по отлогому косогору, подходившему к самому дому Риккабокка. С каждым шагом они становились для слуха явственнее, нежнее, пленительнее. Мистер Дэль остановился. Он начал вслушиваться, и до него ясно долетели слова *Ave Maria*. Виоланта пела свой вечерний гимн, и мистер Дэль не тронулся с места, пока голос Виоланты не умолк посреди безмолвия наступившего вечера. Достигнув террасы, мистер Дэль застал все семейство Риккабокка под тентом. Мистрисс Риккабокка что-то вязала. Синьор Риккабокка сидел со сложенными на груди руками; книга, которую он читал перед тем за несколько минут, упала на землю, и черные глаза его были спокойны и задумчивы. Окончив гимнь, Виоланта села на землю между отцом и мачихой; её головка склонилась на колени мачихи, а рука покоилась на колене отца; её взоры с нежностью устремлены были на лицо Риккабокка.

– Добрый вечер, сказал мистер Дэль.

Виоланта тихонько подкралась к мистеру Дэлю и, заставив его наклониться так, что ухо его почти касалось её губок, прошептала:

– Пожалуста, поговорите о чемнибудь с папа, развеселите

его. Посмотрите, какой он печальный.

Сказав это, она удалилась от него и, по видимому, занялась поливкой цветов, расставленных вокруг беседки, на самом же деле внимательно смотрела на отца, и при этом в светлых глазках её искрились слезы.

– Что с вами, мой добрый друг? с участием спросил мистер Дэль, положив руку на плечо итальянца. – Мистрисс Риккабокка, вы не должны доводить его до уныния.

– Я обнаружил бы величайшую непризнательность к ней, еслиб решился подтвердить ваши слова, мистер Дэль, сказал бедный итальянец, стараясь выказать все свое уважение к прекрасному полу.

Другая жена, которая ставит себе в упрек, если муж её находится в неприятном расположении духа, отвернулась бы с пренебрежением от такой фразы, скорее вычурной, чем чистосердечной, и, пожалуй, еще вывела бы из этого ссору, но мистрисс Риккабокка взяла протянутую руку мужа со всею нежностью любящей жены и весьма наивно сказала:

– Это происходит оттого, мистер Дэль, что я сама очень скучна; мало того: я очень глупа. И не знаю, почему я не замечала за собой этого недостатка до замужства. – Я очень рада вашему приходу. Вы можете начать какойнибудь ученый разговор, и тогда муж мой забудет о своем....

– О чем же это о своем? спросил Риккабокка с любопытством.

– О своем отечестве. Неужели вы думаете, что я не умею

иногда читать ваши мысли?

– Напротив, весьма часто. Только на этот раз вы, верно, не умели прочесть их. Язык прикасается к больному зубу, но самый лучший дантист не узнает этого зуба до тех пор, пока рот не будет открыт. *Basta!* Нельзя ли вам предложить вина, мистер Дэль? оно у нас самое чистое.

– Благодарю вас. Я лучше выпил бы чаю.

Мистрисс Риккабокка, весьма довольная случаем находиться в своей стихии, немедленно встала и ушла в комнаты приготовить наш национальный напиток. Мистер Дэль занял её стул.

– Так вы опять начинаете унывать? сказал он. – Не стыдно ли вам! По-моему, если есть в мире чтонибудь привлекательное, к чему мы должны постоянно стремиться, так это веселое расположение духа.

– Не спорю, возразил Риккабокка, с тяжелым вздохом. – А знаете ли вы слова какого-то грека, на которого, мне кажется, очень часто ссылается ваш любимец Сенека, что мудрый человек уносит с собой частицу родной земли на подошвах своих ног, но ему не унести с собой солнечных лучей своего отечества?

– Извините, синьор Риккабокка, а я вот что скажу вам на это, заметил мистер Дэль довольно сухо: – вы тем сильнее чувствовали бы счастье, чем менее уважали бы свою философию.

– *Cospetto!* воскликнул доктор, начиная горячиться. –

Объясните пожалуйста, почему это так?

– Разве вы не согласитесь с тем, что, гоняясь за мудростью, ваши желания всегда остаются неудовлетворенными в пределах небольшого круга, в котором заключается вся ваша жизнь? Конечно, этот круг не так обширен, как ваше отечество, о котором вы сокрушаетесь, но все же в нем весьма довольно места для вашего ума и пищи для ваших чувств.

– Вы как раз попали на больной зуб, сказал Риккабокка, с восхищением.

– Мне кажется весьма нетрудно изменить его, отвечал мистер Дэль. – Зуб мудрости выходит самым последним и причиняет нам мучительную боль. Если бы вы держали на строгой диете ваш ум, а более питали сердце, вы менее были бы философом, а более....

С языка мистера Дэля чуть не сорвалось слово «семьянин». Он, однако же, удержался от этого выражения, опасаясь еще более раздражить итальянца, и заменил его простым, но верным определением: «вы были бы более счастливым человеком!»

– Кажется, я делаю с моим сердцем все, что только можно, возразил доктор.

– О, не говорите этого! человек с вашим сердцем никогда бы не почувствовал недостатка в счастии. Друг мой, мы живем в век чересчур излишнего умственного образования. Мы слишком мало обращаем внимания на простую, благотворную внешнюю жизнь, в которой так много положи-

тельной радости. Углубившись в мир внутренний, мы становимся слепы к этому прекрасному внешнему миру. Изучая себя как человека, мы почти забываем обратить взоры свои к небу и согреть свою душу отрадной улыбкой Творца вселенной.

Риккабокка механически пожал плечами, что делал он каждый раз, когда ктонибудь другой начинал читать ему мораль. Впрочем, на этот раз в улыбке его незаметно было ни малейшей иронии, и он отвечал мистеру Дэлю весьма спокойно:

– В ваших словах заключается много истины. И согласен, что мы гораздо больше живем умом, нежели сердцем. Познание имеет свои темные и светлые стороны.

– Вот в этом-то смысле я и хотел поговорить с вами насчет Леонарда.

– Да, кстати: чем кончилось ваше путешествие?

– Я все расскажу вам, когда мы после чаю отправимся к нему. В настоящее время я занят более вами, нежели им.

– Мной! Не напрасный ли труд? Дерево, на которое вы хотите обратить внимание, давно сформировалось; вам нужно теперь заняться молодой веткой.

– Деревья – деревьями, а ветки – ветками, возразил мистер Дэль докторальным тоном: – вы, верно, знаете, что человек растет до самой могилы. Помнится, мы говорили мне, что когда-то едва-едва избавились от тюрьмы?

– Ваша правда.

– Вообразите себе, что в настоящее время вы находитесь в этой тюрьме, и что благодетельная волшебница показала вам изображение этого дома, тихого, спокойного, в чужой, но безопасной земле; вообразите, что вы видите из вашей темницы померанцовые деревья в полном цвете, чувствуете, как легкий ветерок навевает на ваше лицо отрадную прохладу, видите дочь свою, которая веселится или печалится, смотря потому, улыбаются ли вы, или хмуритесь; что внутри этого очарованного дома находится женщина, не та, о которой вы мечтали в счастливой юности, но верная и преданная женщина, каждое биение сердца которой так чутко согласуется с биением вашего. Скажите, неужели вы не воскликнули бы из глубины темницы: «О, волшебница! такое жилище было бы для меня настоящим раем.» Неблагодарный человек! ты ищешь разнообразия, перемен для своего ума и никогда не находишь их, между тем как твое сердце было бы довольно тем, что окружает его.

Риккабокка был тронут: он молчал.

– Поди сюда, дитя мое, сказал мистер Дэль, обращаясь к Виоланте, которая все еще стояла между цветами и не сводила глаз с своего отца. – Поди сюда, сказал он, приготовив руки для объятия.

Виоланта подошла, и её головка склонилась на грудь доброго пастора.

– Скажи мне, Виоланта, когда ты бываешь одна в полях или в саду, когда, ты знаешь, что оставила папа своего дома

в самом приятном расположении духа, так что в душе тебе не о чем даже и заботиться, – скажи, Виоланта, когда в такие минуты ты остаешься одна с цветами, которые окружают тебя, и птичками, которые поют над тобой, чем тебя кажется тогда жизнь: счастьем или тяжелым бременем?

– Счастьем! отвечала Виоланта, протяжным голосом и прищутив глазки.

– Не можешь ли ты объяснить мне, какого рода это счастье?

– О, нет, это невозможно! и притом оно не всегда бывает одинаково: иногда оно такое тихое, спокойное, а иногда такое порывистое, что в ту минуту мне бы хотелось иметь крылья, чтоб лететь к Богу и благодарить его!

– Друг мой, сказал мистер Дэль:– вот прямое, истинное сочувствие между жизнью и природой. Это чувство мы навсегда сохранили бы при себе, еслиб только более заботились о сохранении детской невинности и детского чувства. А мне кажется, мы должны также сделаться детьми, чтоб знать, сколько сокровищ заключается в нашем земном достоянии.

В это время служанка (Джакеймо с раннего утра и до позднего вечера находился теперь на полях) принесла в беседку стол, устала его всеми чайными принадлежностями и, кроме того, другими напитками, сколько дешевыми, столько же и приятными, особливо в летнюю, знойную пору, – напитками, приготовленными из сочных плодов, подслащен-

ных медом, и только что вынесенными из ледника. Мистер Дэль всегда с особенным удовольствием пил чай в доме Риккабокка, за чайным столом бедного изгнанника он находил какую-то прелесть, которая сколько пленяла зрение, столько же и удовлетворяла вкусу. Чайный сервиз, хотя и простой, веджвудовский, имел классическую простоту; перед этим сервизом старинный индейский фаянс мистрисс Гэзельден и лучший ворчстерский фарфор мистрисс Дэль казались пестрыми, неуклюжими.

Маленький банкет начался довольно скучно, потому что все почти молчали. Но, спустя несколько минут, Риккабокка сбросил с себя угрюмость, сделался весел и одушевился. Вслед за тем на лице мистрисс Риккабокка показалась веселая улыбка, и она беспрестанно просила кавалеров есть её тосты, а Виоланта, почти всегда серьёзная, смеялась теперь от чистого сердца и заигрывала с гостем, не пропуская случая, когда мистер Дэль отворачивался в сторону, утащить его чашку с горячим чаем и вместо неё поставить холодный вишневый сок. Мистер Дэль не раз вскакивал со стула, бегал за Виолантой, принимал сердитый вид, ловил ее, но Виоланта пленительно увертывалась, так что мистер Дэль наконец совершенно утомился, заключил мир с маленькой шалуньей и принужден был по необходимости прибегнуть к холодному морсу. Таким образом время катилось незаметно до тех пор, пока на церковной башне не раздался отдаленный бой часов. Мистер Дэль быстро поднялся со стула и вскричал:



– Чуть-чуть не позабыл, зачем я пришел сюда! Теперь, пожалуй, будет поздно идти к нашему Леонарду. Беги поскорее, шалунья, и принеси шляпу твоему папа.

– И зонтик, сказал Риккабокка, взглянув на безоблачное небо, озаренное бледным светом полной луны.

– Зонтик от звезд? заметил мистер Дэль, со смехом.

– Звезды никогда не благоволили ко мне, сказал Риккабокка. – А почему знать, что еще может случиться!

Риккабокка и Дэль шли по дороге весьма дружелюбно.

– Вы сделали для меня большое благодеяние, сказал Риккабокка. – Впрочем, я не думаю, чтобы я был расположен к постоянной и притом безразсудной меланхолии, которую вы, по видимому, подозреваете во мне. Человеку, для которого прошедшее служит единственным собеседником, вечера неволью покажутся иногда чрезвычайно длинными и в добавок скучными.

– Неужели одни только ваши мысли и служат вам единственными собеседниками? а дочь?

– Она еще так молода.

– А жена?

– Она так....

Итальянец хотел, по видимому, выразить эпитет неслишком выгодный для мистрисс Риккабокка, но умолчал о нем и вместо того кротко прибавил:

– Так добра. Притом же согласитесь, что у нас не может быть слишком много общего.

– О, нет, в этом отношении я не согласен с вами. Ваш дом, ваши интересы, ваше счастье и наконец жизнь вас обоих непременно должны быть общими между вами. Мы, мужчины, до такой степени взыскательны, что, решаясь начать супружескую жизнь, надеемся найти для себя идеальных нимф и богинь, и еслиб мы находили их, то поверьте, что цыпляты за нашим столом всегда обращались бы не в сочное и питательное блюдо, а в мочалки, и телятина являлась бы такая жочткая и холодная, как камень.

– *Per Vacco!* вы настоящий оракул, сказал Риккабокка, с громким смехом. – Не забудьте, однако, что я не такой скептик, как вы. Я уважаю прекрасный пол слишком много. Мне кажется, что большая часть женщин осуществляют те идеалы, которые мужчины находят..... в поэтических произведениях!

– Правда ваша, – правда! да вот хоть бы моя неоцененная мистрисс Дэль, начал мистер Дэль, не понимая этого саркастического комплимента прекрасному полу, но понизив свой голос до шепота и оглядываясь кругом, как будто опасаясь, чтобы ктонибудь не подслушал его: – моя неоцененная мистрисс Дэль лучшая женщина в мире. Я готов назвать ее гением-хранителем; конечно....

– Что же это такое конечно? спросил Риккабокка, принимая серьёзный вид.

– Конечно, и я бы мог сказать, что «между нами нет ничего общего», еслиб я стал сравнивать ее с собой относитель-

но ума и, вооруженный логикой и латынью, презрительно стал бы улыбаться, когда бедная Кэрри сказала бы чтонибудь не столь глубокомысленное, как мадам де-Сталь. Но, припоминая все маленькие радости и огорчения, которыми мы делились друг с другом, и чувствуя, до какой степени был бы я одинок без неё, я тотчас постигаю, что между нами столько есть общего, сколько может быть между двумя созданиями, которых одинаковое образование оделило одинаковыми понятиями; и, кроме того, женившись на чересчур умном создании, я находился бы в непрерывной борьбе с рассудком, находился бы в том неприятном положении, какое испытываю при встрече с таким скучным мудрецом, как вы. Я не говорю также, что мистрисс Риккабокка одно и то же, что мистрисс Дэль, прибавил мистер Дэль, более и более одушевляясь: – нет! во всем мире существует одна только мистрисс Дэль. Вы выиграли приз в лотерее супружества и должны довольствоваться им. Вспомните Сократа: даже и он был доволен своей Ксантиппой!

В эту минуту доктор Риккабокка вспомнил о «маленьких капризах» мистрисс Дэль и в душе восхищался, что в мире не существовало другой подобной женщины, которая весьма легко могла бы выпасть на его долю. Не обнаруживая, однако же, своего тайного убеждения, он отвечал весьма спокойно:

– Сократ был человек выше всякого подражания. Но и он, я полагаю, очень редко проводил вечера в своем доме. Одна-

ко, *revenons à nos moutons*, мы почти у самого коттэджа мистрисс Ферфильд, а вы еще не сказали мне, что сделано вами для Леонарда.

Мистер Дэль остановился, взял Риккабокка за пуговицу и в нескольких словах сообщил ему, что Леонард должен отправиться в Лэнсмер к своим родственникам, которые имеют состояние и если захотят, то устроят его будущность, откроют поприще его способностям.

– Судя по некоторым выражениям в «Разсуждении» Леонарда, я начинаю думать, что он, слишком увлеченный приобретением познаний, забывает то, что везде, во всякое время должно составлять необходимую принадлежность каждого человека. Мне кажется, он делается слишком самоуверенным, и я боюсь, чтобы эта самоуверенность не погубила его. Поэтому-то я и намерен теперь просветить его немного в том, что он называет просвещением.

– О, это должно быть очень интересно! сказал Риккабокка, в веселом расположении духа. – Я уверен, что дело не обойдется без меня, и от души радуюсь, потому что это заставляет меня думать, что и мы, философы, люди не совсем бесполезные.

– Я бы сказал вам «да», еслиб вы не были до такой степени высокомерны, что беспрестанно заблуждаетесь сами и невольным образом вводите других в заблуждение, отвечал мистер Дэль.

И вместе с этим, взяв рукоятку красного зонтика, он по-

стучал ею в дверь коттэджа.

Нет ни одного недуга, который бы так быстро развивался в человеке и которого симптомы были бы так разнообразны и удивительны, как недуг, называемый жаждою познаний. В нравственном мире мало найдется таких любопытных зрелищ, как зрелище, которое могут доставить нам многие чердаки, приют бедных тружеников, еслиб только Асмодей раскрыл крыши для нашего любопытства. Мы увидели бы неустрашимое, терпеливое, усердное человеческое создание, пробивающее многотрудный путь, сквозь чугунные стены нищеты, в величественную, великолепную беспредельность, озаренную мириадами звезд.

Так точно и теперь: в маленьком коттэдже, в тот час, когда богатые люди только что садятся за обед, а бедные уже ложатся спать, мистрисс Ферфильд удалилась на покой, между тем как самоучка Леонард сел за книги. Поставив свой стол перед окном, он от времени до времени взглядывал на небо и любовался спокойствием луны. К счастью для него, тяжелые физические работы начинались с восходом солнца и потому служили спасительным средством к замене часов, отнятых у ночи. Люди, ведущие сидячую жизнь, не были бы такими диспептиками, еслиб трудились на открытом воздухе столько часов, сколько Леонард. Но даже и в нем вы легко могли бы заметить, что ум начал пагубно действовать на его физический состав: это обыкновенная дань телу от деятельного ума.

Неожиданный стук в двери испугал Леонарда; но вскоре знакомый голос пастора успокоил его, и он впустил посетителей с некоторым изумлением.

– Мы пришли поговорить с тобой, Леонард, сказал мистер Дэль: – но я боюсь, не потревожим ли мы мистрисс Ферфильд?

– О, нет, сэр! она спит наверху: дверь туда заперта, и сон её постоянно крепок.

– Это что! у тебя французская книга, Леонард! разве ты знаешь по французски? спросил Риккабокка.

– Я не находил никакой трудности изучить французский язык. Когда я выучил грамматику, то и язык сделался мне понятен.

– Правда. Вольтер весьма справедливо замечает, что во французском языке ничего нет темного.

– Желал бы я тоже самое сказать и об английском языке, заметил пастор.

– А это что за книга? латинская! Виргилий!

– Точно так, сэр. Вот с этим языком совсем дело другое: я вижу, что без помощи учителя мне не сделать в нем больших успехов, и потому хочу оставить его.

И Леонард вздохнул.

Два джентльмена обменялись взорами и заняли стулья. Молодой Леонард скромно стоял перед ними; в его наружности, в его позе было что-то особенное, трогавшее сердце и пленявшее взор. Он уже не был тем робким мальчи-

ком, который дрожал при виде сурового лица мистера Стирна, – не был и тем грубым олицетворением простой физической силы, обратившейся в необузданную храбрость, которая была уничтожена на Гезельденском лугу. На его лице отражалась сила мысли, все еще беспокойная, но кроткая и серьёзная. Черты лица приняли ту утонченность, или, лучше, ту прелесть, которую часто приписывают происхождению, но которая происходит от превосходства, от изящности понятия, заимствованных или от наших родителей, или почерпнутых из книг. В густых каштановых волосах мальчика, небрежно спускавшихся мягкими кудрями почти до самых плеч, – в его больших глубоких, голубых глазах, которых цвет от длинных ресниц переходил в фиолетовый, в его сжатых розовых губах было много привлекательной красоты, но красоты уже более не простого деревенского юноши. По всему лицу его разливались сердечная доброта и непорочность; оно имело выражение, которое художник так охотно передал бы идеалу влюбленного молодого человека.

– Возьми стул, мой друг, и садись между нами, сказал мистер Дэль.

– Если кто имеет право садиться, заметил Риккабокка:– так это тот, кто будет слушать лекцию; а кто будет читать ее, тот должен стоять.

– Не бойся, Леонард, возразил пастор: – я не стану читать тебе лекцию: я хочу только сделать некоторые замечания на твоё сочинение, которые, я уверен, ты оценишь, если

не теперь, то впоследствии. Ты избрал девизом для своего сочинения известный афоризм: «знание есть сила». Теперь мне хочется убедиться, вполне ли и надлежащим ли образом понимаешь ты значение этих слов.

Мы не намерены представлять нашим читателям беседу двух ученых мужей, – скажем только, что она имела благотворное влияние на Леонарда. Он совершенно соглашался, что так как Риккабокка и мистер Дэль были более чем вдвое старше его и имели случай не только читать вдвое больше, но и приобрести гораздо больше опытности, то им должны быть знакомее все принадлежности и различия всякого рода знания. Во всяком случае, слова мистера Дэля были сказаны так кстати и произвели такое действие на Леонарда, какое пастор желал произвести на него, до неожиданного объявления ему о предстоящей поездке к родственникам, которых он ни разу не видел, и о которых, по всей вероятности, слышал весьма мало, – поездке, предпринимаемой с целию доставить Леонарду возможность усовершенствовать себя и поставить его на более высокую степень в общественном быту.

Без подобного приготовления, быть может, Леонард вступил бы в свет с преувеличенными понятиями о своих познаниях, и с понятиями еще более преувеличенными касательно силы, какую его познания могли бы современем получить. – Когда мистер Дэль объявил ему о предстоящем путешествии, предостерегая его в то же время от излишней са-



моуверенности и неуместной вспыльчивости, Леонард принял это известие весьма серьёзно и даже торжественно.

Когда дверь затворилась за посетителями, Леонард, углубись в размышления, несколько минут простоял как вкопанный. После того он снова отпер дверь и вышел на открытое поле. Ночь уже наступила, и темно-голубое небо сверкало мириадами звезд. «Мне кажется – говорил впоследствии Леонард, вспоминая этот кризис в судьбе своей – мне кажется, что в то время, как я стоял одинок, но окруженный бесчисленным множеством недостижимых миров, я впервые узнал различие между *умом* и *душой!*»

– Скажите мне, спросил Риккабокка, на возвратном пути с мистером Дэлем:– не следует ли дать такой же лекции Франку Гэзельдену, какую мы прочитали Леонарду Ферфильду?

– Друг мой, возразил пастор: – на это вот что я скажу вам: я не раз ездил верхом и знаю, что для одних лошадей достаточно легкого движения поводом, а другие непрерывно требуют шпор.

– *Cospetto!* воскликнул Риккабокка: – вы, кажется, поставили себе за правило каждый из своих опытов применять к делу; даже и поездка ваша на коне мистера Гэзельдена не оставлена без пользы. Теперь я вижу, почему вы, живя в этой маленькой деревне, приобрели такие обширные сведения о человеческой жизни.

– Не случилось ли вам читать когда «Натуральную исто-

рию» Ванта?

– Никогда.

– Так прочитайте, и вы увидите, что не нужно далеко ходить, чтоб изучить привычки птиц и знать разницу между касаткой и ласточкой. Изучайте эту разницу в деревне, и вы будете знать ее повсюду, где только касатки и ласточки плавают по воздуху.

– Касатки и ласточки! правда; но люди...

– Всегда окружают нас в течение круглого года, а этого мы не можем сказать о тех птичках.

– Мистер Дэль, сказал Риккабокка, снимая шляпу, с величайшей учтивостью: – если я встречу какое нибудь затруднение в моих умствованиях, то скорее прибегну к вам, нежели к этому холодному Макиавелли.

– Ага! давно пора! возразил мистер Дэль: – я только этого и ждал: теперь вы сами сознаетесь, что с вашей философией вы никогда не достигнете желаемой цели.

## Глава XXXII

На другой день мистер Дэль держал длинное совещание с мистрисс Ферфильд. Сначала ему стоило большего труда переломить в этой женщине гордость и заставить принять предложения родителей, которые так долго, можно сказать, пренебрегали ею и Леонардом. Тщетно старался добрый пастор доказать ей, что от этих предложений зависят её собственная польза и счастье Леонарда. Но когда мистер Дэль сказал ей довольно строгим голосом:

– Ваши родители в преклонных летах; ваш отец дряхл; малейшее желание их вы обязаны исполнить как приказание....

– Господи прости мои прегрешения, заметила она. – «Чти отца твоего и мать твою.» – Я не учена, мистер Дэль, но десять заповедей знаю. Пусть Ленни отправляется. Я одного только боюсь, что он забудет меня, и, может статься, современем, и он научится презирать меня.

– С его стороны этого не будет. Я ручаюсь за него, возразил пастор и уже без особенного труда уверил ее и успокоил.

Только теперь, получив полное согласие вдовы на отъезд Леонарда, мистер Дэль вынул из кармана незапечатанное письмо, которое Ричард вручил ему для передачи вдове от имени отца и матери.

– Это письмо адресовано к вам, сказал он: – и вы найдете в нем довольно ценное приложение.

– Не потрудитесь ли, сэръ, прочитать его за меня? я уже сказала вам, что я женщина безграмотная.

– Зато Леонард у вас грамотей: он придет и прочитает.

Вечером, когда Леонард воротился домой, мистрисс Ферфильд показала ему письмо. Вот его содержание:

«Любезная Джэн! мистер Дэль сообщит тебе, что мы желаем видеть Леонарда. Мы очень рады, что вы живете благополучно. Через мистера Дэля посылаем тебе билет в пятьдесят фунтов стерлингов, который дарит тебе Ричард, твой брат. В настоящее время писать больше нечего; остаемся любящие тебя родители *Джон и Маргарэта Эвенель.*»

Письмо было написано простым женским почерком, и Леонард заметил в нем несколько ошибок в правописании, поправленных или другим пером, или другой рукой.

– Милый брат Дик, какой он добрый! сказала вдова, когда кончилось чтение. – Увидев билет, я в ту же минуту подумала, что это должно быть от него. Как бы мне хотелось увидеть его еще раз. Но я полагаю, что он все еще в Америке. Ну ничего, спасибо ему: это годится тебе на платье.

– Нет, матушка, благодарю вас: берегите эти деньги для себя, и, лучше всего, отдайте их в сберегательную кассу.

– Нет ужь, извини: я еще не так глупа, чтобы сделать это, возразила мистрисс Ферфильд, с презрением, и вместе с этим сунула билет в полу-разбитый чайник.

– Вы, пожалуйста, не оставьте его тут, когда я уеду: вас могут ограбить, матушка.

– Ах и в самом деле! правда твоя, Ленни! чего доброго! – Что же я стану делать с деньгами? Какая мне нужда в них? – Ах, Боже мой! лучше бы они не присылали мне. Теперь мне не уснуть спокойно. Знаешь ли что, Ленни: положи их к себе в карман и застегни его как можно крепче.

Ленни улыбнулся, взял билет, но не положил его для хранения в собственный карман, а передал мистеру Дэлю и просил его внести эти деньги в сберегательную кассу на имя матери.

На следующий день Леонард отправился с прощальным визитом к своему покровителю, к Джакеймо, к фонтану, к цветнику и саду. Сделав один из этих визитов, и именно к Джакеймо, который, мимоходом сказать, в избытке чувств, сначала дополнял свой красноречивый, прощальный привет одушевленными жестами, потом заплакал и ушел, – сам Леонард до такой степени был растроган, что не мог в то же время отправиться в дом Риккабокка, но остановился у фонтана, стараясь удержать свои слезы.

– Ах, это вы, Леонард! вы уезжаете от нас! сказал позади его нежный голос.

И слезы Леонарда покатались еще быстрее: он узнал голос Виоланты.

– Не плачьте, говорил ребенок, весьма серьёзно и вместе с тем нежно: – вы уезжаете; но папа говорит, что с нашей стороны было бы весьма самолюбиво сожалеть об этом, потому что тут заключается ваша польза, и что, напротив того,

мы должны радоваться. Про себя скажу, я так очень самолюбива, Леонард, и сожалею о вас. Мне очень, очень будет скучно без вас.

– Вам, синьорина, – вам будет скучно без меня!

– Да. Однако, я не плачу, Леонард; и знаете, почему? – потому, что я завидую вам. Мне бы хотелось быть мальчиком, мне бы хотелось быть на вашем месте.

– Быть на моем месте и разлучиться со всеми, кого вы так любите!

– И быть полезной для тех, кого и вы тоже любите. Придет время, когда вы воротитесь в коттедж вашей матушки и скажете: «мы одержали победу, мы завоевали фортуна.» О, еслиб и я могла уехать и воротиться, так, как это предстоит вам! Но, к несчастью, отец мой не имеет отечества, и его единственная дочь не приносит ему никакой пользы.

В то время, как Виоланта произносила эти слова, Леонард осушил свои слезы; её душевное волнение имело на него какое-то странное влияние: оно совершенно успокоивало его тревожную дотоле душу.

– Я только теперь понимаю, что значит быть мужчиной! продолжала Виоланта, приняв гордый, величественный вид. – Женщина боязливо решится произнести; я желала бы сделать это; а мужчина говорит утвердительно: я хочу сделать это и сделаю.

До сих пор Леонард замечал иногда проблески чего-то необыкновенно величественного, героического в натуре ма-

ленькой итальянки, особенно в последнее время, – проблески тем более замечательные по их контрасту с её станом, тонким, гибким, в строгом смысле женским, и с пленительностью нрава, по которой гордость её имела необыкновенную прелесть. В настоящую же минуту казалось, что дитя говорило с каким-то повелительным видом, почти с вдохновением Музы. Странное и новое чувство бодрости одушевило Леонарда.

– Смею ли я, сказал он: – сохранить эти слова в моей памяти?

Виоланта обернулась к нему и бросила на него взгляд, который и сквозь слезы казался Леонарду светлее обыкновенного.

– И если вы запомните, проговорила она, быстро протянув руку, которую Леонард, почтительно наклонившись, поцаловал: – если вы запомните, я, с своей стороны, буду с величайшим удовольствием вспоминать, что, при моей молодости и неопытности, я успела оказать помощь непоколебимому сердцу в великой борьбе к достижению славы.

На лице Виоланты играла самодовольная улыбка. Сказав эти слова, она промедлила еще минуту и потом скрылась между деревьями.

После довольно продолжительного промежутка, в течение которого Леонард постепенно оправился от удивления и внутреннего беспокойства, пробужденных в нем обращением и словами Виоланты, он отправился к дому своего гос-

подина. Но Риккабокка не было дома. Леонард механически вошел на террасу, но как деятельно ни занимался он цветами, черные глаза Виоланты являлись перед ним на каждом шагу, представлялись его мыслям, и её голос звучал в его ушах.

Наконец, на дороге, ведущей к казино, показался Риккабокка. Его сопровождал работник, с узелком в руке.

Итальянец сделал знак Леонарду следовать за ним в комнату, где, поговорив с ним довольно долго и обременив его весьма значительным запасом мудрости, в виде афоризмов и пословиц, мудрец оставил его на несколько минут и потом возвратился вместе с женой и с небольшим узелком.

– Мы не можем дать тебе многого, Леонард, а деньги, по моему мнению, самый худший подарок из всех подарков, предназначенных на память; поэтому я и жена моя рассудили за лучшее снабдить тебя необходимым платьем. Джакомо, который был также нашим сообщником, уверяет нас, что все это платье будет тебе впору; мне кажется, что для этой цели он тайком уносил твой сюртук. Надень это платье, когда отправишься к своим родственникам. Я не могу надивиться, почему различие покроя в нашем платье производит такую изумительную разницу в понятиях людей о наших особах. В этом costume мне ни под каким видом нельзя показаться в Лондон, и, право, невольным образом должно согласиться с людским поверьем, что портной перерождает человека.

– Сорочки здесь из чистого голландского полотна, сказала



мистрисс Риккабока, намереваясь раскрыть узелок.

– Зачем входить во все подробности, душа моя! возразил мудрец: – само собою разумеется, что сорочки составляют основу всякого костюма. . . . А вот это, Леонард, прими на память собственно от меня. Я носил эти часы в ту пору, когда каждая минута была для меня драгоценностью, когда от одной минуты зависела вся моя участь. Благодаря Бога, мне удалось-таки избежать этой минуты, и теперь, мне кажется, я кончил все расчеты с временем.

Говоря это, бедный изгнанник вручил Леонарду часы, которые привели бы в восторг любого антиквария и поразили бы ужасом лондонского дэнди. Они отличались чрезвычайной толщиной; наружный футляр их был покрыт эмалью, внутренняя доска была из чистого золота. Стрелки и цифры некогда были осыпаны бриллиантами, но эти бриллианты давно уже исчезли. Несмотря на этот недостаток часы во всех отношениях согласовались с характером более того, кто дарил их, нежели того, кто получал: они точно так же шли к Леонарду, как и красный толковый зонтик.

– Часы эти старинные, заметила мистрисс Риккабокка:– но я уверена, что во всем округе не найдется вернее их, и мне кажется, что они проходят до светопреставления.

– *Carissima tua!* воскликнул доктор: – неужели я еще до сих пор не убедил тебя, что ты заблуждалась и заблуждаешься в своих понятиях о преставлении мира?

– О, Альфонсо, отвечала мистрисс Риккабокка, покрас-

нев: – ведь я сказала это без всякой цели.

– Тем хуже: зачем и говорить без всякой цели о том, чего мы не знаем, о чем не имеем и не можем иметь понятия! сказал Риккабокка весьма сухо.

По всему видно было, что этими словами он хотел отместить за эпитет «старинные», примененный к его карманным часам.

Леонард вовсе это время безмолвствовал: он не мог говорить, в полном смысле этих слов. Каким образом он выведен был из этого замешательства, и как он выбрался из комнаты, объяснить мы не в состоянии. Мы знаем только, что, спустя несколько минут, он весьма быстрыми шагами шел к своему коттеджу.

Риккабокка и жена его стояли у окна и взорами провожали юношу.

– О! сколько прекрасных чувств в душе этого мальчика, сказал философ.

– Бедненький! заметила мистрисс Риккабокка – мне кажется, мы положили в узелок все необходимое.

Риккабокка (*продолжая говорить сам с собою*). Они крепки, хотя и не видать их снаружи.

Мистрисс Риккабокка (*продолжая делать свои возражения*). Они положены на самый низ.

Риккабокка. И их на долго ему хватит.

Мистрисс Риккабокка. По крайней мере на год, если бережно будут обходиться с ними во время стирки.

Риккабокка (*сильно изумленный*). Бережно обходиться с ними во время стирки! Да о чем вы говорите, сударыня?

Мистрисс Риккабокка (*весьма кротко*). Само собою разумеется, что о сорочках, душа моя! А вы о чем?

Риккабокка (*с тяжелым вздохом*). А я, сударыня, о чувствах! – И вслед за тем он с нежностью взял ее за руку. – Впрочем, ты имеешь, друг мой, полное право говорить о сорочках; мистер Дэль сказал правду.

Мистрисс Риккабокка. Что же он сказал?

Риккабокка. Что между нами есть чрезвычайно много общего, даже и тогда, когда я думаю о чувствах, а ты, мой друг, о сорочках.

## Глава XXXIII

Мистер и мистрисс Эвенель сидели в гостиной. Мистер Ричард стоял на каминном ковре, насвистывая какую-то американскую песню.

– Мистер Дэль пишет, что мальчик приедет сегодня, сказал Ричард внезапно: – дайте-ка взглянуть в письмо.... да, да, сегодня. Если он доедет в дилижансе к местечку Б.... то остальную часть дороги пройдет не более, как в три часа. Теперь он должен находиться недалеко отсюда. Мне очень хочется выйти к нему на встречу: это избавит его делать лишние расспросы и слышать различные сплетни обо мне. Я выйду отсюда из садовой калитки и позади дворов пробегу на большую дорогу.

– Да ведь ты не узнаешь его: ты ни разу не видал его, сказала мистрисс Эвенель.

– Вот еще прекрасно! не узнать Эвенеля! Мы все на один покров.... не правда ли, батюшка?

Бедный Ддjohn захохотал так усердно, что на глазах его выступили слезы и вскоре покатались по щекам.

– Наше семейство всегда отличалось чем нибудь, заметил старик, успокоившись. – Вот, например, Лука... но его уж нет на свете... потом Генри; но этот умер; потом Дик, но тот уехал в Америку; впрочем, нет: он здесь теперь... потом моя милая Нора, но.....

– Замолчи, Джон, прервала мистрисс Эвенель: – замолчи!

Старик с изумлением взглянул на нее и дрожащей рукой закрыл свое лицо.

– И моя дорогая, милая Нора, и она тоже умерла! сказал старик голосом, в котором отзывалась глубокая горечь.

Обе руки его упали на колени, и голова склонилась на грудь.

Мистрисс Эвенель встала, поцаловала мужа в лоб и удалилась к окну. Ричард взял шляпу, тщательно вытер на ней пух носовым платком; губы его дрожали.

– Я иду, сказал он отрывисто. – Смотрите же, матушка, о дядюшке Ричарде ни слова: нам нужно узнать сначала, понравимся ли мы друг другу; да пожалуста (эти слова произнес он шепотом), постарайтесь уговорить к тому и бедного отца.

– Хорошо, Ричард, спокойно отвечала мистрисс Эвенель.

Ричард надел шляпу и вышел в сад. Он пробирался по полям и окраине города и только раз перешел через улицу, до выхода на большую дорогу.

Ричард продолжал идти по большой дороге до первого мильного столба. Здесь он сел, закурил сигару и начал поджидать племянника. Было уже близко захождение солнца, и дорога лежала перед ним к западу. Ричард от времени до времени поглядывал вдаль, отеняя рукой свои глаза, и, наконец, в то время, как половина солнечного диска скрылась под горизонт, на дороге показалась человеческая фи-

гура. Она появилась внезапно из за крутого поворота; красные лучи солнца проникали всю атмосферу, окружавшую эту фигуру. Она была одинока и безмолвна, как будто шествие её совершалось из страны солнечного света.

– Верно издали, молодой человек? спросил Ричард Эвенель.

– Нет, сэр, не очень. Скажите, пожалуйста, ведь это Лэнсмер?

– Да, это Лэнсмер; если я не ошибаюсь, так ты намерен остановиться в нем?

Леонард утвердительно кивнул головой и продолжал идти своей дорогой.

– Если вы знакомы, сэр, с этим городом, сказал он, заметив, что незнакомец провожает его: – то будьте так добры, скажите, где живет мистер Эвенель.

– Я могу провести тебя полями: это много сократит дорогу и приведет к самому дому.

– Вы очень добры, сэр; но ведь это для вас будет совсем не по дороге.

– О, нет, напротив, я сам иду в ту сторону. Значит ты пожаловал сюда к мистеру Эвенелю? Это очень добрый старый джентльмен.

– Я всегда то же слышал о нем; а мистрисс Эвенель....

– Превосходнейшая женщина, подхватил Ричард. – Спроси кого хочешь; впрочем, мне и самому очень хорошо знакомо это семейство.

– Зачем же спрашивать, сэр! я совершенно верю вам.

– У них есть сын; но теперь он, кажется, в Америке... не правда ли?

– Точно так, сэр.

«Значит мистер Дэль сдержал слово: не выдал меня» сказал Ричард про себя.

– Не можете ли вы сказать мне чтонибудь об этом сыне? спросил Леонард: – мне бы очень было приятно услышать о нем.

– Почему это так, молодой человек? быть может, его уже повесили.

– Повесили!

– Мудреного нет ничего: говорят, что это был не человек, а бешеная собака.

– Значит вам сказали чистую ложь, сказал Леонард, покрасневшись.

– Право, как бешеная собака: его родители рады-радешеньки, что сбыли его с рук, протурили его в Америку. Говорят, будто бы он составил там большой капитал; если это правда, то тем более не заслуживает он похвалы, потому что совершенно позабыл своих родственников.

– Сэр, сказал Леонард: – теперь я утвердительно могу сказать вам, что в этом отношении вас обманули. Я знаю сам, что он был весьма великодушен к одной родственнице, которая менее других имеет права на его пособие, и я слышал, что имя его всегда произносится этой родственницей не ина-

че, как с любовью и похвалой.

Ричард немедленно начал насвистывать американскую песню и прошел несколько шагов, не сказав ни слова. После этого он выразил легкое извинение за свой нелепый отзыв и, обычным своим смелым и вкрадчивым разговором, старался что-нибудь выпытать из души своего спутника. Очевидно было, что он поражен был чистотой и определительностью выражения Леонарда. Он не раз выражал свое изумление и смотрел ему в лицо внимательно и с удовольствием. На Леонарде надето было новое платье, которым снабдили его Риккабокка и его жена. Покрой этого платья как нельзя более шел бы к молодому провинциальному лавочнику в хороших обстоятельствах; но так как Леонард вовсе не думал о своем платье, то непринужденные его движения обнаруживали в нем настоящего джентльмена.

В это время они вступили на поля. Леонард остановился перед небольшим участком земли, засеянным рожью.

– Мне кажется, это поле гораздо бы лучше было оставить под траву: оно так близко к городу, сказал он.

– Без всякого сомнения, отвечал Ричард: – но надобно сказать, что здешний народ во всем назади. Видишь ли ты вон этот большой парк, вон что там, на другой стороне дороги? Мне кажется, то место более удобно для посева, а не для травы; но тогда что же случилось бы с оленями милорда? Эти милорды совсем не обращают внимания на агрономию.



– Однако, ведь не ваш же милорд засеял это поле рожью? сказал Леонард, с улыбкой.

– Что же ты заключаешь из этого?

– То, что каждый человек должен заботиться о своей собственной земле, сказал Леонард с быстротой, которую он усвоил от доктора Риккабокка.

– Ты, я вижу, малый умный, сказал Ричард: – когданибудь мы поговорим об этом предмете подробнее.

Дом мистера Эвенеля был уже перед глазами.

– Ты можешь пройти теперь в небольшую калиточку в заборе, сказал Ричард. – Пройди через сад, заверни за угол дома, и вон подле того остриженного дуба ты очутишься у самого крыльца. Что с тобой? неужели ты боишься идти туда?

– Я здесь совершенно чужой человек.

– В таком случае, не хочешь ли, я провожу тебя? Я ведь сказал, что знаю этих стариков.

– О, нет, сэр, благодарю вас; мне кажется, будет лучше, если я встречу с ними без посторонних.

– В таком случае, иди; да нет! постой на минуту: вот что я скажу тебе молодой человек: обращение мистрисс Эвенель довольно холодно, – только ты старайся не замечать этого.

Леонард поблагодарил добродушного незнакомца, перешел через поле, вошел в калитку и на минуту остановился под тенью старого дуплистого дуба. Грачи возвращались к своим гнездам. При виде человеческой фигуры под деревом, они вспорхнули и, витая в воздухе, следили за ней из-

дали. Из глубины ветвей молодые дети их кричали громко и пронзительно.

## Глава XXXIV

Молодой человек вошел в чистую, светлую парадную гостиную.

– Здравствуйте! сказала мистрисс Эвенель, весьма сухо.

– Здравствуйте, джентльмен! вскричал бедный Джон.

– Это твой внук, Леонард Ферфильд, сказала мистрисс Эвенель.

Но, несмотря на это, Джон поднялся со стула; колени его дрожали; он пристально посмотрел в лицо Леонарда и потом, склонив голову на грудь, горько заплакал.

– Это Нора! говорил он сквозь слезы: – Нора! глаза Норы! И он щурит эти глаза точно как Нора!

Мистрисс Эвенель плавно подошла к Леонарду и отвела его в сторону.

– Он очень слаб, прошептала она:– твое прибытие сильно растрогало его... Пойдем со мной: я покажу тебе твою комнату.

Леопард поднялся за ней по лестнице и вошел в комнату, чисто и даже изящно убранную. Ковер и занавеси, впрочем, полиняли от солнца; рисунок на них был старинный. Вся комната имела вид, по которому следовало заключить, что она долго оставалась незанятою.

При входе в нее, мистрисс Эвенель опустилась на первый стул.

Леонард, с нежностью, обвил руками стан её.

– Простите меня, дорогая бабушка: мне кажется, я сильно обеспокоил вас.

Мистрисс Эвенель быстро освободилась от объятий юноши. Выражение лица её изменилось; казалось, что все нервы её приведены были в движение. Положив руки на густые кудри Леонарда, она с чувством произнесла:

– Да благословит тебя Бог, внук мой!

И вместе с этим оставила комнату.

Леонард опустил на пол свой чемоданчик и внимательно осмотрелся кругом. Казалось, что комната была занята прежде женщиной. На маленьком комодке стояла рабочая шкатулка; над комодом находилось несколько полочек для книг, подвешенных на лентах, некогда голубого, но теперь неопределенного цвета. При каждой полочке, на тех местах, где проходили ленты, приделаны были бантики и толковые кисточки – вкус женщины, или, вернее, девицы, которая старается придать особенную прелесть самым обыкновенным окружающим ее предметам. По привычке, можно сказать, механической, свойственной всем учащимся, Леонард взял с полки несколько книг. Это были: Спенсера «Прекрасная Царица»; сочинения Расина на французском и Тассо на итальянском языке. На заглавном листе каждого тома находилась надпись «Леонора», сделанная знакомым Леонарду почерком. Леонард поцаловал книги и положил их на место с чувством, исполненным нежности.

Леонард не пробыл в своей комнате и четверти часа, когда в дверь постучалась служанка и пригласила его к чаю.

Бедный Джон успокоился и даже сделался веселее; миссис Эвенель сидела подле него и в своих руках держала его руку. Джон беспрестанно спрашивал о сестре своей Джэн; не ожидая ответа на свои вопросы. Потом он разговорился о сквайре, которого поминутно смешивал с Одлеем Эджертоном, говорил много о выборах и партии «синих» и выражал надежду, что Леонард современем сам будет приверженцем этой партии и её верным защитником. Наконец он занялся чаем и за этим занятием не произносил ни слова.

Миссис Эвенель говорила очень мало, но от времени до времени бросала на Леонарда взгляды, и при каждом из этих взглядов лицо её судорожно искажалось.

Вскоре после девяти часов миссис Эвенель зажгла свечу и, вручив ее Леонарду, сказала:

– Ты, вероятно, устал; комнату свою знаешь. Спокойной ночи.

Леонард взял свечу и, по обыкновению, постоянно соблюдаемому дома, поцаловал щоку бабушки. Потом он взял за руку деда и также поцаловал его. Старик уже дремал и сквозь сон пробормотал: «это Нора!»

Прошло полчаса после того, как Леонард удалился в свою комнату, когда в гостиную тихо вошел Ричард Эвенель и присоединился к беседе своих родителей.

– Ну, что, матушка? спросил он.

– Ничего, Ричард ведь ты видел его?

– И полюбил его. Знаете ли, у него глаза совершенно как у Норы? его глаза гораздо больше имеют этого сходства, нежели глаза сестры Джэн.

– Да; я сама скажу, что он гораздо лучше сестры Джэн и больше всех вас похож на отца. В свое время Джон был красавец. Так тебе понравился этот мальчик? значит ты возьмешь его к себе?

– Непременно. Потрудитесь сказать ему завтра, что он поедет к джентльмену, который будет ему другом, и больше ни слова. Почтовая карета будет у дверей сейчас после завтрака. Пусть он садится в нее и отправляется, а я буду ожидать его за городом. Какую комнату вы отвели ему?

– Ту, которую ты не хотел взять.

– Комнату, в которой спала Нора? О, нет! Я не мог сомкнуть в ней глаза на одну секунду. Сколько чарующей прелести было в этой девушке! и как мы все любили ее! Да и стоило любить ее: она была так прекрасна и так добра... слишком добра, чтобы жить ей в этом мире.

– Никого из нас нельзя назвать слишком добрым, сказала мистрисс Эвенель, весьма сурово: – и прошу тебя в другой раз не выражаться подобным образом. Спокойной ночи. Мне пора уложить в постель твоего бедного отца.

На другое утро, когда Леонард проснулся, глаза его остановились на лице мистрисс Эвенель, склонившейся над его подушкой. Но прошло много времени, прежде чем он узнал

это лицо: до такой степени изменилось его выражение; в нем столько было чувства нежного, материнского, что лицо его родной матери не казалось ему таким привлекательным.

– Ах это вы, бабушка! произнес он, приподнявшись и в то же время обвив руками её шею.

На этот раз мистрисс Эвенель не отрывалась от объятий внука; напротив того, она сама крепко прижала его к груди своей и несколько раз горячо поцаловала. Наконец она вдруг прекратила свои ласки и стала ходить по комнате, крепко сжимая себе руки. Когда она остановилась, лицо её приняло свою обычную суровость и холодность.

– Время вставать, Леонард, сказала она. – Сегодня ты уедешь от нас. Один джентльмен обещался взять тебя под свое покровительство и сделать для тебя более, чем можем сделать мы. Карета скоро явится к дверям: поторопись, мой друг.

Джон не являлся к завтраку. Бабушка сказала, что он просыпается поздно, и что его не должно беспокоить.

Едва только кончился завтрак, как к дверям дома подъехала карета.

– Пожалуста, Леонард, не заставляй ждать себя: джентльмен, с которым ты поедешь, человек весьма пунктуальный.

– Но ведь он еще не приехал.

– И не приедет: он отправился вперед пешком и будет ждать тебя за городом.

– Скажите, бабушка, как его зовут, и почему он так забо-

тится обо мне.

– Он сам тебе скажет об этом. Ну, готов?

– Готов. Но, бабушка, вы благословите меня? Я вас люблю уже как мать.

– Благословляю тебя, внук мой, твердо сказала мистрисс Эвенель. – Будь честен и добр и берегись первого необдуманного и ложного шага.

Вместе с этим она судорожно сжала ему руку и проводила его в уличную дверь.

Извозчик щелкнул бичем, и карета покатилась. Леонард высунулся из окна, чтобы в последний раз взглянуть на бабушку. Но ветви стриженного дуба и его сучковатый ствол скрыли ее от его взора. Он смотрел по направлению к дому Эвенелей до поворота на большую дорогу и ничего больше не видал, кроме печального дерева.



## Глава XXXV

– Постой! вскричал кто-то, и, к удивлению Леонарда, незнакомец, который разговаривал с ним в предшествующий вечер, вошел в карету.

– А! сказал Ричард: – вы, верно, не ожидали встретить здесь такого сорта людей, как я? Впрочем, успокойтесь.

И с этими словами Ричард вынул из кармана книгу, облокотился на спинку своего места и начал читать.

Леонард бросал украдкой взоры на оживленное, несколько суровое, но вместе с тем прекрасное лицо своего спутника и более и более находил в нем сходства с бедным Джоном, на физиономии которого, несмотря на его старость и немощь, оставались еще следы замечательной красоты. И помощью той быстрой последовательности в идеях, которую сообщают уму занятия математикою, молодой человек тотчас же предположил, что он видит перед собою своего дядю Ричарда. Впрочем, он был так скромн, что представил джентльмену самому избрать время для объяснений, а между тем продолжал обдумывать в молчании новость своего положения. Мистер Ричард читал чрезвычайно быстро, иногда разрезывая листы в книге перочинным ножом, иногда разрывая их указательным пальцем, иногда пропуская целые страницы. Так он пробежал весь том, положил его в сторону, закурил сигару и начал говорить.

Он сделал много вопросов Леонарду относительно его воспитания, и именно относительно средств, помощью которых он образовался, а Леонард, все более убеждаясь, что он говорит с родственником, отвечал откровенно.

Ричард не находил странным, что Леонард приобрел так много сведений при самом поверхностном руководстве.

Ричард Эвенель был также сам своим воспитателем. Он жил слишком долго с нашими братьями-антиподами по ту сторону Атлантиды, чтобы не приобрести там лихорадочной склонности к чтению. Но выбор книг у него был совершенно другой, чем у Леонарда. Книги, которые он читал, непременно должны были быть новыми: читать старые книги значило, по мнению его, идти назад в образовании. Он воображал, что новые книги непременно должны содержать новые идеи – заблуждение, свойственное большей части людей – и наш счастливый аферист был истинным порождением современности.

Утомясь разговором, он отдал книгу, которую читал, Леонарду, и, вынув бумажник и карандаш, стал заниматься вычислениями, касавшимися своих дел; после этого он впал в размышления.

Подъехав к гостинице, в которой Ричард познакомился с мистером Дэлем, он нашел, что дилижанс, в котором он хотел продолжать свое путешествие, совершенно полон. Ричард должен был таким образом ехать в коляске, не переставая ворчать на неудобства и погонять почтальона к более

скорой езде.

– Какая еще вялая эта страна, несмотря на все её тщеславие, сказал он: – очень, очень вяла. Время – те же деньги; с этим все согласны в Соединенных Штатах, потому что там большая часть людей занята делом и вполне понимает значение времени. Здесь же, напротив того, большая часть народонаселения как будто хочет сказать: «время дано для наслаждения».

К вечеру коляска подъехала к заставе большого города, и Ричард делался все нетерпеливее. Изящество его манер совершенно исчезло: он выставил ноги из окна и величественно болтал ими в воздушном пространстве, расстегнул свой жилет, ту же повязал галстук, готовясь с достоинством въехать в свои владения. Глядя на него, Леонард догадался, что они близки к окончанию путешествия.

Смирненные пешеходы, поглядывая на коляску, прикасались к своим шляпам. Ричард отвечал на их поклоны движением головы, более снисходительным, чем положительно любезным. Коляска быстро повернула влево и остановилась перед красивым домом, очень новым, очень опрятным, украшенным двумя дорическими колоннами под мрамор и двумя воротами по сторонам.

– Эй! вскричал почтальон, пронзительно хлопнув бичом.

Двое ребят играли перед домом, и тут же сушилось белье, развешенное по деревьям и веревкам вокруг этого милостивого жилища.

– Негодные мальчишки опять тут играют! проворчал Дик. – Старуха, должно быть, принялась за стирку. Вот я вас, повесы!

Вслед за этим монологом, смиренная на вид женщина убежала из двери, поспешно схватила детей, которые, увидев коляску, сами бросились было прочь, отворила ворота и с трепетом ожидала появления гневного лица, которое хозяин дома выставил в это время из коляски.

– Говорил я или нет, сказал Дик: – что я не хочу, чтобы эти оборванцы играли перед моим домом? а?

– Простите, сэр.

– Лучше и не оправдывайся. А говорил я или не говорил, чтобы не вешать белья на мою сирень, и что если я еще замечу подобные беспорядки....

– Извините, сэр.

– Ты должна убираться прочь от меня в первую же субботу.... Ступай вперед, почтальон!.. беспечность и непослушание этих людей оскорбляют человеческое достоинство, проворчал Ричард, тоном сильной мизантропии.

Коляска катилась все это время по ровной, усыпанной щебнем дороге, среди полей, носящих на себе признаки самой старательной культуры. По свойственной Леонарду проницательности, привычный глаз его тотчас открыл тут плоды усилий опытного агронома. До тех пор он смотрел на ферму сквайра, как на образцовое земледельческое учреждение, так как утонченный вкус Джакеймо был обращен на садо-

водство, а не на полевое хозяйство. Но ферма сквайра много теряла от применения к ней устарелых систем хозяйства и от желания пустить пыль в глаза или украсить местность с ущербом для собственных выгод, чего уже не встречается в современных образцовых фермах. Там были, например, большие изгороди из кустарников, которые хотя и составляют одну из живописных принадлежностей Старой Англии, но значительно мешают производительности земли; большие деревья, отеняющие полевые полосы и служащие убежищем для птиц; зеленые лужайки, разбросанные по десятинам, и пригорки, поросшие лесом, вдающиеся внутрь поля, подвергая его опустошительному влиянию кроликов и заслоняя солнечный свет. Все эти и подобные промахи в хозяйстве фермера-джентльмена здравый смысл и мнение Джакомо сделали очень заметными для наблюдательности Леонарда. Подобных ошибок не видно было во владении Ричарда Эвенеля. Поле было разделено на обширные участки, изгороди были подровнены и подрезаны до той лишь ширины, какая необходима для межников. Ни один колос не был закрыт от живительного влияния солнца, ни один фут удобной земли не лежал впусте; лес не рос где ему вздумается; репейник не развевался безнаказанно по воздуху. Плантации были размещены не там, где бы живописец указал им место, но именно там, где фермер находил то удобным, рассчитывая на степень склонения земли, влияние ветра и т. д. Неужели во всем этом не было красоты? Здесь именно пред-

ставлялась красота своего рода, – красота вполне понятная для опытного рассудка, – красота пользы и барыша, – красота, которая обещала неимоверно большой доход.

И Леонард не мог удержаться от крика удивления, который приятно пощекотал слух Ричарда Эвенеля.

– Это ваша ферма! сказал мальчик в восторге.

– Именно, отвечал Ричард, снова приходя в веселое расположение духа. – Если бы вы видели, что это была за земля, когда я купил ее! И после этого нас, новых владельцев, не ценят здесь, считая за каких-то пришлецов.

Коляска ехала теперь по прелестной роще, и дом все более и более выходил наружу, – дом с портиком и службами, которые маскировались сзади и не уничтожали впечатления целого.

Ямщик сошел и позвонил в колокольчик.

– Того и гляди, что они заставят меня дожидаться, сказал мистер Ричард, как будто повторяя известную фразу Людовика XIV.

Но это опасение не оправдалось: дверь отворилась, тучный лакей без ливреи, впрочем, явился встретить своего господина и помочь ему выйти из коляски. На его лице не было заметно радостной улыбки, но только услужливость и молчаливая почтительность.

– Где Джорж? отчего его не видно у дверей? спросил Ричард, вылезая из коляски и опираясь на протянутую руку лакея, так осторожно, как будто бы он страдал подагрой.

К счастью, Джордж пришел вслед за тем, поспешно надев свою ливрею.

– Разберите вещи, вы оба, сказал Ричард, расплачиваясь с ямщиком.

Леонард стоял на дороге, с любопытством рассматривая дом.

– Не правда ли, прекрасное строение? чисто классические размеры, – не так ли? спросил Ричард. – Завтра мы посмотрим и мои заведения.

Потом он дружески взял Леонарда за руку и повел его в дом. Он показал ему залу, с резным, красного дерева столиком для шляп, потом гостиную, объясняя все её достоинства; несмотря на летнюю пору, гостиная казалась прохладною, как обыкновенно комнаты в выстроенных недавно домах, вновь оклеенные обоями.

Убранство было изящно и соответствовало привычкам богатого негоцианта. Тут не было заметно излишних претензий на барство, а потому не видно было и пошлости в обстановке комнат. Потом Ричард показал свою библиотеку, уставленную в шкапах красного дерева, с большими зеркальными стеклами, и избранных авторов в великолепных переплетах.

– Мы, городские жители, более пристрастны к современным авторам, чем наша престарелая родня, живущая по деревням, которая очень уважает и отживших уже на земле и в памяти молодого поколения писателей, заметил хозяин.

За тем он повел мальчика по лестнице вверх через спальни, которые были очень опрятны, уютны и со всеми изысканными удобствами новейшего времени; наконец, остановившись в комнате, предназначенной, по видимому, для одного Ленни, он сказал:

– А вот и твоя клетушка. Догадался ли ты наконец, кто я?

– Кто же, кроме дядюшки моего Ричарда может быть так милостив ко мне? отвечал Леонард.

Этот комплимент не польстил Ричарду. Он остался недоволен и несколько даже сконфузился. Он ожидал, что его примут по крайней мере за лорда, забывая, что в разговорах своих он готов был всегда сострить насчет лордов.

– Как! сказал он наконец, кусая себе губы: – так по твоему я не похож на джентльмена? Пойдем же, и вперед будь учтивее.

Леонард, к удивлению своему, заметил, что он сказал неприятное, и с добродушием, свойственным неиспорченным натурам, отвечал:

– Я судил по вашей любезности, сэръ, и вашему сходству с моим дедом; иначе я никак бы не вообразил, что мы с вами родня.

– Мм! отвечал Ричард. – Ты можешь теперь умыть себе руки, а потом приходи вниз обедать: минут через десять ты услышишь сигнальный звонок. Вот здесь есть колокольчик: позвони, если тебе что понадобится.

С этими словами Ричард повернулся и пошел по лестнице.



Он заглянул в столовую, полюбовался на серебряные тарелки, стоявшие на полках буфета, и на патентованные ложки и вилки, лежавшие у приборов. Потом он подошел к зеркалу, бывшему над камином, и, желая видеть всю свою фигуру, влез на стул. Он только что принял позу, которая, во мнении его, была особенно величественна, когда вошел камердинер, который, как питомец Лондона, хотел тотчас же скрыться незамеченным, но Ричард увидел его в зеркале и покраснел до ушей.

– Джервис, сказал он кротко – Джервис, не изменить ли мне этих панталон?

Кстати о панталонах. Мистер Ричард не забыл снабдить своего племянника более полным и изящным гардеробом, чем какой помещался в шкапах Риккабокка. В городе находился очень хороший портной, и платье мальчика было сшито прекрасно. Таким образом, по своему остроумному лицу, своим цветущим щекам, которые, несмотря на занятия науками и ночи, проведенные без сна, удерживали смуглый румянец, наложенный деревенским солнцем, Леонард Ферфильд мог не уроня себя показаться под окном в доме Генга. Ричард расхохотался, увидав в первый раз часы, которые бедный итальянец подарил Леонарду; но что всего лучше – он не ограничился одним смехом, а дал мальчику другие часы, с просьбою «спрятать его луковицу». Леонард был более недоволен насмешкой над подарком своего прежнего патрона, чем обрадован новым подарком дяди. Но Ричард Эве-

нель не понимал тонкостей чувства. Впрочем, в несколько дней Леонард совершенно привык к привычкам своего дяди. Нельзя сказать, чтоб питомец деревни находил прямые недостатки в образе мыслей и приемах своего дяди; но бывают люди, воспитание которых направлено таким образом, что к какому бы сословию мы ни принадлежали, какое бы положение мы ни занимали в свете, мы замечаем дурную сторону этого воспитания, и именно недостаток уважения к другим. Например, сквайр точно так же был груб подчас, как и Ричард Эвенель, но грубость сквайра не оскорбляла чувства приличия, а если сквайру случалось забыть, то он спешил потом поправить свою ошибку. Напротив того, мистер Ричард, был ли он в духе, или не в духе, имел способность всегда задевать одну из самых чувствительных струн вашего сердца, и это не от злости, но от недостатка в его организме подобных же чувствительных струн. В самом деле, он был во многих отношениях прекрасный человек и полезный для общества гражданин. Но его достоинства нуждались в более нежном оттенке, более округленных изгибах, которые составляют прелесть характера. Он был честен, но несколько крут в своих действиях с особенною зоркостью следя за своими выводами. Он был справедлив, но лишь на столько, на сколько того требует сущность известного дела. Он не любил оказывать снисхождение и не вносил в понятие о правоте никакой дозы мягкости и сострадания. Он был щедр, но скорее от сознания того, чем другие были обязаны

в отношении к нему, чем с целью доставить комунибудь удовольствие; он разумел щедрость капиталом, который должен приносить проценты. Он ожидал в награду себе значительной благодарности и, обязав человека, думал, что он купил в нем невольника. Всякий, имеющий избирательный голос, мог смело обратиться к нему с просьбою о помощи и покровительстве; но зато горе тому избирателю, который замедлит выполнить все наставления мистера Эвенеля.

В этом краю Ричард основался по возвращении из Америки, где он значительно разбогател, сначала при помощи своего коммерческого ума, а потом посредством смелых спекуляций и умения пользоваться обстоятельствами. Он пустил все свое состояние в обороты: вошел в компанию пивоваров, вскоре скупил паи своих сообщников, потом снял значительную хлебную мельницу. Тут он быстро разжился, купил имение в двести-триста десятин земли, выстроил дом и решился насладиться жизнью и играть значительную роль в обществе. Теперь он сделался руководителем всего городка, и слова его при разговоре с Одлеем Эджертоном, что от него зависит доставить ему два голоса при выборе в члены Парламента, были вовсе не пустым желанием придать себе мнимую важность. Кроме того, предложение его, смотря с его собственной точки зрения, вовсе не было так предосудительно, как казалось государственному человеку. Он получил особенное предубеждение против двух заседающих членов, — предубеждение, свойственное человеку с умеренным обра-

зом мыслей в политике и могущему много потерять при перемене обстоятельств: потому что мистер Слапп, действительный член, по уши завязший в долгах, был недоволен настоящим порядком вещей и желал перемен каких бы то ни было, – другой же, мистер Сликки, представитель дворянского сословия, получавший по пяти тысяч фунтов в виде дивиденда на свои капиталы, особенно склонен был к нейтральному положению в деле выборов и смотрел на свой голос, как на средство поддержать равновесие партий, необходимое для вещественного благосостояния своей особы.

Ричард Эвенель, не обращая большего внимания на этих обоих джентльменов и не чувствуя особенного влечения к вигам с тех пор, как представителями вигов явились лорды, смотрел с особенным удовольствием на Одлея Эджертона, умеренного поборника коммерческим выгодам. Но, даруя Одлею и его сотоварищам выгоду своего влияния, он считал себя совершенно вправе, положив руку на сердце, извлечь *quid pro quo* из действий своих к возвышению сэра Ричарда, как говорил он обыкновенно. Этот достойный гражданин чувствовал к аристократии какое-то тайное, невольное влечение. Общество Скрюстоуна, подобно другим провинциальным городам, состояло из двух сословий: коммерческого и исключительного. Под последним разрядом разумелись люди, жившие отдельно вокруг развалин древнего аббатства. Они восхищались былыми судьбами этого здания, связанными с генеалогиями их собственных фамилий, и усматривали

те же развалины в своих финансовых бюджетах. Тут были вдовы окружных баронов, миленькие, но уже зрелые девицы, отставные офицеры, сынки богатых сквайров, оставшиеся холостяками, – одним словом, достойная, блестящая аристократия, которая думала о себе более, чем Гауэры, Говарды, Куртнеи и Сеймуры, взятые вместе. Давно еще пробудилось в Ричарде Эвенеле желание попасть в этот круг, и он отчасти успевал в своем намерении. Много обстоятельств содействовали тому. Во первых, он был не женат и хорош собою, а в этом кругу нашлось несколько особ прекрасного пола с свободным сердцем. Во вторых, он был единственный обыватель Скрюстоуна, державший хорошего повара, дававший обеды, – и отставные служаки осаждали его дом во уважение его славной дичины. В третьих – и это главное – все они ненавидели заседающих членов, а известно, что единодушие в политике составит из обломков хрусталя или фарфора более стройное целое, чем лучший алмазный цемент при недостатке согласия. Ричард Эвенель умел внушить своим согражданам особенное уважение к своей особе; он более и более убеждался, что от магнитического влияния серебряных пенни и золотых монет в семь шиллингов он получил неоспоримую способность выделяться из толпы. Ему сильно хотелось взять жену из высшего круга, но все девицы и вдовы, встречавшиеся ему, не были для него довольно знатны и благовоспитанны. Любимою мечтою его было представлять себе, что жену его станут некогда величать *ми-*

лэди, и что при официальных торжествах, вслед за воззванием: «сэр Ричард!», он пойдет впереди самого полковника Помплея. Впрочем, несмотря на совершенную безуспешность своих дипломатических сношений с мистером Эджертоном, к которому он питал довольно живое чувство негодования, он не жертвовал, как поступили бы многие другие, своими политическими убеждениями делу личного самолюбия. Но так как все-таки Одлей Эджертон благосклонно принял городскую депутацию и заготовил биль в её видах, то значение Эвенеля и понятие о действиях Парламента чрезвычайно возвысились в мнении граждан Скрюстоуна. Чтобы должным образом определить достоинства Ричарда Эвенеля, в сравнении с его недостатками, нужно принять в расчет, что он сделал для пользы города. Его деятельность, его быстрое соображение общественных выгод, поддерживаемое большими денежными средствами и характером смелым, предприимчивым и повелительным, распространили в городе цивилизацию с быстротой и силою паровой машины.

Если город был хорошо вымощен и хорошо освещен, если пол-дюжина грязных переулков превратились в красивую улицу, если он не нуждался уже более в колодцах и резервуарах, если нищенство было уменьшено на две-трети, то все это должно приписать запасу новой живой крови, которую Ричард Эвенель влил в одряхлевшие члены своих сограждан. Пример сделался заразительным. «Когда я приехал в го-

род, здесь не было ни одного окна с зеркальными стеклами – говорил Ричард Эвенель – а теперь посмотрите-ка на Гей-Стрит!» Он приобрел совершенный кредит, нашел тотчас же подражателей, и хотя собственные его занятия не требовали зеркальных стекол в доме, он возбудил дух предприимчивости, который вел к украшению города.

Мистер Эвенель представил Леонарда своим друзьям не прежде, как через неделю. Он внушил ему, что надо стараться отвыкнуть от деревенских понятий и приемов. На большом обеде, данном дядею, племянник был официально представлен; но, к совершенному прискорбию и замешательству своего покровителя, он не произнес во все продолжение торжества ни слова. Да и как он мог раскрыть рот, когда мисс Клэрина Маубрей говорила за четверых, а именитый полковник Помплей все-еще недосказал своей бесконечной истории об осаде Серингапатама?

## Глава XXXVI

Пока Леонард привыкает постепенно к блеску, его окружающему, и со вздохом вспоминает о хижине своей матери и серебряном фонтане в цветнике итальянца, мы перенесемся с тобою, читатель, в столицу и встанем посреди веселой толпы, расхаживающей по пыльным дорогам или отдыхающей в тени деревьев Гейд-Парка. Теперь самая лучшая пора сезона; но короткий день модной лондонской жизни, начинающийся с двух часов пополудни, приближается к концу. Группы в Роттен-Роу начинают густеть. Возле статуи Ахиллеса и вдалеке от прочих зрителей, какой-то джентльмен, заложив одну руку за жилет, а другую облокотясь на палку, задумчиво смотрит на непрерывную вереницу кавалькад и экипажей. Этот человек еще в весне своей жизни, поре, когда всякий более или менее общителен, когда знакомства юности развиваются в дружбу, когда все лица, высоко поставленные судьбою, оказывают такое сильное влияние на изменчивую поверхность общества. Но, несмотря на то, что, когда его сверстники были еще мальчиками в коллегиях, этот человек рос посреди представителей высшего общества, несмотря на то, что он обладал всеми качествами, дарованными ему природою и обстоятельствами, для того, чтобы навсегда удержать на себе светский лоск или заменить его более существенной репутацией, он стоял



теперь как чужой в этой толпе своих соотечественников.

Красавицы проходили мимо в изящных туалетах, государственные люди спешили в сенат, дэнди стремились в клубы, – между тем не заметно было ни одного взгляда, ни одного приветствия, ни одной улыбки, которые бы говорили одинокому зрителю: «пойдем с нами: ты принадлежишь к нашему кругу.» От времени до времени какойнибудь фронт средних лет, пройдя мимо нашего наблюдателя, оборачивался, чтобы посмотреть назад; но второй взгляд, видно, уничтожал ошибку первого, и фронт в молчании продолжал свой путь.

– Клянусь моими предками, сказал незнакомец самому себе: – теперь я понимаю, что должен почувствовать умерший человек, если его вызвать к жизни и показать ему живущих.

Время проходит; вечерний сумрак быстро опускается на землю. Наш странник остается один в парке.

Он начинает дышать свободнее, замечая, что дорожки пустеют.

– Теперь в атмосфере довольно кислорода, сказал он громко:– и я могу пройти, не задыхаясь этими густыми испарениями толпы. О, химики! как вы ошибаетесь! Вы говорите нам, что толпа заражает воздух, но не угадываете, почему именно. Не легкия заражают нашу стихию, а испарения от злых сердец. Когда какойнибудь завитой и раздушенный господин дышет на меня, я чувствую, как развивается во мне зародыш страданий. *Allons*, друг мой, Нерон! походим теперь и мы с тобою.

Он дотронулся своею тростью до большой ньюфаундлэндской собаки, которая лежала протянувшись у его ног; и оба друга тихонько стали подвигаться по сумрачным аллеям. Наконец незнакомец остановился и опустился на скамью, бывшую под деревом.

– Половина осьмого, сказал он, посмотрев на часы: – можно выкурить сигару, не оскорбляя ни чьего обоняния.

Он вынул свою сигарочницу, зажег спичку и, снова облокотясь на спинку лавки, задумчиво глядел на струи дыма, которые носились по воздуху, постепенно бледнея и расплываясь.

– На нашем свете, Нерон, сказал он, обращаясь к собаке: – нет более условной вещи, как независимость человека, которою он так хвастается. Я, например, свободный англичанин, гражданин мира, не смею курить в парке сигару в половине шестого, когда публика здесь, точно так же, как не смею опустить руку в карман лорда-канцлера. Закон не запрещает мне курить, Нерон; но то, что позволительно в половине осьмого, составляет преступление в половине шестого. О, Нерон, Нерон, счастливая собака! никакой предрасудок не заставит твоего хвоста сделать лишнее движение. Твой инстинкт заменяет для тебя разум. Ты был бы совершенно счастлив, если бы в минуту грусти мог развлекаться сигарой. Попробуй, Нерон, – попробуй, мой неизбалованный друг!

И, отделяясь от спинки скамьи, он хотел вставить янтарь мундштука в зубы собаке.

Когда он этим занимался с невозмутимой важностью, две особы подошли к этому же месту. Одна из них был слабый и больной на вид старик. Его истертый сюртук был застегнут до верху и ложился складками на его впалой груди. Другая – была девушка лет четырнадцати, на руку которой старик тяжело опирался. Щоки её были бледны; на лице её выражалось безропотное страдание, до такой степени глубокое, что казалось, что она не знала радости даже и в детстве.

– Отдохните здесь, папа, сказала девушка кротко.

И она указала на скамью, не замечая сидевшего на ней, который почти совершенно был заслонен спустившимися ветвями дерева.

Старик сел, тяжело вздохнув, потом, увидав незнакомца, снял шляпу и сказал голосом, напоминавшим тон образованного общества:

Извините, если я беспокою вас, сэр.

Незнакомец приподнял голову и, заметив, что девица стоит, встал, как будто предлагая ей место на лавке.

Но девушка не замечала его.

Она смотрела на отца и заботливо вытирала ему лоб маленьким платком, который сняла у себя с шеи.

Нерон, довольный, что отделался от сигары, начал делать прыжки и лансады, как будто вознаграждая себя за выдержанное испытание, и теперь, возвратясь к скамье с удивленным взором, он стал обнюхивать соседей своего барина.

– Поди сюда, сэр, сказал барин, обращаясь к собаке. –

Не бойтесь его, продолжал он, ободряя девушку.

Но девушка, неслушавшая его в эту минуту, вскричала вдруг, более тревожным, чем испуганным голосом:

– Он упал в обморок! Батюшка! батюшка!

Незнакомец оттолкнул собаку, которая была у него на пути, и поспешил развязать галстук у бедного страдальца.

В это время луна выплыла из за облака, и свет её упал на изнеможенное лицо старика.

«Лицо это как будто памятно мне, хотя очень изменилось», подумал незнакомец.

И потом, наклонясь к девушке, которая упала на колени и терла руки своему отцу, он спросил:

– Как зовут вашего батюшку, дитя мое?

Девушка была слишком занята в эту минуту, чтобы услышать вопрос.

Незнакомец положил ей на плечо руку и повторил свои слова.

– Дигби, отвечала девушка, отрывисто.

В это время чувства стали возвращаться к отцу её. Через несколько минут он был уже в состоянии выразить незнакомцу свою благодарность. Но последний взял его руку и сказал дрожащим и нежным голосом:

– Возможно ли, я опять вижу своего сослуживца? Эльджернон Дигби, я не забыл вас; но, кажется, Англия вас забыла.

Чахоточный румянец покрыл щеки старого солдата, и он

отвечал незнакомцу, смотря в сторону:

– Мое имя Дигби, это правда, сэръ; но я не думаю, чтобы мы когданибудь встречались. Пойдем, Гелен: теперь мне лучше, – пойдем домой.

– Поиграйте, займитесь с этой собакой, дитя мое, сказал незнакомец: – а мне надо переговорить с вашим батюшкой.

Девушка с покорным видом сделала знак согласия и отошла; но она не играла с собакой.

– Видно, мне нужно рекомендоваться вам формально, сказал незнакомец. – Мы были с вами в одном полку, и имя мое л'Эстрендж.

– Ах, милорд, сказал солдат, вставая: – простите меня.

– Меня, кажется, не называли милордом за нашим походным котлом. расскажите мне, что случилось с вами с тех пор, как мы не видались? вы на половинном жалованье?

Мистер Дигби печально опустил голову.

– Дигби, старый товарищ, не можете ли вы мне одолжить взаймы сто фунтов? сказал лорд л'Эстрендж, трепля бывшего воина по плечу. – Что, у вас не найдется такой суммы? Тем лучше: значит я могу ссудить ее вам.

Мистер Дигби залился слезами.

Лорд л'Эстрендж как будто не заметив этого.

– Мы были оба некогда чудаками, сказал он: – и я с удовольствием припоминаю, как часто занимал у вас деньги.

– У меня! Ах, лорд л'Эстрендж!

– С тех пор вы женились и, верно, переменились. расска-

жете мне все по порядку, мой старый друг.

Мистер Дигби, который между тем успел окончательно придти в себя и успокоить свои потрясенные нервы, встал и произнес спокойным голосом:

– Милорд, бесполезно говорить обо мне, точно так же, как и помогать мне. Я почти умирающий. Но вот дочь моя, – моя единственная дочь (тут он остановился, потом продолжал поспешнее:) – у меня есть родственники в одном из отдаленных графств, и если бы я мог увидеться с ними, я уверен, что они позаботились бы о девушке. Вот что в течение нескольких недель составляет предмет моих надежд, моей мечты, моей молитвы. Я могу сделать это путешествие только при вашей помощи. Для себя я не стыдился же просить милостыни: буду ли стыдиться для неё?

– Дигби, сказал л'Эстрендж, важным тоном: – не говорите ни о смерти, ни о милостыни. Вы были ближе к смерти, когда ядра свистали вокруг вас при Ватерлоо. Если солдат, встретясь с солдатом, говорит ему: друг, твой кошелек! то это признак не нищенства, а товарищества, братства. Стыдиться! Клянусь памятью Велизария, если бы я нуждался в деньгах, то я встал бы где нибудь на перекрестке с ватерлооскою медалью на груди и говорил бы всякому мимо идущему облизанному джентльмену, которого я спасал от французских сабель: вам стыдно, если я умираю с голоду. Облокотитесь на меня, продолжал л'Эстрендж, обращаясь к старику: – вам, видно, хочется домой; скажите, куда вам нужно идти?

Бедный солдат показал на Оксфорд-Стрит и с нерешительностью оперся на протянутую ему руку.

– А когда вы воротитесь от своих родственников, вы повидаетесь со мной? Как! неужели вы в раздумьи? Посетите же меня, – наверно?

– Я увижусь с вами.

– Честное слово?

– Честное слово, если только буду жив.

– Теперь я стою у Нейтсбриджа, с моим отцом; но вы всегда можете узнать мой адрес: в Гросвенор-Сквэре, спросить мистера Эджертона. Итак, вам предстоит длинное путешествие?

– Очень длинное.

– Не утомляйте себя: ездите не спеша.... Что вы, дитя мое? вам, кажется, завидно, что ваш батюшка опирается не на вашу руку?

Разговаривая таким образом, лорд л'Эстрендж выказывал одну за другою те странные особенности своего характера, за которые его считали в свете человеком бездушным. Может быть, читатель не совсем согласится с мнением света. Но если свет и будет уметь современем справедливо судить о характере человека, который не жил, не говорил, не чувствовал для света, то это случится разве спустя несколько столетий после того, как душа Гарлея л'Эстренджа оставит нашу планету.

Лорд л'Эстрендж расстался с мистером Дигби при входе

в Оксфорд-Стрит. Тут отец и дочь взяли кабриолет. Мистер Дигби велел кучеру ехать к Эджвэрской дороге. Он не хотел сказать л'Эстренджу свой адрес, и при этом он так показался обиженным подобными распросами, что л'Эстрендж не смел настаивать. Напомнив солдату о его обещании увидеться с ним, Гарлей сунул ему в руку бумажник и поспешно удалился по направлению к Гросвенор-Сквэру.

Он подошел к подъезду квартиры Одлея Эджертон в то самое время, как этот джентльмен выходил из кареты; два друга вошли вместе в комнаты.

– Сегодня позволяется нации отдохнуть? спросил л'Эстрендж. – Бедная! ей так часто приходится слушать деловые прения, что надо удивляться прочности её комплекции.

– Заседание еще продолжается, отвечал Одлей серьезно, не обращая внимания на остроту своего друга. – Но как доклад дел собственно государственных кончился, то я и отправился на некоторое время домой, с тем, что если бы я не нашел тебя здесь, то отыскал бы в парке.

– Именно, всякий знает, что я, в девять часов пополудни, сигара и Гейд-Парк составляем одно целое. Нет в Англии человека такого пунктуального в своих привычках, как я.

Тут друзья вошли в гостиную, в которой член Парламента сидел очень редко, так как его внутренние покои были в нижнем этаже.

– А ведь это тоже одна из твоих причуд, Гарлей, сказал он.

– Что такое?



– Показывать вид, что ты не терпишь комнат в нижнем этаже.

– Показывать вид! О софистический, прикованный к земле человек! Показывать вид! Ничто так не противоречит понятию о нашей душе, как нижний этаж дома. Мы и без того не достанем до неба, на сколько бы ступенек ни поднимались вверх.

– С этой символической точки зрения, сказал Одлей: – тебе надо жить на чердаке.

– Я бы с охотой там поселился, но не люблю новых туфлей. Новая головная щетка еще туда-сюда.

– Да что же общего у чердака с туфлями и головными щетками?

– Попробуй провести ночь на чердаке, и на другое утро у тебя не будет ни туфлей, ни щоток.

– Куда же я их дену?

– Ты побросаешь их в кошек.

– Какой вздор ты говоришь, Гарлей!

– Вздор! клянусь Аполлоном и его девятью сестрицами, что нет человека, у которого бы было так мало воображения, как у уважаемого мною члена Парламента. Отвечай мне искренно и торжественно, поднимался ли ты за облака в полете своих умозрений? приближался ли ты к звездам силою смелой мысли? искал ли в беспредельности тайную причину жизни?

– О, нет, нет, мой бедный Гарлей!

– После этого нечему тут удивляться, бедный Одлей, что ты не мог сообразить, что когда человек ляжет спать на чердаке и услышит визг и мяуканье кошек, то он, что ни попало, все покидает в этих милых животных. Вынеси свой стул на балкон. Нерон испортил у меня сегодня сигару. Я намерен теперь курить. Ты никогда не куришь, значит можешь, по крайней мере, любоваться на зелень сквэра.

Одлей слегка пожал плечами, но последовал совету и примеру своего друга и вынес стул на балкон. Нерон пришел также; но, ощущая глазами и носом присутствие сигары, он благоразумно отступил и улегся под столом.

– Одлей Эджертон, у меня есть к тебе просьба, как к лицу административному.

– Очень рад выслушать.

– В нашем полку был корнет, который лучше бы сделал, если бы не поступал в этот полк. Мы были оба с ним большие повесы и щеголи.

– Однако, это не мешало вам храбро драться.

– Повесы и щеголи почти всегда хорошие рубаки. Цезарь, который терпеливо вычесывал себе голову, подвивал свои кудри и, даже умирая, думал о том, грациозно ли выгнутся на его теле складки тоги, – Вальтер Ралей, который не мог сделать пешком более двадцати аршин от множества драгоценных камней, украшавших его башмаки, – Алкивиад, который выходил на агору с голубицей на груди и яблоком в руке, – Мюрат, одевавшийся в золото и дорогие меха, Демет-

рий Полиоркет, бывший франтиком на подобие французского маркиза, оказывались славными ребятами на поле брани. Такой неопрятный герой, как Кромвель, есть уже парадокс природы и феномен в истории... Но возвратимся к нашему корнету. Я был богат, он беден. Когда глиняный горшок поплывет по реке вместе с чугунным, то, верно, одному из них не сдобровать. Все говорили, что Дигби скуп, а я его считал лишь чудаком. Но всякий, того-и-гляди, согласится, чтобы его разумели чудаком, только не нищим. Одним словом, я оставил армию и не видался с ним до нынешнего вечера. Мне кажется, что еще не было на свете никогда такого оборванного джентльмена, и вместе с тем такого патетического оборванца. Но, изволишь видеть, человек этот сражался в защиту Англии. Под Ватерлоо ведь не в бирюльки же играли; ты, я думаю, в этом уверен... Итак, ты должен чтонибудь сделать для Дигби. Что же ты сделаешь?

– Скажи по правде, Гарлей, этот человек не был из числа твоих близких друзей, а?

– Если бы он был моим другом, то не нуждался бы в помощи от правительства: тогда он не посовестился бы взять у меня денег.

– Все это прекрасно, Гарлей, но видишь ли в чем дело: бедных офицеров много, а денег, которыми мы можем располагать, очень мало. Нет ничего труднее, как исполнить просьбу, подобную твоей. В самом деле, я не знаю, как поступить. Ведь он получает половинное жалованье?

– Не думаю; или если и получает, то все это идет на уплату долгов. Да это не наше дело, мой милый: дело в том, что отец и дочь умирают с голоду.

– Но если он сам виноват, если он так был неосторожен...

– Ну пошел, пошел!.. Нерон, где ты, куда ты скрылся, моя милая собака?

– Я, право, очень жалею, что не могу этого сделать. Если бы еще чтонибудь другое.

– Есть и другое. Мой человек – прекрасный малый во всех отношениях, только сильно испивает и никак не может исправиться от этой милой погрешности. Не поместишь ли ты его в Монетную Экспедицию?

– С удовольствием.

– Вот еще что. У меня есть знакомый – винный торговец. Он был честный человек, никогда никому не напоминал о долгах, потом обанкрутился. Я ему очень многим обязан, и у него прехорошенькая дочка. Нельзя ли его пристроить гденибудь в колониях при королевской миссии или в другом месте?

– Если ты желаешь, я могу это исполнить.

– Мой милый Одлей, я все еще не отстану от тебя и намерен просить милости для своей особы.

– Ах, сделай одолжение! вскричал Эджертон, с одушевлением.

– Скоро освободится место посланника во Флоренции. Я знаю хорошо эту часть. Должность была бы по мне. При-

ятный город, лучшие фиги в целой Италии, очень мало дела. Попробуй, произведай лордов на этот счет.

– Я заранее предвижу развязку. Лорды будут очень рады удержать в государственной службе такого даровитого человека, как ты, и сына такого пэра, как лорд Лэнсмер.

– И это не стыдно тебе, лицеприятный представитель Парламента! вскричал Гарлей л'Эстрендж. – Ты не отказываешься помочь красноносому лакею, плутоватому торгашу, который подмешивал и фабриковал вина, изнеженному сабариту, который не может заснуть, если под ним сомнется розовый листочек, и ничего не хочешь сделать для защитника Англии, для израненного воина, которого обнаженная грудь служила оплотом нашей собственной безопасности!

– Гарлей, сказал член Парламента, с невозмутимую улыбкою: – твой монолог наделал бы большего шума на провинциальном театре. Дело вот в чем, мой друг. Нигде Парламент не соблюдает такой строгой экономии, как при расчетах на содержание армии, и потому нет человека, для которого труднее было бы выхлопотать пособие, как какойнибудь офицер, выполнявший лишь свой долг подобно другим военным людям. Но если ты принимаешь его дело так близко к сердцу, то я употреблю свое влияние на Военное Министерство и, может быть, доставлю ему место смотрителя при какойнибудь казарме.

– Ты прекрасно поступишь, потому что в противном случае я сделаюсь радикалом и пойду против тебя вместе

со всем твоим городом.

– Я бы очень желал, чтобы ты поступил в Парламент хотя даже радикалом и в ущерб моих собственных выгод. Но воздух становится холоден, а ты не привык к нашему климату. Если ты, может быть, в состоянии поэтизировать насморк и кашель, то я вовсе нет; пойдем в комнаты.

Лорд л'Эстрендж лег на софу и подпер себе щеку рукою. Одлей Эджертон сел возле него и смотрел на лицо своего друга с нежным видом, который как-то мало гармонировал с мужественными чертами его прекрасного лица. Оба они были так же несхожи наружностью, как и характером. Последнее, верно, уже заметил читатель. Все, что в личности Эджертона было строго, сурово, в л'Эстрендже отличалось мягкостью. Во всякой позе Гарлея невольно проглядывала юношеская грация.

Самый покрой его платья доказывал его нерасположение к принуждению. Костюм его всегда был свободен и широк; галстух завязан небрежно, оставляя грудь его обнаженною. Вы тотчас догадались бы, что он когда-то жил в теплом климате полудня и привык там презирать утонченности приличия; в его одежде, точно так же, как и в разговоре, было очень мало пунктуальности, свойственной северному жителю. Он был моложе Одлея тремя или четырьмя годами, а казался моложе годами двенадцатью. Он был одним из числа тех людей, для которых старость как будто не создана у которых голос, взгляд, самый стан сохраняют всю прелесть мо-

лодости; и, может быть, от этой-то полной грации молодежавости, во всяком случае, по самому свойству чувства, которое он внушал, ни родственники его, ни короткие друзья в обыкновенных разговорах не прибавляли к его имени носимого им титула. Для них он не был л'Эстренджем, а просто Гарлем; и этим-то именем я всегда буду называть его. Это не был такой человек, которого автор или читатель представляет себе на некотором расстоянии, с постоянно формальным возгласом со всех сторон: «Милорд! милорд!»

Гарлей л'Эстрендж не был так хорош собою, как Одлей Эджертон; для обыкновенного наблюдателя он показался бы только миловидным. Но женщины называли его хорошеньким и были в этом случае совершенно справедливы. Он носил волосы свои, которые были каштанового цвета, завитыми в длинные распадающиеся букли, и, вместо английских бакенбарт, отпустил себе иноземные усы. Сложение его было нежно, хотя не женственно; это была юношеская, а не женская нежность. Но серые глаза его блестели богатым запасом жизни. Опытный физиолог, заглянув в эти глаза, нашел бы в них зародыши неисчерпаемого развития, природу столь богатую, что если ее лишь слегка затронуть, то потом нужно много времени, много страстей и горя, чтобы ее исчерпать.

И теперь, хотя задумчивые и грустные, глаза эти блестели точно брильянт, устремляясь на предметы.

– Так ты значит все шутил, сказал Одлей, после продолжительного молчания, – говоря про посольство во Флорен-

цию? Ты решительно не хочешь поступить в государственную службу?

– Нет.

– Признаюсь, я ожидал не этого от тебя, когда ты обещал мне провести сезон в Лондоне. Я надеюсь по крайней мере, что ты не будешь удаляться общества и не захочешь казаться таким же отшельником здесь, каким был под виноградниками Комо.

– Я наслушался ваших знаменитых ораторов, сидя на галлерее Парламента. Был я в Опере и посмотрелся на ваших прекрасных лэди; я исходил все ваши улицы, прошел вдоль и поперек все парки и могу сказать с убеждением, что мне не по-сердцу чопорная старуха, у которой морщины затерты румянами.

– О какой старухе говоришь ты? спросил Одлей.

– У неё много имен. Одни называют ее модой, другие – люди деловые, как ты – политикой: то и другое название одинаково обманчиво и натянуто. Я разумею лондонскую жизнь. Никак не могу примириться с ней, дряхлой прелестницей.

– Я бы желал, чтобы тебе хоть чтонибудь нравилось.

– И я бы тоже желал от всего сердца.

– Но ты так разочарован всем!

– Напротив, я еще очень, очень свеж. Посмотри в окно, что ты видишь?

– Ничего!

– Ничего?



– Ничего, кроме лошадей, пыльных кустов сирени, моего кучера, который дремлет на козлах, и двух женщин, которые переправляются через канал.

– Мне так и этого не видно, когда я лежу на софе. Мне видны только звезды. И я сочувствую им так-же, как и в то время, когда я был в Итонской школе. Итак, скорее ты разочарован, а никак не я; впрочем, довольно об этом. Ты не забудешь моего поручения относительно изгнанника, который породнился с твоим семейством?

– Нет; но это поручение еще труднее, чем пристроить твоего корнета в Военное Министерство.

– Я знаю, что это трудно, потому что противодействие сильно и бдительно; но за всем тем, неприятель – такой презренный изменник, что можно рассчитывать на содействие судьбы и домашних ларов.

– Однако, заметил более практический Одлей, наклонясь над книгою, лежавшею перед ним: – мне кажется, что лучшее средство кончить это дело мирным соглашением.

– Если позволяется судить о других по себе, отвечал Гарлей с одушевлением:– то мне кажется, что гораздо утешительнее разом избавиться зла окончательно, чем понемногу замазывать дело и вести околесную. Да и какое зло! Мирная сделка с явным врагом может быть допущена без урона для чести; но сделка с изменником, вероломным другом, означает, что мы извиняем вероломство.

– Ты слишком мстителен, отвечал Эджертон:– можно все-

таки найти извинение в пользу человека....

– Перестань, Одлей, перестань, или я начну думать, что свет в самом деле; испортил тебя. – Извинить человека, который обманывает, изменяет! Нет, это противно понятию о человечестве.

Светский человек спокойно поднял взор на одушевленное лицо человека, бывшего еще довольно близким к природе, чтобы принимать всякое дело к сердцу. Потом он снова обратился к книге; и сказал, после некоторого молчания:

– Тебе; пора жениться, Гарлей.

– Нет, отвечал Гарлей, с улыбкой, при этом быстром повороте; разговора:– еще рано, потому что главным препятствием к подобной перемене в жизни служит для меня то, что все нынешние женщины слишком стары для меня, или я слишком молод для них. Некоторые из них еще совершенные дети, потому не желаешь быть их игрушкой; другие слишком опытны, и потому боишься попасть в обман. Первые, если они удостоивают вас своею любовью, любят вас как куклу, которую они нежат, ласкают за качества, свойственные кукле, за пару голубых глаз и изящные подробности вашей статуры. Последние, если они благоразумно предаются вам, то поступают при этом на основании алгебраических законов; вы не что иное, как  $x$  или  $y$ , представляющие известную совокупность капиталов, поземельных владений, брильянтов, шкатулок и театральных лож. Вас очаровывают при помощи матушки, и в одно прекрасное утро вы убеждаетесь,

что *плюс* жена *минус* любовь супружеская *равняется* нулю или даже хуже, чем нулю.

– Чепуха, сказал Одлей, с свойственной ему значительной улыбкой. – Я скорее думаю, что человеку с твоим общественным положением нужно бояться лишь того, что за него выйдут замуж во внимании не к нему самому, а к его внешней обстановке; но ты, я думаю, довольно проницателен и едва ли ошибаешься в женщине, за которой ухаживаешь.

– В женщине, за которую ухаживаю, может быть, но не в той, на которой женюсь. Женщина есть существо переменчивое, как научал нас *Виргилий* в школе, и её переменчивость никогда не бывает так чувствительна, как после замужства. Это вовсе не значит, чтобы она была притворна: она просто перерождается. Вы женились на девушке, блестящей своими талантами. Она очень мило рисует, играет на фортепьяно как артистка. Наденьте кольцо ей на палец, и она не берет уже карандаша в руки, разве начертит иногда вашу каррикатуру на ненужном конверте и ни разу не откроет фортепьяно по окончании медового месяца, вы женитесь на ней за её тихий, ровный характер, и вот через год нервы её так расстроиваются, что вы не можете сказать ей слова напротив: иначе она упадет в истерическом изнеможении. Вы женитесь на ней за то, что она говорит, что не любит балов и понимает прелесть уединения, и вот она делается львицей высшего круга или по крайней мере усердной посетительницей маскарадов.

– Однако, большая часть людей женятся и проживают свой век.

– Еслибы мы гонялись только за процессом жизни, то твое изречение было бы вполне утешительно. Но чтобы жить в спокойствии, жить без урона собственного достоинства, жить не стесняясь мелочами, в гармонии с собственными идеями, привычками, целями, для этого нужно сообщество не такой женщины, которая нарушала бы ваше спокойствие, унижала ваше достоинство, посягала на вашу независимость, преследовала вашу идею, малейшую привычку, привязывала вас всевозможными мелочами к земле, в то время, как вы желали бы силою своего воображения поноситься вместе с нею в сфере беспредельности: в этом-то и состоит гамлетовский вопрос – быть или не быть?

– Если бы я был на твоём месте, Гарлей, то я поступил бы как автор «Сандфорда и Мертона», то есть выбрал бы себе маленькую девочку и воспитал бы ее по требованиям своего сердца.

– Ты отчасти угадал, отвечал Гарлей, серьёзным тоном. – Но знаешь, что? я боюсь состариться прежде, чем найду такую девочку. Ах, продолжал он еще более важным тоном, между тем как выражение лица его совершенно изменилось: – ах, если бы в самом деле я мог найти то, чего ищущу – женщину с сердцем ребенка и умом зрелым, глубоким, – женщину, которая в самой природе видела бы достаточно разнообразия, прелести, и не стремилась бы нетерпе-

ливо к тем суетным удовольствиям, которые тщеславие находит в изысканной сентиментальности жизни с её уродливыми формами, – женщину, которая собственным умозерцанием понимала бы всю роскошь поэзии, облекающей создание, – поэзии, столь доступной дитяти, когда оно любит цветком или восхищается звездой на темно-голубом небе, – если бы мне досталась в удел такая спутница жизни, тогда бы. что бы тогда?...

Он остановился, глубоко вздохнул и, закрыв лицо руками, произнес с расстановкою:

– Только раз, один только раз подобное видение прекрасного возвысило в моих глазах значение человеческой природы. Оно осветило мою сумрачную жизнь и опять исчезло навсегда. Только ты знаешь, – ты один знаешь....

Он поник головою, и слезы заструились сквозь его сложенные пальцы.

– Это уже так давно! сказал Одлей, подчиняясь воспоминанию своего друга. – Сколько долгих тяжких годов прожито с тех пор! в тебе действует лишь упрямая память ребенка.

– Что за вздор, в самом деле! вскричале Гарлей, вскакивая на ноги и начав принужденно смеяться. – Твоя карета все еще дожидается; завези меня домой, когда поедешь в Парламент.

Потом, положив руку на плечо своего друга, он прибавил:

– Тебе ли говорить, Одлей Эджертон, о докучливой памятьливости ребенка? Что же связывает нас с тобой,

как не воспоминание детства? Что же, как не это, заставляет биться мое сердце при встрече с тобой? Что же в состоянии отвлечь твое внимание от законодательных кодексов и пространных билей, чтобы обратить его на такого тунеядца, как я? Дай мне свою руку. О, друг моей юности! вспомни, как часто мы гребли сами веслами, разъезжая в лодке по родному озеру, вспомни, как откровенно разговаривали мы, сидя на дерновой скамье в тени деревьев и строя в высоте летней атмосферы замки более великолепные, чем Виндзорский! О! это крепкия узы – подобные юношеские воспоминания, поверь мне!

Одлей отвернулся, отвечая пожатием руки на слова своего друга, и пока И'арлей легкою поступью спускался с лестницы, Эджертон остался позади на некоторое время, и когда он сел в карету возле своего друга, то на лице его вовсе нельзя было прочесть, что он готовится к чему-то важному.

Часа через два крики: «Мнение, мнение!» «Пропустите, пропустите!» раздались после глубокого молчания, и Одлей Эджертон поднялся с своего места в Парламенте, чтобы разрешить прения. Это человек, который будет говорить до поздней ночи и которого будут слушать самые нетерпеливые из разместившейся по лавкам публики. Голос его силен и звучен, стан его прям и величествен.

И пока Одлей Эджертон, вовсе не в угоду своему самолюбию, занимает таким образом общее внимание, где находится И'арлей л'Эстрендж? Он стоит один в Ричмонде на бере-

гу реки и далеко витает мыслями, глядя на поверхность воды, посеребренную лучем месяца. Когда Одлей оставил его дома, он сидел с своими родными, забавлял их своими шутками, дождался, когда все разошлись по спальням, и потом, когда, может быть, все воображали, что он отправился на бал или в клуб, он потихоньку выбрался на свежий воздух, прошел мимо душистых садов, мимо густых каштановых беседок, с единственной целью побывать на прелестном берегу прелестнейшей из английских рек, в тот час, когда луна высоко подымается на небе и песня соловья особенно звучно разносится среди ночного безмолвия.

## Глава XXXVII

Леонард пробыл у дяди около шести недель, и эти недели проведены были довольно приятно. Мистер Ричард поместил его в свою счетную контору, назначил ему должность и посвятил в таинства двойной бухгалтерии. В награду за готовность и усердие к делам, которые, как инстинктивно понимал дальновидный негоциант, вовсе не согласовались со вкусом Леонарда, Ричард пригласил лучшего учителя в городе – заниматься с его племянником по вечерам. Этот джентльмен, имевший должность главного учителя в большом пансионе, был как нельзя более доволен случаем доставить хотя маленькое разнообразие своим скучным школьным урокам образованием мальчика, так охотно преданного изучению всех предметов, даже латинской грамматики. Леонард делал быстрые успехи и в течение шести недель почерпнул из книжной премудрости гораздо более, чем почерпали в вдвое большее число месяцев самые умные мальчики в пансионе. Часы, которые Леонард посвящал занятиям, Ричард обыкновенно проводил вне дома – иногда в беседе с высокими своими знакомыми, иногда в библиотеке, учрежденной высшим городским сословием. Если же он оставался дома, то обыкновенно запирался в своем кабинете с главным писцом, поверял счетные книги или перечитывал список избирательных членов и часто задумывался над име-



нами в этом списке, пробуждавшими в душе его подозрение.

Весьма естественно, что Леонард желал сообщить своим друзьям о перемене обстоятельств в своей жизни, чтобы они, в свою очередь, порадовали мать его столь приятным известием. Но не пробыл он и двух дней в доме дяди, как уже Ричард строго запретил ему подобную корреспонденцию.

– Это вот почему, говорил он: – в настоящее время, мы, так сказать, на испытании: мы прежде всего должны узнать, нравимся ли мы друг другу. Положим, что мы не понравимся, тогда ожидания, которые ты успеешь перепиской своей пробудить в душе матери, должны превратиться в горькое разочарование, а если мы понравимся, то согласишься, что лучше написать тогда, когда устроено будет чтонибудь определенное.

– Но моя матушка будет очень беспокоиться....

– На этот счет будь только сам покоен. Я очень часто пишу к мистеру Дэлю, и он может передать твоей матери, что ты здоров и делаешь успехи. Больше об этом ни полслова: если я говорю чтонибудь, так говорю дело.

Заметив после этих слов на лице Леонарда горесть и легкое неудовольствие, Ричард прибавил с ласковой улыбкой:

– У меня есть на это свои причины; ты узнаешь их впоследствии. И вот еще что: если ты сделаешь по-моему, то я намерен обеспечить существование твоей матери на всю её жизнь; если же нет, то она не получит от меня ни гроша.

Вместе с этим Ричард повернулся на каблуке, и через

несколько секунд голос его громко раздавался в передней в сильной побранке одного из лакеев.

Около четвертой недели пребывания Леонарда в дом мистера Эвенеля в хозяйине дома начала обнаруживаться некоторая перемена в обращении. Он не был уже так откровенен с Леонардом и не принимал никакого участия в его занятиях и успехах. Около того же времени лондонский дворецкий Ричарда часто заставлял его перед зеркалом. Ричард постоянно был щеголеват в своей одежде, но теперь это щегольство доходило до изысканности. Отправляясь куданибудь на вечер, он портил по крайней мере три кисейные платка, прежде чем завязанный узел вполне удовлетворял условиям моды. Кроме того он завел у себя книгу английских лордов, и чтение этой книги становилось его любимым занятием. Все эти перемены происходили от одной причины, и эта причина была – *женщина*.

Первыми особами в Скрюстоуне безусловно считались Помплеи. Полковник Помплей был величествен, но мистрисс Номилей была еще величественнее. Полковник обнаруживал свое величие по праву военного ранга и служебных подвигов в Индии, мистрисс Помплей – по праву своих обширных и сильных родственных связей. И действительно, полковник Помплей непременно погиб бы под тяжестью почестей, которыми супруга так усердно обременяла его, – непременно погиб бы, еслиб не имел возможности поддержать свое положение собственными своими родственны-

ми связями. Надобно заметить, что он никогда бы не имел, да ему бы и не позволено было иметь, своего исключительного мнения касательно высших слоев общества, если бы ему не помогало в этом случае благозвучное имя его родственников «Дигби». Быть может, на том основании, что мрачность увеличивает натуральную величину предметов, полковник никогда не определял с надлежащею точностью своих родственников: он ограничивался в этом случае одним только указанием, что «Дигби» находятся в Дебретте. В случае же, если какой нибудь нескромный *вулгарянец* (любимое выражение обоих Помплеев) весьма непринужденно спрашивал, кого мистер Помплей подразумевал под именем «милорда Дигби», полковник поставил себе за правило отвечать: «старшую отрасль нашей фамилии, сэр». Ни одна душа в Скрюстоуне не видала этих Дигби: они даже для супруги полковника были существами неведомыми, непостижимыми. По временам Помплей ссылался на течение времени и на непостоянство человеческой привязанности; он обыкновенно говаривала: «Когда молодой Дигби и я были мальчиками (это вступление всегда сопровождалось тяжелым вздохом) но, увы! кажется, в этом мире нам уже не суждено более встречаться. Влияние его фамилии доставило ему весьма важную обязанность в отдаленных пределах британских владений.» Мистрисс Помплей всегда уважала имя Дигби. Она ни под каким видом не могла иметь ни малейшего сомнения касательно этой фамилии, потому что мать пол-

ковника носила, как каждому известно, имя Дигби, и кроме того к гербу полковника присоединялся и самый герб этой фамилии. В подкрепление мужниных родственных связей, мистрисс Помплей имела свою собственную знаменитую родню, из которой выбирала самых замечательных лиц, особенно когда ей хотелось блеснуть своим происхождением; мало того: при самых обыкновенных случаях на её устах непременно вертелось одно имя, – имя высокопочтеннейшей мистрисс М'Катьчлей. Любовался ли ктонибудь фасоном её платья или чепчика, мистрисс Помплей немедленно сообщала, что этот фасон был только что прислан из Парижа её кузиной М'Катьчлей. Встречалось ли недоумение в разрешении многотрудного вопроса о том, переменится ли министерство, или по-прежнему останутся в нем те же члены, мистрисс М'Катьчлей знала эту тайну и по секрету сообщала своей кузине. Начинались ли ранние морозы – «моя кузина М'Катьчлей писала, что ледяные горы отделились от полюса и двинулись к экватору». Пригревало ли весеннее солнышко сильнее обыкновенного, мистрисс М'Катьчлей извещала мистрисс Помплей, «что знаменитый сэр Гэри Гальфорд объявил решительно, что это служит верным признаком наступления холеры.» Простодушные провинциалы, чрез посредство мистрисс М'Катьчлей, знали все, что делалось в Лондоне, при Дворе, и на всех материках и водах Старого и Нового Света. Кроме того, мистрисс М'Катьчлей была самая элегантная женщина, умнейшее, неоцененнейшее

нее создание. Уши друзей мистрисс Помплей до такой степени обуревались похвалами, воздаваемыми мистрисс М'Катьчлей, что наконец втайне они начали считать ее за миф, за существо элементарное, за поэтический вымысел мистрисс Помплей.

Ричард Эвенель, хотя ни под каким видом не легковёрный человек, однакожь, слепо веровал в таинственную мистрисс М'Катьчлей. Он узнал, что эта особа была вдова, — вдова благородная по происхождению, благородная по замужеству, что она имела независимое состояние и почти ежедневно отвергала весьма лестные предложения. Каждый раз, как только мысль о супружеском счастье западала в душу Ричарда, он непременно вспоминал о высокопочтеннейшей мистрисс М'Катьчлей. Легко может быть, что романтическая привязанность к прекрасной невидимке сохраняла его сердце от скрюстоунских искушений. Но вдруг, к всеобщему изумлению, мистрисс М'Катьчлей доказала действительность своего существования прибытием в дом полковника Помплея в прекрасной дорожной коляске, с лакеем и горничной. Она приехала провести в кругу своих родственников несколько недель, и в то же день в честь её дан был блестящий вечер. Мистер Эвенель и его племянник получили приглашение. Помплей, которого ум несколько не помрачался среди всеобщего волнения, давно уже старался оттянуть от городского общества небольшой клочок земли, прилегающей к его саду, а потому едва только Ричард Эвенель

показался в гостиную, как он в ту же минуту схватил его за пуговицу и отвел в отдаленный угол, с тем, чтобы получить согласие молодого и сильного своими капиталами негодянта действовать в его пользу. Между тем Леонард был увлекаем притоком гостей, до тех пор, пока стремление его не встретило преграды в круглом столе, поставленном перед диваном, на котором сидела *сама* мистрисс М'Катьчлей и подле неё мистрисс Помплей. При подобных торжественных случаях, хозяйка дома оставляла свой пост у самых дверей и, потому ли, чтоб показать свое уважение к мистрисс М'Катьчлей, или чтоб показать мистрисс М'Катьчлей свое благовоспитанное пренебрежение к скрюстоунской публике, оставалась в полном блеске и величии подле подруги, удостоивая весьма немногих рекомендацією знаменитой посетительнице.

Мистрисс М'Катьчлей была прекраснейшая женщина, — женщина, вполне оправдывавшая высокое понятие о себе и гордость мистрисс Помплей. Правда, её скуловые кости довольно заметно выдавались кверху, но это доказывало чистоту её каледонского происхождения. Зато она отличалась блестящим цветом лица, усиленным нежными румянами, прекрасными глазами и зубами, видным станом и, по приговору скрюстоунских лэди, безукоризненностью в наряде. Лета её приближались к той счастливой поре, на которой многие женщины находят удовольствие остановиться, не увеличивая счета своих годов по крайней мере в течение десятка лет.

Но все же, если смотреть на нее как на вдову, то нельзя употребить для неё французского выражения *passee*, – если же смотреть как на девицу, тогда совсем другое дело.

Окинув взором гостиную сквозь лорнетку, о которой мистрисс Помплей отзывалась так: «мистрисс М'Катчлей употребляет лорнетку как ангел», – окинув взором гостиную; эта лэди в одну секунду заметила Леонарда Эвенеля: его спокойная, скромная наружность и задумчивый взгляд служили таким сильным контрастом принужденному щеголю, которому ее представляли, что, при всей своей опытности в светском обращении, она забыла всякое приличие и решилась шепотом спросить мистрисс Помплей:

– У этого молодого человека *air distingué*. Кто он, скажите мне?

– О! произнесла мистрисс Помплей, с непритворным изумлением: – это племянник богатого вулгарянца, о котором я говорила вам поутру.

– Ах, да! вы, кажется, сказали мне, что он наследник мистера Эрунделя?

– Эвенеля... Эвенель – мой прелестный друг.

– Эвенель тоже недурное имя, сказала мистрисс М'Катчлей. – Правда ли, что дядя его имеет несметные богатства?

– Полковник не дальше, как сегодня старался разведать об этом; но говорят, что нет никакой возможности узнать, как велики его богатства.

– И этот молодой человек его наследник?

– Так по крайней мере все полагают: готовится в университет, как я слышала. Все утверждают, что он очень умен.

– Отрекомендуйте мне его, душа моя: я страсть как люблю умных людей, сказала мистрисс М'Катьчлей, томно откидываясь на спинку дивана.

После десяти-минутного разговора, Ричард Эвенель успел освободиться от полковника, и взор его, привлеченный жужжаньем восхищенной толпы к дивану, остановился на Леонарде, который занимался задушевым разговором с долголелеемым идиолом его мечты. Язвительное жало ревности впилося в его сердце. Его племянник никогда не казался таким прекрасным, на лице его никогда не выражалось столько ума, и в самом деле, бедный Леонард в первый раз еще увлечен был в непринужденный разговор с светской женщиной, которая так искусно умела пустить в дело свои маленькие познания. Ревность производит в душе человеческой точно такое же действие, как и мехи на потухающее пламя: так точно, при первой улыбке, которою прекрасная вдова наградила Леонарда, сердце мистера Эвенеля запылало.

Он приблизился на несколько шагов, но уже не с прежнею самоуверенностью, и, подслушав разговор племянника, чрезвычайно удивлялся дерзости мальчика. Мистрисс М'Катьчлей говорила о Шотландии и романах Вальтер-Скотта, о которых Леонард не знал ничего. Но он знал Бёрнса, и, говоря о Бёрнсе, он становился безыскусственно-красноречив. Бёрнс – поэт-поселянин: после этого как-же и не быть



Леонарду красноречивым? Мистрисс М'Катьчлей восхищалась его свежестью и наивностью: все в нем далеко было даже от малейшего сходства с тем, что она слышала или видела до этого. Она увлекала его дальше и дальше, так что Леонард наконец начал декламировать. Одно выражение поэта показалось Ричарду не совсем приличным, и он не замедлил прицепиться к нему.

– Прекрасно! воскликнул мистер Эвенель. – Куда как учтиво говорить подобные вещи такой лэди, как высокопочтеннейшая мистрисс М'Катьчлей! Сударыня, вы извините его.

– Что вам угодно, сэр? сказала мистрисс М'Катьчлей, изумленная таким неожиданным обращением, и приподняла свой лорнет.

Леонард, приведенный в крайнее замешательство, встал и предложил стул Ричарду. Знаменитая лэди, не ожидая формальной рекомендации, догадалась, что перед ней сидел богатый дядя Леонарда.

– Какой пленительный поэт этот Бёрнс! сказала она, опустив лорнетку. – И как отраднo встретиться с таким пылким юношеским энтузиазмом! прибавила она, указывая веером на Леонарда, который быстро ретировался в середину толпы.

– Моего племянника нельзя назвать юношей: он еще зелен.

– Не говорите: зелен! заметила М'Катьчлей.

Ричард вспыхнул: он ужаснулся мысли, что выразился

неприлично.

Лэди вывела его из этого положения.

– Скажите лучше: он еще неопытен, – но зато чистосердечен.

«Дьявольски умно», подумал Ричард, но рассудил за лучшее промолчать и поклониться.

– Молодые люди нынешнего века, продолжала мистрисс М'Катчлей: – стараются показать из себя людей степенных, пожилых. Они не танцуют, не читают и не любят говорить; многие из них, не достигнув двадцати лет, начинают носить уже модные прически.

Ричард механически пропустил пальцы сквозь свои густые кудри, но еще продолжал безмолвствовать: он все еще не мог опомниться от неуместного эпитета *зелен*. Он не мог постигнуть, в чем именно заключалось неприличие этого выражения? Почему бы, кажется, не употребить слова: «зелен»?

– Ваш племянник прекрасный молодой человек, снова начала мистрисс М'Катчлей.

Ричард что-то проворчал.

– И, кажется, с большими дарованиями. Как жаль, что еще до сих пор он не в университете? Куда вы думаете определить его, в Оксфорд или Кембридж?

– Я еще не думал об этом положительно: быть может, я еще и вовсе не пушу его в университет.

– Как это жаль! молодой человек, с такими блестящими

ожиданиями! воскликнула мистрисс М'Катьчлей, кокетливо.

– Ожиданиями! повторил Ричард. – Разве он говорил вам чтонибудь о своих ожиданиях?

– Он не говорил мне ни слова об этом, но ведь он племянник богатого мистера Эвенеля. А согласитесь сами, какое множество различных слухов носится о богатых людях! Это, мистер Эвенель, по-моему мнению, должна дань богатству и неизбежная участь богатых.

Заметно было, что эти слова как нельзя более были лестны для Ричарда.

– Говорят, продолжала мистрисс М'Катьчлей, поправляя кружевной шарф:– что мистер Эвенель решил провести всю свою жизнь в одиночестве.

Последние слова М'Катьчлей произнесла весьма протяжно.

– Говорят те, которые ничего не смыслят, сударыня! проболтал Ричард, отрывисто.

И вслед за тем, как будто устыдившись своего *lapsus linguae*, он плотно сжал губы и окинул общество взглядом, горевшим негодованием.

Мистрисс М'Катьчлей из за веера делала над ним свои наблюдения. Ричард быстро повернулся к ней. Она скромно отвела свои взоры и прикрылась веером.

– Чудная красавица! сказал Ричард, сквозь зубы.  
Веер затрепетал.

Спустя минут пять, вдова и холостяк до такой степени ознакомились друг с другом, что мистрисс Помплей, принужденная оставить на несколько минут свою подругу, чтобы встретить жену декана, возвратясь на диван, едва верила глазам своим.

Вот с этого-то вечера и произошла в характере Ричарда Эвенеля та удивительная перемена, о которой я упоминал. С этого вечера он поставил себе за правило, отправляясь к комунибудь на бал, никогда не брать с собой Леонарда.

## Глава XXXVIII

Спустя несколько дней после этого достопамятного *soirée*, полковник Помплей сидел один в своей гостиной, выходящей окнами в старинный сад, и совершенно углубился в домашние счета. Надобно заметить, что полковник Помплей домашнее хозяйство не предоставлял попечению своей жены, — быть может, потому, что она была слишком величественна для этого занятия. Полковник Помплей собственным своим звучным голосом отдавал приказания, какую часть говядины готовить к обеду, и своей геройственной рукой выдавал съестные припасы. Отдавая полную справедливость полковнику, я должен присовокупить, хотя и рискую навлечь на себя негодование прекрасного пола, что в целом Скрюстоуне не находилось ни одного дома, так прекрасно устроенного во всех отношениях, как дом Помплея; никто так успешно, как полковник, не умел постигнуть трудной науки соединения экономии с пышностью. Годовой доход полковника Помплея простирался до семи-сот фунт. стер.; но едва ли кто умел так хорошо жить, получая три тысячи фунтов. Правда, большую разницу в расчете составляло то обстоятельство, что Помплеи не имели детей. Все, что получали они, издерживали на себя. Они никогда не выходили из границ своего не слишком обширного состояния: они только-только что, как говорится, сводили концы с кон-

цами.

Полковник Помплей сидел за конторкой. На нем надет был синий сюртук, вычищенный до последней пылинки и застегнутый на все пуговицы; серенькие панталоны плотно обтягивали его ноги и внизу придерживались плоской цепочкой; эта выдумка избавила мистера Помплея от лишних расходов на штрипки, никто еще не видел полковника Помплея в шлафроке и туфлях. Он сам и его дом одинаково находились в порядке: во всякое время они готовы были встретить посетителей.

Полковник был небольшого роста, плотный мужчина, с заметным расположением к тучности, с весьма красным лицом, которое, по видимому, не только было выбрито, но даже налакировано. Он носил плотно остриженные волосы, исключая только переда, где они образовали то, что у парикмахеров называется перышком; но это перышко было совершенно как чугунное: до такой степени оно было жестко и упруго. Твердость и решительность резко обнаруживались на лице полковника. Черты лица его выражали задумчивость, как будто он постоянно размышлял о том, каким бы образом ему вернее свести концы с концами!

Таким образом, он сидел за книгой домашнего хозяйства; в руке держал он стальное перо и от времени до времени ставил на полях книги крестики или вопросительные знаки.

«Горничную мистрисс М'Катчлей нужно посадить на рационы, сказал он, про себя.» – Боже праведный! сколько она

одного чаю выпивает! вот и опять чай, и опять!»

В эту минуту кто-то скромно позвонил в прихожей.

«Слишком ранний посетитель! – подумал полковник – видно, опять пришли за какойнибудь пошლიной!»

В гостиную вошел опрятно одетый лакей.

– Какой-то джентльмен желает вас видеть, сэр, сказал он.

– Джентльмен? повторил полковник, взглянув на часы. – Уверен ли ты, что это действительно джентльмен?

Этот вопрос привел лакея в некоторое замешательство.

– Не могу сказать, сэр, что я совершенно уверен; но, судя по его разговору, он должен быть джентльмен. Он говорит, что приехал из Лондона собственно затем, чтоб повидаться с вами, сэр.

Около этого времени между полковником и одним из лондонских адвокатов происходила длинная и весьма интересная переписка касательно верного места для прибыльного обращения капиталов мистрисс Помплей. Вероятно, это тот самый адвокат... да! это непременно должен быть он, тем более, что он недавно писал полковнику о желании переговорить с ним лично.

– Просить! сказал полковник: – и когда я позвоню, то подать сюда сандвичей и хересу.

– Сандвичей с ростбифом, сэр?

– С ветчиной.

Полковник отложил в сторону счетную книгу и вытер стальное перо.

Через минуту дверь отворилась, и лакей провозгласил:  
– Мистер Дигби!

Лицо полковника изменилось; он пошатнулся назад.

Дверь затворилась. Мистер Дигби, достигнув середины комнаты, прислонился к большому письменному столу. Бедный воин казался еще болезненнее и ободраннее теперь в сравнении с тем временем, когда лорд л'Эстрендж почти насильно вручил ему свой бумажник. Несмотря на это, лакей обнаружил с своей стороны знание света, назвав его джентльменом: другого названия нельзя было применить к нему.

– Сэр, торжественным тоном начал полковник, после столь неожиданной встречи: – я не ожидал этого удовольствия.

Бедный посетитель окинул томным взором комнату и, с трудом переведя дух, опустился на стул. Полковник смотрел на него, как смотрит человек на бедного родственника, и застегнул сначала один панталонный карман, потом другой.

– Я полагал, что вы в Канаде, сказал наконец полковник.

Мистер Дигби собрался в это время на столько с духом, что мог говорить.

– Тамошний климат был убийствен для моей дочери, отвечал он кротко, и даже боязливо: – и вот уже несколько лет, как я воротился оттуда.

– Значит вы нашли довольно выгодное место в Англии, что решились оставить Канаду?



– Моя дочь не пережила бы там другой зимы.... так по крайней мере говорили доктора.

– Какой вздор! возразил полковник.

Мистер Дигби тяжело вздохнул.

– Я бы не явился к вам, полковник, еслиб знал, что вы примете меня за нищего.

Лицо полковника прояснилось.

– Весьма благородное чувство с вашей стороны.

– Я не явился бы, поверьте; я не беспокоил вас даже и тогда, когда находился в более затруднительных обстоятельствах. Но дело вот в чем, полковник, прибавил бедный родственник, с едва заметной улыбкой: – военные действия прекращаются и мирные переговоры приводятся уже к концу.

Полковник, по видимому, был тронут.

– Ради Бога, Дигби, зачем говорить об этом! мне это слишком не нравится. Вы моложе меня, и, право, ничего не может быть неприятнее, как смотреть на вещи с такой мрачной стороны. Вы говорите, что существование ваше обеспечено; так по крайней мере я понимаю вас. Мне приятно слышать это; тем более, что в настоящее время я ничем не мог бы помочь вам: у меня так много расходов. Значит у вас, Дигби, идет все хорошо.

– О, полковник! воскликнул воин, с лихорадочной энергией и вместе с тем всплеснув руками. – В настоящее время я решаюсь умолять вас не за себя, но за мое дитя! У меня есть единственная дочь. Она была так добра ко мне. Она бу-

дет стоять вам весьма немного. Возьмите ее к себе, когда я умру, обещайте приютить ее у себя в доме: вот все, о чем я умоляю вас Вы ближайший мой родственник: мне не к кому больше обратиться. К тому же вы не имеете своих детей, а я уверен, она будет отрадою для вас, какою была в этом мире для меня!

Если лицо полковника Помплея отличалось краснотой в обыкновенное время, то при этих словах бедного Дигби оно разгорелось до того, что нет никакой возможности приискать слова, которым бы можно было хотя приблизительно определить степень его красноты.

– Этот человек сошел с ума! произнес он наконец, с таким удивлением, под которым почти скрывался гнев, кипевший в груди его. – Чисто-на-чисто сошел с ума! Мне взять его дочь! поместить у себя в доме, кормить, поить и одевать огромного, положительно голодного ребенка! Нет, милостивый государь, я часто, очень часто говаривал мистрисс Помплей: какое счастье, что у нас и ет детей! С семейством, с ребяташками мы не имели бы возможности жить так, как мы теперь живем: нам никогда бы не свести концов с концами! Взять ребенка – самое раззорительное. самое хищное, самое гибельное создание в мире – взять на свое попечение ребенка!

– Она привыкла часто оставаться без куска хлеба, сказал мистер Дигби, и в его словах отзывался подавленный вопль отчаяния. – О, полковник! позвольте мне увидеть вашу же-

ну. Быть может, я скорее трону её сердце: она женщина!

Несчастный отец! неуместнее, несноснее этой просьбы судьба никогда не влагала в уста твои!

Возможно ли допустить, чтоб мистрисс Помплей увидела Дигби? Возможно ли допустить, чтоб мистрисс Помплей узнала, в каком положении находятся знаменитые родственники полковника? Это то же самое, что позволить себе с одного разу потерять все свое достоинство. При одной мысли об этом, полковнику казалось, что от стыда он погружался в землю. Под влиянием сильного, тревожного чувства, он бросился к боковой двери, с намерением запереть ее. Праведное небо! ну, что бы было, если бы в эту минуту вошла мистрисс Помплей! Имя посетителя уже известно в доме. Легко может статься, что и мистрисс Помплей узнала уже, что Дигби беседует с её мужем; может статься, она уже одевалась, чтобы достойно принять почетного гостя... о, нет! теперь нельзя терять ни одной секунды!

Терпение полковника лопнуло.

– Милостивый государь, я удивляюсь вашей дерзости, вашему нахальству. Увидеть мистрисс Помплей! как вы осмелились подумать об этом! Я давно уже не признаю вашего родства. Я не хочу, чтобы жена моя – женщина, сэр, благородная, смею сказать, знаменитой фамилии – была унижена этиме родством. Сделайте одолжение, сэр, не горячитесь по пустому: Джон Помплей не такой человек, чтобы позволить издеваться над собою, оскорблять себя в своем соб-

ственном доме. Я говорю прямо, что вы унижаете мою фамилию. Не вы ли утопили себя в долгах и расточили все свое состояние? Не вы ли женились на низком создании на дочери какого-то барышника? сын такого почтеннейшего отца! Не вы ли, бессовестный, продали свое выгодное, видное место? Куда девался весь ваш капитал, это известно одному только Богу! Не вы ли сделались – я содрагаюсь произнести это слово! – простым комедиантом? И когда вы довели себя до последней ступени в нищете, кто, как не я, дал вам двести фунтов из моего собственного кошелька, и дал с тем, чтобы вы отправились в Канаду? А вы снова очутились здесь и просите меня с хладнокровием, которое душит меня слышите ли, сэр? душит меня! вы просите, чтобы я принял в дом свой вашу дочь, которую вам вздумалось иметь, – дочь, которой родственные связи с материнской стороны – страшный позор, поношение для моего дома. Оставьте мой дом, сэр! сию минуту вон отсюда!.. Бога ради только не в эти двери! а вот сюда.

И полковник отворил стеклянную дверь, выходящую в сад.

– Позвольте, я сам вас выведу. Ну что бы было, еслиб увидела вас мистрисс Помплей!

И, вместе с этой мыслью, полковник решительно подхватил несчастного Дигби под руку и торопливо вывел его в сад.

Мистер Дигби не сказал ни слова. Тщетно старался он освободить свою руку от руки полковника. Румянец то по-

казывался на его щеках, то исчезал, то снова показывался и снова исчезал с такой быстротой, которая явно обнаруживала, что в засохших жилах его находилось еще несколько капель воинственной крови.

Полковник не обращал на это внимания. Достигнув калитки, он отпер ее, толкнул в нее бедного своего кузена и окинул взором луг, который узкой, длинной и ровной полосой тянулся за его садом. Убедившись, что на этом лугу не было ни души, он еще раз взглянул на покинутого человека, и в душе его отозвалось угрызение совести. В одну минуту самая закоснелая алчность, укореняющаяся в человеке при его желании казаться джентльменом, уступила место состраданию. В одну минуту самая невыносимая гордость, пристекающая из ложного понятия о своих достоинствах, притаила свой голос, и полковник поспешно вынул из кармана кошелек.

– Вот, сказал он: – тут все, чем могу я помочь тебе. Ради Бога, оставь этот город как можно скорее и ни душе не говори своего имени. Твой отец был такой почтенный человек и....

– И заплатил за ваш патент, мистер Помплей. Зачем я стану скрывать свое имя! Я несколько не стыжусь его. Вы не бойтесь, полковник: я не стану объявлять своих прав на родство с вами. Нет, я стыжусь этого родства!

Бедный кузен с пренебрежением отодвинул от себя протянутый к нему кошелек и твердо пошел по зеленому лугу.

Полковник стоял в нерешимости. В этот момент в его доме отворилось окно, послышался шорох. Полковник оглянулся и увидел, что из отворенного окна выглядывала миссис Помплей.

Одна секунда, и мистер Помплей шмыгнул в кустарники и пробирался к дому под прикрытием деревьев.

## Глава XXXIX

Еслиб для вас, благосклонные читатели, представилась возможность высадить Дика Эвенеля и мистера Дигби посреди Оксфордской улицы в Лондоне: Дика – в толстой фризовой куртке, Дигби – в прекрасной модной паре платья из тонкого сукна, Дика – с пятью шиллингами в кармане, Дигби – с тысячей фунтов, еслиб, спустя десять лет, вам случилось встретиться с этими людьми, вы увидели бы, что Дик находится на дороге к счастью, а Дигби – в том положении, в каком он явился в дом полковника Помплея: что вы подумали бы тогда! А между тем Дигби не имел за собой никаких особенных пороков: он но был ни пьяница, ни картежник. Что же такое он был после этого? ни более, ни менее, как человек без всякой помощи. Он был единственный сынок – балованное дитя, и получил воспитание, чтоб быть «джентльменом», то есть таким человеком, от которого нельзя было ожидать, что, в случае крайней необходимости, он может приняться за чтонибудь дельное. Он вступил, как мы уже знаем, в полк, где содержание было непомерно дорого, и где, спустя несколько времени, он увидел себя круглым сиротой, с капиталом в четыре тысячи фунтов и совершенно неспособным предпринять чтонибудь лучшее. Не мот от природы, он не знал, однако же, цены деньгам: он был самый беспечный, самый стоворчивый человек,

которого примеры товарищей часто увлекали в заблуждение. Эта часть его карьеры составляет весьма обыкновенную историю, — историю человека бедного, живущего на равных условиях с человеком богатым. Неизбежным следствием такой жизни были долги, разорительные связи с ростовщиками, векселя, подписываемые иногда для других и возобновляемые с надбавкою по десяти процентов. Четыре тысячи фунтов тают как снег, к родственникам посылаются патетические воззвания о помощи; у родственников есть свои собственные дети, однако, помощь оказывается, но весьма неохотно, и вдобавок еще подкрепляется множеством советов и различных условий. В числе условий выговорено было одно весьма дельное и умное, и именно: переход в другой полк, менее гибельный для кармана бедняка. Переход совершается: мирное время, скучная стоячка в глухой провинции, развлечение; игра на флейте и леность. Исключая флейты и умения играть на ней, у мистера Дигби не было других источников обеспечения на черный день. В провинции живет хорошенькая девочка из простого сословия; Дигби влюбляется. Хорошенькая девочка воспитана в добродетели. В Дигби пробуждаются благородные намерения, возвышенные чувства. Дигби женат, но жена полкового командира не хочет иметь знакомства с мистрисс Дигби. Дигби покинут всеми родственниками и родными. Множество неприятных обстоятельств в полковой жизни. Дигби продает патент. Любовь в коттедже; полицейские преследова-



ния, там же. Дигби, в качестве актера-аматёра, осыпается рукоплесканиями, начинает думать о сцене, избирает роль джентльмена. Под другим именем, делает он первую попытку на новом поприще в провинциальном городке; жизнь актера, — беспечная жизнь, — недуги, поражение легких, голос грубеет и слабеет. Дигби не замечает того, приписывает неудачу невежеству провинциальной публики; он является в Лондон — его освистывают; он возвращается в провинцию, участвует в самых ничтожных ролях, попадает в тюрьму, предается отчаянию. Жена его умирает; он снова обращается к родственникам: составляется подписка, для того, чтоб отделаться от него; высылают его из отечества, доставляют ему место в Канаде, делают его управителем какого-то имения, с жалованьем 150 фунтов. Несчастье преследует его: неспособный ни к какому занятию, он оказывается неспособным и теперь. Честный как день, он ведет неверные счета. Дочь не может переносить канадской зимы. Дигби посвящает себя дочери: возвращается в отечество. В течение двух лет ведется таинственная жизнь; дочь терпелива, задумчива, предана своему отцу; она научилась рукоделью, помогает отцу, часто поддерживает его. Здоровье Дигби быстро разрушается. Мысль о том, что станется с его дочерью, становится самой мучительной болезнью. Бедный, бедный Дигби! в течение всей жизни своей, несделавший ничего низкого, грубого, жестокого, с отчаянием возвращается он теперь из дома полковника Помплея! Еслиб Дигби хоть немного был зна-

ком с людскою хитростью, я уверен, что он успел бы даже и перед Помгилеем. Еслиб он издержал сто фунтов, полученные от лорда л'Эстренджа, с целию блеснуть своей наружностью, еслиб он сделал приличный гардероб для себя и для своей хорошенькой Гэлен, еслиб он остановился на последней станции, взял оттуда щегольскую парную коляску и представился бы полковнику Помплею в таком виде, который бы несколько не показался предосудительным для его родственных связей, и тогда, если бы он, вместо того, чтобы просить приюта своей дочери, попросил только быть её опекуном, в случае его смерти, я вполне уверен, что полковник, несмотря на всю свою алчность, протянул бы обе руки, чтоб принять к себе в дом Гэлен Дигби. Но наш бедный приятель был человек бесхитростный. Из полученных ста фунтов у него осталось весьма немного, потому что до выезда своего из Лондона он сделал то, что, по мнению Шеридана, считалось выгоднейшим – растратил почти все свои деньги на уплату долгов. Что касается до нарядов для себя и для своей Гэлен, если эта мысль и приходила ему в голову, то он отвергал ее как мысль нелепую. Ему казалось, что чем беднее он представится, тем сильнее пробудит сожаление в душе своих родственников – самая горькая ошибка, в которую когда либо впадал бедный кузен. Если верить Феофрасту, пафлагонская куропатка имеет два сердца; вероятно, и некоторые люди имеют также два сердца. Стучаться в холодное из этих двух сердец очень часто выпадает в удел несчастных

и становится их обыкновенным заблуждением.

Мистер Дигби вошел в комнату гостиницы, в которой он оставил Гэлен. Она сидела под окном и внимательно смотрела на узкую улицу, – быть может, на детские игры. Гэлен Дигби не знавала детских игр. Она весело вспорхнула с места, когда отец её показался на пороге комнаты. Возвращение отца домой всегда служило для неё источником беспредельной радости.

– Нам нужно ехать обратно в Лондон, сказал мистер Дигби, опускаясь на стул, в изнеможении. – Потрудись, мой друг, узнать, когда отправляется отсюда первый дилижанс. продолжал он, с болезненной улыбкой.

Мистер Дигби всегда был ласков к своей дочери.

Все деятельные заботы их заботливой жизни возлагались на это тихое, спокойное дитя. Гэлен поцаловала отца, поставила перед ним микстуру от кашля, которую Дигби привез из Лондона, и молча вышла из комнаты – сделать необходимые осведомления и приготовиться к обратному пути.

В восемь часов вечера отец и дочь сидели друг подле друга внутри дилижанса, вместе с третьим пассажиром – мужчиной, закутанным под самый подбородок. Проехав первую милю, пассажир опустил окно. Хотя пора была летняя, но воздух был холодный и сырой. Дигби дрожал и кашлял.

Гэлен положила руку на окно и, наклонясь к пассажиру, с умоляющим видом, что-то прошептала.

– Э! сказал пассажир: – что такое? закрыть окно? У вас

есть свое окно, а это мое. Кислород, молодая лэди, прибавил он торжественно: – кислород есть душа жизни. Клянусь Юпитером, дитя мое! продолжал он, с подавленным гневом и грубым валлийским произношением: – клянусь Юпитером! мы должны дышать и жить.

Испуганная Гэлен прижалась к отцу.

Мистер Дигби, неслыхавший, или, лучше сказать, необращавший внимания на этот разговор, придвинулся в угол, приподнял воротник своего пальто и снова закашлял.

– Холодно, мой друг, едва слышным, томным голосом произнес он, обращаясь к Гэлен.

Путешественник подслушал это замечание и возразил на него, с заметным негодованием, но как будто разговаривая сам с собою:

– Холодно! гм! Мне кажется, что англичане народ недоступный для холода! народ закутанный! Взгляните на их двухспальные кровати! Во всех домах занавеси задернуты, перед камином поставлена доска: ни одного дома не найдешь с вентилатором! Холодно.... гм!

Окно, подле мистера Дигби притворялось неплотно, и в него сильно сквозило.

– Какой ужасный сквозной ветер, сказал больной.

Гэлен немедленно принялась затыкать платком щели в окне. Мистер Дигби печально взглянул на противоположное окно. Взгляд этот был красноречивее всяких слов; он еще сильнее возбуждал досаду путешественника.

– Это мне нравится! сказал незнакомец. – Клянусь Юпитером! вы, пожалуй, захотите, чтобы я сел снаружи дилижанса! Я думаю, кто совершает путешествие в дилижансах, тот должен знать и законы этих дилижансов. Мне до вашего окна нет никакого дела, а вам не должно быть дела до моего окна.

– Милостивый государь, я ничего не говорил вам, сказал мистер Дигби весьма почтительно.

– Зато говорила вот эта мисс.

– Ах, сэр, пожалейте нас! сказала Гэлен, плачевным голосом: – еслиб вы знали, как страдает мой папа!

И рука Гэлен снова обратилась к окну, сквозь которое проходила пронзительная струя воздуха.

– Напрасно, душа моя, ты делала это: джентльмен имеет полное право поступать по своему, заметил мистер Дигби, и, сделав поклон с обычной вежливостью, он присовокупил: – сэр, извините ее. Она чересчур уже много заботится обо мне.

Путешественник не сказал на это ни слова. Гэлен еще крепче прижалась к отцу и всячески старалась прикрыть его от сквозного ветра.

Путешественник сделал неловкое движение.

– Впрочем, проговорил он, или, вернее, прохрипел:– воздух – воздухом, а дело – делом. Вот вам....

И он быстро захлопнул стекло.

Гэлен повернула к нему свое личико, на котором, даже и при начинавшихся сумерках, заметно было выражение ис-

кренней признательности.

– Вы очень добры, сэр, сказал бедный мистер Дигби. – Мне крайне совестно....

Кашель заглушил остальную часть сентенции.

Путешественник, человек полнокровный, чувствовал, что он едва не задохнулся. Он снял все шарфы и отказался от кислорода, как истинный герой.

Спустя немного, он придвинулся к страдальцу и взял его за пульс.

– Я боюсь, сэр, у вас лихорадка. Я медик. Тс! раз.... два.... Клянусь Юпитером! вам ни под каким видом нельзя быть в дороге. Вы совсем не годитесь для этого.

Мистер Дигби кивнул головой: он не в силах был отвечать.

Путешественник засунул руку в боковой карман и вынул оттуда, по видимому, сигарочницу, но на самом деле это был небольшой кожаный футляр, заключавший в себе множество миниатюрных сткляночек. Из одной из этих сткляночек он вынул две крошечные крупинки.

– Откройте рот, сказал он возьмите эти крупинки на самый кончик языка. они несколько ослабят ваш пульс... остановят развитие горячки. Сию минуту будет лучше.... Но ехать в дилижансе дальше первой станции – ни за что!.. Вам нужен покой нужно полежать в постели. Это аконит и генбан! гм! Ваш отец очень слабой комплекции... очень робкого характера Вероятно, на него сильно подействовал испуг.... Не так ли, дитя мое?

– Кажется, что так, отвечала, едва слышным голосом, Гэ-лен.

Слова путешественника изумили ее, встревожили. Она готова была принять его за чародея.

– В таком случае хорошо бы попробовать фосфору! воскликнул незнакомец: – а этот глупец Броун непременно прописал бы мышьяку! Сделайте милость, никогда не соглашайтесь принимать мышьяку.

– Мышьяку, сэр! отвечал кроткий Дигби. – Сохрани Бог! как бы ни были велики несчастья человека, по посягнуть на самоубийство – в высшей степени преступно.

– Самоубийство, возразил незнакомец весьма спокойно: – вы завели речь о самоубийстве.... это мой любимый конек! Однако, как вы полагаете, ведь у вас нет симптомов подобной болезни?

– О, нет, сэр.... Упаси Господи подумать об этом.

– Послушайте, что я вам скажу. Если у вас явится сильное желание утопиться, примите *пульсативные* средства. В случае, если, вы почувствуете особенное расположение разможжить себе череп и при этом необыкновенную тяжесть во всех членах, потерю аппетита, сухой кашель и сильное раздражение в мозгах, возьмите две-три крупинки серной *антимонии*. Смотрите же, не забудьте!

Хотя бедный мистер Дигби полагал, что этот джентльмен лишился ума, но, несмотря на то, он всеми силами и весьма учтиво старался ответить ему, что очень обязан за совет

и постарается не позабыть его; но язык изменил ему, и его собственные идеи приходили в сильный беспорядок. Откинув голову назад, он сделался безмолвен и, по видимому, погрузился в крепкий сон.

Путешественник пристально посмотрел на Гэлен, которая тихо склонила голову отца и уложила ее у себя на плече с такого нежностью, которая скорее имела сходство с материнскою, нежели с детскою.

– Как вы бледны, дитя мое: не бойтесь, впрочем, все пройдет, если только примете пульсативы.

Гэлен подняла указательный палец, отвела взор от отца к путешественнику и потом снова к отцу.

– Ну да, конечно. – пульсативы, и больше ничего! проворчал гомеопат.

И, отодвинувшись в угол, он старался заснуть. Но после тщетных усилий, сопровождаемых беспокойными жестами и движениями, он вдруг вскочил с места и снова вынул из кармана свою аптеку.

– Какое мне дело до них! ворчал он. – Против раздражительного состояния души, против излишней чувствительности хорошо бы употребить *кофе*... впрочем, нет! к этому состоянию присоединяется особенная живость в движениях и беспокойство: в таком случае следует взять *кучелябы!*

Он поднес аптечку к самому окну и старался отыскать требуемое средство на крошечных ярлычках крошечных стекляночек.



– Кучеляба! вот она, сказал он и проглотил крупинку. – Теперь, продолжал он, после некоторого молчания: – меня не потревожат несчастья других людей; мало того: я готов сию минуту опустить свое окно.

Гэлен взглянула на него.

– Но я не хочу отпирать, прибавил он решительным тоном, и на этот раз ему удалось заснуть.

В одиннадцать часов дилижанс остановился переменить лошадей и дать пассажирам возможность поужинать. Гомеопат проснулся, вышел из кареты, отряхнулся и втянул несколько полных глотков свежего воздуха в свои могучия легкия с очевидным наслаждением. После того он повернулся и заглянул в карету.

– Дитя мое, сказал он, голосом ласковее обыкновенного: – пусть ваш отец выйдет в комнату: я хорошепько осмотрю его и, может быть, чем нибудь помогу ему.

Но можно представить себе ужас Гэлен, когда она увидела, что отец её не шевелился. Он находился в глубоком обмороке и не обнаруживал ни малейших признаков жизни даже и в то время, когда его выносили из кареты. Когда чувства возвратились к нему, кашель снова начался и, от сильного напряжения, показалась гортанная кровь.

Продолжать дорогу не было возможности. Гомеопат помог больному раздеться и уложил его в постель. Принудив его принять еще две таинственные крупинки, он осведомился у содержательницы гостиницы, где можно было отыс-

кать, по соседству, медика, потому что гостиница находилась в небольшой усадьбе. До приходской аптеки считалось не менее трех миль. Услышав, однакожь, что соседние джентльмены, в случае недугов, приглашают к себе доктора Дозвелла, и что до его дома было добрых миль семь, гомеопат тяжело вздохнул: дилижанс остановился не более, как на четверть часа.

– Клянусь Юпитером! сказал он, с заметной досадой: ку-челяба не действует. Моя чувствительность хроническая. Нужно начать правильное лечение, чтоб отвязаться от неё. – Эй! кондуктор! подай сюда мой мешок! Я остаюсь здесь на ночь.

И добряк-гомеопат, окончив легкий ужин, снова отправился в комнату страдальца.

– Не прикажете ли послать за доктором Дозвеллом? спросила хозяйка дома, остановив его в дверях.

– Гм!.. А завтра в котором часу пойдет мимо вас лондонский дилижанс?

– Не раньше осьми, сэр.

– В таком случае, пошлите за доктором, чтобы он явился сюда к семи. Это по крайней мере избавит нас на несколько часов от аллопатии, пробормотал ученик Ганемана, поднимаясь по лестнице.

Невозможно определить, даже с приблизительною верно-стью, что именно восстановило немного силы бедного стра-дальца и остановило кровохаркание – крупинки ли гомео-

пата, или действие самой природы, при помощи непродолжительного отдыха. Верно только то, что мистеру Дигби, по видимому, было лучше, и он постепенно погрузился в глубокий сон, но не прежде того, впрочем, как кончились прислушивания и постукивания по груди и различные расспросы со стороны доктора, после которых гомеопат сел в отдаленный угол комнаты, склонил голову на грудь и, казалось, крепко задумался. Размышления его были прерваны легким к нему прикосновением. У ног его стояла Гэлен, на коленях.

– Неужели он очень нездоров? сказала она.

И её томные глаза устремились на медика, с выражением глубокого отчаяния.

– Ваш отец опасно болен, отвечал доктор, после непродолжительной паузы. – Он должен остаться здесь по крайней мере на несколько дней. Я отправляюсь в Лондон: не хотите ли я зайду к вашим родственникам и скажу, чтобы ктонибудь приехал сюда?

– Нет, благодарю вас, сэр, отвечала Гэлен, раскрасневшись: – вы не беспокойтесь за меня: мне нетрудно будет ходить за папа. Мне кажется, ему бывало прежде гораздо хуже этого, то есть он более жаловался на свою болезнь.

Гомеопат встал, прошелся раза два по комнате, потом остановился подле постели и долго вслушивался в дыхание спящего.

От постели он снова подошел к девочке, все еще стоявшей на коленях, взял ее на руки и поцаловал.

– Клянусь Юпитером! сказал он сердито, опуская на пол ребенка: – идите спать теперь.... Здесь вам нечего делать больше.

– Извините, сэр, сказала Гэлен: – я не могу оставить его: когда он проснется и не увидит меня, это его сильно встревожит.

Рука доктора дрожала, когда он прибежал к своим крупинкам.

– Душевное беспокойство.... подавленная скорбь, ворчал он про себя: – скажите, душа моя, не хотите ли вы плакать? Плачьте, пожалуйста, я вас прошу.

– Не могу, произнесла Гэлен.

– В таком случае, *пульсатива* самое лучшее средство! заметил доктор, почти с восторгом: – я сказал вам об этом с первого разу. Откройте рот – вот так. Теперь спокойной ночи. Моя комната напротив, № 6; позовите меня, когда он проснется.

## Глава XL

На другое утро, в семь часов, приехал доктор Дозвелл. Его ввели в комнату гомеопата, который давно встал, оделся и уже сделал визит своему пациенту.

– Меня зовут Морган, сказал гомеопат. – Я медик. Отправляясь в Лондон, передаю на ваши руки больного, которого ни мне, ни вам не исцелить. Пойдемте взглянуть на него.

Два доктора вошли в комнату больного. Мистер Дигби хотя был очень слаб, но в здравом рассудке, и весьма вежливо кивнул головою.

– Мне очень совестно, что я наделал столько беспокойств, сказал он.

Гомеопат отвел в сторону Гэлен. Аллопат сел подле кровати больного, сделал несколько вопросов, пощупал пульс и взглянул на язык. Во все это время взоры Гэлен устремлены были на незнакомого доктора. её щоки покрылись ярким румянцем, глаза засверкали, когда незнакомец, встав со стула, звучным и приятным голосом сказал, что больному нужно дать чаю.

– Чаю! проревел гомеопат:– помилуйте, это неслыханное варварство!

– Значит ему лучше, сэр? робко спросила Гэлен, прильнув к аллопату.

– О, да, душа моя, в этом нечего и сомневаться:– Бог даст, мы сделаем все лучшее.

Доктора удалились из комнаты больного.

– Проживет много-много что с неделю! сказал доктор Дозвелл, улыбаясь с самодовольствием и показывая ряд весьма белых зубов.

– Я назначил бы ему по крайней мере месяц; впрочем, и то надобно сказать, наши системы лечения весьма различные, заметил мистер Морган, сухим тоном.

– Само собою разумеется, что мы, провинциальные доктора, должны преклоняться пред нашими столичными сподвижниками. – Позвольте мне выслушать ваш совет. Не находите ли вы нужным сделать легонькое кровопускание?

– Кровопускание! воскликнул доктор Морган, обнаруживая из себя вполне валлийца, что обыкновенно делалось с ним в минуты негодования или вообще во время сильного душевного волнения: – кровопускание? Праведное небо! за кого вы меня считаете – за мясника или палача? – Кровопускание! ни за что в свете!

– Я и сам нахожу, что это не совсем идет к делу, особливо, когда легкия у человека почти потеряны. Но, может быть, вы посоветуете для облегчения его дыхания....

– Вздор, милостивый государь!

– В таком случае, что же вы прикажете сделать для продолжения жизни нашего пациента на целый месяц? спросил доктор Дозвелл, с видимым неудовольствием.

– Чтоб остановить кровохаркание, дайте ему *Русу!*

– *Рус*, сэръ! *Рус!* я в первый раз слышу такое лекарство.... *Рус!*

– Да, *Рус-токсикодендрон*.

Уже одна длиннота последнего слова невольным образом пробуждала в душе доктора Дозвелла уважение к своему собрату. Пятисложное слово! это чтонибудь да значило. Он сделал почтительный поклон, но все еще, по видимому, находился в замешательстве, – наконец, с добродушной улыбкой, сказал:

– Извините, милостивый государь: – у вас, лондонских практиков, такое множество новых лекарств; смею ли я спросить, что такое это *рус-токсико*.... *токсико*....

– Дендрон.

– Да-с, *токсикодендрон-с*.... что это такое-с?

– Это сок уны, в простонародии называемого ядовитым деревом.

Доктор Дозвелл изумился.

– Уна – ядовитое дерево, под тенью которого в один момент умирают маленькие птички. Так вы даете сок этого дерева от кровохаркания? Как же велик должен быть прием?

Доктор Морган язвительно улыбнулся и вместе с тем вынул крупинку величиной с булавочную головку.

Доктор Дозвелл с презрением отвернулся.

– О! понимаю! сказал он, весьма холодным тоном и в то же время принимая вид человека сознающего свое высокое до-

стоинство. – Я вижу, вы гомеопат.

– Да, гомеопат.

– Гм!

– Гм!

– Странная ваша система, доктор Морган, сказал доктор Дозвелл, возвращая свою самодовольную улыбку, но на этот раз с оттенком легкого презрения: – с помощью вашей системы, наши аптекари и москотельщики в конец разгорятся.

– И поделом им! Без ваших аптекарей у вас не было бы и пациентов, или, иначе, ваши аптекаря не раззорили бы в конец пациентов.

– Милостивый государь!

– Милостивый государь!

– Доктор Морган, сказал Дозвелл:– вы, может быть, не знаете, что я сам аптекарь и вместе с тем медик. Конечно, прибавил он, с выражением величайшего смирения:– я не получил еще диплома, но считаюсь доктором на практике.

– Это все равно, сэр. Доктор подписывает приговор, а аптекарь приводит его в исполнение.

– Само собою разумеется, возразил доктор Дозвелл, с принужденной улыбкой: – мы не выдаем себя за людей, которые вызываются спасти человека от смерти соком ядовитого дерева.

– И не можете выдавать даже и в таком случае, еслибы хотели. У нас и самый яд употребляется как целебное средство. Вот в этом-то и заключается вся разница между вами,



доктор Дозвелл, и мною.

– И в самом деле, сказал Дозвелл, показывая на дорожную аптечку гомеопата и стараясь казаться совершенно равнодушным:– я всегда говаривал, что если ваши бесконечно малые дозы не приносят пользы, то в то же время они не делают и вреда.

Доктор Морган, равнодушно выслушавший мнение алломата, пришел в исступление, когда его крупинки сочли безвредными.

– Вы ровно ничего не смыслите в этих бесконечно малых дозах! Я мог бы посредством их отправить людей на тот свет больше вашего, еслиб только захотел; но я не хочу.

– Сэр, сказал Дозвелл, пожимая плечами: – бесполезно было бы спорить с вами: это несообразно с понятиями здравомыслящего человека. Короче сказать, я твердо убежден, что это совершенный совершенный....

– Что такое, что?

– Что это совершенный вздор.

– Это вздор! – Клянусь Юпитером!.. Ах, вы старый.....

– Договаривайте, сэр, договаривайте!

– И договорю: вы – старый аллопатический каннибал....  
вы людоед.

Доктор Дозвелл вскочил с места, обеими руками схватился за спинку стула, на котором сидел, приподнял его и изо всей силы стукнул ножками об пол.

– Вы смеее сказать мне это! вскричал он, задыхаясь от бе-

шенства.

– Смею! возразил гомеопат, подражая своему сопернику в действии над своим стулом.

– Вы дерзки, милостивый государь!

И соперники приняли друг перед другом боевую позицию.

Оба они одарены были атлетическими формами и оба в одинаковой степени пылали гневом. Доктор Дозвелл был выше ростом, зато доктор Морган был плечистее. Доктор Дозвелл с материнской стороны был ирландец, доктор Морган с обеих сторон был валлиец. Принимая это в соображение, я охотно перешел бы на сторону доктора Моргана, еслиб дело дошло до рукопашного боя. Но, к счастью, в самую критическую минуту, в дверь постучалась горничная и звонко прокричала.

– Дилижанс пришел!

При этом возгласе доктор Морган в один момент возвратил все свое хладнокровие и переменял обращение.

– Доктор Дозвелл, сказал он: – я чересчур разгорячился; извините меня.

– Доктор Морган, отвечал аллопат: – я совершенно забылся; вашу руку, сэр.

– Мы оба посвятили себя на пользу человеческому роду, хотя и с различными понятиями, сказал доктор Морган:– мы должны уважать друг друга.

– И где же мы будем искать великодушные, если ученые

люди не будут великодушны к своим собратам?

Доктор Моргац (*в сторону*). Старый притворщик! Он истер бы меня в порошок, еслиб только это не было противозаконно.

Доктор Дозвелл (*в сторону*). Жалкий шарлатан! сию минуту истер бы его в мелкий порошок.

Доктор Морган. Прощайте, мой почтенный и достойный брат.

Доктор Дозвелл. Мой превосходный друг, прощайте.

Доктор Морган (*поспешно оборачиваясь*). Совсем было забыл. Бедный пациент наш, мне кажется, весьма не богат. Я поручаю его вашему бескорыстному попечению. (*Спешит из комнаты.*)

Доктор Дозвелл (*в припадке бешенства*). Проехать даром семь миль в шесть часов утра и позволить распоряжаться моей практикой! Шарлатан! бездельник!

Между тем доктор Морган возвратился в комнату больного.

– Я должен проститься с вами и пожелать вам скорого выздоровления, сказал он несчастному мистеру Дигби, который с большим трудом держал в руках чайную чашку и прихлебывал из неё жиденский чай. – Впрочем, вы остаетесь на руках на руках джентльмена, медика по практике.

– Вы были весьма великодушны, сказал мистер Дигби. – Гэлен, где мой кошелек?

Доктор Морган молчал.

Он молчал, во первых, потому, что практика его, можно сказать, была весьма ограниченная, а плата удовлетворяла тщеславию, свойственному непризнанному таланту, и имела прелесть новизны, прельщающей уже само собою натуру человека. Во вторых, он был человек, который знал свои права и старался удержать их за собой. Ему пришлось вдвойне заплатить за дилижанс – остановиться на ночь в гостинице с той утешительной мыслью, что он поможет своему пациенту. Следовательно, он имел полное право на возмездие.

С другой стороны, он молчал еще и потому, что хотя имел небольшую практику, но жил безбедно, не был алчен до денег и ни под каким видом не подозревал в своем пациенте богача.

А кошелек между тем находился уже в руке Гэлен. Доктор Морган взял его в свои руки и сквозь истертую сетку увидел в нем несколько гиней. Он отвел девочку немного в сторону.

– Скажите мне, дитя мое, откровенно, богат ли ваш папа?

И вместе с этим он бросил взгляд на полу-оборванную одежду Дигби, небрежно набросанную на стул, и на полинялое платье Гэлен.

– К несчастью, он очень беден! отвечала Гэлен.

– Неужели тут все, что вы имеете?

– Все.

– Мне очень совестно, сэр, предложить вам две гинеи, произнес мистер Дигби глухим голосом.

– А мне было бы еще совестнее принять их. Прощай-

те, сэр.... Подите сюда, дитя мое. Берегите ваши деньги и не тратьте их на другого доктора более того, сколько вы можете заплатить ему. Его лекарства не принесут особенной пользы вашему отцу. Но, во всяком случае, я полагаю, не мешает попробовать какие нибудь средства. Он еще ненастоящий медик, следовательно и не имеет права на возмездие. Он пришлет вам счет; но этот счет не будет для вас слишком обременителен. Понимаете?... И за тем прощайте. Да благословит вас небо!

Доктор Моргань ушел. рассчитываясь с хозяйкой гостиницы, он считал нелишним предупредить и ее о печальном положении больного.

– Бедные люди, которые остановились у вас наверху, в состоянии заплатить вам, но не доктору; да, впрочем, он теперь совершенно бесполезен. Пожалуста, поберегите девочку и попросите доктора передать своему пациенту, само собою разумеется, как можно поосторожнее, чтобы тот написал к своим друзьям, да поскорее.... понимаете? Кто нибудь да должен же взять этого ребенка. Постойте, вот еще что: протяните вашу руку, поберегите эти крупинки и дайте их девочке, когда умрет её отец (при этом доктор произнес про себя: «против печали – *аконит*»); а если она будет чересчур много плакать, то дайте вот эти крупинки; смотрите же, не ошибитесь (против слез прекрасное средство – *каустик*).

– Пожалуйте, сэр; все готово! вскричал кондуктор.

– Иду, иду... Да, против слез *каустик*, повторил гомеопат, вынув из кармана носовой платок и дорожную аптеку, и перед входом в дилижанс поспешно проглотил две противослезные крупинки.

## Глава ХLI

Ричард Эвенель находился в каком-то лихорадочном состоянии. Он вызвался дать пир, в совершенно новом вкусе, неслыханном до тех пор в Скрюстоуне. Мистрисс М'Катчлей, с увлекательным красноречием, описывала танцевальные завтраки своих фэшенёбельных друзей, обитающих в очаровательных предместьях Вимбелдона и Фулама. Она откровенно признавалась, что ничто для неё не имело такой прелести, как *déjeunes dansants*. Мало того, она даже без всяких церемоний сказала мистеру Эвенелю: «почему вы не дадите вашим знакомым *déjeuné dansant?*» Вот, вследствие-то этого замечания, мистер Эвенель и решился дать блестящий танцевальный завтрак.

День был назначен, и мистер Эвенель приступил к приготовлениям, с энергиею мужчины и с предусмотрительностью женщины.

Однажды утром, в то время, как он стоял на лугу, раздумывая, какое бы лучше место употребить под палатки, к нему подошел Леонард, с открытым письмом в руке.

– Добрый дяденька, сказал он тихо.

– А! это ты Леонард! воскликнул мистер Эвенель, внезапно отрываясь от своих размышлений. – Ну, что скажешь? что у тебя хорошего?

– Сию минуту я получил письмо от мистера Дэля. Он пи-

шет мне, что матушка моя очень беспокоится и не верит словам его насчет моего благополучия. Мистер Дэль требует ответа. Да и в самом деле, я покажусь весьма неблагодарным не только в отношении к нему, но и ко всем, если не отвечу на это письмо.

Лицо Ричарда нахмурилось. Он произнес: «все это вздор!» и удалился от Леонарда. Через минуту он снова возвратился к нему, устремив на умное лицо своего племянника светлый ястребиный взгляд, взял его под руку и увел в глубину сада.

– Послушай, Леонард, сказал он, после минутного молчания: – теперь, мне кажется, наступило время, когда я должен сообщить тебе некоторые идеи о планах, какие составлены мною касательно твоей будущности. Ты видел образ моей жизни и, полагаю, с недавнего времени заметил также некоторые в нем изменения. Я сделал для тебя то, чего для меня никто и никогда не делал: я вывел тебя в свет; и теперь, куда бы я ни определил тебя, ты должен уже сам заботиться о себе.

– Это мой долг и мое желание, сказал Леонард, чистосердечно.

– Прекрасно. Ты умный малый, и, кроме того, в тебе много есть благородных чувств; следовательно, мне можно надеяться, что ты не заставишь меня сожалеть о том, что я сделал для тебя. До этой поры я не мог ничего придумать, каким бы образом получше пристроить тебя. Сначала думал послать



тебя в университет. Я знаю, это желание мистера Дэля, а может стать, и твое собственное. Но вскоре я отбросил эту идею: мне хотелось сделать чтонибудь лучше этого. Ты одарен светлым, пронизательным умом для коммерческих занятий и кроме того имеешь прекрасные сведения в арифметике. Я думаю поручить тебе главный надзор за моими торговыми делами и в то же время сделать тебя своим товарищем, так что ранее чем на тридцатом году своего возраста ты будешь богатым человеком. Скажи откровенно, как тебе нравится это?

Великодушные дяди тронуло Леонарда; он не смел скрывать своих желаний.

– Я не имею права делать выбор, отвечал он. – Но, во всяком случае, университет я предпочитаю торговым занятиям, тем более, что с окончанием курса я сделался бы независимым человеком и перестал бы обременять вас. Кроме того, если вы уж позволяли говорить мне откровенно, занятия университетские мне были бы более по душе, нежели занятия конторские. Но все это ничто в сравнении с моим желанием быть полезным вам и при всякой возможности оказывать, хотя и в слабой степени, искреннюю благодарность за все ваши благодеяния.

– Ты добрый, признательный и умный мальчик, воскликнул Ричард, от чистого сердца:– и поверь мне, что хотя я, как говорится, грубый, необделанный алмаз, но от души принимаю в тебе истинное участие. Ты *можешь* быть полезен

для меня, это я знаю; а будучи полезен для меня, ты и сам не останешься без существенных выгод. Надобно сказать тебе правду, у меня есть намерение переменить образ моей жизни. Здесь есть лэди весьма образованная и весьма хорошего рода, которая, я полагаю, согласится принять имя мистрисс Эвенель, и если так, то, весьма вероятно, большую часть года мне придется проводить в Лондоне. Я не намерен оставлять моих торговых операций: никакой банк не доставит мне тех выгод, которые получаю я теперь с моих капиталов. Ты очень скоро приучишься к этим делам, иногда я вздумаю совершенно оставить их, ты может принять их в полное свое распоряжение. Вступив раз в наше коммерческое сословие, с твоими талантами, ты современем сделаешься замечательнейшим человеком... легко может быть, членом Парламента, а нет, так и государственным министром – поверь мне. Жена моя... гм! то есть моя будущая жена имеет обширные связи и может устроить для тебя блестящую партию, и тогда... о! тогда Эвенели поднимут голову выше всякого милорда! Это чтонибудь да значит, как ты думаешь? Э!

И, Ричард, приведенный в восторг обольстительною будущностью, сильно потирал ладони.

Само собою разумеется, что Леонард, как уже мы видели, особливо в его ранние приступы к приобретению познаний, не раз роптал на свое положение на многих ступенях своей жизни; и он был не без честолюбия: он не так бы

охотно возвратился теперь к смиренным занятиям, которые недавно оставил; да и горе тому молодому человеку, который не станет прислушиваться, с ускоренным биением сердца и пылающим взором, к словам, пробуждающим в его душе надежду на блестящие отличия. Несмотря на то, спустя несколько часов после описанного нами разговора между дядей и племянником, Леонард, обманутый в своих ожиданиях, находился под влиянием холодного, мрачного уныния. Без всякой цели, он вышел за город и углубился в размышления об открывающейся перед ним перспективе. Он стремился к усовершенствованию своего умственного образования, к развитию тех душевных сил, которые могли бы вывести его на обширное литературное поприще, а его против всякого желания направляли на избитую коммерческую дорогу. Впрочем, отдавая полную справедливость Леонарду, мы должны сказать, что он мужественно боролся с неожиданным разочарованием и постепенно приучил себя радостно смотреть на тропу, указываемую ему долгом и окончательно избираемую благородным чувством, составлявшим основу его характера.

Я полагаю, что это самоотвержение, эта победа над своими чувствами обнаруживала в юноше истинный гений. Ложный гений пустился бы писать сонеты и предался бы отчаянию.

Как бы то ни было, Ричард Эвенель оставил своего племянника в затруднительном положении касательно трудно-

го вопроса, послужившего поводом к разговору об их будущности, – вопроса о том: должно ли отвечать на письмо мистера Дэля и рассеять все опасения матери Леонарда? Сделать это без согласия Ричарда не было никакой возможности, потому что Ричард с первого раза решительно объявил, что если Леонард напишет домой, то за это Ричард ни под каким видом не исполнит того, что в душе своей положил сделать для бедной вдовы. Сображаясь с своей совестью, как поступить в этом случае, Леонард долго стоял, прислонясь к забору, окружавшему зеленый луг, как вдруг он выведен был из своих размышлений громким восклицанием. Леонард взглянул по тому направлению, откуда раздался крик, и увидел мистера Спротта, странствующего медника.

Мистер Спротт, чернее и угрюмее обыкновенного, с величайшим удивлением смотрел на изменившуюся особу своего старого знакомца и протянул ему грязные пальцы, как будто посредством осязания хотел удостовериться в том, что под этим изящным и необыкновенно щегольским платьем он действительно видел Леонарда.

Леонард механически отклонился от прикосновения к грязной руке и в то же время с непритворным изумлением произнес:

– Вы здесь, мистер Спротт! Что за причина принудила вас забраться от вашего дома в такую даль?

– От моего дома! возразил медник. – У меня нет дома, или, лучше сказать, мастэр Ферфильд, дом мой там, куда я

приезжаю. Я брожу с одного места на другое; где встретится починка котлов и случай продавать мои книжечки, там мой и дом.

Сказав это, медник сбросил на землю новые корзинки, свободно вздохнул и с самодовольным видом сел на забор, от которого Леонард нарочно отступил.

– Так-то, мастэр Леонард, снова начал мистер Спротт, еще раз осмотрев Леонарда с ног до головы: – вы сделались настоящим джентльменом! Что за хитрости такие.... э?

– Хитрости! повторил Леонард: – я не понимаю вас, мистер Спротт.

Вслед затем, сообразив, что, с одной стороны, нет никакой необходимости и совсем неуместно продолжать знакомство с мистером Спроттом, и, с другой, что безразсудно было бы подвергать себя батарее вопросов, которая, как он предвидел, при дальнейшем разговоре неизбежно разразилась бы над ним, Леонард протянул меднику руку, держа в ней серебряную монету.

– Извините меня, мистер Спротт: я должен оставить вас, сказал он, с принужденной улыбкой: – у меня есть дело в городе; сделайте одолжение, примите от меня эту безделицу.

Сказав это, Леонард быстро удалился.

Медник долго рассматривал принятую крону.

– Деньги всегда пригодятся! сказал он, опуская монету в карман. – А ты, голубчик мой, не торопись: ты не уйдешь от меня!

После этой коротенькой угрозы, он молча просидел на заборе несколько минут, пока Леонард не совсем еще скрылся из виду. Потом он встал, поднял свою ношу и быстро пошел по окраине забора, вслед за удаляющимся Леонардом. Заглянув через забор, окружавший последнее поле, медник увидел, что Леонард встретился с джентльменом приятной, но вместе с тем и надменной наружности и довольно стройной осанки. Джентльмен этот, сказав несколько слов Леонарду, громко засвистал и пошел по тропинке прямо к забору, где проходил странствующий медник. Мистер Спротт оглянулся кругом; но забор был слишком гладок, чтоб доставить ему удобное прикрытие, а потому он смело продолжал свое шествие, взяв направление к тропе, принадлежавшей городу. Но не успел еще он достигнуть этой тропы, как законный владетель земли, по которой проходил медник, и именно мистер Эвенель, увидел нарушителя чужих прав и окликнул его таким голосом, который вполне обнаруживал достоинство человека, владеющего поземельною собственностью и сделавшего открытие, что акры его так дерзко попираются чужими ногами.

Медник остановился, и мистер Эвенель подошел к нему.

– Кой чорт ты делаешь на моей земле? к чему ты шатаешься около забора? Верно, ты какойнибудь бездельник, бродяга!

– Я не бездельник: я честный ремесленник! спокойно отвечал медник.

Руки мистера Эвенеля так и порывались сбить шляпу с дерзкого прохожого, но он удержался от этого, унижающего его достоинство, поступка, и вместо того еще глубже опустил руки в карманы своих панталон.

– Какой ты ремесленник! вскричал он: – ты бродяга, ты поджигатель; а я мэр здешнего города, и мне чрезвычайно как хочется запрятать тебя в рабочий дом, да и запрячу. Говори, что ты делаешь здесь? Ты еще не ответил мне на этот вопрос!

– Что я делаю здесь? сказал мистер Спротт:– спросите об этом молодого джентльмена, с которым сию минуты вы встретились и говорили. Он очень хорошо знает меня.

– Как! мой племянник знает тебя?

– Фю-фю! просвистал медник:– так это ваш племянник, сэр? в таком случае извините меня, сэр. Я очень уважаю вашу фамилию. С мистрисс Ферфильд, гзельденской прачкой, вот уже несколько лет, как я знаком. Покорнейше прошу вас, сэр, извините меня.

И вместе с этим мистер Спротт учтиво снял свою шляпу.

Лицо мистера Эвенеля страшно изменилось. Оно то бледнело, то покрывалось румянцем. Он проворчал несколько невнятных слов, быстро повернулся и ушел. Странствующий медник провожал его взорами точно так же, как провожал Леонарда, и потом произнес такую же угрозу дяде, какая произнесена была племяннику.

Я не думаю, чтобы в происшествии наступившей ночи за-

ключалось следствие прихода медника; скорее это происшествие можно приписать, как говорится, «стечению неблагоприятных обстоятельств». Накануне этой ночи, мистер Эвенель назвал мистера Спротта бродягой-поджигателем, а в самую ночь сгорела одна из риг мистера Эвенеля. Правда, подозрение сильно падало на странствующего медника, потому что мистер Спротт принадлежал к разряду людей, которые не так-то легко забывают обиды. Его натура была скоровоспалительная, как и самые спички, которые он постоянно носил при себе для продажи, вместе с книжечками и паяльным прибором.

На другое утро по всем окрестностям начались поиски странствующего медника, но след его давно уже простыл.



## Глава XLII

Ричард Эвенель до такой степени углублен был в приготовления к танцевальному завтраку, что даже самый пожар риги не мог рассеять обольстительные и поэтические образы, тесно связанные с этим пасторальным пиршеством. Он даже слегка и беспечно сделал Леонарду несколько вопросов насчет бродяги-медника. Мало того: он не хотел употребить надлежащей и законной власти для преследования этого подозрительного человека. Надобно правду сказать, Ричард Эвенель уже привык видеть в низшем сословии своих врагов; и хотя он сильно подозревал в мистере Спротте виновника пожара, но в то же время у него являлось множество едва ли не более основательных причин, по которым он мог подозревать еще человек пятьдесят. Да и какой человек на белом свете станет думать долго о своих ригах и странствующих медниках, когда все идеи его, все заботы и вся энергия сосредоточены на приготовлениях к танцевальному завтраку? Ричард Эвенель поставил себе за правило – впрочем, этого правила придерживается каждый благоразумный человек – «никогда не делать двух дел в одно время», и, на основании этого правила, он отложил исполнение всех прочих дел до благополучного окончания *déjeuné dansant*. В число этих дел включалось и письмо, которое Леонард намеревался писать к мистеру Дэлю.

– Повремени немножко, говорил Ричард, в самом приятном расположении духа: – мы вместе напишем, как только кончится танцевальный завтрак.

Задуманный пир не имел ни малейшего сходства с обыкновенным провинциальным церемониалом. Ричард Эвенель был из числа тех людей, которые если задумают что сделать, то сделают хорошо. Мало по малу его первые замыслы распространялись, и бал, которому предназначалось быть только изящным и отнюдь не роскошным, требовал теперь огромных издержек и становился великолепным. Из Лондона прибыли художники, знакомые с устройством подобных балов: им предстояло помогать, управлять и создавать. Из Лондона же были выписаны венгерские музыканты, тирольские певцы и певицы, швейцарские крестьянки, которые должны были петь *Ranz des Vaches*, доить коров или готовить для них свежее молоко с вином и сахаром. Главная палатка в саду украшена была в готическом вкусе; самый завтрак приготавливался из лучших дорогих продуктов, соответствующих сезону. Короче сказать, сам Ричард Эвенель выразался о своем празднике таким образом: «бал, на который я не жалею денег, должен быть в строгом смысле слова бал!»

Гораздо большего труда стоило набрать общество достойное такого пиршества, потому что Ричард Эвенель не довольствовался посредственной знатью провинциального города: вместе с издержками возросло и его честолюбие.

– Ужь если на то пошло, говорил Ричард: – я могу пригласить ближайших сквайров.

Правда, Ричард был лично знаком с весьма немногими сквайрами. Но все же, когда человек становится замечательным в огромном городе и имеет в виду сделаться современным представителем этого города в Парламенте, и когда, кроме того, этот человек намерен дать такой отличный и оригинальный в своем роде нир, на котором старые могут бражничать, а молодые танцевать, то поверьте, во всей Британии не найдется ни одного округа, в котором богатые фамилии не приняли бы приглашения *такого человека*. Точно также и Ричард, заметив, что о его приготовлениях разнеслась молва по всему городу, и после того, как жена декана, мистрисс Помплей и многие другие знаменитые особы благосклонно заметили Ричарду, что сквайр и милорд такие-то остались бы весьма довольны, получив его приглашение, он, нисколько не задумываясь, разослал пригласительные билеты в Парк, в ректорство, – словом сказать, во все места в окружности от города на двадцать миль. Весьма немногие отказались от такого приглашения, и Ричард уже насчитывал до пяти-сот гостей.

– Начал с пенни, а свел на фунт, говорил мистер Эвенель. – Начатое надобно и кончить. Посмотрим, что-то скажет мистрисс М'Катьчлей?

И действительно, если говорить всю правду, так мистер Ричард Эвенель не только давал этот *déjeuné dansant* в честь

мистрисс М'Катъчлей, но в душе своей решилсЯ при этом случае, в полном блеске своего величия и при помощи обо-льстительных ухищрений Терпсихоры и Бахуса, проворко-вать мистрисс М'Катъчлей нежные слова любви.

Наконец наступил и торжественный день. Мистер Ричард Эвенель смотрел из окна своей уборной на сцену в са-ду, как смотрел Аинибал или Наполеон с вершины Альпов на Италию. Эта сцена совершенно соответствовала мысли о победе и представляла полное возмездие честолюбивым подвигам. На небольшом возвышении помещались певцы с гор тирольских; высокие шляпы их, металлические пугови-цы, шитые серебром и золотом широкие кушаки ярко осве-щались солнцем. За ширмой из лавровых деревьев и амери-канских растений скрывались венгерские музыканты. Вдали, направо от этих двух групп, находилось то, что некогда на-зывалось (*horresco referens*) гусиным прудом, где *Duke sonant ienui gutture carmen aves*. Но гениальная изобретательность главного декоратора превратила помянутый гусиный пруд в швейцарское озеро, несмотря на горькую обиду и печаль простых и безвредных обитателей, изгнанных с поверхности вод, на которых они, быть может, родились и выросли. Высо-кие шести, обвитые сосновыми сучьями и густо натыканные вокруг озера, придавали мутно-зеленоватой воде приличную гельветическую мрачность. Тут же, подле трех огромных ко-ров, увешанных лентами, стояли швейцарские девицы. На-лево от озера, на широкой поляне, красовалась огромная го-

тическая палатка, разбитая на два отделения: одно – для танцев, другое – для завтрака.

Все благоприятствовало празднику, даже самая погода: на небе ни облачка. Музыканты уже начали настраивать инструменты; лакеи, щегольски одетые, в черных панталонах и белых жилетах, ходили взад и вперед по пространству, отделявшему палатку от дома. Ричард долго любовался этой сценой и между тем механически направлял бритву; наконец он весьма неохотно повернулся к зеркалу и начал бриться. В это счастливое, дышащее блаженством утро он так был занят, что некогда было даже и подумать о своей бороде.

Любопытно смотреть иногда, как мужчина совершает операцию бритья. Иногда по ходу этой операции можно делать заключения о характере бреющего. О, если бы видели, как брился Ричард Эвенель! Быстрота размахов бритвы, аккуратность и чистота, с которыми брился он, дали бы вам верное понятие о том, как ловко он умеет отбрить при случае ближнего. Борода и шоки его были гладки как стекло. При встрече с ним вы бы инстинктивно застегнули ваши карманы.

Зато остальная часть туалета мистера Эвенеля совершилась не так быстро. На постели, на стульях, на комодах лежали панталоны, жилеты, галстуки, в таком огромном выборе, что разбежались бы глаза у человека с самым неразборчивым вкусом. Примерена была одна пара панталон, потом другая, один жилет, потом другой, третий. Ричард Эве-

нель постепенно превращался в *chef-d'oeuvre* цивилизации, в человека одетого и наконец явился на белый свет. Он был счастлив в своем костюме – он чувствовал это. Его костюм шел не ко всякому ни по цвету, ни по покрою, но к нему шел как нельзя лучше.

О, какой эпический поэт не захотел бы описать одежды героя при таком торжественном случае! Мы представим нашим читателям только весьма слабый очерк этой одежды.

Фрак мистера Эвенеля был синий, темно-синий, с пурпуровым отливом, – фрак однобортный, изящно обнимавший формы Эвенеля; во второй петличке его торчала пышная махровая роза. Жилет был белый; панталоны перло-дымчатого цвета, с «косым швом», как выражаются портные. Голубой, с белыми клеточками, галстух свободно обхватывал шею; широкое поле манишки с гладкими золотыми пуговками; лайковые перчатки лимонного цвета, белая шляпа, слегка, но выразительно нагнутая на сторону, дополняют наше описание. Пройдите вы по целому городу, по целому государству, и, право, вы не нашли бы такого прекрасного образца мужчины, какой представлял собою наш приятель Ричард Эвенель, с его легким, твердым и правильным станом, с его чистым цветом лица, его светлыми, проницательными глазами и чертами лица, которые говорили о смелости, точности, определительности и живости его характера, – чертами смелыми, некрупными и правильными.

Прекрасный собой, с полным сознанием своей красоты,

богатый, с полным убеждением в своем богатстве, первенствующее лицо торжественного праздника, с полной уверенностью в своем первенстве, Ричард Эвенель вышел в сад.

Вотт, начала подниматься пыль на дороге, и в отдалении показались кареты, коляски, фиакры и фаэтоны; все они длинной вереницей тянулись к подъезду Эвенеля. В то же время многие начинали являться пешком, как это часто делается в провинциях: да наградит их небо за такое смирение!

Ричард Эвенель чувствовал себя как-то неловко, принимая гостей, особенно таких, с которыми имел удовольствие видеться в первый раз. Но когда навалились танцы и Ричард получил прекрасную ручку мистрисс М'Катчлей на первую кадрили, его смелость и присутствие духа возвратились к нему. Заметив, что многие гости, которых он во все не встречал, вполне предавались удовольствиям, он за благоразсудил не встречать и тех, которые приезжали после первой кадрили, и таким образом ни та, ни другая сторона не чувствовали ни малейшего стеснения.

Между тем Леонард смотрел на эту одушевленную сцену с безмолвным унынием, которое он тщетно старался сбросить с себя, – уныние, встречаемое между молодыми людьми при подобных сценах гораздо чаще, нежели мы в состоянии предположить. Так или иначе, но только Леонард на этот раз был чужд всякого удовольствия: подле него не было мистрисс М'Катчлей, которая придавала бы особенную прелесть этому удовольствию; он знаком был с весьма немноги-

ми из посетителей; он был робок, он чувствовал, что в его отношениях к дяде было что-то неопределенное, сомнительное; он совершенно не привык находиться в кругу шумного общества; до его слуха долетали язвительные замечания насчет Ричарда Эвенеля и его празднества. Он испытывал в душе своей сильное негодование и огорчение. Леонард был несравненно счастливее в тот период своей жизни, когда он кушал редисы и читал книги подле маленького фонтана в саду Риккабокка. Он удалился в самую уединенную часть сада, сел под дерево, склонил голову на обе руки, задумался и вскоре носился уже в мире фантазий. Счастливый возраст: каково бы ни было наше настоящее, но в эту счастливую пору нашей жизни будущее всегда улыбается нам отрадной улыбкой, всегда кажется таким прекрасным и таким беспредельным!

Но вот наконец первые танцы сменились завтраком: шампанское лилось обильно, и пир был в полном своем блеске.

Уже солнце начинало заметно склоняться к западу, когда, в течение непродолжительных промежутков от одного танца до другого, все гости или собирались на небольшом пространстве, оставленном палаткой на лугу, или рассыпались по аллеям, смежным с палаткой. Пышные и пестрые наряды дам, веселый смех, раздававшийся со всех сторон, яркий свет солнца, озарявший всю сцену, сообщал даже и Леонарду мысль не об одном только притворном удовольствии, но о действительном счастье. Леонард выведен был из за-



думчивости и робко вмешался в ликующие группы. Но в то время, как Леонард приближался к сцене общего веселья, Ричард Эвенель, с обворожительной мистрисс М'Катъчлей, которой цвет лица был гораздо живее, блеск глаз ослепительнее, поступь грациознее и легче обыкновенного, удалялся от этой сцены и находился уже на том самом месте, уединенном, унылом и отененном весьма немногими деревьями, которое молодой человек только что покинул.

Но вдруг, в минуту, столь благоприятную для нежных объяснений, в месте столь удобном для робкого признания в любви, – в эту самую минуту, с муравы, расстилающейся впереди палатки, до слуха Ричарда Эвенеля долетел невыразимый, невнятный зловещий звук, – звук, имеющий сходство с язвительным смехом многолюдной толпы, с глухим, злобным, подавленным хохотом. Мистрисс М'Катъчлей распускает зонтик и боязливо спрашивает своего кавалера:

– Ради Бога, мистер Эвенель, почему все гости столпились около одного места?

Бывают звуки, бывают зрелища, – звуки неясные, зрелища, основанные на неопределенных догадках, которые, хотя мы угадываем их по инстинкту, предвещают, предзнаменуют какое-то демонски-пагубное влияние на наши дела. И если ктонибудь даст блестящий пир и услышит вдали всеобщий, дурно подавленный, язвительный хохот, увидит, что все его гости спешат к одному какомунибудь месту, то не знаю, останется ли тот человек неподвижным и не обнаружит ли

своего любопытства. Тем более трудно допустить предположение, чтобы тот человек избрал именно этот самый случай для того, чтоб грациозно преклониться на правое колено перед очаровательнейшей в мире мистрисс М'Катчлей и признаться ей в любви! Сквозь стиснутые зубы Ричарда Эвенеля вырвалось невнятное проклятие, и, вполовину догадываясь о случившем происшествии, которое ни под каким видом не должно было дойти до сведения мистрисс М'Катчлей, он торопливо сказал ей:

– Извините меня. Я схожу туда и узнаю, что там случилось; пожалуйста, не уходите отсюда до моего возвращения.

Вместе с этим он бросился вперед и в несколько секунд достигнул группы, которая с особенным радушием расступилась, чтоб дать ему дорогу.

– Что такое случилось здесь? спрашивал он с нетерпением и в то же время с боязнию.

Из толпы никто не отвечал. Он сделал еще несколько шагов и увидел племянника своего в объятиях женщины!

– Праведное небо! воскликнул Ричард Эвенель.

## Глава XLIII

И в объятиях какой еще женщины!

На ней надето было простое ситцовое платье, – весьма опрятное – это правда, но которого не надела бы другая служанка из хорошего дома; и какие толстые, ужасные башмаки! На ней была черная соломенная шляпка; вместо шали, её стан повязан был бумажным платком, который не стоил и шиллинга! Наружность её была почтенная, в этом нет никакого сомнения, но зато страшно запыленная! И эта женщина повисла на шею Леонарда, кротко выговаривала ему, нежно ласкала и громко, очень громко рыдала.

– Праведное небо! воскликнул мистер Ричард Эвенель.

И в то время, как он произносил эти слова, женщина быстро обернулась к нему. Кончив с Леонардом, она бросилась на Ричарда Эвенеля и, сжимая в объятиях своих и синий фрак, и махровую розу, и белый жилет, громко восклицала, не прекращая рыданий:

– Брат мой Дик! дорогой мой, неоцененный брат Дик! и я дожила до того, что снова вижу тебя!

И вместе с этим раздалось два такие поцалуя, которые вы бы наверно слышали за целую милю.

Положение брата Дика было убийственное. Толпа гостей, которая до этого, соблюдая приличия, только подсмеивалась, теперь не в силах была бороться с влиянием этого

неожиданного, внезапного объятия. По всему саду раздался всеобщий взрыв хохота! Это не был хохот, а оглушительный рев, который убил бы слабого человека; но в душе Ричарда Эвенеля он отзывался как вызов врага на бой и в один момент уничтожал все, что служило условной преградой неустрашимому от природы духу англо-саксонца.

Ричард Эвенель величественно поднял свою прекрасную, мужественную голову и окинул взором толпу неучтивых посетителей, – взором, в котором выражались и упрек и удивление.

– Лэди и джентльмены! сказал он весьма хладнокровно. – Я не вижу в этом ничего смешного. Брат и сестра встречаются после долголетней разлуки, и сестра плачет при этой встрече; мне кажется весьма натуральным, что *она* плачет; но смеяться над её чувствами – непростительно.

В один момент весь позор как гора свалился с плеч Ричарда Эвенеля и всею тяжестью лег на окружающих. Невозможно описать, какое глупое, пристыженное выражение приняли их физиономии, и как каждый из них старался украдкой уйти в сторону.

Ричард Эвенель воспользовался своим преимуществом с быстротой человека, который несколько лет прожил в Америке и следовательно привык извлекать лучшее из самых, по видимому, обыкновенных обстоятельств. Он взял мистрисс Ферфильд за руку и увел ее в дом. Но когда он достиг благополучно своей комнаты – Леонард шел вслед за мате-

рю и дядей – когда дверь затворилась за всеми ими, тогда бешенство Ричарда вырвалось наружу со всею силою.

– Ах ты безумная, неблагодарная, дерзкая шлюха!

Да, да! Ричард употребил именно это слово. Я содрагаюсь писать его; но долг историка непреклонен: Ричард произнес слово – шлюха!

– Шлюха! едва слышным голосом повторила несчастная Джэн Ферфильд и крепко ухватилась за руку Леонарда: она с трудом могла держаться на ногах.

– Вы забываетесь, сэр! возразил Леонард, в свою очередь приведенный в бешенство.

Но как бы громки ни были ваши восклицания, в эту минуту для Ричарда они были бы тем же самым, что и для горного потока. Ричард спешил излить первые порывы исступленного гнева в самых дерзких, оскорбительных выражениях.

– Гадкая, грязная, пыльная неряха! как ты смела явиться сюда? как ты смела позорить меня в моем собственном доме, после того, как я послал тебе пятьдесят фунтов? как ты смела выбрать такое время, когда.... когда....

Ричард задыхался; язвительный смех его гостей еще звучал в его ушах, переливался в грудь и душил его. Джэн Ферфильд выпрямилась; слезы на глазах её засохли.

– Я не думала позорить тебя: я пришла повидаться с ним, и....

– Ха, ха! прервал Ричард: – ты пришла повидаться с ним? Значит ты писал к этой женщине?

Последние слова относились к Леонарду.

– Нет, я не писал к ней ни слова.

– Ты лжешь!

– Он не лжет; он так же честен, как и ты, даже честнее тебя, Ричард Эвенель! воскликнула мистрисс Ферфильд: – я не хочу ни минуты оставаться здесь, не хочу слышать, как ты оскорбляешь его, – не хочу, не хочу! Что касается до твоих пятидесяти фунтов, то вот тут сорок-пять, и пусть отсохнут мои пальцы, если я не заработаю и не пришлю тебе остальных пяти. Ты не бойся, что я буду позорить тебя: во всю жизнь свою я не захочу взглянуть на тебя; ты дурной, злой, порочный человек; я не ожидала от тебя этого.

Голос несчастной женщины поднят был до такой высокой ноты, до такой степени он был пронзителен, что всякое другое чувство, близкое к угрызению совести, хотя и могло бы пробудиться в душе Ричарда, заглушалось опасением, что крик его сестры будет услышан слугами или гостями, – опасение, свойственное одним только мужчинам, которое редко проявляется в женщинах и считается ими за низкую трусость со стороны их притеснителей.

– Пожалуста, замолчи! перестань кричать во все горло! сказал мистер Эвепель, тоном, который казался ему ласковым. – Сиди в этой комнате, и ни с места, покуда я не возвращусь и не буду в состоянии спокойно говорить с тобой. Леонард, пойдем со мной: ты поможешь объяснить гостям это происшествие.

Но Леонард стоял неподвижно и вместо ответа отрицательно покачал головой.

– Что вы хотите сказать этим, сэръ? спросил Ричард, голосом, предвещающим новую грозу. – Что вы качаете своей головой? Не намерены ли вы послушаться меня? Смотри, Леонард, берегись!

Терпение Леонарда лопнуло. Одной рукой обвил он став матери.

– Сэр! сказал он: – вы оказали мне милость, вы были великодушны ко мне, и одна мысль об этом удерживала мое негодование, когда я слышал слова, с которыми вы обращались к моей матери. Я чувствовал, что еслиб я начал говорить, то высказал бы многое. Теперь я начинаю говорить, и начинаю с того, что....

– Оставь, Леонард, сказала испуганная мистрисс Ферфильд: – не беспокойся обо мне. Я не затем пришла, чтоб принести с собой беду для тебя, не затем, чтоб погубить твою будущность. Я сейчас же уйду отсюда.

– Не угодно ли вам, мистер Эвенель, просить прощения у неё? сказал Леонард, решительным тоном, и в то же время подступил к дяде своему на несколько шагов.

Вспыльчивый от природы и нетерпевший противоречия, Ричард взволнован был не только гневом, который, надобно признаться, произвел бы ощутительное влияние на каждого человека, до такой степени уничиженного в самую возторженную минуту, но и вином, которого Ричард употребил

на этот раз более обыкновенного. И когда Леонард приблизился к нему, он истолковал это движение в дурную сторону и видел в нем дерзкую угрозу.

Ричард поднял руку на воздух.

– Подойди еще на шаг, сказал он: – и я тебя одним ударом положу на месте!

Несмотря на эту угрозу, Леонард сделал запрещенный шаг. Но в то время, как взор Ричарда встретился со взором Леонарда, в котором выразалось не презрение или дерзкая настойчивость, но благородство души и неустрашимость, так хорошо знакомая Ричарду и уважаемая им, – в это время, говорю я, рука Ричарда механически опустилась.

– Вы можете ударить меня, мистер Эвенель, сказал Леонард: – вы очень хорошо убеждены, что за эту дерзость моя рука не поднимется на брата моей матери. Но как сын её, я еще раз говорю вам: просите у неё прощения.

– Десять тысяч молний! вскричал Ричард. – Или ты сам с ума сошел, или намерен свести меня с ума! Ты, ничтожный мальчишка, наглый нищий, которого я кормил и одевал из сострадания, – ты смеешь говорить мне, чтоб я просил у неё прощения! да за что, желал бы я знать? Разве за то, что она сделала меня предметом насмешек и поруганий – этим презренным ситцевым платьем и этими вдвойне презренными толстыми башмаками! Я готов побожиться, что эти башмаки подбиты у неё гвоздями! Послушай, Леонард, довольно и того, что она нанесла мне такое оскорбле-



ние, но я не такой человек, чтобы слушать от тебя угрозы. Иди со мною сию минуту, или долой с моих глаз: до конца жизни моей ты не получишь от меня ни шиллинга. Предлагаю тебе на выбор – быть простым поденщиком или...

– Да, да, милостивый государь, я скорее соглашусь быть поденщиком, чем принимать милостыню из рук низкого честолюбца, презирающего своих кровных! спокойно сказал Леонард; его грудь тяжело поднималась и щеки пылали. – Матушка, уйдемте отсюда. Не бойтесь, родная: у меня еще много и силы и молодости; мы по-прежнему будем вместе трудиться.

Но бедная мистрисс Ферфильд, обремененная таким множеством сильных ощущений, опустилась на прекрасное кресло Ричарда и оставалась безмолвна и неподвижна.

– Сидите же здесь, презренные! проворчал Ричард. В настоящую минуту вас невозможно выпустить из моего дома. Смотри за ней, неблагодарный змеенок, – смотри, куда я не возвращусь; и тогда, если ты захочешь убраться отсюда, то убирайся и будь....

Не кончив своей сентенции, Ричард Эвенель выбежал из комнаты, запер дверь на замок и ключ положил в карман. Проходя мимо залы, он остановился на минуту, чтобы собраться с мыслями, втянул в себя глотка четыре воздуха, поправил платье, и, решившись оставаться верным своему правилу – делать дело одним разом, он удалил от себя тревожное воспоминание о мятежных пленниках. Грозный, как Ахил-

лес перед троянцами, Ричард Эвенель явился на сцену пиршества.

## Глава XLIV

Несмотря на кратковременность своего отсутствия, Ричард Эвенель не мог не заметить, что в течение этого периода произошла значительная перемена в одушевлении общества. Те из гостей, которые жили в городе, приготовились уйти домой пешком; те, которые жили в отдалении, и экипажи которых еще не прибыли по ненаступлению назначенного часа, собрались в небольшие кружки и группы. Все обнаруживали неудовольствие и все по инстинктивному чувству отворачивались от хозяина дома в то время, как он проходил мимо их. В неприятной сцене они видели унижение собственного своего достоинства и считали себя оскорбленными не менее самого Ричарда. Они опасались повторения какойнибудь подобной сцены. От этого площадного человека всего можно было ожидать, по их мнению!

Проницательный ум Ричарда в один момент предвусмотрел всю затруднительность подобного положения. Несмотря на то, он смело и прямо шел к мистрисс М'Катъчлей, стоявшей почти подле самой палатки, вместе с Помплеями и женою декана. Особы эти, заметив смелое шествие Ричарда, начали колебаться.

– Взгляните, какая дерзость! сказал полковник, углубляясь в галстух: – он идет сюда. Это низко, это ужасно! Что мы станем делать теперь? Пойдемте прочь.

Но Ричард заметил это и заслонил им дорогу.

– Мистрисс М'Катъчлей, весьма серьёзно сказал он и в то же время протянул к ней руку: – позвольте мне просить вас на три слова.

Бедная вдова не знала, что отвечать, что делать. Мистрисс Помплей украдкой дернула ее за рукав. Ричард стоял перед ней с протянутой рукой и пристально вглядываясь в её лицо. Она колебалась, впрочем, недолго и приняла протянутую руку.

– Чудовищное бесстыдство! вскричал полковник.

– Не мешай, мой друг, возразила мистрисс Помплей. – Поверь, что мистрисс М'Катъчлей найдется, как отделать этого вульгарянца!

– Сударыня, сказал Ричард, едва только удалились они на такое расстояние, откуда слова их не могли долетать до слуха Помплеев: – я предоставляю вам оказать мне величайшую милость.

– Мне?

– Вам, и одним только вам. Вы имеете большое влияние на всех этих людей: одно слово ваше произведет то действие, которого я желаю. Мистрисс М'Катъчлей, прибавил Ричард, таким торжественным тоном, который даже на самого грубого слушателя произвел бы сильное впечатление: – позвольте мне льстить себя надеждою, что вы имеете ко мне дружеское расположение, чего я не могу сказать о всех других лицах, пирующих в моем саду, – согласитесь ли вы оказать мне эту

милость, – да или нет?

– Чего же вы хотите от меня, мистер Эвенель? спросила М'Катъчлей, все еще сильно встревоженная, но заметно смягченная.

Мистрисс М'Катъчлей ни под каким видом нельзя было назвать женщиной нечувствительной; она даже считала себя слабонервной.

– Уговорите всех ваших друзей, – короче сказать, уговорите все общество собраться в беседку, под каким бы то ни было предлогом. Я хочу сказать несколько слов моим гостям.

– Что вы это! мистер Эвенель, вы хотите сказать им несколько слов! вскричала вдова: – вы не знаете, что этого-то именно все и опасаются! Нет уж, вы извините меня, а я должна вам признаться откровенно, что нигде не водится приглашать порядочных людей на танцевальный завтрак и потом.... потом браниться с ними!

– Кто вам сказал, что я хочу браниться с ними! сказал мистер Эвенель, весьма серьёзно: – клянусь честью, я даже и не думал об этом. Я хочу только поправить дело, даже надеюсь, что танцы наши будут продолжаться, и чтобы удостоите меня вашей руки на тур вальса. Сделайте мне это одолжение, и поверьте, что вы видите перед собой человека, который умеет быть признательным.

Мистер Эвенель, кончив, поклонился, не без некоторого достоинства, и скрылся в отделение палатки, назначенное

для завтрака. Здесь он деятельно начал распорядиться приведением стола и буфета в возможный порядок. Мистрисс М'Катъчлей, которой любопытство и интерес были затронуты, исполнила поручение с необыкновенным умением и тактом светской, образованной женщины, так что, менее чем через четверть часа, палатка наполнилась, пробки защелкали, шампанское полилось и заискрилось; гости пили молча, кушали плоды и пирожное, поддерживали свою храбрость уверенностью в превосходство сил на своей стороне и испытывали непреодолимое желание узнать, что будет дальше. Мистер Эвенель, сидевший во главе стола, внезапно встал.

– Лэди и джентльмены! сказал он: – я осмелился пригласить вас еще раз в эту палатку, с тем, чтобы пожалеть вместе со мной о происшествии, которое едва не послужило поводом к расстройству общего нашего удовольствия. Без сомнения, вам всем известно, что я человек новый, – человек, который сам устроил свою судьбу, составив хороший капитал.

Большая часть слушателей, по невольному чувству, склонила свои головы. Слова произнесены были мужественно; все общество проникнуто было чувством уважения к оратору.

– Вероятно, продолжал мистер Эвенель: – не безызвестно вам также и то, что я сын весьма честных торговопромышленников. Я говорю: честных, и потому им нечего стыдиться меня, – я говорю: торгово-промышленников, и мне нечего стыдиться их. Сестра моя вышла замуж и посели-

лась в отдаленной отсюда провинции. Я взял на свое попечение её сына, с тем, чтобы дать ему приличное воспитание, и потом, как говорится, вывести в люди. Но надобно заметить, я не говорил ей, где находился её сын, не говорил даже о своем возвращении из Америки. По собственному своему желанию, – пожалуй, если хотите, по прихоти, отложил я это до более благоприятного случая, и именно до той поры, когда бы я мог неожиданно представить ей, в виде сюрприза, не только богатого брата, но и сына, которого я намерен был сделать джентльменом, на сколько позволяли то воспитание, изящные манеры и благородное обращение его. Но бедная моя родственница отыскала нас гораздо ранее, чем я ожидал, и предупредила меня сюрпризом своего собственного изобретения. Умоляю вас, простите замешательство, которое наделала эта маленькая семейная сцена; и хотя, признаюсь, она была довольно забавна в свое время и несправедливо было бы с моей стороны отозваться о ней иначе, но все же я не смею судить дурно о вашем добросердечии; я уверен, что вы сами можете оценить чувства, которые должны испытывать брат и сестра при встрече, после того, как они расстались друг с другом в самые ранние годы своего возраста. Для меня (и Ричард испустил продолжительный вздох: он чувствовал, что один только подобный вздох мог поглотить отвратительную ложь, которую он произносил), – для меня эта встреча была, по истине, *самой счастливой встречей!* Я – человек простой; в моих словах

ничего нет дурного. Пожелав вам от всей души того же счастья в кругу вашего семейства, каким наслаждаюсь я в кругу моего, хотя и весьма смиренного, я с особенным удовольствием пью, лэди и джентльмены, ваше здоровье.

Громкия рукоплескания заключили речь мистера Эвенеля. С его простодушным воззрением на предмет он так верно достиг своей цели, что большая половина из присутствовавших, которая до этой речи не чувствовала к Ричарду никакого влечения, даже пренебрегала им, вдруг переменяла свое мнение о нем и с этой минуты стала гордиться его знакомством. Надобно заметить, что высшее британское сословие, при всей возвышенности понятий о своем достоинстве, еще сильнее обнаруживающемся в провинциях и маленьких обществах, ни к кому не имеет такого уважения, как к человеку, который возвысился из ничего и который откровенно признается в том. Сэр Комптон Дарлей, старый баронет, с родословной длиннее каждого валлийца, который весьма неохотно явился на бал, по неотступной просьбе трех незамужних дочерей своих (из которых ни одна не удостоила мистера Эвенеля даже самым маленьким поклоном), встал с места и приготовился произнести приличную речь; это право принадлежало исключительно ему: но званию своему и по месту, занимаемому в обществе, он был первое лицо между гостями.

– Лэди и джентльмены! начал сэр Комптон, обращаясь к собранию: – я уверен, что все присутствующие согласят-



ся с моим мнением, с выражением чувств моих, если скажу, что все мы, с особенным удовольствием и восхищением, выслушали слова, с которыми обращался к нам многоуважаемый хозяин дома. (Рукоплескание огласило палатку.) И если кто-нибудь из нас, как весьма справедливо замечает мистер Эвенель, увлечен был неожиданной сценой в неуместный смех над... над... («тем, что дорого для каждого из нас» – подсказывает жена декана)... над тем, что дорого для каждого из нас, повторил сэр Комптон, смешался и стал, как говорится, в тупик («над тем, что называем мы священными чувствами» – снова прошептала жена декана)... да, именно, над тем, что называем мы священными чувствами, – я, от лица всего собрания, прошу мистера Эвенеля принять наше чистосердечное извинение. С своей стороны, я могу сказать одно, что с удовольствием признаю мистера Эвенеля достойным стать на ряду с джентльменами нашего округа (при этом сэр Комптон громко ударил по столу) и долгом считаю выразить ему мою признательность за блестящий пир, присутствовать на котором выпало на мою долю в первый раз в жизни. Если он умел честным образом стяжать себе богатство, то, надобно отдать ему справедливость, он благородно умеет и расточать его.

Шампанское полилось обильнее прежнего.

– Я не привык говорить перед публикой, не умею красноречиво изъясняться, но не умею также и скрывать моих чувств. Мне остается теперь предложить тост за здоровье хо-

зьяина дома, Ричарда Эвенеля, *сквайра*, и вместе с тем за здоровье его уважаемой сестры... да здравствуют они на многие лета!

Последние слова заглушились громом рукоплесканий и восклицаний, которые слились наконец в троекратное ура в честь Ричарда Эвенеля, *сквайра*, и его уважаемой сестры.

«Как славно обманул я их! – подумал Ричард Эвенель. – Впрочем, обманывать в натуре человека. Почем знать, может быть, и они, в свою очередь, обманывают меня.»

Вместе с этим он взглянул на мистрисс М'Катчлей и, к величайшему своему удовольствию, увидел, что она платочком утирала глаза.

Можно сказать, что хотя прекрасная вдова и думала иногда о возможности сделаться женою мистера Эвенеля, но до этой поры в душе своей она не чувствовала к нему никакого расположения: теперь же она была влюблена в него. Чистосердечие и мужество всегда нравятся женщинам, а Ричард Эвенель хотя и обманывал все собрание, как сам об признавался в том, но в глазах мистрисс М'Катчлей казался настоящим героем.

Ричард Эвенель торжествовал.

– Теперь мы можем продолжать наши танцы, весело сказал он.

И в то время, как он протянул руку к мистрисс М'Катчлей, сэр Комптон Дарлей схватил эту руку и, дружески пожав ее, воскликнул:

– Мистер Эвенель, вы еще ни разу не танцевали с моей старшей дочерью. Если вам не угодно было пригласить ее на тур вальса, то я сам должен предложить вам ее. – Сара, вот тебе кавалер на танцы.

Мисс Сара Дарлей, рослая и по росту своему стройная девица; сделала грациозный поклон и приблизилась к изумленному Ричарду Эвенелю. При выходе в танцевальное отделение палатки, Ричарду предстояло пройти мимо джентльменов, которые выстроились в ряд нарочно затем, чтоб пожать руку хозяину дома. Их горячия английские сердца не могли бы успокоиться до тех пор, пока они не уверились, что недавняя надменность и неуместные насмешки совершенно забыты. В эту минуту Ричард Эвенель преспокойно мог бы ввести в общество гостей свою сестру, в её ситцевом платье, пестром платке и толстых башмаках; но он не хотел даже и подумать об этом. От искреннего сердца он благодарил небо, что она находилась в эту минуту под замком.

Не ранее третьего тура вальса Ричард Эвенель мог воспользоваться случаем протанцевать с мистрисс М'Катъчлей, и тогда наступили уже сумерки. Экипажи давно стояли у подъезда; но никто еще не думал уезжать. Гости наслаждались удовольствием вполне. С течением времени созревали все планы Эвенеля, предназначенные им к довершению того торжества, которое так неожиданно доставило ему прибытие сестры и которого он чуть-чуть не лишился, благодаря тому же самому прибытию. Смелость и решительность много

помогли ему в этом случае. Вино и подавленный гнев еще более возбуждали в нем отвагу и даже дерзость, и в то время, как восторженность начинала мало по малу ослабевать в нем, когда мистрисс М'Катьчлей перешла на сторону Помпеев, влияние которых на избранницу своего сердца Ричард всего более желал бы теперь устранить, – в это время он гораздо спокойнее вспоминал о своих бедных деревенских родственниках. Время для исполнения задуманных планов было самое удобное. Железо накалилось: стоило только начать ковку и ковать самую прочную цепь.

– Я не знаю, как выразить вам мою благодарность, мистрисс М'Катьчлей, за величайшее благодеяние с вашей стороны, сказал Ричард, выходя из палатки.

– Помилуйте! сказала мистрисс М'Катьчлей: – какое тут благодеяние!.. я так рада, что...

И она замолчала.

– Значит, вы еще не стыдитесь меня, несмотря на неприятное происшествие?

– Стыдиться вас! Напротив, я гордилась бы вами, еслиб я была....

– Окончите вашу мысль, скажите: «еслиб я была вашей женой!» Мистрисс М'Катьчлей, я богат, вам известно это, – и я пламенно люблю вас. С вашей помощью, я мог бы выйти из обыкновенного круга моих действий и мог бы разыгрывать не последнюю роль в высшем кругу общества. Кто бы ни был мой отец, я уверен, что внук его был бы по крайней

мере... Впрочем, об этом еще рано говорить. Что вы скажете на это? вы отворачиваетесь от меня. Я не хочу беспокоить вас длинными объяснениями: это не в моем характере. Давеча я просил вас помочь мне, и просил вас сказать мне на это: да или нет? теперь же, надеясь на вашу снисходительность ко мне, я снова осмеливаюсь просить сказать мне: да или нет?

– Но, мистер Эвенель, это так неожиданно, так... ах, Боже мой! Мистер Эвенель, вы так спешите... что я...

И вдова раскраснелась: румянец стыдливости заиграл на её ланитах.

«О, эти ужасные Помплеи!» подумал Ричард, увидев, что полковник торопился с плащом к мистрисс М'Катъчлей.

– Я жду вашего ответа немедленно, продолжал пламенный любовник, весьма торопливо. – Завтра я уеду отсюда, если вы не дадите мне ответа.

– Вы уедете отсюда? и оставите меня?

– Согласитесь быть моей, и я не оставлю вас.

– Ах, мистер Эвенель! томно сказала вдова, сжимая его руку: – кто может противиться вам?

Полковник Помплей подошел. Ричард взял от него шаль.

– Не торопитесь, полковник, сказал он: – мистрисс М'Катъчлей может располагать своим временем как ей угодно: здесь она как у себя в доме.

Ричард Эвенель распорядился так умно, что через десять минут почти все гости уже знали, что высокопочтеннейшая

мистрисс М'Катъчлей приняла его предложение. Все единодушно говорили, что «он очень умный, очень добрый человек», – все, исключая Помплев, которые от бешенства выходили из себя. И в самом деле, возможно ли допустить, чтоб Ричард Эвенель насильно втерся в круг аристократии! возможно ли, чтобы, сделавшись мужем высокопочтеннейшей лэди, он стал на ряду с британскими лордами!

– Чего доброго! он еще будет представителем нашего города, – этот *вулгарианец!* восклицал полковник.

– И мне придется идти за хвостом его жены, этой отвратительной женщины!

Сказав это, мистрисс Помплей заплакала.

Гости разъехались. Ричард имел теперь полную свободу подумать о том, какие принять меры касательно сестры своей и племянника.

Победа над гостями заметно смягчила сердце Ричарда в отношении к его родственникам; но, несмотря на то, он все еще считал себя сильно оскорбленным неуместным появлением мистрисс Ферфильд. Гордость его была унижена дерзкой выходкой Леонарда. До этой поры он никак не мог допустить идеи, чтобы человек, которому он оказал услугу или намерен был оказать ее, мог иметь свою собственную волю, мог смело не повиноваться ему. Он чувствовал также, что слова, сказанные им и Леонардом друг другу, нескоро ими забудутся, и что, вследствие этого, тесная дружба их, по необходимости, должна охладеть. Ему, великому Ричар-

ду Эвенелю, просить прощения у мистрисс Ферфильд, у деревенской прачки! о нет! этому не бывать! Она и Леонард должны просить у него прощения.

– С этого я и начну, сказал Ричард Эвенель: – я полагаю, они успели теперь надуматься.

Вместе с этим ожиданием, он отпер дверь – и, к неопи-санному изумлению, очутился в пустой комнате. Взошедшая луна смотрела прямо в окна и ярко освещала каждый угол. Ричард окинул взором всю комнату и пришел в недоумение: птички улетели.

«Неужели они ушли сквозь замочную скважину? сказал он. – А! понимаю: они ушли в окно.»

И действительно, окно, поднимавшееся от земли на поло-вину человеческого роста, было открыто. Мистер Эвенель, в припадке бешенства, совершенно упустил из виду этот лег-кий способ к побегу.

– Ну, ничего, проговорил он, бросаясь на кушетку. – На-деюсь, они не замедлят отозваться о себе: они непременно захотят воспользоваться моими деньгами.

В эту минуту взор его остановился на письме, лежав-шем на столе. Он развернул его и увидел несколько ассиг-наций на пятьдесят фунтов; из них сорок пять принадлежа-ли вдове, а новенькая пяти-фунтовая – Леонарду. Ричард сам за несколько дней подарил ему эту ассигнацию. Вместе с деньгами было написано несколько строчек, смелым и кра-сивым почерком Леонарда, хотя некоторые слова и обнару-

живали, что рука Леонарда дрожала.

Вот что писал он:

«Благодарю вас за все, что вы сделали тому, кого считали предметом вашего сострадания и милосердия. Моя мать и я прощаем вам прошедшее. Я уйду вместе с ней. Вы предоставили на мой произвол сделать выбор касательно моей будущности, и я сделал его.

«Леонард Ферфильд.»

Письмо выпало из рук Ричарда. В течение двух-трех минут он оставался безмолвным. Заметно было, что угрызение совести производило на него сильное влияние. Он видел, однако же, что поправить дело не было возможности.

– В целом свете не найдется, вскричал он, сильно топнув ногой: – не найдется таких неприятных, дерзких и неблагодарных людей, как бедные родственники. С этой минуты я прекращаю с ними всякие сношения.



## Глава XLV

Леонард и его мать, освобождаясь от заточения, на которое осудил их мистер Эвенель, направили путь к небольшой гостинице, расположенной в недалеком расстоянии от города, при окраине большой дороги. Обвив одной рукой стан своей матери, Леонард поддерживал ее и в то же время старался ее успокоить. Действительно, к сильному потрясению нервов бедной женщины, она чувствовала угрызение совести при мысли, что неуместным появлением своим в доме Ричарда она совершенно разрушила все планы Леонарда на его блестящую будущность. Проницательный читатель, вероятно, уже догадался, что главным виновником всего зла в этом критическом обороте дел юноши был никто другой, как странствующий медник. Возвратясь в окрестности Гэзельденского парка и казино, медник не замедлил уведомить мистрисс Ферфильд о своем свидании с Леонардом, и, увидев, что бедная вдова оставалась в совершенном неведении касательно пребывания Леонарда под кровом его дяди, негодный бродяга, быть может, из злобного чувства к мистери Эвенелю, а может быть, из особенного расположения делать зло ближнему, составлявшее отличительную черту в его характере, так сильно подействовал на бедную вдову описанием надменности мистера Эвелеля и щегольского платья его племянника, что в душе её пробудилось горькое и невы-

носимое чувство ревности. «По всему видно, что они хотели отнять от меня мальчика!» думала вдова. – Молчание его служило тому верным доказательством. Этот род ревности, всегда обнаруживаемый женским полом в большей или меньшей степени, часто оказывается весьма сильным между бедными. В мистрисс Ферфильд это чувство проявлялось еще сильнее, потому что в её одиночестве Леонард служил для неё единственной отрадой. Хотя она примирилась с потерей его присутствия, но ничто не могло примирить ее с мыслию о потере сыновней любви. Кроме того, в душе её образовались некоторые убеждения, о справедливости которых читатель станет судить лучше впоследствии, – что Леонард обязан был ей более, чем сыновнею привязанностью. Короче сказать, ей не хотелось, употребляя её собственное выражение, «получить незаслуженный щелчок». Проведя бессонную ночь, она решилась действовать по своему соображению, много побуждаемая к этому неприязненным внушением мистера Спротта, утешавшего себя мыслию об унижении джентльмена, который так непочтительно грозил ему рабочим домом. Вдова немало сердилась на мистера Дэля и Риккабокка: она полагала, что и эти достойные джентльмены были в одном заговоре против неё. Поэтому, не объявив своего намерения ни одной душе в Гэзельденском приходе, она отправилась в путь и совершила его частью снаружи дилижанса, частью пешком. Неудивительно, Это она явилась на пир Эвенеля такая запыленная.

– О, Леонард! говорила она, стараясь подавить свои рыдания. – Когда я прошла в ворота и очутилась на лугу, где собралось так много знатных особ, я и сказала про себя: «взгляну на моего голубчика да и уйду». Но когда я увидела тебя, мой Ленни, такого красавчика, когда ты обернулся ко мне и закричал: «матушка!» я не могла не обнять тебя, моего ненаглядного, даже если бы пришлось мне умереть за это. Ты показался мне таким добреньким, что я в одну минуту забыла все сказанное мистером Спроттом насчет гордости Дика; я в ту же минуту подумала, что это все был вздор, точно такой же вздор, какой он выдумал насчет тебя и хотел меня уверить в том. Спустя немного подошел и Дик; я не видела его вот уж десятка два лет.... мы ведь одного отца и матери.... и потому.... потому....

Рыдания заглушили голос бедной вдовы.

– И что я сделала теперь, сказала она наконец, обнимая Леонарда, в то время, как оба они сидели в небольшой комнате трактира. – Я совсем погубила тебя. Иди назад, Леонард, ступай к Ричарду и, пожалуйста, не думай обо мне.

Немало труда стоило Леонарду успокоить бедную мистрисс Ферфильд и принудить ее лечь в постель и отдохнуть, потому что она как нельзя более была утомлена. После этого Леонард, задумчивый, вышел на большую дорогу. Звезды ярко горели на темном небосклоне; а юность, в минуты горести и в затруднительном положении, инстинктивно обращается к этим светилам. Скрестив руки на груди, Леонард

смотрел на небо, и, по движению губ его, можно было заметить, что он произносил какие-то слова.

Громкий голос, с чистым лондонским акцентом, вывел Леонарда из этого положения: он обернулся и увидел камердинера мистера Эвенеля. Первая мысль, блеснувшая в голове Леонарда, была та, что дядя его раскаялся и послал отыскать его. Но камердинер, в свою очередь, был изумлен встречей не менее самого Леонарда: эта изящная особа, утомленная дневными трудами, провожала в трактир своего старого приятеля, открытого в числе лакеев, приехавших из Лондона, с тем, чтобы за стаканом доброго грогу забыть свою усталость и, без всякого сомнения, погоревать о споем печальном положении в доме провинциального джентльмена.

– Мистер Ферфильд! воскликнул камердинер, между тем как лондонский лакей рассудил за лучшее продолжать свое шествие.

Леонард взглянул и не сказал ни слова. Камердинер подумал, что нелишним было бы представить Леонарду какое-нибудь извинение в том, что он оставил свой буфет и серебро, и что не мешало при этом случае воспользоваться влиянием Леонарда на его господина.

– Сделайте одолжение, сэр, извините, сказал он, дотрогиваясь до шляпы. – Я на минуту отлучился из дому, собственно затем, чтоб показать дорогу мистеру Джэйльзу в «Васильки», где он намерен переночевать. Надеюсь, что господин мой не будет сердиться за это. Если вы идете домой, сэр,

то потрудитесь сказать ему.

– Я не иду домой, Джервис, отвечал Леонард, после непродолжительного молчания. – Я оставил дом мистера Эвенеля, чтоб проводить мою матушку, и оставил внезапно. Я бы очень был обязан тебе, Джервис, еслиб ты принес в «Васильки» некоторые из моих вещей. Потрудись войти вместе со мной в трактир, и я дам тебе список этих вещей.

Не дожидаясь ответа, Леонард повернулся к трактиру и составил там скромную опись своего имущества. В эту опись включено было платье, привезенное из казино, чемоданчик, в котором помещалось это платье, книги, старинные часы доктора Риккабокка, различные рукописи, на которых молодой человек основывал все свои надежды на славу и богатство. Окончив этот список, он вручил его Джервису.

– Сэр, сказал Джервис, повертывая лоскутком бумаги между указательным и большим пальцами: – надеюсь, вы уезжаете от нас не надолго.

И, вспомнив о сцене, происшедшей на лугу, толки о которой неясно достигли его слуха, он взглянул на лицо молодого человека, который всегда «учтиво обращался с ним», так внимательно и с таким состраданием, какое только могла испытывать столь холодная и величественная особа при случаях, оскорбляющих достоинство фамилии даже менее аристократической в сравнении с той, которую мистер Джервис удостоивал своими услугами.

– Напротив, очень надолго, отвечал Леонард простосер-

дечно. — Впрочем, господин твой, без всякого сомнения, извинит тебя за то, что ты окажешь мне эту услугу.

Не делая дальнейших возражений, мистер Джервис отложил на несколько минут начало приятной беседы с приятелем за стаканом грогу и немедленно отправился в дом мистера Эвепеля. Джентльмен этот все еще сидел в библиотеке, вовсе не подозревая об отсутствии своего камердинера, и когда мистер Джервис вошел и сказал ему о встрече с мистером Ферфильдом и сообщил ему о поручении, возложенном на него молодым джентльменом, мистер Эвенель чувствовал неприятное положение от пронизательного взора своего лакея, а вследствие этого гнев против Леонарда снова закипел в нем за новое унижение его гордости. Он чувствовал, до какой степени неловко было не сделать никакого объяснения по поводу отъезда своего племянника, но еще более было неловко объяснить это.

После непродолжительного молчания, мистер Эвенель весьма угрюмо сказал:

— Мой племянник уезжает на некоторое время по делам; делай то, что он приказывает.

Вместе с этим он отвернулся и закурил сигару.

— Этот негодный мальчишка, сказал он про себя:— или намерен еще более меня оскорбить таким посланием, или делает предложение на мировую: если тут оскорбление, то, конечно, он счастлив тем, что убрался отсюда, а если предложение на мировую, то надобно надеяться, что в самом ско-

ром времени он пришлет другое, более почтительное и дельное. Впрочем, получив полное согласие мистрисс М'Катчлей, я не вижу теперь причины чуждаться моих родственников. Да, можно смело сказать, что это высокопочтеннейшая лэди! Неужели брак с ней доставит мне право называться также высокопочтеннейшим? У этого пошлого Дерретта решительно нет никаких практических изъяснений по этому предмету.

На другое утро, платье и часы, которые мистер Эвенель подарил Леонарду, были возвращены молодым человеком при записке, предназначенной выразить чистосердечную признательность, но заметно написанной с весьма малым знанием светского приличия и до такой степени проникнутой чувством оскорбленного достоинства и гордости, которое в самый ранний период жизни Леонарда принудило его бежать из Гэзельдена и отказаться от извинения перед Рандаем Лесли, – до такой степени, говорю я, что несколько не покажется удивительным, если потухающее в душе мистера Эвенеля чувство угрызения совести совершенно погасло и наконец заменилось иступленным гневом.

– Надеюсь, что он умрет с голоду! сказал рассвирепевший дядя, с злобной усмешкой.

– Послушайте, дорогая матушка, говорил Леонард в то же самое утро, в то время, как, с чемоданчиком на плече, он шел под руку с мистрисс Ферфильд по большой дороге: – уверяю вас от чистого сердца, что я несколько не сожалею о потере

милостей, которые, сколько я могу предвидеть, лишили бы меня возможности располагать собою. Ради Бога, не беспокойтесь обо мне: я получил некоторое воспитание, у меня есть энергия; поверьте, что я успею сделать для себя многое. Возвратиться домой в нашу скромную хижину я не могу ни за что на свете: я не могу быть снова садовником. Не просите меня об этом если не хотите, чтобы я остался на всю жизнь мою недовольным... мало того: несчастным. В Лондон, в Лондон! Вот место, которое может доставить и славу и богатство. Я приобрету то и другое. О, да, поверьте мне, приобрету. Вы скоро станете гордиться вашим Леонардом, и тогда, мы снова будем жить вместе, и жить без разлуки! Не плачьте, родная.

– Но что ты можешь сделать в Лондоне, в таком огромном городе?

– Как что! Разве не уходят из нашей деревни молодые люди искать счастья в этом городе? и что они берут с собой, как не одно только здоровье и сильные руки? У меня есть то и другое, и даже больше: у меня есть ум, здравый рассудок, надежды Нет, матушка, не просите меня; ради Бога, не бойтесь за меня.

Леонард гордо откинул голову; в его твердой уверенности в будущность было что то величественное, торжественное.

– Нечего делать, мой милый Ленни... Однако, ты будешь писать к мистеру Дэлю или ко мне? Я попрошу мистера Дэля или доброго синьора читать твои письма; я знаю, что они



не будут сердиться на меня.

– Буду, матушка, непременно буду.

– Но, Ленни, ведь у тебя нет ни гроша в кармане. Что было лишнего у нас, то отдали мы Дику; вот тебе мои собственные деньги; я оставлю только на дилижанс.

И добрая мать всунула в жилетный карман Леонарда со-  
верен и несколько шиллингов.

– Возьми вот и эту шести-пенсовую монету с дырочкой. Пожалуста, Ленни, береги ее: она принесет тебе счастье.

Разговаривая таким образом, они дошли до постоянного двора, где встречались три дороги и откуда дилижанс отпра-  
влялся прямо в казино. Не входя в покои, они, в ожида-  
нии дилижанса, сели на лужайке, под тению живой изгороди. Заметно было, что мистрисс Ферфильд упала духом, и что в душе её происходило сильное волнение, – вернее: сильная борьба с совестью. Она не только упрекала себя за безраз-  
судное посещение брата, но боялась вспомнить о своем по-  
койном муже. Что бы сказал он о ней, еслиб мог увидеть ее из пределов вечности?

– В этом поступке обнаруживается величайшее самолю-  
бие с моей стороны, повторяла она.

– Зачем говорить это! Разве мать не имеет права над сво-  
им сыном?

– Да, да, мой Ленни! воскликнула мистрисс Ферфильд. – Ты говоришь совершенную правду. Я люблю тебя, как сына, как родного сына. Но еслиб я не была тебе матерью, Ленни,

и поставила бы тебя в такое положение, что бы ты сказал мне тогда?

– Если бы вы не были мне матерью! повторил Леонард, засмеявшись и заключая свой смех поцалуем. – Не знаю, сумел ли бы я сказать вам и тогда чтонибудь другое, кроме того, что вы, которая вскормила меня, вырастила и взлелеяла, всегда имеете полное право на мой дом и мое сердце, где бы я ни находился.

– Господь над тобой, дитя мое! вскричала мистрисс Ферфильд, крепко прижимая Леонарда к сердцу. – Но здесь у меня, – здесь тяжелый камень, прибавила она, показывая на сердце и вставая с места.

В эту минуту показался дилижанс. Леонард побежал к нему на встречу – узнать, есть ли снаружи свободное место. Во время перемены лошадей происходила небольшая суматоха, среди которой мистрисс Ферфильд поднялась на самую вершину кареты. Разговор между вдовой и Леонардом касательно будущности совершению прекратился. Но в то время, когда дилижанс покатился по гладкому шоссе и когда мистрисс Ферфильд посылала рукой последний прощальный привет Леонарду, который стоял подле дороги и взорами провожал удалявшийся экипаж, мистрисс Ферфильд все еще продолжала произносить в полголоса: «здесь у меня, – здесь тяжелый камень!»

## Глава XLVI

Смело и твердо шел Леонард по большой дороге к великому городу. День был тихий и солнечный. С отдаленных гор, покрытых синеватым туманом, прилетал легкий прохладный ветерок. С каждой милей, которую проходил Леонард, его поступь становилась тверже и лицо его значительнее. О, какая радость, какое счастье для юноши находиться наедине с своими повседневными мечтами! Какую удивительную бодрость ощущает он в сознании собственных сил своих, даже и тогда, еслиб предстояло бороться с целым миром! Удаленный от холодной, оледеняющей все чувства счетной конторы, от влияния повелительной воли покровителя-эгоиста, без друзей, но поддерживаемый юношескою бодростью, молодой авантюрист чувствовал новое бытие. И вот перед этим-то человеком явился гений, так долго от него отстраняемый, – явился перед ним при первом дыхании злополучия, чтобы утешать... нет, впрочем! Этот человек не нуждался в утешении... явился воспламенять, одушевлять, приводить его в восторг. Если есть в мире создание, заслуживающее нашей зависти, то создание это не какойнибудь пресыщенный сластолюбец, не великий литератор или художник, уже увенчанный лавровым венком, которого листья столько же годятся для отравы, сколько и для украшения: совсем нет! это – юный ребенок, одаренный предприимчивым ду-

хом и беспредельною надеждой. Чем пустее кошелек этого юноши, тем богаче его сердце и обширнее владения, в которых витает его фантазия, в то время, как сам он гордо и смело подвигается к своей будущности.

Не ранее вечера наш авантюрист уменьшил свой шаг и начал помышлять об отдыхе и подкреплении сил. И вот перед ним, по обеим сторонам дороги, расстилаются обширные пространства незагороженной земли, которые в Англии часто обозначают близкое соседство деревни. Спустя несколько минут, перед ним открылись два коттеджа, потом небольшая ферма, с её дворами и амбарами. Еще немного дальше он увидел вывеску, качавшуюся перед постоялым двором, с некоторыми претензиями на городскую гостиницу, — двором, часто встречаемым на протяжении длинной станции между двумя большими городами и обыкновенно называемым «Переputьем». Впрочем, главное здание постоялого двора расположено было в некотором расстоянии от дороги. Перед ним расстилался зеленый луг, с огромным столетним буком по середине (к которому прикреплялась вывеска) и с летней беседкой сельской архитектуры, так что дилижансы, которые останавливались у этого постоялого двора, заранее сворачивали с дороги и подъезжали к нему сбоку. Между нашим пешеходом и постоялым двором стояла открытая для взора и одинокая приходская церковь. Предки наши никогда не выбирали для церкви открытого места; следовательно, эта церковь сооружена была новейшим поколением,

в новейшем готическом вкусе, прекрасная на глаз неопытный в атрибутах церковной архитектуры, – весьма непривлекательная для опытного взора. Так или иначе, но только церковь эта носила какой-то холодный, сырой вид. Она имела чересчур огромные размеры для разбросанного селения. В ней не было заметно тех принадлежностей, которые придают особенную, невыразимую, внушающую благоговение прелесть церквам, в которых несколько поколений, следовавших одно за другим, падали ниц и поклонялись. Леонард остановился и окинул здание не взором знатока в архитектуре, но взором поэта: оно не понравилось ему. В то время, как он рассматривал церковь, мимо него медленным шагом прошла девочка, отворила дверь, ведущую на кладбище, и исчезла. Леонард не успел заметить лица этой девочки; но в движениях её было столько невыразимой печали и невнимания ко всему окружающему, что сердце его было тронут. Что она делала там? Леонард тихонько подошел к невысокой ограде и устремил через нее внимательный взор.

На кладбище, подле свежей могилы, без всякого на ней памятника, девочка бросилась на землю и громко заплакала. Леонард отворил дверцы и тихо подошел к ней. Сквозь горькие рыдания он услышал несвязные выражения, напрасные, как и все человеческие скорби, изливаемые над могилой потерянного друга.

– Батюшка! неужели ты и в самом деле не слышишь ме-

ня?.. О, как я одинока.... как несчастна я!.. Возьми меня к себе.... возьми!

И лицо её скрылось в глубокой траве.

– Бедный ребенок! сказал Леонард, в полголоса. – Его нет здесь! обратись лучше к небу!

Несчастливая девочка не оказала Леонарду ни малейшего внимания. Одной рукой он нежно обнял стан её; девочка сделала жест, выражавший досаду и гнев, но при этом она не повернулась к нему лицом, а еще крепче прильнула к могиле.

После светлых, солнечных дней всегда обильнее выпадает роса; так точно и теперь, вместе с заходом солнца вся зелень окрестных полей подернулась синеватым паром, который, удаляясь к горизонту, поднимался слоем густого тумана. Леонард сел подле сироты и старался отвлечь ее от изливания горести и успокоить ее на своей груди; но она с негодованием оттолкнула его от себя и отвернулась. В глубине своей непорочной, поэтической души, он понимал всю скорбь несчастного ребенка и не хотел отстать от него, не сказав ему ни слова в утешение. Леонард встал. Наступило молчание.

Леонарду первому пришлось нарушить его.

– Пойдем вместе домой, дитя мое, и дорогой поговорим о нем.

– О нем! Да кто вы такой? Вы не знали его! сказала девочка, все еще с заметным гневом. – Уйдите отсюда.... зачем вы пристали ко мне? И, кажется, никому не делаю вреда. Уйди-

те... отстаньте от меня.

– Но ты себе делаешь вред, и это будет сокрушать *его*, если он увидит, вон оттуда. Пойдем домой, дитя мое!

Девочка взглянула на Леонарда сквозь слезы, и его лицо как будто смягчило её горечь и успокоило ее.

– Оставьте меня! сказала она, плачевным голосом, но уже без гнева. – Я пробуду здесь еще одну минуту. Мне так много еще нужно высказать.

Леонард оставил кладбище и за оградой начал дожидаться. Через несколько минут сирота также вышла оттуда, и когда Леонард хотел подойти к ней, она сделала знак, чтоб он не приближался, и почти бежала от него. Он следовал за ней в некотором расстоянии и увидел, что предмет его сострадания скрылся во внутренние пределы постоянного двора.

– Гип-гип-гип... ура!

Вот звуки, которыми встречен был наш молодой путешественник при входе в трактир, – звук радостный, выражающий веселье: но он отнюдь не согласовался с чувствами, которые ребенок, рыдая на могиле отца, испытывал в душе. Этот звук вылетал из внутренних покоев и сопровождался громким криком, топаньем ног и брянчаньем стаканов. Сильный табачный запах поражал обоняние Леонарда. Он остановился на минуту на пороге. Перед ним, на скамейках, под буком и внутри беседки, группировались мужчины атлетических форм: они пили и курили. Хозяйка дома, проходя по коридору в буфет, заметила Леонарда и тотчас подо-

шла к нему. Леонард все еще стоял в нерешимости. Он, может быть, пошел бы дальше, если бы не встреча с этой девочкой: она сильно заинтересовала его.

– У вас, кажется, очень много гостей, сказал он. – Могу ли я приютиться у вас на ночь?

– Почему же нельзя! мои;но, отвечала хозяйка, весьма учтиво: – на ночь я могу дать вам комнату, а до того времени решительно не знаю, куда вас поместить. Две комнаты, столовая и кухня битком набиты народом. В окрестностях происходила большая ярмарка рогатым скотом, и я полагаю, что у нас остановилось теперь до полу-сотни фермеров да столько же погонщиков.

– Не беспокойтесь, ма'м: я могу посидеть в комнатке, которую вам угодно будет отвести мне на ночь, и если не составит вам большего труда подать мне туда чаю, я был бы очень рад; впрочем, я могу подождать: для меня, пожалуйста, не беспокойтесь.

Хозяйка дома была тронута такой вежливостью, которой она не привыкла видеть от грубых, по большей части угрюмых посетителей.

– Вы говорите, сэр, так приятно и учтиво, что мы готовы сделать для вас все лучшее; только не будьте взыскательны. Пожалуйста сюда!

Леонард спустил с плеч чемоданчик, вступил в коридор, с некоторым затруднением пробрался сквозь толпу плечистых, в огромных сапогах или в кожаных штиблетах, гиган-



тов, которые беспрестанно входили и выходили из буфета, и пошел за хозяйкой, по лестнице, в маленькую спальню, в самом верху дома.

– Ужь извините, эта комната мала, сказала хозяйка, стараясь оправдаться перед Леонардом. – У нас есть и внизу комнаты, но они все заняты заблаговременно. Мы ждем четырех фермеров, которые приедут издалека. Впрочем, здесь вам будет покойнее: вы не услышите шума.

– Ничего не может быть лучше этой комнатки. Но позвольте, сударыня... извините меня – и Леонард, взглянув на платье хозяйки дома, заметил, что на ней и нитки не было траурной. – Маленькая девочка, которую я видел на кладбище, где она так горько плакала, скажите, она родственница ваша? Бедняжка! мне кажется, такой глубокой горести нельзя испытывать в её возрасте.

– Ах, сэр! отвечала хозяйка, прикладывая к глазам уголок передника. – Это очень печальная история. Я не знаю, что мне делать теперь. Отец её, проезжая в Лондон, захворал, остановился в нашем доме, и вот четыре дня, как мы похоронили его. У этой бедной девочки, по видимому, ни души нет родственников, – и куда она, бедняжка, пойдет теперь! Судья Джонс говорит, что мы должны отправить ее в Мэри-бонский приход, где отец её проживал в последнее время; но что же будет с ней тогда? Право, сердце так и обливается кровью, как только подумаешь об этом.

В эту минуту поднявшийся внизу ужасный крик ясно го-

ворил, что там завязалась сильная ссора. Хозяйка дома поспешила внести туда свое благодетельное влияние.

Леонард, задумавшись, сел подле окна. Здесь, под одной кровлей с ним, находилось такое же одинокое создание, как и он сам. Положение сироты было еще печальнее в сравнении с его положением. У неё не было непоколебимого сердца мужчины, чтоб бороться с судьбой своей, не было золотых рукописей, которые бы служили ей магическими словами к приобретению сокровище Алладина. Через несколько минут хозяйка дома снова явилась к Леонарду, с чайным прибором, и Леонард не замедлил начать свои расспросы.

– Так вы говорите, что у неё ни души нет родственников? сказал он. – Неужели и в Лондоне нет никого, кто бы приютил ее? Разве отец не сделал перед смертью никаких распоряжений?... Впрочем, может статься, он и не мог их сделать....

– Точно так, сэр. Он был в памяти до последней минуты. Когда я спросила его, нет ли у него чегонибудь на душе, он сказал, что есть. Я опять спросила его: «верно, что ли-нибудь насчет дочери?» Он отвечал мне: «да» и, Склонив голову на подушку, тихо заплакал. Я не могла более говорить с ним, не могла видеть эти тихия, но горячия слезы. Муж мой в этом отношении потверже меня: «полноте плакать, мистер Дигби – сказал он – не унывайте: грешно! Не лучше ли написать чтонибудь к вашим друзьям.

«– К друзьям – сказал джентльмен, таким тихим, печаль-

ным голосом – у меня один только друг, и к нему я скоро отойду! Мне нельзя взять ее с собой!» При этом слове он внезапно вспомнил о чем-то, велел подать свое платье и долго искал в карманах чьего-то адреса, но не мог найти его. По видимому, он был очень забывчивый джентльмен, и руки у него были такие неловкия, что из них все валялось. После этого он вздохнул. «Позвольте – сказал он – позвольте! я совсем забыл, что у меня не было его адреса. Все равно: потрудитесь написать к лорду Лес....» Он сказал что-то похожее на имя лорда Лестера, но никто из нас не расслышал этого имени. Он не мог кончить своих слов, потому что сильно закашлялся, и хотя через несколько минут он успокоился, узнавал всех нас и свою маленькую дочь, кротко улыбался нам до последней минуты, но говорить не мог ни слова.

– Несчастный человек, сказал Леонард, утирая глаза. – Но, вероятно, маленькая девочка помнит имя, которого не мог кончить её отец?

– О, нет. Она говорит, что, должно быть, отец её хотел назвать джентльмена, с которым они не задолго перед тем встретились в Парке, – который был очень внимателен к её отцу и действительно назывался лордом; но что имени его она не помнит, потому что всего только раз и видела его; отец же в последнее время вообще очень мало говорил с нею. По её словам, мистер Дигби надеялся отыскать добрых друзей в Скрюстоуне и потому вместе с ней отправился туда из Лондона. Она полагает, однако, что старик обманулся

в своих ожиданиях, потому что в тот же день отправился вместе с ней обратно в Лондон. На дороге он захворал и – умер. Постойте! что это такое? Я думаю, что она не может слышать нас. Мы говорим, кажется, очень тихо. её комната подле вашей, сэр. Мне послышалось, как будто она плачет. Слышите?

– её комната подле моей? Я ничего не слышу. С вашего позволения, сударыня, перед уходом отсюда, я поговорю с ней. Скажите, пожалуйста, осталось ли хоть скольконибудь денег у её отца?

– Какже, сэр, осталось несколько соверенов. Из них заплатили за похороны, но и затем осталось столько, что можно свезти маленькую девочку в Лондон. Муж мой человек равнодушный, сэр, однако, и тот жалеет бедную сиротку; а уж про себя я не хочу и говорить.

– Позвольте мне вашу руку, сударыня. Бог наградит за это и вас и вашего мужа.

– Благодарю вас покорно, сэр. Нам говорил то же самое и доктор Дозвелл, хотя и не так откровенно, как вы. «Не беспокойтесь о моем счете – говорил он – только, пожалуйста, в другой раз не поднимайте меня в шесть часов утра, не узнав сначала людей, к которым зовете.» А надобно признаться, сэр, я никогда не слышала, чтобы доктор Дозвелл отказался от счета. Он говорил, что это была шутка другого доктора, который хотел подсмеяться над ним.

– Какого же это другого доктора?

– Предобрейшего джентльмена, сэр. Он вышел из кате-  
ты вместе с мистером Дигби, когда тот захворал, и пробыл  
у больного до утра. Наш доктор говорит, что его зовут Мор-  
ганом, и что он живет в Лондоне, и не то, чтобы доктор,  
а называется как-то иначе – какое то длинное, не англий-  
ское название. Отъезжая, он оставил для маленькой девоч-  
ки крошечные-прекрошечные шарики и велел ей дать, когда  
она будет слишком много плакать; однакожь, они нисколько  
не помогли ей... да и согласитесь сами, могут ли помочь та-  
кие пустяки?

– Крошечные шарики! о, теперь я понимаю: это был го-  
меопат. И вы говорите, что этот доктор был очень внимате-  
телен к ним и добр; быть может, не согласится ли он помочь  
ей. Писали ли вы к нему?

– Да мы не знаем его адреса а ведь Лондон, вы сами знаете,  
большой городок.

– Я сам иду в Лондон и постараюсь отыскать этого чело-  
века.

– Ах, сэр, вы очень добры, и уж если ей нужно идти  
в Лондон... да и то сказать, что она станет делать здесь?  
для тяжелой работы она не годится... так я бы желала, чтоб  
она отправилась с вами.

– Со мной! сказал изумленный Леонард: – со мной! По-  
чему же нет! я очень буду рад.

– Я уверена, что она из хорошей фамилии, сэр. Еслиб  
мы видели её отца, так вы бы сказали, что это настоящий

джентльмен. Он умер так тихо и до последней минуты такой был учтивый, как будто ему совестно было, что он беспокоит нас: ужь можно сказать, что это был настоящий джентльмен. Да вот хоть бы и про вас сказать, сэръ: вы тоже не какойнибудь простой человек. Я умею отличать благородных людей, сказала хозяйка дома, приседая: – я знаю, что значит джентльмен. Я служила ключницей в лучших фамилиях здешнего округа, хотя не могу сказать, что служила в Лондоне. А так как благородные люди знают друг друга, то я несколько не сомневаюсь, что вы найдете её родственников.... Ах, Боже мой! опять за мной идут.

При этом на крыльце раздались призывные крики, и хозяйка поспешила уйти. Фермеры и погонщики начинали расходиться и дожидались расчета. В этот вечер Леонард больше уже не видел хозяйки дома. Раздалось последнее гип-гип... ура! Быть может, это был заключительный тост за здоровье провинциальных властей, и комната, находившаяся под комнатой Леонарда, огласилась громким криком. Мало но малу тишина сменяла невнятные звуки внизу. Телеги и кареты укатились, стук лошадиных копыт прекратился; слышен был только один глухой стук от железных запоров и задвижек, невнятный шум нескольких голосов в нижних комнатах да неровные шаги по лестницам, сопровождаемые икотой и глупым смехом – признаки, по которым можно было заключить, что провожали на покой какогонибудь побежденного поклонника Бахуса.

Наконец все замолкло, почти в то самое время, когда на церковной башне пробило одиннадцать.

Между тем Леонард рассматривал свои рукописи. Первая из них заключала проэкт об улучшении паровых машин, – проэкт, зрело обдуманый, и которому начало было положено вместе с первыми познаниями о механике, почерпнутыми из маленьких брошюрок, купленных у странствующего медника. Он отложил его в сторону. Чтобы вполне рассмотреть этот проэкт, требовалось особенное напряжение рассудка – усиленное напряжение. Не так быстро пробежал он собрание статей по различным предметам. Некоторые из них, по его мнению, не заслуживали особенного внимания, другие он считал довольно интересными и хорошо выполненными. Наконец Леонард остановился над собранием стихов, написанных лучшим его почерком, – стихов, написанных под влиянием первого вдохновения, пробужденного в душе его чтением грустных воспоминаний Норы. Эти стихи служили собранием ощущений его сердца и мечтаний, той глубокой, никем неподмеченной борьбы, которую юность, одаренная чувствительной и восприимчивой душой, переносит при медленном, едва заметном переходе в мужество, хотя редко кто из юношей решается передавать этот замечательный кризис. И эта первая, слабая, неопытная, неправильная борьба с убегающими воздушными призраками, которые наполняют темные палаты юношеского ума, становилась с каждым новым усилием действительнее и могучее, так что призраки исче-

зали наконец или останавливались под обаянием здравого рассудка, теряли свою невещественность и принимали видимые, доступные для осязания формы. Взглянув на это последнее свое усилие, Леонард чувствовал, что наконец в нем все предвещало великого поэта. Это было творение, хотя вполнину еще неконченное, но вышедшее из под твердой руки; оно уже не было похоже на тень, дрожащую и принимающую уродливые формы на зыблющейся поверхности вод, на тень, которая служит одним только тусклым отражением и подражанием какого нибудь светлого ума: нет! это было творение оригинальное, создание творческого ума, проникнутое дыханием той жизни, от которой оно получило свое существование. Во время пребывания Леопарда в доме мистера Эвенеля, творение это остановилось и если получало легкое движение вперед, то это случалось очень редко, и то украдкой, по ночам. В эту минуту Леонард пробежал его свежим взором и с тем странным, невинным восхищением, вовсе непроистекающим из эгоистического чувства, понятным одним только поэтам, – восхищением, которое составляет для них чистый, искренний восторг и часто служит им единственной наградой. И за тем, с более горячим и более земным биением сердца, он, на крыльях послушной мечты, упосился в великий город, где все притоки славы встречаются не для того, чтобы иссякнуть и исчезнуть, но чтобы сноваделиться и с новыми силами, с громкими названиями протекать по обширному пространству, называемому



*светом.*

Леонард свернул свои бумаги и открыл окно, что, по обыкновению, делал он перед отпращиванием ко сну. Надобно заметить, что Леонард имел привычку смотреть на небо во время молитвы. Его душа, по видимому, покидала на время свою земную оболочку, витала по воздуху, с быстротой молнии уносилась в пределы недосягаемых миров – к престолу Предвечного, – между тем как дыхание его смешивалось с дыханием ветра, и его взоры останавливались на звездах, мириадами рассеянных по темно голубому небу.

Так точно и теперь молился одинокий юноша; и, намереваясь, по окончании молитвы, закрыть окно, он ясно услышал вблизи тихое рыдание. Леонард остановился притаил дыхание, потом выглянул из окна; ближайшее к нему окно было также открыто. Кто-то смотрел из него и, быть может, подобно ему, также молился. Еще внимательнее он начал вслушиваться, и до него долетели нежные, тихия слова:

– Батюшка! батюшка!.. теперь все тихо здесь!.. Слышишь ли ты меня *в эту минуту?*

Леонард отпер свою дверь и тихо приблизился к двери, ведущей в соседнюю комнату: его первым и весьма натуральным побуждением было – войти туда и принести с собой утешение. Но едва только рука его коснулась ручки замка, как он быстро отдернул ее. Хотя ребенок и находился под влиянием глубокой горести, но тем священнее должна быть скорбь его, в его беззащитном положении. Что-

то особенное – в своем юношеском неведении, он не знал, что именно – удаляло его от порога. Переступить через него в эту минуту казалось ему преступлением. Поэтому он ворочился в свою комнату; в течение нескольких часов рыдания все еще долетали до его слуха, наконец замолкли, и беспечная юность покорилась могущественному обаянию сна.

На другое утро, услышав движение в соседней комнате, Леонард тихо постучался в дверь. Ответа не было; но Леонард решился войти. Вчерашняя печальная незнакомка сидела на стуле по середине комнаты; её руки свисли на колени, её взоры без всякого выражения устремлены были на пол. Леонард подошел к ней и начал говорить.

Гэлен находилась в сильном унынии и оставалась безмолвною. её слезы, по видимому, иссякли; и прошло несколько минут прежде, чем она заметила присутствие Леонарда. Наконец он успел обратить на себя её внимание, и первыми признаками этого успеха были движение её губ и выступившие на глазах крупные слезы.

Мало по малу он вкрался наконец в её доверчивость: печальная история была рассказана. Кроме горького одиночества сироты, Леонард всего более был тронут тем, что она, по видимому, не понимала, не чувствовала своего беззащитного положения. Она оплакивала человека, которого нянчила, лелеяла, наблюдала за каждым шагом которого; для покойного отца своего она скорее была защитница, чем слабое создание, требующее защиты. Касательно друзей и бу-

дущих видов Леонард не узнал от неё более того, что было рассказано хозяйкой дома; впрочем, она позволила ему пересмотреть некоторые вещи, оставшиеся после отца. Между ними находилось множество очищенных векселей на имя капитана Дигби, старые, пожелтевшие от времени лоскутки нот для флейты, выписки ролей из тетради суфлёра, комические роли из водевилей, в которых герои так благородно обнаруживают презрение к деньгам; вместе с этими бумагами находилось несколько билетов на заложенные вещи и два три письма, не сложенные гладко, но измятые и скомканные, как будто они вложены были туда дряхлыми, слабыми руками, дрожавшими от сильного негодования. В надежде, что эти письма наведут его на следы родственников сироты, Леонард попросил позволения прочитать их. Гэлен согласилась молча, одним лишь наклоном головы. Оказалось, что письма эти были не иное что, как коротенькие, холодные ответы, по видимому, дальних родственников или прежних друзей, к которым покойный обращался о предоставлении ему какогонибудь занятия. Содержание этих писем и тон, в котором они были написаны, произвели в душе Леонарда уныние. Ни один из документов, оставленных мистером Дигби, не сообщал никаких сведений о родственниках или дружеских связях покойного. Леонарду оставалось только пробудить в памяти Гэлен имя нобльмена, которое было произнесено её отцом в последние минуты его жизни; но и тут оказалась неудача. Надобно заметить, что лорд л'Эстрендж, пред-

лагая мистеру Дигби принять от него небольшую сумму денег и, впоследствии, обращаться к нему в дом мистера Эджертона, по весьма естественной деликатности, удалил от себя невинную дочь старого воина, с тем, чтобы она не имела даже и малейшего подозрения насчет милостыни, поданной её отцу. Кроме того Гэлен говорила правду, что мистер Дигби в последнее время не говорил ни слова о своих делах. Быть может, она и расслышала имя лорда, произнесенное отцом перед самой кончиной, но не считала за нужное сохранить его в памяти. Все, что она могла сообщить Леонарду, заключалось в том, что, при встрече, она узнала бы этого джентльмена и его прекрасную собаку. Заметив, что дитя совершенно успокоилось, Леонард собрался оставить комнату, с тем, чтобы переговорить с хозяйкой дома; но едва только сделал он первое движение, как Гэлен встала и тихо взяла его за руку. Она не сказала ни слова: её движение красноречиво говорило за нее.

– Сирота, сказал Леонард, наклоняясь над ней и цалуя ее в щоку: – согласишься ли ты идти со мной?... У нас обоих один отец. Он будет руководить вами на земле. Я такой же сирота, как и ты: у меня тоже нет отца.

Гэлен устремила на Леонарда свои взоры, долго глядела на него и потом доверчиво склонила голову на сильное плечо ноши.

## Глава XLVII

В тот же день, около полудня, Леонард и Гэлен находились на дороге в Лондон. Содержатель гостиницы долю колебался отдать Гэлен на попечение юноши; но Леонард, в своем счастливом неведении, с такою самоуверенностью доказывал, что непременно отыщет этого лорда, и если нет, то доставит несчастной сироте и приют и защиту, – с такою гордостью и, вместе с тем, с таким чистосердечием говорил он о своих блестящих надеждах, которым суждено осуществиться в столице, – что будь он самый хитрый обманщик, то лучше этого и тогда не удалось бы ему убедить деревенского трактирщика. Между тем хозяйка дома все еще лелеяла обманчивую мечту, что все джентльмены должны узнавать друг друга по одному только взгляду, как это ведется в провинциях, так что трактирщик, сообразив все обстоятельства дела, убедился наконец, что молодой человек хотя и отправлялся в Лондон пешком, но зато он так респектабельно одет, говорит таким уверенным тоном и так охотно принимает на себя довольно тяжелую обязанность заботиться о сироте, – обязанность, от которой он сам не знал, как бы отделаться, – что, вероятно, он имеет друзей в столице постарше его и поумнее, которые непременно найдут средства пристроить сироту.

Да и то сказать: что бы стал с ней делать трактирщик?

Она связывала его по рукам и ногам. Гораздо лучше согласиться на это добровольное отсутствие её, чем пересылать ее от одного прихода к другому и, наконец, без всякой защиты оставить ее на улицах Лоудона. С другой стороны, и сама Гэлен в первый раз улыбнулась, когда спрашивали её желания, и она снова взяла Леонарда за руку. Короче сказать, дело было решено по желанию молодых людей.

Гэлен собрала небольшой узелок из вещей, которые она всего более ценила или считала необходимыми. Леопард, уложив их в свой чемоданчик, не чувствовал в нем прибавочной тяжести. Остальной багаж поручено доставить в Лондон, по первому письму Леонарда, присылкою которого он обещал не замедлить.

На предстоящую дорогу в Лондон требовалось несколько дней. В течение этого времени Леонард и Гэлен успели сблизиться, так что еще к концу второго дня они уже называли друг друга братом и сестрой. Леонард, к особенному своему удовольствию, заметил, что, вместе с движением и переменю сцены, глубокая горесть Гэлен, под влиянием новых впечатлений, уступала место тихой грусти. Леонард заметил в ней пронизательный ум и, не по летам, быстроту соображений. Бедное дитя! эти способности развиты были в ней необходимостью! В свою очередь, и Гэлен очень хорошо понимала Леопарда в его утешениях, в половину поэтических, в половину религиозных. Внимательно и с участием выслушала она его личную историю – его одинокую борьбу в стремлении

к познаниям; она и это понимала в нем. Но когда Леонард увлекался своим энтузиазмом, своими светлыми надеждами, своею уверенностью в блестящую участь, которая ожидала его, Гэлен спокойно и печально качала своей маленькой головкой. Неужели она и это понимала? – Увы! она понимала, быть может, слишком хорошо. Она гораздо более его знала все, что касалось действительной жизни. Но, несмотря на то, Леонард и Гэлен как нельзя более были счастливы. Скучная дорога к грозным Фермопилам казалась для них цветущей Аркадией.

– Будем ли мы также счастливы, когда сделаемся людьми *великими*? говорил Леонард, в простоте души своей.

Гэлен вздохнула и снова покачала своей умной маленькой головкой.

Наконец мечтатели наши приблизились к Лондону на несколько миль. Но Леонард не хотел войти в столицу утомленным, изнемогающим от усталости, как скиталец, ищущий приюта, – он хотел казаться свежим и ликующим, как входит победитель, чтобы принять во владение завоеванный город и несметные богатства. Вследствие этого, накануне дня, в который должно было совершиться торжественное вшествие, они остановились, рано вечером, около шести миль от столицы, в ближайшем соседстве с небольшим местечком Илинг. Войдя на постоялый двор, они не чувствовали ни малейшей усталости. Погода была необыкновенно приятная. Воздух, проникнутый запахом полевых цветов,

был недвижим; чистое, ясное небо было прозрачно; зеленеющая окрестность как будто дремала. Это был один из тех настоящих летних дней Англии, которых едва ли можно насчитать до шести в течение года, — дней, о которых остались у нас неясные воспоминания с тех пор, когда, расположившись под тению столетнего дуба и любуясь оленями в Арденских долинах, мы созерцали пленительные картины природы, представленные нам в романах Вальтер-Скотта или в поэмах Спенсера. После непродолжительного отдыха на постоялом дворе, путешественники вышли, не для окончания своей дороги, но для прогулки. Солнце приближалось к горизонту; вечерняя прохлада заменяла тяжелый зной. Проходя по полянам, некогда принадлежавшим герцогу кентскому, и останавливаясь изредка полюбоваться кустарниками и лугами этого прекрасного имения, представлявшимися взору их за решетчатой оградой, они очутились наконец на берегу небольшой речки, называемой Brenta. В этот день Гэлен была печальнее обыкновенного, — быть может, потому, что с приближением к Лондону воспоминания об отце становились живее, а может быть, вследствие её раннего познания жизни или предчувствий о том, что впереди ожидали их не радости, а тяжелые испытания. Напротив того, Леонард как нельзя более был доволен; он занимался в тот день исключительно самим собою: печаль его подруги не имела на него никакого влияния. Он был весь проникнут сознанием своею бытия; он уже успел вдохнуть из атмосферы ту ли-



хорадку, которая исключительно принадлежит шумным столицам.

– Присядь здесь, сестра, сказал он, повелительным тоном, бросаясь под тень густого дерева, нависшего над извивающимся источником: – присядь и поговорим о чём-нибудь.

Вместе с этим он снял свою шляпу, откинул назад волнистые кудри, плеснул на лицо несколько пригоршней воды из холодного ручья, который крутился около обнаженных корней дерева, сетью выступавших из берега и исчезающих в воде.

Гэлен спокойно повиновалась ему и села подле него.

– Так ты говоришь, что Лондон велик? и даже очень велик? сказал Леонард, бросая на Гэлен вопросительный взгляд.

– Очень велик, отвечала Гэлен, беспечно срывая ближайшие к ней полевые цветки и бросая их в речку. – Взгляни, как быстро уносятся эти цветки! Вот уже их и нет: они погибли навсегда. Лондон, в отношении к нам, то же самое, что эта река к брошенным цветам – огромный в своих размерах, сильный... жестокий! прибавила Гэлен, после минутного молчания.

– Жестокий!.. Да, может быть, он был жестоким прежде и только для тебя; но теперь!.. теперь я буду заботиться о тебе!

И на лице Леонарда показалась самодовольная, торжественная улыбка. Надобно заметить, что Леонард удивитель-

но изменился с тех пор, как оставил своего дядю: он сделался в одно и то же время и моложе и старше. Сознание своего достоинства, своего гения делает нас и старше и умнее в отношении к миру, к которому гений парит, моложе и слепее — к миру, который он покидает.

— Неужели же в этом городе, по крайней мере хоть в его наружности, ничего нет хорошего?

— Сколько я знаю его, так это самый безобразный город, отвечала Гэлен, с горячностью.

— Но, вероятно, в нем есть части, которые лучше, красивее других? Ты сама говорила, что там есть парки: почему бы, например, не нанять нам квартиры вблизи этих парков, чтобы любоваться зелеными деревьями?

— Конечно, это было бы очень мило, отвечала Гэлен, необыкновенно живо и радостно:— но... и при этом она печально покачала головкой:— для нас тут не может быть квартиры: мы должны поселиться гденибудь внутри мрачного двора или в глухом переулке.

— Это почему?

— Почему? повторила Гэлен и подняла кверху кошелек.

— Вечно этот ужасный кошелек! Разве мы не затем идем в Лондон, чтобы наполнить его? Кажется, я рассказывал тебе маленькую историю о фортуне? Впрочем, шутки в сторону! первым делом нам нужно отправиться в те части Лондона, где вы жили в последнее время, и узнать все, что только возможно; после завтра я увижусь с доктором Морганом, оты-

щу лорда....

На томных глазах Гэлен выступили слезы.

– Леонард, неужели ты скоро оставишь меня?

– При тебе я был так счастлив! Казалось, я тосковал о тебе целую жизнь, и наконец ты явилась. У меня не было ни брата, ни сестры, – словом сказать, ни души одних со мной лет, кого бы мог а полюбить, никого, кроме...

– Кроме молоденькой лэди, о которой ты сказывал, подхватила Гэлен, повертывая в сторону свое личико: дети всегда бывают очень ревнивы.

– Да, я любил ее, люблю и теперь. Но это чувство совсем не похоже на то, которое я испытываю теперь, сказал Леонард, покрасневшись. – Я никогда не мог говорить с ней так откровенно, как с тобой. Тебе я открываю мою душу: ты, Гэлен, моя маленькая муза. Я сообщаю тебе все чувства мои, все мои фантазии так непринужденно, как будто пишу в это время стихи.

При этих словах, слышались чьи-то шаги, и на светлую поверхность ручья упала тень человека. На самой окраине берега показался запоздалый рыболов: с величайшей досадой он тащил по воде свою удочку, как будто стараясь поддеть на крючок дремлющую рыбку, прежде чем она окончательно расположится на ночной покой. Углубленный в свое занятие и вовсе не замечая молодых людей под деревом, рыболов остановился чрезвычайно близко от них.

– Проклятый окунь! сказал он, весьма громко.

– Осторожней, сэр! вскричал Леонард: – потому что рыбак, сделав шаг назад, чуть-чуть не наступил на Гэлен.

Рыболов повернулся.

– Что это значит? Тс! Вы испугали моего окуня. Пожалуйста, молчите.

Гэлен тихонько отодвинулась. Леонард оставался неподвижен. Он вспомнил Джакеймо и почувствовал к рыболову сострадание.

– Удивительный этот окунь, – право, удивительный! ворчал про себя незнакомец. – У него удивительное счастье! Верно, этот негодный окунь родился с серебряной ложечкой во рту! Мне никогда не поймать его, – решительно никогда! А! вот он, стой, стой! нет! трава. Кончено, не хочу больше ловить.

Вместе с этим он выдернул лёсу и с заметной досадой начал разбирать свою уду. Занимаясь этим свободно, он обернулся к Леонарду.

– Гм! так вот как! а хорошо ли вы знакомы с этой речкой, сэр?

– Нет, отвечал Леонард. – Я в первый раз ее вижу.

– В таком случае, примите мой совет, сказал рыболов, торжественным тоном: – никогда не поддавайтесь чарующим прелестям этой речки. В отношении к ней я настоящий мученик: она Далила моего существования.

– Далила! вы говорите, Далила! возразил Леонард, весьма заинтересованный: ему показалось, что в последних словах

незнакомца заключалась поэтическая мысль.

– Да, милостивый государь, я сказал: Далила. Выслушайте меня, молодой человек; пусть пример мой послужит вам предостережением. Вот как раз в ваши лета, я впервые пришел на эту речку удить. В этот роковой день, около трех часов пополудни, я поймал рыбу, и преогромную – весом по крайней мере фунта полтора. . . . поверите ли, сэръ? вот какой длины (и рыбак приложил палец к сгибу локтя). Когда я вытянул ее на берег, почти к самому тому месту, где вы сидите теперь, вот на самый этот откос, вдруг лёса моя лопнула, и этот демон, а не рыба, сделал прыжок, другой, забрался вот в эти коренья, еще сделал прыжок и юркнул в воду, и с крючком и с остатком лёсы. Ну ужь, признаюсь вам, такой рыбины я никогда не видывал. Попадались мне на Темзе и миноги, ипискари, и плотва; но такой рыбы – такого *окуня*, с распущенными перьями, как парус на военном корабле, – такого чудовищного окуня, словом сказать, кита-окуня, никогда, никогда не вытаскивал! До той поры я не смел подозревать, чтобы в наших маленьких речках скрывались такие левиофаны. Я не мог спать целую ночь, на другой день рано пришел на это место и, как бы вы думали, снова поймал того же окуня. На этот раз я вытащил его из воды, – и, можете вообразить, он опять ушел; только как он ушел, если бы вы знали! вздумал оставить левый глаз на крючке. . . . а? как вам это покажется? Голы, долгие годы, прошли с тех пор; по никогда, никогда не забуду; агонии той минуты. . . .

– Агонии, которую испытывал окунь?

– Окунь! вы думаете, что он испытывал агонию! Он наслаждался ею: а я... нет! не найти слов выразить мое мучение... Я взглянул на окуневый глаз, а глаз этот смотрел на меня так лукаво, с такой злобной радостью, как будто он смеялся мне прямо в лицо. Ничего – сам себе думаю – я слышал, что нет лучше приманки для окуня, как окуневый глаз. Вот, знаете, я и насадил этот глаз на крючок и тихонько забросил удочку. Вода на этот раз была необыкновенно прозрачна; и через две минуты я увидел, как окунь начал подходить. Он приблизился к крючку: узнал свой глаз, замахал хвостом, сделал прыжок и как живой человек, уверяю вас, унес свой глаз, не коснувшись крючка. Я видел потом, как он остановился, вон подле той водяной лилии, переваривать свою добычу. Злобный демон! С тех пор семь раз в течение разнообразной и полной событиями жизни ловил я этого окуня, и семь раз этот окунь срывался.

– Не может быть, чтоб это был тот же самый окунь, заметил Леоцард, крайне изумленный. Окунь очень нежная рыба: проглотить крючок, лишиться глаза! да этого никакой окунь не перенесет, как бы он ни был велик.

– Да, это хоть кому так покажется сверхъестественным, сказал рыболов, с заметным страхом. – Но смею уверить вас, сэръ, что это именно был один и тот же окунь, потому что во всей это речке не найдешь кроме его ни *единого окуня!* В течение многих лет, что я удил здесь, мне не попада-

лось другого окуня; и, кроме того, этого одинокого обитателя влажной стихии я узнаю с первого взгляда и помню его гораздо лучше, чем моего покойного родителя. Каждый раз, что я вытаскивал его из воды, его профиль всегда обращался ко мне, и я с ужасом усматривал, что у него был только *один глаз!* Этот окунь, в моих глазах, какой-то загадочный, демонский феномен! Он послужил гибелью моим видам на блестящую будущность. Мне предлагали прекрасное место в Ямайке, и я не мог отправиться туда, оставив этого окуня торжествовать. Впоследствии я бы мог получить назначение в Индию, но мне не хотелось, чтобы Океан разделял меня и этого окуня. Таким образом, я влачил дни мои в этой пагубной столице моего отечества. Раз в неделю, начиная с февраля и кончая ноябрем, я постоянно являлся сюда. Праведное небо! еслиб только мог я поймать этого окуня, то цель моего существования была бы достигнута.

Леонард с любопытством осматривал рыболова, в то время, как последний так печально заключил свою исповедь. Прекрасный оборот периодов рассказчика вовсе не согласовался с его костюмом. Платье его было заметно поношено, а в некоторых местах проглядывали лохмотья, но лохмотья, ни сколько не унижающие достоинства оратора. Тонкие и несколько обращенные кверху углы губ обнаруживали в нем юмор; его руки хотя и не были совершенно чисты – впрочем, при его занятии, невозможно быть слишком выскательным – все же можно было заключить, что они не зна-

ли черной работы. Его лицо было бледное и одутловатое, но кончик носа отличался краснотой. Казалось, что влажная стихия не так коротко была знакома ему, как его Далиле-окуню.

– Такова наша жизнь! снова начал рыболов, собрав все свои орудия в парусинный чехол. – Еслиб человек знал, что значит удить рыбу в течение всей своей жизни в маленькой речке, где всего на всего один только окунь! девять раз в течение всей жизни подхватывать этого окуня на крючок – и девять раз видеть, как он с крючка ныряет в воду, – еслиб человек знал, что значит подобная охота, тогда.... тогда...

При этом рыболов обернулся и пристально взглянул в лицо Леонарда.

– Тогда, молодой мой сэр, человек узнал бы весьма легко, что такое жизнь человеческая в отношении к пустому тщеславию.... Добрый вечер, молодой человек!

И он удалился, затапывая по дороге маргаритки и незабудки.

Гэлен внимательным взором провожала его.

– Какой странный человек! сказал Леонард, засмеявшись.

– Мне кажется, что он очень умный человек, возразила Гэлен.

И она еще ближе придвинулась к Леонарду, взяла его руку в свои обе руки, как будто она чувствовала, что он уже нуждался в утешении: его лёса порвалась, и окунь пропал!



## Глава XLVII

На другой день, около полудня, сквозь мрачную, густую, душливую атмосферу, путешественникам начал показываться Лондон. Нельзя при этом случае употребить выражение, что Лондон поразил их взоры: нет! он показывался им по частичкам, по мере того, как они приближались к нему, по самой пленительной дороге, сначала мимо великолепных садов Кенингтона, потом по окраине Гайд-Парка и так далее до Кумберландских ворот.

Открывающийся Лондон не поражал Леонарда. Вблизи Эджверской дороги, Гэлен взяла своего нового брата за руку и сделалась его провожатой. Она в подробности знала эти окрестности и без всякого затруднения могла отыскать квартиру, когда-то занимаемую её отцом, где они, за весьма сходную цену, могли бы приютиться.

В это время небо, пасмурное и подернутое тучами с самого утра, обратилось, по видимому, в одну массу черного облака и разразилось вскоре проливным дождем. Леонард и Гэлен укрылись под закрытыми стойлами, в улице, примыкавшей к Эджверской дороге. Этот приют сделался общим и в несколько секунд был наполнен народом. Молодые путники, в стороне от прочих, прислонились к стене, Леонард одной рукой обнимал стан Гэлен и прикрывал ее от дождя, заносимого в стойла сильными порывами ветра. Внезапно

молодой джентльмен, прекрасной наружности и лучше одетый, чем другие, вошел под навес, не торопясь, но медленно и гордой поступью, как будто он считал неприличным взбежать в это прикрытие, хотя в душе радовался ему. Надменным взором окинул он столпившуюся группу, прошел по самой середине её, остановился вблизи Леонарда, снял шляпу и стряхнул с полей её капли дождя. Открытая таким образом голова обнаруживала все черты его лица, и деревенский юноша с первого взгляда узнал своего торжествующего победителя на Гэзельденском лугу.

Рандаль Лесли заметно изменился. Его смуглые щоки были так же сухи, как и в детские годы, и даже еще более впали, вследствие усиленных занятий и ночных бдений; но его лицо было в то же время приятно и мужественно. В больших глазах его отражался спокойный, сосредоточенный свет, подобный тому, который усматривается в глазах человека, сделавшего привычку устремлять все свои мысли на один предмет. Он казался старше прежнего. Одет он был просто, в черное платье – цвет, который, как нельзя более шел к нему. Вообще, вся наружность его, вся фигура хотя и не бросались в глаза, но были замечательны. Для обыкновенного взгляда он казался джентльменом, для более наблюдательного – студентом.

Но вдруг в толпе делается страшная суматоха, народ то давит друг друга, то рассыпается в стороны, стремится к противоположному концу сарая и останавливается у глухой сте-

ны. Под навес примчала лошадь. Наездник, молодой человек прекрасной наружности, одет был с той особенной изысканностью, которую мы, обыкновенно, называем дэндиизмом.

– Ради Бога, не беспокойтесь! вскричал он, весьма простодушно: – моя лошадь смирная. Прошу у вас тысячу извинений.

Наездник погладил свою лошадь, которая, как статуя, стояла в самом центре сарая.

Группы успокоились; Рандаль подошел к наезднику.

– Франк Гэзельден!

– Ах! неужели я вижу Рандаля Лесли!

Франк в один момент спрыгнул с лошади и передал уздечку долговязому мастеровому, с огромным узлом под мышкой.

– Как рад я видеть тебя, дорогой мой товарищ! Какое счастье, что я завернул сюда, хотя скрываться от дождя вовсе не в моем характере. – Ну что, Рандаль, живешь в городе?

– Да, в доме твоего дяди, мистера Эджертона. Ты знаешь, ведь я оставил университет.

– Совсем?

– Совсем.

– Однако, ты не получил еще степени. Мы, итонцы, убеждены были, что ты не остановишься на этом. Если бы ты знал, как восхищались мы твоей славой: ведь все призы достались тебе.

– Не все, но большая часть из них, – это правда. Мистер

Эджертон предоставил на мой выбор: оставаться в университете до получения степени или немедленно вступить в Министерство Иностранных Дел. Я выбрал последнее. Согласись, к чему служат все эти академические почести, если только не к одному вступлению в свет? Вступить теперь, по моему мнению, значит сократить длинную дорогу.

– Да, да, мне помнится, ты всегда был честолюбив, и я уверен, ты сделаешь большие успехи на новом поприще; ты выйдешь современем замечательным человеком.

– Быть может, быть может; стоит только потрудиться. Знание есть сила.

Леонард вздрогнул.

– Какого рода твои планы? начал в свою очередь Рандаль, с любопытством осматривая школьного товарища. – Я помню, ты никогда не имел расположения к Оксфордскому университету, и не так давно еще слышал, что ты хочешь поступить в военную службу.

– Я уже в гвардии, сказал Франк, стараясь при этом признании не обнаружить своего ребяческого тщеславия. – Отец мой поворчал немного: ему сильно хотелось, чтобы я поселился в деревне и занялся сельским хозяйством. Но для этого впереди еще есть много времени, – не так ли? Клянусь Юпитером, Рандаль, а лондонскую жизнь невозможно променять на деревенскую!.. Где ты проводишь вечер сегодня? не поедешь ли на бал в Собрание?

– Нет. Серeda – это праздник в Парламенте. Сегодня

большой парламентский обед у мистера Эджертона. Ты знаешь, что он недавно сделан членом Государственного Совета. Впрочем, может быть, для тебя это новость, потому что ты так редко навещаешь своего дядю.

– Наши общества совершенно различны, сказал молодой джентльмен, таким тоном, которому позавидовал бы самый отъявленный дэнди. – Все эти парламентские члены чрезвычайно как скучны. . . . Однако, дождь перестал. . . . Не знаю, приятно ли будет моему отцу, если я заеду к нему на Гросвенор-Сквэр. Сделай милость, Рандаль, приезжай ко мне; чтоб не забыть, так потрудись взять эту карточку. Да смотри, Рандаль, ты должен обедать у нас за общим столом. Ты увидишь, какие чудные товарищи в нашем полку. Какой же день ты думаешь назначить?

– На днях я побываю у тебя и скажу. . . . Как ты находишь службу в гвардии, не дорога ли она по твоему состоянию? Мне помнится, ты часто жаловался на своего отца, за то, что он сердился, когда ты просил высылать тебе карманных денег больше того, что высылалось. Я еще не забыл твоих горьких слез, когда мистер Гэзельден, прислав тебе пять фунтов, напомнил, что он еще не сделал тебя наследником своего имени, что оно находится еще в полном его распоряжении, и что такой расточительный сын ни под каким видом не должен быть его наследником. Согласись, Франк, ведь это слишком неприятная угроза.

– О! в этом случае, вскричал Франк, сильно покраснев-

шись: – меня не столько огорчала подобная угроза, сколько мысль о том, что отец мой до такой степени неблагородно думал обо мне, что.... что.... Впрочем, ведь то были еще школьные, ребяческие времена. – Отец мой, надобно сказать правду, всегда был гораздо великодушнее и щедрее, чем я заслуживал.... Так я надеюсь, Рандаль, что мы почаще будем, видеться. Как добр ты был ко мне, выкупая меня в Итоне из всех моих ученических прегрешений! я никогда не забуду этого. Приезжай же, как можно скорее.

Франк вскочил на седло и наградил долговязого юношу полу-кроной – награда вчетверо более той, какую отец его счел бы весьма достаточною. Он слегка дернул за повод, слегка коснулся лошади шпорами, и горячий скакун умчал беспечно молодого наездника. Рандаль задумался. Дождь теперь совершенно прекратился, и пешеходы рассеялись по разным направлениям. Под навесом остались одни только Рандаль, Леонард и Гэлен. Спустя немного, углубленный в свои думы, Рандаль приподнял глаза, и они остановились прямо на лице Леонарда. Рандаль вздрогнул, быстро провел руки по лицу и снова бросил на Леонарда пристальный и пронизательный взгляд. Быстрая перемена на бледном лице его, сделавшемся в этот момент еще бледнее, быстрое сжатие и нервический трепет губ обнаруживали, что и он узнал своего старинного врага. После этого взгляд Рандаля перешел на одежду Леонарда, которая хотя и была покрыта слоями пыли, прибитой в некоторых местах крупными кап-

лями дождя, но далеко отличалась от одежды, употребляемой крестьянами. Рандаль, еще раз взглянув на Леонарда с изумлением и в некоторой степени с надменной, полу-презрительной улыбкой, – улыбкой, которая кольнула Леонарда прямо в сердце, медленно вышел на улицу и направил свой путь к Гросвенор-Сквэру.

Вслед за тем маленькая девочка снова взяла Леонарда под руку и повела его по узким, мрачным, унылым улицам. Это шествие изображало, в некотором роде, олицетворенную аллегорию: печальный, безмолвный ребенок вел под руку гениального, но неимеющего ни гроша денег путника, мимо грязных лавок, по извилистым переулкам, становившимся в отдаленном конце перспективы и мрачнее и сжатее, так что обе фигуры совершенно исчезали из виду.

# Часть пятая

## Глава XLIX

– Сделай милость, поедем. Перемени платье, приезжай опять сюда, и мы вместе отобедаем: времени еще довольно, Гарлей. Ты встретишь там замечательнейших людей из нашей партии. Поверь, что они заслуживают твоих наблюдений, заслуживают того, чтобы обратить на них внимание философа, каким ты хочешь казаться.

Так говорил Одлей Эджертон лорду л'Эстренджу, с которым они только что кончили прогулку верхом, – само собою разумеется, после парламентских занятий мистера Эджертона. Оба джентльмена находились в библиотеке Одлея. Мистер Эджертон, по обыкновению, застегнутый на все пуговицы, сидел, в своем кресле, в вытянутой позе человека, презирающего «позорную негу». Гарлей, по обыкновению, лежал на диване. Его длинные кудри рассыпались по подушке; шейный платок его был распушен, платье расстегнуто. В нем обнаруживалась во всем и ко всему небрежность; но в этой небрежности не замечалось ни малейшего неприличия, – напротив того, много было грации, непринужденной везде и при всех, даже с мистером Одлеем Эджертоном, в присутствии которого непринужденность весьма многих людей,



можно сказать, оледенялась, цепенела.

– Нет, мой добрый Одлей, извини меня. Все ваши замечательнейшие люди заняты одной идеей, и идеей весьма незанимательной. Политика, политика и политика! это, по-моему мнению, все равно, что буря в полоскательной чашке.

– Но скажи на милость, Гарлей, что же такое твоя собственная жизнь? полоскательная чашка без бури? не так ли?

– Знаешь ли, Одлей, ведь ты выразился прекрасно. Я никак не подозревал в тебе такой быстроты возражений. Ты хочешь знать, что такое жизнь, то есть моя жизнь! о, это самая пустая вещь! В нее нельзя углубляться; в моей полоскательной чашке негде разгуляться кораблям.... Одлей, у меня явилась весьма странная мысль...

– *Это* не диковинка! заметил Одлей, весьма сухо: – других мыслей у тебя никогда не бывало.... Однако, не мешает узнать, нет ли чегонибудь новенького в этой?

– Скажи откровенно, сказал Гарлей серьезно: – веришь ли ты в месмеризм?

– Конечно, нет.

– Еслиб было во власти животного магнетизера перевести меня из моей кожи в чьюнибудь другую! вот в чем заключается моя мысль! Я так наскучил самим собою, так тягостен стал для себя! Я перебрал, перечитал все мои идеи, знаю каждую из них наизусть. Когда какаянибудь обманщица-идея принарядится и скажет мне: «взгляни на меня: я совершенно новенькая; познакомься со мной», я тотчас кив-

ну ей головой и отвечаю: «Не совсем-то новенькая: на тебя только надето новое платье, а сама ты остаешься той же старой бродягой, которая надоедала мне в течение двадцати лет.... Убирайся прочь!» Если бы я хоть с полчаса мог поносить новенькую шкурку! Если бы я хоть на полчаса сделался твоим высоким швейцаром или одним из ваших фактических замечательных людей, – о! тогда для моих странствований открылся бы новый свет! Не правда ли, что ум человеческий сам в себе уже должен представлять особенный мир? ... Еслиб я мог сделаться временным обитателем даже твоей головы, Одлей, еслиб я мог только пробежать по всем твоим мыслям и чувствам!.. Клянусь жизнью, непременно пойду поговорить об этом с французским магнитизером.

– Какой вздор! Говори, Гарлей, как человек здравомыслящий, сказал Одлей, которому слишком не понравилась идея, чтобы на его мысли и чувства сделано было нападение, даже его другом.

– Как челбвек здравомыслящий! Желал бы я найти образец такого человека? Я никогда не видал подобных людей, никогда не встречался с такими существами. Не верю даже в их существование. Бедный Одлей: какая кислая сделалась твоя физиономия! Ну хорошо, хорошо: я постараюсь говорить чтонибудь дельное, чтоб сделать тебе одолжение. И, во первых.... (при этом Гарлей приподнялся и оперся на локоть) во первых, скажи мне, справедливы ли слухи, которые долетели до меня, что ты равнодушен к сестре этого

низкого итальянца?

– Мадам ди-Негра? Неправда: я совершенно равнодушен к ней, отвечал Одлей, с холодной улыбкой. – Впрочем, она очень хороша собой, очень умна и очень полезна для меня; не считаю за нужное объяснять тебе, как и почему она полезна: это входит в состав моих обязанностей, как политического человека. Однако, я думаю, если ты согласишься принять мой совет или убедишь к тому своего друга, я мог бы, посредством моего влияния на эту женщину, вынудить весьма значительные уступки твоему изгнаннику. Она всячески старается узнать, где он живет.

– Надеюсь, что ты не сказал ей.

– Конечно, нет: я обещал тебе хранить эту тайну.

– И я уверен, что ты сохранишь ее: поверь, что в этом желании открыть убежище несчастного человека скрываются какие нибудь новые коварные замыслы. Уступки! – вздор! Не об уступках должна идти речь, но о правах!

– Полагаю, что ты предоставишь судить об этом твоему другу.

– Конечно, я напишу ему об этом. А между тем берегись этой женщины. За границей я слышал о ней очень многое, и между прочим то, что она имеет характер своего брата по своему двуличию и....

– И красоте, прервал Одлей, воспользовавшись, с ловкостью опытного человека, случаем переменить разговор. – Мне сказывали, что граф считается одним из красивейших

людей в Европе, – гораздо красивее своей сестры, хотя летами он почти вдвое старше её. Полно, полно, Гарлей! не делай возражений: за меня тебе нечего бояться. Я сделался недоступным для женских прелестей: это сердце давно уже мертво.

– Напрасно. Ты не должен говорить подобным образом: предоставь мне это право. Но даже и я не хочу отзываться о своем сердце по твоему. Сердце никогда не умирает, а твое – в особенности. Скажи, что ты потерял? – жenu! Правда, это была превосходная, великодушная женщина. Но, я сомневаюсь, была ли в твоём сердце любовь к этой женщине? любил ли ты когданибудь?

– Быть может, нет, сказал Одлей, с пасмурным видом и печальным голосом: – соображаясь с твоими понятиями об этом слове, немногие могут похвастать тем, что они испытывали чувство любви. Заметь, однако, что есть другие страсти, кроме любви, которые убивают наше сердце и обращают нас в механические орудия, в какую-то машину.

В то время, как Эджертон говорил эти слова, Гарлей отвернулся в сторону: его грудь сильно волновалась Наступило молчание. Одлей первый должен был нарушить его.

– Заговорив о покойной жене моей, мне очень жаль, что ты ни слова не сказал в похвалу того, что сделал я для её молодого родственника Рандаля Лесли.

– Неужли ты считаешь свой поступок за истинное благодеяние? спросил Гарлей, с трудом оправляясь от сильного

душевного волнения. – Приказать Лесли променять свое положение на протекцию официального человека!

– Я вовсе не приказывал ему: я предоставил ему на выбор. И поверь, что в его лета, с его умом я сделал бы то же самое.

– Не думаю: я имею гораздо лучшие о тебе понятия. согласишься ли ты чистосердечно ответить мне на один вопрос, и тогда я сделаю тебе другой? Намерен ли ты сделать этого молодого человека своим наследником?

– Наследником! повторил Одлей, с легким замешательством: – никогда! Я сам еще молод. Я могу прожить столько же, сколько и он... Впрочем, много еще времени впереди, чтобы подумать об этом.

– Второй вопрос мой следующий. Говорил ли ты этому юноше решительно, что он должен рассчитывать на твое влияние, а не на богатство?

– Кажется, что говорил; впрочем я повторяю это определеннее.

– В таком случае я остаюсь доволен твоим, но не его поступком. Он имеет слишком острый, пронизательный ум, чтобы не знать, что значит приобрести независимость; и поверь, что он уже сделал свои исчисления и готов прикинуть тебя ко всякому итогу, который может послужить ему в пользу. Ты судил о людях по опыту, а я – по инстинктивному чувству. Природа точно так же предостерегает нас, как и бессловесных животных; только мы, двуногие, бываем слишком высокомерны, слишком самонадеянны, чтоб обращать

внимание на её предостережения. Мой инстинкт, как воина и джентльмена, отталкивает меня от этого *утарелого* молодого человека. В нем душа иезуитская. Я вижу это в его взоре, слышу в его походке. В нем нет того, что итальянцы называют *volto sciolto*, а у него – *i pensieri stretti*... Тс! я слышу, что это он идет через залу. Я узнал бы его походку из тысячи. Вот это его прикосновение к замочной ручке.

Рандаль Лесли вошел. Гарлей, который, несмотря на неуважение ко всякого рода формальностям, несмотря на нерасположение к Рандалю, был слишком благовоспитан, чтоб не казаться вежливым перед младшими себя по летам и низшими по званию, встал и поклонился. Но его светлые, пронизательные взоры потеряли всю свою мягкость при встрече со взорами Рандаля, в которых горел какой-то тусклый, скрытный огонь. Гарлей не занял прежнего своего места: он отошел к камину и прислонился.

– Я исполнил ваше поручение, мистер Эджертон: я прежде всего побывал на Мэйда-Гилле и виделся с мистером Борлеем. Я отдал ему вексель, но он сказал, что этого слишком много для него, и что он возвратит половину вашему банкиру. Статью он непременно напишет по-вашему плану. После того я....

– Довольно, Рандаль! нам не должно утомлять лорда л'Эстренджа такими мелочными подробностями жизни, которая ему не нравится, – жизни политической.

– Напротив, такие подробности мне очень нравятся:

они примиряют меня с моей собственной жизнью. Пожалуста, продолжайте, мистер Лесли.

Но Рандаль на столько имел такта, что не заставил мистера Эджертона вторично бросить на себя предостерегающий взгляд. Он не продолжал, но, вместо того, весьма мягким голосом сказал:

– Вы думаете, лорд л'Эстрендж, что созерцание образа жизни, которую ведут другие, может примирить человека с своей собственной жизнью, если только он подумал прежде, что его жизнь нуждается в примирительных средствах?

Гарлей оказался довольным, потому что этот вопрос отзывался иронией; и если что всего более ненавидел он в мире, так это лесть.

– Вспомните вашего Лукреция, мистер Лесли: *Suave mare etc*, – «приятно смотреть с высокой скалы на моряков, качающихся на волнах океана». Правда, мне кажется, этот вид примиряет зрителя со скалой, хотя, до этого, брызги и пена были для него несносны и пронзительный визг чаек оглушал его... Однако, я должен оставить тебя, Одлей. Странно, что до сих пор я ничего не слышу о моем воине. Не забудь, Одлей, ты дал мне обещание, и при первом моем требовании должен исполнить его... До свидания, мистер Лесли! Надеюсь, что статья мистера Борлея будет вполне соответствовать векселю....

Лорд л'Эстрендж сел на лошадь, все еще стоявшую

у подъезда, и отправился в парк. К величайшей досаде его, он не мог уже более носить инкогнито: его все узнавали. Поклоны и приветствия осаждали его со всех сторон.

– Значит меня все знают здесь, сказал он про себя:– значит даже и эта ужасная дюшесса Кнэрсборо.... Я должен снова бежать из отечества.

Пустив свою лошадь легким галопом, он вскоре выехал из парка. В то время, как он слезал с лошади, подле отдаленного дома своего отца, вы бы с трудом могли узнать в нем причудливого, мечтательного, но в то же время умного и проницательного юмориста, который находил особенное удовольствие приводить в замешательство материально-го Одлея: выразительное лицо его сделалось необыкновенно серьёзно. Но едва только очутился он в присутствии своих родителей, и лицо его приняло светлое, радостное выражение. Как солнечный свет озаряло оно всю гостиную.



# Глава I

– Мистер Лесли, сказал Эджертон, когда Гарлей оставил библиотеку: – вы поступили несообразно с вашим благоразумием, коснувшись политического дела в присутствии третьего лица.

– Я уже сам понял это, сэр, и в извинение приношу вам то, что я всегда считал лорда л'Эстренджа за вашего самого искреннего друга.

– Государственный человек, мистер Лесли, весьма дурно служил бы своему отечеству, если бы был слишком откровенен с своими искренними друзьями, особливо, если эти друзья не принадлежат к его партии.

– В таком случае, сэр, простите моему неведению. Лорд Лэнсмер, как всем известно, один из главных защитников вашей партии, и потому я вообразил, что сын его должен разделять его мнение и пользоваться вашей доверенностью.

Брови Эджертона слегка нахмурились и придали лицу его, всегда холодному и спокойному, суровое выражение. Как бы то ни было, он отвечал на слова Лесли довольно мягким и даже ласковым тоном:

– При вступлении в политическую жизнь, мистер Лесли, для молодого человека с вашими талантами ничто так не рекомендуется, как быть более осторожным во всем, без исключения, и менее надеяться на свои умозаключения:

они всегда бывают ошибочны. И я уверен, что это главная причина, по которой талантливые молодые люди так часто обманывают ожидания своих друзей... и остаются так долго без должности.

На лице Рандаля отразилась надменность и быстро исчезла. Он молча поклонился.

Эджертон снова начал, как будто в пояснение своих слов и даже в извинение:

– Взгляните на самого лорда л'Эстренджа. Какой молодой человек мог бы открыть себе более блестящую карьеру, при таких благоприятных обстоятельствах? Звание, богатство, возвышенная душа, храбрость, непоколебимое присутствие духа, ученость, обширность которой не уступит вашей, – и что же? посмотрите, какую жизнь он проводит! А почему? потому, что он слишком был уверен в своем уме. Не было никакой возможности надеть на него упряжь, да и никогда не будет. Государственная колесница, мистер Лесли, требует, чтобы все лошади везли ее дружно.

– Со всею покорностью, сэр, отвечал Рандаль: – я осмеливаюсь думать, что есть совершенно другие причины, почему лорд л'Эстрендж, при всех своих талантах, которых вы, без всякого сомнения, должны быть проницательный судья, никогда бы не был способен к государственной службе.

– Это почему? быстро спросил Эджертон.

– Во первых, потому, отвечал Лесли, с лукавым видом: – что частная жизнь представляет ему множество вы-

год. Во вторых, лорд л'Эстрендж, кажется мне таким человеком, в организации которого *чувствительность* занимает слишком большую долю для того, чтобы вести жизнь практического человека.

– У вас, мистер Лесли, очень проницательный взгляд, сказал Одлей, с некоторым восхищением: – слишком острый для молодого человека, как вы. – Бедный Гарлей!

Мистер Эджертон произнес последние два слова про себя.

– Знаете ли что, молодой мой друг, снова начал он, не позволив Рандалю сделать возражение: – я давно собираюсь поговорить с вами о деле, которое исключительно касается только нас двоих. Будем откровенны друг с другом. Я поставил вам на вид все выгоды и невыгоды выбора, предоставленного вам. Получить степень с такими почестями, какие, без всякого сомнения, вы бы заслужили, сделаться членом университета и, при тех аттестатах, которые так много говорят в пользу ваших талантов, занять кафедру – это была для вас одна дорога. Вступить немедленно в государственную службу, руководствоваться моею опытностью, пользоваться моим влиянием, не упускать из виду падения или возвышения партии и также извлекать из этого существенную пользу – это была другая дорога. Вы избрали последнюю. Но, сделав этот шаг, вы, вероятно, имели в виду еще что-нибудь, и, объясняя мне причины, по которым избираете эту дорогу, вы умолчали об этом.

– Что же это такое, сэр?

– Вы, может статься, рассчитывали на мое богатство, в случае, если избранная вами дорога не принесет ожидаемых выгод. Скажите мне, правда ли это, и скажите откровенно, без всякого стыда. Иметь это предположение весьма естественно для молодого человека, происходящего от старшей отрасли дома, наследницей которой была моя жена.

– Сэр! вы оскорбляете меня, сказал Рандаль, отвернувшись в сторону.

Холодный взгляд мистера Эджертона следил за движением Рандаля. Лицо молодого человека скрывалось от этого взгляда; он остановился на фигуре, которая так же часто изменяла себе, как и самое лицо. При этом случае Рандаль успел обмануть проницательность Эджертон: душевное волнение молодого человека можно было приписать или благородной душе, или же чемунибудь другому. Эджертон, как будто не обращая на это внимания, продолжал протяжным голосом:

– Раз и навсегда должен сказать вам, – сказать ясно и определенно, чтоб вы не рассчитывали на это; рассчитывайте на все другое, что могу я сделать для вас, и простите меня, если я иногда довольно грубо подаю вам совет и строго сужу ваши поступки: припишите это моему искреннему участию в вашей карьере. Кроме того, прежде чем решимость ваша сделается непреложною, я бы желал, чтоб вы узнали на практике все, что есть неприятного и трудного в первых шагах того, кто, без всякого состояния и обширных связей, поже-

лает возвыситься в общественной жизни. Я не хочу, и даже не могу считать ваш выбор решительным, по крайней мере до конца следующего года: до тех пор имя ваше все еще будет оставаться в университетских списках. Если, по прошествии этого срока, вы пожелаете возвратиться в Оксфорд и продолжать медленную, но самую верную дорогу к отличию, я нисколько не буду препятствовать вашему желанию. Теперь дайте мне вашу руку, мистер Лесли, в знак того, что вы прощаете мое прямоту; мне пора одеваться.

Рандаль, с лицом, все еще обращенным в сторону, протянул руку. Мистер Эджертон, подержав несколько секунд, опустил ее и вышел из комнаты. Рандаль повернул лицо вместе с тем, как затворилась дверь. На этом мрачном лице столько отражалось злобного чувства и столько скрытности, что предположения Гарлея оправдывались вполне. Губы его шевелились, но без всяких звуков; потом, как будто пораженный внезапной мыслью, он пошел за Эджертоном в залу.

– Сэр, сказал он: – я забыл вам сказать, что, на возвратном пути из Мэйда-Гилл, я принужден был укрыться от дождя под каким-то навесом и там встретился с вашим племянником Франком Гэзельденом.

– Право! сказал Эджертон, весьма равнодушно. – Прекрасный молодой человек! служит в гвардии. Очень жаль, что брат мой имеет такие устарелые понятия о политике: ему бы непременно должно было определить своего сына в Парламент, под мое руководство: я мог бы выдвинуть его.

Прекрасно.... что же говорил вам Франк?

– Он убедительно просил меня к себе. Я помню, что вы некогда предостерегали меня от слишком короткого знакомства с людьми, которым не предстоит самим прокладывать дорогу к счастью.

– Потому, что эти люди более или менее бывают ленивы, а лень – заразительна. Действительно, я бы и теперь не советовал вам сближаться с молодым гвардейцем.

– Значит, сам не угодно сэру, чтобы я побывал у него? Мы были хорошими друзьями в Итоне; и если я решительно стану уклоняться от подобных предложений, не подумает ли он, что вы....

– Я! прервал Эджертон: – ах да, весьма справедливо: мой брат может подумать, что я чуждаюсь его: это довольно глупо. Поезжайте к молодому человеку и просите его сюда. Все же я не советую вам сближаться с ним.

И мистер Эджертон вошел в свою уборную.

– Сэр, сказал камердинер: – мистер Леви желает вас видеть: говорит, что явился сюда по-вашему назначению; а мистер Гриндерс только что приехал из деревни.

– Впусти сюда сначала Гриндерса, сказал Эджертон, опускаясь на стул. – Ты можешь остаться в приемной: я оденусь без тебя. Мистеру Леви скажи, что я увижусь с ним через пять минут.

Мистер Гриндерс был управляющий Одлея Эджертона.

Мистер Леви был человек прекрасной наружности; в пет-

личке его фрака всегда торчала камелия; ездил он в своем кабриолете, имел прекрасную лошадь, которая стоила не менее 200 фунтов; он известен был всем молодым фэшионбельным людям и считался родителями этих молодых людей за самого опасного товарища для своих возлюбленных сынков.

## Глава LI

В то время, как гости собирались в гостиных, мистер Эджертон рекомендовал Рандаля Лесли своим избранным друзьям тоном, представлявшим резительный контраст с холодным и увещательным тоном, который был обнаружен во время откровенной беседы дяди и племянника в библиотеке. Рекомендация совершалась с той искренностью и тем снисходительным уважением, которыми люди, занимающие высокое положение в обществе, стараются обратить внимание на людей, желающих занять современем такое же положение.

– Неоцененный лорд, позвольте представить вам родственника моей покойной жены (шепотом), прямого наследника старшей отрасли её фамилии. Стонмор, вот мистер Лесли, о котором я уже говорил с вами. Вы, который были так замечательны в Оксфордском университете, вероятно, не менее полюбите моего родственника, за то, что он получал там все призы. Граф, позвольте представить вам мистера Лесли. Графиня сердита на меня за то, что я не являюсь на её балы: надеюсь, что мы помиримся с ней, если я представлю вместо себя более молодого и ловкого кавалера. Ах, мистер Говард! вот вам молодой джентльмен только что из университета: он сообщит вам о новой партии, которая образовалась там. Он не успел еще научиться убивать время около бильярдов и лошадей.



Лесли был принят с очаровательной любезностью.

После обеда разговор перешел на политику. Рандаль слушал с напряженным вниманием, не вмешиваясь в этот разговор до тех пор, пока сам Эджертон не вовлек его, и вовлек на столько, на сколько считал нужным, на сколько требовалось, чтоб обнаружить его ум и в то же время не подвергать себя обвинению в нарушении законов приличия. Эджертон умел выставлять на вид молодых людей, – наука в некотором отношении весьма трудная. Знание этой науки составляло одну из главных причин, почему Эджертон был до такой степени популярен между возвышающимися членами его партии.

Общество простилось с Эджертоном довольно рано.

– Теперь самая лучшая пора отправляться в собрание, сказал Эджертон, взглянув на часы: – я имею билет и для вас; поедemте вместе.

Рандаль отправился с своим покровителем в одной карете. По дороге Эджертон прочитал ему следующее наставление:

– Я намерен рекомендовать вас главным членам собрания, и следовательно замечательнейшим людям высшего лондонского общества. Старайтесь узнать и изучить их. Я не советую вам делать попытки казаться более того, чем вы должны быть, то есть делать попытки сделаться человеком фэ-шионебельным. Этот способ выказать себя сопряжен с большими издержками; некоторым людям он приносит выгоды,

другим – раззорение. Во всяком случае, карты в ваших руках. Хотите танцевать – танцуйте, или нет, это как вам будет угодно, – но не советую заводить интриги. Заметьте, что вместе с этим поступком начнутся справки насчет вашего состояния, – справки, которые окажутся для вас не совсем благоприятными; а этого не должно быть. Вот мы и приехали.

Через две минуты они находились в обширной зале. Глаза Рандаля ослеплены были освещением, блеском драгоценных камней и красоты. Одлей представил его в быстрой последовательности дамам и потом скрылся в толпе. Рандаль не потерялся: он не был застенчив, а если и имел этот недостаток, то умел хорошо скрывать его. Он отвечал на беглые вопросы с некоторым одушевлением, которое поддерживало разговор поставляло приятное впечатление. Лэди, с которой он успел сблизиться в самое короткое время, и у которой не было дочерей, была прекрасная и умная светская женщина, лэди Фредерика Коньер.

– Значит, мистер Лесли, это ваш первый бал в собрании?

– Первый.

– И у вас нет дамы для танцев? Не хотите ли я помогу вам отыскать. Например, что вы думаете об этой миленькой девице в розовом платье?

– Я вижу ее, но ничего не могу думать о ней.

– Знаете что: вы похожи на дипломата при новом Дворе, где первый подвиг ваш состоит в том, чтобы узнать лиц, которые вас окружают.

– Признаюсь, что, начиная изучать историю моей жизни, я должен уметь сначала приучиться узнавать портреты, которыми украшено описание событий.

– Дайте мне руку, и мы пойдем в другую комнату. Мы увидим, как все знаменитости будут входить туда по очереди. Замечайте их, но, пожалуйста, так, чтоб самому не быть замеченным. Вот малейшая услуга, которую я могу оказать для друга мистера Эджертона.

– Поэтому мистер Эджертон, сказал Рандаль, в то время, как они проходили пространство вне круга, назначенного для танцев: – поэтому мистер Эджертон имеет особенное счастье пользоваться уважением даже для своих друзей, как бы они ни были безызвестны?

– Если говорить правду, то мне кажется, что тот, кого мистер Эджертон называет своим другом, не может долго оставаться в безызвестности. У мистера Эджертона поставлено за неперемное правило: никогда не забывать друга или оказанной ему услуги.

– В самом деле! сказал Рандаль с изумлением.

– И потому, продолжала лэди Фредерика: – в то время, как мистер Эджертон проходит трудную дорогу жизни, друзья собираются вокруг него. Но через это он еще более возвысится. Признательность, мистер Лесли, есть самая лучшая политика.

– Гм! произнес мистер Лесли.

В это время они вошли в комнату, где чай и хлеб с маслом

составляли весьма нероскошное угощение для гостей, которых можно было назвать избраннейшим обществом в Лондоне. Не обращая на себя внимания, они приютились в глубокой нише окна, и лэди Фредерика исполняла обязанность чичероне весьма непринужденно и с остроумием, присовокупляя к каждому замечанию о различных особах, панорамически проходивших мимо, или биографический очерк, или анекдот, иногда от доброго сердца, чаще всего сатирически и вообще весьма натурально и остроумно.

Между прочими к чайному столу подошел Франк Гэзельден. С ним была дама надменной наружности, с резкими, по в то же время приятными чертами лица.

– Наконец перед вами молодой гвардеец, сказала лэди Фредерика: – он очень недурен собой и не совсем еще испорченной нравственности. Жаль только, что он попал в очень опасное общество.

– Мне кажется, молодая лэди, которую он провожает, не довольно хороша собой, чтобы можно было считать ее опасною.

– Ах, с этой стороны, он совершенно безопасен, сказала лэди Фредерика со смехом: – по крайней мере в настоящее время. Лэди Мери, дочь графа Кнэрсборо, всего второй год как выезжает в общество. В первый год она ни на кого и смотреть не хотела, кроме одних герцогов, во второй – кроме баронов. Пройдет, быть может, слишком четыре года, прежде чем она удостоит своим вниманием члена Нижней

Палаты. Мистеру Гэзельдену грозит опасность совершенно с другой стороны. Большую часть своего времени он проводит с людьми, которые не совсем еще, как говорится, *mauvais ton*, но и не принадлежат к разряду изящных молодых людей. Впрочем, он очень молод: он может еще отделаться от подобного общества, – но, само собою разумеется, не иначе, как оставив за собою половину своего состояния. Посмотрите, он кивает вам. Вы знакомы с ним?

– Даже очень коротко; он племянник мистера Эджертона.

– Неужели! Я не знала этого. Имя Гэзельден совершенно новое в Лондоне. Я слышала, что отец его очень простой провинциальный джентльмен, имеет хорошее состояние, но никто не говорил мне, что он родственник мистеру Эджертону.

– Он двоюродный брат.

– Значит мистер Эджертон охотно выплатит долги молодого джентльмена? не так ли? тем более, что у него нет сыновей.

– Мистер Эджертон приобрел себе большое состояние от жены, из моей фамилии, – из фамилии Лесли, а не Гэзельден.

Лэди Фредерика быстро обернулась, взглянула на лицо Рандаля с вниманием большим против того, сколько она намеревалась удостоить его, и начала говорить о фамилии Лесли. Ответы Рандаля по этому предмету были весьма неудовлетворительны.

Спустя час после этого разговора, Рандаль все еще находился в чайной комнате, но лэди Фредерика уже давно оставила его. Он беседовал с старинными своими итонскими товарищами, которые узнали его, как вдруг в ту же самую комнату вошла лэди весьма замечательной наружности, и при её появлении по всей комнате распространился ропот одобрения.

Нельзя было положить ей более двадцати-четырёх лет. На ней надето было черное бархатное платье, которое представляло удивительный контраст с алебастровой белизной её плечь и прозрачной бледностью её лица, особенно при блеске брильянтов, которыми она украшена была в изобилии. Волосы её были черны как смоль и очень просто причесаны. её глаза – также черные и блестящие, черты лица правильные и резкия; впрочем, в то время, как взоры её оставались неподвижны, в них не выразалось того преобладающего чувства любви, той тишины и неги, которые мы часто усматриваем во взорах хорошенькой женщины. Но когда она говорила и улыбалась, в лице её столько обнаруживалось одушевления, столько чувства, в её улыбке столько чарующей прелести, что неприятное впечатление, которое до этого вредило эффекту её красоты, как-то странно и внезапно исчезало.

– Скажите, кто эта хорошенькая женщина? спросил Рандаль.

– Итальянка, какая-то маркиза, отвечал один из его товарищей.

– Маркиза ди-Негра, подсказал другой из них, бывавший за границей: – она вдова; муж её был из знаменитой генуэзской фамилии, происходил от младшей отрасли её.

В это время прекрасную итальянку окружила толпа обожателей. Несколько дам лучших аристократических фамилий обменялись с ней несколькими словами, но при этом случае не обнаружили той любезности, которую дамы высшего круга обыкновенно оказывают таким знатным чужеземкам, как мадам ди-Негра. Дамы без особенных притязаний на почетнейшее место в обществе обегали ее, как будто пугались её; впрочем, легко может статься, эта боязливость была следствием ревности. В то время, как Рандаль смотрел на прелестную маркизу с таким восхищением, какого не пробуждала в нем до этой минуты ни одна из её соотечественниц, позади его раздался мужской голос:

– Неужели маркиза ди-Негра решила поселиться в нашем отечестве и выйти замуж за англичанина?

– Почему же и нет? если только найдется человек, у которого бы достало на столько твердости духа, чтоб сделать ей предложение, возразил женский голос.

– Она, кажется, имеет сильное желание поймать в свои сети Эджертона; а у этого человека достанет твердости духа на что угодно....

– Мистер Эджертон, отвечал женский голос, со смехом: – знает свет слишком хорошо и умел удержаться от множества искушений, чтоб....

– Тс! он сам идет сюда.

Эджертон вошел в комнату, по обыкновению, твердым шагом и с сохранением своей величественной осанки. Рандаль успел подметить быстрый взгляд, которым Эджертон обменялся с маркизой, хотя он и прошел мимо её молча, сделав один только поклон.

Несмотря на то, Рандаль продолжал свои наблюдения, и десять минут спустя Эджертон и маркиза сидели уже в стороне от общества, в том самом удобном уголке, который Рандаль и лэди Фредерика занимали за час перед этим.

– Неужели это и есть причина, по которой мистер Эджертон, к оскорблению моего достоинства, предупреждал меня не рассчитывать на его богатства? говорил про себя Рандаль. – Неужели он намерен снова жениться?

Неосновательное, несправедливое подозрение! потому что в тот самый момент с неподвижных губ Одлея Эджертона слетели следующие слова:

– Пожалуста, прекрасная маркиза, не думайте, чтобы, в моем непритворном восхищении вами скрывалось другое, более возвышенное, священное чувство. Ваш разговор чарует меня, ваша красота приводит меня в восторг, ваше присутствие служит для меня отрадным отдыхом в моей жизни, убиваемой трудами; но с сердцем моим, с чувством любви я уже давно все кончил, и, поверьте, что больше уже я не женюсь.

– Знаете что: вы как будто нарочно заставляете меня



употреблять все усилия, чтоб одержать над вами победу, но только для того, чтоб потом отвергнуть вас, сказала итальянка, и в светлых глазах её сверкнула молния.

– Извольте, я не боюсь даже и вас вызвать на бой, отвечал Одлей, с своей холодной, чорствой улыбкой. – Впрочем, возвратитесь лучше к главному предмету нашей беседы. Вы, я уверен, более всех других имеете влияние на этого пронырливого, хитрого посланника: на вас одних надеюсь я, что вы разузнаете для меня тайну, о которой мы говорили. Ах, маркиза, останетесь по-прежнему друзьями. Вы видите, что я успел рассеять все несправедливые предубеждения против вас; вы приняты и торжествуете повсюду: это, по-моему мнению, справедливая дань вашему происхождению и вашей красоте. Положитесь на меня во всем, точно так, как полагаюсь я на вас. Однако, оставаясь здесь дольше, я легко могу пробудить зависть в весьма многих, и кроме того во мне на столько есть гордости, чтоб позволить себе подумать, что вы будете оскорблены, если я сделаюсь виновником неприятных для вас толков. Как преданный друг, я готов служить вам, – как предполагаемый обожатель, я ничего не сделаю для вас.

Сказав это, Одлей встал и, оставаясь еще подле стула, с беспечным видом прибавил:

– Кстати: деньги, которые вы занимаете у меня, оказав мне этим особенную честь, будут завтра же переданы вашему банкиру.

– Тысяча благодарностей; мой брат не замедлит заплатить вам эту сумму.

Одлей поклонился.

– Надеюсь, что брат ваш рассчитается со мной не прежде, как при личном свидании. Скажите, когда он прибудет сюда?

– Он опять отложил свою поездку в Лондон: его присутствие так необходимо в Вене. Кстати, мистер Эджертон: заговорив о нем, позвольте мне спросить, неужели лорд л'Эстрендж все еще по-прежнему жесток к моему бедному брату?

– Он все тот же.

– Как это стыдно! вскричала итальянка, с заметной досадой: – я не понимаю, что такое сделал брат мой лорду л'Эстренджу, если интрига против графа ведется даже и при вашем Дворе.

– Интрига! Мне кажется, вы весьма несправедливо судите о лорде л'Эстрендже: он ничего больше не сделал, как только обнаружил то, что, по его мнению, была несомненная истина, и обнаружил единственно в защиту несчастного изгнанника.

– Не можете ли вы сообщить мне, где находится этот изгнанник, или, по крайней мере, жива ли его дочь?

– Прекрасная маркиза, я назвал вас другом, поэтому не решусь помогать лорду л'Эстренджу, нанести оскорбление вам или вашим родственникам. Кроме того я называю также и лорда л'Эстренджа своим другом, и потому не смею нарушить доверие, которое....

Одлей вдруг остановился и прикусил себе губы.

– Вы понимаете меня, сказал он после минутного молчания, с улыбкой приятнее обыкновенной, и удалился.

Брови прекрасной итальянки хмурились в то время, как она взорами провожала удалявшегося Одлея. Спустя несколько секунд она встала, и взоры её встретились с взорами Рандаля. Они осмотрели друг друга; каждый из них почувствовал какое-то странное влечение друг к другу – влечение не сердца, но ума. – У этого молодого человека взгляд итальянца, сказала маркиза про себя.

И, проходя мимо Рандаля в танцевальную залу, она еще раз взглянула на него и улыбнулась.

## Глава LII

Леонард и Гэлен поместились в двух маленьких комнатах, в каком-то глухом переулке. Соседняя часть города имела весьма угрюмый вид; помещение было тесное, но зато с лица хозяйки дома никогда не сходила улыбка. Быть может, это видимое радушие и послужило поводом к тому, что Гэлен выбрала квартирку в таком скучном месте: улыбку не всегда можно встретить на лице хозяйки дома, к которой являются бедные постояльцы. Из окон их комнат виднелся зеленый вяз, величественно возвышавшийся цо середине соседнего двора. Это дерево давало другую улыбку скучному местопребыванию молодых людей. Они видели, как птицы прилетали, прятались в густой зелени вяза и вылетали оттуда; до них долетал приятный шелест листьев, когда поднимался легкий ветерок.

В тот же вечер Леонард отправился на прежнюю квартиру капитана Дигби, но не мог получить, там никакого известия касательно родственников или покровителей сиротешей Гэлен. Народ был там все грубый и суровый. Леонард узнал одно только, что капитан остался должен в доме около двух фунтов стерлингов – показание, по видимому, весьма неосновательное, тем более, что Гэлен сильно опровергла его. На другое утро Леонард отправился отыскивать доктора Моргана. Он рассудил за самое лучшее узнать о месте

жительства доктора в ближайшей аптеке; аптекарь весьма учтиво заглянул в адресную книжку и предложил Леонарду отправиться в Булстрод-Стрит, на Манчестерском Сквэре. Леонард направил свой путь в указанную улицу, удивляясь по дороге неопрятности Лондона: Скрюстоунт казался ему во всех отношениях превосходнее столицы Британии.

Оборванный лакей отпер дверь, и Леонард заметил, что весь коридор загроможден был чемоданами, сундуками и другими дорожными принадлежностями. Лакей провел его в небольшую комнату, посредине которой стоял круглый стол, и на нем в беспорядке лежало множество книг, трактующих о гомеопатии, и несколько номеров воскресной газеты. Гравированный портрет Ганнемана занимал почетное место над камином. Спустя несколько минут, дверь из соседней комнаты отворилась, показался доктор Морган и ласковым тоном сказал:

– Пожалуйте сюда.

Доктор сел за письменный стол, бросил быстрый взгляд сначала на Леонарда, а потом на огромный, лежавший перед ним хронометр.

– Мое время рассчитано, сэр: я еду за границу, и пациенты осаждают меня. Но теперь ужь поздно. Лондон не раз пожалеет о мне – раскается в своей апатии. Пускай его – таковский!

Доктор сделал торжественную паузу и, не замечая крайнего недоумения на лице Леонарда, с угрюмым видом повто-

рил:

– Да, решено: я еду за границу, сэр... Впрочем, постараюсь сделать описание вашей болезни и передать моему премнику. Гм! волосы каштановые, глаза – позвольте посмотреть, какого цвета ваши глаза? взгляните сюда – голубые, темноголубые. Гм! Молодой человек нервного сложения. Какие же симптомы вашей болезни?

– Сэр, начал Леонард: – маленькая девочка....

– Маленькая девочка? повторил доктор Морган с заметной досадой: – Сделайте милость, мне не нужно истории ваших страданий; скажите мне только, какие симптомы вашей болезни?

– Извините меня, доктор, сказал Леонард: – мне кажется, вы не так понимаете меня. – Благодаря Бога, я ничем не страдаю. Маленькая девочка....

– Тьфу ты пропасть! опять девочка! А! понимаю теперь, понимаю! Значит эта девочка нездорова. Что же, вы хотите, чтобы я пошел к ней? Да, я и должен итги: она сама должна описать мне симптомы своей болезни: я не могу судить о состоянии здоровья больной по вашим словам. Пожалуй вы мне наговорите такую чепуху, что и Боже упаси: скажете, что у неё чахотка, или завалы, или какойнибудь другой недуг, которых никогда не существовало: это одни только аллопатические выдумки – мне нужны симптомы, сэр, симптомы!

– Вы лечили её бедного отца, говорил Леонард, не обра-

щая внимания на слова доктора: – вы лечили капитана Дигби, когда он захворал, ехав с вами в дилижансе. Он умер, и дочь его осталась сиротой.

– Сирота! сказал доктор, перелистывая памятную медицинскую книжку. – Для сирот, особенно неутешных, ничего не может быть лучше *аконито* и *хамомиллы*.<sup>9</sup>

Большого труда стоило Леонарду привести на память гомеопата бедную Гэлен, объяснить ему, каким образом он взял ее на свое попечение и зачем явился к доктору Моргану.

Доктор был тронут.

– Решительно не могу придумать, чем бы помочь ей. Я ни души не знаю её родственников. Этот лорд Лес.... Лес.... как его зовут там.... да, впрочем, у меня нет знакомых лордов. – Будучи жалким аллопатом, я знавал многих лордов. Например, я знал лорда Лэнсмера; часто брал он от меня голубые пилюли моего изобретения.... шарлатан я был тогда порядочный. Сын этого лорда был умнее своего родителя: никогда не принимал лекарства. Очень умный был мальчик лорд л'Эстрендж.... не знаю только, так ли он добр, как и умен.

– Лорд л'Эстрендж! да вот это имя начинается с Лес....

– Вздор! он постоянно живет за границей, щеголяет там своим умом. Я тоже еду за границу. В этом ужасном городе

---

<sup>9</sup> Необходимо заметить здесь, что гомеопаты занимаются лечением не только физических недугов, но и душевных страданий: у них для всякой скорби есть особенные крупинки.

для науки нет ни малейшего поощрения: предразсудков бездна, весь народ предан самым варварским аллопатическим средствам и кровопусканию. Я еду, сэр, в отечество Ганнемана, продал свою практику и мебель, передал контракт на этот дом и нанял небольшой домик на Рейне. Там жизнь натуральная; а гомеопатии необходима натура: обедают в час, встают по утру в четыре, чай мало известен, – зато наука ценится высоко. Впрочем, я чуть было не позабыл о деле. Клянусь Юпитером! Скажите мне, что могу я сделать для этой сироты?

– В таком случае, сэр, сказал Леопард, вставая: – я надеюсь, что Бог подаст мне силы оказать помощь этому ребенку.

Доктор внимательно поглядел на молодого человека.

– Но, молодой человек, судя по вашим словам, сказал он: – вы сами здесь совсем чужой или по крайней мере были таким в то время, когда решались привести эту сироту в Лондон. Знаете ли что: у вас доброе сердце; постарайтесь сохранить его. Доброе сердце, сэр, очень много служит к сохранению здоровья.... конечно, в том только случае, когда доброта в нем не становится чрезмерною. Ведь у вас у самих нет здесь ни друзей, ни знакомых?

– Полуда еще нет, но я надеюсь современем приобрести их.

– Вы надеетесь приобрести здесь друзей? Скажите, пожалуйста, каким это образом? Знаете ли, что у меня их нет и по сие время, хотя мои надежды, может статься, были по-



обширнее ваших.

Леонард покраснел и повесил голову. Ему хотелось сказать, что «писатели находят друзей в своих читателях, а я намерен сделаться писателем», но он видел, что в подобном ответе обнаружилась бы величайшая самонадеянность, и потому рассудил за лучшее промолчать.

Доктор продолжал рассматривать Леонарда, и уже с участием друга.

– Вы говорите, что пришли в Лондон пешком: как это было сделано – по-вашему желанию или в видах экономии?

– Тут участвовало то и другое.

– Присядьте пожалуйста и поговорим. Мне можно еще уделить для вас четверть часика; в течение этого времени я посмотрю, чем могу помочь вам, – но только непременно расскажите мне все симптомы, то есть все подробности вашего положения.

Вслед за тем, с особенной быстротой, составляющею исключительную принадлежность опытных медиков, доктор Морган, который на самом деле был человек проницательный и с большими способностями, приступил расспрашивать Леонарда и вскоре узнал всю историю мальчика и его надежды. Но когда доктор, восхищенный простосердечием юноши, составлявшим очевидный контраст с его умом, в заключение всего спросил об его имени и родстве, и когда Леонард ответил ему, гомеопат выразил непритворное удивление.

– Леонард Фэрфильд! вскричал он: – внук моего старинного приятеля Джона Эвенеля! Позволь мне пожать твою руку, воспитанник мистрисс Фэрфильд! Да, да! теперь я замечаю сильное фамильное сходство, – весьма сильное....

Глаза доктора наполнились слезами.

– Бедная Нора! сказал он.

– Нора! неужели вы знали мою тетушку?

– Вашу тетушку! Ах да, да! Бедная Нора! Она умерла почти на моих руках – такая молоденькая, такая красавица. Я помню эту сцену, как будто только вчера видел ее!

Доктор провел по глазам рукой, проглотил крупинку и, под влиянием сильного душевного волнения, всунул другую крупинку в дрожащие губы Леонарда с такой быстротой, что юноша не успел даже сообразить, к чему это делалось.

В эту минуту послышался легкий стук в дверь.

– А! это мой знаменитый пациент, вскричал доктор, совершенно успокоенный; – мне должно непременно повидаться с ним. – Хронический недуг.... отличный пациент у него тик, милостивый государь, тик – болезнь, в своем роде, весьма интересная. О, если бы я мог взять с собой этого больного, я ничего больше не стал бы и просить у Неба. Зайдите ко мне в понедельник: к тому времени, быть может, я успею, чтонибудь сделать для вас. Маленькой девочки нельзя оставаться в этом положении: это нейдет. Похлопочу и о ней. Оставьте мне ваш адрес.... напишите его вот сюда. Мне кажется, что у меня есть знакомая лэди, которая возъ-

мет сироту на свое попечение. Прощайте. Не забудьте же, я жду вас в понедельник, к десяти часам.

Вместе с этим доктор выпустил из кабинета Леонарда и впустил туда своего знаменитого пациента, которого он всеми силами старался убедить отправиться вместе с ним на берега Рейна.

Леонарду оставалось теперь отыскать нобльмена, которого имя так невнятно произнесено было бедным капитаном Дигби. Он еще раз принужден был прибегнуть к адрес-календарю, и, отыскав в нем несколько имен лордов, имена которых начинались со слога *Ле*, он отправился в ту часть города, где жили эти особы, и там, употребив в дело свой природный ум, осведомился у ближайших лавочников о личной наружности тех нобльменов. Благодаря простоте своей, он везде получал вежливые и ясные ответы; но ни один из этих лордов не согласовался с описанием, сделанным бедной сиротой. Один – был стар, другой – чрезвычайно толст, третий лежал в параличе, и, в добавок, никто из них не держал огромной собаки. Не нужно, кажется, упоминать здесь, что имя л'Эстренджа, как временного жителя Лондона, в адрес-календарь не было включено; к тому же, замечание доктора Моргана, что этот человек постоянно живет за границей, к несчастью, совершенно отвлекло от внимания Леонарда имя, так случайно упомянутое гомеопатом. Впрочем, Гэлен не была опечалена, когда молодой защитник её возвратился в конце дня домой и сообщил ей, о своих неудачах.

Бедный ребенок! в душе своей она как нельзя более оставалась довольна от одной мысли, что ее не разлучат с её новым братом. С своей стороны, Леонард был очень тронут её старанием придать, во время его отсутствия, некоторый комфорт и приятный вид совершенно пустой комнате, занятой им: она так аккуратно разложила его книги и бумаги, подле окна, в виду одинокого зеленого вяза; она упросила улыбающуюся хозяйку дома уделить что нибудь из мебели – особливо орехового дерева бюро – и несколько обрывков старых лент, которыми подвязала занавесы. Даже истертые стулья, при новой расстановке, придавали комнате особенную прелесть. Казалось, что благодетельные феи одарили прекрасную Гэлен искусством украшать семейный дом и вызывать улыбку из самых мрачных углов какой нибудь хижины или чердака.

Леонард удивлялся и хвалил. С чувством признательности, он поцаловал свою подругу и, вместе с ней, с неподдельною радостью, сел за скудную трапезу. Но вдруг лицо его опечалилось: в его ушах отозвались слова доктора Моргана: «маленькой девочке нельзя оставаться в этом положении: это нейдет.»

– Не понимаю, произнес Леонард, печальным тоном:– каким образом я мог забыть об этом.

И он рассказал Гэлен причину своей грусти. Сначала Гэлен вскричала, что она «не понимает его». Леонард радовался, по обыкновению, заговорил о своих блестящих видах и,

наскоро пообедав, как будто каждая минута была теперь дорога для него, немедленно сел за свои бумаги. Гэлен задумчиво смотрела на него, в то время, как он сидел углубленный в свои занятия. И когда, приподняв глаза от рукописи, воскликнул он, с необыкновенным одушевлением:

– Нет, Гэлен, ты не должна покидать меня. *Это* должно увенчаться полным успехом, и тогда... тогда мы будем жить вместе в хорошеньком коттэдже, где увидим мы более, чем одно дерево.

При этих словах она вздохнула, но уже не отвечала: «я не покину тебя.»

Спустя несколько минут, она вышла в свою комнату и там, пав на колени, молилась; её молитва была следующая:

«Творец мира! молю Тебя, сохрани меня от побуждений моего самолюбивого сердца: да не буду я бременем тому, кто принял меня под свою защиту.»

## Глава LIII

На другой день Леонард вышел из дому вместе с своими драгоценными рукописями. Он весьма достаточно знаком был с современной литературой, чтоб знать имена главных лондонских издателей. К ним-то он и направил свой путь, твердыми шагами, но с сильно бьющимся сердцем.

В этот день путешествия его совершались продолжительнее предшедшего дня; и когда он воротился и вошел в свою миниатюрную комнатку, Гэлен вскрикнула: она с трудом узнала его. На лице его выражалось такое глубокое, такое безмолвное уныние, что оно заглушало, по видимому, все другие чувства. Не сказав ни слова, он опустился на стул и на этот раз даже не поцаловал Гэлен, когда она боязливо подошла к нему. Он чувствовал себя униженным. Он был раззорившийся миллионер! *он*, который принял на себя все заботы о другом создании!

Мало по малу ласки Гэлен успели произвести на Леонарда благотворное влияние, и он решился наконец рассказать свои похождения. Читатель, вероятно, сам догадается, какого рода должны быть эти похождения, и потому я не считаю нужным описывать их в подробности. Большая часть из книгопродавцев не хотели даже взглянуть на рукописи Леонарда; человека два были столько добры, что посмотрели их и в ту же минуту возвратили, сделав при этом решительный

отказ, в весьма учтивых выражениях. Один только издатель, занимающийся сам литературой, и который в юности своей испытал тот же самый горький процесс обманутых обольстительных надежд, какой ожидал теперь деревенского гения, вызвался на полезный, хотя и суровый совет несчастному юноше. Этот джентльмен прочитал большую часть лучшей поэмы Леопарда, с особенным вниманием и даже с искренним удовольствием. Он умел в этой поэме оценить редкое дарование поэта. Он сочувствовал положению мальчика и даже его весьма основательным надеждам и, при прощании, сказал ему:

– Если я, как человек, занимающийся исключительно торговлей, напечатаю эту поэму собственно для вас, тогда мне придется понести величайший убыток. Если б я вздумал издавать книги из одного сочувствия к авторам, то, поверьте, я давно бы разорился. Но положим, что, убежденный из этой поэмы в действительности ваших дарований, я напечатаю ее, не как обыкновенный торгаш, а как любитель литературы, то мне кажется, что и тогда я, вместо услуги, сделаю вам величайший вред и, может статься, совершенно отвлеку вас на всю жизнь от занятий, на которых должна основываться ваша будущность.

– Каким же это образом, сэр? спросил Леонард. – Я вовсе не хочу, чтобы из за меня вы понесли потери, прибавил он.

И в глазах его навернулись слезы: гордость его была затронута.

– Вы хотите знать, мой молодой друг, каким образом? Я сейчас объясню вам. В этих стихах обнаруживается столько таланта, что многие наши журналы дадут о них весьма лестные отзывы. Вы прочитаете эти отзывы, сочтете себя за провозглашенного поэта и с восторгом воскликнете:

– Теперь я на дороге к славе.

Вы придете ко мне и спросите:

– Ну, что, какво идет моя поэма?

Я укажу вам на полку, изгибающуюся под тяжестью вашей поэмы, и отвечу:

– Не продано еще и двадцати экземпляров! Журналы могут похвалить, но публику не заставишь покупать то, что ей не нравится.

– Но вы могли бы доставить мне известность, скажете вы.

– Да, конечно, я мог бы доставить вам такую известность, которой было бы весьма достаточно, чтоб пробудить в каждом практическом человеке нерасположение отдать настоящую цену вашим талантам, применяя их к какомунибудь занятию в жизни положительной – заметьте, что никто не любит принимать к себе в службу поэтов; я мог бы доставить вам имя, которое ни гроша не принесет вашему карману, – даже хуже: оно будет служить преградой ко всем тем путям, где люди приобретают богатство. Испытавши раз всю прелесть похвалы своим талантам, вы не перестанете вздыхать о них. Быть может, в другой раз, вы уже не явитесь к издателю с просьбою напечатать поэму, а напротив, будете стре-



миться к музам, станете мараить чтонибудь для периодических журналов и наконец обратитесь в труженика для какогонибудь книгопродавца. Выгоды будут до такой степени неверны и ненадежны, что избежать долгов не будет никакой возможности; после того, вы, который считал себя таким умницей, таким гордым, погрузитесь еще глубже в литературного нищего, будете просить, занимать....

– Никогда! никогда! никогда! вскричал Леонард, закрывая лицо обеими руками.

– Такая точно была и моя карьера, продолжал издатель. – Но, к счастью, я имел богатого родственника, купца, которого ремесло я, будучи еще мальчиком, ненавидел. Он великодушно простил мое заблуждение, принял меня в число своих прикащиков, и вот как видите, теперь я могу и сочинять книги и продавать их. Молодой человек, у вас должны быть почтенные родственники: поступайте по их совету – примитесь за какоенибудь дельное занятие. Будьте в этом городе чемнибудь, но не поэтом по призванию.

– Но каким же образом, сэр, существовали у нас другие поэты? Неужли все они имели другие призвания?

– Читайте их биографии и потом завидуйте им.

Леонард с минуту оставался безмолвным, и, после того, приподняв голову, он отвечал громко и быстро:

– Я уже читал их биографии. Правда, их участь – нищета, быть может, голод; но все же, сэр, я завидую им!

– Нищета и голод – это еще небольшие несчастья, отвечал

книгопродавец, с серьёзной, но вместе с тем и снисходительной улыбкой. – Бывают несчастья и хуже этих, как-то: долги, тюрьма и... отчаяние.

– Нет, сэр, этого не может быть, вы преувеличиваете: отчаяние никогда не выпадает на долю всех поэтов.

– Справедливо, потому что большая часть наших знаменитейших поэтов имели свои собственные средства, которые обеспечивали их существование. Что касается других, то, конечно, не всем выпадал из этой лотереи пустой билет. Но скажите, какой человек посоветует своему ближнему поставить свою надежду на приобретение богатства на неверный случай выиграть в лотерее богатый приз? И в какой еще лотерее! прибавил книгопродавец, бросив печальный взгляд на целые кипы мертвых авторов, тяготивших полки, как свинец.

Леонард схватил свои рукописи, прижал их к сердцу и почти бегом вышел из лавки.

– Да, говорил он, в то время, как Гэлен, прильнув к нему, старалась утешить его: – да, ты была права, Гэлен: Лондон обширный, очень сильный и жестокий город.

И голова его ниже и ниже склонялась на грудь.

Но вдруг дверь в их комнату растворилась, и в нее, без всякого предупреждения, вошел доктор Морган.

Гэлен повернулась к нему, и при виде лица его, она вспомнила о своем отце. Слезы, подавленные из сожаления к Леонарду, полились ручьем.

Добрый доктор очень скоро приобрел всю откровенность этих двух юных сердец. Выслушав рассказ Леонарда о его потерянном рае в течение минувшего дня, он ласково потрепал его по плечу и сказал:

– Не унывай, мой друг; приходи ко мне в понедельник, и тогда мы посмотрим, как лучше поправить дело. Между тем возьми от меня вот это.

И доктор хотел было всунуть в руки юноши три соверена. Негодование отразилось на лице Леонарда. Предостережение книгопродавца как молния блеснуло перед ним. «Нищенство!» О, нет, он еще не дошел до этой степени!» Его отказ принять деньги был даже очень груб; но, несмотря на то, расположение доктора нисколько не уменьшилось от этого.

– Ты, любезный мой, упрям как выучный мул, сказал го-меопат, весьма неохотно помещая в карман соверены. – Скажи по крайней мере, не хочешь ли ты заняться чемнибудь практически-прозаическим и оставить на время поэзию свою в покое?

– До, отвечал Леонард, довольно сухо: – я хочу трудиться.

– И прекрасно! Я знаю одного честного книгопродавца, который может доставить тебе какоенибудь занятие. Во всяком случае, ты будешь находиться между книгами, а это в своем роде утешение.

Глаза Леонарда загорелись.

– Сэр, это для меня будет величайшим утешением.

И он прижал к признательному сердцу своему руку, кото-

рую за минуту перед этим оттолкнул с негодованием.

– Неужели и в самом деле ты чувствуешь сильное расположение писать стихи?

– Это истина, сэр.

– Весьма нехороший симптом: необходимо нужно прекратить дальнейшее его развитие! Вот это прекрасное и между тем новейшее средство, я излечил им трех безумных мечтателей и десять поэтов.

Говоря это, он вынул из кармана походную аптеку и взял оттуда несколько крупинок.

– *Agaricus muscarius* в стакане очищенной воды; принимать по чайной ложке при первом появлении припадка. Поверите ли, сэр, это средство излечило бы самого Мильтона. Что касается до вас, дитя мое, сказал он, обращаясь к Гэлен: – я отыскал почтенную лэди, которая будет весьма великодушна к вам. Вы не будете находиться у неё в услужении. Она нуждается в девице, которая могла бы читать для неё и находиться при ней. Она стара и не имеет детей. Словом сказать, ей нужна компаньонка, и для этого она ищет девицы не старше вашего возраста. Нравится ли вам это предложение?

Леонард удалился в противоположный угол.

Гэлен прильнула к уху доктора и прошептала;

– Нет, сэр, в настоящее время я не могу оставить его: видите сами, какой он печальный.

– Клянусь Юпитером! в полголоса произнес доктор: –

вы, должно быть, читали «Павла и Виргинию». Если бы мне можно было остаться на некоторое время в Англии, я непременно постарался бы узнать, какое лучшее средство употребить в этом случае – интереснейший опыт! Выслушайте меня, моя милая, а вам, милостивый государь, не угодно ли выйти из комнаты.

Леонард, отвернув в сторону лицо, повиновался. Гэлен сделала невольный шаг, чтобы выйти вслед за ним; но доктор удержал ее.

– Как зовут тебя, дитя мое? я забыл твое имя.

– Гэлен.

– Так послушай же, Гэлен. Через год, много через два ты сделаешься взрослой девушкой, как говорится, невестой, и тогда неблагоразумно было бы жить тебе вместе с этим молодым человеком. Между тем ты не имеешь, душа моя, никакого права разрушать энергию в молодом человеке. Нельзя допускать, чтобы он постоянно поддерживал тебя своими плечами: они потеряют свою натуральную силу и мощность. Я уезжаю за границу, и когда уеду, то уже никто не поможет тебе, если ты отвергнешь друга, которого я предлагаю. Пожалуйста, сделай так, как я советую; маленькая девочка с таким чувствительным сердцем не может иметь упрямства или эгоизма.

– Дайте мне сначала увидеть его, что он обеспечен и счастлив, твердо сказала Гэлен: – и тогда я пойду куда вам угодно.

– Это непременно будет сделано. И завтра, когда его не бу-

дет дома, я приеду и увезу тебя. Я знаю, ничего не может быть грустнее разлуки: она расстроивает нервную систему и служит к одному только ущербу животной экономии.

Гэлен громко заплакала. Освободясь от руки доктора, она громко воскликнула:

– Но, вероятно, вы скажете ему, где я буду находиться? Вероятно, нам будет позволено видеться друг с другом? Ах, сэръ, вы не знаете, что первая встреча наша была на могиле моего отца, как будто само Небо послало его мне. Ради Бога, не разлучайте нас навсегда.

– У меня было бы каменное сердце, еслибы я сделал это, отвечал доктор, с горячностью. – Я уверен, что мисс Старк позволит ему видеться с тобой по крайней мере раз в неделю. Я дам ей несколько крупинок, которые, принудят ее сделать это. Надобно сказать правду, она от природы равнодушна к страданиям ближнего. Но я постараюсь изменить всю её организацию и пробудить в ней чувство сострадания: стоит только пустить в дело *rhododendron*.

## Глава LIV

До ухода своего, доктор Морган написал несколько строчек к мистеру Приккету, лондонскому Книгопродавцу, и приказал Леонарду доставить эту записку по адресу.

– Сегодня я сам побываю у Приккета и приготовлю его к вашему посещению. Впрочем, я надеюсь и уверен, что вы пробудете у него всего несколько дней.

После этого он переменял разговор, чтоб сообщить свои планы насчет Гэлен.

Мисс Старк жила в Хэйгете, была очень достойная женщина, строгая к самой себе и чрезвычайно аккуратная – качества, свойственные вообще всем устарелым девицам. Жизнь в её доме как нельзя более соответствовала Гэлен, тем более, что Леонарду обещано было позволение видаться с своей подругой.

Леонард выслушал доктора, не сделав никаких возражений; впрочем, теперь, когда повседневные мечты его были рассеяны, он уже не имел права считать себя покровителем Гэлен. Он мог бы предложить ей разделить его богатство, его славу, – но нищету, труженичество – никогда!

Для молодого авантюриста и простодушного ребенка наступил самый печальный вечер. Они сидели до поздней ночи, до тех пор, пока не догорела вся светильня сальной свечи: беседа их не была многоречива, но в течение её рука Гэ-

лен лежала в руке Леонарда, и голова её покоилась на его плече. Я боюсь, что наступившая ночь не принесла для них отрадного сна.

И поутру, когда Леонард вышел из дому, Гэлен стояла на крыльце и долго, долго следила за его удалением. Без всякого сомнения, в том переулке, где жили молодые люди, много было сердец, угнетенных печалью, но ни одного столь унылого, как сердце непорочного ребенка, особливо в ту минуту, когда любимый образ скрылся из виду. Гэлен долго стояла на опустелом крыльечке; она пристально смотрела в даль, но там все было пусто, безотраднo.

Мистер Приккет был одним из усерднейших почитателей гомеопатии и утверждал, к величайшему негодованию всего медицинского сословия, наполнявшего Голборн, что доктор Морган излечил его от хронического ревматизма. Добряк доктор, оставив Леонарда, посетил, согласно своему обещанию, мистера Приккета и просил у него, как милости, дать юноше необременительное занятие, которое могло бы доставить ему небольшое содержание.

– Это не будет надолго, сказал доктор: – его родственники люди почтенные и имеют хорошее состояние. Я напишу к его деду и через несколько дней надеюсь освободить вас от этого бремени. Само собою разумеется, если вы не желаете принять его на этих условиях, я готов заплатить вам за все издержки на его содержание.

Приготовленный таким образом, мистер Приккет принял



Леонарда весьма радушно и, после нескольких вопросов, объявил ему, что он давно уже искал подобного человека для приведения в порядок своих каталогов, и за это занятие предложил фунт стерлингов в неделю.

Брошенный так неожиданно в книжный мир, обширнейший в сравнении с тем, к которому деревенский юноша имел когда либо доступ, он почувствовал во всей силе неутолимую жажду к познаниям, из которой возникла и самая поэзия. Коллекция мистера Приккета не была многочисленна, но зато она состояла не только из главнейших произведений английской литературы, но из многих весьма любопытных и редких ученых книг. Леонард не спешил составлением каталога: он просматривал содержание каждого тома, прошедшего через его руки. Книгопродавец, большой любитель старинных книг, с особенным удовольствием замечал сходство чувств своих с наклонностями нового помощника, чего не обнаруживалось ни в одном из его прикащиков; он часто беседовал с ним о драгоценных изданиях и редких экземплярах и посвящал Леонарда в тайны опытного библиографа.

Ничто, по видимому, не могло быть мрачнее книжной лавки мистера Приккета. Снаружи её находился прилавок, на котором разложены были дешевые книги и разноцветные томы, и около которого всегда толпились группы любопытных; внутри газовый фонарь горел ночь и день.

Для Леонарда время проходило чрезвычайно быстро. Он уже не думал более о цветущих лугах, забыл свои неуда-

чи и реже стал вспоминать о Гэлен. Такова жажда познания! Что может сравниться с силой твоей и с преданностью, которую ты пробуждаешь к себе в душе молодого человека?

Мистер Приккет был старый холостяк и часто приглашал Леонарда разделить его скромную трапезу. В течение обеда наблюдение за лавкой поручалось прикащику. Мистер Криккет был приятный и словоохотливый собеседник. Он от души полюбил Леонарда, и Леонард не замедлил рассказать ему свои предприятия в отношении лондонских издателей; при чем мистер Криккет, в избытке удовольствия, потирал себе руки и смеялся от чистого сердца, как будто ему рассказывали какую нибудь забавную историю.

– Бросьте вы вашу поэзию, молодой человек, и посвятите себя занятиям в книжной лавке, сказал он, когда Леонард кончил свою исповедь: – а чтоб излечить вас совершенно от сумасбродной мысли сделаться сочинителем, я дам вам на время «Жизнь и творения Чаттертона». Вы можете взять эту книгу с собой на дом и понемногу прочитывать на сон грядущий. Я уверен, что завтра же вы явитесь ко мне совсем другим человеком.

Уже поздно вечером, когда лавку запирали на ночь, Леонард возвратился на квартиру. При входе в свою комнату, он поражен был в самое сердце безмолвием и пустотой. Гэлен уже не было!

На письменном столе стоял розовый куст и подле него лоскуток бумаги, с следующими словами:

*«Милый, неоцененный брат Леонард! Бог да благословит тебя! Я непременно напишу тебе, когда нам можно будет свидеться. Побереги этот цветок, милый мой брат, и не забудь бедную*

*Гэлен.»*

Над словом *не забудь* находилось выпуклое пятно, которым уничтожалось это слово.

Леонард склонил лицо свое на обе руки и в первый раз в жизни узнал на самом деле, что значит одиночество. Он не мог более оставаться в своей комнате. Он вышел из дому и без всякой цели бродил по улицам. То удалялся он в спокойные части города, то мешался с толпами людей, как в муравейнике снующих по многолюднейшим улицам. Сотни и тысячи проходили мимо, но одиночество как тяжелый камень давило его.

Наконец он воротился домой, зажег свечу и с решаемостью принялся читать «Чаттертона». Это было старинное издание и все сочинение заключалось в одном толстом томе. Очевидно было, что книга принадлежала кому нибудь из современников поэта и вдобавок жителю Бристоля, человеку, который собрал множество анекдотов касательно привычек Чаттертона, и который, по видимому, не только видал его, но и беседовал с ним. Книга переложена была листами писчей бумаги, покрытыми выписками и заметками, доказывавшими личное знакомство с несчастным певцом. Сначала Леонард читал с усилием; но потом биография поэта

начала производить на юношу какие-то странные и сильные чары. Леонард находился под влиянием мучительного ощущения: уныния и ужаса. Чаттертон, одних лет с Леонардом, умирает самым жалким образом. Этот удивительный мальчик – гений выше всякого сравнения, который когда либо развивался и исчезал в восемнадцатилетнем возрасте, гений, сам себя образовавший, сам себя повергнувший в борьбу, сам себя сокрушивший. Можно себе представить, как все это интересовало Леонарда!

С глубоким вниманием Леонард прочитал период блестящего подражания, которое так жестоко и так несправедливо истолковано было в дурную сторону, принято за преступную подделку, и которое если и не было совершенно невинно, зато имело весьма близкое сходство с литературными произведениями, во всех других случаях принимаемыми весьма снисходительно, а в этом случае обнаруживающими умственные дарования до такой степени удивительные, такое терпение, такую предусмотрительность, такой труд, бодрость духа и такие обширные способности, которые, при хорошем направлении, часто делают людей великими не только в литературе, но и в общественном быту. Окончив период подражания и перейдя к самим поэмам, молодой читатель преклонялся перед их красотой и величием, буквально, притаив дыхание. Каким образом этот странный бристольский юноша укрощал и приводил в порядок свои грубые и разнообразные материалы в музыку, заключавшую в себе все тоны

и ноты, от самых низких до самых возвышенных? Леонард снова обратился к биографии, снова прочитывал ее: он видел в ней гордого, отважного, убитого духом молодого человека, одинокого, подобно ему самому, внутри громадной столицы. Он следил за каждым шагом в его несчастной карьере: видел, как она с избитыми и отяжелевшими крыльями погрузилась в грязь, – потом обращался к последним его сочинениям, написанным из за куска насущного хлеба, к сатирам, неимеющим морального достоинства, к поэмам, непроникнутым сердечною теплотою. Читая эти места, Леонард трепетал: он испытывал какое-то болезненное чувство. Правда, даже и в этих местах его поэтическая душа открывала (что доступно, мне кажется, для одних только поэтов) небесный огонь, который от времени до времени выбрасывал пламя из простого, грязного топлива. Леонард видел в них неотделанные, торопливые, горькия приношения ужасной нужде, видел руку гиганта-юноши, созидавшего величественные стихи Роулея. Но – увы! – какая ощутительная разница усматривалась в холодном подражании с звучными стихами знаменитого поэта! Все спокойствие и радость как будто улетели из этих последних произведений юного поэта, доведенного неумолимой нуждой до поденщины. Ужасная катастрофа быстро приближалась.... Воображение Леонарда рисовало бедную комнату, с запертыми дверями, отчаяние, смерть, разорванные рукописи вокруг несчастного трупа. Картина ужасная! Призрак титана-юноши, с его гордым

челом, его цинической улыбкой, его светлыми взорами, тревожил в течение всей ночи смущенного и одинокого юношу-поэта.

Иногда случается, что примеры, которые должны бы отворачивать человека от некоторых исключительных наклонностей, производят совершенно обратное действие. Так точно и теперь: судьба Чаттертона заронила в душу Леонарда темную мысль, которая безвыходно осталась там, как бледный, зловещий призрак, собирая вокруг себя облака мрачнее и мрачнее. В характере покойного поэта, его тяжелых испытаниях, его судьбе было многое, что являлось Леонарду как смелая и колоссальная тень его самого и его судьбы! Книгопродавец в одном отношении сказал истину: Леонард явился к нему на следующий день совершенно другим человеком. Лишившись Гэлен, Леонарду казалось, что он лишился в ней ангела-хранителя.

«О, если бы она была при мне! – думал он. – Если бы я мог чувствовать прикосновение её руки, если бы, взглянув на гибельное и мрачное разрушение этой жизни, так быстро возвысившейся над обыкновенным уровнем, так самонадеянно созидавшей столп, чтоб спастись от потопа, – её кроткий взор говорил мне о непорочном, смиренном, невозмутимом детстве! Если бы я мог быть необходимым для неё, быть её единственным попечителем, тогда бы я смело сказал себе: «ты не должен отчаиваться и помышлять о смерти! ты должен бороться со всеми неудачами, чтобы жить

для неё!» Но нет! нет! Только подумать об этом огромном и ужасном городе, об этом одиночестве на скучном чердаке, об этих сверкающих взорах, которые представляются мне на каждом шагу....»

## Глава LV

В назначенный понедельник, оборванный лакей доктора Моргана отпер дверь молодому человеку, в котором он не узнал прежнего посетителя. За несколько дней перед тем Леонард стоял на пороге цветущий здоровьем, с спокойной душой, отражавшейся в его светлых взорах, с доверчивой, беспечной улыбкой на лице. Теперь он опять находился на том же пороге, бледный и изнуренный; полные щоки его впали, на них образовались линии, так верно говорившие о ночах, проведенных в бессоннице, о продолжительных размышлениях; мрачное уныние тяжелым камнем лежало на нем.

– Я пришел сюда по назначению, угрюмо сказал юноша, в то время, как лакей, остановившись в дверях, не знал что ему делать, впустить молодого человека или нет.

При этих словах Леонарда, он решился дать ему дорогу.

– Мой барин ушел сию минуту к пациенту. Не угодно ли вам, сэр, подождать немного?

И вместе с этим он проводил Леонарда в небольшую комнату. Через несколько минут были впущены еще два пациента. Это были женщины, и между ними завязался громкий разговор. Они встревожили размышления Леонарда, неимевшие ничего общего с действительным миром. Он заметил, что дверь в кабинет доктора была отворена, и, не имея ни ма-



лейшего понятия об этикете, по которому для постороннего человека подобные комнаты остаются неприкосновенными, он вошел туда, чтобы избавиться от болтовни. Леонард опустил на любимое кресло доктора и начал рассуждать про себя:

«К чему он велел мне явиться? Что нового он может придумать для меня? Если он хочет оказать мне милость, то следовало бы узнать сначала, приму ли я ее. Он доставил мне случай выработать насущный хлеб, – и это все, на что я мог иметь право, все, что я решился принять.»

Ко время этого монолога, глаза его остановились на письме, лежавшем на столе. Леонард вскочил с кресла. Он узнал почерк. Это тот же самый почерк, которым написано было письмо к его матери с приложенной к нему ассигнацией в пятьдесят фунгов. Письмо от его деда и бабушки. Он заметил свое имя, он увидел еще более: увидел слова, от которых биение сердца его прекратилось, и кровь в его жилах, по видимому, оледенела. В то время, как он стоял, приведенный в ужас, на письмо опустилась рука доктора, и вместе с тем раздался громкий и сердитый голос:

– Как ты смел войти в мой кабинет и читать мои письма? Э!

Леонард нисколько не смутился твердо положил свою руку на руку доктора и, полный негодования, сказал:

– Это письмо касается меня оно принадлежит мне.... уничтожает меня. Я довольно заметил из него, чтоб иметь право

говорить вам это. Я требую его от вас: я должен узнать все.

Доктор оглянулся и, заметив, что дверь в кабинет была открыта, толкнул ее ногой.

– Скажи мне правду: что ты успел прочитать из этого письма? сказал он с гневом.

– Только две строчки, в которых я назван... я назван. ж...

И Леопард затрепетал всем телом. Вены на лбу его посинели от налившейся крови. Он не мог досказать своего признания. Казалось, что в голове его бушевал океан, ревущие волны которого оглушали его. Доктор с первого взгляда увидел, что Леонард находился в опасном положении, и потому поспешил успокоить его нежными словами: – присядь – мой друг – присядь – успокойся – ты все узнаешь – выпей сначала вот этой воды, – и вместе с этим он налил в стакан холодной воды несколько капель из крошечной стекляночки.

Леонард механически повиновался: он едва держался на ногах. Глаза его сомкнулись, и в течение двух-трех минут казалось, что жизнь отлетела от него. Мало по малу он пришел в чувство и увидел доктора, взоры которого устремлены были на него и выражали самое глубокое сострадание. Леонард молча протянул руку к письму.

– Повремени еще несколько секунд, заметил доктор, с видом предостережения: – а между тем выслушай меня. Я считаю за величайшее несчастье случай, по которому ты увидел это письмо. Этому письму ни под каким видом не предназначалось встретиться с твоими взорами: тайна, о кото-

рой упоминается в нем, никогда бы не должна быть знакома тебе. Но если мне придется объяснить тебе многое, даешь ли ты честное слово свято сохранить от мистрис Ферфильд, от Эвенелей, – от всех решительно, – то, что я открою тебе. Я сам дал клятву хранить эту тайну, и потому не иначе могу сообщить ее тебе, как на тех же условиях.

– В этой тайне, произнес Леонард инстинктивно и с горькой улыбкой:– в этой тайне, по видимому, нет ничего, чем мог бы я с гордостью похвалиться. Да, конечно! я обещаю вам, доктор; но письмо дайте мне письмо!

Доктор передал его в правую руку Леонарда и в ту же минуту преспокойно взялся за пульс левой руки.

– Ну, слава Богу! произнес он про себя:– пульс упадет. Удивительная вещь этот *аконит!* – драгоценное средство!

Между тем Леонард читал следующее:

*«Милостивый государь! я получила ваше письмо в надлежащее время и очень радуюсь, что бедный юноша находится в добром здравьи. К сожалению моему, должна я сказать вам, что он поступил весьма нехорошо, выказав всю свою неблагодарность к моему доброму сыну Ричарду, который делает честь всей нашей фамилии, – сделался сам джентльменом и был так великодушен к мальчику, не зная, кто и что такое этот мальчик. С той поры я не хочу видеть этого неблагодарного мальчишку. Бедный Джон был болен и сильно беспокоился в течение нескольких дней. Вы знаете, что Джон теперь жалкое создание –*

он весь разбит параличем – ни о чем не говорит больше, как только о Норе и о том, и что глаза у этого мальчика точь-в-точь как у его матери. Я не могу, ни за что на свете не могу видеть этого негодяя! Он не может, не должен приехать сюда – ради Бога! вы и не просите об этом. Возможно ли допустить внести позор в такое почтенное семейство, как наше!.. Оставьте его там, где он находится теперь; отдайте его в ученики к какому нибудь мастеру. Я с своей стороны готова платить за него, – но немного.... Вы пишете, сэр, что он очень умен и способен к наукам; то же самое говорил нам и пастор Дэль и хотел определить его в университет, хотел сделать из него порядочного человека. Но тогда бы наша тайна неизбежно обнаружилась. Это непременно убило бы меня, я не могла бы спокойно лежать в моей могиле. Нора служила нам радостью, утешением: мы, грешные люди, гордились ею. Нору, доброе имя которой мы успели сохранить, уже нет давно, на этом свете. А Ричард, который держит себя так высоко, и который так нежно любил бедную Нору, он потерял бы о себе высокое мнение.... Ради Бога, не позволяйте этой дряни высовываться в люди. Пусть он будет лавочником, чем мы и сами были, – пусть выберет себе предмет торговли, какой ему угодно, и не тревожит нас в течение всей своей жизни. Тогда я готова молиться за него и пожелать ему всякого счастья. Мы и без того уже узнали, что значит воспитывать детей выше

*положения, какое они должны занимать в обществе! Нора, как я часто говаривала, но воспитанию была первейшая лэди из нашего округа – о! зато как же мы и наказаны! и наказаны справедливо!.. Итак, сэр, я предоставляю все вашему усмотрению, и чего будет стоить содержание мальчика, я заплачу. Не забудьте, однако, что тайна должна сохраняться, Мы ничего не слышим об отце и до сих пор никто не знает, что Нора имела сына, – никто, кроме меня, моей дочери Джэн, мистера Дэля и вас; а вы оба джентльмены прекрасные, – Дукэн сдержит свое слово, – я стара и скоро надеюсь лечь в могилу не ранее, впрочем, того, как бедный Джон не будет нуждаться в моих услугах. Да и что он может сделать без меня?... А если эта тайна разнесется в народе, то это совершенно убьет меня. Писать больше нечего. Остаюсь с истинным почтением*

*М. Эвенель.»*

Леонард очень спокойно положил письмо; исключая легкого колебания груди и мертвенной бледности губ, незаметно было в нем душевного волнения. Доказательством тому, сколько добрых чувств находилось в душе его, может служить то, что первые слова, сказанные им, были: «Слава Богу!»

Доктор, неожиданный подобного выражения признательности, приведен был в крайнее недоумение.

– Что значит это восклицание? спросил он.

– Мне не о чем сожалеть и нечего извинять женщине, ко-

торуя я любил и почитал как мать. Я не её сын... я...

И Леонард вдруг остановился.

– Я догадываюсь, что ты хотел сказать: это неправда. Ты не должен судить строго о своей родной матери – о бедной Норе!

Леонард молчал и потом горько заплакал.

– О, моя родная, моя покойная мать! ты, к которой я питал в душе таинственную любовь, – ты, от которой я получил эту поэтическую душу, прости, прости меня!.. Быть строгим к тебе! нет, нет! О! еслиб ты жила еще, чтоб видеть ласки и любовь твоего сына! Я понимаю, как много горестей, страданий перенесла ты в этом мире!

Эти слова произнесены были несвязно, сквозь рыдания, выходявшие из глубины его сердца. Вслед за тем он снова взял письмо, и чувства и мысли его приняли совершенно другое направление, когда взоры его встретились со словами, выражавшими стыд и опасение писавшей, как будто она стыдилась и боялась его существования. Вся его врожденная гордость возвратилась к нему. Он принял серьезный вид; слезы его высохли.

– Напишите ей, сказал он твердым голосом: – напишите мистрис Эвенель, что я повинуюсь её воле – что я никогда не буду искать её крова, никогда не перейду ей дороги, не нанесу бесчестья её богатому сыну. Но скажите ей также, что я сам, по собственному моему произволу, выберу себе дорогу в жизни. Я не возьму от неё ни гроша, чтоб скрывать то,

что считает она позором. Скажите ей, что я не имею теперь имени, но приобрету его.

Приобрету имя! Была ли это пустая похвала, или это был один из тех проблесков истинного убеждения, которые никогда не обманывают, которые, как молния, освещают на одно мгновение нашу будущность и потом исчезают в непроливаемом мраке?

– Я нисколько не сомневаюсь в том, мой отважный друг, сказал доктор Морган, который, вместе с тем, как чувства его волновались сильнее и сильнее, становился валлийцем до того, что начал примешивать в разговор слова из родного наречия: – я надеюсь даже, что современем ты отыщешь своего отца, который

– Отца... кто он... и что он? Значит он жив еще!.. Но он отказался от меня... Самый закон не дает мне отца.

Последние слова были сказаны с горькой улыбкой.

– Впрочем, я должен узнать его, сказал Леонард, после минутного молчания и более спокойным голосом: – это будет другое лицо, которому я не должен переступать дороги.

Доктор Морган находился в замешательстве. Он не отвечал на слова Леонарда и задумался.

– Да, сказал он наконец: – ты узнал так много, что я не вижу причины скрывать от тебя остальное.

И доктор начал рассказывать все подробности. Мы повторим его рассказ в более сокращенном виде.

Нора Эвенель в самых молодых годах оставила свою род-

ную деревню, или, вернее сказать, дом лэди Лэнсмер, и отправилась в Лондон, с тем, чтоб получить там место гувернантки или компаньонки. Однажды вечером она неожиданно явилась в дом отца своего и, при встрече своих взоров с лицом матери, без чувств упала на пол. Ее снесли в постель. Послали за доктором Морганом, бывшим тогда главным городским медиком. В ту ночь Леонард явился на свет, а его мать умерла. С минуты появления в родительском доме, Нора не приходила в чувство, не могла произнести ни слова и потому не могла назвать твоего отца – сказал доктор Морган. – Из нас никто не мог догадаться, кто он был.

– Каким же образом, вскричал Леонард, с негодованием: – как смели они позорить эту несчастную мать? Почему они знали, что я родился не после брака.

– Потому, что на руке Норы не было обручального кольца, – не было никаких слухов о её браке. её странное появление в родительском доме, её душевное волнение при входе в этот дом казались так ненатуральными, что все это говорило против неё. Мистер Эвенель считал эти доказательства весьма основательными, – я с своей стороны, тоже. Ты имеешь полное право полагать, что приговор наш был слишком строг: быть может, это и правда.

– Неужели после этого не сделано было никаких осведомлений? спросил Леонард, с глубокой грустью и после продолжительного молчания: – никаких осведомлений, кто такой был отец осиротевшего ребенка?



– Осведомлении! Мистрисс Эвенель согласилась бы лучше умереть, чем начать осведомления. Натура твоей бабушки чересчур суровая. Еслиб она происходила от самого Кадвалладера, то и тогда она не страшилась бы так позора. Даже над трупом своей дочери, – дочери, которую она любила более всего на свете, она думала только о том, как бы спасти имя и память этой несчастной от бесчестия. К счастью, что в доме Эвенеля не было посторонних ни души, кроме Марка Ферфильда и его жены (сестры Нору): они только что приехали погостить. Мистрисс Ферфильд нянчила своего двух или трехмесячного ребенка. Она взяла тебя на свое попечение. Нору похоронили и сохранили тайну. Никто из семейства не знал об этом, кроме меня и городского пастора, мистера Дэля. На другой день твоего рождения, мистрисс Ферфильд, чтобы устранить малейшее подозрение и не подать повода к открытию, уехала в отдаленную деревню. Ребенок её умер там, и, по возвращении в Гэзельден, где поселился её муж, они выдавали тебя за своего сына. Марк, я знаю, во всех отношениях заменял тебе родного отца: он очень любил Нору; да и как было не любить? почти все детство они провели на глазах друг друга.

«И она приехала в Лондон, говорил Леонард про себя. – Лондон сильный и жестокий город. Она не имела здесь друзей, и ее обманули. Теперь я все вижу, больше мне ничего не нужно знать. Этот отец – о! он должен иметь величайшее сходство с теми отцами, о которых я читал в романах. По-

любить и потом оскорбить ее – это я могу представить себе; мало того: оставить ее, бросить, не взглянуть на её могилу, не знать угрызения совести, не отыскать своего родного дитища – это так верно. Мистрисс Эвенель была права. Не будемте больше и думать о *нем*.»

В эту минуту в дверь кабинета постучался лакей и вслед за тем просунул в нее голову.

– Сэр, сказал он: – лэди ждут вас с нетерпением: они говорят, что сию минуту уйдут.

– Простите меня, сэр: я так много отнял у вас времени, сказал Леонард, обращаясь к окружавшим его предметам, с странным спокойствием. – Теперь мне можно уйти. Поверьте, я ни слова не скажу ни моей ма... то есть ни мистрисс Ферфильд и никому другому. Так или иначе, но я постараюсь сам проложить себе дорогу. Если мистеру Приккету угодно будет держать меня, то я останусь у него еще на некоторое время; но повторяю, что я решительно отказываюсь принимать деньги от мистрисс Эвенель и не хочу сделаться какимнибудь подмастерьем. Сэр! вы были весьма великодушны ко мне: да наградит вас Бог за ваше великодушие.

Доктор был слишком расстроган, чтобы сделать на это какоенибудь возражение. От искреннего сердца он пожал руку Леонарду, и спустя минуту дверь его дома затворилась за безродным юношей. Леонард остановился на улице. Теперь он был совершенно одинок. Только красное, пылающее солнце озаряло его.

## Глава LVI

В этот день Леонард не являлся в лавку мистера Приккета. Не считаю нужным говорить здесь, где он скитался в течение этого дня, что выстрадал, что передумал, что ощущал. В душе его бушевала буря. Уже поздно вечером возвратился он в свою одинокую квартиру. На столе, неубранном с самого утра, стояло розовое дерево Гэлен. Листья его опустились: оно просило воды. Болезненное чувство сжало сердце Леонарда: он полил бедное растение – чуть ли не своими слезами.

Между тем доктор Морган, после продолжительного размышления о том, уведомлять или нет мистрисс Эвенель об открытии, сделанном самим Леонардом, и его объяснении, решил пощадить ее от беспокойства и душевной тревоги, которые могли бы оказаться весьма опасными для её здоровья, – и притом он не видел в этом особенной необходимости. В немногих словах он ответил ей, что Леонард никогда не явится к ней в дом, что он отказался поступить в какое нибудь ученье, что в настоящее время он обеспечен, и наконец обещал ей написать из Германии, когда получит некоторые сведения от купца, к которому Леонард поступил в услужение. После этого он отправился к мистеру Приккету, убедил доброго книгопродавца оставить Леонарда еще на некоторое время, обращать на него внимание, на-

блюдать за его наклонностями и поведением и написать к себе на Рейн, в свое новое жилище, какое лучше всего занятие будет соответствовать Леонарду, и к чему он всего более будет способен. Великодушный валлиец принял на себя половину жалованья Леонарда и уплатил эту половину за несколько месяцев вперед. Правда, он знал, что мистрисс Эвенель, при первом требовании, возвратит эти деньги; но, судя по себе, он до такой степени понимал чувства Леонарда, что ему казалось, что он оскорбит юношу, если будет содержать его, хотя бы и в тайне, на деньги мистрисс Эвенель, — деньги, которые предназначались не возвысить, но унижить его в жизни. При том же сумма была так незначительна, что доктор мог уделить ее и сказать впоследствии, что он сам вывел юношу в люди.

Устроив таким образом, и устроив, как он полагал, превосходно, двух молодых людей, Леонарда и Гэлен, доктор Морган занялся окончательными приготовлениями к отъезду за границу. У мистера Приккета он оставил Леонарду коротенькую записку, заключающую несколько добрых советов и утешительных слов. В приписке доктор Морган упомянул, что касательно открытия, сделанного Леонардом, он не писал к мистрисс Эвенель ни слова, рассудив за лучшее оставить ее по этому предмету в совершенном неведении. К письму приложено было полдюжины миниатюрных порошков, с надписью: *«Вернейшее средство от уныния и для рассеяния всякого рода мрачных мыслей: каждый*

*порошок на стакан холодной воды и принимать через час по чайной ложке.»*

На другой день вечером доктор Морган, сопровождаемый своим любимым пациентом с хроническим тиком, которого он успел наконец уговорить на добровольное изгнание, находился на пароходе, отправлявшемся в Остенде.

Леонард по-прежнему начал продолжать свою жизнь в лавке мистера Приккета; но перемена в нем не скрылась от проницательного книгопродавца. Неподдельное простодушие исчезло в нем: он старался держать себя в отдалении и быть молчаливым; по видимому, он вдруг сделался многими годами старше своего возраста. Я не беру на себя труда метафизически анализировать эту перемену. С помощью выражений, которые по временам слетали с уст Леопарда, читатель может сам углубиться в сердце юноши и увидеть там, каким образом совершался процесс этой перемены и все еще продолжает совершаться. Счастливый своими мечтами, деревенский гений, смотревший на славу светлыми, выражавшими беспредельную надежду взорами, уже сделался совсем не тот. Это был человек, внезапно отторгнутый от семейных уз, – человек, окруженный со всех сторон преградами, одинокий в мире жестокой действительности и в суровом Лондоне! Если для него и мелькнет иногда потерянный Геликон, то, вместо Музы, он видит там бледный, печальный призрак, закрывающий от стыда лицо свое, – призрак несчастной матери, которой сын не имеет имени, – самого скромного име-

ни в кругу многочисленного человеческого семейства.

На другой вечер после отъезда мистера Моргана, в то время, как Леопард собирался уйти на квартиру, в лавку мистера Приккета вошел покупатель, с книгой в руке, которую он выхватил из рук прикащика, собиравшего с прилавка выставленные для продажи издания.

– Мистер Приккет! послушайте, мистер Приккет! сказал покупатель: – мне, право, стыдно за вас: вы хотите взять за это сочинение, в двух томах, восемь шиллингов.

Мистер Приккет выступил из киммерийского мрака, закрывавшего отдаленные пределы лавки.

– Ах, мистер Борлей! это вы? По голосу, мне бы ни за что не узнать вас.

– Человек все равно, что книга, мистер Приккет: обыкновенный люд судит о книге по её переплету; а я переплетен, как видите, довольно изящно.

Леонард взглянул на незнакомца, стоявшего под самой лампой, и ему показалось, что он узнал его. Он еще раз взглянул на него. Да, так точно: это был тот самый рыболов, которого он встретил на берегах Бренты, и который сообщил ему историю о потерянном окуне и оборванной удочке.

– Однако, мистер Приккет, продолжал Борлей: – скажите, по какому случаю вы назначили восемь шиллингов за «Науку Мышления».

– А что же, мистер Борлей! ведь это довольно дешевая цена: экземпляр очень чистенький.

– Помилуйте! после этого я смело могу назвать вас ростовщиком! Я продал вам эту книгу за три шиллинга. Ведь это выходит, что вы намерены получить на нее полтора ста процентов барыша.

– Неужели вы ее продали мне? сказал мистер Приккет, заметно колеблясь и выражая изумление. – Ах, да! теперь помню. Но ведь я заплатил вам более трех шиллингов. А два стакана грогу.... вы забыли?

– Гостеприимство, сэр, не должно быть продажным. А если вы торгуете своим гостеприимством, то не стоите того, чтобы иметь этот экземпляр. Я беру его обратно. Вот вам три шиллинга и еще шиллинг в придачу Впрочем, нет! вместо этого шиллинга, я возвращу вам ваше угощение: при первой удобной встрече со мной, вы получите два стакана грогу.

Мистеру Приккету не нравилась эта выходка; но он не сделал никакого возражения. Мистер Борлей сунул книги в карман и повернулся рассматривать полки. Он сторговал старинную юмористическую книгу, разрозненный том комедий и анекдотов Десиума, заплатил за них, положил в другой карман и уже намерен был выйти из лавки, как вдруг увидел Леонарда, стоявшего в самых дверях.

– Гм! Кто это такой? шепотом спросил он мистера Приккета.

– Молодой и весьма умный помощник мой.

Мистер Борлей осмотрел Леонарда с головы до ног.

– Мы встречались с вами прежде, сэр. Но теперь вы, ка-

жется, как будто возвратились на Брент и ловите моего окуня.

– Очень может быть, отвечал Леонард:– только с той разницей, что леса моя натянута, но еще не оборвана, хотя окунь таскает ее в тростнике и прячется в тине.

Вместе с этим Леонард приподнял свою шляпу, слегка поклонился и ушел.

– Он очень умен, сказал мистер Борлей книгопродавцу:– он понимает аллегорию.

– Бедный юноша! явился в Лондон с намерением сделаться сочинителем; а вам известно, мистер Борлей, что значит сделаться сочинителем.

– Да, господин книгопродавец, известно! возразил Борлей, с видом полного сознания собственного своего достоинства. – Сочинитель есть существо среднее между людьми и богами, – существо, которое должно жить в великолепном дворце, питаться на счет публики ортоланами и пить токайское вино. Он должен нежиться на пуховых оттоманах и закрываться драгоценными тканями от житейских забот и треволнений, ничего не делать, как только сочинять книги на кедровых столах и удить окуня с кормы позлащенной галеры. Поверьте, что эта счастливая пора наступит, когда пройдут века и люди сбросят с себя варваризм. Между тем, сэръ, приглашаю вас в мои палаты, где намерен угостить вас превосходным грогом, на сколько станет моих денег; а когда они выйдут все, надеюсь, что вы в свою очередь угостите ме-



ня.

– Нечего сказать, большой тут барыш, проворчал мистер Приккет в то время, как мистер Борлей, высоко вздернув нос, вышел из лавки.

В первое время своего пребывания в лавке, Леонард обыкновенно возвращался домой по самым многолюдным улицам: столкновение с народом ободряло его и в некоторой степени одушевляло. Но с того дня, когда обнаружилась история его происхождения, он направлял свой путь по тихим и, сравнительно, безлюдным переулкам.

Едва только вступил он в ту отдаленную часть города, где ваятели и монументчики выставляют на показ свои разнохарактерные работы, одинаково служащие украшением садов и могил, и когда, остановясь, он начал рассматривать колонну, на которой была поставлена урна, полу-прикрытая погребальным покровом, его слегка ударил кто-то по плечу. Леонард быстро обернулся и увидел перед собой мистера Борлея.

– Извините меня, сэръ; но я сделал это потому, что вы понимаете, как удить окуней. А так как судьба пустила нас на одну и ту же дорогу, то мне бы очень хотелось познакомиться с вами покороче. Я слышал, вы имели намерение сделаться писателем. Рекомендуюсь вам, я сам писатель.

Леонард, сколько известно было ему, никогда еще до этой минуты не встречался с писателем. Печальная улыбка пробежала по его лицу в то время, как осматривал он рыболова.

Мистер Борлей одет был совершенно иначе в сравнении с тем разом, когда впервые встретился он с Леопардом на берегах Брента. В этой одежде, впрочем, он менее похож был на автора, чем на рыбака. На нем была новая белая шляпа, надетая на бок, новое пальто зеленого цвета, новые панталоны и новые сапоги. В руке держал он трость из китового уса с серебряным набалдашником. Ничто так не доказывало бродячей жизни этого человека и величайшей беспечности, как его наружность. При всем том, несмотря на его пошлый наряд, в нем самом не было ничего пошлого, но зато много эксцентричного, даже чего-то выходящего из пределов благопристойности. Его лицо казалось бледнее и одутловатее прежнего, кончик носа гораздо краснее; глаза его сверкали ярче, и на углах его насмешливых, сластолюбивых губ отражалось полное самодовольствие.

– Вы сами сочинитель, сэр? повторил Леонард. – Это прекрасно! Мне бы хотелось знать ваш отзыв об этом призвании. Вон, эта колонна поддерживает урну. Колонна высокая, и урна сделана очень мило, но подле дороги они совсем не на месте: что вы укажете об этом?

– Конечно, самое лучшее место для неё на кладбище.

– Я тоже думаю.... Так вы сочинитель?

– Понимаю; я еще давеча заметил, что вы большой охотник до аллегорий. Вы хотите сказать, что сочинитель гораздо выгоднее покажется на кладбище, в виде закрытой урны, при тусклом свете луны, чем в белой шляпе и с красным кон-

чиком носа под яркой газовой лампой. В некотором отношении вы правы. Но, в свою очередь, позвольте и мне заметить, что самое выгодное освещение для сочинителя – когда он бывает на своем месте. Пойдемте со мной.

Леонард и Борлей были заинтересованы друг другом, несколько шагов они сделали молча.

– Возвратимся опять к урне, начал Борлей: – я вижу, что вы мечтаете о славе и кладбище. Это в порядке вещей. И вы будете мечтать, пока не исчезнут перед вами обманчивые призраки. В настоящую минуту я занят своим существованием и от души смеюсь над славой. Слава сочинителей не стоит стакана холодного грогу! А если этот стакан будет заключать в себе горячий грог, да еще с сахаром, и если в кармане будет находиться шиллингов пять денег, в трате которых никому не следует давать отчета, – о, могут ли тогда сравняться с этим стаканом все памятники внутри Вестминстерского аббатства!

– Продолжайте, сэръ; мне очень приятно слышать ваш разговор. Позвольте мне слушать и молчать.

И Леонард еще более надвинул шляпу на глаза; он, всей душой, унылой, ожидавшей отголоска в душе другого человека, – душой взволнованной, предался своему новому знакомцу.

Джон Борлей не заставлял упрашивать себя: он продолжал говорить. Опасен и обольстителен был его разговор. Он похож был на змею, растянутую по земле во всю длину и,

при малейшем движении, показывающую блестящие, переливающиеся, великолепные оттенки своей кожи, – на змею, но без змеиного жала. Если Джон Борлей обольщал и искушал, то он сам не замечал того: он полз и красовался без всякого преступного умысла. Простосердечнее его не могло быть создания.

Надсмехаясь над славой, Борлей с восторженным красноречием распространялся о наслаждении, какое испытываете писатель, одаренный силою творчества.

– Какое мне дело до того, что скажут и будут думать люди о словах, которые из под пера моего выльются на бумагу! говорил Борлей. – Если в то время, когда вы сочиняете, ваши мысли будут заняты публикой, надгробными урнами и лавровыми венками, тогда вы не гений – вы неспособны даже быть писателем. Я пишу потому, что это доставляет мне беспредельное удовольствие, – потому, что в этом занятии отражается моя душа. Написав какуюнибудь статью, я столько же забочусь о ней, сколько жаворонок заботится о действии, какое производит его песня на крестьянина: пробуждает ли она его к дневным занятиям, или нет – ему все равно. Поэт тоже, что жаворонок: в минуты песнопения он парит под облаками.... Не правда ли?

– Совершенная правда!

– Кто и что может лишить нас этого наслаждения? Неужели мы должны заботиться о том, купит ли наше произведение какойнибудь книгопродавец, или будет ли публика чи-

тать это произведение: пусть себе их спят у подножия лестницы гения – мы и без этого войдем на нее. Неужели вы думаете, что Бёрнс, заседая в питейной лавке, в кругу всякого сброда, пил, подобно своим собеседникам, обыкновенное, пиво и виски? Совсем нет! он пил нектар: он глотал свои мечты, мысли, напитанные чистейшей амброзией; он разделял всю радость, все веселье целого сонма олимпийских богов. Пиво или виски моментально превращаются в напиток Гебы. Я вижу, молодой человек, вы не знаете этой жизни; вы еще не успели взглянуть в нее. Пойдемте со мной. Подарите мне эту ночь. У меня есть деньги: я с такой щедростью намерен расточить их, как расточал Александр Великий, когда оставил на свою долю одну только надежду. Пойдем, пойдем!

– Но куда?

– В мои чертоги, где восседал до меня Эдмунд Кин, могущественный мимик. Я его наследник. Мы увидим там на самом деле, что такое эти сыны гения, на которых писатели ссылаются для того, чтоб украсить свою повесть, и которые были ни более, ни менее, как предметы сострадания. Мы увидим там холодных, серьёзных граждан, которые невольным образом заставят нас оплакивать Саваджа и Морланда, Порсона и Бёрнса!..

– И Чаттертона, прибавил Леонард, в мрачном расположении духа.

– Чаттертон был подражатель во всех отношениях: он был

поэт-самозванец; он хотел изображать крайности, которых сам не испытал, и потому изобразил их ложно. Ему ли быть... но зачем! мы после поговорим о нем. Пойдем со мной, пойдем!

И Леонард пошел.

## Глава LVII

Представьте себе комнату. Облака табачного дыму, проникнутые яркими лучами горящего газа, наполняют ее. Стены выбелены, и на них развешены литографические портреты актеров в театральных костюмах и театральных позах, – актеров, существовавших в ту эпоху, когда сцена служила олицетворенным влиянием на нравы и обычаи того века. Тут находился Беттертон, в огромном парике и черной мантии. Подле него висел портрет Вудварда, в роли «Прекрасного джентльмена»; далее – веселый и беспечный Квин, в роли Фальстафа, с круглым щитом и толстым брюхом; Колли Сиббар, в парчевой одежде, нюхающий табак с «Милордом»; большой и указательный пальцы правой руки его подняты на воздух, а сам он смотрит на вас, как будто ожидая громкого рукоплескания. Далее вы видите Маклина, в роли Шейлока; Кембля, в глубоком трауре, и наконец Кина – на самом почетном месте, над камином.

Когда мы внезапно оставим практическую жизнь, с её действительными тружениками, и явимся перед портретами подобных героев, фантастических, созданных воображением, в одеждах, в которых они являлись на сцене, – в этом зрелище есть что-то особенное, пробуждающее наш внутренний ум.

Я говорю: внутренний, потому, что каждый из нас более

или менее одарен этой способностью иметь внутренний ум, совершенно отдельный от того, под влиянием которого мы проводим наши дни, – ум, который идет своим путем, в страхе или радости, в улыбках или слезах, по беспредельной очарованной стране поэтов. Взгляните на этих актеров! Это были люди, которые жили внутренним умом, для которых наш мир был мир недействительный – побочный, для которых все рисуемое их воображением казалось действительным. Неужели Шекспир в течение своей жизни когданибудь вслушивался в рукоплескания, которыми осыпались представители созданий его воображения? Блуждающие дети самого переходчивого из всех искусств, перелетные тени на текущей воде, приветствую ваши изображения, начертанные рукой какогонибудь холодного практического человека, и продолжаю свое повествование!

На выбеленных стенах допущены были портреты и более грубых соперников на поприще известности; но и они знавали рукоплескающая, быть может, более громкая, чем те, которые Шекспир принимал от своих современников: это были богатыри кулачных боев – Крибб, Молино и Голландский Самсон. Между ними помещались старинные литографии Ньюмаркетского театра, в том виде, в каком он существовал в ранней части минувшего столетия, и несколько гравированных каррикатур Гогарта.

Что касается поэтов, и они не были забыты, – поэты, которые с подобными собеседниками были совершенно как до-



ма. Само собою разумеется, тут находился Шекспир с своим спокойным, смиренным лицом, Бен-Джонсон с нахмуренным видом, Бёрнс и Байрон друг подле друга. Но что страннее всего замечалось в этом размещении предметов графического искусства, – страннее и ни с чем несообразнее, так это портрет Вильяма Питта в полный его рост, – Вильяма Питта, сурового и повелительного. Каким образом он вмешался в собрание этих кулачных бойцов, актеров и поэтов? Это казалось оскорблением его знаменитой памяти. А между тем он висел тут, выражая, впрочем, величайшее ко всему презрение.

А какое общество? О, его невозможно описать! Тут были актеры, потерявшие свои места в незначительных театрах; были бледные, истомленные юноши, – вероятно, сынки почтенных купчиков, употребляющие все усилия сокрушить сердца своих родителей; а местами выглядывали всюду заметные лица евреев. Изредка показывалось вам замечательное боязливое лицо какогонибудь неопытного молодого человека, новичка в столице. Мужчины зрелого возраста, и даже седовласые, также находились в числе собеседников, – и большая часть из них отличалась пунцовыми носами. При входе Джона Борлея поднялся такой громкий радостный крик, что сам Вильям Питт содрогнулся в своей незатейливой рамке. Топанье ногами и имя «Джон Борлей» сливались в один гул. Джентльмен, занимавший огромное сафьянное кресло, немедленно уступил его Борлею; а Лео-

нард, с серьёзным наблюдательным взором, с выражением полу-грусти и полу-презрения, поместился подле своего нового знакомого. Во всем собрании заметно было то нетерпеливое и вместе с тем невыразимое движение, которое мы замечаем в партере, когда какой-нибудь знаменитый певец приблизится к нескончаемому ряду ламп и начнет «*Di tanti palpiti*»; время между тем улетает. Взгляните на старинные часы с курантами над главными дверями. Прошло уже полчаса; Джон Борлей начинает согреваться. Огонь в глазах его разгорается еще ярче; его голос становится мягче, звучнее.

– Сегодня он будет величествен, прошептал худошавый мужчина, сидевший подле Леонарда и по платью похожий на портного.

Время все-таки летит: прошел уже час. Взгляните, если угодно, на часы с курантами. Джон Берлей, действительно, величествен; он достиг своего зенита, он в своей кульминации, употребляя астрономическое выражение. Какие блестящие шутки, сколько неподдельного юмора! В этих шутках, в этом юморе проявляется ум Борлея так чисто, как золотой песок на дне глубокой реки. Сколько остроумия, истины и по временам плавного красноречия! Все слушатели безмолвствуют. Леонард тоже слушал, – но не с тем невинным, безотчетным восторгом, с каким бы он слушал за несколько дней тому назад: нет! его душа перенесла тяжелую скорбь и теперь сделалась тревожною, недоверчивою. Над самою радостью Леонард задумывался как над разрешением какой

нибудь трудной задачи. Попойка идет в круговую. Лица слушателей как будто изменяются; всеобщий говор делается невнятным; голова Борлея склоняется на грудь, и он замолкает. Раздается песня из семи голосов. Табачный дым сгущается, и сквозь него газовый огонек едва мерцает. Взоры Борлея блуждают.

Взгляните на часы с курантами: два часа прошло. Джон Борлей нарушает собственное свое молчание; его голос громок и хрипл, его хохот прерывист. Какой вздор, какую нелепость произносит он! Между слушателями поднимается иступленный крик: они находят, что Борлей говорит прекраснее прежнего. Леонард, до этой поры мерявший себя, мысленно, с гигантом и говоривший внутренно: «он недостижим», находит, что размеры этого гиганта становятся меньше, и говорит про себя: «нет, я ошибся: его величина не превышает величины обыкновенного актера.»

Взгляните еще раз на часы с курантами: три часа прошло. Джон Борлей, по видимому, исчез со сцены: его фигура смешалась вместе с клубами табачного дыма и отвратительными парами, вылетавшими из пылающей мисы. Леонард оглянулся кругом: некоторые из слушателей лежали на полу, некоторые прислонились к стене; одни обнимались за столом, другие дрались; большая часть продолжала черпать пунш; некоторые плакали. Божественная искра потухла на человеческом лице!.. Джон Борлей, все еще непобежденный, но совершенно потерявший свои чувства, все еще считает себя

оратором и произносит самую плачевную речь о скоротечности жизни: плач и одобрительные возгласы сопровождают каждую высказанную им мысль. Лакеи столпились в дверях, слушают, смеются и решаются наконец нанять для гостей кабы и коляски. Но вдруг один из пирующих друзей завернул кран в газовом рожке, и в комнате наступил непроницаемый мрак. Громкий крик и дикий хохот огласили весь Пандемоний... Юноша-поэт опрометью выбежал из мрачной, душной атмосферы. Спокойно мерцающие звезды встретили его отуманенные взоры.

\*\*\*

Да, Леонард! тебе в первый раз случилось доказать, что в тебе есть железо, из которого выковывается и принимает надлежащие формы истинное мужество. Ты доказал, что в тебе есть *сила сопротивления*. Спокойный, трезвый, чистый вышел ты из этой оргии, точь-в-точь, как те звезды, только что выглянувшие из за темного облака.

Леонард имел при себе запасный ключ. Он отпер уличную дверь и без малейшего шума поднялся по скрипучей деревянной лестнице своей квартиры. Утренняя заря занималась. Леонард подошел к окну и открыл его. Зеленый вяз на соседнем дворе казался свежим и прекрасным, как будто он посажен был за множество миль от дымного Вавилона.

– Природа, природа! произнес Леонард:– я слышу твой голос: он успокаивает меня, он придал мне силу. Но борьба моя ужасна: с одной стороны грозит мне отчаяние в жизни,

с другой является передо мной упование на жизнь.

Вот птичка порхнула из густоты дерева и опустилась на землю. Утренняя песенка её долетела до слуха Леонарда; она разбудила других птичек – воздух начал рассекаться крыльями пернатых; облака на востоке зарумянились.

Леонард вздохнул и отошел от окна. На столе, подле цветка, лежало письмо. Он не заметил его при входе в комнату. Письмо написано было рукою Гэлен. Леонард поднес его к окну и прочитал, при ярких лучах восходящего солнца:

«Неоцененный брат Леонард! найдет ли тебя это письмо в добром здоровье и не в такой печали, в какой мы расстались? Я пишу это, стоя на коленях: мне кажется, что я должна в одно и то же время писать и молиться. Ты можешь придти ко мне завтра вечером. Ради Бога, приходи, Леонард! Мы вместе погуляем в нашем маленьком садике. В нем есть беседка, закрытая со всех сторон жасминами и плющем. Из неё мы полюбуемся Лондоном. Я очень, очень часто смотрела отсюда на Лондон, стараясь отыскать крыши нашей бедной маленькой улицы и воображая, что вижу вяз против твоих окон.

«Мисс Старк очень добра ко мне; и мне кажется, что после свидания с тобой я непременно буду счастлива, – само собою разумеется, в таком только случае, если ты сам счастлив.

«Остаюсь, до свидания, преданная сестра.

«Г элен.

«Плюшевый домик.

«P. S. Наш дом укажет тебе всякий. Он находится налево от вершины горы, пройдя немного по переулку, на одной стороне которого ты увидишь множество каштанов и лилий. Я буду ждать тебя у дверей.»

Лицо Леонарда просветлело: он снова казался теперь прежним Леонардом. Из глубины мрачного моря в душе его улыбнулось кроткое личико непорочного ребенка, и волны, как будто по волшебному мановению, прилегли, затихли.

## Глава LVIII

– Кто такое этот мистер Борлей, и что он написал? спросил Леонард мистера Приккета, по возвращении в лавку.

Позвольте нам самим отвечать на этот вопрос, потому что мы знаем мистера Борлея более, чем мистер Приккет.

Джон Борлей был единственный сын бедного пастора в небольшом приходе близ Илинга, – пастора, который собирал крохи, сберегал их, отказывал себе во многом, с тои прекрасною целью, чтоб поместить своего сына в одно из лучших в северных провинциях Англии учебных заведений и оттуда в университет. В течение первого года университетской жизни, молодой Борлей обратил на себя внимание профессоров толстыми башмаками, грубым бельем и авторитетами, избранными им для тщательного изучения. При первом публичном испытании он отличился и пробудил в своих наставниках большие надежды. В начале второго года, порывы пылкой души его, обуздываемые до этого занятиями, вырвались наружу. Чтение не составляло для него дела большой трудности: он приготавливал свои лекции, как говорится, с уст профессора. Свободные от занятий часы он посвящал пиршествам, но, ни под каким видом, не сократовским. Он попал в шайку праздных гуляк и под руководством их наделал множество шалостей и был исключен.

Борлей возвратился домой самым жалким человеком.

Впрочем, при всех своих шалостях, он имел доброе сердце. При удалении от соблазна и дурных примеров, его поведение, в течение целого года, было безукоризненно. Его допустили исправлять должность наставника в той самой школе, в которой сам он получил первоначальное образование. Школа эта находилась в большом городе. Джон Борлей сделался членом городского клуба, основанного купеческим сословием, и проводил в нем аккуратно три вечера в неделю. Ораторские способности его и многосторонния познания сами собою так быстро обнаружались, что он сделался душою клуба. Первоначально клуб этот состоял из трезвого, миролюбивого общества, в котором почтенные отцы семейств выкуривали трубку табаку, запивая ее рюмкой вина; но под управлением мистера Борлея он сделался притоном пирушек шумных, разгульных. Это недолго продолжалось. Однажды ночью на улице произошел страшный шум и беспорядок, и на другое утро молодого наставника уволили. К счастью для совести Джона Борлея, отец его скончался до этого происшествия: он умер в полной уверенности в исправлении своего детища. Во время исполнения учительской обязанности, мистер Борлей успел свести знакомство с редактором провинциальной газеты и доставлял ему весьма серьёзные статьи политического свойства: надобно заметить, что Борлей, подобно Парру и Порсону, был весьма замечательный политик. Редактор, в знак благодарности, снабдил его рекомендательными письмами к известнейшим



в Лондоне журналистам, так что Джон, явившись в столицу, весьма скоро поступил в число сотрудников газеты, пользующейся хорошей репутацией. В университете он познакомился с Одлеем Эджертоном, так, слегка: этот джентльмен только что начал возвышаться в ту пору на парламентском поприще. Борлей имел одинаковый с ним взгляд на какой-то парламентский вопрос, при разрешении которого Одлей успел отличиться, и написал по этому предмету превосходную статью, — до такой степени превосходную, что Эджертон пожелал непременно узнать автора, — узнал, что это был Борлей, и в душе решил доставить ему выгодное место при первом вступлении в официальную должность. Но Борлей принадлежал к разряду тех, весьма немногих впрочем, людей, которые не слишком гонятся за получением выгодного места. Сотрудничество его по газете продолжалось весьма недолго, — во первых, потому, что на него ни под каким видом нельзя было надеяться в то время, когда требовалась величайшая аккуратность в доставке журнальных статей; во вторых, у Борлея был какой-то необыкновенно странный и в некоторой степени эксцентричный взгляд на предметы, который ни под каким видом не мог согласоваться с понятиями какой бы то ни было партии. Его статья, допущенная в журнал без строгого разбора, привела в ужас редакторов, подписчиков и читателей газеты. Статья эта по духу своему была диаметрально противоположна направлению журнала. После этого Джон Борлей заперся

в своей квартире и начал писать книги. Он написал две-три книги, очень умные, это правда, но не совсем соответствующие народному вкусу – отвлеченные и чересчур ученые, наполненные идеями непонятными для большей части читателей, и прошипованные греческими цитатами. Несмотря на то, издание этих книг доставило Борлею небольшую сумму денег, а в ученном мире – большую репутацию. Когда Одлей Эджертон сделался официальным человеком, он доставил Борлею, хотя и с большим трудом, место в Парламенте. Я говорю: с большим трудом, потому, что нужно было преодолеть множество предубеждений против этого пылкого, необузданного питомца муз. Он держался на новом своем месте около месяца, потом добровольно отказался от службы и скрылся на своем чердачке. С этого времени и до настоящей поры он жил Бог знает где и как. Литература, как всякому известно, есть в своем роде ремесло, а Джон Борлей с каждым днем становился более и более неспособным к какому нибудь занятию.

«Я не могу работать по заказу», говорил он. – Борлей писал тогда только, когда являлось к тому расположение, или когда в кармане его оставалась последняя пенни, или когда он находился в полицейском доме за долги – переселения, которые случались с ним круглым числом два раза в год. Литературные журналы и газеты охотно принимали все его статьи, но с условием, чтобы они не заключались его именем. Изменения в слоге его статей не требовалось, потому что он

сам мог изменять его с легкостью, свойственной опытному писателю.

Одлей Эджертон продолжал оказывать ему свое покровительство, потому что, по служебным занятиям его, встречались вопросы, о которых никто не мог писать с такой силой, как Джон Борлей, – вопросы, имеющие тесную связь с политической метафизикой, как, например, изменение биллей и некоторые предметы из политической экономии. К тому же Одлей Эджертон был единственный человек, для которого Джон Борлей готов был служить во всякое время, оставлять свои пирушки и исполнять, как он выражался, *заказную работу*. Джон Борлей, надобно отдать ему справедливость, имел признательное сердце и, кроме того, очень хорошо понимал, что Эджертон старался действительно быть полезным для него. И в самом деле, при встрече с Леонардом на берегах Brenta, он говорил истину, что ему сделано было предложение от Министерства отправиться на службу в Ямайку или в Индию. Но, вероятно, кроме одноглазого окуня, были еще и другие прелести, которые приковывали Борлея к окрестностям Лондона. При всех недостатках его характера, Джон Борлей был не без добрых качеств. Он был, в строгом смысле слова, враг самому себе; но едвали бы нашлся человек из целого мира, который бы решился назвать его своим врагом. Даже в тех случаях, когда ему приходилось делать строгий критический разбор какогонибудь нового произведения, он и тогда в сатире своей обнаруживал

спокойное, веселое расположение духа, с которым смотрел на сочинение: в нем не было ни жолчи, ни зависти. Что касается до злословия, до оскорбления личности в литературных статьях, он мог бы послужить примером всем критикам. Из этого я должен исключить политику: когда дело касалось её, он являлся тут совершенно другим человеком – он приходил в исступление, защищая какойнибудь предмет, о котором спорили в Парламенте. В своих сделках с Эджертоном он поставил себе в неперемнную обязанность назначать цену за свои труды. Он потому назначал цену, что приготовление эджертоновских статей требовало предварительного чтения, собрания материалов и больших подробностей, чего, мимоходом сказать, Борлей не жаловал, и на этом основании считал себя вправе назначать цену немного более той, которую обыкновенно давали редакторы, в журналах которых помещались его статьи. В тех случаях, когда за долги его сажали в тюрьму, хотя он и знал, что одна строчка к Эджертону вывела бы его из неприятного положения, но из своенравия никогда не писал этой строчки. Освобождение из тюрьмы он основывал единственно на своем пере: он поспешно обмакивал его в чернила и, если можно так выразиться, выцарапывал себе свободу. Самый унижительный и, конечно, самый неисправимый из его пороков заключался в его излишней преданности к горячительным напиткам, и неизбежное следствие этой преданности – преданность к самому низкому обществу. Ослеплять своим юмором и причудливым красноре-

чем грубые натуры, собиравшиеся вокруг него – это было для него такое торжество, такое возвышение в собственных своих глазах, которое искупало все жертвы, приносимые солидным достоинством. Ниже, ниже и ниже утопал Джон Борлей не только во мнении всех, кто знал его имя, но и в обыкновенном применении своих талантов. И, надобно заметить, все это делалось совершенно добровольно – по одной прихоти. Он готов был во всякое время написать за несколько пенсов статью для какогонибудь неизвестного журнала, тогда как за ту же статью мог бы получить несколько фунтов стерлингов от журналов, пользующихся известностью. Он любил писать национальные баллады и с особенным удовольствием останавливался на улицах, чтобы послушать, как нищий распевал его произведение. Однажды он действительно сделался поэтом, написав, в виде поэмы, объявление портного, и приходил от этого в восторг. Впрочем, восторг его недолго продолжался, потому что Джон Борлей был питтист, как он сам выражался, а не торий. И еслиб вам случилось услышать, как он ораторствовал о Питте, вы, право, не знали бы, что подумать об этом великом сановнике. Джон Борлей трактовал о нем точь-в-точь, как немецкие компиляторы трактуют о Шекспире. Он приписывал ему такое множество странных качеств и достоинств, которые превращали великого практического человека в какую-то сивиллу. В своей поэме он представил Британию, которая явилась портному с выражением самой высокой похвалы за неподража-

емое искусство, которое выказал он в украшении наружности её сынов, и, накинув на него мантию гигантских размеров, говорила, что он, и один только он, способен выкроить из неё и сшить мантии для замечательных людей Британии. В остальной части поэмы описывались бесполезные усилия портного в выкройке мантий, – как вдруг, в ту минуту, когда он начинал предаваться отчаянию, Британия снова явилась перед ним и на этот раз с утешением говорила ему, что он сделал все, что только мог сделать смертный, и что она хотела доказать жалким пигмеям, что никакое человеческое искусство не могло бы принаровить для размеров обыкновенных людей мантию Вильяма Питта. *Sic itur ad astra*. Британия взяла мацтию и удалилась в надзвездный мир. Эта аллегория привела портного в крайнее негодование, под влиянием которого перерезан был узел, соединявший портного с поэтом.

Таким образом, читатель, мы надеемся иметь теперь довольно ясные понятия о Джоне Борлее, – иметь образчик его таланта, редко встречаемого в нынешнем веке и теперь, к счастью, почти совсем угасшего. Мистер Приккет хотя и не входил в такие исторические подробности, какие представлены нами в предыдущих страницах, но он сообщил Леонарду весьма верное понятие об этом человеке, изобразив в нем писателя с величайшими талантами, обширную ученостью, но писателя, который совершенно, как говорится, сбился с прямого пути.

Леонард не видел, впрочем, до какой степени можно об-

винять мистера Борлея за его образ жизни и поведение: он не мог представить себе, чтобы подобный человек добровольно опустил на самую нижнюю ступень общественно-го быта. Он охотно допускал в этом случае предположение, что Борлей низведен был на эту ступень обстоятельствами и нуждой.

И когда мистер Приккет в заключение слов своих прибавил: «я думаю, что Борлей более, чем Чаттертон послужил к излечению тебя от желания сделаться писателем», молодой человек угрюмо отвечал: «может быть», и отвернулся к книжным полкам.

С позволения мистера Приккета, Леонард оставил свои занятия ранее обыкновенного и отправился в Хайгэт. Он шел сначала по окраине Реджент-Парка и потом по зеленоющим, весело улыбающимся предместьям Лондона. Прогулка, свежий воздух, пение птиц, а более всего уединенная дорога разгоняли его серьезные и даже мрачные мышления. Сердце его забило сильнее, душа его была полна отрадного чувства, когда он вышел в небольшую каштановую аллею и вскоре увидел светлое личико Гэлен, стоявшей подле калитки, в тени густых акаций.

## Глава LIX

С детским восторгом Гэлен увлекла своего брата в небольшой сад.

Взгляните на них в этом маленьком павильоне, покрытом цветами, дышащими ароматом. Темная полоса кровлей и шпиров расстилась внизу широко и далеко. Лондон казался тусклым и безмолвным как во сне.

Гэлен нежно сняла шляпу с головы Леонарда и взглянула ему в лицо, подернутыми слезой, выразительными глазками.

Она не сказала при этом случае: «ты переменялся, Леонард», но, как будто упрекая себя, произнесла:

– Зачем, зачем я оставила тебя?

И потом отвернулась.

– Гэлен, не беспокойся обо мне. Я мужчина, я вырос в деревне. Скажи мне чтонибудь о себе. Ты писала, что эта лэди очень добра к тебе – правда ли это?

– Еслиб была неправда, то позволила ли бы она мне видиться с тобой? О, она очень-очень добра А взгляни-ка сюда, Леонард.

И Гэлен показала на плоды и пирожное, поставленное на столе.

– Ведь это настоящий пир.

Она обнаруживала перед братом свое радушное гостеприимство самым милым, очаровательным образом; она была



резвее обыкновенного, говорила много и бегло дополняла многие места своего разговора принужденным, но серебряным смехом.

Мало по малу она успела вывести брата из глубокой задумчивости. Леопард хотя и не мог открыть ей причину своей заметной грусти, но признался, однако же, что в последнее время он много страдал. Он никогда бы не открылся в этом другому живому существу. Окончив поспешно свое коротенькое признание уверениями, что все худшее для него уже окончилось, он хотел позабавить Гэлен рассказом о новом знакомстве с рыболовом. Но когда Леонард, с невольным увлечением, смешанным с чувством сострадания, отозвался об этом человеке, когда он представил необыкновенный, хотя и несколько сжатый очерк сцены, которой был очевидцем, Гэлен приняла серьезный и даже испуганный вид.

– Леонард, ради Бога, не ходи туда в другой раз, не встречайся больше с этим дурным человеком.

– Дурным! о, нет! Безнадежный и несчастный, он невольным образом пристрастился к крепким напиткам, стараясь, под влиянием охмеляющего действия их, забыть свое горе; впрочем, моя милая советница, ты еще не можешь понимать этих вещей.

– Напротив, Леонард, мне кажется, что я очень хорошо понимаю их. Неужели ты думаешь, что я не найду разницы между значением доброго человека и дурного? Я полагаю, что добрый человек тот, который умеет бороться с искуше-

ниями, а дурной – тот, который охотно предается им.

Определение было так просто и так верно, что Леонард поражен был им гораздо сильнее, чем могли бы поразить его самые изысканные и убедительные доказательства мистера Дэля.

– Со времени нашей разлуки недаром я так часто говорил самому себе: «Гэлен была моим гением-хранителем!» Пожалуста, Гэлен, говори мне еще чтонибудь. Мое сердце покрыто для меня непроницаемым мраком, а когда ты говоришь, то, по видимому, свет озаряет его.

Эта похвала привела бедную Гэлен в такое смущение, что прошло несколько минут прежде, чем она могла исполнить приказание, соединявшееся с этой похвалой. Однакожь, мало по малу разговор снова оживился. Леонард рассказал ей печальную историю Борлея и с нетерпением ожидал замечаний Гэлен.

– После этого, сказал он, заметив, что Гэлен не имела намерения делать возражений: – после этого могу ли я надеяться на чтонибудь, когда этот могучий талант пал под бременем тяжких испытаний и отчаяния? Чего ему недоставало?

– А молился ли он Богу? спросила Гэлен, отирая слезы.

Леонард был снова изумлен. Читая жизнь Чаттертона, он почти вовсе не обращал внимания на скептицизм несчастного юноши-поэта, так неутомимо стремившегося к земному бессмертию. При вопросе Гэлен, этот скептицизм обнаружился перед ним во всей полноте.

– Гэлен, к чему ты спрашиваешь меня об этом?

– Потому что чем более и чаще мы молимся, тем терпеливее мы становимся, отвечал ребенок. – Почему знать, быть может, еслиб терпение его продлилось еще несколько месяцев, он непременно достиг бы желаемой цели. Вот и с тобой, мой милый брат, будет то же, самое: ты молишься Богу, следовательно будешь терпелив.

Леонард в глубокой задумчивости склонил голову; но на этот раз мысли его были светлее. Мрачная жизнь юноши-поэта, так сильно волновавшая его душу, могла бы иметь совершенно другой, светлый исход, на который Леонард до этой минуты не обращал надлежащего внимания, но считал его за одну из самых неразгаданных мистерий в судьбе Чаттертона.

В то самое время, как поэт, угнетенный отчаянием, заперся на чердаке, чтоб освободить душу от земного испытания, его гений открыл себе путь к неувядаемой славе. Добрые, ученые и сильные люди приготовились предложить ему свои услуги, – приготовились спасти его. Еще год, быть может, даже месяц, и он стоял бы признанным, торжествующим великим поэтом.

– О, Гэлен! вскричал Леонард, приподняв свои брови, с которых слетело темное облачко: – зачем ты оставила меня?

Гэлен в свою очередь изумилась, когда Леонард повторил это сожаление и в свою очередь сделалась задумчива. Нако-

нец она спросила, писал ли он о присылке чемодана, принадлежавшего её отцу и оставленного на постоялом дворе.

Леонард, не совсем довольный тем, что казалось ему ребяческим прерванием серьёзного разговора, признался, упрекая самого себя, что он совершенно позабыл об этом, и спросил, не нужно ли написать, чтоб чемодан был выслан в дом мисс Старк.

– Нет. Пусть его пришлют к тебе. Береги его у себя. Мне приятно будет знать, что при тебе находится моя собственность; а может быть, я и сама недолго пробуду здесь.

– Недолго пробудешь здесь? Нет, моя милая Гэлен, ты должна оставаться здесь по крайней мере до тех пор, пока мисс Старк будет держать тебя и по-прежнему будет добра к тебе. Между тем, прибавил Леонард с прежнею горячностью: – я успею пробить себе дорогу, и у нас будет собственный коттедж. Ах, Гэлен! я чуть-чуть не позабыл, ведь ты оскорбила меня, оставив мне все свои деньги. Я нашел их у себя в комодке. Как не стыдно, Гэлен! Я принес их назад.

– Это не мои деньги, а твои. Во время путешествия нам следовало разделить их пополам, а ты платил все из своих денег, – да и притом, к чему мне деньги, когда я ни в чем не нуждаюсь?

Но Леонард был настойчив. И в то время, как Гэлен, с печальным лицом, приняла назад все богатство, оставленное ей покойным отцом, в дверях беседки показалась высокая женская фигура.

– Молодой человек, вам пора идти отсюда, сказала она, таким голосом, который рассеял на ветер все детские нежные чувства.

– Так скоро! произнесла Гэлен дрожащим голосом.

И в то же время прижалась к мисс Старк, а Леонард встал и поклонился.

– Позвольте, сударыня, выразить вам всю мою признательность за позволение видеться с мисс Гэлен, сказал он с такой непринужденной грацией, которая показывала, что слова его выходили из чистого сердца. – Я не смею употребить во зло вашей благосклонности и повинуюсь вам.

Мисс Старк, по видимому, была изумлена взглядом Леонарда и его манерой. Она отвечала принужденным поклоном.

Трудно вообразить себе наружность холоднее, суровее наружности мисс Старк. Она похожа была на сердитую женщину под белым покрывалом, которая разыгрывает весьма важную роль во всех сказках добрых нянюшек. Но при всем том дозволение незнакомому человеку войти в свой хорошенький, опрятный сад, а также плоды и лакомства в беседке для гостя и своей питомицы сильно противоречили её наружности, а напротив того, доказывали, что она имела доброе сердце.

– Позвольте мне проводить его до калитки? прошептала Гэлен, в то время, как Леонард вышел на дорожку.

– Можешь, дитя мое, но только не оставайся там долго.

Когда воротишься, так убери пирожное и вишни, а то Патти утащит их.

Гэлен побежала за Леонардом.

– Смотри же, Леонард, пиши ко мне, непременно пиши, и, ради Бога, не своди дружбы с этим человеком, который заводит тебя в такие страшные места.

– О, Гэлен! я уйду от тебя с новыми силами, которых достаточно будет, чтоб бороться и победить более страшные опасности, сказал Леонард в веселом расположении духа.

У маленькой калитки они поцеловали друг друга и расстались.

Леонард возвращался домой при бледном свете луны, и, войдя в свою комнату, он прежде всего взглянул на розовый куст. Листья вчерашнего цветка обсыпались и покрывали стол, но три новые бутона начинали распускаться.

– Природа не теряет своей производительной силы, сказал молодой человек. – Неужели одна только природа имеет терпение? прибавил он после минутного молчания.

В эту ночь сон Леонарда не нарушался страшными грёзами, с которыми он познакомился в последнее время. Он проснулся с свежими силами и отправился к своим занятиям, не прокрадываясь по безлюдным переулкам, но вмешиваясь в толпы народа. Мужайся и крепись, юный путник! впереди еще много предстоит тебе страданий! Неужели ты падешь под их бременем? Заглядываю в глубину твоего сердца и не смею отвечать.

# Часть шестая

## Глава LX

Леонард послал два письма к мистрисс Ферфилд, два – к Риккабокка, и одно – к мистеру Дэлю, и в этих письмах бедный, гордый юноша ни под каким видом не решался обнаружить свое уничижение. Его письма всегда дышали радостью, как будто он совершенно был доволен своими видами на будущность. Он говорил, что имеет хорошее место, целый день проводит между книгами, и что успел снискать добрых друзей. Обыкновенно этим ограничивались все его известия о самом себе; после чего он писал о тех, кому предназначалось письмо, – о делах и интересах мирного кружка, в котором они жили. Он не означал ни своего адреса, ни адреса мистера Приккета, – письма свои отправлял из находившегося в ближайшем соседстве с книжною лавкою кофейного дома, куда заходил он иногда для совершения скромной своей трапезы. Умалчивать о месте своего пребывания Леонард имел побудительные причины. Он не хотел, чтобы его отыскивали в Лондоне. Мистер Дэль отвечал за себя и за мистрисс Ферфильд. Риккабокка писал тоже. Письма их получены были Леонардом в самый мрачный период его жизни: они укрепляли его в безмолвной борьбе с отчаянием.

Если в мире существует какое нибудь благо, которое мы делаем без всякого сознания, без всякого расчета на действие, какое оно произведет на душу человека, так это благо заключается в нашем расположении оказывать снисхождение молодому человеку, когда он делает первые шаги по пустой, бесплодной, почти непроходимой тропе, ведущей на гору жизни.

В беседе с мистером Приккетом лицо Леонарда принимало прежнюю свою ясность, спокойствие; но он уже не мог вернуть своего детского простосердечия и откровенности. Нижний поток снова протекал чистым из мутного русла и изредка выносил из глубины оторванные куски глины, но все еще он был слишком силен и слишком быстр, чтоб оставить поверхность прозрачною. И вот Леонард находился в мире книг, спокойный и серьёзный как чародей, произносящий таинственные и торжественные заклинания над мертвецами. Таким образом, лицом к лицу с познанием, Леонард ежечасно открывал, как мало еще знал он. Мистер Приккет позволял ему брать с собой книги, которые ему нравились. Леонард проводил целые ночи за чтением, и проводил не без существенной пользы. Он уже не читал более ни стихов, ни биографий поэтов. Он читал то, что должны читать поэты, ищущие славы, читал – *Sapere prinsipium et fons* – серьёзные и дельные рассуждения о душе человеческой, об отношениях между причиной и следствием, мыслью и действием, – полные интереса и значения истины из мира прошед-



шего, – древности, историю и философию. В эти минуты Леонард забывал мир, его окружающий. Он носился по океану вселенной. В этом океане, о Леонард! ты непременно должен изучать законы приливов и отливов: тогда, нигде не замечая гибели и имея перед глазами одну только творческую мысль, господствующую над всем, ты увидишь, что судьба, этот страшный фантом, исчезнет пред самым творчеством, и в небесах и на земле представится тебе одно только Провидение!

\*\*\*

В недалеком расстоянии от Лондона назначена была аукционная продажа книг. Мистер Приккет намерен был отправиться туда, чтоб сделать некоторые приобретения собственно для себя и для некоторых джентльменов, сделавших ему поручение; но с наступлением утра, назначенного для отъезда, мистер Приккет почувствовал возвращение своего старинного и сильного недуга – ревматизма. Он попросил Леонарда отправиться туда вместо себя. Леонард поехал и пробыл в провинции три дня, в течении которых распродажа кончилась. Он прибыл в Лондон поздно вечером и отправился прямо в дом мистера Приккета. Лавка была заперта. Леонард постучался у входа, отпираемого только для некоторых лиц. Незнакомый человек отпер дверь Леонарду и на вопрос: дома ли мистер Приккет? отвечал, с длинным и мрачным лицом:

– Молодой человек, мистер Приккет старший отправился

на вечную квартиру; впрочем, мистер Ричард Приккет примет вас.

В эту минуту мужчина, весьма серьезной наружности, с гладко причесанными волосами, выглянул в боковую дверь между лавкой и коридором и потом вышел.

– Войдите, сэр, сказал он: – кажется, вы помощник моего покойного дядюшки, – если не ошибаюсь, так вы мистер Ферфилд.

– Вашего покойного дядюшки! Праведное небо! Сэр, так ли я понимаю вас? неужли мистер Приккет скончался во время моего отсутствия?

– Умер, сэр, скоропостижно, вчера ночью. Паралич в сердце. Доктор полагает, что ревматизм поразил и этот орган. Он не имел времени приготовиться к своей кончине, и счетные книги его, как кажется, в страшном беспорядке. Я племянник его и душеприкашик.

Леонард вошел за этим племянником в лавку. Там все еще горел газ. Внутренность лавки показалась Леонарду еще мрачнее прежнего. Присутствие смерти всегда бывает ощутительно в том доме, который она посещает.

Леонард был сильно огорчен и тем сильнее, может стать-ся, что племянник мистера Приккета был человек холодный и равнодушный. Да оно и не могло быть иначе, потому что покойный никогда не находился в дружеских отношениях с своим законным наследником, который также был книго-продавцем.

– Судя по бумагам покойного, вы служили у него по неделям. Он платил вам по одному фунту в неделю; это – чудовищная сумма! Ваши услуги мне не будут нужны; я перевезу эти книги в мой собственный дом. Потрудитесь, пожалуйста, доставить мне список книг, купленных вами на аукционе, и вместе с тем счет вашим путевым издержкам. Что будет причитаться вам по счету, я пришлю по адресу.... Спокойной ночи.

Леонард шел домой, пораженный и огорченный скоропостижной кончиной своего великодушного хозяина. В эту ночь он очень мало думал о себе; но когда проснулся с наступлением утра, он вспомнил, с болезненным ощущением в сердце, что перед ним лежал нескончаемый Лондон, в котором не было для него ни друга, ни призвания, ни занятия за кусок насущного хлеба.

На этот раз чувства Леонарда не носили характера воображаемой скорби, не похожи были и на чувство, испытываемое поэтом при разрушении его поэтической мечты. Перед ним, как призрак, но призрак, доступный для осязания и зрения, стоял *голод!*..

Избегнуть этого призрака! да, это была единственная цель. Уйти из Лондона в деревню, приютиться в хижине своей матери, продолжать свои занятия в саду изгнанника, питаться редисами и пить воду из фонтана собственной постройки, – почему бы ему не прибегнуть к этим мерам? Спросите, почему цивилизация не хочет избавить себя

от множества зол и не обратится к первоначальному – пастушескому быту?

Леонард не мог возвратиться в родимый коттедж даже и в таком случае, еслиб голод, заглянувший ему прямо в глаза, схватил его своей костлявой рукой. Лондон не так охотно выпускает на свободу своих обреченных жертв.

\*\*\*

Однажды трое мужчин стояли перед книжным прилавком в аркаде, соединяющей Оксфордскую улицу с Тоттенгэмской дорогой. Двое из них были джентльмены; третий принадлежал к тому разряду людей, которые имеют обыкновение бродить около старых книжных лавок.

– Посмотрите, пожалуста, сказал один джентльмен другому: – наконец-то я нашел то, чего тщетно искал в течении десяти лет – Гораций 1580 года, – Гораций с сорока комментаторами! Да это сокровище по части учености! и представьте – какая цена! всего четырнадцать шиллингов!

– Замолчите, Норрейс, сказал другой джентльмен: – и обратите внимание на то, что более всего может служить предметом ваших занятий.

Вместе с этим джентльмен указал на третьего покупателя, которого лицо, умное и выразительное, было наклонено, со всепоглащающим вниманием, над старой, источенной червями книгой.

– Какая же это книга, милорд? ропотом произнес Норрейс.

Товарищ Норрейса улыбнулся и вместо ответа предложил ему в свою очередь другой вопрос:

– Скажите мне, что это за человек, который читает ту книгу?

Мистер Норрейр отступив на несколько шагов и заглянул через плечо незнакомого человека.

– Это Престона перевод Боэция «Утешение философии», сказал он, возвращаясь к своему приятелю.

– Бедняжка! право, он смотрит таким жалким, как будто нуждается во всяком утешении, какое только может доставит философия.

В эту минуту у книжного прилавка остановился четвертый прохожий; узнав бледного юндошу, он положив руку к нему на плечр сказал:

– Ага, молодой сэръ! мы опять с вами встретились. Бедный Приккет скончался – как жаль!.. А вы все еще не можете расстаться с своими старинными друзьями? О, книги, книги! это настоящие магниты, к которым нечувствительно стремятся все железные умы. Что это у вас? *Боэций!* Знаю, знаю! эта книга написана в тюрьме, не задолго перед тем, как нужно бывает явиться единственному в своем роде философу, который разъясняет для самого простого ума и человека ограниченных понятий все мистерии жизни....

– Кто же этот философ?

– Как кто? *Смерть!* сказал мистер Борлей. – Неужели вы так недогадливы, что решились спрашивать об этом?

Бедный Боэций! Теодорик Остроготфский осуждает ученого Боэция, и Боэций в павийской тюрьме ведет разговор с тенью афинской философии. Это самая лучшая картина, где изображен весь блеск золотого западного дня перед наступлением мрачной ночи.

– А между тем, сказал мистер Норрейс отрывисто: – Боэций в переводе Альфреда Великого является к нам с слабым отблеском возвращающегося света. И потом в переводе королевы Елизаветы солнце познания разливается во всем своем блеске. Боэций производит на нас свое влияние даже и теперь, когда мы стоим в этой аркаде, и мне кажется, что это самое лучшее из всех «утешений философии»... не так ли, мистер Борлей?

Мистер Борлей обернулся и сделал поклон.

Двое мужчин окинули друг друга взорами, и я полагаю, что вам никогда не случилось видеть такого удивительного контраста в их наружности. Мистер Борлей – в своем странном костюме зеленого цвета, уже полинялом, засаленном и истертом на локтях до дыр, с лицом, которое так определенно говорит о его пристрастии к горячительным напиткам; мистер Норрейс – щеголеватый и в некоторой степени строгий относительно своей одежды, это человек тонкого, но крепкого телосложения; тихая, спокойная энергия выражается в его взорах и во всей его наружности.

– Если, отвечал мистер Борлей: – такой ничтожный человек, как я, может еще делать возражения джентльмену, ко-

того слово – закон для всех книгопродавцев, то, конечно, я должен сказать, мистер Норрейс, что мысль ваша – еще небольшое утешение. Хотелось бы мне знать, какой благоразумный человек согласится испытать положение Боэция в тюрьме; на том блистательном условии, что, спустя столетия, произведения его будут переведены знаменитыми особами, что он будет производить современем влияние на умы северных варваров, что о нем будут болтать на улицах, что он будет сталкиваться с прохожими, которые от роду не слышали о Боэции и для которых философия ровно ничего не значит? Ваш покорнейший слуга, сэра. Молодой человек, пойдемте со мною: мне нужно поговорить с вами.

Борлей взял Леонарда под руку и увлек за собою юношу почти против его желанья.

– Довольно умный человек, сказал Гарлей л'Эстрендж. – Но мне очень жал того юношу, с такими светлыми и умными глазками, с таким запасом энтузиазма и страсти к познанию, – жаль, что он выбрал себе в руководители человека, который, по видимому, разочарован всем, что только служит целью к приобретению познаний и что приковывает философию вместе с пользою к целому миру. Кто и что такое этот умница, которого вы называете Борлеем?

– Человек, который мог бы быть знаменитым, еслиб только захотел сначала заслужить уважение. Юноша, который так жадно слушал наш разговор, сильно заинтересовал меня. Я бы желал переманить его на свою сторону... Однако,

мне должно купить этого Горация.

Лавочник, выглядывавший из норы, как паук в ожидании добычи, был вызван из лавки. Когда мистер Норрейс рассчитался за экземпляр Горация и передал адрес, куда прислать этот экземпляр, Гарлей спросил лавочника, не знает ли он, кто был молодой человек, читавший Боеция.

– Я знаю его только по наружности. В течение последней недели он является сюда аккуратно каждый день и проводит у прилавка по несколько часов. Выбрав книгу, он ни за что не отстанет от неё, пока не прочитает.

– И никогда не покупает? сказал мистер Норрейс.

– Сэр, сказал лавочник, с добродушной улыбкой: – я думаю, вам известно, что кто покупает книги, тот мало читает их. Этот бедный молодой человек платит мне ежедневно по два пенса, с тем условием, чтоб ему было позволено читать у прилавка, сколько душе его угодно. Я не хотел было принимать платы от него; но куда! такой гордый, если бы вы знали.

– Я знавал людей, которые именно подобным образом набрались обширнейшей учености, заметил мистер Норрейс: – да и опять-таки скажу, что мне бы очень хотелось прибрать этого юношу к моим рукам.... Теперь, милорд, я весь к вашим услугам. Вы намерены, кажется, посетить мастерскую вашего художника?

И два джентльмена отправились в одну из улиц, примыкающих к Фитцрой-Сквэру.



Спустя несколько минут Гарлей л'Эстрендж находился совершенно в своей сфере. Он беспечно сидел на простом деревянном столе и рассуждал об искусстве с знанием и вкусом человека, который любил и вполне понимал его. Молодой художник, в халате, медленно прикасался кистью к своей картине и очень часто отрывался от неё, чтобы вмешаться в разговор. Генри Норрейс наслаждался кратковременным отдыхом от многотрудной своей жизни и с особенным удовольствием напоминал о днях, проведенных под светлым небом Италии. Эти три человека положили начало своей дружбы в Италии, где узы привязанности свиваются руками граций.

## Глава LXI

Когда Леонард и мистер Борлей вышли на предместья Лондона, мистер Борлей вызвался доставить Леонарду литературное занятие. Само собою разумеется, предложение это было принято охотно.

После этого они зашли в трактир, стоявший подле самой дороги. Борлей потребовал отдельную комнату, велел подать перо, чернил и бумаги и, разложив эти канцелярские принадлежности перед Леонардом, сказал:

- Пиши что тебе угодно, но только прозой, и чтоб статья твоя составляла пять листов почтовой бумаги, по двадцати-две строчки на каждой странице – ни больше, ни меньше.
- Помилуйте! я не могу писать с такими условиями.
- Вздор! ты должен писать, потому что дело идет об изыскании средств к существованию.

Лицо юноши вспыхнуло.

- Тем более не могу, что мне следует забыть об этом, сказал Леонард.
- Знаешь ли что: в здешнем саду есть беседка, под плакучей ивой, возразил Борлей: – отправься туда и воображай себе, что ты в Аркадии.

Леонарду приятно было повиноваться. В конце оставленной в небрежности лужайки он действительно нашел небольшую беседку. Там было тихо. Высокий плетень заслонял

вид трактира. Солнце теплыми лучами позлащало зелень и блестками сверкало сквозь листья плакучей ивы. Вот здесь, в этой беседке, при этой обстановке, Леопдрд, в качестве автора по призванию и ремеслу, написал первую свою статью. Что же такое писал он? неужели свои неясные, неопределенные впечатления, которые произведены были Лондоном? неужели изливание ненавистного чувства к его улицам и каменным сердцам, населявшим те. улицы? неужели ропот на нищету или мрачные элегии к судьбе?

О, нет! Мало еще знаешь ты, истинный гений, если решаешься делать подобные вопросы, или полагать, что автор, создавая свое произведение под тению плакучей ивы, станет думать о том, что он работает для куска насущного хлеба, или что солнечный свет озаряет один только практический, грубый, непривлекательный мир, окружавший писателя. Леопард написал волшебную сказку, – самую милую, пленительную сказку, какую только может создать воображение, нелишенную, впрочем, легкого, игривого юмора, – написал ее слогом живым, который превосходно был выдержан сначала до конца. Он улыбнулся, написав последнее слово: он был счастлив. Через час явился к нему мистер Борлей и застал его в том расположении духа, когда улыбка играла еще у него на лице.

Мистер Борлей держал в руке стакан грогу: это был уже третий. Он тоже улыбался и тоже казался счастливым. Он прочитал статью Леонарда вслух – прочитал прекрасно –

и поздравил автора с будущим успехом.

– Короче сказать, ты уйдешь далеко! воскликнул Борлей, ударив Леонарда по плечу. – Быть может, тебе удастся поймать на удочку моего одноглазого окуня.

После того он сложил рукопись, написал записку, вложил ее в конверт с рукописью и вместе с Леонардом возвратился в Лондон.

Мистер Борлей скрылся во внутренние пределы какой-то грязной, закоптелой конторы, над дверьми которой находилась надпись: «Контора *Пчелиного Улья*», и вскоре вышел оттуда с золотой монетой в руке – с первым плодом трудов Леонарда. Леонард воображал, что перед ним уже лежала Перу, с своими неисчерпаемыми сокровищами. Он проводил мистера Борлея до его квартиры в Мэйда-Гилле. Прогулка была весьма длинная, по Леонард не чувствовал усталости. С большим против прежнего вниманием и любопытством он слушал разговор Борлея. Когда путешествие их кончилось, и когда из ближайшей съестной лавочки принесли скромный ужин, купленный за несколько шиллингов из золотой монеты. Леонард испытывал в душе своей величайшую гордость, и в течение многих недель смеялся от чистого сердца. Дружба между двумя писателями становилась теснее и искреннее. Борлей обладал таким запасом многосторонних сведений, из которого всякий молодой человек мог бы извлечь для себя немалую пользу. В квартире Борлея не было заметно нищеты: все было чисто, ново и прекрасно

меблировано; но все находилось в самом страшном беспорядке, все говорило о жизни самого замечательного литературного неуряди.

В течение нескольких дней Леонард почти безвыходно сидел в этих комнатах. Он писал непрерывно; один только разговор Борлея отрывал его от занятий, и тогда Леонард предавался совершенному бездействию. Впрочем, это состояние еще нельзя назвать бездействием: слушая Борлея, Леонард, сам не замечая того, расширял круг своих познаний. Но в то же время цинизм ученого собеседника начинал медленно пробивать себе дорогу, – тот цинизм, в котором не было ни веры, ни надежды, ни оживляющего дыхания славы или религии, – цинизм эпикурейца, гораздо более униженного, нежели был унижен Диоген в бочке; но при всем том он представлялся с такой свободой и с таким красноречием, с таким искусством и веселым расположением духа, так кстати прикрашивался пояснениями и анекдотами, – так был чужд всякого принуждения!

Странная и страшная философия! философия, которая поставляла неизменным правилом расточать умственные дарования на одни только материальные выгоды и приспособить свою душу к самой прозаической жизни, приучить ее с презрением произносить: я не нуждаюсь ни в бессмертии, ни в лаврах!

Быть писателем из за куса хлеба! о, какое жалкое, ничтожное призвание! После этого можно ли видеть чтонибудь

величественное и святое даже в самом отчаянии Чаттертона!

И какой этот ужасный *Пчелиный Улей!* Конечно, в нем можно было заработать хлеб, но славу, но надежду на блестящую будущность – никогда! *Потерянный Рай* Мильтона погиб бы без всякого звука славы, еслиб только явился в этот *Улей!* В нем помещались иногда превосходные, хотя и не совсем обработанные, статьи самого Борлея. Но к концу недели они были уже мертвы и забыты: никто из образованных людей не читал их. Он обыкновенно наполнялся без всякого разбора скучными политическими статьями и ничтожными литературными опытами, но, несмотря на то, продавался в числе двадцати и даже тридцати тысяч экземпляров – цифра громадная! а все-таки из него нельзя было получить более того, что требовалось на хлеб и коньяк.

– Чего же ты хочешь больше? восклицал Джон Борлей. – Не сам ли Самуэль Джонсон, этот суровый старик, признавался в том, что еслиб не нужда, он и пера не взял бы в руки?

– Он мог признаваться в том, отвечал Леонард: – но, вероятно, во время признания, он не рассчитывал, что потомство никогда не поверит ему. Да и во всяком случае, я полагаю, что он скорее бы умер от нужды, но не написал бы своего «*Расселаса*» для *Пчелиного Улья!* Нужда, я согласен, дело великое, продолжал юноша, задумчиво. – Нужда бывает часто матерью великих деяний. Крайность – опять дело другое: она имеет свою особенную силу и часто передает эту силу нам; но нужда, при всей своей слабости, в состоя-

нии раздвинуть, разгромить стены нашей домашней темницы; она не станет довольствоваться тем подаянием, которое приносит тюремщик в замен наших трудов.

– Для человека, поклоняющегося Бахусу, не существует такой тюрьмы. Позволь, я переведу тебе Шиллера дифирамб. «Я вижу Бахуса; Купидон, Феб и все небожители собираются в моем жилище.»

Импровизируя стихи без соблюдения рифм, Борлей передал грубый, но одушевленный перевод этого божественного лирика.

– О, материалист! вскричал юноша, и светлые глаза его отуманились. – Шиллер взывает к богам, умоляя их взять его к себе на небо, а ты низводишь этих богов в питейную лавочку!

Борлей громко захохотал.

– Начни пить, сказал он: – и ты поймешь этот дифирамб.

## Глава LXII

Однажды утром к дому, где жил Борлей, подъехал щегольской кабриолет. В уличную дверь раздался стук, в коридоре послышалась чья-то скорая походка, и через несколько секунд в квартире Борлея явился Рандаль Лесли. Леонард узнал его и изумился. В свою очередь и Рандаль взглянул на Леонарда с удивлением; потом, с жестом, показывавшим, что он научился уже пользоваться всеми выгодами, какие представляет лондонская жизнь, обменявшись с Борлеем пожатием рук, подошел к Леонарду и, с заметным желанием казаться любезным, сказал:

– Мы с вами встречались, если я не ошибаюсь. Если вы помните меня, то надеюсь, что все ребяческие ссоры забыты.

Леонард поклонился: при всех неблагоприятных обстоятельствах, его доброе сердце не успело еще затвердеть.

– Любопытно знать, где могли вы встретиться? спросил Борлей.

– На деревенском лугу, в замечательной битве, отвечал Рандаль, улыбаясь.

И шутивным тоном рассказал он все обстоятельства гэзельденской битвы.

Борлей от души смеялся при этом рассказе.

– Впрочем, знаете ли что, сказал он, когда смех его кончился: – для моего молодого друга гораздо было бы лучше



оставаться стражем гэзельденской колоды, нежели приехать в Лондон и искать счастья на дне чернилицы.

– Вот что! заметил Рандаль, с тайным презрением, которое люди, получившие отличное образование, чувствуют к тем, которые еще изыскивают средства к своему образованию. – Значит вы хотите сделаться литератором? Позвольте узнать, сэр, в каком заведении образовалось в вас расположение к литературе? Смею сказать, что в наших общественных училищах это – явление весьма редкое.

– Я еще только что поступил в школу, отвечал Леонард, сухо.

– Опыт есть лучший наставник, сказал Борлей. – Это было главное правило Гёте.

Рандаль слегка пожал плечами и не удостоил дальнейшими вопросами Леонарда, этого самоучку-крестьянина. Он сел на диван и вступил с Борлеем в жаркий разговор по поводу одного политического вопроса, который в ту пору составлял спорный пункт Между двумя сильными парламентскими партиями. Это был предмет, в котором Борлей обнаружил свои обширные познания, между тем как Рандаль, не соглашаясь, по видимому, с мнением Борлея, в свою очередь, выказал свою ученость и необыкновенное умение поддерживать состязание.

Разговоре продолжался более часа.

– Я не могу вполне согласиться с вами, сказал Рандаль, прощаясь: – впрочем, вы, вероятно, позволите мне еще раз

повидаться с вами. Можете ли вы принять меня завтра в эту же пору?

– Без всякого сомнения, отвечал Борлей.

Молодой джентльмен помчался в своем кабриолете. Леонард долго следил за ним из окна.

В течение пяти последующих дней Рандаль являлся к Борлею аккуратно в одни и те же часы и вместе с ним рассматривал спорный предмет со всех возможных точек зрения. На другой день после этого прения Борлей до такой степени заинтересовался им, что должен был посоветоваться с своими любимыми авторитетами, освежить свою память и даже проводить по нескольку часов в день в Библиотеке Британского Музеума.

На пятый день Борлей истощил все, что только можно было сказать с его стороны по этому предмету.

Во время ученых состязаний Леонард сидел в стороне, углубленный, по видимому, в чтение и в душе мучимый досадой, по тому поводу, что Рандаль не хотел обратить внимания на его присутствие. И действительно, этот молодой джентльмен, в своем необъятном самоуважении, и углубленный совершенно в свои честолюбивые планы, не хотел допустить даже мысли, что Леонард когданибудь станет выше своего прежнего состояния, и считал его ни более, ни менее, как за поденщика или подмастерья мистера Борлея. Но самоучки всегда бывают самыми проницательными наблюдателями, и процесс наблюдения совершается у них необык-

новенно быстро. Леонард заметил, что Рандаль, рассуждая о предмете, имел в виду не особенное к тому расположение, но какую-то скрытную цель, и что когда он встал и сказал: «мистер Борлей, вы окончательно убедили меня», то это сказано было не с скромностью человека, который чистосердечно считает себя убежденным, но с торжеством человека, который успел достичь желаемой цели. Между прочим, наш незамеченный и безмолвный слушатель до такой степени поражен был способностью Борлея подводит свои доказательства под общие правила и обширным пространством, занимаемым его познаниями, что когда Рандаль вышел из комнаты, Леонард взглянул на неопрятного, беспечного человека и громко сказал:

– Да, теперь и я согласен, что знание *не есть* сила»

– Само собою разумеется, отвечал Борлей, сухо: – это, по моему, самая ничтожная вещь в мире.

– Знание есть сила, произнес Рандаль Лесли, садясь в кабриолет, с самодовольной улыбкой.

Спустя несколько дней после этого последнего свидания появилась небольшая брошюра, которая, несмотря на то, что не была подписана именем автора, наделала в городе много шума. Предмет её содержания был тот же самый, о котором так долго рассуждали Рандаль и Борлей. Наконец заговорили о ней и газеты, и в одно прекрасное утро Борлей был приведен в крайнее изумление неожиданным открытием.

– Мои собственные мысли! воскликнул он. Мало того: мои слова! Желал бы я знать, кто этот памфлетист?

Леонард взял газету из рук Борлея. Самые лестные похвалы предшествовали выдержкам из брошюры, а эти выдержки действительно заключали в себе мысли и слова Борлея, высказанные им в разговоре с Рандалем.

– Неужели не догадываетесь, кто этот автор? спросил Леонард, с глубоким и безыскусственным презрением. – Это тот самый молодой человек, который приходил воровать ваш ум и обращать ваше знание....

– В силу! прервал Борлей, захохотав; но в хохоте его отзвучало сильное негодование. – Это очень низко с его стороны: я непременно выскажу ему это, как только он явится сюда.

– Не беспокойтесь: он больше не покажется к вам, сказал Леонард.

И действительно, Рандаль Лесли уже больше не показывался в доме Борлея. Впрочем, он прислал к Борлею экземпляр брошюры, при учтливой записке, в которой, между прочим, довольно откровенно и беспечно, признавался в том, что «замечания и мысли мистера Борлея оказали ему величайшую пользу.»

В непродолжительном времени все газеты объявили, что брошюра, наделавшая так много шума, была написана молодым человеком, родственником мистера Оддея Эджертона; при этом случае выражены были большие надежды

на будущую карьеру мистера Рандаля Лесли.

Борлей по-прежнему смеялся над этим, и по-прежнему этим смехом прикрывалось только мучительное ощущение. Леонард от всей души презирал Рандаля Лесли и в то же время испытывал в душе благородное, но вместе с тем и опасное сострадание к мистеру Борлею. Желая успокоить и утешить человека, у которого, по его мнению, так низко, так бессовестно отняли славу, он забыл обещание, которое, сам себе дал, и более и более покорялся чарам этого обширного, но бесполезно расточаемого ума. Он сделался постоянным спутником Борлея в те места, где Борлей проводил вечера, и более и более, хотя постепенно и с частыми упреками себе, ему сообщались презрение циника к славе и его жалкая философия.

Посредством познаний Борлея Рандаль Лесли сделался известным. Но еслиб Борлей сам написал подобную брошюру, то приобрел ли бы он точно такую же известность? Само собою разумеется, что нет. Рандаль Лесли сообщил этим познаниям свои собственные качества, как-то: простое, сильное и логическое изложение, тон хорошего общества и ссылки на людей и на партии, которые показывали его родственные связи с государственным мужем и доказывали, что, при сочинении этой статьи, он пользовался советами и указаниями Эджертона, но отнюдь не какогонибудь Борлея.

Еслиб Борлей вздумал написать такой памфлет, то, правда, в нем обнаружилось бы более гения, он бы не был ли-

шен юмора и остроумия, но зато до такой степени наполнен был бы странными выходками и едкими насмешками, отступлениями от изящного и от серьёзного тона, в котором должно быть написано подобное сочинение, что едва ли бы он успел произвести какоенибудь впечатление. Из этого можно заключить, что, кроме знания, тут требовалось особенное уменье, при котором знание только и делается силой. Знание отнюдь не должно отзываться запахом водки.

Конечно, Рандаль Лесли унизил себя, воспользовавшись чужими сведениями; но он умел бесполезное обратить в пользу, – и в этом отношении он был оригинален.

Борлей отправился на берега Brenta и снова начал удить одноглазого окуня. Леонард сопровождал ему. В эту пору чувства его не имели ни малейшего сходства с чувствами, которые он питал в душе своей, когда, склонившись на мураву, под тению старого дерева, он сообщал Гэлен свои виды на будущность.

Любопытно и даже трогательно было видеть, как натура Борлея изменялась в то время, как он бродил по берегу ручья и рассказывал о счастливой поре своего детского возраста. В словах, в движениях, в чувствах этого человека проявлялась тогда невинность ребенка. Он вовсе не заботился о поимке неувливаемого окуня, но его приводили в восторг чистый воздух и светлое небо, шелест травы и журчание источника. Эти воспоминания о минувших днях юности, по видимому, совершенно перерождали его, и тогда красноречие его

принимало пасторальный характер, так что сам Исаак Вальтон стал бы слушать его с наслаждением. Но когда он снова возвращался в дымную атмосферу столицы, когда газовые фонари заставляли его забывать картину заходящего солнца и тихое мерцание вечерней звезды, тогда он снова предавался своим грубым привычкам, снова предавался оргиям, в которых проблески ума его вспыхивали сначала ярким огнем, но потом с каждым разом становились тусклее и тусклее и наконец совсем потухали.

## Глава LXIII

Гэлен находилась под влиянием глубокой и неисходной печали. Леонард навещал ее раза четыре, и каждый раз она замечала в нем перемену, которая невольным образом пробуждала все её опасения. Правда, он сделался дальновиднее, опытнее и даже, может быть, способнее к грубой повседневной жизни, но зато, с другой стороны, свежесть и цвет его юности заметно увядали в нем. В нем уже более не было заметно прежнего стремления к славе. Гэлен бледнела, когда он говорил ей о Борлее, и дрожала всем телом – бедная маленькая Гэлен! – узнав, что Леонард проводил дни и даже ночи в обществе, которое, по её детским, но верным понятиям, не могло укрепить Леонарда в его борьбе или отвлечь его от искушений. Она в душе плакала, когда, из разговора о денежных средствах Леонарда, узнала, что его прежний ужас, при одной мысли войти в долги, совершенно изгладился в душе его, и что основательные и благотворные правила, которые он вывез из деревни, быстро ослабевали в нем. Но, при всем том, в нем оставалось еще одно качество, которое для человека более зрелого возраста и понятий, чем Гэлен, служило заменой тому, что он, по видимому, терял безвозвратно. Это качество было – душевная скорбь, – глубокая, торжественная скорбь, которую испытывает человек в минуты сознания своего падения, в минуты бессилия



в борьбе с судьбой, которую он сам накликал на себя. Причину этой скорби и всю глубину её Гэлен не могла постигнуть: она видела только, что Леонард сокрушался, и отвечала ему тем же чувством, под влиянием которого она часто забывала заблуждения Леонарда, и думала об одном только, как бы утешить его и, если можно, разорвать его связь с таким человеком, как Борлей. С той самой поры, когда Леонард произнес: «О, Гэлен! зачем ты оставила меня!», она постоянно думала о том, как бы возвратиться к нему; и когда юноша, при последнем своем посещении, объявил ей, что Борлей, преследуемый кредиторами, намеревался убежать с своей квартиры и поселиться вместе с Леонардом в его комнате, оставшейся пустою, все сомнения Гэлен были рассеяны. Она решилась пожертвовать спокойствием и безопасностью дома, в котором приютилась. Она решилась воротиться на прежнюю, маленькую квартиру, разделять с Леонардом все его нужды и борьбы и спасти свою милую комнатку, в которой так часто и с таким усердием молилась за Леонарда, от пагубного присутствия искусителя. Му что, если она будет ему в тягость? О, нет! она умела помогать отцу своим рукодельем, в котором она, можно сказать, усовершенствовалась во время пребывания своего в доме мисс Старк; она, с своей стороны, могла сделать некоторое прибавление к его весьма ограниченным средствам. Усвоив эту идею, она решилась осуществить ее до того дня, в который, по словам Леонарда, Борлей должен был перебраться на его квартиру.

Вследствие этого, в одно утро Гэлен встала очень рано, написала коротенькую, но полную признательных выражений записку к мисс Старк, которая спала еще крепким сном, оставила эту записку на столе и, не дожидаясь, когда ктонибудь из домашних проснется, тайком ушла из дому. Перед садовой калиткой Гэлен остановилась на минуту: она в первый раз испытывала угрызение совести, – она чувствовала, до какой степени дурно выплачивала она за холодное и принужденное покровительство, которое мисс Старк оказывала ей. Но чувство раскаяния быстро уступало место чувству сестриной любви. С тяжелым вздохом Гэлен захлопнула калитку и ушла.

Она пришла в квартиру Леонарда, когда он еще спал, заняла свою прежнюю комнатку и явилась Леонарду, когда он собирался уйти со двора.

– Мне отказали в приюте, сказала маленькая лгунья:– и я пришла к тебе, милый брат, под твое покровительство. Мы ужь не будем больше разлучаться; только, пожалуйста, будь веселее и счастливее, – иначе ты заставишь меня думать, что я тебе в тягость.

Сначала Леонард действительно казался веселым и даже счастливым; но, вспомнив о Борлее и сообразив свои денежные средства, он увидел себя в затруднительном положении и начал поговаривать о том, каким бы образом примириться с мисс Старк. Но Гэлен весьма серьёзно отвечала ему, что это невозможно, что лучше не просить ее, и даже не показывать-

ся к ней на глаза.

Леонард полагал, что Гэлен была чемнибудь унижена или оскорблена, и, судя по своим собственным чувствам, очень хорошо понимая, что самолюбие её и гордость были затронуты; но, несмотря на то, он все-таки видел себя в затруднительном положении.

– Не хочешь ли, Леонард, я опять буду держать кошелек? сказала Гэлен, ласковым тоном.

– Увы! отвечал Леонард: – кошелек мой совершенна пуст.

– Какой он негодный! сказала Гэлен:– особенно после того, как ты клал в него так много денег.

– Кто? я?

– Да; разве ты не говорил мне, что получаешь почти по гинее в неделю.

– Это правда; но все эти деньги Борлей берет себе, – а я так много обязан ему, что у меня не достанет духу помешать ему употреблять эти деньги как он хочет.

– Извините, сэр: мне очень желательно получить расчет за квартиру, сказала хозяйка дома, неожиданно войдя в комнату.

Она сказала это учтиво, но вместе с тем и решительно.

Леонард покраснел.

– Вы сегодня же получите деньги. вместе с этим он надел шляпу, слегка отодвинул в сторону Гэлен и вышел.

– Сделайте одолжение, добрая мистрисс Смедлей, обращайтесь прямо ко мне, сказала Гэлен, принимая на себя вид

домохозяйки. – Ведь *он* постоянно занят, а в таком случае его не следует тревожить.

Хозяйка, дома – добрая женщина, что, впрочем, несколько не мешало ей взыскивать с постояльцев квартирные деньги – весьма снисходительно улыбнулась. Она любила Гэлен, как старую знакомую.

– Я так рада, что вы опять приехали сюда: быть может, молодой человек не станет теперь так поздно возвращаться домой. Я ведь хотела только предупредить его, а впрочем....

– А впрочем, он будет современем знаменитым человеком, и потому вы должны обходиться с ним снисходительнее.

И Гэлен, поцаловав мистрисс Смедлей, отпустила ее с очевидным расположением заплакать.

После этого Гэлен занялась комнатами. Она увидела чемодан своего отца, доставленный по первому требованию Леонарда, пересмотрела все бывшее в нем и, прикасаясь к каждому из весьма обыкновенных, но для неё драгоценных предметов, горько плакала. Воспоминание о покойном отце придавало дому, в котором находилась теперь Гэлен, какую-то особенную прелесть, чего не замечалось в доме мисс Старк. Гэлен спокойно отошла от чемодана и механически начала приводить все в порядок. С грустным чувством смотрела она на небрежность, в которой находился каждый предмет. Но когда очередь дошла до розового дерева и когда Гэлен увидела, что одно только оно обнаруживало попечение Леонарда....

– Неоцененный Леонард! произнесла она.

И улыбка снова заиграла на её лице.

Надобно полагать, что, кроме возвращения Гэлен на прежнюю квартиру, ничто другое не могло бы разлучить Леонарда с Борлеем. Леонарду не предстояло никакой возможности, даже и в таком случае, если бы была в доме пустая комната (которой, к счастью, теперь не нашлось), поместить этого шумного и буйного питомца Муз и Бахуса в одном и том же жилище вместе с невинною, нежною, робкою девочкою. Кроме того, Леонарду нельзя было оставлять Гэлен одну в течение двадцати-четырёх часов. Она устроила для него постоянный приют и возложила на него обязанность заботиться об этом приюте. Вследствие этого, Леонард объявил мистеру Борлею, что на будущее время он будет писать и заниматься в своей комнате, и намекнул, как только мог деликатнее, что, по его мнению, все деньги, получаемые за работу, должны делиться пополам с Борлеем, которому он так много обязан за приобретение, работы, и из книг которого или из его обширных сведений он собирал материалы для своей работы; что одна из этих половин должна принадлежать ему, но отнюдь не употребляться на пирушки и попойки. Леонард имел на своем попечении другое существо.

Борлей, с сохранением достоинства, решился принимать половину приобретений своего сотрудника, но с заметным неудовольствием отзывался о серьёзном назначении другой половины. Хотя он и был одарен доброй душой и горячим

сердцем, но чувствовал крайнее негодование против неожиданного вмешательства бедной Гэлен. Однакожь, Леонард был тверд в своем намерении. Борлей рассердился, и они расстались. А между тем за квартиру нужно было заплатить. Но каким образом? Леонард в первый раз подумал о займе под заклад. У него было лишнее платье и часы Риккабокка. Но нет! из последних он ни за что на свете не решился бы сделать такого низкого употребления.

Он возвратился домой в полдень и встретил Гэлен у дверей. Гэлен тоже выходила из дому, и на пухленьких щечках её играл яркий румянец, обнаруживавший в ней непривычку к ходьбе и чистую радость. Гэлен все еще берегла золотые монеты, которые Леонард принес ей при первом посещении дома мисс Старк. Она выходила купить шерсти и некоторые другие предметы для рукоделья и между прочим заплатила за квартиру.

Леонард не препятствовал Гэлен заняться работой; но он вспыхнул, когда узнал об уплате квартирных денег, и не на шутку рассердился. В тот же вечер он возвратил уплаченную сумму. Этот поступок принудил бедную Гэлен проплакать целый вечер, но она плакала еще более, когда на другой день поутру увидела горестное опустошение в гардеробе Леонарда.

Леонард работал теперь дома, и работал неутомимо. Гэлен сидела подле него и тоже работала, так что следующие два дня протекли в невозмутимом спокойствии. На второй день

вечером Леонард предложил прогуляться за город. При этом предложении Гэлен прыгала от радости, как вдруг дверь распахнулась и в комнату ввалился Джон Борлей – пьяный, – мертвецки пьяный!

Вместе с Борлеем вошел другой человек – приятель его, некогда бывший зажиточным купцом, но, к несчастью, почувствовавший особенное влечение к литературе и полюбивший беседу Борлея, так что, со времени знакомства с Борлеем, его торговые дела пришли в совершенный упадок, и, по судебному приговору, он объявлен банкротом. Оборваннее наружности этого человека невозможно было представить, и, в добавок, нос его был гораздо краснее носа Борлея.

Пьяный Борлей бросился на бедную Гэлен.

– А! так вы-то и есть Пентей в юбке, который презирает Бахуса! вскричал он.

И вслед за этим проревел несколько стихов из Эврипида. Гэлен побежала прочь; Леонард заслонил дорогу Борлею.

– Как вам нестыдно, Борлей!

– Он пьян, сказал мистер Дус, банкрот: – очень пьян... не обращайтесь внима... вниммания... нна... него. Послушайте, сэр... ннадеюсь, мы не беспокоим... вас... Борлей, сиди сммирно и то... то... говори чтонибудь... пожалуста, ггговори... Вы послушайте, сэр, как он его... ггговорит.

Леонард между тем вывел Гэлен в её комнату, просил ее не тревожиться и запереть свою дверь на замок. Потом

он снова возвратился к Борлею, который расселся на постель и употреблял все усилия держать себя прямо, между тем как мистер Дус старался закурить коротенькую трубочку без табаку: весьма натурально попытка эта не удавалась ему, и потому он начал горько плакать.

Леонард был сильно недоволен этим посещением, тем более, что в доме его находилась Гэлен. Заставить Борлея повиноваться внушению здравого рассудка было совершенно невозможно. Нельзя было и выпроводить его из комнаты? да и мог ли юноша выгнать от себя человека, которому он так много был обязан?

До слуха Гэлен долетали громкий, несвязный говор, хохот пьяных людей и хриплые звуки вакхических песен. Потом она услышала, как в комнату Леонарда вошла мистрисс Смедлей; с её стороны начались увещания, но они заглушались громким хохотом Борлея. Мистрисс Смедлей, кроткая женщина, очевидно была перепугана, и вслед за тем раздались по лестнице её ускоренные шаги. Завязался продолжительный и громкий разговор, в котором голос Борлея был господствующим; мистер Дус вмешивался в него, заикаясь сильнее прежнего. За недостатком вина, разговор этот продолжался несколько часов, так что к концу его мистер Борлей говорил уже языком человека трезвого. Вскоре после этого на лестнице раздались шаги уходявшего мистера Дуса, и в комнате Леонарда наступило безмолвие. С наступлением зари Леонард постучался в дверь Гэлен. Она отперла ее



немедленно; в течение ночи Гэлен не смела прилечь на постель.

– Гэлен, сказал Леонард, с печальным видом: – тебе нельзя оставаться в этом доме. Я должен приискать для тебя более приличное помещение. Этот человек оказал мне величайшую услугу в то время, когда в целом Лондоне у меня не было ни души знакомых. Теперь он находится в самом затруднительном положении; он говорит, что ему нельзя выйти отсюда: полиция преследует его за долги. Теперь они спит. Я пойду приискать тебе другую квартиру, гденибудь в соседстве. Согласись, мой друг, что я не могу выгнать отсюда человека, который был моим покровителем, – и в то же время нельзя и тебе оставаться с ним под одной кровлей. Мой добрый гений, я опять должен лишиться тебя.

Не дождавшись ответа, Леонард почти бегом спустился с лестницы.

Утро уже глядело в открытые окна квартиры Леонарда, птички начинали петь на зеленом густом вязе, когда Борлей проснулся, вскочил с постели и осмотрелся кругом. По видимому, он не мог догадаться, где находился. Схватив кувшин с холодной водой, он выпил его в три глотка и заметно освежился. После этого Борлей начал осматривать комнату, взглянул на рукописи Леонарда, заглянул в комоды, не мог надивиться, куда девался Леонард, и наконец, для развлечения, а более для того, чтоб обратить на себя внимание какогонибудь живого существа, начал швырять каминные ору-

дия, звонить в колокольчик и вообще производить всевозможный шум.

Среди этого *charivari* дверь к Борлею тихо отворилась, и на пороге показалась спокойная фигура Гэлен. Борлей повернулся, и оба они несколько секунд смотрели друг на друга с безмолвным, но напряженным вниманием.

– Войдите сюда, моя милая, сказал Борлей, стараясь придать чертам своего лица самое дружелюбное выражение. – Кажется, вы та самая девочка, которую я встретил вместе с Леонардом на берегах Brenta. Вы приехали сюда, чтобы опять жить вместе с ним, да и я тоже буду жить с ним: значит вы будете нашей маленькой хозяйкой. И прекрасно! я буду рассказывать вам такие сказки, каких вы никогда еще не слышали. Между тем, мой дружок, вот тут шестипенсовая монета: сделайте одолжение, сбегайте и променяйте ее на несколько глотков рому.

– Сэр, сказала Гэлен, медленно подходя к Борлею и продолжая с прежним вниманием вглядываться в его лицо: – Леонард мне сказывал, что у вас очень доброе сердце, и что вы оказали ему большую услугу: следовательно, он не смеет попросить вас оставить этот дом; а потому я, которая ничего еще не успела сделать для него полезного, должна уйти отсюда и жить одна.

– Вам уйти отсюда, моя маленькая лэди? возразил Борлей, тронутый словами Гэлен: – зачем же это? разве мы не можем жить вместе?

– Конечно, не можем. Сэр, я бросила все, чтобы только жить вместе с Леонардом: ведь мы встретились с ним впервые на могиле моего отца. А вы хотите отнять его у меня, тогда как кроме его у меня нет более друга на земле.

– Пожалуйста, объясните мне все это, сказал Борлей, встревожась. – Почему вы должны оставить его, если я поселюсь здесь?

Гэлен бросает на мистера Борлея долгий и внимательный взгляд, но не отвечает.

– Быть может, потому, сказал Борлей, делая глоток: – потому, что, по его мнению, я очень дурной человек, чтобы жить вместе с вами?

Гэлен наклонила голову.

Борлей сделал быстрое движение назад и, после минутного молчания, сказал:

– Да, он прав.

– Ах, сэр! вскричала Гэлен и, повинувшись побуждению своего сердца, бросилась к Борлею и взяла его за руку; – если бы вы знали, – он до знакомства с вами был совсем другой человек: тогда он был весел, тогда, при первой его неудаче, я могла сожалеть о нем, могла плакать; впрочем, если чувства мои не обманывают меня, он и теперь еще сделает большие успехи: у него такое чистое, непорочное сердце. Пожалуйста, сэр, не подумайте, что я намерена упрекать вас; но скажите сами, что станется с ним, если.... если.... о, нет! я не в силах высказать моей мысли. Я знаю одно, что еслиб я осталась

здесь, еслиб он позволил мне заботиться о нем, он стал бы приходить домой рано, стал бы работать с терпением, и я... я могла бы еще, кажется, спасти его. Но теперь, когда я уйду отсюда и вы останетесь с ним, вы, к которому он чувствует такую признательность, – вы, советам которого он готов следовать очертя-голову – вы сами должны видеть это – о, тогда, я не знаю, что будет с ним!..

Рыдания заглушили голос Гэлен.

Борлей раза четыре прошелся по комнате: он был сильно взволнован.

– Я настоящий демон, говорил он про себя. – Мне и в голову не приходило подумать об этом. Но это непреложная истина: действительно, я могу навсегда погубить этого юношу.

Глаза его наполнились слезами; он вдруг остановился, схватил шляпу и бросился к двери.

Гэлен заслонила ему дорогу и, нежно взяв его за руку, сказала:

– Сэр, простите меня: я огорчила вас.

Вместе с этим она взглянула на Борлея с чувством искреннего сострадания, которое придавало пленительному личику ребенка красоту неземную.

Борлей наклонился поцеловать Гэлен и в ту же минуту отступил назад: быть может, он понимал, что его губы недостойны были прикасаться к этому невинному личику.

– Еслиб у меня была сестра, такой же невинный ребенок,

сказал он про себя: – быть может, и я был бы спасен во время.  
А теперь -

– Теперь вы можете остаться здесь: я ужь больше не боюсь вас.

– Нет, нет, вы испугаетесь меня до наступления ночи, а тогда может случиться, что я не буду в расположении слушать вас, дитя мое. Ваш Леонард имеет благородное сердце и редкия дарования. Он должен возвыситься и возвысится. Я не хочу тащить его за собой в непроходимую грязь. Прощайте, моя милая; больше вы меня не увидите.

И Борлей вырвался от Гэлен, в несколько прыжков спустился с лестницы и вышел на улицу.

Возвратясь домой, Леонард был крайне изумлен известием, что незваный гость его ушел. Однакожь, Гэлен не решились сказать ему, что она была виновницей этого ухода: она знала, что подобная услуга с её стороны могла бы огорчить Леонарда и оскорбить его гордость; впрочем, она никогда не отзывалась о Борлее грубо. Леонард полагал, что в течение дня он увидит или услышит о своем приятеле; но ничуть не бывало: он ровно ничего не узнал, не напал даже на следы его в любимых местах пребывания Борлея! Он осведомился в конторе «Пчелиного Улья», не известен ли был там новый адрес Борлея, но и там не получил никаких сведений.

В то время, как Леонард, обманутый в своих ожиданиях и встревоженный нечаянным уходом своенравного друга,

пришел к дому, у самого входа его встретила хозяйка дома.

– Не угодно ли вам, сэръ, приискать себе другую квартиру, сказала она. – Мне не хочется слышать в моем доме по ночам такое пение и крик. Мне жаль только ту бедную девочку! удивляюсь, право, неужели вам не стыдно перед ней!

Леонард нахмурился и прошел мимо хозяйки, не промолвив слова.

## Глава LXIV

Между тем, оставив Гэлен, Борлей продолжал свое шествие и, как будто по инстинктивному влечению, направил шаги к зеленеющим еще, любимым местам, в которых он провел свою юность. Когда кончилось его путешествие, он стоял перед дверьми деревянного коттеджа, одиноко стоявшего среди обширных полей; позади коттеджа, в некотором расстоянии, находился скотный двор, а из передних окон, сквозь чащу деревьев, проглядывали светлые пятна извивающейся Бренты.

С этим коттеджем Борлей был давно и коротко знаком: в нем обитала престарелая чета, знавшая Борлея с его детского возраста. Там, по обыкновению, он оставлял свои удочки и рыболовные снасти; там иногда в небольшие промежутки бурной и мятежной жизни своей он проводил дня по два или по три сряду, представляя себе деревню в первый день совершенным раем и убеждаясь на третий день, что это настоящее чистилище.

Старушка, чисто и опрятно одетая, вышла ветреть его. – Ах, мистер Джон! сказала она, сжимая свои костлявые руки: – теперь и полям-то будет повеселее. Надеюсь, что вы погостите у нас? Пожалуста, погостите: это подкрепит ваши силы и освежит вас; это в Лондоне прекрасный цвет вашего лица совершенно блекнет.

– Да, я останусь у вас, мой добрый друг, сказал Борлей, с необыкновенным смирением: – и вы, вероятно, отдатите мне старую комнатку?

– Конечно, конечно; зайдите и взгляните на нее. Кроме вас я никому не позволяю останавливаться в ней, – решительно никому, особенно с тех пор, как побывала в ней прекрасная лэди с английским личиком. Бедняжка, что-то случилось с ней?

Говоря таким образом и не обращая внимания, что Борлей вовсе не слушает ее, старушка ввела его в котгэдж и по лестнице проводила в комнату, которая, можно сказать, была лучшею в доме, потому что меблирована была со вкусом и даже изящно. Небольшое фортепьяно стояло против камина, а окно обращено было на живописные луга, пересеченные живыми изгородами, и на узкия извилины голубой поверхности Бренты. Утомленный Борлей опустился на стул и с напряженным вниманием начал смотреть из окна.

– Вы еще не завтракали? спросила заботливая хозяйка.

– Нет.

– И прекрасно! у меня есть свеженькие яички: не хотите ли, мистер Джон, я приготовлю вам яичницу с ветчиной? А если вы захотите рому к чаю, так у меня есть немного: вы сами давным-давно оставили немного в своей дорожной фляжке.

Борлей отрицательно покачал головой.

– Рому не нужно, мистрисс Гудайер; принесите лучше све-



жого молока. Посмотрю, не сумею ли я приласкать к себе природу.

Мистрисс Гудайер, не понимая, что хотел выразить этими слова мистер Борлей, отвечала: «очень хорошо», и исчезла.

В этот день Борлей отправился с удочкой и всячески старался поймать одноглазого окуня, – но тщетно. Бросив это занятие, он засунул руки в карманы и, насвистывая песни, долго бродил по берегу. Он воротился в коттэдж при закате солнца, пообедал, не хотел пить рому и чувствовал себя не в духе. Потребовав перо, чернил и бумаги, он хотел писать, но не мог написать и двух строчек. Он позвал мистрисс Гудайер.

– Скажите вашему мужу, чтобы он пришел сюда посидеть и поболтать.

Старик Джэкоб Гудайер приплелся наверх, и Борлей велел ему рассказывать деревенские новости. Джэкоб повиновался весьма охотно, и Борлей заснул наконец под говор старика. Следующий день был проведен почти точно также; только к обеду была поставлена бутылка водки, и Борлей, кончив ее, не звал уже наверх Джэкоба, но занялся письмом.

На третий день шел непрерывный дождь.

– Нет ли у вас какихнибудь книг, мистер Гудайер? спросил бедный Джон Борлей.

– О, да! есть какие-то: их оставила здесь хорошенькая лэди; а может быть, не хотите ли вы взглянуть на собственные её сочинения?

– Ни за что на свете! все женщины не пишут, а только марают бумагу; а всякое маранье всегда бывает одинаково. Принесите мне книги.

Книги были принесены. Это были стихотворения и опыты по различным отраслям литературы. Борлей знал их наизусть. Он начал любоваться дождем, который к вечеру прекратился. Борлей схватил шляпу и ушел.

– Природа, природа! восклицал он на открытом воздухе, пробираясь по окраине дороги, обратившейся в грязь: – я не мог приласкать тебя! Сознаюсь откровенно, я бессовестно издевался над тобой; ты кокетлива как женщина и как женщина нескоро прощаешь обиды. Впрочем, я и не жалею. Быть может, ты очень хороша, – я и не спорю; но в то же время ты самая тяжелая, самая скучная подруга, с какой мне когда либо случалось встретиться. Слава Богу, что я не женился на тебе!

Таким образом Джон Борлей совершал свой путь к Лондону и зашел на перепутье в первый трактир. Из этого места он вышел уже с веселым видом и в веселом расположении духа отправился в сердце города. Вот он уже дошел до Лей-сестерского Сквэра, любитесь иностранцами, населяющими эту часть города, и напевает песню; вот из ближайшего переулка выходят две фигуры и внимательно следят за каждым его шагом; вот он направляет свой путь чрез лабиринт улиц и переулков, пересекающих квартал Сент-Мартинс, и, с от-радной надеждой на веселую пирушку в одном из любимых

трактиров, он брянчит серебряными монетами; вот знакомые фигуры догоняют его и идут с ним почти рядом.

– Приветствую тебя, свобода! произнес Джон Борлей про себя. – Твое жилище в горах, твои чертоги в тавернах.

– Именем закона арестую вас, произнес грубый голос, и в то же время Борлей почувствовал страшное, но знакомое ему прикосновение к его плечу.

Двое полицейских чиновников, преследовавших его, поймали наконец свою добычу.

– По чьему взысканию? спросил Борлей, запинаясь.

– По взысканию мистера Кокса, винного погребщика.

– Кокса! человека, которому, не далее трех месяцев назад, я дал вексель на имя моих банкиров.

– Но они не хотели очистить его.

– Так чтожь за беда! я имел намерение заплатить долг – и довольно. Человек с благородной душой часто обещание или расположение сделать доброе дело принимает за самое дело. После этого Кокс чудовище неблагодарности: я не хочу быть его покупателем.

– И поделом ему! Не угодно ли вам взять кабриолет?

– Зачем! я лучше истрачу эти деньги на чтонибудь другое, сказал Джон Борлей. – Дайте мне взять вас под руки: ведь я человек неспесивый. Во всяком случае, благодарю Небо, что оно не допустило меня ночевать в деревне.

И действительно, Джон Борлей провел эту ночь в тюрьме.

## Глава LXV

Мисс Старк была из числа женщин, которые проводят свою жизнь в постоянной и самой ужасной борьбе в общественном быту – в войне с своей прислугой. Она смотрела на членов этого разряда общества, как на самых бдительных и непримиримых врагов несчастных домовладельцев, осужденных нанимать их. Она полагала, что эти люди ели и пили сколько принимала их натура собственно затем, чтоб разорить своих благодетелей, что они жили друг с другом и со всеми мелочными лавочниками в одном постоянном заговоре, целью которого было обманывать и обкрадывать. Мисс Старк была в некотором отношении весьма жалкая женщина. У неё не оказывалось ни родственниц, ни подруг, которые могли бы участвовать в её одинокой расправе с домашними врагами. Незначительный доход её, прекращавшийся вместе с концом её жизни, не обязывал различных племянников и племянниц, кузенов и кузин питать к ней чувство родственной любви, а потому, чувствуя недостаток в существе с доброй, благородной душой среди людей, внушавших к себе недоверие и ненависть, она старалась отыскать такое существо между наемными компаньонками. Но компаньонки недолго уживались с мисс Старк. Это случилось потому, что или мисс Старк не нравилась им, или они сами не приходились по душе мисс Старк. Вследствие это-

го бедная женщина решилась воспитать маленькую девочку, которой бы сердце было еще свежо и непорочно, и от которой можно бы ожидать впоследствии искренней благодарности. Она во всех отношениях оставалась, довольною маленькою Гэлен и в душе положила держать этого ребенка в своем доме столько времени, сколько сама она продержится на земле, то есть еще, быть может, лет тридцать, если не более, – и потом, заградив ей совершенно дорогу к супружеской жизни и заглушив в ней все нежные чувства, ничего не оставить ей кроме одного только сожаления о потере такой великодушной благодетельницы. Согласно с этим понятием и с целию как можно более расположить к себе ребенка, мисс Старк смягчила свой холодный, суровый характер, так натурально согласовавшийся с её образом жизни и понятий, и была добра к Гэлен по своему. Она не била ее, не щипала и не заставляла оставаться голодною. По условию, сделанному с доктором Морганом, мисс Старк позволяла Гэлен видаться с Леонардом, и для первого свидания пожертвовала десять пенсов на лакомство, кроме определенного количества фруктов из своего собственного сада – щедрость, которую она не считала за нужное возобновлять при следующих свиданиях. В замен этого, она воображала, что купила полное право располагать Гэлен в физическом и моральном отношениях, и, само собою разумеется, ничто не могло превзойти её негодования, когда, в одно прекрасное утро, встав с постели, она узнала, что маленькая пито-

мица её убежала. Мисс Старк тотчас догадалась, что Гэлен убежала к Леонарду. Но как ей ни разу не приходило в голову спросить Леонарда о месте его жительства, то она решительно не знала, что ей делать, и целые сутки провела в бесполезном унынии. Наконец неожиданная потеря любимой девочки до такой степени становилась ощутительной, что в душе мисс Старк пробудилась вся энергия, которая привела ее к заключению, что, руководимая самым искренним чувством благотворительности, она имеет право требовать это бедное создание от людей, к которым Гэлен так безразсудно бросилась.

Вследствие этого, она поместила в газете *Times* объявление, или, вернее сказать, вольное подражание объявлению, посредством которого, в былые годы, она отыскивала свою любимую болонку.

*«Две гинеи награды!»*

«Пропала, из Плющевого Коттэджа, в Хайгете, маленькая девочка; кличка ей Гэлен; приметы: голубые глаза и каштановые волосы; в белом кисейном платье и соломенной шляпке с голубыми лентами. Кто доставит девочку в Плющевый Коттэдж, тот получит вышепомянутое награждение.

«NB. К означенной награде прибавлений никаких не будет!»

Надобно же случиться, что мистрисс Смедлей поместила в той же газете свое собственное объявление касательно своей племянницы, которая только что приехала из провин-

ции и желала пристроиться к месту. Таким образом, вопреки своему обыкновению, мистрисс Смедлей послала за газетой и подле своего объявления увидела объявление мисс Старк.

Невозможно было ошибиться в том, что описание примет относилось именно к той Гэлен, которая жила в доме мистрисс Смедлей; а так как это объявление встретилось со взорами домовладельницы в тот самый день, когда Борлей своим посещением наделал в доме столько шуму и скандала и когда мистрисс Смедлей решила отказаться в квартире постояльцу, принимавшему подобных гостей, то несколько не покажется удивительным, если добродушная женщина приходила в восторг от одной мысли, что может представить Гэлен в прежний, безопасный дом. Во время этих размышлений Гэлен сама вошла в кухню, где сидела мистрисс Смедлей; добрая хозяйка дома имела столько неблагоразумия, что показала маленькой девочке объявление мисс Старк, и, как она сама выражалась, «серьёзно» переговорила с ней об этом предмете.

Напрасно Гэлен, с горячими слезами, умоляла не предпринимать никаких мер по поводу объявления мисс Старк; мистрисс Смедлей считала непременным долгом представить пропавшую девочку. Слезы Гэлен произвели на нее никакого впечатления: она надела шляпку и ушла. Гэлен, догадываясь, что мистрисс Смедлей отправилась обрадовать мисс Старк, немедленно решила на новый побег. Леопарда в это время не было дома: он ушел с своими сочинени-

ями в контору «Пчелиного Улья»; но Гэлен начала укладывать все свое имущество, и когда кончила это занятие, Леонард возвратился. Она сообщила ему неприятную новость, объявила, что будет самое несчастное создание, если принудят ее воротиться к мисс Старк, и так патетически умоляла спасти ее от предстоявшей горести, что Леонард, нисколько не медля, согласился на её предложение к побегу. К счастью, квартирный расчет простирался на весьма незначительную сумму, и эта сумма была оставлена служанке, – так что, пользуясь отсутствием мистрисс Смедлей, они вышли из дому без малейшего шума и суматохи. Леонард перенес свои пожитки в ближайшую контору дилижансов и вместе с Гэлен, отправился искать новую квартиру. Благоразумие требовало поселиться в другом и более отдаленном от прежнего квартале; Леонард так и поступил: он нашел небольшую квартиру в самой отдаленной части города, называемой Ламбет.

Около этого времени в журнале «Пчелиный Улей» начали появляться политические статьи возмутительного свойства, – статьи, имеющие близкое сходство с трактатами, помещавшимися в мешке странствующего медника. Леонард не обращал на них особенного внимания, но они произвели гораздо сильнейшее впечатление на публику, читавшую «Пчелиный Улей», нежели статьи Леонарда, которые обнаруживали редкия дарования писателя, хотя и помещались в конце журнала. Требование на журнал до такой степени увеличилось, особливо в мануфактурных городах, что обра-



тило на себя внимание полиции, которая принуждена была остановить дальнейшее издание журнала и отобрать все заготовленные для него материалы. Самому издателю угрожало уголовное следствие и неизбежное заточение в тюрьму: перспектива эта ему слишком не понравилась, и он скрылся. Однажды вечером, Леонард, не знавший об этом событии, подошел к дверям конторы и нашел ее за печатью. Взволнованная чернь собралась под окнами, и из середины её, громче всех других, раздавался голос, знакомый слуху Леонарда. Леонард взглянул в ту сторону и, к крайнему удивлению своему, узнал в ораторе мистера Спротта, странствующего медника.

Спустя немного, явился отряд полиции, чтоб рассеять толпу, и мистер Спротт рассудил за лучшее немедленно скрыться. Только теперь Леонард узнал о случившемся и снова увидел себя без занятий и, следовательно, без всяких средств к существованию.

Медленно возвращался он домой.

– О знание! говорил он про себя: – теперь я согласен с мнением Борлея – ты бессильно!

Углубленный в грустные размышления, он взглянул наверх и неожиданно увидел объявление, написанное крупными буквами и прибитое к глухой стене:

*«На отъезд в Индию, требуется несколько молодых людей.»*

Едва только Леонард успел пробежать эти слова, как перед

ним уже стоял вербовщик.

– А что, молодой человек? ведь из вас бы вышел славный солдат! У вас такое крепкое телосложение.

Леонард прошел мимо его, не сказав ни слова.

Он вошел в свою квартиру, не сделав ни малейшего шума, и с нежным и глубоким состраданием взглянул на Гэлен, которая сидела за работой, напрягая свое зрение, подле открытого окна. Она не слыхала, как вошел Леонард, и вовсе не подозревала близкого его присутствия. Терпеливо и молча продолжала она свою работу; маленькие пальчики её быстро шевелились. Леонард в первый раз взглянул на нее с особенным вниманием и только теперь заметил, что щеки её впали, румянец уступил место бледности, и руки сделались тонки! Сердце его сжалось. Он тихо подошел к Гэлен и положил руку к ней на плечо.

– Надень платок, Гэлен, и шляпку и пойдем прогуляться: мне нужно сказать тебе многое.

Через несколько секунд Гэлен была готова, и они отправились на любимое место своей прогулки – на Вестминстерский мост.

– Гэлен, мы должны расстаться, сказал Леонард, остановись в одной из нишей балюстрад.

– расстаться? Зачем, Леонард?

– Выслушай меня, Гэлен. Все работы мои, зависевшие от умственных дарований, прекратились. Ничего не остается больше, как только пустить в дело физические силы.

Мне нельзя воротиться в деревню и сказать: мои надежды были чересчур высокомерны, мои дарования была одна лишь обольстительная мечта! Я не могу воротиться домой. Не могу также остаться и в этом городе в качестве какогонибудь поденщика или носильщика. Я мог бы еще приучить себя к подобной работе, я мог бы не краснея заняться ею, но, к несчастью, умственное мое образование поставило меня выше моего происхождения. После этого что мне остается делать? Я и сам еще не знаю.... одно из двух, я думаю, идти в солдаты или, в качестве эмигранта, уехать в отдаленные колонии. Каков бы ни был мой выбор, с этой поры я должен жить один: у меня нет больше дома. Но для тебя, Гэлен, есть приют, очень скромный, это правда, но зато безопасный: это – дом моей матери. Она полюбит тебя как родную, и.... и....

Гэлен, дрожа всем телом, прильнула к нему. Слезы струились из её глаз.

– Все, все, что только хочешь ты сделать, делай, но не покидай меня. Я сама могу работать, я сама могу доставать деньги, Леонард. Я и теперь достаю их.... ты не знаешь, сколько, – но этих денег будет для нас обоих, пока не наступит для тебя лучшая пора. Ради Бога, Леонард, останемся вместе.

– Я, мужчина, рожденный для того, чтобы трудиться, – чтобы я стал жить трудами ребенка! нет, Гэлен! не думай обо мне так дурно, не унижай меня до такой степени.

Гэлен, взглянув на гневное лицо его, отступила, с покорностью склонила голову на грудь и тихо произнесла: «простите!»

– О, еслиб мы могли отыскать теперь друга бедного моего отца! сказала Гэлен, после непродолжительного молчания. – До сих пор мне и в голову не приходило вспомнить его.

– Да, весьма вероятно, он принял бы тебя под свое покровительство.

– *Меня!* повторила Гэлен, тоном сильного упрека, и отвернулась, чтоб скрыть свои слезы.

– Уверена ли ты, Гэлен, что узнаешь его, еслиб мы случайно встретились с ним?

– Без всякого сомнения. Он так не похож на джентльменов, которых мы видим в этом ужасном городе. Его глаза – вон как те звезды, такие же чистые и светлые; но свет их выходит, по видимому, из глубины, как свет в твоих глазах, когда мысли твои витают далеко от всех окружающих тебя предметов. Кроме того, я узнала бы его по его собаке, которую зовет он Нероном. . . . Видишь ли, я не забыла даже и этого.

– Но ведь он не всегда же ходит с собакой?

– Прекрасно! А светлые-то глаза его! Вот хоть бы теперь, ты смотришь на небо, и я в твоих глазах узнаю его глаза.

Леонард не отвечал. Действительно, его мысли не были прикованы в эту минуту к земле: они старались проникнуть в беспредельно-далекое и полное таинственности небо.

Оба они долго оставались безмолвны; толпы народа проходили мимо их незамеченные. Ночь опустилась над рекой; отражение фонарей на её поверхности было виднее отражения звезд. Колеблющийся свет их обнаруживал мрачную быстроту. Небольшой корабль, стоявший к востоку, с обнаженными, как призраки торчавшими мачтами, казался мертвым, среди окружающего его безмолвия.

Леонард взглянул вниз, и мысль об ужасной смерти Чаттертона мелькнула в его голове. Бледное лицо с презрительной улыбкой и пылающими взорами выглядывало, по видимому, из мрачной бездны и приветливо произносило: «Перестань бороться с сильными приливами и отливами на поверхности. Здесь, в глубине, все тихо и спокойно!»

Леонард с ужасом оторвался от этого страшного призрака и поспешно заговорил с Гэлен, стараясь утешить ее описанием скромного деревенского приюта, который предлагал ей.

Он говорил о легких, немногих заботах, которые Гэлен стала бы делить с его матерью, распространялся с красно-речием, которое, при окружавшем контрасте, делалось искреннее и сильнее, о счастливой деревенской жизни, о тенистых рощах, о волнистых нивах, о величественном церковном шпице, высившемся над тихим, спокойным ландшафтом. С некоторою лестью он рисовал в воображении Гэлен цветущие террасы итальянского изгнанника, игривый фонтан, который, по его словам, бросал свои брызги к отдаленным звездам, рассекая тихий светлый воздух, непропитан-

ный городским дымом и незараженный греховным дыханием порочных людей. Он обещал ей любовь и защиту людей, которых сердца как нельзя более согласовались с окружающей их сценой: простой, но нежно любящей матери, кроткого пастора, – умного и великодушного пастора, Виоланты, с черными глазами, полными мистических мечтаний, вызываемых уединением из детского возраста, – Виоланты, которая непременно сделалась бы её подругой.

– Леонард! вскричала Гэлен. – Если деревенская жизнь сулит столько счастья, то возвратимся туда вместе, – умоляю тебя, Леонард, пойдем туда вместе.

– Увы! с печальной улыбкой произнес юноша. – Если молот, ударив по раскаленному железу, выбьет искру из него, то эта искра должна лететь кверху; она тогда упадет на землю, когда огонь совершенно потухнет в ней. Гэлен, я хочу лететь кверху: не удерживай во мне этого полета.

На другой день Гэлен занемогла, – до такой степени занемогла, что, вскоре после, того, как встала с постели, она принуждена была снова лечь в нее. Она дрожала всем телом; глаза её потускли, руки горели огнем. Горячка быстро развивалась в ней. Быть может, она сильно простудилась на мосту, а может быть, душевное волнение было чересчур сильно для её организации. Испуганный Леонард пригласил ближайшего медика. Осматривая Гэлен, медик казался весьма серьезным и объявил наконец, что больная находится в опасном положении. И действительно, опасность сама вскоре

обнаружилась: в Гэлен открылся бред. В течение нескольких дней она находилась между жизнью и смертью. Леонард только тогда узнал, что все скорби на земле ничтожны в сравнении с боязнию лишиться друга, которого мы любим всей душой. Лавры, которые мы ставим так высоко, теряют всю свою прелесть и цену подле увядающей розы.

Но, благодаря, скорее, может быть, вниманию Леонарда и его попечению, чем искусству врача, бред наконец прекратился. Гэлен пришла в чувства; главная опасность миновала. Но Гэлен была все еще очень слаба, изнурена до крайности; совершенное выздоровление было пока сомнительно или, по всей вероятности, должно совершаться чрезвычайно медленно.

Узнав, как долго она лежала в постели, Гэлен с беспокойством взглянула в лицо Леонарда, в то время, как он наклонился над ней, и слабым, едва слышным голосом произнесла: – Пожалуста, Леонард, подай мою работу: теперь я чувствую себя сильнее; притом же работа будет развлекать меня.

Леонард залился слезами. Увы! он сам находился без работы. Общий капитал их уничтожился. Медик не имел ни малейшего сходства с добрым доктором Морганом; за лекарство и квартиру требовались деньги. Перед этим за два дня Леонард заложил часы Риккабокка, – и, когда вышел последний шиллинг из вырученных таким образом денег, что оставалось ему делать, что можно было предпринять, чтоб поддержать несчастную Гэлен? Несмотря на то, Лео-

нард умел, однакожь, победить свои слезы и уверить Гэлен, что имеет занятия, – уверить так положительно, что успокоенная Гэлен заснула сладким, укрепляющим сном. Леонард долго прислушивался к её дыханию, поцаловал её в голову и вышел. Он удалился в свою маленькую комнату и, закрыв лицо обеими руками, старался собрать все свои мысли.

Наконец-то он должен был сделаться нищим! Ему должно наконец писать к мистеру Дэлю и просить у него денег, – к мистеру Дэлю, знавшему тайну его происхождения! О, нет! он скорее согласится просить милостыню у незнакомца – просить у мистера Дэля, в глазах Леонарда, было то же самое, что прибавлять к памяти своей матери новое бесчестие. Еслиб он был один, еслиб ему одному только переносить все нужды, испытать все мучения голода, он мало по малу сошел бы в могилу, вырытую голодом, прежде, чем решился бы унижить свою гордость. Но там, в соседней с ним комнате, лежала умирающая Гэлен, – Гэлен, нуждавшаяся в подкреплении, быть может, в течение нескольких недель. При том же всякий недуг обращает самую роскошь в существенную необходимость! Да, он должен просить. При этой решимости, еслиб вы видели, как побеждал он всю гордость, переносил всю горечь души своей, вы непременно сказали бы: «то, что он считает в себе унижением, есть героизм. О, как странно человеческое сердце! никакая эпическая поэма не выразит того величия и красоты, которые начертаны на твоих сокровенных страницах. Этц письма не постижи-



мы для человеческого взора!» Но у кого же он будет просить? Его мать сама ничего не имеет, Риккабокка беден, а величественная Виоланта, которая восклицала: «о, еслиб я была мужчиной!» – Леонард не мог допустить мысли, что она будет сожалеть о нем, может быть, станет презирать его. Просить Эвенелей! Нет, тысячу раз нет! Наконец Леонард быстро схватил перо и бумагу и написал на скорую руку несколько строчек. Леонарду казалось, что эти строки написаны были его кровью.

Между тем час отправления почты миновал: письмо должно остаться до другого дня, – и до получения ответа пройдет по крайней мере еще три дня. Леонард, оставив письмо на столе, вышел из душевной своей комнатки на улицу. Без всякой цели перешел он Вестминстерский мост, продолжал идти дальше, увлекаемый толпами народа, спешившими к парламентскому подъезду. В тот вечер должен был решиться в Парламенте спорный пункт, сильно интересовавший народ. На улице собрались толпы: одни для того, чтоб видеть, как будут проходить члены Парламента, другие – слышать, какую роль будут разыгрывать в этом споре вновь избранные ораторы; а некоторые старались воспользоваться случаем пробраться в галлерею.

Леонард вмешался в толпу, не имея ничего общего с интересами народа; он задумчиво смотрел на Погребальное Аббатство, на это величественное кладбище царей, полководцев и поэтов.

Но вдруг его внимание привлечено было к кружку людей, внутри которого произнесли имя, знакомое ему, хотя и отзывавшееся для его слуха не совсем приятно.

– Как ваше здоровье, Рандаль Лесли? вы тоже пришли слушать парламентское прение? сказал какой-то джентльмен и, как было видно, член Парламента.

– Да, мистер Эджертон обещал взять меня в галерею. Сегодня он сам будет говорить в Парламенте, а я еще ни разу не слышал его. Вы идете теперь туда: пожалуйста, напомните ему.

– Теперь решительно нельзя: он уже начал говорить. Я нарочно поторопился из Атенеума, моего любимого клуба, чтобы попасть сюда вовремя, тем более, что его речь, как утверждают многие, должна произвести удивительный эффект.

– Как это жаль! сказал Рандаль. – Я вовсе не воображал, что он начнет свою речь так рано.

– Что делать! его вызвали на это. Впрочем, идите за мной: быть может, мне удастся провести вас в Парламент. Такой человек, как вы, Лесли, от которого мы ожидаем многого, смею сказать, не должен пропускать подобного случая. Вы узнаете, по крайней мере, на каком поле битвы находится сегодня наш Парламент. Пойдемте скорей!

В то время, как Рандаль следовал за членом Парламента, в толпе народа, мимо которой они проходили, раздался говор:

– Вот идет молодой человек, который написал превосходный памфлет; он родственник Эджертона.

– В самом деле! сказал другой. – Умный человек этот Эджертон. Я дожидаюсь его.

– Быть может, вы тоже, как и я, принадлежите к числу избирателей?

– Нет, мистер Эджертон оказал большую милость моему племяннику, и я хочу выразить ему мою благодарность. А вы значит избиратель? Признаюсь откровенно, ваш город может гордиться таким представителем.

– Ваша правда: это весьма просвещенный человек!

– И если бы вы знали, какой он великодушный!

– Всегда дает ход превосходнейшим мерам правительства, заметил политик.

– И умным молодым людям, прибавил дядя.

К похвалам этих двух джентльменов присовокупились еще человека два, и при этом случае рассказано было множество примеров великодушие Одлея Эджертона.

Сначала Леонард слушал этот разговор без всякого внимания, но потом был очень заинтересован им. Он не раз слышал, от Борлея, прекрасные отзывы об этом великодушном государственном сановнике, который, не имея особенных претензий на свой собственный гений, умел, однако же, ценить дарования других людей. Кроме того Леонард помнил, что Эджертон был двоюродным братом сквайра Гэзельдена. Неясная мысль родилась в голове Леонарда – обратить-

ся к этой высокой особе, не за милостыней, но с просьбой доставить какое нибудь занятие для ума. О, как неопытен еще был Леонард! В то время, как он развивал свою мысль дверь Парламента отворилась и из неё вышел сам Одлей Эджертон. Ропот одобрения давал знать Леонарду о присутствии любимого народом парламентского члена. Приветствия, пожатия руки, поклоны встречали Эджертон на каждом шагу; двух слов, учтиво сказанных, весьма достаточно было такому известному человеку для выражения своей признательности, и вскоре, миновав толпу, его высокая, стройная фигура показалась на тротуаре. Одлей Эджертон повернул за угол, к Вестминстерскому мосту. Он остановился при самом входе на мост и, при свете фонаря, взглянул на часы.

– Гарлей теперь будет сюда скоро, произнес он: – он всегда бывает пунктуален. Кончив свой спич, я могу уделить ему час свободного времени.

Опустив в карман часы и застегнув сюртук, Одлей приподнял глаза и увидел перед собой молодого человека.

– Вам нужно меня? спросил он, с отчетливою краткостью, входящею в состав его практических качеств.

– Мистер Эджертон, сказал молодой человек, слегка дрожавшим, но, при сильном душевном волнении, довольно еще твердым голосом: – вы имеете громкое имя, великую власть; я стою здесь, на этих улицах Лондона, без друзей, без занятий. Я чувствую в себе призвание к занятиям более благородным, чем те, которые основываются на физических си-

лах; но, не имея друга или покровителя, я ничего не могу предпринять. Не знаю, зачем и каким образом решился я высказать это: вероятно, с отчаяния и внезапного побуждения, заимствованного отчаянием из похвалы, которая сопровождает вас повсюду. Сказав это, я высказал вам все.

Измученный тоном и словами незнакомца, Одлей Эджертон на минуту Оставался безмолвным; но, как опытный и осмотрительный светский человек, свыкшийся со всякого рода странными просьбами, он быстро оправился от легкого впечатления, которое произвели на него слова Леонарда.

– Скажите вы не...ский ли уроженец? спросил Одлей, упомянув имя города, которого был представителем.

– Нет, сэр.

– В таком случае, молодой человек, мне очень жаль вас. Судя по воспитанию, которое вы получили, вы должны иметь здравый рассудок, руководствуясь которым могли бы заключить, что человек, занимающий в обществе высокое место, как бы далеко ни простиралось его покровительство, и без того уже слишком обременен просителями, имеющими право требовать его покровительства, слишком обременен, чтоб иметь возможность принимать участие в людях, совершенно ему незнакомых.

Леопард не сделал на это никакого возражения.

– Вы говорите, что не имеете здесь ни друга, ни покровителя, прибавил Одлей, после минутного молчания, таким ласковым тоном, какой редко можно услышать от лю-

дей, ему подобных. – Мне очень жаль вас. В ранний период нашей жизни эта участь выпадает на долю весьма многим из нас: мы часто приобретаем друзей уже к концу нашей жизни. Будьте честны, ведите себя благородно, надейтесь более на себя, чем на людей вам незнакомых, употребите в дело ваши физические силы, если не можете найти занятий для ума, и поверьте, что в этом совете заключается все, что я могу дать вам, да разве еще вот эту безделицу....

И член Парламента протянул Леонарду руку с серебряной монетой.

Леонард поклонился, печально кивнул головой и удалился. Эджертон посмотрел ему вслед с мучительным чувством.

«Гм!.. В подобном положении найдутся тысячи на лондонских улицах, произнес он про себя. – Нельзя же мне одному удовлетворить все нужды большей части человечества. Положим, что он воспитан превосходно. Но общество никогда не будет страдать от невежества; скорее можно допустить, что от излишнего просвещения явятся тысячи голодных, которые, не приспособив себя к какомунибудь ремеслу и не имея никакого поприща для ума, останутся когда-нибудь на улице, подобно этому юноше, и поставят в тупик государственных людей поумнее, быть может, меня самого.»

В то время, как Эджертон, углубленный в эти размышления, медленно подвигался вперед, на самой середине моста раздались веселые звуки почтового рожка. По мосту несли прекрасный шарабан, запряженный четверкой отличных ло-

шадей, и в возникшем мистер Эджертон узнал своего племянника, Франка Гэзельдена.

Молодой гвардеец, в обществе веселых друзей, возвращался из Гринича, после пышного банкета. беспечный хохот этих питомцев удовольствия далеко разносился по дремлющей реке.

Этот хохот неприятно отзывался в ушах удрученного заботами сановника, скучавшего, быть может, всем своим величием, одинокого среди всех своих друзей. Может статься, он привел ему на память его собственную юность, когда знакомы были ему подобные товарищи и подобные банкеты, хотя в кругу их он всегда сохранял стремление к честолюбию.

– *Le jeu, vaut-il la chandelle?* сказал он, пожав плечами.

Шарабан быстро пронесся мимо Леонарда, в то время, как он стоял прислонясь к перилам, и был обрызган грязью, вылетающей из под копыт бешеных лошадей... Хохот отзывался для него еще неприятнее, чем для Эджертонна; но он не пробуждал в душе его ни малейшей зависти.

– Жизнь есть темная загадка, сказал он, ударив себя в грудь.

Медленно пошел он по мосту и наконец очутился подле ниши, где за несколько дней перед этим стоял вместе с Гэлен. Изнуренный голодом и бессонницей, он опустился в мрачный угол ниши. Журчанье волн, катившихся под каменным сводом, отзывалось для слуха Леонарда похоронной песнью, как будто вместе с этими волнами, с этим стоном уносилась

в вечность тайна человеческих скорбей и страданий. Мечтатель! прими утешение от этой реки!.. это та самая река, которая положила основание и доставила величие великому городу... Прими же утешение, мечтатель, пока волны не подмыли еще оснований свода, на котором ты пал, изнуренный и одинокий. Не думай, впрочем, что, с разрушением моста, ты заглушишь стоны реки!..



## Глава LXVI

В одной из комнат дома отца своего, в квартале Нэйтсбридж, сидел лорд л'Эстрендж, сортируя за письменным столом и уничтожая письма и бумаги – обыкновенный признак предстоящей перемены места жительства. На столе находилось множество таких вещиц, по которым проницательный наблюдатель может судить о характере человека, которому принадлежали эти вещи. Таким образом, с некоторым вкусом, но в то же время в порядке, обличавшем аккуратность военного человека, разложены были предметы, напоминавшие о лучшей поре жизни, – предметы, освященные воспоминанием о минувшем или, быть может, сделавшиеся драгоценными по одной привычке иметь их всегда перед глазами, – предметы, которые постоянно служили украшением кабинета лорда л'Эстренджа, – все равно – находился ли он в Египте, Италии, или Англии. Даже маленькая, старинная и довольно неудобная чернилица, в которую он обмакивал перо, помечая письма, откладываемые в сторону, принадлежала к маленькому бюро, которым он так гордился, будучи еще мальчиком. Книги, разбросанные по столу, не принадлежали к числу новых изданий, ни к числу тех, перелистывая которые мы удовлетворяем только наше минутное любопытство или развлекаем серьёзные и даже грустные мысли: нет! это были по большей части творения латинских или итальян-

ских поэтов, с бесчисленным множеством замечаний на полях, или книги; которые, требуя глубокого над собой размышления, в то же время требуют медленного и частого прочтения, и потом делаются неразлучными собеседниками. Так или иначе, но только, замечая в немых, неодушевленных предметах отвращение этого человека к перемене и привычку сохранять привязанность ко всему, что только имело связь с минувшими чувствами и событиями, вы легко догадались бы, что он с необыкновенным постоянством сохранял в душе своей более нежные чувства. Вы бы тогда могли еще лучше разъяснить себе постоянство его дружбы к человеку, до такой степени неодинаковому с ним в призвании и характере, как Одлей Эджертон. Чувство дружбы или любви, однажды проникнувшее в сердце Гарлея л'Эстренджа, оставалось в нем навсегда, — оно входило в состав его бытия; чтобы уничтожить или, по крайней мере, нарушить это чувство, нужно было, чтоб во всей организации Гарлея произошел переворот.

Но вот рука лорда л'Эстренджа остановилась на письме, написанном твердым, четким почерком, и, вместо того, чтоб разорвать его с разу, он разложил его перед собой и еще раз прочитал его. Это было письмо от Риккабокка, полученное несколько недель тому назад и заключавшее в себе следующее:

*От синьора Риккабокка к лорду л'Эстренджу.*

*«Благодарю вас, благородный друг мой, за ваше*

*справедливое суждение обо мне и уважение к моим несчастьям.*

*Нет, тысячу раз нет! я не принимаю никаких предложений на примирение с Джулио Францини. Пишу это имя и едва не задыхаюсь от душевного волнения. Я непременно должен остановиться на несколько минут, чтоб заглушить мое негодование.... Слава Богу! я успокоился. Не стану больше и говорить об этом предмете.... Вы сильно встревожили меня.... И откуда взялась эта сестра! Я не видел ее с самого детства; впрочем, она воспитана была под её влиянием, и ничего нет удивительного, если она будет действовать в качестве его агента. Она хочет узнать место моего жительства! Поверьте, что это делается с каким нибудь враждебным и злобным умыслом. Без всякого сомнения, в сохранении моей тайны я полагаюсь на вас. Вы говорите, что я могу положиться на скромность вашего друга. Простите меня, но моя доверенность не так еще гибка, как вы полагаете. Одно неосторожное слово может послужить проводником к моему убежищу. А если откроют это убежище – можете ли вы представить себе все зло и несчастье, которые неминуемо должны тогда постигнуть меня? Конечно, гостеприимный кров Англии защитит меня от врагов; но для меня будет хуже всякой пытки жить на глазах шпиона. Правду говорит наша пословица: «тому дурно спится, над кем враг не дремлет». Великодушный друг мой, я кончил все с моей прежней жизнью; я хочу сбросить ее*

с себя, как сбрасывает змея свою шкуру. Я отказал себе во всем, что изгнанники называют утешением. Сожаление о несчастьи, послания от сочувствующей моему несчастью дружбы, новости о покинутом мною отечестве сделались чужды моему очагу под чужими небесами. От всего этого я добровольно отказался. В отношении к жизни, которою некогда жил, я сделался так мертв, как будто Стикс отделил ее от меня. С тем холодным равнодушием ко всему окружающему меня, с той непреклонностью, которые доступны одним только удрученным горестью, я отказался даже от удовольствия видеться с вами. Я сказал вам просто и ясно, что ваше присутствие послужило бы к одному лишь расстройству моей и без того уже шаткой философии и напоминало бы мне только о минувшем, которое я хочу навсегда изгладить из памяти. Вы изъявили согласие на одно условие, что когда бы ни потребовалась ваша помощь – я попрошу ее; а между тем вы великодушно стараетесь отыскать мне правосудие в кабинетах министров. Я не смею отказать вашему сердцу в этом удовольствии, тем более, что я имею дочь.... (О, я уже научил эту дочь с благоговением произносить ваше имя и не забывать его в её молитвах!) Но теперь, когда вы убедились, что все усердие ваше не приносит желаемой пользы, я прошу вас прекратить попытки, которые могут навести шпиона на мои следы и вовлечь меня в новые несчастья. Поверьте мне, о благороднейший из британцев, что я доволен своей судьбой. Я уверен,

*перемена моей участи не послужит к моему счастью. Chi non lia provalo il male non conosce il bene. До тех пор человек не узнает, когда он бывает счастлив, пока не испытает несчастья!*

*Вы спрашиваете меня об образе моей жизни. Я отвечаю на это коротко: alla giornata, – только на сей день, но не на завтра, как я некогда жил. Я совершенно привык к тихой деревенской жизни. Я даже принимаю большое участие во всех её подробностях. Вот хоть бы теперь против меня сидит моя жена, доброе создание! она не спрашивает, что или к кому я пишу, но готова оставить свою работу и начать беседу со мной, лишь только перо окончательно будет положено на стол. Я говорю: начать беседу; но о чем? вы спросите. Бог знает. Впрочем, я охотнее стану слушать и трактовать о делах какого нибудь прихода, чем пустословить с вероломными моими соотечественниками о народном благосостоянии. Когда нужно удостовериться в том, какое ничтожное влияние производит подобное пустословие на ум человека, я прибегаю к Макиавелли и Фукидиду. Иногда зайдет ко мне добрый пастор, и между нами завяжется ученый диспут. Он не умеет замечать своего поражения, а потому диспут наш делается бесконечным. В хорошую погоду я гуляю с моей Виолантой по извилистым и довольно живописным берегам небольшой речки или отправляюсь к доброму приятелю моему сквайру и вполне убеждаюсь, какое*

благотворное действие производит на нас истинное удовольствие. В дождливые дни я запираюсь в кабинете и бываю мрачнее самой погоды, до тех пор, пока не войдет ко мне Виоланта, с её черными глазами, светлыми даже и сквозь слезы упрека, – упрека в том, зачем я скукаю один, тогда как она живет со мной под одной кровлей. Виоланта обнимает меня, и через пять минут все окружающее озаряется солнечным светом.... какое нам дело до ваших английских, серых облаков?

Предоставьте мне, мой неоцененный лорд, предоставьте мне этот спокойный, счастливый переход к старости, – переход светлее самой юности, которую я так безумно растратил, и сохраните тайну, от которой зависит мое счастье.

В заключение этого письма, позвольте мне обратиться к вам самим. О себе вы так же мало говорите, как много обо мне. Впрочем, я очень хорошо понимаю глубокую меланхолию, прикрываемую странным и причудливым нравом, при котором вы, как будто шутя, сообщаете чувства самые близкия вашему сердцу. Уединение, с таким трудом отыскиваемое в больших городах, тяжелым камнем лежит на вашем сердце. Вы снова стремитесь к нашему *dolce far niente*, к друзьям весьма немногим, но преданным, к жизни однообразной, но ничем несвязанной, – и даже там чувство одиночества снова овладевает вами: вы не стараетесь, подобно мне, заглушить в душе своей воспоминание: ваши мертвые,

*охладевшие страсти превратились в призраки, которые тревожат вас и делают вас неспособным для деятельного, кипящего жизнью света. Все это понятно для меня; я точно так же усматриваю это из ваших фантастических, написанных на скорую руку писем, как усматривал в вас самих, когда мы вместе сидели под тению вековых дубов и сосен, любуясь голубой поверхностью озера, расстилавшегося под нашими ногами. Меня тревожила едва заметная тень будущего; спокойствие вашей души нарушалось легким воспоминанием о прошедшем.*

*Однако ж, вы, полу-серьёзно, полу-шутя, говорите мне: «я хочу убежать из этой тюрьмы воспоминаний; я хочу, подобно другим людям, образовать новые узлы, прежде чем это уже будет поздно для меня; я хочу жениться... да! жениться... но я должен любить... вот в этом-то и заключается затруднение...» затруднение? да, ваша правда! и слава Богу, что оно существует! Приведите себе на память все несчастные женитьбы и скажите, найдется ли из двадцати осмнадцать, которые можно назвать женитьбами по любви! Это всегда было и, поверьте, будет так! Потому что, полюбив кого нибудь всей душой, мы делаемся слишком взыскательны и в такой же степени неснисходительны. Не ищите многого, но оставайтесь довольными, отыскав такое создание, с которым ваше сердце и ваша честь будут находиться в безопасном положении. Вы скоро узнаете любовь, которая никогда не причинит боли вашему*

*сердцу, и скоро забудете ту любовь, которая всегда должна разочаровывать ваше воображение. Cospetto! я бы желал, чтоб у моей Джемимы была младшая сестра для вас, хотя мне самому стоило большего труда заглушить стоны моего сердца при вступлении в брак с Джемимой.*

*Я написал вам это длинное письмо с того целью, чтоб доказать, как мало нуждаюсь я в вашем сострадании и усердии. Еще раз прошу, пусть молчание надолго останется между нами. Мне чрезвычайно трудно вести переписку с человеком вашего высокого звания и не пробудить любопытных толков о моем все еще маленьком, так сказать, бассейне, гладкая поверхность которого покроеется множеством кругов, стоит только бросить в нее камнем. Я должен отвезти это письмо за десять миль от дому и украдкой опустить его в почтовый ящик.*

*Прощайте, неоцененный и благородный друг, с самым нежным сердцем и возвышенными понятиями, с которыми когда либо случалось мне встречаться на пути этой жизни. Прощайте. – Напишите мне несколько слов, когда вы покинете дневные грёзы и отыщете себе Джемиму.*

*Альфонсо.»*

«P. S. Ради Бога, предостерегите вашего почтенного друга не уронить слова перед этой женщиной, которая может открыть мое убежище.»

– Неужели он и в самом деле счастлив? произнес Гарлей,



складывая письмо, и потом несколько минут оставался в глубокой задумчивости.

— Эта деревенская жизнь, эта добрая жена, которая оставляет свою работу, чтоб поговорить о деревенских обывателях — какой контраст представляют они существованию Олдея! А все же я не могу позавидовать, не могу понять ни того, ни другого. . . . что же такое мое собственное существование?

Гарлей встал и подошел к окну, из которого видно было, как простая, сельской архитектуры лестница опускалась на зеленый луг, окаймленный деревьями, гораздо больших размеров в сравнении с теми, какие часто встречаются в предместьях больших городов. Представлявшийся вид из окна сообщал столько спокойствия, столько прохлады, что другой с трудом решился бы допустить предположение, что он находится в таком близком расстоянии от Лондона.

Дверь тихо отворилась, и в нее вошла лэди более чем средних лет. Подойдя к Гарлею, все еще задумчиво стоявшему подле окна, она положила руку на его плечо. Сколько характеристического выразилось в этой руке! Это была такая рука, которую Тициан написал бы с особенным тщанием! тонкая, белая, нежная, с голубыми жилками, слегка приподнявшимися над её поверхностью. В её форме и сложении усматривалось что-то более обыкновенной аристократической изящности. Истинный физиолог сказал бы с разу: в этой руке есть ум и гордость; предмет, на котором она покоится, должен оставаться неподвижным: хотя она слегка прикаса-

ется к нему, но трудно освободиться от неё.

– Гарлей, сказала лэди, и Гарлей обернулся. – Напрасно ты хотел обмануть меня давишной улыбкой, продолжала она, с выражением печали на лице: – ты не улыбался, когда я вошла.

– Редко случается, дорогая матушка, чтоб мы улыбались, оставаясь наедине; притом же в последнее время я не сделал ничего смешного, что заставляло бы меня улыбаться самому себе.

– Сын мой, сказала лэди Лэнсмер, довольно резко, но в то же время с чувством материнской нежности: – ты приходишь по прямой линии от знаменитых предков, и, мне кажется, они спрашивают из своих гробниц: почему последняя отрасль их не имеет никакой цели, никакого предмета для занятия в государстве, которому они служили и которое награждало их своими почестями?

– Матушка, сказал воин, простосердечно: – когда государство находилось в опасности, я служил ему так, как служили мои предки: доказательством тому служат закрытые раны на моей груди.

– Но неужели только тогда и нужно служить отечеству, когда оно находится в опасности? неужли долг благородного человека выполняется только на войне? Неужли ты думаешь, что твой отец, ведя простую, но благородную жизнь деревенского джентльмена, не исполняет назначений, для которых существуют высший класс общества и богатство?

– В этом нет ни малейшего сомнения: он выполняет их гораздо лучше, чем мог бы выполнить его беспечный сын.

– А между тем этот беспечный сын получил от природы такие дарования, его юность была так богата блестящими надеждами, – в детской душе его загорался огонь при одной мысли о славе!

– Все это совершенно справедливо, сказал Гарлей, весьма нежно: – и все это суждено было схоронить в одной могиле!..

Графиня вздрогнула; её рука опустилась с плеча Гарлея.

Лицо лэди Лэнсмер не принадлежало к числу таких лиц, которые даже при легком душевном волнении изменяют свое выражение. В этом отношении, а также в чертах лица, она имела большое сходство с сыном.

Её черты были несколько резки; брови имели изгиб, который придает некоторое величие взгляду; линии вокруг рта, по привычке, сохраняли суровость и неподвижность. её лицо было лицо женщины, которая, испытав в течение жизни множество душевных потрясений, никогда не обнаруживала их. В её красоте, все еще весьма замечательной, в её одежде и вообще во всей её наружности было что-то холодное, формальное. Она сообщала вам понятие о старинной баронессе, женщине в половину светской, в половину монашествующей. С первого взгляда вы бы заметили, что она не привыкла жить в шумном свете, окружавшем ее, что она не разделяла с ним образа его мыслей и в некоторой степени пренебрегала условиями моды; но, при всей этой холодности, при всем

равнодушии ко всему фэшенебельному, лицо её обнаруживало женщину, которая знавала человеческие чувства, человеческие страсти. И теперь, когда она смотрела на спокойное, грустное лицо Гарлея, на лице её отражались материнские ощущения.

– Схоронить в одной могиле! сказала она, после долгого молчания. – Но, Гарлей! ведь тогда ты был еще ребенком! Может-ли подобное воспоминание иметь до сих пор такое пагубное влияние на тббя? В жизни женщины еще могло это случиться; но для мужчины.... признаюсь, для меня это непонятно.

– Мне кажется, сказал Гарлей в полголоса и как будто разговаривая сам с собою: – в моей натуре есть много женского. Быть может, мужчины, которые долго ведут одинокую, можно сказать, уединенную жизнь, которые не имеют в виду никакой цели для своего существования, так же упорно сохраняют в душе своей сильные впечатления, как и женщины. – Но, вскричал он, громко и внезапно изменив выражение лица: – самый холодный, самый твердый человек чувствовал бы точно так же, как чувствуя я, еслиб он знал *ее*, если бы любил *ее*. Она не имела ни малейшего сходства с женщинами, которых я когда либо встречал. Светлое и лучезарное создание другого мира! Она опустила на эту землю и, улетев обратно, покрыла ее, для меня, непроницаемым мраком. бесполезно бороться мне с моими чувствами. Ма-тушка, поверьте, во мне столько же есть храбрости, сколь-

ко имели её мои закованные в сталь предки. Я смело шел вперед на поле битвы, я боролся с человеком и кровожадным зверем, с бурями и океаном, с самыми мощными силами природы, я перенес такие опасности, с которыми охотно бы встретился средневековой пилигрим или крестоносец, но бороться с одним этим воспоминанием – о! у меня нет на то ни храбрости, ни силы!

– Гарлей, Гарлей! ты убиваешь меня! вскричала графиня, всплеснув руками.

– Удивительно, продолжал её сын, до такой степени углубленный в свои размышления, что, быть может, он вовсе не слышал её восклицания: – да, совершенно удивительно, что из тысячи женщин, которых я встречал и с которыми говорил, я ни разу не видел лица, подобного её лицу, никогда не слышал такого пленительного голоса. И что же? вся эта вселенная не в состоянии доставить мне одного взгляда, одного звука голоса, которые могли бы возратить мне исключительное право человека – право любви. Что ж делать!.. Впрочем, жизнь имеет и другие привлекательные предметы: поэзия и искусство все еще живут, небо все еще улыбается мне, деревья все еще игриво волнуются. Я счастлив по своему: не отнимайте же у меня этого счастья.

Графиня хотела что-то сказать, но в эту минуту дверь быстро отворилась и в комнату вошел лорд Лэнсмер.

Лорд Лэнсмер был старше жены своей немногими годами; спокойное лицо его показывало, что он был менее предан

житейским треволнениям. Кроткое, доброе лицо, оно не выражало обширного ума, но в то же время в мягких чертах своих оно не обнаруживало недостатка в здравом рассудке.

Лорд был невысокого роста, но строен, в некоторой степени надменен, но при всем том невольным образом располагал к себе. Его надменность обличала в нем вельможу, который большую часть своей жизни проводил в провинции, которого воля редко встречала сопротивление, и которого влияние до такой степени было ощутительно для всех и всеми было признано, что незаметно обратило свое действие и на него самого. Но когда вы бросали взгляд на открытое лицо и черные глаза графини, вы невольно удивлялись тому, каким образом сошлись вместе эти два создания и, если верить слухам, проводили брачную жизнь свою счастливо.

– Вот кстати, что ты здесь, милый мой Гарлей! вскричал лорд Лэнсмер, потирая себе руки, с видом особенного удовольствия: – я только что сделал визит герцогине.

– Какой герцогине, батюшка?

– Конечно, какой – старшей кузине твоей матери, герцогине Кнэрсборо, которую, из угождения мне, ты удостоил своим посещением; признаюсь, я в восторге, услышав, что лэди Мери тебе нравится.

– Да, она прекрасно воспитана и прекрасно умеет выказать свою надменность, отвечал Гарлей; но, заметив на лице своей матери неудовольствие и смущение в отце, он прибавил серьёзным тоном: – впрочем, она очень недурна собой.

– Так вот что, Гарлей, сказал отец, забывая резкое выражение сына: – герцогиня, пользуясь преимуществом наших родственных связей, откровенно призналась мне, что и ты в свою очередь произвел на лэди Мери приятное впечатление; лучше этой партии желать не нужно, если только ты согласишься со мной, что пора тебе подумать о женитьбе. Что ты скажешь на это, Катрин?

– Фамилия Кнэрсборо является в нашей истории до начала вражды Алой и Белой роз, сказала лэди Лэнсмер, с видом снисхождения к своему супругу: – в летописях её не было никакого позорного события и герб не имеет на себе ни одного темного пятна. Однакожь, согласитесь мой добрый лорд, герцогине не должно бы, кажется, начинать подобного предложения первой, хотя бы оно относилось к другу и родственнику?

– Почему же? ведь мы люди старого покроя, отвечал лорд, с некоторым замешательством: – притом же герцогини женщина светская.

– Надобно надеяться, кротко заметила лэди Лэнсмер: – что дочь герцогини не имеет притязание на подобный эпитет.

– Во всяком случае, я бы не желал жениться на лэди Мери, даже и тогда, если бы все остальные женщины обратились в обезьян! сказал лорд л'Эстрендж, нисколько не удерживая себя от горячности.

– Праведное небо! вскричал граф. – Какие странные вы-

ражения! Скажите, пожалуйста, сэр, почему бы вы не женились на ней?

– Я не могу сказать; мне кажется, в подобных случаях не должно быть никаких «почему». Впрочем, позвольте вам заметить, батюшка, вы не исполняете вашего обещания.

– Каким это образом?

– Вы и милэди, моя матушка, упрашивали меня жениться; я дал обещание исполните с своей стороны все, чтоб только повиноваться вам, но при одном условии, что выбор я сделаю сам и сам назначу для этого время. Согласие дано с обеих сторон. Вдруг вы, милорд, отправляетесь с визитом, отправляетесь в такое время, в такой час, когда никакая лэди не могла бы подумать без ужаса о блондах и цветах, – и вследствие этого визита делаете заключение, что бедная лэди Мери и ваш недостойный сын влюблены друг в друга, между тем как ни тот, ни другая даже не подумали об этом. Простите меня, батюшка, но согласитесь, что это дело большой важности. Еще раз позвольте мне требовать вашего обещания, – предоставить мне исключительное право на выбор невесты и не делать никаких ссылок на войну двух роз. Какая война роз может сравниться с войною между скромностью и любовью на ланитах невинной девицы!

– Предоставить тебе исключительное право на выбор невесты, сказала лэди Лэнсмер: – хорошо: пусть будет по твоему. Но ведь, кажется, и мы назначили условие.... не правда ли, Лэнсмер?



– Да, кажется, и мы что-то назначили, отвечал лорд Лэнсмер, с заметным замешательством. – Конечно, назначили.

– Вх чем же состояло это условие? позвольте узнать.

– В том, что сын лорда Лэнсмера может жениться только на дочери джентльмена.

– Само собою разумеется, без всякого сомнения, заметил лорд Лэнсмер.

Кровь бросилась в прекрасное лицо Гарлея и вскоре уступила место бледности. Гарлей отошел к окну; его мать последовала за ним и снова положила руку на его плечо.

– Вы очень жестоки, нежно и в полголоса сказал Гарлей, содрогаясь от прикосновения материнской руки.

Потом, обращаясь к отцу, который смотрел на него с крайним удивлением (и действительно, лорду Лэнсмеру никогда и в голову не приходило сомнения, что сын его решится вступить в брак с девицей, которой положение в обществе будет ниже положения, так скромно упомянутого графиней), Гарлей протянул руку и мягким, имеющим какую-то особенную привлекательность голосом сказал:

– Вы, папа, всегда были великодушны ко мне, всегда прощали мои заблуждения: по одному только этому я должен пожертвовать привычками эгоиста, чтоб удовлетворить одно из самых пламенных ваших желаний. Я совершенно согласен, что наш род не должен пресечься мною. *Noblesse oblige*. Но вы знаете, что я всегда имел сильную склонность к романтизму: чтобы жениться, я должен любить, или если

не любить, то по крайней мере должен чувствовать, что жена моя заслуживает всю любовь, которую я некогда питал в душе моей. Что касается неопределенного слова «джентльмен», которое матушке моей угодно было включить в условие, слова, имеющего на разных устах различное значение, то признаюсь, я имею сильное предубеждение против молодых лэди, воспитанных в самом высшем кругу общества, как по большей части воспитываются и дочери джентльменов нашего звания. Вследствие этого я требую, чтобы слово «джентльмен» было истолковано в благородную сторону. Так что, если в происхождении, в привычках, в воспитании отца будущей моей невесты ничего не будет грубого, унижающего достоинство благородного человека, я надеюсь, что, с обоюдного вашего согласия, вы ничего больше не станете требовать: ни титулов, ни родословной.

– Титулов? конечно, нет, сказала лэди Лэнсмер. – Титулы не составляют главных достоинств джентльмена.

– Само собою, разумеется, что нет, возразил граф. – У нас, в Британии, есть множество прекраснейших фамилий, которые вовсе не имеют титулов.

– Титулов – нет! повторила лэди Лэнсмер:– но предков – да.

– О, мама, сказал Гарлей, с самой грустной и самой спокойной улыбкой: – кажется, суждено, чтобы мы никогда не соглашались. Первый из нашего рода был человек, которым мы более всех других гордимся; но скажите, кто бы-

ли его предки? Красота, добродетель, скромность, ум – если для мужчины недостаточно этих качеств для удовлетворения его понятий о благородстве, то он до самой смерти останется рабом.

Вместе с этими словами Гарлей взял шляпу и пошел к дверям.

– Ты, кажется, сам сказал: *Noblesse oblige*, сказала графиня, провожая его до порога:– нам больше ничего не остается прибавить.

Гарлей слегка пожал плечами, поцаловал руку матери, свистнул своего Нерона, дремавшего под окном и испуганного внезапным призывом, и вышел из комнаты.

– Неужели он и в самом деле на той неделе едет за границу? сказал граф.

– Так, по крайней мере, он говорит.

– Я боюсь, что для лэди Мери тут нет никакого шанса, снова начал лорд Лэнсмер, с легкой, но печальной улыбкой.

– В ней нет столько ума, чтоб очаровать его. Она не стоит Гарлея, заметила гордая мать.

– Между нами будь сказано, возразил отец, довольно робко: – я до сих пор еще не вижу, какую пользу приносит Гарлею его собственный ум. Будь он самый закоснелый невежда из Трех Соединенных Королевств, то, право, и тогда он не был бы до такой степени беспечен и бесполезен, как теперь. А сколько честолюбия в нем было во время его юности! Катрин, мне иногда сдается, что тебе известна причина

этой перемены в нем.

– Мне! О, нет, милорд! эта перемена весьма обыкновенна в молодых людях с таким состоянием. Вступая в свет, они не видят цели, к которой, по их понятиям, стоило бы стремиться. Еслиб Гарлей был сын бедных родителей, тогда совсем другое дело.

– Я родился быть наследником точно таких же богатств, как и Гарлей, сказал граф, с лукавой улыбкой:– однакожь, льщу себя надеждой, что приношу некоторую пользу старушке Англии.

Графиня, воспользовавшись этим случаем, сказала комплимент милорду и вместе с тем переменяла разговор.

## Глава LXVII

Гарлей, по обыкновению, провел этот день скучно, в переходах с одного места на другое; обедал он в спокойном уголку, в своем любимом клубе. Нерона не пускали в клуб; а потому он с нетерпением ожидал своего господина за дверями. Обед кончился, и собака и господин, в равной степени равнодушные к толпам народа, пошли по улице, которая весьма немногим, понимающим поэзию Лондона, напоминала о сожалении и скорби, которые пробуждаются в душе нашей при виде разрушенных памятников, принадлежавших отжившему свой век поколению, – улице, которая, пересекая обширное место, служившее некогда двором Вайтгольского дворца, и оставляя влево пространство, на котором находился дворец шотландских королей, выходит чрез узкое отверстие на так называемый старинный островок Торней, где Эдуард-Исповедник принимал зловещее посещение Вильяма-Завоевателя, и, снова расширяясь около Вестминстерского аббатства, теряется, подобно всем воспоминаниям о земном величии, среди скромных и грязных переулков.

Менее обращая внимания на деятельный мир, окружавший его, чем на изображения, вызванные из его души, настроенной к одиночеству, Гарлей л'Эстрендж дошел наконец до моста и увидел угрюмый, без всяких признаков человеческой жизни, корабль, дремлющий на безмолвной реке, неко-

гда шумной и сверкавшей золотыми искрами от позлащенных лодок древних царей Британии.

На этом-то мосту Одлей Эджертон и назначил встретиться с л'Эстренджем, в те часы, когда, по его расчету, удобнее всего было воспользоваться отдыхом от продолжительного парламентского заседания. Гарлей, избегая всякой встречи с равными себе, решительно отказался отыскивать своего друга в многолюдном кафе-ресторане Беллами.

В то время, как Гарлей медленно подвигался по мосту, взор его привлечен был неподвижной фигурой, сидевшей с лицом, закрытым обеими руками, на груди камней в одной из нишей.

– Еслиб я был скульптор, сказал он про себя: – то, вздумав передать идею об *унынии*, непременно бы скопировал позу этой фигуры.

Он отвел взоры в сторону и в нескольких шагах перед собой увидел стройную фигуру Одлея Эджертона. Луна вполне освещала бронзовое лицо этого должностного человека, – лицо, с его чертами, проведенными постоянным размышлением о серьёзных предметах, и заботами, с его твердым, но холодным выражением уменья управлять своими чувствами.

– А взглянув на эту фигуру, произнес Гарлей, продолжая свой монолог:– я запомнил бы ее, на случай, когда бы вздумал высечь из гранита *Долготерпение*.

– Наконец и ты явился! какая аккуратность! сказал Эд-

жертон, взяв Гарлея под руку.

Гарлей. Аккуратность! без всякого сомнения. Я уважаю твоё время и не буду долго задерживать тебя. Мне кажется, что сегодня тебе предстоит говорить в Парламенте.

Эджертон. Я уже говорил.

Гарлей (*с участием*). И говорил хорошо, я надеюсь.

Эджертон. Кажется, мой спич произвел удивительный эффект: громкие клики и рукоплескания долго не замолкали; а это не всегда случается со мной.

Гарлей. И, вероятно, это доставило тебе большое удовольствие?

Эджертон (*после минутного молчания*). Напротив, ни малейшего.

Гарлей. Что же после этого привязывает тебя к подобной жизни – к постоянному труженичеству, к постоянной борьбе с своими чувствами? что принуждает тебя оставлять в каком-то усыплении более нежные способности души и пробуждать в ней одни только грубые, если и награды этой жизни (из которых самая лестная, по-моему мнению, это рукоплескание), не доставляют тебе ни малейшего удовольствия?

Эджертон. Что меня привязывает? одна привычка.

Гарлей. Скажи лучше, добровольное мученичество.

Эджертон. Пожалуй, я и с этим согласен. Однако, поговорим лучше о тебе; итак, ты решительно оставляешь Англию на той неделе?

Гарлей (*в унылом расположении духа*). Да, решительно.

Эта жизнь в столице, где все так живо представляет деятельность, где я один шатаюсь по улицам без всякой цели, без призвания, действует на меня как изнурительная лихорадка. Ничто не развлекает меня здесь, ничто не занимает, ничто не доставляет душе моей спокойствия и утешения. Однакожь, я решился, пока не совсем еще ушло время, сделать одно последнее усилие, чтоб выйти из сферы минувшего и вступить в настоящий мир людей. Короче сказать, я решился жениться.

Эджертон. На ком же?

Гарлей (*серьёзно*). Клянусь жизнью, мой друг, ты большой руки философ. Ты с разу предложил мне вопрос, который прямее всего идет к делу. Ты видишь, что я не могу жениться на мечте, на призраке, созданном моим воображением; а выступив за пределы мира идеального, где же мне сыскать это «на ком»?

Эджертон. Ищи – и найдешь.

Гарлей. Неужели мы когданибудь ищем чувства любви? Разве оно не западает в наше сердце, когда мы менее всего ожидаем его? Разве оно не имеет сходства с вдохновением музыки? Какой поэт сядет за бумагу и перо и скажет: «я напишу поэму»? Какой человек взглянет на прелестное создание и скажет; «я влюблюсь в него»? Нет! счастье, как говорит один великий германский писатель, – счастье внезапно ниспадает на смертных с лона богов; так точно и любовь.

Эджертон. А ты помнишь слова Горация: «прилив жизни



утекает, а крестьянин между тем сидит на окраине берега и дожидается, когда сделается брод.»

Гарлей. Идея, которую ты нечаянно подал мне несколько недель тому назад, и которая до этого неясно мелькала в моей голове, до сих пор не покидает меня, а напротив того, быстро развивается. Еслиб я только мог найти ребенка с нежными наклонностями души и светлым умом, хотя еще и неразвитым, и еслиб я мог воспитать его сообразно с моим идеалом! Я еще так молод, что могу ждать несколько лет. А между тем я стал бы иметь то, чего недостает мне, я имел бы цель в жизни, имел бы призвание.

Эджертон. Ты всегда был и, кажется, будешь дитятей романа. Однако....

Здесь Одлей Эджертон был прерван посланным из Парламента, которому дано было приказание отыскивать Одлея на мосту, в случае, если присутствие его в Парламенте окажется необходимым.

– Сэр, сказал посланный: – оппозиция, пользуясь отсутствием многих членов Парламента, требует отмены нового постановления. Мистера... поставили на время опровергать это требование, но его никто не хочет слушать.

Эджертон торопливо обратился к лорду л'Эстренджу.

– Ты должен извинить меня. Завтра я уезжаю в Виндзор на два дня; по возвращении, надеюсь, что мы встретимся.

– Для меня все равно, отвечал Гарлей: – твои советы, о практический человек с здравым рассудком! не произво-

дят на меня желаемого действия. И если, прибавил Гарлей, с искренностью и с печальной улыбкой: – если я надоедаю тебе жалобами, которых ты не можешь понять, то делаю это по старой школьной привычке. Я не могу не доверить тебе всех смут моей души.

Рука Эджертона дрожала в руке его друга. Не сказав ни слова, он быстро пошел к Парламенту. На несколько секунд Гарлей оставался неподвижным, в глубокой и спокойной задумчивости; потом он кликнул собаку и пошел обратно к Вестминстеру. Он проходил нишу, в которой сидела фигура уныния. Но эта фигура стояла теперь на ногах, прислонясь к балюстраде. Собака, предшествовавшая своему господину, остановилась подле одинокого юноши и подозрительно обнюхала его.

– Нерон, поди сюда! вскричал л'Эстрендж.

– Нерон! да это и есть кличка, которую, как сказывала Гэлен, друг её покойного отца звал свою собаку.

Этот звук, болезненно отозвавшись в душе Леонарда, заставил его вздрогнуть. Леонард приподнял голову и внимательно взглянул в лицо Гарлея. Светлые, горевшие огнем, но при том как-то странно блуждающие взоры, какими описывала их Гэлен, встретились с взорами Леонарда и приковали их к себе.

Л'Эстрендж остановился. Лицо юноши было знакомо ему. На взгляд, устремленный на него Леонардом, он ответил вопросительным взглядом и узнал в Леонарде юношу, с кото-

рым встретился однажды у книжной лавки.

– Не бойтесь, сэ: собака ничего не сделает, сказал л'Эстрендж, с улыбкой.

– Вы, кажется, назвали ее Нероном? спросил Леонард, продолжая всматриваться в незнакомца.

Гарлей понял этот вопрос совершенно в другую сторону.

– Да, Нероном; впрочем, он не имеет кровожадных наклонностей своего римского тезки.

Гарлей хотел было идти вперед, но Леонард заговорил, с заметным колебанием:

– Извините меня, сэ... неужели вы тот самый человек, которого я так долго и тщетно отыскивал для дочери капитана Дигби?

Гарлей стоял как вкопанный.

– Дигби! воскликнул он: – где он? скажите. Ему, кажется, нетрудно было отыскать меня. Я оставил ему адрес.

– Слава Богу! в свою очередь воскликнул Леонард: – Гэлен спасена: она не умрет теперь.

И Леонард заплакал.

Достаточно было нескольких секунд, нескольких слов, чтоб объяснить Гарлею, в каком положении находилась сирота его старинного товарища по оружию. Еще несколько минут, и Гарлей стоял уже в комнате юной страдальицы, прижимая пылающую голову её к своей груди и нашептывая ей слова, которые отзывались для слуха Гэлен как будто в отрадном, счастливом сне:

– Утешься, успокойся: твой отец жив еще во мне.

– Но Леонард мне брат, сказала Гэлеп, поднимая томные глаза: – более, чем брат; он более нуждается в попечении отца.

– Нет, Гэлен, успокойся. Я ни в чем не нуждаюсь.... теперь решительно ни в чем! произнес Леонард.

И слезы его катились на маленькую ручку, сжимавшую его руку.

Гарлей л'Эстрендж был человек, на которого все принадлежавшее к романтической и поэтической стороне человеческой жизни производило глубокое впечатление. Когда он узнал, какими узами были связаны эти два юные создания, стоящие друг подле друга, одни среди неотразимых нападений рока, душа его была сильно взволнована; он не испытывал подобного ощущения в течение многих лет своей жизни. В этих мрачных чердаках, омрачаемых еще более дымом и испарениями самого бедного квартала, в глухом уголке рабочего мира, в самых грубых и обыкновенных его формах он узнавал ту высокую поэму, которая проистекает прямо из соединения ума и сердца. Здесь, на простом, деревянном столе, лежали рукописи молодого человека, который боролся с холодным миром за славу и кусок насущного хлеба; там, на другой стороне перегородки, на убогой кровати, лежала единственная отрада юноши – все, что согревало его сердце самым благотворным, оживляющим чувством. По одну сторону стены находился мир фантазии, по другую сторону –

мир смертных, полный скорби, страданий и любви. В том и другом, в одинаковой степени обитали дух возвышенный, покорность Провидению, свободная от всякого эгоистического чувства, «что-то чуждое, выходявшее из сферы нашей скорбной жизни».

Лорд л'Эстрендж окинул взором комнату, в которую вошел вслед за Леонардом. Он заметил на столе рукописи и, указав на них, тихо сказал:

– Это-то и есть ваши труды, которыми вы поддерживали сироту честного воина? после этого вы сами воин, и притом еще в самой тяжелой битве!

– Но битва эта была проиграна, отвечал Леонард, с печальной улыбкой: – я бы не в силах был поддержать ее.

– Однакожь, вы не покинули ее. Когда коробочка Пандоры была открыта, то говорят, что Надежда совсем была потеряна....

– Ложь, неправда! прервал Леонард: – понятие, заимствованное из мифологии. Есть еще и другие божества, которые переживают Надежду, как-то: Благодарность, Любовь и Долг.

– Ваши понятия нельзя подвести под разряд обыкновенных! воскликнул Гарлей, приведенный в восторг словами Леонарда: – я непременно должен познакомиться с ними покороче. В настоящую минуту я спешу за доктором и ворочусь сюда не иначе, как вместе с ним. Нам нужно как можно скорее удалить бедного ребенка из этой душной атмосферы.

Между тем позвольте мне смягчить ваше опровержение старинной мифологической басни. Если благодарность, любовь и обязанность остаются в удел человеку, поверьте, что надежда всегда остается между ними, хотя и бывает невидима, скрываясь за крыльями этих более высоких богов.

Гарлей произнес это с той удивительной, принадлежавшей только ему одному улыбкой, которая озарила ярким светом мрачные покои Леонарда, и вместе с тем ушел.

Леонард тихо приблизился к тусклому окну. Взглянув на звезды, горевшие над вершинами здания бледным, спокойным огнем, он произнес: «О Ты, Всевидящий и Всемилосердый! с каким отрадным чувством вспоминаю я теперь, что хотя мои мечтания – плод человеческих мудрствований, иногда и омрачали небеса, но я никогда не сомневался в Твоем существовании! Ты всегда находился там, Все вечный и Пресветлый, хотя облака и закрывали иногда беспредельное пространство Твоего владычества!..» Леонард молился в течение нескольких минут, потом вошел в комнату Гэлен и сел подле кровати, притаив дыхание: больная спала крепким сном.... Гэлен проснулась в то самое время, как Гарлей возвратился с медиком. Леонард снова удалился в свою комнату и там на столе, между бумагами, увидел письмо, написанное им к мистеру Дэлю.

– Теперь я не вижу необходимости выставлять на показ мое призвание, сказал он про себя: – не вижу необходимости сделаться нищим.

И вместе с этим он поднес письмо к пылающей свече. В то время, как пепел сыпался на пол, мучительный голод, которого он не замечал до этого, среди душевных волнений, сменяющих одно другое, начинал терзать его внутренность. Но, несмотря на то, даже и голод не мог сравниться с благородной гордостью, которая покорялась чувству благороднейшему её самой, и Леонард с улыбкой произнес:

– Нет, я не буду нищим! Жизнь, за сохранение которой я дал торжественную клятву, спасена. Как человек, сознающий свои силы и достоинство, я еще раз решаюсь восстать против судьбы!..

## Глава LXVIII

Прошло несколько дней, и Гэлен, переведенная из душного квартала на чистый воздух, благодаря стараниям опытных врачей, находилась вне всякой опасности.

Это был хорошенький, уединенный коттедж, обращенный окнами на обширные равнины Норвуда, покрытые местами кустарником. Гарлей приезжал туда каждый день – наблюдать за выздоровлением своей юной питомицы: цель в жизни для него была избрана. Вместе с тем, как Гэлен становилась и свежее и бодрее, Гарлей вступал с ней в разговор и всегда с удовольствием, к которому примешивалось в некоторой степени изумление, слушал ее. Сердце до такой степени ребяческое и ум до такой степени зрелый изумляли л'Эстренджа своим удивительным контрастом и сродством. Леонард, которого лорд л'Эстрендж просил также поместиться в этом коттедже, оставался в нем до тех пор, пока выздоровление Гэлен сделалось несомненным. Подойдя к лорду л'Эстренджу, когда тот совсем уже собрался ехать в Лондон, Леонард спокойно сказал:

– Теперь, милорд, когда Гэлен совершенно поправилась и больше уже не нуждается во мне, я не смею оставаться в этом доме: боюсь, чтобы меня не назвали инвалидом на вашем пенсионе. Я еду в Лондон.

– Вы мой гость, но отнюдь не инвалид на пенсионе, сказал



Гарлей, заметив гордость, которая так резко выразилась в этом прощании. – Пойдемте в сад: мы там поговорим об этом на свободе.

Гарлей сел на скамейку на небольшом лугу; Нерон свернулся у ног его; Леонард стоял подле Гарлея.

– Так вы хотите воротиться в Лондон, сказал лорд д'Эстрендж. – Скажите, зачем же?

– Исполнить предназначения судьбы.

– А в чем заключаются эти предназначения?

– Я и сам еще не знаю. Судьба похожа на Изиду, покрывала которой не приподнимал еще никто из смертных.

– Должно быть, вы родились для чегонибудь великого, сказал Гарлей отрывисто. – Я уверен, что вы сочиняете превосходно. Я видел, что вы занимаетесь своим предметом с любовью. Но что лучше всех ваших сочинений, лучше всех занятий – вы имеете благородное сердце и прекрасное желание независимости. Позвольте мне просмотреть ваши рукописи или какойнибудь напечатанный уже экземпляр ваших сочинений. Пожалуста, не затрудняйтесь этим: я прошу затем, чтоб быть обыкновенным читателем, но не покровителем. Это слово мне не нравится.

Сквозь слезы, выступившие на глазах Леонарда, блистали искры огня. Он принес свой портфель и, положив его на скамейку, подле Гарлея, ушел в самую отдаленную часть сада. Нерон долго смотрел за Леонардом, потом встал и медленно последовал за ним. Когда Леонард опустился на траву, Нерон

склонил свою косматую голову к громко бившемуся сердцу поэта.

Гарлей выбрал из портфеля некоторые сочинения и прочитал их со вниманием. Конечно он не мог назвать себя критиком: он не приучил себя анализировать то, что ему нравилось или что не нравилось; но его взгляд на предметы отличался всегда необыкновенной верностью, его вкус был изящный. Когда он читал, на лице его, постоянно выразительном, обнаруживалось то недоумение, то восхищение. Он очень скоро поражен был контрастом в сочинениях юноши, – контрастом между теми статьями, в которых фантазии предоставлена была полная свобода, и теми, где участвовал один только рассудок. В первых молодой поэт, по видимому, терял всякое сознание о своем индивидууме. Его воображение носилось где-то далеко от сцен его страданий, свободно разгуливало в каком-то эдеме, принадлежавшем счастливым созданиям. Но зато в последних являлся мыслитель одинокий и печальный, обращаясь, под влиянием тяжелой скорби, к холодному, жестокому миру, на который он смотрел. В его мысли все было смутно, неопределенно; в его фантазии – все светло и спокойно. По видимому, гений разделялся на две формы: одна, витая в пределах надзвездного мира, орошала свои крылья небесной росой, – другая уныло и медленно блуждала среди опустелых и беспредельных степей. Гарлей тихо опустил бумаги и несколько минут оставался в глубокой задумчивости. Потом он встал и, подходя

к Леонарду, всматривался в лицо его с новым и более сильным участием.

– Я прочитал ваши сочинения, сказал Гарлей: – и узнал в них два существа, принадлежащие двум мирам, существенно различным между собой.

Леонард изумился.

– Правда, правда! произнес он в полголоса.

– Я думаю, снова начал Гарлей: – что одно из этих существ должно или совершенно уничтожить другое, или оба они должны, слиться в одну личность и гармонировать друг с другом. Возьмите шляпу, садитесь на лошадь моего груга и поедemте в Лондон; по дороге мы еще поговорим об этом предмете. Однако, помните, что первая цель благородного стремления души есть независимость. Достигнуть этой независимости я принимаю на себя помочь вам; заметьте, это такая услуга, которую не краснея решится принять самый гордый человек.

Леонард взглянул на Гарлея. В его глазах блистали слезы благодарности; его сердце было слишком полно, чтобы отвечать.

– Я не принадлежу к разряду тех людей, сказал Гарлей, выехав вместе с Леонардом на дорогу: – людей, которые позволяют себе думать, что если молодой человек занимается поэзией, то он больше ни для чего другого неспособен, что он должен быть или поэтом, или нищим. Я уже сказал, что в вас, как мне кажется, находятся два человека: один – принадле-

жащий миру идеальному, другой – действительному. Каждому из них я могу предоставить совершенно отдельную карьеру. Первая из этих карьер, быть может, самая соблазнительная. Всякое государство считает полезным и выгодным принимать к себе в услужение всех талантливых и трудолюбивых людей; каждый гражданин должен вменять себе в особенную честь – получить какое бы то ни было занятие для пользы своего государства. У меня есть друг, государственный сановник, который, как всем известно, постоянно старается поощрять молодых талантливых людей: его зовут Одлеем Эджертоном. Мне только стоит сказать ему: «у меня есть в виду человек, который вполне оплатит правительству за все то, чем правительству угодно будет наградить его», – и вы завтра же будете обеспечены в средствах к своему существованию; кроме того вам будет открыто много путей к богатству и отличию. Это с моей стороны одно предложение. Что вы скажете на него?

Леонард с грустным чувством вспомнил о своей встрече с Одлеем Эджертоном и предложенной ему серебряной монете. Он покачал головой и отвечал:

– Милорд, я не знаю, чем заслужил я подобное великодушие. Делайте со мной, что вам угодно; но если мне будет предоставлено на выбор, то, конечно, я желал бы лучше следовать моему призванию. Честолюбие меня несколько не прельщает.

– В таком случае выслушайте мое второе предложение.

У меня есть еще друг, с которым я не в таких коротких отношениях, как с Эджертоном, и который не имеет никакой власти. Я говорю о литераторе.... его зовут Генри Норрейс.... вероятно, это имя знакомо и вам. Он уже имеет к вам расположение с тех пор, как увидел вас за чтением подле книжной лавки, и готов принять в нас живое участие. Я часто слышал от него, что несправедливо поступает тот, кто занимается литературой как простым ремеслом; но что если посвятить себя этому призванию и усвоивать его надлежащим образом, употребить для того те же труды и то же благоразумие, которые употребляются при достижении всякого другого ремесла, то можно всегда рассчитывать на вознаграждение своих трудов. Однакожь, этот путь покажется слишком длинным и слишком скучным; он не доставит человеку никакой власти, кроме власти над своим рассудком, над мыслью, – редко доставляет богатство, и хотя *известность* может быть верная, но *слава*, подобная той, о которой мечтают поэты, выпадает в удел весьма немногим. Что жь вы скажете на это?

– Милорд, я принимаю это предложение, сказал Леонард решительным тоном; и потом, когда лицо его осветилось энтузиазмом, он с увлечением продолжал: – да, если, как вы говорите, во мне находятся два человека, то я чувствую, что еслиб меня осудили в жертву механическому и практическому миру, то один из них непременно уничтожил бы другого. И победитель сделался бы еще грубее, еще жестче. Позвольте мне удержать за собой те идеи, под влиянием кото-

рых, хотя они по сие время остаются еще неясными, не имеют еще определенных форм, я постоянно уносился за пределы этого холодного мира, – в мир надзвездный, озаренный неугасаемым солнечным блеском. Нет нужды, доставят они мне или нет богатство и славу, – по крайней мере они по-прежнему будут уносить меня кверху! Я желаю одного только знания: какое мне дело, если знание это не будет силой!..

– Довольно! сказал Гарлей, с улыбкой, выражавшей удовольствие: – все будет устроено по-вашему желанию. А теперь позвольте мне предложить вам несколько вопросов и не считите их нескромными. Ведь ваше имя Леонард Ферфилд?

Леонард покраснел и, вместо ответа, утвердительно кивнул головой.

– Гэлен сказывала мне, что вы самоучка; в остальном она предоставила мне обратиться к вам, полагая, вероятно, что я стал бы уважать вас менее, еслиб она сказала мне, как я догадываюсь, что вы скромного происхождения.

– Мое происхождение, сказал Леонард с расстановкой:– очень, очень скромное.

– Имя Ферфильда мне несколько знакомо. Я знал одного Ферфильда, который взял за себя девицу из фамилии, проживающей в Лэнсмере.... из фамилии Эвенель, продолжал Гарлей, дрожащим голосом. – Вы изменяетесь в лице. О, неужели ваша мать из этой фамилии?

– Да, отвечал Леонард, сквозь зубы.

Гарлей положил руку на плечо юноши.

– В таком случае, я имею некоторое притязание на вас.... мы непременно должны быть друзьями. – Я имею право оказать услугу каждому, кто принадлежит к этому семейству.

Леонард взглянул на него с удивлением.

– Потому имею право, продолжал Гарлей, оправившись несколько от душевного волнения: – что Эвенели постоянно служили нашей фамилии, и мои воспоминания о Лэнсмере, хотя и детские, остаются в душе моей неизгладимыми.

Сказав это, он дал шпоры лошади, и снова наступило продолжительное молчание; но с этого времени Гарлей всегда говорил с Леонардом нежным голосом и часто глядел на него с участием и любовью.

Они остановились у дома в центральной, хоть не фэшэ-небельной улице, лакей, замечательно серьёзной и почтенной наружности, отворил дверь. По всему можно заключить, что это был человек, который всю свою жизнь провел около писателей. Бедняга! он стар был почти до дряхлости. Заботу и надменность, отражавшиеся на его лице, никакое перо смертного не в состоянии описать.

– Дома ли мистер Норрейс? спросил Гарлей.

– Для своих друзей, милорд, он всегда дома, отвечал лакей важным тоном.

И он провел гостей через приемный зад с таким величием, с каким Данго представлял какогонибудь Монморанси Людовику Великому.

– Постой на минуту: проводи этого джентльмена в другую комнату. Я сначала один войду в кабинет.... Леонард, подождите меня.

Лакеи кивнул головой, впустил Леонарда в столовую и, послушав сначала у дверей кабинета, как будто опасаясь рассеять вдохновение своего господина, весьма тихо отпер их. Но, к невыразимому его негодованию, Гарлей, не дожидаясь доклада о своем приходе, вошел в кабинет. Это была большая комната, заставленная книгами с самого пола до потолка. Книги лежали на столах, книги – на стульях. Гарлей сел на фолиант «Всемирной истории» Ралейга.

– Я привез к вам сокровище! вскричал он.

– Какое, позвольте узнать? спросил Норрейс, отрываясь от занятий и обратясь к Гарлею с приятной улыбкой.

– Душу!

– Душу! повторил Норрейс, теряясь в догадках, что именно хотел сказать этим Гарлей: – свою собственную лущу?

– О, нет! у меня нет вовсе души: у меня есть сердце, и вместо рассудка – способность увлекаться фантазиями. Выслушайте меня. Помните вы юношу, которого мы встретили у книжной лавки зачтением? Я поймал его для вас, и надеюсь, что вы сделаете из него человека. Я принимаю живое участие в нем, потому что знаю все семейство, к которому он принадлежит, и один член этого семейства был очень, очень дорог для меня. Что касается денег, у него нет их ни шиллинга, и он не возьмет даром шиллинга ни от вас, ни от меня.



С бодростью он посвящает себя трудам и работе, и работу вы должны доставить ему непременно.

После этого Гарлей в немногих словах сообщил своему другу о двух предложениях, сделанных Леонарду, и о выборе Леонарда.

– Это обещает много хорошего. Человек, посвящающий себя литературе, должен иметь такое же сильное призвание, какое бы он имел, посвящая себя изучению законов. Я сделаю все, что вам угодно.

Гарлей быстро поднялся с места, от души пожав руку Норрейса, вышел из комнаты и воротился с Леонардом.

Мистер Норрейс с особенным вниманием осмотрел молодого человека. В обращении своем с незнакомыми он от природы был скорее суров, чем радушен, представляя в этом, как и во многих других отношениях, сильный контраст бедному, жалкому Борлею. Впрочем, он был прекрасный знаток физиономии человека и с первого раза полюбил Леонарда. После минутного молчания, мистер Норрейс протянул Леонарду руку.

– Сэр, сказал он: – лорд л'Эстрендж говорит мне, что вы желаете избрать литературу исключительным своим занятием и, без всякого сомнения, изучать ее как науку. Я могу помочь вам в этом; а вы, в свою очередь, можете помочь мне. В настоящее время, я нуждаюсь в писце, и с удовольствием предлагаю вам это место. Жалованье будет соразмерно с вашими заслугами. У меня есть лишняя комната, которую

предоставляю в полное ваше распоряжение. Явившись в первый раз в Лондон, я сделал точно такой же выбор, как и вы, и, признаюсь не имею причины раскаиваться в этом выборе, даже и в таком случае, если станем смотреть на предмет с существенной точки зрения. Он доставляет мне доход гораздо более моих расходов. Я приписываю мой успех на этом поприще следующим правилам, которые, впрочем, можно применить ко всякой другой профессии: первое – никогда не полагаться на гений в том, что можно приобрести трудом; второе – никогда не принимать на себя обязанности учить других тому, с чем еще сам некоротко знаком; третье – никогда не давать обещания в том, чего мы не в состоянии исполнить, не приложив особого усердия. С этими правилами, литература, если только человек не ошибается в своем призвании и если он подвергнет свои врожденные дарования первоначальному исправлению, что требуется всяким занятием, – литература – говорю я – при этих правилах, становится таким же прекрасным призванием, как и всякое другое. Без них – ремесло башмачника беспредельно лучше.

– Весьма может быть, заметил Гарлей: – однакожь, были великие писатели, которые не наблюдали ваших правил.

– Великие писатели, правда, – но весьма незавидные люди. Милорд, милорд, не грешно ли вам сообщать подобные понятия ученику, которого вы сами привели ко мне!

Гарлей улыбнулся и вскоре ушел, оставив гения в школе под руководством здравого ума и опыта.

## Глава LXIX

В то время, как Леонард боролся во мраке с нищетой, пренебрежением, голодом и страшным искушением, лучезарен был занимающийся день новой жизни и гладка была дорога к славе Рандаля Лесли. Действительно, ни один молодой человек с прекрасными способностями и с обширным честолюбием не мог бы вступить в жизнь при более благоприятных обстоятельствах. Родственные связи и покровительство популярного и энергического государственного сановника, известность, поставившая его на ряду с блестящими писателями политических сочинений, с одного разу доставили Рандалю Лесли довольно высокое положение в обществе; он был принят и обласкан в тех высоких кругах, для свободного пропуска в которые звание и богатство еще весьма недостаточны, — в кругах выше самой моды, — в кругах власти, где так легко приобретаются сведения и в разговоре за благовременно изучается свет. Рандалю стоило только двинуться вперед, и успех был верен. Между тем беспокойный дух Рандаля находил особенное удовольствие, даже восторг от интриг и планов, им самим придуманных. В этих интригах и планах он видел более короткие пути к приобретению богатства, если не к достижению славы. Его преобладающий порок был вместе с тем и преобладающею слабостью. В нем не было стремления к чему-нибудь особенному, но была алч-

ность. Хотя и поставленный в общественном быту на степень гораздо высшую против Франка Гэзельдена, он, несмотря на весьма обыкновенные, ограниченные виды своего школьного товарища, желал и с жадностью искал тех же самых предметов, которые ставили Франка Гэзельдена ниже его, – искал его шумных увеселений, беспечных удовольствий, даже безумной траты его молодости. Точно также Рандаль менее стремился к соисканию славы Одлея Эджертона, а более к стяжанию его богатств, его возможности тратить огромные суммы, его великолепного дома на Гросвенор-Сквэре. Надобно приписать несчастью его происхождения, что он так близко находился к неотъемлемым правам этих двух фамилий: близко к фамилии Лесли, как будущий глава тою упавшего дома, – близко к фамилии Гэзельден, особливо, как мы уже заметили, еслиб сквайр не имел сына: происхождение Рандаля от Гэзельденов предоставляло ему все наследственные права на обширные поместья сквайра. Большая часть молодых людей, приведенных в короткия отношения к Одлею Эджертому, питали к нему в душе своей и обнаруживали искреннее уважение и преданность. В Эджертоне было что-то величественное, что-то особенное, которое поведует молодыми людьми и очаровывает их. Его твердость, его непоколебимая воля, его, можно сказать, царская щедрость, составляющая сильный контраст с простотой его привычек и вкуса, которые были даже в некоторой степени суровы, – его редкая и, по видимому, неведомая ему самому спо-

способность очаровывать женщин, незнакомых с покорностью, и убеждать мужчин, отвергающих всякие советы, – все это окружало практического человека таинственной силой, какими-то чарами, которые обыкновенно приписывают идеалу. Впрочем, и то надобно сказать, Одлей Эджертон был *идеал* – идеал всего практического, не какаянибудь простая, труженическая машина, но человек с твердым умом, одушевляемый непоколебимой энергией и стремящийся к какимнибудь определенным на земле целям. При каких бы то ни было формах правительства, Одлей Эджертон мог быть самым сильным гражданином, потому что его честолюбие всегда было решительно и его взгляд был верен и светл. Впрочем, в официальной жизни в Англии есть что-то особенное, что принуждает действительно честолюбивого человека стремиться к достижению почестей, если только глаза этого человека не подернуты желчью и не имеют косвенного взгляда, как у Рандалья Лесли. В Англии совершенно необходимо быть джентльменом; а Эджертон в строгом смысле слова был джентльмен. Он не имел особенной гордости во всех других отношениях, едва заметна была в нем и раздражительность, но затроньте только его со стороны джентльмена, и вы узнаете, до какой степени он раздражителен и горд. Так как Рандаль видел его более других и наблюдал его нрав зоркими глазами домашнего шпиона, то он не мог не заметить, что этот твердый механический человек подвержен был припадкам меланхолии, уныния, и хотя припадки эти

не были продолжительны, но при всем том в его обычной холодности заметно было, что в душе его глубоко таилось подавленное, тягостное, мучительное чувство. Эта особенность интересовала бы, пробудила бы участие признательного сердца, но Рандаль Лесли наблюдал и обнаруживая ее как ключ к какой-нибудь тайне, которая могла доставить ему существенные выгоды. Рандаль Лесли ненавидел Эджертона, и ненавидел его более потому, что, при всей своей книжной учености и при высоких понятиях о своих талантах, он не мог оказать решительное неуважение своему патрону, потому что не успел еще обратить своего покровителя в простую игрушку, в ступеньку к своему возвышению, и думал, что пронизательный взор Эджертона видел насквозь его лукавое сердце, хотя и оказывал, с глубоким пренебрежением, помощь своему *protégé*. Впрочем, последнее предположение не имело основания: Эджертон не постигал испорченной и изменнической натуры Лесли. Эджертон мог иметь другие причины держать его в некотором отдалении; он слишком мало заглядывал в чувства Рандалья и не сомневался в чистосердечии и преданности того, кто так много был обязан ему. Но что всего более отравляло чувство Рандалья к Эджертону: это – осторожная и обдуманная откровенность, с которой последний не раз повторял и с каждым разом усиливал неприятное предупреждение, что Рандаль ничего не должен ожидать от духовного завещания министра, ничего из тех богатств, которые ослепляли жадные глаза бедняка-наслед-

ника фамилии Лесли. Кому же после этого Эджертон намерен был завещать все свое состояние? кому, как не Франку Гэзельдену? А между тем Одлей так мало обращал внимания на своего племянника, до такой степени казался равнодушным к нему, что это предположение, как бы оно ни было натурально, подвергалось сомнению. Коварство Рандалья находилось в каком-то смутном положении. Полагаясь менее и менее на возможность владеть современным богатствами Эджертон, Рандаль Лесли более и более придумывал средства к возможности устранить Франка от наследства Гэзельденского поместья, если не всего, то по крайней мере большей части. Человеку, менее лукавому, пронырливому и бессовестному, чем Рандаль Лесли, подобный проэкт показался бы самой несбыточной мечтой. В том, каким образом этот молодой человек старался обратить знание в силу и подчинить достижению своих видов все слабости в других людях, было что-то страшное. Он умел втереться в полное доверие Франка. Через Франка он изучил все особенности понятий и нрава сквайра, углублялся в размышление над каждым словом в письмах отца, которые Франк постепенно привык показывать своему вероломному другу. Рандаль сделал открытие, что сквайр имел две, очень обыкновенные между помещиками, особенности в характере, которые, при случае, могли бы сильно повредить горячей родительской любви: первая – сквайр любил свое поместье, как предмет душевный, как часть своего собственного бытия, и, в своих настав-

лениях Франку насчет его расточительности, он всегда говорил: «Что станется с именем, если оно попадет в руки мота? Я не хочу, чтобы Гэзельденское поместье обратилось в какой-нибудь пустырь: пусть Франк бережется...» и проч. Во вторых, сквайр не только любил свои земли, но он ревновал их – той ревностью, которую даже самые нежные родители редко обнаруживают к своим законным наследникам. Он не мог терпеть мысли, что Франк должен рассчитывать на его кончину, и редко заключал свое увещательное послание, не сделав повторения, что Гэзельденское имя еще не разделено, что он сделает этот раздел перед кончиной, по собственному своему усмотрению. Косвенная угроза подобного рода скорее оскорбляла и раздражала, но отнюдь не устрашала Франка, потому что молодой человек, от природы великодушный и пылкого нрава, после предостережений касательно сохранения своих собственных интересов, еще более увлекался неблагоразумием, как будто желая показать, что подобного рода увещания не имели на него никакого влияния. – Познакомившись таким образом вполне с характером отца и сына, Рандаль начинал уже видеть проблески светлого дня, озарившего его надежды на наследство Гэзельденской вотчины. Между прочим ему казалось очевидным, что, несмотря на дальнейшие последствия, его собственные интересы, чрез отчуждение сквайра от своего законного наследника, решительно ничего не теряли, а напротив того, выигрывали очень много. На этом основании, Рандаль, с необыкновенным зна-



нием своего дела, завлекал неопытного Франка в крайности, которые непременно должны были раздражать сквайра; он делал все это под благовидным предлогом, сообщая мудрый совет и никогда не разделяя лично заблуждений, в которые вводил своего легкомысленного друга. В этом отношении он по большей части действовал через других, представляя Франку случай свести знакомством людьми, весьма опасными для юности, или по излишнему остроумию, которое всегда смеется над благоразумием, или по поддельному великолепию, которое так прекрасно умеет поддерживать себя насчет векселей, подписанных друзьями с «большими ожиданиями».

Член Парламента и его *protégé* сидели за завтраком. Первый читал газету, последний просматривал свои письма. Надобно заметить, что Рандаль достиг наконец до того, что получал множество писем, – мало того: множество треугольных или вложенных в фантастические конверты записок. Из груди Эджертона вырвалось невольное восклицание, и он положил газету. Рандаль отвел взоры от своей корреспонденции. Министр углубился в одну из своих отвлеченных дум.

Заметив, после продолжительного молчания, что Эджертон не обращался более к газете, Рандаль сказал;

– Кстати, сэр: я получил записку от Франка Гэзельдена. Он очень желает видеть меня; его отец приехал в Лондон весьма неожиданно.

– Что его привлекло сюда? спросил Эджертон, все еще не отрываясь от своей думы.

– Кажется, до него дошли слухи о расточительности Фран-ка, и бедный Франк теперь боится и стыдится встретиться с отцом.

– Да, расточительность в молодом человеке величайший порок, – порок, который мало по малу разрушает незави-симое состояние, доводит до гибели или порабощает бу-дущность! Да, действительно, величайший порок! И чего ищет юность, чего ищет она в расточительности? В ней са-мой заключается все прекрасное потому собственно, что она юность! Чего же недостает ей!

Сказав это, Эджертон встал, подошел к письменному сто-лу и в свою очередь занялся своей корреспонденцией. Ран-даль взял газету и тщетно старался догадаться, что именно вынудило восклицание Эджертона и над чем Эджертон за-думался вслед за восклицанием.

Вдруг Эджертон быстро повернулся на стуле.

– Если вы кончили просматривать газету, сказал он: – то, пожалуйста, положите ее сюда.

Рандаль немедленно повиновался. В эту минуту в улич-ную дверь раздался стук, и вслед за тем в кабинет Эджерто-на вошел лорд л'Эстрендж, более быстрыми шагами и с бо-лее веселым против обыкновенного и одушевленным выра-жением в лице.

Рука Одлея как будто механически опустилась на газету,

и опустилась на столбцы, которыми извещали публику о числе родившихся, умерших и вступивших в брак. Рандаль стоял подле и, само собою разумеется, заметил это движение; потом, поклонившись л'Эстренджу, он вышел из комнаты.

– Одлей, сказал л'Эстрендж: – с тех пор, как мы расстались, со мной было приключение, которое открыло мне прошедшее и, может статься, будет иметь влияние на будущее.

– Каким это образом?

– Во первых, я встретился с родственником.... Эвенелей.

– В самом деле! С кем же это? верно, с Ричардом?

– Ричард Ричард.... кто он такой? я не помню. Ах да! теперь припоминаю: это своенравный юноша, который уехал в Америку; но ведь я знал его, когда я был ребёнком.

– Этот Ричард Эвенель теперь богатый негодичант, и, не далее, как сегодня, в газетах объявлено о его женитьбе. Представь себе, женился на какой-то мистрисс М'Катьчлей, из благородной фамилии! После этого, кто должен в нашем отечестве гордиться своим происхождением?

– Я в первый раз слышу от тебя подобные слова, отвечал Гарлей, тоном печального упрека.

– Да, я говорю это исключительно насчет мистрисс М'Катьчлей, но слова мои отнюдь не должны касаться наследника фамилии л'Эстренджей. Впрочем, оставим говорить об этих.... Эвенелях.

– Напротив того, будем говорить о них как можно больше. Я повторяю тебе, что встретился с их родственником....

с племянником. . . .

– Ричарда Эвенеля? прервал Эджертон и потом прибавил протяжным утвердительным, недопускающим возражений тоном, которым он привык говорить в Парламенте: – Ричарда Эвенеля, этого торгоша! Я видел его однажды: надменный и несносный человек!

– В его племяннике нет этих пороков. Он обещает многое, очень многое. Сколько скромности в нем и в то же время сколько благородной гордости! А какое лицо, какое выражение этого лица! О, Эджертон! у него как две капли воды её глаза!

Эджертон не отвечал. Гарлей снова начал.

– Я хотел было поручить его твоему покровительству. Я знал заранее, что ты бы сделал для него много хорошего.

– И я сделаю. Привези его ко мне, вскричал Эджертон, с жаром. – Я готов сделать все, чтоб доказать мое. . . уважение к твоим желаниям.

Гарлей с чувством сжал руку своего друга.

– Благодарю тебя от души. Теперь говорит со мной Одлей, которого я знал в ребяческие годы. Впрочем, молодой человек решил совсем иначе, и я нисколько не виню его в этом. Мало того: я радуюсь, что он избрал карьеру, в которой если он и встретит затруднения, зато может избавиться зависимости.

– И эта карьера. . . .

– Литература.

– Литература! воскликнул член Парламента. – Нищенство! Нет, нет, Гарлей: это отзывается твоей нелепой романтичностью.

– Надеюсь, что ты ошибаешься, Эджертон. Я не вижу тут нищенства, и это вовсе не моя романтичность, а мальчика. Предоставь это ему и мне. Отныне я принимаю в нем самое живое участие и беру его под свое особенное покровительство. Он родственник *ей*, и, я уже сказал тебе, у него её глаза.

– Но ведь ты едешь за границу. По крайней мере скажи мне, где он находится: я буду наблюдать за ним....

– И расстроивать его наклонности, внушать ему, под видом благородного честолюбия, ложное понятие о независимости. Нет, ты ничего не узнаешь и не услышишь о нем до тех пор, пока он сам не отзовется; а этот день, надеюсь, наступит очень скоро.

– Быть может, ты прав, сказал Одлей, после непродолжительного молчания. – Я совершенно согласен с тобой, что независимое состояние есть величайшее блаженство. Мое честолюбие не сделало меня ни на волос ни лучше, ни счастливее.

– А ты еще, бедный мой Одлей, просил меня, чтоб я сделался честолюбивым.

– Я желаю одного только – чтоб ты был счастлив, сказал Одлей, с непритворным чувством.

– И я постараюсь быть счастливым, с помощью более невинного средства, чем какое ты предлагаешь мне. Я ска-

зал, что приключение мое может иметь влияние на мою будущность: оно познакомило меня не только с молодым человеком, о котором я говорил, но и с самым нежным, пленительным, признательным ребенком – с девочкой.

– Что же, этот ребенок тоже родня Эвенелям?

– Нет, в её жилах течет благородная кровь: она дочь воина, – дочь того капитана Дигби, для которого я просил твоего покровительства. Он умер и, умирая, произносил мое имя. Без всякого сомнения, он назначал меня опекуном своей сироты. И я буду этим опекуном, буду её покровителем. Наконец-то я имею цель для моего существования.

– Но неужли ты серьёзно намерен взять этого ребенка с собой за границу?

– Да, серьёзно.

– И держать ее у себя в доме?

– Да, в течение какогонибудь года или около этого времени, пока она все еще будет ребенком. После того, с её вступлением в юность, я помещу ее куданибудь в другое место....

– Так ты, пожалуй, полюбишь ее всей душой. Но верно ли то, что и она полюбит тебя? Смотри, чтобы чувства благодарности не принять за любовь? Это предприятие опасно и подвиг слишком отважный.

– Таков был и Вильям норманец, а все же он сделался Вильямом-Завоевателем. Ты принуждаешь меня забыть прошедшее, забыть горькую утрату и быть счастливым, а между тем лишаешь меня всякой возможности двинуться впе-

ред по тропе, которую указываешь своими восклицаниями: «смотри, не споткнись!» Ты напоминаешь мне басню Слокенбергия о ретивом осле. Поверь, что при этом ходе дорогу к «счастью» будет покрывать нескончаемая ночь. – Послушай, продолжал Гарлей, предаваясь вполне своему причудливому нраву: – один из сынов Израиля, вырубая лес подле реки Иордана, уронил топор на дно реки, а топорище осталось у него в руках. Он начал молиться о возвращении ему топора (заметь, желание его было весьма ограниченное!), и, в твердом уповании, бросил топорище вслед за топором. Вдруг перед ним совершаются два великия чуда. Топор выскакивает со дна и прицепляется к своему старому знакомому – к топорищу. Ну что если бы он пожелал быть взятым на небо, подобно Илии, сделаться богатым как Иов, сильным как Самсон и прекрасным как Авессалом – как ты думаешь, исполнилось ли бы его желание? Признаюсь, мой друг, я слишком сомневаюсь в этом.

– Я решительно не понимаю, что хочешь ты сказать. Ты говоришь так странно.

– Что же мне делать! вини в этом Рабелэ. Я из него заимствовал эту цитату. Ты сам можешь прочесть ее в его вступлении к нескольким главам «Об умерении наших желаний» и, кстати, «об умерении желаний касательно топора». Я хочу доказать тебе, что прошу у неба весьма немногого. Я бросаю топорище вслед за топором, который утонул в безмолвной реке. Мне нужна другая половина оружия, которая скрыва-

ется в глубине на какуюнибудь сажень, и, за недостатком этой половины, густые леса окружают меня подле священной реки, и сквозь чашу их до меня не доходит мерцание звезд.

– Говоря другим языком, сказал Одлей Эджертон: – ты хочешь!..

И Одлей остановился в сильном замешательстве.

– Я хочу вернуть себе цель моего существования, мою волю, мой прежний характер, натуру, которую Бог оделил меня. Я хочу такой любви, которая заменила бы во мне утрату моих более нежных чувств. Ради Бога, не возражай! я бросаю топорнице вслед за топором.



## Глава LXIX

Рандаль Лесли, оставив Одлея, отправился на квартиру Франка и, просидев у молодого гвардейца около часа, направил свой путь в гостиницу Лиммера и там спросил мистера Гэзельлена. Лакей попросил Рандалья обождать в кофейной, а сам отправился наверх, узнать, дома ли находился сквайр и не был ли чем или кемнибудь занят. Газета *Times* лежала на столе, и Рандаль, нагнувшись над ней, с особенным вниманием прочитывал известия о новорожденных, умерших и сочетавшихся браком. Но в этом длинном и смешанном списке он никаким образом не мог попасть на имя, которое пробудило в Эджертоне такое сильное участие.

– Досадно! произнес Рандаль. – Нет ни одного знания, которое бы приносило столько пользы и силы, как знание тайн человеческих.

Рандаль обернулся в то самое время, как вошел лакей и доложил, что мистер Гэзельден у себя и с удовольствием готов принять посетителя.

При входе Рандалья в гостиную, сквайр, обменявшись с ним пожатием руки, все еще смотрел на дверь, как будто ожидая еще кого-то. На честном лице его отразилось чувство обманутого ожидания, когда дверь затворилась, и он убедился, что у Рандалья не было другого спутника.

– А я думал, простосердечно сказал сквайр: – что вместе

с вами явится сюда и ваш школьный товарищ Франк.

– Разве вы еще не видались с ним?

– Нет еще. Я приехал в город сегодня поутру, всю дорогу ехал снаружи дилижанса, послал нарочного в казармы, но ему сказали, что молодой джентльмен не ночует. Там, что у него нанята особая квартира; он до сих пор ни слова не говорил мне об этом. Молодой сэр, позвольте вам сказать, мы, Гэзельдены, люди простые, и про себя скажу, что терпеть не могу бродить в потемках, а тем более, если в эти потемки заводит меня мой родной сын.

Рандаль не отвечал, но выразил на лице своем сожаление. Сквайр, ни разу до этого не видавший своего родственника, имел неопределенное понятие о том, что неприлично открывать незнакомому, хотя и связанному с ним родственными узами, человеку семейные неудовольствия, и потому немедленно переменял тон и предмет своего разговора.

– Мне очень приятно наконец познакомиться с вами, мистер Лесли. Надеюсь, вам небезызвестно, что в ваших жилах течет благородная кровь Гэзельденов?

Рандаль (*улыбаясь*). Я не такой человек, чтобы мог забыть об этом: это составляет украшение нашей родословной.

Сквайр (*с чистосердечным восторгом*). Позвольте мне еще раз пожалть вашу руку. С тех пор, как мой знаменитый полу-брат принял вас под свое покровительство, вы, вероятно, не нуждаетесь в друге; но в случае, если вы будете нуждаться в нем, так не забудьте, что Гэзельден весьма недале-

ко от Руд-Голла. Не могу, любезный мой, никак не могу сойтись с вашим отцом. Жаль, очень жаль, и тем более, что я мог бы, мне кажется, сообщить ему несколько добрых советов касательно улучшения его поместья. Ну, почему бы ему не засеять этих пустырей лиственницей и сосной? поверьте, они очень скоро принесли бы ему значительный доход; а теперь, – низменные места около Руда – да это просто сокровище! стоит только осушить их.

Рандаль. Вы не должны удивляться, сэр, зная, до какой степени уединенную жизнь ведет мой отец. Упавшие деревья лежат спокойно; тоже самое мы видим и над упавшими фамилиями.

Сквайр. Упавшие фамилии могут снова встать, а про деревья этого нельзя сказать.

Рандаль. Ах, сэр! вы согласитесь, что на исправление расточительности и мотовства одного владельца часто требуется энергия многих поколений...

Сквайр (*с нахмуренным лицом*). Весьма справедливо, сэр, весьма справедливо. Мой Франк чертовски расточителен, и как варварски холодно обращается со мной! Представьте, до сих пор еще не приезжал сюда! скоро три часа, а его нет, – да и только. Между тем, я думаю, что он сказал вам, где я остановился: иначе как бы вы отыскиали меня!

Рандаль (*принужденно*). Ваша правда, сэр: он сказал мне ваш адрес, и, если говорить откровенно, так я нисколько не удивляюсь, что он до сих пор не явился.

Сквайр. Это почему?

Рандаль. Мы с самого детства находимся друг с другом в приятельских отношениях.

Сквайр. Об этом и он мне писал; я очень рад этому. Наш выборный член, сэр Джон, сказывал мне, что вы очень умный и степенный молодой человек. А Франк говорит, что он желал бы иметь если не ваши таланты, то по крайней мере ваше благоразумие. Ведь у моего Франка очень доброе сердце, сэр, прибавил отец, заметно смягчая свои чувства в отношении к сыну. – Впрочем, милостивый государь, вы, кажется, сказали, что несколько не удивляетесь, что он до сих пор не является поздравить отца своего с приездом? скажите, на милость, почему это?

Рандаль. Мой добрый сэр, вы сами, кажется, писали к Франку, что вы слышали о его лондонской жизни от сэра Джона и других лиц, и что вы недовольны его ответами на ваши письма?

– Так что же?

– И вслед за тем вы сами так неожиданно явились в город.

– Что же из этого?

– То, что Франк стыдится встретиться с вами. Потому, говорит он, что он действительно был расточителен и вышел из пределов назначенного ему содержания. Зная мое уважение к вам и мою искреннюю привязанность к нему самому, он просил меня приготовить вас к принятию его признания и, если можно, к прощению его. Я знаю, что принимаю на се-

бя слишком большую обязанность. Я не имею никакого права быть посредником между отцом и сыном; но прошу вас, сэр, убедиться, что в этом случае я имел самые благородные намерения.

– Гм! произнес сквайр, стараясь успокоить душевное волнение и выражая на лице своем мучительное чувство. – Я и без этого знал, что Франк проживает более того, что ему назначено; но, во всяком случае, мне кажется, ему бы не следовало приглашать третье лицо затем собственно, чтоб приготовить меня к прощению его мотовства. (Извините меня, сэр: я не имею намерения оскорбить вас.) Ужь если требовалось для этого третье лицо, так разве у него нет родной матери? Чорт побери! за кого он меня считает? что я, тиран, что ли, какой, или изверг? Каково покажется! мой родной сын боится говорить со мной! Хорошо, я жь ему прощу!

– Простите меня, сэр, сказал Рандаль, решительным тоном и принимая вид человека, вполне сознающего свое превосходство по уму над другим человеком: – но я считаю обязанностью посоветовать вам не выражать своего гнева за доверенность ко мне вашего сына. В настоящее время я имею на него некоторое влияние. Вы можете думать о его расточительности как вам угодно, но я успел отклонить его от множества неблагоприятных поступков, от множества долгов; а вам должно быть известно, что молодой человек гораздо охотнее станет повиноваться внушениям людей своего возраста, нежели советам самого преданного друга, который

уже в зрелых годах. Поверьте, сэ, что я говорю сколько в пользу Франка, столько же и в вашу собственную. Позвольте мне сохранить это влияние над Франком и, ради Бога, не упрекайте его за доверенность, которую он возлагает на меня. Мало того: допустите ему предположение, что я успел смягчить неудовольствие, которое, во всяком другом случае, вы должны были ощущать и обнаруживать.

В словах Рандаля Лесли было столько здравого смысла, в его великодушном заступничестве обнаруживалось столько чистосердечия и бескорыстия, что врожденная пронизательность сквайра была обманута.

– Смею сказать, сэ, что вы прекраснейший молодой человек, сказал он: – и я премного обязан вам. Я совершенно согласен с поговоркой, что «не поставишь старую голову на молодые плечи». Даю вам обещание, сэ, не сказать Франку ни одного сердитого слова. Я уверен, что он, бедненький, очень огорчен. С каким нетерпением я жду его объятия! Предоставляю вам, сэ, успокоить его.

– Нет ничего удивительного, сказал Рандаль, стараясь выказать душевное волнение: – что сын ваш так нежно любит вас. Мне кажется, стоило бы большего труда для такого великодушного сердца, как ваше, сохранить перед Франком надлежащую твердость.

– О, не беспокойтесь: там, где следует, я умею выказать всю твердость моей души, возразил сквайр: – особенно, когда Франка нет у меня перед глазами. Хорош, нечего сказать!

весь в маменьку. . . . не правда ли?

– Я не имел еще удовольствия видеть его маменьку.

– Как так! не видали моей Гэрри? Пожалуй вы и не увидите ее. Вам бы давно следовало навестить нас. У нас есть портрет вашей бабушки, когда она была еще девицей, с пошком в одной руке и букетом лилий в другой. Надеюсь, что мой полу-брат отпустит вас?

– Без всякого сомнения. Неужели вы не навестите его во время вашего пребывания в Лондоне?

– Нет. Пожалуй еще подумает, что я ищу чегонибудь от правительства. Скажите ему, что министры должны поступать немного лучше, если желают при выборах иметь мой голос. Впрочем, идите. Я вижу ваше нетерпение сообщить Франку, что все забыто и все прощено. Приходите обежать сюда вместе с ним к шести часам, и пусть он принесет с собой все счета. О, я ни за что не стану бранить его,

– Что касается до этого, сказал Рандаль, улыбаясь: – мне кажется (простите мою откровенность), вам бы не следовало принимать это так легко. С вашей стороны будет прекрасно сделано, если вы не станете упрекать его за весьма натуральный и, в некотором отношении, достойный похвалы стыд, который он испытывал при одной мысли, что должен встретиться с вами, но в то же время, по-моему, не должно допускать при этом случае ничего такого, что могло бы уменьшить этот стыд: это в некотором отношении стало бы удерживать его от дальнейших заблуждений. И потому, если

вы можете выказать гнев свой за его расточительность, то это было бы прекрасно.

– Вы говорите как книга. Я постараюсь сделать все лучшее.

– Если вы пригрозите, например, взять его из службы и увезти на жительство в деревню, это произвело бы прекрасное действие.

– Что такое! Неужели уехать домой и жить вместе с родителями он считает за такое великое наказание?

– Я не говорю этого; но, знаете, иметь привязанность к Лондону и к лондонской жизни – весьма натурально. В его лета и с его огромным наследством *это* весьма натурально.

– С его наследством! воскликнул сквайр, в мрачном расположении духа: – с его огромным наследством! Надеюсь, что он еще не решается и подумать об этом. Чорт возьми! Милостивый государь, да я еще сам надеюсь пожить на белом свете. Наследство! Само собою разумеется, казино принадлежит ему; но что касается остального, сэр, пока я жив, никто не смеет и подумать об этом. Да если я захочу, так разделю всю Гэзельденскую вотчину между моими землепашцами. Наследство!

– Мой добрый сэр, я не смею подумать, а тем более сказать, что Франк имеет чудовищную идею о расчете на вашу кончину. Все, что мы можем сделать для него, так это дать ему погулять сколько его душе угодно, потом женить и поселить его в деревне. Тысячу раз будет жаль, если он успе-



ет усвоить городские привычки и наклонности: для Гэзельденского поместья это будет весьма дурная вещь. А я, при-  
совокупил Рандаль, с принужденным смехом: – принимаю  
живое участие в старинном имении, где родилась и выросла  
моя бабушка. Поэтому, пожалуйста, принудьте себя казаться  
сердитым, и даже советую поворчать немного, когда будете  
уплачивать его долги.

– Конечно, конечно! в этом отношении вы можете по-  
ложиться на меня, сказал сквайр, весьма резко и с замет-  
но изменившимся лицом. – Очень, очень много обязан вам,  
мой добрый родственник, за ваши умные советы.

И толстая рука сквайра слегка дрожала в то время, как он  
протянул ее Рандалю.

Оставив отель Лиммера, Рандаль поспешил на квартиру  
Франка, в улице Сент-Джемс.

– Друг мой, сказал он, являясь перед Франком: – надобно  
приписать особенному счастью, что ты поручил мне устро-  
ить все дело с твоим родителем. Ты можешь говорить, что он  
весьма сердитый человек; однако, я успел утишить его гнев.  
Тебе теперь нечего опасаться, что он не заплатит твоих дол-  
гов.

– Я никогда и не опасался этого, сказал Франк, меняясь  
в лице. – Я только боялся его гнева. Но, признаюсь, его ве-  
ликодушие еще более страшит меня. Теперь только я начи-  
наю понимать всю мою беспечность, все мое сумасбродство.  
Как бы то ни было, это будет мне уроком. Очистив долги

свои, я постараюсь вести жизнь порядочного человека, буду, по возможности, бережливым.

– Совершенно справедливо, Франк! Признаюсь тебе, я боюсь одного теперь, что если отцу твоему будет известно все, то он, без всякого сомнения, исполнит свою угрозу, которая покажется тебе весьма неприятною.

– В чем же заключается эта угроза?

– Принудить тебя выйти в отставку и выехать из Лондона.

– Это ужасно! воскликнул Франк, делая над словами сильное ударение: – это значит, мне хотят грозить как ребенку!

– Да, эта мера показалась бы весьма забавною в глазах твоей партии, которая, мимоходом сказать, не принадлежит к числу деревенских. Кроме того, ты сам так любишь Лондон и считаешься светским человеком.

– Ради Бога, не говори мне об этом! вскричал Франк, прожываясь назад и вперед по комнате, в сильном раздражении.

– Знаешь ли что, я бы не советовал тебе выставлять сразу перед отцом все свои долги. Если покажешь половину, то отец поворчит немного и отпустит тебя; это, признаюсь, я сильно боюсь за последствия, если ты признаешься ему во всех своих долгах.

– Но каким же образом уплачу я другую половину?

– Ты должен уделять на это из денег, ассигнуемых отцом; согласишься, что этих денег высылается тебе весьма достаточное количество; притом же кредиторы не требуют от тебя немедленной уплаты.

– Твоя правда; но что станут делать эти проклятые вексельные маклера?

– Для молодого человека с такими видами на будущее они всегда возобновят векселя. А если я получу хорошее место, то с удовольствием помогу тебе, мои добрый Франк.

– Ах, Рандаль, я еще не до такой степени бессовестен, чтобы извлекать выгоды из твоей дружбы, отвечал Франк, с чувством искренней признательности. – Однако, выставить действительное положение моих дел, не в том виде, как они есть на самом деле, будет, мне кажется, довольно неблагородно, будет похоже в некоторой степени на ложь. Еслиб идею эту внушал мне не ты, а ктонибудь другой, я бы ни за что на свете не принял ее. Ты такой умный, добрый, благородный товарищ.

– После столь лестных эпитетов я не смею принять на себя ответственность верного советника. Впрочем, не обращая внимания на твои собственные выгоды, мне бы приятно было пощадить твоего отца от мучительного чувства, которое он непременно должен испытать, узнав, как далеко простираются все твои заблуждения. С твоей стороны было бы жестоко сделать мистера Гэзельдена единственным страдальцем, тогда как ты сам мог бы легко снести половину своего собственного бремени.

– Правда твоя, Рандаль, правда; мне и в голову не приходила эта мысль. Я непременно поступлю по твоему совету и сию же минуту отправляюсь к отцу. Неоцененный мой ро-

дитель! надеюсь, что он в добром здравье.

– Совершенно здоров. Он представляет собою удивительный контраст жолто-бледным обитателям Лондона! Однако, я не советовал бы тебе ехать к отцу раньше обеда. Он просил меня приехать с тобой вместе к шести часам. Я заеду за тобой немного раньше этого времени, и мы вместе отправимся. Это избавит нас от излишней принужденности. Так до свидания.... Ах, да! знаешь ли что: еслиб я был на твоём месте, я не стал бы принимать этого обстоятельства слишком серьёзно и с излишним раскаянием: тебе известно, что даже самые лучшие родители любят, как говорится, держать своих сынков под ногой. А если ты хочешь при своих летах сохранить свою независимость и не закупорить себя в деревне, как какой нибудь школьник, навлекший на себя родительский гнев, то не мешало бы держать себя несколько по мужественнее. Советую тебе подумать об этом.

Обед в гостинице Лиммера совершался совсем не так, как ему должно бы было совершаться при встрече отца и сына. Слова Рандаля запали глубоко и производили в душе сквайра неприятное ощущение; оно сообщало какую-то холодность его приему, несмотря на искренность прощения, великодушие, под влиянием которых он приехал в Лондон. С другой стороны, Франк, приведенный в замешательство скрытностью и желанием «не принимать этого обстоятельства слишком серьёзно», казался сквайру непризнательным, неблагодарным.

После обеда сквайр начал напевать что-то в полголоса и говорить довольно несвязно, а Франк – краснеть и беспокоиться. Тот и другой чувствовали себя совершенно стесненными в присутствии третьего лица, и это неприятное положение продолжалось до тех пор, пока Рандаля, с искусством и ловкостью, идущими как нельзя лучше к делу при какихнибудь других обстоятельствах, сам разбил ледяную гору, прикрывавшую беседу, и так умно умел рассеять принужденность, которой сам был виновником, что в скором времени отец и сын были как нельзя более довольны его коротким и ясным изложением дел Франка.

Долги Франка не были, на самом деле, слишком велики: и когда он, опустив стыдливые взоры, объявил половину их, сквайр, приятно изумленный, намеревался уже обнаружить свое великодушие, которое с одного разу открыло бы перед ним превосходное сердце его сына. Но предостерегающий взгляд Рандаля остановил это побуждение, и сквайр, не забывая своего обещания, считал полезным выказать гнев, которого не чувствовал, и произнести угрозу, что если Франк, на будущее время не будет иметь благоразумия и станет увлекаться шайкою лондонских щеголей и мотов, то он принужден будет немедленно взять его из службы, увезти в деревню и занять сельским хозяйством.

– Помилуйте, сэр! воскликнул Франк, очень неосторожно: – да я не имею ни малейшего расположения к сельскому хозяйству. В мои лета и после лондонской жизни деревен-

ская жизнь покажется ужасно скучною.

– Вот что! произнес сквайр, весьма угрюмо.

И вместе с тем он засунул в бумажник несколько ассигнаций, которые намерен был присоединить к деньгам, отсчитанным уже для Франка.

– Так деревенская жизнь покажется для вас ужасно скучною? Это, верно, потому, что деньги там выходят не на глупости и пороки, а на наем честных работников и на умножение народного богатства. Тратить деньги подобным образом вам не нравится: жаль будет, если такие обязанности никогда не будут согласоваться с вашим вкусом.

– Неоцененный батюшка....

– Молчи, негодный! Был бы ты на моем месте, то наверное давно бы срубил все мои дубы и заложил бы все имение, – продал бы его, проиграл в карты. Прекрасно, отлично хорошо! деревенская жизнь ужасно скучна! Так, сделайте одолжение, оставайтесь в городе.

– Мистер Гэзельден, сказал Рандаль, ласковым тоном и как будто с желанием обратить в шутку то, что грозило сделаться серьёзным: – вероятно, вы не имеете желаний, чтобы ваши выражения были поняты буквально. Быть может, вы приняли Франка за такого же расточительного молодого человека, как лорд А., который приказал однажды своему управляющему вырубить остатки лесу; и, получив от управляющего ответ, что во всем имении остались только три дерева – с дорожными знаками, он написал: «деревья эти, во вся-

ком случае, должны быть взрослые, и потому срубить их немедленно.» Вероятно, сэра, вы знаете лорда А. Это такой умница и, в добавок, самый преданный друг Франка.

– Ваш самый преданный друг, мастер Франк? Нечего сказать, хороши у вас друзья!

И сквайр застегнул карман, в который, с решительным видом, положил свой бумажник.

– Однако, позвольте вам заметить, сэра, сказал Рандаль, с кроткой улыбкой: – лорд А. также и мой друг.

После этого, Рандаль, с таким нетерпением выжидавший удобной минуты переменить разговор, сделал несколько вопросов об урожае хлеба и новом способе удобрения земли. Он говорил умно и с увлечением, но при всем том оказывал величайшее внимание к словам сквайра, знакомого с этим предметом по опыту. Рандаль провел все после обеда в рассуждении о предметах, заимствованных из земледельческих газет и парламентских прений, и, подобно всем наблюдательным читателям, узнал, в течение нескольких часов, гораздо более, чем многие, непривыкшие к занятию, приобретают из книг в течение года. Сквайр был изумлен и как нельзя более доволен сведениями молодого человека и его расположением к подобным предметам.

– Смело можно сказать, заметил сквайр, бросая сердитый взгляд на бедного Франка: – смело можно сказать, что в ваших жилах течет благородная кровь Гэзельденов, и что вы умеете уже теперь отличить бобы от репы.

– Удивительного в этом нет ничего, отвечал Рандаль, простосердечно:– ведь я готовлю себя к общественной жизни; а чего будет стоить человек, посвятивший себя государственной службе, если он не познакомится с земледелием своего отечества!

– Правда ваша, правда! именно, чего будет стоить подобный человек! Пожалуста, предложите этот вопрос, вместе с моим особенным почтением, моему полу-брату. Какую чепуху говорит он иногда в Парламенте по поводу новых постановлений для земледельческого класса!

– Мистер Эджертон имеет такое множество других предметов, на которых сосредоточиваются все его размышления, что мы, по необходимости, должны извинить в нем недостаток сведений к одному только, хотя и весьма важном предмете. Впрочем, при его обширном уме, он, вероятно, рано или поздно, но приобретет эти сведения: он любит силу, а знание, сэр, есть сила.

– Весьма справедливо, прекрасно сказано, заметил сквайр, простосердечно.

Сердце сквайра, намеревавшегося на другой же день отправиться обратно в поместье, при прощании с Франком забилось сильнее; оно начинало согреваться чувством родительской любви, и тем сильнее, что Франк все еще находился в весьма унылом расположении духа. Рандаль не хотел на первый раз и в своем присутствии развить в отце отчуждение к сыну.



– Пожалуста, поговорите с бедным Франком, сэр, и, если можно, приласкайте его, прошептал он, заметив слезы на глазах сквайра, подошедшего к окну.

Сквайр повиновался с удовольствием.

– Милый сын мой, сказал он, протягивая руку Франку: – перестань печалиться: все это вздор, не стоит обращать на это внимания. Пожалуста, не думай об этом, забудь, что было между нами.

Франк схватил протянутую руку, и в то же время другая рука его обвилась вокруг широкого плеча его отца.

– О батюшка, вы слишком добры, – слишком добры!

Голос Франка до такой степени дрожал, что Рандаль, проходя мимо его, коснулся его руки; но этим прикосновением выразалось многое.

Сквайр прижал сына к сердцу, – к сердцу до такой степени обширному, что, по видимому, оно занимало все пространство в его широкой груди.

– Милый Франк мой, говорил он, с трудом удерживая рыдания: – не денег мне жаль, но твоя беспечная жизнь сильно беспокоит мистрисс Гэзельден. На будущее время старайся быть бережливее. Ведь ты знаешь, что современем все мое меньше будет принадлежать тебе. Только пожалуста не рассчитывай на это: я терпеть не могу этого, – слышишь ли, не могу терпеть!

– рассчитывать! вскричал Франк. – О, батюшка, можете ли вы думать об этом!

—

— Я так доволен, Франк, что хотя слегка участвовал в твоём полном примирении с мистером Гэзельденом, сказал Рандаль, выходя вместе с Франком из отеля. — Я видел твоё уныние и попросил мистера Гэзельдена поговорить с тобой поласковее.

— В самом деле? Очень жаль, что ему нужна была подобная просьба.

— Я так хорошо познакомился с его характером, продолжал Рандаль, — что на будущее время, льщу себя надеждой, сумею повести дела твои как нельзя лучше. Однако, какой он прекрасный человек!

— Лучший человек из целого, мира! вскричал Франк, с чистосердечным восторгом. — А все же я обманул его, прибавил, Франк, после минутного молчания. — Мне так и хочется воротиться к нему....

— И сказать, чтобы он дал тебе ещё такую же сумму денег. Пожалуй он ещё подумает, что ты потому только и казался таким признательным сынком, чтоб выманить от него эти деньги. Нет, нет, Франк, не советую: лучше сберегай лишние деньги, нарочно откладывая понемногу, живи поэкономнее, и тогда, пожалуй, можешь сказать ему, что сам уплатил половину долгов своих. В этом поступке обнаружится большое с твоей стороны великодушие.

— И действительно так. Право, Рандаль, у тебя такое же прекрасное сердце, как и голова. Спокойной ночи.

– Неужли домой? Так рано? Разве тебя никуда не приглашали на вечер?

– Никуда, где бы присутствие мое было необходимо.

– В таком случае, спокойной ночи.

Друзья расстались, и Рандаль отправился в один из фэшёнбельных клубов. Он подошел к столу, где четверо молодых людей (младшие сыновья хороших фамилий, жившие роскошно) все еще беседовали за бутылками вина.

Лесли имел очень мало общего с этими джентльменами; однакожь, он принудил себя быть в кругу их любезным: вероятно, это делалось вследствие прекрасного совета, полученного от Одлея Эджертона:

«Никогда не позволяй лондонским дэнди называть себя выскочкой, – говорил государственный сановник. – Многие умные люди испытывают неудачи в жизни потому, что глупцы и невежды, которых одним словом, кстати сказанным, можно бы сделать их *клакёрами*, часто делают их самих предметом насмешек. Какое бы место ни занимал ты в обществе, старайся избегать ошибки, свойственной многим начитанным людям.... короче сказать, не показывай из себя выскочки!»

– Я сейчас только простился с Гэзельденом, сказал Рандаль: – какой он прекрасный товарищ!

– Чудесный товарищ! заметил высокородный Джорж Борровел. – Где он? скажите.

– Ушел домой. У него была маленькая сцена с отцом, гру-

бым деревенским сквайром. С вашей стороны было бы весьма великодушно, если бы вы отправились к нему побеседовать или взяли бы его с собой в другое место, повеселее его квартиры.

– Неужели старый джентльмен тиранил его? какой ужасный позор! Кажется, Франк нерасточителен и современем будет очень богат.... не правда ли?

– Получит огромное наследство, сказал Рандаль: – прекрасное имение, совершенно свободное от долгов. Ведь он единственный сын у сквайра, прибавил Рандаль, отворачиваясь.

Между молодыми джентльменами начался ласковый и дружеский шепот, с окончанием которого все встали и отправились на квартиру Франка.

– Клин в дереве, сказал Рандаль про себя: – в самой сердцевине этого дерева уже сделана значительная трещина.

# Часть седьмая

## Глава LXXI

Гарлей л'Эстрендж сидел подле Гэлен у решетчатого окна коттеджа в Норвуде. На лице Гэлен показывался уже цвет возвращающегося здоровья; она с улыбкой слушала Гарлея, говорившего о Леонарде с похвалой и о будущности Леонарда с, светлыми надеждами.

– И таким образом, продолжал Гарлей: – забыв свои прежние испытания, счастливый в своих занятиях и следуя по добровольно избранной карьере, – мы должны, милое дитя мое, с удовольствием расстаться с ним.

– расстаться с ним! воскликнула Гэлен, и нежные розы в один момент завяли на её щеках.

Гарлей не без удовольствия заметил её душевное волнение: он обманулся бы в своих ожиданиях, сделав открытие, что в невинной душе её не было надлежащей восприимчивости более нежных чувств.

– Я верю, Гэлен, сказал Гарлей: – верю, что для вас тяжело разлучаться с тем, кто заменял вам место брата. Не презирайте меня за этот поступок. Во всяком случае, я считаю себя вашим покровителем, и в настоящее время ваш дом должен быть моим домом. Мы уезжаем из этой страны холодных

облаков и тумана в страну нескончаемого лета. Вам не нравится это? Вы плачете, дитя мое? вы оплакиваете своего друга? но не забудьте о друге вашего отца. Я человек одинокий и, при своем одиночестве, постоянно ношу в душе моей печаль: неужели, Гэлен, вы не согласитесь утешить меня? Вы жмете мне руку; но к этому вы должны научиться и улыбаться мне. Вы родились быть утешительницей. А заметьте, в душе утешительницы не должно таиться эгоистического чувства: утешая других, она всегда должна выражать на лице своем искреннюю радость.

Голос Гарлея был до такой степени нежен, его слова так прямо западали в сердце Гэлен, что она взглянула на него, в то время, как он поцаловал её умное личико. Но вместе с этим она вспомнила о Леонарде и почувствовала в душе своей такое одиночество, такое лишение, что слезы снова покатались из её глаз. Прежде, чем осушены были эти слезы, в комнату вошел Леонард, и Гэлен, повинувшись непреодолимому влечению, бросилась в его объятия и, склонив голову на плечо Леонарда, произносила сквозь рыдание:

– Я уезжаю от тебя, брат мой! Не печалься, друг мой, старайся не замечать моего отсутствия.

Гарлей был сильно расстроган; сложив руки на грудь, он безмолвно смотрел на эту сцену; глаза его были влажны.

«Это сердце – подумал он – стоит того, чтоб овладеть им.»

Он отвел Леонарда в сторону и шепотом произнес:

– Утешайте, но вместе с тем ободряйте и подкрепите ее.

Я оставляю вас одних; приходите после в сад.

Прошло более часа, когда Леонард возвратился к Гарлею.

– Надеюсь, что она осталась не в слезах? спросил л'Эстрендж.

– Нет, в ней столько твердости духа, сколько мы не смели бы предполагать. Богу одному известно, до какой степени эта твердость служила мне подкреплением. Я обещал ей писать как можно чаще.

Гарлей раза два прошелся по зеленой лужайке и потом, возвратясь к Леонарду, сказал:

– Смотрите же, исполните ваше обещание и пишите как можно чаще, но только в течение первого года. После этого срока я попрошу вас постепенно прекратить свою переписку.

– Прекратить переписку! О, милорд!

– Выслушайте меня, молодой мой друг: я хочу поселить в этой прекрасной душе совершенное забвение печальных событий минувшего. Я хочу ввести Гэлен, не вдруг, но постепенно, в новую жизнь. Вы любите теперь друг друга детской любовью, как любят друг друга брат и сестра. Но можете ли вы поручиться, что эта любовь, при всех благоприятных обстоятельствах, сохранится в ваших сердцах надолго? Не лучше ли будет для вас обоих, чтобы юность открыла вам свет с чувствами, составляющими неотъемлемую принадлежность юности, – с чувствами свободными?

– Справедливо! К тому же в моих глазах она стоит далеко

выше меня, сказал Леонард, с печальным видом.

– При вашем честолюбии, Леонард, при вашей благородной гордости, никто не может стать выше вас. Поверьте мне, что тут участвует совсем другое чувство.

Леонард покачал головой.

– Почему вы знаете, сказал Гарлей, с улыбкой:– что, по моим понятиям, по моим чувствам, я стою гораздо ниже нас? Что может быть удобнее и возвышеннее положения, как наша юность? Легко может статься, что я буду ревновать вас, сделаюсь вашим соперником. Мне кажется, ничего не может быть дурного, если она полюбит всей душой того, кто отныне будет её защитником и покровителем. Но скажите, каким же образом она полюбит меня, если её сердце будет занято вами?

Леонард склонил на грудь голову. Гарлей поспешил переменить разговор и заговорил о литературе и славе. Его красноречивый разговор, его голос воспламеняли юношу. В молодости Гарлей был сам пламенный энтузиаст в стремлениях к славе; ему казалось, что в лице Леонарда оживлялась его собственная молодость. Но сердце поэта не подавало отголоска: оно как будто вдруг сделалось пусто и безжизненно. Впрочем, Леонард, возвращаясь домой, при лунном свете, произносил про себя:

– Странно... очень странно.... она еще ребенок.... не может быть, чтобы это была любовь.... Но кого же я стану любить теперь?



Углубленный в подобные размышления, Леонард остановился на мосту, на том самом месте, где так часто останавливался с Гэлен, и где он так неожиданно встретил покровителя, который дал Гэлен приют, а ему открыл карьеру. Жизнь казалась ему очень, очень длиною, а слава – обманчивым призраком. Но, несмотря на то, мужайся, Леонард! Эти скорби души твоей научат тебя более, чем все золотые правила какогонибудь мудреца и опытного наблюдателя человеческого сердца.

Прошел еще день, и Гэлен вместе с своим мечтательным и причудливым покровителем покинула берег Англии. Пройдут годы, прежде чем снова откроются действия нашего рассказа. Жизнь, во всех тех формах, в которых мы видели ее, течет своим чередом. Сквайр по-прежнему занимается сельским хозяйством и псовой охотой; мистер Дэль проповедует слово Божие, приводит к смирению непокорных и утешает страждущих. Риккабокка читает своего Макиавелли, вздыхает и улыбается при своих изустных диссертациях о благе человечества и государств. Черные глаза Виоланты становятся еще чернее, выразительнее и одушевленнее. Мистер Ричард Эвенель имеет в Лондоне собственный дом, а его благоверная супруга, бывшая высокопочтеннейшая мистрисс М'Катчлей – свою ложу в опере; тяжела и ужасна борьба их в быстром стремлении к сердцевине модного света. Одлей Эджертон по-прежнему переходит из своей официальной конторы в Парламент, трудит-

ся и говорит спичи. Рандаль Лесли получил превосходное место и выжидает времени, когда ему самому можно будет явиться в Парламент в качестве члена и на этой обширной арене обращать знание в силу. Большую часть времени он проводит с Оллеем Эджертоном; впрочем, он очень сблизился с сквайром, два раза был в Гэзельден-Голле, осматривал дом и карту всего поместья, чуть-чуть не попал вторично в канаву. Сквайр вполне убежден, что Рандаль Лесли один может удержать Франка от его беспечной жизни, и несколько раз довольно грубо обращался с своей Гэрри, по тому поводу, что Франк продолжает быть расточительным. Франк, действительно, неутомимо гоняется за удовольствиями, сделался жалким человеком и наделал страшные долги. Мадам ди-Негра уехала из Лондона в Париж, объехала Швейцарию, снова возвратилась в Лондон и свела дружбу с Рандаем Лесли. Рандаль отрекомендовал ей Франка, и Франк считает ее пленительнейшей женщиной в мире и полагает, что некоторые злые языки бессовестно злословят ее. Брат мадам ди-Негра ожидается наконец в Англию; по поводу его прибытия, в гостиных происходит сильное волнение: он знаменит своей красотой и неисчерпаемым богатством. Что-то поделявают Леонард, Гарлей и Гэлен? Терпение, благосклонные мои читатели: все они снова явятся в моем романе.

## Глава LXXII

Началась новая тревога. В Британии происходило всеобщее избрание. Нерасположение к бывшей администрации сделалось очевидным в избирательном собрании. Одлей Эджертон, поддерживаемый до этого несметным большинством голосов, едва не потерпел поражения и сохранил свое место, благодаря большинству пяти голосов. Издержки, сопряженные с его избранием, как говорят, были ужасные.

— Да и кто может устоять против богатства Эджертона? говорил один пораженный кандидат на звание парламентского члена.

Был октябрь в исходе. Лондон кипел народом. Открытие парламентских заседаний должно начаться менее, чем через две недели.

В одном из главных апартаментов отеля, в котором иностранцы могут найти то, что называется английским комфортом, и цену, которую иностранцы должны платить за этот комфорт, сидели две особы, друг подле друга, занятые весьма интересным, по видимому, разговором. Одна из этих особ была женщина, в бледном и чистом цвете лица которой, в черных, как крыло ворона, волосах, в глазах, оживленных необыкновенной выразительностью, редко выпадающей на долю северных красавиц, мы узнаем Беатриче, маркизу ди-Негра.

Безукоризненно прекрасна была итальянская маркиза, но и собеседник, хотя и мужчина, и притом же далеко подвинувшийся за пределы среднего возраста, был еще более замечателен по своим личным достоинствам. Между обоими ими замечалось сильное; фамильное сходство, но в то же время нельзя было не заметить разительного контраста в наружности, в манере, – словом сказать, во всем, что только отпечатывает на физиономии отличительные черты характера. Всмотриваясь с напряженным вниманием в лицо Беатриче, вы заметили бы в нем важное, серьёзное выражение – отпечаток страстей, волновавших её душу; её улыбка по временам была коварная, но редко отражалась в ней ирония или цинизм. её жесты, полные грации, были непринужденны и непрерывно сменялись одни другими. Вы с разу могли бы заметить, что она была дочь юга.

её собеседник, напротив того, сохранял на прекрасном гладком лице своем, которому лета не сообщили ни одной резкой черты, ни одной морщинки, отпечаток того, что, с первого взгляда, можно было принять за легкомыслие и беспечность веселой и юношеской природы; впрочем, улыбка, хотя и утонченная до нельзя, переходила иногда в презрительную насмешку. В обращении он был спокоен и, как англичанин, никогда не прибегал, для большей выразительности своих слов, к жестам. Его волосы имели тот светло-каштановый цвет, которым итальянские живописцы придают такие удивительные эффекты самой краске, и если местами

сверкал серебристый волосок, то он немедленно и незаметно сливался с оттенками роскошных кудрей. Его глаза были светлые; цвет лица хотя и не имел лишнего румянца, но зато отличался удивительной прозрачностью. Его красота скорее была женская, еслиб только не говорили в противную сторону высота и жилистая худощавость его стана, при которых сложение и сила скорее украшались, но не скрывались правильными, изящными и пропорциональными размерами. Вы никогда бы не решились сказать, что это был итальянец: весьма вероятно, вы приняли бы его за парижанина. Он объяснялся по французски, одет был по французской моде, и, по видимому, его образ мыслей и его понятия были чисто французские. Не был, впрочем, похож он на француза нынешнего века: нет! это был настоящий идеал *маркиза* старинного *régime*, или *roué* времен Регентства.

Как бы то ни было, это был итальянец, происходивший из фамилии, знаменитой в итальянской истории. Впрочем, он как будто стыдился своего отечества и своего происхождения и выдавал себя за гражданина всего света. Хорошо, если бы в свете все граждане похожи были на этого итальянца!

– Однако, Джулио, сказала Беатриче ди-Негра, по итальянски: – допустим даже, что ты отыщешь эту девицу, но можешь ли ты предполагать, что отец её согласится на ваш брак? Без всякого сомнения, тебе должна быть очень хорошо известна натура твоего родственника?

– *Tu te trompes, ma soeur*, отвечал Джулио Францини,

граф ди-Пешьера, и отвечал, по обыкновению, по французски – *tu te trompes*:– я знал ее прежде, чем он испытал изгнание и нищету: каким же образом могу я знать ее теперь? Впрочем, успокойся, моя слишком беспокойная Беатриче: я не стану заботиться об его согласии, пока не буду уверен в согласии его дочери.

– Но можно ли рассчитывать на её согласие против воли, отца?

– *Eh, mordieu!* возразил граф, с неподражаемой беспечно-стью француза: – что бы сделалось со всеми комедиями и водевилями, еслиб женитьбы не делались против воли отца? Заметьте, продолжал он, слегка сжав свои губы и еще легче сделав движение на стуле: – заметьте, теперь дело идет не об условных *если* и *но* – дело идет о положительных *должно быть* и *будет*. Короче сказать, дело идет о моем и вашем существовании. Я не имею теперь отечества. Я обременен долгами. Я вижу перед собой, с одной стороны, разорение, с другой – брачный союз и богатство.

– Но неужели из тех огромных доходов, которыми предоставлено вам право пользоваться, вы не умели ничего сберечь и не хотели сберегать до той поры, пока все имения не перешли еще в ваши руки?

– Сестра, отвечал граф: – неужели я похож на человека, который умеет копить деньги? К тому же вам известно, что доходы, которыми я теперь пользуюсь, принадлежат одному из наших родственников, оставившему отечество вме-

сте с дочерью, – никто не знает почему. Мое намерение теперь отыскать убежище нашего неоцененного родственника и явиться перед ним пламенным обожателем его прекрасной дочери. Правда, в наших летах есть маленькое неравенство; но, если и допустить, что ваш пол и мое зеркало чересчур много льстят мне, все же для двадцати-пяти-летней красавицы я могу составить отличную партию.

Это сказано было с такой очаровательной улыбкой и граф казался до такой степени прекрасным, что он уничтожил пустоту этих слов так грациозно, как будто они произнесены были каким нибудь ослепительным героем старинной комедии из парижской жизни.

После этого, сложив свои руки и слегка опустив их на плечо сестрицы, он взглянул ей в лицо и сказал довольно протяжно:

– Теперь, моя сестрица, позвольте сделать вам кроткий и справедливый упрек. Признайтесь откровенно, ведь вы мне очень изменили, исполняя поручение, которое я возложил собственно на вас, для лучшего сохранения моих интересов? Не правда ли, что теперь уже прошло несколько лет с тех пор, как вы отправились в Англию отыскивать почтеннейших родственников? Не я ли умолял вас привлечь на свою сторону человека, которого я считаю моим опаснейшим врагом, и которому, без всякого сомнения, известно местопребывание нашего кузена – тайна, которую он до сей поры хранил в глубине своей души? Не вы ли говорили мне,

что хотя он и находился в ту пору в Англии, но вы не могли отыскать случая даже встретиться с ним, но что в замен этой потери приобрели дружбу вельможи, на которого я обратил ваше внимание, как на самого преданного друга того человека? Но, несмотря на это, вы, которой прелести имеют такую непреодолимую силу, ровно ничего не узнаете от вельможи и не встречаетесь с *милордом*. Мало того: ослепленные и неправильно руководимые своими догадками, вы утвердительно полагаете, что добыча наша приютилась во Франции. Вы отправляетесь туда, делаете розыски в столице, в провинциях, в Швейцарии, *que sais-je?* и все напрасно, хотя *fai de gentil-homme* – ваши поиски стоили мне слишком дорого; вы возвращаетесь в Англию, начинаете ту же самую погоню – и получаете тот же самый результат. *Palsambleu, ma sœur*, я отдаю полную справедливость вашим талантам и несколько не сомневаюсь в вашем усердии. Словом сказать, действительно ли вы были усердны или не имели ли вы для развлечения какого нибудь женского удовольствия, предаваясь которому, вы совершенно забыли о моем доверии, употребили его во зло?

– Джулио, отвечала Беатриче, печально: – вам известно, какое влияние имели вы на мой характер и мою судьбу. Ваши упреки несправедливы. Я сделала для приобретения необходимых сведений все, что было в моей власти, и теперь имею весьма основательную причину полагать, что знаю человека, которому известна эта тайна и который может открыть



ее нам.

– В самом деле! воскликнул граф.

Беатриче, не расслушав этого восклицания, продолжала:

– Положим, что я действительно с пренебрежением смотрела на ваше поручение; но разве это не в натуральном порядке вещей? Когда я впервые приехала в Англию, вы уведомили меня, что цель ваша, в открытии изгнанников, была такого рода, что я, не краснея, могла быть вашей соучастницей. Вы желали узнать сначала, жива ли дочь вашего кузена. Если нет, вы делались законным наследником. Если жива, вы уверили меня, что, при моем посредничестве, вы намерены были заключить с Альфонсо мировую, при которой обещали исходатайствовать ему прощение, с тем, однако же, если он предоставит вам на всю жизнь пользоваться теми доходами с его имений, которые вы получаете от правительства. При этих видах, я сделала все, что от меня зависело, хотя и безуспешно, чтобы собрать требуемые сведения.

– Скажите же, что принудило меня лишиться такого сильного, хотя и безуспешного союзника? спросил граф, все еще улыбаясь; но в эту минуту взоры его засверкали и обличили все коварство его улыбки.

– Извольте, я скажу. Когда вы приказали мне принять и действовать за одно с жалкими шпионами – коварными итальянцами – которых вы прислали сюда, с целью, чтоб отыскав нашего родственника, вовлечь его в безразсудную переписку, которую вам должно было воспользоваться, ко-

гда вы намерены были обратить дочь графов Пешьера в лазутчицу, доносчицу, предательницу.... нет, Джулио! тогда я почувствовала отвращение к вашим видам, и тогда, страшась вашей власти надо мной, я удалилась во Францию. Я ответила вам откровенно.

Граф снял руки с плеча Беатриче, на котором они так нежно покоились.

– Это-то и есть ваше благоразумие, сказал он: – это-то и есть ваша благодарность. Вы, которой счастье тесно связано с моим счастьем, вы, которая существуете моей благотворительностью, вы, которая....

– Остановитесь, граф! вскричала маркиза, вставая с места, в сильном душевном волнении: казалось, что слова графа пронзали ее сердце, – и, под влиянием мучительного действия их, она хотела сразу сбросить с себя тиранство, продолжавшееся в течение многих лет. – Остановитесь, граф!.. Благодарность! благотворительность! Брат, брат.... скажите, чем я обязана вам? несчастьем всей моей жизни. Еще ребенка вы принудили меня выйти замуж против моей воли, против желаний моего сердца, против горячих молений; вы смеялись над моими слезами, когда на коленях я умоляла вас пожалеть меня. Я была непорочна тогда, Джулио, – непорочна и невинна как цветы в моем брачном венке. А теперь.... теперь....

Беатриче вдруг замолчала и руками закрыла лицо.

– Теперь только вы вздумали упрекать меня, сказал граф,

нисколько нетронутый внезапной горестью сестры: – и упрекать меня в том, что я выдал вас замуж за человека молодого и благородного?

– Старого в пороках и низкой души! Замужство мое япростила вам. Согласно с обычаями нашего отечества, вы имели право располагать моей рукой. Но я никогда не прощу вам утешений, которые вы нашептывали на ухо несчастной и оскорбленной жены.

– Простите мне это замечание, отвечал граф, величественно преклоняя голову: – но эти утешения точно также сообразны с обычаями нашего отечества, и я до сих пор не знал, что они не нравились вам. К тому же супружеская жизнь ваша была не так продолжительна, чтобы можно было до сей поры чувствовать тяжесть её. Вы очень скоро сделались вдовой, свободной вдовой, бездетной, молодой, прекрасной.

– И безденежной.

– Правда: ди-Негра был игрок, и игрок весьма несчастный; но в этом отношении я не виноват. Согласитесь, что мне невозможно было вырвать карты из его рук.

– А мое приданое? О, Джулио! я только при кончине мужа узнала, почему вы обрекли меня на жертву этому генуэзскому ренегату! Он должен был вам деньги, и вы против закона, полагаю, приняли мое достояние в замен долга.

– Он не имел других средств уплатить свой долг, – долг, основанный на благородном слове; долг чести должен быть

уплачен – это всякому известно. Да и чтожь за беда? С тех пор мой кошелек всегда открыт был для вас.

– Ваша правда, но он открыт был не как сестре, но как вашему орудию, как шпиону. Да, да, ваш кошелек действительно открыт, но рукою скряги.

– *Un peu de conscience, ma chère!* вы так небрежливвы, даже расточительны. Однако, оставим этот разговор. Скажите откровенно, чего бы вы хотели от меня?

– Я хотела бы навсегда освободиться от вас.

– То есть, вы хотели бы вторично выйти замуж за одного из этих богатых островитян-лордов. *Ma foi*, я уважаю ваше честолюбие.

– Поверьте, что оно не так далеко простирается, как вы думаете. Я ничего больше не желаю, как только избавить себя от вашего влияния. Я желаю, вскричала Беатриче, с возрастающим жаром: – желаю снова вести жизнь благородной женщины, снова вступить во все её права.

– Довольно! сказал граф, с заметным нетерпением: – скажите мне только, в достижении вашей цели есть ли чтонибудь такое, почему вы должны быть равнодушны к достижению моей? Если я верно понимаю, так вы хотите выйти замуж. А чтоб выйти замуж прилично вашему имени, вы должны принести вашему мужу не долги, а хорошее приданое. Пусть будет по-вашему. Я возвращу вам капитал, который успел выхватить из расточительных когтей генуэзца, но, само собою разумеется, возвращу тогда, когда буду в состо-

янии, в тот самый момент, как сделаюсь мужем наследницы моего родственника. Вы говорите, Беатриче, что прежние мои замыслы возмущали вашу совесть: надеюсь, что настоящий мой план успокоит ее; потому что через этот брак мой родственник возвратится в отечество и будет владеть по крайней мере половиною своих земель. Если из меня не выдет превосходный муж, то виноват в этом буду не я. Я рассеял свою ветренность. *Je suis bon prince*, лишь только дела мои примут должный оборот. Моя надежда, моя цель и, конечно, все мои интересы заключаются в том, чтобы сделаться *dulne époux et irréprochable père de famille*. Я говорю легкомысленно: это в моем характере; но зато я думаю весьма серьёзно. Малютка-жена будет счастлива со мной, и я надеюсь устранить все нерасположение ко мне, которое будет оставаться в душе родителя. Хотите ли вы помогать мне при этих обстоятельствах – говорите, да или нет. Помогайте мне, и вы действительно будете свободны. Чародей освободит прекрасную душу, которую покорил своей воле. Перестаньте быть моею сообщницей, *ma chère*, и – заметьте, я не угрожаю вам: я только предостерегаю – перестаньте помогать мне, и тогда, положим, что я сделаюсь нищим; но я спросил-бы вас, что станет тогда с вами, все еще молодой, прекрасной и без гроша денег? Хуже, чем без гроша денег! Вы удостоили меня особенной чести (при этом граф взглянул на стол, вынул из портфеля письмо, украшенное его гербом и графской короной), вы удостоили меня особенной че-

сти, обратившись ко мне за советом касательно ваших долгов?

– Вы, кажется, сказали, что хотите возратить мне мое богатство? сказала маркиза нерешительно и отворачивая свою голову от записки, испещренной цыфрами.

– Когда мое богатство, с помощью вашего, будет у меня в руках.

– Однако, не слишком ли высоко оцениваете вы мою мощь?

– Весьма быть может, сказал граф, с рассчитанной нежностью и нежно цалуя сестру свою в открытый лоб: – весьма быть может; но, клянусь честью, мне бы хотелось исправить зло, действительное или воображаемое, которое я сделал вам в минувшем. Мне бы хотелось снова видеть перед собою мою прежнюю, нецененную сестру. Будем по-прежнему друзьями, *cara Beatrice tua*, прибавил граф, в первый раз употребив итальянские слова.

Маркиза склонила голову на плечо графа; из глаз её тихо катились слезы. По всему было видно, что этот человек имел на нее сильное влияние, видно было также, что, несмотря на причину её горести, её любовь к нему была все еще сестринская и все еще сильная. Натура с прекрасными проблесками великодушие, энергии, благородства и любви была её натурой, но неразработанной, дурно направленной на прямой путь, испорченной самыми дурными примерами, легко увлекаемой в пороки, не всегда умеющей узнавать, где имен-

но скрывается порок, позволяющей душевным наклонностям, хорошим и дурным, заглушать её совесть или ослеплять рассудок. Подобные женщины бывают часто гораздо опаснее тех женщин, которые совершенно покинуты обществом: эти женщины часто становятся такими орудиями, какие мужчины, подобные графу Пешьера, всеми силами стараются приобретать для достижения своей цели.

– О, Джулио, сказала Беатриче, после продолжительного молчания и взглянув на графа сквозь слезы: – ты знаешь, что, употребив слова, так приятно поражающие слух, можешь сделать со мной все, что хочешь. Не имея ни отца, ни матери, кого я должна любить с самого раннего детства, кому должна повиноваться я, как не тебе?

– Милая Беатриче, произнес граф, нежно и еще раз поцеловав сестру. – Значит, продолжал он, снова принимая на себя беспечный вид. – значит мы заключили друг с другом мировую, наши сердца и наши интересы соединились неразрывно. Теперь – увы! – нам должно снова обратиться к делу. Вы сказали, что знаете человека, которому известна засада моего тестя... то есть будущего тестя?

– Кажется, что так. Вы напомнили мне о свидании, которое я назначила ему сегодня; время нашего свидания приближается, и я должна оставить вас.

– Затем, чтобы узнать тайну? Торопитесь, торопитесь. Если вы держите на привязи сердце этого человека, то я несколько не опасаясь за успех.

– Вы ошибаетесь: я не имею на его сердце ни малейшего влияния. У него есть друг, который любит меня великодушно, и за которого он ходатайствует передо мной. Мне кажется, что здесь я имею возможность взять верх над ним или по крайней мере убедить его действовать в мою пользу. Если же не успею, о, Джулио, у этого человека такой характер, в котором все темно для меня, исключая его честолюбия; но каким образом мы, чужеземцы, можем подействовать на него с этой стороны?

– А что, он беден или расточителен?

– Расточительным нельзя назвать, нельзя сказать также, что он беден, но и не имеет независимого состояния.

– В таком случае он в наших руках, сказал граф, с необыкновенным спокойствием. – Если понадобится купить его помощь, мы не пожалеем денег. Предаю его и себя в полное ваше распоряжение.

Сказав это, граф отворил дверь и с холодной учтивостью проводил сестру до кареты. Возвратясь в комнату, он занял прежнее место и углубился в размышления. В это время мускулы его лица не находились уже в прежнем напряжении. беспечность француза покинула графа, и в его глазах, в то время, как они устремлены были в даль, усматривалась спокойная глубина, столь замечательная в старинных портретах какого нибудь флорентинского дипломата или венецианского олигарха. В его лице, несмотря на красоту, отражалось что-то неприятное, отталкивающее, что-то холод-



ное, суровое, спокойное, непонятное. Впрочем, эта перемена выражения лица была непродолжительна. Очевидно было, что человек этот не привык к размышлениям. Очевидно было, что этот человек вел такую жизнь, на которую всякого рода впечатления производились слегка: поэтому он встал с выражением истомы в глазах, отряхнулся и выпрямился, как будто стараясь сбросить с себя или выйти из непривычного неприятного расположения. Спустя час, граф Пешьера пленял взоры; очаровывал слух множества гостей в салоне первой красавицы, с которою он познакомился в Вене, и которой прелести, если верить молве, привлекли блестящего иностранца в Лондон.

## Глава LXXIII

Маркиза, по прибытии в свой дом, находившийся на улице Курзон, удалилась в будуар – переменить наряд и сгладить с лица своего слезы слез, которые она пролила в присутствии брата

Полчаса спустя она уже сидела в гостиной спокойная и в приятном расположении духа. Увидев ее теперь, вы бы никак не догадались, что она способна была к столь сильному душевному волнению и такой чрезмерной слабости. В этой величественной осанке, в этой спокойной наружности, в этой пленительной грации, которая сообщается как туалетным искусством, так и сознанием своего достоинства, вы бы увидели светскую женщину и знатную барыню. Но вот в уличную дверь послышался удар, и через несколько секунд в гостиную вошел посетитель, с непринужденностью короткого знакомства, – молодой человек, но без всякого оттенка юности. Его волосы, прекрасные как у женщины, были тонки и весьма редки; они спускались по лбу и скрывали самую благороднейшую часть человеческого лица. «Благородный человек – говорит Апулей – должен, по возможности носить всю свою душу на своем челе.» Молодой посетитель, вероятно, не знал этих слов: иначе он не сделал бы столь явного неблагоразумия. Его щоки были бледны, в его поступи и вообще во всех его движениях заметна была ка-

кая-то усталость, которая сообщала идею об истомленных нервах и слабом здоровье. С другой стороны, необыкновенный свет его глаз и тон его голоса говорили, что умственные его способности далеко превосходили физические силы. Во всем прочем его наружность показывала в нем совершенное знание света. Увидев его однажды, вы бы не так легко забыли его. Читатель, без сомнения, узнает уже в этом молодом человеке Рандаля Лесли. Его приветствие, как я уже сказал, отличалось короткою фамильярностью; впрочем, с той и другой стороны в этом приветствии обнаруживалась натянутая искренность, обозначающая отсутствие более нежного чувства.

Расположившись подле маркизы, Рандаль с первого раза завел речь о предметах, касающихся модного света, и о городских новейших слухах. Не мешает здесь заметить, что Рандаль, выведывая от маркизы текущие анекдоты и сплетни большого света, в замен этого не передал ни одного анекдота, ни одной сплетни. Рандаль Лесли постиг уже науку не позволять себе делать дурных замечаний на людей, поставленных в обществе гораздо выше его. Ничто так не вредит человеку, желающему приобрести некоторую известность в салонах, как несчастье прослыть клеветником и сплетником: «во всяком случае полезно – думал Рандаль Лесли – знать слабые стороны, небольшие общественные и частные пружины, посредством которых движется высшее сословие. Весьма легко могут встретиться критические слу-

чай, при которых подобное знание может обратиться в силу.» Из этого с некоторою вероятностью можно заключить (кроме побудительной причины, с которой мы скоро познакомимся), что Рандаль приобретая дружбу маркизы ди-Негра, ни под каким видом не считал этого времени потерянным. Несмотря на злые слухи, распушенные по городу против неё, она успела рассеять холодность, с которою с первого раза была принята в лондонских обществах. её красота, её грация, её высокое происхождение давали ей свободный пропуск в высшее общество; а уважение и особенная преданность мужчин, занимающих, в государстве первые места, хотя, быть, может, и вредили несколько репутации маркизы, как женщины, но зато прибавляли к её знаменитости качество прекрасной лэди. Мы, холодные англичане, при всей нашей суровости, любим прощать иностранцам то, что осуждаем и взыскиваем с своих соотечественников.

Сделав переход от этих весьма обыкновенных предметов разговора к личным комплиментам, обнаруживающим светское образование и изящность выражений, и повторив различные похвалы, которые лорд и герцог такие-то приписывали очаровательной красоте маркизы, Рандаль Лесли, пользуясь свободой, предоставляемой короткой дружбой, положил свою руку на руку Беатриче и сказал:

– После того, как вы удостоили меня своей доверенностью, после того, как (к моему особенному счастью и благодаря великодушию, к которому способна не всякая хоро-

шенькая и кокетливая женщина), – после того, как вы обратили в дружбу чувства, которые развивались под вашим влиянием в более нежные чувства, и на которые вам не угодно было отвечать, – после того, как вы сказали мне, с вашей очаровательной улыбкой: «зачем станет говорить мне о любви тот, кто не предложит руки своей, а вместе с рукой средства удовлетворить мои прихоти, которые, я боюсь, требуют ужасных издержек», – после того, как вы позволили мне предугадывать ваши весьма натуральные влечения, на чем и основана была наша короткая дружба, – после всего этого, я надеюсь, вы простите меня, если я скажу, что восторг и удивление, которые вы возбуждаете между этими *grands seigneurs*, служат к тому только, чтобы разрушить вашу цель и рассеять поклонников, которые не так блестящи, это правда, но более искренни и преданны. Большая часть джентльменов, о которых я упомянул, люди женатые, многие из них не принадлежат к тем членам нашей аристократии, которые в женитьбе ищут более, чем одну только красоту и образованный ум: они ищут связей, чтоб укрепить свое политическое положение, или богатства, чтоб выкупить свое имение и поддержать титул.

– Любезный мистер Лесли, отвечала маркиза, с унынием, которое выражалось тоном её голоса и томительностью взоров: – я уже довольно прожила в мире действительном, чтоб уметь отличить ложь от правды. Я вижу насквозь сердца тех пламенных обожателей, на которых вы указываете, и знаю,

что ни один из них не прикроет своей горностаевой мантией женщину, которой он высказывает свое сердце. О, продолжала Беатриче с нежностью, которой она сама не подозревала, но которая могла бы оказаться чрезвычайно пагубною для молодого человека, которого чувства не охладели еще до такой степени, и который не умеет еще так верно охранять свое сердце от кокетливости женщины, как Рандаль Лесли: – о, я не так честолюбива, как вы полагаете. Я постоянно мечтала о друге, о товарище, о защитнике, с чувствами все еще свежими, неиспорченными еще пошлыми увеселениями и низкими удовольствиями, с сердцем до такой степени новым, невинным, которое могло бы возвратить мое собственное сердце к той поре моей жизни, которую я считала счастливой весной. Мне случилось видеть в вашем отечестве несколько супружеских пар, одно воспоминание о которых всегда наполняет глаза мои слезами умиления. В Англии я научилась узнавать всю цену домашней, семейной жизни. При таком сердце, какое я описала, в кругу такой семейной жизни, быть может, я бы забыла то, что всегда считала не совсем-то чистым честолюбием.

– Этот язык несколько не удивляет меня, сказал Рандаль: – но только он не согласуется с вашим первым ответом мне.

– Вам, возразила Беатриче, с улыбкой и принимая свою обыкновенную беспечность и более свободное обращение: – вам, правда. Но я никогда не имела на столько тщеславия,

чтобы позволить себе думать, что вы, с вашей ко мне преданностью, могли перенести пожертвования, которые неизбежно были бы связаны с супружеской жизнью; что вы, при вашем честолюбии, могли бы приковать мечты о счастье к семейному быту. Кроме того, сказала Беатриче, вздернув головку и принимая серьёзный, даже в некоторой степени надменный вид; – *кроме того*, я ни под каким видом не согласилась бы разделить мою судьбу с человеком, которому моя бедность была бы в тягость. Я бы не послушалась внушений моего сердца, еслиб оно билось к обожателю без состояния, потому что тогда я принесла бы ему одно только бремя и вовлекла бы его в союз с бедностью и долгами. *Теперь*, – о, теперь! совсем другое дело. Теперь у меня будет приданое, которое во всех отношениях будет соответствовать моему происхождению. Теперь я могу, нисколько не стесняя себя, сделать выбор по сердцу, как женщина совершенно свободная, но не как женщина, покоряющаяся необходимости, бедная, доведенная затруднительными обстоятельствами до отчаяния.

– А! поздравляю вас от чистого сердца, сказал Рандаль, сильно заинтересованный и придвигаясь еще ближе к своей прекрасной собеседнице: – значит вы имеете довольно верную надежду сделаться богатой?

Маркиза, прежде чем ответить на этот вопрос, остановилась на несколько секунд. В течение паузы Рандаль распустил паутину своего плана, которую он втайне выплетал,

и быстро сделал соображения такого рода, что если Беатриче ди-Негра действительно получит богатство, то согласится ли она отвечать на его предложение соединиться с ним брачными узами, и если согласится, то каким образом ему лучше переменить тон дружбы на тон пламенной любви. Во время этих соображений Беатриче ответила:

– Не так богатой для англичанки, но для итальянки «да». Мое состояние будет простираться до полу-миллиона....

– Пол-миллиона! вскричал Рандаль и с трудом удержался, чтоб не упасть перед маркизой, с чувствами благоговения, на колени.

– Пол-миллиона франков, досказала маркиза.

– Франков! сказал Рандаль, медленно переводя дыхание и оправившись от внезапного энтузиазма. – Это составит около двадцати тысяч фунтов! то есть восемьсот фунтов годового дохода! Приданое весьма хорошее, без всякого сомнения. (Самая джентильная нищета! произнес он про себя. – Слава Богу, что я не попался! Впрочем, позвольте, позвольте! это с одной стороны устраняет все препятствия в моем прежнем и лучшем проекте. Посмотрим, что будет дальше). Очень, очень миленькое приданое! повторил Рандаль вслух. – Миленькое не для какогонибудь *grand seigneur*, но для джентльмена хорошего происхождения и с ожиданиями достойными вашего выбора, если только честолюбие не есть ваша главная цель. Упомянув с таким пленительным красноречием о чувствах, которые были бы свежи, о серд-



це, которое было бы непорочно, о счастливой английской семейной жизни, вы бы должны догадаться, что мысли мои клонятся к моему другу, который так пламенно любит вас, и который так вполне осуществляет ваш идеал. Между нами будь сказано, счастливые супружества и счастливая семейная жизнь находятся не в шумных кругах лондонского мира, но подле очагов нашего сельского дворянства, наших провинциальных джентльменов. И скажите, кто из ваших поклонников может предложить вам участь до такой степени завидную, как тот, на которого я ссылаюсь, и которого, судя по-вашему румянцу, вы уже отгадываете.

– Неужели у меня есть румянец? спросила маркиза, заключая слова свои серебристым смехом. – Мне кажется, что ваше усердие к вашему другу обманывает вас. Впрочем, признаюсь вам откровенно, что его бескорыстная любовь очень тронула меня, – любовь очевидная, хотя и выражаемая сильнее взглядами, нежели словами. Я не раз сравнивала эту любовь, которая приносит мне честь, с любовью других поклонников, которой они хотят унижить меня; больше я ничего не имею сказать. Положим, что ваш друг имеет прекрасную наружность, благородное, великодушное сердце, но при всем том в нем недостает того, что....

– Вы ошибаетесь, поверьте мне, прервал Рандаль. – Извините, я не позволю вам окончить ваш приговор. В этом человеке есть все, чего вы еще не предполагаете: его застенчивость, его любовь, его уважение вашего превосходства

не позволяют его душе и его натуре показать себя в более выгодном свете. Вы, это правда, имеете склонность к литературе и поэзии – качество весьма редкое между нашими соотечественниками. В настоящее время он не имеет этого, да и немногие могут похвастаться тем. Впрочем, какой Кимон не усовершенствует себя под руководством такой прекрасной Ифигении? Недостатки, которые он оказывает в себе, принадлежат вообще всем молодым и неопытным людям. Счастлив тот брат, который мог бы увидеть сестру свою женою Франка Гэзельдена!

Маркиза молча подперла щеку рукой. Для неё замужество было более, чем оно обыкновенно кажется мечтательной девушке или неутешной вдове. Непреодолимое желание освободиться от надзора её безнравственного и безжалостного брата до такой степени слилось с составом её бытия, – все, что было лучшего и возвышенного в её смешанном и сложном характере, до такой степени отравлено и заглушено в ней одиноким о постоянно открытом положении, двусмысленным поклонением её красоте, различными унижениями, которым подвергали ее денежные затруднительные обстоятельства (включая сюда и намерения графа, который, при всей своей алчности, не скупился на деньги, и который временными и, по видимому, причудливыми подарками в одно время и отказами во всякой помощи в другое, вовлек ее в долги, с тем, чтобы во всякое время иметь ее в своей власти), положение, которое она занимала в об-

ществе, до такой степени было оскорбительно и унижительно для женщины, что в замужестве она видела свободу, жизнь, честь, самоискупление. Кроме того, мысли, принуждавшие ее действовать сообразно с планами, при исполнении которых граф, получив себе невесту, обязан был возратить ей значительный капитал, располагали маркизу принять с удовольствием предложения Рандалья Лесли в пользу его друга.

Адвокат Франка видел, что он произвел уже впечатление, и с удивительным искусством, которое сообщалось ему совершенным знанием натур, принятых им для изучения, он продолжал развивать свое ходатайство такими доводами, которые, без всякого сомнения, должны были произвести желаемое действие. С каким неподражаемым тактом он избегал выражать панегирики Франку, как лицу весьма обыкновенному, и в то же время выставлял его настоящим типом, идеалом того, что женщина, в положении Беатриче, могла бы пожелать относительно безопасности, спокойствия и чести семейной жизни, доверия, постоянства и преданной любви в своем супруге! Он не рисовал земного рая – он описывал небо, он не выставлял в ярком свете героя романа – они очень просто и ясно изображал представителя всего достойного уважения и действительного, к чему всегда прибегает женщина в ту пору, когда роман начинает казаться ей обманчивой мечтой.

И в самом деле, если бы вы слышали, как говорил Рандаль Лесли, и заглянули в сердце той, к кому откосились его сло-

ва, вы бы воскликнули: «знание есть сила! и этот человек, еслиб для него открылось более обширное поле действия, разыграл бы немаловажную роль в истории своего времени.»

Медленно разгоняла Беатриче думы, которые западали в её душу, в то время, как Рандаль говорил, – медленно и с глубоким вздохом она отвечала:

– Прекрасно, прекрасно! я соглашаюсь во всем, что вы говорите; но, во всяком случае, прежде, чем я в состоянии буду выслушать признание в такой благородной любви, мне должно освободиться от низкой и гнусной тягости, которая гнетет меня. Человеку, который нежно любит меня, я не решусь сказать: «заплатите ли вы долги дочери Францини и вдовы ди-Негра?»

– Ваши долги, весьма вероятно, составляют самую незначительную часть вашего приданого.

– Но вы не знаете, что мое приданое не в моих еще руках, сказала маркиза.

И вместе с этим, пользуясь случаем сделать выгодное нападение на своего собеседника, маркиза ди-Негра протянула руку Рандалью и произнесла самым пленительным голосом:

– Мистер Лесли, вы мой истинный и искренний друг.

– Маркиза, можете ли вы сомневаться в этом!

– В доказательство тому, что я нисколько не сомневаюсь в этом, я прошу вашей помощи.

– Моей? каким образом могу я быть полезным вам?

– Выслушайте меня. Мой брат приехал в Лондон....

– Я видел в газетах объявление об его приезде.

– Он приехал сюда просить руки своей родственницы и соотечественницы. Этим союзом он надеется прекратить давнишние семейные раздоры и присоединить к своему состоянию богатство невесты. Мой брат, как и я, был весьма небережлив. Приданое, которое, по закону, он должен мне, будет выдано мне не ранее, как после его женитьбы.

– Понимаю, сказал Рандаль. – Но каким же образом могу я помочь этой женитьбе?

– Помогая нам отыскать невесту. Она и отец её оставили отечество и скрываются в Англии.

– Значит отец её имеет на это свои причины.

– Совершенная правда, и он так умел скрыться в вашем государстве, что все наши усилия открыть его остались бесполезны. Мой брат может быть ему полезен при возвращении в отечество, но не иначе это сделает, как получив его согласие на брак с его дочерью....

– Продолжайте.

– Ах, Рандаль, Рандаль! неужели это и есть искренность дружбы? Вам известно, что еще и прежде я старалась узнать тайну об убежище нашего родственника, – старалась тщетно узнать ее от мистера Эджертона, который достоверно знает ее.

– Но который не имеет обыкновения сообщать тайн ни одному живому существу, сказал Рандаль, с горечью: – который тверд и сжат как железо. Он так же непреклонен в этом

отношении ко мне, как и к вам.

– В таком случае простите меня. Я знаю вас так хорошо, что мне кажется, вы могли бы узнать какую угодно тайну, если бы только вы ревностно хотели узнать ее. Мало того: мне кажется, что вам уже известна тайна, которую я так убедительно прошу вас разделить со мною.

– Помилуйте! что подало вам повод делать подобные предположения?

– Когда, несколько недель тому назад, вы просили меня описать личность и привычки нашего родственника, которые я и описала вам, частью по детским моим воспоминаниям, частью по описанию, сообщенному мне другими лицами, я не могла не заметить выражения вашего лица, и не заметить в нем перемены, несмотря, сказала маркиза, улыбаясь и наблюдая выражение лица Рандалья, во время своего разговора: – несмотря на ваше необыкновенное умение управлять своими чувствами. И когда я просила вас признаться, что вы действительно видели человека, который согласовался с данным описанием, ваш отказ несколько не обманул меня. Я скажу еще более: возвратясь в настоящее время, с вашего согласия, к тому же самому предмету, вы так искусно вывели от меня побудительные причины к отысканию описываемых мною родственников; не сделай я удовлетворительного ответа, я могла бы обнаружить...

– Ха, ха! прервал Рандаль довольно громким смехом, которым он иногда нарушал наставления лорда Честерфиль-

да удерживаться от громкого смеха, чтоб не показать себя неблаговоспитанным:— ха, ха! и у вас есть недостаток, свойственный вообще всем наблюдателям, вдающимся в излишняя подробности и тонкости. Положим даже, что я видел некоторых итальянских изгнанников: почему же мне не сравнить вашего описания с их наружностью? Положим, что я подозревал одного из них именно за человека, которого вы ищете: почему бы мне не узнать от вас, с неблагоприятной целью или с добрым намерением вы стараетесь открыть его местопребывание? Дурно было бы с моей стороны, прибавил Рандаль, принимая на себя серьёзный вид: — дурно было бы с моей стороны открыть даже искреннему другу убежище человека, который скрывается от поисков его. Еслиб я сделал это, что весьма легко могло стать, потому что честь еще весьма слабое самосохранение против ваших чарующих прелестей, — еслиб я сделал это, поверьте, что подобное неблагоразумие могло оказаться пагубным для моей будущей карьеры.

— Это почему?

— Разве вы не говорили сами, что Эджертон знает тайну и не хочет сообщить ее? и неужели вы не знаете, что это такой человек, который никогда не простил бы мне неблагоразумия, виновником которого был он сам? Прелестный мой друг, я скажу вам более: Одлей Эджертон, заметив мою возрастающую дружбу с вами, сказал, с обычной сухостью, составляющею неотъемлемую принадлежность всякого совета:

«Рандаль, я не прошу вас прекращать знакомства с маркизой, потому что знакомство с подобными женщинами служит к приобретению светского обхождения и образованию ума; но заметьте: очаровательные женщины опасны, а маркиза ди-Негра – женщина очаровательная.»

Лицо маркизы вспыхнуло. Рандаль продолжал:

– «Ваша прекрасная знакомка (я все еще повторяю слова Эджертон) старается узнать убежище одного из своих соотечественников. Она подозревает, что мне известно это убежище. Быть может, она будет стараться узнать о нем через вас. Легко может случиться, что случай предоставит вам требуемые ею сведения. Берегитесь открыть эту тайну. По одной подобной слабости я стану судить о вашем общем характере, Тот, от кого женщина может выпытать тайну, никогда не будет годен для публичной жизни.» Вследствие этого, неоцененная маркиза, допустив даже предположение, что мне известна эта тайна, вы не оказались бы истинным и преданным мне другом, если бы стали просить меня открыть вам то, что ставит в опасное положение все мои виды на будущность. Потому что, прибавил Рандаль, с мрачным выражением на лице: – потому что я до сих еще пор не могу стать отдельно и твердо: я все еще *облокачиваюсь*, меня поддерживают, – короче сказать, я человек зависимый.

– Но, мне кажется, есть средство, отвечала маркиза ди-Негра, не отступая от своего намерения: – есть средство сообщить это сведение, устранив всякую возможность для ми-



стера Эджертона приписать наше открытие вашему участию, и хотя я не смею просить вас более об этом предмете, но во всяком случае должна присовокупить следующее: вы убедительно уговариваете меня принять руку вашего друга. По видимому, вы принимаете искреннее участие в этом деле, и вы ведете его с таким горячим усердием, которое показывает, как высоко вы цените счастье своего друга. Я не приму его руки до тех пор, пока не краснея могу вспоминать о моих денежных средствах, до тех пор, пока приданое мое не будет у меня в руках; а это тогда может случиться, когда совершится брак моего брата с дочерью того, кого я отыскиваю. Поэтому, ради вашего друга, подумайте хорошенько, каким образом можете помочь мне в первом приступе к этому союзу. Мой брат нисколько не опасается за успешное окончание сватовства, лишь бы только узнать, где скрывается молодая невеста.,

– И вы не иначе выйдете за Франка, как получив сначала приданое?

– Ваши убеждения произвели на меня сильное впечатление в пользу вашего друга, отвечала Беатриче, поникнув взорами.

В глазах Рандаля сверкнула молния. На несколько секунд он оставался безмолвным и в глубокой задумчивости.

– Прекрасно, сказал он, медленно поднимаясь с места и надевая перчатки: – для окончательного примирения моей чести с обещанием помогать вам в ваших розысках, вы долж-

ны теперь сказать мне, не имеете ли какихнибудь злых умыслов против того, кого вы отыскиваете?

– Злых умыслов! мы хотим возвратить ему его богатство, его почести.

– Вы так сильно овладели моим сердцем, что одушевляете меня надеждой споспешествовать счастьем двух друзей, нежно мною любимых. С особенным тщанием буду узнавать, не скрывается ли между известными мне людьми человек, которого вы ищете, и если найду, то основательно обдумаю, каким образом навести вас на его следы. Между тем, перед мистером Эджертоном, чтобы не было произнесено ни одного неосторожного слова.

– В этом вполне надейтесь на меня: ведь я женщина светская.

Рандаль подошел уже к дверям. Он остановился и с беспечным видом снова начал:

– Молодая невеста должна быть наследницей огромного богатства, если заставляет человека с именем вашего брата принимать столько трудов, чтоб отыскать ее.

– её богатство *будет* огромное, отвечала маркиза: – и если только этим богатством и влиянием в иноземном государстве будет позволено доказать признательность моего брата....

– Ах, фи! прервал Рандаль и, подойдя к маркизе, поцеловал её руку.

– Вот награда, которой весьма достаточно для вашего

*preux chevalier*, сказал он с искренним чувством и вслед за тем вышел из гостиной.

## Глава LXXIV

Закинув назад руки, склонив голову на грудь, тихо, крадучись и без малейшего шума проходил Рандаль Лесли по улицам, оставив дом итальянки. На давно составленном плане мелькнул другой план, более блестящий, и которого исполнение могло быть вернее и быстрее. Если дочь того, кого отыскивает Беатриче, была наследницей такого богатства, то почему бы ему самому не надеяться.... При одной мысли этой Рандаль вдруг остановился, и дыхание его сделалось быстрее. Во время последнего своего визита в Гэзельден он встречался с Риккабокка и был поражен красотой Виоланты. Неясное подозрение вкралось в его душу, что, быть может, это и есть те самые люди, которых маркиза искала, и подозрение его подтвердилось описанием лиц, которых Беатриче желала отыскать. Но так как в то время Рандаль не знал причины её розысков, не предвидел ни малейшей возможности, что будет принимать какое нибудь участие в узнании истины, — он присовокупил эту тайну к числу тех, дальнейшее разъяснение которых можно было предоставить времени и случаю. Конечно, читатель не решится оказать бессовестному Рандалю Лесли несправедливости предположением, что он удерживался от сообщения своему прекрасному другу всего, что знал о Риккабокка, прекрасными понятиями о чести, которые он так благородно выска-

зывал. Он верно передал предостережение Одлея Эджертона против всякой нескромной, безразсудной откровенности, хотя при этом случае не заблагодаря судил упомянуть недавнее и прямое возобновление того же самого предостережения. Его первый визит в Гэзельден был сделан без предварительного совещания с Эджертоном. Проведя несколько дней в доме своего отца, он отправился оттуда в дом сквайра. По возвращении в Лондон, он, однакож, сказал Одлею об этом посещении, и Одлей, по видимому, был недоволен этим и даже огорчен. Рандаль весьма достаточно знаком был с характером Эджертона, чтоб догадаться, что подобные чувства едва ли пробуждались в Одлее одним только желанием отчуждить молодого человека от своего полу-брата. Неудовольствие Эджертона привело Рандалья в недоумение. Впрочем, предвидя необходимость, для выполнения своих планов, свести короткое знакомство со сквайром, он не обращал особенного внимания на причуды своего покровителя. Вследствие этого, он заметил, что хотя ему очень прискорбно причинить какое либо неудовольствие своему благодетелю, но что, исполняя волю своего родителя, он ее мог положительно отказаться от дружеских предложений мистера Гэзельдена.

– Почему это, скажите пожалуйста? спросил Эджертон.

– Потому, как вам известно, что мистер Гэзельден мой родственник, что моя бабушка была из фамилии Гэзельден.

– Вот что! сказал Эджертон который очень мало знал

и еще менее того заботился о родословной Гэзельденов: – признаюсь, я или со всем не знал этого обстоятельства, или забыл о нем. Что же, ваш батюшка полагает, что сквайр не забудет и вас в своем завещании?

– Мой отец, сэр, еще не так корыстолюбив: подобная идея никогда не приходила ему в голову. Сквайр сам говорил мне: если чтонибудь случится с Франком, вы после него прямой наследник всего моего имени, а потому мы должны познакомиться друг с другом. Впрочем....

– Довольно, довольно! прервал Эджертон. – Я менее всего имею права препятствовать вашему счастью. Кого же вы встретили в Гэзельдене?

– Там никого не было, сэр, – не было даже и Франка.

– Гм! В каких отношениях сквайр с своим пастором? не ссорятся ли они из за десятин?

– Нет, я не заметил. Я забыл мистера Дэля, хотя и видел его очень часто. Он хвалит и уважает вас, сэр.

– Меня? да за что же? Что же он говорит об мне?

– Что ваше сердце так же непогрешительно, как и ваша голова, что он где-то видел вас, по делу, с кем-то из своих прежних прихожан, и что вы оставили в душе его сильное впечатление глубиною своих чувств, которых он не предполагал в светском человеке.

– Только-то! Вероятно, дело, на которое ссылается пастор, происходило в то время, когда я был представителем Лэнсмера?

– Я полагаю, что так.

Разговор на этом прекратился; но на следующий раз Рандаль, желая посетить сквайра, формально просил на это согласия Эджертон, который, после минутного молчания, в свою очередь, формально отвечал: «я не встречаю препятствия.»

Возвратясь из Гэзельдена, Рандаль между прочим упомянул о свидании с Риккабокка. Эджертон, изумленный этим известием, довольно спокойно сказал:

– Без всякого сомнения, это один из иностранцев. Берегитесь, пожалуста, навесь на его следы маркизу ди-Негра.

– В этом отношении, сэр, вы вполне можете положиться на меня, сказал Рандаль: – впрочем, мне кажется, что этот бедный доктор едва ли то самое лицо, которого она старается отыскать.

– Это не наше дело, отвечал Эджертон: – для английского джентльмена чужая тайна должна быть священна.

Заметив в этом ответе в некотором роде двусмысленность и припомнив беспокойство, с которым Эджертон слушал о первом посещении Гэзельдена, Рандаль полагал, что он действительно весьма недалеко находился от тайны, которую Эджертон старался скрыть от него и вообще от всех, то есть скрыть инкогнито итальянца, которого лорд л'Эстрендж принял под свое особенное покровительство.

«Игра моя становится весьма трудною, с глубоким вздохом сказал Рандаль. – С одной стороны, сквайр никогда

не простит мне, если узнает, что я вовлек Франка в женитьбу на этой итальянке. С другой – если она не выйдет за него замуж без приданого – а это зависит от женитьбы её брата на его соотечественнице, которая, по всем вероятностям, должна быть Виоланта – тогда Виоланта будет богатой наследницей и должна быть моей! О нет, нет! Впрочем, щекотливая совесть в женщине, поставленной в такое положение и с таким характером, как Беатриче ди-Негра, легко можно уничтожить. Мало того: потеря этого союза для её брата, потеря её собственного приданого и, наконец, тяжелое бремя бедности и долгов, без всякого сомнения, принудят ее избрать к своему избавлению единственное средство, предоставленное ей на выбор. Тогда я смело могу приступить к исполнению моего прежнего плана, отправлюсь в Гэзельден и посмотрю, нельзя ли будет старый план заменить новым; и потом.... потом, соединив тот и другой вместе, я уверен, что дом Лесли избавится еще от совершенного падения, и тогда....»

На этом месте Рандаль отвлечен был от созерцания своей будущности дружеским ударом по плечу и восклицанием:

– Ах, Рандаль! твое отсутствие в настоящее время бывает гораздо продолжительнее того, которое требовалось на игру в крикнет; в Итоне ты всегда удалялся от игры и вместо того повторял греческие стихи.

– Любезный Франк, сказал Рандаль: – ты легок на помине: я только что думал о тебе.



– В самом деле? И я уверен, что ты думал довольно снисходительно, сказал Франк Гэзельден, и на честном, прекрасном лице его отразилось чувство искренней, несомненной преданной дружбы. Одному мне известно, Рандаль, прибавил он более печальным тоном и с серьёзным выражением во взорах и на устах: – одному мне известно, как я нуждаюсь, Рандаль, в твоей ко мне снисходительности и великодушии,

– Я полагал, сказал Рандаль: – что последней посылки твоего отца, которую я имел удовольствие доставить тебе, весьма достаточно было, чтобы очистить самые тяжелые долги. Я не имею права и не смею делать тебе выговоры, но все же должен сказать еще раз, что не годится быть до такой степени расточительным.

Франк (*с серьёзным видом*). Я сделал с своей стороны все, чтоб только переменить образ жизни: я продал лошадей и в течение последних шести месяцев не дотрогивался ни до карт, ни до костей; я не хотел даже участвовать в последней дербийской лошадиной скачке.

Последние слова были сказаны с видом человека, который сомневался в возможности приобрести доверие своей необыкновенной воздержности и благонамеренности.

Рандаль. Может ли быть? Но, при такой победе над самим собой, каким же образом случилось, что ты не можешь жить, не выходя из пределов весьма хорошего годового содержания?

Франк (*с унынием*). Когда человек, неумеющий плавать,

скроется в воде, ему трудно всплыть на поверхность. Дело в том, что я приписываю теперешнее мое затруднительное положение первой утайке от отца моих долгов, тогда как я легко бы мог признаться в них, особенно когда отец мой приехал в Лондон так кстати.

Рандаль. В таком случае, мне очень жаль, что я дал тебе этот совет.

Франк. Нет, Рандаль: ты посоветовал мне с добрым намерением. Я не упрекаю тебя. Всею виной один я.

Рандаль. Впрочем, я советовал тебе уплатить половину долгов из экономии от годового содержания. Сделай ты это, и все было бы прекрасно.

Франк. Твоя правда; но бедный Борровел попал в страшный просак в Гудвуде; я не мог не уступить его просьбам: согласился, что долг, основанный на благородном слове, должен быть заплачен. Поэтому, когда я подписал для него другой вексель, он решительно не мог выплатить его, – бедненький! Право, он бы непременно застрелился, еслиб я не возобновил этого векселя; а теперь проценты выросли до такой огромной суммы, что ему некогда не выплатить их. К тому же один вексель рождает другой, и каждый из них требует возобновления аккуратно через три месяца. Занял полторы тысячи фунтов стерлингов, – и теперь ежегодно причитается такая же сумма процентов., О, если бы мне где нибудь достать такие деньги!

Рандаль. Только полторы тысячи фунгов?

Франк. Только; да еще за семь огромных ящиков сигар, которых ты ни за что на свете не стал бы курить, – за три пипы вина, которого никто не хочет пить и за огромного медведя, привезенного из Гренландии, собственно для одного только жиру.

Рандаль. По крайней мере этим медведем ты можешь расчитаться с своим парикмахером.

Франк. Я так и сделал, – и слава Богу, что он взял с моих рук это чудовище: чуть-чуть не изломал у меня двоих солдат и грума. Знаешь ли что, Рандаль, прибавил Франк, после минутного молчания: – я имею сильное желание откровенно представит отцу мое весьма неприятное положение.

Рандаль (*торжественно*). Гм! вот как!

Франк. Что же? неужли ты насчитаешь этого за самое лучшее средство? Мне никогда не сберечь требуемой суммы денег, никогда не выплатить мне всех долгов; они увеличиваются как снежный шар.

Рандаль. Судя по разговору сквайра, мне кажется, что с первого взгляда его на твои дела ты навсегда лишишься его благоволения. А для матери твоей это будет сильным ударом, особенно после того, как она полагала, что суммы, которую я недавно привез тебе, весьма достаточно для удовлетворения всех твоих кредиторов. Не уверь ты ее в этом, и тогда было бы совсем, другое дело; но – посуди сам – равнодушно ли перенесет подобное обстоятельство женщина, которая ненавидит ложь, и которая при мне говорила сквай-

ру: «Франк пишет, что это совершенно очистит его от долгов; при всех своих недостатках, Франк никогда еще не говорил лжи.»

– О дорогая маменька! Мне кажется, как будто я слышу тебя! вскричал Франк, с глубоким чувством. – Впрочем, Рандаль, я не сказал ей лжи: я не говорил, что эта сумма покрывает все мои долги.

– Ты уполномочил меня и просил сказать ей это, отвечал Рандаль, с суровой холодностью: – и пожалуста не вини меня, если я поверил тебе.

– Нет, нет! Я говорил только, что сумма эта в настоящее время облегчит меня.

– Очень жаль, что я не умел понять тебя: подобные ошибки могут повредить моей чести. Прости меня, Франк, и на будущее время не проси моей помощи. Ты видишь, что, при всем моем желании сделать для тебя лучшее, я ставлю самого себя в весьма неприятное положение.

– Если ты покинешь меня, мне останется одно средство: идти и броситься в Темзу, сказал Франк, с глубоким отчаянием: – рано или поздно, но отец мой узнает мои нужды. Уже евреи грозят мне идти к нему. Чем дальше откладывать, тем ужаснее будет объяснение;

– Я не вижу причины, почему твой отец должен знать положение твоих дел; и мне кажется, ты мог бы разделаться с ростовщиками и отделаться от векселей, заняв деньги у других лиц на более выгодных для тебя и легких условиях.

– Каким же образом? вскричал Франк с горячностью.

– Очень просто. Казино записано на тебя, следовательно ты можешь занять под залог его хорошую сумму, с тем, чтобы уплату произвести, когда это имение перейдет в полное твое владение.

– То есть при кончине моего отца? О нет, нет! Я не могу равнодушно подумать об этом оледеняющем кровь расчёте на смерть родителя. Я знаю, что это делается сплошь и рядом, – знаю многих своих товарищей, которые делали это; но они не имели таких великодушных родителей, каких имею я; даже и в них этот поступок приводил меня в ужас и возмущал мою душу. рассчитывать на смерть отца и извлекать выгоды из этого расчёта – это для меня кажется чем-то в роде отцеубийства, – это так ненатурально, Рандаль. Кроме того, неужели ты забыл, что говорил мой отец, со слезами, «никогда не рассчитывай на мою смерть; я терпеть не могу этого.» О, Рандаль! пожалуйста не напоминай мне об этом.

– Я уважаю твои чувства, но все же мне кажемся, что посмертное обязательство, которое тебе удастся заключить, ни одним днем не сократит жизни мистера Гэзельдена. Впрочем, действительно, выкинь из головы эту идею: нам нужно придумать какойнибудь другой план. Да вот что, Франк! ты весьма недурен собой, ожидания твои обширны, почему бы тебе не жениться на женщине с прекрасным капиталом.

– Какой вздор! воскликнул Франк, и яркий румянец раз-

лился по его щекам. – Ты знаешь, Рандаль, что в мире существует одна только женщина, о которой я постоянно думаю, и которую люблю так пламенно, что, при всей моей ветренности, свойственной молодым людям, мне кажется, как будто все другие женщины потеряли всякую прелесть. Сию минуту я проходил по улице Курзон, собственно затем, чтоб взглянуть на её окна....

– Ты говоришь о маркизе ди-Негра? Я только что простился с ней. Правда, она двумя-тремя годами старше тебя; но если ты можешь перенести это несчастье, то почему бы тебе не жениться на ней?...

– Жениться на ней! вскричал Франк, крайне изумленный, и в то же время весь его румянец уступил место мертвенной бледности. – Жениться на ней! ты говоришь это серьёзно?

– Почему же и нет?

– Впрочем, даже если она, при её совершенствах, при её красоте, – даже еслиб она согласилась на мое предложение, ты знаешь, Рандаль, ведь она беднее меня. Она откровенно призналась мне в этом. О, какая благородная душа у этой женщины! и кроме того.... ни отец мой, ни мать не согласятся на это. Я уверен, что они не согласятся.

– Вероятно, потому, что она иностранка?

– Да.... отчасти потому.

– Однакожь, сквайр согласился выдать свою кузину за иностранца.

– Это совсем другое дело. Он не имел никакого права

над Джемимой; иметь невестку иностранку – опять другое дело; у моего отца, ведь ты знаешь, понятия чисто английские... а маркиза ди-Негра, в строгом смысле слова, иностранка. В его глазах даже самая красота её будет говорить против неё.

– Мне кажется, что ты весьма несправедлив к своим родителям. Иностранка низкого происхождения – актриса, например, или певица – без всякого сомнения, вызвала бы сопротивление на твой брак; но женщина, подобная маркизе ди-Негра, такого высокого происхождения, с такими сильными связями....

Франк покачал головой.

– Не думаю, чтобы отец мой хоть сколько нибудь обратил внимания на её связи. Он одинаково смотрит на всех иностранцев вообще. И потом, ты знаешь, – и голос Франка понизился почти до шепота, – ты знаешь, что одна из самых главных причин, по которой она становится для меня неопценною, обратилась бы в непреодолимое препятствие со стороны устарелых обитателей родительского крова.

– Я не понимаю тебя, Франк.

– Я люблю ее еще более, сказал молодой Гэзельден, выпрямляясь и придавая лицу своему и своей осанке отпечаток благородной гордости, которая, по видимому, ясно говорила о его прямом происхождении от рыцарей и джентльменов: – я люблю ее тем более, что свет умел оклеветать её имя, потому что я верю, что она непорочна, что она оскорблена.

Но поверят ли этому в доме моего отца, – поверят ли этому люди, которые не смотрят на предметы глазами влюбленного, которые провели большую часть своей жизни в непреклонных английских понятиях о неблагопристойности и излишней свободе континентальных нравов и обычаев, и которые охотнее верят всему худшему? О нет, я люблю, я не могу противиться этой любви – и к этому не имею ни малейшей надежды.

– Весьма быть может, что суждения твои в этом случае имеют некоторую основательность, воскликнул Рандаль, как будто пораженный и в половину убежденный признанием своего товарища: – весьма быть может! и, конечно, я сам тоже думаю, что домашние твои, услышав о твоей женитьбе на маркизе ди-Негра, станут дуться сначала и ворчать. Но все же, когда отец твой узнает, что ты вступил в этот брак не по одной только любви, но чтоб избавить его от излишних денежных расходов, очистить себя от долгов, воспользоваться...

– Что ты хочешь сказать? воскликнул Франк нетерпеливо.

– Я имею причину полагать, что маркиза ди-Негра будет иметь такое огромное приданое, на какое отец твой, по всем вероятностям, мог бы рассчитывать для тебя за английской невестой. И когда это надлежащим образом будет объяснено сквайру, когда высокое её происхождение будет доказано и введено в его дом, мне кажется, что одно это достоинство подействовало бы на твоего отца как нельзя более, во-



преки твоим преувеличенным понятиям о его предразсудках, и когда он увидит маркизу ди-Негра и будет в состоянии судить о её красоте и редких дарованиях, клянусь честью, Франк, что тогда, мне кажется, тебе совершенно нечего бояться. Ко всему этому, ты единственный сын его. Чтоб устроить это дело миролюбивым образом, ему не будет предстоять другого способа, как только простить тебя; сколько мне известно, твои родители сильно желают видеть тебя устроенным в жизни.

Лицо Франка озарилось светом.

– Нет никакого сомнения, Рандаль, что кроме тебя никто так хорошо не понимает сквайра, сказал Франк, с непринужденной радостью. – Он сам отдает полную справедливость твоим верным суждениям. Неужели ты думаешь, что и в самом деле можно устранить в моих делах все препятствия?

– Мне кажется, что так. Однако, мне очень будет жаль, если я вовлеку тебя в какую нибудь опасность; и если, по здравом размышлении, ты полагаешь, что опасность неизбежна, в таком случае я очень советую тебе избегать свидания с бедной маркизой. Я вижу, ты начинаешь беспокоиться; но ведь я говорю это как для твоей, так и для её собственной пользы... Во первых, ты должен знать, что, если не имеешь серьёзного желания жениться на ней, твои намерения присоединятся к числу тех городских толков, которые не имеют никакого основания, и которые ты с таким жаром опровергаешь; а во вторых, мне кажется, что не всякий человек име-

ет право возбудить в душе женщины любовь к себе, особенно такой женщины, которая если полюбит, то будет любить всем сердцем и душой... да, не всякий человек имеет право возбуждать любовь к себе, для того только, чтоб удовлетворить своему тщеславию.

– Тщеславию! Праведное небо! Можешь ли ты так низко думать обо мне? Но что касается любви маркизы, продолжал Франк дрожащим голосом:– то скажи мне, как благородный человек, неужели ты полагаешь, что эту любовь я могу выиграть?

– Я почти не сомневаюсь, что половина её уже выиграна, сказал Рандаль, с улыбкой и выразительно кивнув головой:– однако, маркиза до такой степени горда, что не позволит тебе заметить, какое действие ты произвел на нее, особенно теперь, когда ты ни разу еще не намекнул на надежду получить её руку.

– Я не смел даже и думать о подобной надежде. Любезный Рандаль, все мои опасения исчезли – я строил воздушные замки – сию же минуту отправляюсь к ней.

– Подожди минуту, сказал Рандаль. – Позволь мне дать тебе маленькое предостережение. Я, кажется, недавно сказал тебе, что мадам ди-Негра получит, чего ты прежде не предполагал, состояние приличное её происхождению; если ты в настоящее время поступишь так круто, то, пожалуй, еще заставишь ее думать, что ты находился под влиянием этого известия.

– И в самом деле! воскликнул Франк, остановясь как вкопанный: казалось, что слова Рандаля задели его за живое. – Я признаю себя виновным: мне кажется, что я действительно находился под влиянием этого известия. Я нахожусь даже и теперь под этим влиянием, продолжал Франк, с простодушием, доходившим в некоторой степени до пафоса:– впрочем, надеюсь, что, при всем её богатстве, она не будет *весьма* богата; если так, то я лучше не пойду к ней.

– Успокойся, мой друг: все её богатство будет простираться от двадцати до тридцати тысяч фунтов – до суммы, весьма достаточной, чтоб уплатить все твои долги, устранить все препятствия к вашему союзу, в замен чего ты можешь записать на нее казино. Это главное; но я скажу тебе еще более: мадам ди-Негра имеет, как ты уже заметил, благородное сердце, и сама говорила мне, что до тех пор, пока не приехал её брат и не уверил ее в получении этого капитала, она ни под каким видом не согласилась бы выйти за тебя, ни за что не решилась бы поставить в затруднительное положение человека, которого любит. С каким восторгом она будет лелеять мысль, что поможет тебе возвратить любовь твоего отца! Впрочем, до некоторого времени советую тебе быть осторожным. А теперь, Франк, что ты скажешь, хорошо ли будет, если я отправлюсь в Гэзельден и узнаю мнение твоих родителей по этому предмету? Правда, в настоящее время мне не совсем-то удобно отлучаться из города; но я готов сделать еще более, чтоб оказать тебе хотя небольшую

услугу. Да, я завтра же поеду в Руд-Голл и оттуда в Гэзельден. Я уверен, что отец твой убедительно будет просить меня остаться и этим предоставит мне удобный случай сделать правильное заключение, в хорошую или дурную сторону примет он твоё намерение жениться на маркизе. Мы можем тогда действовать уже сообразно этому заключению.

– Дорогой, неоцененный Рандаль! чем могу я благодарить тебя? Если такой несчастный человек, как я, может оказать тебе услугу... по нет, это невозможно!

– Само собою разумеется, невозможно, потому что я никогда не попрошу тебя быть поручителем за какойнибудь мой вексель, сказал Рандаль. – Ты, кажется, видишь, что все мои действия клонятся единственно к соблюдению экономии.

– Да, да, произнес Франк, с тяжелым вздохом: – это потому, что ум твой превосходно образован – ты имеешь такое множество средств и способов к своему возвышению! А все мои заблуждения, все мои пороки проистекают из лени. Еслиб я имел какоенибудь занятие на ненастные дни, то никогда бы не поставил себя в такое затруднительное положение.

– О! современем ты будешь иметь бездну занятий над приведением в порядок своего имения. Мы, неимеющие недвижимости, по необходимости должны в познаниях отыскивать средства к своему существованию. Прощай, любезный Франк! мне пора домой. Да, кстати: тебе не случа-

лось ли когда говорить с маркизой о Риккабокка?

– О Риккабокка? Нет... Какую прекрасную мысль ты подал мне? Весьма вероятно, что ей интересно будет узнать, что моя родственница замужем за её соотечественником. Странно, что я до сих пор не сообщил ей об этом! Впрочем, надобно сказать правду, я очень мало говорил с ней: она во всех отношениях стоит гораздо выше меня, так что при ней я делаюсь необыкновенно застенчив.

– Франк, сделай мне одолжение, сказал Рандаль, терпеливо ожидая окончания ответа Франка и в то же время сообщая, какую бы представить причину подобной просьбы:– сделай милость, Франк, не намекай о Риккабокка ни ей, ни её брату, с которым, без всякого сомнения, ты будешь знакомлен.

– Почему же не намекать им?

Рандаль с минуту оставался в нерешимости. Изобретательность его ума на этот раз оставалась в совершенном бездействии, и – удивительно – он рассудил за лучшее в ответе своем почти не отступать от истины.

– Я скажу тебе, почему. Маркиза ничего не скрывает от брата, а брат её, как говорят, повсюду отыскивает какого-то своего соотечественника.

– Что же из этого следует?

– Может быть, что бедный доктор Риккабокка именно тот, кого ищет брат маркизы.

– Но ведь здесь он находится в совершенной безопасно-

сти, сказал Франк, побуждаемый врожденным убеждением в неприкосновенность своего родного острова.

– Правда, правда; но Риккабокка может иметь весьма уважительные причины, и, если говорить откровенно, он имеет эти причины для сохранения своего инкогнито; а тебе известно, что мы обязаны уважать подобные причины, не входя в дальнейшие подробности.

– Как ты хочешь, Рандаль, а я не смею думать так неблагородно о маркизе ди-Негра, возразил Франк, с непоколебимой уверенностью:– я не смею допустить предположения, что она может унижить себя до степени лазутчицы, с тем, чтобы действовать ко вреду своего соотечественника, поверяющего себя тому же гостеприимству, которым пользуется она сама. О, еслиб я подумал об этом, я не мог бы любить ее! прибавил Франк, с энергией.

– Конечно, ты прав; но подумай, в какое неприятное положение ты можешь поставить ее и её брата. Если бы они узнали тайну Риккабокка, это было бы жестоко и неблагородно.

– Да, да, это верно.

– Короче сказать, скромность твоя не может сделать ни малейшего вреда, а нескромность может послужить поводом к величайшему несчастью. Поэтому-то, Франк, я и прошу тебя дать мне благородное слово. Я не имею времени представить тебе более убедительные доказательства.

– Клянусь честью, что я не намекну на Риккабокка, отвечал Франк: – но все же я уверен, что он точно так же был бы

безопасен, еслиб знала о нем маркиза, как и....

– Я вполне полагаюсь на твое благородное слово, торопливо прервал Рандаль и, не дожидаясь дальнейших возражений, вышел из комнаты.

## Глава LXXV

На другой день, вечером, Рандаль Лесли тихо шел по большей дороге из деревни (находившейся милях в двух от Руд-Голла), в которой останавливался дилижанс. Он проходил мимо пашней, лугов и по опушкам леса, которые некогда принадлежали его предкам, но уже давно сделались чужим достоянием. Он был один среди мест, где проведены были первые, ребяческие годы его жизни, среди сцен, где развилась в нем неутолимая жажда к приобретению познаний. По дороге он часто останавливался, особенно когда в окрестных ложбинах открывались перед ним подернутые синеватым туманом церковная башня или угрюмые сосны, возвышающиеся над опустелыми равнинами Руда.

«Здесь – думал Рандаль, окидывая спокойным взором знакомую местность – как часто, сравнивая здесь плодоносную почву полей, перешедших от моих отцов во владение других людей, с опустелыми, дикими местами, окружающими полу-разрушенный господский дом, – о, как часто я говорил себе: «я возобновлю, восстановлю богатство моего дома.» И вот наконец многолетний труд сбросил оболочку с труженика, возвысил его, и книги обратились для него в живое войско, готовое служить его замыслам. Еще раз – и только раз – о ты, непреодолимое прошедшее, вразуми и укрепь меня в борьбе с моим будущим.»



Бледные губы Рандалья скривились, когда он говорил эти слова. Заметно было, что в то время, как он обращался к своей воле, в нем заговорила совесть, и её голос, среди безмолвного сельского пейзажа, звучал гораздо громче, чем среди волнения и шума того вооруженного и никогда несмыкающего глаз лагеря, который мы называем городом, и он вдруг воскликнул громко:

«Тогда я стремился к славе и величию, *теперь*, когда сделан уже такой широкий шаг на открытом мне поприще, почему все средства к достижению славы, казавшиеся такими возвышенными, исчезли от меня, а средства, которые я обдумываю, представляются такими, какие ребяческий мой возраст назвал бы ничтожными и низкими? Неужли это потому, что в ту пору я читал одни только книги, а теперь все мое знание основывается на изучении людей? Но – продолжал он, понизив голос, как будто убеждая самого себя – если силу должно приобрести не иначе, как этими средствами – да и какая польза в знании, если оно не доставляет силы! – и кто оценит, кто обратит внимание на умного человека, если неудачи будут сопровождать его повсюду?»

Рандаль продолжал свой путь; но, несмотря на то, тишина, окружавшая его невозмутимым спокойствием своим, как будто упрекала его; рассудок и совесть не согласовались с настроением его души. Бывают минуты, когда природа, как ванна юности, если можно допустить подобное сравнение, возвращает, по видимому, увядшей душе её

прежнюю свежесть, – минуты, в течение которых человек как будто перерождается. Кризисы жизни бывают безмолвны – они не подают отголоска. . . . Но вот взорам Рандаля Лесли открылась новая сцена. В сырой, угрюмой ложбине виднелись по частям пустынный приходский выгон, полу-разрушенная церковь и старый дом. Все эти предметы, казалось, еще более углубились в ложбину и сделались еще ниже с тех пор, как Рандаль видел их в последний раз. Несколько молодых людей играли на выгоне. Рандаль остановился подле забора и любовался игрой, потому что в числе играющих он узнал брата своего Оливера. Но вдруг мяч прилетел к Оливеру, группа в одну минуту окружила молодого джентльмена и хотя скрыла его от взоров Рандаля, но до слуха старшего брата долетали слишком неприятный крик и громкий хохот. Оливер успел наконец отвернуться от сучковатых палок, грозивших ему со всех сторон, но не ранее, однакож, как получив несколько ударов по ногам, что можно было заключить по его крикам, которые превратились в вопль и заглушались восклицаниями.: «Убирайся к своей маменьке! Поделом тебе, негодная дрянь Лесли! Ступай, ступай! игра твоя кончилась.»

Жолто-бледное лицо Рандаля покрылось ярким румянцем. «Дурацкия шутки, и над кем же! над фамилией Лесли!» произнес он и заскрежетал зубами. Перескочив в один момент через забор, Рандаль принял надменную осанку и пошел по выгону. Играющие с негодованием закричали

на него. Рандаль приподнял шляпу: они узнали его и остановили игру. К нему они оказывали еще некоторое уважение. Оливер быстро взглянул назад и подбежал к брату. Рандаль крепко взял его за руку и, не сказав ни слова играющим, повел его прямо домой. Оливер бросил томный, грустный взгляд на своих товарищей, потер себе ноги и потом робко взглянул на угрюмое лицо Рандаля.

– Ты не сердись, что я играл в мяч с нашими соседями? сказал он ласковым, умоляющим тоном, заметив, что Рандаль не хотел нарушить молчание.

– Нет, отвечал старший брат: – но надобно заметить тебе, что джентльмен, вступая в близкия отношения с низшими, должен уметь сохранять свое достоинство. Я не вижу ничего дурного в игре с низшими, но джентльмену должно играть так, чтобы не быть посмешищем мужиков.

Оливер повесил голову, не сделав на это никакого возражения. Оба брата вступили наконец в грязные пределы скотного двора, и свиньи с таким же изумлением смотрели на них из за забора, как смотрели, несколько лет назад, на Франка Гэзельдена.

Мистер Лесли-отец, в измятой, местами изорванной соломенной шляпе, кормил у самого порога кур и цыплят и исполнял это занятие с необыкновенно печальным, плачевным видом и леностью, опуская зерна почти одно за другим из неподвижных, онемевших пальцев.

Сестра Рандаля сидела с распущенными волосами на пле-

темом стуле и занималась чтением какого-то оборванного романа. Из окна гостиной раздавался плаксивый голос мистрисс Лесли, по которому можно было заключить, что она находилась в сильных хлопотах и огорчении.

– А! Рандаль, сказал мистер Лесли, взглянув на сына весьма неохотно: – здравствуй, мой друг! как поживаешь? Кто бы мог ожидать тебя в такую пору!.. Друг мой.... душа моя! вскричал он, прерывающимся голосом и с сильным замешательством: – к нам пожаловал Рандаль и, вероятно, хочет пообедать, или поужинать, или чего нибудь в этом роде.

Между тем сестра Рандалья спрыгнула со стула и обвила руками шею брата. Рандаль ласково отвел ее в сторону. Надобно заметить, что вся нежная и сильная родственная любовь его сосредоточивалась на одной только сестре.

– Джульета, ты делаешься премиленькая, сказал он, приглаживая назад её волосы: – почему ты до такой степени несправедлива к самой себе, почему ты не обращаешь внимания на себя, тем более, что я так часто просил тебя об этом?

– Я совсем не ждала тебя, милый Рандаль! ты всегда приезжаешь к нам неожиданно и всегда застаешь нас в таком беспорядке; к нам никто другой не приезжает так, как ты. Вернее сказать, впрочем, что к нам вообще никто не приезжает! сказала Джульета, заключив слова свои глубоким вздохом.

– Терпение, терпение, милая сестра! Пора моя насту-

пает, а вместе с ней наступит и твоя пора, отвечал Рандаль, с неподдельным сожалением взглянув на сестру, которая, при самом ничтожном попечении, могла бы обратиться в прекраснейший цветок, и которая в эту минуту похожа была на былинку.

Мистрисс Лесли, под влиянием сильного душевного волнения, пролетев чрез гостиную, оставив кусок своего платья между отделившимися бронзовыми карнизами до сих пор непочиненного рабочего стола, выбежала в крылечные двери, рассеяла во все стороны куриный корм заключила Рандаля в материнские объятия.

– Ах, Рандаль, ты всегда так сильно расстроиваешь мои нервы! вскричала она, после поцалуя, необыкновенно поспешного и отнюдь не нежного. – К тому же ты голоден, а у нас в доме нет ничего, кроме холодной баранины! Дженни, Дженни!.. послушай, Дженни!.. Джульета, ты видела Дженни? Куда девалась Дженни?... Ах, негодная! она опять ушла!..

– Я не голоден, матушка, сказал Рандаль: – кроме чаю, я ничего больше не хочу.

Джульета побежала в дом готовить чай и вместе с тем привести в порядок свой туалет. Она нежно любила своего прекрасного братца, но в то же время и сильно боялась его.

Рандаль присел к полу-разрушенному палисаду.

– Берегись, Рандаль: того и смотри, что этот палисад обрушится, сказал мистер Лесли, с заметным беспокойством.

– Не беспокойтесь, сэр: я очень легок – со мной вместе ничего не обрушится.

Свиньи приподняли свои морды и хрюканьем выражали изумление при виде незнакомца.

– Матушка, сказал молодой человек, удерживая мистрисс Лесли, которая хотела пуститься в погоню за Дженни: – матушка, зачем вы позволяете Оливеру связываться с мужиками? Теперь бы время подумать о выборе для него какой-нибудь профессии.

– Время, время! он нас объел совершенно – страшный аппетит! Что касается профессии, то скажи пожалуйста, к чему он способен? Ведь ему уж не бывать ученым.

В знак согласия, Рандаль с угрюмым видом кивнул головой. Надобно заметить, что Оливер находился уже в Кэмбриджском университете и содержался там на счет остатков из жалованья Рандаля; но, к несчастью, Оливер не мог выдержать самого слабого испытания.

– Вот, например, военная служба, сказал старший брат: – это призвание прилично каждому джентльмену. Джульета должна быть очень хороша собой.... но... я оставил деньги на учителей.... а она говорит по французски как горничная.

– Однако, она очень любит читать книги. Она всегда читает – и больше ни к чему не годится.

– Читает? эти дрянные романы!

– Ну, так и есть! ты всегда приезжает браниться и делать неприятности, сказала мистрисс Лесли, крайне недо-

вольная. — Ты сделался слишком умен для нас; а право, мы и без того уже переносим так много оскорблений от чужих, что, право, не мешало бы видеть хотя легкое уважение к себе в своих детях.

— Я не думал оскорблять вас, матушка, сказал Рандаль печально. — Простите меня. Но кто же эти чужие, которые оскорбляют вас?

И мистрисс Лесли вступила в самый подробный и невольным образом приводящий в раздражение отчет о всех полученных ею обидах и оскорблениях, о всех огорчениях, весьма обыкновенных в кругу бедного провинциального семейства с большими претензиями и с ничтожной властью, — обыкновенных в кругу людей без всякого расположения нравиться, без всякой возможности оказать какуюнибудь услугу другим, — людей, которые слишком преувеличивают всякую обиду и не бывают признательны за оказанные им благодеяния. Например, фермер Джонс так дерзко поступил, отказав прислать фуру для привоза угля из складочного места, находившегося в двадцати милях от Руд-Голла. Мистер Джэйлз, мясник, требуя уплаты счета, между прочим, упомянул, что поставка мяса в Руд-Голл так незначительна, что он рассудил за лучшее прекратить дальнейший кредит. Сквайр Торнгилл, нынешний владетель самого лучшего участка земли, принадлежавшего прежде фамилии Лесли, осмелился просить позволения охотиться во владениях мистера Лесли, потому что сам мистер Лесли никогда не охотился. Лэ-

ди Спратт, приезжая лондонская дама, нанявшая соседнюю мызу, приняла к себе в дом служанку, находившуюся до этого в услужении у мистрисс Лесли, и при этом случае не хотела осведомиться о поведении служанки. Начальник округа давал бал – и не пригласил к себе мистера и мистрисс Лесли. Ко всему этому, сквайр Гэзельден и его Гэрри приезжали в Руд, и хотя мистрисс Лесли закричала Дженни; «сказать, что дома нет!» однакожь, сквайр, увидев ее у окна, насильно ворвался в комнату и застал все семейство в весьма неблагопристойном положении. Это еще все бы ничего, но сквайр вздумал учить мистера Лесли, каким образом лучше управлять именем, а мистрисс Гэзельден осмелилась приказать Джульете держать прямо голову и причесывать свои волосы: «как будто мы какие нибудь поселяне», сказала мистрисс Лесли, обнаружив при этом всю гордость рода Монтфиджетов.

Хотя Рандаль был на столько благоразумен, что не хотел обращать внимания на все эти и многие другие незначительные огорчения, но все же они возбуждали жолчь и производили мучительное ощущение в душе наследника Руд-Голла. Даже при всей благонамеренной услужливости Гэзельденов, они обезоруживали самое незначительное уважение, которое оказывалось упавшей фамилии. В то время, как Рандаль, угрюмый и безмолвный, все еще сидел на обросшем мхом палисаде, и когда мистрисс Лесли, в чепчике, надетом совершенно набок, стояла подле него, мистер Лесли подошел



к ним, переваливаясь с боку на бок, и печальным, почти плачевным голосом сказал:

– Недурно, Рандаль, мой друг, иметь бы нам порядочную сумму денег.

Надобно отдать справедливость мистеру Лесли: он очень редко решался выражать желания, которые бы обнаружили в нем корыстолюбие. Вероятно, в душе его происходила чересчур сильная тревога, если она выступила из её нормальных пределов беспечного, постоянно дремлющего довольства.

Рандаль взглянул на отца с изумлением.

– К чему же вам нужна такая сумма? сказал он.

– Вот к чему: поместья Руд и Дулмансбери и все земли, принадлежащие им, которые распроданы были моим прадедом, будут снова продаваться, когда старшему сыну сквайра Торнгилла исполнится совершеннолетие, и когда он получит определенное наследство. Мне бы очень хотелось перекупить эти места. Согласись сам, ведь стыдно и больно видеть, как имение Лесли теребится и покупается какиминибудь Спраттами и им подобными. Желал бы, очень бы желал я иметь теперь большую, огромную сумму наличных денег.

Говоря это, несчастный джентльмен выпрямил свой неподвижные пальцы, и потом впал в глубокую задумчивость.

Рандаль вскочил с палисада. Быстрота этого движения перепугала стадо задумавшихся свиней, которые с визгом и хрюканьем разбежались в разные стороны.

– А когда молодому Торнгиллу исполнится совершеннолетие? спросил он.

– В августе ему минуло девятнадцать лет. Я знаю это потому, что в день его рождения мне привелось найти окаменелую моржовую челюсть, подле самой дулмансберийской церкви, и я поднял ее в ту самую минуту, когда колокола возвестили о рождении Торнгилла. Моржовая челюсть! Рандаль, я непременно включу ее в мое завещание....

– Два года еще.... почти два года.... да, да! сказал Рандаль.

В это время явилась сестра Рандаля – просить всех к чаю; он обнял ее и поцаловал. Джульета убрала свои волосы и принарядилась. Она казалась очень хорошенькой и имела вид благовоспитанной барышни; в её стройном стане и правильной головке было что-то, имеющее близкое сходство с головой и станом Рандаля.

– Потерпи, потерпи еще немного, милая моя сестра, прошептал Рандаль: – пусть твое сердце останется незанятым в течение еще двух лет.

За чаем в кругу родных Рандаль был необыкновенно весел. Когда кончилась эта скромная трапеза, мистер Лесли закурил трубку и сел за стакан грогу. Мистрисс Лесли начала расспрашивать о Лондоне, о Дворе, о новом короле и новой королеве, о мистере Одлее Эджертоне, и надеялась, что мистер Эджертон оставит Рандалю все свои деньги, что Рандаль женится на богатой невесте, и что, современем, ко-

роль сделает его первым государственным министром: и тогда хотела бы она посмотреть, как откажет фермер Джон послать свою фуру за углем! Каждый раз, как только слова «богатство» или «деньги» долетали до слуха мистера Лесли, он уныло качал головой, вынимал трубку из зубов и производил: «Спратт ни под каким видом не должен иметь того, что принадлежало моему прапрадеду. О! еслиб только у меня была порядочная сумма денег, я возвратил бы старинные фамильные имения!» Оливер и Джульета сидели молча и вели себя пристойно. Рандаль, углубляясь в свои отвлеченные думы, как будто сквозь сон слышал слова «деньги – Спратт... прапрадед... богатая жена – фамильные имения»; они звучали для него неясно и где-то очень далеко, как предостережения из мира сказочного и романтического, как роковые предвестники будущих событий.

Таков был очаг, согревавший змею, которая гнездилась в сердце Рандаля, отравляя все стремления, которые юность могла бы сделать невинными, честолюбие – возвышенными, а познания – благотворными и в высшей степени превосходными.

# Часть восьмая

## Глава LXXVI

Когда в доме мистера Лесли находились все под влиянием глубокого сна, Рандаль долго стоял у открытого окна, любуясь печальной, безотрадной картиной. Луна, сквозь полу-осенняя, полу-зимняя облака и сквозь расселины старых сучковатых сосен, разливала тусклый свет на ветхий дом, обращавшийся в развалины. И когда Рандаль лег спать, его сон был лихорадочный, непрерывно тревожимый странными и страшными грёзами.

Как бы то ни было, поутру он встал очень рано. Его щеки пылали румянцем, который сестра Рандаля приписывала действию деревенского воздуха. После завтрака он отправился в Гэзельден, верхом на посредственной лошади, которую нанял у ближайшего фермера. Перед полднем взорам Рандаля открылись сад и терраса казино. Рандаль опустил поводья. Подле маленького фонтана, при котором Леонард любил завтракать и читать, Рандаль увидела. Риккабокка, сидевшего под тению красного зонтика. Подле итальянца стояла женская фигура, которую древний грек непременно бы принял за Няяду, потому что в её девственной красоте было что-то особенно привлекательное, до такой степени

полное поэзии, до такой степени нежное и величественное, что оно сильно говорило воображению и в то же время пленяло чувство.

Рандаль слез с лошади, привязал ее к калитке и, пройдя по трельяжной аллее, очутился подле Риккабокка. Темная тень Рандаля отразилась в зеркальной поверхности бассейна, в то самое время, когда Риккабокка произнес: «Здесь все так далеко, так безопасно от всякого зла! поверхность этого бассейна ни разу еще не возмущалась как возмущается поверхность быстрой реки!» и когда Виоланта, приподняв свои черные выразительные взоры, возразила, на своем нежном отечественном языке: «Но этот бассейн был бы безжизненной лужей, еслиб брызги фонтана не летели к небесам! »

Рандаль сделал шаг вперед.

– Боюсь, синьор Риккабокка, что я виноват, являясь к вам без церемонии.

– Обходиться без церемонии – самый лучший способ выразить учтивость, отвечал вежливый итальянец, оправляясь после первого изумления от неожиданных слов Рандаля и протягивая руку.

На почтительный привет молодого человека Виоланта грациозно поклонилась.

– Я еду в Гэзельден-Голл, снова начал Рандаль: – и, увидев вас в саду, не мог проехать мимо, не засвидетельствовав вам почтения.

– Вы едете из Лондона? беспокойные времена наступили

для вас, англичан, а между тем я не спрашиваю у вас о новостях. Нас не интересуют никакие новости.

– Быть может, да.

– Почему же может быть? спросил изумленный Риккабокка.

– Вероятно, он говорит об Италии, сказала Виоланта: – а новости из той страны еще и теперь, папа, имеют на вас влияние.

– Нет, нет! ничто на меня не имеет такого влияния, как это государство. Его восточные ветры могут быть пагубными даже для пирамиды! Завернись в мантилью, дитя мое, и иди в комнаты: воздух вдруг сделался пронзительно холодный.

Виоланта улыбнулась своему отцу, принужденно взглянула на серьезное лицо Рандаля и медленно пошла к дому.

Пропустив несколько моментов, как будто ожидая, когда начнет говорить Рандаль, Риккабокка сказал, с притворной беспечностью:

– Так вы думаете, что есть новости, которые могут заинтересовать меня? – *Corpo di Vacco!* желал бы я знать, какие именно эти новости?

– Быть может, я и ошибаюсь; это зависит, впрочем, от вашего ответа на один вопрос. Знаете ли вы графа Пешьера?

Риккабокка задрожал; лицо его покрылось мертвенной бледностью. Он не мог избежать наблюдательного взора Рандаля.

– Довольно, сказал Рандаль: – теперь я вижу, что я прав.

Положитесь на мою скромность и чистосердечие. Я говорю собственно с той целью, чтобы предостеречь вас и оказать вам некоторую услугу. Граф старается узнать убежище своего соотечественника и родственника.

– И для чего же? вскричал Риккабокка, забывая свою всегдашнюю осторожность. – Его грудь волновалась, щеки покрылись румянцем, глаза горели; отвага и самоохранение вышли наружу из под привычной осторожности и умения управлять своими чувствами. – Впрочем, прибавил Риккабокка, стараясь возвратить спокойствие: – впрочем, до этого мне нет никакого дела. Признаюсь, сэра, я знаю графа ди-Пешьера; но какое же отношение может иметь доктор Риккабокка к родственникам такой знаменитой особы?

– Доктор Риккабокка – конечно, никакого. Но... при этом Рандаль наклонился к уху итальянца и прошептал ему несколько слов. Потом он отступил на шаг и, положив руку на плечо изгнанника, прибавил в слух: – нужно ли говорить вам, что ваша тайна остается при мне в совершенной безопасности?

Риккабокка не отвечал. В глубоком размышлении он смотрел в землю.

Рандаль продолжал:

– И, поверьте, я буду считать за величайшую честь, какую вы можете оказать мне, позволив мне помогать вам в отстранении угрожающей опасности.

– Благодарю вас, сэра, сказал Риккабокка: – тайна моя при-

надлежит вам, и, я уверен, она сохранится, потому что я открываю ее английскому джентльмену. По некоторым семейным обстоятельствам, я должен избегать встречи с графом Пешьера, и, действительно, только тот безопасно проходит на пути жизни мимо подводных камней, кто, направляя курс, избегает близкого столкновения с своими родственниками.

На лице бедного Риккабокка появилась язвительная улыбка в то время, как он произносил это умное, но вместе с тем и жалкое правило итальянцев.

– Я так еще мало знаю графа Пешьера, что все мои сведения о нем основаны на светских толках. Говорят, что он пользуется всеми доходами с имения своего родственника, который оставил свое отечество.

– Это правда. Пусть он и довольствуется этим: чего же еще желает он? Вы намекнули мне об угрожающей опасности: скажите, в чем заключается эта опасность? Я нахожусь в Англии и, следовательно, пользуюсь защитой её законов.

– Позвольте мне узнать, действительно ли граф Пешьера может считать себя законным наследником тех имений, которыми он пользуется и пользуется, вероятно, на том основании, что родственник его и владетель этих имений не имеет детей?

– Может, отвечал Риккабокка. – Что же из этого следует?

– Мне кажется, одна эта мысль уже грозит опасностью дитяти того родственника.

Риккабокка отступил и, с трудом переводя дыхание, про-



изнес:

– Дитяти! Надеюсь, что вы не намерены сказать мне, что этот человек, при всем своем бесславии, не замышляет к прежним своим преступлениям прибавить преступление убийцы?

Рандаль смутился. Его положение было щекотливое. Он не знал, что именно служило поводом ненависти Риккабокка к графу. Он не знал, согласится ли Риккабокка на брак, который бы возвратил его в отечество, и потому решился прокладывать себе дорогу ощупью.

– Я не думал, сказал Рандаль, с серьёзной улыбкой: – приписывать такого ужасного обвинения человеку, которого я ни разу не видел. Он ищет вас – вот все, что я знаю, – и заключаю, что в этом поиске он имеет в виду сохранение своих интересов. Быть может, все дела примут благоприятный оборот при вашем свидании.

– При свидании! воскликнул Риккабокка: – я могу допустить одну только возможность нашей встречи – нога к ноге и рука к рукф.

– Неужли это так? В таком случае вы не захотите выслушать графа, если бы он вздумал сделать вам дружелюбное предложение, если бы, например, он искал руки вашей дочери?

Несчастный итальянец, всегда умный и проницательный в разговоре, сделался безразсуден и слеп при этих словах Рандаля. Он обнажил всю свою душу перед его взорами,

чуждыми сострадания.

– Моей дочери! воскликнул Риккабокка. – Сэр, ваш вопрос уже есть для меня оскорбление.

Дорога Рандаля сразу очистилась.

– Простите меня, сказал он кротко: – я откровенно сообщу вам все, что мне известно. Я знаком с сестрою графа и имею над ней некоторое влияние; она-то и сказала мне, что граф прибыл сюда, с целью открыть ваше убежище и жениться на вашей дочери. Вот в чем заключается опасность, о которой я говорил вам. И когда я просил у вас позволения помочь вам в устранении её, я намеревался сообщить вам идею о том, не благоразумнее ли будет с вашей стороны отыскать для своего жительства более безопасное место, и чтобы я, если позволено мне будет знать это место и посещать вас, мог от времени до времени сообщать вам планы графа и его действия.

– Благодарю вас, сэр, от чистого сердца благодарю; сказал Риккабокка с душевным волнением; – но неужли я здесь не в безопасности?

– Сомневаюсь. В сезон охоты к здешнему сквайру съезжается множество гостей, которые услышат о вас, быть может, увидят вас, и которые, весьма вероятно, встречаются с графом в Лондоне. Притом же Франк Гэзельден, который знаком с сестрой графа....

– Правда, правда, прервал Риккабокка. – Вижу, все вижу. Я подумаю об этом. Вы едете в Гэзельден-Голл? ради Бога,

не говорите сквайру об этом ни слова; он не знает тайны, которую вы открыли.

Вместе с этими словами Риккабокка слегка отвернулся, а Рандаль сделал движение уйти.

– Во всяком случае располагайте мною и во всем положитесь на меня, сказал молодой предатель и скоро дошел до калитки, у которой оставалась его лошадь.

Садясь на лошадь, Рандаль еще раз бросил взгляд к тому месту, где оставил Риккабокка. Итальянец все еще стоял там. Между тем в кустарниках показалась фигура Джакеймо. Риккабокка быстро обернулся назад, узнал своего слугу, из груди его вылетело восклицание такое громкое, что донеслось до слуха Рандаля, и потом, схватив Джакеймо за руку, исчез вместе с ним в тенистых углублениях сада.

«Превосходная вещь выйдет – думал Рандаль, трогаясь с места – если мне удастся поселить их гденибудь поближе к Лондону: я буду иметь множество случаев видеться и, смотря по обстоятельствам, овладеть прекрасной и богатой наследницей.»

## Глава LXXVII

– Клянусь честью, Гэрри! вскричал сквайр, возвращаясь вместе с женой с фермы, где они осматривали породистых корове, только что поступивших в стадо: – клянусь честью, Гэрри, это непременно Рандаль Лесли хочет попасть в парк боковыми воротами! Ало, Рандаль! проезжайте через главные ворота! Вы видите, что там нарочно заперто от нарушителей чужих пределов.

– Очень жаль, сказал Рандаль: – я люблю короткия дороги, а вы распорядились запереть самую кратчайшую.

– Так говорили все проходившие через те ворота, возразил сквайр: – однако, Стирну не угодно было обратить на это внимание... Неоцененный человек этот Стирн!.. Объезжайте кругом, дайте шпоры лошади, и вы догоните нас прежде, чем мы доберемся до дому.

Рандаль кивнул головой, улыбнулся и помчал.

Сквайр взял под руку свою Гэрри.

– Ах, Вильям, сказала она с беспокойством: – хотя намерения Рандаля Лесли прекрасны, но я всегда боюсь его посещений.

– В одном отношении и я боюсь его, заметил сквайр: – он всегда увозит к Франку несколько десятков фунтов стерлингов.

– Надобно надеяться, что он предан Франку всей душой,

сказала мистрисс Гэзельден.

– Кому же другому он будет предан? Ужь верно не себе.... Бедняга! он ни за что на свете не возьмет от меня шиллинга, хотя его бабушка точно так же принадлежала к фамилии Гэзельден, как и я. Впрочем, мне очень нравятся его гордость и его бережливость. Что касается до Франка....

– Оставь, оставь, Вильям! вскричала мистрисс Гэзельден и рукой закрыла сквайру рот.

Сквайр смягчился и нежно поцаловал прекрасную руку Гэрри. Быть может, он поцаловал и губки, но мы этого не видели, знаем только, что превосходная чета, когда подъехал к ней Рандаль, подходила к дому в добром согласии.

Рандаль не показал виду, что замечает некоторую холодность в обращении мистрисс Гэзельден, – напротив того, немедленно заговорил с ней о Франке: выхвалял наружность этого молодого джентльмена, распространился о его здоровье, его популярности и прекрасных дарованиях, как личных, так и умственных, – и все это согрето было такой теплотой, что все неясные и не вполне еще развитые сомнения и опасения мистрисс Гэзельден были быстро рассеяны.

Рандаль не переставал быть любезным в этом роде, до тех пор, пока сквайр, убежденный в том, что его молодой родственник принадлежал к числу первоклассных агрономов, непременно захотел прогуляться вместе с ним на ферму, между тем как Гэрри поспешила домой приказать приготовить комнату для Рандалья.

Вместе с приближением к зданиям фермы, Рандалем постепенно овладевал ужас: он страшился одной мысли показаться в глазах сквайра обманщиком, потому что, несмотря на подробное изучение Буколик и Георгик, которыми он ослеплял сквайра, бедный Франк, по мнению отца, неимевший никакого понятия в делах сельского хозяйства, совершенно уничтожил бы Рандаля, еслиб дело коснулось суждения о достоинстве рогатого скота и урожае хлеба.

– Ха, ха! я с нетерпением жду минуты, когда вы поставите втупик моего Стирна. Вы сразу узнаете, умеем ли мы удобрять наши поля; а когда пощупаете бока моих камолых, так готов побожиться, что вы отгадаете до последнего фунта количество избоины, которое они съели.

– Сэр, вы оказываете мне слишком много чести, – слишком много. Мне известны одни только общие правила агрономии. Подробности, по-моему мнению, в высшей степени интересны; но, к сожалению, я не имел случая познакомиться с ними.

– Вздор! вскричал сквайр. – Каким образом можно знать общие правила, не изучив сначала подробностей? Вы слишком скромны, милый мойю А! вон и Стирн поглядывает на нас.

Рандаль увидел свирепое лицо Стирна, выглядывавшее из скотного двора, и еще сильнее почувствовал неприятность своего положения. Он сделал отчаянное усилие переменить расположение духа сквайра.

– Я должен сказать вам, сэр, что, может статься, Франк в скором времени удовлетворит ваше желание и сам делается хорошим фермером.

– Каким это образом? вскричал сквайр, остановившись на месте как вкопанный.

– Очень просто: положим, что он женится.

– Я отдал бы ему, без всякого возмездия, две фермы, самые лучшие из всего имения... Ха, ха! вот оно что!.. Да видел ли он свою невесту?.. Я предоставляю ему выбор на его произвол. Я сам женился по собственному выбору: каждый человек должен жениться таким же образом. Недурно было бы, еслиб выбор его пал на мисс Стикторайтс: она наследница и, как носят слухи, очень скромная девица. Эта женитьба прекратила бы нашу тяжбу из за клочка никуда негодной земли, – тяжбу, которая началась еще в царствование Карла Второго и, весьма вероятно, кончится в день страшного суда. Впрочем, нам нечего и говорить об этой невесте: пусть Франк выбирает себе по своему вкусу.

– Я непременно скажу ему об этом. Касательно этого я боялся встретить в вас некоторые предубеждения. Но вот уже мы и на ферме.

– Сгори огнем эта ферма! До фермы ли теперь, когда вы говорите о женитьбе Франка! Пойдем сюда, – вот сюда.... Что вы хотели сказать о моих предубеждениях?

– Быть может, например, вы хотите, чтобы Франк женился непременно на англичанке?

– На англичанке! Праведное небо! неужли он намерен жениться на какойнибудь индианке?

– О, нет! Я хорошенько не знаю, намерен ли еще жениться он: я только догадываюсь; но в случае, еслиб он влюбился в иностранку....

– В иностранку! Значит Гэрри была....

И сквайр не досказал своей мысли.

– Да, да, – и притом в такую иностранку, заметил Рандаль, и заметил весьма несправедливо, если ссылаясь на Беатриче ди-Негра: – в такую, которая очень мало говорит по английски.

– Не скажете ли еще чегонибудь?

– Кажется, в моих словах ничего нет дурного; вы можете судить о них по синьору Риккабокка.

– Риккабокка! Так неужли дело идет об его дочери? Но не говорить по английски и – что еще хуже – не ходить в приходскую церковь! Клянусь Георгом! если только Франк подумает об этом, я ни шиллинга не оставлю ему. Я человек кроткий, смею сказать, мягкий человек, но уж что скажу, мистер Лесли, то свято – Впрочем, ведь это шутка: вы, верно, хотите подсмеяться надо мной. Не правда ли, что у Франка нет в виду подобного никуда негодного создания?

– Будьте уверены, сэр, если я узнаю, что у него есть на примете чтонибудь подобное, я сообщу вам вовремя. В настоящее же время я хотел только узнать, какие бы качества желали видеть вы в своей невестке. Вы ведь сказали, что у вас



нет предубеждений.

– И опять повторю то же самое.

– Однакожь, вы не жалуete иностранок?

– Да кто их станет жаловать!

– Но еслиб она имела звание и довольно звучный титул?

– Звание и титул! и то и другое – мыльный пузырь!

И сквайр сделал чрезвычайно кислую мину и, в дополнение к этому, плюнул.

– Значит вы непременно хотите, чтоб жена вашего сына была англичанка?

– Само собою разумеется.

– И с деньгами?

– Ну, об этом я не слишком забочусь: была бы она только смазливенькая, умная и деятельная девица и, вместо приданого, имела бы хороший нрав.

– Хороший нрав? значит и это входит в число необходимых условий?

– А как же вы думали? Надеюсь, что Франк не сделает сумасбродства: не обвенчается тайком с какойнибудь распутной женщиной или...

Сквайр замолчал и до такой степени раскраснелся, что Рандаль испугался за него: он боялся, чтоб не случилось со сквайром апоплексии прежде, чем преступление Франка принудит его изменить свое духовное завещание.

Вследствие этого Рандаль поспешил успокоить мистера Гэзельдена уверениями, что он говорил с ним без всякой це-

ли, что Франк, как и все; молодые люди высшего лондонского общества, имеет обыкновение посещать иногда иностранцев, но что он ни под каким видом не согласился бы жениться без полного соизволения и согласия своих родителей. В заключение всего Рандаль повторил обещание непременно предупредить сквайра, если найдет это нужным. Как бы то ни было, слова Рандаля произвели в душе мистера Гэзельдена такое беспокойство, что он совсем позабыл о ферме и, направив свой путь совершенно в противоположную сторону, в необыкновенно мрачном расположении духа вошел в парк с самой отдаленной стороны. Подойдя к дому, сквайр поспешил запереться в кабинете и открыть с женой своей родительское совещание, между тем как Рандаль сидел на террасе, представляя себе зло, которое он наделал, и делая соображения, какую пользу можно извлечь из этого зла.

Когда он сидел таким образом, углубленный в размышления, позади его послышались чьи-то осторожные шаги, и вслед за тем раздался тихий голос.

– Сэр, сэр, позвольте мне поговорить с вами, произнес кто-то, на ломаном английском языке.

Рандаль с изумлением обернулся и увидел смуглое, угрюмое лицо, с седыми волосами и резкими чертами. Он узнал человеческую фигуру, которая присоединилась к Риккабокка в саду итальянца.

– Говорите ли вы по итальянски? снова начал Джакеймо. Рандаль, образовавший из себя превосходного лингви-

ста, утвердительно кивнул головой. Обрадованный Джакеймо попросил его удалиться в более уединенную часть сада.

Рандаль повиновался, и оба они вошли в величественную каштановую аллею.

– Милостивый государь, сказал Джакеймо, изъясняясь на природном языке и выражаясь с необыкновенным одушевлением: – перед вами стоит бедный, несчастный человек; меня зовут Джакомо. Вероятно, вы дышали обо мне: я слуга синьора, которого вы видели сегодня, – ни больше, ни меньше, как простой слуга, по синьор удостоивает меня особенным доверием. Мы вместе испытали опасность; и из всех его друзей и последователей один только я прибыл с ним в чужую для нас землю.

– Прекрасно! продолжай, верный товарищ! сказал Рандаль, внимательно рассматривая лицо Джакеймо. – Твой господин, ты говоришь, доверяет тебе все? Поэтому он доверил тебе и то, о чем я говорил с ним сегодня?

– Доверил. Ах, милостивый государь! патрон мой был сегодня слишком горд, чтобы решиться вызвать вас на более подробное объяснение, – слишком горд, чтоб показать, что он боится человека, подобного графу Пешьера. А между прочим он действительно боится – он должен бояться – он станет бояться (эти слова Джакеймо произнес с заметной горячностью), потому что у патрона моего есть дочь, а его враг – величайший злодей. Умоляю вас, скажите мне все, чего вы не сказали моему патрону. Вы намекнули ему,

что этот человек намерен жениться на синьоре. Жениться на ней! Нет, извините, ему не видать ее, как своих ушей.

– Мне кажется, сказал Рандаль: – что он имеет это намерение.

– Да для чего? позвольте спросить. Он богат, а невеста без гроша денег, то есть оно не совсем чтобы без гроша мы-таки успели прикопить кое что, – но в сравнении с ним она действительно без гроша.

– Мой добрый друг, я еще не знаю основательно его замыслов, но легко могу узнать их. Если же этот граф враг твоего господина, то, конечно, весьма благоразумно беречься его: вы непременно должны выехать отсюда в Лондон или окрестности Лондона. Почему знать, быть может, в эту минуту граф уже напал на ваши следы.

– Лучше бы он не показывался сюда! вскричал Джакомо и, побуждаемый сильным гневом, приложил руку к тому месту, где некогда носил кинжал.

– Джакомо, остерегайся порывов своего гнева. Одно покушение на жизнь человека, и ты будет выслан из Англии, а твой господин лишится в тебе верного друга.

Джакеймо, по видимому, был поражен этим предостережением.

– А неужли вы думаете, что патрон мой, при встрече с ним, скажет ему: *come slà sa un Signoria*. Поверьте, что патрон убьет его!

– Замолчи, Джакеймо! Ты говоришь об убийстве, о пре-

ступлении, которое у нас обыкновенно наказывают ссылкой. Если ты действительно любишь своего господина, то, ради Бога, постарайся удалить его от всякой возможности подвергать себя подобному гневу и опасности. Завтра я еду в город; я приищу для него дом, где он будет в совершенной безопасности от лазутчиков и открытия. Кроме того, мой друг, там я могу оберегать его, чего невозможно сделать на таком расстоянии, и стану следить за его врагом.

Джакеймо схватил руку Рандалья и поднес ее к губам; потом, как будто пораженный внезапным подозрением, опустил ее и сказал довольно резко:

– Синьор, мне кажется, вы видели патрона всего только два раза: почему вы принимаете в нем такое участие?

– Я полагаю, принимать участие даже в чужеземце, которому грозит опасность, дело весьма обыкновенное.

Джакеймо, весьма мало веривший в общую филантропию, покачал головой, с видом скептика.

– Кроме того, продолжал Рандаль, внезапно придумавший более основательную причину своему предложению: – кроме того, я друг и родственник мистера Эджертона, а мистер Эджертон самый преданный друг лорда л'Эсгрэнджа, который, как я слышал -

– Самый великодушный лорд! О, теперь я понимаю, прервал Джакеймо, и лицо его прояснилось. – О если бы *он* был в Англии! Впрочем, вы, конечно, известите нас, когда он придет?

– Непременно. Теперь скажи мне, Джакеймо, неужли этот граф и в самом деле человек безнравственный и опасный? Не забудь, что я не знаю его лично.

– У него нет ни души, ни головы, ни совести.

– Разумеется, эти недостатки делают его опасным для мужчин; но для женщин опасность проистекает совсем из других качеств. Если он увидится с синьориной, то, как ты думаешь, предвидится ли тут возможность, что он произведет на нее весьма приятное впечатление?

Джакеймо перекрестился и не сказал на это ни слова.

– Я слышал, что он все еще хорош собой.

Джакеймо простонал.

– Довольно! продолжал Рандаль: – постарайся убедить своего патрона переехать в Лондон.

– Но если граф тоже в Лондоне?

– Это ничего не значит. Самые большие города представляют самое удобное место, чтоб сохранить свое инкогнито. Во всяком другом месте чужеземец уже сам собою служит предметом внимания и любопытства.

– Правда.

– Так пусть же твой господин отправляется в Лондон. Он может поселиться в одном из предместий, более других отдаленном от места жительства графа. В течение двух дней я приищу квартиру и напишу ему. Теперь ты веришь в искренность моего участия?

– Верю, синьор, – верю от чистого сердца. О, еслиб синьо-

рина наша была замужем, мы ни о чем бы не заботились.

– Замужем! Но она кажется такой неприступной!

– Увы, синьор! не теперь ей быть неприступной и не здесь.

Из груди Рандаля вылетел глубокий вздох. Глаза Джакеймо засверкали. Ему показалось, что он открыл новую побудительную причину участия Рандаля, – причину, по понятиям итальянца, весьма естественную и весьма похвальную.

– Приищите дом, синьор, напишите моему патрону. Он придет. Я переговорю с ним. Я надеюсь убедить его.

И Джакеймо, под тению густых деревьев, пошел к выходу из парка, улыбаясь по дороге и произнося невнятные слова.

Первый призывный звонок к обеду прозвенел, и, при входе в гостиную, Рандаль встретился с мистером Дэлем и его женой, приглашенными на скорую руку, по случаю прибытия нежданного гостя.

После обычных приветствий, мистер Дэль, пользуясь отсутствием сквайра, спросил о здоровье мистера Эджертона.

– Он всегда здоров, отвечал Рандаль: – мне кажется, он сделан из железа.

– Зато его сердце золотое, возразил мистер Дэль.

– Ах, да! сказал Рандаль, стараясь извлечь из слов пастора какое нибудь новое открытие: – вы, кажется, говорили мне, что встретились с ним однажды, по делу, касавшемуся, как я полагаю, кого-то из ваших прихожан в Лэнсмере?

Мистер Дэль утвердительно кивнул головой, и вслед за тем наступила продолжительная пауза.

– Скажите, мистер Лесли, памятна ли вам битва подле колоды? сказал мистер Дэль, с добросердечным смехом.

– Как не помнить! Кстати сказать: я встретил своего противника в Лондоне в первый год после выпуска из университета.

– В самом деле! где же это?

– У какого-то литератора, впрочем, весьма умного человека, по имени Борлея.

– Борлея! Помнится, я читал юмористические стихи его на греческом языке.

– Без всякого сомнения, это он и есть. Он уже исчез с литературного поприща. Греческие, да еще юмористические, стихи – вещь не слишком интересная, да и, можно сказать, бесполезная в настоящее время: они обнаруживают знание, неимеющее особенной силы.

– По скажите мне чтонибудь о Леонарде Ферфильде? видели ли вы его после того раза?

– Нет.

– И ничего не слышали о нем?

– Ничего; а вы?

– Слышал, и не так давно; и из этих слухов я имею некоторые причины полагать, что он проводит свою жизнь благополучно.

– Вы удивляете меня! На чем же основывается ваше предположение?

– На том, что года два тому назад он пригласил к себе свою



мать, и она отправилась к нему.

– Только-то?

– Этого весьма достаточно: он не прислал бы за ней, не имея средств содержать ее.

В это время вошли мистер и мистрисс Гэзельден, и толстый дворецкий объявил, что обед готов.

Сквайр был необыкновенно молчалив, мистрисс Гэзельден – задумчива, мистрисс Дэль – томна и жаловалась на головную боль. Мистер Дэль, которому редко приводилось беседовать с учеными, за исключением только тех случаев, когда встречался он с доктором Риккабокка, был одушевлен желанием вступить в ученый спор с Рандаем Лесли, который приобрел уже некоторую известность за свою обширную ученость.

– Рюмку вина, мистер Лесли! Вы говорили до обеда, что греческие юмористические стихи обнаруживают знание, неимеющее особенной силы. Скажите пожалуйста, какое же, по-вашему мнению, знание имеет силу?

Рандаль (*лаконически*). Практическое знание.

– М. Дэль. Чего, или кого?

– Рандаль. Людей.

– М. Дэль (*простосердечно*). Конечно, в обширном смысле, это, по-моему мнению, самое полезное знание. Но каким же образом оно приобретается? Помогают ли для этого книги?

– Рандаль. Иногда помогают, иногда вредят, смотря по то-

му, кто как читает их.

– М. Дэль. Но как же должно читать их, чтобы они принесли желаемую пользу?

– Рандаль. Читать специально, затем, чтоб применять их к цели, которая ведет к силе.

– М. Дэль (*крайне изумленный энергией Рандалья и его спартанской логикой*). Клянусь честью, сэр, вы выражаетесь превосходно! Признаюсь вам откровенно, что я начал эти вопросы с намерением вступить с вами в диспут: я смерть люблю доказательства.

– Так и есть, пробормотал сквайр: – доо смерти любит спорить.

– М. Дэль. Доказательство, как говорят, есть соль всякой беседы. Впрочем, теперь я должен согласиться с вами, хотя и не был к этому приготовлен.

Рандаль поклонился и отвечал:

– Два человека нашего воспитания вовсе не должны спорить о применении знания.

Мистер Дэль (*с напряженным вниманием*). О применении к чему?

Рандаль. Само собою разумеется, к силе.

Мистер Дэль (*весьма довольный*). К силе! самое низкое применение или самое возвышенное?

Рандаль (*в свою очередь заинтересованный и желая продолжать вопросительный тон*). Позвольте узнать, что вы, в этом отношении, называете самым низким и самым возвы-

шенным?

Мистер Дэль. Самое низкое – это соблюдение своих собственных выгод, – самое высокое – благотворительность.

На губах Рандаля показалась полу-презрительная улыбка, но в тот же момент исчезла.

– Вы говорите, сэр, как должен говорить священник. Мне нравится ваше мнение, и я соглашаюсь с ним; но боюсь, что знание, которого цель состоит в одной только благотворительности, весьма редко, или, лучше сказать, никогда в этом мире не приобретает силы.

Сквайр (*серьёзно*). Это совершенная правда. Посредством снисходительности, или, как вы выражаетесь, посредством благотворительности я никогда не достигал желаемой цели, между тем как Стирн, который отличается своей жестокостью, успеваает во всем.

Мистер Дэль. Скажите же, мистер Лесли, с чем можно сравнить силу разума, усовершенствованную донельзя, но совершенно лишённую склонности к добрым делам.

Рандаль. С чем сравнить? Право, я затрудняюсь отвечать вам на этот вопрос. Полагаю, что можно сравнить ее с каким-нибудь великим человеком – почти со всяким великим человеком, который поразил всех своих врагов и достиг желаемой цели.

Мистер Дэль. Сомневаюсь, чтобы человек мог сделаться великим, не делая добрых дел; в таком случае он должен погрешать в средствах к достижению величия. Цезарь

был от природы человек благотворительный, точно так же, как и Александр Великий. Сила разума, усовершенствованная до высшей степени, но чуждая благотворительности, имеет сходство с одним только существом, и это существо называется источником всякого зла.

Рандаль (*изумленный*). То есть вы хотите сказать, что это существо называется демоном?

Мистер Дэль. Точно так, сэр, демоном. И даже они не достиг желаемой цели! Даже он представляет собою, как выразились бы ваши великие люди, пример самой решительной неудачи.

Мистрисс Дэль. Друг мой.... душа моя....

Мистер Дэль. Наша религия доказывает это: он был ангелом и пал.

Наступило торжественное молчание. Слова мистера Дэля произвели на Рандаля впечатление гораздо сильнее, чем хотелось бы ему признаться в том самому себе. В это время обед уже кончился, и слуги удалились. Гэрри взглянула на Кэрри. Кэрри оправила платье и встала.

Джентльмены остались за вином. Мистер Дэль, весьма довольный заключением своего любимого диспута, перевел разговор на предметы более обыкновенные. Между прочим разговор коснулся десятой доли полевых произведений, собранной в пользу духовенства, и сквайр, более других знакомый с этим предметом, силою своего голоса и суровым выражением лица, принудил молчать своих гостей и доказал,

к полному своему удовольствию, что десятины составляют несправедливое завладение со стороны церкви вообще и самый тяжелый, ни с чем несообразный налог на Гэзельденскую вотчину в особенности.

## Глава LXXVIII

При входе в гостиную, Рандаль застал двух лэди, сидящими друг подле друга, в положении, которое гораздо более шло к фамильярному обращению в ранние годы, чем к холодной, основанной на учтивости дружбе, существовавшей между ними в настоящее время. Рука мистрисс Гэзельден нежно спускалась с плеча Кэрри, и оба прекрасные английские личика наклонены были над одной и той же книгой. Приятно было видеть, как эти степенные, почтенные женщины, столь различные одна от другой по характеру и наружности, без всякого сознания увлекались к счастливым дням девственной юности при свете лучезарного факела, зажженного каким-то чародеем в стране истины или фантазии; сердца их сливались в одно сердце, между тем как взор останавливался на одной и той же мысли; влечение их друг к другу, уже утраченное в мире действительном, становилось сильнее и сильнее в мире фантазии, где различные чувства читателей, читающих одну какую нибудь книгу, сливаются в одно отрадное чувство.

– Какая эта книга так сильно занимает вас? спросил Рандаль, подойдя к столу.

– Книга, которую, без всякого сомнения, вы уже читали, отвечала мистрисс Дэль, закладывая прочитанную страницу ленточкой и передавая Рандалью книгу. – Я полагаю, что она

произвела сильное впечатление на вас.

Рандаль взглянул на заглавие.

– Правда, сказал он: – я слышал о ней очень много, но сам не имел еще времени прочитать ее.

Мистрисс Дэль. Я могу одолжить вам, если вы желаете просмотреть ее сегодня вечером; вы оставите ее у мистрисс Гэзельден.

Мистер Дэль (*приближаясь к столу*). О чем идет речь у вас? А! об этой книге! да вам должно прочитать ее. Я не знаю еще сочинения поучительнее этого.

Рандаль. Поучительнее! В таком случае, я непременно прочитаю ее. Я думал, что это обыкновенное литературное произведение, написанное с целью доставить читателям развлечение. Таким по крайней мере показалось оно мне, когда я перелистывал его.

Мистер Дэль. Таким кажется и «Векфильдский Священник», а между тем встречали ли вы книгу более поучительную?

Рандаль. Я бы не решился сказать *этого* о «Векфильдском Священнике». Довольно интересная книжка, хотя содержание её самое неправдоподобное. Но почему же она поучительна?

Мистер Дэль. По её последствиям: она делает нас в некоторой степени счастливее и лучше. Какое же поучение может сделать более? Некоторые произведения просвещают наш ум, другие – наше сердце; последние объемлют самый об-

ширнейший круг и часто производят самое благотворное влияние на наш характер. Эта книга принадлежит к числу последних. Прочитав ее, вы непременно согласитесь с моим мнением.

Рандаль улыбнулся и взял книгу.

Мистрисс Дэль. Неизвестно ли, кто автор этой книги?

Рандаль. Я слышал, что ее приписывают многим писателям, но, мне кажется, никто из них не принимает на себя этого права.

Мистер Дэль. Я так думаю, что ее написал мой школьный товарищ и друг, профессор Мосс, натуралист; я заключаю это по его описаниям видов: они так живы и так натуральны.

Мистрисс Дэль. Ах, Чарльз, мой милый! этот замаранный нюхательным табаком, скучный, прозаический профессор? Возможно ли говорить такие пустяки! Я уверена, что автор должен быть молодой человек: все сочинение его проникнуто свежестью чувств.

Мистрисс Гэзельден (*положительно*). Да, конечно, молодой человек.

Мистер Дэль (*не менее положительно*). Я должен сказать напротив. Тон, в котором написана эта книга, слишком спокоен, и слог её слишком прост для молодого человека. Кроме того, я не знаю ни одного молодого человека, который бы прислал мне экземпляр своего сочинения, а этот экземпляр прислан мне, и, как видите, в прекрасном переплете. Поверьте, что это Мосс: это совершенно в его духе.



Мистрисс Дэль. Чарльз, милый мой, ты надоедаешь своими доводами! Мистер Мосс так дурен собой.

Рандаль. А неужели автор должен быть хорош собой?

Мистер Дэль. Ха, ха! Изволь-ка отвечать на это, Кэрри.

Кэрри оставалась безмолвною, и на лице её разлилась улыбка легкого пренебрежения.

Сквайр (*с величайшим простосердечием*). Я сам читал эту книгу и понимаю в ней каждое слово, но не вижу в ней ничего особенного, что могло бы возбудить желание узнать имя автора.

Мистрисс Дэль. Я не вижу, почему еще должно полагать, что она написана мужчиной. С своей стороны, я полагаю, что ее писала женщина.

Мистрисс Гэзельден. Да, действительно; в ней есть места о материнской любви, которых никто, кроме женщины, не мог бы так верно написать.

Мистер Дэль. Вздор, вздор! Желал бы я видеть женщину, которая так верно изобразила бы августовский вечер, перед наступлением грозы. Каждый полевой цветок около живой изгороди представлен точь-в-точь в том виде, в каком мы видим их в августе; каждое явление в воздухе, все оттенки неба принадлежат одному только августу. Помилуйте! какая женщина насадит подле забора фиалок и незабудок. Никто крутой, кроме друга моего Мосса, не в состоянии представить подобного описания.

Сквайр. Не знаю; я встретил место, где для какого-то при-

мера сказано несколько слов о растрате зерна при посеве из пригоршни, а это заставляет меня думать, что автор должен быть фермер.

Мистрисс Дэль (*с пренебрежением*). Фермер! да еще, пожалуй, в башмаках, с гвоздями на подошве! Я утвердительно говорю, что это женщина.

Мистрисс Гэзельден. Женщина, и мать.

Мистер Дэль. Мужчина средних лет, и натуралист.

Сквайр. Нет, нет, мистер Дэль: ужь это наверное молодой человек; потому что любовная сцена напоминает мне о днях моей юности, когда я готов был расстаться с ушами, чтобы только сказать Гэрри, как мила она, и как прекрасна, и когда, вместо этого, я обыкновенно говорил: «Прекрасная погода, мисс, особливо для жатвы.» Да, это непременно должен быть молодой человек, и притом фермер. Мне нисколько не покажется удивительным, если он сам ходил за плугом.

Рандаль (*перелистывая книгу*). Эта сцена, например, ночь в Лондоне, показывает, что она написана человеком, который вел, как говорится, городскую жизнь, и который смотрел на богатство глазами бедняка. Недурно, очень недурно! я прочитаю эту книгу.

– Странно, сказал пастор, улыбаясь: – что это маленькое сочинение до такой степени заинтересовало всех нас... сообщило всем нам совершенно различные идеи, но в одинаковой степени очаровало нас, дало новое и свежее направление нашей скучной деревенской жизни, одушевило нас зре-

лицем внутреннего мира нашего, которого до этой поры мы не видели, кроме только как в сонных видениях, – очень маленькое сочинение, написанное человеком, которого мы не знаем и, быть может, никогда не узнаем! Вот *это знание* неоспоримо *есть сила*, и сила самая благотворная!

– Да, конечно, что-то в роде силы, заметил Рандаль, и на этот раз замечание его было непритворное.

В эту ночь, Рандаль, удалившись в свою комнату, забыл все свои планы и предначертания: он занялся чтением, и читал, что редко случалось с ним, без всякого намерений извлечь из чтения какуюнибудь существенную пользу.

Сочинение изумило его удовольствием, которое он невольным образом испытывал. Вся прелесть его заключалась в спокойствии, с которым писатель наслаждался всем прекрасным. По видимому, оно имело сходство с душой, с счастливым созданием, которое озаряло себя светом, истекающим из его собственного образа мыслей. Сила этого сочинения была так спокойна и так ровна, что один только строгий критик мог заметить, как много требовалось усилия и бодрости, чтоб поддержать крылья, парившие ввысь с таким незаметным напряжением. В нем не обнаруживалось ни одной светлой мысли, которая бы тираннически господствовала над другими: все, по видимому, имело надлежащие размеры и составляло натуральную симметрию. Конец книги оставлял за собой отрадную теплоту, которая разливалась вокруг сердца читателя и пробуждала неведомые ему дотоле

чувства. Рандаль тихо опустил книгу, и в течение нескольких минут коварные и низкие замыслы его, к которым применялось его знание, стояли перед ним обнаженные, неприкрытые маской.

– Все вздор, сказал он, стараясь насильно удалить от себя благотворное влияние.

И источник зла снова разлился по душе, в которой наклонности к благотворительности не существовало.

## Глава LXXIX

Рандаль встал при звуке первого призывного звонка к завтраку и на лестнице встретился с мистрисс Гэзельден. Вручив ей книгу, он намерен был вступить с ней в разговор, но мистрисс Гэзельден сделала ему знак следовать за ним в её собственную уборную комнату. Это не был будуар с белой драпировкой, золотыми и богатыми картинами Ватто, но комната заставленная огромными комодами и шкафами орехового дерева, в которых хранились старинное наследственное белье и платье, усыпанное лавендой, запасы для домохозяйства и медицинские средства для бедных.

Опустившись на широкое огромное кресло, мистрисс Гэзельден была совершенно у себя, дома, в строгом смысле этого выражения.

– Объясните, пожалуйста, сказала лэди, сразу приступая к делу с привычным, непринужденным чистосердечием: – объясните, пожалуйста, что значит ваш вчерашний разговор с моим мужем касательно женитьбы Франка на чужеземке.

Рандаль. Неужели и вы будете точно так же против подобного предположения, как мистер Гэзельден?

Мистрисс Гэзельден. Вместо того, чтоб отвечать на мой вопрос, вы сами спрашиваете меня.

Эти довольно грубые толчки значительно вытеснили Рандаля из его засады. Ему предстояло исполнить двойное наме-

рение: во первых, узнать до точности, действительно ли женитьба Франка на женщине, как маркиза ди-Негра, раздражит сквайра до такой степени, что Франку будет угрожать опасность лишиться наследства; во вторых, всеми силами стараться не пробудить в душе мистера или мистрисс Гэзельден серьёзного убеждения, что подобной женитьбы должно опасаться, в противном случае они преждевременно снесутся с Франком по этому предмету и, пожалуй, еще расстроят все дело. При всем том, ему самому надлежало выражаться таким образом, чтобы родители не обвинили его впоследствии в том, что он представил им обстоятельство дела в превратном виде. В его разговоре со сквайром, накануне, он зашел немного далеко – дальше, чем бы следовало ему, – во это произошло потому, что он старался избежать объяснения по предмету комолых коров и устройства фермы. В то время, как Рандаль размышлял об этом, мистрисс Гэзельден наблюдала его своими светлыми, выразительными взорами и, наконец, воскликнула:

– Я жду вашего ответа, мистер Лесли.

– Я не знаю, что вам отвечать, сударыня: – сквайр, к сожалению, слишком преувеличил, то, что сказано было в шутку. Впрочем, надобно откровенно признаться, что Франк, как мне казалось, поражен был красотой одной премиленькой итальянки.

– Итальянки! вскричала мистрисс Гэзельден: – так и есть! я говорила это с самого начала. Итальянка! так только-то

и есть?

И она улыбнулась.

Рандаль чувствовал, что положение его становилось более и более затруднительным. Зрачки его глаз сузились, что обыкновенно случается, когда мы углубляемся в самих себя, предаемся размышлениям, бодрствуем и бережемся.

– И, быть может, снова начала мистрисс Гэзельден, с светлым выражением лица: – вы заметили эту перемену в Франке после того, как он приехал отсюда?

– Правда ваша, произнес Рандаль: – впрочем, мне кажется, что егь сердце было тронуту гораздо раньше.

– Весьма натурально, сказала мистрисс Гэзельден: – мог ли он сберечь свое сердце? такое милое, очаровательное создание! Я не имею права просить вас рассказать мне сердечные тайны Франка; однако, я узнаю уже предмет очарования: хотя она не имеет богатства, и Франк мог бы составить лучше партию, но все же она так мила и так прекрасно воспитана, что я не предвижу затруднения принудить Гэзельдена согласиться на этот брак.

– Мне стало легче теперь, сказал Рандаль, втягивая длинный глоток воздуха и начиная обнаруживать заблуждение мистрисс Гэзельден, благодаря своей, так часто употребляемой в дело, проницательности. – Я в восторге от ваших слов; и, конечно, вы позволите подать Франку некоторую надежду, в случае, если я застаю его в унылом расположении духа. Бедняжка! он теперь постоянно печален.

– Я полагаю, что это можно сделать, отвечала мистрисс Гэзельден, с самодовольной усмешкой: – но вам бы не следовало пугать так бедного Вильяма, намекнув ему, что невеста Франка ни слова не знает по английски. Я сама знаю, что у неё прекрасное произношение, и она объясняется на нашем языке премило. Слушая ее, я всегда забывала, что она не природная англичанка!.. Ха, ха, бедный Вильям!

Рандаль. Ха, ха!

Мистрисс Гэзельден. А мы рассчитывали совсем на другую партию для Франка – на одну девицу из прекрасной английской фамилии.

Рандаль. Верно, на мисс Стикторайтс?

Мистрисс Гэзельден. О, нет! это старинная выдумка моего Вильяма. Впрочем, Вильям сам очень хорошо знает, что Стикторайтсы никогда не согласятся соединить свое имение с нашим. Нет, мистер Лесли, мы имели в виду совсем другую партию; но в этом случае нельзя предписывать правил молодым сердцам.

Рандаль. Конечно, нельзя. Теперь, мистрисс Гэзельден, когда мы поняли друг друга так хорошо, извините меня, если я посоветую вам оставить это дело в том виде, в каком оно есть, и не писать о нем Франку ни слова. Вам известно, что любовь в молодых сердцах очень часто усиливается очевидными затруднениями и простывает, когда препятствия исчезают.

Мистрисс Гэзельден. Весьма вероятно; по ни от меня,



ни от мужа ничего подобного не будет сделано. Я не буду писать об этом Франку совершенно по другим причинам. Хотя я готова согласиться на этот брак и ручаюсь за согласие Вильяма, однако, все же нам лучшебы хотелось, чтоб Франк женился на англичанке. Поэтому-то мы ничего не станем делать к поощрению его идеи. Но если от этого брака будет зависеть счастье Франка, тогда мы немедленно приступим к делу. Короче сказать, мы не ободряем его теперь и не противимся его желанию. Вы понимаете меня?

– Совершенно понимаю.

– А между тем весьма справедливо, что Франк должен видеть свет, стараться развлекать себя и в то же время испытывать свое сердце. Я уверена, что он сам одного со мной мнения, и это помешало ему приехать сюда.

Рандаль, страшась дальнейшего и более подробного объяснения, встал.

– Простите меня, сказал он: – но я должен поторопиться к завтраку и воротиться домой к приходу дилижанса.

Вместе с этим, он подал руку мистрисс Гэзельден и повел ее в столовую. Окончив завтрак необыкновенно торопливо, Рандаль сел на лошадь и, простясь с радушными хозяевами, рысью помчал в Руд-Голл.

Теперь все благоприятствовало к исполнению его проекта. Даже случайная ошибка мистрисс Гэзельден как нельзя более служила ему в пользу. Мистрисс Гэзельден весьма естественно предполагала, что Виоланта пленила Фран-

ка во время его последнего пребывания в деревне. Таким образом Рандаль, вполне убежденный, что никакой проступок Франка не вооружил бы против него сквайра так сильно, как женитьба на маркизе ди-Негра, он мог уверить Франка, что мистрисс Гэзельден была совершенно на его стороне. В случае же, еслиб ошибка обнаружилась, то вся вина должна была падать на мистрисс Гэзельден. Еще большим успехом увенчалась его дипломатия с Риккабокка: он, без всякого затруднения, узнал тайну, которую хотел открыть; от него теперь зависело принудить итальянца переселиться в окрестности Лондона, – и если Виоланта действительно окажется богатою наследницей, то кого из мужчин одинаковых с ней лет будет она видеть в доме отца своего? кого, как не одного только его – Рандаля Лесли? – И тогда старинные владения Лесли.... через два года они будут продаваться тогда, часть приданого невесты откупит их! Под влиянием торжествующей хитрости, все прежние отголоски совести совершенно замолкли. В самом приятном, высоком и пылком настроении духа проехал Рандаль мимо казино, сад которого был безмолвен и пуст, – прибыл домой и, наказав Оливеру быть прилежным, а Джульете – терпеливой, отправился пешком к дилижансу и в надлежащее время возвратился в Лондон.

## Глава LXXX

Виоланта сидела в своей маленькой комнате и из окна смотрела на террасу, расстилающуюся перед ней внизу. Судя по времени года, день был необыкновенно теплый. С приближением зимы померанцовые деревья были переставлены в оранжереи, и там, где они стояли, сидела мистрисс Риккабокка за рукоделем. Риккабокка в это время разговаривал, с своим верным слугой. Окна и дверь бельведера были открыты. С тех мест, где сидели жена и дочь Риккабокка, видно было, что патрон всего дома сидел прислонясь к стене, его руки лежали на груди, и взоры его устремлены были в пол, между тем как Джакеймо, прикоснувшись пальцем к руке господина, говорил ему что-то с необыкновенным жаром. Дочь, из окна, и жена, из за своей работы, устремили свои нежные, полные мучительного беспокойства взоры на человека, столь драгоценного для них обеих. В последние два дни Риккабокка был особенно задумчив, даже до уныния. Как дочь, так и жена догадывались, что душа Риккабокка была сильно взволнована, — но чем именно, не знала ни та, ни другая.

Комната Виоланты безмолвно обнаруживала образ её воспитания, под влиянием которого образовался её характер. Кроме рисовального альбома, который лежал раскрытый на столе, и который обнаруживал талант вполне развитый

и образованный (в этом предмете Риккабокка был сам её учителем), не было ничего другого, по чему бы можно было заключить об обыкновенных женских дарованиях. В этой комнате не было ни одного из тех предметов, которые служат к полезному и приятному развлечению молодой девицы: не было ни фортепьяно, которое стояло бы открытым; ни арфы, которая занимала бы определенное место, хотя место это и было устроено, – ни пялец для шитья, ни других орудий рукоделья; вместо всего этого вы видите на стене ряд полок, заставленных избранными произведениями итальянской, английской и французской литератур. Эти произведения представляли собою такой запас чтения, что тот, кто пожелает развлечения для своего ума в пленительной беседе с женщиной, – беседе, которая смягчает и совершенствует все, что будет заимствовано из тех произведений, никогда не назовет ее мужской беседой. Взгляните только на лицо Виоланты, и вы увидите, как высок должен быть ум, который вызывал всю душу на пленительные черты её лица. В них не было ничего грубого, ничего сухого, ничего сурового. Даже в то время, когда вы обнаруживали обширность её познаний, эта обширность терялась совершенно в нежности грации. В самом деле, все более серьёзные и холодные сведения, приобретенные ею, превращались, с помощью её мягкого сердца и изящного вкуса, в невещественные драгоценные материалы. Дайте ей какуюнибудь скучную, сухую историю, и её воображение находило красоты, которые для дру-

гих читателей оставались незаметными, и, подобно взору артиста, открывало повсюду живописное. Благодаря особенно-му настроению души, Виолаита, без всякого сознания, пропускала простые и весьма обыкновенные мысли и обнаруживала все редкое и возвышенное. Проводя юные годы своей жизни совершенно без подруг одного с ней возраста, она едва ли принадлежала настоящему. Она жила в прошедшем, как Сабрина в своем кристальном колодце. Образы рыцарства – примеры всего прекрасного и героического, – образы, которые, при чтении звучных стихов Тассо, возникают перед нами, смягчая силу и храбрость в любовь и песнопение, наполняли думы прекрасной итальянской девушки.

Не говорите нам, чтобы прошедшее, исследованное холодной философией, не было лучшей возвышеннее настоящего: не так смотрят на него взоры, в которых отражается непорочная и высокая душа. Прошедшее тогда только потеряет свою прелесть, когда перестанет отражать на своем магическом зеркале пленительную романтичность, которая и составляет его высокое достоинство, несмотря на то, что имеет вид обманчивой мечты.

Но, при всем том, Виоланту ни под каким видом нельзя было назвать мечтательницей. В ней жизнь была до такой степени сильна и плодотворна, что деятельность, по видимому, необходима была для её превосходного развития, – деятельность, невыходящая из сферы женщины, – деятельность, необходимая для того, чтобы выразить свою признатель-

ность, совершенствовать и приводить в восторг все окружавшее ее, примирять с порывами души человеческой к славе все, что осталось бы для честолюбия неудовлетворенным. Несмотря на опасение её отца касательно пронзительно-холодного воздуха Англии, в этом воздухе она укрепила нежное до слабости здоровье своего детства. её гибкий стан, её глаза, полные неги и блеска, её румянец, нежный и вместе с тем роскошный, – все говорило в пользу её жизненных сил, – сил, способных содержать в невозмутимом спокойствии такую возвышенную душу и утишать волнения сердца, которые, однажды возмущенные, могли бы перемешать пылкия страсти юга с непорочностью и благочестием севера.

Уединение делает некоторые натуры более робкими, другие – более отважными. Виоланта была неустрашима. Во время разговора её взоры без всякой застенчивости встречались с вашими взорами; все дурное было так чуждо ей, так далеко от неё, что она, по видимому, не знала еще, что такое стыд. Эта бодрость духа, тесно соединенная с обширностью понятий, всегда служила неизсякаемым источником для самого интересного, пленительного разговора. При всех наружных совершенствах, которые в образованном кругу достигаются вполне всеми девицами, мысли их остаются часто бесплодными, и часто разговор становится крайне приторным. Виоланта, в замен этих совершенств, имела особенный дар подделаться под вкус и выиграть расположение талантливому человеку, особливо, если талант его

не бывает до такой степени деятельно занят, чтоб пробуждать в душе желания одного только препровождения времени, там, где он ищет приятного общества, — Виоланта имела дар с особенною непринужденностью и легкостью меняться мыслями. Это была какая-то чарующая прелесть, которая одевала в музыкальные слова пленительные женские идеи.

— Я слышу отсюда, как он вздыхает, тихо и грустно сказала Виоланта, не спуская глаз с отца: — мне кажется, что это какая-нибудь новая печаль; это не похоже на печаль по отчизне. Вчера он два раза вспоминал своего неоцененного друга-англичанина и желал, чтобы этот друг был здесь.

Сказав это, Виоланта покраснела; её руки опустились на колени, и она сама предалась размышлениям едва ли не глубже размышлений отца, хотя не до такой степени мрачным. С самого приезда в Англию, Виоланта научилась сохранять в душе своей искреннюю признательность и питать беспредельное уважение к имени Гарлея л'Эстренджа. её отец, соблюдая строгое молчание, которое отзывалось даже презрением, о всех своих прежних итальянских друзьях, с особенным удовольствием и открытым сердцем любил говорить об англичанине, который спас ему жизнь в то время, когда его соотечественники изменили ему. Он любил говорить о войне, в ту пору еще в полном цвете юности, который, не находя утешения в славе, лелеял в груди своей скрытую скорбь среди дубров, бросавших мрачную тень на поверхность озера, в которой отражалось светлое небо Ита-

лии. Риккабокка часто рассказывал о том, как он, в ту пору счастливый и обремененный почестями, старался утешить английского синьора, – этого печального молодого человека и добровольного изгнанника; о том, как они сделались наконец друзьями в тех живописных местах, где Виоланта впервые увидела свет; о том, как Гарлей тщетно отклонял его от безумных поступков, которыми предполагалось воссоздать, в какойнибудь час времени, руины многих веков; о том, когда, покинутый друзьями, Риккабокка, спасая свою жизнь, должен был оставить свое отечество, когда малютка Виоланта не хотела оторваться от его груди, англичанин-воин дал ему убежище, скрыл след его, вооружил своих людей и, под прикрытием ночи, провожал беглеца к дефилею в Аппенинах, а когда погоня, напав на горячие следы, быстро догоняла их, Гарлей сказал:

– Спасая себя, вы спасаете свою дочь! Бегите! Еще лига, и вы будете за границей. Мы задержим ваших врагов разговором: они не сделают нам никакого вреда!

Несчастный отец тогда только узнал, когда опасность миновала, что англичанин задержал врага не разговором, но мечем, защищая проход, против далеко несоразмерной силы, грудью такой же неустрашимой, как грудь Баярда при защите моста, доставившей ему бессмертие.

И с тех пор тот же самый англичанин не переставал защищать имя Риккабокка, доказывать его невинность, – и если оставалась еще какаянибудь надежда на возвращение ему



в отечество, то это должно было приписать неутомимому усердию Гарлея.

Весьма естественно, что эта одинокая и постоянно беседующая с своими только думами девушка сочетала все вычитанное ею из романов, проникнутых нежной любовью и рыцарским духом, с образом этого храброго и преданного чужеземца. Он-то и одушевлял её мечты о прошедшем и, по видимому, был рожден затем, чтобы, в predetermined судьбою время, быть прорицателем её будущего. Вокруг этого образа группировались все прелести, которые одна только девственная фантазия может почерпнуть из древнего героического баснословия, так сильно пленяющего воображение. Однажды, еще в ранние годы возраста Виоланты, Риккабокка, для удовлетворения её любопытства, нарисовал, на память, портрет своего друга-англичанина – портрет Гарлея, когда он был еще юношей, и нарисовал с некоторой лестью, без всякого сомнения, проистекавшей из искусства и страстной благодарности. Но, несмотря на то, сходства было очень много. В этом портрете глубокая печаль была господствующим выражением в лице: как будто она отеняла и сосредоточивала в себе все другие, переходчивые выражения; взглянув на него, нельзя было не сказать: «так печален и еще так молод!» Виоланта никогда не решалась допустить мысли, чтобы года, в течение которых её детский возраст созрел совершенно, могли пролететь над этим юным, задумчивым лицом, не сообщив ему своего разрушительного действия,

чтобы мир мог изменить характер так точно, как время изменяет наружность. По её понятию, герой, созданный её воображением, должен оставаться бессмертным во всей своей красоте и юности. Светлые мечты, обольстительные думы, свойственные каждому из нас, когда искра поэзии еще ярко горит в наших сердцах! Решался ли ктонибудь представить себе Петрарку дряхлым стариком? Кто не воображает его таким, каким он впервые смотрел на Лауру?

«Ogni altra così ogni pensiero va fore;

E sol ivi con voi rimansi Amore! (\*)

(\*) «Все другие мысли отлетают вдаль

Остается только одна: это – мысль о тебе, моя любовь...»

Таким образом, углубленная в думы, Виоланта совершенно забыла продолжать свои наблюдения над бельведером. А бельведер между тем опустел. Мистрисс Риккабокка, неимевшая для развлечения *своих* мыслей никакого идеала, видела, как муж её вошел в дом.

Риккабокка явился вскоре в комнате своей дочери. Виоланта испугалась, почувствовав на плече своем руку отца и вслед за тем поцалуй на задумчивом лице.

– Дитя мое! сказал Риккабокка, опускаясь на стул: – я решился оставить на некоторое время это убежище и искать его в окрестностях Лондона.

– Ах, папа, значит вы об этом-то и думали? Что же за при-

чина такой перемены? Папа, не скрывайтесь от меня: вы сами знаете, как охотно и с каким усердием я всегда повиновалась вашей воле и как свято хранила вашу тайну. Неужели вы не доверяете мне?

– Тебе, дитя мое, я все доверю! отвечал Риккабокка, сильно взволнованный. – Я оставляю это места из страха, что мои враги отыщут меня здесь. Другим я скажу, что ты теперь в таких летах, когда нужно иметь учителей, которых здесь не достать. Но мне не хочется, чтобы ктонибудь знал, куда мы едем.

Риккабокка произнес последние слова сквозь зубы и поникнув головой. Он произносил их терзаемый стыдом.

– А моя мама? говорили ли вы с мама об этом?

– Нет еще. Я очень затрудняюсь этим.

– О папа! тут не может быть, не должно быть никакого затруднения: мама так любит вас, возразила Виоланга с кротким и нежным упреком. – Почему вы не доверите ей своей тайны? Она так предана вам, так добра!

– Добра – с этим я согласен! воскликнул Риккабокка. – Что же из этого следует? «*Da cattiva Donna guardati, ed alla buona non fidar niente*» (злой женщины остерегайся, доброй – не доверяйся). И уж если необходимость принудит доверять ей, прибавил бесчеловечный муж: – то доверяйте все, кроме тайны.

– Фи! сказала Виоланта, с видом легкой досады; она очень хорошо знала характер своего отца, чтобы буквально пони-

мать его ужасные сентенции: – зачем так говорить, *padre carissimo!* Разве вы не доверяете мне вашей тайны?

– Тебе! Котенок еще не кошка, и девочка еще не женщина. Кроме того, тайна уже была тебе известна, и мне не зачем было затрудняться. Успокойся, дитя мое: Джемима в настоящее время не поедет с нами. Собери, что хочешь взять с собой. Мы выедем отсюда ночью.

Не дожидая ответа, Риккабокка поспешил уйти. Твердым шагом выступил он на террасу и подошел к жене.

– *Anima tua*, сказал ученик Макиавелли, скрывая под самыми нежными словами самые жестокия, бесчеловечные намерения (в это время он на самом деле руководствовался своей любимой итальянской пословицей: не приласкав лошака или женщины, ничего не сделаешь с ними): – *anima tua*, вероятно, ты уже заметила, что Виоланта скучает здесь до смерти.

– Виоланта? О нет!

– Да, душа души моей, она скучает и в добавок столько же сведуща в музыке, сколько я – в вашем рукоделье.

– Она поет превосходно.

– Точно так, как поют птички: против всех правил и без знания пот.... Будем говорить короче. О, сокровище моей души! я намерен сделать с ней небольшое путешествие, быть может, в Чельтенэм или Брайтон – мы увидим это.

– С тобой, Альфонсо, я готова ехать куда угодно. Когда мы отправимся?

– *Мы* выедем сегодня в ночь; но, как ни ужасно разлучаться с тобой....

– Со мной! прервала Джемима и закрыла лицо своими руками.

Риккабокка, самый хитрый и самый неумолимый человек в своих правилах, при виде этой безмолвной горести совершенно потерял всю свою твердость. С чувством искренней нежности, он обнял стан Джемимы и на этот раз забыл все свои пословицы.

– *Carissima*, сказал он: – не сокрушайся: мы скоро воротимся: притом же путешествие сопряжено с большими издержками: катающиеся камни не обрастают мхом; в доме остается все наше хозяйство, за которым нужно присмотреть.

Мистрисс Риккабокка тихо освободилась из объятий мужа. Она открыла лицо и отерла выступившие слезы.

– Альфонсо, сказала она с чувством: – выслушай меня. Все, что ты считаешь прекрасным, будет прекрасным и для меня. Но не думай, что я печалюсь потому собственно, что нам предстоит разлука. Нет: мне больно подумать, что, несмотря на годы, в течение которых я разделяла с тобой вместе все радости и огорчения, в течение которых я постоянно думала только о том, как бы исполнить мой долг в отношении к тебе, и, конечно, желала, чтоб ты читал мое сердце и видел в нем только себя и свою дочь, – мне больно подумать, что ты до сих пор считаешь меня до такой степе-

ни недостойной твоего доверия, как и тогда, когда ты стоял подле меня перед алтарем.

– Доверия! повторил изумленный Риккабокка: совесть сильно заговорила в нем:– почему же ты говоришь: «доверия?» В чем же я не доверял тебе? Я уверен, продолжал он, заметно стараясь прикрыть словами свою виновность:– я с уверенностью могу сказать, что никогда не сомневался в твоей верности, несмотря на то, что я ни более, ни менее, как длинноносый, близорукий чужеземец; никогда не заглядывал в твои письма; никогда не следил за тобой в твоих уединенных прогулках; никогда не останавливал потока твоих любезностей с добрым мистером Дэлем: никогда не держал у себя денег; никогда не поверял расходных книг...

Мистрисс Риккабокка не удостоила эти увертливые выражения даже улыбкой презрения; мало того: она показывала вид, что не слушает их.

– Неужли ты думаешь, снова начала Джемима, прижав руку к сердцу, чтоб успокоить его волнения и не дать им возможности обнаружиться в рыданиях: – неужли ты думаешь, что, при всех моих постоянных стараниях, размышлениях и истязаниях моего бедного сердца, я не могла догадаться, чем лучше можно успокоить тебя или доставить тебе удовольствие, – неужли ты думаешь, что при всем этом я не могла заметить, в такое продолжительное время, что ты открываешь свои тайны дочери своей, своему слуге, но не мне? Не бойся, Альфонсо: в этих тайпах ничего не может быть

дурного, пагубного; иначе ты не открыл бы их своей невинной дочери. Кроме того, неужли я не знаю твоего характера, твоей натуры? и неужли я не люблю тебя, потому что знаю их? Я уверена, что ты оставляешь дом по обстоятельствам, имеющим связь с этими тайнами.... Ты считаешь меня неосторожной, безразсудной женщиной. Ты не хочешь взять меня с собой. Пусть будет по твоему. Я иду приготовить все для вашего отъезда. Прости меня, Альфонсо, если я огорчила тебя.

Мистрисс Риккабокка пошла в дом. В эту минуту нежная ручка коснулась руки итальянца.

– Папа, возможно ли противиться этому? Откройте ей все! умоляю вас, откройте! Я такая же женщина и ручаюсь за скромность моей матери – Будьте великодушнее всех других мужчин – вы, мой отец!

– *Diavolo!* запрешь одну дверь, а другая открывается, простонал Риккабокка. – Неужли ты не понимаешь меня? Раз в ты не видишь, что все эти предосторожности берутся для тебя?

– Для меня! О, в таком случае не считайте меня до такой степени малодушною. Разве я не ваша дочь, разве не происхожу от людей, которые не знали, что такое страх?

В эту минуту Виоланта была величественна. Взяв отца за руку, она тихо подвела его к дверям, к которым подходила мистрисс Риккабокка.

– Джемима, жена моя! прости, прости меня! восклик-

нул итальянец, которого сердце давно уже было переполнено чувством супружеской нежности и преданности: оно только ждало случая облегчить себя: – поди сюда... на грудь мою... на грудь... она долго оставалась закрытою... для тебя она будет открыта теперь и навсегда.

Еще минута, и мистрисс Риккабокка проливала тихия, отрадные слезы на груди своего мужа. Виоланта, прекрасная примирительница, улыбалась на своих родителей и потом, с чувством глубокой признательности взглянув на небо, удалилась.



## Глава LXXXI

По прибытии в город, Рандаль услышал на улицах и в клубах смешанные и один другому противоречащие толки касательно перемены министерств, и не позже, как при открытии парламентских заседаний. Эти толки распространились внезапно. Правда, за несколько времени перед этим, некоторые предусмотрительные люди, покачивая головами, говорили: «нынешние министры и министерство недолго пробудут.» Правда и то, что некоторые изменения в политике, года за два перед этим, разъединили партию, на которую более всего надеялось правительство, и усилили ту, которой правительство неслишком жаловало. Но, несмотря на то, официальное право первой партии поддерживалось так долго, а оппозиционная партия имела так мало власти, чтоб образовать кабинет из имен, знакомых слуху официальных людей, что публика предусматривала в этом не более, как несколько частных перемен. В это же время народные толки простирались гораздо далее. Рандаль, которого все виды на будущее и все надежды были, в настоящее время, ничто другое, как одни только отблески величия его патрона, сильно встревожился. Он хотел узнать чтонибудь от Эджертона; но этот человек оставался нечувствительным к народным толкам: он казался самоуверенным и невозмутимым. Успокоенный несколько спокойствием своего покровителя,

Рандаль приступил к занятиям, и именно – к приисканию безопасного убежища для Риккабокка. Он, выполняя это дело по плану, составленному им самим, ни под каким видом не хотел лишиться себя случая составить себе независимое состояние, особливо, еслиб ему привелось испытать неудачу на служебном поприще под покровительством Эджертона. В окрестностях Норвуда он отыскал спокойный, отдельный и уединенный дом. Никакое место, по видимому, не могло быть безопаснее от шпионства и нескромных наблюдений. Он написал об этом Риккабокка, сообщил ему адрес, повторив при этом случаи уверения в своем желании и возможности быть полезным для несчастных изгнанников. На другой день он сидел уже в присутственном месте, очень мало обращая внимания на сущность своего занятия, хотя и исполняя его с механической точностью, когда председательствующий член в присутствии пригласил его к себе в кабинет и попросил его свезти письмо Эджертому, с которым желал посоветоваться по одному весьма важному делу, которое надлежало решить в тот день в Кабинете Министров.

– Я потому поручаю вам это, сказал председатель, с улыбкой (это был добросердечный, обходительный человек): – что вы пользуетесь доверием Эджертона, который, кроме письменного ответа, быть может, попросит вас передать мне чтонибудь словесно. Эджертон часто бывает чересчур осторожен и слишком немногоречив в *litera scripta*.

Рандаль зашел сначала в присутственное отделение Эд-

жертона; но Эджертон еще не приезжал в тот день. Оставалось после этого взять кабриолет и отправиться на Гросвенор-Сквэр. У подъезда дома мистера Эджертон стоял скромный, незнакомый Рандалю фиакр. «Мистер Эджертон дома – сказал лакей – но у него теперь доктор Ф... и, весьма вероятно, ему нежелательно, чтобы его беспокоили.»

– Неужели нездоров твой господин?

– Не могу вам сказать, сэр. Он никогда не жалуется на свои недуги. Впрочем, последние два дни на вид он был что-то очень нехорош.

Рандаль повременил несколько минут. Но поручение его могло быть весьма важное, нетерпящее ни малейшего отлагательства, и притом Эджертон был такой человек, который держал за главное правило, что здоровье и все другие домашние обстоятельства должны уступать место служебным делам, – а потому Рандаль решил войти. Без доклада и без церемонии, как и всегда это делалось, Рандаль отворил дверь библиотеки. Он испугался своего поступка. Одлей Эджертон сидел, прислонясь к спинке софы, а доктор стоял на коленях перед ним и прикладывал к его груди стетоскоп. В то время, как отворялась дверь, глаза Эджертон были полузакрыты; но, услышав шорох, он вскочил с места, едва не опрокинув доктора.

– Это кто такой? как вы смели войти сюда? вскричал он иступленным голосом.

Но вслед за тем, узнав Рандаля, он покраснел, прикусил

губы и весьма сухо сказал:

– Извините мою вспыльчивость. Что вам угодно, мистер Лесли?

– Вот письмо от лорда мне приказано отдать его в ваши собственные руки. Извините меня...

– Нет, ведь я не болен, сказал Эджертон холодным тоном: – Со мной сделался легкий припадок одышки; а так как в Парламенте скоро будет собрание, то я рассудил за лучшее посоветоваться с доктором – услышат ли мой голос стенографы. Положите письмо на стол и, будьте так добры, подождите ответа.

Рандалль вышел. Он ни разу еще не видал в этом доме доктора, и обстоятельство это тем более казалось удивительным, что Эджертону понадобилось мнение медика по случаю легкого припадка одышки. В то время, как Рандалль дожидался в приемной, в уличную дверь раздался стук, и вслед за тем явился превосходно одетый джентльмен и удостоил Рандалля легким, полу-фамильярным поклоном. Рандалль вспомнил, что он встречался с этим господином за обедом в доме молодого нобльмена из высшего аристократического круга, но что не был отрекомендован ему и даже не знал, как его зовут. Посетителю все это было лучше известно.

– Наш друг Эджертон верно занят, мистер Лесли, сказал он, поправляя камелию в петличке фрака.

«Наш друг Эджертон!» Должно быть, это очень великая особа, если смеет назвать Эджертона своим другом.

– Кажется, что он недолго будет занят, возразил Лесли, осматривая пронизательным, испытующим взором особу незнакомца.

– Я не полагаю; а мое время так же драгоценно, как и его. Я не имел удовольствия быть отрекомендованным вам при встрече нашей в доме лорда Спендквикка. Славный малый этот Спендквикк, необыкновенно умен.

Рандаль улыбнулся.

Спендквикк вообще считался за джентльмена неслишком дальнего ума и не совсем то безукоризненной нравственности.

Между тем посетитель вынул карточку и предложил ее Рандалю.

Рандаль прочитал на ней: *«Барон Леви, No..... в улице Брутон.»*

Это имя было знакомо Рандалю. Оно слишком часто вертелось на губах фешенэбельных людей, чтоб не познакомиться со слухом неперменного члена прекрасного общества.

Мистер Леви по профессии был ходатай по делам. В последнее время он оставил свое открытое призвание и не так давно, посредством происков и денег, получил в каком-то маленьком германском княжестве титул барона. Судя по слухам, богатство мистера Леви соразмерялось с его прекрасной натурой, – прекрасной для тех, кто нуждался во временном займе денег и кто имел верные надежды рано

или поздно уплатить этот заем.

Редко случалось вам видеть джентльмена во всех отношениях прекраснее барона Леви, — джентльмена, почти одних лет с Эджертоном, но на вид гораздо моложе, — джентльмена, так прекрасно сохранившего свою молодость, с такими черными бакенбардами, такими белыми зубами! Несмотря на свое имя и на смуглый цвет лица, он, впрочем, не похож был на еврея, — по крайней мере по своей наружности. И, в самом деле, со стороны отца он не был еврей, но был побочным сыном одного богатого английского лорда и еврейской лэди, знаменитой в оперном мире. После рождения первого сына, эта лэди вышла замуж за немецкого купца, родом также еврея, который решился, для спокойствия супружеской жизни, усыновить новорожденного и передать ему свое имя. Вскоре мистер Леви-отец сделался вдовцом, и тогда действительный отец маленького Леви, хотя и не хотел ни под каким видом признать в нем сына своего, начал оказывать ему особенное внимание, часто брал его в свой дом и изредка вводил его в свое высокое общество, к которому юноша оказывал немалое расположение. По смерти милорда, отказавшего молодому, впрочем, уже осмнадцати-летнему, Леви небольшой капитал, мнимый отец Леви сделал его стряпчим по делам и вскоре после этого воротился на родину и умер в Праге, где и теперь можно видеть его надгробный памятник. Дела молодого Леви и без руководства отца шли отличным образом. Действительное его про-

исхождение было известно повсюду и, в общественном быту, приносило ему значительную пользу. Полученное наследство доставило ему возможность сделаться товарищем банкирского дома, где он некоторое время занимал должность старшего писца, и вскоре круг его практики распространился неимоверно, особливо между фешенэбельными классами общества. И действительно, он до такой степени был полезен, до такой степени услужлив и мил, до такой степени светский человек, что многие его клиенты, особливо молодые люди знатного происхождения, сделались его друзьями. Он был в прекрасных отношениях как с евреями, так и с христианами и, не будучи ни тем, ни другим, имел величайшее сходство (употребляя несравненное уподобление Шеридана) с чистым листком бумаги, положенным между Ветхим и Новым Заветом.

Быть может, некоторые назовут мистера Леви вульгарным, но мы заметим, что это не была вульгарность человека, привыкшего к низкому и грубому обществу: скорее это можно назвать *mauvais ton* человека, неуверенного еще в своем положении в обществе, но решившегося втереться, по возможности, в самое лучшее общество. Сказав нашим читателям, что он успел-таки пробить себе дорогу в мире и накопит несметные богатства, не считаем за нужное прибавлять, что Леви был остр как игла и тверд как кремь. Ни один человек не имел еще такого множества друзей, как барон Леви, и ни к кому так крепко не льнул он сам, как к этим друзьям, —

само собою разумеется, льнул до тех пор, пока из карманов их не исчезал последний шиллинг!

Рандаль уже слышал что-то в этом роде и потому посмотрел сначала на карточку и потом на него с удивлением.

– Не так давно я встретил вашего друга в доме Борровелла, снова начал барон: – молодого Гэзельдена. Отличный молодой человек, настоящий светский человек.

Так как это была последняя похвала, которую бедный Франк заслуживал, то Рандаль еще раз улыбнулся.

Барон продолжал:

– Я слышал, мистер Лесли, что вы имеете сильное влияние на этого Гэзельдена. Его дела в жалком положении. Я за особенное удовольствие поставил бы себе оказать какуюнибудь услугу ему, как родственнику моего друга Эджертона; но он так прекрасно понимает дело, что пренебрегает моими советами.

– Мне кажется, вы слишком несправедливы к нему.

– Я несправедлив! Напротив, я очень уважаю его осторожность. Я говорю каждому: ради Бога, не обращайтесь ко мне: я могу одолжить вам денег на более выгодных условиях в сравнении с другими кредиторами, но что же следует из этого? Вы прибегаете ко мне так часто, что наконец разоряетесь, в то время, как обыкновенный ростовщик без всякой совести отказывает вам. Если вы имеете влияние на вашего друга, так, пожалуйста, прикажите ему не иметь никакого дела с бароном Леви.



В эту минуту в кабинете Эджертона прозвонил колокольчик. Взглянув в окно, Рандаль увидел, что доктор Ф. садился в свой фиакр, который бережно объехал великолепный кабриолет, – кабриолет в самом превосходном вкусе, с короной барона на темно-коричневых филенках, с таким удивительным ходом, с упряжью, украшенную серебром, с черной как смоль лошадь. Вошел лакей и попросил Рандалья в кабинет. Потом, обратясь к барону, он уверил его, что его не задержат ни минуты.

– Лесли, сказал Эджертон, запечатывая письмо: – передайте это лорду и скажите ему, что через час я с ним увижусь.

– Больше ничего не будет? Он, кажется, ждал от вас какого-то поручения.

– Действительно, он ждал. Письмо, которое я посылаю, имеет характер официальный, а поручение касается частных наших дел; попросите его повидаться с мистером... до нашей встречи: он поймет, в чем дело; скажите ему, что все зависит от этого свидания.

Эджертон подал письмо и продолжал серьёзным тоном:

– Надеюсь, Лесли, вы никому не скажете, что у меня был доктор Ф....: здоровье публичных людей не должно находиться в сомнительном положении. Да, кстати: где вы ожидались – в своей комнате или в приемной?

– В приемной.

Лицо Эджертона слегка нахмурилось.

– А что, мистер Леви там?

– Да, то есть барон Леви.

– Барон! правда. Верно, опять пришел терзать меня мексиканским займом. Я не держу вас более.

Рандаль, раздумывая все предшествовавшие обстоятельства, вышел из дому и сел в наемную карету. Барон был допущен к свиданию с государственным сановником.

По выходе Рандалья, Эджертон расположился на софе во всю свою длину – положение, которое он позволял себе чрезвычайно редко, и когда вошел Леви, в его манере и наружности было что-то особенное, вовсе неимеющее сходства с тем величием, которое мы привыкли видеть в строгом законодателе. Самый тон его голоса был совсем другой. Казалось, будто государственный человек – человек деловой – исчез, и вместо его остался беспечный сибарит, который, при входе гостя, лениво кивнул головой и томно сказал:

– Леви, сколько мне можно иметь денег на год?

– Свободная часть имения весьма незначительна. Любезный мой, этот последний выбор был настоящий чорт. Вам нельзя вести свои дела подобным образом.

«Любезный мой!» Барон Леви называл Одлея Эджертона по дружески – «любезным». И Одлей Эджертон, может статься, не видел ничего странного в этих словах, однако, на губах его показалась презрительная улыбка.

– Я и не должен бы вести их так, отвечал Эджертон, и презрительная улыбка уступила место мрачной. – Во всяком, случае, именье дает еще по крайней мере пять тысяч фун-

тов.

– Едва ли. Я бы советовал вам продать его.

– В настоящее время я не могу продать его. Я не хочу, чтобы все заговорили: Одлей Эджертон раззорился, его имение продается.

– Конечно, очень жаль будет подумать, какими богатствами владели вы и могли бы владеть еще!

– Мог бы владеть еще! Это каким образом?

Барон Леви взглянул на массивные красного дерева двери, – толстые и непроницаемые двери, какие и должны быть в кабинете государственного человека.

– Очень просто: вы знаете, что с тремя вашими словами я мог произвести такое действие на коммерческие банки трех сильных государств, которое доставило бы каждому из нас по сотне тысяч фунтов. Мы бы тогда легко рассчитались друг с другом.

– Леви, сказал Эджертон холодным тоном, хотя яркий румянец разливался по всему лицу его: – Леви, ты бездельник: это доказывает твое предложение. Мне нет дела до наклонностей других людей, не хочу заглядывать в совесть их; но сам я не намерен быть бездельником. Я, кажется, уже давно сказал тебе это.

Барон захохотал, не обнаруживая при этом ни малейшего неудовольствия.

– Делать нечего, сказал он: – хотя вы не имеете ни лишнего благоразумия, ни учтивости, однако, придется мне вы-

дать вам денег. Впрочем, не лучше ли будет, прибавил Леви, стараясь придать словам большую выразительность: – занять потребную сумму, без всяких процентов, у вашего друга лорда л'Эстренджа.

Эджертон вскочил, как будто его ужалила змея.

– Не намерены ли вы упрекать меня! воскликнул он, грозно. – Не думаете ли вы, что я получаю от лорда л'Эстренджа денежные награды! Я!

– Позвольте, успокойтесь, любезный Эджертон; мне кажется, я имею право думать, что милорд не так дурно понимает теперь о том ничтожном поступке в вашей жизни....

– Замолчи! воскликнул Эджертон, и черты лица его судорожно искривились: – замолчи!

Он топнул ногой и пошел по комнате.

– Краснеть перед этим человеком! невнятно и с сильным волнением в душе произносил он эти слова. – Это унижение! наказание!

Леви устремил на него внимательные, полные злых умыслов взоры. Эджертон вдруг остановился.

– Послушай, Леви, сказал он, с принужденным спокойствием:– ты ненавидишь меня, – за что? я не знаю. Я никогда не вредил твоим замыслам, никогда не думал мстить тебя за неисправимое зло, которое наделал ты мне.

– Зло! и это говорит человек, который так близко знает свет! Зло! Впрочем, пожалуй, если хотите, называйте это злом, возразил Леви, боязливо, потому что лицо Одлея при-

нимало страшное выражение. – Но кто же, как не я, исправил это зло? Довелось ли бы вам жить в этом великолепном доме и иметь такую огромную власть над нашим государством, если бы я не принимал в этом участия, если бы не мои переговоры с богатой мисс Лесли? Если бы не я, чем бы ты был теперь, – быть может, нищим?

– Ты лучше бы сказал, чем я буду теперь, если останусь еще в живых? *Тогда* я бы не был нищим; быть может, я был бы беден деньгами, но богат.... богат всем тем, без чего теперешняя моя жизнь пуста и безотраднa. Я никогда не гнался за золотом, а что касается боиатства, большая часть его перешла уже в твои руки. Потерпи еще немного, и все будет твое. А теперь и я должен сказать, что в целом мире есть один только человек, который любил и любит меня с ребяческих лет, и горе тебе, Леви, если ему доведется узнать, что он имеет право презирать меня!

– Эджертон, любезный мой, сказал Леви, с величайшим спокойствием: – напрасно ты грозишь мне. Согласись сам, какая будет мне прибыль, если я начну сплетничать перед лордом л'Эстренджем? Касательно того, что я презираю вас, это вздор, чистейший вздор! Вы браните меня за глазами, пренебрегаете мною в обществе, отказываетесь от обедов моих и не приглашаете на свои, но, несмотря на то, я должен сказать, что нет в мире человека, которого бы я так искренно любил, и для которого не был бы готов во всякое время оказать услугу. Когда вам понадобятся пять тысяч фунтов?

– Быть может, через месяц, а быть может, через два или три.

– Довольно. Будьте спокойны: в этом отношении положитесь на меня. Не имеете ли еще других приказаний?

– Никаких.

– В таком случае прощайте. . . . Да вот кстати: как вы полагаете, велик ли доход приносит Гэзельденское поместье, само собою разумеется, свободное от всех долгов?

– Не знаю, да и не вижу необходимости знать. Не имеешь ли ты и на *это* какихнибудь видов?

– Вот это прекрасно! мне очень приятно видеть, как поддерживаются родственные связи. Я только и хотел сказать, что мистер Франк, по видимому, весьма расточительный молодой джентльмен.

Прежде чем Эджертон мог отвечать, барон приблизился к дверям и, сделав поклон, исчез с самодовольной улыбкой.

Эджертон оставался неподвижным среди одинокой комнаты. Скучна была эта комната, – скучна и пуста от стены до стены, несмотря на потолок, украшенный рельефами, и на мебели редкого и прекрасного достоинства, – скучна и безотраднa: в ней не было ни одного предмета, обличавшего присутствие женщины, ни следов беспокойных, беспечных, счастливых детей. Посреди её стоял один только холодный, суровый мужчина.

– Слава Богу! произнес он, с глубоким вздохом: – это не на долго, это недолго будет продолжаться.

Повторив эти же самые слова, он механически запер бумаги и моментально прижал руку к сердцу, как будто его вдруг прокололи насквозь.

– Итак, я должен скрыть свое душевное волнение! сказал он, с грустью покачав головой.

Через пять минут Одлей Эджертон находился уже на улицах; его стан был по-прежнему строен, его поступь тверда.

– Этот человек вылит из бронзы, сказал предводитель оппозиционной партии, проезжая с своим другом мимо Эджертона. – О! чего бы я не дал, чтоб иметь его нервы.

## Глава LXXXII

Немалого труда стоило Джакеймо убедить своего господина поселиться в доме, рекомендованном Рандаем. Это происходило не потому, чтобы подозрения изгнанника простирались далее подозрений Джакеймо, то есть, что участие Рандаля в положении отца возбуждалось весьма натуральным и извинительным влечением к дочери: нет! но потому, что итальянец был чрезмерно горд – порок весьма обыкновенный между людьми в несчастьи. Ему не хотелось быть обязанным чужому человеку, он не хотел видеть сожаления к себе в тех людях, которым известно было, что в своем отечестве он занимал довольно высокое положение. Эти ложные понятия о сохранении своего достоинства усиливали любовь Риккабокка к своей дочери и его ужас к своим врагам. Умные и добрые люди, при всех своих дарованиях, при всей своей неустрашимости, пострадав от злых людей, часто составляют весьма ложные понятия о силе, которая одержала верх над ними. В отношении к Пешьера, Джакеймо питал в душе своей суеверный ужас, а Риккабокка, хотя и несколько не преданный суеверию, но все же при одной мысли о своем враге чувствовал, как по всему его телу пробежала лихорадочная дрожь.

Впрочем, Риккабокка, в сравнении с которым не нашлось бы ни одного человека, в некоторых отношениях,



морально трусливее, боялся графа не как опасного врага, но как бессовестного наглеца. Он помнил удивительную красоту своего родственника, помнил власть, которую граф так быстро приобретал над женщинами. Риккабокка знал, до какой степени граф был сведущ и опытен в искусстве обольщать и до какой степени был невнимателен к упрекам совести, которые удерживают от гнусных поступков. К несчастью, Риккабокка составил такое жалкое понятие о характере женщины, что в глазах его даже непорочная и возвышенная натура Виоланты не служила еще достаточным самосохранением от хитростей и наглости опытного и бессовестного интригана. Не удивительно, что из всех предосторожностей, какие он мог бы предпринять, самую лучшею и не менее верною казалось образование дружеских сношений с человеком, которому, судя по его словам, известны были все планы и действия графа, и который в одну минуту мог бы уведомить изгнанника, в случае, еслиб открыли его убежище. «Предостережение есть вооружение», говорил он, повторяя пословицу, едва ли не общую всем нациям. Но, несмотря на то, начиная, с обычной дальновидностью, размышлять о тревожном известии, сообщенном ему Рандаем, и именно о том, что граф ищет руки его Виоланты, Риккабокка усматривал, что, под видом такого искательства, скрывались какие нибудь более сильные личные выгоды, — и на чем же могли основываться эти выгоды, как не на вероятности, что Риккабокка непременно получит прощение, и на желании гра-

фа сделаться наследником имений, которых, с прощением Риккабокка, уже не будет иметь права удерживать за собой. Риккабокка не знал об условии, на котором граф пользовался доходами с его имений. Он не знал, что эти доходы предоставлены были в распоряжение графа из милости, и то не навсегда: но в то же время он очень хорошо понимал душевные свойства Пешьера, которые служили поводом к предположениям такого рода, что граф не стал бы свататься за его дочь, не имея в виду богатого приданого, и что это сватовство ни под каким видом не имело целию одного только примирения. Риккабокка был совершенно уверен – а эта уверенность увеличивала все его опасения – что Пешьера не решился бы, без особенных побудительных причин, искать с ним свидания, и что все виды графа на Виоланту были мрачные, скрытные и корыстолюбивые. Его смущало и мучило недоумение высказать откровенно Виоланте свои предположения касательно угрожавшей опасности. Он объявил ей весьма неудовлетворительно, что все меры для сохранения своего инкогнито он предпринимал собственно для неё. Сказать чтонибудь более было бы несообразно с понятиями итальянца о женщине и правилами Макиавелли! Да и в самом деле, можно ли сказать молоденькой девице: «в Англию приехал человек, который хочет непременно получить твою руку. Ради Бога, берегись его: он удивительно хорош собой, он никогда не испытывает неудачи там, где дело коснется женского сердца.» «*Cospetto!* – вскричал доктор вслух, когда

эти размышления готовы были принять форму речи. Подобные предостережения расстроили бы Корнелию, когда она была еще невинной девой.» Вследствие этого он решился не говорить Виоланте ни слова о намерениях графа, а вместо того быть постоянно настороже, и обратился вместе с Джакеймо в зрение и слух.

Дом, выбранный Рандалем, понравился Риккабокка с первого взгляда. Он стоял на небольшом возвышении и совершенно отдельно от других зданий; верхняя окна его обращены были на большую дорогу. В нем помещалась некогда школа, а потому он обнесен был высокими стенами, внутри которых заключался сад и зеленый луг, имевший назначение для гимнастических упражнений. Двери сада были необыкновенно толстые, запирались железными болтами и имели небольшое окошечко, открываемое и закрываемое по произволу: сквозь это окно Джакеймо мог высматривать всех посетителей до пропуска их в двери.

Для домашней прислуги, нанята была, со всеми предосторожностями, скромная женщина. Риккабокка отказался от своей итальянской фамилии. Зная совершенно английский язык и свободно объясняясь на нем, он без всякого затруднения мог выдавать себя за англичанина. Он назвал себя мистером Ричмаут (вольный перевод фамилии Риккабокка), купил ружье, пару пистолетов и огромную дворовую собаку. Устроившись таким образом, он позволил Джакеймо написать к Рандалю несколько строчек и сообщить ему о благо-

получном прибытии.

Рандаль не замедлил явиться. С привычной способностью применяться к обстоятельствам и развитым в нем до высшей степени притворством, Рандаль успел понравиться мистрисс Риккабокка и еще более усилить прекрасное мнение, составленное о нем изгнанником. Он разговорился с Виолантой об Италии и её поэтах, обещал ей купить книг и наконец начал предварительные приступы к её сердцу, хотя и не так решительно, как бы хотелось ему, потому что очаровательное величие Виоланты отталкивало его, наводило на него невольный страх. В короткое время он сделался в доме Риккабокка своим человеком, приезжал каждый день с наступлением сумерек, после должностных занятий, и уезжал поздно ночью. После пяти-шести дней ему казалось, что уже он сделал во всем семействе громадный успех. Риккабокка внимательно наблюдал за ним и после каждого посещения предавался глубоким размышлениям. Наконец, однажды вечером, когда мистрисс Риккабокка оставалась в гостиной а Виоланта удалилась на покой, Риккабокка, набивая свою трубку, завел с женой следующий разговор:

– Счастлив тот, кто не имеет детей! Трижды счастлив тот, кто не имеет дочерей!

– Что с тобой, мой друг Альфонсо? сказала мистрисс Риккабокка, отрывая свои взоры от рукава, к которому пришивала перламутровую пуговку, и обращая их на мужа.

Она не сказала больше ни слова: это был самый сильный

упрек, который она обыкновенно делала циническим и часто неприличным для женского слуха замечаниям мужа. Риккабокка закурил трубку, сделал три затяжки и снова начал:

– Одно ружье, четыре пистолета и дворовый пес, по кличке Помпей, растрепали бы на мелкие куски хоть самого Юлия Кесаря.

– Да, действительно, этот Помпей ест ужасно много, простосердечно сказала мистрисс Риккабокка. – Но скажи, Альфонсо, легче ли тебе на душе при всех этих предостережениях?

– Нет, они нисколько не облегчают меня, сказал Риккабокка, с глубоким вздохом. – Об этом-то я и хотел поговорить. Для меня подобная жизнь самая несносная, – жизнь, унижающая достоинства человека, – для меня, который просит у неба одного только сохранения своего достоинства и своего спокойствия. Выйди Виоланта замуж, и тогда не нужно бы мне было ни ружей, ни пистолетов, ни Помпея. Вот что облегчило бы мою душу! *cara mia*, Помпей облегчает только мою кладовую.

В настоящее время Риккабокка был откровеннее с Джемимой, чем с Виолантой. Доверив ей одну тайну, он имел побудительные причины доверять ей и другие, и вследствие этого высказал все свои опасения касательно графа ди-Пешьера.

– Конечно, отвечала Джемима, оставляя свою работу и нежно взяв за руку мужа: – если ты, друг мой, до такой

степени боишься (хотя, откровенно тебе сказать, я не вижу основательной причины к подобной боязни), – если ты боишься этого злого и опасного человека, то ничего бы не могло быть лучше, как видеть нашу милую Виоланту за хорошим человеком.... потому я говорю за хорошим, что, выйдя за одного, она уже не может выйти за другого.... и тогда всякая боязнь касательно этого графа, как ты сам говоришь, исчезнет. – Ты объясняешь дело превосходно. После этого как не сказать, что, открывая перед женой свою душу, мы испытываем беспредельно отрадное чувство, возразил Риккабокка.

– Но, сказала жена, наградив мужа признательным поцелуем: – но где и каким образом можем мы найти мужа, который бы соответствовал званию твоей дочери?

– Ну, так и есть, так и есть! вскричал Риккабокка, отодвигаясь с своим стулом в отдаленный конец комнаты: – вот и открывай свою душу! Это все равно, что открыть крышку ларчика Пандоры: открыл тайну – и тебе изменили, погубили тебя, уничтожили.

– Почему же так? ведь здесь нет ни души, кто бы мог подслушать нас! сказала мистрисс Риккабокка, утешающим тоном.

– Это случай, сударыня, что здесь нет ни души! Если вы сделаете привычку выбалтывать чью нибудь тайну, когда подле вас нет посторонних людей, то, скажите на милость, каким образом вы удержите себя от щекотливого желания

разболтать ее целому свету? Тщеславие, тщеславие, – женское тщеславие! Женщина не может обойтись без звания, – никогда не может!

И доктор продолжал говорить в этом тоне более четверти часа, когда мистрисс Риккабокка успела наконец успокоить его неоднократными и слезными уверениями, что она не решится прошептать даже самой себе, что её муж имел какоенибудь другое звание, кроме звания доктора.

Риккабокка, сомнительно покачав головой, снова начал:

– Я давно уже все кончил с пышностью и претензиями на громкое имя. Кроме того, молодой человек – джентльмен по происхождению и, кажется, в хороших обстоятельствах; в нем много энергии и скрытного честолюбия; он родственник преданного друга лорда л'Эстренджа и, по видимому, всей душой предан Виоланте. Я не вижу никакой возможности устроить это дело лучше. Мало того: если Пешьера страшит моего возвращения в отечество, то чрез этого молодого человека я узнаю, каким образом и какие лучше принять меры для своего спокойствия. . . . Признательность, мой друг, есть самое главное достоинство благородного человека!

– Значит, ты говоришь о мистере Лесли?

– Конечно о ком же другом стану говорить я?

Мистрисс Риккабокка задумчиво склонила голову к ладони правой руки.

– Хорошо, что ты сказал мне об этом: я буду наблюдать за ним другими глазами.

– *Anima tua*, я не вижу, каким образом перемена твоих глаз может изменить предмет, на который они смотрят! про-изнес Риккабокка, выколачивая пепел из трубки.

– Само собою разумеется, что предмет изменяется, когда мы смотрим на него с различных точек зрения, отвечала Джемима, весьма скромно. – Вот эта нитка, например, имеет прекрасный вид, когда я смотрю на нее и намереваюсь пришить пуговку, но она никуда не годится, еслиб вздумали привязать на ней Помпея в его кануре.

– Клянусь честью, воскликнул Риккабокка, с самодовольной улыбкой: – ваш разговор принимает форму рассуждения с пояснениями.

– А когда мне должно будет, продолжала Джемима смотреть на человека которому предстоит составить на всю жизнь счастье этого неоцененного ребенка, то могу ли я смотреть на него теми глазами, какими смотрела на него, как на нашего вечернего гостя? О, поверь мне, Альфонсо, я не выставляю себя умнее тебя; но когда женщина начнет разбирать человека, будет отыскивать в нем прекрасные качества, рассматривать его чистосердечие, его благородство, его душу, – о, поверь мне, что она бывает тогда умнее самого умного мужчины.

Риккабокка продолжал глядеть на Джемиму с непритворным восторгом и изумлением. И, действительно, с тех пор, как он открыл душу свою прекрасной половине, с тех пор, как он начал доверять ей свои тайны, советоваться с ней,



её ум, по видимому, оживился, её душа развернулась.

– Друг мой, сказал мудрец: – клянусь, Макиавелли был глупец в сравнении с тобой. А я был нечувствителен как стул, на котором сижу, чтобы отказывать себе в течение многих лет в утешении и в советах такой... одно только – *corpo de Vacco!* – забудь навсегда о высоком звании... за тем пора на покой!

– Не аукай, пока в лес не войдешь! произнес неблагодарный, недоверчивый итальянец, зажигая свечу в своей спальне.

## Глава LXXXIII

Риккабокка не имел терпения оставаться долго внутри стен, в которых заключил Виоланту. Прибегнув снова к очкам и накинув свой плащ, он от времени до времени предпринимал экспедиции, в роде рекогносцировки, не выходя, впрочем, из пределов своего квартала, или, вернее сказать, не теряя из виду своего дома. Его любимая прогулка ограничивалась вершиною пригорка, покрытого захиревшим кустарником. Здесь обыкновенно он садился отдыхать и предавался размышлениям, до тех пор, пока на извилистой дороге не раздавался звук подков лошади Рандаля, когда солнце начинало склоняться к горизонту в массу осенних облаков, над зеленою, увядшей, красноватой и подернутой вечерним туманом. Сейчас же под пригорком, и не более, как в двухстах шагах от его дома, находилось другое одинокое жилище – очаровательный, совершенно в английском вкусе коттэдж, хотя в некоторых частях его сделано было подражание швейцарской архитектуре. Кровля коттэджа была покрыта соломою, края её украшались резьбою; окна имели разноцветные ставни, и весь лицевой фасад прикрывался ползучими растениями. С вершины пригорка Риккабокка мог видеть весь сад этого коттэджа, и его взор, как взор художника, приятно поражался красотою, которая, с помощью изящного вкуса, сообщена была пустынному клочку земли. Даже

в это несколько не радующее время года сад коттэджа носил на себе улыбку лета: зелень все еще была так ярка и разнообразна, и некоторые цветы все еще были крепки и здоровы. На стороне, обращенной к полдню, устроена была род колоннады, или крытой галереи, простой сельской архитектуры, и ползучия растения, еще не так давно посаженные, начинали уже виться вокруг маленьких колонн. Напротив этой колоннады находился фонтан, который напоминал Риккабокка его собственный фонтан, покинутый им в казино. И действительно, он имел замечательное сходство с покинутым фонтаном: он имел ту же круглую форму, та же самая куртинка цветов окружала его. Только водомет его изменялся с каждым днем: это был фантастический и разнообразный водомет, как игры Наяды; иногда он вылетал, образуя собою серебристое дерево, иногда форма его разделялась на множество выющихся ленточек, иногда образовывал он из пены своей румяный цветок или плод ярко-золотистых оттенков... короче сказать, этот фонтан похож был на счастливого ребенка, беспечно играющего своей любимой игрушкой. Вблизи фонтана находился птичник, достаточно большой, чтоб вмещать в себе дерево. Итальянец мог различать яркий цвет перьев, украшавших крылья пернатых, в то время, как они перепархивали под растянутой сетью, – мог слышать их песни, которые представляли собою контраст безмолвию окрестностей, наполненных простым рабочим народом, шумная веселость которого с наступлением зимы начи-

нало затихать.

Взгляд Риккабокка, столь восприимчивый ко всему прекрасному, утопал в восторге при зрелище этого сада. Приятный, навевающий отраду на душу вид его имел какие-то особенные чары, которые отвлекали его от тревожных опасений и грустных воспоминаний.

В пределах домашних владений он видел два существа, но не мог рассмотреть их лиц. Одно из них была женщина, которая на взгляд Риккабокка имела степенную и простую наружность: она показывалась редко. Другое – мужчина: он часто прохаживался по галлерее, часто останавливался перед игривым фонтаном или перед птицами, которые при его приближении начинали петь громче. После прогулки он, обыкновенно, уходил в комнату, стекольчатая дверь которой находилась в отдаленном конце галлерей; и, если дверь оставалась открытою, Риккабокка видел внутри комнаты неясный очерк человека, сидевшего за столом, покрытом книгами.

Каждый день, перед закатом солнца, незнакомый сосед выходил в сад и занимался им, ухаживая за цветами с необыкновенным усердием, как будто занятие это приносило ему величайшее удовольствие; в то же время выходила и женщина, останавливалась подле садовника и вступала с ним в продолжительный разговор. Все это в сильной степени возбуждало любопытство Риккабокка. Он приказал Джемиме осведомиться, через старуху служанку, кто жил в этом

коттэдже, и узнал, что владетель его был мистер Оран, тихий джентльмен, который с удовольствием проводит за книгами большую часть своего времени.

Между тем как Риккабокка подобным образом развлекал себя, Рандалю ничго не мешало – ни его должностные занятия, ни умыслы на сердце и богатство Виоланты – развивать план, в котором предполагалось соединить Франка брачными узами с Беатриче ди-Негра. И действительно, что касается Франка, достаточно было одного слабого луча надежды, чтоб раздуть пламя в его пылкой и легковерной душе. Весьма искусно перетолкованный Рандалем в другую сторону разговор мистера Гэзельдена устранял все опасения родительского гнева из души молодого человека, который постоянно расположен был предаваться минутным увлечениям. Беатриче, хотя в чувствах её в отношении к Франку не было и искры любви, более и более покорялась влиянию убеждений и доводов Рандаля, особливо, когда брат её становился суровее и прибегал даже к угрозам вместе с течением времени, в продолжение которого Беатриче не могла указать на убежище тех, кого он так ревностно искал. К тому же и долги её с каждым днем делали положение её затруднительнее. Глубокое знание Рандалем человеческих слабостей давало ему возможность догадываться, что колеблющееся состояние чести и гордости, принудившие Беатриче признаться в том, что она не хотела бы поставить мужа своего в затруднительное положение, начинало покоряться требо-

ваниям необходимости. Почти без всяких возражений она слушала Рандалья, когда он убеждал ее не ждать неверного открытия, упрочивавшего надежду на её приданое, но посредством брака с Франком воспользоваться немедленно свободой и безопасностью. Хотя Рандаль с самого начала и доказывал молодому Гэзельдену, что приданое Беатриче послужит ему прекрасным оправданием в глазах сквайра, но между тем ему не хотелось поддерживать этого доказательства, которое скорее утушало, но не раздувало пламени в благородной душе бедного воина. И, кроме того, Рандаль мог по чистой совести сказать, что, спросив сквайра, желает ли он, чтоб жена Франка принесла с собой богатство, сквайр отвечал ему: «Я и не думаю об этом.» Таким образом, ободряемый советами своего друга, голосом своего сердца и пленительным обращением женщины, которая умела бы очаровать более хладнокровного, умела бы свести с ума более умного человека, Франк быстро опутывался сетями, расставленными на его погибель, и, все еще побуждаемый благородными чувствами, не хотел решиться на приложение Беатриче руки своей, не смел решиться вступить в этот брак без согласия или даже без ведома своих родителей. – Но, несмотря на то, Рандаль был очень доволен, представляя натуру, прекрасную во всех отношениях, но в то же время пылкую и необузданную, влиянию первой сильной страсти, какую она когда либо знавала. Весьма нетрудно было отсоветовать Франку не только написать домой об этом

намерении, но даже намекнуть о нем. «Потому не должно делать этого – говорил хитрый и искусный предатель – что хотя мы и можем быть уверены в согласии мистрисс Гэзельден, – можем, когда сделан будет первый приступ, рассчитывать на её власть над мужем, – но можем ли мы надеяться на согласие сквайра? ведь ты знаешь, какой у него вспыльчивый характер! Чего доброго, он вдруг приедет в Лондон, встретится с маркизой, наговорит ей тьму обидных выражений, которые невольным образом пробудят в ней чувство оскорбленного самолюбия, и тем немедленно принудит ее отказаться от твоего предложения. Хотя сквайр впоследствии станет раскаяваться – в этом смело можно ручаться – но уж будет поздно.»

Между тем Рандаль дал обед в Кларендонском отеле, (роскошь, несобразная с его образом жизни) и пригласил Франка, мистера Борровелла и барона Леви.

Этот домашний паук, с такою легкостью спускавшийся на жертвы свои по паутинам бесчисленным и запутанным, успевал утешать маркизу ди-Негра уверениями, что отыскиваемые беглецы рано или поздно, но непременно будут пойманы. Хотя Рандаль умел уклоняться и устранять от себя все подозрения со стороны маркизы в том, что он уже знаком с изгнанниками, но, во всяком случае, Беатриче необходимо было доказать искренность помощи, которую она обещала своему брагу, и для этого доказательству нужно было отрекомендовать Рандаля графу. Тем не менее желательно было

для самого Рандаля познакомиться с этим человеком и, если можно, войти в доверие своего соперника.

Они встретились наконец в доме маркизы. При встрече двух человек с одинаково дурными наклонностями, всегда замечается что-то особенно странное, даже, если можно так выразиться, месмерическое. Сведите вместе двух человек с душой благородной, и я готов держать пари, что они узнают друг в друге человека благородного. Может стать, одно только различие характера, привычек, даже мнений о политике принудит их составить друг о друге ложное понятие. Но поставьте вместе двух мужчин безнравственных, развратных, и они узнают друг друга, по немедленному сочувствию. Едва только взоры Францини Пешьера и Рандаля Лесли встретились, как в них засверкал луч единомыслия, Они беседовали о предметах весьма обыкновенных: о погоде, городских сплетнях, политике и т. п. Они кланялись друг другу и улыбались; но, в течение этого времени, каждый по своему делал наблюдения над сердцем другого, каждый мерял свои силы с силами другого, каждый говорил в душе своей: «о, это замечательный бездельник, но я не уступлю ему ни в чем!» Они встретились за обедом. Следуя обыкновению англичан, после обеда маркиза оставила их за десертом и вином.

В это время граф ди-Пешьера осторожно и с особенной ловкостью сделал первый приступ к цели нового знакомства.

– Так вы ни разу еще не были за границей? Вам нужно по-



стараться побывать у нас в Вене. Я отдаю полную справедливость великолепию вашего высшего лондонского общества; но, откровенно говоря, ему недостает нашей свободы, – свободы, которая соединяет веселье с утонченностью. Это происходит вот отчего: ваше общество довольно смешанное – тут являются претензии и усилия между теми, кто не имеет права находиться в нем, искусственная снисходительность и отталкивающая надменность – между теми, кто имеет право держать низших себя в некотором отдалении. Наше общество состоит из людей замечательных по своему высокому званию и происхождению, и потому фамильярное обращение в этом случае неизбежно. Значит, прибавил граф, с наивной улыбкой: – значит для молодого человека, кроме Вены, не может быть лучшего места, – кроме Вены нет места для *bonnes fortunes*.

– *Bonnes fortunes* составляют рай для человека беспечного, отвечал Рандаль: – но чистилище – для деятельного. Признаюсь вам откровенно, любезный, граф, я столько же имею свободного времени, необходимого для искателя *bonnes fortunes*, сколько и личных достоинств, которые приобретают их без всякого усилия.

И Рандаль, в знак особенной учтивости, слегка кивнул головой.

«Из этого следует – подумал граф – что женщина не есть его слабая сторона. В чем же она заключается?»

– *Morbleu!* Любезный мистер Лесли, еслиб несколько лет

тому назад я думал так, как вы, то это бы избавило меня от множества хлопот. Во всяком случае, честолюбие есть самый пленительный предмет, который можно обожать и поклоняться ему; здесь по крайней мере, всегда есть надежда и никогда нет обладания.

– Честолюбие, граф, отвечал Рандаль, продолжая охранять себя сухим лаконизмом: – есть роскошь для богатого и необходимость для бедного.

«Ага! – подумал граф. – Дело клонится, как я предполагал с самого начала, на подкуп.»

Вместе с этим он налил рюмку вина, беспечно выпил ее залпом и передал бутылку Рандалью.

– *Sur mon âme, mon cher*, сказал он: – роскошь всегда приятнее необходимости, и я решился сделать честолюбию небольшую попытку – *je vais me réfugier dans le sein du bonheur domestique* – супружескую жизнь и спокойный дом. *Peste!* Не будь этого честолюбия, право, другой бы умер от скуки. Кстати, мой добрый сэр: я должен выразить вам мою признательность за обещание помогать моей сестре в поисках одного моего близкого и дорогого родственника, который приютился в вашем отечестве и скрывается даже от меня.

– Я бы поставил себе в особенное счастье, еслиб успел оказать вам помощь в этих поисках. Но до сих пор я должен только сожалеть, что все мои желания остаются бесплодными. Я имею, однакож, некоторые причины полагать, что человека с таким званием весьма нетрудно отыскать, даже чрез

посредничество вашего посланника.

– К сожалению, посланник наш не принадлежит к числу моих избранных и преданных друзей; к тому же звание не может служить верным указателем. Нет никакого сомнения, что родственник мой сбросил его с себя с той минуты, как покинул свое отечество.

– Он покинул его, сколько я понимаю, вероятно, не по своему собственному желанию, сказал Рандаль, улыбаясь. – Извините мое дерзкое любопытство, но не можете ли вы объяснить мне поболее, чем я знаю из слухов, распущенных англичанами (которые никогда не бывают основательны, а тем более, если дело касается чужеземца), объясните мне, каким образом человек, которому при революции предстояло так много потерять и так мало выиграть, мог поручить себя утлой и дряхлой ладье, вместе с другими сумасбродными авантюристами и лжеумствовагелями.

– Лжеумствователями! повторил граф. – Мне кажется, вы уже отгадываете ответ на свой вопрос. Вы хотите, кажется сказать, каким образом люди высокого происхождения могли сделаться такими же безумцами, как и какие нибудь бродяги? Тем охотнее готов удовлетворить ваше любопытство, что, быть может, это послужит вам в некоторой степени руководством к предпринимаемым для меня поискам. Надобно вам сказать, что родственник мой, по своему происхождению, не имел права на богатство и почести, которые он приобрел. Он был дальним родственником главы дома, которо-

го впоследствии сделался представителем. Получив воспитание в одном из итальянских университетов, он отличался своею ученостью и своею оригинальностью. Там, вероятно, углубляясь в размышления над старинными сказками о свободе, он усвоил химерические идеи о независимости Италии. Как вдруг три смертных случая в кругу наших родных предоставили ему, еще в молодости, права на звание и почести, которые могли бы удовлетворить честолюбие хоть какого угодно человека с здравым рассудком. *Que diable!* что могла бы сделать для *него* независимость Италии! Он и я были кузенами. Будучи мальчиками, мы вместе играли; но обстоятельства разлучили нас до тех пор, пока счастливая перемена в его жизни снова и по необходимости свела нас вместе. Мы сделались преданными друзьями. И вы можете судить, как я любил его, сказал граф, медленно отводя свой взор от спокойных, испытующих взоров Рандаля:— если скажу вам, что я простил ему право на наследство, которое, не будь его, принадлежало бы мне.

— Значит вы были следующий за ним наследник?

— Можете представить себе, как тяжела должна быть пытка, когда находитесь так близко от громадного богатства, и вас отталкивают от него.

— Совершенная правда, сказал Рандаль, теряя в эту минуту все свое хладнокровие.

Граф снова приподнял свои взоры, и снова оба собеседника заглянули друг другу в душу.

– Еще тяжелее, быть может, продолжал граф, после непродолжительного молчания:– для других еще тяжелее было бы простить соперника и вместе с тем богатого наследника.

– Соперника! Это каким образом?

– Девица, обреченная её родителями мне, хотя, признаться сказать, мы не были еще обручены с ней формально, сделалась женой моего кузина.

– И он знал ваши притязания на этот брак?

– Я отдаю ему справедливость, если говорю, что он не знал. Он увидел и влюбился в девицу, о которой я говорил. её родители были ослеплены. её отец послал за мной. Он извинялся – объяснил, в чем дело; он представил мне, само собою разумеется, весьма скромно, некоторые из моих, свойственных всем молодым людям, заблуждений, как извинительную причину перемены его намерения, и просил меня не только оставить все надежды на его дочь, но и скрыть от её нового жениха, что я когда либо смел надеяться.

– И вы согласились?

– Согласился.

– С вашей стороны это было весьма великодушно. Привязанность ваша к вашему родственнику должна быть беспредельна. Вы говорите это, как любовник: поэтому, быть может, я не совсем понимаю это обстоятельство; не пойму ли я лучше, если вы скажете мне, как человек светский?

– Я полагаю, сказал граф, с самым беспечным видом: – полагаю, что мы оба светские люди?

– *Оба!* без всякого сомнения, отвечал Рандаль, тем же тоном и с тем же видом.

– Как человек, знающий совершенно все пружины нашего общества, я должен признаться, сказал граф, играя кольцами на пальцах своих рук: – что если бы нельзя было жениться на той девице мне самому – а это казалось мне верным – то, весьма натурально, я должен был пожелать видеть ее замужем за моим богатым родственником.

– Весьма натурально: это обстоятельство еще сильнее скрепляло вашу дружбу с вашим богатым кузеном.

«Да, по всему видно, что он очень умный малый» – подумал граф, но на замечание Рандалья не сделал прямого ответа.

– *Enfin*, не распространяя своего рассказа, я должен сказать, что кузен мой замешан был в предприятии, неудача которого сделалась известна. Его планы были обнаружены, и он должен был оставить отечество. Он неизвестно куда скрылся, и я, в качестве ближайшего наследника, теперь пользуюсь на неопределенное время доходами с половины тех имений. При таком положении дела, если бы кузен мой и его дочь умерли в неизвестности, то представителем его имения был бы я – австрийский подданный, я – Францини граф д-Пешьера.

– Теперь я совершенно понимаю дело; и, сколько могу догадываться, так вы, пользуясь, по случаю падения своего родственника, такими огромными, хотя и справедливыми, выго-

дами и преимуществами, легко можете навлечь на себя обидное подозрение.

– *Entre nous, mon cher*, если бы вы знали, как мало забочусь я об этом, и скажите мне, найдется ли хоть один человек, который может похвастаться, что избежал злословия завистливых? Впрочем, нельзя отвергать, что желательно было бы соединить разъединенных членов нашего дома; и этот союз я могу устроить, получив руку дочери моего родственника. Теперь вы видите, почему я принимаю такое сильное участие в этих поисках?

– В брачном контракте вы, без сомнения, могли бы удержать за собой доходы, которыми вы пользовались, а в случае смерти вашего родственника вы сделали бы наследником всех его богатств. Да, подобного брака можно пожелать, и, если он состоится, я полагаю, что этого весьма достаточно будет для получения вашим кузеном милости и прощения?

– Ваша правда.

– Даже и без этого брака, особенно после того, как милость императора распространилась на такое множество изгнанников, весьма вероятно, что ваш кузен получит прощение?

– Когда-то это и для меня казалось возможным, отвечал граф весьма неохотно: – но со времени моего приезда в Англию я думаю совсем иначе. После революции пребывание моего кузена в Англии уже само по себе подозрительно. Подозрение это еще более увеличивается его странным

уединением, его затворнической жизнью. Здесь есть множество итальянцев, которые готовы утвердительно показать, что встречались с ним, и что он до сих пор еще занят революционными проектами?

– Они готовы показать, но только ложно.

– *Ma foi*, ведь результат-то показаний будет один и тот же; *les absents ont toujours tort*. Я говорю с вами откровенно. Без некоторого верного ручательства за ея верноподданство, такого ручательства, например, какое мог бы доставить брак его дочери со мной, возвращение его в отечество невероятно. Клянусь небом, оно будет *невозможно!*

Сказав это, граф встал, и маска притворства свалилась с его лица, отражавшего на себе преступные замыслы его души: он встал высокий и грозный, как олицетворенная сила и могущество мужчины подле хилой, согбенной фигуры и болезненного лица прожектёра, который всю свою силу основывал на уме. Рандаль был встревожен; но, следуя примеру графа, он встал и с беспечным видом сказал:

– А что, если подобного ручательства нельзя будет представить? что, если, потеряв всякую надежду на возвращение в отечество и покоряясь вполне изменившемуся счастью, ваш кузен уже выдал свою дочь за англичанина?

– О, это была бы самая счастливейшая вещь для меня.

– Каким это образом? извините, я не понимаю!

– Если кузен пренебрег до такой степени своим происхождением и отрекся от своего высокого звания, если это наслед-



ство, которое потому только и опасно, что не лишено своего величия, если это наследство, в случае прощения моего кузена, перейдет какомунибудь неизвестному англичанину, чужеземцу – *mort de ma vie* – неужли вы думаете, что подобный поступок не уничтожит всякой возможности на возвращение прав моему кузену и не послужит даже перед глазами всей Италии поводом к формальной передаче его имений итальянцу? Мало того: если бы дочь моего кузена вышла замуж за англичанина с таким именем, происхождением и родственными связями, которые сами по себе уже служили бы ручательством (а каким образом это могло случиться при его нищете?), я отправился бы в Вену с легким сердцем, я смело мог бы предложить там следующий вопрос: моя родственница сделалась женой англичанина – должны ли дети её быть наследниками дома столь знаменитого по своему происхождению и столь грозного по своему богатству? *Parbleu!* еслиб кузен мой был не более, как какойнибудь авантюрист, его бы давным-давно простили.

Рандаль предался глубокой, хотя и непродолжительной думе. Граф наблюдал его, не лицом к лицу, но в отражении зеркала.

«Этому человеку чтонибудь известно, этот человек что-то обдумывает, этот человек может помочь мне», подумал граф.

Однакожь, Рандаль не сказал ни слова в подтверждение этих гипотез. рассеяв думу свою, он выразил удовольствие

насчет блестящих ожиданий графа.

– Во всяком случае, прибавил он: – при вашем благородном желании отыскать своего кузена, мне кажется, что вы могли бы исполнить это посредством простого, но весьма употребительного в Англии способа.

– А именно?

– Припечатать в газетах, что если он явится в назначенное место, то услышит весьма приятное для себя известие.

Граф покачал головой.

– Он станет подозревать меня и не явится.

– Но ведь он в большой дружбе с вами. Он был, вероятно, замешан в возмущении; вы были благоразумнее его. Пользуясь выгодами, доставленными вам его изгнанием, вы несколько не вредили ему. Почему же он, станет убегать вас?

– Возмутители никогда не прощают тем, кто не хотел участвовать в их замыслах; кроме того, признаться вам откровенно, он считает, что я много повредил ему.

– Так нельзя ли вам примириться с ним чрез его жену, которую вы так великодушно передали ему, когда она была вашей невестой?

– её уже нет на свете; она умерла прежде, чем он покинул отечество.

– О, какое несчастье! Все же мне кажется, что объявление в газетах было бы недурно. Позвольте мне подумать об этом предмете, а теперь нельзя ли присоединиться к маркизе?

При входе в гостиную, джентльмены застали Беатриче

в бальном наряде и, при ярком свете каминного огня, до такой степени углубленную в чтение, что приход их не был ею замечен.

– Что это интересует вас, *ma soeur*? вероятно, последний роман Бальзака?

Беатриче испугалась и, приподняв на брата взоры, показала глазки, полные слез.

– О нет! это вовсе не похоже на жалкую, порочную жизнь парижан. Вот это творение по всей справедливости может назваться прекрасным: в нем везде проглядывает светлая, непорочная, высокая душа!

Рандаль взял книгу, которую маркиза положила на стол: она была та самая, которая очаровывала семейный кружок в Гэзельдене: очаровывала существа с невинной, с неиспорченной душой, очаровала теперь утомленную и все еще преданную искушениям поклонницу шумного света.

– Гм! произнес Рандаль: – гэзельденский пастор был прав. Это сила, или, лучше сказать, что-то в роде силы.

– Как бы я хотела знать, кто автор этой книги! Кто он такой, не можете ли вы отгадать?

– Не могу. Вероятно, какойнибудь старый педант в очках.

– Не думаю, даже уверена, что ваша неправда. Здесь бьется сердце, которого я всегда искала и никогда не находила.

– *Oh, la naïve enfant!* вскричал граф: – *comme son imagination s'égaré en rêves enchantés*. Подумать только, что вы говорите как аркадская пастушка, а между тем одеты

как принцесса.

– Ах да, я чуть было не позабыла: ведь сегодня бал у австрийского посланника. Я не поеду туда. Эта книга сделала меня вовсе негодною для искусственного мира.

– Как тебе угодно; я должен ехать. Я не люблю этого человека, и он меня не любит; но приличие я ставлю выше личных отношений.

– Вы едете к австрийскому посланнику? спросил Рандаль. – Я тоже буду там. Мы встретимся.... До свидания.

И Рандаль откланялся.

– Мне очень нравится молодой твой друг, сказал граф, зевая. – Я уверен, что он имеет некоторые сведения об улетевших птичках и будет следить за ними как лягавая собака, если только мне удастся пробудить в нем особенное желание к этим поискам. Мы посмотрим.

# Часть девятая

## Глава LXXXIV

Рандаль приехал к посланнику до прибытия графа и первым делом поставил себе вмешаться в кружок нобльменов, составлявших свиту посольства и коротко ему знакомых.

В числе прочих был молодой австриец, путешественник, высокого происхождения и одаренный той прекрасной наружностью, по которой можно бы составить себе идеал старинного немецкого рыцаря. Рандаль был представлен ему; после непродолжительного разговора о предметах весьма обыкновенных, Рандаль заметила;

– Кстати, принц; в Лондоне живет теперь один из ваших соотечественников, с которым, без всякого сомнения, вы коротко знакомы: это – граф ди-Пешьера.

– Он вовсе не соотечественник мне: он итальянец. Я знаю его только по виду и по имени, сказал принц, с заметным принуждением.

– Однако, он происходит от весьма старинной фамилии.

– Да, конечно. Его предки были люди благородные.

– И очень богатые.

– В самом деле? А я думал совсем противное. Впрочем, он получает огромные доходы.

– Кто? Пешьера! Бедняга! он слишком любит играть в карты, чтобы быть богатым, сказал молодой человек, принадлежащий к посольству и не до такой степени скромный, как принц.

– Кроме того, как носятся слухи, заметил Рандаль: – этот источник доходов совершенно прекратится, когда родственник Пешьера, доходами с имений которого он пользуется, возвратится в свое отечество.

– Я бы от души радовался, еслиб это была правда, сказал принц, весьма серьёзно: – и этими словами я высказываю общее мнение нашей столицы. Этот родственник имеет благородную душу; его, как кажется, обманули и изменили ему. Извините меня, сэр, но мы, австрийцы, не так дурны, как нас рисуют. Скажите, встречались ли вы в Англии когда нибудь с родственником, о котором говорите?

– Ни разу, хотя и говорят, что он здесь: и, по словам графа, у него есть дочь.

– Графа – ха, ха! Да, я сам слышал что-то об этом, – о каком-то пари, – о пари, которое держал граф, и которое касается дочери его родственника. Бедненькая! надобно надеяться, что она избавится этих сетей; а нет никакого сомнения, что граф расставляет ей сети.

– Может статься, что она уже вышла замуж за какого нибудь англичанина.

– Не думаю, сказал принц, серьёзнее прежнего: – это обстоятельство могло бы послужить весьма важным препят-

ствием к возвращению её отца на родину.

– Вы так думаете?

– И в этом нет ни малейшего сомнения, прервал молодой член посольства, с величественным и положительным видом: – это могло состояться в таком только случае, если звание этого англичанина во всех отношениях равно его званию.

В эту минуту послышался у дверей легкий ропот одобрения и шепот: в эту минуту объявили о прибытии графа; и в то время, как он вошел, его присутствие до такой степени поражало всех, его красота была так ослепительна, что какие бы ни существовали невыгодные толки об его характере, все они, по видимому, в эту минуту замолкали, – все забывалось в этом непреодолимом восторге, который могут производить одни только личные достоинства.

Принц, едва заметно искривив свои губы, при взгляде на группы, собравшиеся вокруг графа, обратился к Рандалю и сказал:

– Не можете ли вы сказать мне, здесь или еще за границей ваш знаменитый соотечественник лорд л'Эстрендж?

– Нет, принц, его здесь нет. А вы знаете его?

– Даже очень хорошо.

– Он знаком с родственником графа; и, быть может, вы от него-то и научились так хорошо думать об этом родственнике?

Принц поклонился и, отходя от Рандалл, произнес:

– Когда человек с высокими достоинствами ручается за другого человека, то ему можно довериться во всем.

«Конечно, произнес Рандель, про себя: – я не должен быть опрометчив. Я чуть-чуть не попался в страшную западню. Ну что, еслиб я женился на дочери изгнанника и этим поступком предоставил бы графу Пешьера полное право на наследство! Как трудно в этом мире быть в достаточной степени осторожным!»

В то время, как Рандаль делал эти соображения, на плечо его опустилась рука одного из членов Парламента.

– Что, Лесли, верно, и у тебя бывают припадки меланхолии! Готов держать пари, что угадываю твои думы.

– Угадываете! отвечал Рандаль.

– Ты думаешь о месте, которого скоро лишишься.

– Скоро лишусь!

– Да, конечно: если министерство переменится, тебе трудно будет удержать его, – я так думаю.

Этот зловещий и ужасный член Парламента, любимый провинциальный член сквайра Гэзельдена, сэр Джон, был одним из тех законодательных членов, в особенности ненавистных для членов административных, – член, независимый ни от кого, благодаря множеству акров своей земли, который охотнее согласился бы вырубить столетние дубы в своем парке, чем принять на себя исполнение административной должности, в душе которого не было ни искры сострадания к тем, кто не согласовался с ним во вкусах и имел



сравнительно с ним менее великолепные средства к своему существованию.

– Гы! произнес Рандаль, с угрюмым видом. – Во первых, сэр Джон, министерство еще не переменяется.

– Да, да, я знаю это, – а знаю также, что оно будет переменоно. Вы знаете, что я вообще люблю соглашаться с нашими министрами во всем и поддерживать их сторону; но ведь они люди чересчур честолюбивые и высокомерные, и если они не сумеют соблюсти надлежащего такта, то, конечно, клянусь Юпитером, я покидаю их и перехожу на другую сторону.

– Я несколько не сомневаюсь, сэр Джон, что вы сделаете это: вы способны на такой поступок; это совершенно будет зависеть от вас и от ваших избирателей. Впрочем, во всяком случае, если министерство и переменится, то терять мне нечего: я ни более, ни менее, как обыкновенный подчиненный. Я ведь не министр: почему же и я должен оставить свое место?

– Почему? Послушайте, Лесли, вы смеетесь надо мной. Молодой человек на вашем месте не унизит себя до такой степени, чтоб оставаться тут, под начальством тех людей, которые стараются низвергнуть и низвергнуть вашего друга Эджертона!

– Люди, занимающие публичные должности, не имеют обыкновения оставлять свою службу при каждой перемене правительства.

– Конечно, нет; но родственники удаляющегося министра всегда оставляют ее, – оставляют ее и те, которые считались политиками и которые намеревались вступить в Парламент, как, без сомнения, поступите вы при следующих выборах. Впрочем, эти вещи вы сами знаете не хуже моего, – вы, который смело может считать себя превосходным политиком, – вы, сочинитель того удивительного памфлета! Мне бы крайне не хотелось сказать моему другу Гэзельдену, который принимает в вас самое искреннее участие, что вы колеблетесь там, где дело идет о чести.

– Позвольте вам сказать, сэръ Джон, сказал Рандаль, принимая ласковый тон, хотя внутренне проклиная своего провинциального парламентского члена:– для меня все это еще так ново, что сказанное вами никогда не приходило мне в голову. Я не сомневаюсь, что вы говорите совершенную истину; но, во всяком случае, кроме самого мистера Эджертона, я не могу иметь лучшего руководителя и советника.

– Конечно, конечно, Эджертон во всех отношениях прекрасный джентльмен! Мне бы очень хотелось примирить его с Гэзельденом, особенно теперь, когда все справедливые люди старинной школы должны соединиться вместе и действовать за одно.

– Это сказано прекрасно, сэръ Джон, и умно. Но, простите меня, я должен засвидетельствовать мое почтение посланнику.

Рандаль освободился и в следующей комнате увидел по-

сланника в разговоре с Одлеем Эджертоном. Посланник казался весьма серьезным, Эджертон, по обыкновению – спокойным и недоступным. Но вот прошел мимо их граф, и посланник поклонился ему весьма принужденно.

В то время, как Рандаль, несколько позже вечером, отыскивал внизу свой плащ, к нему неожиданно присоединился Одлей Эджертон.

– Ах, Лесли, сказал Одлей, тоном ласковее обыкновенного: – если ты думаешь, что ночной воздух не холоден для тебя, так прогуляемся домой вместе. Я отослал свою карету.

Эта снисходительность со стороны Одлея была до такой степени замечательна, что не на шутку испугала Рандалья и пробудила в душе его предчувствие чего-то недоброго. По выходе на улицу, Эджертон, после непродолжительного молчания, начал:

– Любезный мистер Лесли, я всегда надеялся и был уверен, что доставил вам по крайней мере возможность жить без нужды, и что впоследствии мог открыть вам карьеру более блестящую.... Позвольте: я нисколько не сомневаюсь в вашей благодарности.... позвольте мне продолжать. В настоящее время предвидится возможность, что, после некоторых мер, предпринимаемых правительством, Нижний Парламент не в состоянии будет держаться и члены его, по необходимости, оставят свои места. Я говорю вам об этом заранее, чтобы вы имели время обдумать, какие лучше предпринять тогда меры для своей будущности. Моя власть оказы-

вать вам пользу, весьма вероятно, кончится. Принимая в соображение нашу родственную связь и мои собственные виды касательно вашей будущей, нет никакого сомнения, что вы оставите занимаемое теперь место и последуете за моим счастьем к лучшему или худшему. Впрочем, так как у меня нет личных врагов в оппозиционной партии и как положение мое в обществе весьма значительно, чтоб поддержать и утвердить ваш выбор, какого бы рода он ни был, — если вы считаете более благоразумным удержать за собой теперешнее место, то скажите мне откровенно: я полагаю, что вы можете сделать это без малейшей потери своего достоинства и без вреда своей чести. В таком случае вам придется предоставить ваше честолюбие постепенному возвышению, не принимая никакого участия в политике. С другой стороны, если вы предоставите свою карьеру возможности моего вторичного вступления в права должностного человека, тогда должны отказаться от своего места; и наконец, если вы станете держаться мнений, которые не только будут в оппозиционном духе, но и популярны, я употреблю все силы и средства ввести вас в парламентскую жизнь. Последнего я не советую вам.

Рандаль находился в таком положении, какое испытывает человек после жестокого падения: он, в буквальном смысле слова, был оглушен.

— Можете ли вы думать, сэръ, что я решился бы покинуть ваше счастье.... вашу партию.... ваши мнения? произнес он

в крайнем недоумении.

– Послушайте, Лесли, возразил Эджертон: – вы еще слишком молоды, чтоб держаться исключительно какихнибудь людей, какойнибудь партии или мнения. Вы могли сделать это в одном только вашем несчастном памфлете. Здесь чувство не имеет места: здесь должны участвовать ум и рассудок. Оставимте говорить об этом. Приняв в соображение все *pro* и *contra*, вы можете лучше судить, что должно предпринять, когда время для выбора внезапно наступит.

– Надеюсь, что это время никогда не наступит.

– Я тоже, надеюсь, и даже от чистого сердца, сказал Эджертон, с непритворным чувством.

– Что еще могло быть хуже для нашего отечества! воскликнул Рандаль. – Для меня до сих пор кажется невозможным в натуральном порядке вещей, чтобы вы и ваша партия когданибудь оставили свои почетные места!

– И когда мы разойдемся, то найдется множество умниц, которые скажут, что было бы не в натуральном порядке вещей, еслиб мы снова заняли свои места.... Вот мы и дома.

Рандаль провел бессонную ночь. Впрочем, он был из числа тех людей, которые не слишком нуждаются во сне и не сделали к нему особенной привычки. Как бы то ни было, с наступлением утра, когда сны, как говорят, бывают пророческие, он заснул очаровательным сном – сном, полным видений, способных принимать к себе, чрез лабиринты всей юриспруденции, обреченных вечному забвению канц-

леров, или сокрушенных на скалах славы неутомимых юношей – искателей счастья: в упоительных грезах Рандаль видел, как Руд-Голл, увенчанный средневековыми башнями, высился над цветущими лугами и тучными жатвами, так безбожно отторгнутыми от владений Лесли Торнгиллами и Гэзельденами; Рандаль видел в сонных грезах золото и власть Одлея Эджертона, – видел роскошные комнаты в улице Даунин и великолепные салоны близ Гросвенор-Сквера. Все это одно за другим пролетало перед глазами улыбающегося сновидца, как Халдейская империя пролетала перед Дарием Мидийским. Почему видения, ни в каком отношении не сообразные с предшествовавшими им мрачными и тревожными думами, должны были посетить изголовье Рандалья Лесли, это выходит из пределов моих соображений и догадок. Он, однако же, бессознательно предавался их обаянию и крайне изумился, когда часы пробили одиннадцать, в то самое время, как он вошел в столовую, к завтраку. Рандалью досадно было на свою запоздалость: он намеревался извлечь какие-нибудь существенные выгоды из необычайной благосклонности Эджертона, получит какие-нибудь обещания или предложения, которые бы разъяснили несколько, придали бы веселый вид перспективе, представленной Эджертоном накануне в таких мрачных, оледеняющих чувства красках. Только во время завтрака он и находил случай переговорить с своим деятельным патроном о делах неслужебных. Нельзя было надеяться, чтобы Одлей Эджертон оста-

вался дома до такой поздней поры. Оно так и случилось. Рандаля удивляло одно только обстоятельство, что Эджер-тон, вместо того, чтоб отправиться пешком, как это делалось им по привычке, выехал в карете. Рандаль торопливо кончил свой завтрак: в нем пробудилось необыкновенное усердие к месту своего служения, и, немедля ни минуты, он отправился туда. Проходя по широкому тротуару Пикадилли, он услышал позади себя голос, который с недавнего времени сделался знаком ему, и, оглянувшись, увидел барона Леви, шедшего рядом, но не под руку, с джентльменом, так же щегольски одетым, как и он сам, только походка этого джентльмена была живее, осанка – бодрее. Кстати сказать: наблюдательный человек легко может сделать безошибочно заключение о расположении духа и характере другого человека, судя по его походке и осанке во время прогулки. Тот, кто следит за какойнибудь отвлеченной мыслью, обыкновенно смотрит в землю. Кто привык к внезапным впечатлениям или старается уловить какоенибудь воспоминание, тот как-то отрывисто взглядывает кверху. Степенный, осторожный, настоящий практический человек всегда идет свободно и смотрит вперед; даже в самом задумчивом расположении духа он на столько обращает внимание вокруг себя, на сколько требуется, чтоб не столкнуться с разнощиком и не сронить с головы его лотка. Но человек сангвинического темперамента, которого хотя и можно назвать практическим, но в то же время он в некоторой степени и созерцательный, человек пыл-

кий, развязный, смелый, постоянно страстный к соревнованию, деятельный и всегда старающийся возвысит себя в жизни, – такой человек не ходит, но бегаёт; смотрит он выше голов других прохожих; его голова имеет свободное обращение, как будто она приставлена к плечам его слегка; его рот бывает немного открыт; его взор светлый и беглый, но в то же время пронизательный; его осанка сообщает вам идею о защите; его стан стройный, но без принуждения. Такова была наружность спутника барона Леви. В то время, как Рандаль обернулся на призыв барона, барон сказал своему спутнику:

– Это молодой человек, принят в высшем кругу общества; вам не мешало бы приглашать его на балы прекрасной вашей супруги Как поживаете, мистер Лесли? Позвольте отрекомендовать вас мистеру Ричарду Эвенелю.

И, не дожидая ответа, барон Леви взял Рандалья под руку и прошептал:

– Человек с первоклассными талантами; чудовищно богат; у него в кармане два или три парламентских места; его жена любит балы: это её слабость.

– Считаю за особенную честь познакомиться с вами, сэр, сказал мистер Эвенель, приподнимая свою шляпу. – Чудесный день.... не правда ли?

– Немного холодно, отвечал Лесли, который, подобно всем худощавым особам, с слабым пищеварением, во всякое время чувствовал озноб, а в особенности теперь, когда душа его находилась в таком тревожном состоянии, какое



ни под каким видом не согревало тела.

– Тем здоровее: это укрепляет нервы, сказал Эвенель. – Впрочем, вы, молодые люди, сами себя портите: сидите в теплых комнатах, проводите ночи без сна. Вероятно, сэр, вы любите танцы?

И вслед за тем, не ожидая от Рандаля отрицательного ответа, мистер Эвенель продолжал, скороговоркой:

– У моей жены назначен в четверг *soirée dansante*. Очень рад буду видеть вас у себя в доме, на Итон-Сквере. Позвольте, я дам вам карточку.

И Эвенель вынул дюжину пригласительных билетов, выбрал из них один и вручил его Рандалю. Барон пожал руку молодому джентльмену, и Рандаль весьма учтиво отвечал, что знакомство с мистрисс Эвенель доставит ему величайшее удовольствие. После этого Рандаль, не имея желания, чтобы посторонние люди увидели его под крылом барона Леви, как голубя под крылом ястреба, освободил свою руку и, представляя в оправдание служебные дела, нетерпящие отлагательства, быстрыми шагами удалился от приятелей.

– Современем этот молодой человек будет раз играть немаловажную роль, сказал барон Леви. – Я не знаю еще, кто бы имел так мало недостатков. Он ближайший родственник Одлея Эджертона, который....

– Одлей Эджертон! воскликнул мистер Эвенель: – это надменное, отвратительное, неблагодарное создание!

– А почему вы знаете его?

– Он обязан за свое поступление в Парламент голосам двух моих ближайших родственников, а когда я зашел к нему в присутственное место, несколько времени тому назад, он решительно приказал мне убраться вон. Как вам покажется? ведь это необузданная дерзость. Если ему когданибудь придется обратиться ко мне, я не задумаюсь отплатить ему той же самой монетой.

– Неужели он приказал вам убраться вон? Это не в духе Эджертон. Он формалист, – это правда; но зато он и учтив до крайности, – по крайней мере сколько я знаю его. Должно быть, вы оскорбили его чемнибудь, задели его за слабую сторону.

– Человек, которому нация дает такие прекрасные деньги, не должен иметь слабой стороны. Какая же может быть у Эджертон?

– О, Эджертон, во первых, считает себя джентльменом во всех отношениях; во вторых, честность свою он ставит выше всего, сказал Леви, с язвительной улыбкой. – Быть может, вы тут-то и кольнули его. Скажите, как это было?

– Я не помню теперь, отвечал Эвенель, который, со времени своей женитьбы, достаточно изучил лондонское мерило человеческих достоинств, и потому не мог вспомнить не краснея о своем домогательстве дворянского достоинства. – Я не вижу особенной необходимости ломать наши головы над слабыми сторонами надменного попугая. Возвратимтесь лучше к предмету нашего разговора. Вы должны

непрерывно доставить мне эти деньги к будущей неделе.

– Будьте уверены в этом.

– И, пожалуйста, не пустите векселей моих в продажу; поддержите их на некоторое время под замком.

– Мы ведь так и условились.

– Затруднительное положение мое я считаю кратковременным. Только кончится панический страх в коммерции и переменится это неоцененное министерство, и я выплыву на чистую воду.

– Да, на лодочке из векселей и ассигнаций, сказал барон, с громким смехом.

И два джентльмена, пожав руку друг другу, расстались.

## Глава LXXXV

Между тем карета Одлея Эджертона подъехала к дому лорда Лэнсмера. Одлей спросил графиню, и его ввели в гостиную, в которой не было ни души. Эджертон был бледнее обыкновенного, и, когда отворилась дверь, он отер, чего никогда с ним не случалось, холодный пот с лица, и неподвижные губы его слегка дрожали. С своей стороны, и графиня, при входе в гостиную, обнаружила сильное душевное волнение, почти несообразное с её умением управлять своими чувствами. Молча пожала она руку Одлея и, опустясь на стул, приводила, по видимому, в порядок свои мысли. Наконец она сказала:

– Несмотря на вашу дружбу, мистер Эджертон, с Лэнсмером и Гарлеем, мы очень редко видим вас у себя. Я, как вам известно, почти совсем не показываюсь в шумный свет, а вы не хотите добровольно навестить нас.

– Графиня, отвечал Эджертон: – я мог отклонить от себя ваш справедливый упрек, сказав вам, что мое время не в моем распоряжении; но в ответ я приведу вам простую истину: наша встреча была бы тяжела для нас обоих.

Графиня покраснела и вздохнула, но не сделала возражения.

Одлей продолжал:

– И поэтому я догадываюсь, что, пригласив меня к себе,

вы имеете сообщить мне; что нибуду, важное.

– Это относится до Гарлея, сказала графиня: – я хотела посоветоваться с вами.

– До Гарлея! говорите, графиня, умоляю вас.

– Мой сын, без сомнения, сказывал вам, что он воспитал молодую девицу, с намерением сделать ее лэди л'Эстрендж и, само собою разумеется, графинею Лэнсмер.

– Гарлей ничего не скрывает от меня, сказал Эджертон печальным тоном.

– Эта девица приехала в Англию, находится теперь здесь, в этом доме.

– Значит и Гарлей тоже здесь?

– Нет; она приехала с лэди N... и её дочерьми. Гарлей отправился вслед за ними, и я жду его со дня на день. Вот его письмо. Заметьте, что он еще не высказал своих намерений этой молодой особе, которую поручил моему попечению, ни разу еще не говорил с ней как влюбленный.

Эджертон взял письмо и бегло, но со вниманием, прочитал его.

– Действительно так, сказал он, возвращая письмо: – прежде всякого объяснения с мисс Дигби, он хочет, чтоб вы увидели ее и сделали бы о ней заключение; он хочет знать, одобрите ли вы и утвердите ли его выбор.

– Вот об этом-то я и хотела переговорить с вами. Девочка без всякого звания; отец её, правда, джентльмен, хотя и это подлежит сомнению, а мать – уж я придумать не мо-

гу, кто и что она такое. И Гарлей, которому я предназначала партию из первейших домов в Англии!..

Графиня судорожно сжала себе руки.

– Позвольте вам заметить, графиня, Гарлей уже более не мальчик. Его таланты погибли безвозвратно, он ведет жизнь скитальца. Он предоставляет вам случай успокоить его душу, пробудить в нем природные дарования, дать ему дом подле вашего дома. Лэди Лэнсмер, в этом случае вам не должно колебаться.

– Я должна, непременно должна. После всех моих надежд, после всего, что я сделала, чтоб помешать....

– Вам остается только согласиться с ним и примириться. Это совершенно в вашей власти, но отнюдь не в моей.

Графиня еще раз сжала руку Одлея, и слезы заструились из её глаз.

– Хорошо, пусть будет так, как вы говорите: я соглашаюсь, соглашаюсь. Я буду молчать; я заглушу голос этого гордого сердца. Увы! оно едва не сокрушило его собственного сердца! Я рада, что вы защищаете его. Мое согласие будет служить примирением с обоими вами, – да, с обоими!

– Вы весьма великодушны, графиня, сказал Эджертон, очевидно тронутый, хотя все еще стараясь подавить свое волнение. – Теперь позвольте: могу ли я видеть воспитанницу Гарлея? Наша беседа совершенно расстроила меня. Вы замечаете, что даже мои сильные нервы не к состоянию сохранять своего спокойствия, а в настоящее время мне многое

предстоит еще переносить, мне нужны теперь вся моя сила и твердость.

– Да, я сама слышала, что нынешнее министерство переменится. Но, вероятно, эта перемена совершится с честью: оно будет в скором времени призвано назад голосом всей нации.

– Позвольте мне увидеть будущую супругу Гарлея л'Эстренджа, сказал Одлей, не обращая внимания на это решительное замечание.

Графиня встала, вышла из гостиной и через несколько минут воротилась вместе с Гэлен Дигби.

Гэлен удивительно переменилась: в ней нельзя было узнать бледного, слабого ребенка, с приятной улыбкой и умными глазами, – ребенка, который сидел подле Леонарда на тесном чердаке. Она имела средний рост; её стан по-прежнему был стройный и гибкий; в нем обнаруживалась та правильность размеров и грация, которая сообщает нам идею о женщине в полном её совершенстве; Гэлен создана была придавать красоту жизни и смягчать её шероховатые углы, придавать красоту, но не служить защитой. её лицо не могло быть вполне удовлетворительным для разборчивого глаза художника, в его правильности обнаруживались некоторые недостатки, но зато выражение этого лица имело необыкновенную прелесть и привлекательность. Немного нашлось бы таких, которые, взглянув на Гэлен, не воскликнули бы: какое миленькое личико! Но, несмотря на то, на кротком лице Гэ-

лен отражался отпечаток тихой грусти; её детство перенесло следы свои и на её девственный возраст. Походка её была медленна, обращение застенчиво, в некоторой степени принужденно и даже боязливо.

Когда Гэлен подходила к Одлею, он смотрел на нее с удвоенным вниманием, потом встал, сделал несколько шагов на встречу к ней, взял её руку и поцаловал.

– Я давнишний друг Гарлея л'Эстренджа, сказал он, подводя ее к углублению окна и сажая рядом с собою.

Быстрым взглядом, брошенным на графиню, Одлей, по видимому, выражал желание поговорить с Гэлен без свидетелей. Графини поняла этот взгляд и, оставаясь в гостиной, заняла место в отдаленном конце и углубилась в чтение.

Приятно, умилительно было видеть сурового, делового человека, когда он позволял себе вызывать на откровенность, испытывать ум этого тихого, боязливого ребенка; и если бы вы послушали его, вы бы непременно составили себе понятие, каким образом он усвоил способность производить на других сильное влияние, и как хорошо научился он, в течение своей жизни, применять себя к женщинам.

Прежде всего он заговорил о Гарлее и говорил с тактом и деликатностью. Ответы Гэлен состояли сначала из односложных слов; но постепенно они развивались и выражали глубокую признательность. Лицо Одлея начинало терять светлое выражение. После того он заговорил об Италии, и хотя не было человека, который бы в душе своей имел склон-



ности к поэзии менее, чем Одлей, но, несмотря на то, с ловкостью человека, так долго обращавшегося в образованном кругу общества, — человека, который привык извлекать сведения от людей, совершенно противоположных ему по характеру, он выбирал для разговора такие предметы, которые невольным образом пробуждали поэзию в других. Ответы Гэлен обнаруживали разработанный вкус и пленительный ум женщины; но в тоже время заметно было, что колорит этих ответов не был её собственный: он был заимствован от другого лица. Гэлен умела оценивать, восхищаться и благоговеть перед всем возвышенным и истинно прекрасным, но с чувством смирения и кротости. В них не было заметно живого энтузиазма, не высказывалось ни одного замечания, поражающего своей оригинальностью, ни искры пламени поэтической души, ни проблеска творческой способности. Наконец Эджертон перевел разговор на Англию, на критическое состояние времен, на права, которые отечество имело на всех, кто имеет способность служить ей и помогать в годину трудных обстоятельств. Он с горячностью распространился о врожденных талантах Гарлея, выражал свою радость и надежды, что Гарлей возвращался в отечество, чтобы открыть своим дарованиям обширное поприще. Гэлен казалась изумленною; огонь красноречия Одлея не произвел на нее особенного впечатления. Он встал, и на серьёзном, прекрасном лице его отразилось чувство обманутого ожидания; но секунда, и оно приняло свое обычное, холодное вы-

ражение.

– Adieu, прелестная мисс Дигби! Боюсь, что я наскучил вам, особенно своей политикой. Прощайте, лэди Лэнсмер, Надеюсь, я увижу Гарлея, как только он приедет.

Одлей быстро вышел из гостиной и приказал кучеру ехать в улицу Даунин. Он задернул шторы и откинулся, назад. На лице его отражалось заметное уныние, и раза два он механически прикладывал руку к сердцу.

«Она добра, мила, умна и, без сомнения, будет прекрасной женой, говорил Одлей про себя. – Но любит ли она Гарлея в такой степени, как он постоянно мечтал о любви? Нет! Имеет ли она столько силы и энергии, чтоб пробудить в моем друге дарования и возратить свету прежнего Гарлея? Нет! Предназначенная небом занимать свет от другого солнца, не будучи сама блестящим светилом, это дитя не в состоянии затмить Прошедшее и озарить ярким светом Будущее!»

Вечером того же дня Гарлей благополучно прибыл в дом своих родителей. Несколько лет, протекших с тех пор, как мы видели его в последний раз, не произвели заметной перемены в его наружности. Он до сих пор сохранил юношескую гибкость в своем стане и замечательное разнообразие и игривость в выражении лица. По видимому, он непритворно восхищался встречей с своими родителями и выказывала, шумную радость и искреннюю нежность юноши, прибывшего из пансиона. В его обращении с Гэлен обнаруживалась искренность, которая проникала весь состав и все

изгибы его характера. В этом обращении много было нежности и уважения. Обращение Гэлен в некоторой степени было принужденно, но в то же время невинно-пленительно и кроткосердечно. Гарлей, против обыкновения, говорил почти без умолку. Политические дела находились в таком критическом положении, что он не мог не сделать нескольких вопросов о политике, и все эти вопросы предложены были с любопытством и участием, чего прежде в нем не замечалось. Лорд Лэнсмер был в восторге.

– Ну, Гарлей, значит ты еще любишь свое отечество?

– В минуты его опасности – да! отвечал Гарлей.

После этого он спросил о друге своем Одлее, и, когда любопытство его с этой стороны было вполне удовлетворено, он полюбопытствовал узнать новости в литературе. Гарлей слышал очень много хорошего о книге, которая недавно была издана, – книге, сочинение которой мистер Дэль с такою уверенностью приписывал профессору Моссу; но никто из слушателей Гарлея не читал её.

– А из чего состоят городские сплетни?

– Мы не имеем привычки слушать их, сказала лэди Лэнсмер.

– В клубе Будль много говорят о новом плуге, сказал лорд Лэнсмер.

– Дай Бог ему хорошего успеха. Не знаете ли вы, не говорят ли много в клубе Вайт о новоприезжем человеке?

– Я не принадлежу к этому клубу.

– Однако, может статься, вам случалось слышать о нем: это – иностранец, – некто граф ди-Пешьера.

– Вот кто! сказал лорд Лэнсмер: – да, действительно мне показывали на него в Парке; для иностранца он прекрасный мужчина – волосы носит прилично остриженные, и вообще в нем много есть джентльменского и английского.

– Ну да, да! Так он здесь? прекрасно!

При этом открытии Гарлей, не скрывая своего удовольствия, сильно потерь ладонь о ладонь.

– Каким трактом ты ехал? проезжал мимо Симплона?

– Нет: я прибыл сюда прямехонько из Вены.

рассказывая необыкновенно живо и увлекательно свои дорожные приключения, Гарлей продолжал восхищать своего родителя до тех пор, пока не наступило время удалиться на покой. Едва только Гарлей вошел в свою комнату, как к нему присоединилась его мать.

– Ну что, мама, сказал он: – мне, кажется, не нужно спрашивать, полюбили ли вы мисс Дигби? Кто бы мог не полюбить ее?

– Гарлей, добрый сын мой, отвечала мать, заливаясь слезами: – будь счастлив по своему; будь только счастлив, вот все, чего я желаю и прошу.

Гарлей, тропутый этим нежным, выходящим из глубины любящей материнской души замечанием, отвечал с признательностью и старался утешить внезапную горечь своей матери. Потом, переходя в разговоре от одного предмета

к другому и стараясь снова заговорить о Гэлен, он отрывисто спросил:

– Скажите мне ваше мнение, мама, о возможности нашего счастья. Не забудьте, что счастье Гэлен есть уже и мое счастье. Говорите, мама, откровенно.

– её счастье не подлежит ни малейшему сомнению, отвечала мать, с достоинством. – О твоём зачем ты спрашиваешь меня? Разве ты не сам решился на это?

– Но все же, при всяком деле, как бы оно ни было хорошо обдуманно, приятно слышать одобрение ближнего: это в известной степени радует и ободряет. Согласитесь, что Гэлен имеет самый нежный характер.

– Не спорю. Но её ум....

– Как нельзя лучше образован.

– Она так мало говорит....

– Это правда. И я удивляюсь – почему?

Графиня улыбнулась, несмотря на желание сохранить серьёзный вид.

– Скажи мне подробнее, как совершалось это дело. Ты взял ее еще ребенком и решился воспитать ее по образцу своего идеала. Легко ли это было?

– Легко; так по крайней мере мне казалось. Я желал внушить ей любовь истины и верности: но она уже от природы верна как день. Расположение к природе и вообще ко всему натуральному она имела врожденное. Труднее всего было сообщать ей понятие об искусствах, как вспомогательных

средствах к постижению природы. Но полагаю, что и это придет своим чередом. Вы слышали, как она играет и поет?

– Нет.

– Она удивит вас. В живописи она не сделала больших успехов; но, несмотря на то, я смело могу сказать, что она вполне образована. Характер, душа, ум – вот её достоинства, которые я ставлю выше всего.

Гарлей замолчал и подавил тяжелый вздох.

– Во всяком случае, я надеюсь быть счастливым, сказал он и начал заводить часы.

– Без всякого сомнения, она должна любить тебя, сказала графиня, после продолжительного молчания. – Неужли она обманет твои ожидания?

– Любить меня? Неоцененная мама – вот этой вопрос, который я должен предложить.

– Вопрос! Любовь можно обнаружить с первого взгляда; она не требует вопросов.

– Уверю вас, что я никогда не старался обнаруживать ее. Это вот почему; прежде, чем миновала пора её детства, я, как вы можете полагать, удалил ее из моего дома. Она жила в кругу одного итальянского семейства, вблизи моего обыкновенного местопребывания. Я навещал ее часто, руководил её занятиями, следил за успехами

– И наконец влюбился в нее?

– Влюбился! это, по моим понятиям, слишком жесткое выражение: оно сообщает идею о падении, о внезапном

стремлении по дороге жизни. Нет, я не помню, чтобы мне случилось падать или стремиться. С первого шага к достижению цели для меня была гладкая наклонная стезя, по которой я шел до тех пор, пока мог сказать себе: «Гарлей л'Эстрендж, твоё время наступило. Из маленького бутона образовался пышный цветок. Возьми его к себе на грудь.» И я кротко отвечал самому себе: «пусть будет так.» После этого я узнал, что лэди N отправляется с дочерьми в Англию. Я просил ее взять с собой мою питомицу и доставить ее к вам. Я написал к вам и просил вашего согласия, получив которое, надеялся, что вы получите за меня согласие родителя. Теперь я здесь. Вы одобряете мой выбор. Завтра я переговорю с Гэлен. Быть может, еще она отвергнет мое предложение.

– Странно, странно! ты говорить так легко, так хладнокровно, между тем, как ты способен любить пламенно.

– Матушка, сказал Гарлей, с горячностью: – будьте довольны! Я способен и теперь любить! Но прежняя любовь – увы! – уже более не посетит моей души. Я ищу теперь тихого общества, нежной дружбы, светлой, облегчающей душу улыбки женщины, потом детских голосов – этой музыки, которая, отзываясь в сердце родителей, пробуждает в них самое прочное, самое чистое чувство взаимной любви: вот в этом заключаются все мои надежды. Скажите, дорогая мама, неужли в этой надежде нет ничего возвышенного?

Графиня еще раз заплакала и со слезами вышла из комнаты.

## Глава LXXXVI

О, Гэлен, прекрасная Гэлен! тип спокойного, светлого, не бросающегося в глаза, глубоко чувствуемого совершенства женщины! Ты уже женщина, – не идеал, вызываемый из пространства поэтом, но скорее спутник поэта на земле! женщина, которая, при своем ясном, лучезарном видении предметов действительных и с тонкими фибрами своего нежного чувства, заменяет недостатки того, чьи ноги спотыкаются на земле, потому что взоры его устремлены в надзвездный мир! женщина предусмотрительная, составляющая отраду жизни, – ангел, осеняющий своими крылами сердце, охраняя в нем божественную весну, на которую еще не пахнуло оледеняющим дуновением зимы порочного мира! Гэлен, нежная Гэлен! неужли и в самом деле этот причудливый и блестящий лорд должен найти в тебе возрождение своей жизни, обновление своей души? Твои кроткия, благоразумные домашния добродетели какую пользу могут принести человеку, которого сама фортуна защищает от тяжелых испытаний, которого скорби не могут быть доступны для твоих понятий! чтоб следить за стремлением души которого, – стремлением неправильным, взволнованным, – за душой, то возвышающейся, то падающей, потребны зрение утонченнее твоего, Гэлен, и сила, которая могла бы поддержать рассудок, во время его колебания, на крыльях энту-



зиязма и пламенной страсти?

И ты сама, о природа, скрытная и покорная, которую нужно ласками вызвать из под прикрытия и развить под влиянием тихой и благотворной атмосферы святой, счастливой любви, – будет ли достаточно для тебя той любви, которою Гарлей л'Эстрендж может располагать? Только что развернувшиеся цветы не завянут ли под прикрытием, которое защитит их от бури, но между тем лишит животворных лучей солнца? Ты, которая, пробуждая в нежном создании чувство любви, ищешь, хотя и смиренно, отголоска на это чувство в душе другого создания, – можешь ли ты перелить источник радости и скорби в сердце, которое остыло для тебя? Имеешь ли ты на столько прелести и силы, свойственных луне, что приливы того прихотливого моря, которое называется сердцем, станут возвышаться и понижаться по твоему произволу? К тому же, кто скажет, кто догадается, до какой степени могут сблизиться два сердца, когда между ними ничего нет порочного, ничего преступного и когда времени предоставлена полная свобода связать их вместе? Самая драгоценнейшая вещь в мире есть союз, в котором два создания, несмотря на контраст в своих характерах, стараются гармонизировать друг другу, заменяя недостатки друг у друга своими совершенствами и составляя одну сильную человеческую душу! И то большое счастье, когда оба существа могут принести к брачному алтарю если не пламя, то, по крайней мере, фимиам! Там, где все намерения человека благородны

и великодушны, где чувства женщины нежны и непорочны, любовь если не предшествует им, то последует за ними, — а если и не последует за ними, если в гирлянде не достанет роз, то, конечно, можно сожалеть об этих розах, не опасаясь, однако, шипов.

Утро было теплое, несмотря на то, что воздух состоял из сероватой мглы — предвестницы наступления зимы в Лондоне. Гэлен задумчиво гуляла под деревьями, которые окружали сад, принадлежавший дому лорда Лэнсмера. Еще многие листья оставались на сучьях, но уже завялые и пожелтевшие. Местами щебетали птички; но уже в звуках их песен отзывались печаль и жалоба. Все в этом доме, до приезда Гарлея, было странно, и наводило уныние на робкую и покорную душу Гэлен. Лэди Лэнсмер приняла ее ласково, но с некоторою принужденностью. Надменное обращение графини со всеми, кроме Гарлея, делало еще застенчивее робкую сиротку. Участие, которое лэди Лэнсмер принимала в выборе Гарлея, её старание вывести Гэлен из задумчивости, её наблюдательные взоры, которые останавливались на Гэлен, когда она застенчиво говорила или делала робкое движение, пугали бедного ребенка и принуждали ее быть несправедливой к самой себе.

Даже самые слуги, при всей их степенности, важности и почтительности, представляли грустный контраст с светлыми, приветливыми улыбками и свободным разговором итальянской прислуги. её воспоминания о свободном, ра-

душном обращении на континенте, которое развязывало даже самых застенчивых, представляли пышную и холодную точность во всем окружающем ее вдвойне страшным и унылым. Лорд Лэнсмер, не знавший еще видов Гарлея и вовсе не воображавший увидеть впоследствии невестку в лице Гэлен, которую он считал за питомицу Гарлея, был фамильярен и любезен, как надлежало быть хозяину дома. Впрочем, он смотрел на Гэлен как на ребенка и весьма естественно предоставил ее графине. Неясное сознание своего сомнительного положения, своего сравнительно-низкого происхождения и богатства тяготило её и огорчало; даже чувство признательности к Гарлею становилось для неё бременем при одной мысли о невозможности выказать свою благодарность. Признательный человек никогда не хочет оставаться в долгу. Да и что могла она сделать для него?

Углубленная в думы, Гэлен ходила одна по извилистым аллеям. Поддельный сельский пейзаж в саду, окруженный высокими, мрачными стенами, казался темницею для Гэлен, которая привыкла любоваться простыми, но чарующими красотами природы.

Задумчивость Гэлен была нарушена веселым лаем Нерона. Он увидел Гэлен и, подбежав к ней, сунул свою огромную морду в её руку. Остановившись поласкать собаку, Гэлен стало отраднее на душе при этой встрече, и несколько слезинок выпало из глаз её на верную собаку. И в самом деле, когда душа наша переносит страдания в кругу подобных нам

создании, ничто не может так скоро вынудить слезы из наших глаз, как преданность и ласки собаки. В эту минуту тихой грусти позади Гэлен раздался музыкальный голос Гарлея. Гэлен поспешно отерла слезы и подала руку своему патрону.

– Мне так мало удалось вчера поговорить с вами, моя милая питомица, что теперь я решительно хочу завладеть вашим временем, несмотря, что Нерон должен лишиться ваших ласк. Итак, вы опять в родной земле?

Гэлен вздохнула.

– Могу ли я надеяться, что вы находитесь теперь в более благоприятных обстоятельствах в сравнении с теми, которые вы знавали в своем детстве?

Гэлен обратила на своего благодетеля взоры, полные душевной признательности, и в тот же момент вспомнила о всем, чем была обязана ему.

Гарлей снова начал, и на этот раз слова его отзывались грустью:

– Гэлен, я вижу, ваши взоры благодарят меня. Выслушайте меня прежде, чем решитесь высказать словами свою благодарность. Я намерен сделать вам странное признание, – признание, полное эгоизма и самолюбия.

– Вы! не думаю... это невозможно!

– рассудите сами и потом решите, кто из нас имеет более основательный повод быть признательным. Гэлен, когда я был в ваших летах, когда я был мальчиком по возрасту, но,

мне кажется, мужчиной по душе, с сильной энергиею и возвышенным стремлением души, я любил тогда, – любил пламенно....

Гарлей замолчал на несколько секунд: очевидно было, что он старался преодолеть сильное душевное волнение. Гэлен слушала в безмолвном удивлении. Волнение души Гарлея взволновало и ее. Нежное сердце её уже готово было перелить отрадное утешение в его сердце. Без всякого сознания, её рука опустилась от его руки.

– Любил пламенно и скорбно. рассказывать все будет длинная история. Холодные назвали бы мою любовь сумасшествием. Поэтому-то я и не хочу распространяться... и не могу теперь распространяться о ней. Довольно! смерть похитила внезапно, страшно, и для меня таинственно ту, которую любил я. Но любовь жила в моей душе. К счастью, быть может, мне представился случай развлечь свою скорбь. Я вступил в военную службу и отправился в действующую армию. Люди называют меня храбрым. Но это лесть! я был трус перед одной мыслью о жизни. Я искал смерти; но она, как сон, не является на наш призыв. Война кончилась. Стихнет ветер, и паруса на корабле повиснут: так точно, когда кончились минуты сильных ощущений, для меня все казалось безотрадным, – для меня не было цели в этой жизни. Тяжело, тяжело было на душе моей! Быть может, скорбь моя не была бы так продолжительна, еслиб я не боялся, что имею причины упрекать себя. С той поры я был скитальцем, доб-

ровольным изгнанником. В молодости я был честолюбив, я стремился к славе; но потом во мне и искры не осталось честолюбия. Пламя, проникнув в самую глубь души, быстро распространяется и превращает все в пепел. Но позвольте мне быть короче в своих объяснениях... Я не намерен высказывать вам свои жалобы, – вам, которую небо одарило такими совершенствами. Я решился снова привязаться душой к какомунибудь живому существу: в этом я видел единственную возможность оживить свое умирающее сердце. Но та, которую любил я, оставалась для меня образцом женщины: она так сильно отличалась от всех, кого я видел! Вследствие этого, однажды я сказал самому себе: я отыщу молодое, непорочное создание и воспитаю его сообразно с моим идеалом. В то время, как эта мысль преследовала меня сильнее и сильнее, случайно я встретился с вами. Пораженный романтичностью вашей ранней жизни, тронутый непоколебимостью вашего сердца, очарованный вашим характером, я сказал себе: Гарлей, ты нашел, кого искал. Гэлен! принимая на себя попечение о вашей жизни, во всем образовании, которое я старался передать вашему ученическому возрасту, я был не более, как эгоист. И теперь, когда вы достигли того возраста, когда мне можно говорить с вами, а вам выслушивать меня, когда вы находитесь под священным кровом моей матери, – теперь я спрашиваю вас, можете ли вы принять это сердце, каким оставили его минувшие годы и скорби, которые оно лелеяло в течение тех лет? Мо-

жете ли вы помочь мне считать жизнь за обязанность, за священный долг и пробудить те порывы души, которые возникают и стремятся в них из тесных и жалких пределов нашего суетного обыденного существования? Гэлен, я спрашиваю вас, можете ли вы быть для меня всем этим и носить название моей жены?

Напрасно было бы описывать быстрые, переменчивые, неопределенные ощущения, происходившие в душе неопытной Гэлен в то время, как Гарлей говорил эти слова. Гарлей до такой степени расстрогал все пружины удивления, сострадания, нежного уважения, сочувствия и детской благодарности, что, когда он замолчал и тихо взял ее за руку, безмолвная Гэлен находилась в крайнем замешательстве и старалась преодолеть волнение души. Гарлей улыбался, глядя на вспыхнувшее, потупленное выразительное лицо. Он с разу догадался, что подобное предложение никогда не приходило ей на ум, что она никогда не воображала видеть в нем когда нибудь поклонника, что никогда в душе её не рождалось чувство, которое могло бы пробудиться в ней при воззрении на Гарлея совершенно с другой стороны.

– Моя неоцененная Гэлен! снова заговорил он, спокойным, но патетичным голосом: – действительно, между нами существует неравенство в годах, и, может статься, я не имею права надеяться на ту любовь, которою юность дарит юность. Позвольте мне предложить вам весьма простой вопрос, на который вы станете отвечать чистосердечно. Возможно ли

было, чтобы вы видели в нашем тихом и скромном убежище за границей и под кровом ваших итальянских друзей, — могли ли вы видеть когонибудь, кому бы вы отдали предпочтение передо мною?

— Нет! о, нет! произнесла Гэлен едва слышным голосом. — Да и могла ли я? кто может сравниться с вами?

После того, с напряженным усилием, потому что внутренняя верность её поколебалась, и даже самая любовь её к Гарлею, детская и почтительная, заставила ее затрепетать при одной мысли: ну что, если она изменит ему? она отошла несколько в сторону и сказала:

— О, неоцененный благодетель мой, благороднейший и великодушнейший из всех людей по крайней мере, в моих глазах простите, простите меня, если я кажусь вам неблагодарною, если я колеблюсь дать вам решительный ответ; но я не могу, не могу усвоить мысли, что я достойна вас. Я никогда не задумывала о себе так много. Ваш титул, ваше богатство....

— Неужли они должны служить для меня вечным отвержением? Забудьте их и говорите откровенно.

— Но не одни они, сказала Гэлен, почти рыдая: — хотя это главное. Вы говорите, что я ваш образец, ваш идеал! И! — невозможно! О, каким образом могу я оказать пользу, помощь, утешение человеку, подобному вам!

— Можете, Гэлен! вы можете! вскричал Гарлей, очарованный до такой степени непритворной скромностью. — Неужли



мне не суждено держать этой руки в своей руке?

И Гэлен, с тихими слезами, протянула руку Гарлею. В это время под увядшими деревьями раздались медленные шаги.

– Матушка, сказал Гарлей л'Эстрендж, взглянув в ту сторону, где слышны были шаги: – рекомендую вам мою будущую жену.

## Глава LXXXVII

Медленно и задумчиво шел Гарлей л'Эстрендж к Эджер-тону после этого случайного свидания с Гэлен. Только что вышел он на одну из главных улиц, ведущих на Гросвенор-Сквер, как молодой человек, быстрыми шагами шедший навстречу ему, столкнулся с ним лицом к лицу и, с извинением отступив назад, узнал Гарлея и воскликнул:

– Ах, Боже мой! лорд л'Эстрендж! вы в Англии! Позвольте мне поздравить вас с благополучным прибытием. Но, кажется, вы меня не узнаете.

– Извините, мистер Лесли. Я узнаю вас теперь, по вашей улыбке; впрочем, вы уже теперь в таком возрасте, что мне позволительно сказать, что вы постарели против того, как я виделся с вами в последний раз.

– А вы, лорд л'Эстрендж, на мой взгляд, помолодели.

И действительно, в этом ответе заключалось много истины. Между летами Лесли и л'Эстренджа, в сравнении с прежней порой, обнаруживалось гораздо менее различия. Коварные замыслы молодого человека обозначались весьма заметными морщинами на его лице, между тем как мечтательное поклонение Гарлея всему истинному и прекрасному, по видимому, сохраняло в верном поклоннике неувядаемую юность.

Гарлей принял комплимент с величайшим равнодушием,

которое как нельзя более шло стоику, но которое едва ли было естественно в джентльмене, за несколько минут предложившем свою руку лэди моложе его многими годами.

– Кажется, вы отправляетесь к мистеру Эджертону, снова начал Лесли. – Если так, то вы не найдете его дома: он уже в присутствии.

– Благодарю вас. В таком случае я пойду к нему туда.

– Я тоже к нему иду, сказал Рандаль нерешительно.

Л'Эстрендж, так мало еще видевший Лесли, не имел против этого джентльмена особенных предубеждений, но замечание Рандаля служило в некотором роде вызовом на вежливость, и потому он, нисколько не затрудняясь, отвечал:

– В таком случае мне очень приятно идти вместе с вами.

Рандаль взял протянутую ему руку, и лорд л'Эстрендж, как человек, долгое время пробывший за границей, разыгрывал роль вопрошателя в наступившем разговоре.

– Эджертон, я полагаю, по-прежнему все тот же: слишком занят делами, чтобы хворать, и слишком тверд – чтобы печалиться?

– Если он и чувствует себя когданибудь нездоровым или печальным, то никому не показывает виду. Кстати, милорд, желал бы я знать ваше мнение касательно его здоровья.

– А что же? вы пугаете меня!

– Напрасно, милорд: я не думал тревожить вас; и, ради Бога, не скажите ему, что я зашел так далеко, принимая в нем участие. Впрочем, мне кажется, что он чрезвычайно изнурил

себя; он страдает.

– Бедный Одлей! сказал л'Эстрендж, голосом, в котором отзывалось искреннее сожаление. – Я непременно расспрошу его, но, будьте уверены, при этом случае не упомяну вашего имени: я знаю очень хорошо, как неприятны для него предположения, что и он подвержен человеческим недугам. Я очень обязан вам за этот намек, – очень обязан за участие, принимаемое вами в человеке, который так дорог моему сердцу.

Голос и обращение Гарлея сделались еще мягче, еще радужнее. После того он начал спрашивать о том, что думал Рандаль о слухах, которые достигли его касательно неизбежной перемены министерства, и до какой степени Эджертон обеспокоен этим происшествием. Рандаль, заметив, что Гарлей ничего не мог сообщить ему по этому предмету, был скрытен и осторожен.

– Потеря должности не могла бы, кажется, огорчить такого человека, как Одлей, заметил л'Эстрендж. – Он останется сильным и в оппозиционной партии, даже, может быть, сильнее; что касается вознаграждения...

– Вознаграждение весьма хорошее, прервал Рандаль, подавляя вздох.

– Весьма хорошее, я полагаю, чтоб возратить десятую долю того, что стоило место нашему другу...

– Прибавьте к этому доходы с имения, которые, я знаю наверное, составляют весьма значительную сумму, сказал Ран-

даль беспечно.

– Да, действительно, доходы должны быть огромные, если только он надлежащим образом смотрел за своим имением.

В это время они проходили мимо отеля, в котором проживал граф ди-Пешьера.

Рандаль остановился.

– Извините меня на одну секунду, милорд. Я отдам только швейцару мою карточку.

Сказав это, он подал ее выбежавшему из дверей лакею.

– Передай графу ди-Пешьера, сказал Рандаль, вслух.

Л'Эстрендж изумился и, в то время, как Рандаль снова взял его под руку, сказал:

– Значит этот итальянец живет здесь? Вы хорошо знаете его?

– Я знаю его так, слегка, как каждый из нас знает иностранца, который производит впечатление.

– Он производит впечатление?

– Весьма натурально: своей красотой, своим умом и богатством; говорят, что он очень богат, то есть пока получает доходы своего родственника, который находится в Англии.

– Я вижу, что вы имеете о нем довольно подробные сведения. Скажите, мистер Лесли, как полагают другие, зачем он приехал сюда?

– Я что-то слышал, хотя для меня это и не совсем-то понятно. Я слышал о каком-то пари, по которому граф непременно должен жениться на дочери своего родственника, –

а из этого заключаю, что он должен овладеть всем имением, и что он приехал сюда собственно затем, чтоб отыскать своего родственника и получить руку богатой наследницы. Вероятно, эта история знакомее вам, и вы можете сказать мне, до какой степени должно верить подобным слухам.

– Я могу сказать вам одно, что если он держал подобное пари, то советую вам держать против него какое угодно другое пари, и вы останетесь в выигрыше, сухо сказал Гарлей.

Губы его дрожали от гнева, и в его взорах отражалась лукавая насмешка.

– Значит вы полагаете, что этот бедный родственник не будет нуждаться в подобном союзе для того, чтоб снова владеть своими имениями?

– Конечно. Я никогда еще не видал такого бездельника, который так дерзко решается рисковать своим счастьем и идти против правосудия и провидения.

Рандаль задрожал. Он чувствовал, как будто стрела пронзила его сердце; впрочем, он скоро оправился.

– Носятся еще другие неопределенные слухи, что богатая наследница, о которой идет речь, уже за мужем – за каким-то англичанином.

На этот раз задрожал Гарлей л'Эстрендж.

– Праведное небо! воскликнул он: – это неправда, это бы испортило все дело! За англичанином, и в это время! но, может быть, за англичанином, которого звание соответствует званию Риккабокка.

– Ничего не знаю. Полагают, что она вышла за обыкновенного джентльмена из хорошей фамилии. Впрочем, легко может стать, что это все ложь. Быть может, какойнибудь англичанин, услышав о вероятном возвращении в свое отечество Риккабокка и рассчитывая на богатую наследницу, с намерением распустил эти слухи, чтоб удалить других искателей.

– Весьма быть может. Впрочем, так редко случается, чтобы молоденькая итальянка знатного происхождения вышла замуж за иностранца, что мы смело можем считать эти слухи незаслуживающими ни малейшего вероятия; мы можем даже улыбнуться длинному лицу предполагаемого искателя богатства. Да поможет ему небо, если он существует!

– Аминь! произнес Рандаль с благоговением.

– Я слышал, что и сестра Пешьера тоже в Англии. Вероятно, вы знаете и ее?

– Немного.

– Простите, любезный мистер Лесли, если я беру смелость, которой наше кратковременное знакомство не должно еще допускать. Против сестры графа Пешьера я не имею ничего сказать; я даже слышал некоторые вещи, которые невольным образом должны пробудить в душе каждого сострадание к ней и уважение. Но что касается самого Пешьера, всякий, кто только ценит свою честь, должен видеть в нем негодяя, – да я и считаю его за самого низкого негодяя. К тому же мне кажется, что чем далее сохраняем мы отвращение

к низким поступкам человека, что, мимоходом сказать, составляет благороднейший инстинкт юности, тем прекраснее будет наше мужество и старость наша будет иметь более прав на уважение. . . . Согласны ли вы со мной?

И Гарлей неожиданно повернул в сторону; его взоры, как приток ослепительного света, остановились на бледном, скрытном лице Рандаля.

– Совершенно согласен, отвечал Рандаль.

Гарлей окинул его взором с головы до ног, и рука его механически опустилась из под руки Рандаля.

К счастью для Рандаля, который чувствовал, что попал в неприятное положение, хотя и не знал, как и почему это случилось, – к его особенному счастью, в этот самый момент опустилась на плечо его чья-то рука, и в то же время раздался чистый, открытый, мужественный голос:

– Друг мой, здоров ли ты? Я вижу, что ты занят теперь; но, сделай милость, в течение дня заверни ко мне.

И молодой джентльмен, в знак извинения, сделав поклон лорду л'Эстренджу, удалился.

– Сделайте одолжение, мистер Лесли, из за меня не лишайте себя удовольствия переговорить с вашим другом. Вам не к чему спешить к мистеру Эджертону. Пользуясь правами старинной дружбы, я надеюсь видеться с ним первым.

– Это племянник мистера Эджертона – Франк Гэзельден!

– Пожалуста, воротите его, и отрекомендуйте ему меня. У него такое доброе, открытое лицо.



Рандаль повиновался, и, после нескольких приветливых слов, относившихся к Франку, Гарлей настоял, чтобы оба молодые джентльмены остались вместе, и с удвоенной скоростью отправился в улицу Даунин.

– Этот лорд л'Эстрендж, по видимому, очень добрый человек.

– Так себе, – имеет множество странностей, говорит самые нелепые вещи и воображает, что говорит умно. Нечего и думать о нем!.. Ты хотел поговорить со мной.

– Да; я так много обязан тебе, что ты познакомил меня с Леви. Падобно сказать тебе, он поступил весьма благородно.

– Остановись на минуту: позволь мне напомнить, что я вовсе не думал знакомить тебя с Леви; ты встречался с ним, сколько мне помнится, прежде у Борровела, и, кроме того, он однажды обедал с нами в Кларендонском отеле – вот все, чем ты обязан мне за это знакомство. С своей стороны, я бы готов был предостеречь тебя от этого знакомства. Ради Бога, не думай, что я познакомил тебя с человеком, который как бы ни был приятен в обществе и благороден, но все же он в некоторой степени ростовщик. Твой отец имел бы полное право сердиться на меня, еслиб я сделал это.

– О, какой вздор! ты предубежден против бедного Леви. Выслушай меня: я сидел дома в страшном унынии, придумывая средства, с помощью которых можно было бы возобновить эти проклятые векселя, как вдруг является Леви

и сказал мне о своей давнишней дружбе с дядей моим Эджертоном, выразил свое восхищение твоими редкими дарованиями (дай мне твою руку, Рандаль), сообщил мне, до какой степени он тронут был твоим участием в моем затруднительном положении, и, в заключение всего, открыл свой бумажник и показал мои векселя, которые перешли к нему в полное его распоряжение.

– Каким это образом?

– Он купил их. Для меня было бы крайне неприятно, говорил Леви: – если бы они явились на бирже: эти евреи, рано или поздно, непременно обратились бы к вашему родителю. А теперь, прибавил Леви: – не имея особенной нужды в деньгах, мы можем назначить проценты на более выгодных для вас условиях.» Короче сказать, обращение Леви было как нельзя более благородно. Ко всему этому он сказал, что придумывает средства вывести меня совершенно из затруднительного положения, и обещал зайти ко мне на днях, когда созреет его план. После этого, кому я должен быть обязан, как не тебе, Рандаль! Клянусь честью, что один только ты мог вложить в его голову такую чудную мысль!

– О, несколько! Напротив, я опять-таки скажу тебе: будь осторожен во всех своих сделках с бароном Леви. Я не знаю еще, какие средства он намерен предложить тебе. – Давно ли ты получал известия из дому?

– Не дальше, как сегодня. Представь себе, Риккабокка, со всем семейством, исчез, – куда? никому неизвестно. Ма-

ма, между прочим, написала мне и об этом престранное письмо. Она, как кажется, подозревает, что будто бы мне известно, где они скрываются, и упрекает меня в какой-то «таинственности»; это для меня непонятно, загадочно. Впрочем, в её письме я заметил одно выражение – вот оно, ты сам можешь прочитать его – выражение, которое, если я не ошибаюсь, относится до Беатриче:

«Я не прошу тебя, Франк, открывать мне свои тайны. Но Рандаль, без сомнения, уверит тебя, что во всех твоих предприятиях я имею в виду одно твое счастье, особливо там, где дело касается твоих сердечных дел.»

– Да, сказал Рандаль: – нет никакого сомнения, что это относится до Беатриче; но ведь я уже сказал тебе, что твоя мать ни во что не станет вмешиваться: это вмешательство легко бы ослабило её влияние на сквайра. Кроме того, ей не совсем бы хотелось, чтоб ты женился на чужеземке... я повторяю её собственные слова; но если ты женишься, тогда ей нечего будет и говорить. Кстати, в каком положении твои дела с маркизой? Соглашается ли она принять твое предложение?

– Не совсем, Впрочем, надобно сказать, я еще не делал ей формального предложения. её обращение, хотя оно и сделалось гораздо мягче против прежнего... но все еще я как-то нерешителен; да к тому же, прежде, чем я сделаю решительное предложение, мне непременно нужно побывать дома и переговорить об этом, по крайней мере, с маменькой.

– Как знаешь, так и делай, но, ради Бога, не делай ничего необдуманно. Вот и место моего служения. Прощай, Франк! до свидания. Не забудь же, что во всех твоих сношениях с бароном Леви я совсем сторона.

## Глава LXXXVIII

Вечером Рандаль быстро мчался по дороге в Норвуд. Приезд Гарлея и разговор между этим нобльменом и Рандалем подстрекали последнего узнать как можно скорее о том, знал ли Риккабокка о возвращении л'Эстренджа в Англию, и если знал, то надеялся ли увидеться с ним. Он чувствовал, что, в случае, если бы лорд л'Эстрендж узнал, что Риккабокка поступал в своих действиях по совету Рандаля, он узнал бы в то же время, что Рандаль говорил с ним притворно; с другой стороны, Риккабокка, поставленный под дружеское покровительство лорда л'Эстренджа, не стал бы долее нуждаться в защите Рандаля Лесли против преступных замыслов Пешьера. Читателю, не сделавшему привычки углубляться в сокровенные и перепутанные тайники души, полной коварных замыслов, легко покажется, что желание Рандаля пользоваться особенным доверием Риккабокка должно бы кончиться вместе с достоверными слухами, достигавшими его с различных сторон, что Виоланта, выйдя замуж за него, не может уже долее оставаться богатой наследницей.

— Впрочем, быть может, заметит какойнибудь простодушный, неопытный догадчик:— быть может, Рандаль и действительно влюблен в это прекрасное создание? — Рандаль влюблен! о, нет! этого быть не может! Он слишком поглощен более грубыми страстями, чтоб увлечься в это счастливое за-

блуждение, чтоб испытывать в душе это блаженство. Даже если допустить предположение, что он влюбился, то неужели Виоланта могла пленить это грубое, холодное, скрытное сердце? её инстинктивное благородство, самое величие её красоты страшили его. Люди подобного рода в состоянии полюбить какое нибудь робкое создание, способное покоряться необузданной воле, но они не смеюте поднять свои взоры на красоту, где столько величия и могущества. Они могут смотреть в землю, но отнюдь не к небу. Впрочем, с одной стороны, Рандаль не мог отказаться вполне от шанса приобрести богатство, которое осуществило бы его самые блестящие мечты, отказаться, по поводу слухов и уверений д'Эстренджа, которые, своим правдоподобием, сильно смущали его; с другой стороны, еслиб он принужден был совершенно удалить от себя идею о подобном союзе, то хотя он и не видел низкого вероломства, помогая намерениям Пешьера, но все же, если женитьба Франка на Беатриче должна непременно зависеть от получения её братом сведений об убежище Виоланты и в то же время должна споспешествовать исполнению видов Рандаля, – этот поступок казался ему весьма черным. Рандаль вздохнул тяжело. Его вздох обнаружил, до какой степени были слабы в Рандале правила чести и добродетели против искушений алчности и честолюбия. Во всяком случае, Рандаль не хотел прерывать близких сношений с итальянцем: он видел в них некоторую частицу того знания, которое имело одинаковое значение с силой.

В то время, как молодой человек, размышляя таким образом, мчался по дороге в Норвуд, Риккабокка и его Джемима сидели в гостиной и рассуждали о чем-то весьма серьезно. Если бы в этот момент, вы могли взглянуть на них, то вами в равной степени овладели бы удивление и любопытство. Риккабокка очевидно был сильно взволнован, но взволнован чувствами, ему неизвестными. В его глазах выступили слезы, а на устах играла улыбка, но ни под каким видом не циническая и не сардоническая. Джемима сидела, склонив голову на плечо Риккабокка; её рука лежала в его руке, и, по выражению её лица, вы догадались бы, что Риккабокка сказал ей весьма лестный комплимент, в котором обнаруживалось гораздо более искренности и теплого чувства, чем в тех комплиментах, которыми характеризовалась его всегдашняя холодная и притворная учтивость. Но вдруг вошел в гостиную Джакеймо, и Джемима, с врожденной скромностью англичанки, торопливо отодвинулась от Риккабокка.

– *Padrone*, сказал Джакомо, который в свою очередь был слишком скромным, чтоб выразить удивление при виде столь необыкновенной супружеской нежности: – *Padrone*, к нам идет молодой англичанин, и я надеюсь, что вы не забудете тревожного известия, которое я сообщил вам сегодня по утру.

– Да, да! сказал Риккабокка, и лицо его помрачилось.

– О, если бы синьорина была замужем!

– Об этом я сам думаю; это моя постоянная мысль! вос-

кликнул Риккабокка. – И ты уверен, что молодой англичанин любит ее?

– Помилуйте! кого же он стал бы любить? спросил Джакомо, с величайшим простодушием.

– Совершенная правда; и в самом деле, кого? сказал Риккабокка. – Джемима, я не в силах переносить далее тех опасений и страданий, которые ежеминутно испытываю насчет нашей дочери. Я сам чистосердечно откроюсь Рандалю Лесли. При настоящем положении наших семейных обстоятельств, Джемима, это уже не будет более служить серьезным препятствием к моему возвращению в Италию.

Джемима слегка улыбнулась и прошептала что-то Риккабокка.

– Какие пустяки, *anima mia!* Я знаю, что *это будет*, – тут нечего и сомневаться. Вероятия тут, судя по самым верным исчислениям, как девять к четырем. Я непременно переговорю с мистером Рандалем. Он очень молод, слишком робок, чтоб начать самому говорить об этом щекотливом предмете.

– Конечно, синьор, ваша правда, заметил Джакомо: – при такой любви осмелится ли он говорить.

Вместо ответа Джемима покачала головой.

– Ради Бога, не бойся, мой друг, сказал Риккабокка, заметив этот жест. – Я сделаю ему маленькое испытание. Если он рассчитывает на деньги, я увижу это из первых его слов. Согласись, душа моя, что человеческая натура знакома мне



очень хорошо.... Кстати, Джакомо: подай мне моего Макиавелли вот так. Ты можешь итги теперь; мне нужно подумать и приготовиться.

Джакомо с сладенькой улыбкой провел приехавшего Рандаля в гостиную. Рандаль застал Риккабокка одного, углубленного перед камином в огромный фолиант Макиавелли, лежавший перед ним на столе.

Итальянец, по обыкновению, встретил его с радушием; но, против обыкновения, в его обращении заметно было серьёзное достоинство и задумчивый вид, которые тем более казались в нем поддельными, что Риккабокка редко принимал их на себя. После обыкновенных приветствий, Рандаль заметил, что Франк Гэзельден сообщил ему о любопытстве, которое внезапный отъезд Риккабокка возбудил в поместье сквайра, и в заключение спросил, оставил ли доктор какие нибудь приказания касательно доставки к нему писем, которые во время отсутствия его будут присланы на его имя в казино.

– Касательно писем? сказал Риккабокка, весьма просто-сердечно:– я вовсе не получаю их или, по крайней мере, получаю их так редко, что не подумал даже обратить внимание на это обстоятельство. Если в казино и явятся письма на мое имя, то они могут дожидаться там моего возвращения.

– В таком случае, с вашей стороны сделано все благо-разумно: теперь решительно нет никакой возможности открыть место вашего убежища.

– Я полагаю, что нет.

Удовлетворив свое любопытство с этой стороны и зная, что чтение газет не было в привычках Риккабокка, – чтение, по которому он мог бы узнать о прибытии л'Эстренджа в Лондон, Рандаль приступил, и, по видимому, с особенным участием, к осведомлению о здоровье Виоланты, выразил надежды, что оно не страдает от новой затворнической жизни, и проч. Риккабокка с особенным вниманием наблюдал за гостем своим во время его расспросов, потом быстро встал со стула, и в это время старание его выказать свое достоинство становилось еще заметнее, еще сильнее бросалось в глаза.

– Молодой друг мой, сказал он: – выслушайте меня внимательно и отвечайте мне чистосердечно. Я знаю человеческую натуру....

И в этот момент по лицу итальянского мудреца пробежала легкая улыбка самодовольствия, и взоры его обратились к фолианту Макиавелли.

– Я знаю человеческую натуру; по крайней мере я изучал ее, снова начал Риккабокка, с большею горячностью, но в то же время с заметно меньшею самоуверенностью: – и я уверен, что когда человек совершенно чуждый мне принимает такое участие в моих делах, – участие, которое стоит ему такого множества хлопот, – участие (продолжал мудрец, положив руку на плечо Рандалья), которое едва ли не выше сыновнего, этот человек непременно должен находиться

под влиянием какойнибудь сильной побудительной к тому причины.

– Помилуйте, сэръ! вскричал Рандаль; его лицо сделалось еще бледнее, и голос дрожал.

Риккабокка осматривал Рандаля с чувством отеческой нежности и в то же время делал соображения, каким бы образом вернее достичь цели своего красноречивого вступления.

– На вашем месте, при ваших обстоятельствах, какая же может быть побудительная причина, что может управлять вашими чувствами? Ужь, вероятно, не политика: я полагаю, что в этом отношении вы разделяете мнения вашего правительства, а эти мнения, откровенно вам скажу, не согласуются с моими. Надеюсь также, что участие ваше не истекает из денежных расчетов или честолюбивых видов, потому что каким образом подобные расчеты могут привлечь вас на сторону разоренного Риккабокка? После этого что же я должен подумать? Только одно – что вы находитесь под влиянием чувства, которое в ваши лета всегда бывает самое естественное и самое сильное. Я не намерен упрекать вас. Сам Макиавелли допускает, что это чувство имело сильное влияние над самыми высокими умами и служило поводом к разрушению самых прочных государств. Короче сказать, молодой человек, вы влюблены, и влюблены в мою дочь Виоланту.

Рандаль до такой степени был поражен этим открытым

и внезапным нападением на его замаскированные батареи, что не думал даже защищаться. Голова его склонилась на грудь, и он оставался безмолвным.

– Нет никакого сомнения, продолжал пронизательный знаток человеческой природы: – что вы удерживались похвальной и благородной скромностью, которая характеризует ваш счастливый возраст, – удерживались от откровенного признания передо мной в делах своего сердца. Вы могли предполагать, что, гордясь положением, которое я некогда занимал в обществе, или, не теряя надежды на возвращение этого положения, я мог бы быть чересчур самолюбив в брачных видах для Виоланты, или что вы, предвидя возвращение мне моих богатств и почестей, могли бы показаться в глазах других людей человеком, управляемым чувствами, которые ни под каким видом не согласовались бы с чувством любви, – и потому, любезный и дорогой мой друг, я решился отступить от принятого обыкновения в Англии и поступить так, как поступают в моем отечестве. У нас жених редко делает предложение, пока не уверится в согласии родителей. Я должен сказать только одно – если я не ошибаюсь и если вы любите мою дочь, то главное мое желание, главная цель моя в жизни заключается в том чтоб видеть ее счастливою и безопасною.... вы понимаете меня?

Не отрадно ли, не утешительно ли для нас, обыкновенных смертных, не выказывающих особенных претензий на высокий ум и дарование, видеть непростительные ошибки обоих

этих, весьма проницательных, дальновидных особ, и именно доктора Риккабокка, ценящего себя так высоко, за свое глубокое знание человеческого сердца, и Рандаля Лесли, сделавшего привычку углубляться в самые сокровенные мысли и действия других людей, для того, чтоб извлекать оттуда знание, которое есть сила! Итальянской мудрец, судя не только по чувствам, волновавшим его душу в период юности, но и по влиянию, какое производит на молодого человека господствующая страсть, приписывал Рандалю чувства, совершенно чуждые натуре этого человека, – между тем как Рандаль Лесли, судя также по своему собственному сердцу и по общим законам, которые принимаются к руководство при своих поступках людьми более зрелого возраста, и, наконец, по обширной мудрости ученика Макиавелли, – в один момент решил, что Риккабокка рассчитывал на его молодость и неопытность и намеревался самым низким образом обмануть его.

«Бедный юноша! – подумал Риккабокка. – До какой степени не приготовлен он к счастью, которым я дарю его!»

«Хитрый, старый езуит! – подумал Рандаль. – Вероятно, он узнал, что ему не предстоит никакой возможности возвратиться в отечество, и потому хочет навязать мне руку девчонки, за которой нет шиллинга приданого! Какая же может быть тут еще другая побудительная причина! Еслиб его дочь имела хотя самую слабую надежду сделаться богатейшей наследницей в Италии, неужли бы он вздумал предложить ее

мне в замужство, и предложить так прямо, с таким просто-сердечием? Дело само собою разъясняется.»

Под влиянием сильного негодования при одной мысли о ловушке, которую хотели поставить для него, Рандаль уже намеревался отстранить от себя бескорыстную и даже нелепую преданность, в которой обвиняли его, но ему вдруг пришло в голову, что, сделав это, он смертельно оскорбил бы итальянца. Рандаль знал, что хитрец никогда не прощает тем, которые не поддаются его хитростям, – и, кроме того, для соблюдения своих интересов, он считал необходимым сохранить дружеские отношения к Риккабокка. Вследствие этого, подавив порыв своего гнева, он воскликнул:

– Великодушнейший человек! простите меня, если я так долго не мог выразить вам восторга моего и моей благодарности; но я не могу.... нет, не могу!.. по крайней мере до тех пор, пока ваши виды остаются еще в такой неизвестности не могу воспользоваться вашим беспредельным великодушием. Ваше редкое поведение может только удвоить мою скромность: если вам возвратят все ваши обширные владения (и, конечно, возвратят, – я твердо надеюсь на это и убежден в том), тогда вы, конечно, стали бы стараться составить своей дочери гораздо лучшую партию. Еслиб надежды ваши не осуществились – о, это совсем другое дело! Но даже и тогда – какое положение в обществе, какое богатство мог бы я предложить вашей дочери, – положение и богатство, которые были бы вполне достойны её?

– Вы хорошего происхождения; а все джентльмены равны. Вы еще молоды, прекрасно образованы, имеете талант, обширные и сильные связи; а это в своем роде богатство в вашем счастливом отечестве. Короче сказать, если вы намерены жениться по любви, я не стану вам препятствовать, – напротив того, останусь как нельзя более доволен; если же нет, скажите мне откровенно. Что касается возвращения моих имений, едва ли могу рассчитывать на это, пока живет мой враг. Даже и в этом случае есть одно обстоятельство, известное одному только мне (прибавил Риккабокка с странной улыбкой, которая показалась Рандалью необыкновенно лукавой и злобной), – обстоятельство; которое легко может устранить все препятствия. Но между тем не считайте меня безумно великодушным – не цените низко удовольствия, которое я должен испытывать, зная, что Виоланта находится вне всякой опасности от низких умыслов Пешьера, – вне всякой опасности и на всю свою жизнь под защитой мужа. Я скажу вам одну итальянскую пословицу; она заключает в себе истину, полную мудрости и ужаса:

*«Hai cinquanta Amici? non basta. – Hai un Nemico? è troppo»*

(\*)

(\*) Имеешь ты пятьдесят друзей? этого мало. – Имеешь ты одного врага? этого слишком много.

– Какое же это обстоятельство? спросил Рандаль, не обращая внимания на заключение слов Риккабокка и вовсе не слушая пословицы, которую ученик Макиавелли про-

изнес самым выразительным и трагическим тоном. – Какое же это обстоятельство? Мой добрый друг, говорите яснее. Что у вас случилось?

Риккабокка молчал.

– Неужели это обстоятельство и заставляет вас выдать дочь свою за меня?

Риккабокка утвердительно кивнул головой и тихо засмеялся.

«Это хохот демона! – подумал Рандаль. – Обстоятельство это такое, по которому она не должна, не заслуживает выйти замуж. Он изменяет самому себе. Это всегда бывает с хитрецами.»

– Простите меня, если я не отвечаю на ваш вопрос, сказал наконец итальянец. Впоследствии вы все узнаете; но в настоящее время это семейная тайна. А теперь я должен обратиться к другому и более тревожному предмету нашей откровенной беседы.

При этом лицо Риккабокка изменилось и приняло выражение иступленного гнева, смешанного со страхом.

– Нужно вам сказать, продолжал он, понизив голос: – Джакомо недавно заметил незнакомого человека, который бродит около нашего дома и заглядывает в окна. Он несколько не сомневается, да и я в свою очередь, что это какойнибудь шпион, подсланный Пешьерой.

– Не может быть! каким образом он мог узнать об этом доме?



– Не знаю; но кому другому есть дело до нашего дома? Незнакомец держался в некотором отдалении, так что Джакомо не мог рассмотреть его лица.

– Вероятно, это какой нибудь праздношатающийся.... Так в этом и заключаются все ваши опасения?

– Нет: старуху, которая служит нам, спрашивали в лавке, не итальянцы ли мы.

– И она отвечала?

– Нет, – но сказала, что мы держим иностранного лакея, Джакомо.

– Вот на это мне следует обратить внимание. Поверьте, что если Пешьера открыл ваше убежище, я узнаю об этом. Мало того я потороплюсь оставить вас, чтобы начать осведомления.

– Не смею удерживать вас. Но могу ли я надеяться, что вы в одинаковой степени разделяете с нами наши опасения?

– О, конечно; но.... но ваша дочь! могу ли я подумать, что такое прекрасное, несравненное создание утвердит надежду, которую вы подаете мне?

– Дочь итальянца свыклась уже с мыслью, что отец её имеет полное право располагать её рукой.

– Но сердцем?

– *Cospetto!* сказал итальянец, не отступая от своих строптивых понятий о прекрасном поле: – сердце девушки похоже на обитель: чем святее эта обитель, тем доступнее вход в нее.

Едва только Рандаль вышел из дому Риккабокка, как ми-

стрисс Риккабокка., с таким тревожным беспокойством размышлявшая о всем, что касалось Виоланты, присоединилась к мужу.

– Мне очень нравится этот молодой человек, сказал мудрец: – очень нравится. Благодаря моим сведениям о человеческой натуре, я нашел его точь-в-точь таким, каким ожидал найти. Как любовь обыкновенно идет рука об руку с юностью, так скромность бывает безотлучной спутницей таланта. Он молод, *ergo* он любит; он имеет талант, *ergo* он скромн, – скромн и умен.

– И ты полагаешь, что его любовь нисколько не возбуждается его интересами?

– Совершенно напротив! и, чтоб вернее узнать его, я не сказал ни слова касательно мирских выгод, которые, в каком либо случае, могли бы достаться ему от женитьбы на моей дочери. В каком бы ни было случае, если я возвращусь в отечество, то все богатство будет её: а если нет, то я надеюсь (сказал Риккабокка, выражая на лице своем величие и гордость), я уверен в достоинстве и благородстве души моей дочери точно так же, как и в моем собственном. И не стану упрашивать жениться на ней, чтоб повредить этой женитьбой зятю в отношении к его существенным выгодам.

– Я не совсем понимаю тебя, Альфонсо. Конечно, твоя жизнь застрахована на приданое Виоланты; но....

– *Pazzie* – вздор! сказал Риккабокка с неудовольствием: – её приданое ровно ничего не значит для молодого челове-

ка с происхождением Рандаля и его видами на будущность. Я вовсе не думал об этом. Вот в чем дело выслушай меня: я никогда не решался извлекать какие нибудь выгоды из моей дружбы с лордом л'Эстренджем: мне было совестно; но эта совесть не должна существовать, когда дело коснется моего зятя. Этот благородный друг имеет не только высокий титул, но и сильное влияние на сильных людей, влияние на людей государственных, влияние на патрона Рандаля, который, между нами будь сказано, по видимому, не хочет выдвинуть молодого человека так, как он мог бы: я вывожу это заключение из слов самого Рандаля. Прежде решительного приступа к этому делу я напишу к л'Эстренджу и скажу ему просто: я никогда не просил вас вывести меня из бедности, но прошу вас спасти дочь мою от унижения её достоинства. Я не могу ей дать приданого. Может ли её муж быть обязанным моему другу, который предоставит ему благородную карьеру? может ли он открыть карьеру для его энергии и талантов? А это для человека с честолюбием более всякого приданого.

– Альфонсо! как тщетно стараешься ты скрыть свое высокое звание! вскричала Джемима с энтузиазмом: – когда страсти твои взволнуются, оно проглядывает во всех твоих словах!

По видимому, итальянцу несколько не польстила эта похвала.

– Ну, так и есть, сказал он:– ты опять с своим званием.

Но Джемима говорила правду. Едва только Риккабокка забывал несносного Макиавелли и предавался влечению своего сердца, в нем проявлялось что-то особенно-величественное, чуждое человеку обыкновенному.

Следующий час Риккабокка провел в размышлениях о том, что бы сделать лучшего для Рандалья, а также старался придумать приятные сюрпризы для своего нареченного зятя. – Между тем как Рандаль в то же самое время напрягал все свои умственные способности, каким бы образом лучше обмануть ожидания своего нареченного тестя.

Окончив предначертание планов, Риккабокка закрыл своего Макиавелли, выбрал несколько томов Бюффона о человеке, и различных других психологических сочинений, которые вскоре поглотили все его внимание. Почему Риккабокка избрал предметом своих занятий именно эти сочинения? Ясно, что это какая-то тайна, известная его жене; но, может быть, он не замедлит признаться нам в ней. Джемима хранила одну тайну, а это уже весьма основательная причина, по которой Риккабокка не захотел бы долго оставлять ее в неведении касательно другой.

## Глава LXXXIX

Рандаль Лесли воротился домой для того только, чтобы переодеться и отправиться на званый поздний обед в доме барона Леви.

Образ жизни барона был такого рода, который особенно нравился как самым замечательнейшим дэнди того времени, так и самым отъявленным выскочкам. Надобно заметить здесь, что под словом *выскочка* мы разумеем человека, который всеми силами старается приблизиться (мы принимаем в соображение одни только наружные его признаки) к неподдельному дэнди. Наш *выскочка* тот, который соблюдает удивительную безошибочность в покрое своего платья, точность в отделке своего экипажа и малейшие подробности в убранстве своих комнат. Среднее лицо между *выскочкой* и дэнди — лицо, которое знает заранее последствия своего образа жизни и имеет в виду чтонибудь солидное, на что, в случае нужды, мог бы опереться, слишком медленно предается причудливым требованиям моды и остается совершенно невнимательным ко всем тем утонченностям, которые не прибавят к его родословной лишнего предка, не прибавят лишней тысячи фунтов стерлингов к капиталу в руках его банкира. Барон Леви не принадлежал к числу этих выскочек: в его доме, в его обеде, решительно во всем окружавшем его проглядывал изящный вкус. Еслиб он был колонновожатым всех

лондонских дэнди, вы непременно воскликнули бы: «Какой утонченный вкус у этого человека!» Но уж такова натура человека, что дэнди, обедавшие с ним, говорили друг другу: «Он хочет подражать Д...! Куда ему!» А между тем барон Леви, обнаруживая свое богатство, не обнаруживал ни малейшей с чемнибудь несообразности. Мебель в комнатах на вид была довольно простая, но ценная по своему роскошному комфорту. Убранство и китайский фарфор, расставленный на видных и выгодных местах, отличались редкостью и драгоценностью. За обедом серебро на столе не допускалось. В этом отношении у него было принято русское обыкновение, в ту пору встречавшееся в редких домах, а в настоящее время сделавшееся господствующим. Плоды и цветы расставлены были в драгоценных вазах старинного севрского фарфора; повсюду блесстел богемский хрусталь. Лакеям не позволялось прислуживать в ливреях: позади каждого гостя стоял джентльмен, одетый точно так же, как и гость — в таких же точно белых как снег батистовых сорочках и в черном фраке, — так что гость и лакей казались стереотипными оттисками с одной и той же доски.

Кушанья были приготовлены изящно; вино досталось барону из погребов покойных епископов и посланников. Общество было избранное и не превосходило осьми человек. Четверо были старшие сыновья перов; один замечательнейший каламбурист, которого не иначе возможно было заманить к себе в дом, как пригласив его за месяц ранее; шестой,

к особенному удивлению Рандалья, был мистер Ричард Эвенель; наконец, сам Рандаль и барон дополняли собою общество.

Старшие сыновья узнали друг друга и выразили это многозначительной улыбкой; самый младший из них, появившийся в Лондоне еще в первый раз, позволил себе покраснеть и казаться застенчивым. Прочие уже давно свыклись с лондонским светом: они соединенно и с удивлением делами наблюдения над Рандалем и Эвенелем. Рандаль был лично известен им: он слыл между ними за степенного, умного, много обещающего молодого человека, скорее бережливого, чем расточительного, и никогда еще не попадавшего в просяк. Но каким ветром занесло его сюда? Мистер Эвенель еще более помрачал их соображения и догадки. Мужчина среднего роста, – по слухам, очень деловой человек, которого они замечали где-то на улице (да и нельзя было не заметить такого выразительного лица и такой фигуры), видали его в парке, иногда в Опере, но ни разу еще взоры их не останавливались на нем в клубе или в кругу «их общества», – мужчина, которого жена составляет в своем доме ужасные третьеклассные вечера, описание которых, вместе с именным списком посетителей этих вечеров, занимает в газете *Morning Post* более полу-столбца, где несколько имен, давно уже утративших громкое свое значение, два-три иноземных титула делали мрак темных имен вдвое мрачнее. Почему барон Леви пригласил к себе этого человека вместе с *ними*? Это бы-

ла задача, для разрешения которой пущены были в дело все умственные способности. Остроумец, сын незначительного негоцианта принятого, впрочем, в лучших обществах, позволял себе в этом отношении гораздо более свободы в сравнении с другими. Он весьма нескромно разрешал загадку.

– Поверь, шептал он Спендквикку: – поверь, что этот человек никто другой, как Неизвестная Особа в газете *Times*, под фирмою *Икс-Игрека*, которая предлагает в ссуду какую угодно сумму денег, от десяти фунтов стерлингов до полу-миллиона? В кармане у этого человека все твои векселя. Леви только гоняется за ним как шакал.

– Клянусь честью, сказал Спендквикк, сильно встревоженный:– если ты говоришь правду, так с этим человеком следует обращаться поучтивее.

– Тебе, конечно. Но я никогда еще не оттискивал *икса*, который бы доставил мне существенную пользу, и потому я столько же намерен оказывать уважения этому *иксу*, как и всякой другой неизвестной величине.

Вместе с тем, как разливалось вино, гости становились веселее, любезнее, откровеннее. Леви был действительно человек весьма занимательный: как по пальцам умел он перечить все городские сплетни и, ко всему этому, обладал тем неподражаемым искусством сказать колкое словцо об отсутствующих, которое приводило в восторг присутствующих. Постепенно развертывался и мистер Ричард Эвенель, и в то время, как шепот, что он был алгебраическая неизвестная



величина, пролетев вокруг стола, коснулся его слуха, Ричард внял ему с глубоким уважением; а этого уже довольно было, чтобы вдруг и весьма значительно возвысит его во мнении других. Мало того: когда остроумный собеседник вздумал было явно подтрунить, Ричард так хладнокровно, и даже несколько грубо, принял выходку, что лорд Спендквикк и другие джентльмены, имевшие совершенно одинаковое положение в вексельном мире, нашли возражение полным юмора, обратили весь смех на остряка и принудили его молчать в течение вечера – обстоятельство, по которому течение беседы сделалось еще свободнее и откровеннее. После обеда разговор незаметным образом перешел на политику: времена были такие, что о политике рассуждали повсюду.

Рандаль говорил мало, но, по обыкновению, слушал внимательно. Ему страшно было убедиться, как много истины заключалось в предположении, что министерство переменится. Из уважения к нему и из деликатности, которая принадлежит исключительно классу общества, не сказано было ни слова касательно личности Эджертона. Один только Эвенель порывался произнести несколько грубых выражений относительно этой особы, но барон немедленно останавливал его при самом начале его сентенций.

– Прошу вас, пощадите моего друга и близкого родственника Одлея, мистера Лесли, с учтивой, но вместе с тем и серьёзной улыбкой говорил барон.

– О, нет, я всегда скажу, говорил Эвенель: – я всегда ска-

жу, что публичные люди, которым мы платим деньги, составляют в некоторой степени собственность публики... не правда ли, милорд? прибавил он обращаясь к Спендквикку.

– Само собою разумеется, отвечал Спендквикк, с необыкновенным одушевлением: – это наша собственность; иначе зачем бы мы стали платить им? Для того, чтобы принудить нас к этому, должна же быть какая нибудь весьма сильная побудительная причина. Я вообще терпеть не могу платить, а долги в особенности.

Последние слова произнесены были в сторону.

– Как бы то ни было, мистер Лесли, сказал Эвенель, переменяя тон: – я не хочу оскорблять ваших чувств. Что касается чувств господина барона, они давно загубели в нем, в различного рода испытаниях.

– Несмотря на то, сказал барон, присоединяясь к общему смеху, возбуждаемому непринужденными выражениями предполагаемого *Икса*:– несмотря на то, я все-таки скажу вам пословицу: «полюби меня, полюби мою собаку», любишь меня, люби и моего Эджертон.

Рандаль испугался. Его острый слух и тонкая проницательность улавливали что-то лукавое и враждебное в тоне, которым Леви произнес это равносильное сравнение, и его взор обратился к барону. Барон наклонил лицо свое и находился в невозмутимом расположении духа.

Но вот гости встали из за стола. Четыре молодых nobleмена были приглашены куда-то, и потому условились откла-

няться хозяину дома, не входя в гостиную. Как монады – говорит теория Гёте – по сходству своему, имеют непреодолимое влечение друг к другу, так и эти беспечные дети удовольствия, встав из за обеда, по общему влечению, приблизились друг к другу и сгруппировались подле камина. Рандаль задумчиво стал поодаль от них. Остроумный молодой человек сквозь лорнетку рассматривал картины. Мистер Эвенель отвел барона к буфету и шепотом заговорил с ним о чем-то серьёзном. Эгог разговор не скрылся от внимания молодых джентльменов, собравшихся вокруг камина: они взглянули друг на друга.

– Вероятно, они говорят о процентах по поводу возобновления наших векселей, сказал один из них, *sotta voce*.

– *Икс*, как кажется, хороший малый, сказал другой.

– Он, кажется, богат, зато и не лезет в карман за словами, заметил третий.

– Выражается без принуждения, как и вообще все богачи.

– Праведное небо! воскликнул Спендквикк, который внимательно следил за каждым движением Эвенеля. – Взгляните, взгляните: *Икс* вынимает свой бумажник. Он идет сюда. Поверьте, что наши векселя в его руках. Срок моему векселю завтра.

– И моему тоже, сказал другой, в сильном смущении. – Помилуйте, это ни на что не похоже!

Между тем Эвенель, оставив барона, который, по видимому, старался удержать его и, не успев в этом, отвернул-

ся в сторону, как будто для того, чтобы не видеть движений Ричарда – обстоятельство, неизбегнувшее внимания группы и еще более подтверждавшее все их подозрения и опасения, – мистер Эвенель, говорю я, с серьезным, задумчивым видом и медленным шагом, приблизился к группе. Грудь лорда Спендквикка и сочувствующих ему друзей сильно волновалась. С бумажником в руке, содержание которого грозило чем-то необыкновенно страшным, шаг за шагом подходил Дикк Эвенель к камину. Группа стояла безмолвно, под влиянием непреодолимого ужаса.

– Гм! произнес Эвенель, чтобы очистить голос.

– Куда как мне не нравится это «гм»! едва слышным голосом произнес Спендквикк.

– Мне очень лестно, джентльмены, познакомиться с вами, сказал Дикк, учтиво кланяясь.

Джентльмены, к которым относились эти слова, в свою очередь, низко поклонились.

– Мой друг барон полагал, что теперь неудобно....

Эвенель остановился. В этот момент вы одним перышком могли бы сбить с ног этих джентльменов.

– Впрочем, снова начал Эвенель, не коичив прежней своей мысли: – я поставил себе за правило в жизни никогда не терять возможности пользоваться хорошим случаем, – короче сказать, я намерен воспользоваться настоящей минутой. И, прибавил он с улыбкой, которая оледеняла кровь в жилах Спендквикка: – это правило сделало из меня самого

радушного человека! Поэтому, джентльмены, позвольте мне представить вам каждому по одному из этих...

Руки джентльменов спрятались назад, как вдруг, к невыразимому восторгу, Дик заключил свою речь следующими словами:

– Извольте видеть, это маленький *soirée dansante*.

И вместе с этим он протянул четыре пригласительные карточки.

– С величайшим удовольствием! воскликнул Спендквикк. – Я вообще небольшой охотник до танцев; но, чтоб сделать удовольствие *Иксу*.... то есть я хочу сказать, чтоб короче познакомиться с *вами*, сэр, я готов танцевать на канате!

Энтузиазм Спендквикка возбудил сильный смех, который кончился принятием карточек и пожатием рук с Эвенелем.

– Вы, сколько я мог судить, непохожи на танцора, сказал Эвенель, обращаясь к остроумному молодому человеку, который был несколько тучен и имел расположение к подагре, как и вообще все остроумные люди, которые в течение недели проводят пять дней на званных обедах: – вместо танцев мы превосходно с вами поужинаем.

Молодой человек, оскорбленный грубым возражением Эвенеля во время обеда, пренебрег этим предложением и отвечал весьма сухо, что «каждый час его времени имеет уже давно свое назначение». Сделав принужденный поклон барону, он удалился. Прочие гости, в самом приятном расположении духа, поспешили сесть в свои кабриолеты, Лесли

вышел вслед за ними; но в приемной барон остановил его.

– Останьтесь здесь, мистер Лесли, сказал он: – мне нужно поговорить с вами.

Барон пошел в гостиную; мистер Лесли последовал за ним.

– Не правда ли, приятные молодые люди, сказал Леви, с едва заметной улыбкой, опустившись в покойное кресло и поправляя огонь в камине: – и вовсе не горды; одно только жаль, что чересчур много обязаны мне. Да, мистер Лесли, они должны мне очень, очень много. *A propos*: я имел весьма длинный разговор с Франком Гэзельденом. Кажется, что я могу поправить его дела. По наведенным справкам, оказывается, что вы были совершенно правы: казино действительно записано на Франка. Это его наследственное имя. Он может распоряжаться правом на наследство, как ему угодно. Так что в наших условиях никакого не может встретиться затруднения.

– Однако, я сказал вам, что Франк совестится делать займы, рассчитывая на смерть своего отца.

– Ах, да! действительно вы говорили. Сыновняя любовь! А я, признаюсь, в серьезных делах никогда не принимаю в расчет этого обстоятельства. Знаете ли, что подобная совестьливость хотя и в высшей степени приносит честь человеческой натуре, но совершенно исчезает, лишь только откроется перспектива долговой тюрьмы. К тому же, как вы сами весьма основательно заметили, наш умный молодой друг

влюблен в маркизу ди-Негра.

– Разве он говорил вам об этом?

– Нет, он не говорил; но мне сказала сама маркиза.

– А вы знакомы с ней?

– Я знакомь с весьма многими особами в самом высшем кругу общества, – особами, которые от времени до времени нуждаются в друге, который мог бы привести в порядок их запутанные дела. Собрав достоверные сведения касательно гэзьденской вотчины (извините мое благоразумие), я подделался к маркизе и скупил её векселя.

– Неужели вы это сделали?... вы удивляете меня.

– Удивление ваше исчезнет при самом легком размышлении. Впрочем, надобно сказать правду, мистер Лесли, вы еще новичек в свете. Мимоходом сказать, я виделся с Пешьером....

– Вероятно, по поводу долгов его сестрицы?

– Частью. А признаюсь вам, кроме Пешьера, я еще не видал человека с такими высокими понятиями о чести.

Зная привычку барона Леви выхвалять людей за качества, которых, судя по замечаниям даже самых непроницательных, в них никогда не существовало, Рандаль только улыбнулся при этой похвале и ждал, когда барон заговорит. Но барон минуты на две с задумчивым видом соблюдал безмолвие и потом совершенно переменял предмет разговора.

– Мне кажется, что ваш батюшка имеет поместье в.....шэйре, и вы, вероятно, не откажетесь сообщить мне неболь-

шие сведения о поместьях мистера Торнгилля, которые, судя по документам, принадлежали некогда вашей фамилии; а именно – и барон раскрыл перед собой изящно отделанную памятную книжку – а именно: усадьбы Руд и Долмонсберри, с различными фермами. Мистер Торнгилль намерен продать их, как только сыну его исполнится совершеннолетие. Не забудьте, Торнгилль мой старинный клиент. Он уже обращался ко мне по этому предмету. Как вы думаете, мистер Лесли, могут ли эти поместья принести хоть какую-нибудь пользу?

Рандаль слушал барона с пылающим лицом и сильно бьющимся сердцем. Мы уже видели, что если и входили в расчеты Рандаля какие-либо честолюбивые замыслы, в которых и не было ничего исключительно великодушного и героического, но все же они обнаруживали некоторого рода симпатичность, свойственную душе, незараженной еще пороками; в этих замыслах проглядывала надежда на восстановление приведенных в упадок имений его старинного дома и на приобретение давно отделенных земель, окружавших унылый и ветхий его родительский кров. И теперь, когда он услышал, что все эти земли должны были попасть в неумолимые когти Леви, в его глазах выступили слезы досады.

– Торнгилль, продолжал Леви, наблюдая выражение лица молодого человека: – Торнгилль говорит, что эта часть его имения, то есть земля, принадлежавшая некогда фамилии Лесли, приносит до 2,000 фунгов годового дохода, и что этот доход легко можно увеличить. Он хочет взять за нее 50,000:



20,000 наличными, а остальные 30,000 оставляет на именьи по четыре процента. Кажется, это славная покупка. Что вы скажете на это?

– Не спрашивайте меня, отвечал Лесли: – я надеялся, что современем сам перекуплю это именье.

– Неужели? Конечно, это придало бы вам еще более весу в общественном мнении, – не потому, что вы купили бы богатое именье, но потому, что это именье сообщило бы вам наследственные права. И если вы только думаете купить его, поверьте мне, я не стану мешать вам.

– Каким же образом могу я думать об этом?

– Мне кажется, вы сами сказали, что намеревались купить его.

– Да. Когда я полагал, что эти земли не могут быть проданы ранее совершеннолетия сына Торнгилля; я полагал, что они входили в состав определенного наследства.

– Да. Торнгилль и сам точно также полагал; но когда я рассмотрел документы, то увидел, что он очень ошибался. Эти земли не включены в завещание старика Джэспера Торнгилля. Мистер Торнгилль хочет покончить дела разом, и чем скорее явится покупатель, тем выгоднее будет сделка. Какой-то сэр Джон Спратт хотел уже и деньги дать, но приобретение этих земель придало бы Спратту весу в графстве гораздо больше, чем Торнгиллю. Поэтому-то мой клиент готов уступить несколько тысяч человеку, который ни под каким видом не сделается его соперником. Равновесие власти

между помещиками соблюдается точно так же, как и между народами.

Рандаль молчал.

– Однако, кажется, я огорчаю вас, сказал Леви, необыкновенно ласковым тоном. – Хотя мои приятные гости и называют меня *выскачкой*, однако, я очень хорошо понимаю и умею ценить ваши чувства, весьма естественные в джентльмене старинного происхождения. *Выскачка!* Да! Не странно ли, Лесли, что никакое богатство, никакая известность в модном свете не в состоянии изгладить этого злого навета. Они называют меня *выскачкой* – и в то же время занимают у меня деньги. Они называют нашего остроумного друга тоже *выскачкой*, а между тем переносят все его оскорбительные остроты. Им нужно бы узнать его происхождение, – по крайней мере для того только, чтоб не приглашать его к обеду. Они называют *выскачкой* лучшего оратора в нашем Парламенте, а сами, рано или поздно, но непременно будут умолять его принять на себя сан первого министра. Какой скучный этот свет! Неудивительно, что всем *выскачкам* так и хочется перескочить через него. Впрочем, сказал Леви, откидываясь к спинке кресла: – посмотрим, что будет дальше, как-то будут смотреть на этих *выскачек* при новом порядке вещей. Ваше счастье, Лесли, что вы не поступили в Парламент при нынешнем правительстве: в политическом отношении это было бы для вас гибелью на всю жизнь.

– Вы думаете, значит, что нынешнее министерство непре-

менно уступит место другому?

– Конечно; и, что еще более, я думаю, что нынешнее министерство, оставаясь при прежних правилах и мнениях, никогда не будет призвано назад. Вы, молодой человек, имеете способности и душу, происхождение ваше говорит в вашу пользу: послушайте меня, будьте поласковее с Эвенелем; при следующих выборах он очень легко доставил бы вам место в Парламенте.

– При следующих выборах! то есть спустя шесть лет! тогда как у нас в непродолжительном времени начнутся общие выборы.

– Правда; но не пройдет года, полугода, четверти года, как начнутся новые выборы.

– Почему вы так думаете?

– Лесли, мы можем положиться друг на друга, мы можем помогать друг другу; так будем же друзьями!

– Согласен от чистого сердца! Но желал бы я знать, каким образом могу я помогать вам?

– Вы уже помогли мне касательно Франка Гэзельдена и его казино. Все умные люди могут помочь мне. Итак, мы теперь друзья, и на первый раз я намерен сообщить вам тайну. Вы спрашиваете меня, почему я думаю, что выборы возобновятся в непродолжительном времени? Ответ мой будет самый откровенный. Из всех людей, занимающих в государстве высокие должности, я еще не встречал ни одного, который бы имел такую удивительную предусмотрительность, ко-

торый бы так ясно видел перед собой все предметы, как Одлей Эджертон.

– Это одна из замечательных его характеристик. Нельзя сказать, чтобы он был *дально-видящий*, но *ясно-видящий*, и то на известном пространстве.

– Так точно. Следовательно, лучше его никто не знает публичного мнения, не знает приливов и отливов этого мнения.

– Согласен.

– Эджертон рассчитывает на новые выборы не далее, как через три месяца, и на этот случай я дал ему в долг значительную сумму денег.

– Вы дали ему денег в долг! Эджертон занимает у вас деньги? этот богач Одлей Эджертон!

– Богач! повторил Леви таким тоном, который невозможно описать, и при этом сделал двумя пальцами щелчок, которым выражалось его глубокое презрение.

Леви слова не сказал более. Рандаль стоял как пораженный внезапным ударом.

– Но если Эджертон действительно небогат, если он лишится места без всякой надежды снова получить его....

– Если так, то он погиб! отвечал Леви хладнокровно: – и поэтому-то, из уважения к вам и принимая участие в вашей судьбе, я должен сказать вам: не основывайте своих надежд на богатство или блестящую карьеру на Одлее Эджертоне. В настоящее время старайтесь удержать за собой ваше место, но при следующих выборах советую держаться лиц

более популярных. Эвенель легко может доставить вам место в Парламенте; остальное будет зависеть от вашего счастья и вашей энергии. И за тем я не смею удерживать вас далее, сказал Леви, вставая с кресла, и вслед затем позвонил в колокольчик.

Вошел лакей.

– А что, карета моя у подъезда?

– У подъезда, барон.

– Не прикажете ли довести вас, мистер Лесли?

– Нет, благодарю вас: прогулке пешком я отдаю преимущество.

– В таком случае прощайте. Не забудьте же *soirée dansante* у мистрисс Эвенель.

Рандаль механически пожал протянутую ему руку и вскоре вышел на улицу.

Свежий холодный воздух оживил в нем умственные способности, которые, от зловещих слов барона, находились в совершенном бездействии. Первая мысль, которую умный молодой человек высказал самому себе, была следующая:

«Какая же могла быть у этого человека побудительная причина говорить со мной об этом?»

Вторая была:

«Эджертон погиб, раззорился! Что же я такое?»

Третья:

«И этот прекраснейший участок старинных владений фамилии Лесли! Двадцать тысяч фунтов наличными деньга-

ми!.. Но каким образом достать такую сумму? К чему Леви нужно было говорить мне об этом?»

И наконец монолог Рандаля заключен был первой мыслью: «Но побудительная причина этого человека.... О, как бы я желал узнать эту причину!»

Между тем барон Леви сел в свою карету, – самую покойную, легкую карету, какую только вы можете вообразить, – карету холостого человека, – отделанную с таким удивительным вкусом, – карету, какой невозможно иметь женатому; барон Леви сел в нее и через несколько минут был уже в – отели и перед лицом Джулио Францини, графа ди-Пешьера.

– *Mon cher*, сказал барон, на самом чистом французском языке и таким тоном, который обнаруживал фамильярное обхождение с потомком князей и героев великой средневековой Италии:– *mon cher*, дайте мне одну из ваших чудеснейших сигар. Мне кажется, что я привел несколько в порядок ваши дела.

– Вы отыскали...

– О, нет; ведь это делается не так скоро, как вы воображаете, сказал барон, закуривая сигару. – Вы, кажется, сами сказали, что останетесь совершенно довольны, если замужество вашей сестры и ваша женитьба на богатой наследнице будут стоить вам не более двадцати тысяч фунтов.

– Да, я сказал.

– В таком случае, я не сомневаюсь устроить для вас то и другое за эту сумму, если только Рандаль действительно

знает, где живет ваша невеста, и если он согласен помогать вам. Весьма многое обещает этот Рандаль Лесли, но невинен как младенец.

– Ха, ха! Невинен? *Que diable?*

– Невинен, как эта сигара, *mon cher*: крепка, это правда, но курится весьма легко. *Soyez tranquille!*

## Глава ХС

На поверхности каждого века часто являются предметы, которые на взгляд людей причудливого, прихотливого существования бывают весьма обыкновенны, но которые впоследствии высятся и отмечают собою весьма замечательнейшие эпохи времени. Когда мы оглянемся назад, заглянем в летопись человеческих деяний, наш взор невольным образом останавливается на *писателях*, как на приметных местах, на маяках в океане минувшего. Мы говорим о веке Августа, Елизаветы, Людовика XIV, Анны, как о замечательных эрах в истории мира. Почему? Потому, что писатели того времени сделали эти периоды замечательными. Промежутки между одним веком писателей и другим остаются незамеченными, как плоские равнины и пустыри неразработанной истории. Ко всему этому – странно сказать! – когда эти писатели живут между нами, они занимают очень малую часть наших мыслей и наполняют только в них пустые промежутки битюмом и туфом, из которых созидаем мы Вавилонский столп нашей жизни! Так оно есть на самом деле, так и будет, несмотря, что сообразно ли это с понятиями писателей, или нет. Жизнь уже сама по себе должна быть деятельна; а книги, хотя они и доставляют деятельность будущим поколениям, но для настоящих они служат одним только препровождением времени.



Сделав такое длинное вступление в эту главу, я вдруг оставляю Рандалей и Эджертонов, баронов Леви, Эвенелей и Пешьер, – удаляюсь от замыслов и страстей практической жизни и переносюсь, вместе с читателем, в один из тех темных уголков, где мысль, в неуловимые минуты, выковывает новое звено к цепи, соединяющей века.

В небольшой комнате, одинокое окно которой обращено в очаровательный волшебный сад, описанный уже нами в одной из предыдущих глав, сидел молодой человек. Он что-то писал. Чернила еще не засохли на его рукописи; но его мысли внезапно были отвлечены от работы, и его взоры, устремленные на письмо, послужившее поводом к прерыванию его занятий, сияли восторгом.

– Он придет! восклицал молодой человек:– придет сюда в этот дом, за который я обязан ему. Я не достоин был его дружбы. И она – грудь молодого человека сильно волновалась, но уже радость исчезла на его лице. – Странно, очень странно; но я чувствую печаль при одной мысли, что снова увижусь с ней. Увижусь с ней.... о, нет!.. с моей неоцененной, доставлявшей мне отраду, Гэлен, с моим гением-хранителем, с моей маленькой музой! Нет, *ее* я не увижу никогда! Взрослая девица – это уже не моя Гэлен. Но все-же (продолжал он, после минутного молчания), если она читала страницы, на которые мысли изливались и дрожали, при мерцающем свете отдаленной звезды, еслиб она видела, как верно сохраняется её милый образ в моем сердце, и понима-

да, что я не изобретал, как другие полагают, но только вспоминал, – о, неужели она тогда не могла бы хотя на момент еще раз быть моей Гэлен? Еще раз, в душе и в мечтах, постоять на опустелом мосту, рука в руку, с чувством одиночества, – постоять так, как мы стояли в дни столь грустные, печальные, но в моих воспоминаниях столь пленительно-отрадны!.. Гэлен в Англии!.. нет, это мечта!

Он встал и без всякой цели подошел к окну. Фонтан весело играл перед его взорами, и пернатые в птичнике громко распевали.

– И в этом доме я видел *ее* в последний раз! произнес молодой человек. – И вон там, где фонтан так игриво бросает кверху серебристую струю, – там её и вместе с тем... Мой благодетель сказал мне, что я должен лишиться *ее* и, в замен, приобрести славу.... Увы!

В это время в комнату вошла женщина, которой одежда, несоответствовавшая её наружности, при всем приличии, была очень проста. Увидев, что молодой человек задумчиво стоял у окна, она остановилась. Она привыкла к его образу жизни, знала все его привычки и с той поры, как он сделал замечательный успех в жизни, научилась уважать их. Так и теперь: она не хотела нарушить его задумчивость, но тихо начала прибирать комнату, стирая пыль, углом своего передника, с различных предметов, составлявших украшение комнаты, перестанавливая стулья на более приличные места, но не касаясь ни одной бумаги на столе. Добродетельная,

редкая женщина!

Молодой человек отвернулся от окна с глубоким и вместе с тем печальным вздохом.

– С добрым утром, добрая матушка! Вы очень кстати приводите в порядок мою комнату. Я получил приятные новости: я жду к себе гостя.

– Ах, Леонард, он, может статься чегонибудь захочет? завтракать или чтонибудь такое?

– Нет, не думаю. Это человек, которому мы всем обязаны. *Placet otia fecit.* Извините за мою латынь. Короче вам сказать, это лорд л'Эстрендж.

Лицо мистрисс Ферфильд (читатель, вероятно, уже догадался, что это была она) вдруг переменялось и обличило судорожное подергивание всех мускулов, которое придавало ей фамильное сходство с старушкой мистрисс Эвенель.

– Напрасно вы тревожитесь, маменька: он самый добрый, самый великодушный...

– Не говори мне этого: я не могу слышать об этом! вскричала мистрисс Ферфильд.

– Не удивительно: вас трогают воспоминания о его благотворительности. Впрочем, чтоб успокоиться, вам стоит только взглянуть на него. И потому, пожалуйста, улыбнитесь и будьте ласковы со мной по-прежнему. Знаете ли, ведь мне становится отрадно, я чувствую в душе благородную гордость, при виде вашего открытого взгляда, когда вы бываете довольны. А лорд л'Эстрендж должен читать ваше сердце

на вашем лице точно так же, как и я читаю его.

Вместе с этим Леонард обнял вдову и крепко поцаловал ее. Мистрисс Ферфильд на минуту нежно прильнула к нему, и Леонард чувствовал, как она трепетала всем телом. Освободясь из его объятий, она торопливо вышла из комнаты. Леонард полагал, что, быть может, она удалилась привести в порядок свои туалет или приложить энергию домохозяйки к улучшению вида в других комнатах: «дом» для мистрисс Ферфильд был любимым коньком и страстью; и теперь, когда она не имела работы на руках, исключая разве для одного препровождения времени, домашнее хозяйство составляло исключительное её занятие. Часы, которые она ежедневно посвящала на копотню около маленьких комнат, и старание сохранить в них аккуратно тот же самый вид, принадлежали к числу чудес в жизни, которых не постигал даже и гений Леонарда. Впрочем, она приходила в восторг каждый раз, когда являлся к Леонарду мистер Норрейс или другой редкий гость и говорил – особенно мистер Норрейс: «Как чисто, как опрятно все содержится здесь! Что бы Леонард стал делать без вас, мистрисс Ферфильд!»

И, к беспредельному удовольствию Норрейса, у мистрисс Ферфильд всегда был один и тот же ответ:

– И в самом деле, сэр, что стал бы он делать без меня!.. Всепокорнейше благодарю вас, сэр, за это замечание... Я уверена, что в его гостиной набралось бы на целый дюйм пыли.

Оставшись снова наедине с своими думами, Леонард всей душой предался прерванным размышлениям, и лицо его снова приняло выражение, которое сделалось, можно сказать, его всегдашним выражением. В этом положении вы легко бы заметили, что он много переменился со времени последней нашей встречи с ним. Его щеки сделались бледнее и тоньше, губы – крепче сжаты; в глазах отражались спокойный блеск и светлый ум. Вы легко бы заметили, что все лицо его подернуто было облаком тихой грусти. Впрочем, эта грусть была невыразимо спокойна и пленительна. На открытом лице его отражалась сила, так редко встречаемая в юношеском возрасте – сила, одержавшая победу и обличавшая свои завоевания невозмутимым спокойствием. Период сомнения в своих дарованиях, период борьбы с тяжкими лишениями, период презрения к миру миновал навсегда; гений и дарования ума примирились с человеческим бытием. Это было лицо привлекательное, лицо нежное и спокойное в своем выражении. В нем не было недостатка в огне; напротив, огонь был до такой степени светел и спокоен, что он сообщал одно только впечатление света. Чистосердечие юношеского возраста, простота сельского жителя сохранялись еще в нем, – правда, доведенные до совершенства умом, но умом, прошедшим по стезе, на которой приобретаются познания, прошедшим не шаг за шагом, но, скорее, пролетевшим на крыльях, отыскивая на полете, на различных ступенях бытия, одни только пленительные формы ис-

тины, добра и красоты.

Леонард не хотел оторваться от своих дум, и не оторвался бы надолго, если бы у садовой калитки не раздался звонок, громко и пронзительно. Он бросился в залу, и рука его крепко сжала руку Гарлея.

В вопросах Гарлея и в ответах Леонарда прошел целый и счастливый час. Между обоими ими завязался разговор, весьма естественный при первом свидании после продолжительной разлуки, полной событий в жизни того и другого.

История Леонарда в течение этого промежутка, можно сказать, была описанием его внутреннего бытия: она изображала борьбу ума с препятствиями в мире действительном, — изображала блуждающие полеты воображения в миры, созданные им самим.

Главная цель Норрейса в приготовлении ума своего ученика к его призванию состояла в том, чтоб привести в равновесие его дарования, успокоить сгармонизировать элементы, так сильно потрясенные испытаниями и страданиями прежней, многотрудной внешней жизни.

Норрейс был слишком умен и дальновиден, чтобы впасть в заблуждения нынешних наставников, которые полагают, что воспитание и образование легко могут обходиться без труда. Никакой ум не делается зрелым без усиленного и притом раннего упражнения. Труд должен быть усердный, но получивший верное направление. Все, что мы можем сделать лучшего в этом отношении, это — отклонит растрату

времени на бесполезные усилия.

Таким образом Норрейс с первого раза поручил своему питомцу собрать и привести в порядок материалы для большего критического сочинения, которое он взялся написать. На этой ступени схоластического приготовления Леонард, по необходимости, должен был познакомиться с языками, к приобретению которых он имел необыкновенную способность, – и таким образом положено было прочное основание обширной учености. Привычки к аккуратности и обобщению образовались незаметно; и драгоценная способность, с помощью которой человек так легко выбирает из груды материалов те; которые составляют главный предмет их розыскания, – которая учетверяет всю силу сосредоточением ее на одном предмете, – эта способность, однажды пущенная в действие, дает прямую цель каждому труду и быстроту образованию. Впрочем, Норрейс не обрекал своего ученика исключительно безмолвной беседе с книгами: он познакомил его с замечательнейшими людьми в области наук, искусств, и литературы; он ввел его в круг деятельной жизни.

«Эти люди – говорил он – не что иное, как живые идеи настоящего, – идеи, из которых будут написаны книги для будущего. Изучай их и, точно так же, как и в книгах о минувшем, прилежно собирай и с разбором обдуманно делай из собранного извлечения.»

Норрейс постепенно перевел этот юный, пылкий ум от выбора идей к их эстетическому расположению, от компиля-

ции к критике, но критике строгой, справедливой и логической, где требовались причина, объяснение за каждое слово похвалы или порицания. Поставленный на эту ступень своей карьеры, получивший возможность рассматривать законы прекрасного. Леонард почувствовал, что ум его озарился новым светом; из глыб мрамора, грудями которого он окружил себя, вдруг возникла перед ним прекрасная статуя.

И таким образом, в один прекрасный день, Норрейс сказал ему:

– Я не нуждаюсь больше в соотруднике; не угодно ли вам содержать себя своими произведениями?

И Леонард начал писать, и его творение стало подниматься из глубоко зарытого семени, на почве, открытой лучам солнца и благотворному влиянию воздуха.

Первое произведение Леонарда не приобрело обширного круга читателей, – не потому, что в нем находились недостатки, но оттого, что для этого нужно иметь особенное счастье: первое, безыменное произведение самобытного гения редко приобретает полный успех. Впрочем, многие, более опытные, признали в авторе редкие дарования. Издатели журналов и книг, которые инстинктивно умеют открывать несомненный талант и предупреждать справедливую оценку публики, сделали Леонарду весьма выгодные предложения.

– На этот раз пользуйся вполне своим успехом, говорил Норрейс: – поражай сразу человеческое сердце, отбрось поплавки и плыви смело. Но позволь мне дать тебе последний



совет: когда думаешь писать чтонибудь, то, не принимаясь еще за работу, прогуляйся из своей квартиры до Темпл-Бара и, мешаясь с людьми и читая человеческие лица, старайся угадать, почему великие поэты по большей части проводили жизнь свою в городах.

Таким образом Леонард снова начал писать и в одно утро проснулся, чтобы найти себя знаменитым.

– И в самом деле, сказал Леонард, в заключение длинного, но гораздо проще рассказанного повествования: – в самом деле, мне предстоит шанс получить капитал, который на всю жизнь предоставит мне свободу выбирать сюжеты для моих произведений и писать, не заботясь о вознаграждении моих трудов. Вот это-то я и называю истинной (и, быть может – увы! – самой редкой) независимостью того, кто посвящает себя литературе. Норрейс, увидев мои детские планы для улучшения механизма в паровой машине, посоветовал мне, как можно усерднее, заняться механикой. Занятие, столь приятное для меня с самого начала, сделалось теперь весьма скучным. Впрочем, я принялся за него довольно охотно, и результат моих занятий был таков, что я усовершенствовал мою первоначальную идею до такой степени, что общий план был одобрен одним из наших известнейших инженеров, и я уверен, что патент на это усовершенствование будет куплен на таких выгодных условиях, что мне стыдно даже назвать их: до такой степени непропорциональными они кажутся мне в сравнении с важностью такого про-

стого открытия. Между тем уже я считаю себя достаточно богатым, чтоб осуществить две мечты, самые близкия моему сердцу: во первых, я обратил в отрадный приют, во всегдашний дом этот коттедж, в котором я виделся в последний раз с вами и с Гэлен, то есть я хочу сказать с мисс Дигби, и, во вторых, пригласил в этот дом ту, которая приютила мое детство.

– Вашу матушку! Где же она? Позвольте мне увидеть ее.

Леопард выбежал из комнаты, чтобы позвать старушку, но, к крайнему удивлению своему и к досаде, узнал, что она ушла из дому до приезда лорда л'Эстренджа.

Он возвратился в гостиную в сильном смущении, не зная, как объяснить этот неприличный и неблагодарный поступок. С дрожащими губами и пылающим лицом, он представил на вид Гарлея её врожденную застенчивость, простоту её привычек и самой одежды.

– Ко всему этому, прибавил Леонард: – она до такой степени обременена воспоминанием о всем, чем мы обязаны вам, что не может слышать вашего имени без сильного душевного волнения и слез; она трепетала как лист при одной мысли о встрече с вами.

– Гм! произнес Гарлей с заметным волнением. – Полно, так ли?

Голова его склонилась на грудь, и он прикрыл руками лицо.

– И вы приписываете этот страх, начал Гарлей, после ми-

нутного молчания, но не поднимая своих взоров; – вы приписываете это душевное волнение единственно преувеличенному понятию о моем... об обстоятельствах, сопровождавших мое знакомство с вами?

– Конечно! а может быть, и в некоторой степени стыду, что мать человека, который составляет её счастье, которым она по всей справедливости может гордиться, ни более, ни менее, как крестьянка.

– Только-то? сказал Гарлей с горячностью, устремив взоры свои, увлажненные нависнувшей слезой, на умное, открытое лицо Леонарда.

– О, мой добрый, неоцененный лорд, что же может быть другое?... Ради Бога, не судите о ней так жестоко.

Л'Эстрендж быстро встал с места крепко сжал руку Леонарда, произнес несколько невнятных слов и потом, взяв своего молодого друга под руку, вывел его в сад и обратил разговор на прежние предметы.

Сердце Леонарда томилось в беспредельном желании узнать чтонибудь о Гэлен; но сделать вопрос о ней он не решился до тех пор, пока, заметив, что Гарлей не имел расположения заговорить о ней; тогда уже не мог он долее противостоять побуждению своей души.

– Скажите, что Гэлен.... мисс Дигби.... вероятно, она переменялась?

– Переменялась? о нет! Впрочем, да, в ней есть большая перемена.

– Большая перемена!

Леонард вздохнул.

– Увижу ли я ее еще раз?

– Разумеется, увидите, сказал Гарлей, с видимым изумлением. – Да и можете ли вы сомневаться в этом? Я хочу доставить вам удовольствие: пусть сама мисс Дигби скажет вам, что на литературном поприще вы сделали знамениты. Вы краснеете; но я говорю вам истину. Между тем вы должны доставить ей по экземпляру ваших сочинений.

– Значит, она еще не читала их? не читала даже и последнего? О первых я не говорю ни слова: они не заслуживают её внимания, сказал Леонард, обманутый в своих ожиданиях.

– Должно сказать вам, что мисс Дигби только на днях приехала в Англию; и хотя я получил ваши книги в Германии, но в ту пору её уже не было со мной. Как только кончатся мои дела, которые требуют отсутствия из города, я не замедлю откомендовать вас моей матушке.

В голосе и в словах Гарлея заметно было некоторое замешательство. Оглянувшись кругом, он отрывисто воскликнул:

– Удивительно! вы даже и здесь обнаружили поэтическое чувство вашей души. Я никак не воображал, чтобы можно было извлечь столько прекрасного из места, которое в этих окрестностях казалось для меня самым обыкновенным. Кажется, этот очаровательный фонтан играет теперь на том месте, где стояла простая грубая скамейка, на которой я читал

ваши стихи?

– Ваша правда, милорд! Я хотел слить в одно самые приятные воспоминания. Мне помнится, в одном из писем я говорил вам, что самой счастливой и, в то же время, самой неопределенной, колеблющейся порой моей юности я обязан замечательной в своем роде снисходительности и великодушным наставлениям иностранца, у которого я служил. В этом фонтане вы видите повторение другого фонтана, устроенного моими руками в саду того иностранца. При окраине бассейна прежнего фонтана я много, много провел знойных часов в летние дни, мечтая о славе и своем образовании.

– Да, я помню, вы писали мне об этом; и я уверен, что иностранцу вашему приятно будет услышать о вашем успехе и тем не менее о ваших признательных воспоминаниях. Однако, в письме своем вы не говорили, как зовут этого иностранца.

– Его зовут Риккабокка.

– Риккабокка! мой неоцененный и благородный друг! возможно ли это? Знаете ли, что одна из главных побудительных причин моего возвращения в Англию имеет тесную связь с положением его дел. Вы непременно должны ехать к нему вместе со мной. Я намерен отправиться не далее, как сегодня вечером.

– Мой добрый лорд, сказал Леонард – мне кажется, что вы можете избавить себя от слишком дальнего путешествия.

Я имею некоторые причины полагать, что в настоящее время синьор Риккабокка мой ближайший сосед. Дни два тому назад, я сидел вот здесь, в этом саду, как вдруг, посмотрев вон на этот пригорок, увидел в кустарниках человека. Хотя не было возможности различить черты лица его, но в его контуре и в замечательной позе его было что-то особенное, напоминавшее мне Риккабокка. Я поспешил выйти из сада, взошел на пригорок; но его уже там не было. Предположения мои, или, вернее, мои подозрения, до такой степени были сильны, что я решился сделать осведомление в соседних лавках и узнал, что в доме, окруженном высокими стенами, мимо которого вы, весьма вероятно, проезжали, не так давно поселилось семейство, состоящее из джентльмена, его жены и дочери; и хотя они выдают себя за англичан, но, судя по описанию, которое дали мне о наружности самого джентльмена, судя по обстоятельству, что в услужении у них находится лакей из иностранцев, и, наконец, по фамилии Ричмаус, принятой новыми соседями, я нисколько не сомневаюсь, что это именно то самое семейство, к которому вы намерены отправиться.

– И вы ни разу не зашли в этот дом удостовериться?

– Извините меня; но семейство это так, очевидно, старается избегнуть наблюдений постороннего человека, обстоятельства, что никто из них, кроме самого мистера Ричмауса, не показывается вне ограды, и принятие другой фамилии невольным образом приводят меня к заключению, что си-

ньюр Риккабокка имеет какие нибудь весьма важные причины вести такую скрытную жизнь; и теперь, когда я, можно сказать, совершенно ознакомился с общественным бытом, с жизнью человека, я не могу, припоминая все минувшее, не могу не подумать, что Риккабокка совсем не то, чем он кажется. Вследствие этого, я колебался формально навязаться на его тайны, какого бы рода они ни были, и до сих пор выжидал случая нечаянно встретиться с ним во время его прогулок.

– Вы поступили, Леонард, весьма благоразумно. Что касается до меня, то причины моего желания увидеться с старинным другом заставляют меня отступить от правил приличия, и я отправлюсь к нему в дом сию же минуту.

– Надеюсь, милорд, вы скажете мне, справедливы ли были мои предположения.

– С своей стороны и я надеюсь, что мне позволено будет сказать вам об этом. Сделайте милость, побудьте дома до моего возвращения. До ухода моего, позвольте предложить вам еще один вопрос: стараясь догадаться, почему Риккабокка переменял свою фамилию, зачем вы сделали то же самое?

Леонард весь вспыхнул.

– Я не хотел иметь другого имени, кроме того, которое могли доставить мои дарования.

– Гордый поэт, я понимаю вас. Но скажите, что заставило вас принять такое странное и фантастическое имя – Орана? Румянец на лице Леонарда заиграл еще сильнее.

– Милорд, сказал он, понизив голос: – это была ребяческая фантазия; в этом имени заключается анаграмма.

– Вот что!

– В то время, когда порывы мои к приобретению познаний весьма легко могли бы принять самое дурное направление, могли бы послужить мне в пагубу, я случайно отыскал несколько стихотворений, которые произвели на меня глубокое впечатление; они открыли новый, неведомый мне мир, указали дорогу к этому миру. Мне сказали, что эти стихотворения были написаны юным созданием, одаренным и красотой и гением, – созданием, которое покоится теперь в могиле, – короче сказать, моей родственницей, которую в семейном кругу звали Норой.

– Вот что! еще раз воскликнул лорд л'Эстрендж, и его рука крепко сжала руку Леонарда.

– Так или иначе, продолжал молодой писатель, колеблющимся голосом: – но только с той поры в душе моей осталось желание такого рода, что если я когданибудь приобрету славу поэта, то она непременно должна относиться сколько ко мне, столько же и к имени Нору, – к имени той, у которой ранняя смерть похитила славу, без всякого сомнения, ожидавшую ее, – к имени той, которая...

И Леонард, сильно взволнованный, замолчал.

Не менее того и Гарлей был взволнован. Но, как будто по внезапному побуждению, благородный воин наклонился, поцаловал поэта и потом быстрыми шагами вышел из сада,



сел на лошадь и уехал.

# Часть десятая

## Глава ХСІ

Лорд л'Эстрендж не отправился, однако же, прямо в дом Риккабокка. Он находился под влиянием воспоминания слишком глубокого и слишком сильного, чтобы легко предаться отрадному влечению дружбы. Он ехал быстро и далеко. Невозможно было бы определить все ощущения, волновавшие его душу, до такой степени восприимчивую и так глубоко сохранявшую в себе нежные чувства. Когда он вспомнил о долге, призывавшем его к итальянцу, он снова направил свой путь к Норвуду. Медленные шаги его лошади служили верным доказательством его утомленного духа; глубокое уныние заступило место лихорадочного возбуждения.

Напрасный труд, говорил он про себя: – напрасно я старалось забыть покойницу. Впрочем, теперь я обручен с другой; и она, при всех своих добродетелях, все не та, которой...»

И Гарлей вдруг замолчал, почувствовав, как совесть упрекнула его.

«Поздно уже думать об этом! Теперь остается мне только составить счастье существа, которому посвятил я всю мою жизнь но...»

Гарлей вздохнул, сказав эти слова. Подъехав за довольно близкое расстояние к дому Риккабокка, он оставил свою лошадь у гостиницы и пешком отправился между захиревшими кустарниками к угрюмому четырех-угольному зданию, которое, по словам Леонарда, служило Риккабокка новым убежищем. Долго простоял Гарлей у ворот, не получив ответа на свой призыв. Наконец, после третьего звонка, послышались тяжелые шаги; вслед за тем калитка немного отделилась от ворот, в отверстии показался черный глаз, и чей-то голос, на ломаном английском языке, спросил: «кто там? – «Лорд л'Эстрендж; и если я не ошибаюсь, что здесь живет человек, которого мне нужно видеть, то этого имени весьма достаточно, чтобы впустить меня».

Дверь распахнулась так быстро, как растворялась дверь в таинственной пещере арабских сказок, при звуке слов: *Сезам, отпрись!* Джакомо, рыдая от радости, восклицал на своем родном языке:

– Праведное небо! Святой Джакомо! ты услышал наконец мою молитву! Теперь мы спасены!

И, опустив мушкетон, который взят был верным слугой для предосторожности, Джакомо, по обычаю своих соотечественников, поцаловал руку Гарлея, в знак душевного приветствия.

– Где же твой патрон? спросил Гарлей, вступая в пределы укрепленного здания.

– Он сию минуту вышел; впрочем, он скоро возвратится.

Ведь вы дождетесь его?

– Разумеется. А какая это лэди, которую я видел в отделенном конце сада?

– Ах, Боже мой! да это наша синьорина. Я побегу сказать ей, что вы приехали.

– Что я приехал! но ведь она не знает меня, даже и по имени.

– Ах, синьор, воощможно ли так думать? Как чисто она говорила со мной о вас! не раз я слышал, как она молила святую Мадонну ниспослать на вас благословение, – и каким пленительным голосом!

– Постой же, я сам отрекомендуюсь ей. Ступай в дом, а мы в саду подождем возвращения патрона; к тому же я хочу подышат чистым воздухом.

Сказав это, Гарлей оставил Джакомо и подошел к Виоланте.

Бедное дитя, в своей уединенной прогулке в более мрачных местах скучного сада, освободилось за несколько минут от взоров Джакомо, пока он ходил опирать калитку, и, не зная опасений, которых предметом была она сама, почувствовала детское любопытство при звуках колокольчика и при виде незнакомого человека в серьёзном и дружеском разговоре с несообщительным Джакомо.

В то время, как Гарлей приближался к Виоланте, с той утонченной грацией в своих движениях, которая принадлежала исключительно ему, сердце Виоланты трепетало, – по-

чему? она сама не могла дать себе отчета в этом ощущении. Она не нашла в Гарлее сходства с портретом, написанным её отцом по одним воспоминаниям о ранней юности Гарлея. Она терялась в догадках касательно незнакомца, но при всем том чувствовала, как румянец выступал на её лице, и, неробкая от природы, она отвернулась в сторону, с чувством безотчетного страха.

– Извините, синьорина, мою нескромность, сказал Гарлей по итальянски, – пользуясь старинной дружбой вашего родителя, я не считаю себя чужим для вас человеком.

Виоланта устремила на него черные свои глаза, такие умные и невинные, – глаза, полные изумления, но изумления приятного. В свою очередь, и Гарлей стоял перед ней удивленный и почти пораженный пленительной, дивной красотой её.

– Друг моего отца? сказала Виоланта, колеблясь: – я еще никогда не видела вас!

– Извините, синьорина, сказал Гарлей, и на губах его показалась улыбка, выражавшая его врожденное расположение духа – улыбка полу-насмешливая, полу-грустная: – в этом случае вы говорите неправду: вы видали меня прежде и принимали меня несравненно радушнее....

– Что вы говорите, синьор! сказала Виоланта, более и более изумляясь, а вместе с тем и румянец на щеках становился ярче и ярче.

Гарлей, который успел уже оправиться от первого впечат-

ления, произведенного на него красотой Виоланты, и который смотрел на нее, как вообще смотрят мужчины на молодых девушек, – скорее, как на ребенка, чем на женщину – позволял себе извлечь некоторое удовольствие из её замешательства, в его характере было, что чем серьезнее и печальнее чувствовал он на душе, тем более желал он доставить игривости и причудливости своему юмору.

– Да, синьорина, сказал он серьезно, – некогда вам угодно было держать одной рукой мою руку, а другая – простите точность моих воспоминаний – нежно и с любовью обвивала мою шею.

– Синьор! снова воскликнула Виоланта, и на этот раз сколько с изумлением, столько же и с гневом; и ничего не могло быть очаровательнее её взоров, отражавших и гордость и чувство оскорбленного достоинства.

Гарлей опять улыбнулся, но улыбнулся так мягко, так пленительно, что гнев Виоланты совершенно исчез, или, вернее сказать, она сердилась на себя, за то, что не могла сердиться на него. Впрочем, в минуту гнева своего она казалась столь прелестною, что Гарлей желал, может статься, чтоб гнев её был продолжительнее. Приняв на себя серьезный вид, он продолжал:

– Ваши поклонники, быть может, скажут вам, синьорина, что с тех пор вы очень похорошели; но для меня тогда вы были лучше. Однако, все же я не теряю надежды рано или поздно воспользоваться тем, чем вы так великодушно награжда-

ли меня.

– Награждала вас!.. я? Синьор, вы находитесь под влиянием какого-то странного заблуждения.

– К сожалению, нет; впрочем, женское сердце так непостоянно, имеет, столько капризов! А вы наградили меня, уверяю вас; и признаюсь откровенно, что я еще не совсем отказался от этой награды и в настоящее время.

– Награды! Чем же я награждала вас?

– Вашим пощадум, дитя мое, сказал Гарлей и вслед за тем прибавил, с серьезной нежностью, – и опять повторяю, что я еще не теряю надежды, рано или поздно, но воспользоваться этой наградой, и именно в то время, когда увижу вас подле отца и мужа в вашем отечестве, – вас, прекраснейшая невеста, какой, быть может, никогда еще не улыбалось светлое небо Италии! А теперь простите скитальца и воина за его грубые шутки и в знак прощения дайте вашу руку – Гарлею л'Эстренджу.

При первых словах этой речи, Виоланта с ужасом отскочила назад: ей казалось, что перед ней стоял сумасшедший; но зато при последнем слове она бросилась вперед и с живым энтузиазмом, свойственным её характеру, обеими руками сжала протянутую руку л'Эстренджа.

– Гарлей л'Эстрендж, спаситель жизни моего отца! воскликнула она, и взоры её устремились на Гарлея с выражением такой глубокой признательности и почтительности, что Гарлей испытывал в одно и то же время и смущение

и восторг.

В этот момент она забыла, что перед ней стоял герой её мечтаний: она видела перед собой человека, который спас жизнь её отца. Но в то время, когда взоры Гарлея устремились вниз и открытая голова его наклонилась на руку, которую он держал, Виолента находила некоторое сходство в чертах лица, которыми так часто и так долго любовалась. Правда, первый цвет юности уже отцвел, но самой юности все еще оставалось на столько, чтоб смягчить разрушительное влияние времени и сообщить мужеству прелести, чарующие взор. По инстинктивному чувству, она освободила свою руку, и, в свою очередь, потупила взоры.

В этот момент взаимного замешательства Гарлея и Виоланты вошел в сад Риккабокка и, изумленный при виде мужчины подле Виоланты, бросился к ним с отрывистым и гневным восклицанием. Гарлей услышал его голос и обернулся.

Присутствие отца как будто возвратило Виоланте бодрость духа и твердую волю над своими чувствами. Она снова взяла руку дорогого гостя.

– Папа, сказала она простосердечно, – взгляните, кто это, наконец-то *он* приехал.

И потом, отступив на несколько шагов, она осматривала их обоих. её лицо озарилось счастьем: по видимому, что-то, давно и тихо и безмолвно потерянное и отыскиваемое, было также тихо найдено, и в жизни уже не было недостатка и в сердце не было пустоты.



## Глава ХСII

Итальянец и друг его заперлись вдвоем в кабинете.

– Зачем вы оставили свой дом в...шейре? И к чему эта новая перемена фамилии?

– А вы не знаете, Пешьера в Англии?

– Я знаю это.

– Он ищет меня и, как говорят, хочет отнять дочь у меня.

– Да; он имел дерзость подержать пари, что получит руку вашей дочери. Мне и это известно; поэтому-то я и приехал в Англию, во первых, для того, чтоб уничтожить в главном основании его коварные замыслы, а во вторых, узнать от вас, пока еще не совершенно остыла во мне юношеская пылкость, каким образом отыскать конец нити, которая привела бы к его гибели, и к безусловному восстановлению вашего благородного имени. Выслушайте меня. Вам известно, что, после схватки с наемщиками Пешьера, посланными за вами в погоню, я получил весьма учтивое предложение от австрийского правительства оставить немедленно его итальянские владения. Зная, что каждый иностранец, пользующийся гостеприимством чуждой для него земли, должен поставлять себе в священный долг не принимать ни малейшего участия в народных смутах, я очень хорошо понял, что честь моя была затронута этим предложением, и потому немедленно отправился в Вену – объяснить министру (который

лично был знаком со мной), что хотя я действительно защищал беглеца, искавшего убежища в моем доме, защищал от шайки расвирепевших солдат, которыми начальствовал личный его враг, но не только не принимал никакого участия в народном восстании, а, напротив того, всеми силами старался отклонить моих друзей в Италии от безразсудного предприятия. Как военный человек и хладнокровный зритель, я старался доказав им, что все это кончится одним только бесполезным кровопролитием. Я имел возможность подтвердить свое опасение самыми удовлетворительными доказательствами, так что знакомство мое с министром приняло в некоторой степени характер дружбы. Уже в ту пору я находился в таком положении, что имел полное право защищать ваше дело и выставлять на вид ваше нерасположение вступать в замыслы инсургентов. Я старался доказать, что если вы и замешаны были в это безумное предприятие, то это несчастье должно приписать ложным представлениям ваших поступков и домашней измене вашего друга – того самого человека, который оклеветал вас перед правительством. К несчастью, все мои доводы основывались только на ваших словах. Как бы то ни было, я успел, однако же, сделать такое впечатление в вашу пользу и, может стать, против вашего изменника, что ваши имения не подвергались конфискации и не были переданы, по поводу гражданской вашей смерти, вашему родственнику.

– Как так! я не понимаю вас. Ведь Пешьера владеет всем

моим достоянием?

– Да, он пользуется только половинными доходами с ваших имений на неопределенное время, то есть до тех пор, пока я не успею уличить его в криминальном преступлении. Мне запрещено, было говорить вам об этом; министр, не без извинительной причины, обрек вас испытанию безусловного изгнания. Ваше помилование будет основываться на вашем уклонении от дальнейших заговоров.... извините за это выражение. Не считаю за нужное говорить вам, что мне позволено было воротиться в Ломбардию. По прибытии туда, я узнал, что.... что ваша несчастная жена являлась ко мне в дом и обнаружила величайшее отчаяние, узнав о моем отъезде.

Лицо Риккабокка нахмурилось; дыхание его сделалось тяжелым.

– Я не считал за нужное познакомить вас с этим обстоятельством, тем, более, что оно не имело особенного за меня влияния. Я верил в её преступление, да и к чему послужили бы теперь её раскаяние, её угрызение совести, если только она чувствовала в душе своей это угрызение? Вскоре я услышал, что её уже не существует.

– Да, произнес Риккабокка, с угрюмым видом, – она умерла в том же году, когда я покинул Италию. Вероятно, есть какая нибудь важная причина, которая может извинить моего друга, если он решается напоминать о том, что она некогда существовала!

– Сейчас я объясню вам эту причину, сказал л'Эстрендж спокойным тоном. – В нынешнюю осень я бродил по Швейцарии, и в одну из моих пешеходных прогулок по горам я захворал, и недуг мой приковал меня на несколько дней к софе в небольшой гостинице, в какой-то бедной деревнюшке. Хозяйка дома была итальянка. Слуга мой оставался в городе в значительном от меня расстоянии, и потому я просил ее поберечь меня до тех пор, пока буду в состоянии написать моему человеку, чтобы он явился ко мне. Я был очень благодарен за её попечения и находил развлечения в её болтовне. В короткое время мы сделались хорошими друзьями. Она рассказала мне, что была к услужению у одной знатной дамы, которая скончалась к Швейцарии, и что, обогатившись щедротами своей госпожи, она вышла за муж за швейцарского содержателя гостиницы и потом сделалась сама хозяйкой постоялого двора. Слуга мой приехал. Хозяйка узнала мое имя, о котором до этого и не подумала спросить. Она вошла в мою комнату сильно взволнованная. Короче сказать, эта женщина была служанкой вашей жены. Ока провожала ее в мою виллу и знала, с каким беспокойством и нетерпением ваша жена хотела видеть меня. Правительство назначило ей ваш палац в Милане и приличное содержание, но она отказалась от того и другого. Не увидев меня, она отправилась в Англию, отыскивать вас. Итальянские журналы объявили, что вы бежали в Англию.

– Оы смела решиться и это... бессовестная!.. Заметьте,

впрочем, за минуту перед этим я забыл бы все, еслиб не её могила в чужой стороне... и эта слеза прощает ее, произнес итальянец.

– Простите ей все, сказал Гарлей, с необыкновенной нежностью во взорах и в голосе. – Я продолжаю. По прибытии в Швейцарии здоровье вашей жены, постоянно слабое, совершенно расстроилось. Усталость и душевное беспокойство уступили место горячке. Оставляя дом, оы взяла с собой одну только женщину – единственную служанку, которой она могла довериться. Она подозревала, что Пешьера подкупил всю её прислугу. В присутствии этой женщины, в припадках бреда, она доказывала свою невинность, с ужасом и отвращением обвиняла вашего родственника, умоляла вас отмстить честь её и вашего имени.

– Бедная, несчастная Паулина! простонал Риккабокка, закрыв лицо обеими руками.

– Но во время её недуга бывали промежутки, когда сознание возвращалось к ней. В один из этих промежутков, несмотря на все усилия её служанки, она встала, вынула из конторки разные письма и, прочитав их, произнесла печальным голосом: «но каким образом доставить их к нему? ... кому могу я доверить их?... его друг уехал!» Но вдруг в уме её блеснула светлая идея, потому что вслед за тем она произнесла восклицание радости, села и стол и писала долго и торопливо, тщательно запечатала письмо свое с другими письмами в один пакет и приказала служанке снести его

на почту, отдать там в руки и заплатить деньги. «Не забудь – говорила она при этом (я повторяю вам совершенно те слова, которые слышал от её служанки) – не забудь, что это письмо служит единственным средством доказать моему мужу, что хотя я и находилась в заблуждении, но не так еще преступна, как он полагает. Это письмо служит единственным средством к забвению моих заблуждений и, быть может, к возвращений) моему мужу благородного имени, а дочери моей – наследства. Служанка отнесла письмо на почту и когда воротилась домой, госпожа её спала с улыбкой на лице. После этого сна с ней сделался бред, и на следующее утро душа её отлетела.

При этом Риккабокка отнял одну руку от лица и схватил руку Гарлея, безмолвно умоляя его остановиться. Сердце этого человека тяжело боролось с чувством гордости и его философией. Прошел значительный промежуток прежде, чем Гарлей мог принудит его обратить внимание на житейскую перспективу, погорая после этого известия открылась бы расстроенному положению его дел. А между тем Риккабокка убеждал себя и в половину убедил Гарлея, что уверения жены его в её невинности были не что другое, как болезненный бред.

– Я не беру на себя доказывать противное, сказал Гарлей: – но имею основательные причины полагать, что в отправленном письме заключалась переписка Пешьера, и если так, то она послужила бы доказательством его влия-

ния над вашей женой и его вероломных поступков против вас самих. Отправляясь сюда, я решился заехать в Вену. Там, к крайнему прискорбию моему, я узнал, что Пешьера не только получил позволение императора искать руки вашей дочери, но в кругу развратных товарищей своих хвастался, что непременно получит ее, и что с этой целью он действительно отправился в Англию. Я сразу увидел, что, в случае, если он успеет в этом предприятии, и успеет, вероятно, посредством низкой хитрости, потому что о вашем согласии я и не думал, — тогда открытие пакета, какого бы рода ни было его содержание, сделалось бы бесполезным. Я видел также, что успех Пешьера послужил бы поводом к смуте пятна с его имени; его успех должен непременно сопровождаться вашим согласием (потому что одно предположение, что Виоланта вышла замуж без вашего согласия, было бы позором для вашей дочери), а ваше согласие послужило бы доказательством его невинности. Я увидел также, с тревожным чувством, что отчаяние побудило бы его употребить все средства к достижению своей цели, потому что долги его составляют огромную сумму, и, для поддержания своего достоинства, требовалось открыть источник нового богатства. Я знал, что Пешьера обладает в высшей степени дерзостью, смелостью решимостью, и что взял с собой значительный капитал, который он занял у ростовщика; словом сказать, я трепетал за вас обоих. Но теперь, увидев вашу дочь, я не страшусь более. Пешьера опытный оболести-

тель, – по крайней мере за такого он выдает себя; но первый взгляд на лицо Виоланты, столь пленительное и не менее того благородное, убедил меня, что она устоит против легиона Пешьер... Обратимтесь же лучше к главному предмету нашего разговора – в пакету, высланному из Швейцарии. Сколько мне известно, он не дошел до вас. А с тех пор просило много, много времени. Не затерялся ли он? а если нет, то в чьи руки попал?... Потрудитесь вызвать всю вашу память. Служанка никак не могла припомнить, на чье имя он был адресован; она знала одно только, что ими это начиналось буквою Б., что пакет должен быть отправлен в Англию, и что до Англии заплачены были весовые деньги. Скажите теперь, чье имя из ваших знакомых начинается буквою Б? не были ли вы, или ваша жена, во время вашего первого посещения Англии, – не были ли в коротких отношениях с таким лицом, которому покойная ваша супруга решилась бы доверить семейные тайны?

– Не могу придумать, сказал Риккабокка, трясая головой. – Мы приехали в Англию вскоре после нашей свадьбы. Здешний климат имел на Паулину весьма неблагоприятное влияние. Она слова не умела сказать по английски, не говорила и по французски, чего можно было ожидать от неё, судя по её происхождению: отец её был беден и, в строгом смысле, итальянец. Она удалялась всяного общества. Сам я, правда, являлся в лондонский мир, но коротких знакомств не сводил. Не могу припомнить ни души, кому бы жена моя решилась



писать, как искреннему другу.

– Подумайте хорошенько, возразил Гарлей. – Не было ли лэди, хорошо знакомой с итальянцами, и с которой, быть может, именно по этой самой причине, ваша жена находилась в дружеских отношениях?

– Ах, да! это справедливо. Я, действительно, знал одну лэди устарелых правил, которая очень долго жила в Италии. Лэди.... лэди.... позвольте мне вспомнить.... лэди Джэн Хортон.

– Хортон.... лэди Джэн! воскликнул Гарлей: – странно! третий раз в течение дня я слышу её имя.... неужели этой ране не суждено закрываться?

Потом, заметив изумление Риккабокка, Гарлей продолжал:

– Извините меня, добрый друг мой. Я слушаю вас с особенным вниманием. Лэди Джэн приходится мне родственница, в дальнем колене. Было время, когда она весьма несправедливо судила о мне.... с её именем тесно связаны некоторые из моих грустных воспоминаний; но, во всяком случае, эта женщина имела много прекраснейших качеств.... Итак, ваша жена знала ее?

– Нельзя сказать, что коротко, но все же лучше, чем когонибудь в Лондоне. Впрочем, Паулина не могла писать к ней: она знала, что лэди Джэн скончалась вскоре после её отъезда из Англии. Между тем некоторые дела, не терпящие отлагательства, отозвали меня в Италию. Здоровье жены мо-

ей до такой степени было расстроено, что для неё не было никакой возможности совершить обратное путешествие так быстро, как требовали того мои дела, она по необходимости должна была остаться еще на несколько недель в Англии. Быт может, в этот промежуток времени она сделала знакомство... Позвольте, позвольте, теперь я вижу, я догадываюсь. Вы говорите, что её имя начиналось с буквы Б. Паулина, во время моего отсутствия, приняла к себе в дом компаньонку, а именно мистрисс Бертрам; это сделано было по моему совету. Мистрисс Бертрам провожала ее за границу. Паулина привязалась к ней душой: она так прекрасно знала наш язык. Мистрисс Бертрам рассталась с женой моей на дороге и воротилась в Англию, – не помню хорошенько, зачем именно: впрочем, я никогда и не спрашивал об этом. Паулина долго скучала по ней, часто говорила о ней, удивлялась, почему она не имеет о ней никакого известия. Нет никакого сомнения, что она писала именно к этой мистрисс Бертрам.

– И вы, вероятно, не знаете ни друзей этой ладя, ни её адреса?

– Не знаю.

– Не знаете и тех, кто рекомендовал ее вашей жене?

– Не знаю.

– Вероятно, лэди Хортон?

– Быть может, – очень может быть.

– Я пойду по этим следам, хотя они очень-очень неясны.

– Но если мистрисс Бертрам и получила этот пакет, то по-

чему же она не переслала.... О, какой же я глупец! каким образом могла она переслать его ко мне, – мне, который так строго хранил свое инкогнито!

– Правда ваша. Жена ваша не могла предвидеть этого; она весьма натурально воображала, что, место вашего пребывания в Англии весьма нетрудно отыскать. Впрочем, надобно полагать, что много прошло времени с тех пор, как ваша жена потеряла из виду мистрисс Бертрам, особливо, если знакомство их началось вскоре после вашей женитьбы; придется исследовать весьма длинный промежуток времени, если начать даже с той поры, когда родилась ваша Виоланта.

– К сожалению, это правда. В этот промежуток я лишился двух сыновей. Виоланта была послана мне в дня горести!

– И послана была затем, чтоб облегчить вашу горечь! Как прекрасна она!

На лице Риккабокка показалась самодовольная улыбка.

– Где найти для неё достойного мужа!

– Вы забываете, что я все еще только Риккабокка, что она невеста без приданого. Вы забываете, что меня преследует Пешьера, что я скорее соглашусь видеть ее замужем за нищим, нежели.... одна мысль об этом делает меня сумасшедшим.... *Corpo di Vacco!* я от души радуюсь, что уже нашел ей мужа!

– Уже! значит молодой человек говорил мне правду?

– Какой молодой человек?

– Рандаль Лесли. Неужели вы знаете его?

При этом начались некоторые объяснения. Гарлей внимательно и с заметной досадой слушал подробности о знакомстве Риккабокка о предполагаемом соединении Виоланты с Лесли.

– Во всем этом есть что-то очень подозрительное, сказал Гарлей. – К чему этот молодой человек спрашивал меня касательно того, что Виоланта лишится всего состояния, если только выйдет замуж на англичанина?

– Разве он спрашивал? О, вы должны извинит его! Это – одно только весьма естественное желание с его стороны показывать вид, что он решительно ничего не знает обо мне. Он, вероятно, не знал о вашей дружбе и боялся обнаружить мою тайну.

– Напротив, он знал об этом очень хорошо, – по крайней мере должен знать на столько, чтоб сообщить вам о моем приезде. А он, кажется, и не подумал сделать это.

– Нет.... это странно.... впрочем, не совсем еще странно; в последний раз, как он был здесь, его голова была занята совсем другим: любовью и женитьбой. *Basta!* юность всегда будет юностью.

– Юность давно уже отлетела от него! воскликнул Гарлей, с горячностью. – Я сомневаюсь, имел ли он ее когданибудь. Он принадлежит к разряду тех людей, которые являются в свет с душою столетнего старца. Вы и я никогда не будем такими стариками, каким он был уже в пеленках. Смейтесь, смейтесь; но инстинктивное чувство никогда еще не обма-

нывало меня. С первой встречи нашей он очень не понравился мне: мне не понравились его взгляд, его улыбка, его голос, его походка. Помилуйте, да это чистое сумасшествие заводить подобный брак! это значит устранить от себя всякую возможность к возвращению в отечество.

– Что делать; дав слово, я не в состоянии взять его назад.

– Нет, нет! воскликнул Гарлей: – ваше слово еще не дано; оно ни под каким видом не может быть дано. Пожалуста, не глядите на меня так печально. Во всяком случае, повремените, пока не узнаете короче этого молодого человека. Если он окажется достойным Виоланты, если он не станет иметь в виду получить за ней богатое приданое, в таком случае, пусть он дозволит вам лишиться всего своего достояния. Больше мне нечего сказать вам.

– Но почему же лишиться всего достояния?

– Неужели вы думаете, что австрийское правительство допустит, чтобы все ваше богатство перешло в руки этого ничтожного человека, этого писца в гражданской службе? О, мудрец – по теории, почему вы так недалёковидным своих поступках?

Этот насмешливый упрек не произвел желаемого действия. Риккабокка потер ладонь о ладонь и потом преспокойно протянул обе руки к яркому камину.

– Друг мой, сказал он: – мое достояние переходят сыну, а приданое – дочери.

– Но ведь у вас нет сына.

– Тс! у меня нет; но будет. Джемима только вчерашним утром сообщила мне об этом; вот по поводу-то этого известия я и решился переговорить с Лесли. После этого вы скажете, что я все еще недалновиден?

– У вас будет сын? повторил Гарлей, в крайнем недоумении: – почему же вы знаете, что у вас будет сын, а не дочь?

– Все замечательнейшие физиологи говорят, отвечал мудрецу, утвердительно тоном: – что если муж старше жены многими годами, и если прошел довольно длинный промежуток времени без детей, то первый после этого промежутка новорожденной должен быть мужского пола. Соображаясь, с статистическими вычислениями и исследованиями натуралистов, я окончательно убедился в справедливости этого замечания.

Хотя Гарлей все еще был сердит и сильно взволнован, но при этом замечании он не мог удержаться от громкого смеха.

– Вы нисколько не переменились: все тот же чудак в мире философии.

– *Cospetto!* сказал Риккабокка, – скажите лучше, что я философ среди чудачков. Заговорив об этом, позволено ли мне будет представить вам мою Джемиму?

– Само собою разумеется. В свою очередь и я должен представить вам молодого человека, который по сие время с признательностью вспоминает ваше великодушие, и которого ваша философия, по какому-то чуду, не погубила.

В другой раз вы потрудитесь объяснить мне причину этого явления. А теперь извините меня, на несколько минут: я отправляюсь за гостем.

– За каким гостем? Не забудьте, в моем положении я должен быть очень осторожен; к тому же....

– Не беспокойтесь: я ручаюсь за его скромность. А между тем прикажите приготовить обед и позвольте мне и моему другу разделить его с вами.

– Приготовить обед! *Corpo di Vacco!* вот тут уж и сам Бахус не поможет нам. Посмотрим, что-то скажет Джемима?

– Это ваше дело. Но обед должен быть.

Предоставляю читателю вообразить восторг Леонарда при встрече с Риккабокка – неизменившимся, с Виолантой – так похорошевшей, и Джемимой! Пусть он представят себе удивление этих лиц, когда Леонард рассказывал свою историю о своих подвигах на поприще литературы, о своей славе. Он рассказывал свою борьбу с миром действительным, свои похождения в этом мире; с простотой, которая исключала из рассказа даже самую тень эгоизма. Но когда случилось говорить о Гэлен, он ограничивался немногими словами, выражая их с особенной скромностью.

Виоланта хотела знать гораздо более из того периода в жизни Леонарда, в котором Гэлен принимала участие, но Гарлей помог Леонарду соблюсти свою скромность.

– Ту, о ком он говорит, вы увидите сами в весьма непродолжительном времени, – и тогда не угодно ли вам будет

спросить об этом у неё.

Вместе с этими словами, Гарлей дал совершенно новое направление повествованию Леонарда, и слова молодого человека снова потекли свободно. Таким образом, вечер доставил величайшее удовольствие всем, кроме Риккабокка. Воспоминания о покойной жене его от времени до времени возникали перед ним; а вместе с тем, как они становились грустнее, он ластился к Джемиме, глядел в её открытое, доброе лицо и жал её руку.

Виоланта испытывала невыразимое блаженство; она не могла дать отчета в своей радости. Больше всего она разговаривала с Леонардом. Молчаливее всех был Гарлей. Он слушал согревающее, безыскусственное красноречие Леонарда, – красноречие, которое берет начало своего истока из гения, течет свободно и не охлаждается возражением грубых, не имеющих сочувствия слушателей. Гарлей с спокойным восторгом слушал и пленялся мыслями, не слишком глубокими, но зато верными, – мыслями невинными, благородными, при которых непорочное сердце Виоланты принимало в себя отголоски пылкой душа юного поэта. Замечания и возражения Виоланты так не похожи были на все, что он слышал в кругу обыкновенных людей! в форме выражения их было так много имеющего сходства с тем, что наполняло его душу в лета минувшей юности! По временам, при возвышенной мысли или при звучных стихах итальянской поэзии, которые Виоланта произносила мелодиче-



ским голосом и с пылающими взорами, – по временам, говорю я, он величаво поднимал свою голову, губы его дрожали, как будто он слушал в эти минуты звук военной трубы. Инерция долгих годов была поколеблена в самом основании. Героизм, глубоко скрывавшийся под странным расположением его духа, был затронут; он сильно волновался в нем, пробуждая все светлые воспоминания, соединенные вместе с ним и так долго остававшиеся в усыплении.

– Благодарю вас за несколько счастливейших часов, каких я не знал в течение многих лет, сказал Гарлей, собираясь уходить, и сказал таким тоном, в котором выражалась вся искренность его слов.

Когда он говорил их, его взор устремлен был на Виоланту! Но при этом взоре и при этих словах робость снова возвратилась к Виоланте. Она уже не казалась более вдохновленной музой, перед Гарлеем снова стояла застенчивая девочка.

– Когда мы увидим вас опять? печальным голосом спросил Риккабокка, провожая своего гостя.

– Когда? Разумеется, на позже, как завтра Прощайте, мой друг! Не удивляюсь, что вы терпеливо переносили ваше удаление из отчизны – с таким очаровательным созданием.

Гарлей взял Леонарда под руку и отправился в гостиницу, где оставалась его лошадь, Леонард с энтузиазмом говорил о Виоланте, Гарлей был молчалив.

## Глава ХСІІІ

На другой день, к садовой калитке в доме Риккабок-ка подъехал старомодный, но в высшей степени блестящий экипаж. Джакомо, еще вдалеке завидевший из окна своей комнаты приближение его, объят был беспредельным ужасом, когда увидел, что экипаж остановился у ворот их дома, и слышал пронзительный звон колокольчика. Он опрометью бросился к своему господину и умолял его не трогаться с места, не подать возможности неприятелю ворваться, посредством взрыва этой громадной машины, во внутренние пределы его владений.

– Я слышал, говорил он: – какой-то город в Италии – кажется, что Болонья – был некогда взят и предан мечу собственнo во неосторожности граждан, которые впустили в город деревянную лошадь, наполненную варварами и всякого рода бомбами и конгревовыми ракетами.

– Это происшествие совсем иначе рассказано у Виргилия, заметил Риккабокка, тайком выглядывая из окна. – Несмотря на то, машина эта огромная и весьма подозрительной наружности, спустя Помпея!

– Батюшка, сказала Виоланта, покраснев – это ваш друг, лорд л'Эстрендж, я слышу его голос.

– Правду ли ты говоришь?

– Совершенную правду. Могу ли я ошибиться в этом?

– Иди же, Джакомо, да на всякой случай возьми с собой Помпея и позови меня, если окажется, что, оба мы обманулись.

Но Виоланта действительно не ошиблась. Через несколько секунд, на одной из садовых дорожек показался л'Эстрендж и по бокам его две дамы.

– Ах, Боже мой! сказал Риккабокка, поправляя свой домашний наряд. – Иди, дитя мое, и позови Джемиму. Мужчины с мужчинами; но, ради Бога, чтобы для женщин были женщины.

Гарлей привез мать и Гелен познакомить с семейством своего друга.

Надменная графиня знала, что ей придется стоять лицом к лицу с злополучием, и потому её приветствие к Риккабокка отличалось необыкновенной почтительностью. В свою очередь, Риккабокка, всегда почтительный и в высшей степени вежливый в обращении с прекрасным полом, хотя в отзывах своих о нем и оказывал некоторое пренебрежение, но ни под каким видом не позволил бы другим стать выше себя в обрядах церемонии. Поклон, которым он отвечал, мог бы послужить назидательным примером для самых отчаянных денди и привел бы в восторг престарелых вдовушек, получивших воспитание при старинном французском дворе и встречаемых еще и ныне среди мрачного величия и пышности Сент-Джерменского Предместья. Исполнив все требования этикета, графиня на скорую руку отрекомендо-

вала Гэлен и расположилась на диване, в ближайшем расстоянии от Риккабокка. Спустя несколько секунд, Риккабокка и графиня Лэнсмер обращались друг с другом без малейшего принуждения, как давнишние знакомые; и в самом деле, Риккабокка, с тех пор, как мы знаем его, быть может, еще ни разу не казался таким любезным, таким интересным, как теперь, подле своей образованной, хотя в некоторой степени и церемонной гостью. Оба они так мало жили жизнью нашего новейшего времени, так мало имели с ним общего! Их обращение заимствовано было от прежнего поколения: в нем обнаруживалась та особенная, величаявая гордость, которая составляла необходимость каждого образованного человека в ту пору, когда он украшал свою наружность кружевами и парчей. Риккабокка не вводил в разговор своих умных, но простых пословиц: может статься, он вспомнил лорда Честерфильда, который употребление пословиц называет вульгарным. При всей сухощавости в фигуре Риккабокка, при всей неэлегантности в его одежде, в нем было что-то особенное, сильно говорившее в его пользу; он вполне казался вельможей, человеком, которому какойнибудь маркиз де-Данго непременно предложил бы занять стул подле Роганов и Монморанси.

Между тем Гэлен и Гарлей сидели несколько в стороне и были оба молчаливы – Гэлен вследствие робости, а Гарлей вследствие задумчивости. Наконец отворилась дверь; Гарлей моментально встал со стула: в гостиную вошли Виолан-

та и Джемима. Взоры лэди Лэнсмер с первого раза остановились на дочери Риккабокка: она с трудом могла удержаться от невольного восклицания; но потом, когда увидела скромную наружность мистрисс Риккабокка, – наружность, не лишенную своего достоинства, когда увидела перед собой несколько застенчивую, но в строгом смысле благородную и благовоспитанную женщину, она отвернулась от дочери Риккабокка и с *savoir vivre* утонченной старинной школы выразила свое почтение его жене, – почтение в буквальном смысле слова: оно выражалось в её манере и словах и заметно отличалось от почтения, оказанного самому Риккабокка, добродушием, простотою и чистосердечием. Вслед за тем лэди Лэнсмер взяла руку Виоланты, в обе свои руки и поглядела на нее с, таким вниманием и удовольствием, как будто она не могла налюбоваться вдоволь её красотой.

– Мой сын, сказала она нежно и с легким вздохом: – мой сын напрасно уговаривал, меня не удивляться. Я в первый раз узнаю, что действительность может, превосходить описание!

Застенчивой румянец придавал лицу Виоланты еще более прелести, и в то время, как графиня снова возвратилась к Риккабокка, Виоланта тихо приблизилась к Гэлен.

– Рекомендую вам мисс Дигби, мою питомицу, довольно сухо сказал Гарлей, заметив, что его мать пренебрегла обязанностью отрекомендовать Гэлен двум дамам.

После этого он сел и начал разговор с мистрисс Рик-

кабokka; но его светлый взор беспрестанно останавливался на двух девицах. они были ровесницы; общего между ними, для человека ненаблюдательного, была одна только юность. Невозможно было вообразить более сильного контраста, и – что всего страннее – обе они выигрывали в этом контрасте. Очаровательная прелесть Виоланты казалась еще ослепительнее, между тем как прекрасное и нежное лицо Гэлен становилось одушевленное и привлекательнее. Ни та, ни другая во время детского возраста не имели близких сношений с равными себе по возрасту и по наклонностям; они понравились одна другой с первого взгляда. Виоланта, как менее застенчивая, начала разговор.

– Итак, мисс Дигби, вы питомица лорда л'Эстренджа?

– Да.

– И вы вместе с ним приехали из Италии?

– Нет; я приехала сюда несколькими днями раньше. Впрочем, я прожила в Италии несколько лет.

– Понимаю! вы сожалеете... впрочем, какая я недогадливая!.. ведь вы возвратились в свое отечество. Но я все-таки скажу, что небо Италии всегда бывает такое голубое... здешней же природе как будто недостает эффектных красок.

– Лорд л'Эстрендж сказывал, что вы были очень еще молоды, когда он оставил вас. Он тоже отдает Италии преимущество перед Англией.

– Он! Не может быть!

– Почему же не может быть, позвольте вас спросить, пре-

красный скептик? вскричал Гарлей, остановившись на середине невысказанной Джемиме мысли.

Виоланта вовсе не воображала, что ее услышат: она говорила очень тихо, – но, хотя и заметно смущенная, отвечала весьма определительно.

– Потому что в Англии для человека с благородной душой всегда открыта благородная карьера.

Гарлей был изумлен этими словами; он отвечал на них легким, притаенным вздохом.

– В ваши лета я сказал бы то же самое. Но наша Англия до такой степени наполнена людьми с благородными душами, что они только толкают друг друга, и потому все поприще их неизбежно покрывается облаком густой пыли.

– Точно такой же вид, как я читала, имеет битва в глазах обыкновенного воина, но не полководца.

– Должно быть, вы читали очень хорошие описания о битвах.

Мистрисс Риккабокка, принявшая эти слова за упрек, имевший прямое отношение к начитанности своей падчерицы, поспешила на помощь Виоланте.

– её папа заставлял ее читать историю Италии, а мне кажется, что эта история составляет беспрерывный ряд кровопролитных войн.

– Это удел общий всякой истории; но дело в том, что все женщины любят войны и воинов. Удивляюсь только, почему!

– А ведь можно догадаться, почему. . . . правда ли, что можно? сказала Виоланта, обращаясь к Гэлен, и сказала самым тихим голосом, решаясь не позволить Гарлею подслушать их.

– Если вы можете догадаться, Гэлен, то, сделайте милость, скажите мне, возразил Гарлей, выслушав каждое слово, как будто он стоял на противоположной стороне галерея, устроенной по всем правилам акустики.

– Я одно только скажу вам, отвечала, Гэлен, улыбаясь непринужденнее обыкновенного и в то же время, отрицательно качая своей маленькой головкой:– я не люблю ни войны, ни воинов.

– В таком случае, сказал Гарлей, обращаясь к Гэлен: – я еще раз должен спросить вас, обвиняющая себя Беллона, – неужели это происходит от жестокосердия, этой душевной склонности, которой так легко покоряются все женщины?

– От двух и еще более натуральных склонностей, отвечала Виоланта, заключая свои слова музыкальным смехом.

– Вы приводите меня в крайнее недоумение. Какие же могут быть склонности? спросил Гарлей.

– Сожаление и восхищение: мы сожалеем слабых и беззащитным и восхищаемся храбрыми.

Склонив голову, Гарлей оставался безмолвным.

Лэди Лэнсмер нарочно прекратила разговор с Риккабокка, чтобы послушать суждения его дочери.

– Очаровательно! вскричала она. – Вы превосходно объ-



яснили то, что так часто приводило меня в недоумение. Ах, Гарлей, я очень рада, что сатира твоя поражена таким слабым оружием; ты не находишься даже отвечать за это.

– Решительно нет. Я охотно признаю себя побежденным; я от души рад, что имею право на сожаление синьорины, с тех пор, как рыцарский меч мой покойно висит на стене и как я уже не могу, по профессии своей, иметь притязания на её восхищение.

Сказав это, Гарлей встал и посмотрел в окно.

– Вот это кстати: сюда идет более страшный диспутант, который непременно вступит в состязание с моей победительницей, – человек, которого профессия заменит всю романтичность военного поля и крепостной осады.

– Кто это? наш друг Леонард? сказал Риккабокка, в свою очередь бросая взгляд в окно. – Правда, совершенная правда. Квеведо весьма остроумно замечает, что с тех пор, как развилось книгопечатание и распространилось требование на книги, чувствуется весьма сильный недостаток в свинце на ружейные пули.

Через несколько секунд вошел и Леонард. Гарлей послал к нему лакея лэди Ленсмер с запиской, которою предварил его о встрече с Гэлен. При входе в гостиную Гарлей взял его за руку и подвел его к лэди Ленсмер.

– Вот друг мой, о котором я говорил вам. Полюбите его так, как любите меня; и потом, едва дозволив графине выразить, в напыщенных фразах, довольно холодный привет,

он увлек Леонарда к Гэлен.

– Дети, сказал он нежным голосом, отзывавшимся в глубине сердец молодых людей: – сядьте вон там и поговорите о прошедшем. Синьорина, позвольте предложить вам возобновление нашего диспута, по поводу не совсем для меня понятного метафизического предмета. Посмотрите, не найдем ли мы источников для сожаления и восхищения более привлекательных в сравнении с войной и воинами.

И Гарлей отвел Виоланту к окну.

– Вы помните, что Леонард, рассказывая вам вчера свою историю, упомянул, как вы полагали, слегка, о маленькой девочке, которая была ему спутницей во время его самых тяжелых испытаний. Помните, когда вы хотели узнать от него несколько более об этой девочке, я прервал вас и сказал: «вы увидите с ней в самом непродолжительном времени и тогда сами можете пораспросить ее». Теперь скажите мне, что вы думаете о Гэлен Дигби? Тихонько.... говорите потише. Впрочем, слух у Гэлен не так остер, как у меня.

– Неужели это и есть прекрасное создание, которое Леонард называл своим гением-хранителем? О, какое милое, невинное личико! она и теперь кажется тем же гением-хранителем!

– Вы так думаете, сказал Гарлей, весьма довольный похвалю и тою, кто произнес эту похвалу: – ваше мнение совершенно справедливо. Гэлен, как видите, не слишком общительна. Но прекрасные натуры все то же, что и прекрасные

поэмы. Один взгляд на две первые строфы уже заранее говорит вам о красотах, которые ожидают впереди.

Виоланта внимательно смотрела на Леонарда и на Гэлен, в то время, как они сидели в отдалении. Леонард говорил, Гэлен слушала. И хотя первый из них, в повествования своем накануне, действительно слегка коснулся эпизода своей жизни, в которой принимала участие несчастная сиротка, – но, во всяком случае, сказано было весьма достаточно, чтоб пробудить в душе Виоланты высокое и трогательное чувство к прежнему положению молодых людей и, к счастью, какое они испытывали при этой встрече, – они, разлученные годами на беспредельном пространстве житейского моря и сохранившиеся от непогод и кораблекрушения. Слезы плавали в глазах Виоланты.

– Правду говорили вы, сказала она едва слышным голосом: вот это скорее может пробудить чувство сострадания и восхищения, нежели....

И Виоланта замолчала.

– Доскажите вашу мысль, синьорина. Неужели вы стыдитесь отступления?. Неужели вас удерживают от признания гордость и упрямство?

– Совсем нет. Напротив, я и здесь вижу борьбу и героизм – борьбу гения с злополучием, и героизм невинного ребенка, который участвовал в этой борьбе и утешал. Заметьте, в каком бы случае мы ни чувствовали сострадание и восхищение, им непременно должно предшествовать чувство более

возвышенное, чем обыкновенное сожаление: тут непременно должен участвовать героизм.

– Гэлен еще до сих пор не знает, что значит слово «героизм», сказал Гарлей, и на его прекрасном лице изобразилась глубокая грусть: – вы должны передать ей значение этого слова.

«Возможно ли – подумал он, говоря эти слова – возможно ли, чтоб Рандаль Лесли пленил это создание с такой возвышенной душой? В этом хитром молодом человеке нет ни на волос героизма.»

– Ваш батюшка, сказал он вслух и пристально взглянул в лицо Виоланты: – ваш батюшка сказывал мне, что он часто видится с молодым человеком, почти одних лет с Леонардом. Впрочем, я никогда не считаю человеческий возраст по приходской метрике я, с своей стороны, должен сказать, что я считаю этого молодого человека за современника моего прадеда... Я говорю вам о мистере Рандале Лесли. Скажите откровенно, нравится он вам?

– Нравится ли он мне? повторила Виоланта протяжным голосом, как будто углубляясь за ответом в свою душу. – Нравится ли он... конечно.

– Почему же? – спросил Гарлей голосом, в котором слышалась досада.

– Потому, что его посещения доставляют удовольствие моему неocenенному батюшке. Да, он нравится мне.

– Гм! И, конечно, он показывает вид, что вы нрави-

тесь ему?

Виоланта засмеялась чистосердечным смехом. Она готова была отвечать: «Неужели для вас это кажется странным?» но уважение к Гарлею удержало ее. Эти слова казались ей дерзкими.

– Мне говорили, что он очень умен, начал Гарлей.

– И вам сказали правду.

– И ведь он весьма недурен собой. Но как хотите, а лицо Леонарда мне лучше нравится.

– Лучше! нет. Вы употребили весьма слабое выражение. Лицо Леонардо доказывает, что он часто смотрит на небо, а лицо мистера Лесли – на нем, кажется, никогда еще не отражалось ни солнечного, ни звездного света.

– Неоцененная Виоланта! воскликнул Гарлей, не в силах будучи скрыть своего восторга и вместе с тем крепко сжав её руку.

Кровь бросилась в лицо Виоланты; её рука дрожала в руке Гарлея.

В этот момент тихо подошла к ним Гэлен и робко взглянула в лицо своего покровителя.

– Леонарда матушка тоже здесь живет, сказала она: – он просит меня сходить и повидаться с ней. Могу ли я?

– Можете ли вы? Хорошее же составит синьорина понятие о вашем положении в качестве моей питомицы, услышав от вас подобный вопрос. Без всякого сомнения, вы можете.

– Не проводите ли и вы меня туда?

Этим вопросом Гарлей заметно поставлен был в затруднительное положение. Он вспомнил о душевном волнении мистрисс Ферфильд, когда произносили его имя; вспомнил её желание избегнуть встречи с ним, – желание, которое хотя Леонард и объяснил по своим чувствам, но причину которого Гарлей начинал угадывать, а потому и сам старался устранить себя от встречи с ней.

– В таком случае отложите это посещение до другого раза, сказал он, после минутного молчания.

На лице Гэлен изобразилось чувство обманутого ожидания; но она не сказала ни слова.

Холодный ответ Гарлея изумил Виоланту. В другом случае, они приписала бы это недостатку чувств и уважения к своему полу; но все, что делал Гарлей, имело в её глазах справедливое основание.

– Нельзя ли мне идти вместе с мисс Дигби? сказала она. – Вероятно, и моя мама согласится проводить нас. Ведь мы тоже знаем мистрисс Ферфильд. Нам бы очень приятно было еще раз повидаться с ней.

– И прекрасно! сказал Гарлей: – а я дождусь здесь вашего возвращения. О, что касается моей мама, она извинит вас... она извинит отсутствие мистрисс Риккабокка и ваше. Взгляните, в каком она восторге от беседы с *вашим* папа. Я должен непременно остаться здесь и охранять супружеские интересы *моего* папа.

Но, несмотря на деревенское воспитание мистрисс Рик-

кабokka, она на столько имела понятия о законах светского приличия, что не решалась оставить графиню одну и Гарлей принужден был принять на себя труд устроить прогулку, не делая изменений в составленном плане. Когда обстоятельство дела было окончательно изложено, графиня встала и сказала:

– Это прекрасно. Я охотно сама пойду с мисс Дигби.

– Нет, мама, напрасно, сказал Гарлей, принимая серьезный вид. – Напрасно, я бы не советовал, произнес он шепотом: – почему? я объясню вам после.

– В таком случае, сказала графиня, бросив на сына взгляд полный недоумения: – я убедительно прошу вас, мистрисс Риккабокка, и вас, синьорина, не стеснять себя моим присутствием. К тому же мне нужно переговорить по секрету с вашим...

– Со мной! прервал Риккабокка. – Графиня, вы возвращаете меня к двадцати-пяти-летнему возрасту. Идите, идите скорей – о, ревнивая жена! – иди скорей, Виоланта! идите и вы, Гарлей!

– О, нет! Гарлей пусть останется с нами, сказала графиня тем же тоном. – В настоящую минуту я не имею намерения расстроить ваше супружеское счастье, – не знаю, что будет впоследствии. *Мое* намерение до такой степени невинно, что сын мой будет участником в нем.

При этом графиня сказала несколько слов на ухо Гарлею. Он выслушал их с глубоким вниманием и потом, в знак со-

гласия на предложение матери, пожалуй ей руку и склонил голову на грудь.

Спустя несколько минут три лэди и Леонард находились уже на дороге к соседнему коттеджу.

Виоланта, руководимая, по обыкновению, своею тонкою предусмотрительностью, полагала, что Леонард и Гэлен имели еще очень многое сказать друг другу, и, оставаясь в совершенном неведении, как и сам Леонард, касательно помолвки Гэлен за Гарлея, начинала уже, в романтическом расположении духа, свойственном её возрасту, предсказывать им счастливые и неразлучные дни в будущем. На этом основании она взяла под руку свою мачиху, оставив за собой Гэлен и Леонарда.

– Удивлюсь, право, сказала она, с задумчивым видом: – каким образом мисс Дигби сделалась питомицей лорда л'Эстренджа. Мне кажется, она небогата и не очень высокого происхождения.

– Ах, Виоланта, сказала добродушная Джемима: – я не ожидала от тебя этого... Надеюсь, что ты не завидуешь ей – этой бедняжке?

– Завидую! мама, какое слово! Разве вы не замечаете, что Леонард и мисс Дигби как будто родились друг для друга? А к тому же воспоминания о детском их возрасте, – воспоминания, которые так долго остаются в памяти и так долго сохраняют всю свою прелесть.

При этих словах длинные ресницы Виоланты опустились



на её задумчивые глазки.

– Поэтому-то, продолжала она, после минутного молчания: – поэтому-то я и заключаю, что мисс Дигби небогата и не очень высокого происхождения.

– Теперь я понимаю тебя, Виоланта! воскликнула Джемма – в душе её вдруг пробудилась её собственная ранняя страсть к составлению супружеских партий – теперь я совершенно понимаю тебя. Как Леонард ни умен и известен, а все же он сын Марка Ферфильда, обыкновенного плотника, и, конечно, еслиб мисс Дигби была богата и высокого происхождения, то через это испортилось бы все дело. Я согласна с тобой, душа моя: это прекрасная партия, – право, прекрасная. Я желала бы, чтоб мистрисс Дэль находилась теперь здесь: она удивительно как хорошо умеет устраивать подобные дела.

Между тем Леонард и Гэлен друг подле друга шествовали в арриергарде. Леонард не подал ей руки. С той минуты, как вышли из дому, они не сказали слова друг другу.

Гэлен заговорила первая. В подобных случаях, обыкновенно женщина, как бы она ни была робка, начинает разговор. Здесь Гэлен была смелее, потому что Леонард не скрывал своих ощущений, а Гэлен была обручена другому.

– Скажите, неужели вы ни разу не видели доброго доктора Моргана, который прописывал порошки против душевных страданий, и который так великодушен был к нам, – хотя, прибавила она, покраснев: – хотя в ту пору мы думали о нем

совсем иначе?

– Он отнял от меня моего гения-хранителя, сказал Леонард, с сильным душевным волнением: – и еслиб этот гений не возвратился ко мне, что бы было из меня теперь? Впрочем, я давно уже простил ему.... С тех пор я не встречался с ним.

– А где этот ужасный мистер Борлей?

– Бедный, бедный Борлей! И он тоже исчез из круга моей нынешней жизни. Я делал множество осведомлений о нем, и все, что узнал, заключается в том, что он уехал за границу, в качестве корреспондента какого-то журнала. С каким бы удовольствием я встретился бы ним еще раз! Быть может, теперь я помог бы ему, как и он помогал мне.

– *Он* помогал вам!

Леонард улыбнулся. Сердце его забило сильнее, когда он снова увидел умный, предостерегающий взгляд Гэлен, и, по невольному чувству, взял её руку, в эту минуту, казалось, оба они находились под влиянием давно минувших детских ощущений.

– Да, он много помог мне своими советами, а еще более, быть может, своими пороками. Для ваших понятий недоступно, Гэлен... извините! я хотел сказать: мисс Дигби.... я совершенно забыл, что уже мы более не дети.... для ваших понятий недоступно, как мною мы, мужчины, а еще более, быть может, мы, писатели, которых главное занятие состоит в том, чтобы распутывать паутину человеческих деяний, бы-

ваем обязаны нашим собственным прошедшим заблуждениям, – и если бы мы ничего не извлекали из заблуждений других людей, мы навсегда остались бы скучными, непонятными себе и другим. Мы должны узнать, где дороги нашей жизни разветвляются и куда ведут эти ветви, прежде чем решимся поставить на них поперечные столбы; а что такое книги, как не поперечные столбы на пути человеческой жизни?

– Книжки! Кстати: я до сих пор не читала ваших произведений. Лорд л'Эстрендж сказывал мне, что они прославили вас.... А вы все еще не забыли меня – бедную сиротку, которую вы встретили рыдающую на могиле её отца, и которою вы обременили свою молодую жизнь, и без того уже обремененную до нельзя. Пожалуста называйте меня по-прежнему: Гэлен; для меня вы всегда должны быть.... братом! Лорд л'Эстрендж сам сказал мне это, когда объявил, что я увижусь с вами.... Он так великодушен, так благороден. Брат! неожиданно воскликнула Гэлен, протягивая руку Леонарду с пленительным, но вместе с тем и торжественным взором: – мы никогда вполне не употребим во зло его благодеяний, мы должны оба всеми силами стараться быть признательными! Не правду ли я говорю? отвечайте мне.

Леонард с трудом преодолевал сменяющие одно другое и непонятные ему чувства, волновавшие его душу. Тронутый до слез последними словами Гэлен, испытывая трепет, сообщаемый ему рукою, которую держал он, с безотчетным страхом, с каким-то сознанием, что в этих словах заключалось

совсем другое значение, чувствовал, что надежда на счастье навсегда покидала его. А это слово «брат», некогда столь драгоценное для него, – почему от самых звуков его веяло каким-то холодом? Почему он сам не отвечает на него пленительным словом «сестра»?

«Она не доступна для меня теперь, и навсегда!» – подумал он, с печальным видом, и когда он снова заговорил, его голос дрожал, звук его переменялся. Намек на возобновление дружбы только удалял его от Гэлен. Он не сделал прямого ответа на этот намек. В эту минуту мистрисс Риккабокка оглянулась к ним и, указав на коттедж, который открылся их взору, с своими живописными шпицами, вскричала:

– Неужели это ваш дом, Леонард? Милее, прекраснее этого я ничего не видала!

– Разве вы не помните этого коттеджа? сказал Леонард, обращаясь к Гэлен, и сказал голосом, в котором слышался грустный упрек:– разве вы не помните места, где я виделся с вами в последний раз? Я долго колебался, сохранить его в прежнем виде или нет, и наконец сказал себе: «Нет! воспоминание об этом месте никогда не заменится, если стану окружать его красотами, какие только могут создать изящный вкус и искусство: чем дороже воспоминание, тем натуральнее будет идти к нему все прекрасное». Быть может, это для вас немного, быть может, это понятно только для нас, поэтов!

– Напротив, я очень хорошо понимаю, сказала Гэлен, бро-

сая рассеянный взгляд на коттэдж.

– Он совсем переменялся. Я так часто рисовала его в моем воображении, – не в этом виде – иногда, никогда; все же и любила его: он служил для меня предметом самых отрадных воспоминаний. Этот коттэдж да еще наша тесная квартира и дерево, на дворе плотника....

Последнюю мысль Гэлен не успела высказать: в эту минуту они вошли в сад.

## Глава ХСІV

Мистрисс Ферфильд, принимая в своем великолепном доме мистрисс Риккабокка и Виоланту, казалась женщиной необыкновенно гордой. В её глазах, коттэдж, в который переселился Ленни, был действительно дом великолепный. Нельзя отвергать и того, что мистрисс Ферфильд была женщина гордая: в глубине души своей она помышляла, что если бы была для неё возможность принять в гостиную своего великолепного дома знатную мистрисс Гезельден, которая так строго журила ее за отказ жить в домике, принадлежащем сквайру, – чаша человеческого благополучия совершенно бы наполнилась и мистрисс Ферфильд умерла бы тогда вполне удовлетворив свою гордость. С первого раза она не заметила Гэлен: её внимание поглощено было дамами, которые возобновили старинное знакомство с ней, и потому поставила себе в непрременную обязанность прежде всего показать им весь дом, не исключая даже самой кухни. Таким образом, по этому обстоятельству или по другому, Гелен и Леонард через несколько минут остались наедине. Это было в кабинете. Гэлен рассеянно опустила на кресло Леонарда и устремила пристальный, но беспокойный взгляд на разбросанные бумаги на столе, на старинные попорченные книги, лежавшие в страшном беспорядке, на полу, на стульях, – словом сказать, везде. Первая идея, мелькнувшая в женской головке

Гэлен, заключалась к желанию привести это все в порядок.

«Бедный Леонард!» – подумала она – «во всем доме у него так мило, так опрятно, а между тем никто не позаботится ни об его кабинете, ни о нем самом.»

Леонард, как будто угадывая эту мысль, улыбнулся.

– Для паука, сказал он: – показалось бы жестоким благодеянием, еслиб самая нежная рука из целого мира привела в порядок его паутины.

– Прежде, сколько я помню, вы не были до такой степени беспечны, заметила Гэлен.

– Однако, и тогда вы принимали на себя труд беречь мои деньги. Теперь у меня и больше книг и больше денег. Нынешняя моя домохозяйка предоставляет мне исключительное право заботиться о книгах, но что до денег, то она решительно все приняла на себя.

– Неужели вы рассеянны по-прежнему?

– Боюсь, что даже более. Привычка эта неисправима. Мисс Дигби....

– Пожалуста, не мисс Дигби! сестра, если вам угодно.

– Гэлен, сказал Леонард, избегая слова, одно произношение которого пробуждало в душе его холодное чувство – Гэлен, сделаете ли вы для меня единственное одолжение? Ваши взоры и ваша улыбка говорят утвердительно. Снимите на одну минуту вашу шаль и шляпку. Как? неужли вас удивляет моя просьба? Неужли вы не хотите понять, что я желаю видеть вас еще раз под этой кровлей как в своем доме?

Гэлен потупила взоры и, по видимому, находилась в затруднительном положении; потом она снова взглянула на Леонарда, с кротким, ангельским добродушием, отражавшимся в голубых глазах её, и, как будто в защиту себя от всех помышлений о более нежной любви, снова произнесла: «брат», и исполнила желание Леонарда.

Взгляните на нее теперь: она сидит между скучными книгами, подле рабочего стола Леонарда, вблизи открытого окна; её прекрасные волосы тонкими прядями прикрывали верхнюю часть открытого лица; она казалась так добра, так спокойна, так счастлива! Леонард изумлялся своему хладнокровию, изумлялся уменью управлять своими чувствами! Его душа стремилась к ней с чувством беспредельной любви; из уст его готовы были вырваться слова: О, если бы вам можно было остаться здесь навсегда! Но слово «брат» как роковой талисман лежало между нам и Гэлен.

Да, она и казалась совершенно как дома, быть может, и чувствовала это, и чувствовала, быть может, сильнее, чем в скучном, холодом доме, в котором ей в весьма скором времени предстояло вступить в права дочери. Вспомнила ли она об этом, сказать трудно; но только вдруг, с тревожным видом и с глубоким унынием на лице, она встала с кресла.

– Однако, мы очень долго задерживаем леди Ленснер, сказала она голосом, в котором были слезы. – Нам пора отправиться назад.

И вместе с этим она торопливо надела шаль и шляпку.



В это же самое время вошла в кабинет мистрисс Ферфильд, с своими гостями, и начала извиняться в невнимании к мисс Дигби, которой тождества с гением-хранителем Леонарда она еще не знала.

Гэлен выслушивала эти извинения с обычной прелестью.

– К чему это! сказала она:– ваш сын и я старинные друзья: зачем же вам беспокоиться? зачем эти церемонии?

– Старинные друзья! произнесла мистрисс Ферфильд, с крайним изумлением, и потом с большим вниманием осмотрела прекрасную говорунью.

Говорит прекрасно – подумала добрая старушка – пожалуй, еще лучше, чем мисс Виоланта, – да и поскромнее её; а уж наряд, так, право, я ничего подобного не видала на картинках.

Гэлен подала руку мистрисс Риккабокка, и, после радушного приветствия мистрисс Ферфильд, гости отправились в дом Риккабокка. Не успели они выйти из сада, как мистрисс Ферфильд догнала их с шляпой и перчатками Леонарда, которые он позабыл.

– Послушай, мой друг, сказала, она полу-ласковым, полу-сердитым тоном: – ведь ты сам знаешь, что никогда бы не было таких прекрасных книг, если бы на твоих плечах не было такой головы. Поверите ли, сударыня, продолжала она, Обращаясь к мистрисс Риккабока:– с тех пор, как он оставил вас, он уже совсем не тот, каким был прежде; по временам, сударыня, он делается никуда негодным.

Гэлен не могла удержаться, чтоб не повернуться и не взглянуть на Леоварда с лукавой улыбкой.

Мистрисс Ферфильд уловила эту улыбку и, схватив Леонарда за руку, прошептала:

– Скажи на милость, где ты встречался прежде с такой хорошенькой барышней? Небось опять скажешь: старинные друзья!

– Это длинная повесть, моя добрая матушка, с печальным видом отвечал Леонард: – я рассказал вам начало этой повести; а кто знает, каков еще будет конец её?...

И он побежал догонять гостей.

Гэлен продолжала идти под руку с мистрисс Риккабокка. Во время обратной прогулки к дому Риккабокка, Леонарду казалось, что зима веяла на него своим суровым холодом.

Все же он находился подле Виоланты, которая отзывалась о Гэлен с величайшей похвалой. Но, к сожалению, не всегда бывает приятно слушать похвалы тому, кого мы любим всей душой. Иногда этими похвалами вас иронически спрашивают:

– Какое право имеешь ты надеяться? разве потому только, что ты любишь? Ведь *все* любят *ее!*

Между тем лэди Лэнсмер, лишь только осталась одна вместе с Риккабокка и Гарлеем, положила руку на руку Риккабокка.

– Гарлей, сказала она: – упросив меня посетить вас, принужден был открыть мне ваше инкогнито, потому что, в про-

тивном случае, я бы сама открыла его. Вы, вероятно, позабыли меня, несмотря на всю вашу любезность к прекрасному полу. Во время вашего первого посещения Англии я несравненно чаще выезжала в свет, и однажды имела удовольствие сидеть с вами рядом за обедом в Карлтон-Гоузе. Сделайте одолжение, оставьте ваши комплименты, а лучше выслушайте меня. Гарлей говорил мне, что вы имеете некоторые причины опасаться намерения какого-то дерзкого и безнравственного авантюриста... я смело называю его этим именем, потому что авантюристы бывают во всяком сословии. Позвольте вашей дочери погостить у нас так долго, как вам угодно. При мне, вы можете быть уверены, она будет в совершенной безопасности; а если и вы найдете удобным...

– Позвольте, графиня, прервал Риккабокка, с величайшей живостью:– ваше великодушие обезоруживает меня. От всего сердца благодарю вас за приглашение, которое делаете моей дочери; но....

– Сделайте одолжение, в свою очередь прервал Гарлей: – оставьте ваше «но». Входя в эту комнату, я не знал намерений моей мама. Но лишь только она шепнула мне о нем, я в ту же минуту обдумал его, и убежден, что в этом намерении заключается благоразумная предосторожность. Ваше убежище известно мистеру Лесли, а он знаком с Пешьера. Положим, что скромность мистера Лесли не изменит вашей тайне; но, несмотря на то, я имею весьма основательные причины полагать, что Пешьера догадывается о знакомстве Ран-

даля с вами. Мне сказал сегодня поутру Одлей Эджертон, что он узнал об этом не от молодого человека, но из вопросов, предложенных ему самому маркизой ди-Негра. Нет ничего удивительного, если Пешьера поставит лазутчиков следить за каждым шагом Рандаля Лесли, за каждым домом, который он посещает, неудивительно и даже весьма естественно, если он будет следить и за мной. Еслиб этот человек был англичанин, я посмеялся бы над всеми его ухищрениями; но он итальянец и в добавок заговорщик. Что он в состоянии сделать, я этого не знаю; знаю только, что убийцы пробирались в укрепленный лагерь и изменники проникали сквозь запертые стены к семейному очагу. При моей маме Виоланта будет в совершенной безопасности, – в этом вы можете быть уверены. Да почему бы и вам не переехать в наш дом?

На все, что касалось Виоланты, Риккабокка не делал возражений; доводы Гарлея пробуждали почти суеверный страх в душе Риккабокка касательно его врага, и он немедленно согласился отпустить Виоланту к графине. От предложения же, касавшегося его и Джемимы, он отказался наотрез.

– Если говорить правду, сказал он простосердечно: – так я в душе своей дал клятву, при вторичном вступлении в Англию, прекратить все сношения с теми лицами, которые знали, какое положение занимал я в отечестве. Чтобы примирить себя и приучить к изменившимся обстоятельствам, я должен был призвать к себе на помощь всю мою философию. Чтоб найти в теперешнем моем, весьма смиренном, су-

ществовании те блага, которые облагораживают жизнь, доставляют ей достоинство и спокойствие, необходимо было для жалкой, слабой человеческой природы вполне и совершенно позабыть минувшее. Для меня было бы крайне прискорбно, переехав в ваш дом, возобновить, при вашем великодушии и уважении, мало того: в самой атмосфере, окружающей ваше общество, сознание о том, чем я был прежде, и потом, в случае, если мое возвращение в отечество окажется невозможным, пробудиться и увидеть себя на всю жизнь тем, за кого меня считают теперь. Будь я один, я доверил бы себя, быть может, всякой опасности; но у меня есть жена... она счастлива теперь и довольна. Стала ли бы она испытывать это чувство, если бы вы вздумали отнять от неё скромное положение жены доктора Риккабокка? Не привелось ли бы мне выслушивать сожаления, надежды и опасения, которые насквозь-бы пронзили тонкий плащ, которымъ прикрывает меня философия? В минуту слабодушие я открыл жене моей свою тайну, и с тех пор уже не раз швыряли в меня моим званием, швыряли слабой рукой, это правда, но все же удары были метки и тяжелы. Никакой камень не поражает так сильно, как камень., взятый из развалин вашего дома, и чем великолепнее был дом, тем тяжелее камень! Примите, неocenенная графиня, под свою защиту мою дочь, берегите ее ужь если отец её не надеется на свои силы исполнить это, и больше ничего не просите от меня.

Риккабокка был тверд в своем слове. Решившись отпу-

стит доч свою, он упросил графиню выдавать ее не иначе, как под именем дочери доктора Риккабокка.

– Теперь еще одно слово, сказал Гарлей. – Ради Бога, не открывайте мистеру Лесли этого распоряжения, не говорите ему, куда вы отправили Виоланту, – по крайней мере до той поры, пока я сам не разрешу вас на подобное доверие. Я уже сказал вам, что за действиями этого молодого человека следует следить со всею строгостью. Дайте мне несколько времени составить, о нем верное понятие. А между, тем мне кажется, что я буду иметь средства узнать, в чем же заключаются замыслы Пешьера, и как далеко они простираются. Его сестра ищет моего знакомства – я непременно представлю ей случай. В последнее время моего пребывания в чужих краях я слышал о ней весьма многое, что заставляет меня думать, что она вовсе неспособна быть орудием для графа в его низких, преступных замыслах, что в ней, есть много прекраснейших качеств, и что ее нетрудно привлечь на нашу сторону. Мы ведем войну и должны, внести ее в центр неприятельского лагеря. Дайте мне обещание удержаться от дальнейшей доверенности к мистеру Лесли.

– В настоящее время даю обещание, довольно, принужденно отвечал Риккабокка.

– Не говорите ему даже, что вы видели меня, пока он первый, не скажет вам, что я приехал в Англию, и хочу узнать ваше местопребывание. Я предоставлю ему и для этого случай. Почему же вы колеблетесь? вед вы знаете свою родную

ПОСЛОВИЦУ:

«Boccha chusa, ed occhio aperto  
Non fece mui nissun deserto.»

то есть: закрытый рот и открытый глаз... и т. д.

– Совершенно справедливо, сказал. доктор, пораженный этим замечанием. – Весьма справедливо. *In bocca chiusa non c'entrano mosche.* Тот не глотает мух кто держит рот закрытым. *Corpo di Bacco!* это, действительно, весьма справедливо.

Гарлей отвел итальянца в сторону.

– Вот видите ли в чем дело: если надежда наша отыскать затерянный пакет, или если уверенность наша в содержании этого пакета окажутся слишком преувеличенными, то все же надобно полагать, что для Пешьеры прекратится, всякая возможность распространять свои виды на вашу дочь. Весьма вероятно, через несколько месяцев у вас родится сын, и тогда Виолантя перестанет находиться в опасности, потому, что перестанет быть наследницей. Не мешало бы дать знать Пешьере об этом шансе; это, по крайней мере, принудило бы его отложить на время свои планы; а между тем мы занялись бы розысками документа, который совершенно бы разрушил все его замыслы.

– О нет! ради Бога, нет! воскликнул Риккабокка, бледный, как полотно. – Ему и слова об этом не должно гово-

ритель. Я не намерен приписывать ему преступлений, в которых, быть может, он и невинен; однако же, он хотел отнять жизнь у меня, когда, я спасался от преследований его наемщиков в Италии. Мучимый корыстью, он не посовестился оклеветать своего родственника; на случай моего сопротивления, он подвергал опасности жизнь целой сотни людей, а мне готовил темницу. Еслиб он узнал, что жена моя родит мне сына, то могу ли я поручиться, что его намерения не примут более мрачного направления, более чудовищного в сравнении с теми, которые теперь он так явно обнаруживает? Могу ли я ручаться за безопасность жизни моей жены? Мне кажется, гораздо легче внести отраву в мой дом, чем утащить от очага мое детище. Не порицайте меня: когда я вспомню о жене, о дочери и об этом человеке, я чувствую, как рассудок покидает меня: я весь обращаюсь в необъятный страх!

– Ваши опасения слишком преувеличены. Ведь мы живем не в век Борджиев. Еслиб Пешьера вздумал прибегнуть к убийству, то вы должны бояться за себя.

– За себя! Я! я должен бояться за себя! воскликнул Риккабокка, выпрямляя свой высокий стан. – Неужли вы ставите в унижение человеку, который носил имя таких предков, – неужли вы ставите ему в унижение боязнь за тех, кого он любит? Бояться за себя! И кто же? вы решились спрашивать меня, трус я или нет?

Риккабокка успокоился, почувствовав пожатие руки сво-



его друга.

– Взгляните, сказал Гарлей, обращаясь к графине, с грустной улыбкой: – как один час, проведенный в вашем обществе, уничтожает привычки многих лет. Доктор Риккабокка заговорил о своих предках!

Читатель может представить себе изумление Виоланты и Джемимы, узнавших сделанное во время их отсутствия распоряжение. Графиня настаивала на том, чтоб взят с собой Виоланту немедленно. Риккабокка отрывисто сказал на это: «чем скорее, тем лучше.» Виоланта совершенно потерялась. Джемима поспешила собрать небольшой узелок необходимых предметов; из груди её много вылетело вздохов при обзоре бедного гардероба, в котором так мало отыскивалось годных нарядов. Между платьями она вложила кошелек, заключавший в себе сбережение многих месяцев, быть может, многих лет, и вместе с кошельком несколько нежных строчек, которыми предлагала Виоланте попросить графиню купить для неё все, что было бы прилично для дочери такого отца, как Риккабокка. В поспешном и неожиданном отъезде когонибудь из членов семейного кружка всегда испытывается какое-то неприятное, тяжелое ощущение. Маленькое общество разделилось на еще меньшие кружки. Обняв отца, Виоланта без всякого внимания слушала не совсем-то ясные его советы. Графиня подошла к Леонарду и, по принятому между людьми высшего сословия обыкновению поощрять молодых писателей, выразила ему несколько лестных ком-

плиментов насчет книг, которых она еще не читала, но которые, по словам её сына, должны быть весьма замечательны. Она нетерпеливо хотела узнать, где Гарлей познакомился с мистером Ораном, которого называл своим истинным другом, но была слишком благовоспитанна, чтобы пуститься в расспросы или выразить удивление над тем, по какому случаю высокое звание заводит дружбу с гением. Она убеждена была, что дружба их образовалась за границей.

Гарлей разговаривал с Гэлен.

– Скажите, Гэлен, ведь вы не сожалеете, что Виоланта едет с вами? Она будет для вас подругой, какую я желал, чтоб вы имели; мне кажется, что она совершенно одних лет с вами.

– Мне так грустно подумать, что я не моложе ее, отвечала Гэлен простосердечно.

– Почему же, моя милая Гэлен?

– Она так умна, она говорит так прекрасно; а я...

– А вам недостает только привычки быть поразговорчивее, чтоб выставлять в прекрасном свете ваши превосходные мысли.

Гэлен обратила на Гарлея признательный взор и отрицательно кивнула головой. Это делала она обыкновенно каждый раз, как только обращались к ней с похвалами.

Наконец приготовления кончились; прощальный привет был окончательно произнесен. Виоланта поместилась в карете рядом с графиней. Медленно двигался величавый экипаж с его четверней, с ливрейными лакеями и геральдиче-

скими знаками, – экипаж, который редко можно встретить в пределах столицы и быстро исчезающий теперь даже в отдаленных и глухих провинциях Англии.

Риккабокка, Джемима и Джакеймо долго смотрели из ворот за удалявшейся каретой.

– Синьорина уехала, сказал Джакеймо, отерев рукавом две крупные слезы, нависшие на его длинных ресницах. Слава Богу! тяжелый камень отпал от души.

– А другой припал к сердцу, произнес Риккабокка. – Не плачь, Джемима: это нехорошо для тебя, а еще хуже для нашего будущего наследника. Меня всегда удивляет, каким образом расположение духа матери может сообщаться зачатому младенцу. Мне бы очень не хотелось иметь сына, у которого склонность к слезам будет более обыкновенной.

Бедный философ хотел улыбнуться, но попытка оказалась неудачной. Он медленно вошел в комнаты и заперся в своем кабинете. Однако, он не мог читать. Умственные способности его были взволнованы. Риккабокка видел, что в гармонии домашнего быта оборвалась самая нежная и звучная струна.

## Глава ХСV

В тот же день вечером, в то время, как Эджертон, пригласивший к обеду множество гостей, переменял свое платье, в его комнату вошел Гарлей л'Эстрендж.

Эджертон, сделав знак своему камердинеру удалиться, продолжал свой туалет.

– Извини меня, мой милый Гарлей: я не могу уделить тебе более десяти минут. Я жду к себе принца, а тебе известно, что пунктуальность есть одно из превосходнейших качеств должностного человека и особенно снисходительность и вежливость со стороны принцев.

У Гарлея на все афоризмы своего друга всегда была готова какаянибудь шутка; но на этот раз он не сказал ни слова. Ласково положив руку на плечо Эджертона, он сказал:

– Прежде, чем начну я говорить о деле, скажи мне, как твое здоровье – лучше ли?

– Гораздо лучше; впрочем, вернее сказать, мое здоровье всегда в одном положении. Конечно, на взгляд я кажусь сильно истомленным; но согласишься, что лета, проведенные в постоянном труде, всегда резко выражаются на лице труженика. Не стоит говорить об этом!.. Период жизни, в течение которого человек заботится о том, каким он покажется в зеркале, давно миновал для меня.

Говоря это, Эджертон dokonчил свои туалет и потом по-

дошел к камину. Он стоял там, по обыкновению, выпрямившись и с сохранением в наружности своей всего достоинства. В этом положении он казался прекраснее всякого молодого человека; в его позе, в его выражении лица обнаруживалась твердость, обладая которою, он легко бы мог перенести еще в течение многих лет тяжелое, но в то же время и лестное бремя власти.

– Теперь поговорим о деле, Гарлей!

– Во первых, я хочу, чтоб ты, при первом благоприятном случае, познакомил меня с маркизой ди-Негра. Ведь ты сам говорил мне, что она желает познакомиться со мной.

– Ты шутишь, Гарлей?

– нисколько.

– В таком случае я готов исполнить твое желание. У маркизы сегодня определенный вечер. Я не имел намерения ехать туда; но как скоро разойдутся мои гости....

– Ты немедленно заедешь за мной в отель «Травеллерс». Пожалуйста, заезжай! я буду ждать тебя. Во вторых, я должен сказать тебе, ведь ты знал леди Джен Хортон лучше моего.

Одлей вздрогнул. Он повернулся и помешал в камине огонь.

– Скажи, пожалуйста, не встречал ли ты в её доме одной дамы по имени мистрисс Бертрам, или не слышал ли о ней чегонибудь от леди Хортон?

– О ком? спросил Эджертон, глухим голосом его лицо оставалось по-прежнему обращенным к камину.

– О мистрис Бертрам? Но – Боже мой! – что с тобой, мой добрый друг? ты нездоров? J

– Ничего.... легкия спазмы в сердце... это пройдет.... не беспокойся.... не щвони.... мне будет лучше сию минуту.... продолжай говорить о своем деле. Мигтрисс Бертрам.... зачем ты спрашиваешь о ней?

– Как зачем? Мне некогда объяснять все подробности, но тебе известно, что я решился оправдать моего старинного приятеля-итальянца, если только небо поможет мне, как оно помогает правым, когда они обрекают себя на благородный подвиг. Эта мистрисс Бертрам тесно связана с делами моего друга.

– С его делами! Каким это образом могло случиться?

Гарлей торопливо и в нескольких словах объяснил, в чем дело. Одлей внимательно выслушивал каждое слово; его взоры были потуплены, и, судя по его тяжелому дыханию, он все еще находился под влиянием болезненного припадка.

– Мне что-то помнится об этой мистрисс.... мистрисс Бертрам, отвечал он, после непродолжительного молчания. – Но, к сожалению, я должен сказать тебе, что все твои осведомления о ней должны остаться тщетными: мне помнится, будто я слышал, что она уже давно умерла; я даже совершенно уверен в том.

– Умерла! это величайшее несчастье! Но, вероятно, тебе известны ктонибудь из её родственников или знакомых? Не можешь ли ты указать мне средства отыскать этот пакет,

если только он попал в её руки?

– Не могу.

– Лэди Джен, сколько мне помнится, кроме моей матери не имела друзей; а леди Лэнсмер вовсе не знала этой мистрисс Бертрам. Какое несчастье! Не пропечатать ли в газетах объявление? Впрочем, нет. Объявив, что мистрисс Бертрам уезжала за границу, я этим отличил бы ее от всякой другой женщины с тем же именем, обратил бы внимание Пешьера и заставил бы его противодействовать нам.

– К чему это поведет? спросил Эджертон. – Кого ты ищешь, уже нет более на свете: я знаю это наверное.

Эджертон остановился, но вскоре снова продолжал:

– Пакет прибыл в Англию после её смерти: нет никакого сомнения, что его обратили назад и давным-давно уничтожили.

На лице Гарлея выразилось уныние. Эджертон произносил свои предположения холодным тоном, без всяких интонаций в голосе; казалось, будто он вовсе не думал о том, что говорил. Он употребил при этом случае тот сухой практический способ выражения своих мыслей, с которым он давно уже свyksя, и посредством которого опытный светский человек так ловко и сильно уничтожает с одного раза все надежды энтузиаста.

Но вот в парадную дверь раздался громкий призывный стук первого званого гостя.

– Слышишь! сказал Эджертон: – теперь ты должен изви-

нить меня.

– Я уйду сию минуту, мой добрый Одлей. Схожи, лучше ли тебе теперь?

– Гораздо, гораздо лучше.... я совсем здоров. Я непременно найду за тобой, но, вероятно, не раньше одиннадцати и не позже полночи.

–

Если кто удивлялся в тот вечер присутствию лорда л'Эстренджа в доме маркизы ди-Негра, удивлялся более, чем сама прекрасная хозяйка дома, – так это Рандаль Лесли. Какое-то неопределённое, инстинктивное чувство говорило ему, что это посещение грозило вмешательством в его задуманные и пущенные в дело планы касательно Риккабокка и Виоланты. Впрочем, Рандаль Лесли не принадлежал к числу людей, безотчетно отступающих от борьбы, в которой участвуют одни умственные способности. Напротив, он был слишком уверен в своем умении поддерживать интригу, – слишком уверен, чтобы лишиться себя удовольствия видеть её исполнение. Как бы то ни было, спустя несколько минут после появления л'Эстренджа, Рандаем овладело непонятное для него чувство боязни. Ни один человек не умел произвести более блестящего эффекта, как лорд л'Эстрендж, разумеется, когда он имел к тому расположение. Без всякой претензии на красоту, поражающую с первого взгляда, он обладал тою прелестью в лице и грацией в обращении, которые еще в лета его юности сделали его избалованным любимцем



общества. Маркиза ди-Негра собирала вокруг себя весьма небольшой кружок, но этот кружок можно было, без всякого преувеличения, назвать *élite* высшего общества. Правда, в нем не было строгих к самим себе и к другим, и скромных *dames du château*, которых более ветренные и легкомысленные прекрасные учредительницы моды, в насмешку, называют недоступными, – но зато там были люди сколько безукоризненной репутации, столько же и высокого происхождения; короче сказать, там были «очаровательные женщины», легкокрылые бабочки, которые порхают в великолепном цветнике. Там находились посланники и министры, – молодые люди, славящиеся своим остроумием, – блестящие парламентские ораторы и первоклассные денди (первоклассные денди вообще бывают люди весьма любезные). Между всеми этими различными особами, Гарлей, так давно уже чуждый лондонскому свету, вел себя совершенно как дома, с непринужденностью Алкивиада. Многие из не совсем еще отцветших дам вспомнили его и как будто решились обременить его напоминаниями на прежние знакомства и устремились к нему с требованиями на продолжение этого знакомства, выражая эти требования умильным взглядом, кокетливым движением головки, невинными улыбками. У Гарлея для каждой готов был комплимент. Мало, или, вернее сказать, не было в числе гостей ни одного существа, чьего внимания Гарлей л'Эстрендж не обратил бы на себя. Известной репутации как воин и ученый, в глазах людей серьезных, –

умный и приятный гость в глазах людей беспечных, новинка для домоседов и для других более несообщительных особ, – неужели он не казался лордом л'Эстренджем, человеком холостым, наследником старинного графского титула и с пятидесятью тысячами годового дохода?

Еще не заметив эффекта, который произведем был с умыслом на все общество, Гарлей серьёзно и исключительно посвятил себя хозяйке дома. Он занял место подле неё, – между тем как другие, не столь безотвязные поклонники, незаметно оставили Гарлея и маркизу наедине.

Франк Гэзельден удерживал свое место позади кресла очаровательной маркизы, как говорится, до нельзя; но когда он услышал, что оба они заговорили по итальянски, на языке, из которого не понимал ни слова, он тихонько удалялся к Рандалю: бедненький! только теперь он заметил, что итонское воспитание не привело его в желаемой цели: он видел, что мертвые языки, изучаемые им в весьма ограниченных размерах, ни к чему не служили; а наречий современных и весьма употребительных он не трудился изучать.

– Скажи пожалуста, сказал он Рандалю: – как ты думаешь, сколько лет этому л'Эстренджу? Не обращая внимания на его наружность, он кажется довольно стар... Ведь он был под Ватерлоо?

– Однако, он еще очень молод для того, чтобы быть страшным соперником! отвечал Рандаль, вовсе не подозревая, что словами его выражалась неоспоримая истина.

Франк побледнел, и в голове его мелькнули страшные, кровожадные замыслы, между которыми пистолеты и шпага занимали первое место.

И действительно, пламенный обожатель маркизы имел довольно основательные причины к возбуждению ревности. Гарлей и Беатриче разговаривали в полголоса; Беатриче казалась чрезвычайно взволнованною, а Гарлей говорил с увлечением. Даже сам Рандаль более и более испытывал тревожное ощущение. Неужели лорд л'Эстрендж и в самом деле влюбился в маркизу? Если так, то прощайте все светлые надежды на брачный союз Франка с пленительной итальянкой! – А может статься, он разыгрывал только роль, которую он взял на себя, принимая живое участие в судьбе Риккабокка. Не притворяется ли он влюбленным с тою целью, чтобы приобрести над ней некоторое влияние – управлять по своему произволу её честолюбием и избрать ее орудием к примирению Риккабокка с её братом? Согласовалось ли это заключение с понятиями Рандаля о характере Гарлея? Сообразно ли было с рыцарскими и воинскими понятиями Гарлея о чести овладеть, как говорятся, приступок любовью женщины? Могла ли одна только дружба к Риккабокка принудить человека, на лице которого так ясно отпечатывалась благородная и возвышенная душа его, – могла ли она принудить его употребить низкие средства, даже и в таком случае, если от этих средств зависело благополучное окончание дела? При этом вопросе в голове Рандаля мелькнула новая мысль –

не рассчитывал ли сам лорд л'Эстрендж на получение руки Виоланты? не служит ли тому явным доказательством усердное ходатайство его перед Венским кабинетом по поводу наследства Виоланты, — ходатайство, столь неприятное как для Пешьера, так и Беатриче? Препятствия, которые австрийское правительство поставляло к замужству Виоланты с какимнибудь неизвестным англичанином, по всей вероятности, не должны существовать для человека, подобного лорду л'Эстренджу, которого фамилия не только принадлежала к высшей английской аристократии, но всегда поддерживала мнения главнейших европейских государств. Правду надобно сказать, Гарлей сам не принимал ни малейшего участия к политике; но его мнения всегда были такого рода, каких только может держаться благородный воин, который проливал кровь за восстановление дома Бурбонов. И конечно, несметное богатство, которого Виоланта непременно бы лишилась, еслиб вышла за человека, подобного Рандалю, совершенно упрочнялось за ней при замужестве за наследником Лэнсмеров. Неужели Гарлей, при всех своих блестящих ожиданиях, мог оставаться равнодушным к такой невесте? к тому же, нет никакого сомнения, что он уже давно узнал, о редкой красоте Виоланты посредством переписки с Риккабокка.

Принимая это все в соображение, весьма натуральным казалось, согласно с понятиями Рандаля о человеческой натуре, что Гарлей, при своей разборчивости и даже холодно-

сти ко всему, что касалось женщин, не мог устоять против искушения столь сильного. Одна только дружба не могла еще служить сильной побудительной причиной к уничтожению его разборчивости; вернее можно допустить, что тут участвовало честолюбие.

В то время, как Рандаль делал свои соображения, а Франк находился под влиянием невыносимой муки любящего сердца, когда шепот гостей насчет очевидной любезности между пленительной хозяйкой дома и даровитым гостем долетал до слуха мыслящего спекулянта и ревнивого любовника, разговор между двумя предметами, обратившими на себя внимание и возбуждившими шепот, припал новый оборот. Беатриче сама сделала усилие переменить его.

— Давно, милорд, сказала она, продолжая говорить по-итальянски: — очень давно я не слыхала таких идей, какие вы сообщаете мне; и если я и считаю себя вполне недостойной их, то это происходит от удовольствия, которое я ощущала, читая идеи совершенно чуждые разговорному миру, в котором живу.

Сказав это, Беатриче взяла книгу со стола.

— Читали ли вы это сочинение?

Гарлей взглянул на заглавный листок.

— Читал и знаю самого автора.

— Завидую вам, милорд. Мне бы очень приятно было познакомиться с человеком, открывшим для меня глубины моего собственного сердца, в которые, признаюсь, я никогда

не заглядывала.

– Очаровательная маркиза, если эта книга произвела на вас такое действие, то согласитесь, что я говорил с вами без всякой лести, что я совершенно беспристрастно оценил способности вашей души. Вся прелесть этого сочинения заключается в простом пробуждении добрых и высоких чувств; для тех, кто лишился этих чувств, оно не имело бы в себе никакого достоинства.

– В этом отношении я с вами несогласна: почему же эта книга пользуется такую популярностью?

– Потому, что добрые и высокие чувства составляют неотъемлемую принадлежность всякого человеческого сердца: они пробуждаются в нем при первом воззвании....

– Пожалуста, милорд, не старайтесь убедить меня в этом! Я привыкла видеть в свете в людях так много низкого, порочного!

– Простите мне один нескромный вопрос: скажите, что вы называете светом?

Беатриче сначала с изумлением взглянула на Гарлея, потом окинула взором гостиную; в этом взоре отражалась глубокая ирония.

– Я так и думал: эту маленькую комнату вы называете «светом». Пусть будет по-вашему. Осмелюсь сказать вам, что если бы все собрание в этой гостиной внезапно обратилось в зрителей театральной сцены, и что если бы вы с таким же совершенством исполняли роль актрисы, с каким ис-

полняете все другие роли, которые приняты и нравятся в свете....

– Что же из этого следует?

– Еслиб вы вздумали произнести на этой сцене несколько нелепых и унижающих достоинство женщины мыслей, вас бы непременно ошикали. Но пусть всякая другая женщина, неимеющая и половину ваших дарований, – пусть она войдет на те же помостки и выразит мысли пленительные и женские или благородные и возвышенные, и, поверьте, что рукоплесканиям не будет конца и на глазах у многих, чье сердце уже давно охладело, навернется горячая слеза. Самое верное доказательство неотъемлемого благородства возвышенности вашей души заключается в сочувствии всему прекрасному, возвышенному. Не думайте, что свет так низок, так порочен; будь это так, поверьте, что никакое бы общество не могло просуществовать в течение дня. Однако, вы заметили давеча, что вам приятно было бы познакомиться с автором этой книги. Не угодно ли, я доставлю вам это удовольствие?

– Сделайте одолжение.

– А теперь, сказал Гарлей, вставая и сохраняя на лице своем непринужденную, привлекательную улыбку: – как вы полагаете теперь, останемся ли мы друзьями навсегда?

– Вы меня так напугали, что я едва ли могу ответить вам на этот вопрос. Скажите мне сначала, почему вы ищете моей дружбы?

– Потому, что вы нуждаетесь в друге. Ведь у вас нет друзей, – не правда ли?

– Если льстецов, можно называть друзьями, то у меня их очень, очень много, отвечала Беатриче с печальной улыбкой.

При этих словах её взоры встретились со взорами Рандаля.

– О, я не верю этому! отвечал Гарлей. – Вы слишком дальновидны, слишком пронизательны, чтобы позволить дружбе развиваться в этом кружке. Неужели вы полагаете, что во время разговора с вами я не заметил наблюдательного взора мистера Рандаля Лесли? Я не знаю, что бы такое могло привязать вас к этому человеку, но уверяю вас, что я узнаю это в весьма непродолжительном времени.

– В самом деле? вы говорите как член древнего Венецианского Совета. Вы, кажется, употребляете всевозможные усилия, чтобы принудить меня страшиться вас, сказала Беатриче, в свою очередь употребляя всевозможные средства, чтобы устранить от себя впечатление, производимое на нее Гарлем.

– А я заранее говорю вам, сказал л'Эстрендж с величайшим хладнокровием, – что с этой минуты мне нечего страшиться вас, и я не страшусь.

Гарлей поклонился и начал пробираться между гостями в Одлею, который сидел в отдалении и вполголоса беседовал с одним из своих, политических сподвижников. Но не успел еще он приблизиться к своему другу, как необходимость



принудила его столкнуться с мистером Лесли и молодым Гэзельденом.

Гарлей поклонился первому и протянул руку второму. Рандаль заметил это отличие; его самолюбие было затронуто! чувство ненависти в Гарлею проникло в его холодное сердце. Ему приятно было видеть нерешительность с которой Франк слегка прикоснулся к протянутой руке. Надобно сказать, что Рандаль не был исключительным лицом, которого наблюдения за Беатриче были подмечены дальновидным взором Гарлея. Гарлей видел суровые, даже, в некоторой степени, грозные взгляды Франка Гэзельдена и угадывал причину их, и потому он снисходительно улыбнулся при легком прикосновении руки молодого человека.

– Вы, мистер Гэзельден, совершенно одного со мной характера: вы полагаете, что вместе с дружеским пожатием руки уносится частичка вашего сердца.

Сказав это, Гарлей отвел Рандалья в сторону.

– Извините, мистер Лесли, если я решаюсь утруждать вас парой слов. Скажите откровенно, еслиб я пожелал узнать местопребывание доктора Риккабокка, с тем, чтоб оказать ему величайшую услугу, согласились ли бы вы доверить мне эту тайну?

Эта женщина, вероятно, высказала свои предположения о том, что мне известно местопребывание Риккабокка, подумал Рандаль и с удивительной находчивостью и присутствием духа отвечал, нисколько не медля:

– Милорд, сию минуту стоял перед вами самый короткий знакомец доктора Риккабокка. Но моему мнению, мистер Гэзельден именно то самое лицо, к которому вам следовало бы обратиться с подобным вопросом.

– Напротив, мистер Лесли: я полагаю, что не он, а именно вы можете дать мне удовлетворительный ответ. После этого позвольте мне обратиться к вам с покорнейшею просьбою, на которую, я уверен, вы согласитесь без малейшего колебания. Если вам случится видеться с Риккабокка, то скажите ему, что я благополучно прибыл в Англию, и представьте на его произвол свидание его со мной или переписку; впрочем, может статься, уже вы и сделали это?

– Лорд л'Эстрендж, сказал Рандаль, делая поклон с изысканной учтивостью: – извините меня, если я не хочу признаться в знании, которое вы приписываете мне, или если я отклоняюсь от него. Еслиб мне, действительно, была известна какая либо тайна, доверенная доктором Риккабокка, то, поверьте, я умел бы сообразиться с моим благоразумием, каким образом лучше сохранить ее.

Гарлея вовсе не приготовился к подобному тону в *protégé* мистера Эджертона и, по своему благородному характеру, скорее остался доволен, чем раздражен надменностью, с которой обнаруживался до известной степени независимый дух молодого человека. Ему не хотелось расстаться с человеком, на котором сосредоточивались весьма сильные его подозрения, и потому он ответил на замечание Рандалья учти-

вым извинением; но в этой учтивости скрывалась насмешка. Оставив Рандаля, по видимому, весьма недовольным таким ответом, лорд л'Эстрендж подошел ж Одлею и через несколько минут вместе с ним оставил собрание маркизы.

– О чем разговаривал с тобой л'Эстрендж? спросил Франк. – Вероятно, о Беатриче?

– Совсем нет! он надоедал мне своей поэзией.

– Так почему же ты кажешься таким сердитым, мой добрый друг? вероятно, из любви ко мне. Неужели ты правду говоришь, что он опасный соперник? Сам ты согласен, ведь у него нет своих волос.... как ты думаешь, ведь у него парик? Я уверен, что он хвалил Беатриче. По всему заметно, что он поражен её красотой. Но я не думаю, чтобы она принадлежала к числу женщин, которые гоняются за богатством и титулами. Не правда ли... Что же ты ничего не говоришь?

– Если ты в скором времени не получишь её согласия, то лишишься ее навсегда, сказал Рандаль протяжно.

И, прежде чем Франк успел оправиться от изумления, Райдаль уже вышел из дому.

## Глава ХСVI

Первый вечер Виоланты в доме Лэнсмеров казался для неё несравненно приятнее вечера, который в первый раз провела в том же самом доме мисс Гэлен Дигби. Правда, Виоланта сильно чувствовала разлуку с отцом и, само собою разумеется, с Джемимой, хотя не в столь сильной степени; но она до такой степени привыкла считать положение отца своего в тесной связи с Гарлеем, что в это время находилась под влиянием безотчетного чувства, которое как будто уверяло ее, что, вследствие её посещения родителей Гарлея, положение дел её отца непременно должно принять лучший оборот. К тому же и графиня, надобно признаться, обходилась с ней далеко радушнее, чем с сиротой бедного капитана Дигби. Впрочем, может статься, что действительная разница в душе той и другой девицы происходила оттого, что Гэлен, видя перед собой лэди Лэнсмер, чувствовала какой-то страх, а Виоланта полюбила ее с первого раза, потому что графиня была мать лорда л'Эстренджа. Виоланта, к тому же, была из числа тех девиц, которые умеют обойтись, как говорится, с такими степенными и формальными особами, как графиня Лэнсмер. Не такова была бедная маленькая Гэлен: она уже слишком была застенчива, — так что на самые нежные ласки она отвечала иногда одними только односложными словами. Любимой темой разговора лэди Ленсмер, везде и во вся-

кое время, служил сам Гарлей. Гэлен слушала этот разговор с почтительностью, участием и вниманием. Виоланта слушала его с жадным любопытством, с восторгом, от которого щечки её покрывались ярким румянцем. Материнское сердце заметило это различие между двумя молодыми девицами, и несколько не удивительно, если это сердце лежало более к Виоланте, чем к Гэлен. Что касается лорда Лэнсмера, то он, как и все джентльмены его лет, подводил всех молоденьких барышень под один разряд: он видел в них безвредных, милых, но до крайности недалёковидных созданий, – созданий, которым самой судьбой предназначено казаться хорошенькими, играть на фортепьяно и рассуждать одной с другой о модных платьях и пленительных мужчинах. Несмотря на то, это одушевленное, ослепляющее создание, с своим бесконечным разнообразием взгляда и своею игривостью ума, изумило его, обратило на себя его внимание, очаровало его, принудило его не только переменить мнение о прекрасном поле, но и быть любезным в высшей степени. Гэлен спокойно сидела в сторонке, за своим рукодельем. От времени до времени она прислушивалась, с грустным, но в то же время независтливым вниманием и восхищением, к живому, бессознательному потоку слов и мыслей Виоланты, а иногда совершенно углублялась в свои сердечные тайные думы. Между тем рукоделье без малейшего шума подвигалось под её маленькими пальчиками вперед да вперед. Это была одна из любимых привычек Гэлен, раздражавшая нервы

лэди Лансмер. Графиня ненавидела тех барышень, которые любили заниматься рукодельем. Она не постигала, как часто это занятие служит источником самого невинного удовольствия, – не потому, чтобы ум не принимал в нем участия, но потому, что оно доставляет минуты, в течение которых посвятивший себя этому занятию безмолвно углубляется в самого себя. Виоланта удивлялась и, быть может, испытывала в душе чувство обманутого ожидания, что Гарлей вышел из дому еще до обеда и не возвращался в течение вечера. Впрочем, лэди Лэнсмер, представляя в извинение его отсутствия некоторые дела, не терпящие отлагательства, воспользовалась превосходным случаем поговорить о сыне поподробнее, об его редких дарованиях в юношеском возрасте, – дарованиях, так много обещающих в будущем, о своем сожалении касательно бездейственности Гарлея в зрелом возрасте и наконец о надеждах, что он еще отдаст справедливость своим врожденным способностям. Все это до такой степени нравилось Виоланте, что она почти не замечала отсутствия Гарлея.

И когда лэди Лансмер проводила Виоланту в назначенную комнату и, нежно поцаловав ее в щеку, сказала:

– Вот вы-то и могли бы понравиться Гарлею, только вы и можете разогнать его печальные думы.

Виоланта сложила на грудь руки свои, и её светлые взоры, в которых отражалось столько беспредельной нежности, по видимому, спрашивая: У него есть печальные думы, –

да почему же? скажите.

Оставив комнату Виоланты, лэди Лэнсмер остановились у дверей комнаты Гэлен и, после непродолжительного колебания, тихо вошла.

Гэлен уже отпустила свою горничную; и в ту минуту, когда лэди Лэнсмер отворила дверь, она стояла на коленях подле своей постели; её лицо прикрыто было обеими руками.

В этом положении Гэлен до такой степени казалась невинным ребенком, в нем столько было священного и трогательного, что даже надменное и холодное выражение в лице лэди Лэнсмер совершенно изменилось. Она, по невольному чувству, опасалась нарушить совершение молитвы и тихо, безмолвно подошла к камину.

Гэлен встала наконец и крайне была изумлена неожиданным появлением графини. Она торопливо отерла глаза свои, она плакала.

Однако же, лэди Лэнсмер не угодно было заметить следы слез, которые, как полагала испуганная Гэлень, были весьма очевидны. Графиня была слишком углублена в свои собственные размышления.

– Извините, мисс Дигби, что я потревожила вас не вовремя, сказала она, в то время, как Гэлен приблизилась к ней; глаза графини устремлены были на потухавший огонь. – Извините; но сын мой поручил мне познакомить лорда Лэнсмера с предложением, которое вы удостоили принять от Гарлея. Я еще не говорила с милордом; вот уже прошло несколько

ко дней, а я до сих пор не выбрала удобного случая исполнить просьбу моего сына. Между тем я уверена, и вы сами, по своему благоразумию, согласитесь со мной, что чужие люди ни под каким видом не должны знать о семейных делах подобного рода, прежде чем. получится полное согласие лорда Лэнсмера.

Графиня замолчала. Бедная Гэлен, вполне понимая, что на эту холодную речь ожидают от неё ответа, едва внятным голосом произнесла:

– Конечно, милэди, я никогда не думала о...

– Ну да, моя милая! прервала лэди Лэнсмер, быстро поднявшись с места, как будто, вместе с словами Гэлен, тяжёлый камень отпал от её сердца. – Я никогда не сомневалась в вашем превосходстве над обыкновенными барышнями ваших лет, для которых подобного рода дела не могут оставаться тайною ни на минуту. Поэтому, без сомнения, вы, в настоящее время, не скажете слова комунибудь из ваших подруг, с которыми имеете сношение, не скажете слова о том, что сказано было между вами и моим сыном.

– Я ни с кем не имею сношений, лэди Лэнсмер, у меня нет подруг, отвечала Гэлен, плачевным тоном и с трудом удерживая слезы.

– Мне приятно слышать это, моя милая; молодые барышни не должны вести переписку. Подруги, особливо те подруги, которые имеют привычку переписываться, очень часто оказываются самыми опаснейшими врагами. Спокойной но-



чи, мисс Дигби. Мне не нужно прибавлять к тому, что было сказано, что хотя мы и обязаны оказывать всякое снисхождение этой молоденькой итальянке, но она не имеет никаких коротких отношений к нашему семейству; поэтому вы должны обходиться с ней так же благоразумно и осторожно, как и со всеми вашими корреспондентками, если бы, к несчастью, вы имели их.

ЛэдиЛэнсмер сказала последние слова с улыбкой и, напечатлев холодный поцалуй на грустном лице Гэлен, вышла из комнаты. Гэлен заняла место, на котором сидела эта надменная, нелюбящая женщина, и снова закрыла лицо обеими руками и снова заплакала. Но когда она встала и когда яркий луч света упал на её лицо, это нежное, пленительное лицо было грустное, правда, но светлое, как будто его озарило в эту минуту внутреннее сознание долга, которым Гэлен была обязана людям, оказавшим ей столько благодеяний, – грустное, как будто в эту минуту она вполне предавалась судьбе своей и, под влиянием этой преданности, терпение совершенно уступало место надежде.

—

На другой день к завтраку явился Гарлей. Он был в необыкновенно веселом расположении духа и без всякого принуждения разговорился с Виолантой, чего давно за ним не замечали. По видимому, он находил особенное удовольствие нападать на все, что говорила Виоланта, и требовать на все доказательства. Виоланта была от природы девица

незастенчивая, откровенная; заходила ли речь о предмете серьёзном или забавном, она всегда говорила с сердцем на устах и с душой во взорах. Она еще не понимала легкой иронии Гарлея, и потому, сама того не замечая, начинала горячиться и сердиться; и она так мила была в гневе, её гнев до такой степени придавал блеск её красоте и одушевлял её слова, что нисколько не покажется удивительным, если Гарлей находил удовольствие мучить ее. Но что всего более не нравилось Виоланте, более, чем самое желание раздражать ее, хотя она не могла дать себе отчета, почему не нравилось, так это род фамильярности, которую Гарлей позволял себе в обращении с ней, – фамильярность, как будто он знал ее в течение всей её жизни, – фамильярность веселого, беспечного старшего брата или дядюшки-холостяка. Напротив того, к отношению к Гэлен его обращение было весьма почтительное. Он не называл ее просто по имени, как это делал в разговоре с Виолантой, но всегда употреблял эпитет «мисс Дигби», смягчал свой тон и наклонял голову каждый раз, когда обращался к ней с каким-нибудь вопросом или замечанием. Не позволял он себе также подшучивать над весьма немногими и коротенькими сентенциями Гэлен, но скорее внимательно выслушивал и без всякой оценки удостоивал их своей похвалы. После завтрака он спросил Виоланту сыграть что-нибудь на фортепьяно или пропеть, и когда Виоланта откровенно призналась, как мало занималась она музыкой, он убедил Гэлен сесть за рояль, стал

позади её и перевертывал ноты с расположением истинного аматера. Гэлен всегда играла превосходно, но в этот день музыкальные исполнения её не отличались особенной прелестью: она чувствовала себя смущенною более обыкновенного. Ей казалось, что ее принуждали выказать свои таланты именно с тою целью, чтоб поразить Виоланту. С другой стороны, Виоланта до такой степени любила музыку, что эта любовь поглощала собою все другие чувства и принуждала без малейшей зависти признавать над собою превосходство Гэлен. Гэлен окончила играть; Виоланта вздохнула, а Гарлей от души поблагодарил Гэлен за восторг, в который она привела его своей музыкой.

День был прекрасный. Лэли Лэнсмер предложила прогуляться в саду. В то время, как девицы отправились наверх надеть шляпки и шали, Гарлей закурил сигару и вышел в сад. Лэди Лэнсмер присоединилась к нему прежде, чем Гэлен и Виоланта.

– Гарлей, сказала она, взяв его за руку: – с каким очаровательным созданием ты познакомил нас! Во всю жизнь мою и не встретила еще ни души, кто мог бы так понравиться и доставить мне удовольствие, как эта милая Виоланта. Большая часть девиц, обладающих более обширными познаниями и которые позволяют себе так много думать о своем значении в обществе, всегда бывают очень заняты собою, имеют в себе так мало женского; но Виоланта так мила, простосердечна, умна и ко всему этому не забывает, что она девица....

Ах, Гарлей!

– Что значит этот вздох, неоцененная мама?

– Я думала о том, какая прекрасная пара могла бы выйти из вас.... Как счастлива была бы я, имея такую невестку, и как бы счастлив был ты, имея такую жену.

Гарлей изумился.

– Оставьте, мама, сказал он, с заметным неудовольствием: – ведь она еще ребенок: вы забываете лета.

– нисколько, отвечала лэди Лэнсмер, в свою очередь изумленная: – Гэлен точно так же молода, как Виоланта.

– По летам – да. Но характер Гэлен так ровен: что мы видим теперь, останется в ней навсегда... и Гэлен, из благодарности, из уважения или сожаления, соглашается принять руины моего сердца, между тем как эта блестящая женщина имеет душу Джулии и, вероятно, надеется встретить в муже своем все страсти Ромео. Перестаньте говорить об этом, дорогая мама. Неужели вы забыли, что я обручен уже, и обручен по-моему собственному выбору, по своему произволу?... Бедная, неоцененная Гэлен!.. Кстати: говорили ли вы с моим отцом, о чем я просил?

– Нет еще. Я должна выбрать благоприятную минуту. Ты знаешь, что в этом деле нужно употребить некоторую хитрость, надобно приготовить его.

– Дорогая мама, это женское обыкновение приготовить нас, мужчин, стоит вам, дамам, многого времени и часто служит нам источником сильных огорчений. Нас легче всего

подготовить можно простой истиной. Как странно ни покажется вам это, но истину мы научились уважать вместе с воспитанием.

Леди Лэнсмер улыбнулась с сознанием превосходства своего ума и опытности образованной женщины.

– Предоставь это мне, Гарлей, сказала она: – и вполне надейся на согласие милорда.

Гарлей знал, что лэди Лэнсмер во всякое время умела брать верх над своим супругом. Он чувствовал, что подобный союз непременно огорчит его родителя, разрушив все его блестящие ожидания, и что эта обманчивость ожиданий обнаружится в его обращении с Гэлен. Гарлей поставил себе в неприменную обязанность сохранить Гэлен от малейшей возможности испытать чувство оскорбленного достоинства. Он не хотел, чтобы Гэлен могла допустить себе мысль, что ее не совсем радушно принимают в его семейство.

– Я совершенно поручаю себя вашему обещанию и вашей дипломатии. Между тем если вы любите меня, то будьте поласковее к моей невесте.

– Разве я не ласкова?

– Гм... Так ли вы были бы ласковы, еслиб она была великой, замечательной наследницей, за какую вы считаете Виоланту?

– Не потому ли, возразила лэди Лэнсмер, избегая прямого ответа, – не потому ли, что одна из них – наследница, а другая – бедная сирота, ты оказал последней такое предпочте-

ние?... Обходиться с Виолантой, как с избалованным ребенком, а с мисс Дигби...

– Как с нареченной женой лорда л'Эстренджа и невесткой лэди Лэнсмер – конечно.

Графиня удержалась от восклицания досады, которое готово было слететь с её уст. Она заметила, что лицо Гарлея приняло то серьёзное выражение, которое он тогда только принимал на себя, когда находился в том расположении духа, при котором требовалась ласка, но не сопротивление его желаниям.

– Сегодня я намерен оставить вас, сказал он, после непродолжительного молчания. – Я нанял для себя квартиру в отеле Кларендон. Я намерен удовлетворить ваше желание, которое вы так часто выражали, и именно: воспользоваться всеми удовольствиями, которые может доставить мне мое звание, и преимуществами жизни холостого человека, – короче сказать, ознаменовать мое прощанье с безбрачием и блеснуть еще раз, вместе с блеском заходящего солнца, в Гэйд-Парке и на Мэй-Фэйр.

– Ты всегда останешься неразрешимой загадкой. Оставить наш дом в то время, когда невеста твоя сделалась обитательницей этого дома!.. С чем же сообразить подобное поведение?

– Удивляюсь! Неужели взор женщины может быть до такой степени недалководен и чувства её до такой степени притуплены? отвечал Гарлей с полу-насмешливым, с по-

ду-довольным видом. – Неужели вы не догадываетесь, что я хочу, чтобы Гэлен перестала на некоторое время видеть во мне своего воспитателя и благодетеля, что даже самая близость наших отношений под одной и той же кровлей за-прещает нам казаться влюбленными, что мы лишаемся возможности испытывать всю прелесть встречи и всю муку разлуки? Неужели вы не помните анекдота об одном французе, который влюблен был в одну лэди и не пропускал ни одного вечера, чтоб не провести его у неё в доме? Она овдовела. «Поздравляю тебя – вскричал однажды друг этого француза – теперь ты можешь жениться на женщине, которую так долго обожал! «Увы – отвечал бедный француз, с искренним и глубоким прискорбием – где же теперь я буду проводить вечера?»»

В это время в саду показались Виоланта и Гэлен; обе они шли в самом дружелюбном настроении духа.

– Я не вижу цели твоего язвительного, бездушного анекдота, как будто нехотя сказала графиня. – В отношении к мисс Дигби это еще можно допустить... Но уехать из дому в тот самый день, когда явилась в нем такая миленькая гостья! – что *она* подумает об этом?

Лорд л'Эстрендж пристально взглянул в лицо своей матери.

– Какое мне дело до того, что она будет думать обо мне, о человеке, который женится не на ней и который в таких уже летах, что....

– Гарлей, прошу тебя никогда не говорить мне о своих годах, это невольным образом заставляет меня вспомнить о своих; к тому же я никогда еще не видела тебя в таком цветущем здоровьи и в такой красоте.

Вместе с этим она подвела его к девицам и, взяв Гэлен под руку, спросила ее, знает ли она, что лорд л'Эстрендж нанял квартиру к Кларендоне, и догадывается ли, зачем он сделал это?

Говоря это, она отвела Гэлен в сторону, оставив Гарлея подле Виоланты.

– Вам будет скучно здесь, бедное дитя мое, сказал Гарлей.

– Скучно!.. Но скажите пожалуйста, почему вы называете меня дитей?... Неужели вы заметили во мне чтонибудь ребяческое?

– Разумеется, в отношении ко мне – вы совершенный ребенок. Разве я не видел, когда вы были ребенком? разве я не нянчил вас на моих руках?

– Но ведь это было очень, очень давно.

– Правда. Но согласитесь, что если с тех пор время не останавливало своего течения для вас, то не делало и для меня подобного снисхождения. Между нами точно такая же разница и теперь, какую она была в то время. Поэтому позвольте же мне по-прежнему называть вас дитей и обходиться с вами как с дитей.

– Нет, не позволю! мне очень не нравится такое название и такое обхождение. Вы знаете, что- до сегодняшнего утра я



всегда думала, что нахожусь в приятном расположении духа.

– Что же вас огорчило сегодня? уж не сломали ли вы свою куклу?

– Вы, кажется, находите удовольствие сердить меня! сказала Виоланта, и в черных глазах её сверкнуло негодование.

– Так значит, я не ошибаюсь: вас огорчила кукла!.. Не плачьте: я куплю вам другую.

Виоланта отдернула свою руку и с видом величайшего пренебрежения пошла к графине, лицо Гарлея нахмурилось. Несколько минут он оставался на месте в унылом, задумчивом расположении духа и потом подошел к дамам.

– Я замечаю, что моим присутствием неприятно отнимаю от вас утро; в оправдание скажу, что вы еще не вставали, а я уже послал за моим другом. Он должен явиться сюда в двенадцати часам. С вашего позволения, я буду обедать с вами завтра; вы, без сомнения, пригласите его встретиться со мной за обедом.

– Без сомнения. Кто же ваш друг?... Ах, я догадываюсь – это молодой писатель.

– Леонард Ферфильд! вскричала Виоланта, которая преодолела минутный гнев, или, лучше сказать, она стыдилась обнаруживать его.

– Ферфилд, повторила лэди Лэнсмер: – мне помнится, Гарлей, ты называл его Ораном.

– Это имя он принял недавно. Он сын Марка Ферфильда, который женат был на дочери Эвенеля. Неужели вы не за-

метили фамильного сходства, – не заметили этого сходства в глазах молодого человека?

Последние слова Гарлей произнес, понизив свой голос до шепота.

– Нет, я даже не обратила на это внимания, отвечала графиня, с душевным волнением.

Гарлей, заметив, что Виоланта начала говорить с Гелен о Леонарде, и что ни та, ни другая не слушали его, он продолжал тем же тоном:

– И его мать, сестра Норы, не хочет видеть меня! Вот причина, почему я не хотел, чтобы вы не заходили к нему из дома Риккабокка. Она не говорила молодому человеку, почему именно не хочет видеть, – да я и сам не объяснял ему своих догадок по этому предмету. Быть может, я никогда не объясню их.

– В самом деле, милый Гарлей, сказала графиня, с необыкновенной нежностью: – я как нельзя более желаю, чтоб ты позабыл это дурачество – нет, я не хочу сказать этого слова – я желаю, чтоб ты позабыл печали твоей юности; мне легче думать, что ты скорее оставишь грустные воспоминания, нежели возобновишь их неуместным доверием к постороннему человеку, тем более к родственнику....

– Довольно!.. не называйте ее.... одно имя её растревляет раны моего сердца. Что касается доверия, то в целом мире у меня только два существа, которым я еще могу открыть свою душу: это – вы и Эджертон. Теперь оставимте

об этом... А! вот и звонок: без сомнения, это он!

# Часть одиннадцатая

## Глава ХСVII

Леонард явился в сад и подошел к гулявшим. Графиня, может статься, для того, чтоб угодить сыну, была более, чем учтива: она была особенно ласкова. Она слушала Леонарда внимательнее прежнего и, при всей своей разборчивости насчет происхождения, была изумлена открытием, что сын простого плотника сделался настоящим джентльменом. В нем недоставало, быть может, того тона и способа выражаться, которым отличаются люди, рожденные и воспитанные в известной сфере общества; но этот недостаток не так сильно бросается в глаза природным аристократам. В последнее время Леонард жил в самом лучшем обществе, которое существует для того собственно, чтоб полировать отечественный язык и улучшать обращение в обществе, в котором самым прекраснейшим идеям даются пленительные формы, которое предписывает, хотя и не совсем открыто, законы высшему кругу общества, — короче сказать, в обществе классических писателей. Несмотря на особенную привлекательность в голосе Леонарда, в его взгляде и манерах, — привлекательность, которая, по понятиям графини, принадлежала одному только высокому происхождению, и которая,

под именем «приятного обращения», тайком прокладывает себе дорогу в чужия сердца, – несмотря на это, её расположение к нему возбуждалось в некотором роде скрытной грустью, которая редко остается незамеченною и никогда не бывает лишена чарующей прелести. Леонард и Гэлен обменялись несколькими словами. Во время непродолжительной прогулки, им представлялся всего один только случай переговорить друг с другом в стороне от прочих; но Гэлен сама не хотела воспользоваться этим случаем. Лицо Леонарда просветлело при радушном приглашении графини отобедать с ними на другой день. Принимая это предложение, Леонард взглянул на Гэлен; но взор Гэлен не встретился с его взором.

– А теперь, сказал Гарлей, отсвиснув Нерона, которого Гэлен безмолвно ласкала: – теперь я должен увезти Леонарда. Прощайте! до завтра. Мисс Виоланта, какие должны быть глаза у вашей куклы – голубые или черные?

Виоланта с выражением недоумения обратила черные свои глаза на лэди Лэнсмер и потом прижалась к ней, как будто стараясь укрыться от незаслуженного оскорбления.

– Пусть карета отправляется в Кларендон, сказал Гарлей своему лакею: – я и мистер Оран пойдем пешком. Я думаю, Леонард, вы будете весьма довольны случаем услужить вашим старинным друзьям – доктору Риккабокка и его дочери?

– Услужить им! О, конечно.

И в этот момент Леонард вспомнил слова Виоланты, когда, оставляя мирную деревню, он печалился при разлуке с теми, кого любил, и когда маленькая, черноглазая, итальянка, выказывая все свое достоинство и в то же время желая утешить юношу, сказала: «*Вы должны служить* тем, кого любите!» Леонард бросил на л'Эстренджа светлый, вопросительный взгляд.

– Я объявил нашему другу, снова начал Гарлей, – что ручаюсь за благородство вашей души, как за свое собственное. Теперь я намерен доказать мои слова и доверить вам тайны, которые ваша пронизательность, я полагаю, давно уже открыла: наш друг совсем не то, чем он кажется.

И Гарлей в коротких словах сообщил Леонарду подробности истории Риккабокка, объяснил ему, какое положение Риккабокка занимал в своем отечестве, обстоятельство, по которому он, частью чрез коварство своего родственника, пользовавшегося всем его доверием, частью чрез влияние своей жены, которую любил всей душой, вовлечен был в сделанную им ошибку. В то самое время, как Риккабокка узнал прямую цель и виды заговорщиков, к которым он присоединился, и увидел бездну, в которую он неминуемо должен был упасть, родственник донес на него правительству и теперь пользуется плодами своей измены. Вслед за тем Гарлей сказал несколько слов о пакете, отправленном умирающей женой Риккабокка к какой-то мистрисс Бертрам, о своих надеждах, основанных на содержании того пакета, и наконец

объяснил намерение, которое привлекло Пешьера в Англию.

– Верно можно сказать, прибавил Леонард: – что Риккабокка ни под каким видом не согласится на брачный союз своей дочери с подобным человеком. Где же тут опасность? Этот граф, даже если Виоланта не находилась под кровом вашей матери, не имел бы никакой возможности увидеться с ней. Он не смел бы сделать нападение на дом, в котором живет Риккабокка, и увести Виоланту, как какой-нибудь феодалный барон средних веков.

– Все это весьма справедливо, отвечал Гарлей. – Но, несмотря на то, в течение моей жизни я убедился, что мы можем основательно судить об опасности не по внешним обстоятельствам, но по характеру тех людей, от кого она происходит. Этот граф обладает в высшей степени предприимчивым духом и дерзостью, он одарен самой природой замечательными талантами, которые как нельзя лучше можно употребить в дело там, где требуется двоедушие и умение вести интригу; это один из тех людей, которые поставили себе за правило хвастаться всем и каждому, что они не знают неудачи в своих предприятиях; и этот человек теперь здесь, побуждаемый с одной стороны всем, что только может возбудить корыстолюбие, а с другой стороны – всем, что изобретательность может сообщить отчаянию. Поэтому, хотя я не могу догадаться, какого рода будет план Пешьера, но несколько не сомневаюсь, что это будет план, который может создать одна хитрость, и выполнить его – одна отвага, и к выполне-

нию которого будет приступлено немедленно по открытии убежища Виоланты, то есть прежде, чем мы успеем предупредить опасность возвращением её отца в отечество и обнаружением измены и ложного доноса, за которые Пешьера в настоящее время пользуется доходами с имений Риккабокка. Таким образом, пока, мы станем употреблять всевозможные средства к отысканию потерянных документов, вместе с тем должны узнавать замыслы графа, чтобы иметь возможность противодействовать. В Германии я с удовольствием узнал, что сестра Пешьера находится в Лондоне. Мне довольно известны как характер этого человека, так и отношения между им и его сестрой, и потому я полагаю, что он намерен сделать ее своим орудием и сообщницей. Пешьера, как вы можете судить по его дерзкому пари, не принадлежит к числу тех отъявленных бездельников, которые готовы отрезать себе правую руку для того, чтобы она не знала, что сделала левая рука: скорее – это один из тех самоуверенных, хвастливых, предприимчивых наглецов, у которых совесть до такой степени подавлена, что она помрачает даже рассудок, – человек, который должен иметь близкое к себе существо, перед которым бы он мог хвастаться своими дарованиями и качествами и мог бы доверять свои замыслы. Пешьера уже сделал все, что нужно было, для того, чтобы подчинить себе эту бедную женщину, обратить ее в свою рабу, в свое оружие. Я узнал некоторые черты в её характере: они показывают, что маркиза имеет склонность ко всему



доброму и благородному. Несколько лет тому назад, она пленила своей красотой одного молодого англичанина. Пешьера воспользовался этим обстоятельством, с тою целью, чтоб вовлечь неопытного поклонника красоты в игру, и потому избрал сестру свою приманкой и орудием в своих низких замыслах. Она не ободряла искательства нашего соотечественника, — напротив, предупредила его о западне, поставленной ему, и потом умоляла его уехать, опасаясь, что её брат узнает и накажет её благородный поступок. Англичанин сам рассказал мне об этом. Короче сказать, моя надежда устранить эту бедную женщину от влияния Пешьера и принудить ее предупреждать нас о его коварных замыслах заключается в невинной и, надеюсь, в похвальной хитрости, именно: пробудить в ней и привести в действие самые лучшие побуждения её души.

Леонард выслушал с удовольствием и с некоторым удивлением краткий очерк, которым Гарлей так отчетливо обрисовал характер Пешьера и Беатриче, и был поражен ясностью и смелостью, с которыми Гарлей основывал всю систему действия на нескольких выводах, извлеченных им из его понятий о побуждениях человеческого сердца и наклонностях характера. Он не ожидал найти так много практической дальновидности в человеке, который, при всех своих дарованиях, обыкновенно казался равнодушным, мечтательным и чуждым всему, что касалось обыкновенного порядка вещей в общественном быту. Впрочем, Гарлей л'Эстрендж был

из числа тех людей, которых способности и силы души остаются в каком-то усыплении до тех пор, пока обстоятельства не сообщат им толчка, необходимого для возбуждения деятельности.

Гарлей продолжал:

– После вчерашнего разговора с Беатриче мне пришло на ум, что в этой части нашей дипломатии вы могли бы оказать существенную пользу. Маркиза ди-Негра – в восторге от вашего гения и имеет сильное желание лично с вами познакомиться. Я обещал ей представить вас, и представлю, сделав вам сначала совет предостережения. Беатриче очень хороша собой и имеет особенный дар очаровывать. Весьма может случиться, что ваше сердце и ваши чувства не устоят против её прелестей...

– О, в этом отношении вы напрасно опасаетесь! воскликнул Леонард с такой самоуверенностью и твердостью, что Гарлей улыбнулся.

– Предостережение, любезный Леонард, не всегда еще можно назвать вооружением, особенно против могущества Беатриче; поэтому я не могу принять с первого раза ваше уверение. Послушайте меня: наблюдайте за собой внимательно и, если заметите, что находитесь в опасности попасться к ней в плен, дайте мне благородное слово немедленно оставить поле. Я не имею права, для пользы и выгоды чужого вам человека, подвергать вас опасности; а маркиза ди-Негра, каковы бы ни были её прекрасные качества, по-моему мне-

нию, последняя женщина, в которую я желал бы, чтобы вы влюбились.

– Влюбиться в нее! это невозможно!

– Невозможно – выражение сильное, возразил Гарлей: – но все же, признаюсь откровенно, что, по-моему мнению, сколько может человек судить о другом человеке, это не такая женщина, которая могла бы пленить вас; эта-то уверенность и подала мне повод подвергнуть вас её очарованию. Впрочем, имея в своем разговоре с ней чистую и благородную цель, вы сами будете видеть ее прямыми глазами. Во всяком случае, я требую от вас благородного слова.

– Охотно даю его, отвечал Леонард. – Но каким же образом могу я оказать услугу Риккабокка? Какую помощь....

– Сейчас я скажу вам, прервал Гарлей. – Чарующая сила ваших произведений такого рода, что она делает нас бессознательно лучше и благороднее. Ваши произведения – не что другое, как впечатления, почерпнутые из вашей души. Ваш разговор в минуты одушевления имеет то же самое действие. Когда вы короче познакомитесь с маркизой ди-Негра, я бы желал, чтоб вы поговорили с ней о своем детстве, о юности. Опишите ей Риккабокка в том виде, в каком вы видели его – трогательного среди его слабостей, величественного среди мелких лишений, недоступного во время размышления над своим Макиавелли, безвредного, неуязвляющего при мудрости змия, игриво лукавого при невинности голубя; короче сказать, я предоставляю вам изобразить эту картину

сообразно с вашим умением употреблять в дело и юмор и пафос. Изобразите Виоланту, читающую итальянских поэтов и полную мечтаний о своем отечестве; представьте ее со всеми проблесками её возвышенной природы, которые просвечивают сквозь скромное положение в чужой земле; пробудите в вашей слушательнице чувство сострадания, уважения и восторга к её родственникам в изгнании, – и этим, я полагаю, труд ваш окончится. Нет никакого сомнения, что в ваших портретах она узнает тех, кого ищет её брат. Вероятно, она будет расспрашивать вас, где вы встречались с ними, и где они теперь находятся. Эту тайну вы должны сохранить: скажите ей наотрез, что тайна не принадлежит вам, и вы не можете открыть ее. Против ваших описаний и чувствований она не будет так осторожна, как против моих. Ко всему этому, есть еще другие причины, почему ваше влияние над этой женщиной может оказаться действительнее моего.

– Какие же эти причины? я не предвижу их.

– Поверьте, что есть; не спрашивая от меня объяснений, отвечал Гарлей.

Он не счел за нужное сказать Леонарду:

«Я человек высокого происхождения и богат, – вы сын крестьянина и живете трудами. Эта женщина честолюбива и бедна. Она может иметь виды на меня, которые стали бы противодействовать моим видам на нее. Вас она будет только слушать и заимствовать от вас чувства всего прекрасного и поэтического; она не будет иметь в виду выгоды покорить

вас своей воле или запутать в свои сети.»

– Кроме того, сказал Гарлей, переменяв предмет разговора:– у меня есть в виду другая цель. Наш друг Риккабокка, этот недалёковидный мудрец, в своем заблуждении и под влиянием преувеличенного страха, придумал спасти Виоланту от одного негодяя, обещав её руку человеку, в котором, если только инстинктивное чувство не обманывает меня, я подозреваю другого точно такого же негодяя. Обречь на жертву такое обилие жизни и духа этому бескровному сердцу, этому холодному и положительному рассудку! клянись небом, этому не бывать!

– Но скажите, кого же мог видеть Риккабокка, кто по своему происхождению и богатству был бы достойным женихом его дочери? кого, как не вас, милорд?

– Меня! воскликнул Гарлей, сердитым тоном и побледнев. – Чтобы я был достоин подобного создания? – я – с моими привычками! – я – такой эгоист! И вы, поэт, так оцениваете существо, которое могло бы сделаться царицей поэтических мечтаний!

– Милорд, когда мы не так давно сидели у очага Риккабокка, когда я слышал, как она говорила, и наблюдал, как вы внимали её словам, я сказал про себя: «Гарлей л'Эстрендж долго и задумчиво смотрел на небеса, и теперь он слышит шелест крыльев, которые могут унести его туда.» Потом я вздохнул; мне стало грустно при одной мысли, что люди против нашего желания произвольно управляют нами.

«Как жаль – сказал я – что дочь Риккабокка, по светскому мнению, не может быть равна сыну пера!» Когда я подумал об этом, вы тоже вздохнули, – и мне казалось, что в то время, как вы вслушивались в музыкальный шелест крыльев, вы чувствовали себя прикованным к земле. Дочь Риккабокка равна вам по своему происхождению, и вы принадлежите ей сердцем и душой.

– Мой бедный Леонард, вы ошибаетесь, отвечал Гарлей, спокойно. – Если Виоланте не суждено быть женою молодого принца, то она непременно будет женою молодого поэта!

– Поэта! о, нет! сказал Леонард, с выразительной улыбкой.

– Любовь для поэта – отдых.

Гарлей, изумленный этим ответом, задумался.

«Понимаю – думал он – меня озаряет теперь новый свет. Человек, которого вся жизнь есть одно только стремление за славой, не станет искать любви существа ему подобного? Леонард прав: любовь есть отдых для поэта! Между тем, как я... Это правда, правда! Он мальчик, а его пронизательность гораздо глубже всей моей опытности! Для меня любовь должна пробуждать восторг в душе моей, возвышать чувства, поддерживать энергию. Но жребий уже брошен; с Гэлен моя жизнь будет по крайней мере источником невозмутимого спокойствия. Пусть остальное спит в одной могиле с моей юностью.»

– Однако, ласково сказал Леонард, желая вывести своего благородного друга из задумчивости, которая, казалось ему,

была печального свойства: – однако, вы еще не назвали мне искателя руки синьорины. Можно ли мне знать, кто он такой?

– Вероятно, вы никогда не слышали о нем. Это – Рандаль Лесли.

– Рандаль Лесли! неужели? вскричал Леонард, с видом величайшего удивления.

– Что же вы знаете об этом человеке?

И Леонард рассказал историю памфлета, написанного Борлеем.

Гарлей приходил в восторг по мере того, как подтверждались его подозрения о Рэндале.

– низкий притворщик! и я еще считал его опасным человеком! В настоящее время мы оставим говорить о нем: мы подходим к дому маркизы ди-Негра. Приготовьтесь, мой друг, и не забудьте вашего обещания.

## Глава ХСVIII

Прошло несколько дней. Леонард и Беатриче сделались друзьями. Гарлей как нельзя более оставался доволен действиями своего молодого друга. Он сам был деятельно занят. Он отыскивал, и до этой поры отыскивал тщетно, следы мистрисс Бертрам; он поручил дальнейшие розыски своему адвокату, но и адвокат не был счастливее его. Гарлей еще раз торжествовал в лондонском мире, но всегда находил время в течение суток провести несколько часов в доме своего отца. Леонард тоже был нередкий гость в доме Лэнсмеров; его радушно принимали там и все любили. Пешьера не обнаруживал ни малейших признаков мрачных замыслов, которые приписывали ему. Он редко является в гостиных высшего общества, – вероятно, потому, что встречается там с лордом л'Эстренджем. Несмотря на блеск и красоту Пешьера, лорд л'Эстрендж, подобно Роб-Рою-Мак-Грегору, «находится в своем отечестве» и пользуется решительным преимуществом над чужеземцем. Впрочем, Пешьера часто посещает клубы и играет по большой. Не проходит ни одного вечера, чтобы он не встретился с бароном Леви.

Одлей Эджертон был сильно занят делами. Он только раз и виделся с Гарлеем. Гарлей тогда же намеревался высказать ему свои мнения касательно Рандаля Лесли и сообщить ему историю о памфлете Борлея. Эджертон остановил его.



– Любезный Гарлей, не старайся вооружить меня против молодого человека. Все, что касается его с невыгодной стороны, мне неприятно слушать. Во первых, это нисколько бы не изменило образа моего поведения к нему. Он родственник моей жены; исполняя её последнее желание и, следовательно, мой неременный долг, я принял на себя устроить его карьеру. Привязав его к моей судьбе еще в самой цветущей поре его жизни, я по необходимости отвлек его от занятий, в которых трудолюбие и способности вполне упрочивали его будущность; поэтому все равно, дурен ли он, или хорош, но я употреблю все средства сделать для него все лучшее. Ко всему этому, несмотря на мое холодное обращение, я принимаю в нем живое участие: мне он нравится. Он жил в моем доме, он во всем зависел от меня, он учен и благограумен, а я человек бездетный; поэтому пощади его, и этим ты пощадишь меня. Ах, Гарлей, если бы ты знал, у меня теперь столько забот, что

– Не говори пожалуста, добрый Одлей, прервал великодушный друг. – Как мало еще знает тебя свет!

Рука Одлея дрожала. Действительно, в это время его душу тяготили самые грустные, самые мучительные чувства.

Между тем предмет разговора двух друзей, – этот тип превратного рассудка – тип ума без души, тип знания, не имевшего другой цели, кроме силы, – находился в сильном тревожном унынии. Он не знал, верить ли словам барона Леви касательно разорения Эджертона, или нет. Он не мог

поверить этому, когда смотрел на великолепный дом Оддея на Гросвенор-Сквэре, с его приемной, наполненной лакеями, с его буфетом, обремененным серебром, – когда в той же приемной ни разу не встречал он докучливого кредитора, когда ему известно было, что торгашам не улучалось еще приходиться два раза за расчетом. Лесли сообщил свои недоумения барону.

– Правда, отвечал барон, с многозначительной улыбкой:– Эджертон удовлетворяет своих кредиторов превосходно; но *как* он удовлетворяет? это вопрос. Рандаль, *mon cher*, вы невинны как ребенок. Позвольте предложить вам два совета, в лице пословицы: «Умные крысы покидают разрушающийся дом»; «Убирай сено пока солнышко греет.» Кстати: вы очень понравились мистеру Эвенелю, и уже он поговаривал о том, каким бы образом сделать вас представителем в Парламенте Лэнсмера. Не знаю, как ему удалось приобрести в этом месте значительный вес. Пожалуста, вы не отставайте от него.

И Рандаль действительно старался всеми силами держаться Эвенеля: он был на танцевальном вечере у мистрисс Эвенель, кроме того раза два являлся с визитом, заставлял дома мистрисс Эвенель, был очень любезен и учтив, любовался и приходил в восторг от маленьких детей. У мистрисс Эвенель были сын и дочь – вылитые портреты отца, – с открытыми личиками, на которых резко выражалась смелость. Все это немало располагало к нему мистрисс Эве-

нель и не менее того её супруга. Эвенель был весьма проныцателен, чтобы уметь вполне оценить умственные способности Рандалья. Он называл его «живым малым» и говорил, что «Рандаль далеко бы ушел к Америке», – а это была высочайшая похвала, которою Дик Эвенель никого еще не удостоил. Впрочем, Дик в это время сам казался несколько озабоченным: наступил первый год, как он начал хмуриться, ворчать на счета жены его из модного магазина, и при этом сердито произносил морское выражение: «это всегда случается, когда мы слишком далеко выскочим на ветер».

Рандаль посетил доктора Риккабокка и узнал, что Виоланта скрылась. Верный своему обещанию, итальянец решительно не хотел сказать, куда именно скрылась его дочь, и намекнул даже, что было бы весьма благоразумно, еслиб Рандаль отложил на некоторое время свои посещения. Лесли, которому очень не понравилось подобное предложение, старался доказать необходимость своих посещений, пробудив в Риккабокка те опасения касательно шпионства о месте его пребывания, которые принудили мудреца поспешить предложением Рандалью руки Виоланты. Но Риккабокка уже знал, что предполагаемый лазутчик был ни кто другой, как ближайший сосед его Леонард, и, не сказав об этом ни слова, он довольно умно доказал, что шпионство, о котором упомянул Рандаль, служит добавочной причиной к временному прекращению его посещений. После этого Рандаль своим хитрым, спокойным, околичным путем старался узнать,

не было ли уже между л'Эстренджем и Риккабокка свидания или сношения. Вспомнив слова Гарлея, он, с свойственной ему быстротой соображения, допускал и то и другое. Риккабокка с своей стороны был менее осторожен и скорее отпарировал косвенные вопросы, нежели опровергал выводы Рандаля, основанные на одних догадках.

Рандаль начинал уже угадывать истину. Куда, как не к Лэнсмерам, должна скрыться Виоланта? Это подтверждало его предположение о притязаниях Гарлея на её руку. С таким соперником какого можно ожидать ему успеха? Рандаль несколько не сомневался, что ученик Макиавелли откажет ему, в случае, еслиб и в самом деле представился его дочери подобный шанс, а потому немедленно исключил из своего плана все дальнейшие виды на Виоланту: при её бедности, он не видел необходимости брать ее за себя, – при её богатстве – отец отдаст ее другому. Так как сердце его вовсе не было занято прекрасной итальянкой, а потому в тот момент, когда наследство её сделалось более чем сомнительно, он не ощущал ни малейшего сожаления лишиться её, – но в то же время испытывал злобную досаду при одной мысли, что его заменит д'Эстрендж, который так сильно оскорбил его.

Между тем Парламент собрался. События, принадлежащие истории, еще более способствовали к ослаблению администрации. Внимание Рандаля Лесли поглощено было политикой. В случае, если Одлей лишится своего места, и ли-

шится навсегда, он уже не в состоянии будет помогать ему, но отстать, по совету барона Леви, от своего покровителя и, в надежде на получение места в Парламенте, прильнуть к совершенно чужому человеку, к Дику Эвенелю, – невозможно было сделать слитком поспешно. Несмотря на то, почти каждый вечер, когда открывалось заседание в Парламенте, это бледное лицо и эту тощую фигуру, в которых Леви усматривал проницательность и энергию, можно было видеть между рядами скамеек, отведенных тем избранным особам, которые получили от президента позволение войти в Парламент. Отсюда-то Рандаль слушал современных ему замечательных ораторов, слушал и с каким-то пренебрежением удивлялся их славе – явление весьма обыкновенное между умными, благовоспитанными молодыми людьми, которые не знают еще, что значит говорить публично и притом в Нижнем Парламенте. Он слышал безграмотность английского языка, слышал весьма простые рассуждения, несколько красноречивых мыслей и резкия доказательства, часто сопровождаемые такими потрясающими звуками голосами и такими жестикуляциями, что, право, привели бы в ужас какогонибудь режиссёра провинциального театра. Он воображал, куда как далеко превосходнее говорил бы он сам – с какой утонченной логикой, какими изящными периодами, как близко походил бы он на Цицерона и Борка! Нет никакого сомнения, что его красноречие было бы лучше, и по этой самой причине Рандаль испытал самую удачную из вели-

чайших неудач – сделал превосходный опыт красноречия. В одном, однако же, он принужден был признаться, и именно, что в народном представительном собрании не требуется знания, которое есть сила, но совершенное знание самого собрания, и какую пользу можно извлечь из него; он допускал, что при этом случае превосходными качествами могли служить и необузданный гнев, и резкия выражения, и сарказм, и смелая декламация, и здравый рассудок, и находчивость, столь редко встречаемые в самых глубокомысленных, высокоумных людях; человек, который не в состоянии обнаружить ничего, кроме «знания», в строгом смысле этого слова, подвергается неминуемой опасности быть ошиканным.

Рандаль с особенным удовольствием наблюдал за Одлеем Эджертоном, которого руки были сложены на грудь, шляпа была надвинута на глаза, и спокойные взоры его не отрывались от оратора оппозиционной партии. Рандаль два раза слышал, как говорил в Парламенте Эджертон, и крайне изумлялся действию, которое этот государственный человек производил своим красноречием. Качества, о которых мы упомянули выше, и которые, по замечанию Рандаля, обеспечивали верный успех, Одлей Эджертон обнаруживал в известной степени, и притом не все, а именно: здравый рассудок и находчивость. Но, несмотря на то, хотя речи Одлея не сопровождались громкими рукоплесканиями, но ни один еще, кажется, оратор не доставлял столько удовольствия своим друзьям и не пробуждал к себе такого уважения в сво-

их врагах. Истинный секрет в этом искусстве, – секрет, которого Рандаль никогда бы не открыл, потому что этот молодой человек, несмотря на свое старинное происхождение, несмотря на свое итонское образование и совершенное знание света, не принадлежал к числу природных джентльменов, – истинный секрет, говорю я, состоял в том, что все движения, взоры и самые слова Одлея ясно показывали, что он «английский джентльмен», в строгом смысле этого названия. Это был джентльмен с талантами и опытностью более, чем обыкновенными; он просто и откровенно выражал свои мнения, не гоняясь, для большего эффекта, за риторическими украшениями. Ко всему этому Эджертон был вполне светский человек. То, что партия его желала высказать, он высказывал с неподражаемой простотою, отчетливо выставлял на вид то, что его соперники называли главными обстоятельствами дела, и со всею основательностью делал заключение. С невозмутимым спокойствием и соблюдением малейших условий приличия, с одушевлением и энергией и едва заметным изменением в голосе, Одлей Эджертон производил на слушателей сильное впечатление, становился удобопонятным для людей безтолковых и нравился людям с самым разборчивым вкусом.

Наконец вопрос, так долго угрожавший падением министерства, был окончательно решен. Это было в роковой понедельник, когда в Парламенте рассуждали о состоянии государственных финансов и рассматривали отчет, напол-

ненный бесконечными рядами цифр. Все члены оставались безмолвными, – все, исключая государственного казначея и других, ему подведомственных лиц, которых члены Парламента не удостоивали даже своим вниманием; они находились в особенном нерасположении слушать скучные итоги цифр. Рано вечером, между девятью и десятью часами, председатель звучным голосом предложил «посторонним слушателям удалиться.» Волнуемый нетерпением и тяжелыми предчувствиями, Рандаль встал с места и вышел в роковую дверь. Перед самым выходом он оглянулся и бросил последний взгляд на Одлея Эджертона. Коновод партии шептал что-то Одлею, и Одлей, сдвинув шляпу с своих глаз, окинул взором все собрание, взглянул на галереи, как будто этим взглядом он моментально исчислял относительную силу двух борющихся партий; после того он горько улыбнулся и откинулся к спинке своего кресла. Улыбка Одлея надолго сохранилась в памяти Рандаля Лесли.

Между «посторонними», вместе с Лесли выведенными из Парламента, были многие молодые люди, связанные с членами администрации или родством, или знакомством. За дверьми Парламента сердца их громко забились. Вокруг их раздавались зловещие предположения.

«Говорят, что на стороне министерства будет десять лишних голосов.»

«Нет, я слышал заверное, что оно переменится.»

«Г... говорит, что против его будет по крайней мере пять-



десять голосов.»

«Не верю этому, – это невозможно. В отели «Травелдерс» я оставил за обедом пятерых членов министерства.»

«Это проделки вигов – как бессовестно!»

«Удивительно, что никто не хотел возражать против этого. Странно, что П... не сказал ни слова. – Впрочем, он так богат, что ему все равно – служить в Парламенте или нет.»

«Да, да! Одлей Эджертон сделал то же самое. Нет никакого сомнения, что он рад освободиться от должности и заняться своим имением. Дело приняло бы совершенно другой оборот, если бы мы имели в числе членов таких людей, для которых должность была бы так же необходима, как она необходима теперь для... для меня!» сказал откровенный молодой человек.

В эту минуту кто-то дружески взял Рандаля за руку. Он обернулся и увидел перед собой барона Леви.

– Ну что, ведь я говорил вам? сказал барон с восторженной улыбкой.

– Значит вы уверены, что министерство переменится?

– Я провел сегодня целое утро за списком новых членов, рассматривал его вместе с моим парламентским клиентом, который знает всех этих членов как пастух свое стадо. Большинство голосов на стороне оппозиции по крайней мере до двадцати-пяти.

– Неужели и в самом деле прежние члены должны оставить свои места? спросил откровенный молодой человек,

с жадностью внимавший каждому слову изящно одетого барона.

– Без всякого сомнения, сэръ, отвечал барон рассеянно и в то то же время небрежно открывая перед ним золотую табакерку. – Вероятно, вы друг когонибудь из нынешних министров? Конечно, вы сами не захотите чтобы при этом положении дел ваш друг остался в Парламенте?

Рандаль не дал барону дожидаться ответа: он отвел его в сторону.

– Если дела Одлея в таком положении, как вы говорили мне, то что же станет он делать?

– Я сам завтра намерен предложить ему этот вопрос, отвечал барон, и на лице его отразилось чувство злобы. – Я приехал сюда собственно затем, чтобы увидеть, как ему нравится перспектива, которая открывается перед ним.

– На лице его вы решительно ничего не заметите, отвечал Рандаль.

В эту минуту дверь в Парламент отворилась, и ожидавшие толпою бросились в нее.

– Как голоса? На чьей стороне большинство? был первый и общий вопрос.

– Большинство против министров двадцатью-девятью голосами, отвечал член оппозиционной партии, медленно снимая кожу с апельсина.

Барон тоже имел от президента позволение присутствовать в Парламенте, и потому вошел вместе с Лесли и сел под-

ле него.

– А вон и Эджертон идет, сказал барон.

И действительно, в то время, как большая часть членов выходили из Парламента переговорить о делах в клубах или в салонах и распространить по городу новости, видно было, как голова Эджертона высилась над прочими. Леви отвернулся, обманутый в своих ожиданиях. Не говоря уже о прекрасном лице Одлея, несколько бледном, но светлом и не выражавшем уныния, заметны были особенная учтивость и уважение, с которыми грубая толпа народа давала дорогу павшему министру. Один из прямодушных вежливых нобльменов, который впоследствии, благодаря силе, не таланта своего, но характера, сделался предводителем в Парламенте, при встрече с своим противником, сжал его руку и сказал вслух:

– Получив в Парламенте почетную должность, я не хочу гордиться этим; но мне будет лестно, когда, оставив ее, буду уверен, что самый сильный из моих противников так же мало скажет против меня, как сказано против вас, Эджертон.

– Желал бы я знать, громко воскликнул барон, нагнувшись через перегородку, отделявшую его от собрания парламентских членов: – желал бы я знать, что скажет теперь лорд л'Эстрендж?

Одлей приподнял свои нахмуренные брови, бросил на барона сверкающий взгляд, вошел в узкий проход, отделявший последний ряд скамеек и исчез со сцены, на которой –

увы! – весьма немногие из самых любимейших представителей оставляют за собою более, чем одно скоротечное имя актера.

## Глава ХСІХ

Барон Леви не привел, однако же, в исполнение своей угрозы повидаться с Эджертоном и поговорить с ним на другой день. Может статься, он боялся вторичной встречи с его сверкающими взорами. К тому же Эджертон был слишком занят в течение целого утра, чтобы видеться с кем нибудь из посторонних лиц, исключая Гарлея, который поспешил явиться к нему с утешением. Еще при начале парламентского заседания уже известно было, что министерство переменится, и что прежние члены будут заведывать своими должностями до назначения преемников. Но в то же время уже начиналась реакция в пользу прежнего министерства, и когда стало известно всем, что новая администрация составится из людей, которые до этого не занимали никаких должностей, в народе образовалось общее мнение, что новые члены правительства недолго останутся на своих местах, и что прежнее министерство, с некоторыми изменениями, будет призвано обратно не позже, как через месяц. Может статься, что и это была одна из главных причин, по которой барон Леви рассудил за лучшее не являться к мистеру Эджертону с преждевременным выражением соболезнования. Рандаль провел часть своего утра в осведомлениях касательно того, что намерены предпринять джентльмены, поставленные в одинаковое с ним положение, и, к особенному своему

удовольствию, узнал, что весьма немногие расположены были оставить свои места.

Потеря места для Рандалья была делом большой важности. Обязанности его были весьма немноготрудны, а жалованья доставало не только на его нужды, но даже доставляло ему возможность употребить остатки от него на воспитание Оливера и своей сестры. Отдавая справедливость молодому человеку, я должен сказать, что, при всем его равнодушии к человеческому роду, родственные узы были для него священны. Стараясь сколько нибудь подвести под уровень своего образования честного Оливера и Джульетту, он поддавался даже некоторым искушениям, обольстительным в глазах человека его возраста. Люди, существенно алчные и бесовестные, часто в оправдание своих преступлений приводят попечение о своем семействе.... С потерей места Рандаль терял все средства к существованию, исключая тех, которые предоставлял ему, Одлей. Но если Одлей действительно раззорился? К тому же Рандаль приобрел уже некоторую известность своею ученостью и обширными дарованиями. Для него открывалось поприще, на котором, устранившись от политической партии, он мог бы легко получить прекрасную должность, а вместе с ней и прекрасные доходы. Поэтому, как нельзя более довольный решимостью своих сослуживцев, Рандаль с хорошим аппетитом отобедал в своем клубе и, с христианскою покорностью Провидению касательно превратного счастья своего покровителя, отправился

на Гросвенор-Сквэр, в надежде застать Одлея дома. Узнав, что Одлей действительно был дома, Рандаль вошел в библиотеку. У Эджертона сидели три джентльмена: один из них был лорд л'Эстрендж, а другие двое – члены бывшей администрации. Рандаль в ту же минуту хотел было удалиться из этого собрания; но Эджертон ласково сказал ему:

– Войдите, Лесли; я только что говорил о вас.

– Обо мне, сэр?

– Да, – о вас и о месте, которое вы занимали. Я спрашивал сэра... (указывая на своего сослуживца) не благоразумно ли будет с моей стороны потребовать от вашего прежнего начальника отзыв о ваших способностях, который, я знаю, должен быть прекрасный, и который послужил бы вам с пользой при новом начальнике.

– О, сэр, возможно ли в такое время думать обо мне! воскликнул Рандаль с непритворным чувством.

– Впрочем, продолжал Одлей с обычной сухостью: – сэр... к удивлению моему, полагает, что вам следовало бы отказаться от своего места. Не знаю, какие к тому причины имеет милорд, – вероятно, весьма основательные; но я бы не посоветовал вам этой меры.

– Мои причины, сказал сэр... с формальностью должностного человека: – очень просты: у меня есть племянник в подобном положении, который, без сомнения, откажется. Каждый человек, имевший какую-нибудь должность, и которого родственники занимали в правительстве высокие места,

должен сделать то же самое. Я не думаю, что мистер Лесли решится допустить себе исключение из этого.

– Позвольте вам заметить, мистер Лесли мне вовсе не родственник.

– Однако, имя его имеет неразрывную связь с вашим именем; он так долго жил в вашем доме, так известен в обществе (и не подумайте, что я говорю комплименты, если прибавлю, что мы основываем на нем большие надежды), я не смею допустить предположения, чтобы после этого стоило удерживать за собою ничтожное место, которое отнимает от него возможность поступить современем в Парламент.

Сэр... был из числа тех страшных богачей, для которых положение человека, существовавшего одним жалованьем, было ничтожно. Надобно сказать, впрочем, что он все еще считал Эджертона богаче себя и уверен был, что он прекрасно устроит Рандаля, который, мимоходом сказать, ему очень нравился. Он полагал, что если Рандаль не последует примеру своего знаменитого покровителя, то унизит себя во мнении и уважении самого Эджертона.

– Я одно скажу, Лесли, сказал Эджертон, прерывая ответ Рандаля: – ваша честь несколько не пострадает, если вы и останетесь на прежнем месте. Мне кажется, уж если оставлять его, так это из одного только приличия. Я ручаюсь за это, лучше останьтесь на своем месте.

К несчастью, другой член правительства, сохранявший до этой минуты безмолвие, был литератор. К несчастью,



что во время вышеприведенного разговора рука его опустилась на знаменитый памфлет Рандаля, лежавший на столе, покрытом книгами, и, перевернув несколько страничек, дух и цель этого мастерского произведения, написанного в защиту администрации, возникли в его слишком верном воспоминании.

Он тоже любил Рандаля; мало того он восхищался им, как автором поразительного и эффектного памфлета. И потому, выведенный из торжественного равнодушия, которое он обнаруживал до этого к судьбе своего подчиненного, сказал с приветливой улыбкой:

– Извините, сочинитель такого сильного произведения не может быть обыкновенным подчиненным. Его мнения в этом памфлете изложены слишком верно; эта чудесная ирония на того самого человека, который, без сомнения, сделается начальником Рандаля, непременно обратит на себя строгое внимание и принудит мистера Рандаля *sedet eternumque sedebit* на официальном стуле..... Ха, ха! как это прекрасно! Прочитайте, л'Эстрендж! Что вы скажете на это?

Гарлей взорами пробежал указанную страницу. Оригинал этого произведения, состоявший из грубых, размашистых, но выразительных шуток, пропущен был сквозь изящную сатиру Рандаля. Это было превосходно. Гарлей улыбнулся и устремил свои взоры на Рандаля. Лицо несчастного похитителя чужих произведений пылало. Гарлей, умея лю-

бить со всею горячностью своего сердца, умел не менее того и ненавидеть. Впрочем, он был из числа тех людей, которые забывают свою ненависть, когда предмет её находится в несчастьи. Он положил брошюру на стол.

– Я не политик, сказал он: – но Эджертон, как каждому известно, до такой степени разборчив во всем, что касается официального этикета, что мистер Лесли ни в ком более не найдет для себя такого благоразумного советника.

– Прочитайте сами, Эджертон, сказал сэр....., передавая Одлею памфлет.

Должно заметить здесь, что Эджертон сохранил весьма неясное воспоминание о том, до какой степени этот памфлет вредил Рандалю в его настоящем положении. Он взял его и, внимательно прочитав указанное место, серьезным и несколько печальным голосом сказал:

– Мистер Лесли, я беру назад мой совет. Мне кажется, сэр прав. Нобльмен, на которого вы написали в этом памфлете колкую сатиру, будет вашим начальником. Не думаю, чтобы он отрешил вас от должности с первого раза; но во всяком случае едва ли можно ожидать, что он станет принимать участие в вашем повышении. При этих обстоятельствах, я боюсь, что вы не можете располагать собою как....

Эджертон остановился на несколько секунд и потом с глубоким вздохом, решавшим, по видимому, дело, заключил свою мысль словом: «джентльмен».

Никто еще не чувствовал такого презрения к этому слову,

какое чувствовал в ту минуту благородный Лесли. Однако, он почтительно склонил голову и отвечал с обычным присутствием духа.

– Вы произносите мое собственное мнение.

– Как выдумаете, Гарлей, справедливо ли мы судим? спросил Эджертон с нерешимостью, изумившею всех присутствовавших.

– Я думаю, отвечал Гарлей, с видимым сожалением к Рандально, выходявшим даже из пределов великодушия, – но в то же время, несмотря на сожаление, он старался придать словам своим двоякий смысл: – я думаю, что кто оказывал услугу Одлею Эджертону, никогда не был от этого в проигрыше, а если мистер Лесли написал этот памфлет, то, без сомнения, он услужил Эджертону. Если он подвергается наказанию за свою услугу, то мы надеемся, что Эджертон окажет достойное вознаграждение.

– Вознаграждение это уже давно оказано, отвечал Рандаль: – одна мысль, что мистер Эджертон заботится о моем счастье, в то время, когда он так занят, когда....

– Довольно, Лесли, довольно! прервал Эджертон, вставая с места и крепко пожав руку своему protégé. – Придите ко мне попозже вечером, и мы еще поговорим об этом.

В одно время с Эджертоном встали и члены Парламента и, пожав руку Лесли, сказали ему, что он поступил благородно, и что они не теряют надежды увидеть его в скором времени в Парламенте, с самодовольной улыбкой намекнули ему,

что существование нового министерства будет весьма непродолжительно, и в заключение один из них пригласил Рандаля к обеду, а другой – провести недельку в его поместье. Знаменитый памфлетист среди поздравлений с подвигом, который делал его нищим, вышел из комнаты. О, как в эти минуты проклинал он несчастного Джона Борлея!

Было уже за полночь, когда Одлей Эджертон позвал к себе Рандаля. Государственный сановник находился один. Он сидел перед огромным бюро с многочисленными разделениями и занимался перекладкою бумаг из этого бюро, – одних – в число негодных бумаг, других – в пылавший камин, а некоторых – в два огромные железные сундука с патентованными замками, которые стояли раскрытыми у самых его ног. Крепкими, холодными и мрачными казались эти сундуки, безмолвно принимая в себя останки минувшего могущества; они казались крепкими, холодными и мрачными как могила. При входе Рандаля Одлей взглянул на него, предложил ему стул, продолжал свое занятие еще на несколько минут и потом, окинув взором комнату, как будто с усилием отрывая себя от своей главной страсти – публичной жизни, заговорил решительным тоном:

– Не знаю, Рандаль Лесли, считали ли вы меня за человека без нужды осторожного или чересчур невеликодушного, когда я сказал вам, что вы не должны ожидать от меня ничего, кроме повышения на вашем поприще, не ожидать от моего великодушия при жизни, и из духовного завещания по смер-

ти ни малейшего приращения к нашей собственности. Я вижу по выражению вашего лица, что вы намерены отвечать мне: благодарю вас за это. Теперь я должен сказать, по секрету, хотя через несколько дней это уже не будет секретом для целого света, должен сказать вам, что, занимаясь делами государственными, я оставлял свои собственные дела в таком небрежении, что представил собою пример человека, который ежедневно отделял от своего капитала известную часть, рассчитывая, что капитала достанет ему на всю жизнь. К несчастью, человек этот прожил слишком долго. (Одлей улыбнулся – улыбка его была холодна как солнечный луч, отразившийся на льдине) и потом продолжал тем же твердым, решительным тоном. – К перспективе, которая открывается передо мной, я давно приготовился. Я знал заранее, чем это кончится. Я знал это прежде, чем вы явились в мой дом, и потому благородным и справедливым долгом поставил себе предостеречь вас против надежд, которые в противном случае вы весьма естественно могли бы питать. В этом отношении более мне нечего сказать вам. Быть может, слова мои заставят вас удивляться, почему я, которого считали методическим и практическим в государственных делах, был до такой степени неблагоприятен в своих собственных.

– О, сэръ! вы не обязаны давать мне отчета в своих поступках.

– Я человек одинокий; все немногие мои родственники ни в чем не нуждались от меня. Я имел полное право распо-

лагать моим достоянием, как мне было угодно, и, в отношении к себе, я истратил его беспечно, – но истратил не без благодетельного влияния на других. Я сказал все.

Вместе с этим Одлей механически закрыл один из железных сундуков и твердо наступил на крышку.

– Мне не удалось подвинуть вас вперед на вашем поприще, снова начал Одлей.. – Правда, я предостерегал вас, что, избирая это поприще, вы пускали свое счастье в лотерею, и, конечно, имели более шансов на выигрыш, нежели на пустой билет. К несчастью, вам выпал пустой билет, и дело приняло серьёзный оборот. Скажите, что вы намерены делать?

Прямой вопрос Эджертона требовал ответа.

– Я намерен, сэр, по-прежнему следовать вашему совету, отвечал Рандаль.

– Мой совет, сказал Одлей, смягчив свой тон и взгляд: – быть может, покажется грубым и неприятным. Я предоставлю на ваш выбор два предложения. Одно из них: снова начать прежнюю жизнь. Я говорил вам, что ваше имя осталось в списках университета. Вы можете снова выйти на эту дорогу, можете получить степень, после того поступить в число наших юристов. Вы имеете таланты, с которыми смело можно надеяться успеть в этой профессии. Успех будет медленный, это правда, но, при вашей трудолюбии, верный. И, поверьте мне, Лесли, честолюбие тогда только имеет свою особенную прелесть, когда оно заменяет высокое имя надежды.

– Поступить в университет..... вторично! Это, мне кажется, слишком большой шаг назад, весьма сухо сказал Рандаль: – слишком большой шаг назад.... и к чему? Вступить на поприще, которого никто не достигает ранее седых волос? Кроме того, чем же я стану жить до окончания своих занятий?

– Об этом не стоит беспокоиться. Из руин моего богатства я еще надеюсь сохранить скромный капитал, который обеспечит ваше существование в университете.

– Ах, сэр, мне бы не хотелось обременять вас долее. Да и какое право имею я на подобное великодушие? разве потому только, что я ношу имя Лесли?

Рандаль произнес последние слова против своего желания, таким тоном, в котором обнаруживалась вся горечь упрека. Эджертон слишком хорошо знал людей, чтоб не понять этого упрека и не простить его.

– Конечно, отвечал он спокойно: – как Лесли, вы имеете право на мое уважение и имели бы право на чтонибудь более, еслиб я так ясно не предупредил вас в противном. Значит это предложение вам не нравится?

– Позвольте мне узнать второе, сэр? Услышав его, я вернее могу выразить свое мнение, угрюмо сказал Рандаль.

Он начинал терять уважение к человеку, который признавался, что так мало может сделать для него, и который явно советовал ему позаботиться о самом себе.

Еслиб ктонибудь мог проникнуть в мрачные изгибы ду-

ши Эджертон в то время, когда он услышал перемену голоса молодого человека, тот едва ли бы заметил огорчение или удовольствие, – огорчение потому собственно, что Эджертон, по силе привычки, начал любить Рандаля, а неудовольствие при мысли, что он имел основательную причину устранить эту любовь. Эджертон не обнаружил ни удовольствия, ни досады, но с невозмутимым спокойствием судьи в присутственном месте отвечал:

– Я предлагаю вам продолжать свою службу, где ее начали, и, по-прежнему, полагаться на меня.

– Великодушный мистер Эджертон! воскликнул Рандаль, снова прибегая к своему обычному ласковому взгляду и голосу:– полагаться на вас! Я только этого и прошу от вас! Только....

– Вы хотите сказать: только я теперь не имею власти, и не предвидится шанса к моему возвращению в Парламент?

– Я вовсе не думал об этом.

– Позвольте мне полагать, что вы думали, и думали весьма справедливо; но партия, к которой я принадлежу, так уверена в возвращении, как мы уверены с вами, что маятник этих часов повинуется механизму, который приводит его в движение. Наши преемники выдают, будто они вступают в Парламент для рассмотрения народного вопроса. Все члены администрации, которые поступают в Парламент только по этому поводу, существуют весьма непродолжительно. Или они не зайдут так далеко, чтоб угодить своим избира-



телям, или ужь зайдут так далеко, что вооружат против себя новых врагов из числа своих соперников, которые вместе с народом непременно потребуют перемены. Год тому назад мы лишились почти половины наших друзей за то, что предложили на рассмотрение, что называется у нас, народную меру; в нынешнем году мы повторили то же самое, – и следствием того было наше падение. Поэтому, что бы ни сделали наши преемники, по закону реакции, государственная власть еще раз передана будет нам. Конечно, для этого потребно время. Вы, Рандаль, можете ожидать этого события; могу ли я? – это неизвестно. Во всяком случае, если и умру до той поры, я имею такое влияние над теми, кто поступит в Парламент, что непременно получу обещание доставить вам место выгоднее того, которого вы лишились. Обещания должностных людей, по пословице, не благонадежны; но я поручу все хлопоты об устройстве вашего счастья человеку, который был для меня неизменным другом, и которого звание доставит ему возможность оказать вам всю справедливость: я говорю о лорде л'Эстрендже.

– О, ради Бога, не ему: он несправедлив ко мне, он не любит меня, он....

– Он может не любит вас – у него есть много странностей – но он любит меня, и хотя я ни за одно еще человеческое существо не просил Гарлея л'Эстренджа, но за *вас* я буду просить, сказал Эджертон, обнаружив, в первый раз во время этого разговора душевное волнение. – За вас, Лес-

ли, я буду просить как за родственника, хотя и дальнего, но родственника моей жены, от которой я получил богатство. Весьма быть может, что, расточив это богатство, я, несмотря на все предосторожности, обидел вас. Но довольно об этом. Вам предоставляются на выбор два предложения, в настоящее время вы имеете достаточно опытности, чтоб не затрудняться в выборе. Вы мужчина, и с умом обширнейшим против многих мужчин; подумайте об этом хорошенько и потом решите. А теперь спокойной ночи. Утро вечера мудренее. Бедный Рандаль, вы бледны!

Сказав последние слова, Одлей положил руку на плечо Рандаля почти с отеческой нежностью; но одна секунда, и он отступил от него – холодность, отпечаток многих лет, снова выразилась на его лице. Он подошел к бюро и снова углубился в жизнь должностного человека и занялся железным сундуком.

## Глава С

На другой день, рано по утру, Рандаль Лесли уже находился в роскошном кабинете барона Леви. О, как не похож был этот кабинет на холодную, дорическую простоту библиотеки государственного мужа! Перед дверьми – богатые ковры в полдюйма толщиной и *portières à la Française*, – над камином – парижская бронза. Небольшие шкафы наполняли комнату и заключали в себе векселя, заемные письма и тому подобные документы; лакированные шкатулки, с надписанными на них крупными белыми буквами именами благороднейших особ – эти гробницы погибших родовых имений – обделаны были розовым деревом, которое сияло блеском французской политуры и позолоты. Вся комната обнаруживала какое-то кокетство, так что вы ни под каким видом не решились бы подумать, что находитесь в комнате ростовщика. Плутус прикрывался наружностью своего врага Купидона; да и возможно ли было осуществить свою идею о ростовщике в лице этого барона, с его неподражаемым *mon cher*, его белыми, теплыми руками, которые так нежно жали вашу руку, его костюмом, изысканном до-нельзя, даже и в самую раннюю пору дня! Никто еще не видывал барона в халате и туфлях. Как всякий из нас привык представлять себе старинного феодального барона вечно закованным в кольчугу, так точно понятие каждого из нас об этом величавом маро-

дере цивилизации должно иметь нераздельную связь с лакированными сапогами и камелией в петличке.

– И это все, что он намерен сделать для вас! воскликнул барон, соединяя концы всех своих десяти прозрачных как воск пальцев. – Почему же он не позволил вам кончить курс в университете? Судя по слухам о вашей учености, я почти уверен в том, что вы бы сделали громадный успех, вы бы получили степень, привыкли бы к скучной и многотрудной профессии и приготовились бы умереть на президентском стуле.

– Он теперь предлагает мне снова поступить в университет, сказал Рандаль. – Но, согласитесь, ведь теперь уж это поздно!

– Само собою разумеется, возразил барон. – Никакой человек, никакая нация не имеет права ворочаться назад по своему произволу. Нужно сильное землетрясение, чтобы река приняла обратное течение.

– Вы говорите так умно, что я не смею противоречить вам, сказал Рандаль. – Но что же следует теперь дальше?

– Что следует дальше? Это весьма замечательный вопрос в жизни! Что *было прежде?* это уже сделалось обветшалым, неупотребительным, вышло из моды.... *Дальше* следует, кажется, то, *mon cher*, что вы приехали просить моего совета.

– Нет, барон, я приехал просить у вас объяснения.

– В чем?

– Я хочу знать, к чему вы говорили о разорении Эджерто-

на, к чему вы говорили мне о поместьях, которые Торнгилл намерен продавать, а наконец, к чему говорили мне о графе Пешьера? Вы коснулись каждого из этих предметов в течение какихнибудь десяти минут, а между тем забыли, вероятно, пояснить, какое звено соединяет их между собою.

– Клянусь Юпитером, сказал барон, вставая и выражая на лице своем столько удивления, сколько могло его выразиться на улыбающемся и циническом лице барона – клянусь Юпитером, Рандаль Лесли, ваша проницательность удивительна. Вы бесспорно первейший молодой человек своего времени, и я постараюсь помочь вам, так, как я помогал Одлею Эджертону. Может статься, вы будете более признательны.

Рандаль вспомнил о разорении Эджертона. Сравнение, приведенное бароном, вовсе не внушало ему особенного энтузиазма к благодарности.

– Продолжайте пожалуйста, сказал Лесли: – я слушаю вас с особенным вниманием.

– Что касается политики, сказал барон: – мы поговорим с вами впоследствии. Я хочу еще посмотреть, как эти новички поведут дела. Прежде всего займитесь соображениями касательно ваших собственных интересов. Начнем с того, что я советовал бы вам... вам даже должно купить это старинное имение, принадлежавшее вашей фамилии, – Руд и Долмонсберри. Вам придется заплатить с первого раза всего только 20,000 фунтов; остальные будут лежать на ва-

шем имени или по крайней мере будут считаться за вами, пока я не найду для вас богатой невесты, как это сделано было мной для Эджертона. Торнгиллу нужно в настоящее время только двадцать тысяч; он крайне нуждается в них.

– И откуда же, полагаете вы, придут ко мне эти двадцать тысяч? спросил Риндаль с проницательной улыбкой.

– Десять тысяч явятся к вам от графа Пешьера, в тот самый день, когда он, при вашем содействии и помощи, женится на дочери своего родственника; остальные десять тысяч я вам одолжу. – Пожалуста не церемоньтесь: в этом случае я ничем не рискую; именье, которое вы купите, всегда вынесет это прибавочное бремя. Что вы скажете на это – быть по сему, или нет?

– Десять тысяч фунтов от графа Пешьера! произнес Риндаль, с трудом переводя дыхание. – Вы не шутите? Такую сумму и за что? за одно только требуемое известие? Чем же другим я могу быть полезен им? Нет, тут кроется какой-то обман, – быть может, коварные замыслы....

– Любезный друг, возразил Леви: – подозревать ближнего, и часто весьма неосновательно, случается со многими. Если вы имеете какой недостаток, то он заключается именно в подозрении. Выслушайте меня. Известие, на которое вы намекнули, без сомнения, есть главная услуга и помощь, которые вы можете оказать. Быть может, понадобится более, – быть может, нет. Об этом вы сами будете судить, – но десять тысяч получите по случаю женитьбы графа.

– Лишняя ли мои подозрения, или нет, отвечал Рандаль: – но сумма так невероятна и ручательство так неблагонадежно, что согласиться на это предложение, даже если бы я решился....

– Позвольте, *mon cher*. Прежде всего поговоримте о деле, а потом уже можно будет посоветоваться с совестью. Вы говорите о неблагонадежном ручательстве. Позвольте узнать, в чем же состоит это ручательство?

– В слове графа ди-Пешьера.

– С чего вы это взяли? он ровно ничего не знает о наших переговорах. Если вы намерены сомневаться, так сомневайтесь в моем слове. *Я* ручаюсь вам за это.

Рандаль оставался безмолвным; вместо ответа он устремил на барона черные наблюдательные глаза, с их сжатыми, выражающими ум зрачками.

– Дело просто состоит вот в чем, продолжал Леви: – граф ди-Пешьера обещал дать своей сестре в приданое двадцать тысяч фунтов, как только явятся у него лишняя деньги. Эти деньги могут явиться к нему не ранее, как после известной нам женитьбы. С своей стороны – ведь вы знаете, что я заведываю делами графа во время его пребывания в Англии – с своей стороны я обещал, что за означенную сумму принимаю на себя свадебные издержки и обязанность устроить дело с маркизой ди-Негра. Надобно заметить, что хотя Пешьера очень щедрый и добродушный малый, но не скажу, чтобы он назначил такую огромную сумму в приданое сво-

ей сестре, еслиб, по строгой истине, он не был должен ей. Эти деньги составляли все её богатство, которым он, по каким-то сделкам с её покойным мужем, – сделкам не совсем законным, овладел. Еслиб маркиза завела с ним тяжбу, то, без сомнения, она получила бы обратно эти деньги. Я все это объяснил ему – и, короче сказать, вы теперь понимаете, почему эта сумма получила такое назначение. Я перекупил векселя маркизы, перекупил также и векселя молодого Гэзельдена (брачный союз этих молодых людей должен входить в состав наших распоряжений). В надлежащее время я представлю Пешьера и этим превосходным молодым людям счет, который поглотит все двадцать тысяч. Таким образом сумма эта перейдет в мои руки. Если же я подам ко взысканию на половину всех долгов – что, мимоходом сказать, будучи единственным кредитором, я буду в праве сделать – другая половина останется. И если я вздумаю передать эту половину вам в вознаграждение услуг, которые доставят Пешьера несметное богатство, очистят долги его сестры и приобретут ей мужа в лице моего многообещающего молодого клиента, мистера Гэзельдена, тогда все останутся как нельзя более довольны. – Сумма огромная – это не подлежит ни малейшему сомнению. От меня зависит уплатить ее вам; но скажите, будет ли от вас зависеть принять ее?

Рандаль был сильно взволнован. При всем своем корыстолюбии, он ясно видел, что ему предлагали взятку за измену бедному итальянцу, который всей душой вверился ему. Ран-



даль колебался. Он уже намеревался выразить решительный отказ, как Леви, раскрыв бумажник, взорами пробежал внешние туда заметки и потом произнес про себя:

– Руд и Долмонсберри проданы Торнгиллу сэром Динльбертом Лесли, дворянином.... округа; по последней оценке приносят чистого дохода две тысячи двести-пятьдесят фунтов семь шиллингов. Чудно выгодная покупка! С этим именем в руках и вашими талантами, Лесли, я не знаю, почему бы вам не подняться выше самого Одлея Эджертон. Он некогда был гораздо беднее вас.

Старинные имения Лесли, положительный вес в округе, восстановление забытой всеми фамилии, – с другой стороны – продолжительное труженичество над изучением законов, скудное содержание от Эджертон, юность сестры его, проводимая в грязном и скучном Руде, Оливер, погрязнувший в грубом невежестве, или наконец зависимость от сострадания Гарлея л'Эстренджа, – Гарлея, который не хотел подать ему руки, – Гарлея, который, быть может, сделается мужем Виоланты! Бешенство овладело Рандаем Лесли в то время, как эти картины рисовались в его воображении. Он машинально начал ходить по комнате, стараясь собрать свои мысли или подчинить страсти человеческого сердца механизму расчетливого рассудка.

– Я не могу себе представить, сказал он отрывисто: – к чему вы искушаете меня подобным образом, какую выгоду вы видите в этом?

Барон Леви улыбнулся и положил бумажник в боковой карман. С этой минуты он убедился окончательно, что победа над молодым человеком была одержана.

— Милый мой, сказал он, с самым пленительным *bonhomie*: — вы весьма естественно должны полагать, что если человек делает что нибудь для другого человека, то делает для своих личных выгод. Я полагаю, что взгляд с этой точки на человеческую натуру называется общепользуемой философией, которая основывается на средствах и желании доставить ближнему счастье, и которая в настоящее время в большой моде. Нолвольте мне объясниться с вами. В этом деле я ничего не теряю. Правда, вы скажете, что если я подам ко взысканию вместо двадцати на десять тысяч, то мог бы остальные деньги положить вместо вашего в свой собственный карман. Положим, что так; но мне не получить двадцати тысяч и не уплатить долгов маркизы до тех пор, пока граф не завладеет этой наследницей. В этом случае вы можете помочь мне. Я нуждаюсь в вашей помощи и не думаю, чтобы мог предложить вам меньшую сумму. Я скоро ворочу эти десять тысяч; только бы граф женился и взял за невестой её богатства. Короче сказать, я только в этом и вижу свои выгоды. Хотите ли вы еще доказательства, я готов представить вам. Вы знаете, я весьма богат, но не знаете, каким образом я сделался богатым. Очень просто: чрез мое короткое знакомство с людьми, богатыми ожиданиями. Я сделал связи в обществе, и общество обогатило меня. Я еще и теперь

имею страсть копить деньги. *Que voulez vous?* Это моя профессия, мой конек. Для меня полезно будет в тысячи отношениях приобрести друга в молодом человеке, который будет иметь влияние на других молодых людей, наследников имений получше, чем Руд-Голл. Вы можете сделать громадный успех в публичной жизни. Человек в публичной жизни может обладать такими секретами, которые бывают весьма прибыльны для того, кто занимается обращением и приращением капиталов. Быть может, с этой поры мы поведем вместе свои дела, и это доставит вам возможность очистить дом на тех поместьях, с приобретением которых я скоро поздравляю вас. Вы видите, как я откровенен. Мне кажется, только этим средством и можно решить дело с таким умным человеком, как вы. И теперь, чем меньше мы будем мутить воду в бассейне, из которого решились пить, тем лучше; устранимте все другие помыслы, кроме мысли скорейшего достижения конца. Хотите ли вы сами сказать графу, где находится молодая лэди, или я должен сказать об этом? Лучше, если скажете вы сами; для этого есть много причин: во первых, граф открыл вам свои надежды, во вторых, просил вашей помощи. Но, ради Бога! ему ни слова о наших маленьких распоряжениях он ни под каким видом не должен знать о них.

Вместе с этим Леви, позвонил в колокольчик.

– Вели подать карету, сказал он вошедшему лакею.

Рандаль не сделал возражений. Его лицо покрывала мерт-

венная бледность; на его тонких бледных губах выразалась твердая решимости.

– Еще одно предложение, сказал Леви: – нам нужно поспешить браком между молодым Гэзельденом и прекрасной вдовой. В каком положении это дело?

– Она не хочет видаться со мной и не принимает Франка.

– Пожалуста, узнайте почему. И если откроете с чьей нибудь стороны препятствие к тому, дайте мне знать: я немедленно устраню его.

– А что, Гэзельден согласился на посмертное обязательство?

– Нет еще; да я не настаивал на том; я жду благоприятного случая.

– Не мешало бы поторопиться.

– Вы желаете? Извольте, будь по-вашему.

Рандаль еще раз прошелся по комнате и, после безмолвного размышления, подошел к барону и сказал:

– Послушайте, сэр, я беден и честолюбив; вы выбрали прекрасный случай и верные средства искушить меня. Я предаюсь вам. Но скажите, какое ручательство имею я, что деньги будут уплачены мне, что поместья будут принадлежать мне на тех условиях, о которых вы говорили?

– Пока еще ничего решительного не предпринято, отвечал барон. – Не угодно ли вам отправиться и спросить обо мне кого нибудь из наших молодых друзей, например Борровелла и Спендквикка, – кого вам угодно: вы услышите, как ме-

ня порицают, это правда; но в то же время они скажут вам обо мне, что если я даю слово, то верно сдержу его; если я скажу: «*mion cher*, у вас будут деньги», и деньги непременно будут; если я скажу: «я возобновлю ваш вексель на шесть месяцев», и вексель возобновляется. Я всегда так веду свои дела. Во всех случаях свое слово я ставлю выше всех обязательств. И теперь, когда между нами письменные документы не имеют места, единственным обязательством с моей стороны может служить только слово. Пожалуста будьте спокойны насчет обеспечения и к восьми часам приезжайте ко мне обедать. После обеда мы вместе отправимся к Пешьера.

– Да, сказал Рандаль: – у меня будет целый день на размышления. Между прочим должно сказать вам, что я во все не искажаю свойства предложенной сделки, и что, решившись однажды, я ни за что не отступлю. Мое единственное оправдание в своих собственных глазах состоит в том, что если я играю здесь в фальшивую игру, то потому собственно, что ставка в ней так велика, что, в случае выигрыша, громадная величина его уничтожает всю низость игры. Я продаю себя не за известную сумму денег, но за то, что с помощью этой суммы я могу приобрести в женитьбе молодого Гэзельдена на итальянке имею в виду сохранение другого и, быть может, выгоднейшего интереса. В последнее время я смотрел на это предприятие сквозь пальцы, а теперь буду смотреть по все глаза. Устройте этот брак, возьмите от Гэзельдена посмертное обязательство, и, каков бы

ни был результат предприятия, для которого вы требуете моих услуг, положитесь на мою признательность, и поверьте, что доставите мне случай оказать вам благодарность и пользу. В восемь часов мы встретимся.

Рандаль вышел из комнаты.

Барон остался в глубокой задумчивости.

«Правда, говорил он про себя: – если только Франк огорчит своего отца до такой степени, что лишится своего наследства, этот молодой человек будет ближайшим наследником родовых имений Гэзельдена. План весьма умный. Вследствие этого я должен извлечь пользы из него гораздо более, нежели из расточительности Франка. Заблуждения Франка свойственны молодым людям. Он переменится и сократит свои расходы. Но этот человек! Нет, я должен завладеть им на всю жизнь. И если ему не удастся этот проэкт, если он останется с своими заложенными именьями, останется по уши в долгах, тогда он мой раб, и я могу освободить его, когда захочу или когда он сам окажется бесполезным. О, нет, я ничем не рискую. А еслиб я и рисковал, еслиб я потерял десять тысяч фунтов, – чтожь за беда! я могу пожертвовать ими на мщение, – они увеличат удовольствие, когда я увижу, что Одлей Эджертон совершенно нищий, покинут, в самый тяжелый час в жизни, покинут своим питомцем, – мало того, он будет покинут другом своей юности, если это вздумается мне, – мне, которого он назвал «бездельником», и которого он....»

Дальнейший монолог Леви был прерван лакеем, который вошел доложить, что карета готова. Леви быстро закрыл рукой лицо свое, как будто для того, чтоб сгладить следы страстей, безобразивших его улыбающуюся физиономию. И в то время, как он надел перчатки, взял трость и взглянул в зеркало, лицо фешенебельного ростовщика было так же светло, как и его лакированные сапоги.

# Глава СІ

Когда умный человек решается на низкий поступок, он старается как можно скорее заглушить сознание, что поступает низко. Более чем с обычною быстротой, Рандаль употребил следующие два часа на справки о том, как далеко заслуживают вероятия честность и верность барона Леви, которыми он хвастал, и до какой степени можно положиться на его слово. Он прибегнул к молодым людям, которые были лучшими знатоками барона, чем Спендквикк и Борровель, – молодым людям, которые «никогда не говорили вздора и не сделали ничего умного».

В Лондоне таких молодых людей много; они весьма проныцательны и способны ко всем делам, кроме своих собственных. Никто лучше их не знает света; нет вернее знатоков людей, как эти жалкие, полунищие *roue*. От всех их вместе и от каждого порознь барон Леви получал одинаковые аттестаты: над бароном смеялись как над страстным охотником сделаться замечательным дэнди, но вместе с тем и уважали его, как самого благонадежного делового человека. «Короче сказать – говорил один из этих посредников – нельзя лучше желать ростовщика, как барон Леви. Вы всегда можете положиться на его обещания; в особенности он обязателен и снисходителен к *нам*, молодым людям из хорошего общества, – быть может, по той же причине, по которой



бывают снисходительны к нам портные. Посадить когонибудь из нас в тюрьму повредило бы оборотам его капитала. Его слабость – считать себя за джентльмена. Я уверен, что он скорее согласится отдать половину своего состояния, нежели сделать поступок, за который мы могли бы осмеять его. Он содержится на пенсии, в триста фунтов в год, лорда С.... Правда, он был стряпчим у лорда С.... в течение двадцати лет, и лорд С.... до своего раззорения был человек весьма благоразумный и получал дохода в год до пятнадцати тысяч фунтов. Кроме того он оказывал пособие очень многим умным молодым людям. Это – лучший заимодавец, какого вы когда либо знавали. Он любит иметь друзей в Парламенте. Словом сказать, это – замечательный плут; но если кому желательно иметь дело с плутом, так барон Леви из них самый приятнейший.»

От сведений в этом фешенебельном кругу, собранных с обычным тактом, Рандаль обратился к источнику менее возвышенному, но, по его понятиям, более достоверному. Дик Эвенель имел связи с бароном. Дик Эвенель должен быть в его когтях. Рандаль отдавал полную справедливость практической дальновидности этого джентльмена. Кроме того, Эвенель по профессии был человек деловой. Он должен знать и о бароне Леви более, чем знали о нем молодые люди, и как Дик был человек откровенный и очевидно честный, в строгом смысле этого слова, то Рандаль нисколько не сомневался, что от него он узнает всю правду.

По прибытии на Итон-Сквэр и по осведомлении, дома ли мистер Эвенель, Рандаль немедленно был принят в гостиную. Эта комната уже не обнаруживала того прекрасного купеческого вкуса, которым отличалась скромная резиденция Эвенеля в Скрюстоуне. Теперь во всем виден был вкус высокопочтеннейшей мистрисс Эвенель, и, правду надобно сказать, ничто не могло быть хуже подобного вкуса. Мебели различных эпох наполняли комнату: здесь стояла софа *à la renaissance*, там – консоль новейшего произведения из розового дерева, далее – высокий дубовый стул времен Елисаветы, подле него – новейший флорентийский стол мраморной работы. Тут находились все роды красок, и все были в разладе друг с другом. Весьма дурные копии с известнейших в мире картин, в великолепных рамах, бессовестно украшались именами великих мастеров: Рафаэля, Корреджио, Тициана, Себастьяна дель-Ниомбо. Несмотря на то, видно было, что на все это употреблено много денег; но зато и было чем похвастаться. Мистрисс Эвенель сидела на софе *à la renaissance*, с одной из дочерей, которая, расположась в ногах матери, читала ей новый альманах, в малиновом атласном переплете. Мистрисс Эвенель сидела на диване в таком положении, как будто она приготовилась снимать с себя портрет.

Благовоспитанное общество бывает удивительно разборчиво насчет своих приемов в свой кружок новых лиц и насчет отказов. Вы видите множество весьма вульгарных лю-

дей, которые твердо основались в *beau monde*; других же, с весьма хорошими претензиями на происхождение, на богатство и на проч., или жестоко отстраняют, или им позволяется только взглянуть через стену, отделяющую их от помянутого света. Высокопочтеннейшая мистрисс Эвенель принадлежала, как по своему происхождению, так и по первому замужству, к фамилиям бесспорно благородным, и если по бедности смирялась она в её прежней карьере, зато теперь не нуждалась в богатстве, чтобы поддерживать свои претензии. Несмотря на то, все представители модного света, как будто с общего согласия, отказались поддерживать достоинство высокопочтеннейшей мистрисс Эвенель. Другой может подумать, что причиной тому было плебейское происхождение её мужа: совсем нет! многие женщины высоких фамилий выходят замуж за людей простого сословия, — людей не столько презентабельных, как мистер Эвенель, и между тем, с помощью денег своего мужа, вполне покоряют прекрасный свет. Но мистрисс Эвенель лишена была этого искусства. Она все еще была хороша собой, была, как говорится, видная женщина, а что касается её нарядов, то никакая герцогиня не могла бы превзойти ее в роскоши. Вот эти-то обстоятельства, быть может, и служили препятствием к удовлетворению её честолюбия. Очень часто случается, что скромная и даже простая женщина, не возбуждающая ни в ком зависти, легко допускается в блестящие собрания, между тем, как прекрасная, занятая собой лэди, кото-

рую, без сомнения, вы видали в вашей гостиной, и которую так же трудно упустить из виду, как пестрокрылую бабочку между вашими любимыми цветами, непременно будет удалена оттуда, так же безжалостно, как и бабочка в подобном положении.

Мистер Эвенель в унылом расположении духа сидел у камина. Засунув руки в карманы, он насвистывал какую-то арию. Надобно сказать правду, что деятельный ум его сильно томился в Лондоне, особливо в течение первой половины дня. Он приветствовал приход Рандаля выразительной улыбкой, встал со стула, принял торжественную позу и, закинув руки на фалды своего фрака, не хотел даже позволить Рандалю пожать руку мистрисс Эвенель, погладить детей по головке и произнести при этом случае: «какие милые создания!» (Мимоходом сказать, Рандаль всегда был ласков к детям. Этот род волков в овечьей шкуре всегда бывает ласков: берегитесь их, о вы, неопытные молодые матери!) Дик, говоря я, не хотел даже позволить своему гостю сделать обычные приветствия, потому что еще до прихода гостя он плавал в океане политики.

– Слава Богу! вскричал Дик: – дела принимают надлежащий оборот. Министерство переменено! Теперь британской респектабельности и британскому таланту открыта прямая дорога. И, что еще более, продолжал Эвенель, ударив кулаком правой руки о ладонь левой: – и, что еще более, в новом парламенте будут новые люди, которые понимают, как долж-

но вести дела и, как управлять государством. *Я намерен, сэр, сам вступить в Парламент!*

– Да, сказала мистрисс Эвенель, уловив наконец удобнейший случай вернуть словцо: – я уверена, мистер Лесли, вы скажете, что я поступила весьма благоразумно. *Я* убедила мистера Эвенеля, что с его талантом и богатством он должен, для блага своего отечества, чемнибудь пожертвовать. К тому же вам известно, мистер Лесли, что его мнения теперь в большой моде, а прежде их непременно бы назвали ужасными и даже вульгарными!

Сказав это, она с гордостью взглянула на прекрасное лицо Эвенеля, которое в эту минуту было страшно нахмурено. Я должен отдать справедливость мистрисс Эвенель: слабая и недальновидная в одном отношении, хитрая и проницательная в другом, она была, однако же, добрая жена. Это качество принадлежит вообще всем шотландкам.

– Все вздор! вскричал Дик. – Что может смыслить женщина в политике? Смотрите лучше за ребенком, взгляните, как он комкает и тормозит эту пустую книжонку, которая мне стоит двадцать шиллингов.

Мистрисс Эвенель с покорностью наклонила голову и взяла альманах из рук молоденькой разрушительницы; разрушительница подняла оглушительный крик, как это и бывает, когда не делается по их желанию. Дик хлопнул в ладоши подле самого уха маленькой крикуньи.

– Я терпеть не могу этого. Пойдемте, Лесли, прогуляем-

тесь. Мне нужно порасправить свои члены.

Говоря это, он уже расправлял свои члены, вытягиваясь к потолку, и потом без дальнейших слов вышел из комнаты.

Рандаль с неподражаемой любезностью выразил мистрисс Эвенель извинение за её мужа и за себя.

– Бедный Ричард! сказала мистрисс Эвенель: – каждый человек имеет свои странности, и у него есть свои, под влиянием которых он теперь находится. Пожалуста, мистер Лесли, извещайте нас почаще. Когда начнутся балы в собрании?

– Извините, сударыня, этот вопрос следует предложить вам, – вам, которой все известно, что происходит в нашем кругу, сказал молодой змей-искуситель. – А всякое древо, посаженное в «нашем кругу», хотя бы это была дикая яблонь, непременно должно искусить Еву мистера Эвенеля и заставить ее броситься к веткам.

– Ну, скоро ли вы там? вскричал Дик с нижней ступеньки лестницы.

–

– Я сейчас был у нашего приятеля барона Леви, сказал Рандаль, лишь только вышел с Эвенелем на улицу. Он, как и вы, страстно любит заниматься политикой... очень милый человек, особенно в делах, которыми он занимается.

– Да, сказал Дик, протяжно: – он очень милый человек, да не даром только...

– Только что, любезный Эвенель?

Рандаль при этом случае в первый раз отбросил формальное слово *мистер*.

– Только дела-то его сами по себе не слишком милы.

Из груди Рандаля вырвался глухой хохот.

– Быть может, вы хотите сказать, что он дает деньги в доли более, чем за пять процентов.

– Провались сквозь землю эти проценты! Для меня во всякого рода торговых оборотах не существует никаких стеснений. Не в процентах дело. Когда один должен другому известную сумму хотя бы за два процента и находит неудобным заплатить свой долг в определенное время, это обстоятельство, так или иначе, но ставит его в неприятное положение; обстоятельство это, так сказать, отнимает от человека британскую свободу.

– До вас, я уверен, это не касается. Вы в состоянии скорее одолжать деньги, чем занимать их.

– Конечно, я полагаю, что вы правы в этом отношении. Но вот что хочу я сказать вам: в этом дряхлом нашем отечестве проявилась сильная мания к соревнованию. Я человек, смею сказать, не скряга. Я люблю соревнование до известной степени; но здесь оно так быстро развивается, что из рук вон... чисто из рук вон!

Мистер Эвенель, которого гениальный ум стремился к спекуляциям и различного рода улучшениям, выстроил в Скрюстоуне фабрику, самую первую фабрику, которая когда либо потемняла церковный шпиг своей титанской дымо-

вой трубой. Фабричное производство шло сначала успешно. Мистер Эвенель употребил на эту спекуляцию почти весь свой капитал. «Ничто – говорил он – не может приносить таких огромных выгод, как фабрики. Манчестер стареет, а время покажет, что может сделать Скрюстоун. Соревнование – дело великое.» Между тем другой капиталист, со средствами гораздо большими в сравнении с Диком Эвенелем, сделав открытие, что Скрюстоун расположен подле замечательной угольной копи, и что Дика барыши были огромные, соорудил другую фабрику, громаднее фабрики Дика и с трубой чуть ли не вдвое выше первой фабрики. Пустив в ход все машины и поселившись в этом городе, в то время, как Дик занимал управляющего, а сам наслаждался лондонской жизнью, этот бессовестный конкурент распорядился таким образом, что сначала делил пополам выгоды, приобретаемые одним трлком Эвенелем, а потом и совершенно прибрал их в свои руки. После этого неудивительно, что мистер Эвенель считал необходимым, чтобы соревнование имело свои границы. «Укого что болит, тот о том и говорит» – сказал бы при этом случае наш приятель доктор Риккабокка. Юный Талейран мало по малу успел вынудить от Дика эти жалобы и в них открыл основу дружественной связи его с бароном Леви.

– Впрочем, Леви, сказал Эвенель, весьма откровенно: – в своем роде человек прекрасный, поступает по приятельски. Жена моя находит его даже полезным человеком – он за-



манивает ваших молодых *высоколетов* на её *soirées*. Одно только нехорошо, что наэтих вечерах никто из них не танцует – стоят себе в ряд у дверей, как факельщики на похоронах. Впрочем, в последнее время они сделались со мной необыкновенно учтивы и ласковы, особенно Спендквикк. Мимоходом сказать, я завтра вместе с ним обедаю. Знаете, вся эта аристократия как-то не очень таровата, сэр, тяжелька на ногу, нечего сказать; но если кто сумеет расшевелить ее, так, поверьте, нашего брата, американцев, они с ног собьют одним только умением прекрасно обойтись с порядочным человеком. Я говорю это без всякого предубеждения.

– Я не видывал еще человека, который бы имел менее вашего предубеждений; вероятно, вы не имеете их и даже против Леви.

– Ни на волос! Все говорят, что он жид, хотя он отрицает это; а мне и дела нет до того, кто он такой. Его деньги не жидовские, а английские; а этою и довольно для человека с здравым рассудком. Его проценты тоже весьма умеренные. Само собою разумеется, он знает, что я как нельзя лучше расцветаю с ним. Одно только мне не нравится в нем: это – его сладенькие *mon cher* и *mon cher amie*: для делового человека это не идет. Ему известно, что я имею влияние на наш Парламент. Я могу представить двух членов от Скрюстоуна и одного, а может быть, и тоже двух от Лэнсмера, где я успел обработать это дельце. Леви требует... нет, не то, что требу-

ет, а хочет, чтобы я поместил в Парламент его кандидатов. Впрочем, в одном отношении мы, вероятно, сойдемся с ним. Он говорит, будто и вы хотите поступить туда. Вы, кажется, развязный молодец; только бросьте вашего надменного патрона и держитесь публичного мнения да еще... *меня!*

– Вы очень добры, Эвенель! Быть может, когда мы вздумаем сравнить наши мнения, то найдем, что они совершенно одинаковы. Все же, в настоящем положении Эджертона, долг признательности к нему... впрочем, мы поговорив об этом после. Неужели вы думаете, что я могу поступить в Парламент от Лэнсмера, даже несмотря на влияние л'Эстренджа, которое должно быть сильно там?

– Да, оно *было* сильно; но теперь, полагаю, что я значительно ослабил его.

– А как вы полагаете, состязание будет дорого стоить?

– Я полагаю. Впрочем, как вы сказали, об этом еще можно поговорить впоследствии, когда вы все кончите с своею «признательностию». Приезжайте ко мне, и мы побеседуем об этом.

Рандаль, увидев, что он выжал весь сок из своего апельсина, и не считая за нужное вытирать корку своим рукавом, вынул руку из под руки Эвенеля и, взглянув на часы, вспомнил, что ему пора отправиться на свидание по весьма важному делу, кликнул кэб и умчался.

Оставшись одиноким на улице, Дик казался печальным и безутешным. Он громко зевнул, к крайнему изумлению

двух разряженных старых дев, проходивших мимо его. После того он вспомнил о своей фактории в Скрюстоуне, которая свела его с бароном Леви, вспомнил о письме, полученном им поутру от своего управителя, который уведомлял его, что в Скрюстоуне носятся слухи, будто бы мистер Дайс, его соперник, намерен завести новые машины с новейшими улучшениями, и что мистер Дайс отправился в Лондон, с тою целью, чтобы взять привилегию на открытие, которое предполагал применить к новому устройству машин, и что этот джентльмен публично хвастался в торговом собрании, что ранее, чем через год, принудить Эвенеля закрыть свою фабрику. При этой угрозе лицо Дика нахмурилось, и он медленно, покачиваясь с боку на бок, бродил без всякой цели по улицам, пока не очутился на улице Странд. Там он сел в омнибус и прибыл в Сити, где и провел остальную часть дня, рассматривая различные машины и тщетно стараясь догадаться, какое дьявольское изобретение досталось в руки его сопернику, мистеру Дайсу. «Если – говорил он, возвращаясь домой в унылом расположении духа – если человеку подобному мне, который так много сделал для британской промышленности, придется отдать себя безответно на съедение какомунибудь обжоре-капиталисту, подобно этому болвану в каштановых брюках, какому-то Тому Дайсу, то все, что могу сказать я, это то, что чем скорее эта негодная страна уберется к собакам, тем для меня будет приятнее. Я умываю свои руки.» Рандаль между тем окончательно решил-

ся. Все, что он узнал касательно Леви, подтверждало его решимость и заглушало голос его совести. Он не сомневался в том, что Пешьера предложит, а еще более не сомневался, что Пешьера заплатит десять тысяч фунтов за такое известие, которое могло ускорить движение графа к желаемой цели. Но когда Леви совершенно принял на себя все эти предложения, главный вопрос для Рандалья состоял уже в том: имел ли Леви в виду соблюдение своих собственных выгод, решаясь сделать такое значительное пожертвование? Еслиб Леви представил побудительной причиной к подобному пожертвованию одно только дружеское расположение, то Рандаль был бы уверен, что его хотят обмануть; но откровенное признание барона Леви, что его собственные выгоды принуждали предложить Рандалью такие условия, изменяло обстоятельство дела и заставляло нашего молодого философа смотреть на ход его спокойными созерцающими взорами. Достаточно ли было очевидно, что Леви рассчитывал на равномерные выгоды? Мог ли он рассчитывать на жатву четвериками там, где он сеял пригоршнями? Результат размышлений Рандалья был таков, что барона ни под каким видом нельзя считать за расточительного сеятеля. Во первых, ясно было, что Леви не без основательной причины полагал в непродолжительном времени и с избытком воротит всякую сумму, которую он выдаст Рандалью, – воротить ее из того богатства, которое одно только известие Рандалья предоставит в распоряжение его клиента-графа. Во вторых, самоува-

жение Рандаля было беспредельно, и еслиб только мог он в настоящее время упрочить за собою денежную независимость и освободит себя от продолжительного труженичества над изучением законов или от незначительного вспомоществования и покровительства Одлея Эджертона, как политического человека без всякого веса. Убеждение барона Леви в быстрые успехи Рандаля на поприще публичной жизни были так сильны, как будто их нашептывал ангел или обещал демон. При этих успехах, вместе с прекрасным положением в обществе, которое они могли доставить Рандалю, Леви не мог не рассчитывать на вознаграждение себя посредством тысячи косвенных путей. Проницательный ум Рандаля обнаруживал, что Леви, несмотря на все приписываемые ему прекрасные качества, гнался в этом предприятии за своими собственными выгодами; он видел, что Леви намеревался завладеть им и воспользоваться его способностями, как орудиями для разработки новых копей, из которых самая большая доля должна перейти в руки барона. Но при этой мысли на губах Рандаля показывалась улыбка презрения; он уже слишком надеялся на свою силу, чтобы позволить ростовщику овладеть собой. Таким образом, после этих размышлений, совесть совершенно замолкла в нем, и он уже наслаждался предвкушением блестящей будущности. Он видел перед собой возвращение отторгнутых наследственных имений, как бы они ни были обременены долгами, хотя на минуту, но видел их своими собственными, за-

конным образом собственными, видел, что они доставляли ему все необходимое, удовлетворяли его весьма немногие нужды и освобождали от звания авантюриста, которое в богатых государствах так щедро дается тем, кто вместо обширных поместий обладает обширным умом. Он вспомнил о Виоланте, как вспоминает просвещенный промышленник о ничтожной монете, о красивенькой безделушке, на которую он выменивает у какогонибудь дикаря золотой песок; он представлял себе Франка Гэзельдена, женатого на бедной чужеземке и проживавшего в счет посмертного обязательства наследственную дачу-казино; он представлял себе гнев бедного сквайра; он вспомнил о Дике Эвенеле, о Лэнсмере и Парламенте; одной рукой он захватывал богатство, другою – власть. «Все же – говорил он про себя – я вступил на поприще этой жизни, не имея родовых имений. Кроме полу-разрушенного Руд-Голла и пустырей, окружающих его, у меня не было родовых имений; но было знание. Я обратил это знание не в книги, но на людей: книги доставляют славу после нашей смерти, а люди дают нам силу при жизни.» И в то время, как он рассуждал таким образом, его план начал приводиться в исполнение. Хотя он и сооружал воздушные помосты к воздушным замкам внутри незавидного наемного кэба, но этот кэб мчался быстро, чтобы овладеть выгодным местом, на котором бы можно было положить прочное материальное основание зданию, по плану, составленному в уме Рандаля. Кэб остановился наконец у дверей дома

лорда Лэнсмера. Рандаль, подозревая, что Виоланта находилась в этом доме, решился поверить самого себя. Он вышел из кэба и позвонил в колокольчик. Швейцар открыл большую парадную дверь.

– Я заехал повидаться с молоденькой лэди, которая гостит здесь; она иностранка.

Лэди Лэнсмер до такой степени считала безопасным пребывание Виоланты в своем доме, что не считала за нужное отдать особые приказания своим слугам, и потому лакей, насколько не затрудняясь, отвечал:

– Пожалуйста, сэр, она дома. Впрочем, кажется, она теперь в саду с мы лэди.

– Да, я вижу, сказал Рандаль.

И он действительно увидел в отдалении Виоланту.

– Она гуляет теперь, и мне не хочется лишиться ее этого удовольствия. Я заеду в другой раз.

Швейцар почтительно поклонился. Рандаль впрыгнул в кэб.

– В улицу Курзон! живее! вскричал он извозчику.

## Глава СII

Гарлей, поручив Леонарду тронуть лучшие и более нежные качества души Беатриче, сделал одну замечательную ошибку. Это поручение как нельзя более характеризовало романтическое настроение души Гарлея. Мы не берем на себя решить, на сколько благоразумия заключалось в этом поручении; скажем только, что, сообразно с теорией Гарлея о способностях души человеческой вообще и души Беатриче в особенности, в этом плане проявлялись и мечта энтузиаста и основательное заключение глубокомысленного философа.

Гарлей предупредил Леонарда не влюбиться в итальянку; но он забыл предупредить итальянку не влюбиться в Леонарда. Впрочем, он не допускал и вероятия в возможности этого события. В этом нет ничего удивительного. Большая часть весьма благоразумных людей, ослепляемых самолюбием, ни под каким видом не решатся допустить предположения, что могут быть другие, подобные им создания, которые в состоянии пробудить чувство любви в душе хорошенькой женщины. Все, даже менее тщеславные, из брадатого рода считают благоразумным охранять себя от искушений прекрасного пола, и каждый одинаково отзывается о своем приятеле: «славный малый, это правда; но он последний человек, в которого может влюбиться *та* женщина! "

Но обстоятельства, в которые поставлен был Леонард, до-



казали, что Гарлей был весьма недалководиден.

Каковы бы ни были прекрасные качества Беатриче, но вообще она слыла за женщину светскую и честолюбивую: Она находилась в стесненных обстоятельствах, она любила роскошь и была расточительна: каким же образом она отличит обожателя в лице деревенского юноши-писателя, неизвестного происхождения и с весьма ограниченными средствами? Как кокетка, она могла рассчитывать на любовь с его стороны; но её собственное сердце, весьма вероятно, будет оковано в тройную броню гордости, нищеты и условного понятия о мире, в котором протекала её жизнь. Еслиб Гарлей считал возможным, что маркиза ди-Негра решится стать на ступень ниже своего положения в обществе и полюбит не по расчету, но душою, то он бы скорее допустил, что предмет этой любви должен быть какойнибудь блестящий авантюрист из модного света, который умел бы обратить против неё все изученные средства и способы обольщения и всю опытность, приобретенную им в частых победах. Но какое впечатление мог произвести на её сердце такой простодушный юноша, как Леонард, таюй застенчивый, таюй неопытный? Гарлей улыбался при одной мысли об этом. А между тем случилось совсем иначе, и именно от тех причин, которых Гарлей не хотел принять в свои соображения.

Свежее и чистое сердце, простая, безыскусственная нежность, противоположность во взоре, в голосе, в выражении, в мыслях, всему, что так наскучило, чем Беатриче уже давно

пренебрегала в кругу своих поклонников, – все это пленило, очаровало ее при первом свидании с Леонардом. Судя по её признанию, высказанному скептику Рандалю, в этом заключалось все, о чем она мечтала и томилась. Ранняя юность её проведена была в неравном ей браке; она не знала нежного, невинного кризиса в человеческой жизни – не знала девственной любви. Многие обожатели умели польстить её самолюбию, умели угодить её прихотям; но её сердце постоянно оставалось в каком-то усыплении: оно пробудилось только теперь. Свет и лета, поглощенные светом, по видимому, пролетели мимо её как облако. Для неё как будто снова наступила цветистая и роскошная юность – юность итальянской девушки. Как в ожидании наступления золотого века для всего мира заключается какая-то поэтическая чарующая прелесть, так точно и для неё уже существовала эта прелесть в присутствии поэта.

О, как упоителен был краткий промежуток в жизни женщины, пресыщенной «вычурными зрелищами и звуками» светской жизни! Сколько счастья доставили ей те немногие часы, когда юноша-поэт рассказывал ей о своей борьбе с обстоятельствами, в которые бросила его судьба, и возвышенным стремлением его души, когда он мечтал о славе, окруженный цветами и вслушиваясь в спокойное журчание фонтана, когда он скитался по одиноким, ярко-освещенным улицам Лондона, когда сверкающие глаза Чаттертона как призраки являлись перед ним в более мрачных и безлюдных ме-

стах. И в то время, как он говорил о своих надеждах и опасениях, её взоры нежно покоились на его молодом лице, выражавшем то гордость, то уныние, – гордость столь благородную и уныние столь трогательное. Она никогда не уставала глядеть на это лицо, с его невозмутимым спокойствием, но её ресницы опускались при встрече с глазами Леонарда, в которых отражалось столько светлой, недостижимой любви. Представляя их себе, она понимала, какое в подобной душе глубокое и священное значение должно иметь слово любовь. Леонард ничего не говорил о Гэлен; причину такой скромности, вероятно, поймут наши читатели. Для такой души, как его, первая любовь есть тайна: открыть ее значит надсмеяться над этим чувством. Он старался только исполнить поручение: пробудить в ней участие к Риккабокка и его дочери. И он прекрасно исполнял его; описание их вызывало слезы на глаза Беатриче. Она в душе дала себе клятву не помогать своему брату в его замыслах на Виоланту. Она забыла на время, что её собственное благополучие в жизни зависело от удачи этих замыслов. Леви устроил так, что кредиторы не напоминали о её нищете, – но как это было устроено, она не знала. Она оставалась в совершенном неведении касательно сделки между Рандаем и Леви. Она предавалась упоительному ощущению настоящего и неопределенному, безотчетному предвкушению будущего, – но не иначе, как в связи с этим юным, милым образом, с этим пленительным лицом гения-хранителя, которого видела перед собой,

и тем пленительнее – в минуты его отсутствия. В эти минуты наступает жизнь волшебного края: мы закрываем глаза для целого мира и смотрим сквозь золотистую дымку очаровательных мечтаний. Опасно было для Леонарда это нежное присутствие Беатриче ди-Негра, и еще опаснее, если бы сердце его не было вполне предано другому существу! Среди призраков, вызванных Леонардом из его прошедшей жизни, она не видела еще грозного для неё призрака – соперницы. Она видела его одиноким в мире, – видела его в том положении, в каком находилась сама. Его простое происхождение, его молодость, его видимое нерасположение к надменному высокоумию, – все это внушало Беатриче смелость предполагать, что если Леонард и любил ее, то не решился бы признаться в своей любви.

И вот, в один печальный день, покоряясь, по сделанной привычке, побуждению своего пылкого итальянского сердца (каким образом это случилось, она не помнит; что говорила она, тоже не осталось в памяти), она высказала, она сама призналась в любви и просила, со слезами и пылающим лицом, взаимной любви. Все, что происходило в эти минуты, для неё была мечта, был сон, от которого пробудилась с жестоким сознанием своего уничтожения, – проснулась как «женщина отвергнутая.» Нет нужды, с какою признательностью, с какою нежностью отвечал Леонард! в его ответе заключался отказ. Только теперь она узнала, что имела соперницу, что сколько он мог уделить любви из своей

души, уже давно, еще с ребяческого возраста его, было отдано другой. В первый раз в жизни эта пылкая натура узнала ревность, с её язвительным жалом, с её смертельной ненавистью. Но в отношении к наружности Беатриче стояла безмолвная и холодная как мрамор. Слова, которые предназначались ей в утешение, не достигали её слуха: они заглушались порывами внутреннего урагана. Гордость была господствующим чувством над стихиями, бушевавшими в её душе. Она отдернула свою руку от руки, которая держала ее с таким беспредельным уважением. Она готова была затоптать ногами существо, которое стояло перед ней на коленях, выпрашивая не любви её, но прощения. Она указала на дверь жестом, обнаруживавшим всю горечь оскорбленного достоинства. Оставшись одна, она совершенно потеряла сознание своего бытия. Но вскоре в уме её мелькнул луч догадки, свойственный порывам ревности, – луч, который, по видимому, из всей природы отмечает один предмет, которого должно страшиться, и который должно разрушить, – догадка, так часто неосновательная, ложная, но принимаемая нашим убеждением за открытие инстинктивной истины. Тот, перед кем она унизила себя, любил другую, и кого же, как не Виоланту? кого другую, молодую и прекрасную, как он сам выразился, повествуя свою жизнь! конечно, ее! И он старался пробудить участие в ней, в Беатриче ди-Негра, к предмету своей любви, намекал на опасности, которые очень хорошо были известны Беатриче, внашал Беатри-

че расположение защитить ее. О, до какой степени она была слепа! Так вот причина, почему он изо дня в день являлся в дом Беатриче, вот талисман, который привлекал его туда; вот.... и Беатриче сжала обеими руками пылающие виски, как будто этим она хотела остановить поток самых горьких, терзающих душу размышлений и догадок.... как вдруг внизу раздался голос, отворилась дверь и перед ней явился Рандаль....

—

Пунктуально в восемь часов того же вечера, барон Леви радушно встретил своего нового сообщника. Они обедали *en tête à tête* и разговаривали о предметах весьма обыкновенных до тех пор, как слуги оставили их за десертом. Барон встал и помешал огонь в камине.

— Ну что? сказал он отрывисто и многозначительно.

— Касательно поместий, о которых вы говорили, отвечал Рандаль: — я охотно покупаю их, на условиях, которые вы изъяснили. Одно только беспокоит меня, каким образом объясню я Одлею Эджертону, моим родителям, наконец всему обществу, средства этой покупки?

— Правда, сказал барон и даже не улыбнулся на этот умный и чисто греческий способ высказать свою мысль и в то же время скрыть её безобразие: — правда! нам нужно подымать об этом. Еслиб только можно было с нашей стороны скрыть настоящее имя покупателя в течение года, или около того, тогда бы нетрудно было устроить это дело: мы бы распустили

слух, что вам удалась одна коммерческая операция; а впрочем, легко может случиться, что Эджертон умрет к тому времени, и тогда все будут полагать, что он умел сберечь для вас значительный капитал из руин своего богатства.

– рассчитывать на смерть Эджертона слишком ненадежно!

– Гм! произнес барон. – Впрочем, это еще впереди, нам много еще будет времени обдумать это. А теперь можете ли вы сказать нам, где обретается невеста?

– Разумеется. Поутру я не мог, а теперь могу. Я поеду с вами к графу. Между прочим, я видел маркизу ди-Негра; она непременно примет Франка Гэзельдена, если он немедленно сделает ей предложение.

– Разве он не решается на это?

– В том-то и дело, что нет! Я был у него. Он в восторге от моих убеждений, но считает долгом получить сначала согласие родителей. Нет никакого сомнения, что они не дадут его; а если дело хоть немного затянется, тогда маркиза охладеет. Она находится теперь под влиянием страстей, на продолжительность которых рассчитывать нельзя.

– Каких страстей? ужь не любви ли?

– Да, любви; но только не к Франку. Страсти, которые располагают ее принять руку Франка, суть желание мести и ревность. Короче сказать, она полагает, что тот, который, по видимому, так странно и так внезапно пробудил в ней нежные чувства, остается равнодушным к её прелестям по-

тому, что ослеплен прелестями Виоланты. Она готова помогать во всем, что только может предать её соперницу в руки Пешьера; и, кроме того – можете представить себе непостоянство женщины! (прибавил молодой философ пожав плечами) – кроме того, она готова лишиться всякой возможности овладеть тем, кого любит, и выйти за муж за другого!

– Во всем видна женщина! заметил барон, шелкнув по крышке золотой табакерки, и вслед за тем отправил в ноздри щепотку ароматического табаку. – Но кто же этот счастливец, которого Беатриче удостоила такой чести? Роскошное создание! Я сам имел виды на нее, скупал её векселя, но вскоре раздумал: это могло бы поставить меня в щекотливое положение в отношении к графу. Все к лучшему.... Кто бы это такой? ужь не лорд ли л'Эстрендж?

– Не думаю; впрочем я еще не узнал. Я сказал вам все, что знаю. Я застал ее в таком странном волнении, она так была не похожа на себя, что я не решился даже успокоить ее и вместе с тем узнать имя дерзкого. У меня недоставало духу сделать это.

– Так она готова принять предложение Франка?

– Да, если только он сделает это предложение сегодня.

– Если Франк женится на этой лэди без согласия отца, то поздравляю вас, *mon cher*: вы сделаете удивительный шаг к богатству: ведь вы после Франка ближайший наследник родовых имений Гэзельдена.

– Почему вы знаете это? с угрюмым видом спросил Ран-



даль.

– Моя обязанность знать все шансы и родственные связи того, с кем я имею денежные сделки. Я имею такие сделки с молодым Гэзельденом: поэтому мне известно, что гэзельденские вотчины не имеют еще определенного наследника, а так как полу-брат сквайра не имеет в себе капли гэзельденской крови, то я смело могу поздравить вас с блестящими ожиданиями.

– Неужели вам сказал Франк, что после него я ближайший наследник?

– Я думаю; впрочем, кажется, *вы* сами сказали.

– Я! когда?

– Когда говорили мне как важно для вас обстоятельство, если Франк женится на маркизе ди-Негра. *Peste! mon cher*, за кого вы меня считаете?

– Но согласитесь, барон, Франк теперь в зрелых годах и может жениться на ком ему угодно. Вы давеча сказали мне, что можете помочь ему в этом деле.

– Попробую. Постарайтесь, чтобы завтра он явился к маркизе ди-Негра аккуратно в два часа.

– Я хотел бы устранить себя от непосредственного вмешательства в это дело. Не можете ли вы сами устроить, чтобы Франк явился к ней?

– Хорошо. Не хотите ли еще вина? Нет? в таком случае отправимтесь к графу.

## Глава СШ

На другой день, поутру, Франк Гэзельден сидел за холодным завтраком. Было уже далеко за полдень. Молодой человек, для исполнения служебных обязанностей, вставал рано, это правда, но усвоил странную привычку завтракать очень поздно. Впрочем, для лондонских жителей в его положении аппетит никогда не является рано, – и не удивительно – никто из них не ложился в постель ранее рассвета.

В квартире Франка не было ни излишней роскоши, ни изысканности, хотя она и находилась в самой дорогой улице, и хотя он платил за нее чудовищно высокую цену. Все же, для опытного взора, очевидно было, что в ней проживал человек, свободно располагавший своими деньгами, хотя и не выставлял этого на вид. Стены покрыты были иллюминированными эстампами конских скачек, между которыми там и сям красовались портреты танцовщиц; все это улыбалось и прыгало. Полу-круглая ниша, обитая красным сукном, назначена была для куренья, что можно было заключить по различным стойкам, наполненным турецкими трубками с черешневыми и жасминными чубуками и янтарными мунштуками; между тем как огромный кальян стоял, обвитый своей гибкой трубкой, на полу. Над камином развешена была коллекция мавританского оружия; Какое употребление мог сделать офицер королевской гвардии из ятагана, кинжа-

ла и пистолетов с богатой насечкой, не выносивших пули по прямому направлению далее трех шагов, – это выходит из пределов моих соображений и догадок; да едва ли и Франк в состоянии был дать удовлетворительное по этому предмету объяснение. Я имею сильные подозрения, что этот драгоценный арсенал поступил к Франку в уплату векселя, подлежащего дисконту. Во всяком случае, это было что нибудь в роде усовершенствованной операции с медведем, которого Франк продал своему парикмахеру. Книг нигде не было видно, за исключением только придворного календаря, календаря конских ристалищ, списка военных, псовой охоты и миниатюрной книжечки, лежавшей на каминной полке, подле сигарного ящика. Эта книжечка стоила Франку дороже всех прочих книг вместе: это была его *собственная книжка*, – его книжка *par excellence*, – книжка его собственного произведения, – короче сказать: *книжка для записывания пари*.

В центре стола красовались пуховая шляпа Франка, атласная коробочка с лайковыми перчатками всех возможных нежных цветов, от лиловых и до белых, поднос, покрытый визитными карточками и треугольными записочками, бинокль и абонимент на итальянскую оперу, в виде билета из слоновой кости.

Один угол комнаты посвящен был собранию палок, тросточек и хлыстиков, впереди которых, как будто на-страже, стояли сапоги, светлые как у барона Леви. Франк был в халате, сшитом в восточном вкусе, из настоящего индейского

кашемира и, вероятно, поставленного на счет весьма не дешево. Ничто, по видимому, не могло быть чище, опрятнее и вместе с тем проще его чайного прибора. Серебряный чайник, сливочник и полоскательная чашка, – все это помещалось в его походной туалетной шкатулке. Франк казался прекрасным, немного утомленным и чрезвычайно в неприятном расположении духа. Он несколько раз принимался за газету *Morning Post*, и каждый раз попытка прочитать из неё несколько строчек оказывалась безуспешною.

Бедный Франк Гэзельден! верный тип множества жалких молодых людей, кончивших давным-давно свое блестящее поприще, – тем более жалких, что в быстром стремлении своем на дороге к гибели они не оставили по себе никакого воспоминания! К раззорившемуся человеку, как, например, Одлею Эджертону, мы чувствуем некоторое уважение. Он раззорился на славу! С руин своего богатства он может смотреть вниз и видеть великолепные монументы, возведенные из материалов разгромленного здания. В каждом учреждении, которое свидетельствует о человеколюбии, в Англии непременно встречаются памятники щедрот публично-го человека. В тех примерах благотворительности, где участвует соревнование, в тех наградах за заслуги, которые может выдать одно только великодушие частных людей, рука Эджертона всегда открывалась вполне и охотно. Многие возвышающиеся члены Парламента, в те дни, когда талантам открывалась дорога чрез посредничество богатства и высокого

звания, были обязаны своими местами единственно Одлею Эджертону; многие литературные труженики с сожалением вспоминали те дни, когда великодушные такого покровителя, как Эджертон, освобождало их от тюремного заточения. Город, которого он был представителем в Парламенте, великолепно украшался на его счет; по всему округу, где находились его заложенные имения, и которые он очень, очень редко посещал, текло его золото; все, что могло в этом округе одушевить народное стремление к полезному или увеличить его благосостояние, имело полное право на щедрость Эджертона. Даже в его в пышной, беспечной домашней жизни, с её огромной челядью и отличным гостеприимством, было что-то особенное, вполне достойное представителя временно-почетной части английского истинного дворянства, – представителя английских джентльменов без титула. Знаменитый член Парламента, по крайней мере, «мог показать чтонибудь за деньги», которыми он пренебрегал и вследствие того лишился их. Но оставалось ли от Франка Гэзельдена что могло бы сказать хоть одно доброе слово о его прошедшем? Несколько картинок, украшавших квартиру холостяка, коллекция тросточек и черешневых чубуков, полдюжины любовных записочек от какойнибудь актрисы, написанных по французски самым безграмотным образом, несколько длинноногих лошадей, годных только для того, чтоб проиграть на скачках какое угодно пари, и наконец памятная книжка для этих пари! и вот – *sic transit gloria mundi* – на-

летает ястреб от какого нибудь Леви, – налетает на крыльях векселя, облеченного в законную форму, – и от нашего голубка не остается даже и перышка!

Впрочем, Франк имел прекрасные и неотъемлемые достоинства: благородное сердце и строгих правил честь. Несмотря на его беспечность и различного рода дурачества, в голове его скрывались природный ум и здравый рассудок. Чтоб избегнуть предстоявшей гибели, ему стоило только сделать то, чего он прежде никогда не делал, и именно: остановиться и подумать. Но, конечно, эта операция покажется необыкновенно трудною для людей, которые сделали привычку поступать во всем очертя голову, нисколько не думая.

– Это наконец несносно, сказал Франк, моментально вставая со стула. – Я на минуту не могу забыть эту женщину. Мне непременно нужно ехать к отцу. Но что, если он рассердится на это и не даст своего согласия? что я тогда стану делать? А я боюсь, он не согласится. Я желал бы иметь настолько присутствия духа, чтоб поступить по совету Рандаля. По видимому, он хочет, чтоб я женился немедленно и в прекрасном окончании этого дела положился на защиту матери. Но когда я спрашиваю его, советует *он* мне решиться на это или нет, он решительно устраняет себя. И я полагаю, в этом отношении он прав. Я очень хорошо понимаю, что он не хочет – добрый друг! – предложить мне совет, который крайне огорчит моего отца. Но все же....

При этом Франк прервал свой монолог и в первый раз сде-

лал отчаянное усилие – подумать!

О, благосклонный читатель! я не смею сомневаться, что вы принадлежите к тому разряду людей, которые знакомы с действием нашего ума, именуемым мыслию; и, быть может, вы улыбнулись с пренебрежением или недоверчивостью над моим замечанием о затруднении подумать, – затруднении, в котором находился Франк Гэзелден. Но скажите откровенно, уверены ли вы сами, что когда собирались *подумать*, то вам всегда удавалось это? Не бывали ли вы часто обмануты бледным, призрачным видением мысли, которое носит название *задумчивости*? Честный старик Монтань признавался, что он вовсе не понимал процесса *сесть* и *подумать*, – процесса, о котором многие так легко отзываются. Он не иначе мог думать, как с пером в руке, листом чистой перед ним бумаги, и этой, так сказать усиленной мерой, он ловил и связывал звенья размышления. Часто это случалось и со мной, когда я обращался к *мысли* и решительным тоном говорил ей: «пробудись! перед тобой серьезное дело, углубись в него, подумай о нем», и эта мысль вела себя в подобных случаях самым возмутительным образом. Вместо сосредоточения своих лучей в одну струю света, она разрывалась на радужные цвета, освещала ими предметы, не имеющие никакой связи с предметом, требующим освещения, и наконец исчезала в седьмом небе, – так что, просидев добрый час времени, с нахмуренными бровями, как будто мне предстояло отыскать квадратуру круга, я вдруг

делал открытие, что это же самое я мог бы сделать в спокойном сне; и действительно, в течение этого часа, вместо размышления, мне снились сны, и самые пустые, нелепые сны! Так точно, когда Франк прервал свой монолог и, прислонясь к камину, вспомнил, что ему предстоит весьма важный кризис в жизни, о, котором не мешало бы «подумать», только тогда представился ему ряд последовательных, но неясных картин. Ему представлялся Рандаль Лесли, с недовольным лицом, из которого Франк ничего не мог извлечь; сквайр, с лицом грозным как громовая туча; мать Франка защищает его перед отцом и за свои труды получает слишком неприятный выговор, после этого являются блуждающие огоньки и решаются называть себя «мыслию»; они начинают играть вокруг бледного очаровательного лица Беатриче ди-Негра, в её гостиной, в улице Курзон. Мало того: Франк слышит их голоса из неведомого мира, которыми они повторяют уверение Рандаля, высказанное накануне, что «касательно её любви к тебе, Франк, нет никакого сомнения; только она начинает думать, что ты шутишь с ней.» Вслед за тем является восторженное видение молодого человека на коленях, – явление прекрасного, бледного личика, покрытого румянцем стыдливости, священника перед алтарем и кареты в четверню у церковных дверей; потом представляется картина медового месяца, для которого мед был собран от всех пчел Гимета. И среди этой фантазмагии, которую Франк, в простоте души своей, именовал «размышлением», в уличную



дверь раздался громкий стук молодого джентльмена.

– Боже мой! воскликнул Франк, приказав лакею сказать, что его нет дома:– Боже мой! не дадут минуты *подумать* о серьёзных делах.

Но поздно было отдано приказание лакею. Лорд Спендквикк в несколько секунд влетел в приемную и оттуда прямо в комнату Франка. Друзья осведомились о здоровье друг друга и взаимно пожали руки.

– У меня есть к тебе записка, Гэзельден.

– От кого?

– От Леви. Я сейчас от него: никогда не видел его в таких хлопотах и беспокойстве. Он поехал в Сити, – вероятно, к господину *Игреку*. На скорую руку написал он эту записку; хотел было отправить ее с лакеем, но я вызвался доставить ее по адресу.

– Надеюсь, что он не требует долга, сказал Франк, боязливо взглянув на записку. – *По секрету!* это скверно.

– И в самом деле, чертовски скверно.

Франк вскрывает записку и читает вполголоса:

«Любезный Гэзельден....»

– Превосходный знак! вскричал Спендквикк, прерывая Франка. – Леви всегда называет меня «любезным Спендквикком», когда присылает деньги в долг, а величает «милордом», когда требует уплаты. Чудный знак!

Франк продолжает читать, но про себя и с заметной переменой в лице:

«Любезный Гэзельден, мне очень неприятно сообщить вам, что, вследствие неожиданного разорения торгового дома в Париже, с которым имею огромные дела, я нахожусь в крайности немедленно иметь наличные деньги, сколько будет возможно получить их. Я не хочу ставить вас в затруднительное положение, но постарайтесь по возможности очистить ваши векселя, которые находятся у меня, и которым, как вам известно, недавно минул срок. Я делал уже предложение устроить ваши дела, но это предложение, как кажется, вам не понравилось; к тому же и Лесли говорил мне, что вы имеете сильное нерасположение обеспечить свой долг имуществом, получить которое вы имеете в виду. Итак, мой добрый друг, об этом более ни слова. По приглашению, я спешу оказать помощь моему очаровательному клиенту, который находится в пренеприятном положении: это – сестра иностранного графа, богатого как Крез. В её доме производится теперь следствие по долговому иску. Я отправляюсь к негоцианту, который предъявил этот иск, но не имею ни малейшей надежды смягчить его и боюсь, что в течение дня явятся другие кредиторы. Вот еще причина моей нужды в деньгах: о, если бы вы помогли мне, mon cher! Следствие в доме одной из самых блестящих женщин в Лондоне – следствие в улице Курзон! Если мне не удастся остановить его, молва о нем вихрем пронесется по всему городу. Прощайте. Я спешу.

«Ваш Леви.»

«P. S. Ради Бога не сердитесь на мое послание. Я бы не по-

безпокоил вас, еслиб Спендквикк и Барровель хоть скольконибудь прислали мне в уплату своих долгов. Быть может, вы убедите их сделать это.»

Пораженный безмолвием и бледностью Франка, лорд Спендквикк с участием друга положил руку на плечо молодого гвардейца и заглянул на записку с той непринужденностью, которую джентльмены в затруднительном положении допускают друг другу в секретной переписке. Его взор остановился на приписке.

– Чорт возьми, это скверно! вскричал Спендквикк. – Поручить тебе упрашивать меня об уплате долга! Какое ужасное предательство! Не беспокойся, любезный Франк, я никогда не поверю, чтобы ты решился сделать чтонибудь неблагоприятное; скорее я могу себя подозревать в.... в уплате ему....

– Улица Курзон! граф! произнес Франк, как будто пробудившись от сна: – это должно быть так.

Надеть сапоги, заменить халат фракком, надеть шляпу, перчатки и взять трость, оставить без всяких церемоний Спендквикка, стремглав сбежать с лестницы, выскочить на улицу и сесть в кабриолет, – все это сделано было Франком с такой быстротой, что изумленный гость его не успел опомниться и произнести:

– Что это значит? в чем дело?

Оставленный таким образом один, лорд Спендквикк по-

качал головой, – покачал два раза, как будто затем, чтоб вполне убедить себя, что особенного ничего не случилось; и потом, надев свою шляпу, перед зеркалом и натянув перчатки, он спустился с лестницы и побрел в клуб Вайт, но побрел в каком-то замешательстве и с рассеянным видом. Простояв несколько минут безмолвно и задумчиво перед окном, лорд Спендквикк обратился наконец к одному старинному моту, в высшей степени скептику и цинику.

– Скажите, пожалуста, правду ли говорят в различных сказках, что в старину люди продавали себя дьяволу.

– Гм! произнес мот, выказывая из себя слишком умного человека, чтоб удивляться подобному вопросу. – Вы принимаете личное участие в этом вопросе?

– Я – нет; но один мой друг сейчас получил письмо от Леви и, прочитав его, убежал из квартиры чрезвычайно странным образом, точь-в-точь, как делалось в старину, когда кончался контрактный срок души! А Леви, ведь вы знаете....

– Да, я знаю, что он не так глуп, как другой черный джентльмен, с которым вы его сравниваете. Леви никогда так дурно не собирает своих барышей. Кончился срок! Конечно, он должен же когданибудь кончиться. Признаюсь, мне бы не хотелось быть в башмаках вашего друга.

– В башмаках! повторил Спендквикк, с некоторым ужасом: – извините, вы еще никогда не встречали человека приличнее его одетого. Отдавая ему всю справедливость, он большую часть времени посвящает исключительно туале-

ту. Кстати о башмаках: представьте себе, он бросился из комнаты с правым сапогом на левой ноге, а с левым – на правой. Это что-то очень странно... весьма таинственно! И лорд Спендквикк в третий раз покачал головой, и в третий раз показалось ему, что голова его удивительно пуста!

## Глава CIV

Между тем Франк примчал в улицу Курзон, выскочил из кабриолета и постучался в уличную дверь. Ему отпер совершенно незнакомый человек, в камзоле канареечного цвета и в толстых панталонах. Франк прибежал в гостиную, но Беатриче там не было. Худощавый, пожилых лет мужчина, с тетрадю в руке, по видимому, занимался подробным рассмотрением мебели и, с помощью служанки маркизы ди-Негра, заносил свои замечания в помянутую тетрадь. Худощавый мужчина взглянул на Франка и дотронулся до шляпы, торчавшей на его голове. Служанка, вместе с тем и чужеземка, подошла к Франку и, на ломаном английском языке, объявила, что барыня никого не принимает, что она не здорова и не выходит из комнаты. Франк всунул в руку служанки золотую монету и убедительно просил ее доложить маркизе, что мистер Гэзельден умоляет ее допустить его к себе. Едва только служанка исчезла с этим посланием, как Франк схватил руку худощавого мужчины:

– Скажите, что это значит? неужели опись имущества?

– Точно так, сэр.

– За какую сумму?

– За тысячу пятьсот-сорок-семь фунтов. Мы подали ко взысканию первые и потому, как видите, хозяйничаем здесь по своему.

– Значит есть еще и другие кредиторы.

– Еслиб их не было, сэр, мы ни под каким видом не решились бы прибегнуть к этой мере. Ничего не может быть при-  
скорбнее для наших чувств. Впрочем, и то надобно сказать,  
эти иностранцы такой народ: сегодня здесь, а завтра ищи где  
знаешь. К тому же....

Служанка воротилась. Маркиза изъявила желание видеть  
мистера Гэзельдена. Франк поспешил исполнить это жела-  
ние.

Маркиза ди-Негра сидела в небольшой комнате, служив-  
шей ей будуаром. её глаза показывали следы недавних слез;  
но её лицо было спокойно и даже, при её надменном, хо-  
тя печальном выражении, сурово. Франк, однако же, не счел  
за нужное обратить внимание на это обстоятельство. Вся его  
робость исчезла. Он видел перед собой женщину в несча-  
стии и унижении, – женщину, которую любил. Лишь только  
дверь затворилась за ним, как он бросился к ногам маркизы.  
Он схватил её руку, схватил край её платья.

– О, маркиза! Беатриче! воскликнул он. – В глазах его  
плавали слезы, а его голос вполнину заглушался сильным  
душевным волнением. – Простите меня, умоляю вас, про-  
стите! не смотрите на меня как на обыкновенного знакомого.  
Случайно я узнал, или, вернее, догадался об этом – об этом  
странном оскорблении, которому вас так невинно подвер-  
гают. Считайте меня за друга, за самого преданного друга.  
О, Беатриче! – И голова Франка склонилась над рукой, ко-

торуую от держал. – О, Беатриче!.. кажется, смешно говорить теперь это, но что же делать! Я не могу не высказать вам этих слов.... я люблю вас люблю всем сердцем и душой, люблю с тем, чтоб вы позволили мне оказать вам услугу, одну услугу! Я больше ничего не прошу!

И рыдания вырвались из пылкого, юного, неопытного сердца Франка.

Маркиза была глубоко тронута. Надобно сказать, она имела душу не какойнибудь отъявленной авантюристки. Столько любви и столько доверия! Она вовсе не приготовилась изменить одному для того, чтоб опутать сетями другого.

– Встаньте, встаньте, нежно сказала она. – Благодарю вас от чистого сердца. Но не думайте, что я....

– Нет, нет!.не отвергайте меня. О, нет! пусть ваша гордость замолчит на этот раз.

– Напрасно вы думаете, что во мне говорит гордость. Вы слишком преувеличиваете то, что случилось в моем доме. Вы забыли, что у меня есть брат. Я послала за ним. Только к нему одному я могу обратиться. Да вот кстати: это его звонок! Но, поверьте, я никогда не забуду, что в этом пустом, холодном мире мне случилось встретить великодушного, благородного человека!

Франк хотел было отвечать, но услышал приближавшийся голос графа и потому поспешил встать и удалиться к окну, всеми силами стараясь подавить душевное волнение и принять спокойное выражение в лице. Граф Пешьера вошел,



вошел со всею красотою и величавостью беспечного, роскошного, изнеженного, эгоистического богача. Его сюртук, отороченный дорогими соболями, откидывался назад с его пышной груди. Между складками глянцевого атласа, прикрывавшего его грудь, красовалась бирюза столь драгоценная, что ювелир продержал бы ее лет пятьдесят прежде, чем отыскался бы богатый и щедрый покупатель. Рукоятка его трости была редким произведением искусства; наконец, сам граф, такой ловкий и легкий, несмотря на его мужество и силу, такой свежий, несмотря на его лета! Удивительно как хорошо сохраняют себя люди, которые ни о чем больше не думают, как о самих себе!

– Бр-рр! произпес граф, не замечая Франка за оконной драпировкой. – Бр-рр! Но видимому, вы провели весьма неприятную четверть часа. И теперь *Dieu me dame, quoi fuire!*

Беатриче указала на окно и чувствовала, что от стыда ей бы легче было скрыться хоть в самую землю. Но так как граф говорил по французски, а Франк и слова не знал на этом языке, то слова графа остались для него непонятными, хотя слух его и поражен был сатирическою наивностью тона.

Франк выступил вперед. Граф протянул руку и с быстрой переменой в голосе и обращении сказал

– Тот, кого сестра моя принимает к себе в подобную минуту, должен быть мне другом.

– Мистер Гэзельден, сказала Беатриче, с особенной выра-

зительностью: – великодушно предлагал мне свою помощь, в которой, с той минуты, как вы, мой брат, явились сюда, я уже не нуждаюсь.

– Разумеется, сказал граф, с торжественным видом вельможи: – я сойду вниз и очищу ваш дом от этого дерзкого негодяя. Впрочем, я полагал, что вы имеете дело с одним только бароном Леви; вероятно, он будет сюда?

– Я жду его с минуты на минуту. Прощайте, мистер Гэзельден!

Беатриче подала руку своему обожателю с искренним радушием, которое не лишено было патетического достоинства. Удерживаемый от дальнейших слов присутствием графа, Франк молча поклонился над прекрасной рукой маркизы и удалился. Пешьера догнал его на лестнице.

– Мистер Гэзельден, сказал граф, в полголоса: – не потрудитесь ли вы зайти в гостиную?

Франк повиновался. Худощавый мужчина, занимавшийся осмотром мебели, все еще продолжал свое занятие; но два-три слова графа, сказанные на ухо, заставили его удалиться.

– Милостивый государь, сказал Пешьера: – я так еще незнаком с вашими английскими законами и способами устранить затруднения неприятного рода, ко всему этому вы обнаружили столько великодушие в жалком положении моей сестры, что я осмеливаюсь просить вас остаться здесь и помочь мне в совещании с бароном Леви.

Франк только что хотел выразить искреннее удовольствие

в том, что он хоть скольконибудь может быть полезен, как в уличную дверь раздался стук барона Леви, и через несколько секунд барон явился в гостиной.

– Уф! произнес Леви, отирая лицо и опускаясь на стул, как будто он провел целое утро в самых утомительных хлопотах. – Уф! какое неприятное происшествие, – весьма неприятное... и, представьте себе, граф, нас могут спасти одни только наличные деньги.

– Леви, вам известны мои дела, отвечал Пешьера, печально покачав головой. – Конечно, через несколько месяцев, даже, может быть, через несколько недель, я в состоянии буду уплатить все долги моей сестры, на какую бы сумму они ни простирались; но в настоящую минуту, в чужой земле, я не в силах сделать это. Капитал, который я привез с собой, почти весь истощился. Не можете ли вы ссудить меня необходимой суммой?

– Решительно не могу! мистер Гэзельден знает, в каком затруднительном положении я сам нахожусь.

– В таком случае, сказал граф: – нам остается только удалить отсюда сестру, и пусть кредиторы продолжают свое дело. Между тем я побываю у моих друзей и посмотрю, нельзя ли будет у них занять денег.

– Увы! сказал Леви, встав и взглянув в окно: – к сожалению, граф, нам нельзя будет удалить отсюда маркизу: самая худшая часть этого дела наступила. Взгляните сюда: вы видите вон этих трех человек: они имеют официальное приказа-

ние, которое относится до её личности; в ту минуту, как она покажется за дверями этого дома, ее возьмут под арест.

– Возьмут под арест! в один голос воскликнули Пешьера и Франк.

– Я делал все, чтоб устранить этот позор, но тщетно, сказал барон, принимая на себя весьма печальный вид. – Надобно вам заметить, что английские купцы сделались крайне недоверчивы ко всем вообще иностранцам. Впрочем, мы можем взять ее на поруки: она не должна быть в тюрьме....

– В тюрьме! произнес Франк. – Он подбежал к Леви и отвел его в сторону. – Граф, по видимому, поражен был стыдом и печалью. Откинувшись к спинке дивана, он закрыл лицо свое обеими руками.

– Моей сестре грозит тюрьма, простонал граф – тюрьма дочери графа Пешьера, жене маркиза ди-Негра!

В надменной горести этого величавого патриция было что-то трогательное.

– На какую сумму простирается долг? шептал Франк, опасаясь, чтобы слова его не долетели до слуха несчастного графа; между тем как граф до такой степени поражен был событием, что до его слуха, быть может, долетели бы одни только раскаты грома.

– Мы могли бы устроить все обязательства за пять тысяч фунтов. Для Пешьера это ровно ничего не значит: он страшно богат. *Entre nous*, я сомневаюсь, что он без денег. Оно и может быть, но только....

– Пять тысяч фунтов! Каким бы образом достать мне эти деньги?

– Вам, любезный Гэзельден? Да стоит ли вам и говорить об этом! Одним размахом пера вы можете достать вдвое больше да, в добавок, в виде процентов, покрыть прежние долги. Я удивляюсь, впрочем, возможно ли до такой степени быть великодушным к знакомой женщине!

– Знакомой!.. маркиза ди-Негра!.. да я в особенную честь, в особенное счастье поставлю себе, получив ее согласие быть моей женой!

– И эти долги нисколько не страшат вас?

– Если мы любим кого, простосердечно отвечал Франк: – то еще сильнее испытываем это чувство, когда предмет нашей любви находится в несчастьи. Хотя эти долги есть следствие заблуждения, прибавил Франк, после непродолжительного молчания: – но великодушие в эту минуту дает мне возможность исправить как её ошибки, так и мои собственные. Я согласен приобрести теперь деньги одним размахом пера. Говорите, на каких условиях?

– Условия вам знакомы: они касаются казино.

Франк отступил.

– Другого нет средства?

– Без сомнения, нет. Впрочем, я знаю, это несколько тревожит вашу совесть; посмотрим, нельзя ли вас примирить с ней. Вы женитесь на маркизе ди-Негра; в день свадьбы она получит в приданое двадцать тысяч фунтов. Почему же

не распорядиться вам таким образом, чтобы из этой суммы немедленно заплатить долг, который будет лежать на казино? Следовательно, этот долг будет продолжаться несколько недель. Обязательство будет храниться в моем бюро под замком; оно никогда не будет известно вашему отцу, и потому нечего опасаться за оскорбление его родительских чувств. И когда вы женитесь, на вас не будет и гроша долга, – само собою разумеется, в таком только случае, если будете вести себя благоразумно.

В это время граф быстро встал с дивана.

– Мистер Гэзельден, я просил вас остаться здесь и помочь мне вашим советом. Теперь я вижу, что всякий совет бесполезен. Этот удар должен разразиться над нашим домом! Благодарю вас, сэр, тысячу раз благодарю. Прощайте. Леви, пойдите к моей сестре приготовить ее к худшему.

– Граф, сказал Франк:– выслушайте меня. Мое знакомство с вами весьма непродолжительно, – но я давно знаю и уважаю вашу сестру. Барон Леви знает средство, которым я могу, если только мне предоставлены будут честь и счастье, устранить это временно неприятное затруднение. Я могу доставить необходимую сумму.

– Нет, ни за что на свете! воскликнул Пешьера. – И вы решаетесь думать, что я приму подобное предложение? Ваша юность и великодушие совершенно ослепляют вас. Нет, сэр, это невозможно, невозможно! Даже и в таком случае, еслиб я не имел понятия о чести, не имел своей деликатно-

сти, прекрасная репутация моей сестры....

– Конечно, пострадала бы, прервал Леви: – подобным великодушием она может быть обязана одному только законному мужу. Мало того: при всем моем уважении к вам, граф, я не иначе могу сделать такое одолжение моему клиенту, мистеру Гэзельдену, когда обеспечением будет служить капитал, назначенный маркизе в приданое.

– Ха! вот как? Значит, мистер Гэзельден ищет руки моей сестры?

– Ищу, но не в настоящее время; я не хочу быть обязанным за получение её руки побуждению благодарности, отвечал джентльмен Франк.

– Благодарности! Значит вы еще не знаете её души! Не знаете.... и граф не высказал своей мысли, по после минутного молчания продолжал: – мистер Гэзельден, мне не нужно говорить вам, что наша фамилия стоит на ряду с первейшими фамилиями в Европе. Моя гордость уже вовлекла меня однажды в заблуждение, когда я вручил руку моей сестры человеку, которого она не любила; я отдал ее потому только, что по званию своему он был равен мне. Я не сделаю вторично подобной ошибки; к тому же и Беатриче не послушает меня, еслиб я вздумал принудить ее. Если она выйдет замуж, то не иначе, как по любви. Если она примет вас, да я и уверен, что примет, то, без сомнения, по искренней к вам привязанности. Если она согласится быть вашей женой, тогда я не краснея приму от вас это одолжение,

одолжение от будущего зятя, и этот долг будет лежать на мне, но ни под каким видом не должен падать на её приданое. На этих условиях, сэр (обращаясь к Леви, с величавым видом), вы озаботитесь сделать с своей стороны распоряжения. Если же она отвергнет вас, мистер Гэзельден, то, повторяю вам, о займе не должно быть и помину. Извините меня, если я оставлю вас. Так или иначе, но дело должно решить немедленно.

Граф величаво сделал поклон и вышел из гостиной. Слышно было, как шаги его раздавались по лестнице.

– Если, сказал Леви, тоном делового человека! – если граф принимает эти долги на себя и приданое невесты будет обременено только вашими долгами, тогда не только в глазах света, но и в глазах вашего родителя этот брак будет блестящим. Поверьте мне, что ваш батюшка согласится на этот брак, да еще с радостью.

Франк не слышал слов барона Леви: в эту минуту он внимал своей любви, своему, сердцу, которое громко билось под влиянием страха и надежды.

Леви сел за стол и разложил на нем бумагу, покрытую длинным рядом цифр, написанных весьма красивым почерком, – рядом цифр по случаю двух заемных обязательств, которым предопределено изгладиться *посмертными обязательствами* на казино.

Через несколько времени, которое для Франка казалось нескончаемым, граф снова появился в гостиной. Он отвел



Франка в сторону, сделав в то же время знак барону Леви, который встал и вышел в другую комнату.

– Ну, молодой мой друг, сказал Пешьера: – мои подозрения оказались основательными; сердце моей сестры давно принадлежит вам. Позвольте, позвольте: выслушайте меня. Но, к несчастью, я сообщил ей о вашем великодушном предложении; это было сделано чрезвычайно неосторожно, весьма необдуманно с моей стороны и чуть-чуть не испортило всего дела. В ней столько гордости, столько благородного чувства независимости, она до такой степени боится, что вас принудили сделать необдуманный шаг, о котором вы впоследствии станете сожалеть, – до такой степени, говорю я, что она, по всей вероятности, будет говорить вам, будто бы не любит вас, не может принять ваше предложение, и тому подобное. Но любящие, например, как вы, не так легко поддаются обману. Не обращайтесь внимания на её слова... Впрочем, вы сами увидите и тогда убедитесь в истине моих слов. Не угодно ли – пойдёмте.

Франк механически пошел за графом, который поднялся по лестнице и без всякого предупреждения вошел в комнату Беатриче. Маркиза стояла отвернувшись от входа; однако, Франк видел, что она плакала.

– Я привел моего друга. Пусть он сам объяснится с вами, сказал граф по французски. – Пожалуста, любезная сестрица, не забудьте моего совета: отбросьте всю совесть и не отклоняйте от себя такой блестящей перспективы на верное

и прочное счастье. *Не забудьте же, сестрица!*

Граф удалился, оставив Франка наедине с Беатриче.

Вслед за тем маркиза быстро и с видом отчаяния обернулась к своему обожателю и приблизилась к месту, где он стоял.

– Неужели это правда? сказала она, сжимая себе руки. – Вы хотите спасти меня от позора, от тюрьмы... и что в замен этого могу я дать вам? мою любовь? Нет, нет! Я не хочу обманывать вас. При всей вашей молодости, при всей красоте и благородстве вашем, я не могу любить вас той любовью, которую вы заслуживаете. Уйдите, оставьте этот дом; вы еще не знаете моего брата. Уйдите, уйдите, пока еще во мне столько силы, столько добродетели отвергнуть все, что может защитить меня от его козней, – все, что может.... О, умоляю вас, уйдите, уйдите....

– Вы не любите меня, сказал Франк. – Это меня не удивляет: вы так превосходите меня во всех отношениях. Я отказываюсь даже от надежды... вы велите мне оставить вас, и я исполняю ваше приказание. Но, по крайней мере, я не расстанусь с правом моим оказать вам услугу. Что касается другого, я поставлю себе в бессовестность выразить в такую минуту перед вами свою любовь и настоятельно требовать вашей руки.

Франк отвернулся и тотчас удалился. Он даже не остановился в гостиной, прошел в приемную и там написал коротенькую записку, в которой поручал барону Леви прекратить

дальнейшее следствие долгового иска, и просил его приехать к нему на квартиру с необходимыми принадлежностями и, в заключение, не говорит об этом графу ни слова.

Вечером того же дня Леви явился к Франку. Счеты были сведены, бумаги подписаны, и на следующее утро маркиза ди-Негра была свободна от долгов. В полдень следующего дня Рандаль сидел в кабинете Беатриче, а вечером Франк получил записку, написанную на скорую руку и окропленную слезами, – записку, в которой маркиза ди-Негра просила Франка немедленно приехать к ней. И когда Франк вошел в гостиную маркизы, Пешьера сидел подле сестры своей. При входе Франка он встал.

– Неоцененный зять мой! воскликнул он.

И вслед за тем соединил руку Беатриче с рукой Франка.

– Вы принимаете мое предложение.... не отвергаете моей любви... выбираете меня по своему собственному желанию?!

– Потерпите меня немного, отвечала Беатриче: – и я постараюсь отплатить вам всей моей.... всей моей....

Она остановилась и громко зарыдала.

– Я вовсе не подозревал в ней такой нежной души, такой сильной привязанности, прошептал граф.

Франк слышал эти слова, и лицо его сделалось лучезарно. Мало по малу Беатриче успокоилась. Она слушала радостные слова Франка о предстоящей будущности, слушала, как полагал её нареченный, с нежным участием, по на са-

мом-то деле с печальной и смиренной преданностью судьбе. Для Франка часы казались светлыми и мимолетными, как солнечный луч, и в эту ночь упоительны были его грезы. Но когда эти грезы рассеялись, когда он проснулся на другое утро, первой мыслью его, первыми словами его было:

– Что-то скажут об этом в Гэзельден-Голле?

В этот же самый час Беатриче скрывала лицо свое в подушках, не в силах будучи глядеть на дневной свет, и призывала к себе смерть. В этот же самый час Джулио Францини, граф ди-Пешьера, отпустив несколько тощих, угрюмых итальянцев, с которыми имел длинное совещание, отправился отыскивать дом, в котором находилась Виоланта. В этот же самый час барон Леви сидел за своим бюро и подводил итог к бесконечному ряду цифр, в заглавии которых стояла следующая надпись: «Счет высокопочтеннейшему члену Парламента Одлею Эджертону». Кругом счета в беспорядке лежали различные документы, и между ними, на самом видном месте, красовался свеженький пергамен с посмертным обязательством Франка Гэзельдена. В тот же самый час Одлей Эджертон только что прочитал письмо от мера того города, которого он был представителем. Письмо это извещало Одлея, что ему не предвидится ни малейшего шанса снова поступит в Парламент по выборам. Выражение лица его, по обыкновению, было спокойно и нога его твердо опиралась в крышку его мрачного железного сундука, между тем как рука его судорожно сжимала левый бок; его взор устрем-

лен был на часы, и голос его едва внятно произносил: «надобно пригласить доктора Ф.....» В тот же самый час Гарлей л'Эстрендж, очаровывавший накануне придворные толпы своим веселым юмором, ходил по комнате в своем отеле, неровными шагами и часто и тяжело вздыхал. Леонард стоял у фонтана, любуясь, как лучи зимнего солнца играли в его брызгах. Виоланта, склонясь на плечо Гэлен, старалась лукаво, хотя и невинно, принудить Гэлен поговорить чтонибудь о Леонарде. Гэлен пристально смотрела на пол и отвечала одними только да и нет. Рандаль Лесли в последний раз отправлялся к своей должности. Проходя Грин-Парк, он прочитал письмо *из дому*, от своей сестры. Окончив чтение, он вдруг скомкал письмо в своей бледной, худощавой руке, взглянул вверх, увидел в отдалении шпицы громадного национального аббатства и, припомнив слова героя Нельсона, произнес: «победа и Вестминстер, но только не аббатство!» Рандаль Лесли чувствовал, что в течение нескольких дней он сделал громадный шаг к удовлетворению своего честолюбия: старинные поместья Лесли были в его руках; Франк Гэзельден, нареченный муж маркизы, весьма вероятно, будет лишен наследства. Дик Эвенель, на заднем плане, открывал то самое место в Парламенте, которое впервые ввело в публичную жизнь разорившегося покровителя Рандаля.

## Глава CV

Многие умные люди весьма неосновательно утверждают, что склонность делать зло ближнему есть в некотором роде помешательство, и что никто не бросится с прямой дороги в сторону, если жало пчелы не принудит сделать такого отклонения. Разумеется, когда очень умный и благовоспитанный человек, как, например, приятель наш мистер Лесли, начнет располагать своими поступками на основании ложного правила, что «пронируемость есть лучшее благоразумие», тогда любопытно видеть, как много общего имеет он с помешательством: хитрость, томительное беспокойство, подозрение, что все и все в мире в заговоре против него, требуют всей силы его ума, чтоб уничтожить это и обратить в свою собственную пользу и выгоду. Легко может случиться, некоторые из моих читателей подумают, что я представил Рандалья чересчур изобретательным в его планах и хитрым до тонкости в своих спекуляциях; но это почти всегда бывает с весьма образованными людьми, когда они решаются разыгрывать роль тонкого плута; это помогает им скрыть от самих себя или по крайней мере представлять себе в более благоприличном виде грязную цель к удовлетворению своего честолюбия. Сказав это в защиту характера Рандалья Лесли, я должен прибавить здесь несколько слов касательно действия в человеческой жизни, производимого какой нибудь исключитель-

ной страстью, – действия, которое в наш кроткий и просвещенный век редко можно видеть без маски, и которое называется *ненавистью*.

В счастливые времена наших предков, когда крупные слова и жестокия драки были в большом употреблении, когда сердце каждого человека было на кончике его языка и четыре фута острого железа висело у него на боку, ненависть разыгрывала прямую, открытую роль в театре мире. Но теперь где эта ненависть? видал ли ктонибудь ее в лицо? Неужели это улыбающееся, добродушное создание, которое так искренно жмет вам руку? или пышная, надменная фигура, которая называет вас своим «высокопочтеннейшим другом»? или изгибающийся и выражающий свою признательность подчиненный? Не спрашивайте, не старайтесь отгадать: это напрасный труд с вашей стороны; вы только тогда узнаете, что это ненависть, когда откроете яд в своей чаше или кинжал в своей груди. В век минувшей старины угрюмый юмор изобразил в картине «Танец Смерти»; в наш просвещенный век сардоническое остроумие непременно должно бы представить нам «Маскарад Ненависти».

Противоположное чувство легко обнаруживается с одного взгляда. Любовь редко прикрывается маской. Но ненависть – каким образом обличить ее, как остеречься от неё? Она скрывается там, где вы менее всего подозреваете – её присутствие; она создается причинами, которых вы вовсе не предвидите; а цивилизация, благоприятствуя прикритию,

умножает её разнообразие. Ненависть украдкой является там, где мы вмешались в чьи-нибудь интересы, там, где мы затронули чье-нибудь самолюбие. Вас может возненавидеть человек, которого вы во всю свою жизнь ни разу не видели; вас может возненавидеть человек, которого вы обременили благодеяниями: вы ходите так осторожно, что не наступите на червяка, – но если вы не совсем уверены, что, гуляя, не наступите на змею, то лучше будет, если станете смиренненько сидеть в вашем кресле, до тех пор, пока не перенесут вас на катафалк. Вы спросите: какой вред наносит нам ненависть? Очень часто этот вред бывает невидим для света, как и самая ненависть бывает неуловима для нашей предусмотрительности. Она налетает на нас врасплох; на какой-нибудь уединенной, глухой околице нашей жизни, открывает наши заповедные тайны, отнимает от нас отрадную надежду, о которой мы никому не говорили; но лишь только свет делает открытие, что нас поражает ненависть, как её сила причинять нам зло прекращается.

Для этой страсти у нас есть множество названий, как-то: зависть, ревность, злоба, предубеждение, соперничество; но все они синонимы слова ненависть.

Ни один человек в свете не был, по видимому, так чужд влиянию ненависти, как Одлей Эджертон. Даже во время жаркой политической борьбы он не имел ни одного личного врага; а в частной жизни он держал себя так высоко и отдаленно от других, что был даже мало известен, исключая раз-



ве по благодеяниям, которые истекали по всем направлениям из его опустошенного богатства. Чтобы ненависть могла достичь неприступного сановника на вершине его почестей? да вы бы засмеялись при одной мысли об этом! Но ненависть, как в былые времена, так и теперь, представляет действующую силу в «Разнообразии Жизни», и, несмотря на железные запоры в дверях, на полицейских стражей на улице, никто не может похвастаться спокойным сном в то время, когда бодрствует над ним его невидимый враг.

—

Слава улицы Бонд давно уже помрачилась. Имя любителя улицы Бонд давно уже замерло на наших устах. Толпа экипажей и ослепительный блеск магазинов уже не имеют той прелести: слава улицы Бонд состояла в её мостовой, в её пешеходах. Сохранились ли в вашей памяти, благосклонный читатель, любитель улицы Бонд и его несравненное поколение? Что касается до меня, то я еще свежо помню упадок этой величавой эры. Начало падения состоялось в тот счастливый период моего детского возраста, когда я начал помышлять о высоких галстуках и веллингтоновских сапогах. Впрочем, старинный *habitués* – эти *magni nominis umbrae* – и теперь еще посещают эту улицу. С четырех до шести часов в знойный июль они величественно прогуливаются по тротуару, по уже с пасмурными лицами, предвещающими пресечение их расы. Любителя улицы Бонд редко можно было видеть одного: он любил общество и всегда гулял под руку с по-

добным ему собратом. По видимому, он рожден был вовсе не для того, чтоб принимать участие в заботах нынешних тяжелых времен. Разговор его был весьма немногоречивый. Истинный диллетант улицы Бонд имел рассеянный взгляд. Его юность проведена была в кругу героев, питавших особенную любовь и уважение к бутылкам. Он сам, быть может, неоднократно ужинал с Шериданом. Он от природы мот: вы сами можете видеть это из его походки. Люди, которые не тратят попустому денег, редко зевают по сторонам, тот, кто старается скопить деньжонку, редко вздергивает нос, — между тем как эти два качества служат отличительным признаком и неотъемлемою принадлежностью любителя улицы Бонд. До какой степени фамильярен он был с теми, кто принадлежал к его расе, и до какой степени забавно-надменен с тем вульгарным остатком смертных, которых лица редко или в первый раз показывались на улице Бонд! Но уже более не существует этого замечательного существа. Мир хотя и горюет о своей потере, но старается обойтись, и без него. Наши нынешние молодые люди имеют привязанность к образцовым коттеджам и склонность писать различного рода трактаты. Конечно, я подразумеваю здесь молодых людей спокойных и безвредных, какими бывали встарину любители улицы Бонд — *redeant saturnin regna*. Несмотря на то, для ненаблюдательного взора улица Бонд имеет свой блеск и шум, но блеск и шум улицы, а не гульбища. По этой улице, за несколько минут перед тем, когда толпы народа становят-

ся на ней густейшими, проходили два джентльмена, которых наружность вовсе не соответствовала местности. Оба они имели вид людей с претензиями на аристократическое происхождение, старосветный вид респектабельности и провинциальной оседлости. Более тучный из них был даже щеголь в своем роде. Он научился украшать свою наружность в то время, когда улица Бонд достигала верхней ступени своей славы, и когда записной фронт Бруммель гремел по всей Британии. В одежде он все еще старался сохранить моду своей юности; но только то, что в ту пору говорило о столице, теперь обличало жизнь в провинции. Его галстух, полный, высокий и снежной белизны, весьма ловко окаймлял лицо, гладко-выбритое, чистое и румяное; его фрак синего королевского цвета, с пуговками, в которых вы могли видеть отражение вашего лица – *veluli in speculum* – был застегнут на самой талии, показывавшей дородность мужчины средних лет, – мужчины, чуждого честолюбия, алчности и житейских тревожений, которые незаметно превращают жителей Лондона в живых скелетов; его панталоны, сероватого цвета, широкие сверху, туго перехватывались на коленях и оттуда оканчивались штиблетами, что все вместе отличалось дэндизмом, который вполне удовлетворял идеалу провинциального щеголя. В профессии спутника этого джентльмена невозможно было ошибиться: шляпа с широкими полями, покрой платья духовных лиц, шейный платок и вместо выпущенных воротничков – пасторка, что-то весьма благородное

и весьма короткое во всей наружности этой особы, – все говорило, что это был вполне джентльмен и священник.

– О, нет, сказал солидный мужчина: – я не говорю, что мне не нравится взгляд Франка. Я уверен, у него есть что-то на душе. Ну да, впрочем, надобно надеяться, что сегодня вечером все будет обнаружено.

– Разве он сегодня обедает у вас? Пожалуйста, сквайр, будьте поласковее с ним. Ведь и то сказать, нельзя же поставить старую голову на молодые плечи.

– Я слова не говорю, что его голова молодая, возразил сквайр: – но желательно бы, чтоб в этой голове хоть немножко было здравого рассудка Рандаля Лесли. Я вижу, чем это все кончится: мне следует непременно взять его в деревню, и если он будет скучать без занятий, то пусть его заведет себе гончих, и, в добавок, я отведу для него ферму Бруксби.

– Что касается гончих, возразил мистер Дэль: – то при них необходимы будут лошади; а мне кажется, ни откуда еще не проистекало столько зла для молодых людей с пылким характером, как из этих конюшен. Для примера возьмемте Нимрода: какую пользу они принесли ему! Дело другое – земледелие: это и благотворное и благородное занятие было в большом почете у священных наций и постоянно поощрялось знаменитейшими людьми в классические времена. Например, афиняне....

– Отстаньте вы с вашими афинянами! прервал сквайр, забывая правила благопристойности. – Вам не к чему бросать-

ся так далеко за примером! Довольно было сказать про какогонибудь Гэвсльдена, что его отец, его дед и его прадед занимались земледелием, и даже, смею сказать, в тысячу раз лучше этих затхлых старых афинян... Я не намерен, впрочем, оскорблять их. Но нужно вам сказать, Дэль, еще одно весьма важное замечание: человек, который хочет заняться земледелием и жить в деревне, должен иметь жену.

– Вот то-то и есть, сквайр, как не пожелать, чтобы догадки мистрисс Гэзельден были справедливы! Право, у вас была бы тогда такая чудная невестка, какой не отыскать в Трех Соединенных Королевствах. И мне кажется, поговори я с молоденькой барышней в стороне от её отца, то смело можно ручаться, что я устранил бы главнейшее препятствие к женитьбе, и именно: её религию.

– До сих пор не могу понять, каким образом эта итальянская девочка могла сделаться предметом беспокойства моего и мой Гэрри. Знаете ли, что мы долго имели в виду сестру Рандаля, эту миленькую, с чисто-английским румяным личиком девочку. Моей Гэрри всегда неприятно, даже больно было видеть, что эта девочка остается в таком небрежении, ходит простоволосая, – и всему виной её полоумная, беспечная мать. Я всегда думал, что прекрасная вышла бы вещь, еслиб мне удалось как можно ближе свести Рандаля и Франка: это доставило бы мне возможность сделать чтонибудь для самого Рандаля. Славный малый он, нечего сказать! да и в жилах его течет кровь Гэзельденов. Но Вио-

ланта так хороша, что выбор Франка не должен казаться удивительным. В этом случае мы должны винить самих себя: мы так много позволяли им видеться в ребячестве друг с другом. Как бы то ни было, я не на шутку рассержусь, когда узнаю, что Риккабокка вздумал хитрить передо мной, и убежал из казино собственно-затем, чтоб доставить Франку возможность продолжать тайные свидания с его дочерью.

– Не думаю, чтоб это могло стать от Риккабокка; скорее можно допустить, что он потому убежал, чтоб лишить Франка всякой возможности видеться с Виолантой. Скажите, где удобнее мог он видеться с ней, как не в казино?

– Это справедливо. Несмотря, что Риккабокка носил звание иностранного доктора, и даже можно полагать, что он принадлежал к какой нибудь странствующей труппе шарлатанов, но он во всех отношениях был джентльмен. Я сужу о людях без всякого преувеличения. Однако, вы до сих пор еще не высказали мне вашего мнения о Франке? Я замечаю, будто вы вовсе не полагаете, что мой Франк влюблен в Виоланту? Полно же думать! говорите мне откровенно.

– Если вы принуждаете меня, то я должен признаться, что, по-моему мнению, он решительно не любит ее. Точно такого же мнения и моя Кэрри, которая необыкновенно проницательна в делах подобного рода.

– Ваша Кэрри! вот как! Неужели вы думаете, что она в половину проницательнее моей Гэрри? Кэрри – какой вздор!

– Я не хочу делать оскорбительных, возражений; но,

мистер Гэзельден, когда вы позволяете себе насмеяться над моей Кэрри, то я не смел бы называться мужем, не сказав, что.....

– Позвольте! прервал сквайр: – она всегда была добрая и умная женщина; но сравнивать ее с моей Гэрри!..

– Я не сравниваю ее с вашей Гэрри; ее нельзя сравнить ни с какой женщиной в Англии. Впрочем, мистер Гэзельден, вы начинаете терять хладнокровие!

– Кто? я!

– Народ останавливается и с удивлением смотрит на вас. Ради приличия, сэр, успокойтесь и перемените предмет нашего разговора.... Вот уже мы и в Албани. Надеюсь, мы не застанем бедного капитана Гигинботома в таком положении, в каком он представляет себя в письме.... Это что? возможно ли это! Нет, не может быть!.. Взгляните, взгляните!

– Куда.... где.... что такое? Ради Бога, не столкните меня с тротуара. Да что и в самом деле, ужь не привидение ли перед вами?

– Вон там.... вон этот джентльмен в черном платье!

– Джентльмен в черном платье среди белого дня! Фи, какой вздор!

При этих словах мистер Дэль сделал несколько шагов, или, вернее сказать, несколько прыжков вперед и схватил руку джентльмена, на которого указывал, и который в свою очередь остановился и пристально поглядел в лицо пастора.

– Сэр, извините меня, сказал мистер Дэль: – но, если я не ошибаюсь, ваша фамилия Ферфильд? Ну да, так и есть: вы – Леонард, мой милый, любезный юноша! О, какая радость! Так переменился, сделался таким прекрасным! а лицо, по-прежнему, то же самое – по-прежнему честное.... Сквайр, да подите же сюда! взгляните на вашего старого приятеля Леонарда Ферфильда.

– Какой чудак этот Дэль! сказал сквайр, от души сжимая руку Леонарда:– хотел уверить меня, что вы джентльмен в черном платье; впрочем, он сегодня с утра в странном расположении духа. Ну, что, мастэр Ленни? вас теперь не узнать – вырос и сделался настоящим джентльменом! Как видно, дела ваши идут хорошо! чай, главным садовником у какого нибудь вельможи?

– Немного не угадали, сэр, с улыбкой отвечал Леонард. – Дела мои пошли наконец очень хорошо. Ах, мистер Дэль, вы и представить себе не можете, как часто я вспоминал вас и ваш разговор о знании, и, что еще более, как сильно постигал я всю истину ваших слов и как искренно благодарил небо за этот урок.

Мистер Дэль (*слова Леонарда сильно тронули его и заметно польстили его самолюбию*). Я ожидал от вас этого, Леонард: вы еще и юношей обладали обширным умом и здравым рассудком. Значит вы не забыли моей маленькой лекции о знании, или, лучше сказать, образовании?

Сквайр. Отвяжитесь вы с вашим образованием! Я имею



причины ненавидеть это слово: оно выжгло у меня три скирды хлеба, – три чудеснейшие скирды, на каких когда либо останавливался ваш взор, мистер Ферфильд.

Мистер Дэль. Этому причиной уж никак не образование, – скорее – невежество.

Сквайр. Невежество! Вот еще выдумали! Посудите сами, мистер Ферфильд: в нашем округе, в последнее время, происходили страшные возмущения, и предводитель их был точно такой же молодец, каким некогда вы были сами.

Леонард. Очень много обязан вам, мистер Гэзельден, за такое мнение. Позвольте узнать, в каком отношении он похож был на меня?

Сквайр. Да в таком, что он был тоже деревенский гений и всегда читал трактаты или что-то в этом роде, сообщал вычитанное своим приятелям, те – своим, и из этого вышло, что в один прекрасный день вся чернь вооружилась вилами и косами, напала на фермера Смарта и разнесла его молотильни, а вечером – сожгла мои скирды. К счастью, мы успели поймать разбойников и отдали в руки правосудия. Деревенского гения, слава Богу, послали немедленно в Ботани-Бей.

Леонард. Но неужели же книги научили его жечь хлебные скирды и разрушать машины?

Мистер Дэль. О, нет! напротив, он утверждал, что не хотел принимать и не принимал никакого участия в этих возмущениях.

Сквайр. Не принимал, это правда; но своими безумными умствованиями он возбудил в народе ненависть к людям более зажиточным. Это обстоятельство напоминает мне старинный анекдот. Один лицемерный квакер, уловив удобный случай отомстить своему врагу, сказал ему: «я не смею пролить твоей крови, приятель, но буду держать твою голову в воде, пока не захлебнешься.»

Мистер Дэль. Что ни говорите, а мне больно было смотреть на этого молодого человека, когда он стоял перед собранием судей; больно было смотреть на его умное лицо и слышать его смелое, откровенное признание, его борьбу с приобретением знания и конец этой борьбы. Бедный! он не знал, что знание есть искра огня, которую страшно заронить в груды льну! И, о сквайр, понимаете ли вы вопль отчаяния его матери, когда суд произнес приговор, которым он подвергнулся ссылке на всю жизнь? этот вопль и теперь еще раздается у меня в ушах! И как вы думаете, Леонард, кто вовлек его в это заблуждение? причиной всего зла – мешок странствующего медника. Вероятно, вы не забыли Спротта?

Леонард. Мешок странствующего медника? Спротта?

Сквайр. Да, милостивый государь, Спротта, первейшего бездельника, какого только можно представить себе. Впрочем, и он не отвертелся от наших рук. Представьте себе, его мешок был битком набит трактатами, возбуждающими ненависть ко всякому порядочному человеку, и фосфорными спичками, приготовленными по новейшему способу, –

вероятно, для того, чтобы мои скирды изучили теорию произвольного самосозжания. Крестьяне покупали спички....

Мистер Дэль. А несчастный деревенский гений – трактаты.

Сквайр. И то и другое имело благозвучный девиз: «Распространять в рабочем классе народа, что знание есть сила». Следовательно, я весьма справедливо заметил, что знание сожгло мои скирды. Знание воспламенило деревенского гения, – деревенский гений воспламенил других подобных ему неучей, а они воспламенили мои скирды. Как бы то ни было, спички, трактаты, деревенский гений и Спротт, подобру и поздорову, все вместе отправились в Ботани-Бей, и в округе нашем, по-прежнему, спокойно. Теперь, прошу покорно, мистер Ферфильд, извините меня, а при мне оставьте ваше знание в покое. Сжечь такие чудеснейшие скирды хлеба! А знаете ли, Дэль, я подозревал, что вам было жаль этого негодяя Спротта, и когда его выводили из суда, мне показалось, будто вы о чем-то шептались с ним.

Мистер Дэль. Ваша правда, сквайр: я спросил его, что случилось с его ослом, – с этим безобидным животным!

Сквайр. Безобидным! Сбил с ног меня в чертополох на лугу моей деревни! Помню, помню. – Ну, и что же он сказал вам?

Мистер Дэль. Спротт сказал мне только три слова, но эти слова вполне обнаружили всю мстительность его характера. Произнося эти слова, он так страшно прищурил глаза свои,

что во мне оледенела кровь. «Что сделалось с твоим бедным ослом?» спросил я....

Сквайр. Ну, что же что же он ответил?

Мистер Дэль. «Из него сделали сосиски», отвечал он.

Сквайр. Сосиски! От него это может стать! и верно он продавал их бедным! Вот до чего доходят бедняки, когда начнут слушать таких бездельников, как Спротт!.. Сосиски! ослиные сосиски! (отплевываясь) да это все равно, что есть человеческое мясо.... настоящее людоедство!

Леонард, которого история Спротта и деревенского гения заставила сильно задуматься, пожав руку мистеру Дэлю, попросил позволения побывать у него на квартире и уже хотел удалиться, но мистер Дэль, слегка удерживая его за руку, сказал:

– О, нет, Леонард, пожалуста, не уходите так скоро: мне о многом нужно расспросить вас, переговорить с вами. Я буду свободен очень скоро. Мы идем теперь к родственнику сквайра, которого вы, вероятно, помните: это капитан Гигинботом – Барнабас Гигинботом. Он очень-очень нездоров.

Сквайр. И я уверен, что он очень будет рад, если и вы зайдете к нему.

Леонард. Не будет ли это невежливо с моей стороны?

Сквайр. Невежливо! Спросить у больного джентльмена о его здоровьи? Да, кстати, сэр, ведь вы давно живете в столице и, вероятно, больше нашего знаете о нововведениях: что вы скажете насчет нового способа лечить людей?

не вздор ли это какой?

– Какого же именно способа, сэр? Их так много в настоящее время?

– В самом деле много? значит здоровье лондонских жителей в плохом состоянии. Да вот и бедный кузен мой – он никогда, впрочем, не мог похвастаться своим здоровьем – кузен мой говорит, что держит какого-то гами.... гами.... как бишь зовут его, мистер Дэль?

Мистер Дэль. Гомеопат.

Сквайр. Ну да, да, – держится гомеопата. Надобно сказать вам, что капитан вздумал пожить у одного своего родственника Шарпа Корри, у которого много было денег и очень мало печени; деньги он накопил, а печень истратил в Индии. У капитана явились огромные *ожидания* на огромные капиталы родственника. Смею сказать, что это в весьма натуральном порядке вещей! Но как вы думаете, что случилось потом? Ведь Шарп Корри как нельзя лучше провел капитана! Не умер, да и только: поправил свою печень, а капитан расстроил свою! Не правда ли, престранная вещь? В заключение всего неблагодарный набоб отпустил от себя капитана в чистую отставку. Терпеть не могу больных – сказал он ему; теперь хочет жениться, и нет никакого сомнения, что у него будут дюжины детей.

Мистер Дэль. Мистер Корри поправил свою печень на одном из минеральных источников в Германии. А так как он имел самолюбивое желание принуждать капитана находить-

ся при себе в течение курса лечения и вместе с ним пить минеральные воды, то случилось, что воды, излечившие печень мистера Корри, разрушили печень Гигинботома. В это время в Спа находился какой-то гомеопат-англичанин, взялся лечить его и утверждает, что непременно вылечит бесконечно малыми дозами химических составов, открытых в тех водах, которые расстроили его здоровье. Не знаю, право, может ли что быть хорошего в подобной теории?

Леонард. Я знавал одного очень дельного, хотя и в высшей степени эксцентричного гомеопата, и уверен, что в системе его лечения есть много дельного. Он уехал в Германию: быть может, он-то и лечит капитана. Позвольте узнать, как его зовут?

Сквайр. Об этом кузен Барнабас не упомянул в своем письме. Вы можете сами спросить у него, потому что мы уже в его квартире. Послушайте, Дэль (*с лукавой улыбкой и в полголоса произнес сквайр*). – Если крошечная доза того, что повредило здоровью капитана, служит к его излечению, как вы думаете, не послужит ли к совершенному выздоровлению духовное завещание набоба? Ха, ха!

Мистер Дэль (*стараясь скрыть свой смех*). Оставьте, сквайр! Бедная человеческая натура! Мы должны быть снисходительны к её слабостям. Зайдемте, Леонард!

Леонард, заинтересованный предположением встретиться еще раз с доктором Морганом, не отказался от приглашения и вместе с своими спутниками последовал за женщиной, ми-

мо небольшой передней, в комнату страдальца.

## Глава CVII

Как сильно ни было расположение сквайра посмеяться насчет своего кузена, но в один момент исчезло при плачевном виде капитана и его тощей фигуры.

– Как вы добры, кузен! приехали навестить меня.... очень, очень добры.... и вы тоже, мистер Дэль.... и какими кажетесь вы здоровяками. А я так никуда не годен: я обратился в скелета. Вы можете пересчитать во мне все кости.

– Не унывай, кузен: гзельденский воздух и ростбиф скорехонько поставят тебя на ноги, ласковым тоном сказал сквайр. – И дернула же тебя нелегкая оставить их и такую миленькую квартиру.

– Да, она действительно миленькая, хотя и не пышная, сказал капитан, со слезами на глазах. – Я убил все, чтоб сделать ее миленькой: и новые ковры купил, и вот это кресло (из чистого сафьяна), и вон ту японскую кошечку (держат горячие тосты и пирожное), – купил в то самое время, когда.... когда этот неблагодарный человек написал ко мне, что он умирает и что подле его нет живой души, и что.... и что.... подумать только, что я перенес из за него! и так бессовестно поступить со мной! Кузен Вильям, поверишь ли, он поздоровел, как ты, а я... я....

– Не унывай, кузен, не унывай! вскричал сострадательный сквайр. – Я совершенно согласен, что это жестокий посту-



пок. На будущее время ты будешь осторожнее. Я не намерен оскорбить тебя, но думаю, что еслиб ты менее рассчитывал на печень своего родственника, то лучше сохранил бы свою собственную. Извини меня, кузен.

– Кузен Вильям, возразил бедный капитан – поверь, что я никогда не рассчитывал. Еслиб ты взглянул только на отвратительное лицо этого обманщика, желтое как гинья, и перенес бы то, что я перенес из за него, то поверь, что почувствовал бы в своем сердце тысячу ножей, как я теперь чувствую. Я не терплю неблагодарности. Я не мог терпеть её.... Но оставим об этом. Не угодно ли тому джентльмену присесть?

– Мистер Ферфильд, сказал Дэль: – был так добр, что зашел сюда с нами. – Ему известна несколько гомеопатическая система, которой вы держитесь, и, быть может, он знает самого доктора. Скажите, как зовут его?

– Благодарю вас, что вы напомнили мне, сказал капитан, взглянув на часы и в то же время проглотив крупинку. – После лекарств, какие я принимал, чтоб угодить тому злодею, эти крошечные пилюли служат мне отрадой. Представьте, все лекарства своего доктора он испытывал на мне. Но ничего впереди нас ожидает мир лучший и более справедливый!

Вместе с этим благочестивым утешением капитан снова залился слезами.,

– Кажется, он немного.... того.... сказал сквайр, постукав себе по лбу указательным пальцем.:– Полно, Барнабас!

за тобой, кажется, присматривает хорошая нянька. Надеюсь, что она ласкова, внимательна к тебе, не позволяет унывать.

– Тс! пожалуйста не говорите о ней. Все в ней продажное! олицетворенная лесть! Поверите ли, я плачу ей десять шиллингов в неделю, кроме всего, что остается от стола, и вдру слышу, как она относится обо мне соседней прачке: «ему, моя милая, долго не прожить, и следовательно я имею *ожидания!*» Ах, мистер Дэль, подумаешь, сколько греховности в этой жизни! Впрочем, я и не думаю об этом, – ни на волос. Переменимте лучше разговор. Вы, кажется, спрашивали меня, как зовут моего доктора? Его зовут...

При этом женщина «с ожиданиями» отворила дверь и громко провозгласила: *доктор Морган.*

Мистер Дэль и Леонард вздрогнули.

Гомеопат не обратил внимания на гостей. Сделав на ходу поклон, он прямо подошел к больному.

– Ну, капитан, рассказывайте ваши симптомы, сказал доктор.

И капитан начал исчислять их таким однообразным тоном, каким школьник произносит список кораблей в Гомере. По видимому, он всю свою жизнь твердил эти симптомы и выучил их наизусть. Не было ни одного местечка, ни одного уголка в анатомической организации капитана, из которого бы он не извлек какого нибудь симптома и не выставил его на вид. Сквайр с ужасом слушал этот инвентарий недугов, произнося при каждом из них: «о Боже мой! о ужас! о Госпо-

ди! Что будет дальше? После этого, мне кажется, смерть – отрада!» Между тем доктор выслушивал исчисление симптомов с примерным терпением, записывал в памятную книжку те из них, которые казались ему выдавшимися пунктами в этой крепости недугов, которую он держал в осадном положении, и наконец вынул из кармана миниатюрный порошок,

– Чудесно, сказал он:– ничего не может быть лучше. Разведите этот порошок в осьми столовых ложках воды и принимайте через два часа по ложке.

– По столовой ложке?

– Да, по столовой ложке.

– Кажется, сэр, вы изволили сказать: «ничего не может быть лучше?» спросил сквайр, изумленный заключением доктора, после исчисления всех страданий капитана, которые вывели его из терпения: – вы говорите: «ничего не может быть лучше? »

– Да, только для известных симптомов, сэр! отвечал доктор Морган.

– Для известных симптомов, весьма быть может, возразил сквайр: – но для внутренности капитана Гигинботома, мне кажется, ничего не может быть хуже.

– Вы ошибаетесь, сэр, отвечал доктор. – Ведь все недуги исчислял не капитан, а его печень. Печень, сэр, хотя и благородный, но чересчур замысловатый орган: он подвержен весьма необыкновенным причудам. – В ней, то есть в печени, гнездятся часто и поэзия, и любовь, и ревность. Ни слову

не верьте, что она говорит. Вы и представить себе не можете, какая она лгунья! Однако – гм!.. гм! мне кажется, сэр, я где-то видел вас, конечно, ваше имя Гэзельден?

– Да, Вильям Гэзельден, к вашим услугам. Но где же вы видели меня?

– На выборах, в Лэнсмере. Еще вы так прекрасно говорили в защиту своего знаменитого брата, мистера Эджертона.

– Чорт возьми! вскричал сквайр. – Должно быть тогда говорил не я, но моя печень! Я обещал избирательным членам, что мой полу-брат будет горой стоять за наш округ, и, верите ли, я во всю свою жизнь не говорил такой ужасной лжи.

При этом пациент, вспомнив о других гостях и опасаясь, что сквайр крепко наскучит исчислением обид, нанесенных ему Эджертоном, и в заключение расскажет все подробности своей дуэли с капитаном Дашмор, – обратился к доктору с рекомендациями.

– Рекомендую вам, доктор, моего друга, достопочтеннейшего мистера Дэля, и еще джентльмена, который знаком с гомеопатией.

– Дэль? Да тут все старинные друзья! вскричал доктор, вставая, между тем как мистер Дэль весьма неохотно отходил от окна, к которому удалился при появлении доктора.

Гомеопат и мистер Дэль дружески пожали руки друг другу.

– Наша встреча была при весьма печальном происшествии, с глубоким чувством сказал доктор.

Мистер Дэль прижал палец к губам и устремил взор к Леонарду. Доктор тоже взглянул на Леонарда, но с первого раза он не узнал в нем тощего, истомленного мальчика, которого определил к мистеру Приккету, и, конечно, не узнал бы, если бы Леонард не улыбнулся и не обнаружил своего голоса.

– Клянусь Юпитером, неужли это тот самый мальчик? вскричал доктор Морган, бросился к Леонарду и наградил его искренним валлийским объятием.

Эти неожиданные встречи до такой степени взволновали доктора, что в течение нескольких минут он не мог выговорить слова. Наконец, вынув из своей аптеки крупинку, он проглотил ее.

– Аконит есть лучшее средство против нервных потрясений, сказал доктор.

В это время капитан, весьма недовольный тем, что внимание доктора отвлечено было от его болезни, печальным голосом спросил:

– Что же, доктор, вы ни слова не сказали мне о диете? Что я буду иметь к обеду сегодня?

– Друга, милостивый государь, друга, отвечал доктор, утирая глаза.

– Вот тебе раз! вскричал сквайр, отступая: – не хотите ли вы сказать, сэр, что британские законы (конечно, они много изменились в последнее время) позволяют назначать вашим пациентам в пищу своих собратий? Как вы думаете, Дэль, ведь это хуже ослиных сосисек?

– Извините, сэр, сказал доктор Морган, с серьезным видом: – я хочу сказать, что не столько следует обращать внимания на пищу, которую будем иметь за обедом, сколько на тех людей, с которыми будем разделять эту пищу. Гораздо лучше скушать лишнее с другом, нежели сидеть за столом одному и соблюдать строгую диету. Веселый разговор чрезвычайно помогает пищеварению и производит благотворное действие в страданиях печени. Я уверен, сэр, что выздоровлению мистера Шарпа Корри весьма много способствовало приятное общество нынешнего моего пациента.

Капитан громко простонал.

– И потому, джентльмены, если ктонибудь из вас останется обедать с мистером Гигинботомом, то, поверьте, это как нельзя более поможет действию лекарства.

Капитан бросил умоляющий взгляд сперва на кузена, потом на мистера Дэля.

– К сожалению, я не могу, отвечал сквайр: – я обедаю сегодня с сыном. Но вот мистер Дэль....

– Если он будет так добр, прервал капитан: – мы бы приятно провели вечер за вистом, с двумя болванами.

Но мистер Дэль располагал обедать с старинным своим университетским другом и разыгрывать не глупый, прозаический вист с двумя болванами, не представляющий удовольствия бранить своего партнера, но настоящий вист, вчетвером, с приятной перспективой браниться со всеми тремя игроками. Но так как скромная и безмятежная жизнь

мистера Дэля запрещала ему быть героем в больших делах, то он решился быть героем малых дел, и потому, с довольно плачевным лицом, он принял приглашение капитана, обещался воротиться к шести часам и, вручив Леонарду свой адрес, удалился. Сквайр тоже торопился: ему нужно было осмотреть новую машинку для сбивания масла и исполнить некоторые поручения своей Гэрри. Прощаясь с доктором, он взял с него уверение, что через несколько недель капитан Гигинботом благополучно может переехать в Гэзельден. Леонард хотел было уйти вслед за сквайром, но Морган, взяв его под руку, сказал:

– Извините, я вас не пущу: мне нужно переговорить с вами о многом; вы должны рассказать мне все о маленькой сиротке.

Леонард не хотел, да и не мог лишиться себя удовольствия поговорить о Гэлен, и вместе с гомеопатом сел в карету, стоявшую у подъезда.

– Я еду на несколько минут в деревню – посмотреть своего пациента, сказал доктор. – Я так часто удивлялся, не понимая, что сделалось с вами. Не получая ничего от Приккета, я написал к нему и получил ответ от его наследника такой сухой, как старая кость. – Бедный Приккет! я узнал, что он пренебрег моими крупинками и переселился к праотцам. Увы! *pulvis et timbra sumus!* Я ничего не мог узнать о вас. Наследник Приккета объявил мне то же самое. Но я никогда не терял надежды: я всегда оставался при дом убеждения,

что рано или поздно, но вы твердо станете на ноги – это всегда бывает с людьми жолчно-нервного темперамента, – такие люди всегда успевают в своих предприятиях, особенно, если, в припадках сильного душевного волнения, станут принимать по ложке *хамомиллы*. Ну, теперь начинайте вашу историю и историю сиротки.... Премиленькая девочка! никогда не встречал такой чувствительной души.

Леонард в немногих словах рассказал свои неудачи и окончательный успех и сообщил великодушному доктору, что отыскал наконец нобльмена, которому несчастный Дигби доверял свою дочь, и которого попечения о сироте вполне оправдали это доверие.

При имени лорда л'Эстренджа доктор Морган пристально взглянул на Леонарда.

– Я помню его очень хорошо, сказал он: – помню с тех пор, как имел практику в Лэнсмере, в качестве аллопата. Но возможно ли было подумать тогда, что этот своенравный мальчик, полный причуд, жизни и пылкой души, остепенится до такой степени, что сделается питомцем такого милого ребенка, с её робкими взорами и нежной, чувствительной душой. После этого как не сказать, что чудесам нет конца! Вы говорите, что он и вам оказал благодеяние? Не удивительно, впрочем: он знал все ваше семейство.

– Да, он говорит, что знал. Как вы думаете, сэр, знавал ли он – видел ли он когданибудь мою мать?

– Вашу?.. Нору? быстро подхватил доктор и, как будто по-



раженный мыслью, нахмурил брови и оставался безмолвным и задумчивым в течение нескольких минут.

– Без сомнения, он встречался с ней: ведь она воспитывалась у лэди Лэнсмер, сказал доктор, заметив, что взоры Леонарда неподвижно остановились на его лице. Разве он не говорил об этом?

– Нет.

Неясное, неопределенное подозрение мелькнуло в уме Леонарда; но оно также быстро и исчезло. Неужели он его отец? Не может быть. Его отец, как по всему видно, умышленно оскорбил несчастную мать. А неужели Гарлей способен на подобный поступок? И еслиб Леонард был сын Гарлея, то неужели Гарлей не узнал бы его с разу, и, узнав, не признал бы его своим сыном? К тому же Гарлей казался так молод, – слишком молод, чтобы быть отцом Леонарда! И Леонард всеми силами старался отогнать от себя такую идею!

– Вы говорили мне, доктор, что не знаете, как зовут моего отца.

– И, поверьте, я говорил вам совершенную правду.

– Ручаетесь за это вашей честью, сэр?

– Клянусь честью, я не знаю.

Наступило продолжительное молчание. Карета уже давно выехала из Лондона и катилась по большой дороге, не столь шумной и не так застроенной зданиями, как большая часть дорог, служащих въездами в столицу. Леонард задумчиво

посматривал в окно, и предметы, встречавшиеся с его взорами, постепенно возникали в его памяти. Да, действительно: это была та самая дорога, по которой он впервые входил в столицу, рука в руку с Гэлен, и с надеждами столь возвышенными, как душа поэта. Леонард тяжело вздохнул. Он подумал, что охотно бы отдал все, что приобрел – и независимое состояние, и славу, – словом сказать все, все, – лишь только бы еще раз ощущать пожатие той нежной руки, еще раз быть защитником того нежного создания.

Голос доктора прервал размышление Леонарда.

– Я еду посмотреть весьма интересного пациента – одежда его желудка совсем износилась; это человек весьма ученый и с сильным раздражением в мозгу. Я не могу оказать ему особенной пользы, а он делает мне чрезвычайно много вреда.

– Это каким образом? спросил Леонард, с заметным усилием сделать возражение.

– Очень просто: задевает меня за живое и выжимает слезы из глаз.... Да, случай весьма патетичный! я пользую величавое создание, которое преждевременно и попустому расточило свою жизнь. Аллопаты кончили с ним все, когда я встретился с ним, и когда он находился в сильной горячке. На время я поправил его, полюбил его не мог не полюбить проглотил огромное количество крупинок, чтобы ожесточить себя против него, – но ничто не помогло.... привез его в Англию с другими пациентами, которые все (исключая

капитана Гигинботома) платят мне превосходно. Этот бедняк ничего не платит, а надобно сказать, что он стоит мне дорого, если взять в расчет время, шоссейные деньги, деньги за квартиру и за стол. Слава Богу, что я одинокий человек и могу иметь лишняя деньги! Знаете ли что: я передал бы всех других пациентов аллопатам, лишь бы только спасти этого бедного, несчастного человека. Но что можно сделать для человека, на желудке которого не осталось ни одной тряпички! Стой! вскричал доктор, дернув кучерский снурок. – Это, кажется, тот и есть забор. Я выйду здесь и пройду тропинкой по полям.

Этот забор, эти поля – о, как ясно припоминал их Леонард! Но где же Гэлен? Неужели ей не суждено уже более взглянуть на эти места?

– Если позволите, и я пойду с вами, сказал Леонард. – И, пока вы осматриваете больного, я погуляю подле ручья, который должен протекать здесь.

– Подле Брента? а вы знаете его? О, еслиб вы послушали моего пациента, с каким он увлечением говорит о нем и о часах, проведенных им на берегах его за рыбной ловлей, – право, вы тогда не знали бы, что вам делать – смеяться или плакать. В первый день, как его привезли сюда, он хотел выйти и еще раз попробовать изловить своего демона-обольстителя – одноглазого окуня.

– Праведное небо! воскликнул Леонард. – Неужели вы говорите о Джоне Борлее?

– Да, это его имя; действительно мой пациент Джон Борлей.

– И он доведен до этого? Вылечите его, спасите его, если только это в человеческой власти. В течение двух последних лет я всюду искал его, и тщетно. Я хотел помочь ему, я имел деньги, имел свой дом. Бедный, заблужденный, знаменитый Борлей! Возьмите меня к нему. Вы сказали, что нет ни малейшей надежды на его выздоровление?

– Я не говорил этого, отвечал доктор. – Наука и искусство могут только помочь природе, и хотя природа постоянно старается поправить вред, который мы причиняем ей, но, несмотря на то, когда одежда желудка изнасилась, природа, как и я, становится в тупик. Вы ужь в другой раз расскажете мне о своем знакомстве с Борлеем, а теперь пойдете к нему в дом. Посмотрите, с каким нетерпением он ждет меня, поглядывая из окна.

Доктор отворил калитку садика, принадлежавшего скромному коттэджу, в который бедный Борлей бежал из квартиры Леонарда. Медленным шагом и с тяжелым сердцем Леонард печально следовал за доктором – взглянуть на руины того, чей ум придавал блеск и славу шумным оргиям и вызывал гром рукоплесканий. Увы, бедный Йорик!

# Часть двенадцатая

## Глава CVIII

Одлей Эджертон в глубоком раздумьи стоит у камина. Перемена министерства неизбежна, и Эджертон не предвидит никакой возможности занять, при наступающих выборах, место в Парламент. Мысли, одна мрачнее другой быстро сменялись в его изображениях. Для этого человека занятие государственными делами составляло необходимое условие его существования, тем более теперь, когда оно служило единственным средством в удовлетворению потребностей жизни, когда он видел неизбежное разорение. Он знал, что от барона Леви зависело во всякое время наложить запрещение на его недвижимое имущество, что от этого человека зависело выпустить в свет обязательства и векселя, которые так долго хранились в шкапулках из розового дерева, украшавших кабинет услужливого ростовщика, что от него зависело овладеть самым домом Одлея, и, наконец, обнаружить в газетах о публичной продаже «богатого имущества и драгоценных вещей высокопочтеннейшего Одлея Эджертона». Впрочем, основываясь на совершенном знании света, Эджертон был уверен, что Леви не прибегнет к подобным мерам, пока будет видеть, что Одлей все еще впереди

всех в политической войне, пока будет видеть, что для Одлея не совершенно еще утрачена надежда на возвращение своего могущества, быть может, в беспредельное число раз сильнее прежнего. Леви, которого ненависть Одлей угадывал, все еще считал его за человека или нелишенного последней помощи, или слишком сильного, чтобы открыто начать с ним войну и надеяться на победу. «Еще на один бы год остаться в Парламенте, произнес непоколебимый Одлей, сжимая рукой левый бок: – и тогда, быть может, дела мои приняли бы благоприятный оборот. Если нет, то все же я спокойнее бы умер облеченный властью, и только тогда бы узнали, что я нищий, и что я искал от своего отечества одной только могилы.»

Едва эти слова замерли на устах Одлея, как в уличную дверь раздались два громких удара, один за другим, и через несколько секунд в кабинет Одлея явился Гарлей; но почти в то же время к Одлею подошел лакей и доложил о приезде барона Леви.

– Попроси барона подождать, если ему не угодно назначить время для другого визита, сказал Эджертон, едва заметно меняясь в лице. – Ты можешь сказать ему, что я теперь занят с лордом л'Эстренджем.

– Я полагал, что ты навсегда отвязался от этого оболъстителя юности, сказал Гарлей. – Я помню, в веселую пору жизни, ты часто водился с ним, но теперь, не думаю, чтобы ты нуждался в деньгах; а если нуждаешься, то зачем же забы-

вать, что Гарлей л'Эстрендж всегда к твоим услугам?

– Мой добрый Гарлей! вероятно, он пришел переговорить со мной о выборах. Он необыкновенно сметлив в этих щекотливых делах.

– Я пришел сам именно по этому же делу и требую перед бароном первенства. Я не только слышал в обществе, но и читал в газетах, что какой-то Дженкинс, картавый оратор, и лорд Вигголин, недавно сделанный членом Адмиралтейства, непременно будут выбраны от города, которого ты был представителем. Правду ли я говорю?

– Я полагаю, что они займут мое место без малейшего сопротивления. Продолжай, мой друг.

– Поэтому отец мой и я условились упросить тебя, ради старинной нашей дружбы, быть еще раз представителем Лэнсмера.

– Гарлей! воскликнул Эджертон, меняясь в лице, но уже заметнее, чем при докладе о зловещем приезде барона Леви: – Гарлей! я решительно не могу принять такого предложения.

– Не можешь! Почему же? И что с тобой делается, Одлей? ты так взволнован, сказал Гарлей, крайне изумленный.

Одлей молчал.

– Я сообщил эту идею двум-трем бывшим министрам, и они единодушно советуют тебе принять наше предложение. Даже моя мать вросила передать тебе, что она очень, очень желает, чтобы ты возобновил к нашему местечку

прежние отношения.

– Гарлей! снова воскликнул Эджертон, устремив на умоляющее лицо своего друга пристальный взор, в котором отражаюсь сильное волнение души. – Гарлей! еслиб в эту минуту ты мог читать в душе моей, ты бы сказал.... ты бы....

Голос Одлея задрожал, и твердый, непоколебимый человек тихо склонил голову на плечо Гарлея, и судорожно сжал его руку.

– О, Гарлей! потеряй я твою любовь, твою дружбу – и для меня ничего бы не осталось в этом мире.

– Одлей! дорогой мой Одлей! ты ли говоришь мне это? тебя ли я слышу, моего школьного товарища, моего друга, которому я доверял все свои тайны?

– Да, Гарлей, я сделался очень слаб, – слаб телом и душой, сказал Эджертон, стараясь улыбнуться. – Я не узнаю себя.... не узнаю в себе того человека, которого ты так часто называл стойком и сравнивал с «железным человеком», в поэме, которую любил читать в Итоне.

– Но даже и тогда, мой Одлей, я знал, что под железными ребрами того человека билось горячее сердце. Я часто удивляюсь теперь, каким образом протекла твоя жизнь, не испытывав мятежных страстей. Оно и прекрасно! жизнь твоя была счастливее моей.

Эджертон, отвернув лицо от сострадательного взгляда своего друга, оставался на несколько секунд безмолвным. Он старался переменить разговор и наконец спросил Гарлея, до ка-



кой степени успел он в своих видах на Беатриче и в своих наблюдениях за граном.

– Что касается Пешьера, отвечал Гарлей: – мне кажется, что угрожавшую опасность мы представляли в слишком преувеличенном виде, и что его пари было одно пустое хвастовство. В настоящее время он очень спокоен и, по видимому, всей душой предан игре. Его сестра в течение последних дней не отворяет дверей своих ни для меня, ни для моего молодого товарища. Я начинаю опасаться, что, несмотря на все мои мудрые предостережения, она успела вскружить голову поэта, и что или он, прельщенный красотой маркизы, должен был выслушать грубый отказ её, или, быть может, предвидя опасность, он не решился встретиться с ней лицом к лицу. Я основываю такое мнение на замешательстве, которое обнаруживается в молодом человеке, когда я начну говорить о маркизе. Впрочем, если граф действительно неопасен, то склонить его сестру на нашу сторону не предвидится особенной необходимости, тем более, что я надеюсь снискать правосудие для моего друга-итальянца, чрез весьма обыкновенные каналы. Я приобрел союзника в лице молодого австрийского принца, который теперь в Лондоне и который обещал употребить все свое влияние в Вене в пользу моего друга. Кстати, любезный Одлей, я давно собираюсь представить тебе молодого поэта; но так как у тебя очень мало свободного времени, то пожалуста назначь мне час для этого ожидания. Этот молодой поэт – сын её сестры. Бывает мину-

ты, когда выражение его лица имеет удивительное сходство с ней....

– Хорошо, хорошо, отвечал Одлей, торопливо:– приезжай с ним когда тебе угодно.... Ты говоришь, что он сделал большие успехи.... и, конечно, пользуясь твоим расположением, он смело может считать себя счастливым человеком.... Я от души этому рад.

– А что твой *protégé*, этот Рандаль Лесли, которого ты за-  
прещаешь мне *не любить*?... трудное исполнение!.. Скажи,  
на что он решился?

– Нести одну со мной участь. Гарлей, если небу не угодно  
будет продлить мою жизнь до возвращения к прежнему мо-  
гуществу, если не успею и упрочить счастья этого молодого  
человека, но забудь, что он предан был мне во время моего  
падения.

– Если он будет предан к небу душой, я никогда не забуду.  
Я забуду тогда все, что заставляет меня сомневаться в нем  
в настоящее время....

– Довольно! – прервал Одлей. – Теперь я спокоен и могу  
проститься с тобой; мне нужно увидеть этого барона.

– Нет, я не выйду отсюда, не получив согласия на пред-  
ложение еще раз быв представителем Лэнсмера. Пожалуйста  
не качай головой. Мне нельзя отказать. Я требую твоего обе-  
щания по праву нашей дружбы и не на шутку рассержусь,  
если ты хоть на секунду задумаешься над этим.

– И в самом деле, Гарлей, тебе нельзя отказать. Однако,

ты сам не был в Лэнсмере после... после того печального события. Тебе придется открыть в сердце старую рану.... Нет, Гарлей, ты не должен ехать туда. Признаюсь тебе откровенно, воспоминание о нем грустно и тяжело даже для меня. Я бы и сам не хотел ехать в Лэнсмер.

– О, друг мой! мне кажется, это уже избыток симпатичности. Я сам начинаю осуждать себя за свою слабость; я начинаю думать, что мы не имели никакого права обращать себя в рабов минувшего.

– С своей стороны и я начинаю думать, что в последнее время ты очень переменялся, возразил Гарлей, и лицо его просветлело. – Скажи мне, счастлив ли ты в ожидании новой для тебя жизни? доживу ли я до той поры, – когда еще раз увижу тебя прежним Гарлеем?

– Я могу ответить тебе, Одлей, только одно, сказал Гарлей, с задумчивым видом:– одно – что я действительно переменялся. Я собираю теперь силы и мужество, чтоб исполнить долг, которым обязан своему отечеству.... Прощай, Оддей! Я скажу моему отцу, что ты принимаешь наше предложение.

Когда Гарлей ушел, Эджергон, как будто от крайнего физического и морального изнеможения, опустился в кресло.

– Возвратиться в это мОддейсто, туда.... туда, где.... о, это новая пытка для меня!

И он с усилием поднялся с кресла, крепко сложил руки на грудь и медленными шагами начал ходить по большой, угрюмой комнате. Черты лица его постепенно принимали

свое обычное, холодное и строгое спокойствие, и Одлей снова казался твердым, непоколебимым человеком.

—

Пешьера вовсе не был так мало деятелен, как казалось Гарлею, или, как, может быть, думал читатель. Напротив того, он приготовил путь для своего последнего предприятия со всею неразборчивою в средствах решимостью, которая составляла одно из отличительных свойств его характера. Намерение его состояло в том, чтобы заставить Риккабокка согласиться на женитьбу его с Виолантой, или, при неудаче в этом отношении, по крайней мере отнять у своего родственника совершенную возможность к поправлению дел. Спокойно и втихомолку он отыскивал, среди самых бедных и безнравственных из своих соотечественников, людей, которых можно бы было принудит к обличению Риккабокка в участия в заговорах и происках против австрийского двора. Прежние связи его с карбонариями доставили ему случай проникнуть в их убежище в Лондоне, и полное знакомство с характерами людей, с которыми ему приходилось иметь дело, совершенно приготовило его для злодейского замысла, который он намеревался привести к исполнению.

Он во все это время собрал уже достаточное число свидетелей для своего предприятия, стараясь вознаградить численностью там, где нельзя было похвалиться их личными качествами. Между тем (как Гарлей и предвидел уже заранее) он наблюдал за каждым шагом Рандаля; и за день до того,

как юный изменник открыл ему убежище Виоланты, он уже напал на след жилища её отца.

Открытие, что Виоланта находилась под кровом такого уважаемого и, по видимому, такого безопасного от нападения дома, как дом Лэнсмеров, не остановило этого дерзкого и отчаянного авантюриста. рассмотрев дом у Нейтсбриджа во всей подробности, он нашел такое место, которое, по его соображениям, вполне способствовало бы всякому *coup-de-main*, если бы таковой оказался необходимым.

Дом лорда Лэнсмера был обнесен стеною, в которой находилась дверь, выходящая на большую дорогу, и тут же комната привратника. Позади тянулись поля, с вьющеюся по ним тропинкою, обсаженною деревьями. К этим полям вела маленькая калитка, в которую проходят, обыкновенно, садовники, идя за работу и с работы. Эта калитка бывала обыкновенно заперта, но замок не отличался сложным и замысловатым устройством и потому уступил бы всякому поддельному ключу или слесарской отмычке. Все это были такого рода препятствия, которые опытность и ловкость Пешьры сочли бы за ничто. Но граф вовсе не был расположен употреблять за первый же раз крутые и насильственные меры. Он верил собственным дарованиям, собственной ловкости; он был избалован частыми победами над особами прекрасного пола, и потому естественно искал в подобных случаях личного свидания; на это он решился и теперь, с своею обыкновенною ловкостью. Описание внешности Виоланты, сделанное

Рандалем, и некоторые подмеченные им черты её характера и наклонностей, наиболее обуславливавших её поступки, удовлетворяли всем требованиям, которые граф на первый раз мог сделать.

Между тем возвратимся к самой Виоланте. Мы видим её сидящую в саду у Нейтсбриджа, рядом с Гэлен. Место это уединенно и не видно из окон дома.

Виоланта. Но отчего же вы не хотите мне рассказать еще чтонибудь об этом прошлом времени? Вы, кажется, еще менее искренны, чем Леонард.

Гэлин (*подняв голову и с расстановкою*). Оттого, что мне нечего рассказывать вам нового, вы все уже знаете; это уже давно миновало, и обстоятельства с тех пор много, много переменились.

Тон последних слов отзывался грустью и фраза окончилась вздохом.

Виоланта (*с одушевлением*). А как я вам завидую за это прошлое, о котором вы говорите равнодушно! Быть чемнибудь, даже в самом детстве, для образования благородной натуры, перенести на этих нежных плечах половину бремени, данного в удел мужчине! любоваться, как гений спокойно идет по гладкому пути жизни, и иметь право сказать самой себе: «Я составляю часть этого гения!»

Гэлен (*с неудовольствием и смирением*). Часть! о, нет! Часть! Я хорошенько не поняла вас.

Виоланта (*поспешно*). Да, Гэлен, да, я сужу за собственно-

му сердцу и потому в состоянии читать в вашем. Подобные воспоминания ее могут изглаживаться. Трудно, в самом деле, поверить, как причудливо, как загадочно рисуется иногда судьба женщины, даже в самом ребячестве! – Потом она произнесла шепотом: «Мог ли после этого Леонард не заслужить вашей привязанности, мог ли он не полюбить вас, как вы его любите – более всего на свете?»

Гэлен (*вздрыгнув и в сильном замешательстве*). Перестаньте, перестаньте! Вы не должны говорить мне так. Это неприлично. Я не могу позволить этого. Я не хочу этого, этого не может быть, никогда не может быть!

Они закрыла на минуту лицо руками и потом машинально опустила их; лицо её было грустно, но спокойно.

Виоланта. Что это значит! Ужь не боитесь ли вы Гарлея – лорда л'Эстренджа? Полноте; вы значит не разгадали еще....

Гэлен (*поспешно вставая*). Замолчите, Виоланта: я обещана другому.

Виоланта также поднялась с места и остановилась в немом изумлении; она была бледна как кусок мрамору, и только исподоволь, но с возрастающей силой прилиwała кровь к её сердцу, пока не отразилась на лице её ярким румянцем. Она крепко сжала руку Гэлен и спросила едва слышным голосом:

– Другому! обещана другому! Еще одно слово, Гэлен... не ему, по крайней мере не Гарлею.... не....

– Я не могу говорить, не должна говорить. Я дала слово!

вскрикнула бедная Гэлен, и как Виоланта выпустила в эту минуту её руку, то она поспешила уйти.

Виоланта бессознательно села на прежнее место. Она была как будто поражена смертельным ударом. Она закрыла глаза и с трудом переводила дух. Болезненная слабость овладела ею, и когда этот припадок миновал, то ей показалось, что она уже не то существо, каким была прежде, что самый мир, ее окружающий, уже не прежний мир, – как будто она превратилась в ощущение сильной, безвыходной горести, как будто вселенная стала мертвой, безлюдной пустыней. Так мало принадлежим мы вещественному миру, – мы, люди, одаренные плотью и кровью: отнимите у нас вдруг одну неосязаемую, летучую мечту, которую лелеяла душа наша, и вот свет для нас меркнет, и солнце сияет неприветно, и узы, связывающие нас со всем существующим, падают и все повергается в бездну забвения и смерти, кроме самого страдания.

Так сидела Виоланта, грустная и безмолвная, не произнося ни слова ропота, не выронив ни слезы отчаяния; только от времени до времени она проводила рукою по лицу, как будто желая прогнать какую-то мрачную мысль, которая не хотела ее покинуть, или тяжело вздыхала, как бы желая освободиться от тяжкого бремени, которое легло ей на сердце. Бывают минуты в жизни, когда мы говорим сами себе: «Все кончено; ничто не в состоянии изменить моей судьбы; все пропало навеки, безвозвратно.» И в это время сердце



наше как будто вторит нашим словам, как будто повторяет: «навек, безвозвратно пропало!»

Пока Виоланта сидела таким образом, какой-то незнакомец, тихо пробравшись сквозь чащу деревьев, остановился между нею и заходящим солнцем. Она не заметила незнакомца. Он помолчал с минуту, потом тихо заговорил на её родном языке, назвав ее по имени, которое она носила в Италии. Он говорил тоном близкого знакомого и извинялся в своем неожиданном приходе.

– Я явился здесь, прибавил он, в заключение: – чтобы доставить дочери средства возвратит своему отцу отечество и все его почести.

При слове «отец» Виоланта поднялась с места, и вся её любовь к этому отцу заговорила в ней с удвоенною силой. Всегда случается так, что мы начинаем любить своих родственников наиболее в ту минуту, когда узы, привязывающие нас к ним, готовы разорваться, и когда совесть начинает чаще повторять нам: «Вот, по крайней мере, та любовь, которая тебя никогда не обманывала! »

Она видела перед собою человека кроткого с виду и с изящными манерами. Пешьера – ибо это был он – отнял у своего костюма, точно так же, как у своей внешности, все то, что могло бы обличать непостоянство его нравственных правил. Он играл прекрасно свою роль и, раз избрав ее, совершенно вошел в её характер.

– Мой отец! сказала она поспешно по итальянски. – Ка-

кое вам дело до моего отца? И кто вы сами, синьор? Я вас не знаю.

Пешьера снисходительно улыбнулся и отвечал тоном, в котором глубокое уважение сглаживалось некоторым родом родственной нежности:

– Позвольте мне объясниться, и удостойте меня выслушать.

Потом, сев на скамью, возле неё, он стал смотреть ей прямо в глаза и начал таким образом:

– Вы, без сомнения, слышали о графе Пешьера?

Виоланта. Я слышала это имя еще в Италии, быв ребенком. А когда дама, у которой я тогда жила – тетка моего отца – занемогла и потом скончалась, то мне сказали, что у меня нет более приюта в Италии, что дом наш достался графу Пешьера – врагу моего отца.

Пешьера. И ваш батюшка с тех пор старался внушать вам ненависть к этому мнимому врагу?

Виоланта. Да, то есть отец мой запрещал мне вовсе проносить имя этого человека.

Пешьера. Жаль! сколько лет страданий и изгнания не существовало бы для вашего отца, если бы он был хоть немного справедливее в отношении к своему старинному другу и родственнику... да, если бы он хоть не так упорно сохранял тайну своего местопребывания. Прелестное дитя, я тот самый Джулио Франчини, гран Пешьера, о котором вы слышали. Я тот человек, на которого вас научили смотреть, как на вра-

га вашего отца. Я тот человек, которому австрийский император пожаловал его имения. Теперь судите сами, действительно ли я враг его. Я приехал сюда с целию отыскать вашего отца и предоставить в его пользу земли, пожалованные мне императором. Мною руководило единственное желание восстановить Альфонса в его правах в отечестве и возвратит ему его наследство, которе было отдано мне, против моего желания.

Виоланта. Батюшка, милый батюшка! Его благородное сердце опять узнает прелесть свободы. О, это великодушная месть, неприязнь, достойная подражания. Я вполне понимаю ее, синьор; ее вполне оценит и мой батюшка, потому что он точно таким же образом отмстил бы и вам, если бы представился к тому случай. Вы виделись уже с ним?

Пешьера. Нет; нет еще. Да я не старался его видеть прежде, чем не увижу вас, потому что собственно вы одна можете располагать его судьбою, точно так же, как и моей.

Виоланта. Я... граф? Я... располагать судьбою моего отца? Может ли это быть!

Пешьера (*со взором, в котором изображается сострадание, смешанное с восторгом, и тоном родственной нежности*). Привлекательна, усладительна ваша невинная радость, но не спешите предаваться ей. Может быть, от вас требуют жертвы – жертвы для нас слишком тяжелой. Не прерывайте меня. Выслушайте хорошенько, и тогда вы поймете, почему я не хотел говорить с вашим батюшкой прежде,

чем не увижусь с вами. Вы убедитесь, что одно ваше слово может даже и теперь заставить меня избежать вовсе встречи с ним. Вы, конечно, знаете, что ваш отец был одним из предводителей партии безумцев. Я сам был жарким участником в этом предприятии. В одну из решительных минут я открыл, что некоторые из деятельнейших сообщников к патриотическим планам примешали какие-то злодейские замыслы. Мне хотелось переговорить с вашим отцом, но нас разделяло большое расстояние. Вскоре я узнал, что он заочно присужден к смертной казни. Нельзя было терять ни минуты. Я решился на отчаянное предприятие, которое навлекло на меня подозрение с его стороны и ненависть моих соотечественников. Моею единственною мыслию было спасти его, старого друга, от смерти и отечество от бесполезного кровопролития. Я уклонился от плана возмущения. Я спешил представиться главе австрийского правительства в Италии и выпросил помилование Альфонсу и другим предводителям партии, которые в противном случае погибли бы на эшафоте. Я получил позволение лично заняться участью моего друга, поставят его вне всякой опасности, удалит его за границу, под видом изгнания, которое должно было окончиться, когда бы опасность миновала. Но, к несчастью, он вообразил, что я стараюсь погубить его. Он убежал от моих дружеских преследований. Солдаты мои вступили в ссору с каким-то англичанином, который стал вмешиваться не в свое дело и ваш отец убежал из Италии и скрыл свое местопребывание.

вание; поступок этот совершенно лишил меня возможности выпросить ему прощение. Правительство предоставило мне половину его земель, удержав другую половину в свою пользу. Я принял это вознаграждение с целью отвратить полную конфискацию его достояния. С тех пор я постоянно искал его, но не мог никак открыть его местопребывание. Я не переставал также хлопотать о его возвращении. Только в нынешнем году мне посчастливилось. Ему будут восстановлены права наследства и прежнее звание, но с обеспечением, которое правительство считает нужным для убеждения к искренности его намерений. обеспечение это названо правительством: оно состоит в союзе его единственной дочери с таким лицом, которому правительство может ввериться. Интересы итальянской аристократии требовали, чтобы такая старинная и известная фамилия не лишилась вовсе представителей и не перешла в боковую линию, то есть, чтобы вы соединились браком с одним из своих родственников. Подобный родственник, единственный и ближайший уже отыскался. Короче сказать, Альфонсо возвратит все, что потерял, в тот самый день, когда дочь его отдаст руку Джулио Францини, графу Пешьера. А! продолжал граф, с грустью:— вы трепещете, вы готовы отказаться. Значит человек, названный мною, недостоин вас. Вы только что вступили в весеннюю пору жизни, а он уже достиг осени жизни. Юность сочувствует только юности. Но он и не рассчитывает на вашу любовь. Все, что он находит сказать в свою пользу — это то, что лю-

бовь не есть единственная улада для сердца, не менее уладительно избавить от нищеты и бедствий милого для нас отца, возратить ему наследие предков, в числе которых считается так много героев, незабвенных для всех истинных патриотов. Вот те наслаждения, которые я предлагаю вам, – вам, как дочери и как итальянке. Вы все еще молчите! О, говорите, говорите же, ради Бога!

Заметно было, что граф Пешьера хорошо умел овладеть умом и сердцем девушки. Притом граф умел избрать самую благоприятную минуту. Гарлей был уже потерян для её надежд и слово любви уже исчезло с языка её. Вдали от света и людей только образ отца представлялся ей ясным и заметным. Виоланта, которая с самого детства научилась переносить все лишения, с целью помогать своему отцу, которая сначала мечтала о Гарлее, как о друге этого отца, могла возратить теперь изгнаннику все, о чем он вздыхал так часто, и для этого должна была пожертвовать собою. Самопожертвование для души благородной имеет, уже независимо от других отношений, иного своей собственной прелести. Но при всем том теперь, посреди смятения и замешательства, овладевших её умом, мысль о замужестве с другим казалась ей такою ужасною и противною её стремлениям, что она едва могла привыкнуть к ней; притом же внутреннее чувство откровенности и чести, составлявших отличительные черты её характера, предостерегало её неопытность и как будто подсказывало, что в этом предложении незнакомца был ка-

кой-то тайный, неблагоприятный для неё смысл.

Однако, граф с своей стороны убеждал ее отвечать; она собралась с духом и произнесла нерешительно:

– Если это так, как вы говорите, то ответ должна дать не я, а мой отец.

– Прекрасно! возразил Пешьера. – Но позвольте мне вам на этот раз противоречить. Неужели вы так мало знаете своего отца, чтобы подумать, что он предпочтет свои интересы своему убеждению в собственном долге? Он, может быть, откажется даже принять меня – выслушать моя объяснения; тем более он откажется искупить свое наследство, пожертвовав своею дочерью тому, кого он считал своим врагом и разнища лет которого с вашими заставит свет говорить, что честолюбие сделало его торгашем. Но если бы я пошел к нему с вашего позволения, если бы я мог сказать ему, что его дочь не остановится перед тем, что отец её считает препятствием, что она добровольно согласилась принять мою руку, что она готова соединить свою судьбу с моею, свои молитвы о счастье родителя с моими, – тогда я не сомневался бы в успехе: Италия извинила бы мои заблуждения и стала бы благословлять ваше имя. Ах, синьорина, не считайте меня ничем другим, как простым лишь орудием для выполнения такого высокого и священного долга: подумайте о ваших предках, вашем отце, вашей родине и не пропускайте благоприятного случая доказать, в какой мере вы почитаете все эти священные имена.

Сердце Виоланты было затронуто за самую чувствительную струну. Она приподняла голову. Краска снова показалась на её бледном доходе лице – она повернулась во всем блеске красоты к коварному искусителю. Она готова уже была отвечать и решить навсегда свою участь, когда вдруг не вдалеке раздался голос Гарлея; Нерон с прыжками подбежал к ней и поместился потом с совершенною фамильярностью между нею и Пешьера; граф отскочил назад, и Виоланта, которой глаза все еще были устремлены на его лицо, вздрогнула при виде перемены, которая произошла на этом лице. Одной вспышки бешенства было довольно, чтобы выказать мрачные стороны его натуры – то было лицо пораженного гладиатора. Он успел лишь произнести несколько слов.

– Я не хочу, чтобы меня здесь видели, проговорил он:– но завтра – в этом же саду – в этот же самый час. Я умоляю вас, для блага вашего отца, во имя его надежд, благополучия, самой жизни, сохранять тайну этого свидания и опять встретиться со мною. Прощайте!

Он исчез между деревьями так же тихо, таинственно, как и пришел оттуда.

Последние слова Пешьера еще раздавались в ушах Виоланты, когда показался Гарлей. Звук его голоса рассеял безотчетный, но не менее того сильный страх, который овладел сердцем девушки. При этом звуке к ней воротилось сознание той великой потери, которая ее ожидала; жало нестерпимой тоски проникло в её сердце. Встретиться с Гарлеем здесь,



в таком положении ей казалось невыносимым; она встала и быстро пошла в дому. Гарлей назвал ее по имени, но она не отвечала и только ускорила свои шага. Он остановился на минуту в уединении и потом поспешил за нею.

– Под каким неблагоприятным созвездием я пришел сюда? весело сказал он, положив свою руку к ней на плечо. – Я спросил Гэлен – она нездорова и не может меня принять. Я отправляюсь насладиться вашим сообществом – и вы бежите от меня, как от существа зловещего. Дитя мое! дитя мое! что это значить? Вы плачете!

– Не останавливайте меня теперь, не говорите со мною, отвечала Виоланта, прерывающимся от рыданий голосом, освобождаясь между тем от его руки и стараясь убежать по направлению к дому.

– Неужели вас постигло горе здесь, под кровом моего отца, – горе, в котором вы не хотите мне признаться? Вы жестоки! вскричал Гарлей, с невыразимой нежностью упрека, которую были проникнуты слова его.

Виоланта не имела сил отвечать. Стыдясь своей слабости, подчиняясь влиянию кроткого, убеждающего голоса Гарлея, она желала в эту минуту, чтобы земля поглотила ее и избавила от этого тягостного замешательства. Наконец, отерев слезы с заметным усилием, она отвечала почти покойно:

– Благородный друг, простите меня. У меня нет такого горя, поверьте мне, которое... которое я могла бы открыть вам. Я думала только о моем батюшке в ту минуту, когда

вы пришли. Может быть, что опасения мои насчет его были совершенно напрасны, ни на чем не основаны; но при всем том, одна лишь неожиданность, ваше внезапное появление вовлекли меня в подобное ребячество и слабость; но мне хочется увидеться с батюшкой! отправиться домой, непременно домой!

– Ваш батюшка здоров, поверьте мне, и очень доволен, что вы здесь. Опасность ни откуда не угрожает ему, и вы сами совершенно в безопасности.

– В безопасности... от чего?

Гарлей задумался. Ему хотелось открыть ей опасность, в которой отец не признался ей; но какое право имел он действовать против воли её отца?

– Дайте мне время подумать, сказал он: – и получить позволение открыть вам тайну, которую, по-моему мнению, вы должны узнать. Во всяком случае, могу сказать одно, что, преувеличивая опасность, которая будто бы вас ожидает, ваш батюшка намерен вам избрать защитника – в лице Рандаля Лесли.

Виоланта вздрогнула.

– Но, продолжал Гарлей, с спокойствием, в котором против его воли проглядывала какая-то глубокая грусть: – но я уверен, что вам предназначена более счастливая судьба и замужство с человеком более благородным. Я решил уже посвятить себя общей всем нам деятельной практической жизни. Но все-таки для вас, прелестное дитя мое, я останусь по-

ка по-прежнему мечтателем.

Виоланта обратила в эту минуту глаза на печального утешителя. Взор этот проник в сердце Гарлея. Он невольно опустил голову. Когда он вышел из раздумья, Виоланты уже не было возле него. Он не старался догонять ее, но пошел назад и вскоре скрылся посреди деревьев, лишенных листьев.

Час спустя он опять вошел в дом и пожелал видеть Гэлен. Гэлен теперь уже оправилась и могла к нему выйти.

Он встретил ее с важною и серьёзною нежностью.

– Милая Гэлен, связал он: – вы согласились быть моею женою, кроткою спутницею моей жизни; пусть это будет решено скорее, потому что я нуждаюсь в вас. Я чувствую необходимость скорее войти в этот неразрывный союз. Гэлен, позвольте мне просить вас назначить время нашего брака.

– Я слишком много вам обязана, отвечала Гэлен, потупив взор: – слишком много, чтобы не исполнять вашей воли. Но ваша матушка, прибавила она, может быть с надеждою отдалить развязку – ваша матунжа еще не....

– Матушка.... это правда. Я сначала объяснюсь с нею. Вы увидите, что мое семейство сумеет оценить ваши прекрасные свойства, Гэлен, кстати, говорили вы Виоланте о нашей свадьбе!

– Нет; я боюсь, впрочем, что, может быть, заставила ее догадаться, несмотря на запрещение леди Лэнсмер; но....

– Так значит леди Лэнсмер запретила вам говорить об этом Виоланте. Этого не должно быть. Я отвечаю за её

разрешение отменить подобное распоряжение. Того требует ваш долг в отношении к Виоланте. расскажите все вашему другу. Ах, Гэлен, если я бываю иногда холоден или рассеян, простите мне это, простите меня; ведь вы меня любите, не правда ли?

## Глава СІХ

– Поднеси свечку поближе, сказал Джон Борлей: – еще поближе.

Леонард повиновался и поставил свечку на маленький столик у изголовья больного.

Ум Борлея был уже заметно расстроен, но в самом бреду его была некоторая последовательность. Гораций Вальполь говорил, что «желудок его переживет его». То, что пережило в Борлее все остальное, был его неукротимый гений. Борлей задумчиво посмотрел на тихо пылавший огонь свечи.

– Вот что никогда не умирает, произнес он: – что живет вечно!

– Что такое?

– Свет! – Борлей проговорил это с каким-то усилием и, отвернувшись от Леонарда, стал опять смотреть на пламя. – В центральном светиле мироздания, в том великом солнце, которое озаряет пол-вселенной, и в грошовой лампе голодного писаки блестит один и тот же цвет стихий. Свет – в мироздании, мысль – в душе.... ах! ах! полно с своими сравнениями! Погаси свечку! Но ты не можешь угасить света; глупец, он убегает твоих глаз, но продолжает озарять пространство. Погибнут миры, солнца совернутся с путей своих, материя и дух обратятся в ничто прежде, чем явления, которые порождают это ничтожное пламя, исчезающее от дунове-

ния ребенка, потеряют способность производить новый свет. Да и могут ли они потерять эту способность! Нет, это *необходимость*, это долг на пути творения! – Борлей грустно улыбнулся и отвернулся на несколько минут к стене.

Это была вторая ночь, которую Леонард проводил без сна у изголовья больного. Положение Борлея заметно становилось хуже и хуже. Немного дней, может быть несколько часов оставалось ему жить.

– Я боюсь, не развратил ли я тебя худым примером, сказал он, с некоторым юмором, который превратился в пафос, когда он прибавил: – эта мысль терзает меня!

– О, нет, нет, вы сделали мне много добра.

– Говори это, повторяй это чаще, сказал Борлей, с важным видом: – от этого мне легко делается на сердце.

Он выслушал историю Леонарда с глубоким вниманием и охотно заговаривал с ним о маленькой Гэлен. Он угадал сердечную тайну молодого человека и ободрял его надежды, скрывавшиеся за длинным рядом опасений, отчаяния и грусти. Борлей никогда не заводя ж серьёзно речи о своем раскаянии; не в его характере было говорить с должною важностью о вещах, которых высокое значение он наиболее признавал.

– Я однажды смотрел, начал он: – на корабль во время бури. День был мгlistый, мрачный, и корабль, со всеми своими мачтами, представлялся моим взорам в борьбе с волнами на смерть. Наступила темная ночь, и я мог только изредка

находить его на мрачном фоне бурной картины. К рассвету появились звезды: я снова увидел корабль... он уже был разбит совершенно... он шел ко дну точно так же, как потухали одна за другою звезды на небе.

В этот вечер Борлей вообще был в хорошем расположении духа и говорил много с своим обычным красноречием и юмором. Между прочим он упомянул с заметным участием о поэтических опытах и разных других рукописных сочинениях, оставленных в доме каким-то прежним жильцом.

– Я стал было писать для развлечения роман, заимствуя содержание из этих материалов, сказал он. – Они могут послужить и тебе в пользу, собрат по ремеслу. Я сказал уже мистрисс Гудайер, чтобы она отнесла эти бумаги к тебе в комнату. Между ними есть дневник – дневник женщины; он произвел на меня сильное впечатление. Страницы этого дневника напомнили мне бурные происшествия моей собственной жизни и великия мировые катастрофы, совершавшиеся в этот период времени. В свой хронике, о юный поэт, было столько гения, силы мысли и жизненности, разработанных, развитых, сколько потратил, разбросал их по свету один негодяй, по имени Джон Борлей!

Леонард стоял у постели больного, а мистрисс Гудайер, не обращавшая особенного внимания на слова Борлея и думавшая только о физической стороне его существа, мочила в холодной воде перевязки, намереваясь прикладывать ему к голове. Но когда она подошла к больному и стала угова-

ривать его употребить их в дело, Борлей приподнялся и оттолкнул их.

– Не нужно, сказал он лаконически и недовольным голосом, мне теперь лучше. Я и этот усладительный свет понимаю друг друга; я верю всему, что он говорит мне. Да, да, я еще не совсем помешался.

Он смотрел так ласково, так нежно в лицо доброй женщины, любившей его как сына, что она зарыдала. Он привлек ее к себе и поцаловал ее в лоб.

– Перестань, перестань, старушка, сказал он, с чувством.

– Не забудь рассказать после нашим, как Джон Борлей то-и-дело удил одноглазого окуня, который ему, однако, не дался, и когда у него не стало прикормки и леса порвалась, как ты помогала бедному рыбаку. Может быть, найдется еще на свете несколько добрых людей, которые с удовольствием услышат, что бедный Борлей не околел где нибудь в овраге. Поцалуй меня еще раз, и ты, добрый мальчик, тоже. Теперь, Бог да благословит вас, оставьте меня, мне нужно уснуть.

Борлей опустил на подушки. Старушка хотела унести свечку. Он повернулся с неудовольствием.

– Нет, нет, пробормотал он:– пусть будет передо мной свет до последней минуты.

Протянув руку, он откинул в сторону и занавес кровати, так что свет падал ему прямо в лицо. Через несколько минут он заснул, дыша спокойно и правильно как ребенок.

Старушка отерла слезы и вывела потихоньку Леонарда



в соседнюю комнату, где для него была приготовлена постель. Он не выходил из дому с тех пор, как явился туда с доктором Морганом.

– Вы молоды, сэр, сказала она: – а молодым сон необходим. Прилягте немного – я вас позову, когда он проснется....

– Нет я не могу спать, и буду вместо вас сидеть у постели больного.

Старушка покачала головою.

– Я должна присутствовать при нем в последние минуты его жизни; я знаю, впрочем, что он будет очень недоволен, когда, открыв глаза, увидит меня перед собою, потому что и последнее время он сделался очень заботливым в отношении к другим.

– Ах, если бы он столько же думал о самом себе! проговорил Леонард.

Он сел при этом к столу, опершись на который, он разбросал бумаги, лежавшие там. они упали на пол с глухим унылым звуком, напоминавшим вздох.

– Что это? сказал он, вставая.

Старушка подняла рукописи и бережно отерла их.

– Ах, сэр, он просил меня положить сюда эти бумаги. Он думал, что вы развлечетесь ими в случае, если бы вам пришлось сидеть у его постели и не спать. Он подумал также и обо мне, потому что мне так жаль было расставаться с молодой леди, которой нет уже несколько лет. Она была почти мне столько же дорога, сколько и он, может быть даже доро-

же до нынешнего времени.... когда... мне приходится скоро потерять его.

Леонард отвернулся от бумаг, не обратив никакого внимания на их содержание; они не представляли ему в подобную минуту ничего любопытного.

Старушка продолжала:

– Может быть, она только предшествовала ему на небеса; она и смотрела не жилицей на белом свете. Она оставила нас неожиданно. От неё осталось много вещей, кроме этих бумаг. Вы никогда ее слышали о ней, сэр? прибавила она, с какой-то наивностью.

– О ней? о ком это?

– Разве мистер Джон не называл вам ее по имени.... ее, мою милую.... дорогую.... мистрисс Бертрам.

Леонард вздрогнул: это было то самое имя, которое напечатлелось в его памяти со слов Гарлея л'Эстренджа.

– Бертрам! повторил он: и вы в этом уверены?

– О, да, сэр! А несколько лет после того она оставила нас, и мы о ней более ничего не слышали; потом прислан был на её имя пакет из за моря, сэр. Мы получили его, и Борлей старался распечатать его, чтоб узнать чтонибудь из этих бумаг; но все было написано на каком-то иностранном языке, так что мы ее могли прочесть ни слова.

– Не у вас ли еще этот пакет? Пожалуста, покажите мне его. Он может быть очень важен. Завтра все объяснится; теперь же я не в состоянии об этом и думать. Бедный Борлей!

Посреди размышлений, в которые Леонард за тем погрузился, слабый крик поразил слух его. Он вздрогнул и с предчувствием чего-то дурного бросился в соседнюю комнату. Старушка стояла на коленях у постели, держа руку Борлея и с грустью смотря ему в лицо. Леонарду было довольно одного взгляда. Все было кончено. Борлей заснул на веки, заснул спокойно, без ропота и стенаний.

Глаза его были полу-открыты, с выражением того душевного мира, которые иногда смерть оставляет за собою; они все еще были обращены к свету; свечи горели ярко. Леонард опустил занавеси кровати, и когда стал покрывать лицо покойного, замкнутые уста Борлея, как будто улыбаясь, произносили последнее прости.

Леонард стоял возле праха своего друга и старался уловить на лице его, в загадочной предсмертной улыбке, последний проблеск души, который еще не изгладился там совершенно; потом, через несколько минут, он вышел в соседнюю комнату так тихо и осторожно, как будто боялся разбудить усопшего. Несмотря на утомление, которое он испытывал, он не думал о сне. Он сел к маленькому столу и, склонив голову на руку, погрузился в начальные размышления. Между тем время проходило. Внизу пробили часы. В доме, где лежит тело покойника, самый звук часов получает какой-то торжественный характер. Душа, которая только что оставила этот мир, улетела далеко за пределы времени... Безотчетный, суеверный страх стал постепенно овладевать молодым

человеком. Он вздрогнул и с каким-то усилием поднял глаза к небу. Месяц уже скрывался на своде небесном: серый, туманный отблеск рассвета едва проникал сквозь оконные стекла в комнату, где стояло тело. Там, близ угасающего камина, Леонард заметил женщину, тихо рыдавшую и забывшую, казалось, о сне. Он подошел к ней сказать несколько слов утешения; она пожала его руку и попросила оставить ее. Леонард понял ее. Она не искала другого утешения, кроме облегчения, которое приносили ей слезы. Он опять воротился в свою комнату, и глаза его остановились в эту минуту на бумагах, которых он до тех пор не замечал. Отчего же сердце его перестало биться при этом? отчего кровь закипела у чего в жилах? Почему он схватил эти бумаги трепетною рукою, положил их опять на стол, остановился, как будто желая собраться с силами, и опять обратил все свое внимание на эти листки? Он узнал тут памятный для него почерк, те красивые, изящные буквы, отличавшиеся какою-то особенною женственною грацией, один взгляд на которые составил для него эпоху еще в годы детства. При виде этих страниц образ таинственной Норы снова представился ему. Он ощутил присутствие матери. Он подошел к двери, осторожно затворил ее, как будто из зависти ко всякому постороннему существу, которое бы вздумало проникнуть в этот мир теней, как будто желая быть наедине с своим призраком. Мысль, написанная в пору свежей, ясной жизни, возникающая вновь перед нами в то уже время, когда рука, излагав-

шая ее, и сердце, сочувствовавшее ей, давно превратились в прах, становится настоящим призраком.

Все эти бумаги, лежавшие теперь в беспорядке, были когда-то сшиты; они распались, по видимому, в руках неосторожного Борлея; но и теперь последовательность их могла быть скоро определена. Леонард тотчас понял, что это составляло род журнала, – впрочем, не настоящий дневник в собственном смысле слова, так как в нем не всегда говорилось о происшествиях какогонибудь дня; здесь случались пропуски во времени и вообще не было непрерывного повествования. Иногда, вместо прозы, тут попадалась наскоро набросанные стихотворные отрывки, вылившиеся прямо из сердца; иногда рассказ оставался неочерченным вполне, а лишь обозначался одною резкою частностью, одним восклицанием горя или радости. Повсюду вы нашли бы тут отпечатки природы в высшей степени восприимчивой, и везде, где гений проявлялся здесь, то облакался в такую безыскусственную форму, что вы не назвали бы все это произведением гения, а скорее – мгновенного душевного движения, отдельного впечатления. Автор дневника не говорил о себе в первом лице. Дневник начинался описаниями и короткими разговорами, веденными такими лицами, имена которых были означены начальными буквами. Все сочинение отличалось простою, чистосердечною свежестью и дышало чистотою и счастьем, точно небосклон при восхождении солнца. Юноша и девица скромного происхождения, последняя

почти еще ребенок, оба самоучки, странствуют по вечерам в субботу по полям, покрытым росой, вблизи суетливого города, в котором постоянно кипит деятельность. Вы тотчас замечаете, хотя писавший, кажется, не хотел выразить этого, как воображение девушки парит к небесам, далеко за пределы понятий её спутника. Он лишь предлагает вопросы, отвечает она; и при этом вы невольно убеждаетесь, что юноша любит девицу, хотя любит напрасно. Леонард узнает в этом юноше неотесанного, недоучившегося грамотея, деревенского поэта Марка Фэрфильда. Потом повествование прерывается; следуют отдельные мысли и заметки, которые указывают уже на дальнейшее развитие понятий в авторе, на зрелость его воэраста. И хотя оттенок простосердечия остается, но признаки счастья бледнее и бледнее отпечатлеваются на страницах.

Леонард нечувствительно пришел к убеждению, что жизнь автора вступала с этого времени в новую фазу. Здесь не представлялись уже более сцены скромной, рабочей деревенской жизни. Какой-то прекрасный, загадочный образ является в описании субботних вечеров. Нора любит представлять этот образ: он постоянно присущ её гению, он овладевает её фантазией; это такой образ, который она, будучи от природы одарена художественным тактом, признает принадлежащим роскошной, возвышенной сфере изящного. Но сердце девицы еще не проснулось для чувства. Новый образ, созданный ею, кажется одних с нею лет; может

быть, он даже моложе, потому что здесь описывается мальчик с роскошными, прелестными кудрями, с глазами, никогда не подернутыми облаком грусти и вззирающими на солнце прямо, подобно глазам орленка, – с жилами до того полными кипучей крови, что в минуты радости кровь эта готова, кажется, брызнуть с нервами, дрожащими при мысли о славе, с откровенною, неиспорченною душою, возвышающеюся над предразсудками света, которого она почти не знает. Леонарда сильно интересовало, кто бы мог быть этот мальчик. Но он боялся вместе с тем и доискиваться. Заметно, хотя об этом и не говорится ясно, что подобное сообщество пугает автора. Впрочем, любовь тут проявляется не обоюдно. С её стороны – это нежная привязанность сестры, участие, удивление, благодарность, но вместе с тем некоторого рода гордость или боязнь, которая не дает любви простора.

Тут любопытство Леонарда еще более усилилось. Неужели это были такие черты, которые простую лишь загадку превратили в убеждение? неужели ему суждено было, после длинного ряда лет, узнать восприимчивого мальчика в этом великодушном покровителе?

Отрывки разговора начинают между тем образовывать пылкую, страстную натуру с одной стороны и чистосердечное восхищение с другой, смешанное с сожалением, неспособным к симпатии. Какое-то различие к общественном положении обоих становится заметнее; это различие поддерживает добродетель, но вместе и скрывает привязанность су-

щества, ниже поставленного судьбою. За тем несколько советов, прерываемых рыданиями, – советов, произнесенных над влиянием уязвленных и униженных чувств, – советов, полных сознания власти, как будто родитель автора вмешивался в дело, задавал вопросы, упрекал, увещевал. Впрочем, становилось очевидным, что этот союз сердец был далек от преступления; он привел, правда, к побегу, но все-таки с целью брака. Вслед за тем заметки становились короче, как будто под влиянием какого-то решительного намерения. Далее следовало место до того трогательное, что Леонард невольно плакал, перечитывая его. То было описание дня, проведенного дома перед каким-то печальным расставаньем. Здесь является перед нами гордая и несколько тщеславная, но нежная и заботливая мать, еще более нежный, но менее предусмотрительный отец. Наконец описывалась сцена между девушкою и её первым деревенским поклонником, заключалась она так: «она положила руку М. в руку своей сестры и сказала: вы любили меня только воображением, любите ее сердцем», вслед за тем оставила обрученных в немом удивлении. Леонард: вздохнул. Он понял теперь, каким образом Марк Фэрфильд видел в обыкновенных, дюжинных свойствах своей жены отпечаток души и качеств своей сестры.

Немного слов произнесено было при прощании, но эти слова заменяли целую картину. Длинная, незнакомая дорога, которая тянется далеко-далеко – к холодному, равнодуш-



ному городу. Двери дома, открытые на безлюдную улицу, старые с обнаженными верхушками деревья у крыльца и вороны, летающие вокруг них и призывающие карканьем своих птенцов. За тем следовали отрывки грустно настроенных стихов и некоторый размышления, также носящий печальный колорит.

Писавшая эти строки была в Лондоне. Лицо, до тех пор невиденное, показывается на страницах дневника. Его называют просто «Он», как будто единственного представителя мириад существ, которые шествуют по земле. Первое же описание этой замечательной личности дает понятие о сильном впечатлении, произведенном ею на воображение писавшей. Личность эта была украшена цветами вымысла; она являлась здесь как контраст с деревенским мальчиком, привязанность которого прежде внушала боязнь, сожаление, а теперь почти забылась: здесь черты приведены с более важными, серьезными, хотя также чистосердечными приемами — здесь залог, который внушает уважение, здесь взоры и уста, выражающие соединение достоинства и воли. Увы! писавшая свой дневник обманывала себя, и вся прелесть очарования заключалась в контрасте не с прежним предметом её привязанности, а с её собственным характером. Но теперь, оставив Леонарда прокладывать себе дорогу посреди лабиринта этого повествования, передадим читателю и то, чего Леонард не мог дознаться сам из лежавших перед ним бумаг.

## Глава СХ

Нора Эвенель, избегая юношеской любви Гарлея л'Эстренджа, поступила компаньонкой, по рекомендации леди Лэнсмер, к одной из её пожилых родственниц, леди Джэн Гортон. Но леди Лэнсмер не могла допустить, чтобы девушка низкого происхождения была в состоянии долго выдерживать свою благородную гордость и отклонят жаркия преследования человека, который мог обещать ей звание и общественные права графини. Она постоянно внушала леди Джэн, что необходимо выдать Нору за когонибудь, кто бы несколько поболее соответствовал её званию, и уполномочила эту леди обещать каждому претенденту приданое, превосходящее все ожидания Норы. Леди Джэн осмотрелась и заметила в ограниченном кругу своих знакомых молодого адвоката, побочного сына пэра, который был в более близких, чем того требовала его обязанность, отношениях с великосветскими клиентами, разорившимися и тем положившими основание его богатству. Молодой человек был красив собою и всегда хорошо одет. Леди Джэн пригласила его к себе и, видя, что он совершенно очарован любезностью Норы, шепнула ему о приданом. Благовоспитанный адвокат, который впоследствии сделался бароном Леви, не нуждался в подобных намеках, потому что хотя он и был в то время беден, но надеялся сделать карьеру собственными дарованиями и, в проти-

воположность с Рандалем, чувствовал горячую кровь у себя в жилах. Во всяком случае, намеки леди Джэн внушили ему уверенность в успехе, и когда он сделал формальное предложение и получил столь же формальный отказ, его самолюбие было сильно затронуто. Тщеславие было одною из главных страстей Леви, а при тщеславии ненависть бывает ужасна, мщение деятельно. Леви удалился, скрывая свое негодование; он не понимал даже сам в полной мере, как этот порыв негодования, охладев, превратился в сильную злобу при могущественном содействии счастья и удачи.

Леди Джэн была сначала очень сердита на Нору и отказ претенденту, который, по её мнению, был вполне достоин выбора. Но страстная грация этой необыкновенной девушки нашла доступ к её сердцу и изгнала из него все фамильные предразсудки; она постепенно стала приходить к убеждению, что Нора достойна человека более привлекательного, чем мистер Леви.

Между тем Гарлей все еще думал, что Нора отвечает его любви, и что только чувство благодарности к его родным, врожденный ей инстинкт деликатности делали ее равнодушною к его искательствам. Во всяком случае, должно отдать ему справедливость, что, как ни был он в то время пылок и восприимчив, он непременно оставил бы свое намерение, еслиб понял, что оно имеет вид одного лишь преследования. Заблуждение его в этом отношении было очень естественно, потому что его разговор, пока он и не разоблачил совершен-

но его сердца, не мог не удивлять и не восхищать гениального ребенка, и откровенные, незнавшие притворства глаза Норы при встрече с ним не могли не обнаруживать восторга. Кто все в его лета был бы в состоянии разгадать сердце этой женщины-поэта? Как поэт, она увлекалась великими залогамии ума, которого самые ошибки проявляли лишь свойства роскошной и изящной натуры. Как женщина, она требовала натуры, может быть, пылкой, блестящей в проявлениях своих благородных начал, – но уже натуры развитой и созревшей. Гарлей был еще ребенок, а Нора принадлежала в числу тех женщин, которые должны найти или создать для себя идеал, могущий господствовать над их сердцем и неудержимо влечь его в любви.

Гарлей открыл не без затруднений новое местопребывание Норы. Он явился к леди Джэн, но леди Джэн, в выражениях, исполненных особенного достоинства, отказала ему от дома. Он никак немог получить от Норы согласия на свидание. Он писал к ней; но убедился, что письма его не доходили, потому что оставались ответа. Его молодое сердце запылало негодованием. Он делал без рассудства, которые очень беспокоили леди Лэнсмер и его благоразумного друга Одлея Эджертона. По просьбе матери и по убеждению сына, Одлей согласился посетить леди Джэн и познакомиться с Норой. При первом свидании, впечатление, которое Одлей произвел на Нору, было глубоко и необыкновенно. Она слышала о нем прежде, как о человеке, которого Гарлей очень

любил и уважал, а теперь в выражении его лица, его словах, тоне его глубоко спокойного голоса она открыла ту силу, которой женщина, как бы ни были блестящи её душевные способности, никогда не достигает. Впечатление, которое Нора произвела на Эджертона, было столь же неожиданно. Он остановился пред красотой лица и форм, которая принадлежит к тому редкому разряду, который удается нам видеть раз или два в жизни. Он почувствовал, что любовь проникла в его сердце, тогда как доверчивость друга заставляла его быть очень осторожным и бояться увлечения.

– Я не пойду туда более, сказал он раз Гарлею.

– Отчего это?

– Девушка тебя не любит. Перестань и ты думать о ней.

Гарлей не поверил ему и рассердился. Но Одлей видел много причин, чтобы поддержать чувство собственного достоинства. Он был беден, хотя и считался богатым, запутан в долгах, старался возвыситься в жизни, крепко удерживал свое значение в обществе. Против толпы противодействующих влияний любовь отваживалась на рукопашный бой. Одлей отличался мощною натурой; но если в мощных натурах преграды для искушения бывают из гранита, то страсти, действующие на них, получают все свойства необузданного пламени.

Гарлей пришел однажды к нему в припадке глубокой грусти, он слышал, что Нора нездорова. Он умолил Одлея идти туда и удостовериться. Одлей согласился, леди Джэн Гор-

тон, по болезни, не могла принять его. Ему указали на комнату, бывшую в стороне, вместе с комнатою Норы. Ожидая её, он механически перелистывал альбом, который Нора оставила на столе, отправившись к постели леди Джон. Он увидел на одном из листков эскиз своего портрета и прочел слова, написанные под этим портретом слова, исполненные безыскусственной нежности, безнадежной грусти, – слова, которые принадлежали существу, смотревшему на свой собственный гений, как на единственного посредника между собою и небом. Одлей уверился, что он любим, и это открытие внезапно уничтожило все преграды между им самим и его любовью. Через несколько минут Нора вошла в комнату. Она увидела, что Одлей рассматривает альбом. Она испустила крик, подбежала к столу, а потом упала на стул, закрыв лицо руками. Но Одлей был уже у ног её. Он забыл о своем друге, об обещании, данном им, забыл о честолюбии, забыл о целом мире.

Забывая всякое благоразумие при выполнении основных планов, Одлей сохранил все присутствие духа для того, чтобы соблюсти правила осторожности при выполнении частностей. Он не хотел открыть свою тайну леди Джэн Гортон, еще менее леди Лэнсмер. Он только внушил первой, что Нора, живя у леди Джэн, не будет безопасна от дерзких преследований Гарлея, и что ей гораздо было бы лучше перейти жить к комунибудь из своих родственников, чтобы таким образом ускользнуть от внимания восторженного юноши.

С согласия леди Джэн, Нора перешла сначала в дом к дальней родственнице своей матери, а потом в дом, который Эджертон назначил для празднования своей свадьбы. Он принял все меры, чтобы брак его не был открыт прежде времени. Но случилось так, что утром в день свадьбы один из избранных им свидетелей был поражен апоплексическим ударом. Затрудняясь тем, кого избрать вместо его, Эджертон остановился на Леви, своем постоянном адвокате, человеке, у которого он занимал деньги и который с ним был в таких коротких отношениях, которые только могут существовать между истинным джентльменом и его стряпчим одних с ним лет, знающим все его дела и доведшем последние, чисто из одной дружбы, до самого плачевного состояния. Леви был тотчас же приглашен. Эджертон, который находился в страшных хлопотах, не сказал ему сначала имени своей невесты, но наговорил довольно о своем неблагоразумии при вступлении в подобный брак и о необходимости держать все это дело в тайне. Леви увидал невесту в самую минуту священной церемонии. Он скрыл свое удивление и злобу и прекрасно исполнил возложенную на него обязанность. Его улыбка, когда он поздравлял молодую, должна была обдать холодом её сердце; но глаза её были обращены к земле, на которой она видела лишь отражение небесного света, и сердце её было безопасно на груди того, кому оно отдано было на веки. Она не заметила злобной улыбки, сопровождавшей слова радости. Таким образом, пока Гарлей л'Эст-

рендж, огорченный известием, что Нора оставила дом леди Джэн, напрасно старался отыскать ее, Эджертон, под чужан именем, в глухом квартале города, вдали от клубов, в которых слово его считалось словом оракула, – вдали от тех стремлений, которые руководили им в часы отдохновения и труда, предался совершенно единственному видению того райского блаженства, которое заставляет самое сильное честолюбие потуплять глаза. Свет, с которым он расстался, не существовал для него. Он смотрелся в прелестные глаза, которые и после являлись ему в видениях, посреди суровой и бесплодной для сердца обстановки делового человека, и говорил сам с собою: «Вот оно, вот истинное счастье!» Часто впоследствии, в годы иного уединения, он повторял те же самые слова, но тогда настоящее превратилось для него в прошедшее. И Нора, с своим полным, роскошным сердцем, с неистощимыми сокровищами воображения и мысли, дитя света и песнопения, – могла ли она угадать тогда, что в натуре, с которою она связала все существо свое, было чтонибудь сжатое и бесплодное, – был ли весь железный ум Оддея достоин одного зерна того золота, которым она облекала любовь его?

Отдавала ли Нора себе в этом отчет? Конечно, нет. Гений не чувствует лишений, когда сердце довольно. Гений её отдыхал, заснул в это время. Если женщина истинно любит когонибудь, кто ниже её умственными и душевными качествами, то как часто мы видим, что, спускаясь с высоты собствен-



ных дарований, она безотчетно становится в уровень с предметом своей любви; она боится мысли считать себя выше его. Нора не знала о существовании своего гения; она знала только, что она любит.

Здесь дневник, который Леонард читал в это время, совершенно изменялся в тоне, нося отражения того тихого, безмятежного счастья, которое потому и безмятежно, что оно слишком глубоко. Подобный промежуток в жизни Эджертон не мог быть значительным; много обстоятельств содействовало сокращению его. Дела его пришли в крайнее расстройство; все они были в полном распоряжении Леви. Требования и взыскания, которые прежде было затихли или не были очень настоятельны, теперь приняли бранчивый, угрожающий характер. Гарлей, после поисков своим, приехал в Лондон, желая видеться с Одлеем. Одлей также принужден был оставить свое таинственное убежище и появиться в свете; с этих пор он только урывками приезжал домой, как гость, а не как член семьи. Леви, который узнал от леди Джэн о страсти Гарлея к Норе, тотчас придумал, как отомстить за себя Эджертону. Под предлогом того, что он желает помочь Эджертону в исправления дел – тогда как втайне сам их расстроивал и запутывал – он часто приезжал в Эджертон-Голд в почтовой карете и наблюдал за действием, которое производили на молодого супруга, утомленного житейскими заботами, почти ежедневные письма Норы. Таким образом он имел постоянно случай возбуждать в душе

честолюбивого человека то раскаяние в слишком поспешной, необдуманной страсти, то упреки в измене в отношении к л'Эстренджу. Эджертон был один из тех людей, которые никогда не поверяют своих дел женщинам. Нора, писавшая так часто к мужу, была в совершенном неведении о том прозаическом несчастье, которое ожидало ее. Потому, в присутствия Леви, весь этот прятки нежности, со всеми порывами грусти о разлуке, просьбами о скорейшем возвращении, легкими упреками в случае, если почта не приносила ответа на вздохи любящей женщины, – все это представлялось глазам раздражительного, материального человека, преданного практической жизни, плодом расстроенного воображения и излишней чувствительности. Леви все шел далее и далее в своей решимости разъединить эти два сердца. Он старался, помощью преданных себе людей, распространить между соседями Норы те самые сплетни, которые были одолжены ему своим происхождением. Он достиг того, что Нора подвергалась оскорблениям при выходе из дому, насмешкам своих же людей и трепетала при виде собственной тени, брошенной и забытой всеми. Посреди этих невыносимых страданий появился Леви. Час дди решительных действий наступил. Он дал понять, что знает, каким унижениям подвергалась Нора, выразил глубокое участие к ней и взялся убедить Эджертона «отдать ей полную справедливость». Он употреблял двусмысленные фразы, которые оскорбляли её слух и мучили её сердце, и вызвал ее на то, что она по-

требовала объяснений. Тогда, открыв пред нею картину самых ужасных и темных опасений, взяв с неё торжественное обещание, что она не откроет Одлею того, что он намерен ей сообщить, он сказал, с лицемерным видом сожаления и мнимой стыдливости, «что брак их в строгом смысле не законный, что при совершении его не были соблюдены требуемые нормальности, что Одлей намеренно или, может быть, и без умысла представил себе полную свободу нарушить данный им обет и разойтись с женою.» И пока Нора стояла как пораженная громом и, не будучи в состоянии произнести слова, выслушивала небылицы, которые, при опытности Леви в казуистике и при её совершенном неведении судебных формальностей, имели для неё полную убедительность, – он шел все более и более вперед, не останавливаясь ни пред какою ложью, и старался изобразить пред нею всю гордость, честолюбие и тщеславную привязанность к почестям, которые отличали будто бы Одлея. «Вот где истинные препятствия вашему благополучию – сказал он – впрочем, я надеюсь убедить его загладить все эти недостойные поступки и вознаградить вас за прошлые несчастья. В свете в котором живет Эджертон, считается гораздо более предосудительным обесчестить мужчину, чем обмануть женщину, и если Эджертон решился на первое, то что мудреного, что он решится на второе! Не смотрите на меня такими удивленными глазами; напишите лучше вашему мужу, что опасения, посреди которых вы живете, сделались для вас невыносимы-

ми, что скрытность, окружающая ваш брак, продолжительное отсутствие вашего мужа, резкий отказ с его стороны открыто признать вас женою навели на вас страшное сомнение. Потребуйте по крайней мере от него, если он не намерен объявить о нашем браке, чтобы все формальности брачного союза были выполнены законным образом.»

– Я пойду к нему! вскричала Нора с увлечением.

– Идти к нему, в его собственный дом! Какая сцена, какой скандал? Неужели вы думаете, что он когда нибудь простит это вам?

– По крайней мере, я буду умолять его придти сюда. Я не могу же написать ему такие ужасные слова.... не могу, решительно не могу.

Леви оставил ее и поспешил к двоим или троим из самых неумолимых кредиторов Одлея, которые совершенно готовы были действовать по убеждению Леви. Он уговорил их тотчас же окружит сельскую резиденцию Одлея полицейскими комиссарами. Таким образом, прежде чем Эджертон мог бы увидаться с Норой, ему пришлось бы сидеть в тюрьме. Сделав эти приготовления, Леви сам отправился к Одлею и приехал, по обыкновению, за час или за два до прибытия почты.

Письмо Норы также прибыло. Никогда еще важное чело Одлея не было так сумрачно, как по прочтении этого письма. Впрочем, с свойственною ему решимостью, он вздумал исполнить желание жены, позвонил в колокольчик и приказал

слугам приготовить себе дорожное платье и послать за почтовыми лошадьми.

При этом Леви отвел его в сторону, к окну.

– Посмотрите в окно. Видите ли вы этих людей? Это полицейские комиссары. Вот настоящая причина, почему я приехал к вам сегодня. Вы не можете оставить этого дома.

Эджертон затрепетал. – И это наивное, безразсудное письмо к подобное время, пробормотал он, ударив по странице, исполненной любви и опасения, своею дрожащею рукою

– Прежде она писала ко мне, продолжал Одлей, ходя по комнате неровными шагами: – спрашивая постоянно, когда наш брак будет объявлен, и я думал, что мои ответы в состоянии удовлетворить всякую благоразумную женщину. Но теперь, теперь еще хуже, теперь она сомневается в моей честности. Я, который принес ей столько жертв, – сомневаться, чтобы я, Одлей Эджертон, английский джентльмен, был столь низок, чтобы...

– Что? прервал Леви: – чтобы обмануть вашего друга л'Эстренджа? Неужели вы думаете, что она не знает этого?

– Сэр! воскликнул Эджертон, побледнев от негодования.

– Не горячитесь пожалуйста. В любви, как и на войне, все хорошо, что к стати, и верно придет время, когда сам л'Эстрендж поблагодарит вас, что вы избавили его от подобной *mésalliance*. Но вы, кажется, все еще сердитесь; пожалуйста простите меня.

Не без затруднения и употребляя в дело лесть и ласкатель-

ство, адвокат успел укротить бурю, которая разыгралась было в душе Одлея. И тут он выслушал, с притворным удивлением, содержание письма Норы.

– Недостойно меня было бы отвечать на это сплетение подозрений и сомнений, еще более недостойно было бы оправдываться в них, сказал Одлей. – Мне бы стоило только увидеться с нею, и одного взгляда, исполненного упрека, было бы довольно, но взять лист бумаги с тем, чтобы написать на нем, я не негодяй, и я тебе докажу это – о, никогда, никогда!

– Вы совершенно правы; но посмотрим хорошенько, нельзя ли найти средство согласить вашу гордость с чувствами вашей жены. Напишите только следующие слова: «все, что ты хочешь, чтобы я тебе рассказал или объяснил, я сообщил Леви, как своему адвокату, с тем, чтобы он передал все это тебе; ты же должна ему верить в этом случае, как мне самому.»

– Прекрасно! она стоит, чтобы ее наказать хорошенько; а я уверен, что подобный ответ уколёт ее более, чем пространственные объяснения. Ум мой слишком расстроен: а не могу теперь хорошенько понять все эти женские уловки и ужимки боязливости. Решено – я написал ей как вы сказали. Представьте ей все доказательства, каких она потребует, и скажите ей в заключение, что чрез шесть месяцев по большей мере, что бы ни случилось, она будет носить фамилию Эджертона, точно так же, как будет разделять с ним его участь.

– Отчего же непременно шесть месяцев?

– К тому времени Парламент будет распущен. Я или получу кресло, избавлюсь от долговой тюрьмы, открою поприще для своей деятельности, или...

– Или что?

– Вовсе откажусь от, честолюбивых замыслов. Я могу поступить в духовное звание.

– Как! сделаться деревенским пастором?

– И спокойно заниматься науками. Я уже испытал это в некоторой мере. Тогда Нора была возле меня. Объясните ей все это. Мне кажется, что это письмо уже слишком жестоко.... Впрочем, что за нерешимость!

Леви поспешно положил письмо в свой бумажник и, боясь, чтобы его не взяли назад, тотчас же простился. Из этого письма он сделал такое употребление, что на другой день после того, как он отдал его Норе, она бросила дом, соседей и убежала Бог весть куда. Когда Леви возвратился, исполненный надежды, которая подстрекала его к мщению, – надежды, что если он успеет любовь Норы к Одлею превратить в равнодушие и презрение, то ему удастся, может быть, стать на место этого разбитого и униженного кумира, – его удивление и досада при известии о бегстве Норы были неописанны. Он напрасно искал ее несколько дней. Он отправился к леди Джэн – Норы там не было. Он боялся также показаться и Эджертону, думая, что, может быть, Нора написала ему в этот промежуток времени. Однако, в самом деле Одлей не полу-

чил от жены ни строчки. Он был очень обеспокоен её продолжительным молчанием.

Наконец Леви сообщил Одлею известие о бегстве Норы. Он представил его в каком-то особенном виде. Она убежала – говорил он: – без сомнения, к комунибудь из своих родственников, чтобы посоветоваться с ними – как поступить при объявлении о своей свадьбе. Эта мысль превратила мгновенное негодование Одлея в положительную прочную ненависть.

– Пусть ее делает, что хочет, сказал он холодно, преодолевая волнение чувств, над которыми он всегда имел сильную власть.

Когда Леви удалился и Одлей, как человек в «железной маске», увидел себя совершенно одиноким, он стал живее и живее сознавать всю важность понесенной им потери Очаровательное, полное нежной страсти лицо Норы то-и-дело представлялось ему посреди опустелых комнат. её кроткий, мягкий характер, её душа, полная самоотвержения, возобновились в его памяти и устраняли всякую мысль о её проступке. Любовь, которая заснула было в нем под влиянием беспокоев и хлопот, но которая, несмотря на то, что не отличалась особенно изящным проявлением, все-таки была его господствующею страстью, снова овладела всеми его мыслями, наполняла для него всю атмосферу чудным, усладительным очарованием. Обманув бдительность полицейских комиссаров, Одлей ночью прибыл в Лондон. Но, посреди огор-



чений, и без того осаждавших его, Леви открыл ему, что его арестуют чрез несколько дней за долги. Положение Одлея было очень затруднительно. В это время лорд л'Эстрендж узнал от слуги Одлея то, чего сам Одлей не открыл бы ему ни за что в свете. И щедрый юноша, который был наследником независимого состояния, долженствовавшего перейти к нему по достижении им совершеннолетия, поспешил достать денег и выкупил все векселя своего друга. Благодеяние это было оказано прежде, чем Одлей узнал о нем и успел его предотвратить. С тех пор новое чувство, может быть, столь же томительное, как сознание о потере Нору, стало мучить этого человека, мечтавшего только о мирных занятиях наукою, и болезненное ощущение у себя в сердце, которое он стал замечать с некоторого времени, возобновлялось все с большею и большею силою.

Гэрлей с своей стороны тоже отыскивал Нору, не мог говорить ни о чем, кроме как о ней, и казался очень расстроенным и печальным. Цвет юности, украшавший его до тех пор, исчез. Мог ли Одлей решиться сказать ему: «та, которую ты ищешь, принадлежит другому; любовь уже не существует для тебя в жизни. В утешение же свое, узнай, что друг твой обманул тебя.» В состоянии ли был Одлей высказать все это? Он не отважился бы на подобное признание. Кто же после этого из них двоих страдал более?

Между тем настало время общих выборов, а о Норе не была никакого известия. Леви распрощался с Одлеем

и продолжал свои розыскания втихомолку. Одлею предлагали должность депутата за местечко Лэнсмер не только Гарлей, но и родственники его, в особенности графиня, которая втайне приписывала полезным советам Одлея внезапное бегство Норы. Эджертон принял сделанное ему предложение, не столько по убеждению собственного рассудка, сколько из желания получить, чрез связи в Парламенте, выгодное место и заплатить таким образом долги.

Между тем несчастная Нора обманутая хитростью и клеветами Леви, действуя по естественному влечению сердца, столь склонного к стыдливости, убежав из дому, который она, по её мнению, обесславилла, скрываясь от любовника, которого власть над собою она признавала столь сильною, что боялась, чтобы он не заставил ее примириться с своим позором. — Нора только и думала о том, чтобы скрыться от взоров Одлея. Она не хотела мтти к своим родственникам, например, к леди Джэн это значило бы дать ключ от своего убежища и возбудить преследования. Одна знатная дама, итальянка, ездила прежде к леди Джэн и всегда очень нравилась Норе; муж этой дамы, намереваясь отправиться тогда в Италию, искал для жены компаньонку; дама сказала об этом Норе, и леди Джэн убеждала в то время Нору принять предложение, избежать чрез то преследований Гарлея и отправиться на некоторый срок за границу. Нора отказалась в то время, потому что она только что увидела Одлея Эджертона. К этой-то даме явилась она теперь; предложе-

ние было возобновлено с прежнею любезностью и принято с торопливостью, свойственною отчаянию. Но в то время, как новая покровительница Норы разъезжала по соседним английским деревням прежде, чем окончательно отправилась на континент, Нора нашла себе пристанище в отдаленном предместьях города, избранном слугою прекрасной иностранки. Тогда же ей в первый раз удалось побывать в доме, в котором умер Борлей. Вслед за тем она оставила Англию с своею спутницею, без ведома леди Джэн, точно так же, как и своих родственников, Все это время она действовала под влиянием одной ужасной мысли – избежать позора.

Но когда моря понесли перед нею свои синие волны, когда сотни мил легли между нею и предметом её любви, когда новые образы стали представляться её взорам, когда лихорадка исчезла и рассудок стал вступать в свои права, сомнение стало преодолевать порывы отчаяния. Не была ли она слишком доверчива, слишком опрометчива? Что, если в самом деле она напрасно оскорбила Одлея? И, посреди этого ужасного раздумья, затрепетала в ней новая жизнь. Она готовилась сделаться матерью. При этой мысли её мощный дух склонился, последние порывы гордости утихли; ей хотелось возвратиться в Англию, увидеть Одлея, узнать от него самого истину, и если бы эта истина соответствовала вполне её ожиданиям, то ходатайствовать не о себе самой, а о ребенке изменника.

По случаю бывших тогда на материке Европы беспо-

койств, прошло довольно много времени прежде, чем ей удалось исполнить свое намерение. Наконец она возвратилась в Англию и отыскала ту подгородную хижину, в которой жила до отъезда из отечества. Ночью она пришла в дом Одлея в Лондоне: там нашла она только женщину, управлявшую хозяйством. Мистера Эджертона не было дома он отправился куда-то по делам выборов; мистер Леви, адвокат его, являлся ежедневно и навещался всякий раз о письмах, которые нужно было передать Одлею. Нора не хотела показаться Леви, не хотела писать письма, которые перешли бы чрез его руки. Только читая ежедневно газеты, старалась она узнать о местопребывании Одлея.

Однажды утром она прочитала следующее письмо:

«Граф и графиня Лэнсмер готовы принять в своем деревенском доме почетных гостей. В числе приглашенных будет мисс Лесли, которой богатство и красота произвели такое глубокое впечатление в большом свете. К сожалению многочисленных соискателей из среды нашей аристократии, мы слышали, что эта леди избрала себе в супруги мистера Одлея Эджертона. Этот джентльмен занимает теперь звание депутата местечка Лэнсмер. Успех его влияния более нежели вероятен, и, судя по отзыву значительного числа его почитателей, немногие из вновь избранных членов имеют столько надежд на занятие важнейших постов в министерствах. Этому молодому человеку, уважаемому всеми как за дарования, так и за душевные свойства, предсказывают блестящую ка-

рьеру, чему еще более будет содействовать то огромное состояние, которое он скоро получит, вступив в брак с богатою наследницей.»

Снова якорь спасения оторван, снова буря необузданно бушевала, снова звезды исчезали на темном небосклоне. Но ра снова подчиняется влиянию одной исключительной мысли, точно так же, как в то время, когда она убежала из дому своего жениха. Тогда она думала лишь о том, чтобы скрыться от изменника; теперь любимую мечтою её было увидаться с ним.

Когда этот зловещий газетный листок попался на глаза Норе, она последовала первому порыву своего страстного сердца; она сорвала обручальное кольцо у себя с пальца и заввернула его вместе с клочком газеты в письмо к Одлею, – в письмо, которое хотела наполнить выражениями гордости и презрения, но которое – увы! – носило лишь отпечаток ревности и любви. Она не успокоилась до тех пор, пока не отдала этого письма собственными руками на почту, адресовав его на имя Одлея, в дом лорда Лансмера. Лишь только письмо было отправлено, как раскаяние снова овладело ею. Что она сделала? Отказалась от прав происхождения за ребенка, которого она готовилась подарить свету, отказалась от последней веры в честь своего возлюбленного, лишилась лучшего, чем имя обладала в жизни – и из за чего? из за газетной статьи! Нет, нет! она пойдет сама к Лэнсмеру, к отцу своему, она увидится с Одлеем прежде, чем это письмо по-

падет к нему к руки. Едва только эта мысль пришла ей в голову, как она поспешила привести ее в исполнение. Она нашла свободное место в дилижансе, который ехал из Лондона несколькими часами прежде почты и должен был

Остановиться за несколько миль до имения Лэнсмер, это последнее расстояние она прошла пешком. Усталая, изнуренная, она достигла наконец родного крова и остановилась у калитки, потому что в маленьком садике перед домом она увидела своих родителей. Она слышала слабый говор их голосов, и ей представилась в эту минуту её изменившаяся участь, её страшная тайна. Как отвечать на вопрос: «Дочь, где твой муж и кто он?» Сердце у неё обливалось кровью; она спряталась за дерево, стараясь рассмотреть, что представляла ей картина жизни родной семьи, и расслушать разговор, который едва долетал до неё из сада.

– Так-то, старушка, сказал Джон Эвенель: – мне надо отправляться теперь, чтобы увидеться с тремя депутатами в Фиш-Дэне; я думаю, они уже уладили дело и я застаю их дома. Они расскажут нам, какой мы должны ожидать оппозиции; я знаю также, что старый Смайкз ушел в Лондон искать кандидата. Ужь не придется же лэнсмерским синим уступить какимнибудь лондонцам. Ха, ха, ха?

– Но ты, конечно, воротись до прихода Джэн и её мужа Марка. Я все не могу надивиться, каким образом она могла выйти замуж за простого плотника!

– Да, сказал Джон: – он теперь плотник; но у него есть

право на голос, а это возвышает наши семейные интересы. Если бы Дик не уехал в Америку, у нас было бы трое представителей. Но Марк, в самом деле, хороший синий. Пусть-ка попробуют лондонцы! жолтый из Лондона пойдет против милорда и синих. ха, ха!

– Но, Джон, этот мистер Эджертон ведь лондонец?

– Ты, значит, ни о чем не имеешь понятия, если говоришь подобные вещи. Мистер Эджертон кандидат синих, а синие принадлежат к деревенской партия: как же после этого он может быть лондонцем? Необыкновенно проникательный, благовоспитанный, красивый собою молодой человек и, что всего важнее, искренний друг милорда.

Мистрисс Эвенель вздохнула.

– Что ты вздыхаешь и качаешь головой?

– Я думала теперь о нашей бедной, милой Норе.

– Бог да благословит ее, произнес Джон, с сердечным увлечением.

Между сучьями старого, иссохшего дерева раздался шорох.

– Ха, ха! я сказал это так громко, что, кажется, напугал воронов.

– Как он любил ее! повторяла мистрисс Эвенель, в раздумьи. – Я уверена, что он любил ее; да и ничего нет в том удивительного, потому что, как ни говори, она смотрела настоящей леди, отчего же ей было не сделаться миледи?

– Он любил? Как тебе не стыдно повторять эти бабы

сплетни о милорде. А еще считаешься умной женщиной.

– Джон, Джон! Я знаю, что с моей Норой не приключится никакой беды. Она слишком непорочна и добра, в ней слишком много самолюбия, чтобы...

– Чтобы развесить уши перед какимнибудь лордом, – воображаю! сказал Джон:– хотя, прибавил он с расстановкою:– она могла бы выйти славной леди. Милорд молодой-то недавно взял меня за руку и спросил, не слыхал ли я чего о ней, то есть о мисс Эвенель? и тогда его бойкие глазки были так же полны слез, как... ну, как теперь твои глаза.

– Продолжай, Джон; что же?

– Только и всего. Миледи подошла к нам и отвела меня в сторону, чтобы потолковать о выборах; а между тем, пока я шел с нею, она мне и шепчет: «Не позволяйте – говорит – моему пылкому мальчику говорить о вашей прелестной дочери. Мы оба должны стараться, чтобы молодежь не довела нас до беды.» «До беды!» эту слово сначала было обидело меня, но миледи как-то умеет всегда выйти правой. Я решительно думаю, что Нора любила молодого милорда; но, по доброте своей, она избегала выказывать это... Что ты на это скажешь?

И голос отца впал в грустный тон.

– Я уверена, что она не полюбит человека прежде, чем выйдет за него замуж: это неприлично, Джон, сказала мистрисс Эвенель, несколько разгорячившись, хотя и с кротостью.



– Ха, ха! проговорил, рассмеявшись, Джон и взял жену за подбородок: – ты мне этого не говорила, когда я поцаловал тебя в первый раз под этим деревом... помнишь, здесь еще и жилья-то тогда не было.

– Полно, Джон, полно! – И престарелая супруга покраснела как молоденькая девушка.

– Вот еще! продолжал Джон, шутливым тоном:– я вовсе не вижу причины, почему нам, простым людям, следует казаться более строгими к себе, чем наши господа. Взять хоть в пример мисс Лесли, что выходит за мистера Эджертона: любо дорого взглянуть, как она им утешается, не может глаз с него свести, проказница. Что за чудо, как ваши вороны сегодня развозились!

– Их будет славная парочка, Джон. Я слышала, что у ней-то гибель денег. А когда свадьба?

– Говорят, что тотчас после выборов. Славная будет свадьбка! Не послать ли и за Норой посмотреть на наше веселье?

Из за ветвей старого дерева раздался слабый стон – один из тех страшных звуков человеческой агонии которые, услышав раз, невозможно забыть.

Старики посмотрели друг на друга не имея сил вымолвить слова. Они не могли приподняться со земли и смотрели по сторонам. Под сучьями дерева, у обнаженных корней его, они увидали неопределенно рисовавшуюся в тени человеческую фигуру. Джон отпер калитку и обошел кругом; старуш-

ка прислонилась к забору и стояла в молчании.

– Жена, жена! кричал Джон Эвенель, наклонясь к земле: – это наша дочь Нора! наша дочь, родная дочь!

И, пока он говорил это, из под ветвей дерева поднялась стая воронов, которые, вертясь и кружась в воздухе, звали своих птенцов.

–

Когда Нору положили на постель, мистрисс Эвенель попросила Джона выйти на минуту и дрожащими руками, не смея произнести ни слова, начала расстегивать Норе платье, под которым сердце её судорожно трепетало.

Джон вышел из комнаты в томительном беспокойстве, не умея дать себе отчета, видит ли он все это на яву, или во сне; голова его была тяжела и в ушах раздавался сильный шум. Вдруг жена его очутилась перед ним и сказала ему почти шепотом:

– Джон, беги за мистером Морганом.... торопись же. Помни только, что не надо никому говорить слова на дороге. Скорее, скорее!

– Разве она умирает?

– Не знаю. Ручаться нельзя, что не умрет, сказала мистрисс Эвенель сквозь зубы. – Но мистер Морган скромный человек и искренно предан нам.

– Настоящий синий! пробормотал бедный Джон, как в припадке умственного расстройства.

Он с усилием привстал, поглядел на жену, покачал голо-

вою и вышел.

Часа через два, маленькая крытая тележка остановилась у домика мистера Эвенеля; из тележки выпрыгнул бледнолицый и худощавый молодой человек, одетый по праздничному; его сопровождала женщина, с привлекательным, одушевленным личиком. Она подала ему на руки ребенка, которого молодой человеку принял с нежностью. Ребенок был, кажется, болен и начал кричать. Отец стал припевать, свистать и щолкать, с таким видом, как будто совершенно привык к подобного рода упражнениям.

– Он уймется, Марк; лишь только бы нам добрести до дому, сказала молодая женщина, вытаскивая из глубины тележки пироги и булки давишнего печенья.

– Не забудь цветов, которые дал нам садовник сквайра, сказал Марк-поэт.

Молодая женщина вынула между тем мешки и корзины, которые наполняли тележку, поправила свой клек, пригладила себе волосы и приготовилась идти.

– А тихо что-то; они видно не ожидают нас, Марк. Ступай, постучись. Верно они еще не ушли спать.

Марк постучался в дверь – нет ответа. Слабый свет, выходящий из окна, ложился на полу, но не было заметно в доме движения. Марк опять постучался. Кто-то, одетый в платье пастора, идя по направлению от Лэнсмер-парка, с противоположного конца дороги, остановился, услышав нетерпеливый удар Марка, и сказал учтиво:

– Не тот ли вы молодой человек, которого друг мой Джон Эвенель ожидал к себе сегодня утром?

– Точно так, мистер Дэль, сказала мистрисс Фэрфильд, с некоторою кокетливостью. – Вы ведь помните меня. Это мой милый и добрый супруг.

В это время человек, запыхавшийся от скорой ходьбы, с лицом, разгоревшимся от усталости, подошел к крыльцу дома.

– Мистер Морган! вскричал пастор с приятным удивлением. – Надеюсь, что здесь не случилось ничего печального.

– Фу, пропасть! это вы, мистер Дэль? Пойдемте, пойдемте скорее. Мне нужно вам передать два-три слова. Но что же это тут за народ еще переминается?

– Сэр, сказал Марк, выглянув из за двери: – мое имя Фэрфильд, а моя жена дочь мистера Эвенеля.

– Ах, Джэн, и её малютка тоже! Славно, славно! Пойдемте же скорее; только будьте осторожнее и не увлекайтесь слишком. Можете, чай, без шума, а? Тихонько, тихонько!

Общество все вошло; дверь затворилась. Месяц поднялся на небе и уныло освещал уединенный домик, заснувшие цветы в полисаднике и развесистое дерево с растрескавшеюся корою.

–

Весь этот день Гарлей л'Эстрендж был более обыкновенного уныл и мрачен. Воспоминание о времени, неразлучном с именем Норы, увеличило лишь грусть, которая тяготила

его душу с тех пор, как он упустил из виду Нору и потерял следы её. Одлей, увлекаемый нежностью к своему другу и чувством раскаяния в своих поступках, уговорил л'Эстренджа оставить вечером парк и отправиться за несколько миль, с целью употребить будто бы содействие Гарлея для выполнения какого-то важного проекта по делу выборов. Перемена места должна была благодетельно развлечь его посреди его мечтаний. Сам Гарлей был рад избавиться от гостей в доме Лэнсмеров. Он тотчас же согласился идти. Он не хотел возвратиться к ночи. Депутаты, которых он собирался посетить, жили в дальнем друг от друга расстоянии, так что он мог пробыть день или два вне дома. Когда Гарлей вышел, Эджертон сам впал в глубокую задумчивость. Носились слухи о какой-то неожиданной оппозиции. Приверженцы его находились в беспокойстве и страхе. Ясно было видно, что если интересы Лэнсмеров подвергнутся нападению, то они окажутся слабейшими, чем предполагал граф.

Эджертон мог потерпеть неудачу на выборах. В таком случае, что приходилось ему делать? Как обеспечить существование жены, на возвращение которой он все еще рассчитывал, и брак с которою ему следовало наконец признать во всеуслышание? «Спокойствия, одного спокойствия желаю я!» думал про себя этот честолюбивый человек. Но пока Одлей приготавливал себя таким образом к самому невыгодному исходу своей карьеры, он все-таки направлял всю свою энергию к более и более блестящим целям, и теперь он сидел

в комнате, перечитывал избирательные реэстры, рассуждал о личных свойствах, мнениях и частных интересах каждого из избирателей, пока не стемнело совершенно. Когда он воротился к себе в комнату, ставни у окон не были закрыты, и он стоял несколько минут в немом созерцании месяца. При этом зрелище, мысль о Норе, оставившей и забывшей его, овладела им с новою силою. Он отвернулся со вздохом, бросился не раздеваясь на постель и погасил свечку. Но свет луны не хотел как будто оставить комнату. Он не давал Одлею некоторое время заснуть, пока он не повернулся к стене и не принудил себя забыться. Но и во сне он был опять с Норою – опять в скромном домике, который они некогда занимали. Никогда еще во сне Нора не представлялась ему так живо и правдоподобно, она смотрела пристально на него, положив ему на плечо руку по своему обыкновению, и повторяла кротким, мягким голосом: «Разве я виновата в том, что должна была уехать? Прости, прости меня!» И вот ему кажется, что он отвечает: «Никогда не оставляй меня более – никогда, никогда!», что он нагибается, чтобы напечатлеть поцалуй на этих непорочных устах, которые протягивались к нему с такою нежною предусмотрительностью. И вот он слышит стук, точно стук молотка, мерный, но тихий, осторожный, как будто робкий. Он проснулся и все-таки слышал стук. Стучали к нему в дверь. Он приподнялся с кровати в беспокойстве. Луна угасла на небе – светало.

– Кто там? вскричал он с беспокойством.

Тихий шепот отвечал ему из за двери:

– Не бойтесь, это я; оденьтесь скорее; мне нужно вас видеть.

Эджертон узнал голос леди Лэнсмер и, поспешно одевшись, отворил дверь. Леди Лэнсмер стояла за дверью с ужасною бледностью на лице. Она положила себе палец на уста и дала ему знак за собою следовать. Он механически повиновался. Они вошли в её спальню, и графиня затворила за собою дверь:

Тогда, положив к нему на плечо руку, она проговорила прерывистым и тревожным голосом:

– О, мистер Эджертон, вы должны оказать мне услугу и вместе с тем услугу Гарлею: спасите моего Гарлея; ступайте к нему, убедите его воротиться сюда. Смотрите за ним... забудьте ваши выборы... вам придется потерять только год или два из вашей жизни... вам представится еще много случаев... окажите... эту услугу вашему другу.

– Говорите, в чем дело. Нет пожертвования, которого бы я не сделал для Гарлея!

– Благодарю вас; я была в этом уверена. Так ступайте же скорее к Гарлею, удалите его из Лэнсмера под каким бы то ни было предлогом. О, как-то он перенесет это, как-то оправится от подобного удара. О, мой сын, мой милый сын!

– Успокойтесь! объяснитесь скорее! В чем дело? о каком ударе говорите вы?

– Ах, вы ведь в самом деле ничего не знаете, ничего еще

не слышали. Нора Эвенель лежит там, в доме отца своего, — лежит мертвая!

Одлей отступил назад, приложил обе руки к сердцу и потом упал на колени, точно пораженный громом.

— Моя нареченная, моя жена! простонал он. — Умерла! этого быть не может!

Леди Лэнсмер была так удивлена этим восклицанием, так поражена признанием совершенно неожиданным, что не находила слов утешать или просить объяснений и, не быв вовсе приготовлена к порывам горести человека, которого привыкла видеть сохраняющим присутствие духа и холодным, она не могла надивиться, как живо чувствовал он всю тяжесть своей потери.

Наконец он преодолел свои страдания, и спокойно выслушал, изредка лишь переводя дыхание, рассказ леди Лэнсмер.

Одна из её родственниц, гостившая в то время у неё, за час или за два, вдруг почувствовала себя очень дурно; весь дом был встревожен, графиня проснулась, и мистер Морган был призван, как постоянный доктор этого семейства. От него леди Лэнсмер узнала, что Нора Эвенел возвратилась в родительский дом накануне поздно вечером, почувствовала припадку сильнейшей горячки и умерла через несколько часов. Одлей выслушал это и пошел к двери, по-прежнему сохраняя молчание.

Дели Лэнсмер взяла его за руку.

— Куда вы идете? Ах, могу ли я теперь просить вас спа-



сти моего сына, теперь, когда вы сами еще более страдаете? Вы знаете, как он вспыльчив: что с ним будет, когда он узнает, что вы были его соперником, мужем Норы, – вы, которому он так вверялся? Что выйдет из всего этого? Я трепещу заранее!

– Не бойтесь.... я еще сохраняю присутствие духа! пустите меня... Я скоро ворочусь... и тогда (губы его дрожали)... тогда... мы поговорим о Гарлее.

Эджертон механически направил шаги через парк к дому Джона Эвенеля. Он подошел к двери; она была отворена; он стал звать – ответа не было; он поднялся по узкой лестнице и вступил в комнату покойницы. У дальнего конца кровати сидел Джон Эвенель; но он казался погруженным в глубокий, томительный сон. В самом деле, он поражен был на несколько часов парализован, – впрочем, не подозревал этого, точно там же, как не замечали этого и другие. Он был оставлен, чтобы охранять дом, – старик, сам ощущавший над собою действие леденящей смерти. Одлей подкрался к постели; он приподнял покрывало, которое брошено было на бледное лицо покойницы. Кто в состоянии описать, что происходило с ним в ту минуту, когда он стоял тут? Но когда он вышел из комнаты и тихонько спустился с лестницы, он оставил за собою любовь и молодость, все надежды и радости семейной жизни оставил навсегда, навсегда.

Нора умерла в припадке беспамятства, произведя на свет

ребенка. В предсмертном бреду она повторяла слова: «стыд, позор, презрение»; на руке её не было видно обручального кольца. Несмотря на нею силу горести, первую мыслью мистрисс Эвенель было снасти доброе имя покойной дочери, сохранит незапятнанною честь оставшихся в живых Эвенелей. Не будучи в состоянии плакать, от слишком тяжелого прилива отчаяния, она думала, придумала и составляла план для дальнейших действий.

Джэн Ферфильд должна была взять к себе ребенка тотчас же, не дожидаясь рассвета, и воспитывать его вместе с своим. Марк должен был отправиться с нею, Потому что мистрисс Эвенель боялась от него нескромности в припадке столь сильного негодования. Сама мистрисс Эвенель намеревалась сделать с ними часть пути, с целью напомнить им о необходимости строго хранить тайну. Но они не могли же возвратиться в Гэзельден с другим ребенком; Джэн должна была ехать в такое место, где бы ее никто не знал; обе ребенка стали считаться близнецами. И хотя мистрисс Эвенель была от природы сострадательной и любящей женщиной, хотя она как мать привязывались к детям, но за всем тем с некоторым неудовольствием смотрела она на ребенка Джэн и думала про себя: «Мы избавились бы всех хлопот, если бы тут был только один. Ребенок Норы мог бы тогда всю жизнь считаться ребенком Джэн.»

Гарлей очень удивился увидав Эджертона; еще более удивился он, когда Эджертон сказал ему, что он ожидает себе

сильной оппозиции, что он не надеется иметь успеха в отношении Лэнсмера и потому намерен отказаться вовсе от своих притязаний. Он написал об этом графу; но графиня знала истинную причину его отказа и сообщила ее графу, так что, как мы видели уже в начале нашего повествования, дело Эджертон несколько не потеряло, когда капитан Дашнор появился в местечке; а благодаря настояниям и ораторским способностям мистера Гэзельдена, Эджертон приобрел перевес двух голосов – Джона Эвенеля и Марка Ферфильда. Хотя первый и выехал не задолго из городка по совету медиков, и хотя, с другой стороны, болезнь, которая поразила его и сделала его смиренным как дитя, – все-таки он сильно интересовался тем, как будут действовать синие, и готов был встать с постели, чтобы замолвить словечко в защиту своих убеждений. В Лэнсмер-парке Одлею подали последнее письмо Норы. Почтальон принес его туда за час или за два до того, как он вышел. Обручальное кольцо упало на пол и подкатилось к ногам Одлея. И эти пылкие, страстные упреки, весь жар оскорбленной любви объясняли ему тайну возвращения Норы, её несправедливые подозрения, причину её внезапной смерти, которую он приписывал горячке, произведенной раздражительностью, беспокойством и усталостью. Нора во все не упоминала о ребенке, который уже готов был родиться, и не упоминала, может быть, с намерением. Получив это письмо, Эджертон не имел уже сил оставаться в деревенской глуши в уединении или в сообществе Гарлея. Он сказал на-

отрез, что ему нужно ехать в Лондон, убедил Гарлея сопутствовать ему, и там, узнав от леди Лэнсмер, что похороны кончились, он открыл Гарлею страшную истину, что Норы нет уже на свете. Действие, произведенное этим известием на здоровье и душевное расположение молодого человека, было еще сильнее, чем ожидал Одлей, который, от глубокой сосредоточенной горести, перешел к томительному чувству раскаяния.

– Если бы не моя безразсудная страсть, отвечал великодушный Гарлей: – если бы не мои искательства, оставила ли бы она, свой мирный приют, оставила ли бы она свой родной город? Притом же борьба между чувством долга и любовью ко мне! Я это вполне понимаю! Но для меня она все-таки будет жить, как будто никогда не умирала!

– О, нет! воскликнул Эджерстон, готовясь делать полное признание. – Поверь мне, она никогда не любила тебя. Да, да! будь уверен! Она любила другого, убежала с ним, может быть, вышла за него замуж.

– Замолчи! вскричал Гарлей. в сильном порыве страсти:– ты убиваешь ее для меня дважды, говоря это! Я еще мог бы мечтать, что она живет здесь, в моем сердце, представлять себе, что она любила меня, что ничьи еще уста не прикасались к ней, не подарившей меня поцалуем. Но если ты заставляешь меня сомневаться в этом.... ты, ты....

Страдания молодого человека были слишком сильны для его организма; он упал на руки к Одлею; прилив крови

к сердцу лишил его чувств. В продолжение нескольких дней он находился в опасности и все это время не спускал глаз с Одлея.

– Скажи мне, повторял он: – скажи мне, что ты не убежден в том, что ты говорил. Скажи мне, что ты не имел основания утверждать, будто она любила другого, принадлежала другому.

– Успокойся, успокойся: я, в самом деле, говорил не по убеждению. Я думал этим отвлечь твои мысли от одного и того же предмета. Какое безразсудство, в самом деле! повторял несчастный друг.

И с этой минуты Одлей отказался вовсе от мысли оправдаться перед самим собою; он чувствовал, что бесстыдно лжет – он, высокомерный джентльмен.

Пока Гарлей не успел еще избавиться от своей болезни, мистер Дэль прибыл в полдень, с тем, чтобы видеться с Эджертоном. Пастор, обещая мистериу Эвенелю сохранить тайну, сделал это с условием, чтобы подобная скрытность не послужила к унижению прав сына Норы. Что, если они в самом деле были женаты? Не следовало ли наконец узнать имя отца ребенка? Современем отец ему понадобится. Мистрисс Эвенель должна была подчиниться подобным убеждениям. Впрочем, она уговаривала мистера Дэля не делать поисков. Что могло из них выйти? Если Нора действительно была обвенчана, то муж её, без сомнения, сам объявил бы свое имя; если ее обольстили и бросили, то открытие отца ребенка,

о существовании которого свет еще ничего не знал, только оскорбило бы память покойницы Подобные доводы заставляли доброго пастора колебаться. Но Джэн Ферфильд имела какое-то инстинктивное убеждение в невинности своей сестры, и все её подозрения были направлены на лорда л'Эстренджа. Точно того же мнения была и мистрисс Эвенель, хотя она и не признавалась в этом. В справедливости этих предположений мистер Дэль был совершенно уверен: восторженность молодого лорда, опасения леди Лэнсмер были слишком очевидны человеку, который часто посещал Парк; внезапный отъезд Гарлея перед самым возвращением Норы к родителям, неожиданное уклонение Эджертона от представительства за местечко, прежде чем оппозиция была объявлена, с целью не разлучаться с своим другом в самый день смерти Норы, – все подтверждало мысль, что Гарлей был или обольстителем, или супругом. Может быть, тут был брак, совершонный за границей, так как Гарлею недоставало нескольких годов до совершеннолетия. Пастор Дэль желал во всяком случае увидаться с лордом л'Эстренджен и попытаться узнать истину. Узнав о болезни Гарлея, мистер Дэль решился увериться, в какой мере может он проникнуть в эту тайну чрез разговор с Эджертоном. В огромной репутации, которою пользовался этот человек, и в странном эксцентрическом характере, соединенном в нем с чувством правоты и истины, заключалась причина, почему пастор решился на неловкую попытку. Он увиделся с Эджертоном, как будто

с целью дипломатическою – выведать от нового представителя Лэнсмеров, какой выгоды для себя может ожидать семейство избирателей, которые дали ему большинство двух голосов.

Он начал с того, что представил ему в трогательном виде, как бедный Джон Эвенель, удрученный горестью о потере дочери и болезнию, поразившею его организм и расстроившею его умственные способности, несмотря на то, встал с постели, лишь бы сдержать данное слово. Чувства, выказанные при этом Одлеем, показались ему столь глубокими и естественными, что пастор шел в своих объяснениях все далее и далее. Он выразил догадку, что Нора была обманута, выразил надежду, что она, может быть, была тайно обвенчана, и тогда Одлей, по собственной ему способности владеть собою, показал только должную степень участия, не более. Мистер Дэль открыл ему наконец, что у Норы был ребенок.

– Не продолжайте далее своих розысканий! сказал светский человек. – Уважайте чувства и требования мистрисс Эвенель; они совершенно понятны. Предоставьте остальное мне. В моем положении – я разумею свое положение в Лондоне – я могу скорее и легче узнать истину, чем вы, не производя никакого скандала. Если мне удастся оправдать эту... эту... эту несчастную (голос его дрожал) эту несчастную мать, или оставшееся дитя, то, рано или поздно, вы услышите обо мне; если же нет, то похороните эту тайну на том месте, где она теперь кроется, – в могиле, которую еще не успе-

ла оскорбить молва. Но ребенок – дайте мне адрес, где его найти – на случай, если я нападую на след отца и успею тронуть его сердце....

– Ах, мистер Эджертон, не позволите ли вы мне высказать догадку, где вы можете найти его и узнать кто он такой?

– Сэр!

– Не сердитесь; впрочем, я в самом деле не имею права спрашивать вас о том, что вам доверял друг наш. Я знаю, как вы, знатные люди, щекотливы в отношениях ваших друг к другу. Нет.... нет.... еще раз прошу извинения. Я все предоставляю вашим попечениям. В таком случае я еще услышу об вас.

– А если нет, то это значит, что все поиски напрасны. Друг мой, одно могу сказать вам, что лорд л'Эстрендж невинен в этом деле. Я.... я.... (голос изменял ему) я в этом уверен.

Пастор вздохнул, но не отвечал ни слова. Он дал адрес, которого требовал представитель Лэнсмеров, отправился назад и никогда уже не слышал более обе Одлее Эджертоне. Мистер Дэль убедился, что человек, который выказал в разговоре с ним столько участия к чужому горю, без сомнения, не имел удачи в действиях своих на совесть Гарлея, или, может быть, почел за лучшее оставить имя Норы в покое, а дитя её вверить попечению родственников и милосердию судьбы.

Гарлей л'Эстрендж, едва поправившись в своем здоровья, поспешил присоединиться к английским войскам на континенте, с целью найти там смерть, которая редко приходит,



когда ее зовешь. Тотчас по отъезде Гарлея, Эджертон прибыл в деревню, указанную ему мистером Дэлем, желая отыскать ребенка Норы. Но здесь он впал в ошибку, которая имела значительное влияние на его жизнь и на будущую судьбу Леонарда. Мистрисс Ферфильд получила от матери своей приказание жить под другим именем в деревне, в которую она удалилась с двумя детьми, так что её отношения к семейству Эвенелей, оставаясь в тайне, не могли подать повода к розысканиям и праздным слухам. Грусть и тревога, которые она испытала в последнее время, лишили ее способности кормить грудью младенца. Она отдала ребенка Норы в дом одного фермера, жившего в недалеком расстоянии от деревни, и переехала из своего прежнего жительство, чтобы быть ближе к детям. её собственный сын был так слаб и болен, что его нельзя было поручить попечениям чужих людей. Он, впрочем, скоро умер. Марк с женой не могли видеть могилу своего детища: они поспешили возвратиться в Гэзелден и взяли Леонарда с собою. С этих пор Леонард считался сыном, которого они потеряли.

Когда Эджертон приехал в деревню, ему указали хижину, в которой женщина, воспитывавшая ребенка, провела последние дни; ему объявили, что она не задолго уехала, похоронив свое дитя. Эджертон не стал более спрашивать, и таким образом он ничего не узнал о ребенке, отданном на руки к кормилице. Он тихими шагами отправился на кладбище и несколько минут безмолвно смотрел на свежую могилу;

потом, приложив руку к сердцу, которому запрещены были все сильные ощущения, он снова сел в дилижанс и возвратился в Лондон. Теперь и последний повод к объявлению о своем браке для него не существовал. Имя Норы избежало упреков.

Одлей механически продолжал свою жизнь – старался обратить свои попытки к возвышенным интересам честолюбивых людей. Бедность все еще лежала на нем тяжелым гнетом. Денежный долг Гарлею по-прежнему оскорблял его чувство чести. Он не видел другого средства поправить свое состояние и заплатить долг своему другу, как помощью богатой женитьбы. Умерев для любви, он смотрел на эту перспективу сначала с отвращением, потом с бесстрастным равнодушием.

Брак с богатой девицей, со всеми благоприятными последствиями промотавшегося джентльмена, был заключен. Эджертон был нежным и достойным мужем в глазах света; жена любила его до безумия. Это общая участь людей подобных Одлею – быть любимыми слишком горячо, свыше собственных достоинств.

У смертного одра жены сердце его затронуто было её грустным упреком. «Я не успела достигнуть того, чтобы заставить тебя любить меня!» сказала ему жена, прощаясь с ним на веки. «Правда!» отвечал Одлей, с навернувшимися на глазах слезами. «Природа дала мне маленькую частицу того, что женщины, подобные тебе, зовут любовью,

и эту маленькую частицу я успел уже истратить.» Тогда он рассказал ей, с благоразумною умеренностью, часть истории своей жизни: это утешило умирающую. Когда она узнала, что он любил, и что он в состоянии грустить о потере любимой женщины, она увидала в нем признаки человеческого сердца, которого прежде не находила в нем. Она умерла, простив ему его равнодушие и благословляя его. Одлей был очень поражен этою новою потерей. Он дал себе слово не жениться уже более. Он вздумал было сделать молодого Рандаля Лесли своим наследником. Но, увидев итонского воспитанника, он не возымел к нему особенной привязанности, хотя и ценил его обширные способности. Он ограничился тем, что стал покровительствовать Рандалю, как дальнему родственнику своей покойной жены. Отличаясь постоянною беспечною в денежных делах, будучи щедрым и великодушным не из личного побуждения делать добро другим, но по свойственному вельможе сознанию собственного долга и преимуществ своего положения, Одлей делал самое прихотливое употребление из огромного богатства, которым владел. Болезненные припадки сердца его обратились в органический недуг. Конечно, он мог еще прожить долго и умереть потом от другой, совершенно естественной причины, но развитию болезни способствовали душевные беспокойства и волнения, которым он подвергался. Единственный доктор, которому он открыл то, что желал бы утаить от всего света (потому что честолюбивые люди желают, чтобы их

считали бессмертными), сказал ему откровенно, что очень невероятно, чтобы, при всех тревогах и трудах политической карьеры, он мог достигнуть даже зрелых лет. Таким образом, не видя перед собой сына, которому бы он мог предоставить свое состояние, имея в числе ближайших родственников людей большею частью очень богатых, Эджертон предался своему врожденному пренебрежению к деньгам. Он не занимался собственными делами, предоставляя их попечению Леви. Ростовщик продолжал сохранять решительное влияние на властолюбивого лорда. Он знал тайну Одлея и, следовательно, мог открыть ее Гарлею. А единственная нежная, восприимчивая сторона натуры государственного человека, единственный уголок его организма, еще не погруженный в Стикс прозаической жизни, делающий человека недоступным для любви, была полная раскаяния привязанность его к школьному товарищу, которого он обманул.

## Глава СХІ

Из повествования, предложенного любознательности читателя, Леонард мог почерпнуть только несвязные отрывки. Он был в состоянии лишь понять, что несчастная мать его была соединена неразрывными узами с человеком, которого она любила чрезвычайно. Леонард догадывался, что брак матери его не был облечен в требуемые законом формы; что она странствовала по свету с горечью отчаяния и возвратилась домой, не зная раскаяния и надежды, она подозревала, что любовник её готов был жениться на другой. Здесь рукопись теряла уже связный характер, оканчиваясь следами горьких слез предсмертной тоски. Грустную кончину Норы, её возвращение под родительский кров, – все это Леонард узнал еще прежде, из рассказа доктора Моргана.

Но даже самое имя мнимого мужа Норы все еще оставалось неизвестным. Об этом человеке Леонард не мог составить себе никакой определенной идеи, кроме того, что он очевидно был выше Норы по происхождению. В первом поклоннике-отроке можно было без труда узнать Гарлея л'Эстренджа. Если это так, Леонард найдет случай узнать все, что для него оставалось еще темным. С этим намерением он оставил коттэдж, решившись возвратиться для присутствования при похоронах своего покойного друга. Мистрисс Гудайер охотно, позволила ему взять с собою бумаги, которые

он читал, и присоединила к ним пакет, который был прислан с континента на имя мистрисс Бертрам. Находясь под влиянием грустных впечатлений, навеянных на него чтением, Леонард отправился в Лондон пешком и пошел к отелю Гарлея. В ту, самую минуту, когда он переходил Бонд-Стрит, какой-то джентльмен, в сопровождении барона Леви, заведший, сколько можно было судить по его разгоревшемуся лицу и громкому, неровному голосу, какой-то неприятный разговор с фешенебельным ростовщиком, вдруг заметил Леонарда и, оставив тотчас Леви, схватил молодого человека да руку.

– Извините меня, сэр, сказал джентльмен, глядя Леонарду прямо в лицо: – но если мои зоркие глаза меня не обманывают, что случается, впрочем, очень редко, я вижу перед собою моего племянника, с которым поступил, может стать, немного круто, но который все-таки не имеет никакого права вовсе аабыть Ричарда Эвенеля.

– Милый дядюшка! вскричал Леонард, – вот приятная неожиданность, и в такую именно минуту, когда мне необходимо радостное ощущение. Нет, я никогда не забывал вашей доброты в отношении ко мне и всегда сожалел только о нашей размолвке.

– Славно сказал! дай-ка мне свою руку. Позволь посмотреть на себя – настоящий джентльмен, смею уверить, и какой красивый. Впрочем, все Эвенели таковы. Прощайте, барон Леви. Не дожидайтесь меня; я еще увижусь с вами.

Дик Эвенель взял племянника за руку и старался как будто позабыть заботы, волновавшие его, доказывая участие к судьбе постороннего человека, усиленное в этом случае истданною привязанностью, которую он питал к Леонарду. Но любознательность его не была вполне удовлетворена, потому что, прежде чем Леонард успел преодолеть природное отвращение говорить о своих успехах в литературе, мысли Дика стремились опять к его сопернику в Скрюстоуне, к мечте о возможности получить перевес в числе голосов, – к векселям, которые Леви готовился передать ему с целью доставить его в возможность идти наперекор подавляющей силе более известного, чем он сам, капиталиста, и к тому «отъявленному плуту», как называл он Леви, который старался доставить два кресла за Лэнсмер: одно – для Рандаля Лесли, другое – для богатого набоба, только что попавшего в число его клиентов. Таким образом Дик скоро прервал нерешительные признания Леонарда восклицаниями, очень мало относившимися к предмету рассказа и скорее выражавшими его личные ощущения, чем сочувствие или доброжелательство к племяннику

– Хорошо, хорошо, сказал Дик:– я прослушаю твою историю в другом месте. Я вижу, что ты удачно обделал свои делишки: этого и будет на первый раз. Как ни рассуждай, а ты должен теперь серьёзно подумать о самом себе. Я в маленьком недоумении, сэр. Скрюстоун не тот уже добродушный Скрюстоун, который ты знавал прежде: он весь передурчил-

ся, перековеркался, превратился в демоническое чудовищное существо – капиталиста, который, помощью своих машин, в состоянии перенести весь Ниагарский водопад к себе в гостиную. И как будто этого еще было мало для того, чтобы одурачить такого простяка, как я: он намерен, я слышал, подарить свету совершенно не к стати новое изобретение, которое заставит машины работать вдвое более, вдвое меньшим количеством рук. Вот какими путями эти бесчувственные негодяи поддевают нашего брата. Но уж и я же подпущу ему фугу.... не я буду, если говорю неправду.

Здесь Дик высказал целую тучу нареканий против всех жителей безмозглого околодка вообще и против капиталиста-чудовища в Скрюстоуне, в особенности.

Леонард очень удивился, потому что Дик назвал то самое имя, которое законтраكتовало в свою пользу все усовершенствования, сделанные Леонардом в паровых машинах.

– Постойте, дядюшка, постойте! Что же, если этот человек в самом деле купил бы проект, о котором вы говорите, это было бы противно вашим выгодам?

– Противно выгодам, сэр! это просто раззорит меня, то есть, разумеется, если предприятие ему удастся; но я скорее думаю, что все это чистые пустяки.

– Нет, не думаю, дядюшка! я готов ручаться в том.

– Ты! ты разве видел мельницу?

– Какже! я сам изобрел ее.

Дик тотчас отдернул свою руку с руки Леонарда.



– Змеиное отродье, сказал он с негодованием:– так это ты, которого я пригрел на груди своей, ты собираешься раззорить Ричарда Эвенеля?

– Не раззорит, а спасти его. Пойдемте со мною в Сити и взгляните на модель мою. Если вы ее одобрите, патент будет принадлежать вам.

– Славно! знай наших! лихо! кричал Дик, делая сильные движения: – валяй же вперед, скорее. Я куплю твой патент, то есть, если он стоит дороже выеденного яйца. Что касается до денег....

– Денег! И не говорите о них!

– Ладно и то, сказал Дик с мягкосердечием: – я сам теперь не намерен говорить общими местами. Что касается до этого черномазого барона Леви, дай мне сначала отделаться от его жидовских объятий; впрочем, иди знай, показывай дорогу: нечего терять нам время.

Один взгляд на машину, изобретенную Леонардом, дал понять Ричарду Эвенелю, какую пользу она могла бы принести ему. Получив в свое владение право на патент, которого прямые последствия, состоявшие в увеличении силы и сокращении труда, были очевидны для каждого практического человека, Эвенель почувствовал, что он должен достать необходимую сумму денег для выполнения предприятия, для изготовления машин, уплаты векселей, данных Лени, и для открытой борьбы с самыми чудовищными капиталистами. При этом нужно было только принять в свое сооб-

щество какогонибудь другого капиталиста; кого же? всякий товарищ лучше Леви. Счастливая мысль в это время посетила его.

Дик назначил Леонарду час, когда сойтись вместе у маклера, чтобы условиться насчет нормальной передачи привилегии «на кондициях, выгодных для обеих сторон», бросился в Сити отыскивать капиталиста, который мог бы выхватить его из когтей Леви и избавить от машин соперника его в Скрюстоуне. «Муллинс был бы вполне подходящий, еслиб мне удалось подцепить его, сказал Дик. – Слышали вы о Муллинсе? – О, это удивительный человек! Взгляните только на его гвозди – никогда не ломаются! Он составил себе по крайней мере капитал в три миллиона чрез эти гвозди, сэр. А в этой старой, изношенной стране нужно иметь аршинный склад, чтобы бороться с таким негодяем, как Леви. Прощай... прощайте, прощайте, мой милый племянничек!»

—

Гарлей л'Эстрендж сидел один в своей комнате. Он только что читал перед этим одного из своих любимых классических писателей, и рука его лежала еще на книге. Со времени возвращения Гарлея в Англию произошла заметная перемена в выражении лица его, в манерах и привычках его гибкой, юношеской натуры. Уста его сжимались с какою-то решительною твердостью; на челе его напечатлелся более сформированный характер. Место женственной, ленивой грации в движениях заступила необыкновенная энергия, столь же

покойная и сосредоточенная, сколько и та, которую отличался сам Одлей Эджертон. В самом деле, если бы мы заглянули в сердца Гарлея, мы увидали бы, что первое время он делал много усилий, чтобы покорить свои страсти и укротить свой непреклонный дух; мы увидали бы, что здесь весь человек направлял себя во имя сознания собственного долга. «Нет – говорил он сам с собою – я не буду ни о чем думать, кроме действительной, практической жизни! Да я что за наслаждение, если бы даже я не дал слова другой, что за наслаждение доставила бы мне эта черноглазая итальянка? Не есть ли все это игра ребяческого воображения! Я опять получаю способность любить, – я, который в продолжение целой весны жизни, преклонялся с какой-то непонятною верностью пред памятью о милой для меня могиле. Перестань, Гарлей л'Эстрендж, поступай наконец как должно поступать человеку, который живет посреди людей. Не мечтай более о страсти. Забудь мнимые идеалы. Ты не поэт: к чему же воображать, что жизнь сама по себе есть поэма?...»

Дверь отворилась, и австрийский принц, который, по убеждению Гарлея, принимал участие в деле отца Виоланты, вошел в комнату на правах близкого с хозяином человека.

– Доставили вы документы, о которых говорили мне? Через несколько дней я должен воротиться в Вену. И если вы не снабдите меня очевидными доказательствами давнишней измены Пешьеры, или более непреложными доводами

к оправданию его благородного родственника, то я не вижу другого средства к возвращению Риккабокка в отечество, кроме ненавистного для него замужства дочери с его злейшим врагом.

– Увы! сказал Гарлей: – до сих пор все поиски были напрасны, и я не знаю, как поступать, чтобы не возбуждать деятельности Пешьеры и не заставляя его противодействовать нам. Моему несчастному другу, по всему видно, придется довольствоваться изгнанием. Отдать Виоланту графу было бы слишком бесславно. Но я сам скоро женюсь; у меня будет своя семья, свой дом, который я могу предложить отцу и дочери, без опасения их тем унижить.

– Но не станет ли будущая леди л'Эстреидж ревновать своего супруга к такой прелестной гостье, какова, по вашим рассказам, синьорина? Да и вы сами не подвергнетесь ли при этом опасности, мой несчастный друг?

– Полноте! отвечал Гарлей, слегка покраснев:– моя прелестная гостья найдет во мне второго отца – вот и все. Прощу вас, не шутите столь важную вещь, как честь.

При этом отворялась дверь и вошел Леонард.

– Добро пожаловать! вскричал Гарлей, обрадовавшись возможности не оставаться долее наедине с принцем, взгляд которого, казалось, проникал его: – добро пожаловать! Это один из наших благородных друзей, который принимает участие в судьбе Риккабокка, и который мог бы оказать ему большие услуги, если бы удалось отыскать документы, о ко-

торых мы говорили.

– Они здесь, сказал простодушно Леонадр: – все ли тут, что вам нужно?

Гарлей торопливо схватил пакет, который был послан из Италии на имя мнимой мистрисс Бертрам, и, опершись головою на руку, спешил обнять содержание бумаг.

– Bravo! вскричал он наконец, с лицом, сиявшим радостью. – Посмотрите, посмотрите, принц, здесь собственно-ручные письма Пешьера к жене его родственника, признание его в том, что он называет своими патриотическими замыслами, и его убеждения, чтобы она увлекла своего мужа к участию в них. Посмотрите, какое сильное влияние он имеет на женщину, которую некогда любил; посмотрите, как искусно он отражает все её доводы; посмотрите, как долго друг ваш противился обольщениям, пока наконец жена и родственник не стали действовать на него соединенными силами.

– Этого довольно, совершенно довольно! вскричал принц, пробегая глазами те места писем Пешьера, на которые Гарлей указывал ему.

– Нет, этого мало, повторял Гарлей, продолжая читать письма и постепенно воспаляясь. – Вот где главное обвинение! О негодный, презренный человек! Здесь, после побега нашего друга, заключается его признание в преступной страсти; здесь он клянется, что нарочно строил козни против своего благодетеля с целию обесславить дом, в котором

некогда он нашел себе приют. Ах! посмотрите, как она отвечает. Благодарение Небу, что она открыла наконец глаза и еще при жизни своей начала презирать своего поклонника. Она была невинна! Я это всегда говорил. Мать Виоланты не нанесла бесчестия дочери. Бедная, мне жаль ее. Как полагаете вы, обратит ли ваш император внимание на это обстоятельство?

– Я довольно хорошо знаю нашего императора, отвечал принц с жаром: – чтобы заранее уверить вас, что когда эти бумаги сделаются, ему известны, то гибель Пешьера будет решена, а вашему другу возвратятся все права его. Вы еще доживете до той поры, когда дочь его, которой вы только что собирались приготовить уголок в своем сердце, сделается богатейшею наследницею в Италии, – невестою такого претендента, который достоинствами своими едва ли будет уступать владетельным особам.

– Ах, сказал Гарлей, с какою-то боязливою поспешностью и заметно побледнев:– ах, я не увижу ее в этом положении! Я никогда уж более не поеду в Италию, никогда не встречу с нею, если она оставит эту страну холодных забот «прозаической деятельности,» никогда, никогда!

Он поник на несколько минут головою и потом скорыми шагами подошел к Леонарду.

– Счастливый поэт! Для вас идеал еще не потерян, оказал он с грустною улыбкой. – Вы не зависите от обыденной, пошлой жизни.

– Вы не сказали бы может быть, этого, милорд, отвечал Леонард печальным голосом: – если бы знали, как то, что вы называете «идеалом», бессильно заменить для поэта потерю привязанности одной из гениальных личностей. Независимость от действительной жизни! Где она? Здесь у меня есть исповедь истинно-поэтической души, которую советую вам прочесть надосуге; когда вы прочитаете ее, потрудитесь сказать, будете ли вы желать сделаться поэтом!

Говоря это, он подал дневник Норы.

– Положите это туда, на мою конторку, Леонард; я прочитаю со временем эту рукопись.

– Прочитайте со вниманием; тут есть много такого, что связано с моею судьбой, – многое, что остается для меня тайной, на что вы, вероятно, сумеете объяснить.

– Я! вскричал Гарвей. – Он шел к конторке, в один из ящиков которой Леонард бережно положил бумаги, не в эту самую минуту дверь с шумом отворилась, и в комнату стремительно вбежал Джакомо, в сопровождении леди Лэнсмер.

– О, Боже ней, Боже мой! кричал Джакомо по итальянски: – синьорина, синьорина! Виоланта!

– Что с нею? Матушка, матушка! что с нею? Говорите, говорите скорее!

– Она ушла, оставила наш дом!

– Ушла! нет, нет! кричал Джакомо. – Ее обманули, увезли насильно. Граф! граф! О, мой добрый господин, спасайте ее, как вы некогда спасли её отца!

– Пстой! вскричал Гарлей. – Дайте мне вашу руку, матушка. Вторичный подобный удар в жизни выше сил человеческих, – по крайней мере выше моих сил. Так, так! Теперь мне легче! Благодарю вас, матушка! Посторонитесь, дайте мне подышать свежим воздухом. Значит граф восторжествовал, и Виоланта убежала с ним! Объясните мне это хорошенько: я в состоянии перенести все, что хотите!



## Глава СХІІ

Теперь нам должно возвратиться назад в нашем повествовании и передать читателю обстоятельства побега Виоланты.

Припомним, что Пешьера, испуганный неожиданным появлением лорда л'Эстренджа, имел время сказать лил несколько слов молодой итальянке, успел лишь выразить намерение снова увидеться с нею, с тем, чтобы окончательно решиться насчет хода дела. Но тогда, на другой день, он так же тихо и осторожно, как и прежде, вошел в сад, Виоланта не появлялась. Просидев около дома до тех пор, пока совершенно стемнело, граф удалился с негодованием, сознаваясь, что все его ухищрения не успели привлечь на его сторону сердце и воображение, избранной им жертвы. Он начал придумывать и разбирать, вместе с Леви, все возможные крутые и насильственные средства, которые могли только представиться его смелому и плодовитому воображению. Но Леви с такою силою восставав против всякой попытки похитить Виоланту из дома лорда Лэнсмера, в таком комическом свете представил все подобные ночные похождения, имеющие девизом веревочную лестницу, что граф немедленно оставил мысль о романтическом подвиге, не употребительном в нашей рассудительной столице, — подвиге, который, без сомнения, окончился бы тем, что графа взяли бы в полицию с похвальною целию посадить его потом в Испра-

вительный Дом.

Сам Леви не мог, впрочем, присоветовать ничего применимого к делу, и Рандаль Лесли был призван тогда на совещание.

Рандаль кусал себе губы, в припадке бессильного негодования, как человек, который мечтает о часе своего будущего освобождения и который преклоняет между тем свое гордое чело перед необходимостью унижаться, с каким-то безотчетным, механическим спокойствием. Необыкновенное превосходство глубокомысленного интригана над дерзостью Пешьера и над практичностью Леви выказалось с полным блеском.

– Ваша сестра, сказал Рандаль Пешьера:– должна быть действующим лицом в первой и самой трудной части вашего предприятия. Виоланту нельзя насильно увести из дома Лэнсмеров: ее нужно убедить оставить этот дом добровольно. Здесь необходимо содействие женщины. Женщина сумеет лучше обмануть женщину.

– Прекрасно сказано! отвечал граф. – Впрочем, хотя её брак с этим молодым Гэзельденом находится в зависимости от моей свадьбы с прекрасною родственницею, но она сделалась до того равнодушною к моим выгодам, что я не могу рассчитывать на её помощь. Нельзя не заметить, хотя она прежде очень желала замужства, но теперь, кажется, вовсе не думает о том, так что я теряю на нее свои влияния.

– Не увидала ли она кого нибудь в последнее время, кто ей

больше пришелся по сердцу, чем бедный Франк?

– Я подозреваю это, но не придумаю, кем она может быть теперь занята.... разве ненавистным для вас л'Эстренджем....

– Впрочем, все равно. Вы можете и не вступить с ней в переговоры; будьте только готовы оставить Англию, как вы и прежде предполагали, когда Виоланта будет в ваших руках.

– Все уже теперь готово, сказал граф – Леви взялся купить мне у одного из своих клиентов прекрасное парусное судно. Я нанял человек двадцать отчаянных генуэзцев, корсиканцев, сардинцев, которые, не будучи разборчивыми патриотами, держат себя как истинные космополиты, предлагая свои услуги всякому, у кого есть золото. Лишь только бы выйти в море, и когда я пристану в берегу, Виоланта, опираясь на мою руку, будет уже называться графиней Пешьера.

– Но нельзя же схватить Виоланту, сказал с неудовольствием Рандаль, стараясь, впрочем, скрыть отвращение, которое внушал ему дерзкий цинизм графа:– нельзя схватить Виоланту и уместить на корабль среди белого дня и из такого многолюдного квартала, в каком живет ваша сестра.

– Я и об этом подумал, возразил гран. – Мои агенты отыскали мне дом возле самой реки: этот дом так же надежен для нашего предприятия, как какаянибудь Венецианская темница.

– Это уже не мое дело, отвечал Рандаль, с некоторою торопливостью! – вы расскажите госпоже Негра, где взять

Виоланту, моя обязанность ограничивается изобретательностью, составляющею дело рассудка; что же касается насилия, то это не по моей части. Я сейчас отправлюсь к вашей сестре, на которую надеюсь иметь более сильное влияние, чем вы сами. Между тем, в то самое время, как Виоланта скроется и как подозрение падет на вас, старайтесь постоянно являться в обществе, в сопровождении ваших друзей. Покупайте, барон, корабль, и приготовляйте его к отплытию. Я извещу вас, когда можно будет приступить к делу. Сегодня у меня бездна хлопот.... Надеюсь вполне успеть в вашем предприятии.

Когда Рандаль вышел из комнаты, Леви последовал за ним.

– Что вы задумали сделать, будет сделано успешно, без всякого сомнения, сказал ростовщик, взяв Рандалья за руку: – но, смотрите, чтобы, вдаваясь в подобное предприятие, не повредить своей репутации. Я многого ожидаю от вас для общественной жизни; а в общественной жизни репутация нужна, по крайней мере на столько, на сколько нужно понятие о чести.

– Я стану жертвовать своею репутацией, и для какогонибудь графа Пешьера! сказал Рандаль, с изумлением открыв глаза:– я? да за кого вы меня принимаете после этого?

Барон опустил его руку.

«Этот молодой человек далеко пойдет», сказал он самому себе, возвратясь и графу.

Проницательность, свойственная Рандалю, давно уже подсказала ему, что в характере Беатриче и её понятиях произошёл такой странный и внезапный переворот, который мог быть лишь делом сильной страсти; какое-то недовольство, или, скорее, негодование заставляло ее теперь принять предложение молодого и ветренного родственника. Вместо холодного равнодушия, с которым в прежнее время она стала бы смотреть на брак, могущий избавить ее от положения, уязвлявшего её гордость, теперь она с заметным отвращением уклонялась от обещания, купленного Франком так дорого. Искушения, которые граф мог бы противопоставить ей, с тем, чтобы завлечь ее в свое предприятие, оскорблявшее её более благородную натуру, не могли иметь успеха. Приданое теряло свою цену, потому что оно ускоряло бы только свадьбу, которой Беатриче избегала. Рандаль понимал, что иначе нельзя рассчитывать на её помощь, как действуя на страсть, которая была бы в состоянии лишать ее рассудка. Он остановился на мысли возбудить в ней ревность. Он все еще сомневался, был ли Гарлей предметом её любви; но во всяком случае это было очень вероятно. Если это так, то он шепнет Беатриче: «Виоланта ваша соперница. Если Виоланты не будет здесь, ваша красота вступит во все права свои; в противном случае вы, как итальянка, можете по крайней мере отомстить за себя». С подобными мыслями Рандаль вошел в дом г-жи Негра. Он нашел ее в расположении духа, которое вполне благоприятствовало его намерению.

ям. Начав разговор о Гарлее и заметив при этом, что характер его вообще не изменился, он мало по малу вызывал наружу тайну Беатриче.

– Я должен вам сказать, произнес Рандаль, с важностью:– что если тот, к которому вы питаете нежную дружбу, посещает дом лорда Лэнсмера, то вы имеете полную причину бояться за себя и желать успеха плану вашего брата, призвавшему его в Англию, потому что в доме лорда Лэнсмера живет теперь прелестнейшая девушка; я должен вам признаться, что эта та самая особа, на которой гран Пешьера намерен жениться.

Пока Рандаль говорил таким образом, чело Беатриче мрачно хмурилось и глаза её горели негодованием.

Виоланта! Не повторял ли Леонард этого имени с таким восторгом Не протекло ли его детство на её главах? Кто кроме Виоланты мог быть настоящей соперницей? Отрывистые восклицания Беатриче, после минутного молчания, открыли Рандалью, что он успел в своем намерении. Частью стараясь превратить ревность её в положительное мщение, частью лаская ее надеждою, что если Виоланта будет немедленно удалена из Англии, если она сделается женою Пешьера, то не может быть, чтобы Леонард остался равнодушным к прелестям Беатриче, – Рандаль уверял ее в то же время, что он постарается охранить честь ее от притязаний Франка Гэзельдена и получить от брата удовлетворение долга, который сначала заставил ее обещать руку этому доверчивому

претенденту. Одним словом, он расстался с маркизой тогда лишь, когда она не только обещала сделать все, что предлагал Рандаль, но настоятельно требовала, чтобы он ускорял исполнением своих намерений. Рандаль несколько времени молча и в рассудке ходил по улицам, распутывая в уме своем петли этой сложной и изысканной ткани действий. И здесь его дарования навели его на светлую, блестящую мысль.

В течение того времени, которое должно было пройти от побега Виоланты до отправления её из Англии, было необходимо для отклонения подозрений от Пешьера (которого могли бы даже задержать) представить какуюнибудь правдоподобную причину добровольного отъезда девушки из дома Лэнсмеров; это было тем более необходимо, что сам Рандаль непременно хотел очистить себя от нареканий в участи в планах графа, если бы даже этот последний и был признан главным действователем. В этих видах Рандаль немедленно отправился в Норвуд и увиделся с Риккабокка. Представляя себя очень взволнованным и огорченным, он сообщил изгнаннику, что имеет основательные причины думать, что Пешьера успел тайным образом увидаться с Виолантой и даже произвел очень выгодное для себя впечатление на её сердце. Говоря как будто в припадке ревности, он умолял Риккабокка поддержать открытое домогательство его, Рандаля, руки Виоланты и убедить ее согласиться на безотлагательный брак с ним.

Бедный итальянец был совершенно расстроен известием,

сообщенным ему. Суеверный страх, который он питал к своему даровитому врагу, в соединении с убеждением в склонности женщин уступать наружным преимуществам мужчин, не только сделали его доверчивым, но даже преувеличили в его глазах опасность, на которую намекал Рандаль. Мысль о женитьбе дочери с Рандаем, которого в последнее время он принимал так холодно, теперь улыбалась ему. Но первым движением его было желание отправиться самому или послать за Виолантой и перевезти ее к себе в дом. Против это одного Рандаль восстал.

– К несчастью, сказал он:– я уверен, что Пешьера знает о вашем местопребывании, и, следовательно, дочь ваша будет здесь скорее подвергаться опасности, чем там, где она теперь.

– Но какже, чорт возьми, вы сами говорите, что этот человек видел ее там, несмотря на все обещания лэди Лэнсмер и меры предосторожности, принятые Гарлеем?

– Совершенно справедливо. Пешьера сам признавался мне в этом, хотя и не совсем открыто. Впрочем, я пользуюсь достаточно его доверенностью, чтобы отклонить его попытки в этом роде на несколько дней. Между тем мы можем отыскать более надежный дом чем ваш теперешний, и тогда будет самое удобное время взять вашу дочь. Если вы согласитесь притом дать мне письмо, которым будете убеждать ее принять меня, как будущего мужа, то это разом отвлечет её мысли от графа; я буду иметь возможность, по приему, ко-



торый она мне сделает, открыть, в какой мере граф преувеличил влияние, произведенное им на нее. Вы можете дать мне также письмо к леди Лэнсмер, чтобы предупредить вашу дочь насчет переезда её сюда. О, сэръ, не старайтесь меня разуверить. Будьте снисходительны к моим опасениям. Поверьте, что я действую в видах вашей же пользы. Не соединены ли мои интересы в этом случае с вашими?

Философ желал бы посоветоваться с женою; но ему со-вестно было признаться в своей слабости. В это время он нечаянно вспомнил о Гарлее и сказал, отдавая Рандалью письма, которые тот требовал:

– Вот.... я надеюсь, что мы успеем выиграть время, а я между тем пошлю к лорду л'Эстренджу и поговорю с ним.

– Мой благородный друг, отвечал Рандаль, с мрачным видом: – позвольте мне просить вас не стараться видеться с лордом л'Эстренжем по крайней мере до тех пор, пока я не успею объяснить с вашею дочерью.... до тех пор, пока она не будет находиться под родительским кровом.

– Почему же?

– Потому, что я думаю, что вы, вероятно, поступаете чистосердечно, удостоивая меня избрать своим зятем, и потому, что я уверен, что лорд л'Эстрендж с неудовольствием узнает о вашей решимости в мою пользу. Не прав ли я?

Риккабокка молчал.

– И хотя его убеждения были бы ничтожны для человека столь правдивого и рассудительного, как вы, они могут

иметь более значительное действие на неопытный ум вашей дочери. Подумайте только, что чем более она будет восстановлена против меня, тем более она будет доступна замыслам Пешьера. Не говорите же, умоляя вас, с лордом л'Эстренджем об этом до тех пор, пока Виоланта согласится отдать мне свою руку, или до тех пор по крайней мере, когда она будет под вашим личным надзором; в противном случае, возьмите назад свое письмо, оно не принесет ни малейшей пользы.

— Может быть, что вы правы. Вероятно, лорд л'Эстрендж предубежден против вас, или, лучше сказать, он более думает о том, чем я был, нежели о том, что я теперь.

— Кто может мыслить иначе, глядя на вас? Я прощаю ему это от всего сердца.

Поцаловав руку, которую изгнанник, но чувству скромности, старался отнять у него, Рандаль положил письма в карман и, как будто под влиянием самых сильных противоположных ощущений, выбежал из дома.

—

Гэлен и Виоланта разговаривали друг с другом, и Гэлен, следуя внушениям своего покровителя, намекнула, хотя и вскользь, о данном ею слове выйти замуж за Гарлея. Как ни была приготовлена Виоланта в подобному признанию, как ни предвидела она такую развязку, как ни была уверена, что любимая мечта её детства навсегда покинула ее, но положительная истина, лишённая всяких прикрас, — исти-

на, высказанная самою Гэлен, породила в ней ту тоску, которая вполне доказывает, что невозможно *приготовить* человеческое сердце к окончательному приговору, который уничтожает все его будущее. Она не могла скрыть своего волнения от неопытной Гэлен; горечь, глубоко запавшая в сердце, редко может притворяться. Спустя несколько минут она вышла из комнаты и, забыв о Пешьера, обо всем, что напоминало ей ожидавшую ее опасность, она оставила дом и в раздумьи направила шаги свои посреди лишенных листьев деревьев. От времени до времени она останавливалась, от времени до времени повторяла одни и те же слова:

– Если бы еще Гэлен любила его, я не имела бы права жаловаться; но она его не любит: иначе могла ли бы она говорить мне об этом так спокойно, могли ли бы глаза её сохранять это грустное выражение! Ах, как она холодна, как неспособна любить!

Рандаль Лесли позвонил в это время у калитки, спросил про Виоланту и, завидев ее издали, подошел к ней с открытым и смелым видом.

– У меня есть к вам письмо от вашего батюшки, синьорина, сказал Рандаль. – Но прежде, нежели я отдам его вам, необходимо войти в некоторые объяснения. Удостоите меня выслушать.

Виоланта нетерпеливо покачала головою и протянула руку, чтобы взять письмо.

Рандаль наблюдал за её движениями своим проницатель-

ным, холодным, испытующим взором, но не отдавал письма и продолжал, после некоторого молчания:

– Я знаю, что вы рождены для блестящей будущности, и единственное извинение, которое я могу представить, обращаясь к вам теперь, состоит в том, что права рождения для вас потеряны, если вы не будете иметь духу соединить судьбу свою с судьбою человека, который лишил вашего отца всего состояния, если вы не согласитесь на брак, который отец ваш будет считать позором для вас самих и для себя. Синьорина, я осмелился полюбить вас; но я не отважился бы признаться в этой любви, если бы ваш батюшка не ободрил меня согласием на мое предложение.

Виоланта обратила к говорившему лицо свое, на котором красноречиво отражалось гордое изумление. Рандаль встретил взгляд её без смущения. Он продолжал, без особенного жара, тоном человека, который рассуждает спокойно, но который чувствует не особенно живо:

– Человек, о котором я упомянул, преследует вас. Я имею причины думать, что он уже успел видаться и говорить с вами.... А! ваше лицо доказывает это; вы видели значит Пешьера? Таким образом дом этот менее безопасен, чем полагал ваш отец. Впрочем, для вас теперь один дом будет вполне надежен: это дом мужа. Я предлагаю вам мое имя – имя джентльмена – мое состояние, которое незначительно, участие в моих надеждах на будущее, которые довольно обширны. Теперь я отдаю вам письмо вашего батюшки и ожи-

даю ответа.

Рандаль поклонился, отдал письмо Виоланте и отступил на несколько шагов.

Он вовсе не имел в предмете возбудить к себе расположение в Виоланте, но, скорее, отвращение или страх, – мы узнаем впоследствии, с какою целию. Таким образом он стоял теперь поодаль, приняв вид уверенного в себе равнодушие, пока девушка читала следующие строки:

«Дитя мое, прими мистера Лесли благосклонно. Он получил от меня согласие искать руки твоей. Обстоятельства, которых теперь нет нужды открывать тебе, делают необходимым для моего спокойствия и благополучия, чтобы брак ваш был совершен безотлагательно. Одним словом, я дал обещание мистеру Лесли, и я с уверенностью предоставляю моей дочери выполнить обещание её попечительного и нежного отца.»

Письмо выпало из руки Виоланты. Рандаль подошел и подал его ей. Взоры их встретились. Виоланта оправилась.

– Я не могу выйти за вас, сказала она, сухо.

– В самом деле? отвечал Рандаль, тоном равнодушие. – Это потому, что мы не можете любить меня?

– Да.

– Я и не ожидал от вас любви, но все-таки не оставляю своего намерения. Я обещал вашему батюшке, что не отступлю пред вашим первым, необдуманном отказом.

– Я сейчас поеду к батюшке.

– Разве он этого требует в письме своем? Посмотрите хорошенько. Извините меня, но я заранее предвидел ваше высокомерие; у меня есть другое письмо от вашего отца – к леди Лэнсмер, в котором он просит ее не советовать вам ездить к нему (на случай, если бы вам вздумалось это) до тех пор, пока он не приедет сам или не пришлет за вами. Он поступит так, если вы оправдаете данное им обещание.

– Как вы смеете говорить мне это и рассчитывать на мою любовь?

Рандаль иронически улыбнулся.

– Я рассчитываю только за брак с вами. Любовь есть такой предмет, о котором мне нужно было говорить гораздо прежде или придется говорить впоследствии. Я дам вам несколько времени для размышления. В следующий приход мой нужно будет назначить день нашей свадьбы.

– Никогда!

– Стало быть, вы будете единственной дочерью из вашего рода, которая не повинуется отцу своему; вы к этому присоедините еще то преступление, что окажете послушание ему в минуту горя, изгнания и падения.

Виоланта ломала себе руки.

– Неужели тут нет никакого выбора, никакого средства к спасению?..

– По крайней мере я не вижу средства ни к тому, ни к другому. Выслушайте меня. Я, может быть, и люблю вас; но согласитесь, что меня не ожидает особенное благополучие

от женитьбы с девушкой, которая ко мне равнодушна; честолюбие мое не видит приманки в особе, которая еще беднее, чем я сам. Я женюсь единственно с целью выполнить обещание, данное вашему отцу, и спасти вас от злодея, которого вы должны более ненавидеть, чем меня, и от которого не защитят вас никакие стены, не оградят никакие законы. Только одна особа, может быть, была бы в состоянии избавить вас от несчастья, которого вы ожидаете в союзе со мною; эта особа могла бы разрушить планы врага вашего отца, возвратить отцу вашему права его и все почести; это....

– Лорд л'Эстрендж?

– Лорд л'Эстрендж! повторил Рандаль, волна и наблюдая за движением её бледных губ и переменами, происходившими в лице её: – лорд л'Эстрендж! почему же именно он? почему вы назвали его?

Виоланта потупила взор.

– Он спас уже однажды отца моего, произнесла она с чувством.

– И после того хлопотал, суетился, обещал Бог знает что, а между тем, к какому результату привели все его хлопоты? Особу о которой я говорю, ваш отец не согласился бы увидеть, не поверил бы ей, если бы даже с нею увидался, между тем она великодушна, благодарна, в состоянии сочувствовать вам обоим. Это сестра врага вашего отца – маркиза ди-Негра. Я уверен, что она имеет большое влияние за своего брата, что она слишком хорошо посвящена в его тайны, что-

бы страхом заставить его отказаться от всех видов за вас; но, впрочем, к чему я распространяюсь о ней?

– Нет, нет! вскричала Виоланта. – Скажите мне, где она живет: я желаю с нею видеться.

– Извините: а не могу исполнит вашего желания; самолюбие этой женщины задето теперь несчастным предубеждением отца вашего против неё. Теперь слишком поздно рассчитывать на её содействие. Вы отворачиваетесь от меня? мое присутствие вам ненавистно? Я избавлю вас от него теперь. Но приятно или неприятно это вам, а вам придется современем переносить его в продолжение всей вашей жизни.

Рандаль опять поклонился по всем правилам этикета, отправился к дому и спросил леди Лэнсмер. Графиня была дома. Рандаль отдал записку Риккабокка, которая была очень коротка, заключая в себе лишь опасения, что Пешьера открыл убежище изгнанника, и просьбы, чтобы леди Лэнсмер удержала у себя Виоланту, даже против её желания, впредь до особого распоряжения со стороны отца по этому предмету.

– Примите все меры предосторожности, графиня, умоляю вас. – Как ни безразсудны намерения Пешьера, но где есть сильная воля, там и путь к успеху.

Сказав это, Рандаль распрощался с леди Лэнсмер, отправился к госпоже Негра и, пробыв с всю час, поехал в Ламмер.

–

– Рандаль, сказал сквайр, который смотрел очень изну-



ренным и болезненным, но который не хотел признаться, что очень грустит и беспокоится о своем непослушном сыне: – Рандаль, тебе нечего делать в Лондоне; не можешь ли ты переехать ко мне жить у меня и заняться хозяйством? Я помню, что ты показал очень основательные сведения насчет мелкого сеяния.

– Дорогой мой сэр, я не премину приехать к вам, лишь только кончатся общие выборы.

– А что тебе за надобность в этих общих выборах?

– Мистер Эджертон желает, чтоб я поступил в Парламент; потому действия для этой цели теперь в ходу.

Сквайр поникнул головою.

– Я не разделяю политических убеждений моего полу-брата.

– Я буду совершенно независим от них, вскричал Рандаль, с увлечением. – Эта-то независимость и есть то положение, которое привлекает меня.

– Приятно слышать; а если ты вступишь в Парламент, ты, верно, не поворишься спиною к своей отчизне?

– Поворотись спиною к родине! воскликнул Рандаль тоном благочестивого ужаса. – О, сэр, я еще не такой изверг!

– Вот настоящее выражение для названия подобного человека, проговорил доверчивый сквайр: – это изверги в самом деле! Это значит повернуться спиною к своей матери! Родина для ник та же мать.

– Для тех, кто живет её силами, без сомнения, мать, от-

вечал Рандаль, с важным видом. – И хотя мой отец скорее умирает с гододоу, чем живет по милости этой матери, хотя Руд-Голл не похож на Гезельден, все-таки я....

– Поудержи свой язык, прервал сквайр: – мне нужно поговорит с тобою. Твоя бабушка была из рода Гезельденов.

– её портрет висит в зале Руда. Все говорят, что я очень похож на нее.

– В самом деле! сказал сквайр: – Гезельдены большею частью были крепкого сложения и с здоровым румянцем на щеках, чего у тебя вовсе нет. Но ты, конечно, не виноват в том. Мы все таковы, какими созданы. Впрочем, поговорим о деле. Я намерен изменить свое духовное завещание (с продолжительным вздохом). Тут предстоит адвокатам заняться серьезно.

– Прошу вас.... прошу вас, сэ, не говорите мне о подобных вещах. Д не могу даже подумат о возможности....

– Моей смерти! Ха, ха! Какой вздор. Да мой собственный сын рассчитывает на мою кончину и чуть ли не обозначал самый день её в своих векселях. Ха, ха, ха! Вполне образованный сынок!

– Бедный Франк! не заставляйте его страдать за минутное забвение своих обязанностей в отношении к вам. Когда он женится на бедной иностранке и сам будет отцом, он...

– Отцом! вскричал сквайр, с негодованием:– отцом какойнибудь гурьбы хилых ребятишек! Никакая басурманская тварь не ляжет в моем фамильном склепе в Гезельдене. Нет,

нет! Не не смотри же на меня с таким упреком.... я не хочу лишать Франка наследства.

– Еще бы! заметил Рандаль, с судорожным движением губ, спорившим с радостною улыбкою, которую он старался выказать.

– Нет.... я предоставляю ему в пожизненное пользование большую часть моего имения; но если он женится на иностранке, то дети не будут иметь права на наследство.... в таком случае оя перейдет к тебе. Но.... (не прерывай меня пожалуйста) ко Франк, кажется, проживет дальше, чем ты; значит тебе не за что очень благодарить меня. Впрочем, я не ограничусь и в отношении к тебе одним лишь обещанием. Каких мыслей ты насчет женитьбы?

– Я совершенно готов следовать вашим указаниям, отвечал Рандаль, с покорностью.

– Прекрасно. Тут есть одна мисс – богатая наследница, которая тебе была бы очень под стать. Её земля смежна с землею Руда. Я когда-то метил на нее для моего болвана-сына. Но теперь я думаю устроить твою женитьбу с этою девушкою. Имение её заложено; старик Стикторайтс очень будет доволен выплатить долг. Я переведу залог на Гэзельден и очищу ему имение. Ты понимаешь? Приезжай же поскорее и старайся понравиться леди.

Рандаль выразил благодарность свою самым красноречивым образом; но при этом он дал заметить очень тонко, что если сквайр столь добр, что намерен отделить ему часть

своего денежного капитала (конечно, без ущерба для Франка), по-моему, гораздо полезнее бы было воротить некоторые земляные участки, принадлежавшие прежде Руду, чем получить всю дачу Стикторайтса, хотя бы и свободную от всех других залогов, кроме прекрасной наследницы.

Сквайр выслушал Рандаля с благосклонным вниманием. Подобное желание он, как помещик, вполне понимал и не мог не сочувствовать ему. Он обещал подумать об этом предмете и сообразить средства свои к выполнению желания Рандаля.

Рандаль отправился теперь к Эджертону. Государственный человек сидел у себя в гостиной, поверяя вместе с своим управителем денежные счета и отдавая необходимые приказания для приведения своего хозяйства в размеры хозяйства частного человека.

– Я, может быть, уеду за границу если не успею на выборах, сказал Эджертон, удостоивая слугу объяснением причин, почему он старается сократить своя расходы: – если же я и не понесу неудачи, то все-таки, состоя вне правительственной службы, буду жить скорее как человек частный.

– Смею ли беспокоить вас сэръ? сказал Рандаль, входя.

– Войдите: я уже окончил.

Управитель удалился, удивленный и недовольный намерениями своего господина; он также решил отойти от своего места, но только не с цельюю копить деньги, а с цельюю тратить накопленное.

– Я уладил дело в нашем комитете, сказал Эджертон: – и с согласия лорда Лэнсмера вы будете представителем местечка так же, как и я сам. Если же со мною случится чтонибудь особенное, если каким бы то ни было образом я оставлю свое место, то вы можете занять его: это, вероятно, последует в скором времени. Постарайтесь сблизиться с избирателями, ищите возможности говорить с трибуны за нас обоих. Я буду заниматься исполнением моей прямой обязанности и предоставлю дело выборов вам. Не благодарите: вы знаете, как я не люблю, когда меня благодарят. Прощайте.

– Я никогда еще не стоял так близко к счастью и власти, повторял Рандаль, собираясь лечь в постель. А всем этим я обязав своим познаниям – познанию людей, жизни, всего, чему мы можем научиться из книг....

–

– Вы знаете маркизу ди-Негра? спросила Виоланта, в этот вечер, у Гарлея, который провел весь день у своего отца.

– Немного. Почему вы спрашиваете об этом?

– Это моя тайна, отвечала Виоланта, стараясь улыбнуться. – Скажите, лучше ли она своего брата, по-вашему мнению?

– Без сомнения. Мне кажется, что у неё доброе сердце и что в ней вообще много прекрасных свойств.

– Не можете ли вы убедить батюшку повидаться с нею? не можете ли вы посоветовать ему это сделать?

– Каждое желание ваше для меня закон, отвечал Гарлей

полушутливым тоном. – Вы хотите, чтобы ваш батюшка по-  
видался с нею? Я попробую уговорить его. Теперь в награду  
откройте мне вашу тайну. Какая цель у вас в этом случае?

– Возможность возвратиться в Италию. Я не забочусь  
о почестях, блестящем положении в обществе; даже батюш-  
ка перестал уже сожалеть о потере того и другого. Но отече-  
ство, родина – о, неужели я не увижу более родной стороны!  
Неужели мне придется умереть здесь!

– Умереть! Дитя, вы так еще недавно спорхнули с неба,  
что говорите о возвращении туда, минуя долгий путь печал-  
ли, страданий и дряхлости! Я, я все думал, что вы доволь-  
ны Англией. Почему вы так спешите ее оставить? Виоланта,  
вы несправедливы к нам, несправедливы к Гэлен, которая  
так искренно любит вас.

## Глава СХІІІ

На другой день утром, когда еще Виоланта была в своей комнате, к ней принесли с почты письмо. Она открыла его и прочла по итальянски следующее:

«Я очень желала бы видеть вас, но я не могу открыто явиться в дом, в котором вы живете. Может быть, я была бы в состоянии уладить некоторые семейные несогласия, отворотить неприятности, которым подвергался ваш отец. Может быть, в моей власти оказать вам очень важную услугу. Но для этого все-таки нужно, чтобы мы увиделись и поговорили откровенно. Между тем время проходит, а всякое замедление может вредить успеху. Не придете ли, в час пополудни, на поляну, возле маленькой калитки, ведущей из вашего сада? Я буду одна; а вам нечего бояться встречи с женщиной и притом родственницей. Ах, я очень желаю видиться с вами! Приходите, прошу вас.

«Беатриче».

Прочитав письмо, Виоланта немного колебалась. Не задолго до назначенного часа, она, никем незамеченная, прошла между деревьями, отворила маленькую калитку и вскоре очутилась за уединенной поляне. Через несколько минут она услышала легкие женские шаги; подошедшая к ней Беатриче, откинув покрывало, сказала с какою-то льстивою затаенною энергиею:

– Эта вы! Мне правду оказали. Красавица! красавица! Ах, какая молодость, какая свежесть!

Голос её отзывался грустью, и Виоланта, удивленная тоном начатого разговора и покраснев от неожиданных комплиментов, некоторое время молчала; потом сказала с расстановкою.

– Вы, кажется, маркиза ди-Негра? Я слышала о вас довольно много хорошего, чтобы ввериться вам.

– Обо мне! от кого? спросила Беатриче, почти с грубостью:– От мистера Лесли, и – и....

– Договаривайте; что за нерешительность?

– От лорда л'Эстренджа.

– И более ни от кого?

– По крайней мере я не припомню.

Беатриче тяжело вздохнула и спустила на лицо покрывало. В это время несколько человек прохожих появились за поляне и, заметив двух прекрасных собою леди, остановились, рассматривая их с любопытном.

– Нам невозможно говорить здесь, сказала Беатриче с нетерпением: – а мне многое нужно рассказать, о многом распросить. Окажите мне еще раз свое доверие; я для вас же хочу переговорить с вами. Моя карета стоит не вдалеке. Поедете ко мне: я не удержу вас более часа; потом привезу вас обратно.

Это предложение удивило Виоланту. Она отступила к калитке сада, выражая движениями несогласие. Беатриче по-



ложила руку к ней на плечо и смотрела на нее из под вуаля с смешанным чувством ненависти и восторга.

– Было время, когда и я не посмела бы сделать шаг за ту черту, которую свет полагает предел свободы для женщины. А теперь – посмотрите, какая во мне смелость. Дитя, дитя, не играйте своею судьбою. Никогда не представится вам более случай подобный настоящему. Я сюда приехала нарочно, чтобы видеться с вами; я должна хоть сколько нибудь познакомиться с вами, с вашим сердцем. Неужели вы колеблетесь еще?

Виоланта не отвечала, но игравшая на лице её улыбка как будто карала искустельницу.

– Я могу возвратить вашего отца в Италию, сказала Беатриче изменившимся голосом: – пойдёмте только со мною.

Виоланта подошла к ней, во все еще с нерешительным видом.

– Не через замужство с вашим братом, впрочем?

– Вы значит очень боитесь этого замужства?

– Бояться его! вовсе нет! Можно ли бояться того, от чего отказаться в моей власти. Но если вы можете восстановить права отца моего более благородными средствами, то вы сохраните меня для....

Виоланта вдруг остановилась: глаза маркизы засверкали.

– Сохранять нас для.... ах! я догадываюсь, что вы хотели сказать. Но пойдёмте, пойдёмте.... Посмотрите сколько здесь посторонних зрителей; вы все мне расскажете у меня

дома. И если вы не откажете принести мне хотя одну жертву, то неужели вы думаете, что я не пожертвую для вас с своей стороны чем бы то ни было. Пойдемте или простимся навсегда!

Виоланта подала руку Беатриче с такою открытою доверчивостью, которая заставила маркизу устыдиться своего вероломства; вся кровь бросилась ей в лицо.

– Мы обе женщины, сказала Виоланта:– мы принадлежим обе к одной и той же фамилии, мы молились одной и той же Мадонне: отчего же мне не поверить вам после этого?

они подошли к карете, которая стояла на повороте дороги. Беатриче сказала что-то потихоньку кучеру, который был итальянец, из числа наемных людей графа; кучер кивнул головою в знак согласия и отворил дверцы кареты. Дамы вошли. Беатриче опустила сторы; кучер сел на коалы и энергически ударил по лошадям.

Беатриче спряталась в задний угол кареты и громко рыдала. Виоланта приблизилась к ней.

– Разве у вас есть какоенибудь горе? спросила она своим нежным, мелодическим голосом:– не могу ли я помочь вам чемнибудь, как вы хотите помочь мне?

– Дитя, дайте мне вашу руку и не мешайте мне смотреть на вас. Была ли я когданибудь так хороша? Никогда! И какая пропасть, какая бездна ложится между нею и мною!

Она произнесла это как будто об отсутствующей женщине и опять погрузилась в молчание, но все продолжала смотреть

на Виоланту, которой глаза, отененные длинными ресницами, не могли вынести её взгляда.

Вдруг Беатриче привстала, вскричала: «нет, этого не должно быть!» и схватилась за шнурок, привязанный к руке кучера.

– Чего не должно быть? спросила Виоланта, удивленная словами и поступком Беатриче.

Беатриче молчала; грудь её высоко вздымалась.

– Постойте, сказала, она с расстановкою. – Мы обе, как вы заметили уже, принадлежим к одной и той же благородной фамилии; вы отвергаете искательство моего брата, хотя, увидав его и поговорив с ним, нельзя не сознаться, что и наружностью и умом он не может не понравиться. Он предлагает вам завидное положение в обществе, состояние, прощение вашего отца и возвращение его за родину. Если бы я могла устранить предубеждения, которые сохраняет ваш отец – доказать ему, что граф гораздо менее вредил ему, чем он думает, стали ли бы вы и тогда отвергать почести и богатство, которые предлагает вам Джулио Францины, ища руки вашей?

– О да, да, будь он вдвое лучше собою и вдвое знатнее!

– В таком случае, скажите мне, как женщине, как родственнице, – скажите мне, которая также любила, не значит ли это, что вы любите другого? Отвечаете же.

– Я не знаю. Нет, это не любовь... это была просто лишь мечта, несбыточная причуда воображения. Не спрашивайте меня: я не могу отвечать:– И слова её сопровождалась обиль-

НЫМ ПОТОКОМ слез.

Лицо Беатриче снова сделалось сурово и неумолимо. Она опять опустила вуаль и оставила шнурок; но кучер почувствовал уже было прикосновение и остановил лошадей.

– Ступай, сказала Беатриче: – ступай как тебе приказано.

За тем обе долго молчали, – Виоланта – едва успев оправиться от волнения, Беатриче – тяжело дыша и скрестив руки на груди.

Между тем карета въезжала в Лондон; миновала квартал, в котором находился дом госпожи ди-Негра, переехала мост, пронеслась по широкому проспекту, потом по извилистым аллеям, с мрачными, серыми домами по обеим сторонам. Она продолжала ехать все далее и далее, когда наконец Виоланта стала сильно беспокоиться.

– Неужели вы так далеко живете? спросила она, поднимая штору и с удивлением взглянув на незнакомое ей грязное предместье. – Я думаю, меня уже ищут дома. О, воротитесь, прошу вас!

– Мы уже почти приехали. Кучер выбрал эту дорогу, чтобы избежать улиц, где бы нас могли увидеть, где бы мог попасться нам сам брат мой. Послушайте меня, расскажите мне историю вашей любви, которую вы называете пустою мечтою. Что? неужели это невозможно?

Виоланта закрыла лицо руками и опустила голову.

– Для чего вы так жестоки? сказала она. – Это ли вы мне обещали? Каким образом вы намерены спасти моего отца,

каким образом возвратите вы его на родину: вот о чем вы хотели говорить со мною.

– Если вы согласитесь на одну жертву, я исполню свое обещание. Мы приехали.

Карета остановилась перед ветхим, угрюмым домом, отделенным от других домом высокою стеною, внутри которой был, по видимому, довольно пространный двор; к дому примыкал узкий бульвар, который с одной стороны упирался в Темзу. Река в этом месте была загромождена судами и лодками, лежавшими неподвижно под мрачным зимним небом.

Кучер сошел с козел и позвонил. Две смуглые итальянские физиономии показались на пороге.

Беатриче выпрыгнула из кареты и подала руку Виоланте.

– Теперь мы в совершенной безопасности, сказала она: – и через несколько минут участь ваша может быть решена.

Когда дверь затворилась за Виолантой, в ней пробудилось сильное беспокойство и подозрение; она со страхом рассматривала темную и мрачную комнату, в которую они вошли.

– Велите карете ждать, сказала в это время Беатриче.

Итальянец, которому дано было приказание, поклонился и слегка улыбнулся; во когда обе дамы поднялись на лестницу, он отворил уличную дверь и сказал кучеру:

– Поезжай к графу и скажи, что все благополучно.

Карета удалилась. Человек, отдавший это приказание, затворил и запер дверь и, спрятав огромный ключ от этой двери в одно из скрытых мест, вышел. Комната, замкнутая

со всех сторон и опустелая, представляла мрачный вид тюрьмы; здесь была и железная дверь, запертая крепкими засовами, и каменная крутая лестница, скудно освещенная узким окном, запыленным в течение длинного ряда годов и искрещенным железными полосами, и стены, пронизанные железными же связями, точно будто в ожидании сильного напора тяжести или действия осадных орудий.

—

На другой день после отъезда Рандаля, Риккабокка, вследствие убеждений жены, отправил Джакомо в дом леди Лэнсмер с очень нежным письмом к Виоланте и запискою к самой леди, прося последнюю привести дочь в Норвуд на несколько часов, так как он желал переговорить с ними обеими. Только по приезде Джакомо в Нейтсбридж открылся побег Виоланты. Леди Лэнсмер, очень дорожившая мнением света и общественными толками, упросила Джакомо не сообщать своих опасений другим слугам и старалась поддержать между домашними убеждение, что молодая леди, с ведома её, отправилась навестить одну из своих приятельниц и, вероятно, прошла чрез садовую калитку, которая была найдена отворенною: путь здесь был несравненно спокойнее, чем по большой дороге, и подруга Виоланты, без сомнения, проводила ее по аллее, ведущей от дому. Говоря это, по видимому, с полным убеждением, леди Лэнсмер велела подавать карету и, взяв с собой Джакомо, отправилась посоветоваться с своим сыном.

рассудок Гарлея едва успел оправиться от потрясения, испытанного им при рассказе леди Лэнсмер о побеге Виоланты, когда доложили о приезде Рандаля Лесли.

Австрийский принц и Леонард вышли в соседнюю комнату. Как только дверь затворилась за ними, как появился Рандаль, по видимому, очень взволнованный:

– Я сейчас только что был в вашем доме, лэди. Я узнал, что вы здесь; простите, что я последовал за вами. Я нарочно приехал в Нейтсбридж с тем, чтобы видеть Виоланту, но мне сказали, что она оставила вас. Я умоляю вас открыть мне, где она теперь и что было причиной её отъезда. Я имею некоторое право спрашивать об этом: отец её обещал мне её руку.

Соколиные глаза Гарлея засверкали при виде Рандаля. Он пристально смотрел в лицо молодому человеку, но предложил лэди Лэнсмер самой давать ответы и пускаться в объяснения.

Рандаль ломал себе руки.

– И она не к отцу убежала от вас? вы уверены в этом?

– Слуга её отца только что прибыл из Норвуда.

– О, я сам виноват во всем. Мои слишком настоятельные притязания, её боязнь, отвращение к моим планам. Теперь я все понимаю!

Голос Рандаля глухо звучал раскаянием и отчаянием.

– Чтобы спасти ее от Пешьера, отец её требовал, чтобы она немедленно вышла за меня замуж. Приказания его были слишком резки, и мое сватовство, кажется, неуместно.

Я знаю её неустрашимость; она убежала, чтобы скрыться от меня. Но куда же, если не в Норвуд, – куда же? Какие у ней есть еще друзья, какие родственники?

– Вы проливаете новый свет на это дело, сказала леди Лансмер: – может быть, она действительно отправилась к отцу и человек только разошелся с нею. Я сейчас же поеду к Норвуд.

– Сделайте это; но если её там нет, то не испугайте Риккабokka известием о её побеге. Предупредите и Джакомо в этом смысле. Он готов подозревать во всем Пешьера и решиться на какое нибудь насилие.

– А вы сами не подозреваете Пешьера, мистер Лесли? спросил Гарлей, совершенно неожиданно.

– Как это возможно? Я был у него сегодня утром, вместе с Франком Гэзельденом, который женится на его сестре. Я не отходил от него до самого отъезда в Нейтсбридж, следовательно до самой минуты побега Виоланты. Он никак не мог принимать участия в этом похищении.

– Вы виделись вчера с Виолантой. Говорили вы ей о госпоже ди-Негра? опросил Гарлей, внезапно вспомнив, что Виоланта заводила с вин речь о маркизе.

Несмотря на все свое хладнокровие, Рандаль почувствовал, что он изменился в лице.

– О госпоже Негра? Кажется, нет. Впрочем, может быть, что и говорил. Именно, теперь я помню. Она попросила у меня адрес маркизы; но я не мог сообщить его.



– Адрес легко достать. Значит она, может быть, отправилась в дом маркизы?

– Я бегу туда и посмотрю, вскричал Рандаль, поспешно вскочив со стула.

– И я с вами. Пойдите, милая матушка. Отправляйтесь, как вы уже предположили, в Норвуд и последуйте совету мистера Лесли. Поощадите вашего друга от объявления ему о потере дочери, если она, действительно не там, до тех пор, пока она не будет возвращена. Оставьте Джакомо здесь: он может мне понадобиться.

Тут Гарлей вышел в соседнюю комнату и попросил принца и Леонарда дождаться его возвращения, а также удержать Джакомо. За тем он вернулся к Рандалью. Как ни были сильны опасения и волнение Гарлея, он сознавал, что ему необходимо теперь хладнокровие и невозмутимое присутствие духа. Лорд л'Эстрендж и Рандаль скоро нашли дом маркизы, но узнали там, что маркиза с утра куда-то уехала в карете графа Пешьера. Рандаль с беспокойством взглянул на Гарлея; Гарлей как будто не заметил этого взгляда.

– Где же она теперь, по-вашему мнению, мистер Лесли?

– Я решительно теряюсь в догадках. Может быть, боясь отца своего – зная, как самовластно он пользуется своими правами, как твердо он будет держать слово, данное мне, она убежала к комунибудь из деревенских соседей, в мистрисс Дэль или мистрисс Гэзельден.

– Я отправляюсь спрашивать, где только возможно.

Между тем вы поступайте, как знаете, мистер Лесли, сказал Гарлей, прощаясь с Рандаем: – но я должен вам признаться, что вы были, по видимому, не очень-то приятным женихом для благородной леди, которой руки вздумали искать.

– Грубиян! прибавил Рандаль, оставшись один: – но он любит ее, значит я уже отмщен.

Лорд л'Эстрендж отправился в дом Пешьера. Ему сказали, что граф вышел вместе с Франком Гэзельденом и некоторыми другими, молодыми людьми, которые у него завтракали. Он велел говорить всем, кто о нем спросит, что он пошел в Тоттерсолл посмотреть лошадей, выставленных там на продажу. Гарлей пустился туда же. Граф стоял на дворе, облокотясь на колонну и окруженный фешенебельными друзьями. Франк отделился от этой группы и казался в настоящую минуту недовольным. Гарлей дотронулся до плеча его и отвел его в сторону.

– Мистер Гэзельден, ваш дядюшка Эджертон – мой искренний друг. Хотите и вы быть моим другом? Я имею до вас надобность.

– Милорд.

– Подите за мною. Не должно, чтобы граф Пешьера заметил, что мы разговариваем.

Гарлей оставил двор и вошел в Сен-Джемсский парк маленькою калиткою. В немногих словах он рассказал Франку о побеге Виоланты и о причинах, по которым он подозревает графа. Первым впечатлением Франка было негодо-

вание на бездоказательное подозрение и на столь унижительное мнение о брате Беатриче; но когда он постепенно стал припоминать цинический и оскорбительный тон короткого разговора графа, намеки самой Беатриче на какие-то планы Пешьера, наклонность последнего к хвастливой и беспредельной щедрости, когда дело шло о наслаждениях, – щедрости, которой удивлялись все друзья его, то невольно поддался подозрениям Гарлея. Он сказал при этом с какою-то особенною важностью:

– Поверьте мне, лорд л'Эстрендж, что если я буду в состоянии помочь вам разрушить эти низкие планы в отношении несчастной леди, то готов служить вам по вашим указаниям. Ясно одно, что Пешьера не участвовал лично в этом похищении, потому что я был при нем целый день; даже – теперь я начинаю сомневаться – даже я готов думать, что вы напрасно его подозреваете. Он пригласил нас в большом обществе ехать в Булонь на будущей неделе с тем, чтобы пробовать яхту; а это едва ли было бы возможно.

– Яхту, в такое время года! Яхту – человеку, который постоянно живет в Вене.

– Спендквикк и продает-то ее, между прочим, потому, что теперь не время для морских катаний; граф же намерен провести следующее лето в крейсеровке у Ионических островов. У него там есть имение, которого он еще ни разу не видал.

– Давно ли он купил эту яхту?

– Я не знаю даже, купил ли он ее, то есть заплатил ли деньги. Леви хотел сегодня утром увидаться с Спендквикком, чтобы окончить это дело. Спендквикк жалуется, что Леви все оттягивает уплату.

– Мой милый мистер Гэзельден, вы решительно заводите меня в лабиринт. Где бы найти лорда Спендквикка?

– В настоящую минуту, вероятно, в постели. Вот его адрес.

– Благодарю. А где стоит корабль?

– Прежде он был за Блакволлом. Я ходил смотреть на него – славное судно, называется «Бегущий Голландец»; на нем есть даже и пушки.

– Довольно. Теперь выслушайте меня внимательно. Виоланта не может еще быть в опасности, прежде, чем Пешьера встретится с нею, пока мы знаем все его планы. Вы скоро женитесь на его сестре. Воспользуйтесь этим предложением, чтобы не отходить от него ни на шаг. Придумайте сказать ему чтонибудь уважительное; я даже дам вам мысль. Выразите свое беспокойство и недоумение насчет того, где теперь госпожа Негра.

– Госпожа Негра? вскричал Франк. – Что же это значит? Разве она не в доме своем на улице Курзон?

– Нет; она выехала в карете графа. По всей вероятности, кучер или слуга её придет сегодня к графу; чтобы отделаться от Вас, граф, конечно, попросит вас увидаться со слугою и убедиться, что сестра его вне опасности. Покажите вид,

что вы верите тому, что будет говорит этот человек, и заставьте его идти за собою на квартиру, как будто с намерением написать письмо к маркизе. Когда он будет у вас, мы уже не выпустим его из рук, потому что я подниму на ноги полицию. Дайте же мне тотчас знать, когда он прибудет.

– Но какже, возразил Франк, с нетерпением: – если я пойду к себе на квартиру, каким образом я могу следит за графом?

– В таком случае это не будет необходимостью. Только постарайтесь, чтобы он проводил вас до квартиры, а там можете расстаться с ним при входе.

– Пойдите, пойдите! Вы, конечно, не подозреваете госпожу Негра в участии в таких ужасных замыслах. Извините меня, лорд л'Эстрендж, но я не могу действовать с подобным убеждением, не могу даже слушать вас, не считая вас врагом своим, если вы произнесете хот олово оскорбительное для чести женщины, которую я люблю.

– Благородный молодой человек, дайте мне руку. Я намерен спасти госпожу Негра, точно так же, как дочь моего друга. Думайте только о ней, когда будете действовать по моим указаниям, и все выйдет как нельзя лучше. Я вполне доверяю вам. Теперь ступайте к графу.

Франк воротился к Пешьера, а Гарлей отправился к лорду Спендквивикку, пробыл у него несколько минут, потом снова появился в своем отели, где Леонард, принц и Джакомо ожидали его.

## Глава СХІV

Густой сумрак наполнял комнату, в которую Беатриче привела Виоланту. С самой Беатриче сделалась в это время странная перемена. С униженным видом и рыданиями, она пала пред Виолантою на колени и умоляла о прощении.

После резких и пытливых вопросов, вызвавших ответы, которые устраняли всякое сомнение, Беатриче убедилась, что ревность её была совершенно неосновательна, что Виоланта вовсе не была её соперницею. С этой минуты, страсти, которые делали ее орудием замыслов злодея, исчезли и совесть её содрогнулась при виде лжи и измены.

– Я обманула вас! кричала она голосом, прерываемым рыданиями: – но я спасу вас, во что бы то ни стало. Если бы вы были, как я прежде думала, моею соперницею, которая лишила меня всех надежд на счастье в будущем, я без малейшего раскаяния приняла бы участие в заговоре. Но теперь, вы – добрая, благородная девица, – вы не должны быть женою Пешьера. Да, не удивляйтесь: он должен навсегда отдаться от своих намерений, или я снова пойду в императору и открою ему все мрачные стороны жизни Пешьера. Поэдемте поскорее в тот дом, из которого я увезла вас.

Говоря это, Беатриче бралась за ручку двери. Вдруг она вздрогнула, губы её побледнели: дверь оказалась запертою снаружи. Она стала кричать – ответа не было; звон колоколь-

чика глухо отдавшая в комнате; окна были высоко от полу и с железными решотками они выходили не на реку и не на улицу, но на крытый, мрачный, пустой двор, окруженный высокою каменною стеною, так что самый сильный крик, самый тяжелый удар не мог быть слышан извне.

Беатриче догадалась, что она точно так же обманута, как и её соперница, что Пешьера, сомневаясь в её твердости, при выполнении задуманного плана, отнял у неё всякую возможность загладить сделанное преступление. Она находилась в доме, принадлежащем его приверженцам. Не осталось никакой надежды спасти Виоланту от гибели, угрожавшей ей.

Наступила ночь: они слышали бой часов на одной из отдаленных церквей. Огонь, горевший в камине, давно уже погас, и воздух сделался очень холоден. Никто не сбирался, казалось, нарушить молчание, царствовавшее в доме: не было слышно ни звука, ни голоса. Они не чувствовали ни холода, ни голода; они сознавали только уединение, безмолвие и боязнь чего-то, что должно было случиться.

Наконец, около полуночи, звонок раздался у двери, ведущей на улицу; потом послышались поспешные шаги, скрип запоров, тихие, смешанные голоса. Свет проник в комнату сквозь щолки двери; дверь отворилась. Вошли двое итальянцев, с свечами; за ними следовал граф Пешьера.

Беатриче вскочила и бросилась к брату. Он слегка прикоснулся рукою к её устам и велел итальянцам выйти. Они по-

ставили свечи на стол и удалились, не проговорив ни слова.

Тогда Пешьера, отведя сестру в сторону, подошел к Виоланте.

– Прелестная родственница, сказал он, с видом самоуверенности: – есть вещи, которых никакой мужчина не согласится извиниться и женщина не захочет простить; только любовь, не подчиняясь общим законам, находит себе извинение у одних и прощение у других. Одним словом, я должен вам сказать, что я дал обещание, что буду обладать вами, а между тем вовсе не находил удобного случая присвататься к вам. Не бойтесь: худшее, что вас ожидает, это сделаться моею невестою. Отойди, сестра, отойди.

– Нет, Джулио Франчини, я стану между тобою я ею; ты прежде повергнешь меня на землю, чем дотронешься до края её платья.

– Что это значит? ты, кажется, вооружаешься против меня?

– О если ты сейчас не уйдешь я не освободят ее, я обличу тебя перед императором.

– Слишком поздно, *cher enfant!* Ты поедешь вместе с вами. Вещи, в которых ты можешь иметь нужду, уже на корабле. Ты будешь свидетельницей вашей свадьбы, а там ты можешь говорить императору что тебе угодно.

Ловким и энергическим движением граф отстранил Беатриче и упал на колени перед Виолантой, которая, выпрямившись во всю вышину своего роста, бледная как мрамор,



но не обнаруживая боязни, смотрела на него с невозмутимым презрением.

– Теперь вы сердитесь на меня, сказал он с выражением смирения и некоторого энтузиазма:– и я этому не удивляюсь. Но поверьте, что пока это негодование не уступит места более нежному чувству, я не употреблю во зло той власти, которую приобрел над вашей судьбою.

– Власти! произнесла Виоланта с гордым видом. – Вы похитили меня и заперли в этот дом.... вы воспользовались правом сильного и удачей; но власти над моей судьбою – о, нет!

– Вы думаете, может быть, что ваши друзья узнали о вашем побеге и напали на ваш след. Прелестное дитя, я принял все меры против попыток ваших друзей, и я не страшусь ни законов, ни полиции Англии. Корабль, которому суждено отвезти вас с этих берегов, готов и ждет в нескольких шагах отсюда.... Беатриче, повторяю тебе, перестань, оставь меня.... На этом корабле будет патер, который соединит наши руки, но не прежде, как вы убедитесь в той истине, что девушка, которая бежит с Джулио Пешьера, должна или сделаться его женою, или оставить его с полным сознанием собственного позора.

– О, изверг, злодей! воскликнула Беатриче.

– *Peste*, сестрица, будь поосторожнее в выборе выражений. Ты тоже выйдешь замуж. Я говорю не шутя. Синьорина, мне очень жаль, что я должен употреблять насилие. Дайте

мне вашу руку; нам пора идти.

Виоланта уклонилась от объятия, которое готово было оскорбить её стыдливость, бросилась прочь, перебежала комнату, отворила дверь и потом поспешно затворила ее за собою. Беатриче энергически схватила графа за руки, чтобы удержать его от преследования. Но тотчас за дверью, как будто с целию подслушать, что делается в комнате, стоял мужчина, закутанный с головы до ног в широкий рыбацкий плащ. Свет от лампы, упавший на этого человека, блеснул на стволе пистолета, который он держал в правой руке.

– Тише! прошептал незнакомец по английски и, обняв руками стан девушки, продолжал: – в этом доме вы во власти злодея; только по выходе отсюда вы будете в безопасности. Но я возле вас, Виоланта: будьте покойны!

Голос этот заставил трепетать сердце Виоланты. Она вздрогнула стала вглядываться, но лицо незнакомца было в тени и закрыто шляпою и плащом; только черные, вьющиеся волосы выбивались наружу и виднелась такая же борода.

В это время граф отворил дверь, увлекая за собою сестру, которая ухватилась за него.

– А, это хорошо! вскричал он незнакомцу по итальянски. – Веди синьорину за мною, только осторожно; если она вздумает кричать, ну, тогда... тогда заставь ее молчать, и только. Что касается до тебя, Беатриче, до тебя, изменница, я мог бы убить тебя за этом месте; но нет, этого довольно.

Он поднял сестру в себе за руки и, несмотря на её крик и сопротивление, быстро побежал по лестнице.

В зале теснилась целая толпа людей суровых и жестоких на вид, с смуглыми, грубыми лицами. Граф обратился к одному из них и что-то шепнул; в одно мгновение маркизу схватили и завязали ей рот. Граф возвратился назад. Виоланта стояла возле него, поддерживаемая тем самым человеком, которому Пешьера поручил ее и который в эту минуту уговаривал ее не сопротивляться. Виоланта молчала и казалась покойною. Пешьера цинически улыбнулся и, послав вперед людей с зажженными факелами, стал спускаться по лестнице, которая вела к потаенной пристани, бывшей между залом и входом в подвальный этаж дома. Там маленькая дверь была уже отворена, и река протекала возле. Лодка была причалена к самым ступеням лестницы; кругом стояли четверо людей, которые имели вид иностранных матросов. По приходе Пешьера, трое из них прыгнули в лодку и взялись за весла. Четвертый осторожно перебросил доску на ступени пристани и почтительно протянул руку Пешьера. Граф вошел первый и, напевая какую-то веселую оперную арию, занял место у руля. Обе женщины были также перенесены, и Виоланта чувствовала, как судорожно пожимал в это время её руку человек, стоявший у доски. Вся остальная свита перебралась немедленно, и через минуту лодка быстро понеслась по волнам, направляя путь к кораблю, который стоял за полмили ниже по течению и отдельно от всех судов, толпивших-

ся за поверхности реки. Звезды тускло мерцали в туманной атмосфере; не было слышно ни звука, кроме мерного плеска весел. Граф перестал напевать и, рассеянно смотря на широкия складки своей шубы, казался погруженным в глубокие размышления. Даже при бледном свете звезд можно было прочесть на лице Пешьера гордое сознание собственного торжества. Последствия оправдали его беззаботную и дерзкую уверенность в самом себе и в счастии, что составляло отличительную черту характера этого человека – отважного искателя приключений и игрока, который всю жизнь провел с рапирой в одной руке и поддельною колодою карт в другой. Виоланта, приведенная на корабль преданными ему людьми, будет уже безвозвратно к его власти. Даже отец её будет очень благодарен, узнав, что пленница Пешьера спасла честь своего имени, сделавшись женою своего похитителя. Даже собственное самолюбие Виоланты должно было убеждать ее, что она добровольно приняла участие в планах своего будущего супруга и убежала им отцовского дома, чтобы скорее стать пред брачным алтарем, а не была лишь несчастною жертвою обманщика, предложившего ей руку из сострадания. Он видел, что судьба его обеспечена, что удаче его позавидуют все знакомые, что самая личность его возвысится торжественным бракосочетанием. Так мечтал гран, почти забывая о настоящем и переносясь в золотое будущее, когда он был приведен в себя громким приветствием с корабля и суматохою матросов, которые хватались в это время за верев-

ку, брошенную к ним. Он встал и пошел было к Виоланте. Но человек, который постоянно смотрел за нею во все продолжение пути, сказал ему по итальянски:

– Извините, ечеленца, на лодке множество народа и качка так сильна, что ваша помощь помешает синьорине удержаться на ногах.

Прежде, чем Пешьера успел сделать возражение, Виоланта уже подымалась по лестнице на корабль, и граф на минуту остановился, смотря с самодовольною улыбкою, как девушка легкою поступью вошла на палубу. За нею следовала Беатриче, а потом и сам Пешьера. Но когда итальянцы, составлявшие его свиту, тоже столпились к краю лодки, двое из матросов остановились перед ними и выпустили в воду конец веревки, а двое других сильно ударили веслами и направили лодку к берегу. Итальянцы, удивленные подобным неожиданным поступком, разразились целым градом проклятий ибрани.

– Молчать, сказал матрос, стоявший прежде у доски, переброшенной с лодки: – мы исполняем приказание. Если вы станете буйнит, мы опрокинем лодку. Мы умеем плавать. Да сохранит вас Бог и святой Джакомо, если вы сами не хотите о себе думать.

Между тем, когда Пешьера поднялся на палубу, поток света упал на него от факелов. Этот же свет изливался на лицо и стан человека повелительной наружности, который держал рукою Виоланту за талию и которого черные глаза при ви-

де графа засверкали ярче факелов. По одну сторону от этого человека стоял австрийский принц; по другую сторону – с плащом и огромным париком из черных волос у ног – лорд л'Эстрендж, с сложенными на груди руками и с улыбкою на устах, которых обычная ирония прикрывалась выражением спокойного, невозмутимого презрения. Граф хотел говорить, но голос изменил ему. Все вокруг него смотрело враждебно и дышало мщением. Когда он стоял таким образом в совершенном смущении, окружавшие итальянцы закричали с бешенством:

– Il traditore? Il traditore! изменник! изменник!!

Граф был неустрашим и при этом крике поднял голову с повелительным видом.

В это время Гарлей сделал знак рукою, как будто с целью заставить умолкнуть матросов, и вышел вперед из группы, посреди которой он до тех пор стоял. Граф приблизился к нему смелою поступью.

– Что это за проказы? вскричал он дерзким тоном, по французски: – я уверен, что мне должно от вас требовать объяснения и удовлетворения.

– *Pardieu, monsieur le comte*, отвечал Гарлей, на том же языке, который так удачно выражает сарказм: – позвольте вам на это заметить, что объяснений вы имеете право от меня требовать; но что касается до удовлетворения, то его мы ожидаем от вас. Этот корабль....

– Мой! вскричал граф. – Эти люди, которые теперь так

дерзко оскорбляют меня, у меня на жалованьи.

– Ваши люди, *monsieur le comte*, теперь на берегу и, вероятно, пьют во славу вашего счастливого путешествия. Вы очень ошибаетесь, если думаете, что «Бегущий Голландец» принадлежит вам. Прося у вас тысячу извинений за то, что я осмелился перебить у вас покупку, я должен вам признаться, что лорд Спендквикк был столько любезен, что продал корабль мне. Впрочем, через несколько недель, *monsieur le comte*, я намерен отдать в полное ваше распоряжение весь экипаж.

Пешьера язвительно улыбнулся.

– Благодарю вас, сударь; но так как в настоящее время я не могу отправиться в путь с тою особою, которая могла бы сделать для меня поездку приятною, то я намерен возвратиться на берег и прошу лишь вас уведомить меня, когда вы можете принять одного из друзей моих, которому я поручу разрешить вместе с вами еще не тронутую часть вопроса и устроить так, чтобы удовлетворение, с вашей или с моей стороны – все равно, было столь же соответственно обстоятельствам дела, как и то объяснение, которым вы меня почтили.

– К чему такие хлопоты, *monsieur le comte*! удовлетворение, если я не ошибаюсь, уже приготовлено: вот до какой степени я был предусмотрителен в отношении всего, чего могли бы потребовать чувство чести и долг джентльмена. Вы похитили молодую девушку, это правда; но видите, что она

только возвратилась чрез это к своему отцу. Вы располагали лишить своего знатного родственника всего достояния его, но вы именно пришли на этот корабль, чтобы дать принцу \*\*\*, которого пост при Австрийском Дворе вам хорошо известен, случай объяснить императору, что он сам был свидетелем ваших поступков, которыми вы хотели будто бы истолковать данное вам Его Величеством дозволение на брак с дочерью одного из первых подданных его в Италии. Ваше изгнание, в возмездие за вероломство, будет сопровождаться, сколько позволено мне думать, восстановлением всех прав и почестей славы вашей фамилии.

Граф вздрогнул.

– За это восстановление, сказал австрийский принц, подошедший в это время к Гарлею: – я заранее ручаюсь. Так как вы, Джулио Франчини, наносите бесчестие всему благородному сословию Империи, то я буду настаивать перед Его Величеством, чтобы имя ваше было вычеркнуто из списков дворянства. У меня есть здесь собственные ваши письма, доказывающие, что родственник ваш был вами же вовлечен в заговор, которым вы предводительствовали, как новый Катилина. Через десять дней эти письма будут представлены императору и его совету.

– Достаточно ли вам, *monsieur le comte*, сказал Гарлей: – такого удовлетворения? если же нет, то я найду вам случай сделать его еще более полным. Перед вами станет ваш родственник, которого вы оклеветали. Он сознает теперь,



что хотя на некоторое время вы и лишили его всего состояния, но не успели испортить его сердце. Сердце его еще готово простить вас, а рука его давать вам милостыню. Становись на колени, Джулио Францини, на колени, побежденный разбойник, на колени, разоренный игрок, бросайся в ноги Альфонсо, князя Монтелеона и герцога Серрано.

Весь предыдущий разговор был веден по французски и потому был понятен лишь весьма немногим из итальянцев, стоявших вокруг; но при имени, произнесенном Гарлеем в заключение речи своей к графу, единодушный крик огласил ряды их.

– Альфонсо милостивый!

– Альфонсо милостивый! Viva-viva, добрый герцог Серрано!

И, позабыв в эту минуту о графе, они столпились вокруг высокой фигуры Риккабокка, стараясь наперерыв поцеловать его руку, даже край его платья.

Глава Риккабокка наполнились слезами. С бедным изгнанником как будто сделалось превращение. Сознание собственного достоинства отразилось во всей его личности. Он с любовью протягивал руки, как будто стараясь благословлять своих её иноземцев. Даже этот грубый крик смиренных людей, изгнанников, подобных ему, почти вознаграждал его за годы лишений и бедности.

– Благодарю, благодарю, повторял он: – рано или поздно, и вы, вероятно, воротитесь на нашу милую родину!

Австрийский принц преклонил голову, выражая свое согласие.

– Джулио Францини, сказал герцог Серрано – мы имеем право называть уже этим именем смиренного обитателя казино:– если бы провидению угодно было допустить вас совершить ваш злодейский умысел, неужели вы думаете, что на земле нашлось бы место, где похититель мог бы спастись от руки оскорбленного отца? Но небу угодно было избавить меня от нового тяжкого испытания. Позвольте и мне при этом случае показать пример снисхождения.

И он с живым, спокойным челом приблизился к своему родственнику.

С той самой минуты, как австрийский принц заговорил с ним, граф хранил глубокое молчание, не обнаруживая ни раскаяния, ни стыда. Подняв голову, он стоял с решительным видом, как человек, готовый на всякую крайность. Когда принц хотел теперь подойти к нему, он замахал рукою и закричал: «не радуйтесь заранее, не думайте, что вы одержали верх; ступайте, рассказывайте ваши выдумки императору. Я сам найду случай отвечать за себя перед троном.» Говоря таким образом, он сделал движение, чтобы броситься к борту корабля.

Быстрый ум Гарлея угадал намерение графа: он успел дать знак людям, и попытка Францини не удалась. Схваченный бдительными и озлобленными против него единоземцами, в ту самую минуту, когда он собирался броситься в реку, Пе-

пшьера был отведен в сторону и связан. Тогда выражение лица его совершенно изменилось. Отчаянное бешенство гладиатора запылало в нем. Необыкновенная телесная сила помогла ему несколько раз вырваться из рук врагов и повергнуть некоторых из них на пол. Наконец численность превозмогла: после продолжительной борьбы он должен был уступить. Тут он забыл о всяком достоинстве человека, потерял присутствие духа, произносил самые страшные проклятия, скрежетал губами и едва мог говорить от сильного прилива бешенства.

Тогда, сохраняя вид невозмутимой иронии, которая сделала бы честь французскому маркизу старого времени, и которой тщетно стал бы подражать самый искусный актер, Гарлей поклонился рассерженному графу.

– Adieu, monsieur le comte, adieu! Мне приятно видеть, что вы так благоразумно запаслись меховой одеждою. Она понадобится вам во время вашего путешествия; в такую пору года вам придется перенести большие холода. Корабль, на который вы удостоили взойти, отправляется в Норвегию. Итальянцы, которые сопровождают вас, были некогда изгнаны вами из отечества; теперь же, в замен того, они соглашаются разделить с вами время, когда вам наскучит ваше собственное сообщество. Отведите графа в каюту. Осторожнее, осторожнее. Adieu, monsieur le comte, adieu! et bon voyage!

Гарлей повернулся на каблуках, в то время, как Пешьера, несмотря на сопротивление, был сведен в каюту.

Тут Гарлей вышел на средину корабля, где, за рядами матросов, почти закрытая ими, стояла Беатриче. Франк Гэзельден, который первый встретил ее при входе на корабль, был возле неё. Леонард наводился в некотором отдалении от обоих, в безмолвном наблюдении всего, что происходило вокруг. Беатриче в эту минуту мало была занята Франком; её черные глаза смотрели на темное, усеянное звездами небо, и губы её шевелились точно произнося молитву. Все это время жених её говорил ей с большим жаром, тихо и торопливо:

– Нет, нет.... не думайте Беатриче, чтоб мы подозревали вас. Я готов ручаться жизнью за ваше прямодушие. О, зачем же вы отворачиваетесь?... отчего не хотите говорить?

– Дайте мне еще минуту свободы, отвечала Беатриче кротко.

Она тихо, колеблющимися шагами подошла к Леонарду, положила трепетную руку к нему на плечо и отвела его в сторону. Франк, удивленный подобным поступком, сделал движение вперед, потом остановился и смотрел на них с грустным, задумчивым видом. Улыбка исчезла и с лица Гарлея; он также сделался особенно внимателен.

Беатриче произнесла немного слов. Леонард отвечал отрывистыми фразами. Наконец Беатриче протянула руку, которую молодой поэт, поклонившись, поцаловал. Она стояла в нерешимости, и, при свете звезд, Гарлей заметил, как краска покрыла её щеки. Румянец этот побледнел, когда Беатриче воротилась к Франку. Лорд» л"Эстрендж хотел удалиться;

но она сделала ему знак остаться.

– Милорд, сказала она, твердым голосом: – не смею упрекать вас в жестокости к моему преступному и несчастному брату. Может быть, поступки его заслуживают более тяжкого наказания, чем то, которому вы подвергаете его с такими саркастическими выходками. Но какова бы ни была судьба его, – теперь презрение, впоследствии бедность, – я сознаю, что сестра его должна находиться при нем, чтобы разделять его участь. Если он виноват, то и я не права; если ему суждено терпеть крушение на море жизни, то и мне не остается ничего, кроме как погибнуть вместе с ним. Да, милорд, я не оставляю этого корабля. Все, чего я у вас прошу в настоящую минуту, это приказать вашим людям уважать моего брата, так как возле него будет женщина.

– Но, маркиза, это невозможно, и . . .

– Беатриче, Беатриче, а я-то? а наше обручение? Неужели вы забыли обо мне? кричал Франк, с горьким упреком.

– Нет, молодой и слишком для меня благородный жених, я не забуду и вас в моих молитвах. Но выслушайте. Я была ослеплена, обманута другими, во также, и еще более, собственным безразсудным и доверчивым сердцем, – обманута, чтобы, в свою очередь, обмануть вас и оклеветать себя. Я горю от стыда, при мысли, что я могла навлечь на вас справедливое негодование вашей семьи, связав вашу судьбу с моею злополучною судьбою, ваше имя с моим обесславленным именем, мое . . .

– Вот великодушное, любящее сердце! вот все, чего я у вас прошу! вскричал Франк. – Перестаньте, перестаньте! это сердце уже принадлежит мне!

– Молодой человек, я никогда не любила вас; это сердце было для вас мертво, и теперь оно умерло для всего на свете. Прощайте. Вы забудете меня прежде, чем вы думаете, – прежде, чем я забуду вас, как друга, как брата, если только братья бывают с таким нежным и добрым сердцем, как ваше. Теперь, милорд, угодно вам дать мне вашу руку? Я хочу идти к графу.

– Позвольте, одно только слово, сударыня, сказал Франк, заметно побледневший в эту минуту, – сказал стиснув зубы, но спокойно и с гордым выражением на лице, до тех пор сохранявшем вид откровенности и чистосердечия: – одно слово. Я, может быть, не стоил вас своими личными качествами, но чистая, бескорыстная любовь, которая никогда не допускала сомнений и подозрения, – любовь, которая увлекала бы меня к вам даже и тогда, когда весь свет восстал бы на вас, – подобная любовь возвышает самого ничтожного человека. Скажите мне одно лишь слово правды. Поклянись всем, что есть для вас священного, что вы говорили правду, сказав, что никогда не любили меня.

Беатриче поникла головою; она трепетала перед этою мужественною личностью, которую так жестоко обманывала и высоких качеств которой, может быть, до сих пор не признавала.

– Простите, простите меня, сказала она, прерывающимся от рыданий голосом и с глубоким, томительным вздохом.

При виде её нерешительности, лицо Франка просияло внезапную надеждою. Беатриче подняла взоры, заметила эту перемену, потом взглянула на Леонарда, неподвижно стоявшего вблизи, вздрогнула и отвечала с твердостью:

– Простите меня, повторяю еще раз. Я говорила правду. Сердце мое не принадлежало вам. Оно могло быть мягким как воск для другого, для вас оно было жестко и холодно как гранит.

Франк не произнес более ни слова. Он стоял как будто прикованный к месту, не глядя даже на Беатриче, которая удалялась, опираясь на руку лорда л'Эстренджа. Франк с решительным видом подошел к выходу с корабля и стал дожидаться, пока люди спустят на воду шлюпку. Проходя мимо того места, где стояла Виоланта, шепотом отвечавшая в это время на распросы отца, Беатриче остановилась. Она особенно энергически оперлась в эту минуту на руку Гарлея.

– Теперь, кажется, ваша рука трепещет, сказала она, с грустною улыбкою, и, отойдя прочь прежде, чем Гарлей успел отвечать, она смиренно преклонила голову перед Виолантой. – Вы уже простили меня, произнесла она, таким голосом, который был внятен лишь для слуха Виоланты: – и потому последние слова мои не будут касаться прошлого. Я вижу, как ваше будущее ярко блестит передо мною под этими торопливыми звездами. Вечная любовь, надеж-

да и вера. Вот последние слова той, которая с этой минуты умерла для света. Прелестная девушка, эти слова – слова предведения!

Виоланта упала на грудь к своему отцу и скрыла там пылающее лицо свое, протянув между тем руку к Беатриче, которая прижимала эту руку к сердцу. Потом маркиза снова присоединилась к Гарлею и вместе с ним спустилась во внутрь корабля.



# Часть тринадцатая (и последняя)

## Глава ХСV

Происшествия последних дней сильно подействовали на Гарлея. Измена человека, которого он всегда считал искренним другом, которому открывал самые задушевные тайны свои, и который так предательски воспользовался его доверием, требовала мщения самого жестокого, немедленного мщения. Но, повинувшись побуждениям своей благородной души, он не решался на это, надеясь, что время и деятельность, при наступивших выборах, укажут ему путь, по которому он должен идти для удовлетворения чувства, сделавшегося в душе его господствующим. Похищение Виоланты Гарлей приписывал не одному Пешьера, он подозревал тут участие Рандаля Лесли, а потому, обличив измену Одлея, хотел обличить и низкое предательство Рандаля.

Гэлен, инстинктивно угадывая, что Гарлей любил ее только по одной своей склонности в романтичности, а что, узнав Виоланту, он привязался к ней всей душой, весьма основательно полагала, что будущее не сулит ей того счастья, о котором мечтала она в дни своей молодости, — счастья,

которым бы она наслаждалась, еслиб судьба её неразрывно была соединена с судьбою Леонарда. В свою очередь и Леонард заранее обрекал жизнь свою неисходному страданию. Он не раз покушался признаться во всем Гарлею, но мысль огорчить своего благодетеля отнимала от него всякую решимость на этот подвиг. Все, что он мог сделать для облегчения души своей, это – признаться мистеру Дэлю, своему искреннему другу и опытному руководителю. Мистер Дэль, из сожаления к Леонарду и как ревностный покровитель брачных союзов, без ведома и согласия Леонарда, открыл Гарлею, в каком положении находились молодые люди. Это открытие было новым ударом для Гарлея. У него вторично отнимали любимую женщину, и кто же? Человек, которого он спас от голодной смерти, будущность которого обеспечил блестящим образом! С этой минуты он видел в Леонарде такого же предателя, каким казался ему Одлей Эджертон.

Театром выборов был Лэнсмер. Все, кто должен был участвовать в них, собрались туда По составленному заранее Гарлеем плану, туда прибыли и мистер Дэль, и сквайр Гэзельден, которого Рандаль до такой степени очаровал, что он решился совершенно устранить несчастного Франка от наследства и сделать наследником своим хитрого Рандаля.

Выборы начались и были в сильном разгаре, когда первенствующие члены «Синего Комитета» были позваны на обед в Лэнсмер-Парке. Общество казалось веселым и одушевленным, несмотря на отсутствие Одлея Эджертона, который

под предлогом болезни, заперся в своей комнате и послал к Гарлею записку с извещением, что он слишком дурно себя чувствует, чтобы присоединиться к общим друзьям.

Рандаль был на вершине самодовольствия, несмотря на сомнительный успех его речи, произнесенной пред народом. Что значила неудачная речь, если самое дело выборов обеспечено? Сквайр обещался доставить ему на другой же день сумму, необходимую на покупку большего участка земли. Риккабокка не переставал еще ободрять его искательства руки Виоланты. Если когда нибудь можно было назвать Рандалья Лесли счастливым человеком, то это именно в тот день, когда он сидел за обедом, чокаясь с мистером шаром и мистером Ольдерменом и вглядываясь в блестящий серебряный поднос с напитками, в котором так ярко отражались его надежды на богатство незначительность.

Обед приходил уже к концу, когда лорд л'Эстрендж, в краткой речи, напомнил посетителям о предстоящем окончании дела; после тоста в честь будущих членов Лэнсмера, он распустил комитет, приглашая приступить к занятиям.

Леви сделал знак Рандалью, который последовал за ним в свою комнату:

– Лесли, ваше назначение подлежит еще некоторому сомнению. Из разговора людей, сидевших около меня за обедом, а узнал, что Эджертон так много выиграл во мнении Синих своею речью и они так боятся потерять человека,

который внушает им столько доверия, что члены комитета не только хотят отстать от вас при вторичной подаче голосов и присоединиться к Эджертону, но предполагают открыть частную подписку, чтобы завладеть и теми ста-пятидесятью избирательными голосами, на которые, сколько мне известно, рассчитывает Эвенель в вашу пользу.

– Это будет не очень-то похвально со стороны комитета, если он вздумает действовать за нас обоих и станет усиливать Эджертона, сказал Рандаль, с досадою. – Но я не думаю все-таки, чтобы им удалось привлечь на свою сторону эти сто-пятьдесят голосов без значительной траты денег, которых Эджертон никогда не заплатит и которые ни лорд л'Эстрендж, ни отец его не захотят принять на свой счет.

– Я сказал им очень откровенно, отвечал Леви:– что, как агент мистера Эджертона, я не допущу никаких происков для нарушения правильности выборов. Я уверил первенствующих членов комитета, что рассмотрю и обдумаю их намерение перейти на сторону Эджертона: они решились действовать по указаниям Одлея, а я знаю заранее, что он скажет на этот счет. Вы можете положиться на меня, продолжал барон, с важностью, которая странно согласовалась с его обычным цинизмом: – вы можете положиться на меня, что успеете одержать верх над Одлеем, если только это будет в моей власти. Между тем вам необходимо увидаться с Эвенелем нынешним же вечером.

– Я назначил ему свидание в десять часов. Судя по его ре-

чи против Эджертон, я не сомневаюсь, что он намерен помогать мне, тем более, что он удостоверился из избирательных списков, что ему невозможно ничего сделать ни в свою собственную пользу, ни в пользу своего племянника-грубияна. Моя речь, как ни нападал на нее мистер Ферфильд, все-таки должна же расположить Желтую партию подавать голоса скорее в мою пользу, чем в пользу такого явного противника, как Эджертон.

– Я сам думаю то же. Ваша речь и ответ Ферфильда, правда, чрезвычайно повредили вам во мнении Синих; но будьте уверены, что я могу еще заставить этих полтора десятка негодяев – хотя подобные действия подкупа и происков и могут значительно повредить мне в общественном мнении – подать голоса в вашу пользу. Я скажу им, как говорил уже комитету, что на Эджертон в этом случае плохая надежда, что он ничего не заплатит, но что вы нуждаетесь в голосах, и что я.... одним словом, если их можно будет поддеть красными словами и обещаниями, я проведу их....

В это время кто-то стукнул в дверь. Вошел слуга с поручением от мистера Эджертон к барону Леви, которого первый просил зайти к нему на несколько минут.

– Хорошо, сказал Леви, когда слуга вышел:– я пойду к Эджертону и как только окончу переговоры с ним, то отправляюсь в город. Я, может быть, ночую там.

Говоря таким образом, он простился с Рандаем и направил шаги к комнатам Одлея.

– Леви, спросил отрывисто государственный муж, при входе барона:– вы открыли мою тайну – мой первый брак – лорду л'Эстренджу?

– Нет, Эджертон; клянусь вам честью, что я храню вашу тайну.

– Вы слышали его речь! Неужели вы не заметили страшной иронии в его похвалах моим заслугам? или это.... или это.... дело моей совести? прибавил высокомерный Одлей сквозь зубы.

– Напротив, отвечал Леви: – мне кажется, что лорд л'Эстрендж избрал именно такие черты вашего характера, которые и всякий другой из ваших друзей поместил бы в похвальной речи.

– Всякий другой из моих друзей! Какие друзья! проговорил Эджертон с мрачным видом.

Потом привстав, он произнес голосом, который вовсе не отличался обычною твердостью:

– Ваше присутствие, Леви, здесь, в этом доме, удивило меня, как я уже имел случай заметить вам, я не мог понять его необходимости. Неужели Гарлей пригласил вас? Гарлей, с которым вы, кажется, не в самых лучших отношениях! Вы уверяли, что ваше знакомство с Ричардом Эвенелем доставит вам возможность уничтожить противодействие с его стороны. Не смею поздравить вас с подобным успехом.

– Успех этот оправдывается последствиями. Сильное противодействие моим интересам, может быть, служит лишь ли-

чиною к сокрытию полного сочувствия моим поступкам.

Одлей продолжал, как будто не слушая Леви:

– Гарлей чрезвычайно переменялся в отношении ко мне и к другим; эта перемена может быть для иного незаметна, но я знал Гарлея еще ребенком.

– Он в первый раз в жизни занимается практическими делами. Это, вероятно, составляет главную причину перемены, которую вы замечаете в нем.

– Вам случалось видеть его за-просто? вы часто говорили с ним?

– Нет... и только о предметах, касающихся выборов. По временам, он советуется со мною на счет Рандаля Лесли, в котором, как в вашем *protégé*, он принимает большое участие.

– Это также очень удивляет меня. Впрочем, все равно, мне надоели все эти хлопоты. Не нынче, так завтра, я оставлю свое место и отдохну на свободе. Вы видели донесения избирательных комиссий? у меня не достает духу хорошенько рассмотреть их. В самом ли деле выборы так надежны, как все говорят?

– Если Эвенель отстранит своего племянника, и голоса их перейдут на вашу сторону, то вы можете быть уверены в успехе.

– А вы думаете, что племянник его будет устранен? Бедный молодой человек! В такие годы и с такими дарованиями тяжело переносить неудачу.

Одлей вздохнул.

– Я должен оставить вас, если вам неудобно будет передать мне еще чтонибудь, сказал барон, вставая. – Мне множество дела, тем более, что успех еще подлежит некоторому сомнению; для вас же неудача будет сопровождаться...

– Разорением, я это знаю. Но дело в том, Леви, что ваши собственные интересы зависят много оттого, чтобы я не проиграл. Вам еще пришлось бы пожить около меня. Письма, которые яполучил сегодня утром, доказывают, что мое положение достаточно обеспечено совершенною необходимостью поддерживать меня, в которую поставлена моя партия. Потому, всякая новость о расстройстве моих денежных дел не беспокоит меня столько, сколько я ожидал того прежде. Никогда еще моя карьера не была так свободна, как теперь, от всяких потрясений, никогда еще не представляла она такого гладкого пути к вершине честолюбивых замыслов, никогда в дни моей тщеславной щедрости, не был я так спокоен как теперь, приготовившись запереться в маленькой квартирке с одним слугой.

– Мне очень приятно это слышать, и я тем более буду стараться об обеспечении ваших интересов на выборах, что оттого зависит ваша участь. Да, я должен наконец открыть вам....

– Говорите.

– По случаю неожиданного истощения моих денежных средств, я принужден был передать некоторые из ваших век-



селей и других обязательств другому, а этот человек немного скор; если вы не будете ограждены от тюрьмы парламентскою привилегиею, то я не могу ручаться....

– Предатель! вскричал Эджертон, с негодованием, не стараясь скрывать презрение, которое он постоянно питал к ростовщику: – не смей продолжать. Мог ли я в самом деле ожидать чегонибудь лучшего! Вы предвидели мое падение и решились окончательно разорить меня. Не старайтесь оправдаться, сэр, и оставьте меня немедленно!

– Вы убедитесь, что у вас есть друзья хуже меня, сказал барон, отправляясь к двери: – и если вы понесете неудачу, если ваши надежды будут разрушены, то я все-таки еще менее других буду заслуживать осуждения с вашей стороны. Я прощаю вам ваше увлечение и уверен, что завтра вы выслушаете объяснение моих действий, чего теперь вы не в состоянии сделать. Я между тем отправляюсь хлопотать по выборам.

Когда Одлей остался один, мгновенные порывы страсти, казалось, утихли. С быстротой и логическою отчетливостью, которую сообщают человеку занятия общественными делами, он разобрал свои мысли, исследовал причину своих опасений. Самая неугомонная мысль, самое нестерпимое из опасений все-таки были следствием убеждения, что барон выдал его л'Эстренджу.

– Я не в состоянии более выносить этой неизвестности, вскричал наконец Одлей, после некоторого раздумья: – я по-

видаюсь с Гарлеем. При его откровенности, я узнаю по самому звуку его голоса, действительно ли я лишился всяких прав на дружбу людей. Если эта дружба еще не потеряна для меня, если Гарлей сожмет мою руку по-прежнему с юношеским увлечением привязанности, то никакая потеря не заставит меня произнести ни малейшей жалобы.

Он позвонил в колокольчик, слуга, бывший в прихожей, вошел.

– Ступай, спроси, дома ли лорд д'Эстрендж; мне нужно переговорить с ним,

Слуга воротился менее, чем через две минуты.

– Говорят, что милорд занят чем-то особенно важным: он отдал строгое приказание, чтобы его не тревожили.

– Занят! чем, с кем он теперь?

– Он в своей комнате, сэр, с каким-то пастором, который сегодня приехал и обедал здесь. Мне сказали, что он прежде был пастором в Лэнсмере.

– В Лэнсмере... пастором! Его имя... Дэль, не так ли?

– Точно так, сэр, если не ошибаюсь.

– Оставь меня, сказал Одлей изменившимся голосом. – Дэль, человек, который подозревал Гарлея и нарочно приехал, чтоб отыскать меня в Лондоне, который говорил мне о моем сыне и потом показал мне его могилу! теперь он наедине с Гарлеем!

Одлей упал на спинку кресла и едва переводил дыхание. Он закрывал себе лицо руками и сидел в ожидании чего-то

ужасного, как дитя, оставленное в темной комнате.

## Глава СХVI

– Лорд д'Эстрендж, великодушный друг!

– Вы, Виоланта, и здесь? Неужели вы меня ищете? Зачем? Праведное небо, что такое случилось? Отчего вы так бледны и дрожите?

– Вы сердитесь на Гэлен? спросила Виоланта, уклоняясь от ответа, и щеки её покрылись в это время легким румянцем.

– Гэлен, бедное дитя! Мне не за что на нее сердиться, скорее я ей многим обязан.

– А Леонарда, которого я всегда вспоминаю при мысли о моем детстве, вы простили его?

– Прелестная посредница, отвечал Гарлей с улыбкою, но вместе и холодно: – счастлив человек, который обманывает другого; всякий готов защищать его. Если же обманутый человек не в состоянии простить, то никто не извинит его, никто не будет ему сочувствовать.

– Но Леонард не обманывал вас?

– Да, первое время. Это длинная история, которой я не желал бы повторять вам. Но дело в том, что я не могу простить ему.

– Прощайте, милорд! Значит Гэлен слишком дорога вашему сердцу.

Виоланта отвернулась. её волнение было так безыскус-

ственно, самое негодование её так пленительно, что любовь, которой в минуты кипения позднейших мрачных страстей Гарлей так гордо сопротивлялся, снова покорила себе сердце его и только сильнее разожгла бурю в груди его.

– Пойдите, пойдите, только не говорите о Гэлен! вскричал он. – Ах, если бы обида, нанесенная мне Леонардом, была лишь такова, какую вы ее считаете, то неужели вы думаете, что я стал бы негодовать на него? Нет, я с благодарностью пожал бы руку, которая расторгла слишком необдуманый и несродный брак. Я отдал бы Гэлен любимому ею человеку, наделив ее таким приданым, которое соответствовало бы моему состоянию. Но обида, нанесенная им мне, связана с самым рождением его. Покровительствовать сыну такого человека, который... Виоланта, выслушайте меня. Мы скоро расстанемся, и уже навсегда. Другие, может быть, станут осуждать мои действия; по крайней мере вы будете знать, от какого начала они исходят. Из всех людей, которых я когда либо встречал, я был связан дружбою только с одним человеком, которого считал себе более близким, чем брата. В светлую пору моего детства, я увидел женщину, которая очаровала мое воображение, покорила мое сердце. Это была идея красоты, олицетворенная в живом образе. Я полюбил и думал, что любим взаимно. Я доверил тайну моего сердца этому другу; он взялся помогать моим искательствам. Под этим предлогом, он увидался с несчастною девушкою, обманул, опозорил ее, оставив меня в совершен-

ном неведении, что сердце, которое я считал своим, было отнято у меня так вероломно; старался показать мне, что она избегала лишь моих преследований в порыве великодушно-го самоотвержения, потому что она была бедна и низкого происхождения, — что это самоотвержение было слишком тяжело для молодого сердца, которое сокрушилось в борьбе. Он был причиною, что молодость моя протекла в постоянных мучениях раскаяния; он подавал мне руку в порывах лицемерного участия, смеялся над моими слезами и жалобами, не пролив ни одной слезы в память своей жертвы. И вдруг, очень недавно, я узнал все это. В отце Леонарда Ферфильда вы увидите человека, отравившего в зародыше все радости моей жизни. Вы плачете! О, Виоланта! Если бы еще он разрушил, уничтожил для меня прошедшее, я простил бы ему это; но даже и будущее для меня теперь не существует. Прежде, нежели эта измена была открыта мною, я начинал просыпаться от чорствого цепенения чувств, я стал с твердостью разбирать свои обязанности, которыми до тех пор пренебрегал; я убедился, что любовь не похоронена для меня в одной безвестной могиле. Я почувствовал, что вы, если бы судьба допустила это, могли бы быть для моих зрелых лет тем, на что юность моя смотрела лишь сквозь обманчивый покров золотых мечтаний. Правда, что я был связан обещанием с Гэлен; правда, что этот союз с нею уничтожал бы во мне всякую надежду; но одно лишь сознание, что сердце мое не превратилось совершенно в пепел, что я могу снова

полюбить, что эта усладительная сила и преимущество нашего существа еще принадлежат мне, было для меня неизъяснимо утешительно. В это самое время открытие измены поразило меня; всякая правда и истина исчезли для меня во вселенной. Я не связан более с Гэлен, я свободен, как бы в доказательство того, что вы высокое происхождение, ни богатство, ни нежность и предупредительность не в состоянии привязать ко мне ни одно человеческое сердце. Я не связан с Гэлен, но между мною и вашею юною натурою лежит целая бездна. Я люблю, ха, ха, – я, которому прошедшее доказало что для него не существует взаимности. Если бы вы были моею невестою, Виоланта, я оскорблял бы вас постоянно недоверчивостью. При всяком нежном слове, сердце мое говорило бы мне: «долго ли это продолжится? когда обнаружится заблуждение?» Ваша красота, ваши превосходные душевные качества только возбуждали бы во мне опасения ревности; я переносился бы от настоящего к будущему и повторял бы себе: «эти волосы уже покроются сединою, когда роскошная молодость достигнет в ней полного развития. Для чего же я негодую на своего врага и готовлю ему мщение? Теперь я понимаю это; я убедился, что не один призрак мрачного прошедшего тяготил меня. Смотря на вас, я сознаюсь, что это было следствием новой жестокой потери; эта не умершая Нора – это вы, Виоланта, во всем цвете жизни. Не смотрите на меня с таким упреком; вы не в состоянии изменить моих намерений; вы не можете изгнать по-

дозреение из больной души моей. Подите, подите, оставьте мне единственную отраду, которая не знает разочарования – единственное чувство, которое привязывает еще меня к людям, оставьте мне отраду мщения».

– Мщение, о ужас! вскричала Виоланта, положив ему на плечо руку: – но замышляя мщение, вы подвергнете опасности собственную жизнь.

– Мою жизнь, простодушное дитя! Здесь не идет дело о состязании на жизнь или смерть. Если бы я обнажил веред глазами света мои страдания, я доставил бы этим врагу своему случай насмеяться вал моим безразсудством; если бы я вызвал его за дуэль и потом выстрелил на воздух, свет сказал бы: великодушный Эджертон.... благородный человек!

– Эджертон, мистер Эджертон! Он не может быть вашим врагом! Не правда ли, что вы не против него обратили свое мщение? вы всю жизнь свою употребляли на то, чтобы ему благодетельствовать, вы заслужили полную доверенность его, вы не далее как вчера так дружески опирались на плечо его и так радостно улыбались, глядя ему в лицо.

– Неужели? лицемерие – за лицемерие, хитрость – за хитрость: вот мое мщение!

– Гарлей, Гарлей! Перестаньте, прошу вас!

– Если я показываю вид, что содействую его честолюбивым помыслам, то это только для того, чтобы потом втоптать его в грязь. Я избавил его от когтей ростовщика, но с тем, чтобы потом посадить его в тюрьму....



– Стыдитесь, Гарлей!

– Молодого человека, которого он воспитал таким же предателем, как он сам (похвальный выбор вашего отца – Рандаль Лесли), я избрал своим орудием, чтоб показать ему, как тяжело переносить неблагодарность. Его же сын отомстит за свою мать и предстанет пред отцом, как победитель в борьбе с Рандаем Лесли, которая лишит благодетеля и покровителя его всего, что только может усладить жизнь необузданного эгоиста. И если в душе Одлея Эджертона осталось хотя слабое воспоминание о том, чем я был в отношении к нему и к истине, то для него будет не последним наказанием убеждение, что его же вероломство так переродило человека, которому самое отвращение ко лжи и притворству внушило мысль искать в обмане средств к отмщению.

– Не страшный ли сон все это! проговорила Виоланта, приходя в себя: – таким образом вы лишите не одного врага своего всего, что делает жизнь отрадною. Поступите так, как вы задумали, и тогда что ожидает меня в будущем?

– Вас! О, не бойтесь. Я могу доставить Рандалю Лесли случай насмеяться над своим покровителем, но в то же самое время я обнаружу его вероломство и не позволю ему преграждать вам дорогу к счастью. Что ожидает вас в будущем? замужство по выбору, родина, надежда, радость, любовь, счастье. Если бы в тех светлых мечтаниях, которые питают сердце молодой девушки, не слишком, впрочем, прони-

кая в глубину его, вы и подарили меня благосклонною привязанностью, то она скоро исчезнет, и вы сделаетесь гордостью и утешением человека одних с вами лет, человека, которому время не представляет еще признака старости, и который, любуясь на ваше прелестное лицо, не должен будет содрогаться и повторять: «слишком хороша, слишком хороша для меня!»

– Боже мой, какие мучения! воскликнула Виоланта, в сильном порыве страсти. – Выслушайте и меня в свою очередь. Если, как вы обещаете, я избавлюсь от мысли, что человек, к которому я боюсь прикоснуться, имеет право требовать руки моей, то выбор мой сделан уже безвозвратно. Алтарь, который ожидает меня, не есть алтарь земной любви. Но я умоляю вас именем всех воспоминаний вашей, может быть горькой, но до сих пор незапятнанной жизни, именем того великодушного участия, которое вы еще оказываете мне, предоставьте мне право любоваться на вас, как я любовалась с самых первых годов детства. Дайте мне право уважать, почитать вас. Когда я буду молиться внутри стен, которые отделят меня от мира, позвольте мне остаться при убеждении, что вы благороднейшее существо, которым обладает свет. Выслушайте, выслушайте меня!

– Виоланта! проговорил Гарлей, трепеща всем телом от волнения: – представьте себе мое положение. Не требуйте от меня жертвы, которой я не могу, не должен принести вам, которая несовместна с достоинством человека – терпе-

ливо, униженно преклонять голову перед оскорблением, которое мне наносят, страдать с полным сознанием, что вся моя жизнь была отравлена разочарованием в чувствах, которые я считал самыми возвышенными, в горестях, которые были столь дороги моему сердцу. Если бы это был открытый, явный враг, я протянул бы ему руку, по-вашему требованию; но вероломному другу... не просите этого! Я краснею при подобной мысли, как будто от нового тяжкого оскорбления. Позвольте мне завтра, один только день... я не прошу более... позвольте мне обдумать мои намерения, возобновить в памяти всю прошедшую жизнь, и тогда располагайте моим будущим по произволу. Простите меня за дерзкие слова, в которых я выразил недоверие даже к вам. Я отрекаюсь от них; они исчезли, они не существовали при усладительных звуках вашего голоса, они рассеялись при виде ваших очаровательных глаз. У ваших ног, Виоланта, я раскаиваюсь и умоляю о прощении. Ваш отец сам отвергнет вашего презренного претендента. Завтра в этот час вы будете совершенно свободны. О, тогда, тогда, неужели вы не отдадите мне эту руку, которая одна лишь в состоянии привести меня к счастью? Виоланта, вы напрасно будете спорить со мною, сомневаться, разбирать свое положение, бояться за опрометчивость... я люблю, люблю вас. Я снова начинаю верить в добродетель и правду. Я отдаю вам всю судьбу свою.

Если в продолжение этого разговора Виоланта, по видимому, переходила границы девической скромности, то это

должно приписать свойственному ей чистосердечию, привычке к уединению, удалению от света, самой чистоте души её и сердечной теплоте, которою Италия наделяет своих дочерей. Но потом возвышенность помыслов и намерений, которая составляла господствующую черту её характера и искала лишь обстоятельств для полного развития, превозмогла самые порывы любви.

Оставив одну руку в руках Гарлея, который все еще стоял перед нею на коленях, она подняла другую вверх.

– Ах, произнесла она при этом едва слышным голосом: – ах, если бы небо послало мне завидную судьбу принадлежать вам, содействовать вашему благополучию, я никак не побоюсь бы недоверчивости с вашей стороны. Ни время, ни перемены судьбы, ни привычка, ни самая потеря вашей привязанности не лишили бы меня права вспоминать, что вы некогда вверили мне столь благородное сердце. Но... здесь голос её приобрел прежнюю силу и румянец потух на её щеках. – Но Ты, Вездесущий, услышь и прими мои торжественный обет. Если он откажется отречься для меня от намерения, которое опозорит его, этот позор ляжет навсегда между им и мною непреодолимою преградой. И пусть моя жизнь посвященная служению Тебе, прекратится в тот самый час, в который он унизит свое достоинство. Гарлей, разрешите меня! Я сказала все: будучи столь же тверда сколько и вы, я предоставляю выбор вам.

– Вы слишком строго меня судите, сказал Гарлей, вставая,

и с некоторою досадою. – Наконец, я не столь мелочен, чтобы спорить из за того, что я считаю справедливым, хотя бы дело шло о сохранении моей последней надежды на счастье.

– Мелочность! О несчастный, милый Гарлей! вскричала Виоланта, с таким увлечением нежного упрека, что при словах её затрепетали все фибры в сердце Гарлея. – Мелочность! Но от этой-то мелочности я и стараюсь спасти вас. Вы не в состоянии теперь рассуждать хладнокровно, смотреть на вещи с настоящей точки зрения. Вы слишком отклонились от пути правоты и истины: вы носите личину дружбы с тем, чтобы удобнее обмануть, хотите показать вероломство и сами делаетесь предателем, хотите приобрести доверенность вашего злейшего врага и потом превзойти его лицемерием. Но хуже всего то, что из сына женщины, которую вы когда-то любили, вы хотите сделать средство для отмщения отцу.

– Довольно! прервал Гарлей в смущении и с возрастающим негодованием, которому он старался дать полную свободу, чтобы заглушить упреки совести. – Довольно! вы оскорбляете человека, которому только что признавались в уважении.

– Я уважала образ благородства и доблести. Я уважала человека, который в глазах моих представлял олицетворение возвышенных идеалов поэзии. Разружьте этот идеал – и вы разрушите Гарлея, которого я почитала. Он умер для меня навсегда. Я буду оплакивать его, как свойственно любя-

щей женщине, сохраняя воспоминание о нем, лелея любимую мечту о том совершенстве, которого ему не суждено было достигнуть.

Рыдания прерывали её голос; но когда Гарлей, еще более обезоруженный её убеждениями, бросился к ней, она быстро уклонилась, выбежала из комнаты и скоро исчезла из виду в конце коридора...

## Глава СХVII

– Вы видели мистера Дэля? спросил Эджертон у Гарлея, который вошел к нему в комнату. – Вы знаете?...

– Все знаю! отвечал Гарлей, оканчивая начатую фразу.

Одлей глубоко вздохнул.

– Пусть будет так. Но нет, Гарлей, вы ошибаетесь, вы не можете узнать всего ни от кого из живущих на свете, кроме меня самого.

– Я беседовал с мертвыми, отвечал Гарлей и бросил на столь роковой дневник Норы.

Эджертон видел как падали эти ветхие, истлевшие листки. Комната была очень слабо освещена. На расстоянии, в котором он стоял, он не мог узнать почерка, но он невольно содрогнулся и инстинктивно подошел к столу.

– Приготовьтесь хорошенько! сказал Гарлей: – я начинаю свое обвинение и потом предоставлю вам опровергать свидетеля, которого я избрал. Одлей Эджертон, я доверил вам все, что только может человек доверить другому. Вы знали, как я любил Нору Эвенель. Мне было запрещено видеться с нею и продолжать мое искательство. Вы имели к ней доступ, в котором мне было отказано. Я просил вас не делать мне никаких возражений, которые считал тогда лишь признаком особенной привязанности ко мне, просил вас уговорить эту девушку, сделаться моею женою. Так ли это было?

Отвечайте.

– Все это правда, сказал Одлей, держа руку у сердца.

– Вы увидели ту, которую я так пламенно любил, – ту, которую я вверил вашему благородному намерению. Вы воспользовались этим случаем для себя и обманули девушку. Не так ли?

– Гарлей, я не отвергаю этого. Но перестаньте. Я принимаю наказание: я отказываюсь от прав на вашу дружбу, я оставляю ваш дом, я подвергаю себя презрению с вашей стороны, я не смею просить у вас прощения. Но перестаньте, позвольте мне уйти отсюда, теперь же!..

При этом Одлей, по видимому, одаренный могучею натурою, едва дышал.

Гарлей посмотрел на него с невозмутимой твердостью, потом отвернулся и продолжал:

– Да... но все ли это? Вы похитили ее для себя, обольстили ее. Что же потом вы сделали из её жизни, оторвав ее от моей? Вы молчите. Я отвечу за вас: вы завладели этою жизнью и разрушили ее.

– Пощадите, пощадите меня!

– Какая участь постигла девушку, которая казалась такою чистою, непорочною, полною жизни, когда я видел ее в последний раз? Что осталось от неё? Растерзанное сердце, обесславленное имя, ранняя смерть, забытая могила.

– О, нет, не забытая, нет!

– В самом деле! Едва прошел год, как вы женились на дру-



гой. Я помогал вам устроить эту свадьбу, с целию, между прочим, поправить ваше состояние. У вас было уже блестящее общественное положение, власть, слава. Перы называли вас образцом для английских джентльменов. Духовные люди считали вас истинным христианином. Снимите с себя маску, Одлей Эджертон, покажите себя свету таким, каков вы на самом деле.

Эджертон поднял голову и кротко сложил руки; он сказал с грустным смирением:

– Я все перенесу от вас, вы правы; продолжайте.

– Вы похитили у меня сердце Норы Эвенель. Вы оскорбили, бросили ее. И память о ней не помрачала для вас дневного света, тогда как все мысли мои, вся жизнь моя... о, Эджертон... Одлей, Одлей, как вы могли обмануть меня таким образом!.. Обмануть не за один час, не на один день, обманывать в течение всей моей молодости, в пору зрелых лет, так рано начавшихся для меня... заставить терзаться раскаянием, которое должно было пасть на вас. её жизнь уничтожена, моя лишена всякой отрады. Неужели мы оба не будем иметь возможности отмстить за себя?

– Отмстить? Ах, Гарлей, вы уже отмщены.

– Нет отмщение еще ожидает меня. Не напрасно дошли до меня из гробового склепа воспоминания, которые я только что повторил пред вами. И кого же судьба избрала для того, чтобы разоблачить проступки матери? кого назначила быть её мстителем? Вашего сына, вашего собственного сына,

несчастливого, забытого, лишенного честного имени!

– Сына!

– Сына, которого я избавил от голодной смерти, а может быть и от чегонибудь худшего, и который за это доставил мне несомненные доказательства того, что вы вероломный друг Гарлея л'Эстренджа и низкий оболъститель – под видом мнимого брака, что еще унизительнее открытого проступка – низкий оболъститель Норы Эвенель.

– Это ложь, это ложь! вскричал Эджертон, к которому возвратились в это время вся его твердость, вся энергия. Я запрещаю вам говорить мне таким образом. Я запрещаю вам хотя одним словом оскорбить память моей законной жены!

– А, произнес Гарлей, с удивлением:– это ложь! докажите, что вы говорите правду, и я отрекаюсь от своего мщения! Благодарение Богу!

– Доказать это! Неужели вы думаете, что это так легко. Я нарочно уничтожал всякую возможность доказательства по чувству привязанности к вам, из опасения, может быть слишком самолюбивого – потерять право на ваше уважение, которым я так гордился. Напрасная надежда! Я отказываюсь от неё! Но вы начали говорить о сыне. Вы опять обманываетесь. Я слышал, что у меня был сын, много лет тому назад. Я искал его и нашел только могилу. Во всяком случае, благодарю вас, Гарлей, что вы оказали помощь тому, в ком видели сына Леоноры.

– О сыне вашем мы поговорим после, сказал Гарлей, заметно смягчаясь; – прежде нежели я сообщу вам некоторые сведения о его жизни, позвольте мне попросить у вас необходимых объяснений, позвольте мне надеяться, что вы в состоянии загладить....

– Вы правы, сказал Эджертон, прерывая его с особенною живостью. – Вы узнаете наконец непосредственно от меня до какой степени велика была обида, нанесенная вам мною. Это необходимо для нас обоих. Выслушайте меня терпеливо.

Эджертон рассказал все, рассказал про свою любовь к Норе, про свою борьбу с мыслию об измене другу, про неожиданное убеждение в любви Норы к нему, про совершенное изменение вследствие того прежних предположений, про их тайный брак и самую разлуку, про бегство Норы, причиною которого Одлей выставлял её неосновательные опасения, что будто брак их не был законным, и нетерпение, с которым она желала скорейшего объявления о их супружестве.

Гарлей прерывал его лишь изредка немногими вопросами; он стал вполне понимать, в какой степени Леви участвовал в расстройстве благополучия супругов; он угадывал, что истинною причиною предательства ростовщика была преступная страсть, которую внушала ему несчастная девушка.

– Эджертон, сказал Гарлей, едва удерживая порывы негодования против презренного Леви: – если читая эти бумаги, вы убедитесь, что Леонора была более, чем вы думаете, пра-

ва, подозревая вас и убежав из вашего дома, если вы откроете измену со стороны человека, которому вы вверили свою тайну, то предоставьте самому небу наказать его за вероломство. Все, что вы мне рассказываете, убеждает меня более и более, что мы никогда не выйдем здесь из мрака сомнений и догадок, а потому не в состоянии будем с точностью определить план наших действий. Но продолжайте.

Одлей казался удивленным и вздрогнул; глаза его с беспокойством обратились к страницам дневника; но после некоторого молчания, он продолжал рассказ свой. Он дошел до неожиданного возвращения Норы в родительский дом, её смерти, необходимости, в которую он был поставлен скрыть эту ужасную весть от впечатлительного Гарлея. Он говорил о болезни Гарлея, которая могла принять очень серьёзный характер, повторял высказанные им слова ревности: «что он скорее согласился бы оплакивать смерть Норы, чем утешаться мыслию, что она любила другого». Он рассказал о своем путешествии в деревню, куда, по словам мистера Дэля, ребенок Норы был отдан на воспитание, и где он услышал, что мать и сын в одно время сошли в могилу.

Одлей опять помолчал с минуту, возобновляя в уме своем все сказанное им. Этот холодный, суровый человек, принадлежащий свету, в первый раз разоблачил свое сердце, может быть, сам того не подозревая – неподозревая, что он обнаружил, как глубоко, посреди государственных забот и успехов на поприще административном, он сознавал недостаток

в себе всякой привязанности, сознавал, как безотраднa была внешняя сторона его жизни, известная под именем «карьер» – как самое богатство теряло для него всякую цену, потому что некому было его наследовать. Только о своей постоянно усиливающейся болезни он не сказал ни слова; он был слишком горд и слишком мужествен, чтобы вызывать сострадание к своим физическим недугам. Он напомнил Гарлею, как часто, как настоятельно, всякий год, всякий месяц, он убеждал своего друга освободиться от печальных воспоминаний, посвятить свои блестящие способности на пользу отечества или искать еще более прочного счастья в домашней жизни. «Сколько я ни казался самолюбивым при подобных убеждениях, – сказал Эджертон – но в самом деле я употреблял их потому более, что, видя вас возвращенным к упроченному благополучию, я мог бы с уверенностью передать вам мои объяснения в поступках прошлого времени и вместе получить прощение в них. Я постоянно собирался сделать пред вами мое признание и все не смел; часто слова готовы были сорваться с уст, но всегда какая нибудь фраза, жалоба с вашей стороны удерживали меня от этого. Одним словом, с вами были так тесно связаны все идеи, все чувства моей молодости, даже те, которые я испытал, посетив могилу Норы, что я не мог принудить себя отказаться от вашей дружбы и, заслужив уважение и почести света, о котором я мало заботился, я не имел довольно твердости, чтобы идти навстречу презрению, которого должен был ожидать от вас.»

Во всем, что Одлей произносил пред тень, заметна была борьба двух господствующих чувств: – полная раскаяния горесть о потере Норы и строгая к самой себе, почти женская нежность к другу, которого он обманул. Таким образом, по мере того, как он говорил, Гарлей мало по малу забывал о своем порыве мщения и ненависти: бездна, которая раскрылась было между ними, чтобы потом поглотить обоих, только теснее заставила потом их подойти друг к другу, как в дни их детства. Но Гарлей по-прежнему молчал, закрыв лицо руками и отвернувшись от Одлея, как будто под влиянием какого-то рокового сна, пока наконец Эджертон не обратился к нему с вопросом:

– Что же, Гарлей, я кончил. Вы говорили о мщении?

– О мщении? повторил Гарлей машинально и в сильном волнении.

– Поверьте мне, продолжал Эджертон:– что еслибы вы были в состоянии отмстить мне, я принял бы отмщение это как милость с вашей стороны. Получить обиду в воздаяние за то, что сначала по юношеской страсти, потом по нерешительности сделать признание, я нанес вам, значило бы для меня примириться с своею совестью и возвыситься в собственном мнении. Единственная месть, которую вы можете предпринять, получит самую унижительную для меня форму; отмстить в этом случае значит простить.

Гарлей простонал; закрыв одною рукою лицо, он протянул другую, скорее, как будто испрашивая прощения, чем даруя

его. Одлей взял его руку и с чувством пожал ее.

– Теперь прощайте, Гарлей. С рассветом я оставляю этот дом. Я не могу теперь принять с вашей стороны помощь в настоящих выборах. Леви объявит о моем отказе. Рандаль Лесли, если вам это будет угодно, может занять мое место. У него есть способности, которые под хорошим руководством, могут принести пользу отечеству, и я не имею никакого права пренебрегать чем бы то ни было для возвышения карьеры человека, которому обещал помогать.

– Не думайте слишком много о Рандале Лесли, проговорил Гарлей:– подумайте лучше о вашем сыне.

– Моем сыне! Но уверены ли вы, что он жив? вы улыбаетесь, вы... вы... о, Гарлей, я отнял у вас мать, отдайте мне сына, заставьте меня благодарить вас. Ваша месть готова.

Лорд л'Эстрендж вдруг опомнился, выпрямился, посмотрев на Одлея с минуту в нерешимости, не от негодования, но по чувству скромности. В это время он казался человеком, который смиренно ожидает упрёка, который умоляет о прощании. Одлей, не угадывая, что происходит в душе Гарлея, отвернувшись, продолжал.

– Вы думаете, что я прошу слишком многого, и между тем все, что я могу дать сыну любимой женщины и наследнику моего имени, есть одно лишь благословение раззорившегося отца. Гарлей, я не хочу сказать ничего более. Я не смею присовокупить: «вы тоже любили его мать, любили более глубокой и благородной любовью, чем была моя...». Он вдруг

остановился, и в эту минуту Гарлей упал к нему на грудь.

– Прости, прости меня, Одлей! Твоя обида ничтожна по сравнению с моею. Ты мне признался в своей, между тем у меня не достанет духу признаться в моей. Порадуйся, что нам обоим приходится прощала друг друга, и в этом обмене чувств мы по-прежнему делаемся равными, по-прежнему становимся братьями. Посмотри хорошенько, представь себе, что мы теперь такие же мальчики, какими были некогда, – мальчики, которые только что сильно повздорили, но которые по окончании ссоры тем дружелюбнее расположены один к другому.

– О, Гарлей, вот истинное отмщение! Оно вполне достигает своей цели, произнес Эджертон, и слезы готовы были брызнуть из глаз его, которые равнодушно посмотрели бы на орудия пытки. Пробили часы; Гарлей бросился вон и из комнаты.

– Еще время не потеряно! вскричал он. Многое нужно сделать и переделать. Ты спасен от сетей Леви – ты должен получить перевес на выборах, состояние твое к тебе возвратится, пред тобой лежит блестящая будущность, твоя карьера только что начинается. Твой сын обнимет тебя завтра. Теперь позволь мне отправиться – руку на прощание! Ах, Одлей, мы можем еще быть очень счастливы!



## Глава CXVIII

Пока Гарлей проводит часы ночи в заботах о живущих, Одлей Эджертон беседовал с мертвыми. Он взял из связки бумаг, лежавших на столе, исповедь давно умолкшего сердца Норы. С горьким удивлением увидел он, как он некогда был любим. В состоянии ли было все то, что содействовало возвышению государственного человека, что содействовало видам его честолюбия, вознаградить его за понесенную им потерю – эти причудливые мачты пылкого воображения, этот мир отрадных ощущений, это беспредельное блаженство, заключенное в возвышенной сфере, которая соединяет генияльность с нежною любовью? Его положительная, привязанная к земному натура в первый раз, как будто в наказание самой себе, получила полное понятие о светлой, неуловимой горстке неба, которая некогда смотрела на него с усладительною улыбкою сквозь темничные решетки его черствой жизни; эта изысканность чувств, эта роскошь помыслов, которая согревается разнообразием идей прекрасного – все, чем некогда он владел, то от чего с досадою и нетерпением отворачивался, как от пустых представлений расстроенного и сантиментального воображения – теперь, когда это было для него потеряно, явилась ему как осязательная истина, как правда, неподверженная решению и недопускающая недоверия. В самых заблуждениях его была своя отрад-

ная сторона действительности. Когда ученый говорит вам, что блестящая лазурь, покрывающая небесный свод, не лежит именно на той поверхности, на которой представляется вашему глазу, что это обман зрения, мы верим ему; но отнимите этот колорит у воздушного пространства и тогда какая философия убедит вас, что вселенная не понесла потери?

Но когда Одлей дошел до того места, которое, хотя и не вполне ясно, представляло истинную причину побега Норы, когда он увидел, как Леви, по необъяснимой для него причине, нарочно внушал жене его сомнения, которые так оскорбляли его, уверял ее, что брак их недействителен, приводя в доказательство собственные письма Одлея, исполненные горечи и досады, пользовался неопытностью молодой женщины в практических делах и приводил ее в совершенное отчаяние, представляя ей картину понесенного ею позора, чело его помрачилось и руки затрепетали от бешенства. Он встал и тотчас же отправился в комнату Леви. Он нашел ее пустою, стал спрашивать – узнал, что Леви нет дома, и что он не воротится к ночи. К счастью для Одлея, к счастью для барона, они не встретились в эту минуту. Мщение, несмотря на убеждения друга, точно так же овладело теперь всем существом Эджертона, как за несколько часов до того бушевало в сердце Гарлея; но теперь никакая сила не была бы в состоянии отклонить его.

На следующее утро, когда Гарлей пришел в комнату друга своего, Эджертон спал. Но сон его казался очень тревож-

ным; дыхание было тяжело и прерывисто; его мускулистые руки и атлетическая грудь были почти обнажены. Странно, что сильный недуг, таившийся внутри этого организма, до такой степени мало обнаруживался, что для постороннего наблюдателя спящий страдалец показался бы образцом здоровья и силы. Одна рука его лежала под подушкой, судорожно сжав листки рокового дневника и там, где буквы рукописи были стерты слезами Норы, были свежие следы других слов, может быть еще более горьких.

Гарлей был глубоко поражен; пока он стоял у постели в молчании, Эджертон тяжело вздохнул и проснулся. Он окинул комнату мутным, блуждающим взором, потом, когда глаза его встретились с глазами Гарлея, он улыбнулся и сказал:

– Так рано! Ах, вспомнил: сегодня день, назначенный для гонки. Ветер как видно будет противный; но мы с тобой, кажется, никогда не проигрывали пари?

рассудок Одлея помрачился; воображение его перенеслось ко времени пребывания их в Итоне. Но Гарлей понял, что Одлей метафорически намекает на предстоящий бой на выборах.

– Правда, мой милый Одлей, мы с тобой никогда не проигрывали. Но ты намерен встать теперь? Я бы желал, чтобы ты теперь же отправился в залу выборов, чтобы успеть переговорить с избирателями до начала собрания. В четыре часа ты выйдешь оттуда, выиграв сражение.

– Выборы! Как! что! вскричал Эджертон, приходя в себя. – А, теперь помню; да, я принимаю от тебя эту последнюю милость. Я всегда говорил, что мне суждено умереть, нося парламентскую мантию. Общественная жизнь... у меня нет другой. Ах, я мое еще говорю под влиянием какого-то бреда. О, Гарлей!.. сын мой! где мой сын!

– Ты увидишь его после четырех часов. Вы будете гордиться друг другом. Но одевайся поскорее. Не позвонить ли в колокольчик, чтобы пришел твой человек?

– Позвони, сказал Эджертон отрывисто и упал на подушки. Гарлей оставил его комнату и присоединился к Рандалю и некоторым другим главнейшим членам Синего Комитета, которые шумно разговаривали в это время за завтраком.

Все были в сильном беспокойстве и волнении кроме Гарлея, который очень хладнокровно обмакивал в свой кофей кусок обжаренного хлеба. Рандаль напрасно старался казаться покойным. Хотя он и был уверен в успехе на выборах, но ему предстояло употребить в дело все способности своего необычайного лицемерия. Ему нужно было казаться глубоко огорченным во время порывов самой необузданной радости, нужно было сохранять вид приличного обстоятельством сожаления о том, что какими-то странными причудами судьбы, переворотами происшествий, выигрыш Рандалья Лесли был неразлучен с потерей Одлея Эджертона. Кроме того он горел нетерпением увидеть скорее сквайра и получить деньги, которые должны были усвоить ему самый драгоценный пред-

мет его честолюбия. Завтрак был скоро кончив; члены Комитета, взявшись за шляпы и посмотрев на часы, дали знак к отъезду; но сквайр Гэзельден все еще не являлся. Гарлей, выйдя на террасу, позвал Рандаля, который, надев шляпу, последовал за ним.

– Мистер Лесли, сказал Гарлей, прислонившись к перилам и глядя большую, неуклюжую голову Нерона: – вы помните, что вы раз вызывались объяснить мне некоторые обстоятельства, касающиеся графа Пешьера, которые вы сообщили герцогу Серрано; я отвечал вам в то время, что был занят делами выборов, но что по окончании их и с большим удовольствием выслушаю все, относящееся к вам и к моему искреннему другу герцогу.

Эти слова удивили Рандаля и несколько не содействовали успокоению его нервов. Впрочем, он отвечал поспешно.

– В отношении этих обстоятельств, равно как и в отношении всего, что может условливать ваше мнение обо мне, я поспешу устранить всякую мысль, которая в ваших глазах могла бы бросать тень на мою репутацию.

– Вы говорите прекрасно, мистер Лесли; никто не в состоянии поспорить с вами в уменьи выражаться; тем более я хочу воспользоваться вашим предложением, что герцог чрезвычайно огорчен отказом дочери выполнить данное им обещание. Я могу гордиться некоторого рода влиянием на молодую девушку, приняв деятельное участие в расстройстве замыслов Пешьера, и герцог заставляет меня выслушать ва-

ши объяснения, с тою целию, что если они удовлетворят меня точно так же, как удовлетворили его, я стал бы убеждать дочь его принять предложения претендента, который готов был пожертвовать даже жизнью на поединке с таким страшным дуэлистом, каков Пешьера.

– Лорд л'Эстрендж, отвечал Рандаль, с поклоном: – я в самом деле чрезвычайно много буду вам обязан, если вы уничтожите в коей невесте предубеждение против меня, предубеждение, которое одно лишь помрачает мое счастье и которое совершенно положило бы предел моему искательству, если бы я не принимал его слишком далеким и принужденным отношениям между мною и невестою.

– Никто не сумел бы выразиться лучше этого, повторил Гарлей, как будто под влиянием глубокого удивления, и между тем рассматривая Рандаля, как мы рассматриваем какуюнибудь редкость. – Я однако так несчастлив, что должен объявить вам, что если вы женитесь на дочери герцога Серрано....

– Что же тогда? спросил Рандаль.

– Извините, что я позволю себе делать предположение, вероятность которого вы можете определить сами; я выразился несовсем удачно:– *когда* вы женитесь на этой молодой девушке, вы избегнете по крайней мере подводных камней, на которые часто попадали и о которые разбивалась многие пылкие юноши по окончании бурного странствования по морю жизни. Ваш брак нельзя будет назвать неблагоприятным.

Одним словом, я вчера получил из Вены депешу, которая заключает в себе совершенное прощение и полное восстановление прав Альфонсо герцога Серрано. Я должен к этому присовокупить, что австрийское правительство (которого действий здесь не всегда понимаются надлежащим образом) руководствуется всегда существующими законами и не станет воспрещать герцогу, восстановленному однажды в правах, выбирать себе зятя по усмотрению или передать имение свое дочери.

– И герцог знает уже об этом? вскричал Ранлаль, при чем щоки его покрылись ярким румянцем и глаза заблестели.

– Нет. Я берегу эту новость вместе с некоторыми другими до окончания выборов. Странно, что Эджертон заставляет ждать себя так долго. Впрочем, вот идет слуга его.

Человек Одлея подошел.

– Мистер Эджертон очень дурно себя чувствует, милорд; он просит извинения, что не может сопутствовать вам в город. Он явится позднее, если его присутствие будет необходимо.

– Нет. Передай ему, что он может остаться дома и успокоиться. Мне хотелось только, чтобы он был свидетелем собственного торжества – вот и все. Скажи, что я буду представлять его особу на выборах. Господа, готовы ли вы? Пойдемте.

## Глава СХІХ

В сумерки, когда уже стало значительно темнеть, Рандаль Лесли шел через Лэнсмер-Парк к дому. Об удалился с выборов прежде окончания их, перешел луга и вступил на дорогу между лишенными листьев кустарниками пастбищ графа. Посреди самых грустных мыслей, теряясь в догадках, каким образом постигла эта неожиданная неудача приписывая ее влиянию Леонарда на Эвенеля, но подозревая Гарлея, даже самого барона Леви, он старался припомнить, какую ошибку он сделал против правил благоразумия, какой план хитрости позабыл привести в дело, какую нить своих сетей оставил недоплетенною. Он не мог придумать ничего подобного. Опытность и такт его казались ему безукоризненными, в своих собственных глазах он был *totus, teres atque rotundus*. Тогда в груди его зашевелилось другое, еще болея острое жало – жало чувствительнее уязвленного самолюбия – сознание, что он был перехитрен, обманут, одурачен. Истина до такой степени сродни человеку, до такой степени необходима для него, что самый низкий изменник изумляется, оскорбляется, видит расстройство в порядке вещей, когда измена, предательство получают над ним перевес.

– И этот Ричард Эвенедь, которому я так вверялся, мог обманут меня! проворчал Рандаль, и губы его задрожали от негодования.



Он был еще посреди парка, когда человек с желтою кокардой на шляпе, бежавший по направлению из города, подал ему письмо и потом, не дожидаясь ответа, пустился опять в обратный путь.

Рандаль узнал на адресе руку Эвенеля, разломал печать и прочитал следующее

*Конфиденциально.*

«Любезный Лесли, не унывайте: сегодня вечером или завтра вы узнаете причины, заставившие меня переменить мое мнение; вы убедитесь, что, как семейный человек, а не мог поступить иначе, как поступил. Хотя я не нарушил слова, данного вам, потому что вы, конечно, помните, что обещанная мною помощь вам зависела от моего собственного отказа и не могла иметь места при отказе со стороны Леонарда, но все-таки я предполагаю, что вы считаете себя обманутым. Я принужден был пожертвовать вами, по чувству долга семьянина, как вы в том скоро сами убедитесь. Мой племянник также пожертвовал собою; я не смотрел тут на свои собственные выгоды. Мы испытываем одну общую участь. Я не намерен оставаться в Парламенте. Если вы успеете поладить с Синими, я постараюсь действовать на Желтых так, чтобы пустить вас вместо себя. Я не думаю, чтобы Леонард стал в этом случае соперничествовать. Таким образом, поведем дело умненько, и вы еще можете быть депутатом за Лэнсмер.

«Р. Э.»

В этом письме Рандаль, несмотря на всю свою проницательность, не заметил откровенных признаний писавшего. Он в первую минуту обратил внимание только на худшую сторону предмета и вообразил, что это была жалкая попытка утишить его справедливое негодование и заставить его быть скромным. Между тем все-таки необходимо было сообщить положение дела, собрать рассеянные мысли, призвав на помощь мужество, присутствие духа. Сквайр Гэзельден, без сомнения, ожидает его, чтобы отдать ему деньги на землю Руда, герцог Серрано восстановлен во всех правах своих и снова владеет огромным состоянием, ему обещана рука девушки, богатой наследницы, которая соединяет в себе все, что может возвысить бедного джентльмена и поставить его на видное положение. Постепенно, с тою гибкостью рассудка, которая составляет принадлежность систематического интриганта, Рандаль Лесли отказался от выполнения замысла, который потерпел неудачу и решился приступить в изобретению других планов, которые, по его мнению, были очень близки к успеху. Наконец, если бы ему не удалось снова приобрести расположение Эджертона, то зато и Эджертон не мог принести ему теперь существенной пользы. рассуждая таким образом с самим собою и придумывая как бы устроить дела свои к лучшему, Рандаль Лесли переступил порог дома Лэнсмеров и в зале увидел барона, который дожидался его.

– Я не могу до сих пор понять, что за чепуха происходила

на этих выборах. Меня удивляет в особенности л'Эстрендж; я знаю, что он ненавидит Эджертона, и я уверен, что он выкажет эту ненависть не тем, так другим образом. Впрочем, счастливы вы, Рандаль, что обеспечены деньгами Гезельдена и приданым вашей невесты, иначе...

– Иначе что же?

– Я умываю руки в отношении к вам, *mon cher*, потому что несмотря на вашу пронизательность, несмотря на все то, что я старался сделать для вас, я начинаю подозревать, что одними своими дарованиями вы не доставите себе обеспеченное положение. Сын плотника побеждает вас в публичном прении, а необразованный мельник ловит вас в свои сети в частной переписке. Говоря вообще, Рандаль, вы везде терпите неудачу. А вы сами же раз как-то прекрасно выразились, что человек, от которого нам нечего надеяться, или которого нечего бояться, все равно что не существует для нас.

Ответ Рандалья был прерван появлением грума.

– Милорд теперь в гостиной и просит вас и мистера Лесли пожаловать к нему. Оба джентльмена последовали за слугою вверх по широким лестницам.

Гостиная составляла центральную комнату в ряду других. По своему убранству и своим размерам она назначалась для приема только в чрезвычайных случаях. Она имела холодный, строгий характер комнаты предназначенной для церемоний.

Риккабокка, Виоланта, Гелен, мистер Дэль, сквайр Гэ-

зельден и лорд л'Эстрендж сидели вокруг мраморного флорентинского стола, на котором не было ни книг, ни дамской работы, ни других отрадных признаков присутствия и деятельности членов семьи, всегда сообщающих дому жизнь и одушевление; на нем стоял только большой серебряный канделябр, который едва освещал просторную комнату и как будто сводил в одну группу и висевшие на стенах портреты, которые так выразительно смотрели на всякого, кто случайно взглядывал на них.

Лишь только Рандаль вошел, сквайр отделился от общества и, подойдя к побежденному кандидату, ласково пожал ему руку:— Не унывай, молодой человек; быть побежденным вовсе нестыдно. Лорд л'Эстрендж говорит, что ты сделал все, чтобы успеть в своем предприятии, а большего нельзя и требовать от человека. Я очень доволен, Лесли, что мы не приступали к нашему делу до окончания выборов, потому что после неудачи все, хоть скольконибудь соответствующее нашим желаниям, кажется нам вдвое приятнее. Деньги, о которых я тебе говорил, у меня в кармане. Представь себе, мой милый друг, что я решительно не знаю, где теперь Франк; я думаю, что он наконец развязался с этой иностранкой? а?

— Я тоже думаю. Я хотел еще с вами поговорить об этом наедине. Мне кажется, что вам можно теперь же отсюда обратиться.

— Я открою тебе наш тайный план, который мы устраива-

ем с Гэрри, сказал сквайр шепотом:— мы хотим выгнать эту маркизу, или кто она такая, у мальчика из головы и вместо её представить ему прекрасную девушку англичанку. Это заставит его остепениться. Гэрри несколько круто ведет это дело и так строго обращается с бедным мальчиком, что я принужден был принять его сторону а я не привык быть под жениным башмаком – это не в характере Гэзельденов. Но обратимся к главному предмету: кого бы ты думал я прочу ему в невесты?

– Мисс Стикторейтс!

– Э, Боже мой, нет! твою маленькую сестрицу, Рандаль. Славная рожица, Гарри всегда особенно ее любила; притом же ты сделаешься братом Франку, будешь своим здравым рассудком и добрым сердцем направлять его на путь истинный. И как ты тоже собираешься жениться (ты мне должен все рассказать касательно своих намерений), то у нас, может быть, будут две свадьбы в один и тот же день.

Рандаль схватился за руку сквайра, в порыве чувства благодарности, потому что, холодный и равнодушный ко всему, он, как мы знаем, сохранил привязанность к своей падшей фамилии; его сестра, заброшенная всеми, была можно сказать единственным существом на земле, которое он хоть скольконибудь любил. Несмотря на все пренебрежение, которое он, по рассудку, питал к простому и честному Франку, он все-таки понимал, что сестра его ни с кем не может быть так счастлива, как с этим человеком. Но прежде, неже-

ли он успел отвечать, отец Виоланты поспешил присовокупить с своей стороны одобрительные отзывы о намерении сквайра.

При этих знаках внимания со стороны Гэзельдена и герцога Рандаль ободрился. Несомненно было, что лорд л'Эстрендж не вселил в них неблагоприятного для него впечатления ращказов о поступках его в собрании комитета. Пока Рандаль был занят таким образом, Леви подошел к Гарлею, который подозвал его потом в амбразуру окна.

– Что вы скажете, милорд; вы понимаете поступок Ричарда Эвенеля? Он поддерживает Эджертона! он....

– Что же может быть натуральнее этого, барон Леви? поддерживает своего зятя.

Барон вздрогнул и побледнел.

– Но как же он узнал об этом? Я никогда не говорил ему. Я хотел правда....

– Хотели, вероятно, уязвить напоследок самолюбие Эджертона провозглашением о женитьбе его на дочери лавочника, не так ли? Прекрасное мщение, вполне достойное вас! Но за что вы стараетесь ему отомстить? Мне нужно еще сказать с вами, барон, два-три слова, потому что знакомство наше скоро совсем превратится. Вы знаете причину моего неудовольствия к Эджертону. Не объясните ли и вы мне, почему вы его ненавидите?

– Милорд, милорд, произнес барон Леви дрожащим голосом: – я тоже сватался к Норе Эвенель; я тоже встретил

соперника в высокомерном джентльмене, который не умел ценить своего собственного счастья. Я тоже... одним словом... есть женщины, которые внушают любовь, наполняющую все существо человека, неразрывную со всеми действиями его, со всеми движениями души его. Нора Эвенель была для меня подобною женщиною.

Гарлей изумился. Проявление чувства в человеке столь испорченном и склонном к цинизму ослабило презрение, которой он питал всегда к ростовщику. Леви скоро пришел к себя.

– Но наше мщение еще не потеряно, продолжал он. – Если Эджертон теперь не в моих руках, зато совершенно в вашей власти. Избрание его в новую должность, конечно, ограждает его от тюремного заключения, но в законе есть другие средства к публичному посрамлению и лишению прав.

– И вы, гордясь любовью к Норе Эвенель, зная, что вы были разрушителем её счастья, присутствовав при самой свадьбе их, – вы еще осмеливались утверждать, что она была обесчещена!

– Милорд... я... как вы могли узнать... мне кажется... как вы могли подумать это... пролепетал Леви едва слышным голосом.

– Нора Эвенель вещала к людям из самой могилы, произнес Гарлей торжественно. – Будьте уверены, что где бы человек ни совершил преступление, небо посылает всегда свидетеля.

– Так значит вы на меня обращаете теперь свою месть, сказал Леви, невольно содрогаясь под влиянием суеверного чувства: – я должен ей поклониться. Но я исполнял свое дело. Я повиновался вашим приказаниям.... и...

– Я выполню также все обещания и оставлю вас спокойно пользоваться вашими деньгами.

– Я всегда был уверен, что могу полагаться на ваше честное слово, милорд, вскричал ростовщик в порыве робкой угодливости.

– И это низкое существо питало одну и ту и страсть со мною; не далее как вчера мы были участниками в одном и том же деле, действовали под влиянием одной общей мысли, повторял Гарлей самому себе. – Да, произнес он громко:– я не смею, барон Леви, быть вашим судьей. Идите своею дорогою.... все дороги имеют под конец один общий исход – общее судилище. Но вы еще не совершенно освободились от участия в наших планах, вы должны сделать доброе дело против желания. Посмотрите туда, где Рандаль, беспечно улыбаясь, стоят между двух опасностей, которые сам вызвал на себя. Так как он избрал меня своим судьей и назначил вас свидетелем на нынешний день, то я намерен привести виновного в суд.... обиженный здесь и требует защиты.

Гарлей отвернулся и занял прежнее место у стола.

– Я желал, сказал он, возвыся голос: – чтобы торжество моего старинного и искреннего друга было упрочено в одни время с счастьем людей, в которых я также прими ме-



ло живое участие. Вам, Альфонсо, герцог Серрано, я передаю эту депешу, полученную вчера вечером с нарочным курьером от принца и возвещающую о восстановлении ваших прав на имения и на почести.

Сквайр привстал с своего места с разинутым ртом.

– Риккабокка... герцог? Так значит, Джемима герцогиня! Вот славно: теперь к ней не подступайся.

Между тем он бросился к своей кухне и нежно облобызал её.

Виоланта взглянула на Гарлея и потом упала к отцу на грудь. Рандаль невольно приподнялся со стула и подошел к герцогу.

– Что касается до вас, мистер Рандаль Лесли, продолжал Гарлей: – то хотя вы и потеряли дело на выборах, но у вас в виду такая блестящая перспектива богатства и счастья, что мне остается только принести вам мои усердные поздравления, пред которыми отзвывы, получаемые мистером Одлеем Эджертоном, покажутся бледными и приторными. Впрочем, вы прежде всего должны доказать, что не потеряли право на те преимущества, которыми герцог Серрано обещал мужу своей дочери. Так как я имел некоторые причины сомневаться в благонамеренности ваших действий, то вы сами вызвались уже рассеять мое сомнение. Я получил от герцога позволение предложить вам несколько вопросов и теперь я бы желал воспользоваться вашим согласием отвечать на них.

– Теперь... здесь, милорд? произнес Рандаль, с недоумением оглядывая комнату и как будто испугавшись присутствия стол многочисленных свидетелей.

– Теперь и здесь. Лица, присутствующие здесь, не столь чужды объяснениям, которых мы ожидаем от вас, как можно бы подумать, видя ваше удивление. Мистер Гэзельден, представьте себе, что многое, о чем я намерен говорить мистеру Лесли, касается вашего сына.

Уверенность Рандалья в самом себе исчезла; невольный трепет пробежал по его телу.

– Моего сына... Франка? Конечно Рандаль не задумается говорить о нем. Говори скорее, мой милый.

Рандаль молчал. Герцог посмотрел на лицо его, носившее следы самого сильного волнения и потом повернулся в другую сторону.

– Молодой человек, отчего же вы медлите? сомнение, возбужденное нами, касается вашей чести.

– Что за чудо! вскричал сквайр с удивлением, вглядываясь в блуждающие глаза и дрожащие губы Рандалья. – Чего ты испугался?

– Я испугался? отвечал Рандаль, принужденный говорить и стараясь скрыть свое замешательство глухим смехом: – испугался? Чего же? Я только удивляюсь тому, что подозревает лорд л'Эстрендж.

– Я разом отстраню всякую причину к удивлению. Мистер Гэзельден, ваш сын первоначально навлек на себя ваше

неудовольствие намерением жениться, против вашего согласия, на маркизе ди-Негра, потом векселем, данным им барону Леви с обеспечением его своим будущим наследством. Не случилось вам слышать от мистера Рандаля Лесли, одобрял или осуждал он эту женитьбу.... помогал или противодействовал даче векселя?

– Как же, разумеется, он был против того и другого, вскричал сквайр с жаром.

– Так ли это, мистер Лесли?

– Милорд.... я.... я.... моя привязанность к Франку и мое уважение к его почтенному родителю... я.... я.... (он принудил себя и продолжал твердым голосом). Вообще я делал все, что мог, чтобы отсоветовать Франку жениться; что же касается данного им посмертного обязательства, то об этом я решительно ничего не знаю.

– Об этом пока довольно. Я перехожу к более важному обстоятельству, касающемуся вашего искательства руки дочери герцога Серрано. Я узнал от вас, герцог, что с целью спасти дочь вашу от преследований Пешьера и в убеждении, что мистер Лесли разделяет ваши опасения насчет намерений графа, вы, будучи еще в бедности и изгнании, обещали этому джентльмену руку вашей дочери. Когда вероятность восстановления ваших прав почти уже подтвердилась, вы повторили свое обещание, так как мистер Лесли, по его собственному отзыву, противодействовал, хотя и безуспешно, намерениям Пешьера. Не так ли?

– Без сомнения; если бы мне суждено было занять трон, то я и тогда не изменил бы своему обещанию, данному в бедности и изгнании. Я не мог бы отказать в руке моей дочери тому, кто готов был пожертвовать всеми мирскими выгодами и жениться на девушке без всякого состояния. Дочь моя не противоречит моим видам.

Виоланта дрожала; руки её были крепко сжаты и взоры её постоянно обращались на Гарлея.

Мистер Дэль отер слезы, выступившие из глаз его, при мысли о бедном изгнаннике, питавшемся миногами и скрывавшемся в тени деревьев Казино от многочисленных кредиторов.

– Ваш ответ вполне достоин вас, герцог, продолжал Гарлей: – но если бы было доказано, что мистер Лесли, вместо того, чтобы свататься за герцогиню для неё самой, только рассчитывал на деньги, намереваясь предать ее графу Пешьера, что вместо того, чтобы избавить ее от опасности, которой вы страшились, он теперь снова подвергал ее тем же оскорблениям, от которых она раз уже освободилась; считали ли бы тогда данное вами слово....

– Какое злодейство! Нет, конечно нет! воскликнул герцог. – Но это ни на чем не основанное предположение! Говорите, Рандаль.

– Лорд л'Эстрендж не в состоянии оскорбить меня тем, что ок считает это не одним лишь бездоказательным предположением, произнес Рандаль, отважно подняв голову.

– Я заключаю из вашего ответа, мистер Лесли, что вы с презрением отвергаете подобное предположение?

– С презрением... именно. Но так как предположение это, продолжал Рандаль, выступая на шаг вперед: – высказано громко, то к прошу у лорда л'Эстренджа, как у равного себе (потому что все джентльмены равны, когда дело идет о защите их чести) или немедленного опровержения сделанных им обвинений или доказательств справедливости его слов.

– Вот, первое слово слышу от тебя достойное мужчины, вскричал сквайр. – Я сам дрался на дуэли и из за каких еще пустяков! В то время пуля пробила мне правое плечо.

– Ваше требование основательно, отвечал Гарлей спокойным тоном. – Я не могу опровергать сказанного мною, я немедленно представлю требуемые вами доказательства.

Он встал и позвонил в колокольчик; вошел слуга, выслушал приказание, отданное ему тихо, и опять вышел. Настало молчание, равно тягостное для всех. Рандаль между тем обдумывал в уме своем, какие доказательства могли быть приведены против него, и ни одного не мог себе представить. Между тем двери в гостиную отворились и слуга доложил:

– Граф ди-Пешьера.

Если бы бомба пробила в это время крышу дома и упала посреди комнаты, то она не произвела бы такого сильного впечатления, как появление графа. Гордо подняв голову, с смелым выражением на лице, со всем наружным блеском манеров, граф вошел в средину кружка и после легко-

го вежливого поклона, относившегося ко всем присутствующим, стал обводить взором комнату с иронической улыбкою на устах, с полною самоуверенностью и хвастливостью человека, опытного на поприще интриг и притворства.

— Герцог, начал граф, обратившись к своему изумленному родственнику и произнося слова твердым, ясным голосом, который громко раздавался в комнате: я возвратился в Англию, вследствие письма милорда л'Эстрэнджа и в тех видах, чтобы требовать от него удовлетворения, какие люди, подобные нам, всегда дают друг другу, с чьей бы стороны и по какой бы причине и была нанесена обида. Теперь, прекрасная родственница... и граф с легкою, но важною улыбкою поклонился Виоланте, которая при первых словах его хотела было закричать: — теперь я оставил это намерение. Если я слишком поспешно принял старинное рыцарское правило, что в деле любви всякая уловка похвальна, то я должен согласиться с лордом л'Эстрэнджем, что я противодействие подобным уловкам имеет похвальную сторону. Вообще, мне кажется, — более кстати смеяться над моею печальною фигурою побежденного, чем признаваться, что я чувствительно оскорблен происками, имевшими более счастливые исход в сравнении с моими. Граф остановился и глаза его подернулись облаком грусти, что очень мало гармонировало с шуточным тоном его речи и развязною дерзостью его манеров.— *Ma foi!* продолжал он:— да позволено будет мне говорить таким образом, потому что я деспотично доказал

свое равнодушие к опасностям, которым когда либо подвергался. В последние шість лет я имел честь десять раз драться на дуэлях, имел несчастье ранить шестерых из моих противников и отправить на тот свет четверых, которые были самыми любезными и достойными джентльменами под луною.

– Чудовище! проворчал пастор.

Сквайр вздрогнул и механически ощупывал свое плечо, которое было ранено пулею капитана Лэнсмера. Бледное лицо Рандаля сделалось еще бледнее и глаза его, встретившись с дерзким взглядом графа, невольно потупились.

– Но, продолжил граф с жестом, выражавшим полную изящества угодливость:– я должен благодарить теперь л'Эстренджа, который мне напомнил, что человек, поставивший собственное мужество вне всякого сомнения, не только должен просить извинения, если он оскорбил другого, но должен сопровождать свое извинение каким бы то ни было удовлетворением. Герцог Серрано, я пришел сюда собственно с этою целию. Милорд, вы изволили выразит желание сделать мне некоторые важные вопросы, касающиеся герцога и его дочери; я буду отвечать с полною откровенностью.

– Monsieur le Comte, сказал Гарлей, – полагаясь на вашу снисходительность, я прошу вас, во первых, объяснить мне, кто открыл вам, что эта девица жила в доме моего отца?

– Открывший мне это стоит перед вами – мистер Рандаль Лесли. И я ссылаюсь на барона Леви, который может подтвердить справедливость моих слов.

– Это действительно правда, сказал барон едва слышным голосом и как бы невольно подчиняясь повелительному тону графа.

Бледные губы Рандаля издали в это время глухой звук, похожий на свист.

– И мистер Лесли участвовал в ваших планах, имевших целью похитить вашу родственницу и жениться на ней?

– Без сомнения.... и барону Леви это очень хорошо известно. Барон наклонил голову в знак согласия. – Позвольте мне присовокупить еще, – я обязан это сделать в отношении к леди, состоящей в родстве со мною, – что только вероломные убеждения со стороны Лесли, как я уверился впоследствии, доставили мою родственницу, когда моя собственная попытка не удалась, принять участие в планах, которые иначе она с такою же решимостью отвергла бы, её какою я в настоящее время, герцог Серрано, отвергаю и презираю их, с полным сознанием всей низости надобных действий.

Пока он говорил таким образом, в нем было столько личного достоинства, натурального или искусственного, которое сообщалось словам его, – достоинства, которому содействовали его прекрасный рост, изящные черты лица, патрицианские манеры, что герцог, тронутый до глубины души, протянул руку вероломному родственнику и забыл в эту минуту всю макиавеллевскую мудрость, которая могла бы убедить его, что человек с такими сомнительными правилами



нравственности, как граф, едва ли мог руководствоваться какими либо благородными побуждениями в исповеди, по видимому, столь чистосердечной и в раскаянии столь искреннем. Граф пожал руку, протянутую к нему, и низко преклонил голову, может, быть, чтобы скрыть улыбку, которая готова была разоблачить темную сторону его сердца. Рандаль все еще стоял молча и бледный как смерть. Язык его отказывался произнести какое бы то ни было слово. Он заметил, что все присутствовавшие готовы были обратиться против него. Наконец, с неимоверным усилием над самим собою, он произнес отрывистые фразы.

– Клевета столь внезапная, конечно, могла... могла привести меня в замешательство; но кто же. кто же её поверит? И законы, и здравый смысл всегда предполагают какуюнибудь побудительную причину для совершения преступления. Что же могло служить мне побуждением в подобном случае? Я сам, будучи претенентом на руку дочери герцога, я вдруг предаю ее! Нелепость... нелепость. Герцог, герцог, я передаю это обстоятельство на суд вашей опытности и знания людей. Кто идет против собственных выгоде и влечения своего сердца?

Это воззвание, хотя сделанное слабо, с недостатком энергии, произвело некоторое влияние на философа.

– Правда, сказал он, пожав руку своему родственнику, – я не вижу никакой побудительной причины.

– Может быть, отвечал Гарлей: – барон Леви объяснит нам

эту загадку. Не знаете ли, барон, какие причины, соединенные с собственной выгодой, могли побудить мистера Лесли участвовать в планах графа?

Леви медлил. Граф предупредил его.

– *Pardieu!* сказал он внятным, решительным тоном. – *Pardieu!* я совершенно убежден в том, что намерен сказать. Прошу вас, барон, подтвердить, что, в случае брака моего с дочерью герцога, я обещал подарить сестре моей сумму, на которую она давно еще простирала претензию, и которая должна была пройти через ваши руки.

– Это правда, отвечал барон.

– Не назначалась ли из этой суммы какая либо часть в пользу мистера Лесли?

Леви молчал.

– Говорите, сэр, произнес граф, сердито нахмутив брови.

– Дело в том, сказал барон:– что мистер Лесли чрезвычайно желал купить какие-то участки земли, принадлежавшие некогда его фамилии, и что женитьба графа на синьоре и замужство сестры его, к которой сватался мистер Гэзельдев, доставили бы мне возможность ссудить мистера Лесли небольшою суммою для предположенной им покупки.

– Что, что! вскричал сквайр, с жаром стуча одною рукою по боковому карману сюртука, приходившемуся на груди, и схватив другою рукою руку Рандаля.

– Сватовство моего сына! Так ты тоже тянул в ту сторону? Не смотри такой мокрой курицей. Говори как прилично

мужчине!

– Неужели вы думаете, сэръ, прервал граф с надменным видом: – неужели вы думаете, что маркиза ди-Негра удостоила бы выйти замуж за какогонибудь мистера Гэзельдена?...

– Удостоила!.. какойнибудь Гэзельден! вскричал сквайр, обратившись к нему с сильным негодованием и едва будучи в состоянии говорить от волнения.

– Если бы, продолжал граф с совершенным хладнокровием: – если бы обстоятельства не заставили ее войти с мистером Гэзельденом в денежную сделку, к которой она не имела других средств? И в этом отношении, я обязываюсь присовокупить, фамилия Гэзельденов должна считать себя особенно одолженною мистером Лесли, потому что он первый доказал ей совершенную необходимость этой *mésalliance*; он же первый внушил моему другу, барону, какими способами заставить мистера Гэзельдена принять предложение, на которое сестра моя удостоила с своей стороны согласиться.

– Способы! хороши способы! посмертное обязательство! воскликнул сквайр, опустив руку Рандаля, с тем, чтобы налечь всею тяжестью своей длани на Леви.

Барон пожал плечами.

– Все друзья мистера Франка Гэзельдена, заметил он: – одобрили бы этот способ, как самый дешевый способ доставать деньги.

Пастор Дэль, который сперва более всех был поражен этими постепенными открытиями коварства Лесли, теперь, об-

ратив взоры на молодого человека и увидав бледное лицо его, почувствовал такое живое сострадание, что, положив руку на плечо к Гарлею, прошептал:

– Поглядите, поглядите на его лицо! такой еще молодой! Пощадите, пощадите его!

– Мистер Лесли, продолжал Гарлей более мягким тоном:– поверьте, что ничто другое, как желание воздать должное герцогу Серрано и моему молодому другу, мистеру Гэзельдену, заставило меня принять на себя настоящую тяжелую обязанность. Теперь всякие дальнейшие исследования будут превращены.

– Узнав от милорда л'Эстренджа, сказал граф с изысканною вежливостью: – что мистер Лесли сделанный им мне вызов представлял как серьёзный поступок с своей стороны, а не как шуточную и дружелюбную развязку вашего неудавшегося плана, как я полагал прежде, я считаю долгом уверить мистера Лесли, что если он не удовлетворится сожалением, которое я испытываю в настоящую минуту за значительное участие, какое я принимал в предложенных собранию объяснениях, то я совершенно к его услугам.

– Не поединком с графом ди-Пешьера может быть оправдана моя честь; я не хочу даже защищаться против обвинений ростовщика и человека, который....

– Государь мой! прервал граф, подступая к нему.

– Человека, продолжал Рандаль с настойчивостью, хотя заметно трепеща всем телом: – человека, который, по соб-

ственному признанию, виновен во всех преступных замыслах, которых участником он старается меня представить и который, не умея оправдать себя, хочет очернить и других...

– *Cher petit Monsieur!* сказал граф с презрительным видом; – когда люди, подобные мне, употребляют людей, подобных вам, орудиями своих действий, то они или награждают заслугу, оказанную им, или отстраняют своих клиентов, в случае безуспешности попытки; если я был столь снисходителен, что согласился признаться и оправдываться в поступках, сделанных мною, то, конечно, мистер Рандаль Лесли может последовать моему примеру, не нарушая слишком много своего достоинства. Впрочем, я никогда, сэр, не дал бы себе труда противодействовать вашим интересам, если бы вы, как я впоследствии узлах, не вздумали домогаться руки девицы, которую я может быть несколько с большим правом надеялся назвать своею невестою. И в этом случае, могу ли я не сознать, что вы обманывали, предавали меня? Могли ли наши прежние отношения подать мне мысль, что вместо того, чтобы служить мне, вы только думали о своей собственной выгоде? Пусть будет так, как должно быть, во всяком случае мне остается еще средство загладить пред главою моей фамилии все нанесенные оскорбления и это средство состоит в том, что я спасу дочь его от унижительного для неё брака с предателем, который помогал мне за деньги в моих предприятиях и который теперь хочет воспользоваться пло-

дами их.

– Герцог! вскричал Рандаль.

Герцог повернулся к нему спиной. Рандаль простер руки к сквайру.

– Мистер Гэзельден, как? и вы осуждаете меня, – осуждайте меня, не выслушав моих оправданий?

– Не выслушав... тысячи смертей, нет! Если у тебя есть чтонибудь сказать, говори, только говори правду и пристыди своего противника.

– Я содействовал Франку в сватовстве, я внушил ему мысль о посмертном обязательстве!.. О, Боже мой, кричал Рандаль, ломай руки: – если бы сам Франк был здесь!

Сожаление, возбужденное в душе Гарлея, исчезло при виде этого упорного притворства.

– Вы желаете, чтобы здесь присутствовал Франк Гезельден? Требование ваше должно быть уважено. Мистер Дэль, вы можете отойти теперь от этого молодого человека и поставить на ваше место самого Франка Гэзельдена. Он ждет в соседней комнате. Позовите его.

При этих словах, сквайр закричал громким голосом:

– Франк, Франк! сын мой! мой бедный сын!

И бросился, из комнаты в дверь, на которую указал Гарлей.

Этот крик и это движение сообщили внезапную перемену чувствам всех присутствовавших. На несколько минут о самом Рандале было забыто. Молодой человек воспользовал-

ся этим временем. Улучив мгновение, когда полные презрения взоры обвинителей не были устремлены на него, он тихонько подкрался к двери, не производя ни малейшего шума, как раненная эхидна, которая, опустив голову, ползет по мягкой траве. Леви следовал за ним до крыльца и твердил ему на ухо:

– Я не мог решительно помочь вам; вы сами бы то же сделали на моем месте. Вы видите, что вы потерпели урон во всех своих предприятиях, а когда человек совершенно падает, мы оба были того мнения, что в таком случае следует отдать его на произвол судьбы и самому умыть руки.

Рандаль не отвечал ни слова, и барон смотрел, как тень, отбрасываемая его телом, постепенно спускалась по ступеням лестницы, пока совершенно не исчезла на камнях мостовой.

– Впрочем, он мог бы принести некоторую пользу, пробормотал Леви. – Его лицемерие и пронырство еще могут поймать в сети бездетного Эджертона. Еще есть надежда на маленькое мщение!

Граф прикоснулся в это время к руке замечтавшегося ростовщика.

*J'ai bien joué mon rôle, n'est-se pas?* (Не правда ли, что я хорошо играл свою роль?)

– Вашу роль! Скажу вам откровенно, мой любезный граф, что я не понимаю вашей роли.

– *Mo foi*, значит, вы очень недогадливы Я только что при-

ехал во Францию, когда письмо д'Эстренджа дошло ко мне. Оно имело вид вызова на дуэль, по крайней мере я так понял его. От подобных выводов я никогда не отказываюсь. Я отвечал, приехал сюда, остановился в гостинице. Милорд приезжает ко мне вчера ночью. Я начинаю с ним разговор в таком тоне, который вы можете себе представить при подобных обстоятельствах. *Pardieu!* он поступает как настоящий милорд! Он показывает мне письмо от принца \*\*\*, в котором возвещается о восстановлении прав Альфонсо и моем изгнании. Он с особенным благодушием представляет мне с одной стороны картину нищенства и совершенного падения, с другой чистосердечное раскаяние в проступках, с надеждою на милосердие Альфонсо. Одним словом, я тотчас мог понять, которая дорога ведет ближе к цели. Я выбрал такую дорогу. Трудность состояла лишь в том, чтобы выпутаться самому, как подобает человеку с огнем и с достоинством. Если я успел в этом, поздравьте меня. Альфонсо подал мне руку, и теперь я предоставляю ему – поправить мои денежные дела и восстановить мое доброе имя.

– Если вы отправляетесь в Лондон, сказал Леви: – то моя карета, которая должна быть уже здесь, к вашим услугам; с особенным удовольствием займу место возле вас и поговорю с вами о ваших планах в будущем. Но, *petite, mon cher!* ваше падение было так стремительно, что всякий другой на вашем месте переломал бы себе все кости.

– Настоящая сила, сказал граф с улыбкою:– легка и эла-



стична; она не падает, а опускается и отскакивает от земли.

Леви с особенным уважением посмотрел на графа и отдал ему преимущество в сравнении с Рандалем.

В это время в комнате, которую мы только что оставили, Гарлей сидел возле Виоланты.

– Я с моей стороны выполнил обещание, данное вам, сказал он с кротостью и смирением. – Неужели вы все еще будете со мною строги по-прежнему?

– Ах! отвечала Виоланта, любуясь на благородное чело Гарлея; и гордость женщины за предмет её любви красноречиво выражалась в её восторженном взоре: – я узнала от мистера Дэля, что вы окончательно одержали над собою победу, и это заставляет меня стыдиться сомнений моих на счет того, что ваше сердце способно было высказать, когда минуты гнева, хотя гнева справедливого, уже прошли.

– Нет, Виоланта, не прощайте еще мне совершенно; будьте свидетельницей моего мщения (я не забыл о нем) и тогда позвольте моему сердцу сделать признание и произнести горячую мольбу, чтобы голос, при звуках которого оно так трепещет, был постоянным его руководителем.

– Что это значит! вскричал кто-то с удивлением; и Гарлей, обернувшись, увидал герцога, который стоял сзади его, смотря с изумлением то на Гарлея, то на Виоланту: – смею ли думать, что вы?...

– Освободил вас от одного претендента на эту прелестную руку, чтобы самому сделаться униженным просителем.

– *Corpo di Vacco!* вскричал мудрец, обнимая Гарлея: – это, по истине, радостная для меня новость. Но я не намерен теперь делать опрометчивых обещаний и распоряжаться наклонностями моей дочери.

Он прижал Виоланту к груди своей и что-то прошептал ей на ухо. Виоланта покраснела и не отрывалась от плеча его. Гарлей ожидал развязки с нетерпением. В это время Леонард вошел в комнату, но Гарлей едва успел с ним поздороваться, как появился и граф.

– Милорд, сказал Пешьера, отводя его в сторону:– я исполнил свое обещание и теперь намерен оставить дом ваш. Барон Леви едет в Лондон и предлагает мне место в своей карете, которая, кажется, стоит уже у подъезда. Герцог и дочь его, без сомнения, извинят меня, если я не распрошаюсь с ними по правилам этикета. В ваших изменившихся положениях мне не идет слишком явно домогаться милости и внимания; должно только устранить, что я уже, кажется, и сделал, – устранить преграду к тому и другому; если вы одобряете мое поведение, то не оставьте высказать ваше мнение обо мне герцогу.

С низким поклоном граф пошел к двери; Гарлей не удерживал его и проводил его до лестницы со всею учтивостью светского человека.

– Не забудьте, милорд, что я ничего не домогаюсь. Я позволю себе только принять то или другое. *Voilà tout!*

Он опять поклонился с неподражаемою грацией кавале-

ров прошлого столетия и сел в дорожную карету барона Леви, который ожидался графа. Леви обратился в это время к Гарлею.

– Вы изволите, конечно, милорд, объяснить мистеру Эджертону, в какой степени его приемыш заслуживает его привязанность и оправдывает попечение своего благодетеля. Впрочем, при этом не могу не припомнить, что хотя вы и скупили самые срочные и вопиющие обязательства мистера Эджертонна, но я боюсь, что всего вашего состояния не было бы довольно, чтобы распутать все его сделки, вследствие которых он может остаться бедняком.

– Барон Леви, отвечал Гарлей отрывисто:– если я простил мистера Эджертонна, то разве вы не можете простить ему с своей стороны?

– Нет, милорд, я не могу простить ему. Он никогда не нанимал вас, он никогда не употреблял вас орудием для своих целей и не стыдился вашего сообщества. Вы скажете, что я ростовщик, а он государственный человек. Но как знать, чем бы я был, не будь я побочным сыном пера? Как знать, чем бы я был, если бы я женился на Норе Эвевель? Мое рождение, моя бледная, темная молодость, сознание, что он с каждым годом повышается на поприще административном, чтобы с большим правом не допускать меня к своему столу в числе прочих гостей, что он, считавшийся образцом для джентльменов, сделался лжецом и обманщиком в отношении лучшего из друзей, – удаляя меня от Одлея Эджер-

тона, заставляли ненавидеть его и завидовать ему. Вы, которого он так оскорбил, протягиваете по-прежнему ему руку, как великому государственному человеку; прикосновения ко мне вы избегаете, как прикосновения к гадине. Милорд, вы можете простить тому, кого любите и о ком сожалеете. Я не могу простить тому, кого ненавижу и кому завидую. Извините меня за мое упрямство. Я прощаюсь с вами, милорд.

Барон сделал шаг вперед, потом воротился и сказал с язвительною усмешкою:

– Но вы, без сомнения, объясните мистеру Эджертону, в какой мере я содействовал обвинению его приемьша. Я думал о бездетном лорде в то время, когда вы, может быть, считали меня испуганным вашими энергическими исследованиями дела. Ха, ха! я уверен, что это заденет его за живое!

Барон стиснул зубы в припадке сосредоточенной злобы, поспешно вошел в карету, спустил сторы; кучер хлопнул бичем и карета скоро скрылась из виду.

## Глава СХІХ

Одлей Эджертон сидел один в своей комнате. Им овладел тяжелый, томительный сон вскоре после того, как Гарлей и Рандаль оставили дом рано поутру, и сон этот продолжался вплоть до вечера. Одлей проснулся только тогда, когда ему принесли записку от Гарлея, возвещавшую об успешном окончании для него выборов и заключающуюся словами:

«Прежде наступления ночи ты обнимешь своего сына. Не сходи к нам, когда я возвращусь. Будь спокоен, мы сами придем к тебе».

В самом деле, не зная всей важности болезни, таившейся в организме Одлея и развившейся с страшною быстротой, лорд л'Эстрендж все-таки хотел избавить своего друга от присутствовании при обвинении Рандаля.

Получив записку, Эджертон встал. При мысли, что он увидит своего сына – сына Норы, болезнь его как будто исчезла. Но измученное раскаянием и сомнением сердце его сильно билось с какими-то судорожными порывами. Он не обращал на это внимания. Победа, которая возвращала его к жизни, составлявшей до тех пор единственную его заботу, единственную мечту, была забыта. Природа предъявила свои требования с полным презрением к смерти, с полным забвением славы.

Так сидел этот человек, одетый с обычною аккуратно-

стью; черный сюртук его был застегнуто доверху; фигура его, выражавшая всегда полное спокойствие, совершенное самообладание, выказывала теперь некоторое волнение; болезненный румянец вспыхивал на его щеках, глаза его следили за стрелкою часов, он слушал со вниманием, не идет ли кто по корридору. Наконец шум шагов достиг его слуха. Он привстал, остановился на пороге. Неужели сердце его в самом деле перестанет одиночествовать? Гарлей вошел первый. Глаза Эджертонна бегло окинули его и потом жадно впились в отверстие двери. Леонард следовал за Гарлеем – Леонард Ферфильд, в котором он видел некогда себе соперника. Он начал сомневаться, догадываться, припоминать, узнавать нежный образ матери в мужественном лице сына. Он невольно приподнял руки, готовясь обнять молодого человека – но Леонард медлил – глубоко вздохнул и думал, что он ошибся

– Друг, сказал Гарлей: – я привел к тебе сына, испытанного судьбою и боровшегося со всеми лишениями, чтобы проложить себе дорогу. Леонард! в человеке, в пользу которого я убеждал вас пожертвовать своим собственным честолюбием, о котором вы всегда отзывались с такою восторженностью и уважением, которого славное поприще имело вас своим деятельным сотрудником, и которого жизнь, не удовлетворяющуюся всеми этими почестями, вы будете улаживать сыновнею любовью – узнайте в этом человеке супруга Норы Эвенель! Падите на колени перед вашим отцом.... Одлей,

обними своего сына!

– Сюда, сюда, вскричал Одлей, когда Леонард упал на колени:– сюда, к моему сердцу! Посмотри на меня этими глазами... как они кротки, как они полны любви и привязанности: это глаза твоей матери! И голова Одлея упала на плечо сына.

– Но эта еще не все, продолжал Гарлей, подводя Гэлен и поставив ее подле Леонарда. – Твоему сердцу предстоит еще новая привязанность: прими и полюби мою воспитанницу и дочь. Что приятного в семействе, если оно не украшено улыбкою женщины? Они любили друг друга с самого детства. Одлей, пусть рука твоя соединит их руки, пусть уста твои произнесут благословение их браку.

Леонард прервал его тревожным голосом.

– О, сэр... о, батюшка! я не хочу этой великодушной жертвы; он... он, предоставив мне это неизъяснимое блаженство... он также любит Гэлен!

– Переставь, Леонард, отвечал Гарлей с улыбкою:– я не так мало о себе думаю, как ты полагаешь. Ты будешь, Одлей, свидетелем еще другой свадьбы. Человек, которого ты так долго старался примирять с жизнью, заставить променять пустые мечтания на истинное, вещественное благополучие, и этот человек представит тебя своей невесте. Полюби ее для меня, полюби ее для собственного блага. Не я, а она была причиною моего воссоединения с действительным миром, с его радостями и надеждами. Я долго был ослеплен, питал

равнодушные, злобу, ненависть к людям, мучился раскаянием... и имя Виоланты готово было сорваться с языка его.

Эджертон сделал движение головою, как будто готовясь отвечать; все присутствовавшие были удивлены и испуганы внезапною переменою, которая произошла в лице его. Взор его подернулся облаком, грусть напечатлелась на челе его, губы его напрасно старались произнести какое-то слово; он упал на кресло, стоявшее подле. Левая рука его неподвижно лежала на свертках деловых бумаг и официальных документов, и пальцы его механически играли ими, как играет умирающий своим одеялом, готовый променять его на саван. Правая рука его, как будто во мраке ночи, искала прикоснуться к любимому сыну и, найдя его, старалась привлечь его ближе и ближе. Увы! счастливая семейная жизнь, этот замкнутый центр человеческого существа – эта цель, к которой он так долго стремился со всякого рода лишениями, ускользнула от него в то самое время, как он считал ее достигнутою, исчезла, как исчезают на поверхности моря круги от брошенного камня: не успеешь уследить за их изменчивыми очертаниями, как они уже расплылись в бесконечность.



## Глава СХХ

Рандаль Лесли поздно вечером в тот день, как оставил Лэнсмер-Парк, пришел пешком к дому своего отца. Он сделал длинное путешествие посреди мрака и тишины зимней ночи. Он не чувствовал усталости, пока неурядный, бедный дом не напомнил ему о его безвыходной бедности. Он упал на постель, сознавая свое ничтожество, сознавая, что он самая жалкая развалина среди развалин человеческого честолюбия. Он не рассказал своим родственникам о всем происшедшем. Несчастный человек – ему некому было верить свои горести, не от кого было выслушать строгую истину, которая могла бы принести ему утешение и возбудить в нем раскаяние. Проведя несколько недель в совершенном унынии и не произнося почти ни слова, он оставил отцовский дом и возвратился в Лондон. Внезапная смерть такого человека, как Эджертон, даже в те беспокойные времена, произвела сильное, хотя кратковременное впечатление. Подробности выборов, сообщавшиеся в провинциальных листах, перепечатывались в лондонские журналы; сюда вошли заметки о поступках Рандалья Лесли в заседании комитета с колкими обвинениями его в эгоизме и неблагодарности. Весь политический круг, без различия партий, составил себе о бедном клиенте государственного человека одно из тех понятий, которые набрасывают тень на весь характер

и ставят неодолимую преграду честолюбивым стремлениям. Важные люди, которые прежде оказывали, ради Одлея, внимание Рандалю и которые при малейшем покровительстве со стороны судьбы, могли бы возвысить его карьеру, проходили мимо его по улицам, не удостоивая его поклоном. Он не осмеливался уже напоминать Эвенелю об обещании его поддержать его при последующих выборах за Лэнсмер, не смел мечтать о занятии вакансии, открывшейся со смертью Эджертона. Он был слишком сметлив, чтобы не увериться, что все надежды его на представительство за местечко исчезли. Теряясь в обширной столице, как некогда терялся в ней Леонард, он точно также подолгу стоял на мосту, глядя с тупым равнодушием на поверхность реки, как будто манившей его в свои влажные недра. У него не было ни денег, ни связей – ничего, кроме собственных способностей и познаний, чтобы пробивать дорогу к той высшей сфере общества, которая прежде улыбалась ему так благосклонно; а способности и познания, которые он употребил на то, чтобы оскорбить своего благодетеля, навлекали за него только более и более явное пренебрежение. Но и теперь судьба, которая некогда осыпала своими благами бедного наследника Руда, послала ему в удел совершенную независимость, пользуясь которой, при неутомимых трудах, он мог бы достигнуть если не самых высоких мест, то по крайней мере такого общественного положения, которое заставило бы свет руководствоваться его мнениями и, может быть, даже оправ-

дать его прежние поступки. 5,000 фунтов, которые Одлей завещал ему партикулярным актом, с тем, чтобы поставить эту сумму вне законных условий, были выплачены ему адвокатом л'Эстренджа. Но эта сумма показалась ему столь малою в сравнении с неумеренными надеждами, которых он лишился, и дорога к возвышению представлялась ему теперь такую длинную и утомительную после того, как он был раз у её исхода, что Рандаль смотрел на это неожиданно доставшееся ему наследство, как на предлог не принимать на себя никакой обязанности, не избирать никакой серьёзной деятельности. Уязвляемый постоянно тем резким контрастом, который его прежнее положение в английском обществе составляло с настоящим положением, он поспешил уехать за границу. Там из желания ли развлечься, прогнать томившую его мысль, или по ненасытной жажде узнать ближе, изведать достоинство незнакомых предметов и неиспытанных наслаждений, Рандаль Лесли, бывший до тех пор равнодушным к обыкновенным удовольствиям молодости, вступил в общество игроков и пьяниц. В этой компании дарования его постепенно исчезали, а направление их к интригам и разным предосудительным предприятиям только унижало его в общественном мнении. Падая таким образом шаг за шагом, проматывая свое состояние, он совершенно был исключен из того круга, где самые отъявленные моты, самые безнравственные картежники все-таки сохраняют манеры и тон джентльменов. Отец его умер, заброшенное имение

Руд досталось Рандально, но кроме расходов на приведение его в какой бы то ни было порядок, он должен был выплатить деньги, причитавшиеся брагу, сестре и матери. За тем едва ли что могло остаться в его пользу. Надежда восстановить фамилию и состояние предков давно для него миновала. Он написал в Англию, поручая продать все свое имущество. Ни один из богатых людей не явился, впрочем, на аукцион, не ценя высоко продававшегося имения. Все оно пошло частями в разные руки. Самый дом был куплен на своз.

Вдова, Оливер и Джульета поселились в каком-то провинциальном городке другого графства. Джульета вышла за муж за молодого офицера и вскоре умерла от родов. Мистрисс Лесли немногим пережила ее. Оливер поправил свое маленькое состояние женитьбою на дочери какого-то лавочника, который накопил несколько тысяч фунтов капитала. Долго после продажи Руда не было никаких слухов о Рандале; говорили только, что будто он выбрал себе для жительства или Австралию, или Соединенные Штаты. Впрочем, Оливер сохранял такое высокое мнение о дарованиях своего брата, что не терял надежды, что Рандаль когданибудь воротится богатым и значительным, как какойнибудь дядюшка в комедии; что он возвысит падшую фамилию и преобразит в грациозных леди и ловких джентльменов тех грязных мальчишек и оборванных девчонок, которые толпились теперь вокруг обеденного стола Оливера, предъявляя аппетит совершенно несоразмерный их росту и дородству.

В один зимний день, когда жена и дети Оливера вышли из за стола и сам Оливер сидел, попивая из кружки плохой портвейн, и рассматривал несомненно утешительные денежные счета; тощая лягавая собака, лежавшая у огня на дырявом тюфяке, вскочила и залаяла с остервенением. Оливер поднял свои мутные голубые глаза и увидел прямо против себя в оконном стекле человеческое лицо. Лицо это совершенно касалось стекла и от дыхания смотревшего узоры, нарисованные морозом, постепенно исчезали и стекла более и более тускнели.

Оливер, встревоженный и рассерженный, приняв этого непрошенного наблюдателя за какогонибудь дерзкого забияку и мошенника, вышел из комнаты, отворил наружную дверь и просил незнакомца оставить его дом в покое; между тем собака еще менее учтиво ворчала на незнакомца и даже хватала его за икры. Тогда хриплый голос произнес: «Разве ты не узнаешь меня, Оливер? я брат твой Рандаль! Уйми свою собаку и позволь мне войти к тебе.» Оливер отступил в изумлении: он не смел верить глазам, не мог узнать брата в мрачном, испитом призраке, который стоял перед ним. Наконец он приблизился, посмотрел Рандалью в лицо и, схватив его руку, не произнося ни слова, привел его в свою маленькую комнату.

В наружности Рандаля не осталось и следа того изящества и благовоспитанности, которые отличали прежде его личность. Одежда его говорила о той крайней степени нищеты,

на которую он низошел. Лицо его было похоже на лицо бродяги. Когда он снял с себя измятую, истертую шляпу, голова его оказалась преждевременно поседевшей. Волосы его, некогда столь прекрасные цветом и шелковистые, отсвечивали каким-то железным проблеском седины и падали неровными, сбитыми прядями; за челе и лице его ложились ряды морщин; ум его по-прежнему довольно резко выказывался наружу, но это был ум, который внушал только опасение – это был ум мрачный, унылый, угрожающий.

Рандаль не отвечал ни на какие вопросы. Он схватил со стола бутылку, в которой оставалось еще немного вина и осушил ее одним глотком.

– Фу, произнес он, отплеываясь:– неужели у вас нет ничего, что бы по больше согревало человека?

Оливер, действовавший как будто под влиянием страшного сна, подошел к шкапу и вынул оттуда бутылку водки, почти полную. Рандаль жадно ухватился за нее и приложил губы к горлышку.

– А, сказал он после некоторого молчания: – это другое дело, это удовлетворяет. Теперь дай мне есть.

Оливер сам поспешил служить брату: дело в том, что ему не хотелось, чтобы даже его заспанная служанка видела его гостя. Когда он воротился с кое-какими объедками, которые можно было достать на кухне, Рандаль сидел у камина, расправив над потухающим пеплом свои костлявые пальцы, похожие на когти коршуна.

Он с необыкновенною прожорливостью съел все, что было принесено из остатков обеда, и почти осушил бутылку. Но это нисколько не прогнало его уныния. Оливер стоял возле него в каком-то тупом удивлении и страхе; собака от времени до времени недоверчиво скалила зубы.

– Я тебе расскажу свою историю, произнес наконец Рандаль нехотя. Она не длинна. Я думал нажать состояние – и разорился, у меня нет теперь ни пенни и ни малейшей надежды на возможность поправиться. Ты, кажется, сам беден, следовательно не можешь помогать мне. Позволь, по крайней мере, пожить у тебя несколько времени, иначе мне негде будет преклонить голову и придется умереть с голоду.

Оливер прослезился и просил брата поселиться у него.

Рандаль жил несколько недель в доме Оливера, ни разу не выйдя за порог; он, казалось, не замечал, что Оливер снабдил его новым готовым платьем, хотя надевал это платье без зазрения совести. Но скоро присутствие его сделалось нестерпимым для хозяйки дома и стеснительным для самого хозяина. Рандаль, который некогда был до того воздержным, что самое умеренное употребление вина считал вредным для рассудка и воображения, теперь получил привычку пить крепкие напитки во всякий час дня. Но хотя они приводили его иногда в состояние опьянения, никогда, впрочем, не располагали его сердца к откровенности, никогда не прогоняли мрачной думы с чела его. Если он потерял теперь прежнюю остроту ума и дар наблюдательности, зато впол-

не сохранил способность притворяться и лицемерить. Мистрисс Оливер Лесли, бывшая с ним сначала осторожной и молчаливой, вскоре сделалась суха и холодна, потом стала позволять себе неприятные намеки, насмешки, наконец стала высказывать грубости. Рандаль немного оскорблялся всем этим и не давал себе труда возражать; но принужденный смех, которым он заключал всякую подобную выходку, так нестерпимо звучал в ушах мистрисс Лесли, что она раз прибежала к мужу и объявила, что или она сама или брат его должен оставить их дом. Оливер старался ее успокоить и утешить; через несколько дней он пришел к Рандалью и сказал ему с робостью:

– Ты видишь, что все, чем я владею, принадлежит собственно жене моей, а ты между тем не хочешь с нею поладить. Твое присутствие делается тебе столь же тягостным, сколько и мне. Я бы желал тебе помочь какнибудь, я думал тебе сделать предложение.... только с первого взгляда это покажется слишком ничтожным перед...

– Перед чем? прервал Рандаль с наглостью: – перед тем, что я был прежде или что я теперь? Ну, говори же!

– Ты человек ученый; я слыхал, что ты очень хорошо рассуждаешь о науках; может быть, ты и теперь в состоянии возиться с книгами; ты еще молод и мог бы подняться.... и....

– Фу, ты, пропасть! Да говори же скорее то или другое! вскричал Рандаль грубым тоном.

– Дело в том, продолжал бедный Оливер, стараясь сделать



предложение свое не столь резким и странным, каким оно представлялось ему первоначально:— что муж нашей сестры, как ты знаешь, племянник доктора Фельпема, который содержит очень хорошую школу. Он сам не учен и занимается более преподаванием арифметики и бухгалтерии, но ему нужно учителя для классических языков, потому что некоторые из молодых людей идут в коллегии. Я написал к нему, чтобы разузнать об условиях; я конечно не называл твоего имени, не будучи уверен, согласишься ли ты. Он, без сомнения, уважит мою рекомендацию. Квартира, стол, пятьдесят фунтов в год. . . . одним словом, если ты захочешь, ты можешь получить это место.

При этих словах Рандаль затрепетал всем телом и долго не мог собраться отвечать.

— Хорошо, быть так; я принужден на это согласиться. Ха, ха! да, знание есть сила! Он помолчал несколько минут. — Итак, наш старый Голд не существует, ты сделался торгашом провинциального городка, сестра моя умерла, и я отныне — никто другой, как Джон Смит. Ты говоришь, что не называл меня по имени содержателю пансиона, пусть оно и останется для него неизвестным; забудь и ты, что я некогда был одним из Лесли. Наши братские отношения должны прекратиться, когда я оставлю твой дом. Напиши своему доктору, который смыслит одну арифметику, и отрекомендуй ему учителя латинского и греческого языков, Джона Смита.

Через несколько дней *protégé* Одлея Эджертона вступил

в должность преподавателя одной из обширных, дешевых школ, которые готовят детей дворян и лиц духовного сословия к ученому поприщу, с гораздо значительнейшею примесью сыновей торговцев, предназначающих себя для службы в конторах, лавках и на биржах. Там Рандаль Лесли, под именем Джона Смита, живет до сих пор.

Между тем как, так называемое, поэтическое правосудие развивалось из планов, в которых Рандаль Лесли истощил свой изобретательный рассудок и преградил себе дорогу к счастью, никакие видимые признаки воздаяния не обнаруживались в отношении злейшего из интригантов, барона Леви. Ни разу падение фондов не успело потрясти здание, возведенное им из развалин домов других людей. Барон Леви все тот же барон Леви, только сделался миллионером; впрочем, в душе своей он едва ли не сознает себя более несчастным, чем Рандаль Лесли, школьный учитель. Леви человек, внесший сильные страсти в свою житейскую философию; у него не такая холодная кровь, не такое черствое сердце, которые бы делали его организм нечувствительным к волнениям и страданиям. Лишь только старость настигла великосветского ростовщика, он влюбился в хорошенькую оперную танцовщицу, которой маленькие ножки вскружили ветряные головы почти всей парижской и лондонской молодежи. Ловкая танцовщица держала себя очень строго в отношении к влюбленному старику и, не поддавалась его страстным убеждениям, заставила его жениться на ней. С этой ми-

нуты дом его, *Louis Quinze*, стал наполняться более, чем когда нибудь толпами высокородных дэнди, которых сообщества он прежде так жадно добивался. Но это знакомство вскоре сделалось для него источником неизъяснимых мучений. Баронесса была кокетка в полном смысле этого слова, и Леви, в котором, как нам уже известно, ревность была господствующею страстью – испытывал непрерывную тревогу. Его неуважение к человеческому достоинству, его неверие в возможность добродетели – только содействовали развитию в нем подозрения и вызывали, как нарочно, опасности, которых он наиболее боялся. Вдруг он оставил свой великолепный дом, уехал из Лондона, отказался от общества, в котором мог блеснуть своим богатством, и заперся с женою в деревне одной из отдаленных провинций; там он живет до сих пор. Напрасно старается он заняться сельским хозяйством; для него только тревоги жизни в столице, со всеми её пороками и излишествами, представляли некоторую тень отрады, некоторое подобие того, что он называл «удовольствием». Но и в деревне ревность продолжает преследовать его; он бродит около своего дома с блуждающим взором и осторожностью вора; он стережет жену точно пленницу, потому что она ждет только удобного случая, чтобы убежать. Жизнь человека, отворившего тюрьму для столь многих людей, есть жизнь тюремного сторожа. Жена ненавидит его и не скрывает этого. Между тем он раболепно расточает ей подарки. Привыкнув к самой необузданной свободе, требуя постоян-

ных рукоплесканий и одобрения как чего-то должного, будучи без всякого образования, с умом дурно направленным, выражаясь грубо и отличаясь самым неукротимым характером, прекрасная фурия, которую он привел в свой дом, превратила этот дом в настоящий ад. Леви не смеет признаться никому, сколько он тратит денег, он жалуется на неудачи и нищету с тем, чтобы извинить себя в глазах жены, которую он лишил всех удовольствий. Темное сознание воздаяния пробуждается в душе его и рождает раскаяние, которое еще более терзает его. Раскаяние это есть следствие суеверия, а не религиозного убеждения; оно не приносит с собою утешения истинного раскаяния. Леви не старается облегчить свои страдания, не думает искупить свои проступки каким нибудь добрым делом. Между тем богатства его растут и принимают такие размеры, что он не может совладеть с ними.

Граф ди-Пешьера не ошибся в расчете, показав вид раскаяния и прибегнув к великодушию своего родственника. Он получил от щедрого герцога Серрано ежегодную пенсию, соответствовавшую его званию и ему снова дозволен был въезд в Вену. Но на следующее же лето, после пребывания его в Лэнсмере, карьера его внезапно окончилась.

В Баден-Бадене он начал ухаживать за богатой и хорошенькой собою полькой, вдовой. Репутация, которой она пользовалась, отогнала от нее всех поклонников, исключая молодого француза, который был столь же смел как Пе-

шьера и влюблен сильнее его. Соперники предложили друг другу дуэль. Пешьера явился на место поединка с обычным хладнокровием, напевая опорную арию, и смотрел с таким веселым видом на дуло пистолета, что нервы француза расстроились, несмотря на его храбрость. Спустив курок прежде, нежели он успел прицелиться, француз, к величайшему удивлению, попал графу в сердце и убил его миновал.

Беатриче ди-Негра, после смерти брата, жила несколько лет в совершенном уединении, переселившись в монастырь, но, впрочем, не постригаась в монахини, как предполагала прежде. Дело в том, что присматриваясь к нравам и образу жизни сестер, она убеждалась, что мирские страсти и сожаления о прошлом (исключая самых редких натур) прокладывают себе дорогу сквозь железные решетки и через высокие стены. Наконец она избрала себе пребывание в Риме, где известна не только очень строгим образом жизни, но и деятельною благотворительностью. Ее не могли уговорить принять более четвертой части той пенсии, которая назначена была её брату; но у неё было и мало потребностей кроме потребности благотворения; а когда благотворительность деятельна, то она извлекает много пользы и из небольшого количества золота. Маркиза не появляется в блестящих, шумных собраниях; ее окружает небольшое, но избранное общество художников и ученых. Первым наслаждением она поставляет помогать какомунибудь талантливому юноше, особенно если он назовет своим отечеством Англию.

Сквайр и супруга его все еще проживают в Гэзельдене, где капитан Бэрнебес Гиджинботам поселился окончательно. Капитан сделался страшным ипохондриком, но он расцветает от времени до времени; когда слышит, что в семье мистера Шэрна Кёрри есть больной, тогда он повторяет в полголоса: «если бы эти семеро дрянных ребятишек отправились на тот свет, у меня были бы большие надежды в будущем». За подобные желания сквайр делает ему обыкновенно строгий выговор, а пастор с важностью произносит увещание. Хотя капитан и оплачивает за это обоим три раза в неделю за вистом, но пастор уже не бывает постоянным партнером капитана, так как пятым садится играть по большей части старинный друг и сосед сквайра, мистер Стикторейтс. Сражаясь таким образом один, без помощи капитана, пастор с печальным удивлением замечает, что счастье повернулось к нему спиною, и что он выигрывает теперь реже, чем прежде выигрывал. К счастью, это единственная тревога – исключая припадков истерики у мистрисс Дэль, к которым он, впрочем, совершенно привык – помрачающая ясную стезю жизни пастора. Мы должны теперь объяснить, каким образом мистер Стикторейтс занял место за карточным столом в Газельдене. Франк поселился в Казино с женою, которая характером совершенно подходит к нему; жена эта была мисс Стикторейтс. Только два года спустя после потери Беатриче, Франк начал забывать свое горе; ум его потерял прежнюю игривость и беззаботность, за то он сде-

лался умереннее в желаньях и рассудительнее. Привязанность, хотя бы дурно выбранная и неудачно направленная, все-таки подвигает вперед воспитание человека. Франк сделался положительнее и серьезнее; посетив однажды Гэзельден, он встретил мисс Стикторейтс на одном из деревенских балов. Молодые люди почувствовали симпатию друг к другу, может быть, именно вследствие вражды, которая существовала между их семействами. Свадьба, которая совершенно было устроилась, была отложена вследствие возникшего между родителями спора о праве на дорогу. Но к счастью прение это было прекращено замечанием пастора Дэля, что когда оба имения, вследствие предположенного брака детей, составят одно целое, то повод к тяжбе сам собою уничтожится, ибо человек не имеет обыкновения тягаться с самим собою. Впрочем, мистер Стикторейтс и мистер Гэзельден включили в контракт особую оговорку (хотя адвокаты и уверяли их, что она не может иметь законной силы), по смыслу которой, в случае неимения наследников от предположенного брака, участок Стикторейтс должен будет перейти в какому нибудь члену фамилии Стикторейтс, и право на дорогу из лесу через болото будет подлежать тяжбному разбирательству на тех же самых основаниях как и теперь. Впрочем, трудно предположить, чтобы подобная тяжба могла возникнуть с похвальной целью разорить грядущих наследников, потому что у Франка два сына и две дочери играют уже на террасе, на которой Джакеймо поливал некогда померан-

цовые деревья, и бегают на бельведере, на котором Риккабокка изучал некогда Макиавелли.

Риккабокка долго не мог привыкнуть к роскоши, которая снова стала окружать его, и к титулу герцога. Джемима гораздо скорее освоилась с новым положением, но удержала сердечную простоту, которая отличала ее в Гэзельдене. Крестьяне и крестьянки любят ее без ума. Она особенно покровительствует молодым, старается устраивать свадьбы и нуждающихся наделяет приданым. Герцог, продолжая острить насчет женщин и женитьбы, не менее того один из счастливейших мужей на свете. Любимое занятие его составляет воспитание сына, которого Джемима подарила ему вскоре после возвращения его на родину.

Герцог постоянно желал узнать, что сделалось с Рандаем. Однажды – за несколько лет перед тем, как Рандаль определился школьным учителем – герцог, осматривая генуэзский госпиталь, с свойственною ему наблюдательностью в отношении всего, исключая его собственной особы, заметил в углу спящего человека, и так как лицо Рандаля в это время еще очень изменилось, то посмотрев на него пристально, герцог тотчас узнал в нем несчастного питомца Итонской школы.

– Это англичанин, сказал бывший тут дежурный чиновник. – Его принесли сюда без чувств. Он получил, как мы узнали, опасную рану в голову на дуэли с известным всем *chevalier d'industrie*, который объявил, что противник обма-



нывал и обирал его при всяком удобном случае. Впрочем, это не совсем правдоподобно, продолжал чиновник: — потому что мы нашли на больном лишь несколько крон, и он должен был оставить свою квартиру, не будучи в состоянии платить за нее. Он выздоравливает, но лихорадка все еще продолжается.

Герцог молча смотрел на спящего, который метался на жесткой кровати и что-то бормотал едва внятным голосом; потом он положил в руку дежурному кошелек.

— Отдайте это англичанину, но не говорите ему моего имени. Правда, совершенная правда, пословица справедлива! рассуждал сам с собою герцог, сходя с лестницы. *Più pelli di rolpi che di asini vanno in Pellicceria* (не ослиные, а лисьи шкуры попадают больше к скорняку.)

Доктор Морган продолжает прописывать пилюли от тоски и капли от меланхолии. Число его пациентов значительно увеличилось, и под его неутомимым надзором больные живут столько, сколько угодно Провидению. Ни один из аллопатов не в состоянии взять на себя большего.

Смерть бедного Джона Борлея не осталась неотмеченною в литературных летописях. Похвалы, которых он не дождался при жизни, посыпались теперь щедро, и в Кенсолл-Грине ему воздвигнут по подписке прекрасный монумент. Будь у него жена и дети, им была бы оказана необходимая помощь. Любители литературы целые месяцы рылись в библиотеках и собирали его юмористические сочи-

нения, анекдоты, фантастические рассказы и образцы красноречия, которое некогда оглашало дымные таверны и залы грязных клубов. Леонард собрал его сочинения, разбросанные по разным поврежденным изданиям. Они заняли места на полках главнейших библиотек, хотя предметы, избранные автором, имели слишком мгновенный интерес и обрабатывались каким-то странным, причудливым образом. Эти образцы литературной деятельности не могли сделаться ходячею монетою мышления, на них любители смотрели как на своего рода редкость. Бедный Борлей!

Дик Эвенель не вышел из Парламента так скоро, как предполагал прежде. Он не мог убедит Леонарда, в котором жажда политического возвышения была утолена у источника муз, занять его место в Сенате; а он сознавал, что семейству Эвенелей необходимо иметь представителя. Он начал вследствие того употреблять большую часть своего времени на служение интересам Скрюстоуна, нежели на дела своей родины и успел уничтожить совместничество, которому должен был подвергнуться, тем, что сделал из своего соперника деятельного участника в своих интересах. Приобретя таким образом монополию в Скрюстоуне, Дик обратился к своим прежним убеждениям в пользу свободной торговли. Он делается образцом для старого поколения помещиков и во всяком случае может быть назван одним из тех просветителей деревень, которых создает тесное соединение предприимчивого ума и значительного капитала.

Права рождения Леопарда была без труда доказаны и никто не решился их оспаривать. Часть наследства, перешедшая к нему от отца, вместе с суммой, которую Эвенель выплатил ему за патент на сделанное им изобретение, и приданным, которое Гарлей назначил Гэлен против её воли, привели молодую чету к той золотой середине, которая не испытывает лишений бедности и не знает тревог и обязанностей, сопряженных с большим состоянием. Смерть отца сделала глубокое впечатление на душу Леонарда; но убеждение, что он родился от человека, пользовавшегося такою завидною славою и занимавшего такое видное место в обществе, не только не развивало, но уничтожало в нем честолюбие, которое довольно долгое время отвлекало его от любимых его стремлений. Ему не нужно было добиваться звания, которое сравняло бы его с званием Гэлен. У него не было родственника, которого любовь он мог бы снискать своими успехами в свете. Воспоминание о прежней сельской жизни, склонность к уединению – при чем привычка содействовала естественному влечению – заставляли его уклоняться от того, что человек, более привязанный к свету, назвал бы завидными преимуществами имени, дозволявшего ему доступ в высшие сферы общественной жизни.

Леонард видел прекрасный памятник, воздвигнутый на могиле Норы, и надпись, сделанная на нем, оправдывала бедную женщину во мнении людей. Он с жаром обнял мать Норы, которая с удовольствием признала в нем внука; даже

сам старьй Джон особенно расчувствовался, видя, что тяжелая тоска, лежавшая на сердце жены его, теперь рассеялась. Опираясь на плечо Леонарда, старик уныло глядел на гробницу Норы и говорил в полголоса:

– Эджертон! Эджертон! «Леонора, гордая супруга почтенного Одлея Эджертона!» А я подавал за него голос. Она выбрала себе настоящий цвет, какой следовало. Неужели это то самое число? Неужели она умерла так давно? Правда! правда! Жаль, что её нет с нами. Но жена говорит, что мы увидимся скоро с нею; я всегда то же думал сам, вольно ей прежде было спорить. Благодарю вас, сэр. Я человек бедный, но слезы эти не тяготят меня; напротив, не знаю почему, но я чувствую себя особенно счастливым. Где моя старуха? Я думаю она не знает, что я теперь только и толкую, что про Нору. А! вот она. Благодарю вас, сэр; а лучше возьмусь на руку моей старухи, я больше привык к ней, и... жена, скоро ли мы пойдем к Норе?

Леонард привел мистрисс Ферфильд повидаться с своими родными и мистрисс Эвенель приветствовала ее с особенною нежностью. Имя, начертанное на гробнице Норы, расположило сердце матери в пользу оставшейся дочери. Бедный Джон повторял часто: «Теперь она может говорить о Норе» и в самом деле при подобных разговорах, она сама и дочь её, которую она оставляла так долго в пренебрежении, убедились, сколько между ними было общего. Так, когда вскоре после женитьбы с Гэлен, Леонард уехал за границу, Дж-

эн Ферфильд осталась жить с стариками. После смерти их, которая последовала в один и тот же день, она отказалась, может быть, из самолюбия, поселиться с Леонардом, но наняла себе квартиру вблизи от дома, который он впоследствии купил себе в Англии. Леонард оставался за границей несколько лет. Будучи спокойным наблюдателем обычаев и умственного развития народов, глубоко, внимательно изучая памятники, которые живо говорят нам о прошлом, он собрал обильные материалы для истории человечества и понятия его о высоком и прекрасном развились в нем, под родным небом, в усладительное служение искусству.

Леонард окончил сочинение, которое занимало его так много лет, – сочинение, на которое он смотрит как на верхнее звено своего духовного развития и на котором он основывает все надежды, соединяющие человека современного с будущими поколениями. Сочинение его отпечатано; в боязливом ожидании он едет в Лондон. Теряясь в громадной столице, он хочет видеть собственными глазами, как примет свет новую связь, которую он провел между суетливою городскою жизнью и своим трудом, свершенным в тиши уединения. Сочинение вышло из типографии в недобрый час. Публика занята была другими предметами; публике некогда было обратить внимание на новое творение, и книга не проникла в обширный круг читателей. Но свирепый критик напал на нее, истерзал, изорвал, исказил ее, смешал достоинства и недостатки её в одно уродливое це-

лое. Достоинства никто не нашелся выказать должным образом, недостатки не нашли беспристрастного защитника. Издатель уныло покачивает головою, указывает на полки, которые гнутся под тяжестью непроданных экземпляров, и замечает, что сочинение, которое выражало самые светлые, утешительные стороны человеческой жизни, не соответствует современному вкусу. Огорченный, обиженный, хотя и стараясь казаться твердым, Леонард возвращается домой, и там на пороге встречает его утешительница. Голос её повторяет ему любимые места из его сочинения, говорит ему о его будущей славе, и все окружающее, под влиянием улыбки Гэлен, как будто проясняется, облекается в радужный колорит надежды. И глубокое убеждение, что небо ставят человеческое счастье вне светского одобрения или пререкания, овладевает существом Леонарда и возвращает ему прежнее спокойствие. На следующий день он сидит вместе с Гэлен у морского берега и смотрит так же ясно, так же спокойно, как и прежде, на мерное колебание волн. Рука его лежит в руке Гэлен и движимый чувством благодарности, которая связывает теснее и прочнее самой страсти, он тихо шепчет ей:

«Блаженна женщина, которая утешает.»

Гарлей л'Эстрендж вскоре после женитьбы на Виоланте, по убеждению ли жены или чтобы рассеять мрачные думы, навеянные на него смертью Эджертона, отправился во временную командировку в одну из колоний. В этом поручении,

он показал столько способностей, исполнил все так успешно, что по возвращении в Англию, был возведен в достоинство пэра при жизни отца, который любовался за сына, достигшего почестей не по праву наследства, а собственными заслугами и дарованиями. Успехи в Парламенте заставляли всех ожидать от деятельности Гарлея весьма многого. Но он убеждался, что успех, для того чтобы мог быть прочным, должен быть основан на ближайшем познании всех многочисленных подробностей деловой практики, что вовсе не согласовалось с его наклонностями, хотя и соответствовало его дарованиям. Гарлей много лет провел в праздности, а праздность имеет в себе много привлекательного для человека, которого общественное положение обеспечено, который наделен богатством в излишке и которого в домашней жизни не ожидают такие заботы, от которых он искал бы развлечения. Он стал смеяться над своими честолюбивыми планами, в припадках необузданной, беззаботной веселости, и ожидания, основанные на успехе дипломатического поручения, постепенно исчезали. В это время настал один из тех политических кризисов, когда люди, обыкновенно равнодушные к делам политики, приходят к убеждению, что формы администрации и законодательства основаны не на мертвой теории, а на живых началах народной деятельности. В обоих Парламентах партии действовали энергически. Через несколько времени Гарлей говорил речь пред собранием лордов и превзошел все, чего можно было ожидать от его дарований. Сла-

дость славы и сознание пользы, испытанные им вполне, совершенно обозначили его будущую судьбу. Через год голос его имел сильное влияние в Англии. Его любовь к славе ожила – не неопределенная и мечтательная, но превратившаяся в патриотизм и усиленная сознанием цели, к которой он стремился. Однажды вечером, после подобного торжества в Парламенте, Гарлей возвратился домой вместе с отцом своим. Виоланта выбежала к ним на встречу. Старший сын Гарлея – мальчик, бывший еще у кормилицы, не был уложен, против обыкновения в свою маленькую кроватку. Может быть, Виоланта предугадывала торжество своего мужа и желала, чтобы сын её разделил с ними общую радость. Старый граф л'Эстрендж взял его к себе на руки и, положив руку на кудрявую головку мальчика, произнес с важным видом.

– Дитя, ты увидишь, может быть, смутные времена в Англии прежде, нежели эти волосы посереблятся подобно моим. Обязанность твоя для возвышения чести Англии и сохранения мира будет трудна и многообразна. Послушай совета старика, который хотя и не имел достаточно дарований чтобы наделать шуму в свете, но оказал заметную пользу не одному поколению. Ни громкая титла, ни обширные имения, ни блестящие способности не доставят тебе истинной радости, если ты не будешь относить все блага жизни к милосердию Божию и щедрости твоего отечества. Если тебе придет в голову, что дарования твои не налагают на тебя ника-



ких обязанностей или что эти обязанности несовсем согласуются с твоею привязанностью к свободе и удовольствиям, то вспомни, как я отдал тебя на руки к отцу и произнес эти немногие слова: «Пусть он некогда точно так же будет гордиться тобою, как я теперь горжусь им.»

Мальчик обнял шею отца своего и пролепетал с полным сознанием: «постараюсь». Гарлей наклонил голову к серьёзному личику ребенка и сказал с нежностью: «твоя мать говорить твоими устами».

Старая графиня привстала в эту минуту с вольтеровских кресел и подошла в даровитому перу.

– Наконец, сказала она, положив руку на плечо к сыну – наконец, мой любезный сын, ты оправдал все ожидания своей юности.

– Если это так, отвечал Гарлей – то это потому, что я нашел то, чего искал прежде напрасно. Он обнял рукою талью Виоланты и прибавил с нежною, но вместе торжественною, улыбкою: Блаженна женщина, которая возвышает!

**КОНЕЦ.**